



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Сочинения и переписка с
Н.А. Захарьиной

Александр Герцен, Наталья Александровна Захарина Нертцен

CODE A

Herzen

Издание Ф. Павленкова.

356245

СОЧИНЕНИЯ

А. И. ГЕРЦЕНА^Ъ

И

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ III.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи Ю. Н. Эрлиха, Садовая, № 9.

1905.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лештуковъ пер., № 2).

Литература, исторія, публицистика.

- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 письмами. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. 5-е изд. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: 1 р. 50 к. За перешлеты для 1-томнаго изданія — 50 к. Для 10-томнаго (5 перешлетовъ) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Н. В. Гоголя. Съ биографіей, портретами и 184 рис. Полное собраніе въ 1 мѣ томѣ. Ц. 1 р. 25 к. Въ перешлетъ 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Съ портретами, биографіей и 115 рисунк. Полное собраніе въ одномъ томѣ. Ц. 1 р. Въ перешлетъ 1 р. 50 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 4 изд. Ц. за два тома—3 р.
- Повѣсти и рассказы Н. В. Яковлевой. Автора «Обрусителей». Болше 400 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Съ 188 рис. Ц. 60 к. Въ папкѣ 75 к. Въ перепл. 1 р.
- Сочиненія Чарльза Диккенса. Полное собраніе въ 10 томахъ. Цѣна каждого тома 1 р. 50 к.
- 1) Давидъ Копперфильдъ. 2) Домби и сынъ. 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ. 4) Крошка Дорритъ и Большая ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливьеръ Твистъ. 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби в три «Святочинныхъ» рассказа. 8) Мартинъ Чезальвипъ. Гимн Рождеству. Затравленъ. 9) Баринъ Реджъ. Тайна Эввина Друда и Колокола. 10) Лавка древностей. Записки путешественника на по торговымъ дѣламъ. Станція Мерби. Медфогскія записки. Реценты д-ра Меригольда. Безъ выхода. Портретъ и биографія автора.
- Сочиненія Виктора Гюго. Съ портр. автора и статьей А. Скабичевскаго. Два тома. Ц. 2 р. 50 к.
- Сочиненія Эркмана-Шатриана. Въ двухъ томахъ. Ц. 3 р.
- Одинъ въ полѣ — не воинъ. Соціолог. романъ Шилльгагена. Пер. съ нѣм. Ц. 1 р. 25 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульвера. Перев. съ англ. Ц. 50 к.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціалистическій романъ. Э. Веллаи. 4-е изд. Ц. 75 к.
- Голодъ. Романъ Гамсуна. Ц. 60 к.
- Трудовая работа. Романъ Г. Зудермана. Ц. 60 к.
- Солой оружіе! Автобиографическій романъ. В. Зутверъ. Цѣна 80 к.
- Будущее человечество. Соціалистическая фантазія. Мантегацца. Съ 20 рис. Ц. 40 к.
- Большая любовь. Гигиеническій романъ. П. Мантегацца. 2-е изд. Ц. 50 к.
- Конецъ міра. Астроном. романъ Б. Фламариона. Съ 80 рисунками. Ц. 60 к.
- Стелла. Астрономическій романъ Б. Фламариона. Ц. 80 к.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Г. Брандеса. I. Французская литература. Съ 13 портр. Ц. 2 р.—II. Англійская литература. Ц. 75 к.—III. Нѣмецкая литература. Ц. 1 р.
- Исторія новѣйшей русской литературы (1848—1903) А. М. Скабичевскаго. II. 2 р.
- Литература различныхъ племенъ и народовъ. Ш. Летурно. Ц. 1 р. 50 к.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретами Н. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. 2 тома. Съ портретами автора, 3 изд. Ц. 3 р.
- Исторія русской цензуры. Его же. Ц. 2 р.
- Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. Полное собр. въ 4 томахъ. Съ портр., факсимилью и снимкомъ съ карт. Наумова «Бѣлинскій передъ смертью». Ц. 1, 2 и 3-го том. по 1 р., 4-го тома 1 р. 25 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томахъ. Цѣна каждого тома 1 рубль.
- Исторія культуры. Ю. Липперта. Переводъ съ нѣм. Съ 83 рис. 6-е изд. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія семьи. Ю. Липперта. Ц. 60 к.
- Исторія первобытныхъ людей. Э. Клодда. Перев. М. Энгельгардта. Съ 88 рис. Ц. 40 к.
- Первобытные люди. Дебьера. Съ 84 р. Ц. 75 к.
- Исторія девятнадцатаго вѣка (1789—1899). Профессора Маршала. Ц. 3 р.
- Исторія французской революціи. Лавресса и Рамбо. Перев. М. Юлшина. Ц. 1 р. 50 к.
- Общественный организмъ. Р. Воржеса. Переводъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 75 к.
- Общественный прогрессъ и регрессъ. Проф. Греефа. Перев. Паперна. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціальное развитіе. В. Кидда. Ц. 75 к.
- Психологія народовъ и массъ. Г. Лебона. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психологія французскаго народа. Фульо. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психическіе факторы цивилизаціи. Л. Уорда. Переводъ Л. Давыдовой. Ц. 80 к.
- Современное народовѣдѣніе. Ахелиса. Съ нѣм. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціологическія основы исторіи. Лакомба. Ц. 1 р. 50 к.
- Исторія цивилизаціи въ Англии. Бокля. Перев. А. Н. Буйницкаго. Съ портр. автора. Ц. 2 р.
- Исторія рабочаго движенія въ Англии. Уэбба. Съ англійскаго. Ц. 1 р. 50 к.
- Организація свободы и общественный долгъ. А. Шренса. Ц. 80 к.
- Представительное правленіе. Дж. Стюарта Милля. Ц. 60 к.
- Въ труппахъ Англии. Бутса. Ц. 1 р.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.



А. И. Герценъ.
(Съ фотографіи, 1865 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ III.

1220 204

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ прилѣжаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

—
Т о м ъ І І І .

21

6946

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
356295
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1906 L

Книгопечатня Ш м и д т ъ, Звенигородская, 20.

Оглавление III-го тома.

Былое и Думы.

(Продолжение).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Парижъ—Италія—Парижъ.

	СТР.
Отдѣленіе первое. Передъ революціею и послѣ нея.	
Глава XXXIV. <i>Путь.</i> —Потерянный пассъ.—Кёнигсбергъ.—Собственпоручный носъ.—Пріѣхали!—И уѣзжаемъ.	4
Глава XXXV. <i>Медовый мѣсяцъ республики.</i> —Англичанинъ въ мѣховой курткѣ.—Герцогъ де Ноаль.—Свобода и ся бюсть въ Марсели.—Аббатъ Сибуръ и Всемирная республика въ Авиньонѣ. . .	9
Западныя арабески. Тетрадь первая:	
I. Сонъ.	15
II. Въ грову.	18
IV. Примѣты.	23
V. Тифондная горячка.	28
Глава XXXVI. <i>La Tribune des Peuples.</i> —Мицкевичъ и Рамонъ-де-ла-Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижѣ.—Отъѣздъ.	30
Глава XXXVII. Вавилонское столпотвореніе.—Нѣмецкіе <i>umwaelzungsmaenner</i> 'ы.—Французскіе красные горцы.—Итальянскіе <i>Fuorusciti</i> въ Женевѣ.—Маццини, Гарибальди, Орсини...—Романская и германская традиція.—Прогулка на „князѣ Радецкомъ“.	47
+ Глава XXXVIII. Швейцарія.—Джемсъ Фази и рефужье.— <i>Monte-Rosa</i> . /	76
Западныя арабески. Тетрадь вторая:	
I. II <i>Pianto</i>	95
II. <i>Post-scriptum</i>	101
Глава XXXIX. Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.	108

	СТР.
Глава XL. Европейскій комитетъ.—Русскій генеральный консулъ въ Нищѣ.—Письмо къ А. Ѳ. Орлову.—Преслѣдованіе ребенка.—Фогты.—Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне.—Пріемъ въ Шателѣ.	121
Глава XLI. П. Ж. Прудонъ.—Изданіе <i>La Voix du Peuple</i> .—Переписка.—Значеніе Прудона.—Прибавленіе.	145
Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ.	160
Глава XLII. <i>Coup d'état</i> .—Прокуроръ покойной республики.—Гласъ коровій въ пустынь.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.	168
X Осеепо Нох	175
Отдѣленіе второе. Русскія тѣни:	
I. Н. И. Сазоновъ.	192
II. Энгельсоны.	205
Англія.	
Глава I. Лондонскіе туманы.	284
Глава II. Горныя вершины.—Центральный Европейскій Комитетъ.—Маццини.—Ледрю-Ролленъ.—Кошутъ.	287
Глава III. Эмиграціи въ Лондонѣ.—Нѣмцы, французы.—Партія.—В. Гюго.—Феликсъ Пиа.—Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.	253
—Глава IV. <i>Польскіе выходцы</i> .—Алоизій Вернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитація 1854—56 года.—Смерть Ворцеля.	276
Нѣмцы въ эмиграціи. —Руте, Кинкель, Schwefelbaende.—Американскій объѣд.— <i>The Leader</i> .—Народный сходъ въ St. Martin's Hall.	286
Лондонская вольница пятидесятыхъ годовъ.	
Глава VI. Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и комиссіонеры.—Ходобидки и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни.—Русскіе.—Воры.—Шпіоны.	308
On Liberty.	330
С. Ворцель	339
Pater V. Petscherine	349
Робертъ Оуэнъ.	359
X Дуэль.	396
X Бартелеми	411
X Camicia Rossa:	
I. Въ Врукъ-гауфъ.	420
II. Въ Стаффордъ-гауфъ.	480
III. У насъ.	435
IV. 26. Princess Gate.	440
X Апогей и перигей.	449
В. И. Кельсievъ.	468
Общій фондъ	473
М. Б. и Польское дѣло.	483
Пароходъ Ward Jackson R. Weterli et. C^o	501
Lapinski Colonel.—Polles-Aide de Camp.	506

Безъ связи.

СТР.

I. Швейцарскіе виды.	512
II. Болтовня съ дороги и родина въ буфетѣ.	519
III. За Альпами.	521
IV. Zu deutsch.	523
V. Съ того и этого свѣта:	
I. Съ того.	525
II. Съ этого:	
I. Живые цвѣты.—Послѣдняя мсгиганка.	529
II. Махровые цвѣты	536
III. Цвѣты Минервы.	539
Venezia la bella	542
La belle France:	
I. Ante portas.	555
II. Intra muros.	560
III. Alpendrucken.	565
IV. Данилы.	570
V. Свѣтлыя точки	574
VI. Послѣ набѣга.	576
Примѣчанія.	579

БЫЛОЕ И ДУМЫ.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПАРИЖЪ — ИТАЛІЯ — ПАРИЖЪ.

1847—1852.

Начиная печатать еще часть «Былого и Думы», я опять остановился передъ отрывочностью рассказовъ, картинъ и, такъ сказать, подстрочныхъ къ нимъ разсужденій. Внѣшняго единства въ нихъ меньше, чѣмъ въ первыхъ частяхъ. Спаять ихъ въ одно я никакъ не могъ. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фонъ и другое освѣщеніе — тогда шня истина пропадетъ. «Былое и Думы» не историческая монографія, а отраженіе исторіи въ человѣкѣ, случайно попавшемся на ея дорогѣ. Вотъ почему я рѣшился оставить отрывочныя главы, какъ онѣ были, назавши ихъ, какъ нанизываютъ картинки изъ мозаики въ итальянскихъ браслетахъ — всѣ изображенія относятся къ одному предмету, но держатся вмѣстѣ только оправой и колечками.

Для пополненія этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма изъ Франціи и Италіи»; я хотѣлъ взять изъ нихъ нѣсколько отрывковъ, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не рѣшился.

Многое, не взомедшее въ «Полярную Звѣзду», вошло въ это изданіе, но всего я не могу еще передать читателямъ, по разнымъ общимъ и личнымъ причинамъ. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенныя страницы и главы, но и цѣлый томъ, самый дорогой для меня...

Женева, 29 іюля, 1866 г.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Передъ революціей и послѣ нея.

ГЛАВА XXXIV.

Путь.

Потерянный пассъ.—Кёнигсбергъ.—Собственноручный носъ.—Пріѣхали!—
И уѣзжаемъ.

.... Въ Лауцагенѣ прусскіе жандармы просили меня взойти въ кордегардію. Старый сержантъ взялъ пассы, надѣлъ очки и съ чрезвычайной отчетливостью сталъ вслухъ читать все, что нужно: Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden, deren daran gelegen etc. etc... Unterzeichner Peroffski, Minister des Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit...

Этотъ сержантъ, любившій чтеніе, напоминаетъ мнѣ другого. Между Террачино и Неаполемъ неаполитанскій карабинеръ четыре раза подходилъ къ дилижансу, всякій разъ требуя наши визы. Я показаль ему неаполитанскую визу; ему этого и полкарлина было мало, онъ понесъ пассы въ канцелярію и воротился минутъ черезъ двадцать съ требованіемъ, чтобъ я и мой товарищъ шли къ бригадиру. Бригадиръ, старый и пьяный унтеръ-офицеръ, довольно грубо спросилъ:

— «Какъ ваша фамилія, откуда?»

— Да это все тутъ написано.

— «Нельзя прочесть».

Мы догадались, что грамота не была сильною стороной бригадира.

По какому закону, сказалъ мой товарищъ, обязаны мы вамъ читать наши пассы; мы обязаны ихъ имѣть и показывать, а не диктовать: мало-ли что я самъ продиктую.

— «Accidenti! пробормоталъ старикъ,—va ben, va ben!» и отдалъ наши виды, не записывая.

Ученый жандармъ въ Лауцагенѣ былъ не того разбора; прочитавъ три раза въ трехъ пассахъ всѣ ордена Перовскаго, до пряжки за безпорочную службу, онъ спросилъ меня:

«Вы то Енер Носчwohlgeboren—кто такое?»

Я вытаращилъ глаза, не понимая, что онъ хочетъ отъ меня.

«Fräulein Maria E., Fräulein Maria K., Frau H., все женщины, тутъ нѣтъ ни одного мужского вида.»

Посмотрѣлъ я: дѣйствительно, тутъ были только пассы моей матери и двухъ нашихъ знакомыхъ, ѣхавшихъ съ нами; у меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ.

— Меня безъ вида не пропустили бы въ Таурогенѣ.

«Bereits so, только дальше-то ѣхать нельзя.»

— Что-же мнѣ дѣлать?

«Вѣроятно, вы забыли въ кордегардіи, я вамъ велю заложить санки, съѣздите сами, а ваши пока погрѣются у насъ.—Neh! Kerl, lass er mol den Braunen ansprann.»

Я не могу безъ смѣха вспомнить этотъ глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился отъ него. Потеря этого паспорта, о которомъ я нѣсколько лѣтъ мечталъ, о которомъ два года хлопоталъ, въ минуту переѣзда за границу, поразила меня. Я былъ увѣренъ, что я его положилъ въ карманъ, стало, я его выронилъ,—гдѣ-же искать? Его занесло снѣгомъ... Надобно просить новый, писать въ Ригу, можетъ, ѣхать самому; а тутъ сдѣлаютъ докладъ, догадаются, что я къ минеральнымъ водамъ ѣду въ январѣ. Словомъ, я уже чувствовалъ себя въ Петербургѣ, образъ Кокоскина, Сартынского, Дуббелта бродили въ головѣ. Вотъ тебѣ и путешествіе, вотъ и Парижъ, свобода книгопечатанія, камеры и театры... Опять увижу я министерскихъ чиновниковъ, квартальныхъ и всякихъ другихъ надзирателей, городскихъ съ двумя блестящими пуговицами на спинѣ, которыми они смотрятъ назадъ... и прежде всего увижу опять небольшого сморщившагося солдата въ тяжеломъ киверѣ, на которомъ написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь... Хотъ бы кормилицу-то мнѣ застать еще въ «Таврогѣ,» какъ она говорила.

Между тѣмъ заложили большую, печальную и угловатую лошадь въ крошечныя санки. Я сѣлъ съ почталіономъ въ военной шинели и ботфортахъ, почталіонъ классически хлопнулъ классическимъ бичемъ, — какъ вдругъ ученый сержантъ выбѣжалъ въ сѣни въ однихъ панталонахъ и закричалъ:

«Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Pass», и онъ его держалъ развернутымъ въ рукахъ.

Спазматическій смѣхъ овладѣлъ мною.

— Что-же вы это со мной дѣлаете? Гдѣ вы нашли?

«Посмотрите, сказалъ онъ, вашъ русскій сержантъ положилъ листъ въ листъ, кто же его тамъ зналъ, я не догадался повернуть листа...»

А, вѣдь, прочиталъ три раза: Es ergeheth deshalb an alle hohe

Mächte, und an alle und jede, welchen Standes und welchen Würde sie auch sein mögen...

... «Въ Кёнигсбергъ я пріѣхалъ усталый отъ дороги, отъ зѣботы, отъ многого. Выспавшись въ пуховой пропасти, я на другой день пошелъ посмотрѣть городъ; на дворѣ былъ теплый зимній день» ¹⁾; хозяинъ гостиницы предложилъ проѣхать въ саняхъ, лошади были съ бубенчиками и колокольчиками, съ страховыми перьями на головѣ... И мы были веселы, тяжелая плита была снята съ груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрѣнія—отлетѣли. Вечеромъ я былъ въ небольшомъ, грязномъ и плохомъ театрѣ, но я и оттуда возвратился взволнованнымъ не актерами, а публикой, состоявшей большей частью изъ работниковъ и молодыхъ людей; въ антрактахъ всѣ говорили громко и свободно, всѣ надѣвали шляпы (чрезвычайно важная вещь, столько-же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этотъ элементъ болѣе ясный и живой, поражаетъ русскаго при переѣздѣ за границу.

...Когда мы поѣхали въ Берлинъ, я сѣлъ въ кабриолетъ; возлѣ меня усѣлся какой-то закутанный господинъ; дѣло было вечеромъ, я не могъ его путемъ разглядѣть. Узнавъ, что я русскій, онъ началъ меня спрашивать о строгости полиціи, о паспортахъ; я, разумѣется, рассказалъ ему все, что зналъ. Потомъ зашла рѣчь о Пруссіи, онъ восхвалялъ безкорыстіе прусскихъ чиновниковъ, превосходство администраціи, хвалилъ короля и, въ заключеніе, сильно напалъ на познанскихъ поляковъ за то, что они не хорошіе нѣмцы. Меня это удивило, я ему возражалъ, сказалъ прямо, что я совсѣмъ не дѣлю его мнѣнія, и потомъ замолчалъ.

Между тѣмъ разсвѣло; тутъ только я замѣтилъ, что мой сосѣдъ консерваторъ говорилъ въ носъ вовсе не отъ простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мѣрѣ недоставало самой видной части. Онъ, вѣроятно, замѣтилъ, что открытіе это не принесло мнѣ особеннаго удовольствія, и потому счелъ нужнымъ рассказать мнѣ, въ родѣ извиненія, исторію о потерѣ носа и его возстановленіи. Первая часть была сбивчива, но вторая очень подробна: ему самъ Диффенбахъ вырѣзалъ изъ руки новый носъ, рука была привязана шесть недѣль къ лицу, «Majestat» пріѣзжалъ въ больницу посмотрѣть, высочайше удивился и одобрилъ.

Le roi de Prusse, en le voyant,
A dit: c'est vraiment étonnant.

Повидимому, Диффенбахъ былъ тогда занятъ чѣмъ-то другимъ и носъ ему вырѣзалъ прескверный. Но вскорѣ я открылъ, что

¹⁾ Письма изъ Франціи и Италіи. Письмо I.

собственноручный носъ былъ наименьшимъ изъ его недостатковъ.

Переѣздъ нашъ отъ Кёнигсберга въ Берлинъ былъ труднѣе всего путешествія. У насъ взялось откуда-то повѣрье, что прусскія почты хорошо устроены,—все это вздоръ. Почтовая ѣзда хороша только во Франціи, въ Швейцаріи, да въ Англіи. Въ Англіи почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади такъ изящны и кучера такъ ловки, что можно ѣздить изъ удовольствія. Самыя длинныя станціи карета несется во весь опоръ; горы, сѣзды — все равно. Теперь, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, вопросъ этотъ становится историческимъ, но тогда мы испытали нѣмецкія почты съ ихъ клячами, хуже которыхъ нѣтъ ничего на свѣтѣ, развѣ одни нѣмецкіе почталіоны.

Дорога отъ Кёнигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мѣстъ въ дилижансѣ и отправились. На первой станціи кондукторъ объявилъ, чтобы мы брали наши пожитки и садились въ другой дилижансѣ, благоразумно предупреждая, что за цѣлость вещей онъ не отвѣчаетъ. Я ему замѣтилъ, что въ Кёнигсбергѣ я спрашивалъ, и мнѣ сказали, что мѣста останутся; кондукторъ ссылался на снѣгъ и на необходимость взять дилижансѣ на поюзьяхъ; противъ этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться съ дѣтьми и пожитками ночью, въ мокромъ снѣгу. На слѣдующей станціи та же исторія, и кондукторъ уже не давалъ себѣ труда объяснять перемѣну экипажа. Такъ мы пробѣжали съ полдороги; тутъ онъ объявилъ намъ очень просто, «что намъ дадутъ *только пять мѣстъ*». — Какъ пять? вотъ мой билетъ. — «Мѣстъ больше нѣтъ». — Я сталъ спорить, въ почтовомъ домѣ отворилось съ трескомъ окно и сѣдая голова съ усами грубо спросила, о чемъ споръ. Кондукторъ сказалъ, что я требую семь мѣстъ, а у него ихъ только пять; я прибавилъ, что у меня билетъ и расписка въ полученіи денегъ за семь мѣстъ. Голова, не обращая ко мнѣ, дерзкимъ, раздавленнымъ русско-нѣмецко-военнымъ голосомъ сказала кондуктору: «Ну, не хочетъ этотъ господинъ пяти мѣстъ, такъ бросай пожитки долой, пусть ждетъ, когда будутъ семь пустыхъ мѣстъ». Послѣ этого почтенный почтмейстеръ, котораго кондукторъ называлъ «Негг Мајор», и котораго фамилія была Шверинъ, захлопнулъ окно. Обсудивъ дѣло, мы, какъ русскіе, рѣшились ѣхать. Бенвенуто Челлини, какъ итальянецъ, въ подобномъ случаѣ выстрѣлилъ бы изъ пистолета и убилъ почтмейстера.

Мой сосѣдъ, исправленный Диффенбахомъ, въ это время былъ въ трактирѣ; когда онъ вскарабкался на свое мѣсто и мы поѣхали, я рассказалъ ему исторію. Онъ былъ выпивши и, слѣдственно, въ благодушномъ расположеніи; онъ принялъ глубочайшее участіе

и просилъ меня дать ему въ Берлинѣ записку. «Вы почтовый чиновникъ?» спросилъ я.—«Нѣтъ», отвѣчалъ онъ еще больше въ носъ, «но это все равно... я... видите... какъ это здѣсь называется—служу въ центральной полиціи».

Это открытіе было для меня еще непріятнѣ собственноручнаго носа.

Первый человѣкъ, съ которымъ я либеральничалъ въ Европѣ, былъ шпионъ, за то онъ не былъ послѣдній.

Берлинъ, Кёльнъ, Бельгія, все это быстро прорѣяло передъ глазами: мы смотрѣли на все полуразсѣянно, мимоходомъ; мы торопились доѣхать, и *доѣхали* наконецъ.

...Я отворилъ старинное, тяжелое окно въ Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна—

...съ куклою чугунной,
Подъ шляпой, съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками, сжатыми крестомъ.

Итакъ, я дѣйствительно въ Парижѣ, не во снѣ, а наяву: вѣдь, это Вандомская колонна и rue de la Paix.

Въ *Парижѣ*—едва-ли въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ «Москва». Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy въ Пале-Роялѣ, гдѣ Камиль Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вмѣсто кокарды, съ крикомъ: à la Bastille!

Дома я не могъ остаться; я одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова— вотъ rue St.-Новогѣ, Елисейскія поля—всѣ эти имена, сроднившіяся съ давнихъ лѣтъ... да вотъ и самъ Бакунинъ...

Его я встрѣтилъ на углу какой-то улицы; онъ шелъ съ тремя знакомыми, и точно въ Москвѣ проповѣдывалъ имъ что-то, безпрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этотъ разъ проповѣдь осталась безъ заключенія, я ее перервалъ и пошелъ вмѣстѣ съ нимъ удивлять Сазонова моимъ приѣздомъ.

Я былъ внѣ себя отъ радости!

На ней я здѣсь и остановлюсь.

Парижъ еще разъ описывать не стану. Начальное знакомство съ европейской жизнію, торжественная прогулка по Италіи, вспрынувшей отъ сна, революція у подножія Везувія, революція передъ церковью св. Петра, и, наконецъ, громовая вѣсть о 24 февралѣ,— все это рассказано въ моихъ письмахъ *изъ Франціи и Италіи*. Мнѣ не передать теперь съ прежней живостью впечатлѣнія, полустертыя и задвинутыя другими. Они составляютъ необходимую часть моихъ *Записокъ*,—что-же вообще письма, какъ не *записки* о короткомъ времени.

ГЛАВА XXXV.

Медовый мѣсяцъ республики.

Англичанинъ въ мѣховой курткѣ.—Герцогъ де Ноаль.—Свобода и ея бюстъ въ Марсели.—Аббатъ Сибуръ и Всемирная республика въ Авиньонѣ.

...«Завтра мы ѣдемъ въ Парижъ, я оставляю Римъ оживленнымъ, взволнованнымъ. Что-то будетъ изъ всего этого? Прочно ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупа, запахъ прошедшаго; историческая трамонтана сильна, но, что бы ни было, благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано, то останется въ душѣ, и совершенно всего не сдуетъ же реакція».

Вотъ что я писалъ въ концѣ апрѣля 1848 г., сидя у окна на Via del Corso и глядя на «Народную» площадь, на которой я такъ много видѣлъ и такъ много чувствовалъ.

Я ѣхалъ изъ Италіи влюбленный въ нее, мнѣ жаль было ея: тамъ встрѣтилъ я не только великія событія, но и первыхъ симпатичныхъ мнѣ людей; а все-таки ѣхалъ. Мнѣ казалось измѣной всѣмъ моимъ убѣжденіямъ не быть въ Парижѣ, когда въ немъ республика. Сомнѣнія видны въ приведенныхъ строкахъ, но вѣра брала верхъ и я съ внутреннимъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ Чивитѣ на печать консульской визы, на которой были вырѣзаны грозныя слова: «République Française» — я и не подумалъ, что именно потому Франція и не республика, что надо визу!

Мы ѣхали на почтовомъ пароходѣ. Общество было довольно большое и, какъ всегда, разнообразно составленное: тутъ были путешественники изъ Александріи, Смирны, Мальты. Съ Ливорно начиная, поднялся страшный весенній вѣтеръ: онъ гналъ пароходъ съ неимоверной быстротою и съ невыносимой качкой; черезъ два-три часа палуба покрылась большими дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного сѣдого старичка французца, англичанина въ мѣховой курткѣ и мѣховой шапкѣ изъ Канады и меня. Какоты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара въ нихъ было достаточно, чтобъ заболѣтъ; мы трое ночью сидѣли по срединѣ палубы на чемоданахъ, покрывшись шинелями и рельверагами, подъ завыванье вѣтра и плескъ волнъ, заливавшихъ иногда переднюю часть палубы. Англичанина

я зналъ: въ прошедшемъ году мы ѣхали съ нимъ на одномъ пароходѣ изъ Генуи въ Чивита-Веккію. Случилось, что мы обѣдали только двое; онъ весь обѣдъ ничего не говорилъ, но за десертомъ, смягченный марсалою и видя, что и я съ своей стороны не намѣренъ вступать въ разговоръ, онъ подалъ мнѣ сигару и сказалъ, «что сигары свои онъ самъ привезъ изъ Гаванны». Потомъ мы разговорились съ нимъ: онъ былъ въ южной Америкѣ, въ Калифорніи, и говорилъ, что много разъ собирался съѣздить въ Петербургъ и въ Москву, но не поѣдетъ, пока не будетъ *правильнаго* сообщенія и прямого, между Лондономъ и Петербургомъ ¹⁾.

— Вы въ Римъ? спросилъ я его, подъѣзжая къ Чивитѣ.

— «Не знаю», отвѣчалъ онъ.

Я замолчалъ, полагая, что онъ принялъ мой вопросъ за нескромный, но онъ тотчасъ добавилъ:

— «Это зависитъ отъ того, какъ климатъ мнѣ понравится въ Чивитѣ. А вы остаетесь здѣсь?»

— Да. Пароходъ пойдетъ завтра.

Я тогда еще очень мало зналъ англичанъ и потому едва могъ скрыть смѣхъ—и совсѣмъ не могъ, когда на другой день, гуляя передъ отелемъ, встрѣтилъ его въ той-же мѣховой курткѣ, съ портфелемъ, зрительной трубкой, маленькимъ несесерчикомъ, шествующаго передъ слугой, навьюченнымъ чемоданомъ и всякимъ добромъ.

— «Я въ Неаполь», сказалъ онъ, поровнявшись.

— Что-же, климатъ не понравился?

— «Скверный».

Я забылъ сказать, что въ первый проѣздъ онъ лежалъ въ каютѣ на койкѣ, которая была непосредственно надъ моею; въ продолженіе ночи онъ раза три чуть не убилъ меня: то страхомъ, то ногами; въ каютѣ была смертная жара, онъ нѣсколько разъ ходилъ пить коньякъ съ водой, и всякій разъ, сходя или входя, наступалъ на меня и громко кричалъ, испугавшись: «Oh—begr pardon—j'ai avais soif».—«Pas de mal».

Съ нимъ, стало, въ этотъ путь мы встрѣтились какъ старые знакомые; онъ съ величайшей похвалою отозвался о томъ, что я не подверженъ морской болѣзни, и подалъ мнѣ свои гаванскія сигары. Совершенно естественно, что черезъ минуту разговоръ зашелъ о февральской революціи. Англичанинъ, разумѣется, смотрѣлъ на революцію въ Европѣ, какъ на интересное зрѣлище, какъ на источникъ новыхъ и любопытныхъ наблюдений и ощущений, и рассказывалъ о революціи въ Новоколумбійской республикѣ.

Французъ принималъ иное участіе въ этихъ дѣлахъ... Съ нимъ,

¹⁾ Теперь оно есть.

черезъ пять минутъ, у меня завязался споръ; онъ отвѣчалъ уклончиво, умно, не уступая, впрочемъ, ничего и съ чрезвычайной учтивостью. Я защищалъ республику и революцію. Старикъ, не нападая прямо на нее, стоялъ за историческія формы, какъ единственно прочныя, народныя и способныя удовлетворить и справедливому прогрессу и необходимой осѣдлости.

— Вы не можете себѣ представить, сказалъ я ему шутя, какое оригинальное наслажденіе вы доставляете мнѣ вашими недомолвками. Я лѣтъ пятнадцать говорилъ такъ о монархіи, какъ вы говорите о республикѣ. Роли перемѣнились: я, защищая республику — консерваторъ, а вы, защищая легитимистскую монархію, — *perturbateur de l'ordre politique*.

Старикъ и англичанинъ расхохотались. Къ намъ подошелъ еще одинъ тощій, высокій господинъ, котораго носъ обезсмертилъ Шаривари и Филипонъ — графъ д'Аргу (Шаривари говорилъ, что его дочь потому не выходитъ замужъ, чтобъ не подписываться: такая-то, *née d'Argout*). Онъ вступилъ въ разговоръ, съ уваженіемъ обращался со старикомъ, но на меня смотрѣлъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ, близкимъ къ отвращенію; я замѣтилъ это и сталъ говорить на четыре градуса *краснѣе*.

— Это презамѣчательная вещь, сказалъ мнѣ сѣдой старикъ, вы не первый русскій, котораго я встрѣчаю съ такимъ образомъ мыслей. Вы, русскіе, или совершеннѣйшіе рабы, или — *passer moi le mot* — анархисты. А изъ этого слѣдствіе то, что вы еще долго не будете свободными. Въ этомъ родѣ продолжался нашъ политическій разговоръ ¹⁾.

Когда мы подъѣзжали къ Марсели и всѣ стали суетиться о пожиткахъ, я подошелъ къ старику и, подавая ему свою карточку, сказалъ, что мнѣ пріятно думать, что споръ нашъ подѣ морскую качку не оставилъ непріятныхъ слѣдовъ. Старикъ очень мило простился со мной, поострилъ еще что-то насчетъ республиканцевъ, которыхъ я, наконецъ, увижу поближе, и подалъ мнѣ свою карточку. Это былъ герцогъ де Ноаль, родственникъ Бурбоновъ и одинъ изъ главныхъ совѣтниковъ Генриха V.

Случай этотъ, весьма неважный, я рассказалъ для пользы и поученія нашихъ *герцоговъ* первыхъ трехъ классовъ. Будь на мѣстѣ Ноаля какой-нибудь сенаторъ или тайный совѣтникъ, онъ просто принялъ бы мои слова за дерзость по службѣ и послалъ бы за капитаномъ корабля.

Одинъ русскій министръ въ 1850 г. ²⁾ съ своей семьей сѣдѣлъ на пароходѣ въ каретѣ, чтобъ не быть въ соприкосновеніи

¹⁾ Сужденіе это я слышалъ потомъ разъ десять.

²⁾ Знаменитый Викторъ Панинъ.

съ пассажирами изъ обыкновенныхъ смертныхъ. Можете ли вы себѣ представить что-нибудь смѣшнѣе, какъ сидѣть въ отложенной каретѣ... да еще на морѣ, да еще имѣя двойной ростъ?

Надменность нашихъ сановниковъ происходитъ вовсе не изъ аристократизма, барство выводится; это чувство ливрейныхъ, пудренныхъ слугъ въ большихъ домахъ, чрезвычайно подлыхъ въ одну сторону, чрезвычайно дерзкихъ въ другую. Аристократъ—лицо, а наши—вовсе не имѣютъ личности; они похожи на павловскія медали съ надписью: «*не намъ, не намъ, а имени твоему*». Къ этому ведетъ цѣлое воспитаніе: солдатъ думаетъ, что *его только* потому нельзя бить палками, что у него аннинскій крестъ, станціонный смотритель ставитъ между ладонью путешественника и своей щекой офицерское званіе, обиженный чиновникъ указываетъ на Станислава или Владиміра—«не собой, не собой... а чиномъ своимъ!»

Выходя изъ парохода въ Марсели, я встрѣтилъ большую процессію національной гвардіи, которая несла въ Hôtel de Ville бюстъ свободы, т. е. женщину съ огромными кудрями въ фригійской шапкѣ. Съ крикомъ: *vive la République!* шли тысячи вооруженныхъ гражданъ, и въ томъ числѣ работники въ блузахъ, взшедшіе въ составъ національной гвардіи послѣ 24 февраля. Разумѣется, что и я пошелъ за ними. Когда процессія подошла къ Hôtel de Ville, генераль, меръ и комиссаръ временнаго правительства, Демостенъ Оливье, вышли въ сѣни. Демостенъ, какъ слѣдовало ожидать по его имени, приготовился произнести рѣчь. Около него сдѣлали большой кругъ: толпа, разумѣется, двигалась впередъ, національная гвардія ее осаживала назадъ, толпа не слушалась; это оскорбило вооруженныхъ блузниковъ, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящихъ впереди; граждане «единой и нераздѣльной республики» попятились...

Дѣло это тѣмъ больше удивило меня, что я еще весь былъ подъ вліяніемъ итальянскихъ и въ особенности римскихъ нравовъ, гдѣ гордое чувство личнаго достоинства и *тѣлесной* неприкосновенности развито въ каждомъ человѣкѣ, не только въ факино, въ почталбонѣ, но и въ нищемъ, который протягиваетъ руку. Въ Романьи на эту дерзость отвѣчали бы двадцатью «колтелатами». Французы попятились,—можетъ, у нихъ были мозоли?

Случай этотъ неприятно подѣйствовалъ на меня: къ тому-же, пришедши въ hôtel, я прочелъ въ газетахъ руанскую исторію. Что-же это значитъ, неужели герцогъ Ноаль правъ?

Но когда человѣкъ хочеть вѣрять, его вѣру трудно искоренить, и, не доѣзжая до Авиньона, я забылъ марсельскіе приклады и руанскіе штывки.

Въ дилижансѣ съ нами сѣлъ дородный, осанистый аббатъ, среднихъ лѣтъ и пріятной наружности. Сначала онъ ради приличія принялся за молитвенникъ, но вскорѣ, чтобъ не дремать, онъ положилъ его въ карманъ и началъ мило и умно разговаривать, съ классической правильностью языка Пор-ройяля и Сорбонны, съ цитатами и цѣломудренными остротами.

Дѣйствительно, одни французы умѣютъ разговаривать. Нѣмцы признаются въ любви, повѣряютъ тайны, поучаютъ или ругаются. Въ Англіи оттого и любятъ рауты, что тутъ не до разговора... толпа, нѣтъ мѣста, всѣ толкуются и толкаются, никто никого не знаетъ; если же соберется маленькое общество, сейчасъ скверная музыка, фальшивое пѣніе, скучныя маленькія игры, или гости и хозяева съ необычайной тягостью волочутъ разговоръ, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчастныхъ лошадей, которыя, выбившись изъ силъ, тянутъ противъ теченія по бечевнику нагруженную барку.

Мнѣ хотѣлось подразнить аббата республикой, и не удалось. Онъ былъ доволенъ свободой *безъ излишествъ*, главное, безъ крови и войны, и считалъ Ламартина великимъ человѣкомъ, чѣмъ-то въ родѣ Перикла.

— И Сафо, добавилъ я, не вступая, впрочемъ, въ споръ, и благодарный за то, что онъ не говорилъ ни слова о религіи. Такъ, болтая, доѣхали мы до Авиньона, часовъ въ 11 вечера.

— Позвольте мнѣ, сказалъ я аббату, наливая ему за ужиномъ вино, предложить довольно рѣдкій тостъ:—За республику *et pour les hommes de l'église qui sont républicains*.

Аббатъ всталъ и заключилъ нѣсколько цитероновскихъ фразъ словами: *A la République future*.

«*A la République universelle!*»—закричалъ кондукторъ дилижанса и человѣка три, сидѣвшихъ за столомъ. Мы чокнулись.

Католическій попъ, два-три сидѣльца, кондукторъ и русскіе—какъ же не всеобщая республика?

А, вѣдь, весело было!

— Куда вы? спросилъ я аббата, усаживаясь снова въ дилижансъ и попросивъ его пастырскаго благословенія на куреніе сигары.

— Въ Парижъ, отвѣчалъ онъ, я избранъ въ національное собраніе, я буду очень радъ видѣть васъ у себя; вотъ мой адресъ. Это былъ аббатъ Сибуръ, *doyen* чего-то, братъ парижскаго архіерея.

... Черезъ двѣ недѣли наступало 15 мая, этотъ грозный ритуфель, за которыми шли страшные іюньскіе дни. Тутъ все

принадлежить не моей биографіи, а биографіи рода человѣческаго...

Объ этихъ дняхъ я много писалъ.

Я могъ бы тутъ кончить, какъ старый капитанъ въ старой пѣснѣ:

Te souviens tu?... mais ici je m'arrête,
Ici finit tout nable souvenir,

Но съ этихъ-то *проклятыхъ* дней и начинается послѣдняя часть моей жизни.

Западныя арабески.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ.

I.

СОНЪ.

Помните ли, друзья, какъ хорошъ былъ тотъ зимній день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троекъ провожали насъ до Черной Грязи, когда мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и, рыдая, разстались?

... Былъ уже вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу, вы смотрѣли печально вслѣдъ и не догадывались, что это были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были налицо, одного только не доставало, *ближайшаго изъ близкихъ*, онъ одинъ былъ далекъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ.

Это было 21 января 1847 года.

Съ тѣхъ поръ прошли семь лѣтъ ¹⁾ и *какіе семь лѣтъ!* Въ ихъ числѣ 1848 и 1852.

Чего и чего не было въ это время, и все рухнуло—общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастье.

Камня на камнѣ не осталось отъ прежней жизни. *Тогда* я былъ во всей силѣ развитія, моя предшествовавшая жизнь дала мнѣ залого. Я смѣло шелъ отъ васъ съ опрометчивой самонадѣянностью, съ надменнымъ довѣріемъ къ жизни. Я торопился оторваться отъ маленькой кучки людей, тѣсно сжившихся, близко подошедшихъ другъ къ другу, связанныхъ глубокой любовью и общимъ горемъ. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная рѣчь, я искалъ независимой арены, мнѣ хотѣлось по-пробовать свои силы на волѣ...

¹⁾ Писано въ концѣ 1853 года.

Теперь, я уже и не жду ничего, ничто, послѣ видѣннаго и испытаннаго мною, не удивитъ меня особенно и не обрадуетъ глубоко; удивленіе и радость обузданы воспоминаніями былого, страхомъ будущаго. Почти все стало мнѣ безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себѣ конецъ придетъ такъ же случайно и бессмысленно, какъ начало.

А, вѣдь, я нашелъ все, чего искалъ, даже признаніе со стороны стараго, себядовольнаго міра, да рядомъ съ этимъ утрату всѣхъ вѣрованій, всѣхъ благъ, предательство, коварные удары изъ-за угла и вообще такое нравственное растлѣніе, о которомъ вы не имѣете и понятія.

Трудно, очень трудно мнѣ начать эту часть **разказа**; отступая отъ нея, я написалъ три предшествующія **части**, но, наконецъ, мы съ нею лицомъ къ лицу. Въ сторону слабость, кто могъ пережить, тотъ долженъ имѣть силу помнить.

Съ половины 1848 года мнѣ нечего рассказывать, кромѣ мучительныхъ испытаній, неотомщенныхъ оскорбленій, незаслуженныхъ ударовъ. Въ памяти одни печальные образы, собственные и чужія ошибки: ошибки лицъ, ошибки цѣлыхъ народовъ. Тамъ, гдѣ была возможность спасенія, тамъ смерть переѣхала дорогу...

... Послѣдними днями нашей жизни въ Римѣ заключается свѣтлая часть воспоминаній, начавшихся съ дѣтскаго пробужденія мысли, съ отроческаго обрученія на Воробьевыхъ горахъ.

Испуганный Парижемъ 1847 г., я, было, раньше раскрылъ глаза, но снова увлекся событіями, кипѣвшими возлѣ меня. Вся Италия «просьпалась» на моихъ глазахъ! Я видѣлъ неаполитанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и палу, смиренно просящаго милостыню народной любви,—вихрь, поднявшій все, унесъ и меня; вся Европа взяла одръ свой и пошла—въ припадкѣ лунатизма, принятаго нами за пробужденіе. Когда я пришелъ въ себя, все исчезло,—la Sonnambula, испуганная полиціей, упала съ крыши, друзья разсѣялись, или съ ожесточеніемъ добивали другъ друга... И я очутился одинъ-одинехонекъ, между гробовъ и колыбелей—сторожемъ, защитникомъ, мстителемъ, и ничего не сумѣлъ сдѣлать, потому что хотѣлъ сдѣлать больше обыкновеннаго.

И теперь я сижу въ Лондонѣ, куда меня случайно забросило,—и остаюсь здѣсь, потому что не знаю, что изъ себя сдѣлать. Чужая порода людей кишитъ, мечется около меня, объятая тяжелымъ дыханьемъ океана; міръ, распускающійся въ хаосъ, теряющійся въ туманѣ, въ которомъ очертанія смутились, въ которомъ огонь дѣлаетъ только тусклыя пятна.

... А *та* страна, обмытая темно-синимъ моремъ, накрытая темно-синимъ небомъ... Она одна осталась свѣтлой полосой—по ту сторону кладбища.

О, Римъ, какъ люблю я возвращаться къ твоимъ обманамъ, какъ охотно перебираю я день за день время, въ которое я былъ пьянъ тобою!

... Темная ночь. Корсо покрыто народомъ, кое-гдѣ факелы. Въ Парижѣ уже съ мѣсяць провозглашена республика. Новости пришли изъ Милана: тамъ дерутся, народъ требуетъ войны, носится слухъ, что Карлъ Альбертъ идетъ съ войскомъ. Говоръ недовольной толпы похожъ на перемежающійся ревъ волны, которая то приливаетъ съ шумомъ, то тихо переводитъ духъ.

Толпы строятся, онѣ идутъ къ шемонтскому послу узнать, объявлена-ли война.

— Въ ряды, въ ряды съ нами, кричатъ десятки голосовъ.

— «Мы иностранцы».

— Тѣмъ лучше, Santo dio, вы наши гости.

Пошли и мы.

Впередъ гостей, впередъ дамъ; впередъ le donne forestiere!

И толпа съ страстнымъ крикомъ одобренія разступилась. Чичероваккіо и съ нимъ молодой римлянинъ, поэтъ народныхъ пѣсенъ, продираются съ знаменемъ, трибунъ жметъ руки дамамъ и становится съ ними во главѣ десяти-двѣнадцати тысячъ чело-вѣкъ,—и все двинулось въ томъ величавомъ и стройномъ порядкѣ, который свойствененъ только одному римскому народу.

Передовые вошли въ Палаццо и, черезъ нѣсколько минутъ, двери залы растворились на балконъ. Посолъ явился успокоить народъ и подтвердить вѣсть о войнѣ; слова его приняты съ изступленной радостью. Чичероваккіо былъ на балконѣ, сильно освѣщенный факелами и канделябрами, а возлѣ него освѣщенные знаменемъ Италіи четыре молодые женщины, всѣ *четыре русскія*—не странно-ли? Я какъ теперь ихъ вижу на этой каменной трибунѣ и внизу колыхающійся, безчисленный народъ, мѣшавшій съ крикамъ войны и проклятіями іезуитамъ громкое—*Evviva le donne forestiere*.

Въ Англіи ихъ и насъ освистали бы, осыпали бы грубостями, а, можетъ, и камнями. Во Франціи приняли бы за подкупныхъ агентовъ. А здѣсь аристократическій пролетарій, потомокъ Марія и древнихъ трибуновъ, горячо и искренно привѣтствовалъ насъ. Мы имъ были приняты въ европейскую борьбу... И съ одной Ита-ліей не прервалась еще связь любви, по крайней мѣрѣ, сердеч-ной памяти.

— И будто все это было..... опьяненіе, горячка? Можетъ—но я не завидую тѣмъ, которые не увлеклись тогда изящнымъ сно-видѣніемъ. Долго спать все-же нельзя было; неумолимый Макбетъ дѣйствительной жизни заносилъ уже свою руку, чтобъ убить «совѣтъ»...И

My dream was past—it has no further change!

II.

Въ грозу ¹⁾.

... Вечеромъ 24 іюня, возвращаясь съ place Maubert, я взошелъ въ кафе на набережной Orsay. Черезъ нѣсколько минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближе; я пошелъ къ окну: уродливая, комическая banlieu шла изъ окрестностей на помощь порядку; неуклюжіе, плюгавые полумужики и полулавочки, нѣсколько навеселѣ, въ скверныхъ мундирахъ и старинныхъ киверахъ, шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ, съ крикомъ: «Да здравствуетъ Людовикъ Наполеонъ!»

Этотъ зловѣщій крикъ я тутъ услышалъ въ первый разъ. Я не могъ выдержать и, когда они поравнялись, закричалъ изо всѣхъ силъ: «Да здравствуетъ республика!» Ближніе къ окну показали мнѣ кулаки, офицеръ пробормоталъ какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался ихъ привѣтственный крикъ чело-вѣку, шедшему казнить половинную революцію, убить половинную республику, наказать собою Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой собственный пролетаріатъ.

Двадцать пятого или шестого іюня, въ 8 часовъ утра, мы пошли съ А. на Елисейскія поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временамъ только трещала ружейная пере-стрѣлка и раздавался барабанъ. Улицы были пусты, по обѣимъ сторонамъ стояла національная гвардія. На Place de la Concorde былъ отрядъ мобили; около нихъ стояло нѣсколько бѣдныхъ женщинъ съ метлами, нѣсколько тряпичниковъ и дворниковъ изъ ближнихъ домовъ, у всѣхъ лица были мрачны и поражены ужасомъ. Мальчикъ лѣтъ 17, опираясь на ружье, что-то рассказывалъ; подошли и мы. Онъ и всѣ его товарищи, такіе же мальчики, были полупьяны, съ лицами, запачканными порохомъ, съ глазами, воспаленными отъ неспанныхъ ночей и водки; многіе дремали, упирая подбородокъ на ружейное дуло.—«Ну, ужъ тутъ что было, этого и описать нельзя»; замолчавъ, онъ продолжалъ: «да, и они таки хорошо дрались, ну, только и мы за нашихъ товарищей заплатили! сколько ихъ понадало! я самъ до дула всадилъ штыкъ пяти или шести чело-вѣкамъ—припомнѣть!» добавилъ онъ, желая себя выдать за закоснѣлаго злодѣя. Женщины были блѣдны и молчали, какой-то дворникъ замѣтилъ: «по дѣломъ мерзавцамъ»!..

. ¹⁾ Двѣ главы: „Передъ грозой“ „Послѣ грозы“ см. въ „Съ того берега“.

но дикое замѣчаніе не нашло ни малѣйшаго отзыва. Это было слишкомъ низкое общество, чтобъ сочувствовать рѣзні и несчастному мальчишкѣ, изъ котораго сдѣлали убійцу.

Мы молча и печально пошли къ Мадленѣ. Тутъ насъ остановилъ кордонъ національной гвардіи. Сначала пошарили въ карманахъ, спросили, куда мы идемъ, и пропустили; но слѣдующій кордонъ, за Мадленой, отказалъ въ пропускѣ и отослалъ насъ назадъ; когда мы возвратились къ первому, насъ снова остановили. «Да, вѣдь, вы видѣли, что мы сейчасъ тутъ шли?»—Не пропускайте, кричалъ офицеръ.—«Что, вы смѣтаете надъ нами, что-ли?» спросилъ я его.—«Тутъ нечего толковать, грубо отвѣтилъ лавочникъ въ мундирѣ,—берите ихъ, и въ полицію: одного я знаю (онъ указалъ на меня), я его не разъ видѣлъ на сходкахъ, другой долженъ быть такой-же, они оба не французы, я отвѣчаю за все—впередъ». Два солдата съ ружьями впереди, два за нами, по солдату съ каждой стороны—повели насъ. Первый встрѣтившійся челоуѣкъ былъ представитель народа, съ глупой воронкой въ петлицѣ,—это былъ Токвиль, писавшій объ Америкѣ. Я обратился къ нему и рассказалъ, въ чемъ дѣло; шутить было нечего, они безъ всякаго суда держали людей въ тюрьмѣ, бросали въ тюльерійскіе подвалы, разстрѣливали. Токвиль даже не спросилъ, кто мы; онъ весьма учтиво раскланялся и отпустилъ нижеслѣдующую пошлость: «Законодательная власть не имѣетъ никакого права вступать въ распоряженія исполнительной». Какъ-же ему было не быть министромъ при Бонапартѣ?

«Исполнительная власть» повела насъ по бульвару, въ улицу Шоссе д'Антенъ, къ комиссару полиціи. Кстати, не мѣшааетъ замѣтить, что ни при арестѣ, ни при обыскѣ, ни во время пути я не видалъ ни одного полицейскаго; все дѣлали мѣщане-воины. Бульваръ былъ совершенно пустъ, всѣ лавки заперты, жители бросались къ окнамъ и дверямъ, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди: *des émeutiers étrangers*, отвѣчалъ нашъ конвой, и добрые мѣщане смотрѣли на насъ со скрежетомъ зубовъ.

Изъ полиціи насъ отослали въ *hôtel des Capucines*; тамъ помещалось министерство иностранныхъ дѣлъ, но на это время какая-то временная полицейская комиссія. Мы съ конвоемъ взошли въ обширный кабинетъ. Плѣшивый старикъ въ очкахъ и весь въ черномъ сидѣлъ одинъ за столомъ; онъ снова спросилъ насъ все то, что спрашивалъ комиссаръ. «Гдѣ ваши виды?»—Мы ихъ никогда не носимъ, ходя гулять... Онъ взялъ какую-то тетрадь, долго просматривалъ ее, повидимому, ничего не нашелъ, и спросилъ провожатаго: «Почему вы захватили ихъ?»—Офицеръ велѣлъ; онъ говоритъ, что это очень подозрительные люди.—«Хорошо, сказалъ старикъ, я разберу дѣло, вы можете идти».

Когда наши провожатые ушли, старикъ просилъ насъ объяснить причину нашего ареста. Я ему изложилъ дѣло, прибавилъ, что офицеръ, можетъ, видѣлъ меня 15 мая у Собранія, и рассказалъ случай, бывший со мной вчера: я сидѣлъ въ кафе Комартенъ, вдругъ сдѣлалась фальшивая тревога, эскадронъ драгунъ пронесся во весь опоръ, національная гвардія стала строиться, я и человекъ пять, бывшихъ въ кафе, подошли къ окну; національный гвардеецъ, стоявшій внизу, грубо закричалъ; «Слышали, что-ли, чтобъ окна были затворены?» Тонъ его далъ мнѣ право думать, что онъ не сомной говоритъ, и я не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на его слова; къ тому-же я былъ не одинъ, а случайно стоялъ впереди. Тогда защитникъ порядка поднялъ ружье и, такъ какъ это происходило въ *rez-de-chaussée*, хотѣлъ пырнуть штыкомъ, но я замѣтилъ его движеніе, отступилъ и сказалъ другимъ: «Господа, вы свидѣтели, что я ему ничего не сдѣлалъ,—или это такой обычай у національной гвардіи колотъ иностранцевъ!» *Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom!* подхватили мои сосѣди. Испуганный трактирщикъ бросился закрывать окна, сержантъ съ подлой наружностью явился съ приказомъ гнать всѣхъ изъ кофейной; мнѣ казалось, что это былъ тотъ самый господинъ, который велѣлъ насъ остановить. Къ тому-же кафе Комартенъ въ двухъ шагахъ отъ Мадлены.

— Вотъ то-то, господа, видите, что значитъ неосторожность, зачѣмъ въ такое время выходить со двора, умы раздражены, кровь течетъ...

Въ это время національный гвардеецъ привелъ какую-то служанку, говоря, что офицеръ ее схватилъ въ то самое время, какъ она хотѣла бросить въ ящикъ письмо, адресованное въ Берлинъ. Старикъ взялъ пакетъ и велѣлъ солдату идти.

— Вы можете отправляться домой, сказалъ онъ намъ, только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который васъ схватилъ. Да, стойте, я вамъ дамъ провожатаго, онъ васъ выведетъ на Елисейскія поля, тамъ можете пройти.

— Ну и вы, замѣтилъ онъ служанкѣ, отдавая письмо, до котораго не дотронулся, бросьте ваше письмо въ другой ящикъ, гдѣ-нибудь подальше.

Итакъ, полиція защищала отъ вооруженныхъ мѣщанъ!

Ночью, съ 26 на 27 іюня, рассказываетъ Пьеръ Леру, онъ былъ у Сенара, прося его распорядиться насчетъ плѣнныхъ, которые задыхались въ подвалахъ Тюльери. Сенаръ, человекъ извѣстный своимъ отчаяннымъ консерватизмомъ, сказалъ Пьеръ Леру: «А кто будетъ отвѣчать за ихъ жизнь на дорогѣ? ихъ перебьетъ національная гвардія. Если-бъ вы пришли часомъ раньше, вы застали бы здѣсь двухъ полковниковъ, я насилу ихъ унялъ,

и кончилъ тѣмъ, что сказалъ имъ, что если эти ужасы будутъ продолжаться, то я, вмѣсто президентскаго стула въ Собраніи, займу мѣсто за баррикадой».

Часа черезъ два, по возвращеніи домой, явился дворникъ, незнакомый человѣкъ во фракѣ и человѣка четыре въ блузахъ, дурно скрывавшихъ муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомецъ разстегнулъ фракъ и жилетъ и, съ достоинствомъ указывая на трехцвѣтный шарфъ, сказалъ, что онъ комиссаръ полиціи Барле (тотъ самый, который въ народномъ собраніи второго декабря взялъ за шиворотъ человѣка, взяшаго въ свою очередь Римъ—генерала Удино), и что ему велѣно сдѣлать у меня обыскъ. Я подалъ ему ключъ, и онъ принялся за дѣло совершенно такъ, какъ въ 1834 году полицмейстеръ Миллеръ.

Взошла моя жена; комиссаръ, какъ нѣкогда жандармскій офицеръ, пріѣзжавшій отъ Дубельта, сталъ извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда онъ, въ заключеніе рѣчи, просилъ быть снисходительной: «Это было бы жестокостью съ моей стороны не взойти въ ваше положеніе, вы уже довольно наказаны обязанностью дѣлать то, что вы дѣлаете».

Комиссаръ покраснѣлъ, но не сказалъ ни слова. Порывшись въ бумагахъ и отложивъ цѣлый ворохъ, онъ вдругъ подошелъ къ камину, понюхалъ, потрогалъ золу и, важно обращаясь ко мнѣ, спросилъ:—Съ какой цѣлью жгли вы бумаги?

— Я не жегъ бумагъ.

— Помилуйте, зола еще теплая.

— Нѣтъ, она не теплая.

— Monsieur, vous parlez à un magistrat?

— А зола все же холодная, сказалъ я, вспыхнувъ и поднявъ голосъ.

— Что же, я лгу?

— Почему же вы имѣете право сомнѣваться въ моихъ словахъ... Вотъ съ вами какіе-то *честные работники*, пусть попробуютъ. Ну, да если-бъ я и жегъ бумагу: во-первыхъ, я въ правѣ жечь, а во-вторыхъ, что же вы сдѣлаете?

— Больше у васъ нѣтъ бумагъ?

— Нѣтъ.

— У меня есть еще нѣсколько писемъ и презанимательныхъ, пойдемте ко мнѣ, сказала жена.

— Помилуйте, ваши письма...

— Пожалуйста, не церемоньтесь... вѣдь, вы исполняете вашъ долгъ, пойдемте. Комиссаръ пошелъ, слегка взглянулъ на письма большей частію изъ Италіи и хотѣлъ выйти...

— А вотъ вы и не видали, что тутъ внизу—письмо изъ Консьержри, отъ арестанта, видите, не хотите-ли взять съ собой?

— Помилуйте, сударыня, отвѣчалъ квартальный республики,—вы такъ предубѣждены, мнѣ этого письма вовсе ненужно.

— Что вы намѣрены сдѣлать съ русскими бумагами?—спросилъ я.

— Ихъ переведутъ.

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, откуда вы возьмете переводчика: если изъ русскаго посольства, то это равняется доносу, вы погубите пять-шесть человѣкъ. Вы меня искренно обяжете, если упомянете въ *procès verbal*, что я настоятельно прошу взять переводчика изъ польской эмиграціи.

— Я думаю, что это можно.

— Благодарю васъ; да вотъ еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

— Немного.

— Я вамъ покажу два письма, въ нихъ слово Франція не упомянуто, писавшій ихъ въ рукахъ сардинской полиціи, вы увидите по содержанію, что ему плохо будетъ, если письма дойдутъ до нея.

— *Mais ah ça!* замѣтилъ комиссаръ, начинавшій входить въ человѣческое достоинство, вы, кажется, думаете, что мы въ связи со всѣми *деспотическими* полиціями. Намъ дѣла нѣтъ до чужихъ. Поневолѣ мы должны брать мѣры у себя, когда на улицахъ льется кровь и когда иностранцы мѣшаются въ наши дѣла.

— Очень хорошо, стало, вы письмо можете оставить.

Комиссаръ не солгалъ, онъ дѣйствительно *немного* зналъ по-итальянски, и потому, повертѣвши письма, положилъ ихъ въ карманъ, обѣщаясь возвратить.

Тѣмъ его визитъ и кончился. Письма итальянца онъ отдалъ на другой день, но мои бумаги канули въ воду. Прошелъ мѣсяць, я написалъ письмо къ Кавеньяку, спрашивая его, отчего полиція не возвращаетъ моихъ бумагъ и не говоритъ о томъ, что нашла въ нихъ,—вещь, можетъ, очень неважная для нея, но чрезвычайно важная для моей чести.

Послѣднее было вотъ на чемъ основано. Нѣсколько знакомыхъ вступились за меня, находя безобразнымъ визитъ комиссара и задерживаніе бумагъ. «Мы желали удостовѣриться, сказалъ Ламорисьеръ, не *агентъ-ли онъ русскаго правительства*». Это гнусное подозрѣніе я услышалъ тутъ въ первый разъ: для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла такъ публично, такъ открыто, какъ въ хрустальномъ ульѣ, и вдругъ сильное обвиненіе и отъ кого?—отъ республиканскаго правительства!

Черезъ недѣлю меня потребовали въ префектуру; Барле былъ со мною; насъ принялъ въ кабинетѣ Дюку молодой чиновникъ, очень похожій на петербургскаго начальника отдѣленія изъ развязныхъ.

— Генераль Кавеньякъ, сказалъ онъ мнѣ, поручилъ префекту возвратить ваши бумаги безъ малѣйшаго разбора. Свѣдѣнія, собранныя о васъ, дѣлають его совершенно излишнимъ, на васъ не падаетъ никакого подозрѣнія, вотъ ваша портфель, неудобно ли вамъ подписать предварительно эту бумагу.

Это была расписка въ томъ, что «бумаги *все* сполна мнѣ возвращены».

Я приостановился и спросилъ, не будетъ ли правильнѣе, если я пересмотрю бумаги.

- До нихъ не дотрогивались. Впрочемъ, вотъ печать.
- Печать цѣла, замѣтилъ успокоительно Барле.
- Моей печати тутъ нѣтъ. Да ее и не прикладывали.
- Это моя печать, да, вѣдь, у васъ былъ ключикъ.

Не желая отвѣчать грубостью, я улыбнулся. Это взбѣсило обоихъ, начальникъ отдѣленія сдѣлался начальникомъ департамента, схватилъ ножикъ и, взрѣзывая печать, сказалъ довольно грубымъ тономъ:

— Пожалуй, смотрите, коли не вѣрите, только у меня нѣтъ столько свободного времени, и онъ вышелъ, кланаясь съ важностью.

То, что они разсердились, убѣдило меня, что бумагъ дѣйствительно не смотрѣли, и потому, едва бросивъ взглядъ, я далъ расписку и отправился домой.

IV.

Примѣты.

...Нехорошо было и дома; мы слишкомъ настрадались, слишкомъ много видѣли; тишина и подавленность, наступившія послѣ битвы и ужасовъ перваго гоненія, дали назрѣть всему черному и грустному, запавшему въ душу.

Черезъ мѣсяць я писалъ: «Вечеромъ 26 іюня, послѣ побѣды, мы слушали правильные залпы съ небольшими разстановками и съ барабаннымъ боемъ... Вѣдь, это разстрѣливають! сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ

лобъ къ стеклу окна и молчалъ; за такія минуты ненавидятъ десять лѣтъ, мстятъ всю жизнь».

А жена моя около того же времени писала въ Москву: «Я смотрю на дѣтей и плачу; мнѣ становится страшно, я не смѣю больше желать, *чтобъ они были живы*, можетъ, и ихъ ждетъ такая ужасная доля». Какъ много надобно было проработать, чтобъ мысль эта могла явиться въ сердцѣ матери, страстно любившей дѣтей, и насколько больше, чтобъ найти силу высказать ее, да еще письменно. Въ этихъ словахъ отголосокъ всего пережитаго, послѣдній слѣдъ потерянныхъ вѣрованій, замѣненныхъ страшными воспоминаніями. Въ нихъ виднѣются и омнибусы, набитые трупами, и плѣнные съ связанными руками, провожаемые ругательствомъ, и бѣдный глухонѣмой мальчикъ, подстрѣленный въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашихъ воротъ... за то, что не слышалъ: «Passez au large!»

Реакція торжествовала; сквозь блѣдно-синюю республику виднѣлись черты претендентовъ; національная гвардія ходила на охоту по блузамъ, префектъ полиціи дѣлалъ облавы по рощамъ и катакомбамъ, отыскивая скрывавшихся. Люди менѣе воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родномъ языкѣ: Т. жили въ томъ-же домѣ, М. Θ. у насъ, А. и И. Т. приходили всякій день; но все глядѣло въ даль, кружокъ нашъ расходился. Парижъ, вымытый кровью, не удерживалъ больше; всѣ собирались ѣхать безъ особенной необходимости, вѣроятно, думая спастись отъ внутренней тягости, отъ іюньскихъ дней, вошедшихъ въ кровь, и которые они везли съ собой.

Зачѣмъ не уѣхалъ и я? Многое было бы спасено, и мнѣ не пришлось бы принести столько человѣческихъ жертвъ и столько самого себя на закланіе богу жестокому и беспощадному.

День нашей разлуки съ Т-ми и съ М. Θ. какъ-то особо каркнулъ ворономъ въ моей жизни: я и этотъ сторожевой крикъ пропустилъ безъ вниманія, какъ сотни другихъ.

Всякій человѣкъ, много испытавшій, припомнить себѣ дни, часы, рядъ едва замѣтныхъ точекъ, съ которыхъ начинается переломъ, съ которыхъ вѣтеръ тянетъ съ другой стороны; эти знаменія или предостереженія вовсе не случайны: они послѣдствія, печальныя воплощенія готоваго вступить въ жизнь, обличенія тайно бродящаго и уже существующаго. Мы не замѣчаемъ эти психическія *примѣты*, смѣемся надъ ними, какъ надъ просыпанной солонкой и потушеной свѣчей, потому что считаемъ себя несравненно независимѣе, нежели каковы мы на дѣлѣ, и гордо хотимъ сами управлять своей жизнію.

Наканунѣ отъѣзда нашихъ друзей они и еще человѣка три-

четыре близкихъ знакомыхъ собрались у насъ. Путешественники должны были быть на желѣзной дорогѣ въ 7 часовъ утра; ложиться спать не стоило труда, всѣмъ хотѣлось лучше вмѣстѣ провести послѣдніе часы. Сначала все шло живо, съ тѣмъ нервнымъ раздраженіемъ, которое всегда бываетъ при разлукѣ, но мало-по-малу темное облако стало заволакивать всѣхъ; разговоръ не клеился, всѣмъ сдѣлалось не по-себѣ, налитое вино выдыхалось, натянутыя шутки не веселили. Кто-то, увидя разсвѣтъ, отдернулъ занавѣску, и лица освѣтились синевато-блѣднымъ цвѣтомъ, какъ на римской оргіи Кутюра.

Всѣ были печальны; я задыхался отъ грусти.

Жена моя сидѣла на небольшомъ диванѣ, передъ ней на колѣнахъ и, скрывая лицо на ея груди, стояла младшая дочь Т. «*Consuelo di sua alpa*», какъ она ее звала. Она любила страстно мою жену и ѣхала отъ нея по неволѣ въ глушь деревенской жизни; ея сестра грустно стояла возлѣ. Консуэла шептала что-то сквозь слезы, а въ двухъ шагахъ, молча и мрачно, сидѣла М. Ѳ.; она давно свыклась съ покорностью судьбѣ, она знала жизнь, и въ ея глазахъ было просто «прощайте», тогда какъ сквозь слезы молодыхъ дѣвушекъ все-таки просвѣчивало «до свиданья».

Потомъ мы поѣхали ихъ провожать. Въ высококомъ, пустомъ каменномъ амбаркадерѣ было пронзительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной вѣтеръ дулъ со всѣхъ сторонъ. Мы уѣхали въ углу на лавкѣ; Т. пошелъ хлопотать съ чемоданами. Вдругъ дверь отворилась и два пьяныхъ старика шумно вошли въ залу. Платья ихъ были замараны, лица искажены, отъ нихъ несло дикимъ развратомъ. Они вошли ругаясь, одинъ хотѣлъ ударить другого, тотъ посторонился и, размахнувшись, что есть силы, ударилъ его самого въ лицо: пьяный старикъ полетѣлъ со всѣхъ ногъ. Голова его съ какимъ-то дребезжащимъ, пронзительнымъ звукомъ щелкнулась о каменный полъ; онъ вскрикнулъ, приподнялъ голову, кровь лилась ручьями по сѣдымъ волосамъ и камнямъ. Полиція и пассажиры съ неистовствомъ бросились на другого старика.

Съ вечера раздраженные, взволнованные, въ натянутомъ состояніи, мы крѣпились, но страшное эхо, раздавшееся въ огромной залѣ отъ костяного звука ударившагося черепа, произвело во всѣхъ что-то истерическое. Нашъ домъ и весь нашъ кругъ былъ во всѣ времена чистъ и свободенъ отъ «траги-нервическихъ явленій»; но это было сверхъ силъ, я чувствовалъ дрожь во всемъ тѣлѣ, жена моя была близка къ обмороку, а тутъ звонокъ... Пора, пора! и мы остались вдругъ за рѣшеткой—одни.

Ничего нѣтъ грубѣе и оскорбительнѣе для расстающагося, какъ полицейскія мѣры во Франціи на желѣзныхъ дорогахъ; онѣ

крадутъ у остающагося послѣднія двѣ-три минуты... *Они* еще тутъ, машина не свистнула еще, поѣздъ не отошелъ, но между вами загородка, стѣна и рука полицейскаго, а вамъ хочется видѣть, какъ сядутъ, какъ тронутся съ мѣста, потомъ слѣдить за отдаленіемъ, за пылью, дымомъ, точкой, слѣдить, когда уже ничего не видать...

...Молча пріѣхали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэлы; по временамъ, завертываясь въ шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этотъ звукъ, онъ у меня въ ушахъ».

Дома я уговорилъ ее прилечь, а самъ сѣлъ читать газеты; читалъ, читалъ и *premier Page*, и фельетоны, и смѣсь, взглянулъ на часы—еще не было двѣнадцати... Вотъ день! Я пошелъ къ А., онъ тоже ѣхалъ на дняхъ; съ нимъ мы отправились гулять, улицы были скучнѣе чтенія, такая тоска... точно угрызения совѣсти.

— Пойдемте ко мнѣ обѣдать, сказалъ я, и мы пошли. Жена моя была рѣшительно больна.

Вечеръ былъ безсвязенъ, глупъ.

— Итакъ, рѣшено, спросилъ я А., прощаясь,—вы ѣдете въ концѣ недѣли?

— Рѣшено.

— Жутко будетъ вамъ въ Россіи.

— Что дѣлать, мнѣ ѣхать необходимо, въ Петербургъ я не останусь, уѣду въ деревню. Вѣдь, и здѣсь теперь не Богъ знаетъ какъ хорошо, какъ бы вамъ не пришлось раскаяться, что остаетесь?

Я тогда еще могъ возвратиться, корабли не были сожжены, Ребилъ и Карлье не писали еще своихъ доносовъ; но внутри дѣло было рѣшено. Слова А., между тѣмъ, все-таки неприятно коснулись моихъ обнаженныхъ нервъ, я подумалъ и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, для меня выбора нѣтъ, я долженъ остаться—и если раскаюсь, то скорѣе въ томъ, что не взялъ ружья, когда мнѣ его подавалъ работникъ за баррикадой на *Place Maubert*.

Много разъ въ минуты отчаянія и слабости, когда горечь переполняла мѣру, когда вся моя жизнь казалась мнѣ одной продолжительной ошибкой, когда я сомнѣвался въ самомъ себѣ, въ *послѣднемъ*, въ *остальномъ*,—приходили мнѣ въ голову эти слова: «Зачѣмъ не взялъ я ружья у работника и не остался за баррикадой». Незвначай сраженный пулей, я унесъ бы съ собой въ могилу еще два-три вѣрованья.

И опять потянулось время... день за день... сѣрое, скучное... мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. Къ зимѣ стали являться изгнанники другихъ странъ, спасшіеся матросы другихъ кораблекрушеній; полные самоуверенности, надеждъ, они принимали реакцію, подымавшуюся во

всей Европѣ, за мимолетный вѣтеръ, за легкую неудачу, они ждали завтра, черезъ недѣлю, свой чередъ...

Я чувствовалъ, что они ошибаются, но мнѣ нравилась ихъ ошибка, я старался быть непослѣдовательнымъ, боролся съ собой и жилъ въ какомъ-то тревожномъ раздраженіи. Время это осталось у меня въ памяти, какъ чадный, угарный день... Я метался отъ тоски туда, сюда, искалъ разсѣяній... въ книгахъ, въ шумѣ, въ домашнемъ отшельничествѣ, на людяхъ, но все чего-то недоставало, смѣхъ не веселилъ, тяжело пьянило вино, музыка рѣзала по сердцу, и веселая бесѣда оканчивалась почти всегда мрачнымъ молчаніемъ.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидныя противорѣчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нѣтъ. Давно оконченныя основы нравственнаго быта превращались опять въ вопросы; факты сурово подымались со всѣхъ сторонъ и опровергали ихъ. Сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена... изъ общихъ идей оно пробиралось въ жизнь. Пропастъ лежитъ между теоретическимъ отрицаніемъ и сомнѣніемъ, переходящимъ въ поведеніе, мысль смѣла, языкъ дерзокъ, онъ легко произноситъ слова, отъ которыхъ сердце бьется, въ груди еще тлѣютъ вѣрованія и надежды тогда, когда забѣжавшій умъ качаетъ головой. Сердце отстаеетъ, потому что любить,—и когда умъ приговариваетъ и казнить, оно еще прощается.

Можетъ, въ юности, когда все кипитъ и несется, когда такъ много будущаго, когда потеря однихъ вѣрованій расчищаетъ мѣсто другимъ, можетъ, въ старости, когда все становится безразлично отъ усталости, эти переломы дѣлаются легче;—но nel mezzo del camin dī nostra vita, они достаются не даромъ.

Что-же, наконецъ, все это—шутка? Все завѣтное, что мы любили, къ чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, исторія обманула, обманула въ свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшіе, и дѣла нѣтъ, что съ ними будетъ, когда они придутъ въ себя, она ихъ употребила,—пусть доживаютъ свой вѣкъ въ инвалидномъ домѣ. Стыдъ, досада! А тутъ возлѣ просто-сердечные друзья жмутъ плечами, удивляются вашему малодушію, вашему нетерпѣнію, ждуть завтрашняго дня и, вѣчно озабоченные, вѣчно занятые однимъ и тѣмъ же, ничего не понимаютъ, не останавливаются ни передъ чѣмъ, вѣчно идутъ—и все ни съ мѣста... Они васъ судятъ, утѣшаютъ, журятъ,—какая скука, какое наказанье!

«Люди вѣры, люди любви», какъ они называютъ себя въ противоположность намъ, людямъ «сомнѣнья и отрицанія», не знаютъ,

что такое полоть съ корнемъ упованія, взлелѣянная цѣлой жизнью, они не знаютъ *болѣзни истины*, они не отдавали никакого со-кровища съ тѣмъ «громкимъ воплемъ», о которомъ говоритъ поэтъ:

Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen,
Und weinte laut und gab sie hin.

Счастливые безумцы, никогда не трезвѣющіе, имъ незнакома внутренняя борьба, они страдаютъ отъ внѣшнихъ причинъ, отъ злыхъ людей и случайностей; внутри все цѣло, совѣсть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащій другихъ, имъ кажется капризомъ, эпикуреизмомъ сытаго ума, праздною ироніей. Они видятъ, что раненый смѣется надъ своей деревяшкой, и заключаютъ, что ему операція ничего не стоила; имъ въ голову не приходитъ, отчего онъ состарѣлся не по лѣтамъ, и какъ ноетъ отнятая нога при перемѣнѣ погоды, при дуновеніи вѣтра.

Моя логическая исповѣдь, исторія недуга, черезъ который пробивалась оскорбленная мысль, осталась въ рядѣ статей, составившихъ «Съ того берега». Я въ себѣ преслѣдовалъ ими послѣдніе идолы, я ироніей мстилъ имъ за боль и за обманъ, я не надъ ближнимъ издѣвался, а надъ самимъ собой и, снова увлеченный, мечталъ уже быть свободнымъ, но тутъ-то и запылся. Утративъ вѣру въ слова и знамена, въ канонизированное челоѣчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи, я вѣрилъ въ нѣсколько челоѣкъ, вѣрилъ въ себя.

Видя, что все рушится, я хотѣлъ спастись, начать новую жизнь, отойти съ друмя-тремя въ сторону, бѣжать, скрыться отъ... лишнихъ. И я надменно поставилъ заглавіемъ послѣдней статьи: *Omnia mea mecum porto!*

Жизнь распуценная, опаленная, полуувядшая въ омутѣ событій, въ круговоротѣ общихъ интересовъ,—обособлялась, снова сводилась на періодъ юнаго лиризма, безъ юности, безъ вѣры. Съ этимъ *fata da me* моя лодка должна была разбиться о подводные камни—и разбилась. Правда, я уцѣлѣлъ, но *безъ всего...*

V

Тифоидная горячка.

Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потомъ сдѣлалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла. Райе, извѣстный докторъ, совѣтовалъ ее прокатить, не смотря на зимній день. Погода была прекрасная, но не теплая.

Когда ее привезли домой, она была необыкновенно блѣдна, просила ѣсть и, не дождавшись бульона, уснула возлѣ насъ на диванѣ; прошло нѣсколько часовъ, сонъ продолжался. Фогтъ, братъ натуралиста, студентъ медицины, случился у насъ. «Посмотрите, сказалъ онъ, на ребенка, вѣдь, это вовсе неестественный сонъ». Мертвая, слегка синеватая блѣдность лица испугала меня, я положилъ руку на лобъ, лобъ былъ совершенно холодный. Я бросился самъ къ Райе, по счастью засталъ его дома и привезъ съ собою. Малютка не просыпалась; Райе приподнялъ ее, сильно потрясъ и заставилъ меня громко звать ее по имени... Она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тѣмъ-же сномъ, тяжелымъ, мертвымъ, дыханье едва-едва было замѣтно. Въ этомъ состояніи, съ небольшими перемѣнами, она оставалась нѣсколько дней, безъ пищи и почти безъ питья; губы почернѣли, ногти сдѣлались синіе, на тѣлѣ показались пятны, это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не дѣлалъ, ждалъ, слѣдилъ за болѣзнью и не слишкомъ обнадеживалъ.

Видъ ребенка былъ страшень, я ждалъ съ часа на часъ смерти. Блѣдная и молчащая сидѣла моя жена, день и ночь, у кровати, глаза ея покрылись тѣмъ жемчужнымъ отливомъ, которымъ высказывается усталъ, страданіе, истощеніе силъ и неестественное напряженіе нервъ. Разъ, часу во второмъ ночи, мнѣ показалось, что Тата не дышитъ; я смотрѣлъ на нее, скрывая ужасъ, жена моя догадалась. «У меня кружится въ головѣ, сказала она мнѣ, дай воды». Когда я подаль стаканъ, она была безъ чувствъ. И. Т., приходившій дѣлать мрачные часы наши, побѣжалъ въ аптеку за аммоніакомъ,—я стоялъ неподвижно, между двумя обмершими тѣлами, смотрѣлъ на нихъ и ничего не дѣлалъ. Горничная терла руки, мочила виски моей женѣ. Черезъ нѣсколько минутъ она пришла въ себя.—Что? спросила она.—«Кажется, Тата открывала глаза», сказала наша добрая, милая Луиза. Я посмотрѣлъ—будто просыпается; я назвалъ ее шепотомъ по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. Съ этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злѣе, мучительнѣе разлагаютъ человѣка, чѣмъ дѣтскія болѣзни, я и ихъ знаю, но *тупого* яда, берушаго истомой, обезсиливающаго въ тиши, оскорбляющаго страшной ролью празднаго свидѣтеля—хуже нѣтъ.

Кто разъ на своихъ рукахъ держалъ младенца и чувствовалъ, какъ онъ холодѣлъ, тяжелѣлъ, становился каменнымъ; кто слышалъ послѣдній стонъ, которымъ тщедушный организмъ умоляетъ о пощадѣ, о спасеніи, просится остаться на свѣтѣ; кто видѣлъ на своемъ столѣ красивый гробикъ, обитый розовымъ атласомъ, и бѣленькое платьице съ кружевами, такъ отличающееся отъ жел-

таго личика, тотъ при каждой дѣтской болѣзни будетъ думать: отчего же не быть и другому гробику—вотъ на этомъ столѣ?

Несчастье самая плохая школа! Конечно, человекъ, много испытавшій, выносливѣе, но, вѣдь, это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человекъ изнашивается и становится трусливѣе отъ перенесеннаго. Онъ теряетъ ту увѣренность въ завтрашнемъ днѣ, безъ которой ничего дѣлать нельзя; онъ становится равнодушнѣе, потому что свыкается съ страшными мыслями, наконецъ, онъ боится несчастій эгоистически, т. е. боится снова почувствовать рядъ щемящихъ страданій, рядъ замираній сердца, память о которыхъ не разносится съ тучами.

Стонъ больного ребенка наводитъ на меня такой внутренній ужасъ, обдаетъ такимъ холодомъ, что я долженъ дѣлать большія усилія, чтобъ побѣдить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи, я въ первый разъ пошелъ пройтись; на дворѣ было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеемъ; но, несмотря ни на холодъ, ни на ранній часъ, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки съ крикомъ продавали бюллетени,—слишкомъ пять миллионъ голосовъ клали связанную Францію къ ногамъ Людовика Наполеона.

Осиротѣвшая передняя нашла, наконецъ, своего барина!

ГЛАВА XXXVI.

La Tribune des Peuples.—Мицкевичъ и Рамонъ-де-ла-Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижѣ.—Отѣздъ.

Я оставилъ Парижъ осенью 1847 г., не завязавши никакихъ связей; литературные и политическіе кружки оставались мнѣ совершенно чуждыми. Причинъ на это было много. Прямого случая не представлялось,—искать я не хотѣлъ. Ходить только, чтобы смотрѣть знаменитости, я считалъ неприличнымъ. Къ тому же мнѣ очень мало нравился тонъ снисходительнаго превосходства французовъ съ русскими: они одобряютъ, поощряютъ насъ, хвалятъ наше произношеніе и наше богатство; мы выносимъ все это и являемся къ нимъ какъ просители, даже отчасти какъ виноватые, радуясь, когда они изъ учтивости принимаютъ насъ за французовъ. Французы забрасываютъ насъ словами, мы за ними не поспѣваемъ, думаемъ объ отвѣтѣ, а имъ дѣла нѣтъ до него; намъ совѣстно показать, что мы замѣчаемъ ихъ ошибки, ихъ невѣжество,—они пользуются всѣмъ этимъ съ безнадежнымъ довольствомъ собой.

Чтобы стать съ ними на другую ногу, надобно *импонировать*; на это необходимы разныя права, которыхъ у меня тогда не было, и которыми я тотчасъ воспользовался, когда они слушались подъ рукою.

Не должно, сверхъ того, забывать, что нѣтъ людей, съ которыми было бы легче завести шапочное знакомство, какъ съ французами, и нѣтъ людей, съ которыми было бы труднѣе въ самомъ дѣлѣ сойтись. Французъ любитъ жить на людяхъ, чтобы себя показать, чтобы имѣть слушателей, и въ этомъ онъ такъ же противоположенъ англичанину, какъ и во всемъ остальномъ. Англичанинъ всегда смотритъ на людей отъ скуки, смотритъ, какъ изъ партера, употребляетъ людей для развлечения, для полученія свѣдѣній; англичанинъ постоянно спрашиваетъ, а французъ постоянно отвѣчаетъ. Англичанинъ все недоумѣваетъ, все обдумываетъ,—французъ все знаетъ положительно, онъ конченъ и готовъ, онъ дальше не пойдетъ; онъ любитъ проповѣдывать, рассказывать, поучать,—чему? кого? все равно. Потребности личнаго сближенія у него нѣтъ, кафе его вполнѣ удовлетворяетъ, онъ, какъ Репетилловъ, не замѣчаетъ, что вмѣсто Чацкаго стоитъ Скалозубъ, вмѣсто Скалозуба—Загорѣцкій, и продолжаетъ толковать о камерѣ, присяжныхъ, о Байронѣ (котораго называетъ Биронъ) и о матеряхъ важныхъ.

Возвратившись изъ Италіи, еще неостывшій отъ февральской революціи, я натолкнулся на 15 мая, потомъ протрадалъ іюньскіе дни и осадное положеніе. Тогда я еще глубже вглядѣлся въ вольтеровскаго *tigresinge*,—и у меня прошло даже желаніе знакомиться съ сильными республики сей.

Разъ представлялась было возможность общаго труда, которая могла привести въ сношеніе со многими лицами, да и та не удалась. Графъ Ксаверій Браницкій далъ 70,000 франковъ на основаніе журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и въ особенности Польскимъ вопросомъ. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французскія газеты занимаются мало и плохо тѣмъ, что дѣлается внѣ Франціи; во время республики онѣ думали, что достаточно подчасъ ободрить всѣ языцы словомъ *solidarité des peuples*, обѣщаніемъ, какъ только дома обдосужатся, завести всемірную республику, основанную на всеобщемъ братствѣ. При средствахъ, которыя имѣлъ новый журналъ, названный «Народной Трибуной», изъ него можно было сдѣлать международный «Мониторъ» движенія и прогресса. Его успѣхъ былъ тѣмъ вѣрнѣе, что всеобщихъ газетъ вовсе нѣтъ; въ *Теймсъ* и *Journal des Debats* бывають превосходныя статьи о специальныхъ вопросахъ, но безъ связи, случайно, отрывочно. Редакція

Аугсбургской Газеты была бы дѣйствительно самая всеобщая, если-бъ отъ ея *черно-желтаго* направленія не такъ грубо рябило въ глазахъ.

Но, видно, всѣмъ добрымъ начинаніямъ 1848 г. было на роду написано родиться на седьмомъ мѣсяцѣ и умереть прежде перваго зуба. Журналъ пошелъ плохо, вяло—и умеръ при избіеніи невинныхъ листовъ послѣ 14 іюня 1849.

Когда все было готово и на чеку: домъ былъ нанятъ и устроенъ, съ большими столами, покрытыми сукномъ, и маленькими косыми конторками; тощій французскій литераторъ былъ приставленъ смотрѣть за международными ореографическими ошибками; при редакціи учрежденъ совѣтъ изъ бывшихъ польскихъ нунціевъ и сенаторовъ, а главнымъ завѣдывателемъ назначенъ Мицкевичъ, въ помощники которому данъ Хоецкій,—оставалось торжественно начать, и когда же лучше, какъ не въ годовщину 24 февраля, и чѣмъ же приличнѣе, какъ не ужиномъ?

Ужинъ былъ назначенъ у Хоецкаго. Приѣхавъ, я засталъ уже довольно много гостей, въ числѣ которыхъ не было почти ни одного француза, зато другія націи, отъ Сициліи до кроатовъ, были хорошо представлены. Меня собственно интересовало одно лицо—Адамъ Мицкевичъ; я его никогда прежде не видалъ. Онъ стоялъ у камина, опершись локтемъ о мраморную доску. Кто видѣлъ его портретъ, приложенный къ французскому изданію и снятый, кажется, съ медальона Давида д'Анже, тотъ могъ бы тотчасъ узнать его, несмотря на большую перемѣну, внесенную лѣтами. Много думъ и страданій сквозили въ его лицѣ, скорѣе литовскомъ, чѣмъ польскомъ. Общее впечатлѣніе его фигуры, головы съ пышными сѣдыми волосами и усталымъ взглядомъ выражало пережитое несчастіе, знакомство съ внутреннею болью, экзальтацію горести; это былъ пластическій образъ *судебъ Польши*. Подобное впечатлѣніе дѣлало на меня потомъ лицо Ворцеля; впрочемъ, черты его, еще болѣе болѣзненные, были живѣе и привѣтливѣе, чѣмъ у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, разсѣивало; это *что-то* былъ его странный мистицизмъ, въ который онъ заступалъ дальше и дальше.

Я подошелъ къ нему, онъ меня сталъ спрашивать о Россіи; свѣдѣнія его были отрывочны, литературное движеніе послѣ Пушкина онъ мало зналъ, остановившись на томъ времени, на которомъ покинулъ Россію. Несмотря на свою основную мысль о братственномъ союзѣ всѣхъ славянскихъ народовъ, мысль, которую онъ одинъ изъ первыхъ сталъ развивать, въ немъ оставалось что-то непріязненное къ Россіи.

Первое, что меня какъ-то непріятно удивило, было обращеніе

съ нимъ поляковъ его партіи: они подходили къ нему, какъ монахи къ игумену, уничтожаясь, благоговѣя; иные цѣловали его въ плечо. Должно быть, онъ привыкъ къ этимъ знакамъ подчиненной любви, потому что принималъ ихъ съ большимъ *laisser aller*. Быть признаннымъ людьми одного образа мнѣнія, имѣть на нихъ вліяніе, видѣть ихъ любовь—желаетъ каждый, отдавшійся душою и тѣломъ своимъ убѣжденіямъ, жившій ими; но наружныхъ знаковъ симпатіи и уваженія я не желалъ бы принимать, они разрушаютъ равенство и, слѣдовательно, свободу; да сверхъ того, въ этомъ отношеніи намъ никакъ не догнать ни архіереевъ, ни начальниковъ департаментовъ, ни полковыхъ командировъ.

Хоецкій сказалъ мнѣ, что за ужиномъ онъ предложитъ тостъ «въ память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевичъ будетъ ему отвѣчать рѣчью, въ которой изложитъ свое возрѣніе и духъ будущаго журнала; онъ желалъ, чтобъ я, какъ русскій, отвѣчалъ Мицкевичу. Не имѣя привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонилъ его предложеніе, но общалъ предложить тостъ «за Мицкевича» и прибавить нѣсколько словъ къ нему о томъ, какъ я пилъ за него въ первый разъ, въ Москвѣ, на публичномъ обѣдѣ, данномъ Грановскому въ 1843 г., Хомяковъ поднялъ бокаль со словами «за великаго отсутствующаго славянскаго поэта!» Имени (которое не смѣли произнести) не было нужно: всѣ встали, всѣ подняли бокалы и, стоя въ молчаніи, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкій былъ доволенъ; подтасовавши такимъ образомъ наше ехтепроге, мы сѣли за столъ. Въ концѣ ужина Хоецкій предложилъ свой тостъ, Мицкевичъ всталъ и началъ говорить. Рѣчь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбесъ и Людовикъ Наполеонъ могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить отъ нея. По мѣрѣ того, какъ онъ развивалъ свою мысль, я начиналъ чувствовать что-то болѣзненно тяжкое и ждалъ одного слова, одного имени, чтобъ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія; оно не замедлило явиться!

Мицкевичъ свелъ свою рѣчь на то, что демократія теперь собирается въ новый открытый станъ, во главѣ котораго Франція, что она снова ринется на освобожденіе всѣхъ притѣсненныхъ народовъ, подъ тѣми же орлами, подъ тѣми же знаменами, при видѣ которыхъ блѣднѣли всѣ цари и власти, и что ихъ снова поведетъ впередъ одинъ изъ членовъ той вѣнчанной народомъ династіи, которая какъ бы самимъ Провидѣніемъ назначена вести революцію стройнымъ путемъ авторитета и побѣдъ.

Когда онъ кончилъ, кромѣ двухъ-трехъ одобрительныхъ восклицаній его приверженныхъ, молчаніе было общее. Хоецкій замѣтилъ очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорѣе загла-

дѣйствіе рѣчи, подошелъ съ бутылкой и, наливая бокаль, шепнулъ мнѣ: «Что же вы?»—«Я не скажу ни слова послѣ этой рѣчи».—«Пожалуйста, что-нибудь».—«Ни подь какимъ видомъ».

Пауза продолжалась, нѣкоторые опустили глаза въ тарелку, другіе пристально разсматривали бокаль, третьи заводили частный разговоръ съ сосѣдомъ. Мицкевичъ перебрѣнился въ лицѣ, онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но громкое: *Je demande la parole*, положило конецъ затруднительному положенію. Всѣ обернулись къ вставшему. Невысокій старикъ, лѣтъ семидесяти, весь сѣдой, съ славной, энергической наружностью, стоялъ съ бокаломъ въ дрожащей рукѣ; въ его большихъ черныхъ глазахъ, въ его взволнованномъ лицѣ были видны гнѣвъ и негодованіе. Это былъ Рамонъ-де-ла-Сагра. «За 24 февраля», сказалъ онъ, «таковъ былъ тостъ, предложенный нашимъ хозяиномъ. Я не могу дѣлать воззрѣнія нашего друга Мицкевича; онъ смотрѣть можетъ на дѣла, какъ поэтъ, и по своему правъ, но я не хочу, чтобъ его слова въ такомъ собраніи прошли безъ протестаціи», и пошелъ, и пошелъ, со всею страстью испанца, со всѣми правами семидесяти лѣтъ.

Когда онъ кончилъ, двадцать рукъ, въ томъ числѣ и моя, протянулись къ нему съ бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевичъ хотѣлъ поправиться, сказалъ нѣсколько словъ въ объясненіе, они не удались. Де-ла-Сагра не сдавался. Всѣ встали изъ-за стола и Мицкевичъ уѣхалъ.

Хуже предзнаменованія для новаго журнала не могло быть, онъ просуществовалъ кое-какъ до 13 іюня, и исчезъ такъ незамѣтно, какъ существовалъ. Единства въ редакціи не могло быть; Мицкевичъ свертывалъ половину своего императорскаго знамени, *usé par la groigne*, другіе не смѣли развертывать своего; стѣсненные имъ и совѣтомъ, многіе черезъ мѣсяць оставили редакцію, я не послалъ ни разу ни одной строчки. Если-бъ наполеоновская полиція была умнѣе, никогда *Tribune des peuples* не была бы запрещена за нѣсколько строчекъ о 13 іюня. Съ именемъ Мицкевича и съ поклоненіемъ Наполеону, съ мистической революціонностью и съ мечтой о вооруженной демократіи, во главѣ которой Наполеониды, этотъ журналъ могъ бы сдѣлаться кладомъ для президента, чистымъ органомъ нечистаго дѣла.

Католицизмъ, такъ мало свойственный славянскому генію, дѣйствуетъ на него разрушительно: когда у богемцевъ не стало силы обороняться отъ католицизма, они сломились; у поляковъ католицизмъ развилъ ту мистическую экзальтацію, которая постоянно ихъ поддерживаетъ въ мірѣ призрачномъ. Если они не находятся подь прямымъ вліяніемъ іезуитовъ, то, вмѣсто освобожденія, или выдумываютъ себѣ кумиръ, или попадаютъ подь вліяніе какого-нибудь визионера. Мессіаниззмъ, это помѣшательство

Вронскаго, эта бѣлая горячка Товянскаго, вскружилъ голову сотнямъ поляковъ и самому Мицкевичу. Поклоненіе Наполеону принадлежитъ на первомъ планѣ къ этому безумію; Наполеонъ ничего не сдѣлалъ для нихъ; онъ не любилъ Польши, а любилъ поляковъ, проливавшихъ за него кровь съ тѣмъ поэтически-колоссальнымъ мужествомъ, съ которымъ они сдѣлали свою знаменитую кавалерійскую атаку въ Сомо-Сиерра. Въ 1812 г. Наполеонъ говорилъ Нарбону: «Я хочу въ Польшѣ лагерь, а не форумъ. Я равно не позволю ни въ Варшавѣ, ни въ Москвѣ открыть клубъ для демагоговъ», и изъ него-то поляки сдѣлали военное воплощеніе Бога, поставили рядомъ съ Вишну.

Разъ вечеромъ поздно, зимою 1848, шелъ я съ однимъ полякомъ изъ Мицкевичевыхъ приверженцевъ по Вандомской площади. Когда мы поровнялись съ колонной, полякъ снялъ фуражку. Неужели?... подумалъ я, не смѣя вѣрить въ такую глупость, и смиренно спросилъ его: что за причина, что онъ снялъ фуражку. Полякъ показалъ мнѣ пальцемъ на бронзоваго императора. Какъ же послѣ этого не тѣснить и не угнетать людей, когда это приобрѣтаетъ столько любви!

Въ домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посѣщенное Богомъ». Жена его долгое время была поврежденной. Товянскій заговаривалъ ее и будто помогъ, это особенно поразило Мицкевича, но слѣды болѣзни остались... дѣла ихъ шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великаго поэта, пережившаго себя. Онъ угасъ въ Турціи, замѣшавшись въ нелѣпое дѣло, устройство казацкаго легіона, которому Турція запретила называться польскимъ. Передъ смертію онъ написалъ латинскую оду во славу и честь Людовика Наполеона.

Послѣ этой неудачной попытки участвовать въ журналѣ, я еще больше удалился въ небольшой кругъ знакомыхъ, увеличившійся появленіемъ новыхъ эмигрантовъ. Прежде я хаживалъ иногда въ клубы, участвовалъ въ трехъ-четырехъ банкетахъ, т. е. ѣлъ холодную баранину и пилъ кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая марсельезу. Теперь и это надоѣло. Съ глубоко скорбнымъ чувствомъ слѣдилъ я и помѣчалъ успѣхи разложенія, паденія республики, Франціи, Европы. Изъ Россіи—ни дальней зарницы, ни вѣсти хорошей, ни дружескаго привѣта; писать ко мнѣ перестали; личныя, ближайшія, родныя связи приостановились ¹⁾.

Это пятилѣтіе и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нѣтъ ни столько богатствъ на потерю, ни столько вѣрованій на уничтоженіе...

¹⁾ Писано въ 1856 г.

...Холера свирѣпствовала въ Парижѣ, тяжелый воздухъ, безсолнечный жаръ производили тоску; видъ испуганнаго несчастнаго населенія и ряды похоронныхъ дрогъ, которыя, приближаясь къ кладбищамъ, пускались въ обгонки, все это соотвѣтствовало событіямъ.

Жертвы заразы падали возлѣ, рядомъ. Моя мать поѣхала съ одной знакомой дамой, лѣтъ двадцати пяти, въ Сенъ-Клу; вечеромъ, когда онѣ возвращались, дама чувствовала себя нѣсколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утромъ, часовъ въ семь пришли мнѣ сказать, что у нея холера; я пошелъ къ ней и обомлѣлъ,—ни одной черты не осталось по прежнему: она была хороша собой, но всѣ мышцы лица опустились, съезжались, темныя тѣни легли подъ глазами. Насилу отыскалъ я Райе въ институтѣ и привезъ его. Взглянувъ на больную, Райе шепнулъ мнѣ: «Вы сами видите, что тутъ дѣлать», прописалъ что-то и уѣхалъ.

Больная подозвала меня и спросила: «Что вамъ сказалъ докторъ? Онъ вамъ что-то сказалъ?»—«Послать за лекарствомъ». Она взяла меня за руку и рука ея удивила меня больше лица: она исхудала и сдѣлалась угловатой, какъ будто мѣсяцъ тяжелой болѣзни прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ она занемогла, и, остановившая на мнѣ взглядъ, исполненный страданія и ужаса, проговорила: «скажите, Бога ради, что онъ сказалъ... что умираю я?.. Да вы меня не бойтесь?» прибавила она. Мнѣ ее было ужасно жаль въ эту минуту; это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивалъ ея жизнь, должно было быть безмѣрно мучительно. Къ утру она умерла.

И. Т-въ собирался ѣхать изъ Парижа, срокъ его квартиры окончился, онъ пришелъ ко мнѣ переночевать. Послѣ обѣда онъ жаловался на духоту, я сказалъ ему, что купался утромъ, вечеромъ пошелъ и онъ купаться. Возвратившись, онъ чувствовалъ себя нехорошо, выпилъ содовой воды съ виномъ и сахаромъ и пошелъ спать. Ночью онъ разбудилъ меня. «Я потерянный человекъ, сказалъ онъ мнѣ, холера». У него дѣйствительно была тошнота и спазмы; по счастью, онъ отдѣлался десятию днями болѣзни.

Моя мать, схоронивъ свою знакомую, переѣхала въ Ville d'Avray. Когда занемогъ И. Т-въ, я отправилъ туда Natalie и дѣтей, и остался одинъ съ нимъ, а когда ему стало гораздо легче, переѣхалъ и я туда.

Туда-то утромъ, 12 іюня, явился ко мнѣ Сазоновъ. Онъ былъ въ величайшемъ одушевленіи, говорилъ о готовящемся движеніи, о неминувости успѣха, о славѣ, которая ждетъ участниковъ, и настоятельно звалъ меня на это жнитво лавръ. Я говорилъ ему,

что онъ знаетъ мое мнѣніе о настоящемъ положеніи дѣль, что мнѣ кажется глупо идти безъ вѣры съ людьми, съ которыми не имѣешь почти ничего общаго.

На это восторженный агитаторъ замѣтилъ, что оно, конечно, покойнѣе и безопаснѣе писать у себя дома скептическія статьи, въ то время, когда другіе отстаиваютъ на площади свободу міра, солидарность народовъ и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многихъ привело и приведетъ къ большимъ ошибкамъ и даже къ преступленіямъ, заговорило во мнѣ.

— Да съ чего же ты вообразилъ, что я не пойду?

— Я такъ заключилъ изъ твоихъ словъ.

— Нѣтъ, я сказалъ, что это глупо, но, вѣдь, не говорилъ, что я никогда не дѣлаю глупостей.

— Вотъ этого-то я и хотѣлъ. Вотъ такимъ-то я тебя люблю! Ну, такъ нечего терять времени, ѣдемъ въ Парижъ. Сегодня вечеромъ нѣмцы и другіе рефужье собираются въ девять часовъ, пойдемъ сначала къ нимъ.

— Гдѣ-же они собираются? спросилъ я его въ вагонѣ.

— Въ café Lamblin, въ Palais Royal'ѣ.

Это было мое первое удивленіе.—Какъ въ café Lamblin?

— Тамъ обыкновенно собираются «красные».

— Именно потому-то, мнѣ кажется, и слѣдовало бы сегодня собраться въ другомъ мѣстѣ.

— Да уже они всѣ тамъ привыкли.

+ — Пиво, вѣрно, очень хорошо!

Въ кафе, за десяткомъ маленькихъ столиковъ, важно засѣдали разные *habitués* революціи, значительно и мрачно посматривавшіе изъ-подъ поярковыхъ шляпъ съ большими полями, изъ-подъ фуражекъ съ крошечными козырьками. Это были тѣ вѣчные женихи революціонной Пенелопы, тѣ неизбѣжныя лица всѣхъ политическихъ демонстрацій, составляющія ихъ *табло*, ихъ *фонъ*, грозныя издали, какъ драконы изъ бумаги, которыми китайцы хотѣли застрашать англичанъ.

Въ смутныя времена общественныхъ пересозданій, бурь, въ которыя государства надолго выходятъ изъ обыкновенныхъ пазовъ своихъ, нарождается новое поколѣніе людей, которыхъ можно назвать хористами революціи; выращенное на подвижной и вулканической почвѣ, воспитанное въ тревогѣ и перерывѣ всякихъ дѣль,—оно съ раннихъ лѣтъ вживается въ среду политическаго раздраженія, любитъ драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Для нихъ всѣ эти банкеты, демонстраціи, протестаціи, сборы, тосты, знамена—главное въ революціи.

Въ ихъ числѣ есть люди добрые, храбрые, искренно преданные

и готовые стать подъ пулю, но большей частью очень недалёкие и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всемъ революціонномъ, они останавливаются на какой-нибудь программѣ и не идутъ впередъ.

Толкуя всю жизнь о небольшомъ числѣ политическихъ мыслей, они объ нихъ знаютъ, такъ сказать, ихъ риторическую сторону, ихъ священническое облаченіе, т. е. тѣ общія мѣста, которыя послѣдовательно появляются одни и тѣ же, à tout de rôle, какъ уточки въ извѣстной дѣтской игрушкѣ, въ газетныхъ статьяхъ, въ банкетныхъ рѣчахъ и въ парламентскихъ выходкахъ.

Сверхъ людей наивныхъ, революціонныхъ доктринеровъ, въ эту среду естественно втекаютъ непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившіе курса, но окончившіе ученье, адвокаты безъ процессовъ, артисты безъ таланта, люди съ большимъ самолюбіемъ, но съ малыми способностями, съ огромными притязаніями, но безъ выдержки и силы на трудъ. Вышнее руководство, которое гуртомъ пасетъ въ обыкновенныя времена стада человѣческія, слабѣетъ во времена переворотовъ, люди, оставленные сами на себя, не знаютъ, что имъ дѣлать. Легкость, съ которой, и то только повидимому, всплываютъ знаменитости въ революціонныя времена, поражаетъ молодое поколѣніе, и оно бросается въ пустую агитацію; она приучаетъ ихъ къ сильнымъ потрясеніямъ и отучаетъ отъ работы. Жизнь въ кофейныхъ и клубахъ увлекательна, полна движенія, льститъ самолюбію и вовсе не стѣсняетъ. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сдѣлано сегодня, можно сдѣлать завтра, можно и вовсе не дѣлать.

Хористы революціи, подобно хору греческихъ трагедій, дѣлается еще на полухоры; къ нимъ идетъ ботаническая классификація: одни изъ нихъ могутъ назваться *тайнобрачными*, другіе *явнобрачными*. Одни изъ нихъ дѣлаются вѣчными заговорщиками, мѣняють по нѣскольку разъ квартиру и форму бороды. Они тайно и пригласаютъ на какія-то необыкновенно важныя свиданья, если можно ночью, или въ какомъ-нибудь неудобномъ мѣстѣ. Встрѣчаясь публично съ своими друзьями, они не любятъ кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрываютъ свой адресъ, не сообщаютъ день отъѣзда, не сказываютъ, куда ѣдутъ, пишутъ шифрами и химическими чернилами новости, напечатанныя просто голландскою сажей въ газетахъ.

При Людвигѣ Филиппѣ, рассказывалъ мнѣ одинъ французъ, Е., замѣшанный въ какое-то политическое дѣло, скрывался въ Парижѣ; при всѣхъ своихъ прелестяхъ, такая жизнь становится à la longue утомительна и скучна. Делессеръ, bon vivant и богатый человѣкъ, былъ тогда префектомъ; онъ служилъ по полиціи не изъ нужды, а изъ страсти, и любилъ иногда весело пообѣдать.

У него и у Е. было много общихъ пріятелей; разъ, между «грушей и сыромъ», какъ говорятъ французы, одинъ изъ нихъ сказалъ ему:

— Какая досада, что вы такъ преслѣдуете бѣднаго Е! Мы лишены славнаго собесѣдника, и онъ долженъ скрываться какъ преступникъ.

— «Помилуйте», сказалъ Делессеръ, «объ его дѣлѣ помину нѣтъ.—Зачѣмъ онъ прячется?»—Знакомые его иронически улыбались. «Я его постараюсь увѣрить, что онъ дѣлаетъ вздоръ,—и васъ съ тѣмъ вмѣстѣ».

Пріѣхавши домой, онъ позвалъ одного изъ главныхъ шпионовъ и спросилъ его:

— «Что Е., въ Парижѣ?»

— Въ Парижѣ, отвѣчалъ шпионъ.

— «Прячется?»—спросилъ Делессеръ.

— Прячется, отвѣчалъ шпионъ.

— «Гдѣ?» спросилъ Делессеръ. Шпионъ вынулъ книжку, порылся въ ней и прочелъ его адресъ.—«Хорошо, такъ ступайте къ нему завтра утромъ рано и скажите, что онъ напрасно беспокоится, что мы его не ищемъ, и что онъ можетъ спокойно жить на своей квартирѣ».

Шпионъ въ точности исполнилъ приказаніе, а, черезъ два часа послѣ его визита, Е. тайно извѣщалъ своихъ близкихъ и друзей, что онъ уѣзжаетъ изъ Парижа и будетъ скрываться въ одномъ изъ дальнихъ городо́въ, потому-де, что префектъ открылъ мѣсто, гдѣ онъ прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завѣсой таинственности и краснорѣчивымъ молчаніемъ свою тайну, столько явнобранные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это безсмѣнные трибуны кофейныхъ и клубовъ; они постоянно недовольны всѣмъ и хлопочутъ обо всемъ, все сообщаютъ, даже то, чего не было, а то, что было, является у нихъ какъ горы въ рельефныхъ картахъ, возведенное въ квадратъ и кубъ. Глазъ до того къ нимъ привыкаетъ, что невольно ищетъ ихъ при всякомъ уличномъ шумѣ, при всякой демонстраціи, на всякомъ банкетѣ.

...Для меня зрѣлище въ café Lamblin было еще ново, я мало былъ знакомъ тогда съ заднимъ дворомъ революціи. Правда, я ходилъ въ Римъ и въ café delle Belli Arti и на площадь, бывалъ въ Circolo Romano и въ Circolo Popolare, но тогдашнее римское движеніе не имѣло еще того характера политической махровости, который особенно развился послѣ неудачъ 1848 года. Чичероваккіо и его друзья имѣли свои наивности, свою южную мимику, которая намъ кажется фразой, и свои итальянскія фразы, которыя

мы принимаемъ за декламацию; но они были въ періодѣ юнаго увлеченія, они еще не пришли въ себя послѣ трехвѣковаго сна; il parolano Чичероваккіо вовсе не былъ политическимъ агитаторомъ по ремеслу, онъ ничего лучше не просилъ бы, какъ снова удалиться съ миромъ въ свой небольшой домъ Strada Ripetta и торговать лѣсомъ и дровами, въ кругу своей семьи, какъ pater familias и свободный civis romanus.

Въ людяхъ, его окружавшихъ, не могло быть той печати пошлаго, изболтавшагося псевдо-революціонизма, того характера tagè, который такъ печально распространился во Франціи.

Само собою разумѣется, что, говоря о кофейныхъ агитаторахъ и о революціонныхъ лаццарони, я вовсе не думалъ о тѣхъ сильныхъ работникахъ человѣческаго освобожденія, о тѣхъ огненныхъ проповѣдникахъ независимости, о тѣхъ мученикахъ любви къ ближнему, которымъ ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнаніе, ни бѣдность не перерѣзала рѣчи, о тѣхъ дѣлателяхъ и двигателяхъ событій,—кровью, слезами и рѣчами которыхъ водворяется новый порядокъ въ исторіи. У насъ рѣчь шла о той накопившейся закраинѣ, покрытой празднымъ пустоцвѣтомъ, для котораго сама агитація—цѣль и награда, которымъ процессъ народныхъ возстаній нравится,—какъ процессъ чтенія нравился Петрушкѣ Чичикова.

Реакція радоваться нечему,—не такими репейниками и мухоморами поросла она и не на закраинахъ, а повсюду. Въ ней цѣлыя населенія чиновниковъ, дрожащихъ передъ начальниками, шныряющихъ шпионовъ, вольнонаемныхъ убійцъ, готовыхъ драться съ той и другой стороны, офицеровъ во всѣхъ отвратительныхъ видахъ, отъ прусскаго юнкертума до хищныхъ французскихъ алжирцевъ. И тутъ мы еще только коснулись свѣтской реакціи, не трогая ни нищенствующую братію, ни интригующихъ іезуитовъ, ни полицействующихъ поповъ.

Если въ реакціи есть что-нибудь похожее на нашихъ дилетантовъ революціи, то это придворные—люди, употребляемые для церемоній, люди выходовъ и входовъ, люди, бросающіеся въ глаза на крестинахъ и бракосочетаніяхъ, на похоронахъ, люди для мундира, для шитья, представляющіе лучи власти, ея ароматъ.

Въ café Lamblin, гдѣ отчаянные граждане сидѣли за пиверами и большими стаканами, я узналъ, что нѣтъ никакого плана, нѣтъ никакого настоящаго центра движенія, никакой программы. Только въ одномъ пунктѣ всѣ были согласны—въ томъ, *чтобъ явиться на мѣсто сбора безъ оружія*. Послѣ пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, *чтобъ завтра въ восемь часовъ утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle противъ Châ-*

teau d'Еаи, мы отправились въ редакцію «Истинной Респуб-блики».

Издателя не было дома: онъ поѣхалъ «къ горцамъ» за ин-струкціями. Въ большой, почернѣлой, слабо освѣщенной и еще слабѣе меблированной залѣ, служившей редакціи для сбора и совѣщаній, было человѣкъ двадцать, большей частью поляки и нѣмцы. Сазоновъ взялъ листъ бумаги и принялся что-то писать; написавши, онъ намъ прочелъ: это была протестація отъ имени эмигрантовъ всѣхъ странъ противъ занятія Рима и заявленіе готовности ихъ принять участіе въ движеніи. Тѣмъ, кто хотѣлъ обезсмертить свое имя, связывая его съ славнымъ завтра, онъ предлагалъ подписаться. Почти всѣ хотѣли обезсмертить свое имя и подписались. Вошелъ издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что онъ много знаетъ, но долженъ молчать: я былъ увѣренъ, что онъ ничего не знаетъ. «Citoyens», сказалъ Торе, «la Montagne est en permanence». Ну, что же сомнѣваться въ успѣхѣ—en permanence!.. Сазоновъ передалъ издателю про-тестацію европейской демократіи. Издатель перечиталъ и ска-залъ: «Это прекрасно, это прекрасно! Франція васъ благодарить, граждане; но зачѣмъ же подпиши? Ихъ такъ немного, что, въ случаѣ неудачи, на васъ обрушится вся злоба нашихъ вра-говъ».

Сазоновъ настаивалъ, чтобъ имена остались; многіе были согласны съ нимъ. «Я не беру этого на мою отвѣтственность», возразилъ издатель; «простите меня, я лучше васъ знаю, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло». При этомъ онъ оторвалъ подписи и предалъ имена дюжины кандидатовъ на безсмертіе всесожженію на свѣчѣ, а текстъ послалъ набирать въ типографію.

Когда мы вышли изъ редакціи, разсвѣтало; толпы оборван-ныхъ мальчишекъ и несчастныхъ, убого одѣтыхъ женщинъ стояли, сидѣли, лежали по тротуарамъ, возлѣ разныхъ редакцій, ожидая кипы журналовъ—однѣ, чтобъ ихъ складывать, другіе, чтобъ бѣжать съ ними во всѣ концы Парижа. Мы вышли на бульваръ; тишина была совершенная, изрѣдка попадались па-трули національной гвардіи, прогуливались и лукаво посматри-вавшіе городовые сержанты.

— Какъ беззаботно спать этотъ городъ, сказалъ мой това-рищъ. не предчувствуя, какая гроза его разбудитъ завтра!

— «Вотъ, кто не спитъ за насъ за всѣхъ,—сказалъ я ему, указывая наверхъ, то есть на освѣщенное окно въ maison d'Or.— Это очень кстати, зайдѣмъ выпить абсенту; у меня что-то на желудкѣ нехорошо».

— А у меня пусто, къ тому же оно и недурно поужинать;

какъ ѣдятъ въ Капитоліи, я не знаю, ну, а въ Ковсербжри кормятъ отвратительно.

По костюмъ холодной индѣйки, оставшимся отъ трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирѣпствовала въ Парижѣ, ни того, что мы идемъ черезъ два часа мѣнять судьбы Европы. Мы ѣли въ maison d'Or такъ, какъ Наполеонъ спалъ подъ Аустерлицемъ.

Часу въ девятомъ, когда мы пришли на бульваръ Bonne Nouvelle, на немъ уже стояли многочисленныя кучки людей, съ видимымъ нетерпѣніемъ ожидавшихъ что дѣлать, на лицахъ было написано недоумѣніе, но съ тѣмъ вмѣстѣ по особенной фizioноміи группъ видно было большое озлобленіе. Найди себѣ эти люди настоящихъ вожатаевъ, день не окончился бы фарсомъ.

Была минута, въ которую мнѣ показалось, что сейчасъ завяжется дѣло. Какой-то господинъ довольно тихо ѣхалъ верхомъ по бульварамъ. Въ немъ узнали одного изъ министровъ (Лакруа), который вѣроятно не для одного чистаго воздуха прогуливался верхомъ такъ рано. Его окружили съ крикомъ, стащили съ лошади, изодрали ему фракъ и потомъ отпустили, т. е. другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часамъ къ десяти могло быть до двадцати пяти тысячъ человѣкъ. Кого мы ни спрашивали, къ кому мы ни обращались, никто ничего не зналъ. Керсози, время минувшихъ карбонаро, увѣрялъ насъ, что банлье входитъ въ Arc de Triomphe съ крикомъ: «Vive la République!»—«Пуще всего», опять повторяли всѣ старѣйшины демократіи, «будьте безъ оружія, а то вы испортите характеръ дѣла. Самодержавный народъ долженъ мирно и торжественно заявить Собранію свою волю, чтобъ не дать врагамъ никакого повода къ клеветѣ».

Наконецъ, колонны состроились. Изъ насъ, иностранцевъ, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, въ числѣ которыхъ были Е. Араго, въ полковничьемъ мундирѣ, бывшій министръ Бастидъ и другія знаменитости 1848 года. Съ разными криками и съ марсельезой двинулись мы по бульвару. Кто не слыхалъ марсельезы, пѣтой тысячами голосовъ, въ томъ нервномъ раздраженіи и въ томъ раздумьи, которое необходимо является передъ извѣстной борьбой, тотъ врядъ ли пойметъ потрясающее дѣйствіе революціоннаго псалма.

Въ эту минуту демонстрація получила величавый характеръ. По мѣрѣ того, какъ мы тихо двигались по бульварамъ, всѣ окна отворялись; дамы, дѣти толкались у нихъ и выходили на балконы; мрачныя и встревоженныя лица ихъ мужей, отцовъ-пропріетеровъ выглядывали изъ-за нихъ, не замѣчая, что въ четвертыхъ этажахъ и мансардахъ высовывались другія головки, бѣд-

ныхъ швей и работницъ:—онѣ махали намъ платками, кланялись и привѣтствовали руками. Время отъ времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домовъ извѣстныхъ лицъ.

Такъ дошли мы до того мѣста, гдѣ rue de la Paix входитъ въ бульвары; она была заперта взводомъ венсенскихъ стрѣлковъ, и, когда наша колонна поровнялась съ ними, стрѣлки вдругъ рзступились, какъ декорація въ театрѣ,—и Шангарнье, верхомъ на небольшой лошади, скакалъ передъ эскадрономъ драгуновъ. Безъ всякихъ соммацій, безъ барабаннаго боя и прочихъ, закономъ предписанныхъ, формъ, онъ, смявъ передовые ряды, отрѣзалъ ихъ отъ прочихъ и, развернувъ драгуновъ на двѣ стороны, велѣлъ имъ скорымъ шагомъ расчистить улицу. Драгуны съ какимъ-то упоеніемъ пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малѣйшемъ сопротивленіи. Я едва успѣлъ сообщить, что случилось, какъ очутился носъ съ носомъ съ лошады, которая фыркала мнѣ въ лицо, и съ драгуномъ, который, ругаясь, также не заглаза, грозился вытянуть меня фухтелемъ, если я не пойду въ сторону. Я подался направо и, въ одно мгновеніе, былъ увлеченъ толпой и прижать къ рѣшеткѣ rue Basse des Remparts. Изъ нашего ряда остался возлѣ меня одинъ М. Стрюбингъ; между тѣмъ драгуны жали передовыхъ людей лошадыми, а они насъ людьми, которымъ некуда было дѣться. Е. Араго соскочилъ въ улицу Basse des Remparts, посколькунулся и вывихнулъ себѣ ногу; вслѣдъ за нимъ соскочилъ и я съ Стрюбингомъ, мы взглянули другъ на друга съ какимъ-то бѣшенствомъ негодованья, Стрюбингъ обернулся и громко закричалъ: «Aux armes! aux armes!» Человѣкъ въ блузѣ схватилъ его за воротникъ и, толкая въ другую сторону, сказалъ: «Что вы, съ ума сошли, что-ли?.. смотрите сюда». По улицѣ—должно быть Chaussée d'Antin—двигалась густая щетина штыковъ.—«Ступайте, пока васъ не слыхали, да пока не отрѣзали дороги». «Все пропало!—все!» прибавилъ онъ, сжимая кулакъ, и, напѣвая пѣсню, будто ничего не было, удалился скорыми шагами. Мы пошли на площадь Согласія. На Елисейскихъ поляхъ не было ни одного взвода изъ банлье; вѣдь и Керсози зналъ, что не было; это была дипломатическая ложь къ спасенію, а, можетъ, она была бы и къ гибели тѣхъ, которые повѣрили бы.

Наглость нападенія на безоружныхъ людей возбудила большую злобу. Будь въ самомъ дѣлѣ что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, какъ начать настоящій бой. Гора, вмѣсто того, чтобъ явиться въ весь ростъ, услышавъ о томъ, какъ смѣшно разогнали лошадыми самодержавный народъ, скрылась за облакомъ. Ледрю-Ролленъ велъ переговоры съ Гинаромъ. Гинаръ, начальникъ артиллеріи національной гвардіи, хотѣлъ самъ при

стать къ движенію, хотѣлъ дать людей, соглашался дать пушки, но ни подъ какимъ видомъ не хотѣлъ *давать зарядовъ*, онъ какъ-то хотѣлъ дѣйствовать *моральной стороною пушекъ*; тоже дѣлалъ со своимъ легиономъ Форестье. Много ли имъ помогло это,—мы видѣли по версальскому процессу. Всѣмъ чего-то хотѣлось, но никто не дерзалъ; всего предусмотрительнѣе оказались нѣсколько молодыхъ людей, съ надеждой на новый порядокъ,— они заказали себѣ префектскіе мундиры, которыхъ, послѣ неудачи движенія, не взяли, и портной принужденъ былъ вывѣсить ихъ на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось въ Arts et Métiers, работники, походивши по улицамъ съ вопрошающимъ взглядомъ и не находя ни совѣта, ни призыва, отправились домой, еще разъ убѣдившись въ несостоятельности горныхъ отцевъ отечества, можетъ быть, глотая слезы, какъ блузникъ, говорившій намъ: «Все погибло!—все!» а можетъ, и смѣясь исподтишка тому, что «гора» опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализмъ Гинара— все это внѣшнія причины неудачи и являются съ тѣмъ же *кстати*, какъ рѣзкіе характеры и счастливыя обстоятельства, когда ихъ нужно. Внутренняя причина состояла въ бѣдности той республиканской идеи, изъ которой шло движеніе. Идеи, пережившія свое время, могутъ долго ходить съ клюкой, но трудно для нихъ снова завладѣть жизнью и вести ее. Они не увлекаютъ всего человѣка, или увлекаютъ только неполныхъ людей. Если-бъ гора одолѣла 13 іюня, что бы она сдѣлала? Новаго у нея за душой ничего не было, опять безцвѣтная фотографія яркой и мрачной Рембрандтовской, Сальваторъ-Розовской картины 1793 года, безъ якобинцевъ, безъ войны, даже безъ наивной гильотины...

Вслѣдъ за 13 іюнемъ и опытомъ ліонскаго возстанія начались аресты; меръ съ полиціей приходилъ къ намъ въ ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге; часть знакомыхъ была захвачена. Консьержри была набита биткомъ, въ небольшомъ залѣ было до шестидесяти человѣкъ; посреди него стоялъ ушатъ для нечистотъ, разъ въ сутки его выносили, и все это въ образованномъ Парижѣ, во время свирѣпѣйшей холеры. Не имѣя ни малѣйшей охоты прожить мѣсяца два въ этомъ комфортѣ, на гнилыхъ бобахъ и тухлой говядинѣ, я взялъ пассъ у одного молдовалаха и уѣхалъ въ Женеву ¹⁾.

1) Какъ справедливы были мои опасенія, доказалъ полицейскій обыскъ, сдѣланный дня три послѣ моего отъѣзда въ домъ моей матери, въ ville d'Avray. У нея захватили всѣ бумаги, даже переписку ея горничной съ моимъ поваромъ. Рассказъ о 13 іюнѣ я не считъ своевременнымъ печатать тогда.

Тогда еще возили Францію Lafitte и Calliard, дилижансы ставили на желѣзную дорогу, потомъ снимали, помнится, въ Шалонѣ и опять гдѣ-то ставили. Со мной въ купе сѣлъ худощавый мужчина, загорѣлый, съ подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавшій на меня; съ нимъ былъ небольшой сакъ и шпага, завернутая въ клеенку. Очевидно, что это былъ переодѣтый городской сержантъ. Онъ тщательно осмотрѣлъ меня съ ногъ до головы, потомъ уткнулся въ уголъ и не произнесъ ни одного слова. На первой станціи онъ подозвалъ кондуктора и сказалъ ему, что забылъ превосходную карту, что онъ его обяжетъ, давши клочекъ бумаги и конвертъ. Кондукторъ замѣтилъ, что до звонка остается всего минуты три; сержантъ выпрыгнулъ и, возвратившись, сталъ еще подозрительнѣе осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчаніе, даже позволеніе курить онъ спросилъ у меня молча; я отвѣчалъ также головой и глазами и вынулъ самъ сигару. Когда стало смеркаться, онъ спросилъ меня:

— «Вы въ Женеву?»

— Нѣтъ, въ Ліонъ, отвѣчалъ я.

— «А!»—Тѣмъ разговоръ и кончился.

Черезъ нѣсколько времени отворилась дверь и кондукторъ съ трудомъ всунулъ плѣшивую фигуру, въ пространномъ гороховомъ пальто, въ цвѣтномъ жилетѣ, съ толстой тростью, мѣшкомъ, зонтикомъ и огромнымъ животомъ. Когда этотъ типъ добродѣтельнаго дяди усѣлся между мной и сержантомъ, я его спросилъ, не давши ему придти въ себя отъ одышки:

— Monsieur, vous n'avez pas d'objection? Капляя, отирая потъ и повязывая фуляромъ голову, онъ отвѣчалъ мнѣ:

— «Сдѣлайте одолженіе; помилуйте, мой сынъ, который теперь въ Алжирѣ, всегда курить, il fume toujours», и потомъ, съ легкой руки, пошелъ рассказывать и болтать; черезъ полчаса онъ уже допросилъ меня, откуда я и куда я ѣду, и, услыхавъ, что я изъ Валахій, съ свойственной французу учтивостью прибавилъ: «Ah! c'est un beau pays», хотя онъ и не зналъ навѣрно, въ Турціи она или въ Венгріи.

Сосѣдъ мой отвѣчалъ на его вопросы очень лаконически: Monsieur est militaire?—Oui, Monsieur.—Monsieur a été en Algérie?—Oui, Monsieur.—Мой старшій сынъ тоже, онъ и теперь тамъ. Вы вѣрно въ Оранъ? Non, monsieur. А въ вашихъ странахъ есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестомъ, отвѣчалъ я съ неподражаемой самоувѣренностью. Только у насъ дилижансы ходятъ на волахъ. Это привело въ крайнее удивленіе моего сосѣда и онъ навѣрно

присягнулъ бы, что я валахъ; послѣ этой счастливой подробности даже сержантъ смягчился и сталъ разговорчивѣе.

Въ Лионѣ я взялъ свой чемоданъ и тотчасъ поѣхалъ въ другую контору дилижансовъ, вскарабкался на имперіаль и черезъ пять минутъ скакалъ уже по женевской дорогѣ. Въ послѣднемъ большомъ городѣ, на площадкѣ передъ полицейскимъ домомъ, сидѣлъ комиссаръ полиціи съ писаремъ, около стояли жандармы, тутъ свидѣтельствовали предварительно пассы. Примѣты не совсѣмъ шли ко мнѣ, а потому, слѣзая съ имперіала, я сказалъ жандарму:

— Mon brave, пожалуйста, гдѣ бы на скорую руку выпить стаканъ вина съ вами, укажите, мочи нѣтъ какой жаръ.

— Да вотъ тутъ два шага кафе моей родной сестры.

— А какъ же быть съ пассомъ?

— Давайте сюда, я отдамъ моему товарищу, онъ принесетъ его намъ.

Черезъ минуту мы осушали съ жандармомъ бутылку Бонъ въ кафе его родной сестры, а черезъ пять его пріятель принесъ пассъ, я ему поднесъ стаканъ, онъ приложилъ руку къ шляпѣ, и мы отправились друзьями къ дилижансу. Первый разъ сошло хорошо съ рукъ. Пріѣзжаемъ на границу—рѣка, на рѣкѣ мостъ, за мостомъ пиемонтская таможня. Французскіе жандармы на берегу таскаются во всѣхъ направленіяхъ, ищутъ Ледрю-Роллена, который давно проѣхалъ, или по крайней мѣрѣ Феликса Пиа, который все-таки проѣдетъ, и такъ же, какъ и я, съ валахскимъ пассомъ.

Кондукторъ замѣтилъ намъ, что здѣсь окончательно смотрять бумаги, что это продолжается довольно долго, съ полчаса, въ силу чего совѣтовалъ поѣсть въ почтовомъ трактирѣ. Мы вошли и только что усѣлись, прикатилъ другой лионскій дилижансъ; входятъ пассажиры и первый—мой сержантъ; фу, пропасть какая, я, вѣдь, ему сказалъ, что ѣду въ Лионъ. Мы съ нимъ сухо поклонились, онъ также, кажется, удивился, однако не сказалъ ни слова.

Пришелъ жандармъ, роздалъ пассы, дилижансы были уже на той сторонѣ; «извольте, господа, отправляться пѣшкомъ черезъ мостъ». Вотъ тутъ-то, думаю, и пойдетъ исторія. Вышли мы... Вотъ и на мосту—исторія нѣтъ, вотъ и за мостомъ—исторія нѣтъ.

— Ха, ха, ха, сказалъ, нервно смѣясь, сержантъ, переѣхали таки, фу, какъ будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

— Какъ, сказалъ я, да вы?

— Да, вѣдь, и вы кажется?

— Помилуйте, отвѣчалъ я, смѣясь отъ души, прямо изъ Бухареста, чуть не на волахъ.

— Ваше счастье, сказалъ мнѣ кондукторъ, грозя пальцемъ, а впередъ будьте осторожны, зачѣмъ вы дали два франка на водку мальчику, который привелъ васъ въ контору. Хорошо, что онъ тоже *нашъ*, онъ мнѣ тотчасъ сказалъ: должно быть красный, ни минуты не остался въ Лионѣ, и такъ обрадовался мѣсту, что далъ мнѣ два франка на водку. Ну, молчи, не твое дѣло, сказалъ я ему, а то услышитъ бестія какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановитъ.

На другой день мы приѣхали въ Женеву, эту старинную гавань гонимыхъ... «Во время смерти короля, сто пятьдесятъ семействъ, говоритъ Мишле въ своей исторіи XVI столѣтія, бѣжали въ Женеву; спустя нѣкоторое время, еще тысяча четырехста. Выходцы французскіе и выходцы изъ Италіи основали истинную Женеву, это удивительное убѣжище между тремя націями; безъ всякой опоры, боясь самихъ швейцарцевъ, оно держалось одной нравственной силой».

Швейцарія была тогда сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвшіе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ недавнихъ революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались съ С.-Готарда или шли изъ-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смѣло открыто ихъ гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убѣжища.

Точно на смотру, церемониальнымъ маршемъ проходили по Женевѣ, останавливались, отдыхали и шли дальше всѣ эти люди, которыми была полна молва, которыхъ я любилъ заочно и къ которымъ теперь торопился навстрѣчу...

ГЛАВА XXXVII.

Вавилонское столпотвореніе. — Нѣмецкіе *umwaelzungsmacenner*'ы. — Французскіе красные горцы. — Итальянскіе *Fuogusciti* въ Женевѣ. — Маццини, Гарibaldi, Орсини... — Романская и Германская традиція. — Прѣгулка на «князь Радецкомъ».

Было время, когда, въ порывѣ раздраженія и горькаго смѣха, я собирался, на манеръ Гранвилевской иллюстраціи, написать памфлетъ: *Les réfugiés peints par eux mèmes*. Я радъ, что не сдѣлалъ этого. Теперь я смотрю покойнѣе, меньше смѣюсь и меньше негожую. Къ тому же и эмиграція продолжается слишкомъ долго и слишкомъ тяжело гнететъ людей.

Тѣмъ не меньше, я и теперь скажу, что эмиграціи, предпри-

нимаемая не съ опредѣленной цѣлью, а вытѣсняемая побѣдой противной партіи, замыкають развитие и утягиваютъ людей изъ живой дѣятельности въ призрачную. Выходя изъ родины съ заглавной злобой, съ постоянной мыслию завтра снова въ нее ѣхать, люди не идутъ впередъ, а постоянно возвращаются къ старому; надежда мѣшаетъ осѣдлости и длинному труду; раздраженіе и пустые, но озлобленные споры не позволяютъ выйти изъ извѣстнаго числа вопросовъ, мыслей, воспоминаній, изъ которыхъ образуется обязательное, тяготящее преданіе. Люди вообще, но пуще всего люди въ исключительномъ положеніи, имѣютъ такое пристрастіе къ формализму, къ цеховому духу, къ профессиональной наружности, что тотчасъ принимаютъ свой ремесленническій, доктринерный типъ.

Всѣ эмиграціи, отрѣзанныя отъ живой среды, къ которой принадлежали, закрываютъ глаза, чтобъ не видѣть горькихъ истинъ, и вживаются больше въ фантастическій, замкнутый кругъ, состоящій изъ косныхъ воспоминаній и несбыточныхъ надеждъ. Если прибавимъ къ тому отчужденіе отъ не-эмигрантовъ, что-то озлобленное, подозрѣвающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будетъ совершенно понятенъ.

Эмигранты 1849 не вѣрили еще въ продолжительность побѣды своихъ враговъ, хмѣль недавнихъ успѣховъ еще не проходилъ у нихъ, пѣсни ликующаго народа и его рукоплесканія еще раздавались въ ихъ ушахъ. Они твердо вѣрили, что ихъ пораженіе—минутная неудача, и не переключивали платья изъ чемодана въ кофодъ. Между тѣмъ Парижъ былъ подъ надзоромъ полиціи, Римъ палъ подъ ударами французовъ, въ Баденѣ свирѣпствовалъ братъ короля Прусскаго, а Паскевичъ по-русски, взятками и посулами, надулъ Гёрвея въ Венгріи. Женева была биткомъ набита выходцами, она дѣлалась Кобленцомъ революціи 1848 года. Итальянцы всѣхъ странъ, французы, ушедшіе отъ Башарова слѣдствія, отъ Версальскаго процесса, Баденскіе ополченцы, вступившіе въ Женеву правильнымъ строемъ, съ своими офицерами и съ Густавомъ Струве, участники Вѣнскаго возстанія, богемцы, познанскіе и галиційскіе поляки. Все это толпилось между отель де Бергъ и почтовымъ кафе. Умнѣйшіе изъ нихъ стали догадываться, что эта эмиграція не минутна, поговаривали объ Америкѣ и уѣзжали. Большинство, совсѣмъ напротивъ, и въ особенности французы, вѣрные своей натурѣ, ждали всякій день смерти Наполеона и народненія республики демократической и соціальной—одни, другіе демократической, но отнюдь не соціальной.

Черезъ нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда, гуляя въ Паки, я встрѣтилъ какого-то пожилого господина съ видомъ русскаго сельскаго священника, въ низкой шляпѣ съ большими полями,

въ черномъ бѣломъ сюртукѣ, прогуливавшагося съ какимъ-то іерейскимъ помазаніемъ; возлѣ него шелъ человѣкъ страшныхъ размѣровъ, небрежно собранный изъ огромныхъ частей людского тѣла. Со мной былъ молодой литераторъ Ф. Капъ.

— «Вы не знаете ихъ?» спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лотъ, прогуливающийся съ Адамомъ, который вмѣсто фиговыхъ листьевъ надѣлъ не по мѣркѣ сшитое пальто.

— «Это Струве и Гейнценъ, отвѣтилъ онъ, смѣясь. Хотите познакомиться?»

— Очень. Онъ подвелъ меня.

Разговоръ былъ ничтоженъ; Струве возвращался домой и просилъ зайти, мы пошли съ нимъ. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь ихъ сидѣла высокая и издали очень красивая женщина, съ богатой шевелюрой, оригинальнымъ образомъ разбросанной; это была извѣстная Амалія Струве, его жена.

Лицо Струве съ самаго начала сдѣлало на меня странное впечатлѣніе: оно выражало тотъ нравственный столбнякъ, который изувѣрство придаетъ святошамъ и раскольникамъ. Глядя на этотъ крѣпкій, сжатый лобъ, на покойное выраженіе глазъ, на нечесаную бороду, на волосы съ просѣдью и на всю его фигуру, мнѣ казалось, что это или какой-нибудь фанатическій пасторъ изъ войска Густава Адольфа, забывшій умереть, или какой-нибудь таборить, проповѣдующій покаяніе и причастіе въ двухъ видахъ. Наружность Гейнцена, этого Собакевича нѣмецкой революціи, была утровою груба; сангвиническій, неуклюжій, онъ сердито поглядывалъ изъ-подлобья и былъ не рѣчиствъ. Онъ въ послѣдствіи писалъ, что достаточно *избить два милліона* человѣкъ на земномъ шарѣ, п дѣло революціи пойдетъ какъ по маслу. Кто его видѣлъ хоть разъ, тотъ не удивится, что онъ это писалъ.

Не могу не разсказать о чрезвычайно смѣшномъ анекдотѣ, который со мной случился по поводу этой канибальской выходки. Въ Женевѣ жилъ, да и теперь живетъ добрейшій въ мірѣ докторъ Р., одинъ изъ самыхъ платоническихъ и самыхъ постоянныхъ любовниковъ революціи, другъ всѣхъ выходцевъ; онъ на свой счетъ лечилъ, кормилъ и поилъ ихъ. Бывало, какъ рано ни придешь въ Café de la Poste, а докторъ уже тамъ и уже читаетъ третью или четвертую газету, зоветъ таинственно пальцемъ и сообщаетъ на ухо... «Я думаю, что сегодня въ Парижѣ горячій день». — Отчего-же? — «Я вамъ не могу сказать, отъ кого я слышалъ, но только отъ близкаго человѣка Ледрю Роллена, онъ былъ здѣсь проездомъ»... — Да, вѣдь, вы и вчера, и третьяго дня ждали чего-то, любезнѣйшій докторъ? — «Ну такъ что-жъ? Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut».

Вотъ къ нему-то, какъ къ другу Гейнца, въ томъ же самомъ кафе, я и обратился, когда Гейнценъ напечаталъ свою филантропическую программу. «Зачѣмъ же, сказалъ я ему, вашъ пріятель пишетъ такой вредный вздоръ? Реакція кричитъ, да и имѣть право... Что за Мара, переложенный на нѣмецкіе нравы, да и какъ требовать два милліона головъ?» Р. сконфузился, но друга выдать не хотѣлъ. «Послушайте, сказалъ онъ, наконецъ, вы, можете, одно выпустили изъ виду: Гейнценъ говорить обо всемъ родѣ человѣческомъ, въ этомъ числѣ, по крайней мѣрѣ, *двѣсти тысячъ китайцевъ*». — «Ну, вотъ это другое дѣло, чего ихъ жалѣть», отвѣтилъ я, и долго послѣ не могъ вспомнить безъ сумасшедшаго смѣха эту облегчающую причину.

Дня черезъ два послѣ моей встрѣчи въ Паки, гарсонъ *hôtel des Bergues*, гдѣ я стоялъ, прибѣжалъ ко мнѣ въ комнату и съ важной миной возвѣстилъ:

— «Генераль Струве, съ своими адъютантами».

Я подумалъ или что мальчика кто-нибудь подослалъ шутя, или что онъ что-нибудь перевралъ; но дверь отворилась и

Mit bedachtigen schritt
Густавъ СТРУВЕ tritt.....

и съ нимъ четыре господина; двое были въ военномъ костюмѣ, какъ ихъ тогда носили фрейшерлеры, и вдобавокъ съ большими красными брасарами, украшенными разными эмблемами. Струве представилъ мнѣ свою свиту, демократически называя ее «братьями въ ссылкѣ». Я съ удовольствіемъ узналъ, что одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, съ видомъ бурша, недавно вышедшаго изъ фуксовъ, успѣшно занималъ уже должность министра внутреннихъ дѣлъ *per interim*.

Струве тотчасъ началъ меня поучать своей теоріи о семи бичахъ, *der sieben Geissel*: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д., и о водвореніи какой-то новой демократической и революціонной религіи. Я замѣтилъ ему, что если уже это зависить отъ нашей воли заводить или нѣтъ новую религію, то лучше не заводить никакой, а предоставить это волѣ Божіей, оно же и по сущности дѣла относится болѣе до нея. Мы поспорили. Струве что-то отпустилъ о *Weltseele*, я ему замѣтилъ, что, несмотря на то, что Шеллингъ такъ ясно опредѣлилъ міровую душу, называя ее *das Schwebende*, мнѣ она порядкомъ не дается. Онъ вскочилъ со стула и, подошедши ко мнѣ какъ нельзя ближе со словами: «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей головѣ, нажимая ими, какъ-будто черепъ у меня былъ составленъ изъ клавишей фисгармоники. «Дѣйствительно», прибавилъ онъ, обращаясь къ четыремъ братьямъ въ ссылкѣ: «*Bürger Herzen*

hat kein, aber auch gar kein Organ der Venerazion»; всѣ были довольны отсутствіемъ у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этомъ онъ объявилъ мнѣ, что онъ глубокой френологъ и не только писалъ книгу о Галлевой системѣ, но даже выбралъ по ней свою Амалію, потрогавши предварительно ея черепъ. Онъ увѣрялъ, что у нея бугра страстей совсѣмъ почти не существуетъ, и что задняя часть черепа, обиталище ихъ, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причинѣ, онъ женился на ней.

Струве былъ большой чудакъ, ѣлъ одно постное съ прибавкой молока, не пилъ вина, и на такой же діетѣ держалъ свою Амалію. Ему казалось и этого мало, и онъ всякій день ходилъ купаться съ нею въ Арву, гдѣ вода середь лѣта едва достигаетъ 8 градусовъ, не успѣвая нагрѣться, такъ быстро стекаетъ она съ горъ.

Впослѣдствіи мнѣ случалось говорить съ нимъ о растительной пищѣ. Я возражалъ ему, какъ обыкновенно возражаютъ: устройствомъ зубовъ, большей потерей силъ на претвореніе растительнаго фибрина, указывалъ на меньшее развитие мозга у травоядныхъ животныхъ. Онъ слушалъ кротко, не сердился, но стоялъ на своемъ. Въ заключеніе, онъ, видимо желая меня поразить, сказалъ мнѣ:

— «Знаете ли вы, что человѣкъ, всегда питающійся растительной пищей, до того очищаетъ свое тѣло, что оно совсѣмъ не пахнетъ послѣ смерти?»

— Это очень пріятно, возразилъ я ему, но мнѣ-то отъ этого какая же польза? я не буду нюхать самъ себя послѣ смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказалъ мнѣ съ спокойнымъ убѣжденіемъ:

— «Вы еще будете иначе говорить!»

— Когда выростетъ бугоръ почтительности, прибавилъ я.

Въ концѣ 1849 Струве прислалъ мнѣ свой, вновь изобрѣтенный для вольной Германіи, календарь. Дни, мѣсяцы, все было переведено на какое-то древне-германское и трудно понятное нарѣчіе; вмѣсто святыхъ, каждый день былъ посвященъ воспоминанію двухъ знаменитостей, напр. Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался въ память враговъ рода человѣческаго, напр. Меттерниха. Праздниками были тѣ дни, когда воспоминаніе падало на особенно великихъ людей, на Лютера, Колумба и пр. Въ этомъ календарѣ Струве галантно замѣнилъ 25 декабря, Рождество Христово, праздникомъ *Амаліи!*

Какъ-то, встрѣтившись со мной на улицѣ, онъ, между прочимъ, сказалъ, что надобно было бы издавать въ Женевѣ журналъ, общій всѣмъ эмиграціямъ, на трехъ языкахъ, который

могъ бы бороться противъ «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народовъ, раздавленныхъ теперь реакціей. Я ему отвѣчалъ, что, разумѣется, это было бы хорошо.

Изданіе журналовъ было тогда повальной болѣзнію: каждыя двѣ-три недѣли возникали проекты, являлись спесимены, рассылались программы, потомъ нумера два-три,—и все исчезало безслѣдно. Люди, ни на что неспособные, все еще считали себя способными на изданіе журнала, сколачивали сто-двѣсти франковъ и употребляли ихъ на первый и послѣдній листъ. Поэтому намѣреніе Струве меня нисколько не удивило; но удивило и очень его появленіе ко мнѣ на другое утро, часовъ въ семь. Я думалъ, что случилось какое-нибудь несчастье, но Струве, спокойно усѣвшись, вынулъ изъ кармана какую-то бумагу и, приговорясь читать, сказалъ:

— «Бюргеръ, такъ какъ мы вчера согласились съ вами въ необходимости издавать журналъ, то я и пришелъ прочесть вамъ его программу».

Прочитавши, онъ объявилъ, что пойдетъ къ Маццини и многимъ другимъ и пригласитъ собраться для совѣщанія у Гейнца. Пошелъ и я къ Гейнцену. Онъ свирѣпо сидѣлъ на стулѣ за столомъ, держа въ огромной ручищѣ тетрадь, другую онъ протянулъ мнѣ, густо пробормотавши: «Бюргеръ, плацъ!»

Человѣкъ восемь нѣмцевъ и французовъ были налицо. Какой-то эксъ-народный представитель французскаго Законодательнаго собранія дѣлалъ смѣту расходовъ и писалъ что-то кривыми строчками. Когда вошелъ Маццини, Струве предложилъ прочесть программу, писанную Гейнценомъ. Гейнценъ прочиталъ голосъ и началъ читать *по-нѣмецки*, несмотря на то, что общій всѣмъ языкъ былъ одинъ французскій.

Такъ какъ у нихъ не было тѣни новой идеи, то программа была тысячной вариацией тѣхъ демократическихъ разглагольствованій, которыя составляютъ такую же риторику на революціонные тексты, какъ церковныя проповѣди на библейскіе. Косвенно предупреждая обвиненіе въ социализмѣ, Гейнценъ говорилъ, что демократическая республика сама по себѣ уладитъ экономическій вопросъ къ общему удовольствію. Человѣкъ, не содрогнувшийся передъ требованіемъ двухъ милліоновъ головъ, боялся, что ихъ органъ сочтутъ коммунистическимъ.

Я что-то возразилъ ему на это послѣ чтенія, но по его отрывистымъ отвѣтамъ, по вмѣшательству Струве и по жестамъ французскаго представителя, догадался, что мы были приглашены на совѣтъ, чтобъ принять программу Гейнца и Струве, а совсѣмъ не для того, чтобъ ее обсуживать; это было, впрочемъ,

совершенно согласно съ теоріей Эллидифора Антиоховича Зурова, новгородскаго военнаго губернатора ¹⁾).

Маццини, хотя и печально слушалъ, однако согласился, и чуть ли не первый подписалъ на двѣ-три акціи. Si omnes consentiunt, ego non dissentio, подумалъ я à la Шуфтерле въ «Шиллеровскихъ Разбойникахъ», и тоже подписался.

Однакожь акціонеровъ оказалось мало; какъ представитель ни считалъ и ни прикидывалъ, подписанной суммы было недостаточно.

— Господа, сказалъ Маццини, я нашелъ средство побѣдить это затрудненіе: издавайте сначала журналъ только по-французски и по-нѣмецки, что же касается итальянскаго перевода, я буду помѣщать всѣ *замѣчательныя* статьи въ моей Italia del Popolo, вотъ вамъ одной третью расходовъ и меньше.

— Въ самомъ дѣлѣ! чего же лучше!—Предложеніе Маццини было принято всѣми. Онъ повеселѣлъ. Мнѣ было ужасно смѣшно, и смертельно хотѣлось показать ему, что я видѣлъ, какъ онъ передернулъ карту. Я подошелъ къ нему и, высмотрѣвъ минуту, когда никого не было возлѣ, сказалъ:

— Вы славно отдѣлались отъ журнала.

— Послушайте, замѣтилъ онъ, вѣдь итальянская часть въ самомъ дѣлѣ *лишняя*.

— Такъ, какъ и двѣ остальные! добавилъ я. Улыбка скользнула по его лицу, и такъ быстро исчезла, какъ-будто ея и не было никогда.

Я тутъ видѣлъ Маццини во второй разъ. Маццини, знавшій о моей римской жизни, хотѣлъ со мной познакомиться. Однимъ утромъ мы отправились къ нему въ Паки съ Л. Спины.

Когда мы вошли, Маццини сидѣлъ, пригорюнившись, за столомъ и слушалъ рассказъ довольно высокаго, стройнаго и пре-краснаго собой молодого человѣка съ бѣлокурыми волосами. Это былъ отважный сподвижникъ Гарибальди, защитникъ Vasselo, предводитель римскихъ легіонеровъ, Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого вниманія на происходившее, сидѣлъ другой молодой человѣкъ, съ печально разсѣяннѣмъ выраженіемъ; это былъ товарищъ Маццини по триумvirату, Маркъ Аврелій Саффи.

Маццини всталъ и, глядя мнѣ прямо въ лицо своими пронзительными глазами, протянулъ дружески обѣ руки. Въ самой Италиі рѣдко можно встрѣтить такую изящную въ своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выраженіе его лица было жестко, сурово, но оно тотчасъ смягчалось и прояснялось. Дѣятельная, сосредоточенная мысль сверкала въ

¹⁾ „Былое и Думы“. Т. II.

его печальныхъ глазахъ; въ нихъ и въ морщинахъ на лбу— бездна воли и упрямства. Во всѣхъ чертахъ были видны слѣды долготѣтнихъ заботъ, неспанныхъ ночей, пройденныхъ бурь, сильныхъ страстей, или, лучше, *одной* сильной страсти, да еще что-то фанатическое—можетъ аскетическое.

Маццини очень простъ, очень любезенъ въ обращеніи, но привычка властвовать видна, особенно въ спорѣ; онъ едва можетъ скрыть досаду при противорѣчии, а иногда и не скрываетъ ее. Силу свою онъ знаетъ и откровенно пренебрегаетъ всѣми наружными знаками диктаторіальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. Въ своей маленькой комнаткѣ, съ вѣчной сигарой во рту, Маццини въ Женевѣ, какъ нѣкогда папа въ Авиньонѣ, сосредоточивалъ въ своей рукѣ нити психическаго телеграфа, приводившія его въ живое сообщеніе со всѣмъ полуостровомъ. Онъ зналъ каждое біеніе сердца своей партіи, чувствовалъ малѣйшее сотрясеніе, немедленно отвѣчалъ на каждое, и давалъ общее направленіе всему и всѣмъ съ поразительною неутомимостью.

Фанатикъ и въ то же время организаторъ, онъ покрылъ Италію сѣтью тайныхъ обществъ, связанныхъ между собой и шедшихъ къ одной цѣли. Общества эти вѣтвились неуловимыми артеріями, дробились, мельчали и исчезали въ Апеннинахъ и въ Альпахъ, въ царственныхъ *rallazzi* аристократовъ и въ темныхъ переулкахъ итальянскихъ городовъ, въ которые никакая полиція не можетъ проникнуть. Сельскіе попы, кондукторы дилижансовъ, ломбардскіе принчипе, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты—все шло на дѣло, всѣ были звенья цѣпи, примыкавшей къ нему и повиновавшейся ему.

Послѣдовательно, со времени Менотти и братьевъ Бандьера, рядъ за рядомъ, выходятъ восторженные юноши, энергическіе плебеи, энергическіе аристократы, иногда старые старики... и идутъ по указаніямъ Маццини, рукоположеннаго старцемъ Буонаротти, товарищемъ и другомъ Гракха Бабѣфа, идутъ на неровный бой, пренебрегая цѣпями и плахой и примѣшивая иной разъ къ предсмертному крику: *Viva l'Italia! Evviva Mazzini!*

Такой революціонной организаціи никогда не бывало нигдѣ, да и врядъ ли она возможна гдѣ-нибудь, кромѣ Италіи, развѣ въ Испаніи. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилѣтнимъ мученичествомъ, она изопла кровью и истомой ожиданія, ея мысль состарѣлась, да и тутъ еще какіе порывы, какіе примѣры:

Піанори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобъ смертью одного человѣка можно было поднять страну изъ такого паденія, въ какомъ теперь Франція.

Я не оправдываю плана, вслѣдствіе котораго Пизакане сдѣлала свою высадку, она мнѣ казалась такъ же не своевременна, какъ два предшлѣдніе опыта въ Миланѣ; но рѣчь не о томъ, а здѣсь хочу только сказать о самомъ исполненіи. Люди эти подавляютъ величіемъ своей мрачной поэзіи, своей страшной силы и останавливаютъ всякій судъ и всякое осужденіе. Я не знаю примѣровъ большаго героизма ни у грековъ, ни у римлянъ, ни у мучениковъ христіанства и реформы!

Кучка энергическихъ людей приплываетъ къ несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовомъ, примѣромъ, живымъ свидѣтельствомъ, что еще не все умерло въ народѣ. Вождь молодой, прекрасный, падаетъ первый съ знаменемъ въ рукѣ, а за нимъ падаютъ остальные, или, хуже, попадаютъ въ когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшныхъ громовыхъ удара въ душную ночь. Романская Европа вздрогнула,— дикій вепрь, испуганный, отступилъ въ Казерту и спрятался въ своей берлогѣ. Блѣдный отъ ужаса, траурный кучеръ, мчащій Францію на кладбище, покачнулся на козлахъ.

Недаромъ высадка Пизакане такъ поэтически отозвалась въ народѣ.

.....

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra,
Ma s'inchinaron per bacciar la terra:
Ad uno, ad uno li gardai nel viso,
Tutti avean una lagrima e un sorriso,
Li disser ladri, usciti dalle tane,
Ma non portaron via nemmeno un pane;
E li sentj mandare un solo grido:
Siam venuti a morir per nostro lido—
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!

Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e présol per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardommi e mi rispose—O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
Io mi sentj tremare tutto il core;
Né potei dirgli: V' aiuti il signore;
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!

.....

L. Mercantini, La Spigolatrice di Sapri 1)

1) Вотъ блѣдный прозаичный переводъ этихъ удивительныхъ строкъ, перешедшихъ въ народную легенду:

„Они сошли съ оружіемъ въ рукахъ, но они не воевали съ нами; они бросились на землю и цѣловали ее; я взглянула на каждого изъ нихъ, на каждого,—

Въ 1849 году Маццини былъ властью, правительства не даромъ боялись его; звѣзда его тогда была въ полномъ блескѣ, но это былъ блескъ заката. Она еще долго продержалась бы на своемъ мѣстѣ, блѣднѣя мало-по-малу, но, послѣ повторенныхъ неудачъ и натянутыхъ опытовъ, она стала быстро склоняться.

Одни изъ друзей Маццини сблизились съ Пиемонтомъ, другіе съ Наполеономъ. Манинъ пошелъ своимъ революціоннымъ проселкомъ, составилъ расколы, федеральный характеръ итальянцевъ поднялъ голову.

Самъ Гарибальди, скрѣпя сердце, произнесъ строгій судъ надъ Маццини и, увлекаемый его врагами, далъ гласность письму, въ которомъ косвенно обвинялъ его.

Вотъ отъ этого Маццини посѣдѣлъ, состарѣлся; отъ этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобленія, прибавилась въ его лицѣ, въ его взглядѣ. Но такіе люди не сдаются, не уступаютъ: чѣмъ хуже дѣла ихъ, тѣмъ выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользя отъ цѣпей и висѣлицы, становится завтра настойчивѣе и упорнѣе, собираетъ новыя деньги, ищетъ новыхъ друзей, отказываетъ себѣ во всемъ, даже во снѣ и пищѣ, обдумываетъ цѣлыя ночи новыя средства и, дѣйствительно, всякій разъ создаетъ ихъ, бросается въ бой и, снова разбитый, опять принимается за дѣло, съ судорожной горячностью.

Въ этомъ непреклонномъ постоянствѣ, въ этой вѣрѣ, идущей наперекоръ фактамъ, въ этой неутомимой дѣятельности, которую неудача только вызываетъ и подзадориваетъ, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумія и обусловливаетъ успѣхъ, она дѣйствуетъ на нервы народа, увлекаетъ его. Великій человекъ, дѣйствующій непосредственно, долженъ быть великимъ маніакомъ, особенно съ такимъ восторженнымъ народомъ, какъ итальянцы, къ тому-же защищая религіозную мысль національности. Одни послѣдствія могутъ показать, поте-

у всѣхъ дрожала слеза на глазахъ и у всѣхъ была улыбка. Намъ говорили, что это разбойники, вышедшіе изъ своихъ вертеповъ; но они ничего не взяли, ни даже куска хлѣба, и мы только слышали отъ нихъ одно восклицаніе: „Мы пришли умереть за нашъ край!“

„Ихъ было триста, они были молоды и сильны... и всѣ погибли.“

„Передъ ними шелъ молодой, золотовласый вождь съ голубыми глазами... Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: „Куда идешь ты, прекрасный вождь?“ Онъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ: „Сестра моя, иду умирать за родину“. И сильно заняло мое сердце, и я не въ силахъ была вымолвить: „Богъ тебѣ въ помощь!“

„Ихъ было триста; они были молоды и сильны... и всѣ погибли!“

И я зналъ *bel capitano*, и не разъ бесѣдовалъ съ нимъ о судьбахъ его печальной родины...

рялъ ли Маццини излишними и неудачными опытами магнитическую силу свою на итальянскія массы. Не разумъ, не логика, ведетъ народы, а вѣра, любовь и ненависть.)

Выходцы итальянскіе не были выше другихъ ни талантами, ни образованіемъ: большая часть ихъ даже ничего не знала, кромѣ своихъ поэтовъ, кромѣ своей исторіи; но они не имѣли ни битаго стереотипнаго чекана французскихъ строевыхъ демократовъ, которые разсуждаютъ, декламируютъ, восторгаются, чувствуютъ стадами одно и то же и одинакимъ образомъ выражаютъ свои чувства, ни того неотесаннаго, грубаго, харчевенно-бурсацкаго характера, которымъ отличались нѣмецкіе выходцы. Французскій дюжинный демократъ—буржуа *in spe*, нѣмецкій революціонеръ, такъ-же, какъ нѣмецкій буршъ—тотъ же филистеръ, но въ другомъ періодѣ развитія. Итальянцы—самобытнѣе, *индивидуальнѣе*.

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращенія личностей: оно, совершенно во французскомъ духѣ, устроило общественное воспитаніе, т. е. воспитаніе вообще, потому что домашняго воспитанія во Франціи нѣтъ. Во всѣхъ городахъ имперіи преподаютъ въ тотъ же день и въ тотъ же часъ, по тѣмъ же книгамъ—одно и то же. На всѣхъ экзаменахъ задаются одни и тѣ же вопросы, одни и тѣ же примѣры, учителя, отклоняющіеся отъ текста или мнѣняющіе программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитанія только привела въ обязательную, наслѣдственную форму то, что прежде бродило въ умахъ. Это—формально-демократическій уровень, приложенный къ умственному развитію. Ничего подобнаго въ Италіи. Федералистъ и художникъ по натурѣ, итальянецъ съ ужасомъ бѣжитъ отъ всего казарменнаго, однообразнаго, геометрически правильнаго. Французъ—природный солдатъ: онъ любитъ строй, команду, мундиръ, любитъ задать страху. Итальянецъ, если на то пошло, скорѣе бандитъ, чѣмъ солдатъ, и этимъ я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о немъ. Онъ предпочитаетъ, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанію, чѣмъ убивать по приказу, но за то безъ всякой отвѣтственности постороннихъ. Онъ любитъ лучше скучно жить въ горахъ и скрывать контрабандистовъ, чѣмъ открывать ихъ и почетно служить въ жандармахъ.

Образованный итальянецъ вырабатывался, какъ нашъ братъ, самъ собой, жизнію, страстями, книгами, которыя случались подъ рукой, и пробрался до такого или иного пониманія. Оттого у него и у насъ есть пробѣлы, неспѣтости. Онъ и мы во многомъ уступаемъ специальной оконченности французовъ и теоретической учености нѣмцевъ, но зато у насъ и у итальянцевъ ярче цвѣта.

У насъ съ ними есть даже общіе недостатки. Итальянецъ

имѣть ту же склонность къ лѣни, какъ и мы, онъ не находитъ, что работа наслажденіе; онъ не любитъ ея тревогу, ея усталъ, ея недосугъ. Промышленность въ Италіи почти столько же отстала, какъ у насъ; у нихъ, какъ у насъ, лежатъ подъ ногами клады и они ихъ не выкапываютъ. Нравы, въ Италіи не измѣнились новомѣщанскимъ направлениемъ до такой степени, какъ во Франціи и Англии.

Исторія итальянскаго мѣщанства совсѣмъ непохожа на развитіе буржуазіи во Франціи и Англии. Богатые мѣщане, потомки *del popolo grasso*, не разъ счастливо соперничали съ феодальной аристократіей, были властелинами городовъ, и оттого они стали не дальше, а ближе къ плебею и *контадину*, чѣмъ наскоро обогатѣвшая чернь другихъ странъ. Мѣщанство, въ французскомъ смыслѣ, собственно представляется въ Италіи особой средой, образовавшейся со времени первой революціи, и которую можно назвать, какъ это дѣлается въ геологіи, *пьемонтскимъ* слоемъ. Онъ отличается въ Италіи, такъ-же, какъ во всемъ материкѣ Европы, тѣмъ, что во *многихъ* вопросахъ постоянно либераленъ и во *всѣхъ* боится народа и слишкомъ нескромныхъ толковъ о трудѣ и заплатѣ; да еще тѣмъ, что онъ всегда уступаетъ врагамъ сверху, не уступая никогда *своимъ* снизу. 1)

Личности, составлявшія итальянскую эмиграцію, были выхвачены изъ всевозможныхъ слоевъ общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами изъ лѣтописей Гвичардини и Муратори, къ которымъ народное ухо привыкло вѣками, какъ Лигты, Боромеи, Дель-Верме, Белжоіозо, Нани, Висконти, и какимъ-нибудь полудикимъ ускокомъ Ромео изъ Абрुцъ, съ его темнымъ, до оливковаго цвѣта, лицомъ и неукротимой отвагой! Тутъ были и духовные, какъ Сиртори — попъ-герой, который, при первомъ выстрѣлѣ въ Венеціи, подвязалъ свою сутану, и все время осады и защиты Маргеры, съ ружьемъ въ рукѣ, дрался подъ градомъ пуль, въ передовыхъ рядахъ; тутъ былъ и блестящій военный штабъ неаполитанскихъ офицеровъ, какъ Пизакане, Козенцъ и братья Меццокаппа; тутъ были и трастевринскіе плебеи, закаленные въ вѣрности и лишеніяхъ, суровые, угрюмые, нѣмые въ бѣдѣ, скромные и несокрушимые, какъ Пинанори, и рядомъ съ ними тосканцы, изнѣженные даже въ произношеніи, но также готовые на борьбу. Наконецъ, тутъ были Гарибальди, цѣликомъ взятый изъ Корнелія Непота, съ простотой ребенка, съ отвагой льва, и Феличе Орсини, голова котораго такъ недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвавъ ихъ, нельзя не приостановиться.

Съ Гарибальди я собственно познакомился въ 1854 г., когда онъ приплылъ изъ Южной Америки капитаномъ корабля и сталъ

въ Вестъ-Индскихъ докахъ; я отправился къ нему съ однимъ изъ его товарищей по римской войнѣ и съ Орсини. Гарibaldi, въ толстомъ свѣтломъ пальто, съ ярко-цвѣтнымъ шарфомъ на шеѣ и фуражкой на головѣ, казался мнѣ больше истымъ морякомъ, чѣмъ тѣмъ славнымъ предводителемъ римскаго ополченія, статуэтки котораго въ фантастическомъ костюмѣ продавались во всемъ свѣтѣ. Добродушная простота его обращенія, отсутствіе всякой претензіи, радушіе, съ которымъ онъ принималъ, располагали въ его пользу. Экипажъ его почти весь состоялъ изъ итальянцевъ, онъ былъ глава и власть, и, я увѣренъ, власть строгая, но всѣ весело и съ любовью смотрѣли на него; они гордились своимъ капитаномъ. Гарibaldi угощалъ насъ завтракомъ въ своей каютѣ, особенно приготовленными устрицами изъ Южной Америки, сушеными плодами, порвейномъ, — вдругъ онъ вскочилъ, говоря: «Постойте! съ вами мы выпьемъ другого вина», и побѣжалъ наверхъ; вслѣдъ за тѣмъ матросъ принесъ какую-то бутылку; Гарibaldi посмотрѣлъ на нее съ улыбкой и налилъ намъ по рюмкѣ... Чего нельзя было ожидать отъ человѣка, пріѣхавшаго изъ-за океана? Это былъ просто на просто *белетъ* изъ его родины Ниццы, который онъ привезъ съ собой въ Лондонъ изъ Америки.

Между тѣмъ въ простыхъ и безцеремонныхъ разговорахъ его мало-по-малу становилось чувствительно присутствіе силы; безъ фразъ, безъ общихъ мѣстъ, народный вождь, удивлявшій своей храбростью старыхъ солдатъ, обличался, и въ капитанѣ корабля легко уже было узнать того уязвленнаго льва, который, огрызаясь на каждомъ шагу, отступилъ послѣ взятія Рима и, растерявъ своихъ сподвижниковъ, снова сзывалъ въ Санъ-Марино, въ Равеннѣ, въ Ломбардіи, въ Тиролѣ, въ Тесино солдатъ, мужиковъ, бандитовъ, кого попало, чтобъ только снова ударить на врага, и это возлѣ тѣла своей подруги, не вынесшей всѣхъ трудностей и лишеній похода.

Мнѣнія его въ 1854 году уже значительно расходились съ Маццини, хотя онъ и былъ съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Онъ при мнѣ говорилъ ему, что Пиемонтъ дразнить не надобно, что главная цѣль теперь освободиться отъ австрійскаго ига, и очень сомнѣвался, чтобъ Италія такъ была готова къ единству и республикѣ, какъ думалъ Маццини. Онъ былъ совершенно противъ всѣхъ попытокъ и опытовъ возстанія.

Когда онъ отплывалъ за углемъ въ Ньюкестль на Тейнѣ и оттуда отправлялся въ Средиземное море, я сказалъ ему, что мнѣ ужасно нравится его морская жизнь, что онъ изъ всѣхъ эмигрантовъ избралъ благую часть.

— «А кто имъ не велитъ сдѣлать то же», возразилъ онъ съ жа-

ромъ. «Это была моя любимая мечта, смѣйтесь надъ ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня въ Америкѣ знаютъ; я могъ бы имѣть подѣ моимъ начальствомъ—три, четыре такихъ корабля. На нихъ я взялъ бы всю эмиграцію: матросы, лейтенанты, работники, повара, все были бы эмигранты. Что теперь дѣлать въ Европѣ? Привыкать къ рабству, измѣнять себѣ или въ Англіи ходить по міру. Поселиться въ Америкѣ еще хуже: это конецъ, это страна «забвенія родины», это новое отечество, тамъ другіе интересы, все другое; люди, остающіеся въ Америкѣ, выпадаютъ изъ рядовъ. Что же лучше моей мысли (и лицо его просвѣтлѣло), что же лучше, какъ собраться въ кучку около нѣсколькихъ мачтъ и носиться по океану, закаляя себя въ суровой жизни моряковъ, въ борьбѣ съ стихіями, съ опасностью. Пловучая революція, готовая пристать къ тому или другому берегу, независимая и недосягаемая!»

Въ эту минуту онъ мнѣ казался какимъ-то классическимъ героемъ, лицомъ изъ Энеиды, о которомъ — живи онъ въ иной вѣкъ—сложилась бы своя легенда, свое *Arma virumque capo!*

Орсини былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ. Дикую силу и страшную энергію свою онъ доказалъ 14 января 1858 года, въ rue Lepelletier; онъ приобрѣли ему имя и положили его тридцатипятилѣтнюю голову подѣ ножъ гильотины. Я познакомился съ Орсини въ Ниццѣ, въ 1851 году; временами мы были даже очень близки, потомъ расходились, снова сближались, наконецъ, какая-то сѣрая кошка пробѣжала между нами въ 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрѣли другъ на друга.

Такія личности, какъ Орсини, развиваются только въ Италіи, зато въ ней онѣ развиваются во всѣ времена, во всѣ эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключеній, патриоты и кондотьеры, Теверино и Ріензи, все, что хотите—только не пошлые будничные мѣщане. Такія личности ярко вырѣзываются въ лѣтописяхъ cadaго итальянскаго города. Онѣ дивятся добромъ, дивятся зломъ, поражаютъ силой страстей, силой воли. Безпокойная закваска бродитъ въ нихъ съ раннихъ лѣтъ, имъ надобна опасность, надобенъ блескъ, лавры, похвалы; это природы чисто южныя, съ острой кровью въ жилахъ, съ страстями, почти непонятными для насъ, готовые на всякое лишеніе, на всякую жертву, изъ своего рода жажды наслажденія. Самоотверженіе, преданность идутъ у нихъ вмѣстѣ съ мстительностью и нетерпимостью; онѣ просты во многомъ и лукавы во многомъ. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности, потомки римскихъ «отцовъ отечества», и дѣти во Христѣ отцовъ іезуитовъ, воспитанные на классическихъ воспоминаіяхъ и на преданіяхъ средневѣковыхъ смуть, у нихъ въ душѣ бродитъ бездна античныхъ

добродѣтелей и католическихъ пороковъ. Они не дорожатъ своею жизнію, но не дорожатъ также и жизнію ближняго; страшная настойчивость ихъ равняется англосаксонскому упрямству. Съ одной стороны, наивная любовь къ внѣшнему, самолюбіе, доходящее до тщеславія, до сладострастнаго желанія ушиться властью, рукоплесканіями, славой; съ другой—весь римскій героизмъ лишеній и смерти.

Людей этой энергіи останавливать можно только гильотиной; а то, едва спасшись отъ сардинскихъ жандармовъ, они дѣлаютъ заговоры въ самыхъ когтяхъ австрійскаго коршуна и, на другой день послѣ чудеснаго спасенія изъ казематъ Мантуи, рукой, еще помятой отъ прыжка, начинаютъ чертить проектъ *гранатъ*, потомъ. лицомъ къ лицу съ опасностью,—бросаютъ ихъ подъ кареты. Въ самой неудачѣ они растутъ до колоссальныхъ размѣровъ и своею смертію наносятъ ударъ, стоящій осколка гранаты...

Орсини молодымъ человѣкомъ попалъ въ руки тайной полиціи Григорія XIV: онъ былъ судимъ за участіе въ романскомъ движеніи и, осужденный на галеры, просидѣлъ въ тюрьмѣ до амнистіи Пія IX. Огромное знаніе народнаго духа и желѣзный закалъ характера вынесъ онъ изъ этой жизни съ контрабандистами, съ *bravi*, съ остатками карбонаровъ. Отъ этихъ людей, находившихся въ постоянной, ежедневной борьбѣ съ обществомъ, давившимъ ихъ, научился онъ искусству владѣть собой, искусству молчать, не только передъ судомъ, но и съ друзьями.

Люди въ родѣ Орсини сильно дѣйствуютъ на другихъ, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тѣмъ съ ними не по себѣ: на нихъ смотришь съ тѣмъ нервнымъ наслажденіемъ, перемѣшаннымъ съ трепетомъ, съ которымъ мы любуемся граціознымъ движеніемъ и бархатнымъ прыжкамъ барса. Они дѣти, но дѣти злые. Не только Дантовъ адъ «вымощенъ» ими, но ими полны все слѣдующіе вѣка, вырощенные на грозной поэзіи его и на озлобленной мудрости Макіавелли. Маццини также принадлежатъ къ ихъ семьѣ, какъ Козимо Медичи, Орсини, какъ Іоаннъ Прочида. Изъ нихъ даже нельзя исключить ни великаго «искателя морскихъ приключеній», Колумба, ни величайшаго «бандита» новѣйшихъ вѣковъ, Наполеона Бонапарта.

Орсини былъ поразительно хорошъ собой: вся наружность его, стройная и граціозная, невольно обращала на него вниманіе; онъ былъ тихъ, мало говорилъ, размахивалъ руками меньше, чѣмъ его соотечественники, и никогда не подымалъ голоса. Длинная, черная борода (какъ онъ носилъ ее въ Италіи) придавала ему видъ какого-то молодого этрурійскаго жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и развѣ только нѣсколько попорчена неправильной линіей носа. И при всемъ этомъ въ чертахъ Орсини,

въ его глазахъ, въ его частой улыбкѣ, въ его кроткомъ голосѣ было что-то останавливавшее близость. Видно было, что онъ держитъ себя на уздѣ, никогда вполнѣ не отдается и удивительно владѣетъ собой; видно было, что съ этихъ улыбающихся губъ не пало ни одного слова безъ его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какія-то пропасти, что тамъ, гдѣ нашъ братъ призадумается и отшархнется, онъ улыбнется, не перемѣнится въ лицѣ, не повыситъ голоса и—пойдетъ далѣе безъ раскаянія и сомнѣнія.

Весною 1852 года Орсини ждалъ очень важной вѣсти по семейнымъ дѣламъ; его мучило, что онъ не получалъ письма, онъ мнѣ говорилъ это много разъ, и я зналъ, въ какой тревогѣ онъ жилъ. Разъ, во время обѣда, при двухъ-трехъ постороннихъ, вошелъ почталіонъ въ переднюю; Орсини велѣлъ спросить, нѣтъ ли письма къ нему; оказалось, что какое-то письмо дѣйствительно было къ нему, онъ взглянулъ на него, положилъ въ карманъ и продолжалъ разговоръ. Часа черезъ полтора, когда мы остались втроемъ, Орсини намъ сказалъ: «Ну, слава Богу, наконецъ-то получилъ я отвѣтъ, все очень хорошо.» Мы, зная, что онъ ожидаетъ письма, не догадались, до того равнодушно онъ распечаталъ письмо и потомъ положилъ его въ карманъ; такой человекъ родился заговорщикомъ. Онъ и былъ имъ всю жизнь.

И что же сдѣлалъ онъ съ своей энергіей, Гарибальди съ своей отвагой, Пיאори съ своимъ револьверомъ, Пизакане и другіе мученики, кровь которыхъ еще не засохла? Отъ австрійцевъ Италію освободить развѣ Пиемонтъ; отъ неаполитанскаго Бурбона—толстый Мюратъ, оба подъ покровительствомъ Бонапарта. О *divina Comedia!*—или просто *Comedia!* въ томъ омыслѣ, какъ папа Кіарамонти говорилъ Наполеону въ Фонтенебло.

... Съ двумя лицами, о которыхъ я упомянулъ, говоря о первой встрѣчѣ съ Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно съ Саффи.

Медици—ломбардъ. Въ начальной юности, томимый безнадежнымъ положеніемъ Италіи, онъ уѣхалъ въ Испанію, потомъ въ Монтевидео, въ Мексику; онъ служилъ въ рядахъ кристиновъ, былъ, кажется, капитаномъ и, наконецъ, возвратился на родину, послѣ избранія Мастая Феррети. Италія оживала, Медици бросился въ движеніе. Начальствуя римскими легионерами во время осады, онъ надѣлалъ чудеса храбрости; но французскіе орды все-таки вошли въ Римъ по трупамъ многихъ благородныхъ жертвъ—по трупу Лавирона, который, какъ бы въ искупленіе своему народу, дрался противъ него и палъ, сраженный французской пулей въ воротахъ Рима.

Трибунъ-воинъ Медичи долженъ рисоваться въ воображеніи кондотьеромъ, загорѣвшимъ отъ пороха и отъ тропическаго солнца, съ рѣзкими чертами, съ отрывистой, громкой рѣчью, съ энергической мимикой. Блѣдный, бѣлокурый, съ нѣжными чертами, съ глазами, исполненными кротости, съ изящными манерами, Медичи скорѣе походилъ на человѣка, проводившаго всю жизнь въ дамскомъ обществѣ, чѣмъ на герильяса и агитатора; поэтъ, мечтатель, тогда страстно влюбленный,—въ немъ все было изящно и нравилось.

Нѣсколько недѣль, проведенныхъ съ нимъ въ Генуѣ, сдѣлали мнѣ большое добро; это было въ самое черное для меня время, въ 1852 г., мѣсяца полтора послѣ похоронъ; я былъ сбить съ толку: вѣхи, знаки фарватера были потеряны, не знаю, былъ ли я похожъ и тогда на поврежденнаго, какъ замѣтилъ Орсини въ своихъ запискахъ, но мнѣ было скверно. Медичи жалѣлъ меня; онъ этого не говорилъ, но вечеромъ поздно, часовъ въ двѣнадцать, онъ стучалъ иной разъ ко мнѣ въ дверь и приходилъ поболтать, садясь на мою постель (мы разъ, бесѣдуя съ нимъ такимъ образомъ, поймали на одѣялѣ скорпіона). Онъ стучалъ иной разъ и въ седьмомъ часу утра, говоря: «на дворѣ прелесть, пойдете въ Альбаро»,—тамъ жила красавица испанка, которую онъ любилъ. Онъ не надѣялся на скорую перемѣну обстоятельствъ, впереди виднѣлись годы изгнанія, все становилось хуже, тусклѣе, но въ немъ было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замѣчалъ почти у всѣхъ натуръ этого закала.

Въ день моего отъѣзда пришли ко мнѣ обѣдать нѣсколько близкихъ людей, Пизакане, Мордини, Козенць...

— Отчего, сказалъ я шутя, нашъ другъ Медичи, съ своими бѣлокурыми волосами и сѣвернымъ, аристократическимъ лицомъ, напоминаетъ мнѣ скорѣе какихъ-то вандиковскихъ рыцарей, чѣмъ итальянца?

— Это натурально, прибавилъ, продолжая шутить, Пизакане: Джакомо—ломбардъ, онъ потомокъ какого-нибудь рыцаря».

— Fratelli,—сказалъ Медичи,—нѣмецкой крови въ этихъ жилахъ нѣтъ ни капли, ни одной капли!

— Хорошо вамъ толковать; нѣтъ, вы приведите доказательство, объясните намъ, отчего у васъ сѣверныя черты, продолжалъ тотъ.

— Извольте, сказалъ Медичи, если у меня сѣверныя черты, то вѣрно какая-нибудь изъ моихъ прабабушекъ забылась съ какимъ-нибудь полякомъ!

(Чище и проще Саффи я не встрѣчалъ натуры между нерусскими. Западные люди часто бываютъ недалніе, и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливыя натуры рѣдко

бываютъ просты. У нѣмцевъ встрѣчается противная простота практическихъ недорослей; у англичанъ—простота отъ нерасторопности ума, оттого, что они все какъ-будто съ просонья, не могутъ порядкомъ придти въ себя. Зато французы постоянно исполнены заднихъ мыслей, заняты своей ролью. Рядомъ съ отсутствіемъ простоты, у нихъ другой недостатокъ: всѣ они прескверные актеры и не умѣютъ скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка къ фразѣ до такой степени проникали въ кровь и плоть ихъ, что люди гибли, платили жизнію изъ-за актерства, и жертва ихъ все-таки была *ложь*. Это страшныя вещи, многіе негодуютъ за высказываніе ихъ, но обманываться еще страшнѣе.

Вотъ почему становится такъ отрадно, такъ легко дышать, когда на этомъ толкунѣ посредственностей съ притязаніями и талантовъ съ несноснымъ жеманствомъ и самохвальствомъ встрѣчается человѣкъ сильный, безъ малѣйшихъ румянъ, безъ притязаній, безъ самолюбія, кричащаго какъ ножъ по тарелкѣ. Точно изъ душнаго театрального коридора, освѣщеннаго лампами, выходишь на солнце, послѣ утренняго спектакля, и, вмѣсто картонныхъ магнолій и пальмъ изъ парусины, видишь настоящія липы и дышишь свѣжимъ, здоровымъ воздухомъ. Изъ этого рода людямъ принадлежитъ Саффи. Маццини, старикъ Армеллини и онъ были триумвирами во время Римской республики. Саффи завѣдывалъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и, до конца борьбы съ французами, былъ на первомъ планѣ; а на первомъ планѣ значило тогда—подъ ядрами и пулями.

Онъ изъ своего изгнанія еще разъ переходилъ Апеннины: эту жертву принесъ онъ изъ благочестія, безъ вѣры, изъ чувства великой преданности, чтобъ не огорчить однихъ, чтобъ своимъ отсутствіемъ не послужить дурнымъ примѣромъ. Онъ прожилъ нѣсколько недѣль въ Болоньи, гдѣ его въ 24 часа растрѣляли бы, если-бъ онъ попался; и задача его не состояла только въ томъ, чтобъ скрываться, ему надобно было дѣйствовать, готовить движеніе, ожидая новостей изъ Милана. Я никогда отъ него не слышалъ объ особенностяхъ этой жизни. Но я о ней слышалъ, и очень много, отъ человѣка, который могъ быть судьей въ дѣлахъ отваги, и слышалъ въ то время, когда личныя отношенія ихъ сильно поколебались. Орсини его сопровождалъ черезъ Апеннины: онъ рассказывалъ мнѣ съ восхищеніемъ объ этомъ ровномъ, свѣтломъ покоѣ, объ ясномъ, почти веселомъ расположеніи Саффи въ то время, когда они пѣшкомъ спускались съ горъ; въ виду всякаго рода враговъ, Саффи беззаботно пѣлъ народныя пѣсни и повторялъ стихи Данта...Я думаю, онъ и на плаху пошелъ бы съ тѣми же стихами и съ тѣми же пѣснями, вовсе не думая о своемъ подвигѣ.

Въ Лондонѣ, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частью молчалъ, участвовалъ рѣдко въ спорахъ, иногда одушевлялся на минуту и опять утихалъ. Его не понимали, это было для меня ясно, *il ne savait pas se faire valoir...* Но я ни отъ одного итальянца изъ тѣхъ, которые отпадали отъ Маццини, не слышалъ ни одного, ни малѣйшаго слова противъ Саффи.

Разъ, вечеромъ, зашелъ споръ между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которымъ я страстно сочувствую. У него, какъ у Байрона, много убито рефлексіей, но у него, какъ у Байрона, стихъ иногда рѣжетъ, дѣлаетъ боль, будить нашу внутреннюю скорбь. Такія слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и въ нѣкоторыхъ ямбахъ Барбье.

Леопарди была послѣдняя книга, которую читала, перелистывала передъ смертью Natalie...

Людамъ дѣятельности, агитаторамъ, двигателямъ массъ непонятны эти ядовитыя раздумья, эти сокрушительныя сомнѣнія. Они въ нихъ видятъ одну бесплодную жалобу, одно слабое уныніе. Маццини не могъ сочувствовать Леопарди, это я впередъ зналъ; но онъ на него напалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ. Мнѣ было очень досадно; разумѣется, онъ на него сердился за то, что онъ ему не годился на пропаганду. Такъ Фридрихъ II могъ сердиться... я не знаю... ну, на примѣръ, зачѣмъ онъ не годился въ драбанты. Это возмутительное стѣсненіе личности, подчиненіе ихъ категоріямъ, кадрамъ,—точно историческое развитіе—барщина, на которую сотскіе гонять, не спрашивая воли, слабого и крѣпкаго, желающаго и не желающаго.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказалъ ему:

— Вы, мнѣ кажется, имѣете зубъ на бѣднаго Леопарди за то, что онъ не участвовалъ въ римской революціи, а, вѣдь, онъ имѣетъ важную извинительную причину; вы все ее забываете!

— Какую?

— Да то, что онъ умеръ въ 1836 году.

Саффи не выдержалъ и вступился за поэта, котораго онъ еще больше меня любилъ и, разумѣется, еще живѣе понималъ: онъ разбиралъ его съ тѣмъ эстетическимъ, художественнымъ чувствомъ, въ которомъ человѣкъ больше обличаетъ извѣстныя стороны своего духа, чѣмъ *думаетъ*.

Изъ этого разговора и изъ нѣсколькихъ подобныхъ, я понималъ, что въ сущности *имъ* не одинъ путь. У одного мысль ищетъ средствъ, сосредоточена на нихъ однихъ,—это своего рода бѣгство отъ сомнѣній; она жаждетъ только дѣятельности прикладной,—это своего рода лѣнь. Другому дорога объективная истина, у него мысль работаетъ; сверхъ того, для художественной натуры искус-

ство дорого уже само по себѣ, безъ его отношенія къ дѣйстви-тельности.

Оставивъ Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, онъ у меня былъ въ карманѣ; мы зашли въ кафе и еще прочли нѣкоторыя изъ моихъ любимыхъ пьесъ.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встрѣчаются въ исчезающихъ отгѣнкахъ, они могутъ молчать о многомъ,—очевидно, что они согласны въ яркихъ цвѣтахъ и въ густыхъ тѣняхъ.

Говоря о Медичи, я упомянулъ одно глубоко трагическое лицо—*Лавирона*; съ нимъ я недолго былъ знакомъ, онъ промелькнулъ мимо меня и исчезъ въ кровавомъ облакѣ. Лавиронъ былъ кончившій курсъ политехникъ, инженеръ и архитекторъ. Я познакомился съ нимъ въ самый разгаръ революціи, между 24 февраля и 15 мая (онъ тогда былъ капитаномъ національной гвардіи), въ его жилахъ текла, безъ всякой примѣси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностыхъ годовъ. Я предполагаю, что таковъ былъ архитекторъ Клеберъ, когда онъ возилъ въ тачкѣ землю съ молодымъ актеромъ Тальмой, расчищая мѣсто для праздника федераціи.

Лавиронъ принадлежалъ къ небольшому числу людей, не опявшихъ 24 февраля отъ побѣды, отъ провозглашенія республики. Онъ былъ на баррикадахъ, когда дрались, и въ *Hôtel de Ville*, когда не-дравшіеся выбирали диктаторовъ. Когда прибыло новое правительство, какъ *Deus ex machina*, въ ратушу, онъ громко претестовалъ противъ его избиранія и, вмѣстѣ съ нѣсколькими энергическими людьми, спрашивалъ, откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно послѣдовательно Лавиронъ 15 мая ворвался съ парижскимъ народомъ въ мѣщанское собраніе и, съ обнаженной шпагой въ рукѣ, заставилъ президента допустить на трибуну народныхъ ораторовъ. Дѣло было потеряно. Лавиронъ скрылся. Онъ былъ судимъ и осужденъ *par contumace*. Реакція пнянѣла, она чувствовала себя сильной для борьбы и вскорѣ сильной для побѣды,—тутъ юньскіе дни, потомъ проскрипціи, ссылки, *синій* терроръ. Въ это самое время, однажды вечеромъ сидѣлъ я на бульварѣ передъ Тортони, въ толпѣ всякой всячины и, какъ въ Парижѣ всегда бываетъ,—въ умѣренную и неумѣренную монархію, въ республику и имперію—все это общество въ пересыпку съ шпіонами. Вдругъ подходитъ ко мнѣ—не вѣрю глазамъ—Лавиронъ.

— Здравствуйте! говоритъ онъ.

— Что за сумасшествіе? отвѣчаю я вполголоса и, взявъ его подъ руку, отхожу отъ Тортони.

— Какъ же можно такъ подвергаться и особенно теперь?

— Если бы вы знали, что за скука сидѣть въ заперти и прятаться, просто съ ума сойдешь... я думалъ, думалъ, да и пошелъ гулять.

— Зачѣмъ же на бульваръ?

— Это ничего не значить. Здѣсь меня меньше знаютъ, чѣмъ по ту сторону Сены, и кому жъ придется въ голову, что я стану прогуливаться мимо Тортона. Впрочемъ я ѣду...

— Куда?

— Въ Женеву, такъ тяжело и такъ все надоѣло; мы идемъ на встрѣчу страшнымъ несчастіямъ. Паденіе, паденіе, мелкость во всѣхъ, во всемъ. Ну, прощайте, прощайте, и да будетъ наша встрѣча повеселѣе.

Въ Женевѣ Лавиронъ занимался архитектурой, что-то строилъ, вдругъ объявлена война «за папу» противъ Рима. Французы сдѣлали свою вѣроломную высадку въ Чивита-Веккіи и приближались къ Риму. Лавиронъ бросилъ циркуль и поскакалъ въ Римъ. «Надобно вамъ инженера, артиллериста, солдата... Я французъ, я стыжусь за Францію и иду драться съ моими соотечественниками», говорилъ онъ триумвирамъ, и пошелъ жертвой искупленія въ ряды римлянъ. Съ мрачной отвагой шелъ онъ впередъ, — когда все было потеряно, онъ еще дрался и палъ въ воротахъ Рима, сраженный французскимъ ядромъ.

Французскія газеты похоронили его рядомъ ругательствамъ, указывая судъ божій надъ преступнымъ измѣнникомъ отечества!

... Когда человѣкъ, долго глядя на черныя кудри и черные глаза, вдругъ обращается къ блѣлокурой женщинѣ съ свѣтлыми бровями, нервной и блѣдной, взглядъ его всякій разъ удивляется и не можетъ сразу придти въ себя. Разница, о которой онъ не думалъ, которую забылъ, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же дѣлается при быстромъ переходѣ отъ итальянской эмиграціи къ нѣмецкой.

Нѣмецъ теоретически развитъ, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ всѣ народы, но проку въ этомъ нѣтъ до сихъ поръ. Изъ католическаго фанатизма онъ перешелъ въ протестантскій піэтизмъ трансцендентальной философіи и поэтизмъ филологіи, а теперь ловемному перебирается въ положительную науку; онъ «во всѣхъ классахъ учится прилежно», и въ этомъ вся его исторія, на страшномъ судѣ ему сочтутъ баллы. Народъ Германіи, менѣе учившійся, много страдалъ; онъ купилъ право на протестантизмъ—Тридцатилѣтней войной, право на независимое существованіе, т. е. на блѣдное существованіе подъ надзоромъ Россіи,—борьбой съ Наполеономъ. Его освобожденіе въ 1814, 1815 г. было совершеннѣйшей реакціей, и когда на мѣсто Жерома Бонапарта явился

der Landesvater, въ пудреномъ парикѣ и залежавшемся мундирѣ стараго покроя, и объявилъ, что на другой день назначается, по порядку, положимъ, 45-й *парадъ* (сорокъ четвертый былъ до революціи),—тогда всѣмъ освобожденнымъ показалось, что они вдругъ потеряли современность и воротились къ другому времени, каждый щупаль, не выросла ли у него коса съ бантомъ на затылкѣ. Народъ принималъ это съ простодушной глупостью и пѣлъ Кернеры въ пѣсни. Науки шли впередъ. Греческія трагедіи давались въ Берлинѣ, драматическія торжества для Гёте въ Веймарѣ.

Самые радикальные люди нѣмцами въ частной жизни остаются филистерами. Смѣлые въ логикѣ, они освобождаютъ себя отъ практической послѣдовательности и впадаютъ въ вошіющія противорѣчія. Германскій умъ въ революціи, какъ во всемъ, беретъ общую идею, разумѣется въ ея безусловномъ, т. е. недѣйствительномъ значеніи, и довольствуется идеальнымъ построеніемъ ея, воображая, что вещь сдѣлана, если она понята, и что фактъ такъ же легко кладется подъ мысль, какъ смыслъ факта переходитъ въ сознаніе.

Англичанинъ и французъ исполнены предрасудковъ, нѣмецъ ихъ не имѣетъ; но и тотъ, и другой въ своей жизни послѣдовательнѣе: то, чему они покоряются, можетъ быть и нелѣпо, но признано ими. Нѣмецъ не признаетъ ничего, кромѣ разума и логики, но покоряется многому *изъ видовъ*,—это кривленіе души за взятки.

Французъ не свободенъ нравственно: богатый инициативой въ дѣятельности, онъ бѣденъ въ мышленіи. Онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ; онъ пошлымъ идеямъ даетъ модный покрой и доволенъ этимъ. Ему трудно дается новое, даромъ что онъ бросается на него. Французъ тѣснитъ свою семью и вѣрять, что это его обязанность, такъ, какъ вѣрять въ почетный легіонъ, въ приговоры суда. Нѣмецъ ни во что не вѣрять, но пользуется на выборъ общественными предрасудками. Онъ привыкъ къ мелкому довольству, къ Wohlbehagen, къ покою и, переходя изъ своего кабинета въ Prunkzimmer или спальню, жертвуетъ халату, покою и кухнѣ—свободную мысль свою. Нѣмецъ большой сибаритъ, этого въ немъ не замѣчаютъ, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь не казисты, но эскеимось, который пожертвуетъ всѣмъ для рыбаго жира, такой же эпикуреецъ, какъ Лукуллъ. Къ тому же нѣмецъ, лимфатическій отъ природы, скоро тяжелѣетъ и пускаетъ тысячи корней въ извѣстный образъ жизни; все, что можетъ его вывести изъ его привычки, ужасаетъ его филистерскую натуру.

Всѣ нѣмецкіе революціонеры большіе космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität, и всѣ исполнены са-

маго раздражительнаго, самаго упорнаго патриотизма. Они готовы принять всемірную республику, стереть границы между государствами, но чтобъ Триестъ и Данцигъ принадлежали Германіи. Вѣнскіе студенты не побрезгали отправиться подъ начальство Радецкаго въ Ломбардію, они даже, подъ предводительствомъ какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инспруку.

При этомъ заносчивомъ и воинственномъ патриотизмѣ Германіи, со времени первой революціи и поднесъ, смотритъ съ ужасомъ направо, съ ужасомъ налево. Тутъ Франція съ распущенными знаменами переходитъ Рейнъ, тамъ Россія переходитъ Нѣманъ, и народъ въ двадцать пять милліоновъ головъ чувствуетъ себя круглой сиротой, бранится отъ страха, ненавидитъ отъ страха, и теоретически, по источникамъ, доказываетъ, чтобъ утѣшиться, что бытіе Франціи есть уже не бытіе, а бытіе Россіи не есть еще бытіе.

«Воинственный» конвентъ, собиравшійся въ Павловской церкви во Франкфуртѣ и состоявшій изъ добрыхъ sehr ausgezeichneten in ihrem Fache профессоровъ, врачей, теологовъ, фармацевтовъ и филологовъ, рукоплескалъ австрійскимъ солдатамъ въ Ломбардіи, тѣснилъ поляковъ въ Познани. Самый вопросъ о Шлезвигъ-Гольштейнѣ (Stammverwandt!) бралъ за живое только съ точки зрѣнія «Тейтчтума». Первое свободное слово, сказанное, послѣ вѣковъ молчанія, представителями освобождающейся Германіи, было противъ притѣсненныхъ, слабыхъ народностей; эта неспособность къ свободѣ, эти неловко обличаемыя поползновенія удержатъ неправое стяжаніе, вызываютъ иронию: человекъ прощаетъ дерзкія притязанія только за энергическія дѣйствія, а ихъ не было.

Революція 1848 года имѣла вездѣ характеръ опрометчивости, невыдержки, но не имѣла ни во Франціи, ни въ Италіи почти ничего смѣшнаго; въ Германіи, кромѣ Вѣны, она была исполнена комизма несравненно больше юмористическаго, чѣмъ комизмъ прегадкой гётевской комедіи «der Bürgergeneral».

Не было города, «пятна» въ Германіи, въ которомъ при возстаніи не являлась бы попытка «комитета общественнаго спасенія», со всеми главными дѣятелями, съ холоднымъ юношей *Сенъ-Жюстомъ*, съ мрачными террористами и военнымъ гениемъ, представлявшимъ Карно. Двухъ-трехъ Робеспьеровъ я лично зналъ, они надѣвали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Коло д'Эрбуа, а если въ клубѣ находился человекъ, любившій еще больше пиво, чѣмъ другіе, и волочившійся еще открытѣе за штубенмедхенами,—это былъ Дантонъ, eine schwelgende Natur!

Французскіе слабости и недостатки долею улетучиваются при ихъ легкомъ и быстромъ характерѣ. У нѣмца тѣ же недостатки получаютъ какое-то прочное и основательное развитіе и бросаются въ глаза. Надобно самому видѣть эти нѣмецкіе опыты, представить со einen burschikosen Kamin de Paris въ политикѣ, чтобы оцѣнить ихъ. Мнѣ они всегда напоминали рѣзвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейнымъ добродушіемъ, разыграется, завѣтrenchаетъ на лугу и съ пресерьезной миной побрыкается обѣими задними ногами или пробѣжитъ косымъ галопомъ, погоняя себя хвостомъ.

Послѣ дрезденскаго дѣла я встрѣтилъ въ Женевѣ одного изъ тамошнихъ агитаторовъ и началъ его тотчасъ спрашивать о Бакунинѣ. Онъ его превозносилъ и сталъ рассказывать, какъ онъ самъ начальствовалъ баррикадой, подъ его распоряженіями. Воспламенившись своимъ рассказомъ, онъ продолжалъ: «Революція—гроза, тутъ нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться съ обыкновенной справедливостью... Надобно самому побывать въ этихъ обстоятельствахъ, чтобъ вполне понять *Гору* 1794 г. Представьте себѣ, вдругъ мы замѣчаемъ глухое движеніе въ королевской партіи, намѣренно распускаются ложные слухи, показываются люди съ подозрительными лицами. Я подумалъ-подумалъ и рѣшился *терроризовать* мою улицу:—Männer! говорю я моему отряду, подъ опасеніемъ военного суда, который при осадномъ положеніи можетъ *сейчасъ лишить васъ жизни* въ случаѣ послушанія, приказываю вамъ, чтобъ всякій, безъ различія пола, возраста и званія, кто захотѣлъ бы перейти баррикаду, былъ захваченъ и, подъ строгимъ прикрытіемъ, приведенъ ко мнѣ,—такъ продолжалось болѣе сутокъ. Если бюргеръ, котораго ко мнѣ приводили былъ хорошій патриотъ, я его пропускалъ, но если это было подозрительное лицо, то я давалъ знакъ стражѣ»...

— И, сказалъ я съ ужасомъ, и она?

— И она ихъ отводила домой, прибавилъ гордо и самодовольно террористъ.

Къ характеристикѣ нѣмецкихъ освободителей прибавлю еще анекдотъ.

Исправлявшій должность министра внутреннихъ дѣлъ, юноша, о которомъ я помянулъ, рассказывая о визитѣ Густава Струве, написалъ мнѣ черезъ нѣсколько дней записку, въ которой просилъ найти ему какую-нибудь работу. Я предложилъ ему переписывать для печати рукопись Vom Andern Ufer, писанную рукой Капа, которому я диктовалъ по-нѣмецки съ русскаго оригинала. Молодой человекъ принялъ предложеніе. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ мнѣ, что онъ такъ дурно помѣщенъ съ разными фрейшерлерами, что у него нѣтъ ни мѣста, ни ти-

шины, чтобъ заниматься, и просилъ позволеніе переписывать въ комнатѣ Капа. И тутъ работа не пошла. Министръ *per interim* приходилъ въ одиннадцатъ часовъ утра, лежалъ на диванѣ, курилъ сигары, пилъ пиво... и уходилъ вечеромъ на совѣщанія и собранія къ Струве. Капъ, деликатнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, стыдился за него; такъ прошло съ недѣлю. Капъ и я, мы молчали, но эксъ-министръ прервалъ молчаніе: онъ попросилъ у меня запиской *сто франковъ впередъ* за работу. Я написалъ ему, что онъ такъ медленно работаетъ, что такой суммы я ему впередъ дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франковъ, несмотря на то, что онъ не переписалъ еще и на десять.

Вечеромъ министръ явился на сходку къ Струве и донесъ о моемъ анти-цивическомъ поступкѣ и о злоупотребленіи капиталомъ. Добрый министръ считалъ, что социализмъ состоитъ не въ общественной организаціи, а въ бессмысленномъ дѣлѣ безсмысленно полученнаго достоянія!

Несмотря на удивительный хаосъ, царившій въ головѣ Струве, онъ, какъ честный человѣкъ, разсудилъ, что я не совсѣмъ виноватъ, и что, можетъ, *бургеру* и *брудеру* лучше было бы переписывать больше, а денегъ впередъ просить меньше. Онъ уговаривалъ его не дѣлать изъ исторіи шума.

— Ну, такъ я отошлю ему деньги—*mit Verachtung*, сказалъ министръ.

— Что за вздоръ, закричалъ одинъ фрейшерлеръ. Если брудеръ и бюргеръ не хочетъ ихъ брать, то я предлагаю сейчасъ на всѣ послать за пивомъ и выпить на гибель *der Besitzenden*.

— Согласны?

— Да, да, согласны, bravo!

— Выпьемъ, кричалъ ораторъ, и дадимъ слово не кланяться русскому аристократу, который обидѣлъ брудера.

— Да, да, ненадобно кланяться.

Дѣйствительно, пиво выпили и кланяться мнѣ перестали.

Всѣ эти смѣшные недостатки, вмѣстѣ съ особенной *Plumpheit* нѣмцевъ, оскорбляютъ южную натуру итальянцевъ и возбуждаютъ въ нихъ зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона нѣмцевъ, т. е. сторона философскаго образованія, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колетъ глаза. Итальянецъ часто ведетъ самую пустую и праздную жизнь, но съ какимъ-то артистическимъ, граціознымъ ритмомъ, и именно потому онъ всего меньше можетъ вынести медвѣжью шутку и фамиллярное прикосновеніе жовіальнаго нѣмца.

Англо-германская порода гораздо грубѣе франко-романской.

Съ этимъ дѣлать нечего, это ея физиологическій признакъ, сердиться на него смѣшно. Пора понять разъ навсегда, что разныя породы людей, какъ разныя породы звѣрей, имѣютъ разные характеры и не виноваты въ этомъ. Никто не сердится на быка за то, что онъ не имѣетъ ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекаетъ лошадь за то, что ея филейныя мяса не такъ вкусны, какъ у быка; все, чего мы можемъ требовать отъ нихъ, во имя животнаго братства, это чтобъ они мирно паслись на одномъ и томъ-же полѣ, не бодаясь и не лягаясь. Въ природѣ все достигается посильно, чего можетъ, складывается, какъ случится, и потомъ принимаетъ родовое *pli*; воспитаніе идетъ до известной степени, исправляетъ одно, прививаетъ другое, но требовать отъ лошади бифштекса и отъ быковъ иноходи все-же нелѣпость.

Чтобъ наглазно понять разницу двухъ противоположныхъ традицій европейскіхъ породъ, стоитъ взглянуть въ Парижъ и въ Лондонъ на уличныхъ мальчишекъ: я беру именно ихъ потому, что они неподдѣльны въ своей грубости.

Посмотрите, какъ парижскіе гаменъ смѣются надъ какимъ-нибудь англійскимъ чудакомъ, и какъ лондонскіе мальчишки издѣваются надъ французомъ; въ этомъ маленькомъ примѣрѣ рѣзко высказываются два противоположные типа двухъ европейскихъ породъ. Парижскій гаменъ наглъ и привязчивъ, онъ можетъ быть несносенъ, но, во-первыхъ, онъ остеръ, его шалость ограничивается шутками, и онъ столько же смѣшитъ, сколько сердитъ; во-вторыхъ, есть слова, отъ которыхъ онъ краснѣетъ и сейчасъ отстаетъ, есть слова, которыхъ онъ никогда не употребляетъ,—грубостью его остановить трудно, если же пациентъ подниметъ палку, то я не отвѣчаю за послѣдствія. Еще надобно замѣтить, что французскихъ мальчишковъ нужно чѣмъ-нибудь поразить: краснымъ жилетомъ съ синими полосками, кирпичнымъ полуфракомъ, необычайнымъ кашне, лакеемъ, который несетъ попугая, собаку, вещами, дѣлаемыми однимъ англичанами и, замѣтьте, только внѣ Англїи. Быть просто иностранцемъ не достаточно, чтобъ обратить гоненіе или смѣхъ.

Острота лондонскихъ мальчишекъ проще, она начинается съ ржанія при видѣ иностранца ¹⁾, лишь бы онъ имѣлъ усы, бороду или шляпу съ широкими полями; потомъ они кричатъ разъ двадцать: *french pig! french dog!* Если иностранецъ обратится къ нимъ съ какимъ-нибудь отвѣтомъ, ржаніе и блеяніе удваиваются; если онъ идетъ прочь, мальчишки бѣгутъ за нимъ,—тогда остается *ultima ratio* поднять палку, а иногда и опустить ее на

¹⁾ Все это очень перемѣнилось послѣ Крымской войны (1866).

перваго попавшагося. Послѣ этого мальчишки бѣгутъ, сломя голову, прочь, осыпая ругательствами, а иной разъ пуская издали грязью или камнемъ.

Во Франціи взрослый работникъ, сидѣлецъ или торговка никогда не участвуютъ съ *gamins* въ ихъ продѣлкахъ противъ иностранца; въ Лондонѣ, всѣ грязныя бабы, всѣ взрослые сидѣльцы хрюкаютъ и помогаютъ мальчишкамъ.

Во Франціи есть щитъ, который тотчасъ останавливаетъ самаго задорнаго мальчика,—это бѣдность. Страна, которая не знаетъ слова болѣе оскорбительнаго, какъ слово *beggar*, тѣмъ больше преслѣдуетъ иностранца, чѣмъ онъ беззащитнѣе и бѣднѣе.

Одинъ итальянскій рефюжье, бывшій прежде офицеромъ въ австрійской кавалеріи и, безъ всякихъ средствъ, оставившій отечество послѣ войны, ходилъ, когда пришла зимняя пора, въ военной офицерской шинели. Это производило такой фуроръ на рынкѣ, по которому онъ долженъ былъ проходить всякій день, что крики «кто вашъ портной?» хохотъ и, наконецъ, подергиваніе за воротникъ дошли до того, что итальянецъ бросилъ свою шинель и ходилъ, дрогнувъ до костей, въ одномъ сюртукѣ.

Эта грубость въ уличной шуткѣ, этотъ недостатокъ деликатности, такта въ народѣ, съ своей стороны, объясняетъ, отчего женщинъ нигдѣ не бьютъ такъ часто и такъ больно, какъ въ Англіи ¹⁾, отчего отецъ готовъ безчестить дочь, мужъ—жену, юридически преслѣдовать ихъ.

Уличные грубости сильно оскорбляютъ сначала французовъ и итальянцевъ. Нѣмецъ, напротивъ, принимаетъ ихъ съ хохотомъ, отвѣчаетъ такимъ же ругательствомъ, перебранка продолжается, и онъ остается очень доволенъ. Обоишь это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!» кричитъ ему, хрюкая, гордый британецъ.—«Стерва Джонъ Буль!» отвѣчаетъ нѣмецъ, и каждый идетъ своей дорогой.

Это обращеніе не ограничивается улицей: стоитъ только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, *Puge et consorts*, которая съ 1849 г. не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глазъ нашъ не привыкъ видѣть въ печати такія выраженія, такія обвиненія: ничего не пощажено, ни личная честь, ни семейныя дѣла, ни повѣренныя тайны.

У англичанъ грубость пропадаетъ, поднимаясь на высоту таланта или аристократическаго воспитанія; у нѣмцевъ—никогда. Величайшіе поэты Германіи (за исключеніемъ Шиллера) впадаютъ въ самую неотесанную вульгарность.

¹⁾ „Таймс“ какъ-то, года два тому назадъ, считалъ, что среднимъ числомъ въ каждой части Лондона (ихъ десять) ежегодно бываетъ до 200 процессовъ о побояхъ женщинъ и дѣтей. А сколько побоевъ проходитъ безъ процессовъ?

Одна изъ причинъ дурного тона нѣмцевъ происходитъ отъ того, что въ Германіи вовсе не существуетъ воспитанія, въ нашемъ смыслѣ слова. Нѣмцевъ учать и учать много, но совѣмъ не воспитываютъ, даже въ аристократіи, въ которой преобладаютъ казарменные, юнкерскіе нравы. У нихъ въ житейскихъ дѣлахъ отсутствуетъ эстетическій органъ. Французы его утратили, точно такъ, какъ они утратили изящество своего языка: нынѣшній французъ рѣдко умѣетъ написать письмо безъ канторскихъ или адвокатскихъ выраженій,—прилавокъ и казармы исказили ихъ нравы.

Въ заключеніе этого сравненія, я расскажу одинъ случай, въ которомъ я наглазно и лицомъ къ лицу видѣлъ всю пропасть, дѣлящую итальянцевъ отъ tedesковъ, и въ которую, сколько хочешь грузи амнистій и разглагольствованій о братствѣ народовъ, моста долго еще не составишь.

Отправляясь съ Тесе-дю-Моте въ 1852 году изъ Генуи въ Лугано, мы приѣхали ночью въ Арону, спросили, когда идетъ пароходъ, узнали, что на другой день утромъ въ 8 часовъ, и легли спать. Въ половинѣ восьмого портье пришелъ взять наши чемоданы, и, когда мы вышли на берегъ, они уже были на палубѣ. Но, несмотря на то, вмѣсто того, чтобъ идти на пароходъ, мы глядѣли съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ другъ другу въ глаза.

Надъ шипѣвшимъ и покачивавшимся пароходомъ развѣвался огромный бѣлый флагъ съ двуглавымъ орломъ, а на кормѣ красовалась надпись: Fürst Radetzky. Мы забыли съ вечера спросить, какой пароходъ отходить: австрійскій или сардинскій. Тесе, по Версальскому суду, былъ осужденъ *in contumaciam* на депортацию. Хотя Австрія до этого и не было дѣла, но какъ не воспользоваться случаемъ, ну, хоть за справками мѣсяцевъ шесть продержатъ въ тюрьмѣ. Примѣръ Бакунина показывалъ, что они могутъ сдѣлать со мной. По договору съ Пиемонтомъ, австрійцы не имѣли права требовать паспортовъ у тѣхъ, которые, не высаживаясь на ломбардскій берегъ, ѣхали въ Могадино, принадлежавшій Швейцаріи,—но я думаю, что они не побрезгали бы, если-бъ можно было, такимъ простымъ средствомъ, чтобъ схватить Маццини или Кошута.

— Что-же, сказалъ Тесе, вѣдь, идти назадъ смѣшно!

— «Ну, такъ впередъ!» и мы пошли на палубу.

Когда канатъ былъ взятъ, пассажировъ окружили взводомъ солдатъ съ ружьями. За чѣмъ?—не знаю; на пароходѣ стояли двѣ небольшія пушки, особымъ образомъ прикрѣпленныя. Когда пароходъ пошелъ, солдатъ распустили. Въ каютѣ, на стѣнѣ, висѣли правла: въ нихъ было подтверждено, что ѣдущіе не въ Ломбардію не обязаны предъявлять паспортовъ, но было добавлено, что если

кто-нибудь изъ этихъ лицъ сдѣлаеть какой-либо проступокъ противъ К. К. (kaiserlich-königlichen) полицейскихъ уставовъ, тотъ имѣетъ быть судимъ по австрійскимъ законамъ. Отъ done, носить калабрійскую шляпу или трехцвѣтную кокарду было уже австрійское преступленіе. Только тогда я вполне оцѣнилъ, въ какихъ мы когтяхъ. Однако я далекъ отъ того, чтобъ раскаиваться въ моей поѣздкѣ: все время нашего пути ничего не произошло особаго, но я сдѣлалъ богатый штудіумъ.

На палубѣ сидѣло нѣсколько итальянцевъ; мрачно, молча курили они сигары, съ затаенной ненавистью посматривая на суетившихся во всѣ стороны и безъ всякой нужды бѣлобрысыхъ и одѣтыхъ въ бѣлые сюртуки офицеровъ. Надобно замѣтить, что въ ихъ числѣ были мальчишки лѣтъ двадцати и вообще они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащій, горловой, казарменный голосъ, наглый смѣхъ, похожій на кашель, и къ тому еще отвратительный австрійскій акцентъ въ нѣмецкомъ языкѣ. Повторяю, не было ничего ужаснаго, но я чувствовалъ, что за эту манеру стоять, повернувшись спиной возлѣ самаго носа, ломаться и показывать: «мы де побѣдители—наша взяла», слѣдовало бы ихъ всѣхъ бросить въ воду, и еще больше чувствовалъ я, что былъ бы радъ, если-бъ это случилось, и охотно помочь бы.

Кто далъ бы себѣ трудъ счетомъ пять минутъ посмотрѣть на тѣхъ и другихъ, тотъ непремѣнно понялъ-бы, что тутъ и рѣчи быть не можетъ о примиреніи, что въ крови у этихъ людей лежитъ ненависть другъ къ другу, которую распустить, смягчить, привести къ безобидному племенному различію надобно въка времени.

Послѣ полудня часть пассажировъ сошла въ каюту, другіе спросили себѣ завтракъ на палубу. Тутъ физическая разница еще рѣзче выразилась. Я смотрѣлъ съ удивленіемъ—ни одного общаго приема. Итальянцы ѣли мало, съ той врожденной, натуральной граціей, съ которой они все дѣлають. Офицеры рвали куски, жевали вслухъ, бросали кости, толкали тарелки, одни, наклонясь къ самому столику, съ особенной ловкостью и необыкновенной скоростью *плескали* съ ложки супъ въ ротъ, другіе ѣли съ *ножа*, безъ хлѣба и безъ соли, масло. Я посмотрѣлъ на этихъ артистовъ и, глядя на итальянца, улыбнулся,—онъ тотчасъ понялъ меня и, симпатически отвѣчая мнѣ улыбкой, показалъ полнѣйшій видъ отвращенія. Еще замѣчаніе: въ то время, какъ итальянцы съ улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый разъ благодаря головой или взглядомъ челоуѣка, австрійцы обращались возмутительно съ прислугой, такъ, какъ русскіе отставные корнеты и прапорщики обращаются съ крѣпостными при чужихъ.

Для закуски, молодой, долговязый, съ свѣтложелтыми волосами офицерикъ позвалъ солдата лѣтъ пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и началъ его ругать за какую-то оплошность. Старикъ стоялъ, какъ слѣдуетъ, на вытяжкѣ и, когда офицеръ кончилъ, хотѣлъ было что-то ему сказать; но лишь только онъ произнесъ: «Ваше благородіе»,—«Молчать», закричалъ раздавленнымъ голосомъ свѣтложелтый, и «маршъ!» Потомъ, обращаясь къ товарищамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ принялся снова за пиво. Зачѣмъ же все это было дѣлать при насъ? Да уже не было ли это нарочно сдѣлано для насъ?

Когда мы вышли на землю, у Могадина, натерпѣвшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись къ пароходу, который еще стоялъ, прокричали: *Viva la Republica!*—а одинъ итальянецъ, качая головой, повторялъ: *o, brutissimi, brutissimi!*

Не рано-ли такъ опреметчиво толковать о солидарности народовъ, о братствѣ, и не будеть-ли всякое насильственное прикрытіе вражды однимъ лицемѣрнымъ перемиріемъ? Я вѣрю, что національныя особенности настолько потеряютъ свой оскорбительный характеръ, насколько онъ теперь потерянь въ образованномъ обществѣ; но, вѣдь, для того, чтобъ это воспитаніе проникло во всю глубину народныхъ массъ, надобно много времени. Когда-же я посмотрю на Фокстонъ и Булонъ, на Дувръ и Кале, тогда мнѣ становится страшно и хочется сказать—много вѣковъ.

ГЛАВА XXXVIII.

† Швейцарія.—Джемсъ Фазн и Рефюжьс.—*Monte-Rosa.*

Волненіе Европы еще такъ сильно качало въ 1849 г., что трудно было установить, живши въ Женевѣ, вниманіе на одной Швейцаріи. Къ тому же политическія партіи довольно похожи на правительство въ искусствѣ отводить глаза путешественнику. Попадая подъ ихъ вліяніе, онъ все видитъ, но видитъ не просто, а подъ извѣстнымъ угломъ; онъ не можетъ выйти изъ заколдованнаго круга. Его первое впечатлѣніе подтасовано, закуплено, не ему принадлежитъ. Пристрастный взглядъ партіи застааетъ его врасплохъ, неприготовленнаго, равнодушнаго, обезоруженнаго, такъ сказать, и, прежде чѣмъ онъ спохватится, дѣлается его взглядомъ.

Въ 1849 году я зналъ одну радикальную Швейцарію, ту, которая сдѣлала демократическій переворотъ, ту, которая въ 1847 году подавила Зондербундъ. Потомъ, окруженный больше и больше

выходцами, я дѣлил ихъ негодованіе на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло передъ реакціонными сосѣдами.

Больше и лучше узналъ я Швейцарію въ слѣдующія поѣздки, и всего больше въ Лондонѣ. Въ томномъ досугѣ 53 и 54 годовъ я многому научился и на многое, изъ прошедшаго и видѣннаго прежде, иначе взглянулъ.

Швейцарія прошла труднымъ искусомъ. Между развалинами цѣлаго міра свободныхъ учреждений, между обломками цивилизацій, шедшихъ ко дну, перетирая другъ друга, середь гибели всѣхъ человѣческихъ условій жизни, всѣхъ государственныхъ формъ въ пользу грубаго деспотизма, двѣ страны остались, какъ были. Одна за своимъ моремъ, другая за своими горами, обѣ средневѣковыя республики, обѣ, прочно вросшія въ землю вѣковыми нравами.

Но какая разница въ силѣ и положеніи между Англійей и Швейцаріей! Если Швейцарія и представляетъ сама островъ за своими горами, то ея промежуточное положеніе и духъ народный обязываютъ ее, съ одной стороны, къ трудному лавированію, съ другой, къ сложному поведенію. Въ Англійи собственно народъ покоенъ, онъ вѣка на три отсталъ. Дѣятельная часть Англійи принадлежитъ извѣстной средѣ; большинство народа внѣ движенія; ее едва колеблетъ чартизмъ, и то исключительно между городскими работниками. Англія стоитъ въ сторонѣ, выбрасываетъ за океанъ горючія вещества, по мѣрѣ ихъ накопленія, и тамъ они торжественно возрастаютъ. Идеи не тѣсняются въ нее съ материка, а входятъ тихо, переложенныя на ея нравы и переведенныя на ея языкъ.

Совсѣмъ другое дѣло въ Швейцаріи: въ ней нѣтъ кастъ, даже нѣтъ яркихъ предѣловъ между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриціи кантоновъ оказались несостоятельными при первомъ напорѣ демократическихъ идей. Черезъ Швейцарію идутъ назадъ и впередъ всѣ ученія, всѣ идеи, и всѣ оставляютъ слѣды. Она говоритъ на трехъ языкахъ. Въ ней проповѣдывалъ Кальвинъ, въ ней проповѣдывалъ портной Вейтлингъ, въ ней смѣялся Вольтеръ, въ ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, отъ пахаря и работника, къ самоуправленію, задавленная большими сосѣдами, безъ постоянной арміи, безъ бюрократіи и диктатуры, является, послѣ бурь революціи и сатурналій реакцій, той-же вольной, республиканской конфедераціей, какъ и прежде.

Желательно было-бы знать, какъ консерваторы объясняютъ, что единственныя покойныя земли въ Европѣ тѣ, въ которыхъ личная свобода и свобода рѣчи всего меньше стѣснены. Въ то время, какъ Австрійская имперія, напр., поддерживается рядомъ

coups d'états съ мошусомъ, гальваническихъ потрясеній и административныхъ революцій, а французскій тронъ держится однимъ терроромъ и уничтоженіемъ всякой законности,—въ Швейцаріи и Англіи сохраняются даже нелѣпныя и устарѣлыя формы, сросшіяся съ ихъ свободой и твердыя подъ ея могучей сѣнью.

Поведеніе федеральнаго совѣта въ отношеніи къ политическимъ выходцамъ, которыхъ они выбрасывали по первому требованію Австріи или Франціи, было позорно. Но отвѣтственность за него падаеть исключительно на правительство; вопросы внѣшней политики совѣтъ не такъ близки къ сердцу народа, какъ вопросы внутренніе. Въ сущности, всѣ народы занимаются только своими дѣлами, остальное составляетъ или дальнее желаніе, или просто риторическое упражненіе, иногда откровенное, но и тогда рѣдко дѣльное. Народъ, составившій себѣ репутацію своимъ общечеловѣческимъ участіемъ ко всѣмъ и всему, наименѣе знаетъ географію и всего больше зараженъ нестерпимо-раздражительнымъ патріотизмомъ. Къ тому-же, швейцарець самою природой не увлекается вдаль: онъ сведенъ горами на свою родную долину, какъ житель приморскій на свой берегъ, и, пока его не трогаютъ на ней, онъ молчитъ.

Право, присвоенное себѣ федеральнымъ правительствомъ, распоряжаться выходцами, вовсе не *швейцарское*, по немъ вопросъ объ эмигрантахъ—вопросъ кантональный. Швейцарскіе радикалы, увлекаемые французскими теоріями, старались усилить сводное правительство въ Бернѣ и сдѣлали большую ошибку. По счастью, попытки централизаціи, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ практическая польза ихъ очевидна, какъ въ устройствѣ почтъ, дорогъ, единства монетъ, вовсе не народны въ Швейцаріи. Централизація можетъ многое сдѣлать для порядка, для разныхъ общихъ предпріятій, но она несомнѣтна съ свободой, ею легко народы доходятъ до положенія хорошо береженаго стада, или своры собакъ, ловко держимыхъ какимъ-нибудь доѣзжачимъ.

Оттого-то американцы и англичане столько-же ненавидятъ ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числомъ, нецентрализованная Швейцарія—Гидра, Бріарей, ее не пришибешь однимъ ударомъ. Гдѣ ея голова? гдѣ ея сердце? Сверхъ того, безъ столицы нельзя себѣ представить короля. Король въ Швейцаріи такая-же нелѣпность, какъ табель о рангахъ въ Нью-Йоркѣ. Горы, республика и федерализмъ воспитали, сохранили въ Швейцаріи сильный, мощный кряжъ людей, такъ-же рѣзко разграниченный, какъ ихъ почва—горами, и такъ-же соединенный ими, какъ она.

Надобно видѣть, какъ гдѣ-нибудь на федеральномъ тирѣ собираются стрѣлки разныхъ кантоновъ, съ своими знаменами, въ

своихъ костюмахъ и съ карабиномъ за плечами. Гордые своей особенностью и своимъ единствомъ, они, сходя съ родныхъ горъ, братскими кликами привѣтствуютъ другъ друга и федеральный стягъ (остающійся въ томъ городѣ, гдѣ былъ послѣдній тиръ), нисколько не смѣшиваясь.

Въ этихъ празднествахъ вольнаго народа, въ его военной забавѣ, безъ пышной обстановки золотомъ шитой аристократіи, пестрой гвардіи — есть что-то торжественное и могучее. Вездѣ проносятся рѣчи, льется домашнее вино, раздаются крики, пѣсни, музыка, и всѣ чувствуютъ, что на ихъ плечахъ нѣтъ свинцовой плиты, гнетущей власти...

Въ Женевѣ, вскорѣ послѣ моего пріѣзда, давали обѣдъ ученикамъ всѣхъ школъ передъ наступающими вакаціями. Джемсъ Фази (президентъ кантона) пригласилъ меня на этотъ пиръ. На полѣ, въ Каружѣ, былъ разбитъ большой шатеръ. Совѣтъ и всѣ кантональныя знаменитости были налицо и обѣдали вмѣстѣ съ дѣтьми. Часть гражданъ, состоявшихъ на очереди, была создана въ мундирахъ и съ ружьями, для почетной стражи. Фази произнесъ рѣчь, совершенно радикальную, поздравилъ получившихъ награды и предложилъ тостъ: «за будущихъ гражданъ!» при громѣ музыки и пушечныхъ выстрѣлахъ. Послѣ этого, дѣти, по два въ рядъ, отправились за нимъ въ поле, гдѣ были приготовлены разныя забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшіе братья учениковъ, составили шпалеры и, по мѣрѣ того, какъ глава колонны проходила, они дѣлали на караулъ... Да! на караулъ передъ сыновьями-мальчиками, передъ сиротами, воспитывающимися на счетъ кантона... Дѣти были почетные гости города—его «будущіе граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтскихъ и иныхъ торжественныхъ актахъ.

Странно и то, что каждый работникъ, каждый взрослый крестьянинъ, половые въ трактирахъ и ихъ хозяева, жители горъ и жители болотъ знаютъ хорошо дѣла кантона, принимаютъ въ нихъ участіе, принадлежать къ партіямъ. Языкъ ихъ, степень образованія очень мѣняются, и если женевскій работникъ напоминаетъ иногда ліонскаго клубиста, въ то время какъ простой житель горъ похожъ еще до сихъ поръ на лица, окружающія шиллеровскаго Теля, то это нисколько не мѣшаетъ тому и другому горячо заниматься общественными дѣлами. Во Франціи идутъ по городамъ отпрыски и развѣтвленія политическихъ и социальныхъ обществъ, члены ихъ занимаются *революционнымъ* вопросомъ и по дорогѣ знаютъ кое-что изъ настоящаго управленія. Но за то стоящіе внѣ ассоціаціи, а въ особенности крестьяне, ничего не знаютъ и вовсе не интересуются ни дѣлами Франціи, ни дѣлами департамента.

Наконецъ, и намъ, и французамъ бросается въ глаза отсутствіе всякихъ ризъ и облаченій, всей обстановки правительства. Президентъ кантона, президентъ федеральнаго собранія, статсъ-секретари (т. е. министры), федеральные полковники ходятъ, какъ всѣ простые смертные, въ кафе, обѣдаютъ за общимъ столомъ, разсуждаютъ о дѣлахъ, спорятъ съ работниками, спорятъ при нихъ между собой, и все это запиваютъ вмѣстѣ съ другими иворнскимъ виномъ да киршемъ.

Сначала нашего знакомства съ Джемсомъ Фази, эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидѣлъ, что во всѣхъ законныхъ случаяхъ правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствіе гардеробной важности, лампасовъ, плюмажей, щвейцаровъ съ булавой, вахмистровъ съ усами и прочихъ шалостей и ненужностей *mise en scène*.

Осенью 1849 началось гоненіе выходцевъ, искавшихъ убѣжища въ Швейцаріи; правительство было въ слабыхъ рукахъ доктринеровъ, федеральные министры потеряли голову. Застрѣченная конфедерація, отказавшая нѣкогда Людовику Филиппу въ высылкѣ Людовика Наполеона, высылала теперь, по приказу послѣдняго, людей, искавшихъ убѣжища, и дѣлала ту же любезность для Австріи и Пруссіи. Конечно, федеральное правительство имѣло дѣло не съ старымъ, толстымъ королемъ, не любившимъ крайнихъ мѣръ, а съ людьми, у которыхъ на рукахъ еще не обсохла кровь, и которые были въ самомъ разгарѣ дикаго преслѣдованія. Но чего же боялось федеральное собраніе? Если-бъ оно умѣло смотрѣть дальше своихъ горъ, тогда оно поняло бы, какую долю внутренняго страха покрывали нахальствами и угрозами сосѣднія правительства. Ни одно изъ нихъ въ 1849 году не имѣло достаточной осѣдлости и нравственнаго сознанія своей силы, чтобъ начать войну. Стоило конфедераціи показать зубы, и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гоненіе людей, которымъ некуда было дѣться.

Долго нѣкоторые кантоны, и въ томъ числѣ Женевскій, противодѣйствовали Федеральному собранію, но, наконецъ, и Фази было увлеченъ, *volens-nolens*, въ преслѣдованіе выходцевъ.

Положеніе его было очень непріятно. Переходъ человѣка изъ заговорщиковъ въ правительство, какъ бы онъ естественъ ни былъ, имѣетъ свои комическія и досадныя стороны. Въ сущности, надобно сказать, что не Фази перешелъ въ правительство, а правительство перешло къ Фази, тѣмъ не менѣе прежній конспираторъ не всегда ладилъ съ президентомъ кантона. Ему приходилось бить по своимъ или иногда явно не слушаться феде-

ральныхъ приказовъ, принимать такія мѣры, противъ которыхъ онъ лѣтъ десять къ ряду ораторствовалъ. Онъ дѣлалъ то и другое по капризу, и этимъ возбуждалъ противъ себя обѣ стороны.

Фази человѣкъ большой энергіи и большихъ государственныхъ талантовъ, но слишкомъ французъ, чтобы не любить крутыя мѣры, централизацію, власть. Онъ всю жизнь провелъ въ политической борьбѣ. Молодымъ человѣкомъ мы его встрѣчаемъ на парижскихъ баррикадахъ 1830 года, а потомъ въ Отель-де-Виль, въ числѣ той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирамъ, требовала провозглашенія республики. Перье и Лафитъ нашли, что «лучшая республика»—герцогъ Орлеанскій; онъ сдѣлался королемъ, а Фази бросился въ крайнюю республиканскую оппозицію. Тутъ онъ дѣйствуетъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Марастомъ, съ обществомъ *Des droits de l'homme* и съ карбонарами, замѣшивается въ Савойскую экспедицію Маццини, издаетъ журналъ, который на французскій манеръ задавили пенями...

Убѣдившись, наконецъ, что во Франціи нечего дѣлать, онъ вспоминаетъ свою родину и переноситъ всю свою энергію, всю приобрѣтенную ловкость политическаго дѣятеля, публициста и конспиратора на развитіе своихъ идей въ Женевскомъ кантонѣ.

Онъ задумалъ радикальный переворотъ въ немъ и исполнилъ его. Женева возстала на свое старое правительство; пренія, нападки и отпоры перешли изъ камеръ и журналовъ на площадь, и Фази явился главою возмутившейся части города. Пока онъ распоряжался и устанавливалъ своихъ вооруженныхъ друзей, сѣдой старикъ смотрѣлъ изъ окна и, военный по профессіи, не могъ вытерпѣть, чтобы не дать совѣта, какъ слѣдуетъ поставить пушку или отрядъ. Фази послушался. Совѣтъ былъ дѣльный,—но кто же этотъ военный? Графъ Остерманъ-Толстой, главнокомандующій союзными арміями подъ Кульмомъ, уѣхавшій изъ Россіи при воцареніи Николая и жившій потомъ почти всегда въ Женевѣ.

Во время этого переворота Фази показалъ, что онъ вполне обладаетъ не только тактомъ и вѣрностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сень-Жюсть считалъ необходимой для революціонера. Разбивши почти безъ кровопролитія консерваторовъ, онъ явился въ Большой совѣтъ и объявилъ ему, что онъ распущенъ. Члены хотѣли арестовать его и съ негодованіемъ спрашивали: «Во имя кого онъ осмѣливается такъ говорить?»

— «Во имя женевского народа, которому надоѣло дурное управленіе ваше, и который со мной»,—при этомъ Фази отдернулъ сукно въ дверяхъ Совѣта. Толпа вооруженныхъ людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрѣлить. Старые «патриціи» и мирные кальвинисты смутились.—

«Ступайте вонъ, пока есть время»,—замѣтилъ Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сѣлъ за столъ и написалъ декретъ или плебисцитъ, объявлявшій, что народъ женевскій, уничтоживъ прежнее правительство, собирается для новыхъ выборовъ и для принятія новаго демократическаго уложенія, въ ожиданіи чего народъ ввѣряетъ исполнительную власть *Джемсу Фази*. Это 18 Брюмера въ пользу демократіи и народа. Хотя онъ и выбралъ самъ себя диктаторомъ, но выборъ безспорно былъ очень удаченъ.

Съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1846 года, онъ управляетъ Женевою. Такъ какъ по конституціи президентъ избирается на два года и не можетъ быть избранъ два раза къ ряду, то черезъ два года женевцы назначаютъ кого-нибудь изъ блѣдныхъ поклонниковъ Фази, и такимъ образомъ *de facto* онъ остается президентомъ къ великой горести консерваторовъ и піэтистовъ, постоянно остающихся въ меньшинствѣ.

Фази показалъ новыя способности во время своего диктаторства. Администрація, финансы, все двинулось быстро впередъ; твердое проведеніе радикальныхъ началъ привязало къ нему народъ. Фази явился такимъ же энергическимъ организаторомъ, какимъ былъ разрушителемъ. Женева расцвѣла при немъ. Это мнѣ говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонніе, между прочими и знаменитый побѣдитель подъ Кульмомъ, Остерманъ-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и безъ терпимости въ характерѣ, Фази всегда имѣлъ въ себѣ деспотически-республиканскія замашки; привыкнувъ къ власти,—деспотическое *plu* стало иной разъ брать верхъ; къ тому же событія и идеи послѣ 1848 застали Фази врасплохъ, онъ былъ смущенъ съ одной стороны, обойденъ съ другой. Ну, вотъ она, эта республика, о которой онъ мечталъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Арманъ Карелемъ... а что-то неладно. Бывшій его товарищъ, Марастъ, президентъ національнаго собранія замѣчаетъ ему, что онъ неосторожно отозвался о католицизмѣ «за завтракомъ, въ присутствіи секретаря», и говорить, что религію надобно беречь, чтобы не разсердить поповъ; когда экс-редакторъ *National'a* въ президентскомъ домѣ проходилъ изъ комнаты въ комнату, двое часовыхъ отдавали ему честь. Другой пріятель и протеже Фази пошелъ еще дальше: сдѣлался самъ президентомъ республики, но онъ уже не хочетъ знаться съ старымъ товарищемъ и идетъ въ Наполеоны. «Республика въ опасности!»—а работники и передовые люди не занимаютъ ею, они все толкуютъ о социализмѣ. Такъ вотъ виноватый,—и Фази съ упрямствомъ и озлобленіемъ опрокинулся на

соціализмъ. Это значило, что онъ достигъ своего предѣла, своего *culminations punkt'a*, какъ говорятъ нѣмцы, и пошелъ внизъ.

Онъ и Маццини, бывши соціалистами прежде соціализма, сдѣлались его врагами, когда онъ сталъ переходить изъ общихъ стремленій въ новую революціонную силу. Много поломалъ я копій съ обоими и съ удивленіемъ увидѣлъ, какъ мало можно взять логикой, когда человѣкъ *не хочетъ* убѣдиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачѣмъ-же было горячиться, зачѣмъ такъ хорошо играть свою роль, даже въ частной бесѣдѣ? Нѣтъ, тутъ былъ какой-то зубъ на новое ученіе, сложившееся *они* ихъ круга; тутъ была даже злоба къ имени. Я разъ предлагалъ Фази называть соціализмъ въ нашихъ разговорахъ «Клеопатрой», чтобъ это слово не сердило его и не мѣшало своимъ звукомъ пониманію. Брошюры Маццини противъ соціализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чѣмъ Радецкій,—но объ этомъ не здѣсь.

Разъ, пришедши домой, я нашелъ записку Струве; онъ меня извѣщалъ, что Фази изгоняетъ его и очень круто. Федеральное правительство давнымъ-давно предписало выслать Струве и Гейнца; Фази ограничился тѣмъ, что сообщилъ имъ это. Что-же случилось новаго?

Фази не хотѣлъ, чтобъ Струве издавалъ въ Женевѣ свой «Интернаціональный» журналъ; онъ боялся и, можетъ, былъ правъ, что они вдвоемъ съ Гейнценомъ напечатаютъ такой опасный вздоръ, что снова навлекутъ угрозы Франціи, вопль Пруссіи и скрежетъ зубовъ Австріи. Какъ практическій человѣкъ могъ думать, что этотъ журналъ состоится, я не знаю; довольно того, что онъ предложилъ Струве отказаться отъ журнала или ѣхать вонъ изъ Женевы. Отказаться въ ту минуту, когда Струве фанатически мечталъ, что онъ своимъ журналомъ окончательно побьетъ «семь бичей рода человѣческаго», было выше силъ баденскаго революціонера. Тогда Фази послалъ къ нему квартальнаго съ приказомъ, чтобъ онъ сейчасъ оставилъ кантонъ. Струве сухо принялъ полицейскаго и объявилъ, что онъ еще не готовъ къ отъѣзду. Фази обидѣлся за квартальнаго и велѣлъ полиціи сбить Струве съ рукъ. Войти въ домъ безъ судебного приговора было невозможно; мѣра, принятая въ Бернѣ, была полицейская, а не судебная (то, что французы называютъ *mesure de salut public*). Полицейскій зналъ это, но, желая услужить Фази и, вѣроятно, расплатиться за дурной пріемъ, приготовилъ карету и сѣлъ съ товарищемъ гдѣ-то подъ липой, неподалеку отъ дома Струве.

Струве, втайнѣ довольный вновь начинающейся эрой гоненій

*

и мученичества и впередъ увѣренный, что важнаго ничего съ нимъ не сдѣлаютъ, разослалъ всѣмъ своимъ знакомымъ записки о случившемся. Въ ожиданіи ихъ пламеннаго участія и горячаго негодованія, онъ не вытерпѣлъ, чтобъ не сходить къ другу Гейнцену, который, съ своей стороны, получилъ такую же любезную пидулку отъ Фази. Такъ какъ Гейнценъ жилъ недалеко, то Струве ganz gemüthlich отправился къ нему, одѣтый по-домашнему и въ туфляхъ. Лишь только онъ поровнялся съ липой, за которой прятался лукавый сынъ Кальвина, какъ тотъ перерѣзалъ ему дорогу и, показавъ приказъ федеральнаго совѣта, требовалъ, чтобъ онъ слѣдовалъ за нимъ. Убѣдительность его приглашенія поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его къ числу «семи бичей», сѣлъ въ карету и покатился съ полицейскими въ Ваадскій кантонъ.

Со времени диктаторства Фази, еще ничего подобнаго не было въ Женевѣ. Во всемъ этомъ было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадою, возвращался я домой часу въ двѣнадцать вечера; у pont des Bergues я встрѣтилъ Фази, онъ весело шелъ съ нѣсколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что новаго? сказалъ онъ, увидавъ меня.

— Много, отвѣчалъ я съ изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вотъ, напримѣръ, въ Женевѣ, точно въ Парижѣ, людей хватаютъ на улицѣ, насильно увозятъ, il n'y a plus de sécurité dans les rues,—я боюсь ходить...

— А, это вы говорите насчетъ Струве... отвѣчалъ Фази, успѣвшій разсердиться до того, что голосъ его сталъ перерываться. Что-же прикажете дѣлать съ этими взбалмошными людьми? Я, наконецъ, усталъ, я покажу этимъ господамъ, что значить пренебрегать законами, явно не слушаться распоряженій федеральнаго совѣта...

— Право, сказалъ я, улыбаясь, которое вы предоставляете одному себѣ.

— Что же, мнѣ изъ-за всякаго вырвавагося изъ Бедлама подвергать опасности кантонъ, самого себя, и это при теперешнихъ обстоятельствахъ? Да мало еще, вмѣсто спасибо они грубятъ. Представьте себѣ, господа, я посылаю къ нему камиссара полиціи, а онъ только-что не вытолкалъ его,—это изъ рукъ вонъ! Не понимаютъ, что чиновникъ (magistrat), приходящій во имя закона, долженъ быть уважаемъ. Не правда-ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласенъ, сказалъ я ему, и совсѣмъ не вижу причины уважать человѣка за то, что онъ полицейскій, и за то, что онъ пришелъ объявлять какой-нибудь вздоръ, написанный Фуре-

ромъ или Друэ въ Бернѣ. Можно быть не грубымъ, но для чего расточаться въ учтивостяхъ передъ человѣкомъ, который является ко мнѣ какъ врагъ, да еще какъ врагъ, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхивалъ такихъ вещей, замѣтилъ Фази, подымая плечи и бросая на меня молніи своихъ взоровъ.

— Вамъ это ново, потому что вы никогда не думали объ этомъ.

— Вы не хотите понять разницы между уваженіемъ къ закону и раболѣпиемъ,—*c'est parfaitement russe!*

— Да гдѣ же это понять, когда у васъ уваженіе къ закону значитъ уваженіе къ квартальному или къ городовому сержанту?

— А знаете-ли вы, м. г., что комиссаръ полиціи, котораго я посылалъ, не только честнѣйшій человѣкъ, но и одинъ изъ преданнѣйшихъ патріотовъ; я его видѣлъ на дѣлѣ...

— И прекрасный отецъ семейства, продолжалъ я, да только ни мнѣ, ни Струве дѣла нѣтъ до этого; мы съ нимъ незнакомы, и явился онъ къ Струве вовсе не какъ образцовый гражданинъ, а какъ исполнитель притѣснительной власти...

— Да помируйте, замѣтилъ все больше и больше сердившійся Фази, что вамъ дался этотъ Струве, да не вчера ли вы сами надъ нимъ хохотали...

— Не смѣяться-же мнѣ сегодня, если вы будете его вѣшать.

— Знаете, что я думаю,—онъ приостановился: я полагаю, что онъ просто русскій агентъ.

— Господи, какой вздоръ! сказалъ я, расхохотавшись.

— Какъ *вздоръ*, закричалъ Фази еще громче, я вамъ говорю это серьезно!

Зная необузданно-вспыльчивый нравъ моего женевского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, онъ въ сущности былъ во сто разъ лучше своихъ словъ и человѣкъ не злой, я, можетъ, пропустилъ бы ему это поднятіе голоса; но тутъ были свидѣтели, къ тому-же онъ былъ президентъ кантона, а я такой-же безпаспортный бродяга, какъ и Струве, и потому я стенторовскимъ голосомъ отвѣчалъ ему:

— Вы воображаете, что вы президентъ, такъ вамъ и достаточно что-нибудь сказать, чтобъ всѣ повѣрили?

Крикъ мой подѣйствовалъ, Фази сбавилъ голосъ, но зато, безощадно разбивая свой кулакъ о перила моста, онъ замѣтилъ:

— Да его дядя, Густавъ Струве, русскій повѣренный въ дѣлахъ въ Гамбургѣ.

— Это ужъ изъ «Волка и Овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!

— Въ самомъ дѣлѣ, лучше идти спать, чѣмъ спорить, а то еще мы поссоримся, замѣтилъ Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошелъ въ *hôtel des Bergues*, Фази съ итальянцами черезъ мостъ. Мы такъ усердно кричали, что нѣсколько оконъ въ отелѣ растворились, и публика, состоявшая изъ гарсоновъ и туристовъ, слушала наше преніе.

Между тѣмъ квартальный и честнѣйшій гражданинъ, который повезъ Струве, возвратился и не одинъ, а съ тѣмъ-же Струве. Въ первомъ городкѣ Ваадскаго кантона, близъ Копета, гдѣ жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префектъ полиціи, горячій республиканецъ, услышавъ, какъ Струве былъ схваченъ, объявилъ, что женеvская полиція поступила незаконно, и не только отказался послать его далѣе, но воротилъ назадъ.

Можно себѣ представить бѣшенство Фази, когда онъ, на закуску нашего разговора, узналъ о благополучномъ возвращеніи Струве. Побранившись съ «тираномъ» письменно и словесно, Струве уѣхалъ съ Гейнценомъ въ Англію; тамъ-то Гейнценъ потребовалъ два милліона головъ и мирно уплылъ съ своимъ Пиладомъ въ Америку, сначала съ цѣлью зависти *училище для молодыхъ дѣвицъ*, потомъ, чтобъ издавать въ С. Луисѣ *Пионера*, журналъ, который и пожилымъ мужчинамъ не всегда можно читать.

Дней пять послѣ разговора у моста, я встрѣтился съ Фази въ *café de la Poste*.

— Что это васъ не видать давно, спросилъ онъ, неужели все сердитесь? Ну, уже эти мнѣ дѣла о выходцахъ, признаюсь, такая обуза, что съ ума можно сойти! Федеральнй совѣтъ бомбардируетъ одной нотой за другой, а тутъ проклятый жекскій су-префектъ нарочно живетъ, чтобъ смотрѣть, интернированы-ли французы. Я стараюсь все уладить и за все за это—свой-же сердятся. Вотъ теперь новое дѣло, и прескверное, я уже знаю, что меня будутъ бранить, а что мнѣ дѣлать. Онъ сѣлъ за мой столикъ и, понижая голосъ, продолжалъ:—это уже не фразы, не социализмъ, а просто воровство.

Онъ подаль мнѣ письмо. Какой-то нѣмецкій владѣтельный герцогъ жаловался, что, во время занятія фрейшерлерами его городишка, были ими похищены драгоценныя вещи и, между прочимъ, рѣдкой работы старинный потиръ, что онъ находится у бывшего начальника легіона Бленкера, а такъ какъ до свѣдѣнія его свѣтлости дошло, что Бленкеръ живетъ въ Женевѣ, то онъ и просить содѣйствія Фази въ отысканіи вещей.

— Что скажете? спросилъ торжествующимъ голосомъ Фази.

— Ничего. Мало ли что бываетъ въ военное время.

— Что-же по вашему дѣлать?

— Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе

не сыщикъ его въ Женевѣ; что вамъ за дѣло до его посуды? Онъ долженъ радоваться, что Бленкеръ не повѣсилъ его, а тутъ онъ еще ищетъ пожитки.

— Вы преопасный софистъ, сказалъ Фази, да только вы не подумали, что такія продѣлки бросаютъ тѣнь на нашу партію... Этого такъ оставить невозможно.

— Не знаю, зачѣмъ вы это принимаете къ сердцу. Такіе-ли дѣлаются ужасы на бѣломъ свѣтѣ. Что касается партіи и ея чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софистъ,—подумайте сами, неужели, давши ходъ этому дѣлу, вы ей сдѣлаете пользу? Оставьте безъ вниманія доносъ герцога, его примутъ за клевету; а вотъ, какъ къ слуху о немъ прибавятъ, что вы посылали дѣлать обыскъ, да еще на бѣду что-нибудь найдутъ, тогда трудно будетъ оправдываться Бленкеру и всей партіи.

Фази откровенно удивлялся русскому беспорядку моихъ мнѣній.

Дѣло Бленкера кончилось какъ нельзя лучше. Его не было въ Женевѣ, жена его, при появленіи слѣдственнаго судьи и полиціи, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда онѣ, и, услышавъ о сосудѣ, сама отыскала его,—это былъ весьма простой серебряный потиръ. Его взяли молодые люди, бывшіе въ ополченіи, и поднесли въ память побѣды своему полковнику.

Фази впоследствии извинялся передъ Бленкеромъ, *соглашаясь*, что поторопился въ этомъ дѣлѣ. Неумѣренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей въ дѣлахъ уголовныхъ, преслѣдовать съ ожесточеніемъ виноватыхъ, сбивать ихъ—все это *чисто-французскіе* недостатки, судопроизводство для нихъ кровавая игра, въ родѣ травли для испанцевъ. Прокуроръ, какъ ловкій тореадоръ, униженъ и оскорбленъ, ежели травимый звѣрь уцѣлѣетъ. Въ Англіи нѣтъ ничего подобнаго: судья смотритъ хладнокровно на подсудимаго, не усердствуетъ, и почти доволенъ, когда присяжные не даютъ обвинительнаго приговора.

Съ своей стороны, рефюжѣ дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно и къ этому нельзя быть слишкомъ строгимъ. Страсти, распахнувшіяся во время революціонныхъ движеній, не утомонились отъ неудачи и, не имѣя другого выхода, выражались въ строптивомъ безпокойствѣ духа. Людямъ этимъ смертельно хотѣлось говорить именно въ то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй планъ, стереться, сосредоточиться, а они, совсѣмъ напротивъ, старались не сходить со сцены и заявляли всѣми средствами свое существованіе; они писали брошюры, писали въ журналахъ, говорили на сходкахъ, говорили въ кафе, распространяли ложныя новости и стращали глупыя правительства близкимъ возстаніемъ. Большая часть изъ нихъ принадлежала къ числу самыхъ безопасныхъ хористовъ революцій,

но уstraшенныя правительства съ обратнымъ безуміемъ вѣрили ихъ силѣ и, непривычныя къ свободной и смѣлой рѣчи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религіи, трона, семьи, и требовали, чтобъ федеральный совѣтъ изгналъ этихъ страшныхъ людей мятежа и разрушеній.

Одна изъ первыхъ мѣръ, принятыхъ швейцарскимъ правительствомъ, состояла въ удаленіи отъ французской границы тѣхъ изъ рефюжѣ, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту мѣру было очень противно для Фази; онъ почти со всѣми былъ лично знакомъ. Объяснивъ имъ приказъ оставить Женеву, онъ старался *не знать*, кто уѣхалъ, кто нѣтъ. Неуѣхавшимъ еще надобно было отказаться отъ главныхъ кафе, отъ pont des Bergues,—этого-то они и не хотѣли уступить. Отсюда выходили смѣшныя пансіонскія сцены, въ которыхъ участвовали бывшіе народные представители, люди съ сѣдыми волосами, за сорокъ лѣтъ извѣстные писатели—съ одной стороны, и съ другой—президентъ свободнаго кантона да полицейскіе агенты рабскихъ сосѣдей Швейцаріи.

Разъ при мнѣ жекскій су-префектъ спросилъ ироническимъ тономъ у Фази:

— M. le Président, а что, такой-то въ Женевѣ?

— Давнымъ-давно нѣтъ, отвѣчалъ отрывисто Фази.

— Я очень радъ, замѣтилъ су-префектъ, и пошелъ своей дорогой. А Фази, неистово схвативъ меня за руку и судорожно указывая на человѣка, спокойно курившаго сигару, сказалъ мнѣ:

— Вотъ онъ! вотъ онъ!—пойдемте въ другую сторону, чтобъ не встрѣтить этого разбойника. Это адъ, да и только!

Я не могъ удержаться отъ смѣха. Разумѣется, это былъ высланный рефюжѣ, и онъ-то прогуливался по pont des Bergues, который въ Женевѣ то, что у насъ Тверской бульваръ.

∨ Я прожилъ въ Женевѣ до половины декабря. Гоненія, начавшіяся втихомолку противъ меня, заставили меня покинуть ее для того, чтобъ ѣхать въ Цюрихъ спасать имѣнье моей матери.

Страшное это время было въ моей жизни. Штиль между двухъ ударовъ грома, штиль давящій, тяжелый, но не казистый... примѣты грозили пальцемъ, но я и тутъ еще отворачивался отъ нихъ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свѣтлые дни; за нихъ я обязанъ величественной швейцарской природѣ.

Даль отъ людей и изящная природа имѣютъ удивительно цѣлебное вліяніе. Я по опыту писалъ въ «Поврежденномъ»: «Когда душа носить въ себѣ великую печаль, когда человѣкъ не настолько сладилъ съ собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна даль и горы, море и теплый, кроткій воздухъ. Нужны для того, чтобы грусть не

превращалась въ ожесточеніе, въ отчаяніе, чтобъ онъ не зачерствѣлъ»...

Отъ многого хотѣлось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные въ средоточіи политическихъ смуть и распрей, въ постоянномъ раздраженіи, въ виду кровавыхъ зрѣлищъ, страшныхъ паденій и мелкихъ измѣнъ, осадили много горечи, тоски и устали на днѣ души. Иронія принимала другой характеръ. Грановскій писалъ мнѣ, прочитавъ «Съ того берега», писанное именно въ то время: «Книга твоя дошла до насъ, я читалъ ее съ радостью и съ гордымъ чувствомъ... Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое, ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдѣлаешься великимъ писателемъ; но то, что было въ Россіи живаго и симпатическаго для всѣхъ въ твоемъ талантѣ, какъ-будто исчезло на чужой почвѣ»... Сазоновъ, перечитавъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Парижа, въ 1849 г., начало моей повѣсти «Долгъ прежде всего», писанный за два года, сказалъ мнѣ: «Ты этой повѣсти не кончишь, да и ничего подобнаго больше не напишешь. У тебя прошелъ свѣтлый смѣхъ и добродушная шутка».

Но могъ ли человѣкъ пройти искусомъ 1848 и 1849 года и остаться тѣмъ-же? Я самъ чувствовалъ эту перемену. Только дома, безъ постороннихъ, находили иногда прежнія минуты не «свѣтлаго смѣха», а *свѣтлой грусти*; вспоминая бывшее, нашихъ друзей, вспоминая недавнія картины римской жизни, возлѣ кровати спящихъ дѣтей, или глядя на ихъ игру, душа настраивалась какъ прежде, какъ нѣкогда,—на нее вѣяло свѣжестью, молодой поэзіей, полной кроткой гармоніей, на сердцѣ становилось хорошо, тихо, и подъ вліяніемъ такого вечера легче жилось день, другой.

Минуты эти были не часты, дурное, невеселое разсѣяніе мѣшало имъ; число постороннихъ росло около насъ, и къ вечеру маленькая гостиная наша на Елисейскихъ поляхъ была полна чужими. Большею частью это были вновь-пріѣхавшіе эмигранты, люди добрые и несчастные, но близокъ я былъ только съ однимъ человекомъ... и зачѣмъ я былъ близокъ съ нимъ!..

Я съ радостью покидалъ Парижъ, но въ Женевѣ мы очутились въ томъ-же обществѣ, только лица были другія и размѣры тѣсныѣ. Въ Швейцаріи все тогда было ринуто въ политику, все дѣлялось на партіи, *table d'hôt'ы* и кофейныя, часовщики и женщины. Исключительно политическое направленіе, особенно въ томъ тягеломъ затишьи, которое всегда слѣдуетъ за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляетъ бесплодной сухостью и однообразнымъ попреканіемъ прошедшему. Оно похоже на лѣтнее время въ большихъ городахъ, гдѣ все запылено, жарко, безъ воздуха, гдѣ, сквозь блѣдныя деревья просвѣчиваютъ стѣны, отражающія

солнце, и теплые камни мостовой. Живой человекъ рвется на воздухъ, которымъ еще не дышала тьма темъ, въ которомъ не пахнетъ обглодками жизни и не слышно нестройнаго дребезжанія, сальнаго, гнилого запаха и непрерывнаго стука.

Иногда мы въ самомъ дѣлѣ вырывались изъ Женевы, ѣздили по берегамъ Лемана, уѣзжали къ подножію Монъ-Блана, и наступившая, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тѣнями всю суету суетствій, освѣжая душу и тѣло холоднымъ вѣяніемъ своихъ вѣчныхъ ледниковъ.

Не знаю, желалъ ли бы я навсегда остаться въ Швейцаріи; нашему брату, жителю долинъ и луговъ, горы черезъ нѣкоторое время мѣшаютъ, онѣ слишкомъ громадны, близки, тѣснятъ, ограничиваютъ, но иной разъ хорошо пожить подъ ихъ тѣнью. Къ тому-же по горамъ живетъ чистое и доброе племя, племя бѣдное, но не несчастное, съ малыми потребностями, привычное къ жизни самобытной и независимой. Накинъ цивилизаціи, ея ярмѣдянка не ослѣла на этихъ людяхъ; историческія перемѣны, словно облака, ходять подъ ними, мало задѣвая ихъ. Римскій міръ еще продолжается въ Граубюнденѣ, время крестьянскихъ войнъ едва прошло гдѣ-нибудь въ Апенцелѣ. Можетъ, въ Пиренеяхъ или другихъ горахъ, въ Тироли, найдется такой-же здоровый кракъ населенія, но, вообще, его въ Европѣ давно нѣтъ.

На нашемъ сѣверовостокѣ видѣлъ я, впрочемъ, что-то подобное. Въ Перми и Вяткѣ мнѣ удавалось встрѣчать людей такого же закала, какъ на Альпахъ.

Утомленные непрерывнымъ, долгимъ подниманіемъ шагъ-за-шагъ по горѣ, чтобъ дать отдохнуть клячамъ, я и товарищъ, ѣхавшій со мной въ Церматъ, мы вошли въ небольшой постоянный дворъ, помнится, повыше Св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бѣдность своихъ запасовъ, пошаривъ тамъ-сямъ, принесла бутылку кирша, сухой, какъ камень, хлѣбъ (хлѣбъ въ горахъ вещь не простая, его привозятъ на ослахъ съ долинъ), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока, и потомъ пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я ѣсть не могъ; но баранина, сыръ и киршъ были хороши. Хозяйка угощала насъ, какъ званныхъ гостей, съ добродушнымъ видомъ подкладывала кусочки, и все извинялась. Проводники наши тоже поѣли и допили киршъ. Уѣзжая, я спросилъ, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже проплась въ другую комнату, чтобы сообразить, и потомъ, сдѣлавъ предисловіе о дороговизнѣ, трудномъ подвозѣ, она рискнула сказать *пять франковъ*.

— «Какъ, замѣтилъ я, и съ лошадьми?»—Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

— Ну, и четырехъ будетъ довольно.

Когда меня везли изъ Перми въ Вятку, я попросилъ въ одной деревнѣ, гдѣ мѣняли лошадей, квасу у женщины, сидѣвшей на бревнѣ возлѣ избы.

— «Больно кисель, отвѣчала она, а вотъ я тебѣ вынесу браги, отъ праздника, видишь, осталась».

Черезъ минуту она принесла глиняный кувшинъ, заткнутый тряпкой, и ковшъ. Мы съ жандармомъ напились вдоволь; отдавая ковшъ старухѣ, я подалъ ей гривенникъ или пятиалтынный, но она не взяла, приговаривая:

— «Господь съ тобой, что это, съ дорожнаго человѣка-то братъ, да и ѣдешь ты того...» она посмотрѣла на жандарма.

— Да за что-же, тетушка, мы твою бражку-то даромъ пили, возьми дѣтушкамъ на пряники.

— «Нѣтъ, кормилецъ, ты въ этомъ не сомнѣвайся, а есть лишнія деньги, подай ихъ нищему, али Богу поставь свѣчку».

Другой подобный случай былъ со мной на Великой-рѣкѣ, близъ Вятки. Я ѣздилъ смотрѣть туда оригинальную прецессию, какъ икону Николая Хлыновскаго носить туда въ гости. На обратномъ пути я зашелъ съ ямщикомъ въ избу, гдѣ онъ бралъ овесъ: хозяева и человѣка три богомольцевъ собирались обѣдать; сильно пахло щами, попросилъ и я себѣ. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлѣба и огромную солонку съ высокой спинкой. Поѣвши, я далъ хозяину четвертакъ. Онъ посмотрѣлъ на меня, почесалъ затылокъ и сказалъ: «Оно, видишь, неладно, что-же ты наѣлъ гроша на два, а даешь четвертакъ, оно мнѣ взять-то и не приходится, и передъ Богомъ грѣшно, и передъ людьми совѣстно».

Помнится, я гдѣ-то упоминалъ объ обычаяхъ пермскихъ мужиковъ выставлять на ночь за окно кусокъ хлѣба, квасъ или молоко, на тотъ случай, что если *несчастный*, т. е. сосланный, проберется изъ Сибири, да побойтся постучать, такъ чтобъ подкрѣпился, не дѣлая шума. Подобное я нашелъ на горахъ Швейцаріи; только тутъ это дѣлается, за неимѣніемъ возлѣ Сибири. просто для путниковъ. На довольно большихъ высотахъ, тамъ, гдѣ уже жизнь рѣдѣетъ, гдѣ гранитъ уже выказывается, какъ черепъ у человѣка, начинающаго плѣшивѣть, и рѣзкій холодный вѣтеръ подуваетъ на сухую, аптекарскую растительность,—тамъ попадались мнѣ хижины пустыя, но съ незапертыми дверями, чтобы путникъ, сбившійся съ дороги или загнанный непогодой, могъ найти пріютъ и безъ хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тутъ, а на столѣ—сыръ, хлѣбъ или козье молоко. Иные, поѣвши, кладутъ на столъ какую-нибудь копейку, другіе ничего, но, видно, никто не крадетъ. Конечно, постороннихъ прохожихъ

бываетъ очень мало, но тѣмъ не менѣ эти отпертыя двери удивляютъ городской глазъ.

Разговорившись о горахъ и вершинахъ, доскажу мое путешествіе на Монте-Розу. Какъ-же лучше и кончить главу о Швейцаріи, какъ не на высотѣ семи тысячъ футовъ?

Отъ старушки, которая совѣстилась взять пять франковъ за кормъ четырехъ человѣкъ и двухъ лошадей, со влюченіемъ цѣлой бутылки кирша, мы до самаго вечера поднимались по узкой нарѣзкѣ, мѣстами не шире метра, до Цермата; привычныя лошади шли шагомъ и осторожно, выбирая мѣсто, куда поставить копыто по скалистой, неровной тропинкѣ. Проводники безпрестанно напоминали намъ, чтобъ не править, а пускать лошадь идти, какъ она знаетъ. Съ одной стороны былъ крутой обрывъ, тысячи въ три футовъ и больше. Внизу, на его днѣ, шумѣлъ и несся Веспъ, съ какой-то безумной послѣшностью, стараясь найти больше открытое русло и вырваться изъ сжатой каменной постели. Его пѣнящаяся, клубящаяся поверхность была мѣстами видна; по гористымъ берегамъ росли цѣлые сосновые лѣса, казавшіеся мохомъ съ высоты, по которой мы двигались. Съ другой стороны—голая, скалистая высь, мѣстами нависшая надъ головами. Часы пѣлые ѣдешь, ѣдешь... Стучать подковы о камень, срывается нога лошади, реветъ Веспъ, и все такія-же скалы съ одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающійся обрывъ съ другой,—это наводитъ тоску, раздражительную усталъ... Я не хотѣлъ бы часто повторять этого пути.

Церматъ послѣднее мѣстечко, гдѣ живутъ нѣсколько семей вмѣстѣ; оно стоитъ, какъ въ котлѣ: громады горъ окружаютъ его. Одинъ изъ домохозяевъ принимаетъ у себя рѣдкихъ путешественниковъ, мы застали у него шотландца, геолога. Пока намъ собирали ужинъ, сдѣлалось совершенно темно; близость горъ удваивала мракъ. Часу въ одиннадцатомъ хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала намъ:

— «Вѣдь, это копыта, да и крикъ проводниковъ слышенъ... охота-же въ ночную пору ѣхать по такой дорогѣ».

Стукъ копытъ медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла съ нимъ въ сѣни, я пошелъ за ней. Что-то стало отдѣляться изъ черной мглы, какія-то фигуры показались на полосѣ фонарнаго свѣта и, наконецъ, два всадника подъѣхали къ сѣнямъ. На одной лошади сидѣла высокая, среднихъ лѣтъ женщина, на другой мальчикъ, лѣтъ четырнадцати. Дама покойно сошла съ лошади, будто она воротилась съ прогулки въ Гайдъ-Паркъ, и вошла въ общую комнату. Шотландца она уже гдѣ-то встрѣтила, и потому тотчасъ стала съ нимъ говорить. Спросивъ себѣ поѣсть, она послала сына узнать отъ проводни-

ковъ, сколько времени лошадямъ нужно отдыхать. Они сказали, что двухъ часовъ довольно.

— «Неужели вы ѣдете, не дождавшись дня, спросилъ шотландецъ,—зги не видать, и притомъ же вамъ теперь придется спускаться по новой дорогѣ?»

— Я уже такъ разочла время.

Черезъ два часа англичанка съ сыномъ стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На разсвѣтъ мы взяли третьяго проводника гербориста, который зналъ всѣ тропинки и удивительно насвистывалъ альпійскіе мотивы, и стали взбираться на одну изъ ближнихъ высотъ, поднимаясь къ ледяному морю и Монъ-Сервину.

Сначала сѣдой туманъ закрывалъ все и мочилъ насъ мелкимъ дождемъ, мы поднимались, онъ понижался; вскорѣ сдѣлалось какъ-то рѣзко свѣтло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго гдѣ-то описываетъ «что слышно на горѣ»; не высока, должно быть, была его гора, меня поразило, совсѣмъ напротивъ, совершенное отсутствіе звука: рѣшительно ничего не слышать, кромѣ легкаго, перемежающагося грохота отъ перекатывающихся лавинъ, и то изрѣдка... Вообще-же, тишина мертвая, *прозрачная*, —я нарочно употребляю это слово,—и необычайная разрѣженность воздуха дѣлаютъ *видимой, звучной* эту совершенную нѣмоту, этотъ безпробудный, минеральный, стихійный сонъ¹⁾ допотопныхъ временъ.

Шумить жизнь,—но все живое внизу и покрыто облаками; тутъ ужъ нѣтъ и растеній, одинъ мохъ сѣдой, жесткій, попадаетъ кое-гдѣ на камняхъ. Еще вверхъ—еще свѣжѣе стало, начинается нетающий иней; тутъ рубежъ, тутъ ничего не бываетъ, дальше ходить только любопытнѣйшій изъ всѣхъ *звѣрей*, чтобъ на минуту заглянуть въ эти степи пустоты, посмотреть на эти пограничные, выдавшіеся предѣлы планеты, и скорѣе спуститься въ свою среду, исполненную суеты, но гдѣ онъ дома.

Мы остановились передъ ледянымъ снѣжнымъ моремъ, разстланнымъ между нами и Монъ-Сервиномъ; окаймленное грядою горъ, облитыхъ солнцемъ, оно само, бѣлое до ослѣпительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантскаго Колизея. Мѣстами изрытое вѣтрами, волнистое, оно будто застыло въ самую минуту движенія; изгибы валовъ замерзли, не успѣвъ выправиться.

Я сошелъ съ лошади и прилежъ на глыбу гранита, причаленную снѣжными волнами къ берегу... Нѣмая, неподвижная бѣ-

¹⁾ Вотъ я и оправдалъ знаменитое: «я слышу молчаніе!» московскаго полицмейстера.

лизна, безъ всякаго предѣла... Легкій вѣтеръ приподнималъ небольшую бѣлую пыль, уносилъ ее, вертѣлъ... Она падала и все снова приходило въ покой, да раза два лавины, оторвавшись съ глухимъ раскатомъ, скатывались вдали, цѣпляясь за утесы, разбиваясь о нихъ и оставляя по себѣ облако снѣга...

Странно чувствуетъ себя человѣкъ въ этой рамѣ: гостемъ, лишнимъ, постороннимъ, и, съ другой стороны, свободнѣе дышитъ и, будто подъ цвѣтъ окружающему, становится бѣль и чистъ внутри... серьезенъ и полонъ какого-то благочестія!

Какимъ натянутымъ риторомъ сочли бы меня, если-бъ я заключилъ эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой бѣлизны, свѣжести и тишины, изъ двухъ путниковъ, потерянныхъ на этой выси и считавшихъ другъ друга близкими друзьями, одинъ обдумывалъ черную измѣну?..

Да, жизнь иногда имѣетъ свои мелодраматическія выходы— свои *coups de théâtre*, очень натянутые. ✕

Западныя арабески.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ.

I.

II Pianto.

Послѣ июньскихъ дней я видѣлъ, что революція побѣждена, но вѣрилъ еще въ *побѣжденныхъ*, въ падшихъ, вѣрилъ въ чудотворную силу мощей, въ ихъ нравственную могучесть. Въ Женевѣ я сталъ понимать яснѣе и яснѣе, что революція не только побѣждена, но что она *должна была быть* побѣжденной.

У меня кружилась голова отъ моихъ открытій, пропасть открывалась передъ глазами, и я чувствовалъ, какъ почва исчезала подъ ногами.

Не реакція побѣдила революцію. Реакція вездѣ оказалась тупой, трусливой, выжившей изъ ума; она вездѣ позорно отступила за уголъ передъ напоромъ народной волны и воровски выжидала времени въ Парижѣ и въ Неаполѣ, въ Вѣнѣ и Берлинѣ. Революція пала, какъ Агрипина, подъ ударами своихъ дѣтей и, что всего хуже, безъ ихъ сознанія; героизма, юношескаго самоотверженія было больше, чѣмъ разумѣнія, и чистыя, благородныя жертвы пали, не зная за что. Судьба остальныхъ врядъ не была-ли еще печальнѣе. Они, въ раздорѣ между собой, въ личныхъ спорахъ, въ печальномъ самообольщеніи, разѣдаемые необузданнымъ самолюбіемъ, останавливались на своихъ неожиданныхъ дняхъ торжества и не хотѣли ни снять увядшихъ вѣнковъ, ни вѣнчальнаго наряда, несмотря на то, что не *невѣста* обманула.

Несчастія, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздраженіе... Эмиграціи разбивались на маленькія кучки, средоточіемъ которыхъ дѣлались имена, ненависти, а не начала. Взглядъ, постоянно обращенный назадъ, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться въ рѣчахъ и мысляхъ, въ

пріемахъ и одеждѣ; новый цехъ—*цехъ выходцевъ*—складывался и костенѣлъ рядомъ съ другими. И какъ нѣкогда Василій Великій писалъ Григорію Назіанзину, что онъ «утопаетъ въ постѣ и наслаждается лишеніями», такъ теперь явились добровольные мученики, страдавшіе по званію, несчастные по ремеслу, и въ ихъ числѣ добросовѣстнѣйшіе люди; да и Василій Великій откровенно писалъ своему другу объ оргіяхъ плотоумерщвленія и о нѣгѣ гоненія. При всемъ этомъ, сознаніе не двигалось ни на шагъ, мысль дремала... Если-бъ эти люди были призваны звукомъ новой трубы и новаго набата, они, какъ девять спящихъ дѣвъ, продолжали бы тотъ день, въ который заснули.

Сердце изнывало отъ этихъ тяжелыхъ истинъ; трудную страну воспитанія приходилось переживать.

... Печально сидѣлъ я разъ въ мрачномъ, непріятномъ Цюрихѣ, въ столовой у моей матери; это было въ концѣ декабря 1849. Я ѣхалъ на другой день въ Парижъ; день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна нехотя, дымясь и треща, горѣли въ каминѣ, всѣ были заняты укладкой, я сидѣлъ одинъ-одинехонекъ: женевская жизнь носилась передъ глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мнѣ было такъ невыносимо, что, если-бъ я могъ, я бросился бы на колѣни и плакалъ бы, и молился бы, но я не могъ и, вмѣсто молитвы, написалъ *проклятіе—мой Эпиграммъ къ 1849.*

«Разочарованіе, усталъ, Blasirtheit!» сказали объ этихъ поблѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарованіе! Да, усталъ!.. Разочарованіе слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца, эгоизмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязаніе на все, силы—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти выспія, неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомерія,—въ жизни и въ романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ-ли нѣтъ чего-либо истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смѣшныя пародіи и въ пошлый маскарадъ.

Поэтъ, нашедшій слово и голосъ для этой боли, былъ слишкомъ гордъ, чтобъ притворяться, чтобъ страдать для рукоплесканій; напротивъ, онъ часто горькую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые люди помирали со смѣха. Разочарованіе Байрона больше, нежели капризъ, больше, нежели личное настроеніе. Байронъ сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требованія его были ложны, а потому, что Англія и Байронъ были двухъ разныхъ возрастовъ, двухъ разныхъ воспитаній, и встрѣтились именно въ ту эпоху, въ которую туманъ разсѣялся.

Разрывъ этотъ существовалъ и прежде, но въ нашъ вѣкъ онъ пришелъ къ сознанию, въ нашъ вѣкъ больше и больше облачается невозможность посредства какихъ-нибудь вѣрованій. За римскимъ разрывомъ шло христіанство, за христіанствомъ—вѣра въ цивилизацію, въ человѣчество. *Либерализмъ составляетъ послѣднюю религію*, но его церковь не другого міра, а этого, его теодицея—политическое ученіе; онъ стоитъ на землѣ и не имѣетъ мистическихъ примиреній, ему надобно мириться въ самомъ дѣлѣ. Торжествующій и потомъ побитый либерализмъ раскрылъ разрывъ во всей наготѣ; болѣзненное сознание этого выражается ироніей современнаго человѣка, его скептицизмомъ, которымъ онъ мететъ осколки разбитыхъ кумировъ.

Ироніей высказывается досада, что истина логическая не одно и то же съ истиной исторической, что, сверхъ діалектическаго развитія, она имѣетъ свое страстное и случайное развитіе, что, сверхъ своего разума, она имѣетъ свой романъ.

Разочарованья¹⁾, въ нашемъ смыслѣ слова, до революціи не знали; XVIII столѣтіе было одно изъ самыхъ религіозныхъ временъ исторіи. Я уже не говорю о великомученикѣ С. Жюстѣ или объ апостолѣ Жанъ-Жакѣ; но развѣ папа Вольтеръ, благословлявшій Франклинова внука во имя Бога и Свободы, не былъ піэтистъ своей человѣческой религіей?

Скептицизмъ провозглашенъ вмѣстѣ съ республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революціонеры принадлежали къ меньшинству, отдѣлившемуся отъ народной жизни развитіемъ: они составляли нѣчто въ родѣ свѣтскаго духовенства, готоваго пасти стада людскія. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее*, но не *общее* сознание, не *мысль встѣхъ*.

У новаго духовенства не было понудительныхъ средствъ, ни фантастическихъ, ни насильственныхъ; съ той минуты, какъ власть выпала изъ ихъ рукъ, у нихъ было одно орудіе—убѣжденіе, но для убѣжденія недостаточно *правоты*, въ этомъ вся ошибка, а необходимо еще одно—*мозговое равенство!*

Пока длилась отчаянная борьба, при звукахъ пѣсни гугенотовъ и марсельезы, пока костры горѣли и кровь лилась, этого неравенства не замѣчали; но, наконецъ, тяжелое зданіе феодальной монархіи рухнулось, долго ломали стѣны, отбивали замки... еще ударъ—еще проломъ сдѣланъ, храбрые впередъ, ворота отперты—и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такіе?

¹⁾ Вообще „нашъ“ скептицизмъ не былъ извѣстенъ въ прошломъ вѣкѣ. одинъ Дидро и Англія дѣлаютъ исключеніе. Въ Англіи скептицизмъ былъ съ давнихъ временъ дома, и Байронъ естественно идетъ за Шекспиромъ, Гоббсомъ и Юмомъ.

Изъ какого вѣка? Это не спартанцы, не великій *populus romanus*, *Davus sum*, поп *Ædipus!* Неотразимая волна грязи залила все. Въ террорѣ 93, 94 года выразился внутренній ужасъ якобинцевъ: они увидѣли страшную ошибку, хотѣли ее поправить гильотиной, но сколько ни рубили головы, все-таки склонили свою собственную передъ силою восходящаго общественнаго слоя. Все ему покорилось, онъ пересилилъ революцію и реакцію, онъ затопилъ старыя формы и наполнилъ ихъ собою, потому что онъ составлялъ единственное дѣятельное и современное большинство; Сіэзъ былъ больше правъ, чѣмъ думалъ, говоря, что *мѣщане*—«все».

Мѣщане не были произведены революціей, они были готовы съ своими преданіями и нравами, чуждыми на *другой ладъ* революціонной идеи. Ихъ держала аристократія въ черномъ тѣлѣ и на третьемъ планѣ; освобожденные, они прошли по трупамъ освободителей и ввели свой порядокъ. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось въ мѣщанство.

Нѣсколько человѣкъ cadaго поколѣнія оставались, вопреки событіямъ, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а, можетъ, астеки, несутъ несправедливую казнь за монополь исключительнаго развитія, за мозговое превосходство сытыхъ кастъ, кастъ до-сужихъ, имѣвшихъ время работать не однѣми мышцами.

Насъ сердить, выводить изъ себя нелѣпость, несправедливость этого факта. Какъ будто кто-нибудь (кромѣ насъ самихъ) обѣщаль, что все въ мірѣ будетъ изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль на концѣ—это заключеніе: все начинается тупостью новорожденнаго; возможность и стремленіе лежать въ немъ, но прежде чѣмъ онъ дойдетъ до развитія и сознанія, онъ подвергается ряду внѣшнихъ и внутреннихъ вліяній, отклоненій, остановокъ. У одного вода размягчитъ мозгъ, другой, падая, сплюснетъ его, оба останутся идиотами, третій не упадетъ, не умретъ скарлатиной,—и сдѣлается поэтомъ, военачальникомъ, бандитомъ, судьей. Мы вообще въ природѣ, въ исторіи и въ жизни всего больше знаемъ удачи и успѣхи; мы теперь только начинаемъ чувствовать, что не все такъ хорошо подтасовано, какъ казалось, потому что мы сами неудача, *проигранная карта*.

Сознаніе безсилія идеи, отсутствія обязательной силы истины надъ дѣйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Новаго рода ма-нихеизмъ овладѣваетъ нами, мы готовы, *rag dépit*, вѣрить въ разумное (т. е. намѣренное) зло, какъ вѣрили въ разумное добро,—это послѣдняя дань, которую мы платимъ идеализму.

Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстный ха-

рактерь уляжеться; ее почти нѣтъ въ *Новомъ свѣтѣ*, Соединенныхъ Штатовъ. Этотъ народъ молодой, предприимчивый, болѣе дѣловой, чѣмъ умный, до того занятъ устройствомъ своего жилья, что вовсе не знаетъ нашихъ мучительныхъ болей. Тамъ, сверхъ того, нѣтъ и двухъ образованій. Лица, составляющія слои въ тамошнемъ обществѣ, безпрестанно мѣняются, они поднимаются, опускаются съ итогомъ credit и debit каждаго. Дюжая порода англійскихъ колонистовъ разрастается страшно, если она возьметъ верхъ, люди въ ней не сдѣлаются счастливѣе, но будутъ довольнѣе. Довольство это будетъ плоше, бѣднѣе, суше того, которое носилось въ идеалахъ романтической Европы, но съ нимъ, можетъ, не будетъ голода. *Кто можетъ* совлечь съ себя стараго европейскаго Адама и переродиться въ новаго Ионатана, тотъ пусть ѣдетъ съ первымъ пароходомъ куда-нибудь въ Висконсинъ или Канзасъ, тамъ навѣрно ему будетъ лучше, чѣмъ въ европейскомъ разложеніи.

Тѣ, которые *не могутъ*, тѣ останутся доживать свой вѣкъ, какъ образчики прекраснаго сна, которымъ дремало человѣчество. Они слишкомъ жили фантазіей и идеалами, чтобъ войти въ разумный американскій возрастъ.

Большой бѣды въ этомъ нѣтъ, насъ немного и мы скоро вымремъ!

Но какъ люди такъ развиваются вонъ изъ своей среды?..

Представьте себѣ оранжерейнаго юношу, хоть того, который описалъ себя въ the Dream; представьте его себѣ лицомъ къ лицу съ самымъ скучнымъ, съ самымъ тяжелымъ обществомъ, лицомъ къ лицу съ уродливымъ минотавромъ англійской жизни, неловко спаяннымъ изъ двухъ животныхъ, одного дряхлаго, другого по колѣна въ топкомъ болотѣ, раздавленнаго какъ Кариаида, постоянно натянутыя мышцы которой не даютъ ни капли крови мозгу. Если-бъ онъ умѣлъ приладиться къ той жизни, онъ вмѣсто того, чтобъ умереть за тридцать лѣтъ въ Греціи, былъ бы теперь лордомъ Пальмерстономъ или сиромъ Джономъ Росселемъ. Но такъ какъ онъ не могъ, то ничего нѣтъ удивительнаго, что онъ съ своимъ Гарольдомъ говоритъ кораблю:—«Неси меня, куда хочешь,—только вдаль отъ родины».

Но что же ждало его въ этой дали? Испанія, вырѣзываемая Наполеономъ, одичалая Греція, всеобщее воскрешеніе всѣхъ смердящихъ Лазарей послѣ 1814 года; отъ нихъ нельзя было спастись ни въ Равеннѣ, ни въ Діодати. Байронъ не могъ удовлетвориться по-нѣмецки теоріями sub specie eternitatis, ни по-французски политической болтовней, и онъ сломился, но сломился какъ грозный Титанъ, бросая людямъ въ глаза свое презрѣніе, не золотя пилюли.

Разрывъ, который Байронъ чувствовалъ, какъ поэтъ и геній, сорокъ лѣтъ тому назадъ, послѣ ряда новыхъ испытаній, послѣ грязнаго перехода съ 1830 къ 1848 г. и гнуснаго съ 48 до сегодняшняго дня, поразилъ теперь многихъ. И мы, какъ Байронъ, не знаемъ, куда дѣться, куда преклонить голову.

Реалистъ Гёте такъ же, какъ романтикъ Шиллеръ, этой разорванности не знали. Одинъ былъ слишкомъ религиозенъ, другой слишкомъ философъ. Оба могли примиряться въ отвлеченныхъ сферахъ. Когда «духъ отрицанья» является такимъ шутникомъ, какъ Мефистофель, тогда разрывъ еще не страшенъ; насмѣшливая и вѣчно противорѣчащая натура его еще расплывается въ высшей гармоніи и въ свое время прозвучитъ всему—*sie ist gettett*. Не таковъ Люциферъ въ Каинѣ; это печальный ангелъ тьмы, на его лбу тускло мерцаетъ звѣзда горькой думы, полнаго внутренняго распада, концы котораго не сведешь. Онъ не остритъ отрицаніемъ, не смѣшитъ дерзостью невѣрія, не манитъ чувственностью, не достааетъ ни наивныхъ дѣвочекъ, ни вина, ни брилліантовъ, а спокойно влечетъ къ убійству, тянетъ къ себѣ, къ преступленію—той непонятной силой, которой зоветъ человѣка въ иные минуты стоячая вода, освѣщенная мѣсяцемъ, ничего не общая въ безотрадныхъ, холодныхъ, мерцающихъ объятіяхъ своихъ, кромѣ смерти.

Ни Каинъ, ни Манфредъ, ни Донъ-Жуанъ, ни Байронъ не имѣютъ никакого вывода, никакой развязки, никакого «правоченія». Можетъ, съ точки зрѣнія драматическаго искусства это и не идетъ, но въ этомъ-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпизодъ Байрона, его послѣднее слово, если вы хотите, это *the Darkness*; вотъ результатъ жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодомъ, умерли, ихъ съѣли какія-нибудь ракообразныя животныя;... корабль догниваетъ—смоленный канатъ качается себѣ по мутнымъ волнамъ въ темнотѣ, холодъ страшный, звѣри вымираютъ, исторія уже умерла, и мѣсто расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится въ четвертую формацію, т. е., если новый міръ дойдетъ до того, что сумѣетъ считать до четырехъ.

Наше историческое призваніе, наше дѣяніе въ томъ и состоитъ, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной, и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія. Нами человѣчество протрезвляется, мы его спохмелемъ, мы его боли родовъ. Если роды кончатся хорошо, все пойдетъ на пользу; но мы не должны забывать, что по дорогѣ можетъ умереть ребенокъ или мать, а можетъ и оба, и тогда—ну, тогда исторія съ своимъ мормонизмомъ начнетъ новую беременность... *E sempre bene, господа!*

Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудяхъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ что попало: десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какой-нибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужимъ и мы. Войти въ будущее какъ элементъ не значить еще, что будущее исполнить наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная мысль западная войдетъ, воплотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ, какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, барановъ, котлетъ, людей. Намъ не нравится это безсмертіе,—что же съ этимъ дѣлать?

Теперь я привыкъ къ этимъ мыслямъ, онѣ уже не пугаютъ меня. Но въ концѣ 1849 года я былъ ошеломленъ ими, и несмотря на то, что каждое событіе, каждая встрѣча, каждое столкновеніе, лице—наперерывъ обрывали послѣдніе зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искалъ *выхода*.

Оттого-то я теперь и дѣню такъ высоко мужественную мысль Байрона. Онъ видѣлъ, что *выхода нѣтъ*, и гордо высказалъ это.

Я былъ несчастенъ и смущенъ, когда эти мысли начали посѣщать меня; я всячески хотѣлъ бѣжать отъ нихъ..... Я стучался, какъ путникъ, потерявшій дорогу, какъ нищій, во всѣ двери, останавливалъ встрѣчныхъ и спрашивалъ о дорогѣ, но каждая встрѣча и каждое событіе вели къ одному результату—къ *смирению передъ истиной*, къ самоотверженному принятію ея.

... Три года тому назадъ я сидѣлъ у изголовья больной и видѣлъ, какъ смерть стягивала ее безжалостно шагъ за шагомъ въ могилу. Эта жизнь была все мое достояніе. Мгла стлалась около меня, я дичалъ въ тупомъ отчаяніи, но не тѣшилъ себя надеждами, не предавалъ своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свиданіи за гробомъ.

Такъ ужъ съ общимъ-то вопросамъ и подавно не стану кричать душой!

II.

Post-scriptum.

Я знаю, что мое возрѣніе на Европу встрѣтитъ у насъ дурной пріемъ. Мы, для утѣшенія себя, *хотимъ* другой Европы и вѣримъ въ нее такъ, какъ христіане вѣрятъ въ рай. Разрушать мечты вообще дѣло непріятное, но меня заставляетъ какая-то

внутренняя сила, которой я не могу побѣдить, высказывать истину—даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она мнѣ вредна.

Мы вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е., мы не знаемъ ее, а судимъ à livre ouvert, по книжкамъ и картинкамъ, такъ, какъ, дѣти судятъ по Orbis pictus о настоящемъ мірѣ, воображая, что всѣ женщины на Сандвичевыхъ островахъ держатъ руки надъ головой съ какими-то бубнами, и что гдѣ есть голый негръ, тамъ непременно, въ пяти шагахъ отъ него, стоитъ левъ съ растрепанной гривой или тигръ съ злыми глазами.

Наше *классическое* незнаніе западнаго человѣка надѣлаетъ много бѣдъ, изъ него еще разовьются племенные ненависти и кровавыя столкновенія.

Во-первыхъ, намъ извѣстенъ только одинъ верхній, *образованный* слой Европы, который накрываетъ собой тяжелый фундаментъ народной жизни, сложившійся вѣками, выведенный инстинктомъ, по законамъ, мало извѣстнымъ въ самой Европѣ. Западное образованіе не проникаетъ въ эти циклопическія работы, которыми исторія приросла къ землѣ и граничитъ съ геологіей. Европейскія государства спаяны изъ двухъ народовъ, особенности которыхъ поддерживаются совершенно разными воспитаніями. Восточнаго единства, вслѣдствіе котораго турокъ, подающій чубукъ, и турокъ, великій визирь, похожи другъ на друга, здѣсь нѣтъ. Массы сельскаго населенія, послѣ религиозныхъ войнъ и крестьянскихъ возстаній, не принимали никакого дѣйствительнаго участія въ событіяхъ; они ими увлекались направо или налево, какъ нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторыхъ, и тотъ слой, который намъ знакомъ, съ которымъ мы входимъ въ соприкосновеніе, мы знаемъ исторически, несовременно. Поживши годъ, другой въ Европѣ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соотвѣтствуютъ нашему понятію о нихъ, что они *гораздо ниже* его.

Въ идеаль, составленный нами, входятъ элементы вѣрные, но или не существующіе болѣе, или совершенно измѣнившіеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрающійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ, *мѣщанскихъ*. Они составляютъ цѣлое, т. е., замкнутое, оконченное въ себѣ возрѣніе на жизнь, съ своими преданіями и правилами, съ своимъ добромъ и зломъ, съ своими приемами и съ своей нравственностью *низшаго порядка*.

Какъ рыцарь былъ первообразъ міра феодальнаго, такъ ку-

пецъ сталъ первообразомъ новаго міра; господа замѣнились *хозяевами*. Купецъ самъ по себѣ лицо стертое, промежуточное; посредникъ между однимъ, который производитъ, и другимъ, который потребляетъ, онъ представляетъ нѣчто въ родѣ дороги, повозки, средства.

Рыцарь былъ больше *онъ самъ*, больше *лицо*, и берегъ, какъ понималъ, свое достоинство, оттого-то онъ въ сущности и не зависѣлъ ни отъ богатства, ни отъ мѣста; его личность была главное; въ мѣщанинѣ личность прячется или не выступаетъ, потому что не она главное: главное товаръ, дѣло, вещь, главное *собственность*.

Рыцарь былъ страшная невѣжда, драчунъ, бретеръ, разбойникъ и монахъ, пьяница и пѣтистъ, но онъ былъ во всемъ открытъ и откровененъ; къ тому-же онъ всегда готовъ былъ лечь костями за то, что считалъ правымъ; у него было свое нравственное уложеніе, свой кодексъ чести, очень произвольный, но отъ котораго онъ не отступалъ безъ утраты собственнаго уваженія или уваженія равныхъ.

Купецъ человекъ мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающій свои права, но слабый въ нападеніи; расчетливый, скупой, онъ во всемъ видитъ торгъ и, какъ рыцарь, вступаетъ съ каждымъ встрѣчнымъ въ поединокъ, только мѣрится съ нимъ—*хитростью*. Его предки, средневѣковые горожане, спасаясь отъ насилій и грабежа, принуждены были лукавить; они покупали покой и достояніе уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шлягу и кланяясь въ поясъ, обчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они сосѣдямъ о своей бѣдности, а между тѣмъ потихоньку зарывали деньги въ землю. Все это естественно перешло въ кровь и мозгъ потомства и сдѣлалось физиологическимъ признакомъ особаго вида людскаго, называемаго *среднимъ состояніемъ*.

Пока оно было въ несчастномъ положеніи и соединялось съ свѣтлой закраиной аристократіи для защиты своей вѣры, для завоеванія своихъ правъ, оно было исполнено величія и поэзіи. Но этого стало не надолго, и Санчо-Панса, завладѣвъ мѣстомъ и запросто развалясь на просторѣ, далъ себѣ полную волю и потерялъ свой народный юморъ, свой здравый смыслъ; вульгарная сторона его натуры взяла верхъ.

Подъ влияніемъ мѣщанства все переизмѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—нравами чинными, вѣжливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для *всѣхъ* (т. е, для всѣхъ имѣющихъ деньги).

Прежнія, устарѣлыя, но послѣдовательныя понятія объ отно-

шеніяхъ между людьми были потрясены, но новаго сознанія *настоящихъ* отношеній между людьми не было раскрыто. Хаотическій просторъ этотъ особенно способствовалъ развитію всѣхъ мелкихъ и дурныхъ сторонъ мѣщанства, подъ всемогущимъ вліяніемъ ничѣмъ необуздымаемаго стяжанія.

Разберите моральныя правила, которыя въ ходу съ полвѣка, чего тутъ нѣтъ? Римскія понятія о государствѣ съ готическимъ раздѣленіемъ властей, протестантизмъ и политическая экономія, *Salus populi* и *chacun pour soi*, Брутъ и Ома Кемпійскій, Евангеліе и Бенгамъ, приходорасходное счетоводство и Ж. Ж. Руссо. Съ такимъ сумбуромъ въ головѣ и съ магнитомъ, вѣчно притягиваемымъ къ золоту въ груди, нетрудно было дойти до тѣхъ нелѣпостей, до которыхъ дошли передовыя страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами пріобрѣтать, а имущій хранить и увеличивать свою собственность; флагъ, который поднимаютъ на рынкѣ для открытія торговаго, сталъ хоругвію новаго общества. Человѣкъ *de facto* сдѣлался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу изъ-за денегъ.

Политическій вопросъ съ 1830 года дѣлается исключительно вопросомъ мѣщанскимъ и вѣковая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣняльныя лавочки и рынки—редакція журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной номенклатурѣ, что называютъ свою старую англиканскую церковь—*Old Shop*.

Всѣ партіи и оттѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой—неимущіе *мѣщане*, которые хотятъ вырвать изъ ихъ рукъ ихъ достояніе, но не имѣютъ силы, т. е. съ одной стороны, *скупость*, съ другой, *зависть*. Такъ какъ дѣйствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ опредѣляется внѣшними условіями состоянія, общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаетъ побѣды, т. е. собственности или мѣста, и естественно переходитъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ безплодная качка парламентскихъ преній,—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ *видъ дѣла* и форму общихъ интересовъ, для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

Парламентское правленіе, не такъ, какъ оно истекаетъ изъ народныхъ основъ англо-саксонскаго *Commonlaw*, а такъ, какъ

оно сложилось въ государственный законъ—самое колоссальное бѣличье колесо въ мѣрѣ. Можно ли величественнѣе стоять на одномъ и томъ-же мѣстѣ, придавая себѣ видъ торжественнаго марша, какъ оба англійскіе парламента?

Но въ этомъ-то сохраненіи вида и главное дѣло.

Во всемъ современно-европейскомъ глубоко лежатъ двѣ черты, явно идущія изъ-за прилавка: съ одной стороны, лицемѣріе и скрытность, съ другой—выставка и *étalage*. Продать товаръ лицомъ, купить за полцѣны, выдать дрянъ за дѣло, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условіе, воспользоваться буквальнымъ смысломъ, *казаться* вмѣсто того, чтобъ *быть*, вести себя *прилично*, вмѣсто того, чтобъ вести себя *хорошо*, хранить внѣшній *respectabilitaet*, вмѣсто внутренняго достоинства.

Въ этомъ мѣрѣ все до такой степени декорация, что самое грубое невѣжество получило видъ образованія. Кто изъ насъ не останавливался, краснѣя за невѣдѣніе западнаго общества (я здѣсь не говорю объ ученыхъ, а о людяхъ, составляющихъ то, что называется обществомъ)? Образованія теоретическаго, серьезнаго быть не можетъ; оно требуетъ слишкомъ много времени, слишкомъ отвлекаетъ отъ *дѣла*. Такъ какъ все, лежащее внѣ торговыхъ оборотовъ и «эксплоатаціи» своего общественнаго положенія, не *существенно* въ мѣщанскомъ обществѣ, то ихъ образованіе и должно быть ограничено. Оттого происходитъ та нелѣпость и тяжесть ума, которую мы видимъ въ мѣщанахъ всякій разъ, какъ имъ приходится сѣзжать съ битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемѣріе далеко не такъ умны и дальновидны, какъ воображаютъ; ихъ діаметръ бѣденъ и плаванье мелко.

Англичане это знаютъ, и потому не оставляютъ битыя колеи и выносятъ не только тяжелыя, но, хуже того, смѣшныя неудобства своего готизма, боясь всякой перемѣны.

Французскіе мѣщане не были такъ осторожны, и со всѣмъ своимъ лукавствомъ и двоедушіемъ оборвались въ имперію.

Увѣренные въ побѣдѣ, они провозгласили основой новаго государственнаго порядка *всеобщую подачу голосовъ*. Это ариѳметическое знамя было имъ симпатично, истина опредѣлялась сложениемъ и вычитаніемъ, ее можно было прикидывать на счетахъ и мѣтить булавками.

И что же они подвергнули суду *всѣхъ голосовъ*, при современномъ состояніи общества? Вопросъ о существованіи республики. Они хотѣли ее убить народомъ, сдѣлать изъ нея пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважаетъ истину,—пойдетъ ли тотъ спрашивать мнѣніе встрѣчнаго, поперечнаго? Что, если-бъ Колумбъ или Коперникъ пустили Америку и движеніе земли на голоса?

Хитро было придумано, а въ послѣдствіяхъ добряки обочлись.

Щель, сдѣлавшаяся между партеромъ и актерами, прикрытая сначала линючимъ ковромъ Ламартиновскаго краснорѣчія, дѣлалась больше и больше; юньская кровь ее размыла, и тутъ-то раздраженному народу поставили вопросъ о президентѣ. Отвѣтомъ на него вышелъ изъ щели, протирая заспанные глаза, Людовикъ Наполеонъ, забравшій все въ руки, т. е., и мѣщанъ, которые воображали по старой памяти, что онъ будетъ *царствовать*, а они *править*.

То, что вы видите на большой сценѣ государственныхъ событій, то микроскопически повторяется у каждаго очага. Мѣщанское растлѣніе пробралось во всѣ тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатлѣвались такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ буржуазія.

Дворянство обязывало. Разумѣется, такъ какъ его права были долею фантастическія, то и обязанности были фантастическія, но онѣ дѣлали извѣстную круговую поруку между равными. Католицизмъ обязывалъ, съ своей стороны, еще больше. Рыцари пвѣрующіе часто не исполняли своихъ обязанностей, но сознаніе, что они тѣмъ нарушили ими самими признанный общественный союзъ, не позволяло имъ ни быть свободными въ отступленіяхъ, ни возводить въ норму своего поведенія. У нихъ была своя праздничная одежда, своя офиціальная постановка, которыя не были ложью, а скорѣй ихъ идеаломъ.

Намъ теперь дѣла нѣтъ до содержанія этого идеала. Ихъ процессъ рѣшенъ и давно проигранъ. Мы хотимъ только указать, что мѣщанство, напротивъ, ни къ чему не обязываетъ, ни даже къ военной службѣ, если только есть охотники, т. е. обязываетъ *per fas et nefas*, имѣть собственность. Его Евангеніе коротко: «Наживайся, умножай свой доходъ, какъ песокъ морской, пользуйся и злоупотребляй своимъ денежнымъ и нравственнымъ капиталомъ, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долготѣтія, женишь своихъ дѣтей и оставишь по себѣ хорошую память».

Отричаніе міра рыцарскаго и католическаго было необходимо и сдѣлалось не мѣщанами, а просто свободными людьми, т. е., людьми, отрѣшившимися отъ всякихъ гуртовыхъ опредѣленій. Тутъ были рыцари, какъ Ульрихъ фонъ Гутенъ, и дворяне, какъ Аруеть Вольтеръ, ученики часовщиковъ, какъ Руссо, полковые лекаря, какъ Шиллеръ, и купеческія дѣти, какъ Гёте. Мѣщанство воспользовалось ихъ работой и явилось освобожденнымъ не только отъ рабства, но и отъ всѣхъ общественныхъ тягъ, кромѣ складчины для найма, охраняющаго ихъ правительство.

Изъ протестантизма они сдѣлали *свою* религію, религію, при-миравшую совѣсть христіанина съ занятіемъ ростовщика, рели-гію до того мѣщанскую, что народъ, лившій кровь за нее, ее оставилъ. Въ Англіи *чернь* всего менѣе ходитъ въ церковь.

Изъ революціи они хотѣли сдѣлать *свою* республику, но она ускользнула изъ-подъ ихъ пальца, такъ, какъ античная цивили-зациа ускользнула отъ варваровъ, т. е. безъ мѣста въ настоя-щемъ, но съ надеждой на *Instaurationem magnam*.

Реформаціа и революціа были сами до того испуганы пусто-тою міра, въ который они входили, что они искали спасенія въ двухъ монашествахъ: въ холодномъ, скучномъ ханжествѣ пуританизма и въ сухомъ, натянутомъ цивизмѣ республиканскаго формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были осно-ваны на страхѣ, что ихъ почва не тверда; они видѣли, что имъ надобны были сильныя средства, чтобы увѣрить однихъ, что это церковь, другихъ, что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелѣе и невыносимѣе тамъ, гдѣ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, *образованнѣе*, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ-нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи... И вотъ отчего горная, бѣдная, сельская Швейцарія—единственный клочекъ Европы, въ кото-рый можно удалиться съ миромъ.

Эти отрывки, напечатанные въ «Полярной Звѣздѣ», оканчи-вались слѣдующимъ посвященіемъ, писаннымъ до *прѣзда Ога-рева въ Лондонъ и до смерти Грановскаго*:

.... *Прими сей черепъ. — онъ
Принадлежитъ тебѣ поправу.*

А. Пушкинъ.

На этомъ пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенныя главы и напишу другія, безъ которыхъ разсказъ мой останется непонятнымъ, усѣчен-нымъ, можетъ, ненужнымъ, во всякомъ случаѣ будетъ не тѣмъ, чѣмъ я хотѣлъ, но все это послѣ, гораздо послѣ...

Теперь разстанемся, и на прощанье одно слово. къ вамъ, друзья юности.

Когда все было схоронено. когда даже шумъ. долею вызванный мною, долею самъ навликавшійся, улегся около меня и люди разошлись по домамъ. я при-поднялъ голову и посмотрѣлъ вокругъ: живого, родного не было ничего, кромѣ дѣтей. Побродивши между постороннихъ. еще присмотрѣвшись къ нимъ, я пересталъ въ нихъ искать *своихъ* и отучился—не отъ людей, а отъ близости съ ними.

Правда, подъ часъ кажется, что еще есть въ груди чувства, слова, которыхъ жалъ

не высказавъ, которыя сдѣлали бы много добра, по крайней мѣрѣ отрады слушающему, и становится жаль, зачѣмъ все это должно заглухнуть и пропасть въ душѣ, какъ взглядъ разсѣивается и пропадаетъ въ пустой дали... но и это скорѣе догорающее зарево, отраженіе уходящаго прошедшаго.

Къ нему-то я и обернулся. Я оставилъ чужой мнѣ міръ и воротился къ вамъ; и вотъ мы съ вами живемъ второй годъ, какъ бывало, видаемся каждый день, и ничего не перемѣнилось, никто не отошелъ, не состарѣлся, никто не умеръ, и мнѣ такъ дома съ вами и такъ ясно, что у меня нѣтъ другой почвы.— кромѣ нашей, другого призванія, кромѣ того, на которое я себя обрекалъ съ дѣтскихъ лѣтъ.

Рассказъ мой о быломъ, можетъ, скученъ, слабъ. но вы, друзья, примите его радушно; этотъ трудъ помогъ мнѣ пережить страшную эпоху, онъ меня вывелъ изъ празднаго отчаянія, въ которомъ я погибалъ, онъ меня воротилъ къ вамъ. Съ нимъ я вхожу не *весело, но спокойно* (какъ сказалъ поэтъ, котораго я безмѣрно люблю) въ мою вину:

Lieto no... ma sicuro! говорить Леопарди о смерти въ своемъ *Ruysch e le sni mommie*.

Такъ, безъ вашей воли, безъ вашего вѣдома, вы выручили меня.—*примите же сей черепъ—онъ вамъ принадлежитъ по праву.*

Isle of Wight, Ventnor, 1 октября 1855.

ГЛАВА XXXIX. (1)

✱

Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.

Въ декабрѣ 1849 года я узналъ, что довѣренность на залогъ моего имѣнья, посланная изъ Парижа и засвидѣтельствованная въ посольствѣ, уничтожена, и что вслѣдъ за тѣмъ на капиталъ моей матери наложено запрещеніе. Терять времени было нечего, я, какъ уже сказалъ въ прошлой главѣ, бросилъ тотчасъ Женеву и поѣхалъ къ моей матери.

Глупо или притворно было бы въ наше время денежнаго неустройства пренебрегать состояніемъ. Деньги—независимость, сила, оружіе. А оружіе никто не бросаетъ во время войны, хотя бы оно и было непріятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучилъ его во всѣхъ видахъ, живши годы съ людьми, которые спаслись, въ чемъ были, отъ политическихъ кораблекрушеній. Поэтому я считалъ справедливымъ и необходимымъ принять всѣ мѣры, чтобъ вырвать что можно.

Я и то чуть не потерялъ всего. Когда я ѣхалъ изъ Россіи, у меня не было никакого опредѣленнаго плана, я хотѣлъ только остаться до нѣльзя за границей. Пришла революція 1848 года и увлекла меня въ свой крутоворотъ, прежде чѣмъ я что-нибудь сдѣлалъ для спасенія моего состоянія. Добрые люди винили меня за то, что я замѣшался, очертя голову, въ политическія

движенія и предоставилъ на волю Божию будущность семьи,— можетъ, оно и было не совѣтъ осторожно; но если-бъ, живши въ Римѣ въ 1848 году, я сидѣлъ дома и придумывалъ средства, какъ спасти свое имѣнне въ то время, какъ вспрынувшая Италія кинѣла предъ моими окнами, тогда я, вѣроятно, не остался бы въ чужихъ краяхъ, а поѣхалъ бы въ Петербургъ, снова вступилъ бы на службу, могъ бы быть «вице-губернаторомъ», за «оберъ-прокурорскимъ столомъ», и говорилъ бы своему секретарю «ты», а своему министру «Ваше Высокопревосходительство!»

Столько воздержности и благоразумія у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Бѣднѣе было бы сердце и память, если-бъ я пропустилъ тѣ свѣтлыя мгновенія вѣры и восторженности! Чѣмъ было бы выкуплено для меня лишеніе ихъ? да и что для *меня*, чѣмъ было бы выкуплено для *той*, сломленная жизнь которой была потомъ однимъ страданіемъ, окончившимся могилой? Какъ горько упрекала бы меня совѣсть, что я изъ предусмотрительности укралъ у нея чуть-ли не послѣднія минуты невозмутимаго счастья! А потомъ, вѣдь, главное я все-же сдѣлалъ,—спасъ почти все достояніе, за исключеніемъ костромскаго имѣнія.

Послѣ іюньскихъ дней мое положеніе становилось опаснѣе; я познакомился съ Ротшильдомъ и предложилъ ему размѣнять мнѣ два билета Московской сохранный казны. Дѣла тогда, разумѣется, не шли, курсъ былъ прескверный; условія его были невыгодны, но я тотчасъ согласился и имѣлъ удовольствіе видѣть легкую улыбку сожалѣнія на губахъ Ротшильда,—онъ меня принялъ за безчестнаго prince russe, задолжавшаго въ Парижѣ, и потому сталъ называть monsieur le comte.

По первымъ билетамъ деньги немедленно были уплачены; по слѣдующимъ, на гораздо значительнѣйшую сумму, уплата хотя и была сдѣлана, но корреспондентъ Ротшильда извѣщалъ его, что на мой капиталъ наложено запрещеніе,—по-счастію его не было больше.

Такимъ образомъ, я очутился въ Парижѣ съ большой суммой денегъ, средь самаго смутнаго времени, безъ опытности и знанія, что съ ними дѣлать. И между тѣмъ все уладилось довольно хорошо. Вообще, чѣмъ меньше страстности въ финансовыхъ дѣлахъ, безпокойствія и тревоги, тѣмъ они легче удаются. Состоянія рушатся такъ же часто у жадныхъ стяжателей и финансовъ трусовъ, какъ у мотовъ.

По совѣту Ротшильда, я купилъ себѣ американскихъ бумагъ, нѣсколько французскихъ и небольшой домъ на улицѣ Амстердамъ, занимаемый Гаврской гостиницей.

Одинъ изъ первыхъ революціонныхъ шаговъ моихъ, развязавшихъ меня съ Россіей, погрузилъ меня въ почтенное сословіе консервативныхъ туеядцевъ, познакомилъ съ банкирами и нотариусами, приучилъ заглядывать въ биржевой курсъ, словомъ, сдѣлалъ меня западнымъ gentleman. Разрывъ современнаго человѣка со средой, въ которой онъ живетъ, вноситъ страшный сумбуръ въ частное поведеніе. Мы въ самой серединѣ двухъ, мѣшающихъ другъ другу, потоковъ; насъ бросаетъ, и будетъ еще долго бросать, то въ ту, то въ другую сторону, до тѣхъ поръ, пока тотъ или другой окончательно не сломитъ, и потокъ еще безпокойный и бурный, но уже текущій въ одну сторону, не облегчитъ пловца, т. е. не унесетъ его съ собой.

Счастливъ тотъ, кто до этого умѣетъ такъ лавировать, что, уступая волнамъ и качаясь, все-же плыветъ въ *свою* сторону!

При покупкѣ дома я имѣлъ случай поближе взглянуть въ дѣловой и буржуазный міръ Франціи. Бюрократическій формализмъ при совершеніи купчей не уступитъ нашему. Старикъ нотариусъ прочелъ мнѣ нѣсколько тетрадей, актъ о прочтеніи ихъ, mainlevée, потомъ настоящій актъ,—изъ всего составила цѣлая книга in-folio. Въ послѣдній торгъ нашъ о цѣнѣ и расходахъ хозяйинъ дома сказалъ, что онъ сдѣлаетъ уступку и возьметъ на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понялъ его, потому что съ самаго начала объявилъ, что покупаю на чистыя деньги. Нотариусъ объяснилъ мнѣ, что деньги должны остаться у него, по крайней мѣрѣ, три мѣсяца, въ продолженіе которыхъ сдѣлается публикація и вызовутся всѣ кредиторы, имѣющіе какія-нибудь права на домъ. Домъ былъ заложенъ въ 70.000, но онъ могъ быть еще заложенъ и въ другія руки. Черезъ три мѣсяца, по собраніи справокъ, выдается покупщику purge hypothécaire, а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяинъ увѣрялъ, что у него нѣтъ другихъ долговъ. Нотариусъ подтверждалъ это.

— Честное слово, сказалъ я ему, и вашу руку,—у васъ другихъ долговъ нѣтъ, которые касались бы дома?

— Охотно даю его.

— Въ такомъ случаѣ я согласенъ, и явлюсь сюда завтра съ чекомъ Ротшильда.

Когда я на другой день пріѣхалъ къ Ротшильду, его секретарь всплеснулъ руками:

— Они васъ надуютъ! какъ это возможно, мы остановимъ, если хотите, продажу. Это неслыханное дѣло, покупать у незнакомаго на такихъ условіяхъ.

— Хотите, я пошлю съ вами кого-нибудь рассмотретьъ это дѣло? спросилъ самъ баронъ Джемсъ.

Такую роль недоросля мнѣ не хотѣлось играть, я сказалъ, что дать слово, и взялъ чекъ на всю сумму. Когда я пріѣхалъ къ нотариусу, тамъ, сверхъ свидѣтелей, былъ еще кредиторъ, пріѣхавшій получить свои 70.000 фр. Купчую перечитали, мы подписались, нотариусъ поздравилъ меня парижскимъ домохозяиномъ,—оставалось вручить чекъ.

— Какая досада, сказалъ хозяинъ, взявши его изъ моихъ рукъ, я забылъ васъ попросить привезти два чека, какъ я теперь отдѣлю 70.000?

— Нѣтъ ничего легче, съѣздите къ Ротшильду, вамъ дадутъ два, или, еще проще, съѣздите въ банкъ.

— Пожалуй, я съѣзжу, сказалъ кредиторъ; хозяинъ поморщился и отвѣтилъ, что это его дѣло, что онъ побѣдетъ.

Кредиторъ нахмурился. Нотариусъ добродушно предложилъ имъ ѣхать вмѣстѣ.

Едва удерживаясь отъ смѣха, я имъ сказалъ:

— Вотъ ваша записка, отдайте мнѣ чекъ, я съѣзжу и раздѣляю его.

— Вы насъ безконечно обяжете, сказали они, вздохнувъ отъ радости; и я поѣхалъ.

Черезъ четыре мѣсяца *purge hypothécaire* была мнѣ прислана, и я выигралъ тысячь десять франковъ за мое опрометчивое довѣріе.

Послѣ 13 іюня 1849 года, префектъ полиціи, Ребилю, что-то донесъ на меня; вѣроятно, вслѣдствіе его доноса и были взяты петербургскимъ правительствомъ странныя мѣры противъ моего лѣтнія. Онѣ-то, какъ я сказалъ, заставили меня ѣхать съ моею матерью въ Парижъ.

Мы отправились черезъ Невшатель и Безансонъ. Путешествіе наше началось съ того, что въ Бернѣ я забылъ на почтовомъ дворѣ свою шинель; такъ какъ на мнѣ было теплое пальто и теплыя калоши, то я и не воротился за ней. До горъ все шло хорошо, но въ горахъ насъ встрѣтилъ снѣгъ по колѣно, градусовъ восемь мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижансъ не могъ идти, пассажировъ разсажали по два, по три въ небольшія пошевни. Я не помню, чтобъ я когда-нибудь страдалъ столько отъ холода, какъ въ эту ночь. Ногамъ было просто больно, я зарылъ ихъ въ солому, потомъ почталіонъ далъ мнѣ какой-то воротникъ, но и это мало помогло. На третьей станціи я купилъ у крестьянки ея шаль франковъ за 15 и завернулся въ нее; но это было уже на съѣздѣ и съ каждой милей становилось теплѣе.

Дорога эта великолѣпно-хороша, съ французской стороны; обширный амфитеатръ громадныхъ и совершенно непохожихъ

другъ на друга очертаніями горъ провожаетъ до самаго Безансона; кое-гдѣ на скалахъ видѣются остатки укрѣпленныхъ рыцарскихъ замковъ. Въ этой природѣ есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, росъ и складывался крестьянскій мальчикъ, потомокъ стараго сельскаго рода—Пьеръ Жозефъ Прудонъ. И дѣйствительно, о немъ можно сказать, только въ другомъ смыслѣ, сказанное поэтомъ о флорентинцахъ:

E tiene ancor del monte et del macigno!

Ротшильдъ согласился принять билетъ моей матери, но не хотѣлъ платить впередъ, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунскій совѣтъ дѣйствительно отказалъ въ уплатѣ.

Дня черезъ три послѣ этого я встрѣтилъ Ротшильда на бульварѣ.

— Кстати, сказалъ онъ мнѣ, останавливая меня, я вчера говорилъ о вашемъ дѣлѣ съ Киселевымъ ¹⁾. Я вамъ долженъ сказать, вы меня извините, онъ очень невыгоднаго мнѣнія о васъ и врядъ ли сдѣлаетъ что-нибудь въ вашу пользу.

— Вы съ нимъ часто видитесь?

— Иногда, на вечерахъ.

— Сдѣлайте одолженіе, скажите ему, что вы сегодня видѣлись со мной, и что я самаго дурнаго мнѣнія о немъ, но что съ тѣмъ вмѣстѣ никакъ не думаю, чтобъ за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильдъ расхохотался; онъ, кажется, съ этихъ поръ сталъ догадываться, что я не *prince gusse*, и уже называлъ меня *барономъ*; но это, я думаю, онъ для того поднималъ меня, чтобъ сдѣлать достойнымъ разговаривать съ нимъ.

На другой день онъ прислалъ за мной; я тотчасъ отправился. Онъ подаль мнѣ неподписанное письмо къ Гассеру и прибавилъ:

— Вотъ нашъ проектъ письма, садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы имъ; если хотите что прибавить или измѣнить, мы сейчасъ сдѣлаемъ. А мнѣ позвольте продолжать мои занятія.

Сначала я осмотрѣлся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входилъ одинъ биржевой агентъ за другимъ, громко говоря цифру; Ротшильдъ, продолжая читать, бормоталъ, не подымая глазъ: «да,—нѣтъ,—хорошо,—пожалуй,—довольно», и цифра уходила. Въ комнатѣ были разные господа, рядовые капиталисты, члены народнаго собранія, два-три истощенныхъ туриста съ доллыми усами на старыхъ щекахъ, эти вѣчныя лица, пьющія на

¹⁾ Это не П. Д. Киселевъ,—бывшій впоследствии въ Парижѣ, очень порядочный человекъ и извѣстный министръ государственныхъ имуществъ, а другой, переведенный въ Римъ.

водахъ—вино, представляющіяся ко дворамъ, слабые и лимфатическіе отпрыски, которыми изсякаютъ аристократическіе роды и которые туда-же суются отъ карточной игры къ биржевой. Всѣ они говорили между собой въ полголоса. Царь іудейскій сидѣлъ спокойно за своимъ столомъ, смотрѣлъ бумаги, писалъ что-то на нихъ, вѣрно все милліоны, или, по крайней мѣрѣ, сотни тысячъ.

— Ну, что, сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, довольны?

— Совершенно, отвѣчалъ я.

Письмо было превосходно, рѣзко, настойчиво, какъ слѣдуетъ,— когда власть говорить съ властью. Онъ писалъ Гассеру, чтобъ тотъ немедленно требовалъ аудіенціи у Нессельроде и у министра финансовъ, чтобъ онъ имъ сказалъ, что Ротшильдъ знать не хочетъ, кому принадлежали билеты, что онъ ихъ купилъ и требуетъ уплаты, или яснаго, законнаго изложенія, почему уплата оставлена, что, въ случаѣ отказа, онъ подвергнетъ дѣло обсужденію юрисконсультовъ и совѣтуетъ очень подумать о послѣдствіяхъ отказа, особенно страннаго въ то время, когда русское правительство хлопочетъ заключить черезъ него новый заемъ. Ротшильдъ заключалъ тѣмъ, что, въ случаѣ дальнѣйшихъ проволочекъ, онъ долженъ будетъ дать гласность этому дѣлу черезъ журналы, для предупрежденія другихъ капиталистовъ. Письмо это онъ рекомендовалъ Гассеру показать Нессельроду.

Въ продолженіе моего процесса я жилъ въ отель Мирабо, rue de la Paix. Хлопоты по этому дѣлу заняли около полугода. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, однимъ утромъ говорятъ мнѣ, что какой-то господинъ дожидается меня въ залѣ и хочетъ непременно видѣть. Я вышелъ, въ залѣ стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

— Комиссаръ полиціи тюльерійскаго квартала, такой-то.

— Очень радъ.

— Позвольте мнѣ прочесть вамъ декретъ министра внутреннихъ дѣлъ, сообщенный мнѣ префектомъ полиціи и касающійся васъ.

— Сдѣлайте одолженіе, вотъ стулъ.

— «Мы, префектъ полиціи ¹⁾»:

«Взявъ въ соображеніе 7 пунктъ закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 года, дающій министру внутреннихъ дѣлъ право высылать (expulser) изъ Франціи всякаго иностранца, присутствіе котораго во Франціи можетъ возмутить порядокъ и быть опаснымъ общественному спокойствію, и основываясь на министерскомъ циркулярѣ 3 января 1850 года,

«рѣшаемъ, что слѣдуетъ:

¹⁾ Перевожу слово въ слово.

«Называемый (le N-é., т. е. помнѣ, но это не значитъ «вышеупомянутый»), потому что прежде обо мнѣ не говорится, это только безграмотная попытка, какъ можно грубѣе обозначить человѣка) Герценъ, Александръ, 40 лѣтъ (два года прибавили), русскій подданный, живущій тамъ-то, обязанъ оставить немедленно Парижъ. по объявленіи сего, и въ наискорѣйшемъ времени выѣхать изъ предѣловъ Франціи.

«Воспрещается ему впредь возвращаться, подъ опасеніемъ наказаній, положенныхъ 8 пунктомъ того-же закона (тюремное заключеніе отъ одного мѣсяца до шести и денежный штрафъ).

«Всѣ мѣры будутъ приняты для удостовѣренія въ исполненіи сихъ распоряженій.

«Сдѣлано (Fait) въ Парижѣ, 16 апрѣля 1850.

«Префектъ полиціи.

А. КАРЛЬЕ.

«Скрѣпилъ общій секретарь префектуры.

КЛЕМЕНЬ РЕЙРЪ.

На боку: «Читаль и одобрилъ 19 апрѣля 1850 г.

Министръ внутреннихъ дѣлъ.

Ж. БАРОШЪ.

«Лѣта тысяча восемьсотъ пятидесятаго, апрѣля двадцать четвертаго.

«Мы, Емилій Буллей, комиссаръ полиціи города Парижа и въ *особенности* тюльерійскаго отдѣленія, во исполненіе приказаній господина префекта полиціи отъ 23 апрѣля:

«Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, какъ сказано въ оригиналѣ». Тутъ слѣдуетъ весь текстъ опять. Въ томъ родѣ, какъ дѣти говорятъ сказку о бѣломъ быкѣ, повторяя всякій разъ съ прибавкой одной фразы: «Сказать ли вамъ сказку о бѣломъ быкѣ?»

Далѣе: «Мы пригласили поименованнаго (le dit) Герцена явиться въ продолженіе двадцати четырехъ часовъ въ префектуру для полученія паспорта и для назначенія границы, черезъ которую онъ выѣдетъ изъ Франціи.

«А чтобъ сказанный сударь Герценъ не отозвался невѣдѣніемъ (n'en prétende cause d'ignorance—каковъ языкъ), мы ему оставили *эту* копию сказаннаго рѣшенія въ началѣ сего настоящаго нашего протокола объявленія.—Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procès-verbal de notification.

Гдѣ мои вятскіе товарищи по канцеляріи Тюфяева, гдѣ Ардашовъ, писавшій за присѣсть по десяти листовъ, Вепревъ, Штинъ и мой пьяненькій столоначальникъ? Какъ сердце ихъ должно возрадоваться,

что въ Парижѣ, послѣ Вольтера, послѣ Бомарше, послѣ Ж. Зандъ и Гюго, пишутъ такъ бумаги? Да и не одинъ Вепревъ и Штинъ должны радоваться, а и земскій моего отца, Василій Епифановъ, который, изъ глубокихъ соображеній учтивости, писалъ своему помѣщику: «Повелѣнїе ваше по сей настоящей прошедшей почтѣ получилъ и по оной же имѣю честь доложить»...

Можно ли оставить камень на камнѣ этого глупаго, пошлаго зданія des us et coutumes, годнаго только для слѣпой и выжившей изъ ума старухи, какъ Оемида.

Чтеніе не произвело ожидаемаго дѣйствія; парижанинъ думать, что высылка изъ Парижа равняется изгнанію Адама изъ рая, да и то еще безъ Евы,—мнѣ, напротивъ, было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоедать.

— Когда долженъ я явиться въ префектуру?—спросилъ я, придавая себѣ любезный видъ, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

— Я совѣтую завтра, часовъ въ десять утра.

— Съ удовольствіемъ.

— Какъ нынѣшній годъ весна рано начинается, замѣтилъ комиссаръ города Парижа и въ особенности тюльерійскій.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здѣсь обѣдывалъ Мирабо, оттого онъ такъ и называется; вы, вѣрно, были имъ очень довольны?

— Очень. Вообразите же, каково съ нимъ разстаться такъ круто!

— Это дѣйствительно неприятно... Хозяйка умная и прекрасная женщина—М-ле Кузенъ—была большой пріятельницей знаменитой Le Normand.

— Представьте себѣ! Какъ досадно, что я этого не зналъ, можетъ, она унаслѣдовала у нея искусство гадать и могла бы мнѣ предсказать billet doux Карлье.

— Ха, ха... мое дѣло вы знаете, позвольте пожелать.

— Помилуйте, всякое бываетъ, честь имѣю вамъ кланяться.

На другой день я явился въ знаменитую, больше чѣмъ сама Ленорманъ, улицу Jerusalem. Сначала меня принялъ какой-то шпионствующій юноша, съ бородкой, усиками и со всѣми пріемами недоношеннаго фельетониста и неудавшагося демократа; лицо его, взглядъ носили печать того утонченнаго растлѣнія души, того завистливаго голода наслажденій, власти, приобретеній, которыя я очень хорошо научился читать на западныхъ лицахъ, и котораго вовсе нѣтъ у англичанъ. Должно быть, онъ еще недавно поступилъ на свое мѣсто, онъ еще наслаждался имъ, и потому говорилъ нѣсколько свысока. Онъ объявилъ мнѣ, что я долженъ ѣхать черезъ три дня, и что безъ особенно важныхъ

причинъ отсрочить нельзя. Его дерзкое лице, его произношеніе и мимика были таковы, что, не вступая съ нимъ въ дальнѣйшія разсужденія, я поклонился ему и потомъ спросилъ, надѣвъ сперва шляпу, когда можно видѣть префекта.

— Префектъ принимаетъ только тѣхъ, кто у него письменно проситъ аудіенціи.

— Позвольте мнѣ написать сейчасъ.

Онъ позвонилъ, вошелъ старикъ huissier, съ цѣпью на груди; сказавъ ему съ важнымъ видомъ: «бумаги и перо этому господину», юноша кивнулъ мнѣ головой.

Huissier повелъ меня въ другую комнату. Тамъ я написалъ Карлье, что желаю его видѣть, чтобъ объяснить ему, почему мнѣ надобно отсрочить мой отъѣздъ.

Въ тотъ же день вечеромъ я получилъ изъ префектуры лаконической отвѣтъ: «Г. префектъ готовъ принять такого-то завтра, въ два часа».

Тотъ же самый противный юноша встрѣтилъ меня и на другой день: у него была особая комната, изъ чего я и заключилъ, что онъ нѣчто въ родѣ начальника отдѣленія. Начавши такъ рано и съ такимъ успѣхомъ карьеру, онъ далеко уйдетъ, если Богъ продлитъ его животъ.

На сей разъ онъ привелъ меня въ большой кабинетъ; тамъ, за огромнымъ столомъ, на большихъ покойныхъ креслахъ, сидѣлъ толстый, высокій, румяный господинъ, изъ тѣхъ, которымъ всегда бываетъ жарко, съ бѣлыми, откормленными, но рыхлыми мясами, съ толстыми, но тщательно выхоленными руками, съ шейнымъ платкомъ, сведеннымъ на минимумъ, съ безцвѣтными глазами, съ жовіальнымъ выраженіемъ, которое обыкновенно принадлежитъ людямъ, совершенно потонувшимъ въ любви къ своему благосостоянію, и которые могутъ подняться холодно и безъ большихъ усилій до чрезвычайныхъ злодѣйствъ.

— Вы желали видѣть префекта, сказалъ онъ мнѣ, но онъ извиняется передъ вами, очень нужное дѣло заставило его выѣхать,—если я могу сдѣлать вамъ чѣмъ-нибудь что-нибудь пріятное, я ничего лучшаго не прошу. Вотъ кресло, не угодно ли?

Все это высказалъ онъ плавно, очень учтиво, нѣсколько шуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. Ну, этотъ давно служить, подумалъ я.

— Вы, вѣрно, знаете, зачѣмъ я пришелъ?—Онъ сдѣлалъ головою то тихое движеніе, которое дѣлаетъ всякій, начиная плавать, и не отвѣчалъ ничего.

— Мнѣ объявленъ приказъ ѣхать черезъ три дня. Такъ какъ я знаю, что министръ у васъ имѣетъ право высылать, не говоря причины и не дѣлая слѣдствія, то я и не стану ни спра-

шивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверхъ собственного дома,...

— Гдѣ вашъ домъ?

— 14, Rue Amsterdam.... очень серьезныя дѣла въ Парижѣ, мнѣ трудно ихъ оставить сразу.

— Позвольте узнать, какія у васъ дѣла, по дому, или...?

— Дѣла мои у Ротшильда, мнѣ приходится получить тысячь четырехста франковъ.

— Какъ-съ?

— Съ небольшимъ сто тысячь roubles argent.

— Это значительная сумма!

— C'est une somme ronde.

— Сколько времени вамъ нужно для окончанія вашего дѣла? спросилъ онъ, глядя на меня еще кротче, такъ, какъ глядятъ на выставленные въ окнахъ фазаны съ трюфелями.

— Отъ мѣсяца до шести недѣль.

— Это ужасно много.

— Процессъ мой въ Россіи. Чуть-ли не по его милости я и оставляю Францію.

— Какъ такъ?

— Съ недѣлю тому назадъ Ротшильдъ мнѣ говорилъ, что Киселевъ дурно обо мнѣ отзывался. Вѣроятно, петербургскому правительству хочется замаять дѣло, чтобъ о немъ не говорили; чай, посоль попросилъ по дружбѣ выслать меня вонъ.

— D'abord—замѣтилъ, принимая важный и проникнутый сильнымъ убѣжденіемъ видъ, обиженный патриотъ префектуры,— Франція не позволитъ ни одному правительству мѣшаться въ ея внутреннія дѣла. Я удивляюсь, какъ вамъ могла придти такая мысль въ голову. Потомъ, что можетъ быть естественнѣе, какъ право, которое взяло себѣ правительство, старающееся всѣми силами возвратитъ порядокъ страждущему народу, удалять изъ страны, въ которой столько горючихъ веществъ, иностранцевъ, употребляющихъ во зло то гостепріимство, которое она имъ даетъ.

Я рѣшился его добивать деньгами. Это было такъ-же вѣрно, какъ въ спорѣ съ католикомъ употреблять тексты изъ Евангелія, а потому, улыбнувшись, я возразилъ ему:

— За гостепріимство Парижа я заплатилъ сто тысячь франковъ, и потому считалъ себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чѣмъ моя *somme ronde*. Онъ сконфузился и, сказавъ послѣ небольшой паузы:

— Что намъ дѣлать, мы въ необходимости,—взялъ со стола мой досье. Это былъ второй томъ романа, первую часть котораго я видѣлъ когда-то въ рукахъ Дуббелъта. Поглаживая листы, какъ добрыхъ коней, своей пухлой рукой:

— Видите-ли, приговаривалъ онъ, ваши связи, участіе въ неблагонамѣренныхъ журналахъ (почти слово въ слово то же, что мнѣ говорилъ Сахтынский въ 1840), наконецъ, значительныя subventions, которыя вы давали самымъ вреднымъ предпріятіямъ, заставили насъ прибѣгнуть къ мѣрѣ очень неприятной, но необходимой. Мѣра эта удивляетъ васъ не можетъ. Вы даже въ своемъ отечествѣ навлекли на себя политическія гоненія. Одинакія причины ведутъ къ одинакимъ послѣдствіямъ. Un bon citoyen уважаетъ законы страны, какіе-бы они ни были...

— Вѣроятно это по тому знаменитому правилу, что все-же лучше, чтобъ была дурная погода, чѣмъ чтобъ совсѣмъ погоды не было.

— Но, чтобъ вамъ доказать, что русское правительство совершенно внѣ игры, я вамъ обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на одинъ мѣсяць. Вы, вѣрно, не найдете страннымъ, если мы справимся у Ротшильда о вашемъ дѣлѣ; тутъ не столько сомнѣніе...

— Да сдѣлайте одолженіе, отчего же не справитесь, мы въ войнѣ, и если-бъ мнѣ было полезно употребить военную хитрость, чтобъ остаться, неужели вы думаете, что я не употребилъ бы ее?...

Но свѣтскій и милый alter ego префекта не остался въ долгу:

— Люди, которые такъ говорятъ, никогда не говорятъ неправды.

Черезъ мѣсяць дѣло еще не было окончено; къ намъ ѣздилъ старикъ докторъ Пальме, который всякую недѣлю имѣлъ удовольствіе дѣлать въ префектурѣ инспекторскій смотръ интересному классу парижанокъ. Давая такое количество свидѣтельствъ прекрасному полу въ здоровьѣ, я думалъ, что онъ не откажется написать мнѣ свидѣтельство въ болѣзни. Пальме, разумѣется, былъ знакомъ со всѣми въ префектурѣ; онъ обѣщалъ мнѣ лично передать X. исторію моего недуга. Къ крайнему удивленію, Пальме пріѣхалъ безъ удовлетворительнаго отвѣта. Черта эта потому драгоцѣнна, что въ ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократіей. X. не давалъ отвѣта и вилялъ, обидѣвшись, что я не явился лично извѣстить его о томъ, что я боленъ, въ постелѣ и не могу встать. Дѣлать было нечего, я отправился на другой день въ префектуру пышащій здоровьемъ.

X. съ большимъ участіемъ спросилъ меня о моей болѣзни. Такъ какъ я не полюбопытствовалъ прочесть, что написалъ докторъ, то мнѣ и пришлось выдумать болѣзнь. По счастью, я вспомнилъ Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимомъ апетитѣ, жаловался на аневризмъ,—я сказалъ X., что у меня болѣзнь въ сердцѣ и что дорога можетъ мнѣ быть очень вредна.

X. пожалѣлъ, совѣтовалъ беречься, потомъ отправился въ сосѣдную комнату и черезъ минуту вышелъ, говоря:

— Вы можете остаться еще мѣсяць. Префектъ поручилъ мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сказать вамъ, что онъ надѣется и желаетъ, чтобъ ваше здоровье поправилось въ продолженіе этого времени; ему было бы очень непріятно, если-бъ это было не такъ, потому что въ третій разъ онъ отсрочить не можетъ.

Я понялъ это и приготовился выѣхать изъ Парижа около 20 юня.

Имя Х. встрѣтилось мнѣ еще разъ черезъ годъ. Патриотъ этотъ и bon citoyen безшумно удалился изъ Франціи, забывши отдать отчетъ тысячамъ небогатыхъ и бѣдныхъ людей, вкладчиковъ въ какую-то калифорнскую лотерею, дѣйствовавшую подъ покровительствомъ префектуры! Когда добрый гражданинъ увидѣлъ, что, при всемъ уваженіи къ законамъ своей родины, онъ можетъ попасть на галеры за faux, тогда онъ предпочелъ имъ шароходъ и уѣхалъ въ Геную. Это была натура цѣльная, нетерпящаяся отъ неудачъ. Онъ воспользовался извѣстностью, приобретенною исторіей калифорнской лотереи, и тотчасъ предложилъ свои услуги обществу акціонеровъ, составлявшемуся около того времени въ Туринѣ, для постройки желѣзныхъ дорогъ; видя столь надежнаго человѣка, общество поспѣшило принять его услуги.

Послѣдніе два мѣсяца, проведенные въ Парижѣ, были невыносимы. Я былъ буквально *gardé à vue*, письма приходили нагло подпечатанныя и днемъ позже. Куда бы я ни шелъ, издали слѣдовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазомъ другому.

Ненадобно забывать, что это было время пущаго полицейскаго бѣшенства. Тупые консерваторы и революціонеры алжирски-ла-мартиновскаго толка помогали плутамъ и пройдохамъ, окружавшимъ Наполеона, и ему самому въ приготовленіи сѣтей шпіонства и надзора, чтобъ, растянувши ихъ на всю Францію, въ данную минуту поймать и задушить по телеграфу, изъ министерства внутреннихъ дѣлъ и Ellysée, всѣ дѣятельныя силы страны. Наполеонъ ловко воспользовался противъ нихъ самихъ врученными ему орудіемъ. Второе декабря—возведеніе полиціи на степень государственной власти.

Никогда нигдѣ не было такой политической полиціи, какъ во Франціи со временъ конвента. На это, сверхъ особеннаго *національнаго* влеченія къ полиціи, есть много причинъ. Кромѣ Англіи, гдѣ полиція не имѣетъ ничего общаго съ континентальнымъ шпіонствомъ, полиція вездѣ окружена вредными элементами и, слѣдственно, оставлена на свои силы. Во Франціи, напротивъ, полиція самое народное учрежденіе; какое бы правительство ни захватило власть въ руки, *полиція у него готова*, часть народонаселенія будетъ ему помогать съ фанатизмомъ и

увлеченіемъ, которые надобно умѣрять, а не усиливать, и помогать притомъ всѣми страшными средствами частныхъ людей, которыя для полиціи невозможны. Куда скрыться отъ лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестринаго мужа, братниной жены, особенно въ Парижѣ, гдѣ живутъ не особнякомъ, какъ въ Лондонѣ, а въ какихъ-то полишникахъ или уляхъ, съ общей лѣстницей, съ общимъ дворомъ и дворникомъ?

Кондорсе ускользаетъ отъ якобинской полиціи и счастливо пробирается до какой-то деревни близъ границы; усталый и измученный, онъ входитъ въ харчевню, садится передъ огнемъ, грѣетъ себѣ руки и проситъ кусокъ курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, разсуждаетъ такъ: «Онъ въ пыли, стало, пришелъ *издалека*; онъ спросилъ курицы, стало, у него есть *деньги*; руки у него бѣлыя, стало, онъ *аристократъ*». Поставивъ курицу въ печь, она идетъ въ другой кабакъ, тамъ засѣдаютъ патриоты: какой-нибудь гражданинъ—Муцій Сцевола, ликвористъ и гражданинъ—Брутъ, Тимолеонъ—портной. Тѣмъ того и надобно, и черезъ десять минутъ одинъ изъ умнѣйшихъ дѣятелей французской революціи въ тюрьмѣ и выданъ полиціи—свободы, равенства и братства!

Наполеонъ, имѣвшій въ высшей степени полицейскій талантъ, сдѣлалъ изъ своихъ генераловъ лазутчиковъ и доносчиковъ; палачъ Ліона Фуше основалъ цѣлую теорію, систему, науку шпіонства—черезъ префектовъ, помимо префектовъ, черезъ развратныхъ женщинъ и безпорочныхъ лавочницъ, черезъ слугъ и кучеровъ, черезъ врачей и парикмахеровъ. Наполеонъ палъ, но оружіе осталось, и не только оружіе, но и оруженосецъ; Фуше перешелъ къ Бурбонамъ, сила шпіонства ничего не потеряла, напротивъ, увеличилась монахами, попами. При Людовикѣ Филиппѣ, при которомъ подкупъ и нажива сдѣлались одной изъ нравственныхъ силъ правительства,—половина мѣщанства сдѣлалась его лазутчиками, полицейскимъ хоромъ, къ чему особенно способствовала ихъ служба, сама по себѣ полицейская, въ національной гвардіи.

Во время февральской республики образовались три или четыре дѣйствительно тайныя полиціи и нѣсколько явно-тайныхъ. Была полиція Ледрю-Роллена и полиція Косидьера, была полиція Мараста и полиція временнаго правительства, была полиція порядка и полиція безпорядка, полиція Бонапарта и орлеанская полиція. Всѣ подсматривал и, слѣдили другъ за другомъ и доносили; положимъ, что доносы дѣлались съ убѣжденіемъ, съ наилучшими цѣлями, безденежно, но все-же это были доносы... Эта пагубная привычка, встрѣтившись, съ одной стороны, съ печальными неудачами, а съ другой, съ болѣзненной, необузданной жадной денегъ и наслажденій, растлила цѣлое поколѣніе.

Ненадобно забывать и то нравственное равнодушіе, ту шаткость мнѣній, которыя остались осадкомъ отъ перемежающихся революцій и реставрацій. Люди привыкли считать сегодня то за героизмъ и добродѣтель, за что завтра посылаютъ въ каторжную работу; лавровый вѣнокъ и клеймо палача мѣнялись нѣсколько разъ на одной и той же головѣ. Когда къ этому привыкли, нація шпионовъ была готова.

Всѣ послѣднія открытія тайныхъ обществъ, заговоровъ, всѣ доносы на выходцевъ сдѣланы фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, *сближавшимися* съ цѣлью предательства.

Вездѣ бывали примѣры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губятъ друзей, открываютъ тайны,—такъ, слабодушный товарищъ погубилъ Конарскаго. Но ни у насъ, ни въ Австріи нѣтъ этого легіона молодыхъ людей, образованныхъ, говорящихъ *нашимъ* языкомъ, произносящихъ вдохновенныя рѣчи въ клубахъ, пишущихъ революціонныя статейки и служащихъ шпионами.

Къ тому-же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтобъ пользоваться доносчиками всѣхъ партій. Оно представляетъ революцію и реакцію, войну и миръ, 89 годъ и католицизмъ, паденіе Бурбоновъ и 4½ 0/0. Ему служитъ и Фалу-иезуитъ, и Бильсоциалистъ, и Ла-Рошъ Жакеленъ легитимистъ, и бездна людей, облагодѣтельствованныхъ Людовикомъ Филиппомъ. Раствѣнное всѣхъ партій и отбѣнковъ и естественно стекаетъ и бродитъ въ тюльерійскомъ дворцѣ.

ГЛАВА XL.

Европейскій комитетъ. — Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ. — Письмо къ А. О. Орлову. — Преслѣдованіе ребенка. — Фогты. — Перечисленіе изъ дворянскихъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне. — Приѣмъ въ Шателѣ.

(1850—1851).

Съ годъ послѣ нашего пріѣзда въ Ниццу изъ Парижа, я писалъ: „Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ у дверей моихъ пентаграммъ, я не нашелъ ни желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ,—отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ, развѣ только квадратъ селюлярной тюрьмы.

„Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852,—новаго ничего, развѣ какое личное несчастіе доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни разсыплется“.

Письма изъ Франціи и Итали (1 іюня, 1851).

Дѣйствительно, перебирая то время, становится больно, какъ бываетъ при воспоминаніи похоронъ, мучительныхъ болѣзней,

операцій. Не касаюся еще здѣсь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темныя тучи, довольно было общих происшествій и газетныхъ новостей, чтобъ бѣжать куда-нибудь въ степь. Франція неслась съ быстротой падающей звѣзды къ 2 декабря. Германія лежала у ногъ Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрія. Полицейскіе кондотьеры сѣзжались на свои вселенскіе соборы и тайно совѣщались объ общихъ мѣрахъ международнаго шпіонства. Революціонеры продолжали пустую агитацію. Люди, стоявшіе во главѣ движенія, обманутые въ своихъ надеждахъ, теряли голову. Кошутъ возвращался изъ Америки, утративъ долю своей народности, Маццини заводилъ въ Лондонѣ съ Ледрю-Ролленомъ и Руге *центральный европейскій комитетъ*... А реакція свирѣпѣла больше и больше.

Послѣ нашей встрѣчи въ Женевѣ, потомъ въ Лозаннѣ, я видѣлся съ Маццини въ 1850 году. Онъ былъ во Франціи тайно, остановился въ какомъ-то аристократическомъ домѣ и присылалъ за мной одного изъ своихъ приближенныхъ. Тутъ онъ говорилъ мнѣ о проектѣ международной юнты въ Лондонѣ и спрашивалъ, желалъ ли бы я участвовать въ ней, *какъ русскій*; я отклонилъ разговоръ. Годъ спустя, въ Ниццѣ, явился ко мнѣ Орсини, отдалъ программу, разныя прокламаціи европейскаго центрального комитета и письмо отъ Маццини съ новымъ предложеніемъ. Участвовать въ комитетѣ я и не думалъ; какой же элементъ русской жизни я могъ представить тогда, совершенно отрѣзанный отъ всего русскаго? Но эта не была единственная причина, по которой европейскій комитетъ мнѣ былъ не по душѣ. Мнѣ казалось, что въ основѣ его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движенія*, которую комитетъ представлялъ, т. е. возстановленіе угнетенныхъ національностей, не была такъ сильна въ 1851 году, чтобъ имѣть *явно* свою юнту. Существованіе такого комитета доказывало только терпимость англійскаго законодательства и отчасти то, что министерство не вѣрило въ его силу, иначе оно прихлопнуло бы его, или *alien биллемъ*, или предложеніемъ приостановить *habeas corpus*.

Европейскій комитетъ, напугавшій всѣ правительства, ничего не дѣлалъ, не догадываясь объ этомъ. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмомъ и увѣряютъ себя, что они дѣлаютъ *что-нибудь*, имѣя періодическія собранія, кипы бумагъ, протоколы, совѣщанія, подавая голоса, принимая рѣшенія, печатая прокламаціи, *professions de foi* и проч. Революціонная бюрократія точно такъ-же распускаетъ дѣла въ слова и формы, какъ наша канцелярская. Въ Англійи пропасть разныхъ ассоціацій, имѣющихъ торжественныя собранія, на которыя являются

герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначей собирають деньги, литераторы пишутъ статьи, и всё вмѣстѣ рѣшительно ничего не дѣлають. Собранія эти, большей частью филантропическія и религіозныя, съ одной стороны, служатъ развлеченіемъ, а, съ другой, примиряють христіанскую совѣсть людей, преданныхъ свѣтскимъ интересамъ. Но такого кроткаго и мирнаго характера не могъ представлять въ Лондонѣ революціонный сенатъ en permanence. Это былъ гласный заговоръ, заговоръ съ открытыми дверями, то есть, невозможный.

Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло въ отсутствіи единства. Это собраніе въ одинъ фокусъ разнородныхъ стремленій могло только въ дѣйствительномъ единствѣ развить составную силу. Если-бъ каждый, входя въ комитетъ, вносить только свою исключительную національность, это не мѣшало бы еще; у нихъ было бы единство ненависти къ одному главному врагу, къ священному союзу. Но воззрѣнія ихъ, согласныя въ отрицательныхъ принципахъ, въ остальномъ были различны; для ихъ единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляютъ одностороннюю силу каждаго, подвизывая именно тѣ струны для общаго аккорда, которыя звучать всего рѣзче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонію.

Прочитавъ бумаги, которыя привезъ Орсини, я написалъ къ Маццини слѣдующее письмо:

Ницца. 13 сентября, 1850.

«Любезный Маццини! Я васъ уважаю искренно, и потому не боюсь откровенно высказать вамъ мое мнѣніе. Во всякомъ случаѣ, вы меня выслушаете терпѣливо и снисходительно.

«Вы чуть ли не одинъ изъ главныхъ *политическихъ* дѣятелей послѣдняго времени, имя котораго осталось окружено сочувствіемъ и уваженіемъ. Можно не соглашаться съ вами въ мнѣніяхъ, въ образѣ дѣйствія, но не уважать васъ нельзя. Ваше прошлое, Римъ 1848 и 1849 годовъ, обязываютъ васъ гордо нести великое вдовство до тѣхъ поръ, пока событія снова позовутъ предупредившаго ихъ бойца. Потому-то мнѣ и больно видѣть имя ваше вмѣстѣ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ все дѣло, съ именами, которыя намъ только напоминають бѣдствія, обрушенныя ими на насъ.

«Какая тутъ можетъ быть организація?—это одно смѣшеніе.

«Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны, все, что для нихъ можно сдѣлать,—это отпустить имъ ихъ прегрѣшенія. Вы ихъ хотите покрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними

ваше вліяніе, ваше прошедшее; они раздѣляютъ съ вами свою непопулярность, свое прошедшее.

«Что *нового* въ прокламаціяхъ, что въ Proscrit? Гдѣ слѣды грозныхъ уроковъ послѣ 24 февраля? Это продолженіе прежняго либерализма, а не начало новой свободы,—это эпилогъ, а не прологъ. Почему нѣтъ въ Лондонѣ той организаціи, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основаніи неопредѣленныхъ стремленій, а только на глубокой и общей мысли;—но гдѣ же она?»

«Первая публикація, дѣлаемая при такихъ условіяхъ, какъ присланная вами прокламація, должна была быть исполнена искренности, ну, а кто же можетъ прочесть безъ улыбки имя Арнольда Руге подъ прокламаціей, говорящей во имя божественнаго Провидѣнія. Руге проповѣдывалъ съ 1838 года философскій атеизмъ, для него (если голова его устроена логически) идея Провидѣнія должна представлять въ зародышѣ всѣ реакціи. Это уступка, дипломатія, политика, оружія нашихъ враговъ. Къ тому же все это ненужно. Богословская часть прокламаціи—чистая роскошь, она ничего не прибавляетъ ни къ разумѣнію, ни къ популярности. Народъ имѣетъ положительную религію и церковь. Деизмъ—религія рационалистовъ, представительная система, приложенная къ вѣрѣ, религія, окруженная атеистическими учрежденіями.

«Я, съ своей стороны, проповѣдую полный разрывъ съ неполными революціонерами, отъ нихъ на двѣсти шаговъ вѣдетъ реакціей. Нагрузивъ себѣ на плечи тысячи ошибокъ, они ихъ до сихъ поръ оправдываютъ; лучшее доказательство, что они ихъ повторятъ.

«Въ *Nouveau Monde* тотъ же *vacuum horrendum*, печальное пережевываніе пицци, вмѣстѣ зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

«Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дѣла. Нѣтъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергія въ характерѣ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лѣтъ я служилъ одной идеѣ и былъ подъ однимъ знаменемъ—войны противъ всякой втѣсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнѣ хотѣлось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну—настоящимъ казакомъ....., *auf eigene Faust*, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной арміи, не вступая въ правильные кадры ея, пока они совсѣмъ не преобразуются.

«Въ ожиданіи этого—я пишу. Можетъ, это ожиданіе продолжится долго, не отъ меня зависитъ измѣненіе капризнаго люд-

ского развитія; но говорить, обращать, убѣждать зависитъ отъ меня,—и я это дѣлаю отъ всей души, и отъ всего помышленія.

«Простите мнѣ, любезный Маццини, и откровенность, и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человѣкомъ, преданнымъ вашему дѣлу,—но тоже преданнымъ и своимъ убѣжденіямъ».

На это письмо Маццини отвѣчалъ нѣсколькими дружескими строками, въ которыхъ, не касаясь сущности, говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ силъ въ одно единое дѣйствіе, грустилъ о разномысліи ихъ и пр.

Въ ту же осень, въ которую меня вспомнилъ Маццини и европейскій комитетъ, вспомнилъ меня, наконецъ, и противоевропейскій комитетъ.

Однимъ утромъ горничная наша, съ нѣсколькими озабоченнымъ видомъ, сказала мнѣ, что русскій консулъ внизу и спрашиваетъ, могу ли я его принять. Я до того уже считалъ поконченными мои отношенія съ русскимъ правительствомъ, что самъ удивился такой чести и не могъ догадаться, что ему отъ меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура второго порядка.

— Я имѣю вамъ сдѣлать сообщеніе.

— Несмотря на то, отвѣчалъ я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти увѣренъ, что оно будетъ непріятное. Прошу садиться.

Консулъ покраснѣлъ, нѣсколько смѣшался, потомъ сѣлъ на диванъ, вынулъ изъ кармана бумагу, развернулъ и, прочитавши: «Генераль-адъютантъ графъ Орловъ сообщилъ графу Нессельроде, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки»,—онъ замолчалъ.

Я продолжалъ не говорить ни слова.

— Что-же мнѣ отвѣчать? спросилъ онъ, складывая бумагу.

— Что я не поѣду.

— Какъ не поѣдете?

— Такъ-таки просто не поѣду.

— Вы обдумали ли, что такой шагъ...

— Обдумалъ.

— Да какъ же это... Позвольте, что же я напишу?—по какой причинѣ?..

— Вамъ не вѣлно принимать никакихъ причинъ.

— Какъ же я скажу, вѣдь, это ослушаніе?

— Такъ и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмѣлюсь написать это,—и

онъ еще больше покраснѣлъ. Право, лучше было бы вамъ измѣнить ваше рѣшеніе, пока все это еще *келейно*.

Какъ я ни человѣколюбивъ, но, для облегченія переписки генеральнаго консула въ Ниццѣ, не хотѣлъ ѣхать въ Петропавловскія кельи отца Леонтія или въ Нерчинскъ.

— Неужели, сказалъ я ему, когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поѣду? Забудьте, что вы консулъ, и разсудите сами. Имѣнье мое секвестровано, капиталъ моей матери былъ задержанъ, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послѣ этого ѣхать, не сойдя съ ума?

Онъ мялся, постоянно краснѣлъ и, наконецъ, попалъ на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, сказалъ онъ, вступать... я понимаю затруднительное положеніе, съ другой стороны милосердіе!—Сверхъ того, зачѣмъ же вамъ отрѣзывать себѣ всѣ пути, вы напишите мнѣ, что вы очень больны, я отошлю къ графу.

— Это ужъ слишкомъ старо, да и на что же безъ нужды говорить неправду.

— Ну, такъ ужъ потрудитесь написать мнѣ письменный отвѣтъ.

— Пожалуй. Вы мнѣ не оставите ли копія съ бумаги, которую читали?

— У насъ этого не дѣлается.

— Жаль.

Какъ ни былъ простъ мой письменный отвѣтъ, консулъ все же перепугался: ему казалось, что его переведутъ за него, не знаю, куда-нибудь въ Бейрутъ или въ Триполи; онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмѣлится. Какъ я его ни убѣждалъ, что на него не можетъ пасть никакой отвѣтственности, онъ не соглашался и просилъ меня написать другое письмо.

— Это невозможно, возразилъ я ему, я не шучу этимъ шагомъ и вздорныхъ причинъ писать не стану: вотъ вамъ письмо и дѣлайте съ нимъ, что хотите.

— Позвольте, говорилъ самый кроткій консулъ изъ всѣхъ, бывшихъ послѣ Юнія Брута и Калпурнія Бестія, вы письмо это напишите не ко мнѣ, а къ графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дѣло не трудное, стоитъ поставить *M. le comte*, вмѣсто *M. le consul*; на это я согласенъ.

Переписывая мое письмо, мнѣ пришло въ голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. А потому я перевелъ письмо; вотъ оно:

«М. Г.

Графъ Алексѣй Федоровичъ!

«Императорскій консулъ въ Ниццѣ сообщилъ мнѣ о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить, не приведя въ ясность моего положенія.

«Прежде всякаго вызова, болѣе года тому назадъ положено было запрещеніе на мое имѣнье, отобраны дѣловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги, 10,000 фр., высланные мнѣ изъ Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мѣры противъ меня показываютъ, что я не только въ чемъ-то обвиняемъ, но что прежде всякаго вопроса, всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ—лишеніемъ части моихъ средствъ.

«Я не могу надѣяться, чтобъ одно возвращеніе мое могло меня спасти отъ печальныхъ послѣдствій политическаго процесса. Мнѣ легко объяснить каждое изъ моихъ дѣйствій, но въ процессахъ этого рода судятъ мнѣнія, теоріи; на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

«В. С. оцѣните простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ, несмотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.»

Ницца, 23 сентября, 1850.

Я дѣйствительно не знаю, возможно ли было скромнѣе и проще отвѣчать; но это письмо консулъ въ Ниццѣ счелъ чудовищно-дерзкимъ, да вѣроятно и самъ Орловъ также.

Отдѣлавшись отъ консула, мнѣ захотѣлось выйти изъ категоріи безпаспортныхъ.

Будущее было темно, печально... Я могъ умереть, и мысль, что тотъ же краснѣющій консулъ явится распоряжаться въ домѣ, захватить бумаги, заставляла меня думать о полученіи гдѣ-нибудь правъ гражданства. Само собою разумѣется, что я выбралъ Швейцарію, несмотря на то, что именно около этого времени въ Швейцаріи сдѣлали мнѣ полицейскую шалость.

Съ годъ послѣ рожденія моего второго сына, мы съ ужасомъ замѣтили, что онъ совершенно глухъ. Разныя консультаціи и опыты скоро доказали, что возбудить слухъ было невозможно. Но тутъ явился вопросъ, слѣдовало ли его оставить, какъ это всегда дѣлаютъ, нѣмымъ. Школы, которыя я видѣлъ въ Москвѣ, далеко не удовлетворяли меня. Разговоръ пальцами и знаками не есть разговоръ, говорить надобно ртомъ и губами. По книгамъ я зналъ, что въ

Германіи и въ Швейцаріи дѣлали опыты учить глухонѣмыхъ говорить, какъ мы говоримъ, и слушать, смотря на губы. Въ Берлинѣ я видѣлъ въ первый разъ оральное преподаваніе глухонѣмымъ и слышалъ, какъ они декламировали стихи. Это огромный шагъ впередъ отъ метода аббата Лепе. Въ Цюрихѣ это ученіе доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, рѣшилась поселиться съ нимъ на нѣсколько лѣтъ въ Цюрихѣ, чтобы посылать его въ школу.

Ребенокъ этотъ былъ одаренъ необыкновенными способностями: вѣчная тишина вокругъ него, сосредоточивая его живой, порывистый характеръ, славно помогала его развитію и вмѣстѣ съ тѣмъ изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горѣли умомъ и вниманіемъ; пяти лѣтъ онъ умѣлъ дразнить намѣренно-карикатурно всѣхъ приходившихъ къ намъ, съ такимъ комическимъ тактомъ, что нельзя было не смѣяться.

Въ полгода онъ сдѣлалъ въ школѣ большіе успѣхи. Его голосъ былъ *voilé*; онъ мало обозначалъ ударенія, но уже говорилъ очень порядочно по-нѣмецки и понималъ все, что ему говорили съ разстановкой; все шло какъ нельзя лучше; проѣзжая черезъ Цюрихъ, я благодарилъ директора и совѣтъ, дѣлалъ имъ разныя любезности, они мнѣ.

Но послѣ моего отъѣзда, старѣйшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русскій графъ, а русскій эмигрантъ и, къ тому же, пріятель съ радикальной партіей, которую они терпѣть не могли, да еще и съ социалистами, которыхъ они ненавидѣли, и, что хуже всего этого вмѣстѣ, что я человѣкъ не религіозный и открыто признаюсь въ этомъ. Последнее они вычитали въ ужасной книжкѣ: *Von andern Ufer*; вышедшей, какъ на смѣхъ, у нихъ подъ носомъ, изъ лучшей цюрихской типографіи. Узнавъ это, имъ стало совѣстно, что они даютъ воспитаніе сыну человѣка, не вѣрящаго ни по Лютеру, ни по Лойолѣ, и они принялись искать средствъ, чтобы сбыть его съ рукъ. Городская полиція вдругъ потребовала *паспортъ ребенка*; я отвѣчалъ изъ Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля дѣйствительно мой сынъ, что онъ означенъ на моемъ паспортѣ, но что особаго вида я не могу взять изъ русскаго посольства, находясь съ нимъ не въ самыхъ лучшихъ сношеніяхъ. Полиція не удовлетворилась и грозила выслать ребенка изъ школы и изъ города. Я рассказалъ это въ Парижѣ, кто-то изъ моихъ знакомыхъ напечаталъ объ этомъ въ *National's*. Устыдившись гласности, полиція сказала, что она не требуетъ высылки, а только какую-то ничтожную сумму денегъ въ обезпеченіе (*caution*), что ребенокъ не кто-нибудь другой, а онъ самъ. Какое же обезпеченіе нѣсколько сотъ франковъ? А, съ другой стороны, если-бъ у моей матери и у меня не было ихъ,

такъ ребенка выслали бы (я спрашивалъ ихъ объ этомъ черезъ «National»)? И это могло быть въ XIX столѣтїи, въ свободной Швейцарїи! Послѣ случившагося мнѣ было противно оставлять ребенка въ этой ослиной пещерѣ.

Но что же было дѣлать? Лучшій учитель въ заведенїи, молодой человекъ, отдавшійся съ увлеченїемъ педагогїи глухонѣмыхъ, человекъ съ основательнымъ университетскимъ образованїемъ, по счастью, недѣлилъ мнѣнїи полицейскаго синхедрона и былъ большой почитатель именно той книги, за которую разсвирѣпѣли благочестивые кварталные Цюрихскаго кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти въ домъ моей матери, съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ ней въ Италию. Онъ, разумѣется, согласился. Институтъ взбѣлся, но дѣлать было нечего. Мать моя съ Колей и Шпильманомъ отправились въ Ниццу. Передъ отъѣздомъ она послала за своимъ залогомъ, ей его не выдали, подѣ предлогомъ, что Коля еще въ Швейцарїи. Я написалъ изъ Ниццы. Цюрихская полиція потребовала свѣдѣнїй: имѣеть ли Коля законное право жить въ Пьемонтѣ.

Это было уже слишкомъ, и я написалъ слѣдующее письмо къ президенту Цюрихскаго кантона:

«Г. Президентъ!

«Въ 1849 я помѣстилъ моего сына, пяти лѣтъ отъ роду, въ цюрихскїй институтъ глухонѣмыхъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ цюрихская полиція потребовала у моей матери его паспортъ. Такъ какъ у насъ не спрашиваютъ ни у новорожденныхъ, ни у дѣтей, ходящихъ въ школу, паспортвъ, то сынъ мой и не имѣлъ отдѣльнаго вида, а былъ помѣщенъ на моемъ. Это объясненїе не удовлетворило цюрихскую полицію. Она потребовала залогъ. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшаго на себя столько опасливаго подозрѣнїя со стороны цюрихской полиціи, вышлютъ,— внесла его.

«Въ августъ 1850 г., желая оставить Швейцарїю, моя мать потребовала залогъ, но цюрихская полиція его не отдала; она хотѣла прежде узнать о дѣйствительномъ отъѣздѣ ребенка изъ кантона. Приѣхавъ въ Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, при чемъ она приложила свидѣтельство о томъ, что мы и, главное, шестилѣтнїй и подозрительный сынъ мой находимся въ Ниццѣ, а не въ Цюрихѣ. Цюрихская полиція, тутая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидѣтельства, въ которомъ здѣшняя полиція должна была засвидѣтельствовать, «что сыну моему офиціально позволяется жить въ Пьемонтѣ» (que l'enfant est officielement toleré). Г. Шултгесъ сообщать это г. Авигдору.

«Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиціи,

я отказался отъ предложенія г. Авигдора послать новое свидѣтельство, которое онъ очень любезно предложилъ мнѣ самъ взять. Я не хотѣлъ доставить этого удовольствія цюрихской полиціи, потому что она, при всей важности своего положенія, все же не имѣетъ права ставить себя полиціей международной, и потому еще, что требованіе ея не только обидно для меня, но и для Пиемонта.

«Сардинское правительство, господинъ Президентъ, правительство образованное и свободное. Какъ же возможно, чтобъ оно не дозволило жить (*ne tolerât pas*) въ Пиемонтѣ больному ребенку шести лѣтъ? Я дѣйствительно не знаю, какъ мнѣ считать этотъ запросъ цюрихской полиціи: за странную шутку или за слѣдствіе пристрастія къ залогамъ вообще.

«Представляя на ваше разсмотрѣніе, г. Президентъ, это дѣло, я буду васъ просить, какъ особеннаго одолженія, въ случаѣ новаго отказа, объяснить мнѣ это происшествіе, которое слишкомъ любопытно и интересно, чтобъ я считалъ себя въ правѣ скрыть его отъ общаго свѣдѣнія.

«Я снова писалъ къ г. Шултгесу о полученіи денегъ и могу васъ смѣло увѣрить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенокъ, не имѣемъ ни малѣйшаго желанія, послѣ всѣхъ полицейскихъ непріятностей, возвращаться въ Цюрихъ. Съ этой стороны нѣтъ ни тѣни опасности».

Ницца, 9 сентября, 1850.

Само собою разумѣется, что послѣ этого полиція города Цюриха, несмотря на вселенскія притязанія, выплатила залогъ.

... Кромѣ Швейцарской натурализіи, я не принялъ бы въ Европѣ никакой, ни даже англійской; поступить добровольно въ подданство чье бы то ни было было мнѣ противно; хотѣлъ я выйти изъ крѣпостного состоянія въ свободные хлѣбонащцы. Для этого предстояли двѣ страны: Америка и Швейцарія.

Америка—я ее очень уважаю, вѣрю, что она призвана къ великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе къ Европѣ, чѣмъ была, но американская жизнь мнѣ антипатична. Весьма вѣроятно, что изъ угловатыхъ, грубыхъ, сухихъ элементовъ ея сложится иной бытъ. Америка не приняла осѣдлости, она не построена, въ ней работники и мастеровые въ будничномъ платьѣ таскаютъ бревна, таскаютъ камень, пилятъ, рубятъ, приколачиваютъ... Зачѣмъ же постороннему обживать ея сырое зданіе?

Сверхъ того, Америка, какъ сказалъ Гарибальди, «страда забвенія родины»; пусть же въ нее ѣдутъ тѣ, которые не имѣютъ вѣры въ свое отечество, они должны ѣхать съ своихъ владѣнщъ;

совсѣмъ напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я утрачивалъ всѣ надежды на романо-германскую Европу, вѣра въ Россію снова возрождалась, но думать о возвращеніи было бы безуміемъ.

Итакъ, оставалось вступить въ союзъ съ свободными людьми Гельветической конфедераціи.

Фази, еще въ 1849 году, обѣщалъ меня натурализовать въ Женевѣ, но все оттягивалъ дѣло; можетъ, ему просто не хотѣлось прибавить мною число социалистовъ въ своемъ кантонѣ. Мнѣ это надоѣло, приходилось переживать черное время, послѣднія стѣны покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до бѣды... Карлъ Фогтъ предложилъ мнѣ списаться о моей натурализаціи съ Ю. Шаллеромъ, который былъ тогда президентомъ Фрибургскаго кантона и главою тамошней радикальной партіи.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о немъ самомъ.

Въ однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встрѣчаются иногда, какъ бы на выкупъ ей, здоровыя, коренастыя семьи, исполненныя силы, упорства, талантовъ. Одно поколѣніе даровитыхъ людей смѣняется другимъ многочисленнѣйшимъ, сохраняя изъ рода въ родъ дюжестъ ума и тѣла. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры домъ въ узкомъ, темномъ переулкѣ, трудно представить себѣ, сколько въ продолженіе ста лѣтъ сошло по стоптаннымъ каменнымъ ступенькамъ его лѣстницы молодыхъ парней съ котомкой за плечами, съ всевозможными сувенирами изъ волосъ и сорванныхъ цвѣтовъ въ котомкѣ, благословляемые на путь слезами матери и сестеръ... и пошли въ мѣръ, оставленные на однѣ свои силы, и сдѣлались извѣстными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домикъ, крытый черепицей, въ ихъ отсутствіе опять наполнился новымъ поколѣніемъ студентовъ, рвущихся грудью впередъ въ неизвѣстную будущность.

За неимѣніемъ другого, тутъ есть наслѣдство прймѣра, наслѣдство фибрина. Каждый начинаетъ самъ и знаетъ, что придетъ время, и его выпроводитъ старушка бабушка по стоптанной каменной лѣстницѣ, бабушка, принявшая своими руками въ жизнь три поколѣнія, мывшая ихъ въ маленькой ваннѣ и отпускавшая ихъ съ полною надеждой: онъ знаетъ, что гордая старушка увѣрена и въ немъ, увѣрена, что и изъ него выйдетъ что-нибудь... и выйдетъ непременно!

Dann und wann, черезъ много лѣтъ, все это разсѣянное население побываетъ въ старомъ домикѣ, всѣ эти состарившіеся оригиналы портретовъ, висящихъ въ маленькой гостиной, гдѣ они представлены въ студенческихъ беретахъ, завернутые въ плащи, съ рембрандтовскимъ притязаніемъ со стороны живописца,—

въ домѣ тогда становится суетливѣе, два поколѣнія знакомятся, сближаются... и потомъ опять все идетъ на трудъ. Разумѣется, что при этомъ кто-нибудь непременно въ кого-нибудь хронически-влюбленъ, разумѣется, что дѣло не обходится безъ сентиментальности, слезъ, сюрпризовъ и сладкихъ пирожковъ съ вареньемъ, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзіей съ мышцами и силой, которую я рѣдко встрѣчалъ въ выродившихся, рахитическихъ дѣтяхъ аристократіи и еще менѣе у мѣщанства, строго соразмѣряющаго число дѣтей съ прихода-расходной книгой.

Вотъ къ этимъ-то благословеннымъ семьямъ древне-германскимъ принадлежитъ родительскій домъ Фогта.

Отецъ Фогта чрезвычайно даровитый профессоръ медицины въ Бернѣ; мать—изъ рода Фолленовъ, изъ этой эксцентрической, нѣкогда надѣлавшей большого шума, швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германіи въ эпоху тугендбундовъ и буршеншафтовъ, Карла Занда и политическаго Schwärmerei 17 и 18 годовъ. Одинъ Фолленъ былъ брошенъ въ тюрьму за Ватбургскій праздникъ въ память Лютера: онъ произнесъ дѣйствительно зажигательную рѣчь, вслѣдъ за которою сжегъ на кострѣ іезуитскія и реакціонныя книги, всякіе символы папской власти. Студенты мечтали сдѣлать его императоромъ единой и нераздѣльной Германіи. Его внукъ, Карлъ Фогтъ, въ самомъ дѣлѣ былъ однимъ изъ *викариевъ имперіи* въ 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь въ жилахъ сына бернскаго профессора, внука Фолленовъ. А вѣдь, au bout du compte, все зависитъ отъ химическаго соединенія, да отъ качества элементовъ. Не Карлъ Фогтъ станеть со мной спорить объ этомъ.

Въ 1851 г. я былъ проѣздомъ въ Бернѣ. Прямо изъ почтовой кареты я отправился къ Фогтову отцу съ письмомъ сына. Онъ былъ въ университетѣ. Меня встрѣтила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла какъ друга своего сына и тотчасъ повела показывать его портретъ. Мужа она не ждала ранѣе 6 часовъ; мнѣ его очень хотѣлось видѣть, я возвратился, но онъ уже уѣхалъ на какую-то консультацію къ больному. Второй разъ старушка встрѣтила меня уже какъ стараго знакомаго и повела въ столовую, желая, чтобъ я выпилъ рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большимъ круглымъ столомъ, неподвижно прикрѣпленнымъ къ полу; объ этомъ столѣ я уже давно слышалъ отъ Фогта, и потому очень радъ былъ лично познакомиться съ нимъ. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофе, вино и все нужное для ѣды, тарелки, горчицу, соль, такъ что, не безпокая никого и безъ прислуги, каждый привертывалъ

къ себѣ что хотѣлъ, ветчину или варенье. Только ненадобно было задумываться или много говорить, а то вмѣсто горчицы можно было попасть ложкой въ сахаръ... если кто-нибудь повертывалъ дискъ. Въ этомъ населеніи братьевъ и сестеръ, короткихъ знакомыхъ и родныхъ, гдѣ всѣ были заняты розно, срочно, общій обѣдъ вечеромъ было трудно устроить. Кто приходилъ и кому хотѣлось ѣсть, тотъ садился за столъ, вертѣлъ его направо, вертѣлъ его налево, и управлялся какъ нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у нихъ я не могъ; ко мнѣ вечеромъ хотѣли прѣхать Фази и Шаллеръ, бывшіе тогда въ Бернѣ; я обѣщаль, если пробуду еще полдня, зайти къ Фогтамъ и, пригласивши меньшаго брата, юриста, къ себѣ ужинать, пошелъ домой. Звать старика такъ поздно и послѣ такого дня, я не счелъ возможнымъ. Но около двѣнадцати часовъ гарсонъ, почтительно отворяя двери передъ кѣмъ-то, возвѣстилъ намъ: *Der Herr Professor Vogt*,—я всталъ изъ-за стола и пошелъ къ нему навстрѣчу.

Вошелъ старикъ довольно высокаго роста, съ умнымъ, выразительнымъ лицомъ, превосходно сохранившійся.

— Ваше посѣщеніе, сказалъ я ему, мнѣ вдвойнѣ дорого, я не смѣлъ васъ звать такъ поздно, послѣ вашихъ трудовъ.

— А я не хотѣлъ васъ пропустить черезъ Бернъ, не увидавшись съ вами. Услышавъ, что вы были у насъ два раза и что вы пригласили Густава, я пригласилъ самъ себя. Очень, очень радъ, что вижу васъ, то... что Карлъ о васъ пишетъ, да и безъ комплиментовъ, я хотѣлъ познакомиться съ авторомъ «Съ того берега».

— Душевно благодарю васъ; вотъ мѣсто, садитесь съ нами, у насъ ужинъ во всемъ разгарѣ, что вамъ угодно?

— Я не буду ѣсть, но рюмку вина выпью съ удовольствіемъ.

Въ его видѣ, словахъ, движеніяхъ было столько непринужденности, вмѣстѣ—не съ тѣмъ добродушіемъ, которое имѣютъ люди вялые, прѣсные и чувствительные,—а именно съ добродушіемъ людей сильныхъ и увѣренныхъ въ себѣ. Его появленіе нѣсколько не стѣснило насъ, напротивъ, все пошло живѣе.

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету, вездѣ, во всемъ онъ былъ дома, уменъ, *évêillé*, оригиналенъ. Рѣчь зашла какъ-то о федеральномъ концертѣ, который давался утромъ въ бернскомъ соборѣ, и на которомъ были всѣ, кромѣ Фогта. Концертъ былъ гигантскій, со всей Швейцаріи съѣхались музыканты, пѣвцы и пѣвицы для участія въ немъ. Музыка, разумѣется, была духовная. Съ талантомъ и пониманіемъ исполнили они знаменитое твореніе Гайдена. Публика была внимательна, но холодна,

она шла изъ собора, какъ идутъ отъ обѣдни; не знаю, насколько было благочестія, но увлеченія не было. Я то же испыталъ на самомъ себѣ. Въ припадкѣ откровенности, я сказалъ это знакомымъ, съ которыми выходилъ; по несчастію, это были правдивные, ученые, горячіе музыканты, они напали на меня, объявили меня профаномъ, не умѣющимъ слушать музыку, глубокую, серьезную. «Вамъ только нравятся мазурки Шопена», говорили они. Въ этомъ еще нѣтъ бѣды, думалъ я, но, считая себя все же несостоятельнымъ судьей, замолчалъ.

Надобно имѣть много храбрости, чтобъ признаться въ такихъ впечатлѣніяхъ, которыя противорѣчатъ общепринятому предразсудку или мнѣнію. Я долго не рѣшался при постороннихъ сказать, что «Освобожденный Іерусалимъ»—скучень, что «Новую Элоизу»—я не могъ дочитать до конца, что «Германъ и Доротея»—произведеніе мастерское, но утомляющее до противности. Я сказалъ что-то въ этомъ родѣ Фогту, рассказывая ему мое замѣчаніе о концертѣ.

— А что, спросилъ онъ, Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, безъ всякихъ границъ.

— Я зналъ это, потому что я вполне вамъ сочувствую. Какъ же это возможно, чтобъ живой, современный человѣкъ могъ себя такъ искусственно натянуть на религіозное настроеніе, чтобъ наслажденіе его было естественно и полно. Для насъ такъ же нѣтъ пѣтистической музыки, какъ нѣтъ духовной литературы, она для насъ имѣетъ смыслъ историческій. У Моцарта, напротивъ, звучитъ намъ знакомая жизнь, онъ поетъ отъ избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Don-Giovani, когда Nozze di Figaro были новостію, что это былъ за восторгъ, что за откровеніе новаго источника наслажденій! Моцартова музыка сдѣлала эпоху, переворотъ въ умахъ, какъ Гётевъ Фаустъ, какъ 1789 годъ. Мы видѣли въ его произведеніяхъ, какъ свѣтская мысль XVIII-го столѣтія съ своей секуляризацией жизни вторгалась въ музыку; съ Моцартомъ революція и новый вѣкъ вошли въ искусство. Ну, какъ же намъ послѣ Фауста читать Клопштока и безъ вѣры слушать эти литургіи въ музыкѣ?...

Долго и необыкновенно занимательно говорилъ старикъ, онъ одушевился, я налилъ еще раза два вина въ его бокалъ, онъ не отказывался и не торопился пить. Наконецъ, онъ посмотрѣлъ на часы:—«Ба, ужъ два часа, прощайте, мнѣ въ девять надобно быть у больного».

Я съ истинной дружбой проводилъ его.

Два года спустя, онъ доказалъ, какъ много энергіи въ его сѣдой головѣ, и какъ его теорія—*правда*, т. е. какъ онъ близки къ практикѣ. Вѣнскій рефюжьё, докторъ Кудлихъ, посватался за одну

изъ дочерей Фогта; отецъ былъ согласенъ, но вдругъ протестантская консисторія потребовала метрическія свидѣтельства жениха. Разумѣется, ему, какъ изгнаннику, ничего нельзя было достать изъ Австріи, и онъ представилъ приговоръ, по которому былъ осужденъ заочно; одного свидѣтельства Фогта и его дозволенія было бы достаточно для консисторіи, но бернскіе піэтисты, по инстинкту ненавидѣвшіе Фогта и всѣхъ изгнанниковъ, уперлись. Тогда Фогтъ собралъ всѣхъ своихъ друзей, профессоровъ и разныхъ бернскія знаменитости, рассказалъ имъ дѣло, потомъ позвалъ свою дочь и Кудлиха, взялъ ихъ руки, соединилъ и сказалъ присутствовавшимъ: «Васъ, друзья, беру въ свидѣтели, что я, какъ отецъ, благословляю этотъ бракъ и отдаю мою дочь, по ея желанію, за такого-то».

Поступокъ этотъ ошеломилъ піэтистическое общество въ Швейцаріи; оно съ негодованіемъ и ужасомъ взглянуло на этотъ антецедентъ, сдѣланный не горячимъ юношей, не бездомнымъ изгнанникомъ, а старцемъ безукоризненнымъ и уважаемымъ всѣми.

Теперь отъ отца перейдемте къ его старшему сыну.

Х Я съ нимъ познакомился въ 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы въ два года нашей жизни въ Ниццѣ. Это не только свѣтлый умъ, но и самый свѣтлый нравъ изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Я счелъ бы его за очень счастливаго чело-вѣка, если-бъ зналъ, что онъ недолго проживетъ; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сихъ поръ, донимая только одними мигренями. Его натура реальная, живая, всему раскрытая—имѣетъ многое, чтобъ наслаждаться, все, чтобъ никогда не скучать, и почти ничего, чтобъ мучиться внутренно, развѣдать себя недовольной мыслию, страдать теоретически—сомнѣніемъ и практически—тоской по несбывшимся мечтамъ. Страстный поклонникъ красотъ природы, неутомимый работникъ въ наукѣ, онъ все дѣлалъ необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художникъ въ своемъ дѣлѣ, онъ имъ наслаждался; радикаль—по темпераменту, реалистъ—по организациіи и гуманный чело-вѣкъ—по ясному и добродушно ироническому взгляду, онъ жилъ именно въ той жизненной средѣ, къ которой единственно идутъ Дантовскія слова: «Qui e l'uomo felice».

Онъ прожилъ жизнь дѣятельно и беззаботно, нигдѣ не отставая, вездѣ въ первомъ ряду; не боясь горькихъ истинъ, онъ такъ же пристально всматривался въ людей, какъ въ полипы и медузы, ничего не требуя ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ, кромѣ того, что они могутъ дать. Онъ не поверхностно изучалъ, но не чувствовалъ потребности переходить извѣстную глубину, за которой и оканчивается все свѣтлое, и которая, въ сущности, представляетъ своего рода выходъ изъ дѣйствительности. Его не манило въ

тѣ нервныя омуты, въ которыхъ люди упиваются страданіями. Простое и ясное отношеніе къ жизни исключало изъ его здороваго взгляда ту поэзію печальныхъ восторговъ и болѣзненнаго юмора, которую мы любимъ, какъ все потрясающее и ѣдкое. Его иронія, какъ я замѣтилъ, была добродушна, его насмѣшка весела; онъ смѣялся первый и отъ души своимъ шуткамъ, которыми отравлялъ чернила и пиво педантовъ-профессоровъ и своихъ товарищей по парламенту in der Paul's Kirche. √

Въ этомъ жизненномъ реализмѣ было то общее, симпатическое, что насъ связывало, хотя жизнь и развитіе наше были такъ розны, что мы во многомъ расходились.

Во мнѣ не было и не могло быть той спѣтости и того единства, какъ у Фогта. Воспитаніе его шло такъ же правильно, какъ мое безсистемно; ни семейная связь, ни теоретическій ростъ никогда не обрывались у него, онъ продолжалъ традицію семьи. Отецъ стоялъ возлѣ примѣромъ и помощникомъ; глядя на него, онъ сталъ заниматься естественными науками. У насъ обыкновенно поколѣніе съ поколѣніемъ расчленено; общей, нравственной связи у насъ нѣтъ. Я съ раннихъ лѣтъ долженъ былъ бороться съ возрѣніемъ всего окружавшаго меня, я дѣлалъ оппозицію въ дѣтской, потому что старшіе наши, наши дѣды были не Фоллены, а помѣщики и сенаторы. Выходя изъ нея, я съ той же запальчивостію бросился въ другой бой и, только что кончилъ университетскій курсъ, былъ уже въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ. Наука на этомъ переломилась; тутъ представилось иное изученіе, изученіе міра несчастнаго, съ одной стороны, грязнаго, съ другой.

Наскучивъ этой патологіей, я бросился съ жадностью на философію, отъ которой Фогтъ чувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Окончивъ курсъ медицины и получивъ дипломъ доктора, онъ не рѣшился лечить, говоря, что недостаточно вѣрить въ врачебную кабалистику, и снова весь отдался физиологіи. Трудъ его очень скоро обратилъ на себя вниманіе не только нѣмецкихъ ученыхъ, но и парижской академіи наукъ. Онъ уже былъ профессоромъ сравнительной анатоміи въ Гиссенѣ, товарищемъ Либиха, (съ которымъ велъ потомъ озлобленную химико-теологическую полемику), когда революціонный шкваль 1848 года оторвалъ его отъ микроскопа и бросилъ въ франкфуртскій парламентъ.

Разумѣется, что онъ сталъ въ самый радикальный рядъ, говорилъ исполненныя остроты и отваги рѣчи, выводилъ изъ терпѣнія умѣренныхъ прогрессистовъ, а иногда и неумѣреннаго короля прусскаго. Вовсе не будучи политическимъ человѣкомъ, онъ по удѣльному вѣсу сдѣлался однимъ изъ «лидеровъ» оппозиціи, и когда эрцъ-герцогъ Іоаннъ, бывший какимъ-то викаріемъ имперіи, окончательно сбросилъ съ себя маску добродушія и популя-

ности, заслуженной тѣмъ, что онъ женился когда-то на дочери станціоннаго смотрителя и иногда ходилъ во фракъ, Фогтъ съ четырьмя товарищами были выбраны на его мѣсто. Тутъ дѣла нѣмецкой революціи пошли быстро подъ гору: правительства достигли цѣли, выиграли нужное время (по совѣту Меттерниха),— паадить парламентъ имъ было бесполезно. Изгнанный изъ Франкфурта, парламентъ мелькнулъ какой-то тѣнью въ Штутгартѣ, подъ печальнымъ названіемъ Nach-Parlament, тамъ его реакція придушила. Оставалось викаріямъ по добру, да по здорову уѣхать отъ вѣрной тюрьмы и каторжной работы... Переѣхавъ швейцарскія горы, Фогтъ стряхнулъ съ себя пыль франкфуртскаго собора и, расписавшись въ книгѣ путешественниковъ «К. Фогтъ—викарій Германской имперіи въ бѣгахъ», снова принялся съ той же невозмутимой ясностью, веселымъ расположеніемъ духа и неутомимымъ трудолюбіемъ за естественныя науки. Съ цѣлью изученія морскихъ зоофитовъ онъ поѣхалъ въ Ниццу въ 1850.

Несмотря на то, что мы шли съ разныхъ сторонъ и разными путями, мы встрѣтились на *трезвомъ совершеннолѣтіи въ наукѣ*.

Быль ли я такъ послѣдователенъ, какъ Фогтъ—и *въ жизни*, трезво ли я на нее смотрѣлъ? Теперь мнѣ кажется, что нѣтъ. Да я не знаю, впрочемъ, хорошо ли начинать съ трезвости; она не только *предупреждаетъ* много бѣдствій, но и лучшія минуты жизни. Вопросъ трудный, который, по счастью, для каждаго разрѣшается не разсужденіями и волей, а организаціей и событіями. Теоретически освобожденный, я не то, что хранилъ разныя непослѣдовательныя вѣрованія, *а они сами остались*; романтизмъ революціи я пережилъ, мистическое вѣрованіе въ прогрессъ, въ человѣчество оставалось дольше другихъ теологическихъ догматовъ; а когда я ихъ пережилъ, у меня еще оставалась религія личностей, вѣра въ двухъ, трехъ, увѣренность въ себя, въ волю человѣческую. Тутъ были, разумѣется, противорѣчія; внутреннія противорѣчія ведутъ къ несчастіямъ, тѣмъ болѣе прискорбнымъ, обиднымъ, что у нихъ впередъ отнято послѣднее человѣческое утѣшеніе, оправданіе себя въ своихъ собственныхъ глазахъ...

Въ Ниццѣ Фогтъ принялся съ необыкновенной ревностью за дѣло... Покойные, теплые заливы Средиземнаго моря представляютъ богатую колыбель всеѣмъ *frutti di mare*, вода просто полна ими. Ночью бразды ихъ фосфорнаго огня тянутся, мерцающія за лодкой, тянутся за весломъ, салпы можно брать рукой, всякимъ сосудомъ. Стало быть, въ матеріалѣ не было недостатка. Съ раняго утра сидѣлъ Фогтъ за микроскопомъ, наблюдалъ, рисовалъ, писалъ, читалъ, и часовъ въ пять бросался, иногда со мной, въ море (плавалъ онъ какъ рыба); потомъ онъ приходилъ къ намъ

обѣдать и, вѣчно веселый, быть готовъ на ученый споръ и на всякіе пустяки, пѣлъ за фортепiano уморительныя пѣсни или разсказывалъ дѣтямъ сказки съ такимъ мастерствомъ, что они, не вставая, слушали его цѣлые часы.

Фогтъ обладаетъ огромнымъ талантомъ преподаванія. Онъ, полшутя, читалъ у насъ нѣсколько лекцій физиологіи для дамъ. Все у него выходило такъ живо, такъ просто и такъ пластически выразительно, что дальній путь, которымъ онъ достигъ этой ясности, не былъ замѣтенъ. Въ этомъ-то и состоитъ вся задача педагогіи—сдѣлать науку до того понятной и усвоенной, чтобъ заставить ее говорить простымъ, *обыкновеннымъ* языкомъ.

Трудныхъ наукъ нѣтъ, есть только трудныя изложенія, т. е. непереваримыя. Ученый языкъ—языкъ условный, подъ титлами, языкъ стенографированный, временной, пригодный ученикамъ; содержаніе спрятано въ его алгебраическихъ формулахъ для того, чтобъ, раскрывая законъ, не повторять сто разъ одного и того же. Переходя рядомъ схоластическихъ приемовъ, содержаніе науки обрастаетъ всей этой школьной дрянью,—а доктринеры до того привыкають къ уродливому языку, что другого не употребляютъ, имъ онъ кажется понятенъ,—въ старыя годы имъ этотъ языкъ былъ даже дорогъ, какъ трудовая копейка, какъ отличіе отъ языка вульгарнаго. По мѣрѣ того, какъ мы изъ учениковъ переходимъ къ дѣйствительному знанію, стропилы и подмости становятся противны,—мы ищемъ простоты. Кто не замѣтилъ, что учащіеся вообще употребляютъ гораздо больше трудныхъ терминовъ, чѣмъ выучившіеся.

Вторая причина темноты въ наукѣ происходитъ отъ недобросовѣстности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отдѣлаться отъ опасныхъ вопросовъ. Наука, имѣющая *какую-нибудь* цѣль вмѣсто истиннаго знанія,—не наука. Она должна имѣть смѣлость прямой, открытой рѣчи. Въ недостаткѣ открытости, въ робкихъ уступкахъ никто не обвинитъ Фогта. Сорѣе «нѣжныя души» упрекнутъ его въ томъ, что онъ слишкомъ прямо и слишкомъ просто высказываетъ свою правду, находящуюся въ прямомъ противорѣчii съ общепринятой ложью.

Перехожу теперь къ тому, какъ одна страна радушно приняла меня въ то самое время, какъ другая безъ всякаго повода вытолкнула.

Шаллеръ обѣщалъ Фогту похлопотать о моей натурализаціи, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня и потомъ поддержать дѣло въ Большомъ совѣтѣ. Въ Швейцаріи для натурализаціи необходимо, чтобъ предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятіе новаго согражданина, что совершенно согласно съ самозаконностью

каждаго кантона и каждаяго мѣстечка въ свою очередь. Деревенька Шатель, близъ Мора (Муртенъ), соглашалась за небольшой взносъ денегъ въ пользу сельскаго общества принять мою семью въ число своихъ крестьянскихъ семей. Деревенька эта недалеко отъ Муртенскаго озера, возлѣ котораго былъ разбитъ и убитъ Карлъ Сибльй, несчастная смерть и имя котораго такъ ловко послужили австрійской цензурѣ (а потомъ и петербургской), для замѣны имени Вильгельма Теля въ Россиніевской оперѣ.

Когда дѣло поступило въ Большой совѣтъ, два иезуитствующіе депутата подняли голосъ противъ меня; но ничего не сдѣлали. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что надобно было бы знать, почему я былъ въ ссылкѣ. Другой, изъ видовъ предупредительной осторожности, требовалъ новыхъ обезпеченій, чтобъ, въ случаѣ моей смерти, воспитаніе и содержаніе моихъ дѣтей не пало на бѣдную коммуну. Мои права гражданства были признаны огромнымъ большинствомъ, и я сдѣлался изъ русскихъ надворныхъ совѣтниковъ тягловымъ крестьяниномъ сельца Шателя, что подѣ Муртеномъ, *originaire de Châtel près Morat*, какъ расписался фрибургскій писарь на моемъ паспортѣ.

Получивъ вѣсть обо утверженіи моихъ правъ, мнѣ было почти необходимо съѣздить поблагодарить новыхъ согражданъ и познакомиться съ ними. Къ тому же у меня именно въ это время была сильная потребность побыть одному, всмотрѣться въ себя, свѣрить прошлое, разглядѣть что-нибудь въ туманѣ будущаго, и я былъ радъ вѣшнему толчку.

Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ниццы я получилъ приглашеніе отъ начальника полиціи, *de la sicurezza publica*. Онъ мнѣ объявилъ приказъ министра внутреннихъ дѣлъ выѣхать немедленно изъ сардинскихъ владѣній. Эта странная мѣра со стороны ручного и уклончиваго сардинскаго правительства удивила меня гораздо больше, чѣмъ высылка изъ Парижа въ 1850. Къ тому же и не было никакого повода.

Говорятъ, будто я обязанъ этимъ усердію двухъ-трехъ вѣрно-подданныхъ русскихъ, жившихъ въ Ниццѣ, и въ числѣ ихъ мнѣ пріятно назвать министра юстиціи П.; онъ не могъ вынести, что человекъ, навлекшій на себя гнѣвъ Николая Павловича, не только покойно живетъ и даже въ одномъ городѣ съ нимъ, но еще пишетъ статейки. Пріѣхавъ въ Туринъ, юстиція, говорятъ, спросилъ, такъ, по доброму знакомству, министра Азеліо выслать меня. Сердце Азеліо чуяло, вѣрно, что я въ Крутицкихъ казармахъ, учась по-итальянски, читалъ его *La Disfida di Bagletta*—романъ «и не классическій и не старинный», хотя тоже скучный,—и ничего не сдѣлалъ.

Зато ниццскій интендантъ и министры въ Туринѣ воспользова-

лись рекомендаціей при первомъ же случаѣ. Нѣсколько дней до моей высылки, въ Ниццѣ было «народное волненіе», въ которомъ лодочники и лавочники, увлекаемые краснорѣчіемъ банкира Авигдора, протестовали, и притомъ довольно дерзко, говоря о независимости ницскаго графства, о его неотъемлемыхъ правахъ,—противъ уничтоженія свободнаго порта. Общее, легкое таможенное положеніе для всего королевства уменьшало ихъ привилегіи, безъ уваженія «къ независимости ницскаго графства» и къ его правамъ, «начертаннымъ на скрижаляхъ исторіи».

Авигдора, этого Оконеля Пальоне (такъ называется *сухая* рѣка, текущая въ Ниццѣ), посадили въ тюрьму, ночью ходили патрули, и народъ ходилъ, тѣ и другіе пѣли пѣсни и притомъ однѣ и тѣ же—вотъ и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой изъ иностранцевъ не участвовалъ въ этомъ семейномъ дѣлѣ тарифовъ и таможенъ. Тѣмъ не менѣе интендантъ указалъ на нѣсколько человѣкъ изъ рефюжье, какъ на зачинщиковъ, и въ томъ числѣ на меня. Министерство, желая показать примѣръ цѣлебной строгости, велѣло меня прогнать вмѣстѣ съ другими.

Я пошелъ къ интенданту (изъ іезуитовъ) и, замѣтивъ ему, что это совершеннѣйшая роскошь высылать человѣка, который самъ ѣдетъ и у котораго визированный пассъ въ карманѣ, спросилъ его, въ чемъ дѣло? Онъ увѣрялъ, что самъ такъ же удивленъ, какъ я, что мѣра взята министромъ внутреннихъ дѣлъ, даже безъ предварительнаго сношенія съ нимъ. При этомъ онъ былъ до того учтивъ, что у меня не осталось никакого сомнѣнія, что все это напакостилъ онъ. Я написалъ разговоръ мой съ нимъ извѣстному депутату оппозиціи, Лоренцо Валеріо, и уѣхалъ въ Парижъ.

Валеріо свирѣпо напалъ на министра въ своей интерпеляціи и требовалъ отчета, почему меня выслали. Министръ мялся, отклонялъ всякое вліяніе русской дипломатіи, свалилъ все на доносы интенданта и смиренно заключилъ, что если министерство поступило сторяча, неосторожно, то оно съ удовольствіемъ измѣнитъ свое рѣшеніе.

Оппозиція аплодировала. Слѣдственно, de facto запрещеніе было снято, но, несмотря на мое письмо къ министру, онъ мнѣ не отвѣчалъ. Рѣчь Валеріо и отвѣтъ на нее я прочиталъ въ газетахъ и рѣшился ѣхать просто на просто въ Туринъ, на возвратномъ пути изъ Фрибурга. Чтобъ не имѣть отказа въ визѣ, я поѣхалъ безъ визы; на піемонтской границѣ со стороны Швейцаріи пассы осматриваютъ безъ свирѣпаго ожесточенія французскихъ жандармовъ. Въ Туринѣ я пошелъ къ министру внутреннихъ дѣлъ: вмѣсто его меня принялъ его товарищъ, завѣдывавшій

верховой полиціей, графъ Понсъ де-ла-Мартино, человѣкъ извѣстный въ тѣхъ краяхъ, умный, хитрый и преданный католической партіи.

Пріемъ его меня удивилъ. Онъ мнѣ сказалъ все то, что я ему хотѣлъ сказать; что-то подобное было со мной въ одно изъ свиданій съ Дуббельтомъ, но графъ Понсъ перещеголялъ.

Онъ былъ очень пожилыхъ лѣтъ, болѣзненный, худой, съ отталкивающей наружностію, съ злыми и лукавыми чертами, съ нѣсколько клерикальнымъ видомъ и жесткими сѣдыми волосами на головѣ. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказать десять словъ о причинѣ, почему я просилъ аудіенціи у министра, онъ перебилъ меня словами:

— Да, помилуйте, гдѣ же тутъ можетъ быть сомнѣніе... Отправляйтесь въ Ниццу, отправляйтесь въ Геную, оставайтесь здѣсь—только безъ малѣйшей гансине, мы очень рады... это все надѣлалъ интендантъ... Видите, мы еще ученики, не привыкли къ законности, къ конституціонному порядку. Если бы вы сдѣлали что-нибудь противное законамъ, на то есть судъ, вамъ нечего тогда было бы пенять на несправедливость, неправда-ли?

— Совершенно согласенъ съ вами.

— А то *беруть* мѣры, которыя раздражаютъ... заставляютъ кричать—и безъ всякой нужды!

Послѣ этой рѣчи противъ *самого себя*, онъ проворно схватилъ листъ бумаги съ министерскимъ заголовкомъ и написалъ: *Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo crederà conveniente. Per il ministro S. Martino—12 Luglio 1851.*

— Вотъ вамъ на всякій случай, впрочемъ, будьте увѣрены, до этой бумаги дѣло не дойдетъ. Я очень, очень радъ, что мы покончили съ вами это дѣло.

Такъ какъ это значило, *vulgariter*, «ступайте съ Богомъ», то я и оставилъ моего Понса, улыбаясь впередъ лицу, которое сдѣлалъ интендантъ въ Ниццѣ; но этого лица Богъ мнѣ не привелъ видѣть, его смѣнили.

Но возвращаюсь къ Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проѣхавши по знаменитому мосту, какъ всѣ смертные, бывшіе въ Фрибургѣ, мы отправились съ добрымъ старичкомъ, канцлеромъ Фрибургскаго кантона, въ Шатель. Въ Муртенѣ префектъ полиціи, человѣкъ энергическій и радикальный, просилъ насъ подождать у него, говоря, что староста поручилъ ему предупредить его о нашемъ пріѣздѣ, потому что ему и прочимъ домохозяевамъ было бы очень неприятно, если-бъ я пріѣхалъ невзначай, когда всѣ въ полѣ на работѣ. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились и префектъ съ нами.

Возлѣ дома старосты ждали насъ нѣсколько пожилыхъ крестьянъ и впереди ихъ самъ староста, почтенный, высокаго роста, сѣдой и хотя нѣсколько скорбившійся, но мускулистый старикъ. Онъ выступилъ впередъ, снялъ шляпу, протянулъ мнѣ широкую, сильную руку и, сказавъ *Lieber Mitbürger*,... произнесъ приветственную рѣчь на такомъ германо-швейцарскомъ нарѣчїи, что я ничего не понялъ. Приблизительно можно было догадаться, что онъ могъ мнѣ сказать, а потому, да еще взявъ въ соображеніе, что если я скрылъ, что не понимаю его, то и онъ скроетъ, что не понимаетъ меня, я смѣло отвѣчалъ на его рѣчь:

— Любезный гражданинъ староста и любезные шательскіе сограждане! Я прихожу благодарить васъ за то, что вы въ вашей общинѣ дали прїютъ мнѣ и моимъ дѣтямъ и положили предѣлъ моему бездомному скитанію. Съ гордостью вступаю я въ вашъ союзъ! И да здравствуетъ Гельветическая республика!

— *Den neuen Bürger hoch! Es lebe der neue Bürger?* отвѣчали старики и крѣпко жали мою руку; я самъ былъ нѣсколько взволнованъ! Староста пригласилъ насъ къ себѣ.

Мы вошли и сѣли за длинный столъ на скамьяхъ, на столѣ былъ хлѣбъ и сыръ. Двое крестьянъ втащили страшной величины бутылъ, больше тѣхъ классическихъ бутылей, которыя прѣбютъ цѣлыя зимы въ старинныхъ нашихъ домахъ, въ углу на лежанкѣ, наполненныя наливками и настойками. Бутылъ эта была въ плетеной корзинѣ и наполнена бѣлымъ виномъ. Староста сказалъ намъ, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутылъ онъ помнитъ лѣтъ за тридцать, и что вино это употребляется только при чрезвычайныхъ случаяхъ. Всѣ крестьяне сѣли съ нами за столъ, кромѣ двухъ, хлопотавшихъ около каедральной бутылки. Они изъ нея наливали вино въ большую кружку, а староста наливалъ изъ кружки въ стаканы; передъ каждымъ крестьяниномъ былъ стаканъ, но мнѣ онъ принесъ нарядный хрустальный кубокъ, причемъ онъ замѣтилъ канцлеру и префекту:

— Вы на этотъ разъ извините, почетный-то кубокъ ужъ нынче мы подадимъ нашему новому согражданину; съ вами мы свои люди.

Пока староста наливалъ вино въ стаканы, я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствующихъ, одѣтый не совсѣмъ по-крестьянски, былъ очень безпокоенъ, обтиралъ потъ, краснѣлъ, ему нездоровилось; когда же староста провозгласилъ мой тостъ, онъ съ какой-то отчаянной отвагой вскочилъ и, обращаясь ко мнѣ, началъ рѣчь.

— Это, шепнулъ мнѣ на ухо староста съ значительнымъ видомъ, гражданинъ учитель въ нашей школѣ. Я всталъ.

Учитель говорилъ не по-швейцарски, а по-нѣмецки, да и не

просто, а по образцамъ изъ нарочито-извѣстныхъ ораторовъ и писателей: онъ помянулъ и о Вильгельмѣ Телѣ, и о Карлѣ Смѣломъ (какъ тутъ поступила бы австрійско-александринская театральная цензура, развѣ назвала бы Вильгельма—Смѣлымъ, а Карла—Телемъ?) и при этомъ не забылъ не столько новое, сколько выразительное сравненіе неволи съ позлащенной клѣткой, изъ которой птица все-же рвется.

Крестьяне слушали его, вытянувъ загорѣлую, сморщившуюся шею и прикладывая, въ видѣ глазного зонтика, руку къ ушамъ; канцлеръ немного вздремнулъ и, чтобъ скрыть это, первый похвалилъ оратора.

Между тѣмъ староста сидѣлъ не сложа руки, а усердно наливалъ вино, провозглашая, какъ самый привычный къ дѣлу церемоніймейстеръ, тосты:

— За конфедерацію! За Фрибургъ и его радикальное правительство. За президента Шаллера!

— За моихъ любезныхъ согражданъ въ Шателѣ! предложилъ я, наконецъ, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкусъ, далеко не слабо. Всѣ встали... Староста говорилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, lieber Mitbürger, полный кубокъ, какъ мы пили за васъ, полный! Старички мои расходились, вино подогрѣло ихъ...

— Привезите вашихъ дѣтей, говорилъ одинъ.

— Да, да, подхватили другіе, пусть они посмотрятъ, какъ мы живемъ, мы люди простые, дурному не научимъ, да и мы ихъ посмотримъ.

— Непремѣнно, отвѣчалъ я, непременно.

Тутъ староста ужъ пошелъ извиняться въ дурномъ приѣмѣ, говоря, что во всемъ виноватъ канцлеръ, что ему слѣдовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда встрѣтили бы меня и проводили ружейнымъ залпомъ. Я чуть не сказалъ ему à la Louis Philippe.—«Помилуйте... да что же случилось?—Однимъ крестьяниномъ только больше въ Шателѣ?»

Мы разстались большими друзьями. Меня нѣсколько удивило, что я не видѣлъ ни одной женщины, ни старухи, ни дѣвочки, да и ни одного молодого человѣка. Впрочемъ, это было въ рабочую пору. Замѣчательно и то, что на такомъ рѣдкомъ для нихъ праздникѣ не былъ приглашенъ пасторъ.

Я имъ это поставилъ въ большую заслугу. Пасторъ непременно испортилъ бы все, сказалъ бы глупую проповѣдь, и съ своимъ чиннымъ благочестіемъ похожъ былъ бы на муху въ стаканѣ съ виномъ, которую непременно надобно вынуть, чтобъ пить съ удовольствіемъ.

Наконецъ, мы снова усѣлись въ небольшую коляску, или, вѣрнѣе, линейку канцлера, завезли префекта въ Мора, и покатались

въ Фрибургѣ. Небо было покрыто тучами, меня клонилъ сонъ и кружилось въ головѣ. Я усиливался не спать; неужели это ихъ вино? думалъ я съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ самому себѣ... Канцлеръ лукаво улыбался, а потомъ самъ задремалъ; дождь сталъ накрапывать, я покрылся пальто, сталъ было засыпать... потомъ проснулся отъ прикосновенія холодной воды... Дождь лилъ какъ изъ ведра, черныя тучи словно высѣкали огонь изъ скалистыхъ вершинъ, дальніе раскаты грома пересыпались по горамъ. Канцлеръ стоялъ въ сѣняхъ и громко смѣялся, говоря съ хозяиномъ Zöringer Hoff'a.

— Что, спрашивалъ меня хозяинъ, видно, наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы пріѣхали? спрашивалъ я, выходя весь мокрый изъ линейки.

— Это не такъ мудро, замѣтилъ канцлеръ, а вотъ что мудро, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слышали?

— Ничего.

Потомъ я узналъ, что простыя швейцарскія вина, вовсе не крѣпкія на вкусъ, получаютъ съ лѣтами большую силу и особенно дѣйствуютъ на непривычныхъ. Канцлеръ нарочно мнѣ не сказалъ этого. Къ тому же, если-бъ онъ и сказалъ, я не сталъ бы отказываться отъ добродушнаго угощенія крестьянъ, отъ ихъ тостовъ, и еще менѣе не сталъ бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступилъ, доказывается тѣмъ, что черезъ годъ, проѣздомъ изъерна въ Женеву, я встрѣтилъ на одной станціи моратскаго префекта:

— Знаете ли вы, сказалъ онъ мнѣ, чѣмъ вы заслужили особенную популярность нашихъ шательцевъ?

— Нѣтъ?

— Они до сихъ поръ рассказываютъ съ гордымъ самодовольствіемъ, какъ новый согражданинъ, выпивши ихъ вина, проспалъ грозу и доѣхалъ, не зная какъ, отъ Мора до Фрибурга, подъ проливнымъ дождемъ.

Итакъ, вотъ какимъ образомъ я сдѣлался свободнымъ гражданиномъ Швейцарской конфедераціи и напился пьянъ шательскимъ виномъ! ¹⁾

¹⁾ Не могу не прибавить, что именно этотъ листъ мнѣ пришлось поправлять въ Фрибургѣ, и въ томъ же Zöringerhoff'a. И хозяинъ все тотъ же, съ видомъ дѣйствительнаго хозяина, и столовая, гдѣ я сидѣлъ съ Саоновымъ въ 1851 году. — та же, и комната, въ которой черезъ годъ я писалъ свое завѣщаніе, дѣлая исполнителемъ его Карла Фогта, и этотъ листъ, напомнившій столько подробностей.

Пятнадцать лѣтъ!

Невольно, безотчетно беретъ страхъ...

14 октября. 1866.

ГЛАВА XLI.

П. Ж. Прудонъ.—Издание la Voix du Peuple.—Переписка.—Значеніе Прудона.—Прибавленіе.

Вслѣдъ за іюньскими баррикадами, пали и типографскіе станки. Испуганные публицисты приумолкли. Одинъ старецъ Ламене поднялся мрачной тѣнью судьи, проклялъ—герцога Альбу іюньскихъ дней—Кавеньяка и его товарищей и мрачно сказалъ народу: «А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы имѣть право на слово!»

Когда первый страхъ осаднаго положенія миновалъ и журналы снова стали оживать, они взамѣнъ насилія встрѣтили готовый арсеналъ юридическихъ кляузъ и судейскихъ уловокъ. Началась старая травля, раг форсе, редакторовъ, травля, въ которой отличались министры Людовика Филиппа. Уловка ея состоитъ въ уничтоженіи залога рядомъ процессовъ, оканчивающихся всякій разъ тюрьмой и денежной пеней. Пена берется изъ залога; пока залогъ не дополненъ,—нельзя издавать журналъ, какъ онъ пополнится—новый процессъ. Игра эта всегда успѣшна, потому что судебная власть во всѣхъ политическихъ преслѣдованіяхъ дѣйствуетъ за одно съ правительствомъ.

Ледрю - Ролленъ сначала, потомъ полковникъ Фрапполи, какъ представитель Мацциниевской партіи, заплатили большія деньги, но не спасли «Реформу». Всѣ рѣзкіе органы социализма и республики были убиты этимъ средствомъ. Въ томъ числѣ, и въ самомъ началѣ, Прудонъ Le Représentant du Peuple, потомъ его же Le Peuple. Прежде чѣмъ оканчивался одинъ процессъ, начинался другой.

Одного изъ редакторовъ, помнится Дюшена, приводили раза три изъ тюрьмы въ ассизы по новымъ обвиненіямъ, и всякій разъ снова осуждали на тюрьму и штрафъ. Когда ему въ послѣдній разъ, передъ гибелью журнала, было объявлено рѣшеніе, онъ, обращаясь къ прокурору, сказалъ: L'addition, s'il vous plait! ему въ самомъ дѣлѣ накопилось лѣтъ десять тюрьмы и тысячь пятьдесятъ штрафу.

Прудонъ былъ подъ судомъ, когда журналъ его остановился послѣ 13 іюня. Національная гвардія ворвалась въ этотъ день въ его типографію, сломала станки, разбросала буквы, какъ бы под-

тверждая именемъ вооруженныхъ мѣщанъ, что во Франціи на-
стаетъ періодъ высшаго насилія и полицейскаго самовластия.

Неукротимый гладиаторъ, упрямый безансонскій мужикъ не хотѣлъ положить оружія, и тотчасъ затѣялъ издавать новый журналъ: *La voix du Peuple*. Надобно было достать 24.000 фр. для залога. Е. Жирарденъ былъ не прочь ихъ дать, но Прудону не хотѣлось быть въ зависимости отъ него, и Сазоновъ предложилъ мнѣ внести залогъ.

Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи и, подумавши нѣсколько, согласился, хотя и зналъ, что залогъ не надолго станетъ.

Чтеніе Прудона, какъ чтеніе Гегеля, даетъ особый приѣмъ, оттачиваетъ оружіе, даетъ не результаты, а средства. Прудонъ по преимуществу диалектикъ, контроверзистъ социальныхъ вопросовъ. Французы въ немъ ищутъ эксперименталиста, и, не находя ни смѣты фаланстера, ни икарійской управы благочинія, пожимаютъ плечами и кладутъ книгу въ сторону.

Прудонъ, конечно, виноватъ, поставивъ въ своихъ «Противорѣчіяхъ» эпитафюмъ: *destruo et edificabo*; сила его не въ созданіи, а въ критикѣ существующаго. Но эту ошибку дѣлали споконъ вѣка всѣ ломавшіе старое; человѣку одно разрушеніе противно; когда онъ принимается ломать, какой-нибудь идеаль будущей постройки невольно бродитъ въ его головѣ, хотя иной разъ это пѣсня каменщика, разбирающаго стѣну.

Въ большей части социальныхъ сочиненій важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы въ настоящемъ, или сводятся на какое-нибудь одностороннее рѣшеніе, а то, что, достигая до нихъ, становится *вопросомъ*. Соціализмъ касается не только того, что было рѣшено прежнимъ эмпирически-религиознымъ бытомъ, но и того, что прошло черезъ сознаніе односторонней науки; не только до юридическихъ выводовъ, основанныхъ на традиціонномъ законодательствѣ, но и до выводовъ политической экономіи. Онъ встрѣчается съ рациональнымъ бытомъ эпохи гарантій и мѣщанскаго экономическаго устройства, какъ съ своей непосредственностью, точно такъ, какъ политическая экономія относилась къ теоретически-феодальному государству.

Въ этомъ отрицаніи, въ этомъ улечувиваніи стараго общественнаго быта страшная сила Прудона; онъ такой же поэтъ диалектики, какъ Гегель, съ той разницей, что одинъ держится на покойной выси научнаго движенія, а другой втолкнулъ въ сумятицу народныхъ волненій, въ рукопашный бой партій.

Прудонѣмъ начинается новый рядъ французскихъ мыслителей. Его сочиненія составляютъ переворотъ не только въ исторіи социализма, но и въ исторіи французской логики. Въ диалек-

гической дюжести своей онъ сильнѣе и свободнѣе самыхъ талантливыхъ французовъ. Люди чистые и умные, какъ Шерь Леру и Консидеранъ, не понимаютъ ни его точки отправленія, ни его метода. Они привыкли играть впередъ подтасованными идеями, ходить въ извѣстномъ нарядѣ, по торной дорогѣ, къ знакомымъ мѣстамъ. Прудонъ часто ломится цѣликомъ, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалѣя ни раздавить что попадется, ни зайти слишкомъ далеко. У него нѣтъ ни той чувствительности, ни того риторическаго, революціоннаго цѣломудрія, которое у французовъ замѣняетъ протестантскій піэтизмъ... Отъ того онъ и остается одинокимъ между своими, болѣе пугая, чѣмъ убѣждая своей силой.

Говорятъ, что у Прудона германскій умъ. Это неправда, напротивъ, его умъ совершенно французскій; въ немъ тотъ родоначальный галло-франкскій геній, который является въ Рабле, въ Монтенѣ, въ Вольтерѣ и Дидро... даже въ Паскалѣ. Онъ только усвоилъ себѣ діалектическій методъ Гегеля, какъ усвоилъ себѣ и всѣ приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философія, ни католическое богословіе не дали ему ни содержанія, ни характера,—для него это орудія, которыми онъ пытается свой предметъ, и орудія эти онъ такъ приладилъ и обтесалъ по-своему, какъ приладилъ французскій языкъ къ своей сильной и энергической мысли. Такіе люди слишкомъ твердо стоятъ на своихъ ногахъ, чтобы чему-нибудь покориться, чтобы дать себя заарканить.

— «Мнѣ очень нравится ваша система», сказалъ Прудону одинъ англійскій туристъ.

— Да у меня нѣтъ никакой системы,—отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Прудонъ, и былъ правъ.

Это-то именно и сбиваетъ его соотечественниковъ, привыкшихъ къ нравоученіямъ на концѣ басни, къ систематическимъ формуламъ, оглавленіямъ, къ отвлеченнымъ обязательнымъ рецептамъ.

Прудонъ сидитъ у кровати больного и говоритъ, что онъ очень плохъ потому и потому. Умиравшему не можешь, строя идеальную теорію о томъ, какъ онъ могъ бы быть здоровъ, не будь онъ боленъ, или предлагая ему лекарства, превосходныя сами по себѣ, но которыхъ онъ принять не можетъ или которыхъ совсѣмъ нѣтъ налицо.

Наружные признаки и явленія финансоваго міра служатъ для него такъ, какъ зубы животныхъ служили для Кювье, лѣстницей, по которой онъ спускается въ тайники общественной жизни: онъ по нимъ изучаетъ силы, влекущія больное тѣло къ разло-

женію. Если онъ послѣ каждаго наблюденія провозглашаетъ новую побѣду смерти, развѣ это его вина? Тутъ нѣтъ родныхъ, которыхъ страшно испугать, мы сами умираемъ этой смертью. Толпа съ негодованіемъ кричитъ: «лекарства! лекарства! или молчи о болѣзни!» Да зачѣмъ же молчать? Только въ самовластныхъ правленіяхъ запрещаютъ говорить о неурожаяхъ, заразахъ и о числѣ побитыхъ на войнѣ. Лекарство, видно, нелегко находится; мало ли какіе опыты дѣлали во Франціи со времени неумѣренныхъ кровопусканій 1793: ее лечили побѣдами и усиленными моціонами, заставляя ходить въ Египетъ, въ Россію, ее лечили парламентаризмомъ и ажіотажемъ, маленькой республикой и маленькимъ Наполеономъ,—что же, лучше, что ли, стало? Самъ Прудонъ попробовалъ было разъ свою патологию и срѣззался на *Народномъ банкѣ*, несмотря на то, что, сама по себѣ взятая, идея его вѣрна. По несчастію, онъ въ заговариваніе не вѣрнѣе, а то и онъ причитывалъ бы ко всему: Союзъ народовъ! Союзъ народовъ! Всеобщая республика! Всемирное братство! *grande armée de la démocratie!* Онъ не употребляетъ этихъ фразъ, не щадитъ революціонныхъ старовѣровъ, и зато французы его считаютъ эгоистомъ, индивидуалистомъ, чуть не ренегатомъ и измѣнникомъ.

Я помню сочиненія Прудона, отъ его разсужденія «О ответственности» до «Биржевого руководства»; многое измѣнилось въ его мысляхъ,—еще бы, прожить такую эпоху, какъ наша, и свистать тотъ же дуэтъ а молл'ный, какъ Платонъ Михайловичъ въ «Горе отъ ума». Въ этихъ перемѣнахъ именно и бросается въ глаза внутреннее единство, связующее ихъ отъ диссертациі, написанной на школьную задачу безансонской академіи, до недавно вышедшаго *carmen horrendum* биржевого распутства, тотъ же порядокъ мыслей, развиваясь, видоизмѣняясь, отражая событія, идетъ и черезъ «Противорѣчія» политической экономіи, и черезъ его «Исповѣдь», и черезъ его «журналъ».

Реальная истина должна находиться подъ вліяніемъ событій, отражать ихъ, оставаясь вѣрною себѣ, иначе она не была бы *живой истиной*, а истиной вѣчной, успокоившейся отъ тревоженія міра сего—въ мертвой тишинѣ застоя ¹⁾.

Гдѣ и въ какомъ случаѣ, случалось мнѣ спрашивать, Прудонъ измѣнилъ органическимъ основамъ своего воззрѣнія? Мнѣ всякій разъ отвѣчали его политическими ошибками, его прома-

¹⁾ Въ новомъ сочиненіи Стюарта Милля *On Liberty*, онъ приводитъ превосходное выраженіе объ этихъ разъ навсегда рѣшенныхъ истинахъ: «the deep slumber of a decided opinion».

хамъ въ революціонной дипломатіи. За политическія ошибки онъ, какъ журналистъ, конечно, повиненъ отвѣтомъ, но и тутъ онъ виноватъ не передъ собой; напротивъ, часть его ошибокъ происходила отъ того, что онъ вѣрилъ своимъ началамъ больше, чѣмъ партія, къ которой онъ, по неволѣ, принадлежалъ, и съ которой онъ не имѣлъ ничего общаго, а былъ собственно соединенъ только ненавистью къ общему врагу.

Политическая дѣятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую онъ облакалъ во всѣ доспѣхи своей діалектики. Совсѣмъ напротивъ, вездѣ ясно видно, что политика, въ смыслѣ стараго либерализма и конституціонной республики, стоитъ у него на второмъ планѣ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дѣлать уступки, потому что не приписываетъ особой важности формамъ, которыя, по его мнѣнію, не существенны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоятъ всѣ, оставившіе христіанскую точку зрѣнія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма нѣсколько посвободнѣе католическаго самодержавія, но принимать къ сердцу вопросъ объ исповѣданіи и церкви не могу; я вслѣдствіе этого надѣлаю, вѣроятно, ошибокъ и уступокъ, которыхъ избѣжить всякій, самый пошлый бакалавръ богословія или приходскій попъ.

Безъ сомнѣнія, не мѣсто было Прудона въ Народномъ собраніи, такъ, какъ оно было составлено, и личность его терялась въ этомъ мѣщанскомъ вертепѣ. Прудонъ въ своей «Исповѣди революціонера» говоритъ, что онъ не умѣлъ найтись въ Собраніи. Да что же могъ тамъ дѣлать человекъ, который Марастовой конституціи, этому кислому плоду семимѣсячной работы семисотъ головъ, сказалъ: «Я подаю голосъ противъ вашей конституціи, не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституція».

Парламентская чернь отвѣчала на одну изъ его рѣчей: «Рѣчь въ «Монитеръ», оратора въ сумасшедшій домъ!» Я не думаю, чтобы въ людской памяти было много подобныхъ парламентскихъ анекдотовъ, съ тѣхъ поръ, какъ александрійскій архіерей возилъ съ собой на вселенскіе соборы какихъ-то послушниковъ, вооруженныхъ дубинами, и до вашингтонскихъ сенаторовъ, доказывающихъ другъ другу палкой пользу рабства.

Но даже и тутъ Прудону удавалось становиться во весь ростъ, и оставлять середь перебранокъ яркій слѣдъ.

Тьеръ, отвергая финансовый проектъ Прудона, сдѣлалъ какой-то намекъ о нравственномъ растлѣніи людей, распространяющихъ такія ученія. Прудонъ взошелъ на трибуну и съ

своимъ грознымъ и сутуловатымъ видомъ коренастаго жителя полей, сказалъ улыбающемуся старичишкѣ: «Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вамъ уже сказалъ это въ комитетѣ. Если же вы будете продолжать, я—я не вызову васъ на дуэль (Тьеръ улыбнулся). Нѣтъ, мнѣ мало вашей смерти, этимъ ничего не докажешь. Я предложу вамъ другой бой. Здѣсь, съ этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потому пусть расскажетъ свою жизнь мой противникъ!» Глаза всѣхъ обратились на Тьера: онъ сидѣлъ нахмуренный и улыбки со-всѣмъ не было, да и отвѣта тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудонъ, глядя съ презрѣніемъ на защитниковъ религіи и семьи, сошелъ съ трибуны.

Съ февральской революціи Прудонъ предсказывалъ то, къ чему Франція пришла. На тысячу ладовъ повторялъ онъ: берегитесь, не шутите, «это не Катилина у воротъ вашихъ, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженныхъ челюстей, косы, клепсидры—всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затменіе, послѣобѣденный сонъ великаго народа!» Наконецъ, разглядѣли многіе, что дѣло плохо. Прудонъ унывалъ менѣе другихъ, пугался менѣе, потому что предвидѣлъ: тогда его обвинили не только въ безчувственности, но и въ томъ, что онъ накликалъ бѣду. Говорятъ, что китайскій императоръ таскаетъ ежегодно за хохоль придворнаго звѣздочета, когда тотъ ему докладываетъ, что дни начинаютъ убывать.

Геній Прудона дѣйствительно антипатиченъ французскимъ риторамъ, его языкъ оскорбляетъ ихъ. Революція развила свой пуританизмъ, узкій, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергаютъ написанное не по формѣ, точно такъ, какъ русскіе судьи. Ихъ критика останавливается передъ ихъ символическими книгами, въ родѣ «Contrat Social», «Объявленія правъ человѣка». Люди вѣры—они ненавидятъ анализъ и сомнѣнія; люди заговоровъ—они все дѣлаютъ сообща и изъ всего дѣлаютъ интересъ партіи. Независимый умъ имъ ненавистенъ, какъ мятежникъ, они даже въ прошедшемъ не любятъ самобытныхъ мыслей. Луи-Бланъ почти досадуетъ на эксцентрическій геній Монтеня¹⁾. На этомъ гальскомъ чувствѣ, стремящемся снять личность стадомъ, основано ихъ пристрастіе къ *приравниванію*, къ единству военнаго строя, къ централизаціи, т. е. къ деспотизму.

¹⁾ «Historie de la Révolution Française».

Кощунство француза и рѣзкость сужденій больше шалость, баловство, удовольствіе подразнить, чѣмъ потребность разбора, чѣмъ сосущій душу скептицизмъ. У него бездна маленькихъ предразсудковъ, крошечныхъ религій,—за нихъ онъ стоитъ съ запальчивостію Донъ-Кихота, съ упрямствомъ раскольника. Оттого-то они и не могутъ простить ни Монтеню, ни Прудону ихъ *вольность и непочтительность* къ общепринятымъ кумирамъ. Они, какъ петербургская цензура, позволяютъ шутить надъ титулярнымъ совѣтникомъ, но тайнаго не тронь. Въ 1850 г. Е. Жирарденъ напечаталъ въ «*Presse*» смѣлую и новую мысль, что основы права не вѣчны, а идутъ, измѣняясь съ историческимъ развитіемъ. Что за шумъ возбудила эта статья: брань, крикъ, обвиненія въ безнравственности продолжались, съ легкой руки «*Gazette de France*», мѣсяцы.

Участвовать въ восстановленіи такого органа, какъ «*Peuple*», стоило пожертвованій, я написалъ Саонову и Хоецкому, что готовъ внести залогъ.

До того времени мои сношенія съ Прудономъ были ничтожны; я встрѣчалъ его раза два у Бакунина, съ которымъ онъ былъ очень близокъ. Бакунинъ жилъ тогда съ А. Рейхелемъ въ чрезвычайно скромной квартирѣ за Сеной, въ rue de Bourgogne. Прудонъ часто приходилъ туда слушать Рейхелева Ветховена и Бакунинскаго Гегеля,—философскіе споры длились дольше симфоній. Они напоминали знаменитыя всенощныя бдѣнія Бакунина съ Хомяковымъ у Чаадаева, у Елагиной, о томъ же Гегелѣ. Въ 1847 году Карль Фогтъ, жившій тоже въ rue de Bourgogne и тоже часто посѣщавшій Рейхеля и Бакунина, наскучивъ какъ-то вечеромъ слушать безконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашелъ за Рейхелемъ, имъ обоемъ надобно было идти къ Jardin des Plantes; его удивилъ, несмотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинетѣ Бакунина: онъ пріотворилъ дверь—Прудонъ и Бакунинъ сидѣли на тѣхъ же мѣстахъ, передъ потухшимъ каминомъ, и оканчивали въ краткихъ словахъ начатый вчера споръ.

Боясь сначала смиренной роли нашихъ соотечественниковъ и патронажа великихъ людей, я не старался сблизаться даже съ самимъ Прудономъ, и, кажется, былъ не совершенно неправъ. Письмо Прудона ко мнѣ, въ отвѣтъ на мое, было учтиво, но холодно и съ нѣкоторой сдержанностью.

Мнѣ хотѣлось съ самаго начала показать ему, что онъ не имѣетъ дѣла ни съ сумасшедшимъ prince russe, который изъ революціоннаго дилетантизма, а вдвое того изъ хвастовства дастъ деньги, ни съ правовѣрнымъ поклонникомъ французскихъ пуб-

лицистовъ, глубоко благодарнымъ за то, что у него берутъ 24.000 франковъ, ни, наконецъ, съ какимъ-нибудь тупоумнымъ *bailleur de fonds*, который соображаетъ, что внести залогъ за такой журналъ, какъ «*Voix du Peuple*», *серьезное* помѣщеніе денегъ. Мнѣ хотѣлось показать ему, что я очень знаю, *что дѣлаю*, что имѣю свою положительную цѣль, а потому хочу имѣть положительное вліяніе на журналъ; принявши безусловно все то, что онъ писалъ о деньгахъ, я требовалъ, во-первыхъ, права помѣщать статьи свои и не свои, во-вторыхъ, права завѣдывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторовъ для нея, корреспондентовъ и пр., требовать для послѣднихъ плату за помѣщенные статьи; это можетъ показаться страннымъ, но я могу увѣрить, что «*National*» и «*Reforme*» открыли бы огромные глаза, если-бы кто-нибудь изъ иностранцевъ смѣлъ спросить денегъ за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помѣшательство, какъ-будто иностранцу видѣть себя въ печати въ *парижскомъ* журналѣ не есть:

Lohn der reichlich lohnet.

Прудонъ согласился на мои требованія, но все-же они покорили его. Вотъ что онъ писалъ мнѣ 29 августа 1849 года, въ Женеву: «Итакъ, дѣло рѣшено: подъ моею общей дирекціей вы имѣете участіе въ изданіи журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *безъ всякаго контроля*, кромѣ того, къ которому редакцію обязываетъ уваженіе къ своимъ мнѣніямъ и страхъ судебной отвѣтственности. Согласные въ идеяхъ, мы можемъ только расходиться въ выводахъ, что же касается до обсуживанія заграничныхъ событій, мы ихъ совсѣмъ предоставляемъ вамъ. Вы и мы миссіонеры одной мысли. Вы увидите нашъ путь по общей полемикѣ, и вамъ надобно будетъ держаться его; я увѣренъ, что мнѣ никогда не придется *поправлять ваши мнѣнія*; я это счелъ бы величайшимъ несчастіемъ, скажу откровенно, весь успѣхъ журнала зависитъ отъ нашего согласія. Надобно вопросъ демократическій и соціальныи поднять на высоту предприятия европейской лиги. *Предположить*, что мы не будемъ согласны другъ съ другомъ, значитъ предположить, что у насъ недостаетъ необходимыхъ условій для изданія журнала и *что намъ было бы лучше молчать*». На эту строгую депешу я отвѣчалъ высылкою 24.000 фр. и длиннымъ письмомъ совершенно дружескимъ, но твердымъ; я говорилъ, насколько я теоретически согласенъ съ нимъ, прибавивъ, что я, какъ настоящій скпѣзъ, съ радостію вижу, какъ разваливается старый міръ, и думаю, что наше призваніе возвѣщать ему его близкую кончину. «*Ваши со-*

отечественники далеки от того, чтобы раздѣлять эти идеи. Я знаю одного свободного француза,—это васъ. Ваши революціонеры—консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негаци и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франціи, что нѣтъ спасенія внутри разваливающагося зданія, что и спасать изъ него нечего, что самыя его понятія о свободѣ и революціи проникнуты консерватизмомъ и реакціей. Дѣйствительно, политическіе республиканцы составляютъ не больше какъ одну изъ варіацій на ту же конституціонную тему, на которую играютъ свои варіаціи Гизо, Одилонъ-Барро и др. Вотъ этотъ взглядъ слѣдовало бы проводить въ разборѣ послѣднихъ европейскихъ событій, преслѣдовать реакцію, католицизмъ, монархизмъ не въ ряду нашихъ враговъ—это чрезвычайно легко,—но въ собственномъ нашемъ станѣ. Надобно обличить круговую поруку демократовъ и власти. Если мы не боимся затрогивать побѣдителей, то не будемъ бояться изъ ложной сентиментальности затрогивать и побѣжденныхъ.

«Я глубоко убѣжденъ, что если леквизиція республики не убьетъ нашъ журналъ, это будетъ лучший журналъ въ Европѣ».

Я и теперь въ этомъ убѣжденъ. Но какъ же мы съ Прудонномъ могли думать, что вовсе нецеремонное правительство Бонапарта допустить такой журналъ? Это трудно объяснить.

Прудонъ былъ доволенъ моимъ письмомъ и 15 сентября писалъ мнѣ изъ Консержеріи. «Я очень радъ, что встрѣтился съ вами на одномъ или на одинаковомъ трудѣ, я тоже написалъ нѣчто въ родѣ философіи ¹⁾ подѣ заглавіемъ «Исповѣдь революціонера». Вы въ ней, можетъ, не найдете вашего варварскаго задора (*verve barbare*), къ которому васъ пріучила нѣмецкая философія. Не забывайте, что я пишу для французовъ, которые со всѣмъ своимъ революціоннымъ пыломъ, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Какъ бы ограниченъ ни былъ мой взглядъ, все-же онъ на сто тысячъ туазовъ выше самыхъ высокихъ вершинъ нашего журнальнаго, академическаго и литературнаго міра; меня еще станеть на десять лѣтъ, чтобы быть великаномъ между ними.

«Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе насчетъ такъ называемыхъ республиканцевъ; разумѣется, это одинъ видъ общей породы доктринеровъ. Что касается этихъ вопросовъ, намъ не въ чемъ убѣждать другъ друга. Во мнѣ и въ моихъ сотрудникахъ вы найдете людей, которые пойдутъ съ вами рука въ руку...

«Я также думаю, что методическій, мирный шагъ, незамѣт-

¹⁾ Я тогда напечаталъ «*Vom andern Ufer*».

ными переходами, какъ того хотятъ экономическія науки и философія исторіи, не возможенъ больше для революціи; намъ надобно дѣлать страшные скачки. Но, въ качествѣ публицистовъ, возбѣщая грядущую катастрофу, намъ не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то насъ возненавидятъ и будутъ гнать, а намъ надобно *жить*»...

Журналъ пошелъ удивительно. Прудонъ изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздраженія, которое тюрьма раздуваетъ.

«Кто вы такой, г. президентъ? пишетъ онъ въ одной статьѣ, говоря о Наполеонѣ, скажите—мужчина, женщина, гермафродитъ, звѣрь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журналъ можетъ держаться!

Подписчиковъ было не много, но уличная продажа была велика, въ день продавалось отъ 35.000 до 40.000 экземпляровъ. Расходъ особенно замѣчательныхъ номеровъ, напр. тѣхъ, въ которыхъ помѣщались статьи Прудона, былъ еще больше; редакция печатала ихъ отъ 50.000 до 60.000 и часто на другой день экземпляры продавались по *франку*, вмѣсто одного су ¹⁾).

Но совсѣмъ этимъ къ 1 марта, т. е. черезъ полгода, не только въ кассѣ не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафовъ. Гибель была неминуема. Прудонъ значительно ускорилъ ее. Это случилось такъ. Разъ я засталъ у него въ С. Пелажи д'Алтонъ-Ше и двухъ изъ редакторовъ. Д'Алтонъ-Ше—тотъ перъ Франціи, который скандализовалъ Пакье и испугалъ всѣхъ перовъ, отвѣчая съ трибуны на вопросъ: «да развѣ вы не католикъ?»—«Нѣтъ, но еще больше, я вовсе не христіанинъ, да и не знаю, действъ ли». Онъ говорилъ Прудону, что послѣдніе нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудонъ разсматривалъ ихъ и становился все угрюмѣе, потомъ, совершенно разсерженный, обратился къ редакторамъ: «Что же это значить? Пользуясь тѣмъ, что я въ тюрьмѣ, вы спите тамъ въ редакціи. Нѣтъ, господа, эдакъ я откажусь отъ всякаго участія и напечатаю мой отказъ, я не хочу, чтобъ мое имя таскали въ грязи, у васъ надобно стоять за спиной, смотрѣть за каждой строкой. Публика принимаетъ это за мой журналъ, нѣтъ, этому надобно положить конецъ. Завтра я пришлю статью, чтобъ загладить дурное дѣйствіе вашего маранья, и покажу, какъ я разумѣю духъ, въ которомъ долженъ быть нашъ органъ». Видя его раздраженіе, можно было ожидать, что статья бу-

¹⁾ Мой отвѣтъ на рѣчь Доново Кортеса, отпечатанный тысячь въ 50 экземпляровъ, вышелъ весь п, когда я попросилъ черезъ два, три дня себѣ нѣсколько экземпляровъ, редакция принуждена была скупить ихъ по книжнымъ лавкамъ.

дѣть не изъ самыхъ умѣренныхъ, но онъ превзошелъ наши ожиданія, его *Vive l'Empereur* былъ дивирамбъ ироніи, ироніи ядовитой, страшной.

Сверхъ новаго процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели въ скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, въ ней забрали окно до половины досками, чтобъ нельзя было ничего видѣть, кромѣ неба, не велѣли къ нему пускать никого, къ дверямъ поставили особаго часового. И эти средства, не приличныя для исправленія шестнадцатилѣтняго шалуна, употребляли семь лѣтъ тому назадъ съ однимъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка! Не поумнѣли люди со времени Сократа, не поумнѣли со времени Галилея, только стали мельче. Это неуваженіе къ генію, впрочемъ, явленіе новое, возобновленное въ послѣднее десятилѣтіе. Со времени Возрожденія талантъ становится до нѣкоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали въ темную комнату, не ставили въ уголъ; такихъ людей иногда преслѣдуютъ и убиваютъ, но не унижаютъ мелочами, ихъ посылаютъ на эшафотъ, но не въ рабочій домъ.

Буржуазно-императорская Франція любитъ равенство.

Гонимый Прудонъ еще рванулся въ своихъ цѣпяхъ, еще сдѣлать усиліе издавать *Voix du Peuple* въ 1850; но этотъ опытъ былъ тотчасъ задушенъ. Мой залогъ былъ схваченъ до копейки. Пришлось замолчать единственному человѣку во Франціи, которому было еще что сказать.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Прудономъ въ С. Пелажи; меня высылали изъ Франціи, ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы съ нимъ, не было ни тѣни близкой надежды. Прудонъ сосредоточенно молчалъ, досада кипѣла во мнѣ; у обоихъ было много думъ въ головѣ, но говорить не хотѣлось.

Я много слышалъ о его жесткости, *rudesse*, нетерпимости, на себѣ я ничего подобнаго не испыталъ. То, что *мягкіе* люди называютъ его жесткостью, были упругія мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли, въ гнѣвѣ онъ напоминалъ сердящагося Лютера или Кромвеля, смѣющагося надъ Круціономъ. Онъ зналъ, что я его понимаю, зналъ и то, какъ немногіе его понимаютъ, и цѣнилъ это. Онъ зналъ, что его считали за человѣка мало экспансивнаго, и, услышавъ отъ Мишле о несчастіи, постигшемъ мою мать и Колю, онъ написалъ мнѣ изъ С. Пелажи между прочимъ: «Неужели судьба еще и съ этой стороны должна добивать насъ. Я не могу придти въ себя отъ этого ужаснаго происшествія. Я васъ люблю и *глубоко ношу васъ* здѣсь, въ этой груди, которую такъ *многіе считаютъ каменной*».

Съ тѣхъ поръ я не видалъ его ¹⁾; въ 1851 г., когда я, по милости Леона Фоше, приѣзжалъ въ Парижъ на нѣсколько дней, онъ былъ отосланъ въ какую-то центральную тюрьму. Черезъ годъ я былъ проѣздомъ и тайкомъ въ Парижѣ, Прудонъ тогда лечился въ Безансонѣ.

У Прудона есть отшибленный уголь, и тутъ онъ неисправимъ, тутъ предѣлъ его личности, и, какъ всегда бываетъ, за нимъ онъ консерваторъ и человѣкъ преданія. Я говорю о его воззрѣнїи на семейную жизнь и на значеніе женщины вообще. «Какъ счастливъ нашъ N.—говаривалъ Прудонъ, шутя,—у него жена не настолько глупа, чтобъ не умѣла приготовить хорошаго pot au feu, и не настолько умна, чтобъ толковать о его статьяхъ. Это все, что надобно для домашняго счастья».

Въ этой шуткѣ Прудонъ, смѣясь, выразилъ серьезную основу своего воззрѣнїа на женщину. Понятїя его о семейныхъ отношенїяхъ грубы и реакционны, но и въ нихъ выражается не мѣщанскій элементъ горожанина, а скорѣе упорное чувство сельскаго pater familias'a, гордо считающаго женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора послѣ того, какъ это было написано, Прудонъ издалъ свое большое сочиненіе «*O справедливости въ церкви и революціи*».

Книгу эту, за которую одичалая Франція снова осудила его на три года тюрьмы, прочиталъ я внимательно и закрылъ третій томъ, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое..... тяжкое время!..... Разлагающій воздухъ его одуряетъ сильнѣйшихъ.....

И этотъ «яркій боецъ» не выдержалъ, надломился; въ его послѣднемъ трудѣ я вижу ту же мощную діалектику, тотъ же размахъ, но она приводитъ уже его къ прежде задуманнымъ результатамъ; она уже не свободна въ послѣднемъ словѣ. Я подъ конецъ книги слѣдилъ за Прудономъ, какъ Кентъ слѣдилъ за королемъ Лиромъ, ожидая, какъ онъ образумится, но онъ заговаривался больше и больше,—такіе же припадки нетерпимости, необузданной рѣчи, какъ у Лира, и такъ же «Every inch» облачаетъ талантъ, но..... талантъ «тронутый». И онъ бѣжитъ съ трюпомъ, только не дочери, а матери, которую считаетъ живой! ²⁾

Романская мысль, религіозная въ самомъ отрицанїи, суевѣрная въ сомнѣнїи, отвергающая одни авторитеты во имя другихъ, рѣдко погружалась далѣе, глубже in medias res дѣйствительности, рѣдко такъ діалектически смѣло и вѣрно снимала съ себя всѣ

¹⁾ Послѣ писаннаго, я видѣлся съ нимъ въ Брюсселѣ.

²⁾ Я долею измѣнилъ мое мнѣніе объ этомъ сочиненїи Прудона (1866).

пути, какъ въ этой книгѣ. Она отрѣшилась въ ней не только отъ дуализма религіи, но и отъ ухищреннаго дуализма философіи; она освободилась не только отъ небесныхъ привидѣній, но и отъ земныхъ; она перешагнула черезъ сентиментальную апотеозу человѣчества, черезъ фатализмъ прогресса, у ней нѣтъ тѣхъ неизмѣняемыхъ литій о братствѣ, демократіи и прогрессѣ, которыя такъ жалко утомляютъ среди раздора и насилія. Прудонъ пожертвовалъ пониманью революціи ея идолами, ея языкомъ и перенесъ нравственность на единственную реальную почву,—грудь человѣческую, признающую одинъ разумъ и никакихъ кумировъ, «развѣ его».

И полѣ всего этого, великій иконоборецъ испугался освобожденной личности человѣка, потому что, освободивъ ее отвлеченно, онъ впалъ снова въ метафизику, придавъ ей *небывалую волю*, не сладилъ съ нею и повелъ на закланіе богу безчеловѣчному, холодному богу *справедливости*, богу равновѣсія, тишины, покоя, богу браминовъ, ищущихъ потерять все личное и распуститься, опочить въ безконечномъ мірѣ ничтожества.

На пустомъ алтарѣ поставлены *вѣсы*. Это будутъ новые каудинскіе фурукулы для человѣчества.

«Справедливость», къ которой онъ стремится, даже не художественная гармонія Платоновой республики, не *изящное* уравновѣживаніе страстей и жертвъ. Гальскій трибунъ ничего не беретъ изъ «анархической и легкомысленной Греціи», онъ стойчески попираетъ ногами личныя чувства, а не ищетъ согласовать ихъ съ требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работникъ безъ выслуги, она несетъ службу и должна стоять на караулѣ до смѣтны смерти, она должна морить въ себѣ все лично-страстное, все внѣшнее долгу, потому что *она не она*, «я смыслъ, ея сущность внѣ ея; она органъ справедливости, она *предназначена* носить въ мученіяхъ идею и водворить ее на свѣтъ для спасенія государства».

Семья, первая ячейка общества, первая ясли справедливости, осуждена на вѣчную, безвыходную работу: она должна служить жертвенникомъ очищенія отъ личнаго, въ ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья въ современной мастерской—идеаль Прудона. Христіанство слишкомъ извѣжило семейную жизнь, оно предпочло Марію—Марей, мечтательницу—хозяйкѣ, оно простило согрѣшившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а въ Прудоновой семьѣ именно надобно мало любить. И это не все: христіанство гораздо выше ставитъ личность, чѣмъ семейныя отношенія ея. Оно сказало сыну: «брось отца и мать и иди за мной», сыну, котораго слѣдуетъ, во имя *воплощенія справедливости*, снова заковать въ

колодки безусловной отцовской власти, сыну, который не может имѣть воли при отцѣ, пуще всего въ выборѣ жены. Онъ долженъ закалиться въ рабствѣ, чтобы въ свою очередь сдѣлаться тираномъ дѣтей, рожденныхъ безъ любви, по долгу, для продолженія семьи. Въ этой семьѣ бракъ будетъ нерасторгаемъ, но зато холодный какъ ледъ; бракъ собственно побѣда надъ любовью: чѣмъ меньше любви между женой-кухаркой и мужемъ-работникомъ, тѣмъ лучше. И эти старыя, изношенныя пугала, изъ гегелизма правой стороны, пришлось-то мнѣ еще разъ увидѣть подъ перомъ Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвѣта исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный трудъ современнаго пролетарія, трудъ, отъ котораго, по крайней мѣрѣ, была свободна аристократическая семья древняго Рима, основанная на рабствѣ; нѣтъ больше ни поэзіи церкви, ни бреда вѣры, ни упованья рая, даже и стиховъ къ тѣмъ порамъ «не будутъ больше писать», по увѣренію Прудона, зато работа будетъ «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность дѣйствія, за независимость можно пожертвовать религіознымъ убаюкиваніемъ, но пожертвовать всѣмъ для воплощенія идеи справедливости,—что это за вздоръ!

Человѣкъ осужденъ на работу, онъ долженъ работать до тѣхъ поръ, пока опустится рука, сынъ вынетъ изъ холодныхъ пальцевъ отца стругъ или молотъ и будетъ продолжать вѣчную работу. Ну, а какъ въ ряду сыновей найдется одинъ поумнѣе, который положить долото и спросить: «Да изъ чего же мы это выбиваемся изъ силъ?»—«Для торжества справедливости», скажетъ ему Прудонъ. А новый Каинъ отвѣтитъ ему: «Да кто же мнѣ поручилъ торжество справедливости?»—«Какъ кто?—развѣ все призваніе твое, вся твоя жизнь не есть воплощеніе справедливости?»—«Кто же поставилъ эту цѣль? скажетъ на это Каинъ. Это слишкомъ старо, Бога нѣтъ, а заповѣди остались. Справедливость не есть мое призваніе, работать не долгъ, а необходимость, для меня семья совсѣмъ не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развитія. Вы хотите держать меня въ рабствѣ, а я бунтую противъ васъ, противъ вашего безмѣна, такъ, какъ вы всю вашу жизнь бунтовали противъ капитала, штыковъ, церкви, такъ, какъ всѣ французскіе революціонеры бунтовали противъ феодальной и католической традиціи. Или вы думаете, что послѣ взятія Бастиліи, послѣ террора, послѣ войны и голода, послѣ короля мѣщанина и мѣщанской республики, я повѣрю вамъ, что Ромео не имѣлъ правъ любить Джульету за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вѣковую ссору, и что я ни въ тридцать, ни въ сорокъ лѣтъ не могу выбрать себѣ подружку безъ позволенія отца, что измѣнившую женщину нужно

казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете съ вашей юстиціей?»

А мы съ своей діалектической стороны на подмогу Каину прибавили бы, что все понятіе о *цѣли* у Прудона совершенно непоследовательно. Телеологія, это—тоже теологія, это февральская республика, т. е. та же іюльская монархія, но безъ Людовика Фялиппа. Какая же разница между предопредѣленной цѣлесообразностью и промыслом?¹⁾

Прудонъ, черезъ край освободивши личность, испугался, взглянувъ на своихъ современниковъ, и чтобъ эти каторжные, ticket of leave, не надѣлали бѣдъ, онъ ловить ихъ въ капканъ римской семьи.

Въ растворенныя двери реставрированнаго атриума, безъ ларя и пенатъ, видится уже не *Анархія*, не уничтоженіе власти, государства, а строгій чинъ, съ централизаціей, съ вмѣшательствомъ въ семейныя дѣла, съ наслѣдствомъ и съ лишеніемъ его за наказаніе; всѣ старые римскіе грѣхи выглядываютъ съ ними изъ щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведетъ естественно за собой античное отечество съ своимъ ревнивымъ патріотизмомъ, этой свирѣпой добродѣтелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чѣмъ всѣ пороки вмѣстѣ.

Человѣкъ, прикрѣпленный къ семьѣ, дѣлается снова крѣпокъ землѣ. Его движенія очерчены, онъ пустилъ корни въ свое поле, онъ только на немъ то, что онъ есть: «французъ, живущій въ Россіи, говоритъ Прудонъ, русскій, а не французъ». Нѣтъ больше ни колоній, ни заграничныхъ факторій, живи каждый у себя...

«Голландія не погибнетъ, сказалъ Вильгельмъ Оранскій въ страшную годину, она сядетъ на корабли и уѣдетъ куда-нибудь въ Азію, а здѣсь мы спустимъ плотины». Вотъ какіе народы бываютъ свободны.

Такъ и англичане; какъ только ихъ начинаютъ тѣснить, они плывутъ за океанъ, и тамъ заводятъ юную и болѣе свободную Англію. А уже, конечно, нельзя сказать объ англичанахъ, чтобъ они или не любили своего отечества, или чтобъ они были не національны. Расплывающаяся во всѣ стороны Англія засѣлила полміра, въ то время, какъ скудная соками Франція—одни колоніи потеряла, а съ другими не знаетъ что дѣлать. Онѣ ей и ненужны; Франція довольна собой и лѣпится все больше и больше къ своему средоточію, а средоточіе къ своему господину. Какая же независимость можетъ быть въ такой странѣ?

¹⁾ Самъ Прудонъ сказалъ: «Rein ne ressemble plus a la préméditation, que la logique des faits».

А, съ другой стороны, какъ же бросить Францію, la belle France? «Развѣ она и теперь не самая свободная страна въ мѣрѣ, развѣ ея языкъ—не лучший языкъ, ея литература—не лучшая литература, развѣ ея силлабическій стихъ—не звучнѣе греческаго гекзаметра!» Къ тому же ея всемирный геній усваиваетъ себѣ и мысль, и твореніе всѣхъ временъ и странъ: «Шекспиръ и Кантъ, Гёте и Гегель—развѣ не сдѣлались своими во Франціи?» И еще больше: Прудонъ забылъ, что она ихъ исправила и одѣла, какъ помѣщички одѣваютъ мужиковъ, когда ихъ берутъ во дворъ.

Прудонъ заключаетъ свою книгу католической молитвой, положенной на социализмъ; ему стоило только разстричь нѣсколько церковныхъ фразъ и прикрыть ихъ, вмѣсто клобука, фригійской шапкой, чтобъ молитва «бизантинскихъ» архіереевъ какъ-разъ пришлась архіерею социализма!

Что за хаосъ! Прудонъ, освобождаясь отъ всего, кромѣ *разума*, хотѣлъ остаться не только мужемъ въ родѣ Синей Бороды, но и французскимъ націоналистомъ, съ литературнымъ шовинизмомъ и безграничной родительской властью, а потому вслѣдъ за крѣпкой, полной силъ мыслию свободного человѣка слышится голосъ свирѣпаго старика, диктующаго свое завѣщаніе и хотящаго теперь сохранить своимъ дѣтямъ ветхую храмину, которую онъ подкапывалъ всю жизнь.

Не любить романскій мѣръ свободы, онъ любитъ только домогаться ея; силы на *освобожденіе* онъ иногда находитъ, на *свободу*—никогда. Не печально ли видѣть такихъ людей, какъ Огюстъ Контъ, какъ Прудонъ, которые послѣднимъ словомъ ставятъ: одинъ—какую-то мандаринскую іерархію, другой—свою каторжную семью и апотеозу безчеловѣчнаго *percat mundus—fiat justicia!*

Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ.

I.

... Съ одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный бракъ, нераздѣльность отцовской власти, семья, въ которой для *общественной* цѣли лица гибнуть, *кромѣ одного*,—свирѣпый бракъ, въ которомъ признана неизмѣняемость чувствъ, кабала обѣту; съ другой—возникающія ученья, въ которыхъ бракъ и семья развязаны, признана неотра-

зимая власть страстей, необязательность былого и независимость лицъ.

Съ одной стороны, женщина, чуть не побиваемая камнями за измѣну, съ другой—самая ревность, поставленная hors la loi, какъ болѣзненное, искаженное чувство эгоизма, пропріетаризма и романтическаго ниспроверженія здоровыхъ и естественныхъ понятій.

Гдѣ истина... гдѣ діагональ? Двадцать три года тому назадъ, я уже искалъ выхода изъ этого лѣса противорѣчій ¹⁾.

Мы смѣлы въ отрицаніи и всегда готовы толкнуть всякаго перуна въ воду,—но перуны домашней и семейной жизни какъ-то water-proof, они все «выдыбаются». Можетъ, въ нихъ и не осталось смысла, но жизнь осталась: видно, орудія, употребляемыя противъ нихъ, только скользнули по ихъ змѣиной чешуѣ, уронили ихъ, оглушили... но не убили.

Ревность... Вѣрность... Измѣна... Чистота... темныя силы, грозныя слова, по милости которыхъ текли рѣки слезъ, рѣки крови,—слова, заставляющія содрогаться насъ, какъ воспоминаніе объ инквизиціи, пыткѣ, чумѣ... и притомъ слова, подъ которыми, какъ подъ Дамокловымъ мечемъ, жила и живетъ семья.

Ихъ не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицаніемъ. Они остаются за угломъ и дремлютъ, готовые при малѣйшемъ поводѣ все губить, близкое и дальное—губить насъ самихъ...

Видно надобно оставить благое намѣреніе тушить до тла такіе тлѣющіе пожары и скромно ограничиться только тѣмъ, чтобъ разрушительный огонь человѣчески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, такъ, какъ судомъ нельзя ихъ оправдать. Страсти—факты, а не догматы.

Ревность, сверхъ того, состояла на особыхъ правахъ. Сама по себѣ сильная и совершенно естественная страсть,—она до сихъ поръ, вмѣсто обузданія, укрощенія, была только подстрекаема. Ревность получила jus gladii, право суда и мести. Она сдѣлалась *долгомъ чести*, чуть не добродѣтелью. Все это не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, но за тѣмъ все-же на днѣ души остается очень реальное и несокрушимое чувство боли, несчастія, называемое ревностью, чувство элементарное какъ само чувство любви, противостоящее всякому отрицанію—чувство «ирредуктибельное».

... Тутъ опять тѣ вѣчныя грани, тѣ Кавдинскія фуркулы, подъ которыя насъ гонитъ исторія. Съ обѣихъ сторонъ правда, съ обѣихъ ложь. Бойкимъ entweder-oder и тутъ ничего не возьмешь. Въ минуту полнаго отрицанія одного изъ терминовъ, онъ

¹⁾ „По поводу одной драмы“.

возвращается, такъ, какъ за послѣдней четвертью мѣсяца является съ другой стороны первая.

Гегель *снялъ* эти пограничные столбы человѣческаго разума, подымаясь въ *безусловный духъ*; въ немъ они не исчезали, а *преобразались, исполнялись*, какъ выражалась нѣмецкая теологическая наука, — это мистицизмъ, философская теодицея, аллегорія и самое дѣло, намѣренно смѣшанные. Всѣ религиозныя примиренія непримиримаго дѣлаются *искупленіями*, т. е. священнымъ преобразованиемъ, такимъ разрѣшеніемъ, которое не разрѣшаетъ, а дается на вѣру. Что можетъ быть противоположеніе *личной воли и необходимости*, а вѣрой и онѣ легко примиряются. Человѣкъ безропотно въ одно и то же время принимаетъ справедливость наказанія за поступокъ, который былъ предопределенъ.

Самъ Прудонъ поступилъ, въ другомъ порядкѣ вопросовъ, гораздо человѣчественнѣе нѣмецкой науки. Онъ выходитъ изъ экономическихъ противорѣчій тѣмъ, что признаетъ обѣ стороны подъ обузданіемъ высшаго начала. Собственность — *право* и собственность — *кража* становятся рядомъ, въ вѣчномъ колебаніи, въ вѣчномъ восполненіи, подъ постоянно растущимъ міродержавіемъ *справедливости*. Ясно, что противорѣчія и споръ переносятся въ другую сферу, и что къ отвѣту требовать приходится понятіе справедливости больше, чѣмъ право собственности.

Чѣмъ высшее начало проще, менѣе мистично и менѣе одно-сторонно, чѣмъ оно реальнѣе и прилагаемѣе, тѣмъ полнѣе оно сводитъ термины противорѣчащія на ихъ наименьшее выраженіе.

Безусловный, «перехватывающій» духъ Гегеля замѣненъ у Прудона грозною идеей справедливости.

Но и ею врядъ ли разрѣшатся вопросы страстей. Страсть сама по себѣ несправедлива. Справедливость отвлекается отъ личностей, она междулична, — страсть только индивидуальна.

Тутъ выходъ не въ судъ, а въ человѣческомъ развитіи личностей, въ выводѣ ихъ изъ лирической замкнутости на бѣлый свѣтъ, *въ развитіи общихъ интересовъ*.

Радикально уничтожить ревность, значитъ уничтожить *любовь къ лицу*, замѣняя ее любовью къ женщинѣ или къ мужчинѣ, вообще любовью къ полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и даетъ колоритъ, *tonus*, страстность всей нашей жизни. Нашъ лиризмъ — *личный*, наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризмъ со всей своей логикой такъ же мало утѣшаетъ въ личномъ горѣ, какъ и римскія консоляціи съ своей риторикой. Ни слезъ о потерѣ, ни слезъ ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобъ *онѣ лились человѣчески...* и чтобъ въ нихъ равно не было

ни монашескаго яда, ни дикости звѣря, ни вопля уязвленнаго собственника ¹⁾).

II.

Свести отношенія мужчины и женщины на случайную половую встрѣчу такъ же невозможно, какъ поднять и свинтить ихъ до гробовой доски въ неразрывномъ бракѣ. И то, и другое можетъ встрѣтиться на закраинахъ половыхъ и брачныхъ отношеній, какъ частный случай, какъ исключеніе, но не какъ общее правило. Половое отношеніе перервется или будетъ постоянно стремиться къ болѣе тѣсному и прочному соединенію такъ, какъ нерасторгаемый бракъ—къ освобожденію отъ внѣшней цѣпи.

Люди постоянно протестовали противъ обѣихъ крайностей. Нерасторгаемый бракъ былъ принимаемъ ими лицемѣрно или сторяча. Случайная близость никогда не имѣла полной инвентуры, ее всегда скрывали, такъ, какъ хвастались бракомъ. Всѣ попытки официальной регламентаціи публичныхъ домовъ, несмотря на то, что онѣ имѣють въ виду ихъ стѣсненіе, оскорбляютъ общественный, нравственный смыслъ. Онѣ въ устройствѣ видятъ признаніе. Проектъ, сдѣланный однимъ господиномъ въ Парижѣ, во время Директоріи, о заведеніи привилегированныхъ публичныхъ домовъ, съ своей іерархіей и проч., былъ даже въ тѣ времена принять свистомъ и палъ подъ громомъ смѣха и пренебреженія.

¹⁾ Читая корректурный листъ, мнѣ попалась французская газета, въ которой рассказанъ чрезвычайно характеристическій случай. Въ Парижѣ какой-то студентъ завелъ связь съ дѣвушкой, связь эта открылась. Отецъ ея отправился къ студенту и умолялъ его со слезами, *на колѣняхъ возстановить* честь дочери и жениться на ней; студентъ съ дерзости отказался. Колѣнопреклоненный отецъ далъ ему пощечину, студентъ его вызвалъ, они стрѣлялись; во время дуэли, старика хватилъ параличъ, иуродовавшій его. Студентъ сконфузился и „рѣшился жениться“, а невѣста огорчилась и рѣшилась выйти замужъ. Газета прибавляетъ, что такая *счастливая* развязка, вѣрно, будетъ много способствовать къ выздоровленію старика. Неужели все это не сумасшедшій домъ, неужели Китай, Индія, надъ юродствами и уродствами которыхъ мы столько издѣваемся, представляютъ что-нибудь безобразнѣе, глубже этой исторіи; я уже не говорю безнравственнѣе. Парижскій романъ въ сто разъ преступнѣе всѣхъ поджариваемыхъ вдовъ и зарываемыхъ весталокъ. Тамъ *тыра*, снимающая всякую отвѣтственность, а здѣсь одни условныя, призрачныя понятія о внѣшней чести, о внѣшней репутаціи... Не явно ли изъ дѣла, что за человекъ студентъ? За что же судьбу дѣвушки сложили съ нимъ à perpetuité? За что же ее сгубили для спасенія имени! О Ведамъ! (1866).

Роду человѣческому приходилось или вымереть, или быть не-
последовательнымъ. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раская-
ніемъ и угрызеніемъ совѣсти, а сочувствіемъ, реабилитаціей.
Протестъ начался въ самый разгаръ католичества и рыцарства.

Грозный мужъ, Рауль Синяя борода, въ латахъ съ мечемъ,
своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монахъ, угрюмый,
безумный, изувѣръ, готовый мстить за свои лишенія, за свою
ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и гдѣ-нибудь
въ башнѣ или подвалѣ рыдающая женщина, юноша пажъ въ цѣ-
пяхъ, за которыхъ никто не вступится. Все мрачно, дико, вездѣ
кровь, ограниченность, насиліе и латинская молитва въ носъ.

Но за спиной монаха, исповѣдника и тюремщика, стоящихъ
на стражѣ брака съ грознымъ мужемъ, отцомъ, братомъ, слагается
въ тиши *народная легенда*, раздается пѣсня, ходитъ изъ мѣста
въ мѣсто, изъ замка въ замокъ, съ трубадуромъ и минезенгеромъ,—
она поетъ за несчастную женщину. Судь разить—пѣсня отпускаетъ.
Она защищаетъ влюбленнаго пажа, падшую жену, угнетенную
дочь—не разсужденіемъ, а сочувствіемъ, жалостью, плачемъ. Пѣсня
для народа—его свѣтская молитва, его *другой* выходъ изъ голодной,
холодной жизни, душевной тоски и тяжелой работы.

Въ праздничные дни, литаніи Богородицѣ смѣнялись печаль-
ными звуками *des complaintes*, которые не предавали позору не-
счастную женщину, а оплакивали ее и ставили передъ всѣхъ
скорбящей Дѣвой, прося Ея заступы и прощенья.

Изъ пѣсенъ и легендъ протестъ растетъ въ романъ и драму.
Въ драмѣ онъ становится силой. Обиженная любовь, мрачныя
тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публич-
ный судъ. Процессъ ихъ потрясалъ тысячи сердецъ, вырывая
слезы и крики негодованія противъ кабальнаго брака и насиль-
ственно скованной семьи. Присяжные партера и ложъ произносили
постоянно свое оправданіе лицамъ и осужденіе институтамъ.

Между тѣмъ, въ эпоху политическихъ перестроекъ и свѣтскаго
направленія умовъ, одна изъ двухъ крѣпкихъ ножекъ брака стала
подламываться. Переставая все болѣе и болѣе быть таинствомъ,
т. е., теряя послѣднюю основу свою, онъ тѣмъ больше опирался
на полицію. Только мистическимъ вмѣшательствомъ высшей силы
и можетъ быть оправданъ христіанскій бракъ. Тутъ есть своя
логика. Квартальный, надѣвающій на себя трехцвѣтный шарфъ
и вѣнчающій съ гражданскимъ кодексомъ въ рукѣ, гораздо не-
лѣпѣе священника въ ризѣ, окруженнаго дымомъ ладона, образами,
чудесами. Самъ первый консулъ Наполеонъ, самый буржуазно-
политическій человѣкъ въ дѣлѣ любви и семьи, догадался, что
бракъ на съѣзжей больно плохъ, и уговаривалъ Камбасереса

прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *вѣрной* мужу (о немъ ни слова) и слушаться его.

Какъ скоро бракъ выходитъ изъ сферъ мистицизма, онъ дѣлается expedient—внѣшней мѣрой. Ее ввели испуганные «Синія Бороды», обрившіеся и сдѣлавшіеся «синими подбородками», Раули въ судейскихъ парикахъ, академическихъ фракахъ, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданскій бракъ—мѣра государственнаго хозяйства, освобожденіе государства отъ воспитанія дѣтей и вящее прикрѣпленіе людей къ собственности. Бракъ безъ вмѣшательства церкви сдѣлался кабалнымъ контрактомъ на пожизненное отданіе своего тѣла другъ другу. До вѣры законодателю дѣла нѣтъ, лишь бы контрактъ былъ исполненъ, а не будетъ исполненъ, онъ найдетъ средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? Въ Англии, въ классической странѣ юридическаго развитія, подвергаютъ же страшнѣйшимъ истязаніямъ шестнадцатилѣтняго мальчика, котораго старый казарменный сводникъ, съ лентами на шляпѣ, напоить элемъ и джиномъ и завербууетъ въ полкъ. Отчего же не наказывать позоромъ, раззореніемъ, выдачей головой дѣвочку, которая, не давая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra, забывая, что season ticket не передается.

Но и на «синій подбородокъ» нашлись свои труверы и романисты. Противъ контрактнаго брака водрузился догматъ психиатрической, физиологической, догматъ *абсолютной непреложности страстей и человѣческой несостоятельности бороться съ ними.*

Вчерашніе рабы брака идутъ въ рабство любви. На любовь суда нѣтъ, противъ нея силъ нѣтъ.

Затѣмъ стирается всякій разумный контроль, всякая отвѣтственность, всякое самообузданіе. Покореніе человѣка неотразимымъ и неподчиненнымъ ему силамъ дѣло совершенно противоположное тому освобожденію въ разумъ и разумомъ, тому образованію характера свободнаго человѣка, къ которому стремятся, разными путями, всѣ социальныя ученія.

Мнимыя силы, если люди ихъ принимаютъ за дѣйствительныя, точно такъ же мощны, какъ и дѣйствительныя, и это потому, что матеріалъ, даваемый человѣкомъ, *тотъ же*, какая бы сила ни была. Человѣкъ, который боится духовъ, и человѣкъ, который боится бѣшеныхъ собакъ, боится одинаковымъ образомъ и можетъ умереть отъ страха. Разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ человѣку можно доказать, что онъ боится вздора, а въ другомъ нельзя.

Я отрицаю то царственное мѣсто, которое даютъ *любви* въ

жизни, я отрицаю ея самодержавную власть и протестую противъ слабодушнаго оправданія увлеченіемъ.

Неужели мы освободились отъ всего на свѣтѣ, отъ Бога и діавола, отъ римскаго и уголовнаго права, и провозгласили разумъ единственнымъ путеводителемъ и регуляторомъ для того, чтобъ скромно, какъ Геркулесъ, лечь у ногъ Омфалы или уснуть на колѣняхъ Далилы? Неужели женщина искала своего освобожденія отъ ига семьи, вѣчной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своихъ правъ на самобытный трудъ, на науку и гражданское значеніе для того, чтобъ снова начать всю жизнь ворковать какъ горлица и изнывать отъ десятка Леоне-Леони вмѣсто одного?

Да, женщину въ этомъ вопросѣ мнѣ всего больше жаль, ее безвозвратнѣе точить и губить всепожирающій Молохъ любви. Она больше вѣруеть въ него, больше страдаетъ. Она больше сосредоточена на одномъ половомъ отношеніи, больше *загнана въ любовь*... Она больше сведена съ ума, и меньше насъ доведена до него.

Мнѣ ее жаль.

III.

Развѣ кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрасудки въ женскомъ воспитаніи? Ихъ разбиваетъ опытъ, и оттого-то ломится не предрасудокъ, а жизнь.

Люди обходятъ вопросы, насъ занимающіе, какъ старухи и дѣти обходятъ кладбище или мѣста, на которыхъ совершилось злодѣйство. Однѣ боятся нечистыхъ духовъ, другія чистой правды, и остаются при фантастическомъ неустройствѣ и неизслѣдованной тьмѣ. Серьезнаго единства во взглядѣ на половыя отношенія такъ же мало, какъ во всѣхъ практическихъ сферахъ. Все еще мерещится возможность соединить христіанскую нравственность, идущую отъ попранія плоти на *томъ свѣтѣ*, съ земной, реальной нравственностью *этого свѣта*. Съ досады, что не ладится, и чтобъ недолго мучить себя надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, люди оставляютъ по выбору и по вкусу то, что имъ нравится изъ церковнаго ученія, и бросаютъ то, что не нравится, на томъ самомъ основаніи, на которомъ, не соблюдая постовъ, усердно ѣдятъ блины, и, не оставляя веселыхъ религіозныхъ обычаевъ, устраняются отъ скучныхъ. А, кажется, давно пора внести больше спѣтости и мужества въ поведеніе. Пусть уважающій законъ остается подзаконнымъ и не нарушаетъ его, а непринимающій—свободнымъ отъ него открыто и сознательно.

Трезвый взгляд на людскія отношенія гораздо труднѣе для женщины, чѣмъ для насъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣннй; онѣ больше обмануты воспитаніемъ, меньше знаютъ жизнь, и оттого чаще оступаются и ломаютъ голову и сердце, чѣмъ освобождаются, всегда бунтуютъ и остаются въ рабствѣ, стремятся къ перевороту и пуце всего поддерживаютъ существующее.

Съ дѣтскихъ лѣтъ дѣвушка испугана половымъ отношеніемъ, какой-то *страшной, нечистой тайной*, отъ которой ее предостерегаютъ, отстрачиваютъ, какъ-будто этотъ грѣхъ имѣетъ какую-то чарующую силу. И потомъ то же чудовище, то же *magnum ignotum*, пятнающее неизгладимымъ пятномъ, дальнѣйшій намекъ на которое заставляетъ краснѣть и позорить, ставится цѣлью ея жизни. Мальчику, едва умѣющему ходить, даютъ жестяную саблю, приучая его къ убійству, ему пророчатъ гусарскій мундиръ и эполеты; дѣвочку убаюкиваютъ надеждой богатаго, красиваго жениха, и она мечтаетъ объ эполетахъ, но не на своихъ плечахъ, а на плечахъ суженаго.

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'a l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier.

Надобно дивиться хорошей человѣческой натурѣ, не поддающейся такому воспитанію,—слѣдовало бы ожидать, что всѣ дѣвочки, такъ убаюканныя съ пятнадцати лѣтъ, пустятся на ускоренную замѣну убитыхъ мальчиками, приученными съ дѣтства къ смертоноснымъ оружіямъ.

Христіанское ученіе вселяетъ ужасъ передъ «плотью», прежде чѣмъ организмъ сознаетъ свой полъ; оно будитъ въ ребенкѣ опасный вопросъ, бросаетъ тревогу въ отроческую душу, и, когда приходитъ время отвѣта, *другое* ученіе возводитъ, какъ мы сказали, для дѣвушки половое назначеніе въ искомый идеаль; ученица становится *невестой*, и та же тайна, тотъ же грѣхъ, но *очищенный*, является вѣнцомъ воспитанья, желаніемъ всѣхъ родныхъ, стремленіемъ всѣхъ усилій, чуть не общественнымъ долгомъ. Искусства и науки, образованіе, умъ, красота, богатство, грація,—все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь къ тому же грѣху, мысль о которомъ считалась преступленіемъ, но которое измѣнило свою сущность.

Словомъ, отрицательно и положительно все воспитаніе женщины остается воспитаніемъ половыхъ отношеній, около нихъ вертится вся ея послѣдующая жизнь... *отъ нихъ* она бѣжитъ, *къ нимъ* она бѣжитъ, *ими* опозорена, *ими* гордится... Сегодня хранить отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подругѣ, краснѣя, шепотомъ, говорить о любви, завтра при блескѣ

и шумѣ, при толпѣ, зажженныхъ люстрахъ и громѣ музыки, бросается въ объятія мужчины.

Невѣста, жена, мать—женщина едва подѣ старость, *бабушкой*, освобождается отъ половой жизни и становится самобытнымъ существомъ, особенно, если *дѣдушка* умеръ. Женщина, помѣченная любовью, нескоро ускользаетъ отъ нея... беременность, кормленіе, воспитаніе, развитіе той же тайны, того же акта любви, въ женщинѣ онѣ продолжается не въ одной памяти, а въ крови и въ тѣлѣ, въ ней онѣ бродитъ и зрѣетъ, и, разрываясь,—не разрывается.

Выпутаться женщинѣ изъ этого хаоса—геройскій подвигъ, его совершаютъ однѣ рѣдкія, исключительныя натуры; остальные женщины мучатся, и если не сходятъ съ ума, то только благодаря легкомыслію, съ которымъ мы всѣ живемъ до грозныхъ столкновеній и ударовъ, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя съ дня на день, отъ случайности къ случайности и отъ противорѣчія къ противорѣчю.

Какую ширину, какое человѣчески-сильное и человѣчески-прекрасное развитіе надобно имѣть женщинѣ, чтобъ перешагнуть всѣ палисады, всѣ частоколы, въ которыхъ она поймана!

Я видѣлъ одну борьбу и одну побѣду...

ГЛАВА XLII.

Coup d'état.—Прокуроръ покойной республики.—Гласъ коровій въ пуганѣ.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.

«Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и стоимъ за наши убѣжденія.

«Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надо ее поднять—мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, одобреніемъ устрашенныхъ событіями въ Парижѣ». (*Письма изъ Франціи и Италіи, Письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1851*).

Утромъ, помнится 4 декабря, вошелъ ко мнѣ нашъ поваръ Pasquale Росса и съ довольнымъ видомъ объявилъ, что въ городѣ

продаютъ афиши съ извѣщеніемъ о томъ, что «Бонапартъ разогналъ собраніе и назначилъ *красное* правительство». Кто такъ усердно служилъ Наполеону и распространялъ, даже внѣ Франціи (тогда Ницца была итальянской), такіе слухи въ народѣ,—не знаю, но каково должно быть число всякаго рода агентовъ, политическихъ кочегаровъ, взбывателей, подогрѣвателей, когда и на Ниццу хватило?

Черезъ часъ явились Фогтъ, Орсини, Хоецкій, Матѣе и др.,— всѣ были удивлены... Матѣе, типическое лице изъ французскихъ революціонеровъ, былъ внѣ себя.

Лысый, съ черепомъ въ видѣ грецкаго орѣха, т. е., съ черепомъ чисто гальскимъ, непомятымъ, но упрямымъ, съ большой, темной и нечесаной бородой, съ довольно добрымъ выраженіемъ и маленькими глазами—Матѣе походилъ на пророка, на юрди-ваго, на авгура и на его птицу. Онъ былъ юристъ и въ счастливые дни февральской республики былъ гдѣ-то прокуроромъ или за прокурора. Революціонеръ онъ былъ до конца ногтей: онъ отдался революціи такъ, какъ отдаются религіи, съ полной вѣрой, никогда не дерзалъ ни понимать, ни сомнѣваться, ни мудрствовать лукаво, а любилъ и вѣрилъ, называлъ Ледрю-Роллена—Ледрррю и Луи-Блана—Бланомъ просто, говорилъ, когда могъ *сйоуеи*, и постоянно конспиривалъ.

Получивши вѣсть о 2 декабрѣ, онъ исчезъ и возвратился черезъ два дня, съ глубокимъ убѣжденіемъ, что Франція поднялась, *que cela chauffe* и особенно на югѣ, въ Варскомъ департаментѣ, около Драгиньяна. Главное дѣло состояло въ томъ, чтобъ войти въ сношенія съ представителями возстанія... Кой-кого онъ видѣлъ и съ ними рѣшилъ ночью, перейдя Варъ, на извѣстномъ мѣстѣ, собрать на совѣщаніе людей важныхъ и надежныхъ... Но, чтобъ жандармы не могли догадаться, было положено съ обѣихъ сторонъ подавать сигналы «коровьимъ мычаніемъ». Если дѣло пойдетъ на ладъ, Орсини хотѣлъ привести всѣхъ своихъ друзей и, не совсѣмъ довѣряя вѣрному взгляду Матѣе, самъ отправился вмѣстѣ съ нимъ черезъ границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, вѣрный своей революціонной и немного кондотьерской натурѣ, сталъ готовить своихъ товарищей и оружіе. Матѣе пропалъ.

Черезъ сутки, ночью меня будить Рокка, часа въ четыре:

«Два господина прямо съ дороги, имъ очень нужно, говорятъ они, васъ видѣть. Одинъ изъ нихъ далъ эту записку».—«Гражданинъ, Бога ради, какъ можно скорѣе, вручите подателю 300 или 400 фран., крайне нужно. Матѣе».

Я захватилъ деньги и сошелъ внизъ: въ полумракѣ сидѣли у окна двѣ замѣчательныя личности; привычный ко всѣмъ мун-

дирамъ революціи, я все-таки былъ пораженъ посѣтителями. Оба были покрыты грязью и глиной, съ колѣнъ до пятокъ, на одномъ былъ красный шарфъ, шерстяной и толстый; на обоихъ затасканныя пальто, по жилету поясъ, за поясомъ большіе пистолеты, остальное, какъ слѣдуетъ—всклоченные волосы, большія бороды и крошечныя трубки. Одинъ изъ нихъ, сказавъ *citoyen*, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся до моихъ цивическихъ добродѣтелей и до денегъ, которыя ждетъ Матѣ. Я отдалъ деньги.

— Онъ въ безопасности? спросилъ я.

— Да, отвѣчалъ его посоль, мы сейчасъ идемъ къ нему за Варъ. Онъ покупаетъ лодку.

— Лодку? зачѣмъ?

— Гражданинъ Матѣ имѣетъ цѣлый планъ высадки,—гнусный трусь лодочникъ не хотѣлъ дать въ наемъ лодку...

— Какъ, высадку во Франціи... съ одной лодкой...

— Пока, гражданинъ, это тайна.

— *Comme de raison*.

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачѣмъ.

На другой день явился самъ Матѣ, точно также по уши въ грязи... и усталый до изнеможенія; онъ всю ночь мычалъ коровой, нѣсколько разъ казалось слышалъ отвѣтъ, шелъ на сигналъ и находилъ дѣйствительнаго быка или корову. Орсини, прождавъ его гдѣ-то часовъ десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и какъ всегда со вкусомъ и чисто одѣтый, походилъ на человѣка, вышедшаго изъ своей спальни, а Матѣ носилъ на себѣ всѣ признаки, что онъ нарушалъ спокойствіе государства и покушался возстать.

Началась исторія лодки. Долго ли до грѣха, сгубилъ бы онъ полдюжины своихъ, да полдюжины итальянцевъ. Остановить, убѣдить его было невозможно. Съ нимъ показались и военачальники, приходившіе ко мнѣ ночью; можно было быть увѣреннымъ, что онъ компрометируетъ не только всѣхъ французовъ, но и насъ всѣхъ въ Ниццѣ. Хоецкій взялся его уговорить и сдѣлалъ это артистомъ.

Окно Хоецкаго, съ небольшимъ балкономъ, выходило прямо на взморье. Утромъ онъ увидѣлъ Матѣ, бродящаго съ таинственнымъ видомъ по берегу моря... Хоецкій сталъ ему дѣлать знаки; Матѣ увидѣлъ и показалъ, что сейчасъ придетъ къ нему, но Хоецкій выразилъ страшнѣйшій ужасъ,—телеграфировалъ ему руками неминуемую опасность и требовалъ, чтобъ онъ подошелъ къ балкону. Матѣ, оглядываясь и на цыпочкахъ, подкрался.

— Вы не знаете? спросилъ его Хоецкій.

— Что?

— Въ Ниццѣ взводъ французскихъ жандармовъ.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш... Ищутъ васъ и вашихъ друзей, хотятъ дѣлать у насъ домовый обыскъ,—васъ сейчасъ схватятъ, не выходите на улицу.

— Violation du territoire... я буду протестовать.

— Непремѣнно, только теперь спасайтесь.

— Я въ St.-Helène, къ Герцену.

— Съ ума вы сошли. Прямо себя отдать въ руки: дача его на границѣ, съ огромнымъ садомъ, и не провѣдаютъ, какъ возьмутъ; да и Рокка видѣлъ уже вчера двухъ жандармовъ у воротъ.

Матѣ задумался.

— Идите моремъ къ Фогту, спрячьтесь у него покамѣстъ, онъ, кстати, всего лучше вамъ дастъ совѣтъ.

Матѣ берегомъ моря, т. е. вдвое дальше, пошелъ къ Фогту и началъ съ того, что рассказалъ ему отъ доски до доски разговоръ съ Хоецкимъ. Фогтъ въ ту же минуту понялъ въ чемъ дѣло и замѣтилъ ему:

— Главное, любезный Матѣ, не теряйте ни минуты времени. Вамъ черезъ два часа надобно ѣхать въ Туринъ—за горой проходитъ дилижансъ, я возьму мѣсто и проведу васъ тропинкой.

— Я сбѣгаю домой за пожитками... и прокуроръ республики нѣсколько замаялся.

— Это еще хуже, чѣмъ идти къ Герцену. Что вы, въ своемъ ли умѣ, за вами слѣдятъ жандармы, агенты, шпионы... а вы домой цѣловаться съ вашей толстой провансалкой, экой Селадонъ. Дворникъ! закричалъ Фогтъ (дворникъ его дома былъ крошечный нѣмецъ, уморительный, похожій на давно невымытый кофейникъ и очень преданный Фогту),—пишите скорѣе, что вамъ нужна рубашка, платокъ, платье, онъ принесетъ, и, если хотите, приведетъ сюда вашу Дульцинею, цѣлуйтесь и плачьте, сколько хотите.

Матѣ отъ избытка чувствъ обнялъ Фогта.

Пришелъ Хоецкій.

— Торопитесь, торопитесь, говорилъ онъ съ зловѣщимъ видомъ.

Между тѣмъ, воротился дворникъ, пришла и Дульцинея,—осталось ждать, когда дилижансъ покажется за горой. Мѣсто было взято.

— Вы, вѣрно, опять рѣжете гнилыхъ собакъ или кроликовъ? спросилъ Хоецкій у Фогта—*quel chien de métier?*..

— Нѣтъ.

— Помилуйте, у васъ такой запахъ въ комнатѣ, какъ въ ка-
такомбахъ въ Неаполѣ.

— Я и самъ чувствую, но не могу понять, это изъ угла... вѣрно мертвая крыса подъ поломъ—страшная вонь, и онъ снялъ шинель Матѣ, лежавшую на стулѣ. Оказалось, что запахъ идетъ изъ шинели.

— Что за чума у васъ въ шинели? спросилъ его Фогтъ.

— Ничего нѣтъ.

— Ахъ, это вѣрно я, замѣтила, краснѣя, Дульцинея, я ему положила на дорогу фунтъ лимбургскаго сыра въ карманъ, и *un peu trop fait*.

— Поздравляю вашихъ сосѣдей въ дилижансѣ, кричалъ Фогтъ, хохоча, какъ онъ одинъ въ свѣтѣ умѣетъ хохотать. Ну, однако пора.—Маршъ!

И Хоецкій съ Фогтомъ выпроводили агитатора въ Туринъ.

Въ Туринѣ Матѣ явился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ протестомъ. Тотъ его принялъ съ досадой и смѣхомъ.

— Какъ же вы могли думать, чтобъ французскіе жандармы ловили людей въ Сардинскомъ королевствѣ,—вы нездоровы.

Матѣ сослался на Фогта и Хоецкаго.

— Ваши друзья, сказалъ министръ, надъ вами пошутили Матѣ написалъ Фогту; тотъ нагородилъ ему, не знаю какой вздоръ въ отвѣтъ. Но Матѣ надулся, особенно на Хоецкаго, и черезъ нѣсколько недѣль написалъ мнѣ письмо, въ которомъ, между прочимъ, писалъ: «Вы одинъ, гражданинъ, изъ этихъ господъ не участвовали въ коварномъ поступкѣ противъ меня...»

Къ характеристическимъ странностямъ этого дѣла принадлежитъ, безъ сомнѣнія, то, что возстаніе въ Варѣ было очень сильное, что народныя массы дѣйствительно поднялись и были усмирены оружіемъ, съ обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матѣ и тѣлохранители его, при всемъ усердіи и мычаніи, не знали, гдѣ къ нимъ примкнуть? Никто не подозрѣваетъ ни его, ни его товарищей, что они намѣренно ходили пачкаться въ грязи и глинѣ и не хотѣли идти туда, гдѣ была опасность,—совсѣмъ нѣтъ. Это вовсе не въ духѣ французовъ, о которыхъ Дельфина Ге говорила, «что они всего боятся, за исключеніемъ ружейныхъ выстрѣловъ», и еще больше не въ духѣ *de la démocratie militante* и красной республики... Отчего же Матѣ шель направо, когда возставшіе крестьяне были налѣво?

Нѣсколько дней спустя, какъ желтый листъ, гонимый вихремъ, стали падать на Ниццу несчастныя жертвы подавленнаго возстанія. Ихъ было такъ много, что пиемонтское правительство, до поры-до времени, дозволило имъ остановиться какими-то биваками или цыганскимъ таборомъ возлѣ города. Сколько бѣдствій и несчастій видѣли мы на этихъ кочевьяхъ,—это та страшная, закулисная часть внутреннихъ войнъ, которая обыкновенно

остаётся за большой рамой и пестрой декорацией вторых декабрей.

Тутъ были простые земледѣльцы, мрачно тосковавшіе о домѣ, о своей землицѣ, и наивно говорившіе: «Мы вовсе не возмутители и не *partageux*; мы хотѣли защищать порядокъ, какъ добрые граждане, *ce sont ces coquins*, которые насъ вызвали (т. е. чиновники, меры, жандармы), они измѣнили присягѣ и долгу,—а мы теперь должны умирать съ голоду въ чужомъ краѣ или идти подъ военный судъ?... Какая же тутъ справедливость?»—И дѣйствительно, *coup d'état*, въ родѣ второго декабря, убиваетъ больше, чѣмъ людей,—онъ убиваетъ всякую нравственность, всякое понятие о добрѣ и злѣ у цѣлаго населенія, это такой урокъ разврата, который не можетъ пройти даромъ. Въ числѣ ихъ были и солдаты, *groupiers*, которые не могли сами надивиться, какъ они, вопреки дисциплины и приказаній капитана, очутились не съ той стороны, съ которой полкъ и знамя. Ихъ число, впрочемъ, не было велико.

Тутъ были простые, небогатые буржуа, которые на меня не дѣлаютъ того омерзительнаго впечатлѣнія, какъ непростые,—жалкіе, ограниченные люди, они, кой-какъ, съ трудомъ, между обмѣриваніемъ и обвѣшиваніемъ, усвоивая себѣ двѣ-три мысли и полумысли объ обязанностяхъ, возстали за нихъ, когда увидѣли, что ихъ святыня поправа.—«Это побѣда эгоизма, говорили они, да, да, эгоизма, а ужъ гдѣ эгоизмъ, тутъ порокъ, надобно, чтобы каждый исполнялъ долгъ свой безъ эгоизма».

Тутъ были, разумѣется, и городскіе работники, этотъ искренній и настоящій элементъ революціи, стремящейся декретировать *la sociale*—и въ ту же мѣру воздать буржуа и *aristo*, въ какою они имъ воздаютъ.

Наконецъ, тутъ были раненые—и страшно раненые. Я помню двоихъ крестьянъ среднихъ лѣтъ, доползшихъ, оставляя кровавый слѣдъ, отъ границы до предмѣстья, въ которомъ жители подняли ихъ полумертвыми. За ними гнался жандармъ, видя, что граница недалеко, онъ выстрѣлилъ въ одного и раздробилъ ему плечо... раненый продолжалъ бѣжать... жандармъ выстрѣлилъ еще разъ, раненый упалъ; тогда онъ поскакалъ за другимъ и нагналъ его сначала пулей, а потомъ самъ. Второй раненый сдался, жандармъ второпяхъ привязалъ его къ лошади и вдругъ хватился перваго... Тотъ доползъ до перелѣска и пустился бѣжать... догнать его верхомъ было трудно, особенно съ другимъ раненымъ, оставить лошадь невозможно... *Жандармъ выстрѣлилъ «à bout portant» плънному въ голову, сверху внизъ*, тотъ упалъ замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, всѣ кости. Когда онъ пришелъ въ себя,—никого не было... Онъ

добрался по знакомымъ тропинкамъ, протоптаннымъ контрабандистами, до Вара и перешелъ его, исходя кровью; тутъ онъ нашелъ совершенно истощеннаго товарища и съ нимъ *дожилъ* до первыхъ домовъ St. Helène. Тамъ, какъ я сказалъ, ихъ спасли жители. Первый раненый говорилъ, что послѣ выстрѣла онъ зарылся въ какіе-то кусты, что онъ потомъ слышалъ голоса, что охотникъ-жандармъ вѣрно настигъ другихъ и поэтому удалился.

Каково усердіе французской полиціи!

За нимъ слѣдовало усердіе меровъ, ихъ помощниковъ, прокуроровъ *республики* и префектовъ, оно показалось при подачѣ и счетѣ голосовъ; все это исторія чисто французскія, извѣстныя всему міру. Скажу только, что въ отдаленныхъ мѣстахъ мѣры для достиженія огромнаго большинства при вотированіи были взяты съ сельской простотой. По ту сторону Вара, въ первомъ мѣстечкѣ меръ и жандармскій *brigadier* сидѣли возлѣ урны и смотрѣли, какой бюллетень кто кладетъ, тутъ же говоря, что они свернутъ потомъ въ бараній рогъ всякаго *бунтовщика*. Казенные бюллетени были печатаны на особой бумагѣ,—ну, такъ и вышло, что во всемъ мѣстечкѣ нашлось, не знаю, пять или десять смѣльчаковъ безпардонныхъ, вотировавшихъ противъ плембисцита; остальные, и съ ними вся Франція, вотировали имперію *in spe*.

Осеано Нох.

(1851).

I 1).

...Ночью, съ 7 на 8 іюля, часу во второмъ, я сидѣлъ на ступенькѣ Кариньянскаго дворца въ Туринѣ; площадь была совершенно пуста, поодаль отъ меня дремалъ нищій, часовой тихо ходилъ взадъ и впередъ, насвистывая пѣсню изъ какой-то оперы и побрякивая ружьемъ... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *запахомъ* сирокко.

Мнѣ было необычайно хорошо, такъ, какъ не бывало давно; я опять почувствовалъ, что я еще молодъ и силенъ силами въ груди, что у меня есть друзья и вѣрованія, что я полонъ любовью, какъ тринадцать лѣтъ передъ тѣмъ. Сердце билось такъ, какъ я отвыкъ чувствовать въ послѣднее время. Оно билось, какъ въ тотъ мартовскій день 1838, когда я, завернувшись въ плащъ, ждалъ Кетчера у фонарнаго столба, на Поварской.

Я и теперь ждалъ свиданья, свиданья съ *той же* женщиной, и ждалъ, можетъ, еще съ большей любовью, хотя къ ней и прихвѣшались грустныя, черныя ноты; но въ эту ночь ихъ было мало слышно. Послѣ безумнаго кризиса горести, отчаянія, набѣжавшаго на меня при моемъ проѣздѣ черезъ Женеву, мнѣ стало лучше. Кроткія письма Natalie, исполненные грусти, слезъ, боли, любви, довершили мое выздоровленіе. Она писала, что ѣдетъ изъ Ниццы въ Туринъ мнѣ навстрѣчу, что ей хотѣлось бы пробыть нѣсколько дней въ Туринѣ. Она была права: намъ надобно было еще разъ однимъ всмотрѣться другъ въ друга, выжать другъ другу кровь ~~и~~ ранъ, утереть слезы и, наконецъ, узнать оконча-

1) Этотъ отрывокъ (никогда еще не печатавшійся) принадлежитъ къ той части «Вылого и Думъ», которая будетъ издана гораздо позже, и для которой я писалъ всѣ остальные нѣсколько строкъ о страшномъ происшествіи, бывшемъ 16 ноября 1851, въ запискахъ Орсини, принимавшаго самое горячее участіе въ несчастіи, поразившемъ меня, были поводомъ, что я напечаталъ второй отрывокъ въ «Полной Звѣздѣ», 1859.

тельно, *есть ли* для насъ общее счастье,—и все это наединѣ, даже безъ дѣтей, и, притомъ, *въ другомъ мѣстѣ*, не при той обстановкѣ, гдѣ мебель, стѣны, могли не въ-время что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово.

Почтовая карета должна была во второмъ часу придти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждалъ у сумрачнаго Кариньянскаго дворца, недалеко отъ него она должна была заворачивать.

Я приѣхалъ въ этотъ же день утромъ изъ Парижа, черезъ Mont-Cenis; въ hôtel Feder мнѣ дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мнѣ нравился этотъ праздничный видъ, онъ былъ кстати. Я велѣлъ приготовить небольшой ужинъ и пошелъ бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъѣзжала къ почтовому дому, Natalie узнала меня. «Ты тутъ!» сказала она, кланаясь въ окно. Я отворилъ дверцы и она бросилась ко мнѣ на шею съ такой восторженной радостью, съ такимъ выраженіемъ любви и благодарности, что у меня въ памяти мелькнули, какъ молнія, слова изъ ея письма: «Я возвращаюсь, какъ корабль, въ свою родную гавань послѣ бурь, кораблекрушеній и несчастій—сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двухъ-трехъ словъ было за глаза довольно... Все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросилъ его на трости за спину, подаль ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженные свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили Владимірское житье.

На ней было бѣлое кисейное платье или блуза, надѣтая на дорогу отъ палящаго жара, и при первомъ свиданіи нашемъ, когда я приѣзжалъ изъ ссылки, она была также вся въ бѣломъ, и вѣнчальное платье было бѣлое. Даже лицо ея, носившее рѣзкіе слѣды глубокихъ потрясеній, заботъ, думъ и страданій, напоминало выраженіемъ черты того времени.

И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость,... едва уцѣлѣвшіе отъ тяжелыхъ ударовъ и неисправимыхъ ошибокъ. Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздѣлили печальную ношу былого. Съ этой ношей приходилось идти болѣе скромнымъ шагомъ, но внутри наболѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастья. По ужасу и тупой

боли еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы неразличнато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми.

Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и на преступленіе.

Мы слишкомъ большой платой заплатили другъ за друга, чтобъ не понимать, чего мы стоимъ, и какъ дорого мы обошлись другъ другу. «Въ Туринѣ, писалъ я въ началѣ 1852, было наше второе вѣнчаніе; его смыслъ, можетъ быть, глубже и знаменательнѣе перваго, оно совершилось съ полнымъ сознаниемъ всей отвѣтственности, которую мы вновь брали въ отношеніи другъ къ другу, оно совершилось въ виду страшныхъ событій...»

Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить.

Послѣднія, темныя облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалюзи, когда мы встали изъ-за пустого стола...

Дня черезъ три мы поѣхали вмѣстѣ домой въ Ниццу по Ривьерѣ; мелькнула Генуя, мелькнулъ Ментоне, гдѣ мы такъ часто бывали и въ такомъ розномъ настроеніи духа, мелькнуло Монако, врѣзывающееся въ море бархатной травой и бархатнымъ пескомъ; все встрѣчало насъ весело, какъ старые друзья послѣ размолвки, а тутъ виноградники, рощи розъ, померанцевыхъ деревьевъ и море, стелящееся передъ домомъ, и дѣти, играющія на берегу... Вотъ они узнали, бросились навстрѣчу. *Мы дома.*

Спасибо судьбѣ за эти дни, за эту треть года, шедшаго за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вѣчная язычница, увѣнчала обреченныхъ на жертву пышнымъ вѣнкомъ осеннихъ цвѣтовъ... и усыпала хоть на время своимъ макомъ и благоуханіемъ!

Пропасти, дѣлившія насъ, исчезли, берега сдвинулись. Развѣ это не та же рука, которая черезъ всю жизнь была въ моей рукѣ, и развѣ это не тотъ же взглядъ, только иногда онъ мутится отъ слезъ? «Успокойся же, сестра, другъ, товарищъ, вѣдь, все прошло, — я мы тѣ же, какъ въ юные, святыя, свѣтлыя годы!»

...«Послѣ страданій, которыхъ, можетъ, ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства; всѣ вѣрованія дѣтства, юности, не только совершились, но прошли сквозь страшныя испытанія, не

утративъ ни свѣжести, ни аромата, и расцвѣли съ новымъ блескомъ и новой силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь», писала она своему другу въ Россію.

Разумѣется, отъ прошлаго остался осадокъ, до котораго нельзя было касаться безнаказанно: что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющій испугъ и боль.

« Прошедшее не корректурный листъ, а ножъ гильотины, послѣ его паденія многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, какъ отлитое въ металлѣ, подробное, неизмѣнное, темное, какъ бронза. Люди вообще забываютъ только то, чего не стоитъ помнить, или чего они не понимаютъ. Дайте иному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, и онъ будетъ юнъ, смѣль, силенъ, а съ ними онъ идетъ какъ ключъ ко дну. Ненадобно быть Макбетомъ, чтобъ встрѣчаться съ тѣнью Банко; тѣни не уголовные судьи, не угрызения совѣсти, а *несокрушимыя событія памяти*.

Да забывать и ненужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имѣетъ свои права, оно фактъ, съ нимъ надобно *сладить*, а не забыть его,—и мы шли къ этому дружными шагами. «

...Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, *какая-нибудь вещь*, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я въ то же мгновѣніе встрѣчалъ испуганный взглядъ, смотрѣвшій на меня съ безконечной мукой и говорившій: «Да, ты правъ, иначе и быть не можетъ, но... » и я старался разогнать набѣжавшія тучи.

Святое время примиренія, я вспоминаю о немъ сквозь слезы...

... Нѣтъ, не *примиренія*, это слово не идетъ. Слова, какъ гуртовья платья, вѣрнее до «извѣстной степени» *встѣмъ* людямъ одинаковаго роста и плохо одѣваютъ *каждою отдѣльно*.

Намъ нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали другъ о другѣ, но не расходились. Въ самыя мрачныя минуты, какое-то неразрывное единство, безсомнѣнное для обоихъ, и глубокое уваженіе другъ къ другу были присущи. Мы походили скорѣе на людей, оправляющихся послѣ тяжелой горячки, чѣмъ на помирившихся: бредъ прошелъ, мы узнали другъ друга взглядомъ, нѣсколько слабымъ и мутнымъ. Боль вынесенная была памятна, утомленіе ощутительно, но, вѣдь, мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

Мысль, нѣсколько разъ прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотѣла написать свою исповѣдь. Она была недовольна ея началомъ, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцѣлѣли..... По нимъ можно судить о томъ, что пропало..... Читая ихъ, становится жутко,

чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающаго и теплаго сердца, чувствуешь шопоть этихъ беззвучныхъ тайнъ, вѣчно скрытыхъ, едва просыпающихся въ сознаниі. Въ этихъ строкахъ можно было уловить, какъ мучительная борьба переходила въ новый закалъ и боль въ мысль. Если-бъ этотъ трудъ не былъ грубо прерванъ, онъ составилъ бы великій антецедентъ, въ замѣну уклончиваго молчанія женщины и надменнаго покровительства ея—мужиной; но самый безсмысленный ударъ разрился надъ нашей головой и окончательно все разбилъ.

II.

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune.
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...

V. Hugo.

Такъ оканчивалось лѣто 1851. Мы были почти совсѣмъ одни. Моя мать съ Колей и съ Шпильманомъ уѣхали погостить въ Парижъ къ М. К. Тихо проводили мы время съ дѣтьми. Каза-лось, всѣ бури были назади.

Въ ноябрѣ мы получили письмо отъ моей матери, что она скоро выѣзжаетъ, потомъ другое изъ Марсея, въ которомъ она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароходъ и ѣдутъ къ намъ. Во время ея отсутствія, мы переѣхали въ другой домъ, также на берегу моря, въ предмѣстіи С. Еленъ. Въ домѣ этомъ съ большимъ садомъ было помѣщеніе для моей матери; мы убрали ея комнату цвѣтами, нашъ поваръ досталъ съ Сашей китайскихъ фонарей и развѣсилъ ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово, дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ, въ шестомъ часу на горизонтѣ отдѣлилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показался и пароходъ, стоявшій неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я сѣлъ въ коляску и поѣхалъ туда же.

Когда я приѣхалъ на пристань, пароходъ уже вошелъ, лодки ждали кругомъ разрѣшенія *sanità* сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа.

— Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ ѣдете?

Онъ мнѣ не отвѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленаго цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Что это? спросилъ я, вы больны?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не пріѣхали.

— Какъ не пріѣхали?

— Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры пріѣхали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходѣ меня встрѣтили съ какимъ-то злобѣющимъ почтениемъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совѣмъ не въ обычаяхъ, и я ждалъ чего-нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Геромъ и материкомъ пароходъ, на которомъ была моя мать, столкнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая часть пассажировъ взяты имъ и другимъ пароходомъ, шедшимъ мимо. «У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодыя дѣвушки изъ вашихъ», и повелъ меня на переднюю палубу,—всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ безсмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нея, высокая, стройная дѣвушка, лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась въ другую сторону.

— Что же это, наконецъ? Гдѣ они? спросилъ я, болѣзненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаемъ, отвѣчала она, пароходъ потонулъ, насъ замертво вытащили изъ воды. Какая-то англичанка дала намъ свои платья, чтобъ переодѣться.

Капитанъ грустно посмотрѣлъ на меня, потрясъ мою руку и сказалъ:

— Отчаиваться ненадо, сѣздите въ Геръ, быть можетъ, и найдете кого-нибудь изъ нихъ.

Поручивъ Энгельсону и Франсуа больныхъ, я поѣхалъ домой въ какомъ-то ошеломленіи; все въ головѣ было смутно и дрожало внутри, я желалъ, чтобъ домъ нашъ былъ за тысячу верстъ. Но вотъ блеснуло что-то между деревьевъ, еще и еще; это были фонарики, зажженные дѣтьми. У воротъ стояли наши люди, Тата и Natalie съ Олею на рукахъ.

— Какъ, ты одинъ?—спросила меня спокойно Natalie, да ты хоть бы Колю привезъ.

— Ихъ нѣтъ, сказалъ я, съ ихъ пароходомъ что-то случилось, надобно было перейти на другой, тотъ не всѣхъ взялъ. Луиза здѣсь.

— *Ихъ нѣтъ!* вскрикнула Natalie. Я теперь только разглядѣла твое лицо: у тебя глаза мутны, всѣ черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я ѣду ихъ искать въ Геръ.

Она покачала головой и прибавила:

— Ихъ нѣтъ! ихъ нѣтъ! потомъ молча приложила лобъ къ моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова. Я привелъ ее въ столовую; проходя, я шепнулъ Роккѣ: «Бога ради, фонари...», онъ понялъ меня и бросился ихъ тушить. Въ столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, передъ мѣстомъ моей матери букетъ цвѣтовъ, передъ мѣстомъ Коли—новыя игрушки.

Страшная вѣсть быстро разнеслась по городу, и домъ нашъ сталъ наполняться близкими знакомыми, какъ Фогтъ, Тесье, Хоецкій, Орсини, и даже совсѣмъ посторонними: одни хотѣли узнать, что случилось, другіе показать участіе, третьи совѣтовать всякую всячину, большей частью, вздоръ. Но не буду неблагодаренъ: участіе, которое мнѣ тогда оказали въ Ниццѣ, меня глубоко тронуло. Передъ такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуютъ свою связь.

Я рѣшился въ ту же ночь ѣхать въ Іеръ. Natalie хотѣла ѣхать со мной; я уговорилъ ее остаться; къ тому же погода круто перемѣнилась, подулъ мистраль, холодный какъ ледъ и съ сильнымъ дождемъ. Надобно было достать пропускъ во Францію, черезъ Варскій мостъ; я поѣхалъ къ Леону Пиле, французскому консулу; онъ былъ въ оперѣ; я отправился къ нему въ ложу съ Хоецкимъ; Пиле, уже прежде что-то слышавшій о случившемся, сказалъ мнѣ:

— Я не имѣю права дать вамъ позволеніе, но есть обстоятельства, въ которыхъ отказъ былъ бы преступленіемъ. Я вамъ дамъ на свою отвѣтственность билетъ для пропуска черезъ границу, приходите за нимъ черезъ полчаса въ консулатъ.

У входа въ театръ меня ждали человѣкъ десять изъ тѣхъ, которые были у насъ. Я имъ сказалъ, что Леонъ Пиле даетъ билетъ.

— «Поѣзжайте домой и не хлопчите ни о чемъ», говорили мнѣ со всѣхъ сторонъ; «остальное будетъ сдѣлано,—мы возьмемъ билетъ, визируемъ его въ интенданствѣ, закажемъ почтовыхъ лошадей». Хозяинъ моего дома, бывший тутъ, побѣждалъ доставать карету; содержатель гостиницы предложилъ безденежно свою.

Въ 11 часовъ вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы вѣтра были иной разъ до того сильны, что лошади останавливались; море, въ которомъ такъ недавно были похороны, едва видное въ темнотѣ, билось и ревѣло. Мы поднимались на Эстрель, дождь замѣнился снѣгомъ, лошади спотыкались и чуть не падали отъ гололедицы. Нѣсколько разъ почтальонъ, выбившись изъ силъ, принимался грѣться; я ему подавалъ мою фляжку съ коньякомъ и, обѣщая двойные прогоны, упрашивалъ торопиться.

Зачѣмъ? Вѣрилъ ли я въ возможность, что найду кого-нибудь изъ нихъ, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это, послѣ всего слышаннаго,—но поискать, взглянуть на самое мѣсто, найти вещь, тряпку, увидѣть очевидца, наконецъ... была потребность убѣдиться, что нѣтъ надежды, и потребность что-нибудь дѣлать, не быть дома, придти въ себя.

Пока на Эстрелѣ мѣняли лошадей, я вышелъ изъ кареты, сердце мое сжалось и я чуть не зарыдалъ, осмотрѣвшись: это было возлѣ той самой таверны, въ которой мы провели ночь въ 1847 г. Я вспомнилъ огромныя деревья, осыпавшія ее; тотъ же видъ стлался передъ нею, только тогда онъ былъ освѣщенъ восходящимъ солнцемъ, а теперь скрывался за сѣрыми не итальянскими тучами и мѣстами бѣлѣлъ отъ снѣга.

Живо представилось мнѣ то время, со всѣми мельчайшими подробностями: я вспомнилъ, какъ хозяйка насъ потчевала зайцемъ, тухлость котораго была заморена страшнымъ количествомъ чеснока, какъ въ спальнѣ летали летучія мыши, какъ я ихъ гонялъ съ нашей Луизой полотенцемъ и какъ на насъ вѣяло въ первый разъ теплымъ кожнымъ воздухомъ...

Тогда я писалъ:—«Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости,—югъ бѣшь, хочется пѣть, плясать, плакать; все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Послѣ Авиньона намъ надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ-за утренняго тумана, лучъ солнца орумянилъ ослѣпительныя снѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью; воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ, наши слова, пѣнье птицъ раздавались громче обыкновеннаго, и вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги блеснуло каймой около горъ и задрожало серебрянымъ огнемъ Средиземное море ¹⁾».

И вотъ черезъ четыре года я снова на томъ же мѣстѣ!..

Прежде ночи мы не могли пріѣхать въ Іеръ; я тотчасъ отправился къ комиссару полиціи; съ нимъ и съ жандармскимъ бригадиромъ пошли мы сначала къ морскому комиссару. У него были разныя спасенныя вещи; я ничего въ нихъ не нашелъ. Потомъ мы пошли въ больницу: одинъ изъ утопавшихъ отходилъ, другіе сообщили мнѣ, что они видѣли пожилую женщину, ребенка лѣтъ пяти и съ нимъ молодого человѣка, съ бѣлокурой, окладистой

1) „Письма изъ Франціи и Италіи“.

бородой... что они видѣли ихъ въ самую послѣднюю минуту, и что, стало быть, они такъ же пошли ко дну, какъ и всѣ. Но тутъ-то снова и являлся вопросъ: вѣдь, рассказывавшіе были же живы, хотя и они, какъ Луиза и горничная, порядкомъ не помнили, какъ спаслись.

Найденныя тѣла лежали въ криптѣ монастыря; мы пошли туда изъ больницы; сестры милосердія встрѣтили насъ и повели, освѣщая намъ дорогу церковными свѣчами. Въ криптѣ стоялъ рядъ вновь сколоченныхъ ящиковъ, въ каждомъ ящикѣ было одно тѣло. Комиссаръ велѣлъ ихъ раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадиръ послалъ жандарма за долотомъ и велѣлъ ему потомъ взламывать одну крышку за другой.

Этотъ осмотръ тѣлъ былъ не человѣчески тяжелъ. Комиссаръ держалъ въ рукѣ книжку и какимъ-то официальнымъ тономъ спрашивалъ, при вскрытіи каждаго ящика: «Вы свидѣтельствуете, въ присутствіи нашемъ, что тѣло это вамъ незнакомо»; я кивалъ головой, комиссаръ мѣтилъ карандашемъ и, обращаясь къ жандарму, приказывалъ снова закрыть. Мы переходили къ другому. Жандармъ приподнималъ крышу, я съ какимъ-то ужасомъ бросалъ взглядъ на покойника, и словно было легче, когда встрѣчалъ незнакомыя черты, а въ сущности еще страшнѣе было думать, что всѣ трое пропали такъ безслѣдно, такъ заброшенно лежать на днѣ моря, носятся волнами. Тѣло безъ гроба, безъ могилы страшнѣе всякихъ похоронъ, а тутъ не было и самихъ покойниковъ.

Я никого не нашелъ. Одно тѣло поразило меня: женщина лѣтъ двадцати, красавица, въ нарядномъ провансальскомъ костюмѣ; ея грудь была обнажена (съ нею былъ ребенокъ, разумѣется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лицо ея нисколько не измѣнилось, смуглый загаръ придавалъ ей совершенно живой видъ.

Бригадиръ не вытерпѣлъ и замѣтилъ: «экая прелесть какая!» Комиссаръ ничего не прибавилъ, жандармъ, накрывши ее, замѣтилъ бригадиру: «я зналъ ее, она изъ здѣшнихъ подгородныхъ крестьянокъ, ѣхала къ мужу въ Грасъ. Пусть подождетъ!»

Моя мать, мой Коля и нашъ добрый Шпильманъ исчезли безслѣдно, ничего не осталось отъ нихъ; между спасенными вещами не было ни лоскутка имъ принадлежащаго, сомнѣніе въ ихъ гибели было невозможно. Всѣ спасшіеся были или въ Іерѣ, или на томъ же пароходѣ, который привезъ Луизу. Капитанъ выдумалъ для моего успокоенія какую-то сказку.

Въ Іерѣ мнѣ рассказывали еще о пожиломъ человѣкѣ, потерявшемъ всю семью, который не хотѣлъ оставаться въ больницѣ и ушелъ куда-то пѣшкомъ безъ денегъ, въ состояніи близкомъ

къ помѣшательству, и о двухъ англичанкахъ, отправившихся къ англійскому консулу: онѣ лишились матери, отца и брата!

Дѣло шло къ разсвѣту, я велѣлъ привести лошадей. Передъ отбѣздомъ гарсонъ водилъ меня на часть берега, выдавшуюся въ море, и оттуда показывалъ мѣсто кораблекрушенія. Море еще кипѣло и волновалось, сѣдое и мутное отъ вчерашней бури; вдали, на одномъ мѣстѣ, качалось какое-то особенное пятно, словно болѣе густая, прозрачная влага.

— «Пароходъ везъ грузъ масла, видите, оно отстоялось, вотъ тутъ и было несчастіе». Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тутъ?

— «Метровъ сто восемьдесятъ будетъ». Я постоялъ, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, какъ вчера, дулъ, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесятъ метровъ глубины и носящееся пятно масла!

Nul ne sait vorte sort, pauvres têtes perdues,
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...

Съ страшной достовѣрностью пріѣхалъ я назадъ. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли, она не выздоравливала больше. Испугъ, боль остались,—вопли въ кровь. Иногда вечеромъ, ночью она говорила мнѣ, какъ бы прося моей помощи: «Коля, Коля не оставляетъ меня, бѣдный Коля, какъ онъ, чай, испугался, какъ ему было холодно, а тутъ рыбы, омары!» Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцѣлѣла въ карманѣ у горничной, и наставало молчаніе, то молчаніе, въ которое жизнь утекаетъ, какъ въ поднятую плотину. При видѣ этихъ страданій, переходившихъ въ нервную болѣзнь, при видѣ ея блестящихъ глазъ и увеличивающейся худобы, я въ первый разъ усомнился, спасу ли я ее... Въ мучительной неувѣренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей между приговоромъ и казнію, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ, что онъ отъ топора не уйдетъ!

III.

X 1852.

Снова наступилъ новый годъ; мы его встрѣтили около постели Natalie: наконецъ, организмъ ея не вынесъ и она слегла.

Энгельсоны, Фогтъ, человѣка два близкихъ знакомыхъ были у насъ. Всѣ были печальны. Парижское 2-е декабря лежало пли-

той на груди... Общее, частное—все неслоь куда-то въ пропасть, я ужь такъ далеко ушло подь гору, что ни остановить, ни измѣнить нельзя было; приходилось ждать, тушо, страдательно, когда все сорвавшееся съ рельсовъ полетитъ въ тьму.

Подали обычный бокаль. Въ двѣнадцать часовъ мы улыбнулись натянуто. Внутри была смерть и ужасъ, всѣмъ было совѣстно прибавить къ новому году какое-нибудь желаніе. Заглянуть впередъ было страшнѣе, чѣмъ обернуться.

Болѣзнь опредѣлилась: сдѣлался плевритъ въ лѣвой сторонѣ.

Пятнадцать страшныхъ дней провела она между жизнью и смертью, но на этотъ разъ—жизнь побѣдила. Наступило выздоровленіе, а съ нимъ послѣдній лучъ надежды блѣдно освѣтилъ тревожную жизнь нашу.

Силы ея духа возвратились прежде... Были минуты удивительныя—послѣдніе аккорды навѣки умолкнувшей музыки.

Съ наступленіемъ весны больной сдѣлалось лучше: она уже большую часть дня сидѣла въ креслахъ, могла разобрать свои волосы, нечесанные въ продолженіе болѣзни, наконецъ, безъ утомленія могла слушать, когда ей читали вслухъ.

Мы собирались, какъ только ей будетъ получше, ѣхать въ Севилью или Кадыксъ. Ей хотѣлось выздоровѣть, хотѣлось жить, хотѣлось въ Италію.

Внизъ Natalie еще не сходила и не торопилась: она собиралась сойти въ первый разъ 25 марта въ мое рожденіе. Для этого она приготовила себѣ бѣлую мериносовую блузу, а я выписалъ изъ Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мнѣ, кого хочетъ звать сверхъ Энгельсоновъ, Фогта, Орсини, Мордини и Паччелли съ женой.

За два дня до моего рожденія у Ольги сдѣлался насморкъ съ кашлемъ: въ городѣ была influenza. Ночью Natalie два раза вставала, ходила черезъ комнату въ дѣтскую. Ночь была теплая, но бурная. Утромъ она проснулась сама съ сильнѣйшей influenz'ей, сдѣлался мучительный кашель, а къ вечеру вернулась лихорадка.

О томъ, чтобъ встать на другой день, нечего было и думать: послѣ лихорадочной ночи — ужасная прострація, болѣзнь росла. Всѣ вновь ожившія, блѣдныя, но цѣпкія надежды были разбиты. Неестественный звукъ капли грозилъ чѣмъ-то зловѣщимъ.

Natalie и слышать не хотѣла, чтобы гостямъ отказали. Печально и тревожно сѣли мы часа въ два за столъ безъ нея.

Паччелли привезла съ собой какую-то арію, сочиненную ея мужемъ для меня. М-ше Паччелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Слово горе какое-нибудь лежало на ней. Проклятіе ли бѣдности тяготѣло надъ ней, или, можетъ

быть, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чѣмъ вѣчные уроки музыки и преданность челоуѣка слабаго, блѣднаго и чувствовавшаго свое подчиненіе ей.

Въ нашемъ домѣ она чувствовала больше простоты и теплаго привѣта, чѣмъ у другихъ практикъ, и полюбила Natalie съ южной экзальтаціей.

Послѣ завтрака она посидѣла у больной и вышла отъ нея блѣдная, какъ полотно. Гости просили ее спѣть привезенную арію. Она сѣла за фортепіано, запѣла и вдругъ, испуганно взглянувъ на меня, залилась слезами, склонила голову на инструментъ и спазматически зарыдала. Это покончило праздникъ. Гости разошлись, почти не говоря ни слова, задавленные какой-то каменной плитой.

Пошелъ я наверхъ. Тотъ же страшный капелъ продолжался. Это было начало похоронъ!

И притомъ двухъ!

Черезъ два мѣсяца послѣ дня моего рожденія, схоронили и ш-ше Паччелли. Она поѣхала въ Ментонъ или Роккабругъ на ослѣ. Ослы въ Италіи привыкли ночью взбираться въ горы, не остушаясь. Тутъ бѣлымъ днемъ оселъ споткнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тутъ же умерла въ ужаснѣйшихъ страданіяхъ... Я былъ въ Лугано, когда получилъ эту вѣсть.

И ее съ костей долой. Nur zu — какая-то слѣдующая нелѣпость?

Далѣе все заволакивается... Настаетъ мрачная, тупая и неясная въ памяти ночь, тутъ и описывать нечего, или нельзя. Время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственнаго ничтожества и страшной тѣлесной силы...

Все въ домѣ осунулось. Особеннаго рода неустройство и безпорядокъ, суета, сбитые съ ногъ слуги—и рядомъ съ вступающей смертью новыя сплетни, новыя гадости... Судьба не золотила мнѣ больше пилюли, не пожалѣли меня и люди: благо, молъ, крѣпки плечи, пускай себѣ!

Вечеромъ 29-го апрѣля приѣхала Марья Каспаровна. Natalie ожидала ее со дня на день. Она звала ее нѣсколько разъ, боясь, чтобы M-me Engelson не захватила въ руки воспитаніе дѣтей. Она ждала съ часу на часъ и, когда мы получили письмо, она послала Гауча и Сашу навстрѣчу къ ней на Варскій мостъ. Но, несмотря на это, свиданіе съ Марьей Каспаровной нанесло ей страшное потрясеніе. Я помню ея слабый крикъ, похожій на стонъ, съ которымъ она сказала: «Маша», и не могла ничего больше прибавить.

Болѣзнь застала Natalie въ половинѣ беременности. Д-ръ Пон-

Фисъ и Фогтъ думали, что это исключительное положеніе могло къ выздоровленію отъ плерезіи (плеврита).

Пріѣздъ Марьи Каспаровны ускорилъ роды. Роды были лучше, чѣмъ ожидали, младенецъ родился живой, но силы истощились. Наступила страшная слабость. Младенецъ родился къ утру. Къ вечеру она велѣла подать себѣ новорожденнаго и позвать дѣтей. Докторъ прописалъ наисовершеннѣйшій покой. Я просилъ ее не дѣлать этого. Она кротко посмотрѣла на меня.

— «И ты, Александръ, слушаешься ихъ, сказала она: — смотри, какъ бы тебѣ не сдѣлалось потомъ очень жаль, что ты отъ меня отнимаешь эту минуту, — мнѣ теперь полегче. Я хочу сама представить малютку дѣтямъ».

Я позвалъ дѣтей.

Не имѣя силы держать новорожденнаго, она его положила возлѣ себя и съ свѣтлымъ, радостнымъ лицомъ сказала Сашѣ и Татѣ:

— «Вотъ вамъ еще маленькій братъ, любите его».

Дѣти весело бросились цѣловать ее и малютку. Мнѣ вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на дѣтей:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть!

Оглушенный горемъ, смотрѣлъ я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дѣти ушли, я умолялъ ее не говорить и отдохнуть. Она хотѣла отдохнуть и не могла: слезы катились изъ глазъ.

— «Да неужели нѣтъ спасенья?»

И она остановила на мнѣ какой-то взглядъ просьбы и отчаянія. Эти переходы отъ страшной безнадежности къ упованію невыразимо раздражали сердце въ послѣднее время. Въ тѣ минуты, когда я всего меньше вѣрилъ, она брала мою руку и говорила мнѣ:

— «Нѣтъ, Александръ, этого не можетъ быть, это слишкомъ глупо, мы проживемъ еще».

Скользнули лучи надежды и меркли сами собой и замѣнялись печальнымъ, тихимъ отчаяніемъ.

— «Когда меня не будетъ, говорила она, и все устроится; теперь я не могу себѣ вообразить, какъ вы будете безъ меня, кажется, я такъ нужна дѣтямъ, а подумаешь — и безъ меня они будутъ такъ же расти, и все пойдетъ своимъ путемъ, какъ-будто и всегда такъ было». Еще нѣсколько словъ прибавила она о дѣтяхъ, о здоровьѣ Саши, порадовалась, что онъ сталъ крѣпче въ Ниццѣ, что въ этомъ согласенъ и Фогтъ. — «Береги Тату, съ ней надо быть очень осторожнымъ, — это натура глубокая и несообщив-

тельная. Ахъ, — добавила она, — если бы я могла дожить до прѣзда моей Натали... А что дѣти спать?» — спросила она, немного погодя.

— Спать, — сказалъ я.

Издали слышались дѣтскіе голоса.

— «Это Оленька, — сказала она и улыбнулась (въ послѣдній разъ): — посмотри, что она».

Къ ночи ею овладѣло сильное безпокойство, она молча указывала, что подушка нехорошо лежитъ. Но, какъ я ни поправлялъ, ей все казалось безпокойно, и она съ тоской и даже съ неудовольствіемъ мѣняла положеніе головы; потомъ наступилъ тяжелый сонъ.

Средь ночи она сдѣлала движеніе рукой, какъ-будто хотѣла пить; я ей подаль съ ложечки апельсиновый сокъ съ сахарной водой, но зубы были стиснуты: она была безъ сознанія. Я оцѣпенѣлъ отъ ужаса.

Разсвѣтало. Я отдернулъ занавѣсъ и съ какимъ-то безумнымъ чувствомъ отчаянія разглядѣлъ, что не только губы, но и зубы почернѣли въ нѣсколько часовъ.

За что же еще это! Зачѣмъ это ужасное безпамятство! Зачѣмъ этотъ черный цвѣтъ!

Докторъ Понфисъ и К. Фогтъ сидѣли всю ночь въ гостиной. Я сошелъ внизъ и сказалъ, что я замѣтилъ. Онъ миновалъ мой взглядъ и, не отвѣчая, пошелъ наверхъ. Отвѣта было ненужно. Пульсъ больной едва бился.

Около полудня она пришла въ себя и опять позвала дѣтей, но не говорила ни слова...

Она находила, что въ комнатѣ темно. Это случилось второй разъ въ день. Она спросила меня, зачѣмъ нѣтъ свѣчей (двѣ свѣчи горѣли на столѣ). Я зажегъ еще свѣчу, но она, не замѣчая ее, находила, что темно.

— «Ахъ, другъ мой, какъ тяжело головѣ», — сказала она и еще два-три слова.

Она взяла мою руку — рука ея не была похожа на живую — и покрыла ею свое лицо. Я что-то сказалъ ей, она что-то сказала невнятно, — сознаніе было снова потеряно и не возвращалось.

Она осталась въ этомъ положеніи до слѣдующаго утра, 2 мая. Еще одно слово, одно только слово или уже конецъ всему!

Какіе нечеловѣческіе, страшные 19 часовъ!

Минутами она приходила въ сознаніе, явственно говорила, что хочетъ снять фланель, кофту, спрашивала платокъ, но ничего больше.

Я нѣсколько разъ начиналъ говорить; мнѣ казалось, что она слышитъ, но не можетъ выговорить слова, будто бы выраженіе

горькой боли пробѣгало по ея лицу. Раза два она пожала мою руку, не судорожно, а намѣренно,—я въ этомъ увѣренъ. Часовъ въ 6 утра я спросилъ доктора, сколько остается времени.

— Не больше часа.

Я вышелъ въ садъ позвать Сашу. Я хотѣлъ, чтобы у него навсегда остались въ памяти послѣднія минуты его матери. Вскходя съ нимъ на лѣстницу, я сказалъ ему, какое несчастье насъ ожидаетъ, онъ не подозрѣвалъ всей опасности.

Блѣдный и близкій къ обмороку, вошелъ онъ со мною въ комнату.

— Станемъ рядомъ здѣсь на колѣни, — сказалъ я, указывая на коверъ у изголовья.

Предсмертный потъ покрывалъ ея лицо, рука спазматически касалась до кофты, какъ-будто желала ее снять. Нѣсколько стенаній, нѣсколько звуковъ, напоминавшихъ мнѣ агонію Вадима Пассекъ,—и тѣ замолчали.

Докторъ взялъ руку и опустилъ ее, — она упала, какъ вещь.

Мальчикъ рыдалъ. Я хорошо не помню, что было въ первыя минуты. Я бросился вонъ въ залъ, встрѣтилъ Сh. Edm, хотѣлъ имъ сказать что-то, но вмѣсто слова изъ моей груди вырвался какой-то чужой мнѣ звукъ, я сталъ передъ окномъ и смотрѣлъ, оглушенный и безъ яснаго пониманія, на бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море.

Потомъ мнѣ вспомнились слова: «Береги Тату». Мнѣ сдѣлалось страшно, что ребенка испугаютъ. Говорить ей я запретилъ, но какъ можно было положитьсь. Я велѣлъ ее позвать и, запершись съ нею въ кабинетъ, посадилъ ее къ себѣ на колѣни и, мало-по-малу приготовивъ ее, сказалъ, наконецъ, что «мама умерла». Она дрожала всѣмъ тѣломъ, пятна вышли на лицѣ, слезы навернулись... Я повелъ ее наверхъ. Тамъ уже все измѣнилось. Покойница, какъ живая, лежала на убранной цвѣтами постели возлѣ малютки, скончавшагося въ ту же ночь. Комната была обита бѣлымъ, усыпана цвѣтами. Изящный во всемъ вкусъ итальянцевъ умѣетъ внести что-то кроткое въ раздражающую печаль смерти. Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— «Мамаша вотъ», сказала она, но, когда я ее поднялъ и она коснулась губами холоднаго лица, она истерически заплакала. Далѣе я не могъ вынести и вышелъ...

Часа черезъ полтора я сидѣлъ одинъ опять у того же окна и опять бессмысленно смотрѣлъ на море и на небо. Дверь открылась и вошла Тата. Она подошла ко мнѣ и, ласкаясь, какъ-то испуганно шептала мнѣ: «Папа, я умно себя вела, я не много плакала?» Съ глубокой горестью посмотрѣлъ я на сироту. «Да,

тебѣ и надо быть умной. Не знать тебѣ материнской ласки, материнской любви, ихъ ничто не замѣнить. У тебя будетъ пробѣль въ сердцѣ, ты не испытала лучшей, чистѣйшей, единой безкорыстной привязанности въ свѣтѣ. Ты ее, можетъ быть, будешь имѣть, но къ тебѣ ее никто не будетъ имѣть. Что любовь отца въ сравненіи съ материнской болью любви?..».

Она лежала вся въ цвѣтахъ. Шторы были опущены. Я сидѣлъ на стулѣ, на томъ обычномъ стулѣ возлѣ кровати, кругомъ было тихо,—только море кишѣло подъ окномъ.

Флеръ, казалось, приподнимался отъ слабаго, очень слабаго дыханія.

Кротко застыли скорбь и тревога, словно страданія окончились безслѣдно, ихъ стерла беззаботная ясность памятника, не знающаго, что онъ представляетъ. И я все смотрѣлъ, смотрѣлъ всю ночь. Ну, а какъ, въ самомъ дѣлѣ, она проснется.

Она не проснулась. Это не сонъ, это смерть!

Итакъ, это правда!

На полу, на лѣстницѣ было выброшено множество красножелтаго гераниума. Запахъ этотъ и теперь потрясаетъ меня, какъ гальваническій ударъ, и я вспоминаю всѣ подробности, каждую минуту, и вижу комнату, обтянутую бѣлымъ съ завѣшанными зеркалами, возлѣ нея также въ цвѣтахъ желтое тѣло младенца, уснувшаго, не просыпаясь, и ея холодный, страшно холодный лобъ... Я иду скорымъ шагомъ, безъ мысли и намѣренія въ садъ. Нашъ человѣкъ Франсуа лежитъ на травѣ и рыдаетъ, какъ дитя. Я хочу ему что-то сказать, и совсѣмъ нѣтъ голоса. Я бѣгу назадъ. Незнакомая дама въ черномъ, и съ нею двое дѣтей, потихоньку отворяетъ дверь,—она проситъ позволенія прочесть католическую молитву, я самъ готовъ молиться съ нею. Она становится на колѣни передъ кроватью, и дѣти становятся на колѣни, она шепчетъ латинскую молитву. Дѣти тихо повторяютъ за ней. Потомъ она говорила мнѣ: «И они не имѣютъ матери, а отецъ ихъ далеко. Вы хоронили ихъ бабушку». Это были дѣти Гарибальди.

Толпы изгнанниковъ собрались черезъ сутки на дворѣ, въ саду, они пришли проводить ее.

Фогтъ и я—мы положили ее въ гробъ. Гробъ вынесли. Я твердо пошелъ за нимъ, держа Сашу за руку, и думалъ: вотъ такъ-то люди глядятъ на толпу, когда ихъ ведутъ на висѣлицу. Какіе-то два француза (одного изъ нихъ помню—графъ Вогэ) на улицѣ съ ненавистью и смѣхомъ указали, что нѣтъ священника. Тесье было прикрикнулъ на нихъ. Я испугался и сдѣлалъ ему знакъ рукой, — тишина была необходима. Огромный вѣнокъ изъ небольшихъ алыхъ розъ лежалъ на гробѣ. Мы всѣ сорвали по розѣ. Точно на cadaго капнула капля крови.

Когда мы входили на гору, поднялся мѣсяцъ; свергнуло море, участвовавшее въ ея убійствѣ. На пригоркѣ, выступающемъ въ него, въ виду Эстрель, съ одной стороны, и Каринче, съ другой, схоронили мы ее. Кругомъ садъ. Эта обстановка продолжала роль цвѣтовъ на постели...

Марья Каспаровнѣ было пора въ Парижъ. Всѣ настаивали, чтобъ я отправилъ Тату и Ольгу съ ней, а самъ отправился съ Сашей въ Геную.

Больно мнѣ было разставаться, но я не довѣрялъ себѣ. Можетъ, думалось мнѣ, и въ самомъ дѣлѣ такъ лучше, ну, а лучше, такъ пусть такъ и будетъ. Я только просилъ не увозить дѣтей до 9 мая, я хотѣлъ провести съ ними 14-ую годовщину нашей свадьбы.

На другой день послѣ ней, я проводилъ ихъ на Варскій мостъ. Гаучъ поѣхалъ съ ними до Парижа. Мы посмотрѣли, какъ таможенные пристава, жандармы и всякая полиція тормозили пассажировъ.

Гаучъ потерялъ свою трость, подаренную мною, искалъ ее и сердился.

Тата плакала. Кондукторъ въ мундирной курткѣ сѣлъ возлѣ кучера. Дилижансъ поѣхалъ по Драгиньянской дорогѣ, а мы, Тесье, Саша и я, пошли назадъ черезъ мостъ, сѣли въ коляску и поѣхали туда, гдѣ я жилъ.

Дома у меня больше не было. Съ отъѣздомъ дѣтей, послѣдняя печать семейной жизни отлетѣла. Все приняло холостой видъ.

Энгельсонъ съ женой уѣхалъ черезъ два дня. Комнаты были заперты. Тесье и Ед. переѣхали ко мнѣ. Женскій элементъ былъ исключенъ. Одинъ Саша напоминалъ возрастомъ, чертами, что здѣсь было что-то другое... напоминаше кого-то отсутствующаго.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Русскія тѣни.

I

Н. И. Сазоновъ.

Сазоновъ, Бакунинъ, Парижъ.—Имена эти, люди эти, городъ этотъ такъ и тянутъ назадъ... назадъ— въ даль лѣтъ, въ даль пространствъ, во времена юношескихъ конспирацій, во времена философскаго культа и революціоннаго идолопоклонства ¹⁾).

Мнѣ слишкомъ дороги наши *два юности*, чтобъ опять не приостановиться на нихъ... Съ Сазоновымъ я дѣлилъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ наши отроческія фантазіи о заговорѣ à la Ріензи; съ Бакунинымъ, десять лѣтъ спустя, въ потѣ мозга завоевывалъ Гегеля.

О Бакунинѣ я говорилъ и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ: въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи,—дѣлаютъ изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Бакунинъ носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарейса Клоотса, другомъ Гракха Бабёфа,—и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвра-

¹⁾ Этотъ очеркъ принадлежитъ къ XXXIV гл.

щался до тѣхъ поръ, пока пикеть австрійскихъ драгуновъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники дѣлсообразности, милые фаталисты рационализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, гложетъ, не выдавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Примѣръ Сазонова еще рѣзче. Сазоновъ прошелъ безслѣдно, и смерть его такъ же никто не замѣтилъ, какъ всю его жизнь. Онъ умеръ, не исполнивъ ни одной надежды изъ тѣхъ, которыя клали на него его друзья. Легко сказать, что онъ виноватъ въ своей судьбѣ; но какъ оцѣнить и взвѣсить долю, падающую на человѣка, и ту, которая падаетъ на среду.

Хоронить затянувшіяся существованія того времени, выбившіяся изъ силъ, усиливаясь стащить съ мели глубоко врѣзавшуюся въ песокъ барку нашу, — моя специальность. Я ихъ Домажировъ, теперь всѣми забытый, а нѣкогда всѣмъ въ Москвѣ извѣстный старикъ, отставной ординарецъ Прозоровскаго. Пудренный, въ свѣтло-зеленомъ павловскомъ мундирѣ, являлся онъ на всѣ выносы, на которыхъ бывалъ архіерей, становился вперёдъ процессіи и велъ ее, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

..... На второй годъ университетскаго курса, то есть, осенью 1831, мы встрѣтили въ числѣ новыхъ товарищей, въ физико-математической аудиторіи, двоихъ, съ которыми особенно сблизились.

Наши сближенія, симпатіи и антипатіи шли изъ одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религіи: наука, искусство, связи, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращаться, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Первый товарищъ, ясно понявшій насъ, былъ Сазоновъ; мы нашли его совсѣмъ готовымъ, и тотчасъ подружились. Онъ сознательно подалъ свою руку и на другой день привелъ намъ еще одного студента.

Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но, несмотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другого его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и предан-

ности, едва вышедшій изъ-подъ материнскаго крыла, съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жался къ намъ и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ, — это была натура Владимира Ленскаго, натура Веневитинова.

... Мы подали другу руку и à la lettre пошли проповѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой «вселенной» ¹⁾).

Проповѣдывали мы вездѣ, всегда... Что мы собственно проповѣдывали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповѣдывали французскую революцію, потомъ проповѣдывали сенъ-симонизмъ и ту же революцію, мы проповѣдывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуше всего проповѣдывали ненависть къ всякому насилью, къ всякому произволу.

Съ тѣхъ поръ наша пропаганда не перемежалась черезъ всю жизнь нашу, отъ университетской аудиторіи до Лондонской типографіи. Вся наша жизнь была посильнымъ исполненіемъ отроческой программы. Прослѣдить нитку не трудно по затронутымъ вопросамъ, по возбужденнымъ интересамъ, въ журналахъ, на лекціяхъ, въ литературныхъ кругахъ... Видоизмѣняясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась вѣрной себѣ и вносила свой *индивидуальный* характеръ во все окружающее. Казна подняла насъ и сдѣлала намъ пьедесталь *тюрьмой* и *ссылкой*. Мы возвратились въ Москву «авторитетами» въ двадцать пять лѣтъ. Къ намъ примкнули Бѣлинскій, Грановскій и Бакунинъ, а статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ* мы сами примкнули къ петербургскому движенію лицейстовъ и молодой литературы.

Смѣло и съ полнымъ сознаніемъ скажу еще разъ про наше товарищество того времени: «что это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливыхъ, чистыхъ, развитыхъ, умныхъ и преданныхъ я не встрѣчалъ», а скитался довольно по бѣлому и по *красному* свѣту. Я не только говорю о нашемъ, близкомъ кругѣ, но то же и въ той же силѣ долженъ сказать о кругѣ Станкевича и о славянофилахъ. Молодые люди, испуганные ужасной дѣйствительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всѣмъ, до чего добиваются другіе—общественнымъ положеніемъ, богатствомъ, всѣмъ, что имъ предлагала традиціонная жизнь, къ чему влекла среда, примѣръ, къ чему нудила семья — изъ-за своихъ убѣжденій и остались вѣрными имъ.

¹⁾ Universitas.

Сазоновъ былъ дѣйствительно праздный человѣкъ и сгубилъ въ себѣ бездну силъ; затертый разными разностями на чужбинѣ, онъ пропалъ, какъ солдатъ, взятый въ плѣнъ на первомъ сраженіи и никогда не возвращавшійся домой.

Когда насъ арестовали въ 1834 году и посадили въ тюрьму, Сазоновъ и Кетчеръ удѣлѣли какимъ-то чудомъ. Оба они жили въ Москвѣ почти безвыѣздно, говорили много, но писали мало, ихъ писемъ ни у кого изъ насъ не было. Насъ повезли въ ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспортъ въ Италію. Участъ его, разрозненная съ нами, положила, можетъ, начало послѣдующей жизни его, — жизни какой-то блуждающей и безслѣдно падающей звѣзды.

Черезъ годъ онъ возвратился въ Москву; это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ прошлаго царствованія. Въ Москвѣ его встрѣтилъ мертвый *calme plat*, нигдѣ ни тѣни сочувствія, ни живого слова. Мы въ *резервахъ* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились съ грубой реальностью провинціального быта.

Въ Москвѣ все Сазонову напоминало наше отсутствіе. Изъ старыхъ друзей одинъ Кетчеръ былъ налицо, человѣкъ, съ которымъ Сазоновъ, чопорный и аристократъ по манерамъ, всего меньше могъ идти рука въ руку. Кетчеръ, какъ мы говорили, былъ сознательный дикарь — изъ *образованныхъ*, куперовскій піонеръ, съ премедитаціей возвращавшійся въ первобытное состояніе людского рода, грубый по принципу, неряха по теоріи, студентъ лѣтъ тридцати пяти въ роли Шиллеровскаго юноши.

Сазоновъ побился, побился въ Москвѣ, — скука одолѣла его, ничто не звало на трудъ, на дѣятельность. Онъ попробовалъ переѣхать въ Петербургъ—еще хуже; не выдержалъ онъ *à la longue*, и уѣхалъ въ Парижъ безъ опредѣленнаго плана. Это было еще то время, когда Парижъ и Франція имѣли на насъ всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ея шероховатой стороны, и были въ восторгѣ отъ всего — отъ либеральныхъ рѣчей, отъ пѣсней Беранже и каррикатуръ Филиппона. Такъ было и съ Сазоновымъ. Но дѣла не нашелъ онъ и тутъ. Шумная, веселая праздность замѣняла нѣмую, подавленную жизнь. Въ Россіи онъ былъ связанъ по рукамъ и ногамъ, тутъ чужой всѣмъ и всему. Другой длинный рядъ годовъ безцѣльно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него въ Парижѣ. Сосредоточиться въ себѣ, отдаться внутренней работѣ, не ожидая толчка извнѣ, онъ не могъ, это не лежало въ его натурѣ. Объективный интересъ науки не былъ въ немъ такъ силенъ. Онъ искалъ иной дѣятельности и былъ бы готовъ на всякій трудъ,—но на виду, но

въ быстромъ приложеніи его, въ практическомъ осуществленіи и притомъ при громкой обстановкѣ, при рукоплесканіяхъ и крикѣ враговъ; не находя такой работы, онъ бросился въ Парижскій разгуль.

.... А горѣли и его глаза и наполнялись слезой при памяти о нашихъ университетскихъ мечтахъ..... Внутри его глубоко-уязвленного самолюбія все еще хранилась вѣра въ *близкій* переворотъ Россіи и въ то, что онъ призванъ играть въ немъ большую роль. Казалось, онъ и кутиль только *покаместъ*, въ скучномъ ожиданіи предстоящаго огромнаго дѣла, и былъ увѣренъ, что однимъ добрымъ вечеромъ его вызовутъ изъ-за стола *café Anglais* и повезутъ управлять Россіей... Онъ пристально присматривался къ тому, что дѣлается и съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда нужно будетъ принять серьезное участіе и сказать послѣднее, завершающее слово.

.... Послѣ первыхъ, шумныхъ дней, въ Парижѣ начались больше серьезные разговоры, при чемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны (такъ, какъ въ послѣдствіи Высоцкій и члены польской централизаціи), что новости, мною привезенныя, больше относились къ литературному и университетскому міру, чѣмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали разсказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ, объ оппозиціи (въ 1847 !), а я имъ говорилъ о кафедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бѣлинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разобщились съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы «всемирной» революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе «Мертвыхъ Душъ» было важнѣе назначенія двухъ Паскевичей фельд-маршалами. Безъ правильныхъ сообщеній, безъ русскихъ книгъ и журналовъ, они относились къ Россіи какъ-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освѣщеніе всякой дали.

Разница нашихъ взглядовъ чуть не довела насъ до размолвки. Это случилось такъ. Наканунѣ отъѣзда Бѣлинскаго изъ Парижа, мы проводили его вечеромъ домой и пошли гулять на Елисейскія поля. Страшно ясно видѣлъ я, что для Бѣлинскаго все кончено, что я ему въ послѣдній разъ жаль руку. Сильный, страстный боецъ сжегъ себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на изстрадавшемся лицѣ его. Онъ былъ въ злѣйшей чахоткѣ, а все еще полонъ святой энергіи и святого негодованія, все еще полонъ своей мучительной, «злой» любви къ Россіи. Слезы стояли у меня въ горлѣ и я долго шелъ молча, когда возобновился несчастный споръ, разъ десять являвшійся *sur le tapis*.

— Жаль, замѣтилъ Сазоновъ, что Бѣлинскому не было другой дѣятельности, кромѣ журнальной работы да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что онъ мало сдѣлалъ, отвѣчалъ я.

— Ну, съ такими силами, какъ у него, онъ при другихъ обстоятельствахъ и на другомъ поприщѣ побольше сдѣлалъ бы...

Мнѣ было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущіе безъ цензуры, вы полные вѣры въ себя, полные силъ и талантовъ, что же вы сдѣлали? Или что вы дѣлаете? Неужели вы воображаете, что ходить съ утра изъ одной части Парижа въ другую, чтобы еще разъ переговорить съ Служальскимъ или Хоткевичемъ о границахъ Польши и Россіи — дѣло? Или что ваши бесѣды въ кафе и дома, гдѣ пять дураковъ слушаютъ васъ и ничего не понимаютъ, а другіе пять ничего не понимаютъ и говорятъ,— дѣло?

— Постой, постой,—говорилъ Сазоновъ, уже очень неравнодушно,—ты забываешь наше положеніе.

— Какое положеніе? Вы живете здѣсь годы, на волѣ, безъ гнетущей крайности, чего же вамъ еще? Положенія создаются, силы заставляютъ себя признать, втѣсняють себя. Полноте, господа, одна критическая статья Бѣлинскаго полезнѣе для новаго поколѣнія, чѣмъ игра въ конспираціи и въ государственныхъ людей. Вы живете въ какомъ-то бреду и лунатизмѣ, въ вѣчномъ оптическомъ обманѣ, которымъ сами себя отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда двѣ мѣры, которыя прилагали не только Сазоновъ, но и вообще русскіе къ оцѣнкѣ людей. Строгость, обращенная на своихъ, превращалась въ культъ и поклоненіе передъ французскими знаменитостями. Досадно было видѣть, какъ наши *пасовали* передъ этими матадорами красноречія, забрасывавшими ихъ словами, фразами и общими мѣстами, сказанными съ *vitesse accélégée*. И чѣмъ смиреннѣе держали себя русскіе, чѣмъ больше они краснѣли и старались скрывать ихъ невѣжество (какъ дѣлаютъ нѣжные родители и самолюбивые мужья), тѣмъ больше тѣ ломались и важничали передъ гиперборейскими Анахарсисами.

Сазоновъ, любившій еще въ Россіи студентомъ окружать себя *дворомъ* разныхъ посредственностей, слушавшихъ и слушавшихся его, былъ и здѣсь окруженъ всякими скудными умомъ и тѣломъ лаццарони литературной Кіаи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетоновъ, въ родѣ тощаго Жюльвекура, полуповрежденнаго Тардифа-де-Мело, неизвѣстнаго, но великаго поэта Буэ, въ его хорѣ были и ограниченнѣйшіе поляки

изъ товѣнщизны и тупоумнѣйшіе нѣмцы изъ атеизма. Какъ онъ не скучаль съ ними,—это его секретъ, онъ даже ко мнѣ ходилъ почти всегда съ однимъ или съ двумя понятными изъ хора, не смотря на то, что я съ ними всегда скучаль и не скрываль этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что онъ самъ становился въ положеніе Жюльвекура въ отношенія къ Маратамъ, Риберолямъ и даже къ меньшимъ знаменитостямъ.

Все это не совсѣмъ понятно для современныхъ посѣтителей Парижа. Никакъ ненадобно забывать, что настоящій Парижъ—*не настоящій, а новый.*

Сдѣлавшись какимъ-то *своднымъ* городомъ всего свѣта, Парижъ пересталь быть городомъ по преимуществу французскимъ. Прежде въ немъ была вся Франція и «ничего развѣ ея»; теперь въ немъ вся Европа, да еще двѣ Америки, но *его самого* меньше; онъ расплылся въ своемъ званіи мірового отеля, караванъ-сарая и потерялъ свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уваженіе безъ границъ и отвращеніе безъ предѣловъ.

Само собою разумѣется, что отношеніе иностранцевъ къ новому Парижу измѣнилось. Союзныя войска, ставшія на бивакахъ, на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* городъ. Кочующій туристъ считаетъ Парижъ своимъ, онъ его покупаетъ, жуируетъ имъ и очень хорошо знаетъ, что онъ нуженъ Парижу, и что старый Вавилонъ обстроился, окрасился, побѣлился не для себя, а для него.

Въ 1847 г. я еще засталъ *прежній* Парижъ, къ тому же Парижъ съ поднятымъ пульсомъ, допѣвавшій Беранжеровы пѣсни—съ припѣвомъ: *vive la réforme*, невзначай перемѣнившимся въ *vive la République!* Русскіе продолжали тогда жить въ Парижѣ съ вѣчно присущимъ чувствомъ сознанія и благодарности Провидѣнію (и исправному взысканію оброковъ), *что они живутъ въ немъ*, что они гуляютъ въ Palais Royal'ѣ и ходятъ aux Français. Они откровенно поклонялись львамъ и львицамъ всѣхъ родовъ—знаменитымъ докторамъ и танцовщицамъ, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему Ма-Па и всѣмъ литературнымъ шарлатанамъ и политическимъ фокусникамъ.

Я ненавижу систему дерзости *préméditée*, которая у насъ въ модѣ. Я въ ней узнаю всѣ родовыя черты прежняго, офицерскаго, помѣщичьяго дантизма, ухарства, переложенныя на нравы Васильевскаго острова и линіи его. Но ненадобно забывать, что и кліентизмъ нашъ передъ западными авторитетами шель изъ той же казармы, изъ той же канцеляріи, изъ той же передней,—только въ другія двери, а именно обращенныя къ барину, начальнику и командиру. Въ нашей бѣдности поклоненія чему-бъ то ни было,

кромѣ грубой силы и ея знаменій, потребность имѣть нравственную *табель о рангахъ* очень понятна,—но зато передъ кѣмъ и кѣмъ ни стояли въ умиленіи лучшіе изъ нашихъ соотечественниковъ? Даже передъ Вердеромъ и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. Отъ *нѣмцевъ* можно сдѣлать заключеніе, что дѣлалось передъ французами, передъ людьми дѣйствительно замѣчательными, передъ Пьеромъ Леру, напр., или передъ *самою* Жоржъ-Зандъ...

Каюсь, что я сначала былъ увлеченъ и думалъ, что поговорить въ кафе съ историкомъ «десяти лѣтъ» или у Бакунина съ Прудономъ, нѣкоторымъ образомъ чинъ, повышение; но у меня все опыты идолопоклонства и кумировъ не держатся, и очень скоро уступаютъ мѣсто полнѣйшему отрицанію.

Мѣсяца черезъ три послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, я началъ крѣпко нападать на это *чинопочитаніе*, и именно въ пущій разгаръ моей оппозиціи случился споръ по поводу Бѣлинскаго. Бакунинъ, съ обыкновеннымъ добродушіемъ своимъ, самъ въ половину соглашался и хохоталъ; но Сазоновъ надулся и продолжалъ меня считать профаномъ въ практически-политическихъ вопросахъ. Вскорѣ я его убѣдилъ еще больше въ этомъ.

Февральская революція была для него полнѣйшимъ торжествомъ, знакомые фельетонисты заняли правительственныя мѣста, троны качались, ихъ поддерживали поэты и доктора. Нѣмецкіе князьки спрашивали совѣта и помощи у вчера гонимыхъ журналистовъ и профессоровъ. Либералы учили ихъ, какъ крѣпче нахлобучить узенькія коронки, чтобъ ихъ не снесло поднявшейся вьюгой. Сазоновъ писалъ ко мнѣ въ Римъ письмо за письмомъ и звалъ *домой*, въ Парижъ, въ единую и нераздѣльную республику.

Возвращаясь изъ Италіи, я засталъ Сазонова озабоченнымъ. Бакунина не было, онъ уже уѣхалъ *поднимать* западныхъ славянъ.

— Неужели, сказалъ мнѣ Сазоновъ при первомъ свиданіи, ты не видишь, что наше *время* пришло?

— То есть, какъ?

— Русское правительство въ *impass'ѣ*.

— Что же случилось, не провозглашена-ли республика?

— *Entendons nous*, я не думаю, чтобъ у насъ завтра было 24 февраля. Нѣтъ, но общественное мнѣніе, но наплывъ либеральныхъ идей, разбитая на части Австрія, Пруссія съ конституціей, заставляютъ подумать людей, окружающихъ Зимній дворецъ. Меньше нельзя сдѣлать, какъ *октроировать* какую-нибудь конституцію, *un simulacre de charte*, ну и при этомъ, прибавилъ онъ съ нѣкоторой торжественностью, при этомъ необходимо либераль-

ное, образованное, умѣющее говорить современнымъ языкомъ министерство. Думалъ ли ты объ этомъ?

— Нѣтъ.

— Чудакъ, гдѣ же они возьмутъ образованныхъ министровъ?

— Какъ не найти, если-бъ было нужно; но мнѣ кажется, они ихъ искать не будутъ.

— Теперь этотъ скептицизмъ неумѣстенъ, *исторія совершается* и притомъ очень быстро. Подумай,—правительство по неволѣ обратится къ намъ.

Я посмотрѣлъ на него, желая знать, что онъ шутитъ или нѣтъ. У него лицо было серьезно, нѣсколько поднято въ цвѣтѣ и нервно отъ волненія.

— Такъ-таки просто къ намъ?

— Ну, то есть, *лично* ли къ намъ, или къ нашему кругу, все равно,—да ты подумай еще разъ, къ кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смѣешься. Это наше несчастіе, что мы не умѣемъ ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir, ты все думаешь о статейкахъ, статейки хорошее дѣло, но теперь другое время, и одинъ день во власти важнѣе цѣлаго тома.

Сазоновъ съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на мою *непрактичность* и, наконецъ, нашелъ людей меньше скептическихъ, увѣровавшихъ въ близкое пришествіе его министерства. Въ концѣ 1848 г. два-три нѣмца-рефюжъе очень постоянно посѣщали небольшие вечера, устроенные Сазоновымъ у себя. Въ ихъ числѣ былъ австрійскій лейтенантъ, отличившійся какъ начальникъ штаба при Мессенгаузерѣ. Разъ, выходя часа въ два ночи по проливному дождю и вспомнивъ, что отъ rue Blanche до Quartier Latin не то, чтобъ было черезчуръ близко, офицеръ ропталъ на свою судьбу.

— Какая же вамъ неволя была въ такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно, не неволя, да знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мнѣ кажется, что съ нимъ надобно намъ поддерживать хорошія отношенія. Вы лучше меня знаете, что онъ съ своимъ талантомъ и умомъ... съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занимаетъ въ своей партіи, что онъ далеко пойдетъ при предстоящемъ переворотѣ въ Россіи...

— Ну, Сазоновъ,—сказалъ я ему на другой день:—Архимедову точку ты нашелъ, есть человѣкъ, который вѣрять въ твою будущую портфель, и этотъ человѣкъ лейтенантъ такой-то.

Время шло, переворота въ Россіи не было и пословъ за нами никто не присылалъ. Прошли и грозные іюньскіе дни; Сазоновъ принялся за «передовую статью»—не журнала, а *Эпохи*. Долго

работалъ онъ за ней, читалъ небольшіе отрывки, поправлялъ, мѣнялъ и едва окончилъ къ зимѣ. Ему казалось необходимымъ «объяснить послѣднюю революцію Россіи». «Не ждите,—говорилъ онъ въ началѣ,—чтобъ я вамъ сталъ описывать событія, другіе это сдѣлають лучше меня. Я вамъ передамъ мысль, идею совершившагося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, онъ всякій разъ, когда бралъ его, хотѣлъ сдѣлать что-нибудь необыкновенное, громовое,—письмо Чаадаева постоянно носилось въ его умѣ. Статья поѣхала въ Петербургъ, была прочтена въ дружескихъ кругахъ и не сдѣлала никакого впечатлѣнія.

Еще лѣтомъ 1848 завелъ Сазоновъ международный клубъ. Туда онъ привелъ всѣхъ своихъ Тардифовъ, нѣмцевъ и мессіанистовъ. Съ сіяющимъ лицомъ ходилъ онъ въ синемъ фракѣ по пустой залѣ. Онъ открылъ международный клубъ рѣчью, обращенной къ пяти-шести слушателямъ, въ числѣ которыхъ былъ я ¹⁾ въ роли публики, остальная кучка была на платформѣ въ качествѣ бюро. Вслѣдъ за Сазоновымъ предсталъ растрепанный, съ видомъ заспаннаго человѣка, Тардифъ-де-Мело, и грянулъ стихотвореніе въ честь клуба.

Сазоновъ поморщился, но остановить поэта было поздно.

Worccl, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous...

Кричалъ съ какимъ-то восторженнымъ остервенѣніемъ Тардифъ-де-Мело, не замѣчая смѣха.

На другой или третій день Сазоновъ мнѣ прислалъ экземпляровъ *тысячу* программы открытія клуба, тѣмъ клубъ и кончился. Только впоследствии мы услышали, что одинъ изъ представителей челоуѣчества, и именно представлявшій на этомъ конгрессѣ Испанію и говорившій рѣчь, въ которой называлъ исполнительную власть *potence ehéscoutive*, воображая, что это по-французски, чуть не попалъ въ Англію на настоящую висѣлицу и былъ приговоренъ къ каторжной работѣ за поддѣлку какого-то акта.

За неудавшимся министерствомъ и лопнувшимъ клубомъ слѣдовали больше скромныя, но и гораздо больше возможныя попытки сдѣлаться журналистомъ. Когда устроилась «La Tribune des peuples», подъ главнымъ завѣдываніемъ Мицкевича, Сазоновъ занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ редакціи, написалъ двѣ-три очень хорошія статьи... и замолкъ; а передъ паденіемъ «Трибуны», т. е., передъ 13 іюня 1849, былъ уже со всѣми въ ссорѣ. Все ему казалось мало, бѣдно, *il se sentait derogé*, досадовалъ за это,

¹⁾ Я былъ тогда, какъ выражаются поляки, „паспортовый“ и не отрѣзалъ еще путей возвращенія въ Россію.

ничего не оканчивалъ, запуская начатое и бросая въ половину сдѣланное.

Въ 1849 году я предложилъ Прудону передать иностранную часть редакціи «Voix du peuple» Сазонову. Съ его знаніемъ четырехъ языковъ, литературы, политики, исторіи всѣхъ европейскихъ народовъ, съ его знаніемъ партій, онъ могъ изъ этой части журнала сдѣлать чудо для французовъ. Во внутренней распорядокъ иностранныхъ новостей Прудонъ не входилъ, она была въ моихъ рукахъ, но я изъ Женевы ничего не могъ сдѣлать. Сазоновъ черезъ мѣсяць передалъ редакцію Хоецкому и разстался съ журналомъ. «Я Прудона глубоко уважаю, — писалъ онъ мнѣ въ Женеву, — но двумъ такимъ личностямъ, какъ его и моя, нѣтъ мѣста въ одномъ журналѣ».

Черезъ годъ Сазоновъ пристроился къ воскресенной тогда мащинистами «Реформѣ». Главной редакціей завѣдывалъ Ламене. И тутъ не было мѣста двумъ великимъ людямъ. Сазоновъ поработалъ мѣсяца три и бросилъ «Реформу». Съ Прудономъ онъ, по счастью, разстался мирно, съ Ламене — въ ссорѣ. Сазоновъ обвинялъ скупого старика въ корыстномъ употребленіи редакціонныхъ денегъ. Ламене, вспомнивъ привычки клерикальной юности своей, прибѣгнувъ къ *ultima ratio* на Западѣ и пустилъ насчетъ Сазонова вопросъ: «Не агентъ ли онъ русскаго правительства?»

Въ послѣдній разъ я Сазонова видѣлъ въ Швейцаріи въ 1851. Онъ былъ высланъ изъ Франціи и жилъ въ Женевѣ. Это было самое сѣрое, подавляющее время, грубая реакція торжествовала вездѣ. Поколебалась вѣра Сазонова во Францію и въ близкую перемену министерства въ Петербургѣ. Праздная жизнь ему надоѣла, мучила его, работа не спорилась, онъ хватался за все, безъ выдержки, сердился и пилъ. Къ тому же жизнь мелкихъ тревогъ, вѣчной войны съ кредиторами, добываніе денегъ, талантъ ихъ бросать и неумѣнье распоряжаться вносили много раздраженія и печальной прозы въ ежедневное существованіе Сазонова; онъ и кутилъ уже невесело, по привычкѣ, а кутить онъ нѣкогда былъ мастеръ.

Кстати нѣсколько словъ о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутежъ и не была лишена колорита.

Въ первые годы своей парижской жизни Сазоновъ встрѣтился съ одной богатой вдовой, съ нею онъ еще больше втянулся въ пышную жизнь. Она уѣхала въ Россію, оставивъ ему на воспитаніе ихъ дочь и большія деньги. Вдова не успѣла доѣхать до Петрополя, какъ уже ее замѣнила дебелая итальянка, съ голосомъ, передъ которымъ еще разъ пали бы стѣны Іерихонскія.

Года черезъ два-три вдова вздумала совершенно неожиданно побѣтить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа?—спросила она, оглядывая ее съ головы до ногъ.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну, какъ она научить ее говорить по-французски съ такимъ акцентомъ?.. Это бѣда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher...—и вдова взяла дочь.

Это былъ не только чувствительный, но и финансовый кризисъ. Сазоновъ былъ далеко не бѣденъ. Сестры посылали ему тысячь двадцать франковъ въ годъ дохода съ его имѣнья. Но, тратя безумно, онъ и теперь не думалъ уменьшать свой train, а бросился на займы. Занималъ онъ направо и налево, бралъ у сестеръ изъ Россіи, что могъ, бралъ у друзей и враговъ, бралъ у ростовщиковъ, у дураковъ, у русскихъ и нерусскихъ... Долго держался онъ и лавировалъ такимъ образомъ, но, наконецъ, все-таки оборвался и попалъ въ Клиши, какъ я уже упомянулъ.

Въ продолженіе этого времени старшая сестра его овдовѣла. Услышавъ, что онъ въ тюрьмѣ, обѣ сестры поѣхали его выручать. Какъ всегда бываетъ, онѣ ничего не знали о житьѣ-бытьѣ Николеньки. Обѣ сестры были безъ ума отъ него, считали его за генія и ждали съ нетерпѣніемъ, когда онъ явится во всей силѣ и славѣ.

Ихъ встрѣтили разныя разочарованія, они ихъ тѣмъ больше удивили, чѣмъ меньше онѣ ожидали. На другой день утромъ, онѣ, взявши съ собой графа Хоткевича, пріятеля Сазонова, поѣхали его выкупать сюрпризомъ. Хоткевичъ оставилъ ихъ въ каретѣ и ушелъ, обѣщавши черезъ минуту явиться съ братомъ. Часъ шель за часомъ, Николенька не являлся... Вѣрно, такія длинныя формальности, думали дамы, скучая въ фіакрѣ... Прибѣжалъ, наконецъ, Хоткевичъ одинъ съ краснымъ лицомъ и сильнымъ виннымъ запахомъ. Онъ возвѣстилъ, что Сазоновъ сейчасъ будетъ, что онъ на прощанье съ товарищами угощаетъ ихъ виномъ и закусываетъ съ ними, что это ужъ такъ заведено. Кольнуло это немножко нѣжное сердце путешественницъ... но... но вотъ и толстый, потный, плотный Николенька бросился въ ихъ объятія,—и онѣ отправились довольныя и счастливыя домой.

Онѣ слышали что-то... объ какой-то итальянкѣ... Пламенная дочь Италіи, не устоявшая передъ сѣвернымъ геніемъ, и гиперборей, плѣненный южнымъ голосомъ, огнемъ очей... Онѣ, краснѣя и стыдяся, изъявили робкое желаніе съ ней познакомиться. Онъ согласился на все и отправился домой. Дня черезъ два сестры

вздумали сдѣлать второй сюрпризъ брату, который еще меньше удался первого.

Часовъ въ 11 утра, въ жаркій день, отправились сестры взглянуть на Франческу да Рамини и ея житье-бытье съ Николенькой. Маленькая сестра отворила дверь и остановилась... Въ небольшой гостиной, покрытой коврами, сидѣлъ на полу въ глубокомъ неглиже Сазоновъ и съ нимъ толстая signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хототала во всю мочь итальянскихъ легкихъ... разсказу Николеньки. Возлѣ нихъ стояло ведро со льдомъ и въ немъ, склоняясь на бокъ, бутылка шампанскаго.

Что было дальше и какъ, я не знаю, но эффектъ былъ сильный и продолжительный. Маленькая сестра пріѣзжала ко мнѣ совѣщаться объ этомъ событіи, о которомъ она говорила съ спазмами и слезами. Я ее утѣшалъ тѣмъ, что первые дни послѣ Клиши не составляютъ норму.

За всѣмъ этимъ слѣдовала проза переѣзда на меньшую квартиру... Камердинеръ, который мастерски подавалъ галстухъ изъ непрободаемой шелковой матеріи, въ которую изловчился вонзять булавку съ жемчужиной, былъ отпущенъ, да и сама булавка влѣдъ за нимъ, явилась въ окнѣ какого-то магазина.

Такъ прошло еще лѣтъ пять. Сазоновъ возвратился въ Парижъ изъ Швейцаріи, потомъ опять уѣхалъ изъ Парижа въ Швейцарію. Чтобъ отдѣлаться отъ дебелой итальянки, онъ изобрѣлъ самое оригинальное средство, — онъ женился на ней, потомъ разстался.

Между нами пробѣжала кошка: онъ неоткровенно поступилъ со мной въ одномъ дѣлѣ, очень дорогомъ мнѣ. Я не могъ перешагнуть черезъ это.

Между тѣмъ началась новая эпоха для Россіи; Сазоновъ рвался принять участіе въ ней, писалъ статьи неудававшіяся. хотѣлъ возвратиться, и не возвращался ¹⁾ и оставилъ, наконецъ, Парижъ. Долго объ немъ не было ничего слышно.

...Вдругъ какой-то русскій, пріѣхавшій недавно изъ Швейцаріи въ Лондонъ, сказалъ мнѣ:

— Наканунѣ моего отъѣзда изъ Женевы хоронили стараго знакомаго вашего.

— Кого это?

— Сазонова, и представьте, ни одного русскаго не было на похоронахъ.

И стукнуло сердце—будто раскаянемъ, что я его такъ надолго оставилъ...

(Писано въ 1863).

¹⁾ Его статья „О мѣстѣ Россіи на всемірной выставкѣ“ напечатана въ II кн. „Полярной Звѣзды“.

II.

Энгельсоны.

Они оба умерли. Онъ не старше тридцати пяти лѣтъ, она—моложе его.

Онъ умеръ лѣтъ около десяти тому назадъ въ Жерсеѣ; за его гробомъ шла вдова, ребенокъ и коренастый, растрепанный старикъ съ крупными, рѣзкими, запущенными чертами; въ его лицѣ были зря перемѣшаны гений и безуміе, фанатизмъ и иронія, озлобленіе ветхозавѣтнаго пророка и якобинца 1793 г. Старикъ этотъ былъ *Пьеръ Леру*.

Она умерла въ началѣ 1865 года въ Испаніи. О ея смерти я узналъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя.

Гдѣ ребенокъ, я не слыхалъ.

Человѣкъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ мнѣ близокъ, былъ мнѣ дорогъ, онъ первый обтеръ глубокія раны, когда онѣ были свѣжи, онъ былъ моимъ братомъ, моей сестрой. Она, врядъ зная ли что дѣлаетъ, отдала его отъ меня. Онъ сталъ моимъ врагомъ...

Вѣсть о ея смерти опять вызвала ихъ въ памяти...

Я взялъ тетрадь, писанную мною объ нихъ въ 1859 году, и, вмѣсто псалтыря, прочелъ ее надъ покойниками.

Долго думалъ я, печатать ее или нѣтъ, и недавно рѣшилъ, что да. Намѣреніе мое чисто, рассказъ истиненъ. Не упрекъ хочу я бросить въ ихъ могилу, а вмѣстѣ съ читателемъ еще и еще разъ прослѣдить по новымъ субъектамъ всю сложную, болѣзненную сломанность людей послѣдняго поколѣнія.

Chateau Boissiere, 31 декабря, 1865.

I.

Въ концѣ 1850 года въ Ниццу пріѣхалъ одинъ русскій съ женой. Мнѣ ихъ указали на прогулкѣ. Оба они принадлежали къ чающимъ движенія воды, онъ худой, блѣдный, чахоточный, рывжовато-бѣлокурый; она быстро увядающая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, жившій у одной русской дамы, сказалъ мнѣ, что бѣлокурый господинъ лицеистъ, что онъ читаетъ *Vom andern Ufer*,

что онъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, и по всему тому желаетъ со мной познакомиться. Я отвѣчалъ, что всегда радъ хорошему русскому, тѣмъ больше лицеисту, да еще участвовавшему въ дѣлѣ, мало мнѣ извѣстномъ, но которое для меня было маслиной, принесенной голубемъ въ Ноевъ ковчегъ.

Прошло нѣсколько дней, я не видалъ ни лекаря, ни новаго русскаго. Вдругъ какъ-то часу въ десятомъ вечера мнѣ подали карточку,—это былъ онъ. Мы сидѣли съ Карломъ Фогтомъ въ столовой, я велѣлъ гостя просить наверхъ въ гостиную, и прежде другихъ пошелъ туда. Тамъ я засталъ его блѣднаго, дрожащаго, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Онъ едва могъ сказать свою фамилію; успокоившись немного, онъ вскочилъ со стула, бросился ко мнѣ, расцѣловалъ меня, и, прежде чѣмъ я въ свою очередь успѣлъ придти въ себя, онъ, со словами: «Такъ наконецъ-то я въ самомъ дѣлѣ вижу васъ», поцѣловалъ мою руку.—«Что съ вами? Помилуйте!» говорилъ я ему, но онъ уже плакалъ въ это время.

Я смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ: что это—нервная распушенность или просто помѣшательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, онъ съ необыкновенной быстротой и сильной мимикой разсказалъ мнѣ, что я ему спасъ жизнь и именно вотъ какимъ образомъ. Пропадая съ тоски въ Петербургѣ, выключенный изъ лица за какой-то вздоръ, гнушаясь службой, которую долженъ былъ принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, онъ рѣшился отравиться и, за нѣсколько часовъ до исполненія своего намѣренія, пошелъ бродить безъ опредѣленной цѣли по улицамъ, зашелъ къ Излеру и взялъ книжку *Отечественныхъ Записокъ*. Въ ней была моя статья: «По поводу одной драмы». Чтеніе мало по малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы растутъ со всѣхъ сторонъ и зовутъ все молодое, все имѣющее силы, и Энгельсонъ вмѣсто яда спросилъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тѣхъ поръ сдѣлался горячимъ поклонникомъ моимъ.

Онъ просидѣлъ до поздней ночи и ушелъ, прося позволенія скоро возвратиться. Сквозь его спутанную рѣчь, перерываемую отступленіями и эпизодами, можно было видѣть сильно устроенную голову, рѣзкую діалектическую способность и еще яснѣе сломанность, бросавшую его изъ одной крайности въ другую, отъ негодованья, обиженнаго горемъ и удрученнаго печалью, до ироническаго гаерства, отъ слезъ до кривлянія.

Онъ оставилъ меня подъ страннымъ впечатлѣніемъ. Сначала я ему не довѣрялъ, потомъ уставалъ отъ него, онъ какъ-то

слишкомъ дѣйствовалъ на нервы, но мало-по-малу я привыкъ къ его странностямъ и былъ радъ оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовымъ большинствомъ западныхъ людей.

Энгельсонъ бездну читалъ и бездну учился, былъ лингвистъ, филологъ и вносилъ во все знакомый намъ скептицизмъ, который такъ много беретъ за боль, оставляемую имъ. Встарь объ немъ сказали бы, что онъ зачитался. Черезъ край возбужденная умственная дѣятельность была не по силамъ хилаго организма. Вино, которымъ онъ побѣждалъ усталъ и возбуждалъ себя, раздувало его фантазію и мысли въ длинныя и яркія пасмы огня, быстро сожигая его больное тѣло.

Безпорядокъ и вино, всегдашняя, раздражительная дѣятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнѣйшая праздность, крайность страстей и крайность апатіи, несмотря на большую разницу съ нашимъ прежнимъ московскимъ складомъ, живо напоминали мнѣ бывшее. Опять услышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Онъ зналъ литературные круги. Совершенно отрѣзанный тогда отъ Россіи, я съ жадностью слушалъ его рассказы.

Мы стали видаться часто, потомъ всякій вечеръ.

Жена его тоже была странное существо. Ея лицо отъ природы прекрасное было искажено невралгіями и какимъ-то тревожнымъ безпокойствомъ. Она была обрусѣлая норвежанка и говорила по русски съ легкимъ акцентомъ, который ей шелъ. Вообще она была молчаливѣе и скрытнѣе его. Домашняя жизнь ихъ шла не свѣтло; у нихъ было какъ-то нервно *unheimlich*, натянуто, чего-то недоставало въ ихъ жизни, что-то было лишнее въ ней, и это постоянно чувствовалось, какъ невидимое, грозное, электрическое въ воздухѣ.

Часто заставалъ я ихъ въ большой комнатѣ, бывшей ихъ спальней и пріемной въ отелѣ, въ совершеннѣйшей простраціи. Ее съ заплаканными глазами, обезсиленную въ одномъ углу; его блѣднаго, какъ мертвецъ, съ бѣлыми губами, растеряннаго, молчащаго въ другомъ... Такъ сидѣли они иногда часы цѣлые, дни цѣлые, и это въ нѣсколькихъ шагахъ отъ синяго Средиземнаго моря, отъ померанцевыхъ рошей, куда звало все—и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной жизни. Они собственно не ссорились, тутъ не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Онъ вдругъ вставалъ, подходилъ къ ней, становился на колѣни и, иногда съ рыданьемъ, повторялъ: «Сгубилъ я тебя, мое дитя, сгубилъ!» И она плакала и вѣрила, что онъ ее сгубилъ. «Когда же я, наконецъ, умру и оставлю его на свободѣ»—говорила она мнѣ.

Все это было для меня ново, и мнѣ ихъ было до того жаль, что хотѣлось съ ними плакать и пуще всего сказать имъ: «Да полноте, полноте,—вы вовсе не такъ несчастны и не такъ дурны. вы оба славные люди, возьмете лодку и размыкаемъ горе по синему морю»,—я это и дѣлалъ иногда, и мнѣ удавалось ихъ увозить отъ самихъ себя. Но за ночь пароксизмъ возвращался... Они какъ-то надразнили другъ друга и стояли въ такомъ раздражительномъ импастѣ, что пустѣйшее слово нарушало согласіе и снова вызывало какихъ-то фурій со дна ихъ сердца.

Иной разъ мнѣ казалось, что непрерывно растравляя свои раны, они въ этой боли находятъ какое-то жгучее наслажденіе, что это взаимное разѣданье сдѣлалось имъ необходимо, какъ вода или пикули. Но, по несчастью, организмъ у обоихъ началъ явно уставать, они быстро неслись въ домъ умалишенныхъ или въ могилу.

Натура ея, вовсе не бездарная, но невыработанная и въ то же время испорченная, была гораздо сложнѣе и въ нѣкоторомъ смыслѣ гораздо выносливѣе и сильнѣе его. Къ тому же въ ней не было ни тѣни единства, послѣдовательности, той несчастной послѣдовательности, которая у него оставалась въ самыхъ вопиющихъ крайностяхъ и въ самыхъ крутыхъ противорѣчійхъ. Въ ней рядомъ съ отчаяніемъ, съ желаніемъ умереть, съ привычкой ныть и изнывать, была и жажда свѣтскихъ наслажденій, и затаенное кокетство, любовь къ нарядамъ и роскоши, отвергаемая какъ-то предназначенно, на зло себѣ. Она всегда была одѣта къ лицу и со вкусомъ.

Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ и огромнымъ, оригинальнымъ психическимъ несчастіемъ, въ смыслѣ героинь Ж. Зандъ... Но ее, какъ гиря, стягивала прежняя, привычная, традиціональная жизнь совсѣмъ въ иную сферу.

То, что составляло поэзію Энгельсона и много выкупало его недостатковъ, то, что ему самому служило выходомъ, того она не понимала. Она не могла слѣдовать за его скачущей мыслию, за его быстрыми переходами отъ отчаянія къ остромамъ и хохоту, отъ откровеннаго смѣха къ откровеннымъ слезамъ. Она отставала, теряла связь, терялась... Для нея были непонятны карикатурные профили печальныхъ мыслей его.

Когда Энгельсонъ, послѣ цѣлаго запаса каламбуровъ и шалостей, передразниваній, больше и больше монтируясь, дѣлалъ цѣлыя драматическія представленія, отъ которыхъ нельзя было не хохотать до упаду, она уходила съ озлобленіемъ изъ комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведеніе его при постороннихъ.» Онъ обыкновенно примѣчалъ это, и такъ какъ его нельзя было на-

чѣмъ остановить, когда онъ закусывалъ удила, то онъ вдвое дурчился и потомъ вальсировалъ съ ней и спрашивалъ ее съ горящими щеками и покрытый потомъ: «Ach mein lieber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respectabel?» Она плакала вдвое, онъ вдругъ мѣнялся, дѣлался мраченъ и могосе, пилъ рюмку за рюмкой коньякъ и уходилъ домой или просто засыпалъ на диванѣ.

На другой день мнѣ приходилось мирить, улаживать и онъ такъ отъ души цѣловалъ ея руки, и такъ смѣшно просилъ отпущеніе грѣха, что она сама иногда не могла удержаться и смѣялась вмѣстѣ съ нами.

Комическій талантъ Энгельсона былъ несомнѣненъ, огроменъ; до такой *пѣкости* никогда не доходилъ Левассоръ, развѣ Грассо въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, да Горбуновъ въ нѣкоторыхъ рассказахъ. Къ тому же половина была импровизирована, онъ добавлялъ, измѣнялъ, придерживаясь одной рамы. Если-бъ онъ хотѣлъ развить въ себѣ эту способность и привести ее въ порядокъ, онъ навѣрное занялъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду *злыхъ* комиковъ, но Энгельсонъ ничего не развилъ въ себѣ и ничего не привелъ въ порядокъ. Дикіе и полные силъ побѣги талантовъ росли и глохли въ неустоявшейся душѣ его — и отъ домашнихъ тревогъ, отнимавшихъ половину времени, и отъ хватанья за все на свѣтѣ, отъ филологіи и химіи до политической экономіи и философіи. Въ этомъ смыслѣ Энгельсонъ былъ чисто русскій человекъ, несмотря на то, что отецъ его былъ финляндскаго происхожденія.

Но изъ того, что лomanье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не слѣдуетъ, чтобъ въ ней самой было больше спѣтости и гармоніи; совсѣмъ напротивъ, у нея въ головѣ былъ дѣйствительной безпорядокъ, разрушавшій всякій строй, всякую послѣдовательность и дѣлавшій ее неуловимой. Я на ней на первой изучилъ, какъ мало можно взять логикой въ спорѣ съ женщиной, особенно когда споръ въ практическихъ сферахъ. Въ Энгельсонѣ неустройство напоминало безпорядокъ послѣ пожара, послѣ похоронъ, пожалуй, послѣ преступленія, а въ ней — неприбранную комнату, въ которой все разбросано зря: дѣтскія куклы, вѣнчалное платье, молитвенникъ, романъ Ж.-Зандъ, туфли, цвѣты, тарелки. Въ ея полусознанныхъ мысляхъ и полуподорванныхъ вѣрованіяхъ, въ притязаніяхъ на невозможную свободу и въ зависимости отъ привычныхъ внѣшнихъ цѣпей, было что-то восьмилѣтнее, восемнадцатилѣтнее, восьмидесятилѣтнее. Много разъ говорилъ я это ей самой; и странное дѣло, даже лицо ея преждевременно завяло, казалось старымъ отъ от-

существова части зубовъ и въ то же время сохраняло какое-то ребяческое выраженіе.

Во внутреннемъ хаосѣ ея былъ кругомъ виноватъ Энгельсонъ.

Его жена была избалованнымъ ребенкомъ своей матери, которая не чаяла въ ней души; за нее посватался, когда ей было лѣтъ восемнадцать, пожилой, флегматическій чиновникъ изъ шведовъ. Въ минуту досады и ребяческаго каприза на мать, она согласилась выйти за него. Ей хотѣлось сѣсть хозяйкой и быть своей госпожей.

Когда медовый мѣсяцъ воли, визитовъ, нарядовъ прошелъ, новобрачной стало невыносимо скучно; мужъ, несмотря на то, что тщательно сохранялъ респектабельность, возилъ ее въ театръ и дѣлалъ чайные вечера, ей опротивѣлъ; она побилась съ нимъ года три-четыре, устала и уѣхала къ матери. Они развелись. Мать умерла и она осталась одна, съ здоровьемъ, преждевременно разрушеннымъ въ борьбѣ съ нелѣпнымъ бракомъ, съ пустотой, съ голодомъ въ сердцѣ, съ празднымъ умомъ, страдающая, печальная.

Въ это время Энгельсонъ былъ исключенъ изъ лица. Нервный, раздражительный, съ страстной потребностью любви, съ болѣзненнымъ недовѣріемъ къ себѣ, снѣдаемый самолюбіемъ... Онъ познакомился съ ней еще при жизни матери и сблизился послѣ ея смерти. Мудрено было бы, если-бъ онъ не влюбился въ нее. Надолго ли, или нѣтъ, но онъ долженъ былъ полюбить ее сильно. Къ этому вело все... и то, что она была женщина безъ мужа, вдова и не вдова, невѣста и не невѣста, и то, что она томилась чѣмъ-то, была влюблена въ другого и мучилась своей любовью. Этотъ другой былъ энергическій молодой человекъ, офицеръ и литераторъ, но отчаянный игрокъ. Они поссорились за эту неистовую страсть къ игрѣ,—онъ въ послѣдствіи застрѣлился.

Энгельсонъ не отходилъ отъ нея, онъ утѣшалъ ее, смѣшилъ, занималъ. Это была первая и послѣдняя любовь его. Ей хотѣлось учиться или, лучше, знать не учась; онъ взялся быть ея менторомъ,—она просила книгъ.

Первою книгою, которую Энгельсонъ ей далъ, была «Das Wesen des Christentum's», Фейербаха. Себя онъ сдѣлалъ комментаторомъ и ежедневно изъ-подъ ногъ своей Элоизы, не умѣвшей ступить на землю отъ китайскихъ башмаковъ стараго воспитанія, выдергивалъ скамейку, на которой она кой-какъ могла не потерять равновѣсія...

Освобожденіе отъ традиціонной морали, сказалъ Гёте, никогда не ведетъ къ добру *безъ укрѣпившейся мысли*; дѣйствительно, *одинъ разумъ* достоинъ смѣнять *религію* долга.

Энгельсонъ попробовалъ женщину, спавшую непробуднымъ сномъ нравственной безпечности, убаюканную традиціями и грезившую все, что грезить слегка христіанская, слегка романтическая, слегка моральная, патріархальная душа, воспитать сразу, по методу англійскихъ нянекъ, которыя кричащему отъ боли въ животѣ ребенку наливаютъ въ ротъ рюмку водки. Въ ея незрѣлыя дѣтскія понятія онъ бросилъ разъѣдающій ферментъ, съ которымъ мужчины рѣдко умѣютъ справиться, съ которымъ онъ самъ *не справился*, а только понялъ его.

Ошеломленная ниспроверженіемъ всѣхъ нравственныхъ понятій, всѣхъ религіозныхъ вѣрованій и находя у самого Энгельсона одно сомнѣніе, одно отрицанье прежняго и одну иронию, она потеряла послѣдній компасъ, послѣдній руль, и пошла, какъ пущенная въ море лодка, безъ кормила, вертясь и блуждая. Балансъ, выработанный самой жизнью, держащійся—какъ въ маятникахъ противоположными пластинками—нелѣпостями, исключающими другъ друга и держащими на этомъ,—былъ нарушенъ.

Она бросилась на чтеніе съ яростью, понимала, не понимая, и примѣшивая къ философіи нянюшекъ философію Гегеля, къ экономическимъ понятіямъ чопорнаго хозяйства — сентиментальный социализмъ. При всемъ этомъ здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томилась, смертельно хотѣла ѣхать за границу и боялась какихъ-то преслѣдованій и враговъ.

Послѣ долгой борьбы, собравши всѣ силы, Энгельсонъ сказалъ ей: «Вы хотите путешествовать, какъ вы доѣдете одна?.. Вамъ надѣлаютъ бездну неприятностей, вы потеряетесь безъ друга, безъ защитника, который имѣлъ бы право васъ защищать. Вы знаете, что за васъ я отдамъ мою жизнь... Отдайте мнѣ вашу руку,—я васъ буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, вашъ отецъ, ваша нянька и мужъ только передъ закономъ. Я буду съ вами—близко васъ...»

Такъ говорилъ человѣкъ моложе тридцати лѣтъ, страстно любившій. Она была тронута и приняла его мужемъ безусловно. Черезъ нѣкоторое время они уѣхали въ чужіе края.

Таково было прошедшее моихъ новыхъ знакомыхъ. Когда Энгельсонъ все это рассказалъ мнѣ, когда онъ горько жаловался, что бракъ этотъ загубилъ ихъ обоихъ, и я самъ видѣлъ, какъ они изнывали въ какомъ-то нравственномъ угарѣ, который они преднамѣренно вздували, я убѣдился, что несчастье ихъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало знали другъ друга прежде, слишкомъ тѣсно придвинулись теперь, слишкомъ свели всю жизнь на личный лиризмъ, слишкомъ вѣрятъ, что они мужъ и жена. Если-бъ они могли разъѣхаться,... каждый вздохнулъ бы на свободѣ, успокоился бы, а, можетъ, и вновь расцвѣлъ бы.

Время показало бы, въ самомъ ли дѣлѣ они такъ нужны другъ для друга; во всякомъ случаѣ горячка была бы прервана безъ катастрофы. Я не скрывалъ моего мнѣнія отъ Энгельсона; онъ соглашался со мной, но все это былъ миражъ, въ сущности у него не было силы ее оставить, у нея—броситься въ море... Они тайно *хотѣли* остаться при канунѣ этихъ рѣшеній, не приводя ихъ въ исполненіе.

Мнѣніе мое было слишкомъ просто и здорово, чтобъ быть вѣрнымъ въ отношеніи къ такимъ сложно патологическимъ субъектамъ и къ такимъ больнымъ нервамъ.

II.

Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тогда для меня довольно новъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ я видѣлъ только его зачатки. Онъ развился въ Петербургѣ подъ конецъ карьеры Бѣлинскаго и сложился послѣ меня до появленія Чернышевскаго. Это типъ петрашевцевъ и ихъ друзей. Кругъ этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болѣзненные и полуманные. Въ ихъ числѣ не было ни кричащихъ бездарностей, ни пишущихъ безграмотностей, — это явленія совсѣмъ другого времени, но въ нихъ было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смѣло на дѣятельность и удивили всю Россію «Словаремъ иностранныхъ словъ». Наслѣдники сильно возбужденной умственной дѣятельности сороковыхъ годовъ, они прямо изъ нѣмецкой философіи шли въ фалангу Фурье, въ послѣдователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманіемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства, при самомъ выходѣ изъ школы, они слишкомъ дорого оцѣнили свой отрицательный подвигъ, или, лучше, свой подвигъ въ возможности. Отсюда безмѣрное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее юношѣ, мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силѣ и въ полной дѣятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цѣпи и смерть изъ желанія славы, но, напротивъ, самолюбіе болѣзненное, мѣшающее всякому дѣлу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадѣянное до дерзости и въ то же время неувѣренное въ себѣ.

Между ихъ *запросомъ* и оцѣнкой ближнихъ несоразмѣрность

была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья разработаннаго другими. Они хотѣли жатвы за намѣреніе сѣять и вѣнковъ за то, что у нихъ закормы были полны. «Обидное непризнаніе общества» ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit.

На Энгельсонѣ я изучилъ разницу этого поколѣнія съ нашимъ. Впослѣдствіи я встрѣчалъ много людей не столько талантливыхъ, не столько развитыхъ, но съ тѣмъ же *видовымъ болѣзненнымъ надломомъ* по всѣмъ суставамъ.

Дивиться надобно, какъ здоровыя силы, сломавшись, все-же уцѣлѣли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Вся система казеннаго воспитанія состояла въ внушеніи религіи слѣпонаго повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградѣ. Молодые чувства, лучистыя по натурѣ, были грубо отщепляемы внутрь, замѣняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло большое, сумасшедшее... вмѣстѣ съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая-то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталъ передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имѣя двадцати лѣтъ отроду. Они всѣ были заражены страстью самонаблюденія, самоислѣдованія, самообвиненія, они тщательно повѣряли свои психическія явленія и любили безконечныя исповѣди и рассказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ впослѣдствіи случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемъ въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себя-бичеванія, доходившія до клеветы на себя, я, наконецъ, убѣдился потомъ, что все это одна изъ формъ того же самолюбія. Стоило вмѣсто возраженія и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидѣть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно мстительны эти магдалины обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имѣете только право торжественно отпустить грѣхи и молчать.

У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрогавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ прикосновеніи, была, съ своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дѣло шло объ отместкѣ, выраженія не мѣрились, — страшный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презрѣніе къ лицу и оскорбительную снисходительность къ себѣ. Необузданность эта идетъ у насъ изъ помѣщичьихъ домовъ, кан-

целяри и казармъ, но какъ же она уцѣлѣла, развилась у новаго поколѣнія, перескакивая черезъ наше? Это психологическая задача.

Въ прежнихъ студентскихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани *кой-что* оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей—энгельсоновскаго поколѣнія—этого завѣтнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самого Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоцѣннѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ *и плакали потомъ*. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенья у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго пили.

Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая-то пружина, умѣряющая дѣйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая мѣра потеряна,—съ ними жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя.

Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденія и, когда подносятъ ко рту чашу, какой-то злой духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется наземъ и запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи.

III.

Энгельсоны вскорѣ уѣхали въ Римъ и Неаполь; они хотѣли остаться тамъ мѣсяцевъ шесть и возвратились черезъ шесть недѣль. Ничего не выдавши, они таскали свою скуку по Италіи, мыкали свое горе въ Римѣ, грустили въ Неаполѣ и, наконецъ, рѣшились ѣхать обратно въ Ниццу, «къ вамъ на леченье»—писалъ онъ мнѣ изъ Генуи.

Мрачное расположеніе ихъ выросло во время ихъ отсутствія. Къ нервному разстройству прибавились размолвки, принимавшія все больше и больше озлобленный, желчевой характеръ. Энгель-

сонъ былъ виноватъ въ необузданности словъ, въ жесткихъ выраженіяхъ, но вызывала ихъ всегда она, вызывала преднамѣренно, съ затаенной колкостью и съ особеннымъ успѣхомъ въ самыя добродушныя минуты его; забыться онъ не могъ ни на минуту.

Молчать Энгельсонъ вовсе не умѣлъ, говорить со мною облегчало его и потому онъ мнѣ рассказывалъ все, даже больше, чѣмъ нужно, мнѣ было неловко; я чувствовалъ, что не могу быть съ ними такъ откровененъ, какъ они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокаивала высказанная жалоба, — меня нѣтъ.

Разъ, сидя со мной въ небольшой тавернѣ, Энгельсонъ сказалъ, что онъ обезсилился въ ежедневной борьбѣ, что выхода изъ нея нѣтъ, что снова мысль о прекращеніи своего существованія ему представляется послѣднимъ спасеніемъ... При его нервной необузданности можно было ждать, что если, наконецъ, ему попадется пистолеть или склянка яда, то онъ когда-нибудь и попробуетъ то или другое...

Мнѣ было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужемъ за челоуѣкомъ свѣтлаго нрава, который умѣлъ бы ее тихо развивать, *весело веселиться* и въ случаѣ нужды дѣйствовать не только убѣжденіемъ, но и авторитетомъ—авторитетомъ серьезнымъ, безъ ироніи. Есть несовершеннолѣтнія натуры, которыя не могутъ себя вести сами, такъ, какъ есть лимфатическія сложенія, которымъ необходимъ корсетъ, чтобъ позвоночный столбъ не гнулся.

Пока я думалъ объ этомъ, Энгельсонъ, продолжая свой рассказъ, самъ пришелъ къ тому же заключенію. «Женщина эта меня не любитъ,—говорилъ онъ,—да и не можетъ любить; то, что она понимаетъ во мнѣ и ищетъ, скверно, а что во мнѣ есть хорошаго—для нея китайская грамота; она испорчена буржуазностью, съ своимъ внѣшнимъ *respectabilitét'*омъ, съ мелкимъ фамилизмомъ; мы замучимъ другъ друга, это для меня ясно».

Мнѣ казалось, что если мужчина можетъ такимъ образомъ говорить о близкой женщинѣ, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно съ глубокимъ участіемъ слѣдя за ихъ жизнью, часто задавалъ себѣ вопросъ, зачѣмъ они живутъ вмѣстѣ?

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьямъ, по старой нянюшкѣ,—отчего вы не устроите, чтобъ она ѣхала домой, а вы бы остались здѣсь?

— Тысячу разъ думалъ я объ этомъ, я только этого и хочу, но, во-первыхъ, ей не съ кѣмъ ѣхать, а во-вторыхъ, она въ Петербургѣ пропадаетъ съ тоски.

— Да, вѣдь, она и здѣсь пропадетъ съ тоски. Что не съ кѣмъ послать,—это воспоминаія нашихъ барскихъ затѣй; вы можете проводить вашу жену до парохода въ Штетинъ, а пароходъ самъ дорогу найдетъ. Если у васъ нѣтъ денегъ, я вамъ дамъ займы.

— Вы правы, и я это сдѣлаю непременно. Мнѣ больно, мнѣ жаль ее, все, что было во мнѣ любви, положилъ я на ея голову; я въ ней искалъ не только жены, но существо, которое я хотѣлъ развивать, воспитывать по своей фантази, я думалъ, что она будетъ моимъ ребенкомъ,—задача была не по силамъ: да и кто же зналъ, сколько противодѣйствій я найду, сколько упрямства? Онъ помолчалъ и потомъ добавилъ:—Сказать вамъ всю мою мысль,—ей надобно другого мужа... Если-бъ нашелся человекъ достойный ея, котораго бы она полюбила, я сдалъ бы ее съ рукъ на руки и мы оба выздоровѣли бы,— это важнѣе Петербурга.

Я все это принималъ *au pied de la lettre*. Что онъ былъ искрененъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнйя; тутъ-то и лежитъ загвоздка этихъ подвижныхъ, не владѣющихъ собой организацій, онѣ могутъ, какъ хорошіе актеры, выгратъ въ разныя роли и до того съ ними сродниться, что картонный кинжалъ имъ кажется настоящимъ, и они льютъ истинныя слезы о «Гекубѣ».

Мы тогда жили вмѣстѣ въ С.-Еленѣ. Дни два спустя послѣ моего разговора съ Энгельсономъ, поздно вечеромъ вошла *м-ше* Энгельсонъ въ гостиную, со свѣчой въ рукѣ и съ заплаканнымъ лицомъ; поставила свѣчу на столъ и сказала, что желаетъ поговорить со мной. Мы сѣли... Послѣ небольшой и неясной прелюдіи о судьбѣ, которая ее преслѣдуетъ, о несчастномъ характерѣ Энгельсона и ея самой, она объявила, что рѣшилась возвратиться въ Петербургъ, и не знаетъ, какъ это сдѣлать: «вы одни имѣете на него вліяніе, уговорите его меня *въ самомъ дѣлѣ* отпустить; я знаю, что онъ въ минуты досады на словахъ готовъ меня сейчасъ посадить въ почтовую карету, но все это *на словахъ*. Уговорите его, спасите насъ обоихъ и дайте слово первое время походить за нимъ, похолить его... ему будетъ тяжело, онъ больной, нервный человекъ», и она, снова рыдая, покрыла лицо платкомъ.

Въ глубину горести ея я не вѣрилъ, но очень хорошо понималъ, какого я далъ маху, говоря откровенно съ Энгельсономъ: для меня было ясно, что онъ передалъ ей нашъ разговоръ.

Выбора мнѣ не оставалось, я повторилъ свои слова, смягчивши ихъ въ формѣ. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поѣдетъ, то бросится въ море, что она вечеромъ сожгла многія бумаги и желаетъ мнѣ поручить какія-то

другія въ запечатанномъ пакетѣ. Мнѣ стало ясно, что и она вовсе не такъ страстно хочетъ ѣхать, а хочетъ, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверхъ того, я увидѣлъ, что если она колеблется безъ всякаго рѣшенія, то онъ и не колеблется, а вовсе не хочетъ, чтобъ она ѣхала. Она надъ нимъ имѣла большую власть, она знала это и, основываясь на ней, позволяла ему бѣситься, покрывать пѣной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуя онъ, какъ хочешь, дѣло пойдетъ *не по его воли, а по ея.*

Совѣта моего она мнѣ никогда не простила, она боялась моего вліянія, хотя и имѣла явное доказательство моего безсилія.

Дней десять не было рѣчи объ отъѣздѣ. Потомъ пошли періодическія схватки. Въ недѣлю разъ или два она являлась съ заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будетъ собираться въ Петербургъ или на дно морское. Энгельсонъ выходилъ изъ своей комнаты съ зеленымъ лицомъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ и дрожащими руками, онъ исчезалъ часовъ на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпившій, носилъ визировать пассъ или брать пропускъ въ Геную, потомъ все утихало и приходило въ обыкновенное русло.

Наружно m-me Энгельсонъ со мною совершенно примирилась, но съ этого времени у ней началось слагаться что-то въ родѣ ненависти ко мнѣ. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядѣлъ, что я не умилялся передъ ея трагической судьбой, не принималъ ее за несчастную жертву, а глядѣлъ на нее, какъ на капризную больную, что я не только не сдѣлался платоническимъ соплакальщикомъ ея, а сомнѣвался, не наслажденіе ли вмѣсто горести доставляютъ ей слезы, душевнораздирательныя сцены, объясненія въ нѣсколько часовъ и пр., и пр.

Время шло и исподволь многое измѣнилось. Она съ быстротою, которая только встрѣчается у нервныхъ больныхъ, поздоровѣла, сдѣлалась веселѣе, стала еще внимательнѣе къ туалету, и хотя самыя вздорныя поводы снова приводили къ прежнимъ сценамъ между нею и Энгельсономъ, къ прощанью Сократа передъ цикутой и къ готовности идти по слѣдамъ Сафо въ пучину морскую, но въ суммѣ дѣла шли лучше. Вѣчно полулежащая отъ слабости, вѣчно утомленная женщина выпрямилась, какъ Сивистъ V, стала полнѣе и до того, что разъ бѣдный Коля, сидя за обѣдомъ и глядя на ея полную грудь, сказалъ, покачивая головой: «Sehr viel Milch!».

Видно было, что новый интересъ занялъ ея жизнь, что что-то

разбудило ее отъ болѣзненной летаргіи. Съ тѣхъ поръ, какъ мы объяснились съ ней, она начала упорную игру, обдумывая всякій ходъ, не хуже игроковъ du café Régent, и терпѣливо поправляя ошибки. Иногда она измѣняла себѣ, дѣлала промахи, увлекалась въ ту или другую сторону, но съ постоянствомъ возвращалась къ прежнему плану. Планъ этотъ шель уже дальше закрѣпленія въ свою власть Ангельсона, дальше отместки мнѣ; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ завладѣть всѣми нами, всѣмъ домомъ и, пользуясь усиливающейся болѣзнью Natalie, взять въ свои руки воспитаніе, всю жизнь; si non — non, т. е., въ противномъ случаѣ разорвать во что-бъ ни стало мою связь съ Ангельсономъ.

Но прежде чѣмъ она достигла послѣдняго результата, игра представляла много ходовъ очень трудныхъ, тяжелыхъ уступокъ, кошачьей тактики и большого выжиданія; многое она сдѣлала, но не все. Безконечная болтовня Ангельсона мѣшала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергію, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замысел... Но личности и самолюбія пьяннать, и, вступая въ темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядѣть. Обыкновенно свѣтъ вносится въ комнату на шумъ уже совершившагося преступленія, т. е., когда, съ одной стороны, неисправимая бѣда, съ другой, угрызеніе совѣсти.

IV.

... О несчастіяхъ, обрушившихся на меня въ 1851 и 1852 годахъ, я говорю въ другомъ мѣстѣ. Ангельсонъ много облегченія внесъ въ мою печальную жизнь. Мы съ нимъ долго прожили бы вовлѣ кладбищъ, но безпокойное самолюбіе его жены не пощадило и траура.

Нѣсколько недѣль послѣ похоронъ Ангельсонъ, печальный, встревоженный, видимо нехотя и видимо не отъ себя, спросилъ меня, не думаю ли я поручить его женѣ воспитаніе моихъ дѣтей?

Я отвѣчалъ, что дѣти, кромѣ моего сына, поѣдутъ въ Парижъ съ Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенія принять не могу.

Отвѣтъ мой огорчилъ его, огорчать его мнѣ было больно.

— Скажите мнѣ, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать дѣтей?..

— Нѣтъ, отвѣчалъ въ свою очередь Энгельсонъ, но... но, можетъ, это *planche de salut* для нея; она все-таки страдаетъ какъ прежде, а тутъ ваше довѣріе, новый долгъ.

— Ну, а какъ опытъ не удастся?

— Вы правы, не будемъ говорить объ этомъ, а тяжело.

Энгельсонъ былъ дѣйствительно согласенъ со мной и замолчалъ. Но она не ожидала такого простого отвѣта; уступить на этомъ вопросѣ я не могъ, она не хотѣла, и внѣ себя отъ досады, тотчасъ рѣшилась увезти Энгельсона изъ Ниццы. Дня черезъ три онъ объявилъ мнѣ, что ѣдетъ въ Геную.

— Что съ вами, спросилъ я, и за что же такъ скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладитъ ни съ вами, ни съ вашими друзьями, я ужъ рѣшился... да оно, можетъ, и лучше. И черезъ день они уѣхали.

А потомъ уѣхалъ я изъ Ниццы. Въ Генуѣ, проѣздомъ, мы встрѣтились мирно. Окруженная нашими друзьями, въ числѣ которыхъ былъ Медичи, Пизакане, Козенць, Мордини, она казалась спокойнѣе и здоровѣе. Но тѣмъ не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобъ не кольнуть меня самымъ злымъ образомъ. Я отходилъ, молчалъ, это не помогало. Даже когда я уѣхалъ въ Лугано, она продолжала свои отравленные *petits points*, и это въ рѣдкихъ припискахъ къ письмамъ мужа, какъ будто съ его «визой».

Наконецъ, булабочные уколы въ такое время, когда я весь былъ задавленъ болью и горемъ, вывели меня изъ терпѣнія. Я ихъ ничѣмъ не заслужилъ, ничѣмъ не вызвалъ. На одну изъ злыхъ приписокъ, въ которой говорилось о томъ, какъ дорого еще Энгельсонъ поплатится за то, что беззавѣтно отдается друзьямъ, не зная, что они для него ничего не сдѣлаютъ,—я написалъ Энгельсону, что пора положить этому предѣлъ.

«Я не понимаю, писалъ я, за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдалъ ей моихъ дѣтей, то врядъ ли она права?». Я напомнилъ ему нашъ послѣдній разговоръ и прибавилъ: «Мы знаемъ, что Сатурнъ ѣлъ своихъ дѣтей, но чтобъ кто-нибудь *благодарилъ своихъ друзей за ихъ участіе* дѣтскимъ воспитаніемъ, это неслыханно».

Этой выходки она мнѣ не простила, но, что гораздо удивительнѣе, и онъ не простилъ, хотя сначала не показалъ вовсе вида... а попрекнулъ меня этими словами черезъ годы...

Я уѣхалъ въ Лондонъ, Энгельсонъ поселился на зиму въ Женевѣ, потомъ переехалъ въ Парижъ ¹⁾.

¹⁾ Къ этому времени относится рядъ очень замѣчательныхъ его писемъ, изъ которыхъ значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.

V.

Пословицу: «Кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не молился», можно такъ передѣлать: женщина, у которой дѣтей не бывало, не знаетъ безкорыстной преданности, и это особенно относится къ замужнимъ женщинамъ; бездѣтность у нихъ развиваетъ почти всегда грубый эгоизмъ, разумѣется, если по дорогѣ не спасеть какой-нибудь общій интересъ. Старая дѣва имѣетъ какія-то поспѣвшія стремленія, смягчающія ее, она все еще ищетъ и все надеется; но женщина безъ дѣтей и съ мужемъ въ гавани, она благополучно пріѣхала, сначала инстинктивно погрузила о томъ, что дѣтей нѣтъ, потомъ успокоилась и живетъ въ свое удовольствіе, а если и оно не удается, въ *свое горе*, или въ чье-нибудь неудовольствіе, въ чье-нибудь горе — хоть горничной. Рожденіе ребенка можетъ ее спасти. Ребенокъ приучаетъ мать къ жертвѣ, къ подчиненію воли, къ страстной тратѣ времени *не на себя*, и отучаетъ отъ всякой внѣшней награды, признанія, спасиба. Мать съ ребенкомъ не считается, она ничего не требуетъ отъ него, — кромѣ здоровья, аппетита, сна и его улыбки. Ребенокъ, не выводя женщины изъ дому, превращаетъ ее въ гражданское лицо.

Совсѣмъ не то, когда бездѣтной женщиной въ домъ попадаетъ почему бы то ни было чужой ребенокъ, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будетъ, пожалуй, наряжать его, играть съ нимъ, но когда ей *хочется*; она будетъ баловать его, но по своему, во всѣхъ другихъ случаяхъ ребенокъ будетъ напрасно стучаться въ окаменѣлое или ожирѣвшее сердце. Словомъ, ребенокъ можетъ навѣрное рассчитывать на всѣ льготы и коленья, которыя дѣлаютъ шпичу, канарейкѣ, — но не больше.

У одного изъ нашихъ близкихъ знакомыхъ была дочь, родившаяся отъ одной молодой вдовы. Въ видахъ *замужества* матери, ребенка хотѣли увести и украли во время отсутствія отца. Послѣ долгихъ розысковъ дѣвочку нашли; но отецъ, изгнанный изъ Франціи, не могъ за ней пріѣхать въ Парижъ, да и къ тому же не имѣлъ денегъ. Не зная, куда дѣть ее, онъ попросилъ Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсонъ согласился, но очень скоро раскаялся. Дѣвочка шалила и, вѣроятно, очень много, взявъ въ расчетъ ея неправильное воспитаніе; но все-же она шалила, какъ пятилѣтній ребенокъ, и не съ гуманнымъ пониманьемъ Энгельсона можно было опрокинуться на дѣвочку за шалости. Да и бѣда была не въ томъ, что она шалила: *она*

мѣшала и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не дѣлавшей. Энгельсонъ съ какимъ-то ожесточеніемъ жаловался мнѣ письменно на ребенка!

Между прочимъ, насчетъ ея отца, Энгельсонъ писалъ мнѣ: «Не странно ли, что Х., соглашавшійся когда-то съ вами, что жена моя *не способна воспитывать вашихъ дѣтей, поручилъ ей свою собственную дочь?*».

Энгельсонъ зналъ очень хорошо, что отецъ дѣвочки *не выбралъ* его жену воспитательницей, а былъ приведенъ матеріальной нуждой въ необходимость прибѣгнуть къ ея помощи. Въ этомъ замѣчаніи было столько жесткаго, невеликодушнаго, что у меня перевернулось сердце. Я не могъ привыкнуть къ этому недостатку пощады, къ этой *смѣлости* языка, не останавливающегося ни передъ чѣмъ! Глубоко язвящія намеки, которые могутъ въ минуту раздраженія придти каждому въ голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятъ людьми, къ которымъ принадлежалъ Энгельсонъ, съ легкостью и наслажденіемъ при малѣйшей размолвкѣ.

Давъ волю своему раздраженію, Энгельсонъ въ письмѣ своемъ, по дорогѣ, оборвалъ и Тесье, и другихъ пріятелей, даже самого Прудона, котораго очень уважалъ. Въсѣтъ съ письмомъ Энгельсона пришло изъ Парижа письмо Тесье; онъ дружески шутилъ о «гнѣвахъ и шалостяхъ» Энгельсона, не подозрѣвая, чтѣ онъ писалъ объ немъ. Мнѣ была противна роль какого-то отрицательнаго предательства, и я написалъ Энгельсону, что стыдно такъ бранить людей, съ которыми жизнь насъ свела, что, несмотря на ихъ недостатки, все-же они люди хорошіе, какъ онъ самъ знаетъ. Въ заключеніе я говорилъ, что стыдно такъ преувеличивать всякое дѣло и ахать, и охать, и приходить въ отчаяніе отъ шалостей пятилѣтняго ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, другъ, цѣловавшій въ порывѣ энтузіазма мою руку, приходившій ко мнѣ дѣлать всякую печаль и предлагавшій мнѣ кровь свою и свою жизнь, не на словахъ, *а въ самомъ дѣлѣ...* этотъ человѣкъ, связанный со мной своею исповѣдью и моими несчастіями, которыхъ былъ свидѣтелемъ, гробомъ, за которымъ мы шли вмѣстѣ,—все забылъ. Его самолюбіе было затрунуто... Ему надобно было отомстить,—онъ и отомстилъ. Черезъ *четыре дня* я получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:

2 февраля, 1853.

«Слухи носятъ, что вы рѣшились ѣхать сюда; здоровье Маріи Каспаровны, кажется, восстанавливается (по крайней мѣрѣ, на прошедшей недѣлѣ она стала пободрѣе духомъ, встаетъ съ

постели минутъ на пять, имѣть аппетитъ); о порученіи, данномъ вами мнѣ къ Т., имѣю только то сказать, что вещи, которыя генераль проситъ его приготовить, не у Т., а оставлены имъ у Фогта въ Женевѣ, что мадамъ Т. находить «*rien gracieux*» ваше молчаніе и прибавляетъ, что переписка съ вами не могла бы причинить имъ неприятностей.

«Словомъ, до вашего пріѣзда я могъ бы и не писать вамъ, если-бъ мнѣ не пришло на умъ, что молчаніе часто можетъ быть принято за знакъ согласія. Я не хочу вводить или продержатъ васъ въ заблужденіи насчетъ меня: я не согласенъ съ тѣмъ, что сказано въ послѣднемъ нашемъ письмѣ ко мнѣ (отъ 28 января).

«Вотъ ваши слова: «Ну, скажите, стоило ли такъ расходиться—и биби—и младенецъ—и ужъ ай, ай, ай, и ужъ Боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это васъ! И что новаго! Вы людей знали и видѣли. Я становлюсь съ каждымъ днемъ снисходительнѣе и дальше отъ людей».

«На это отвѣчаю, не вдаваясь нынѣшній разъ въ диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя васъ съ вашимъ довольствомъ самимъ собою, — что, разумѣется, смѣшонъ человекъ, который, облѣпленный комарами или клопами, впадаетъ въ ярость и бѣшенство, но что еще смѣшнѣе тотъ, который, страдая отъ нападеній такихъ насѣкомыхъ, усиливается придать себѣ видъ равнодушія стоическаго.

«Вы, можетъ быть, съ этимъ не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего*. Не сердитесь! Погодите! дайте договорить. Въ первой главѣ вашего «*Vom andern Ufer*», въ русскомъ и нѣмецкомъ текстахъ, слѣдующія ваши слова: «Человѣкъ любитъ эффектъ, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣшаетъ». — Какъ я уже въ Ниццѣ вамъ говорилъ, я сначала принялъ было это ваше изреченіе за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мнѣ возразили, что вы не помните этихъ словъ.

«Нисколько не относя исключительно къ вамъ эти слова, то есть, не полагая, чтобъ вы о людяхъ вообще судили въ этомъ случаѣ по самому себѣ, я до сихъ поръ думалъ, что это ваше изреченіе, какъ большая часть *des Réflexions de La-Rochefoucauld*. на которыя оно очень похоже, какъ мастерски однажды сдѣланная Бѣлинскимъ характеристика талантливыхъ людей нашего времени, — «ипербола, шутка». И потому, когда я узналъ, что Х. въ Швейцаріи вознегодовалъ на генерала за его образъ дѣйствія въ вашемъ дѣлѣ, я принялъ это его негодованіе не за роль, а за чувство, и написалъ вамъ: «Да, я вижу, Х. мнѣ братъ». — Когда Т. (при свидѣтелѣ) объявлялъ, что онъ осужденъ «на вѣч-

ность — два года», я также вѣрилъ этому и даже пересказалъ это нѣкоторымъ людямъ. Вчера мнѣ г-жа Т. сказала, что ея мужъ никогда не былъ осужденъ. Ergo, я въ глазахъ тѣхъ, кому я пересказалъ его ложь, такой же благѣрь, какъ онъ. Это мнѣ неприятно. Кто виноватъ? Разумѣется, я, потому что я былъ «молодъ, легковѣренъ»; но и они виноваты, потому что они лгали. Нѣтъ, такихъ благѣровъ, какъ я увидѣлъ въ Ниццѣ, я ни на Руси, ни индѣ, еще не видалъ. Въ письмѣ моемъ къ вамъ отъ 19 января, я сказалъ вамъ, что я хочу, безъ эскландра, удалиться отъ этихъ людей, они бо мнѣ антипатичны. Написалъ же я вамъ это, потому что съ вами я хотѣлъ играть въ открытую. *Но, погруженный въ себя*, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вѣроятно, не дали бы мнѣ и самаго пустого порученія къ Т.—Вы тоже говорили, что вы удаляетесь отъ людей, но вмѣстѣ съ тѣмъ просите ихъ вамъ писать. Я не умѣю такимъ образомъ удаляться.

«Полагая, что въ серьезныхъ дѣлахъ откровенность есть необходимое условіе честности, я имѣю еще слѣдующее сказать вамъ, не теряя времени: Вы пишете мнѣ, что, отправивъ генерала въ Австралію и давъ безсрочный отпускъ всѣмъ, вы останетесь при мнѣ и при врагахъ,—и что, если-бъ къ тому же я поустоялся и меньше зависѣлъ отъ своихъ и не своихъ нервныхъ тревогъ и капризцовъ, то вы со мною сдѣлали бы un bout de chemin. Я долженъ на это вамъ отвѣтить, что, не чувствуя въ себѣ ни охоты, ни таланта къ ролямъ, и особенно трагическимъ, я готовъ, если вамъ угодно, служить вамъ моимъ совѣтомъ, но не дѣломъ»...

Конечно, я не предполагалъ, чтобъ человѣкъ, который слезами, рыданіемъ вызвалъ меня на трудно-произносимыя довѣрія, человѣкъ, такъ близко подошедшій ко мнѣ и на котораго я опирался, какъ на брата, въ минуты слабости и безсилія, когда боль переходила человѣческую емкость,—что очевидецъ, свидѣтель всего, что было, приметъ мои несчастія за котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтобъ играть трагическую роль. Восхищаясь моею книгой, онъ заискивалъ въ ней камни и откладывалъ ихъ за пазуху, чтобъ при случаѣ пустить въ меня. Ему мало было оборвать настоящее, онъ грязнилъ, опошлялъ прошедшее: разрываясь со мной, онъ не почтилъ его унылымъ чувствомъ молчанія, а покрылъ его безжалостной бранью и ироническимъ шпыняньемъ.

Больно мнѣ было это письмо, очень больно.

Я отвѣчалъ ему грустно, сквозь затаенныя слезы, я простался съ нимъ и просилъ его прекратить переписку.

Затѣмъ наступило между нами совершеннѣйшее молчаніе...

Съ Энгельсономъ еще разъ что-то оторвалось внутри, я становился еще бѣднѣе, еще разобщеннѣе, холодъ кругомъ, ничего близкаго... Иногда будто теплѣе протягивалась рука, какой-нибудь фанатикъ безъ пониманья, не разобравшій сначала, что мы не одной религіи, быстро подходилъ и также быстро отворачивался. Впрочемъ, я и самъ не искалъ большой близости съ людьми; я привыкалъ къ встрѣчнымъ и проходящимъ, къ разнымъ анонимамъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ и которымъ ничего не давалъ, кромѣ сигаръ, вина и иногда денегъ. Одно спасеніе было въ работѣ, я писалъ «Былое и Думы» и устраивалъ русскую типографію въ Лондонѣ.

VI.

Прошелъ годъ. Типографія была въ полномъ ходу, ее замѣтили въ Лондонѣ и боялись въ Россіи. Весною 1854 г. я получилъ отъ Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писалъ Энгельсонъ. Я тотчасъ напечаталъ ее.

Потомъ пришло отъ него письмо, въ которомъ онъ просилъ окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дѣло. Разумѣется, я ему протянулъ обѣ руки.

Вмѣсто отвѣта онъ явился самъ въ Лондонъ на нѣсколько дней и остановился у меня. Рыдая и смѣясь, просилъ онъ забвенія прошлаго... осыпалъ меня словами дружбы и снова схватилъ мою руку и прижалъ ее къ своимъ губамъ. Я обнялъ его, глубоко тронутый и въ твердой увѣренности, что ссора не возобновится.

Но уже черезъ нѣсколько дней показались облака, мало предвѣщавшія хорошаго. Оттѣнокъ фатализма, бонапартизма, который проглядывалъ въ его письмахъ изъ Женевы, выросъ; онъ переходилъ *agme et bagage* въ враждебный станъ. Мы поспорили, онъ былъ упоренъ. Зная, какъ онъ бросается въ крайности и какъ быстро возвращается, я ждалъ отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсонъ возился тогда съ удивительнымъ проектомъ, въ который былъ страстно влюбленъ.

Онъ выдумалъ воздушную батарею, т. е. шаръ, начиненный гроющими веществами и вмѣстѣ съ тѣмъ печатными воззваніями. Дѣло было при началѣ Крымской кампаніи. Энгельсонъ предлагалъ пускать такіе шары съ кораблей на балтійскіе берега. Проектъ этотъ мнѣ очень не нравился; что за пропаганда съ прожектиями, что за смыслъ намъ, русскимъ, жечь финскія де-

ревни, помогать Наполеону и Англии? Къ тому же Энгельсонъ не открылъ никакого новаго средства направлять воздушные шары. Я мало возражалъ на его планъ, воображая, что онъ самъ бросить эти бредни.

Не тутъ-то было. Онъ отправился съ своимъ проектомъ къ Маццини, къ Ворцелю. Маццини сказалъ, что онъ такого рода дѣлами не занимается, а готовъ переслать черезъ своихъ друзей его проектъ военному министру. Изъ министерства отвѣтили уклончиво и безъ отказа проектъ оставили въ сторонѣ. Онъ просилъ меня собрать двухъ-трехъ военныхъ изъ рефюжье и предложилъ имъ вопросъ о шарѣ. Всѣ были противъ, и я еще и еще разъ говорилъ ему, что и я противъ, что мы падемъ нравственно, становясь на одну сторону съ Наполеономъ, и погубимъ себя въ глазахъ Россіи *faisant cause commune* съ врагами ея. Энгельсонъ сердился, выходилъ изъ себя. Онъ ѣхалъ въ Лондонъ на вѣрное торжество и, встрѣтивши оппозицію даже во мнѣ, незамѣтно возвращался къ непріязни.

Вскорѣ онъ отправился за женой и привезъ ее въ маѣ мѣсяцѣ въ Лондонъ. Въ ихъ отношеніяхъ сдѣлалась совершенная перемѣна, она была беременна, онъ въ восторгѣ отъ будущаго ребенка. Ссоры, размолвки, объясненія, все прошло. Она съ какимъ-то лунатическимъ мистицизмомъ и полупомѣшательствомъ вертѣла столы и занималась спиритизмомъ. Духи ей предсказывали многое и, между прочимъ, скорую смерть мою. Онъ читалъ Шопенгауера и, улыбаясь, говорилъ мнѣ, что всѣми силами мирволить мистическому направленію ея, что эта вѣра и экзальтація вносятъ миръ и покой въ ея душу.

Со мной она обошлась дружески, можетъ въ ожиданіи близкой смерти, приходила ко мнѣ съ работой и заставляла меня читать главы изъ «Былого и Думъ» и новыя статьи. Когда черезъ мѣсяцъ начались опять размолвки изъ-за бонапартизма и воздушныхъ шаровъ, она являлась примирительницей, — приходила ко мнѣ, прося пощады *большому* и увѣряя, что всегда весной на Энгельсона находить ипохондрическое расположеніе, въ которомъ онъ самъ не знаетъ, что дѣлаетъ.

Ея покойная кротость была кротость побѣдителя, милосердіе полного торжества. Энгельсонъ, воображавшій, что онъ ее держитъ въ рукахъ вертящимися столами, упустилъ одно изъ виду, что она вертѣла не только столами, но и имъ, и что онъ больше, чѣмъ столы, всегда отвѣчалъ то, что она хотѣла.

Однимъ вечеромъ, Энгельсонъ снова заспорилъ о своихъ шарахъ съ однимъ французомъ, наговорилъ ему разныхъ колкостей; тотъ отдѣлался ироніей и, разумѣется, ввѣсилъ Энгельсона еще

больше. Онъ схватилъ шляпу и убѣжалъ. По утру я пошелъ къ нему, чтобъ объяснить по этому поводу.

Я его засталъ за письменнымъ столомъ, съ лицомъ совершенно искаженнымъ вчерашней злобой, съ безумнымъ выраженіемъ глазъ. Онъ сказалъ мнѣ, что французъ (рефюжье, котораго я зналъ давно и знаю теперь) *шпионъ*, что онъ его разоблачитъ, убьетъ, и подаль мнѣ письмо только-что написанное и адресованное какому-то доктору медицины въ Парижѣ; въ письмѣ онъ припуталъ людей, живущихъ въ Парижѣ, и клеветалъ на выходцевъ въ Лондонѣ. Я остолбенѣлъ.

— И вы это письмо намѣрены послать?

— Сейчасъ.

— По почтѣ?

— По почтѣ.

— Это *донось*, сказалъ я, и бросилъ на столъ его маранье. Если вы пошлете это письмо...

— Такъ что?—закричалъ онъ, перерывая меня голосомъ сильнымъ, дикимъ,—вы хотите грозить мнѣ, чѣмъ? Не боюсь я ни васъ, ни подлыхъ друзей вашихъ,—при этомъ онъ вскочилъ, раскрылъ большой ножъ и, махая имъ, кричалъ задыхаясь:—Ну—ну, покажите-ка прыть... покажу я и вамъ, неудобно ли попробовать... милости просимъ!

Я обернулся къ его женѣ и, сказавши:

— Что это онъ у васъ совсѣмъ съ ума сошелъ? Вы бы убрали его куда-нибудь...—вышелъ вонъ.

И на этотъ разъ *м-ше* Энгельсонъ явилась примирительницей.

Она пришла ко мнѣ утромъ, прося забыть, что было вчера. Письмо онъ изодралъ,—былъ боленъ, печаленъ. Она принимала все это за несчастіе, за физическое разстройство, боялась, что онъ сильно занеможетъ, плакала. Я уступилъ ей.

Затѣмъ мы переѣхали въ Ричмондъ, и Энгельсонъ тоже. Рожденіе сына и первые мѣсяцы хлопотъ объ немъ оживили Энгельсона; онъ потерялъ голову отъ радости, въ минуту рожденія малютки онъ обнялъ и разцѣловалъ сначала горничную, потомъ старуху хозяйку дома... Страхъ о здоровьѣ маленькаго, новость отцовскаго чувства, новость самаго младенца заняли Энгельсона на нѣсколько мѣсяцевъ, и все шло опять ладно.

Вдругъ получаю отъ него большой пакетъ при записочкѣ, чтобъ я прочелъ вложенную бумагу и сказалъ откровенно мое мнѣніе. Это было письмо къ французскому министру военныхъ дѣлъ. Въ немъ онъ снова предлагалъ шары, бомбы и статьи. Я нашелъ все дурнымъ, отъ пути, къ которому онъ обращался, до слога, мало сохранившаго достоинство, и высказалъ это.

Энгельсонъ отвѣчалъ дерзкой запиской и началъ дуться.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ мнѣ далъ другую рукопись для напечатанія. Я не скрылъ отъ него, что дѣйствіе ея на русскихъ будетъ прескверное и что я не совѣтую печатать. Энгельсонъ упрекнулъ меня въ желаніи завести цензуру и говорилъ, что я, вѣроятно, устроилъ типографію исключительно для печати моихъ «безсмертныхъ твореній». Я напечаталъ рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила въ Россіи общее негодованіе.

Все это показывало, что новый разрывъ недалекъ. Признаюсь, на этотъ разъ я не много объ этомъ жалѣлъ. Перемежающаяся лихорадка съ пароксизмами дружбы и ненависти, цѣлованья рукъ и нравственныхъ заушеній мнѣ надоѣли. Энгельсонъ перешелъ за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминанія, ни благодарность. Я его меньше и меньше любилъ и хладнокровнѣе ждалъ, что будетъ.

Тутъ случилось событіе, которое своей важностью покрыло на время всѣ споры и раздоры.

Утромъ 4 марта я вхожу по обыкновенію часовъ въ восемь въ свой кабинетъ, развертываю «Теймсъ», читаю десять разъ и не понимаю, не смѣю понять грамматическій смыслъ словъ, поставленныхъ въ заглавіе телеграфической новости: *The death of the Emperor of Russia*.

... Толчекъ былъ силенъ, работа закипѣла вдвое. Я объявилъ, что издаю «Полярную Звѣзду». Энгельсонъ принялся, наконецъ, за свою статью о социализмѣ, о которой еще говорилъ въ Италіи. Можно было думать, что мы проработаемъ года два, или больше, ... но раздражительное самолюбіе его дѣлало всякую работу съ нимъ невыносимой. Жена его поддерживала въ немъ его опьянѣніе собой. «Статья моего мужа, говорила она, будетъ считаться *новой эпохой* въ исторіи русской мысли. Если онъ ничего больше не напишетъ, то мѣсто его въ исторіи упрочено». Статья: «Что такое государство?» ¹⁾ была хороша, но успѣхъ ея не оправдалъ семейныхъ ожиданій. Къ тому же она попалась не во-время. Проснувшаяся Россія требовала, именно тогда, практическихъ совѣтовъ, а не философскихъ трактатовъ по Прудону и Шопенгауеру.

Статья еще не была до конца напечатана, какъ новая ссора, иного характера, чѣмъ всѣ предыдущія, почти окончательно прервала всѣ сношенія между нами.

Разъ, сидя у него, я шутилъ надъ тѣмъ, что они послали въ третій разъ за докторомъ для маленькаго, у котораго былъ насморкъ и легкая простуда. «Неужели оттого, что мы бѣдны, сказала м-ше Энгельсонъ и вся прежняя ненависть, удесяттеренная,

¹⁾ „Полярная Звѣзда“, книжка 1.

злая, вспыхнула на ея лицѣ,—нашъ малютка долженъ умереть безъ медицинской помощи? И это говорите вы, социалистъ, другъ моего мужа, *отказавшій ему въ пятидесяти фунтахъ и эксплуатирующий его уроками*».

Я слушалъ съ удивленіемъ и спросилъ Энгельсона: «Дѣлать онъ это мнѣніе или нѣтъ?» Онъ былъ сконфузень, пятны выступили у него на лицѣ, онъ умолялъ ея замолчать... Она продолжала. Я всталъ и, перерывая ея, сказалъ: «Вы больны, и сами кормите, я отвѣчать вамъ не стану, но не стану и слушать... Вѣроятно, вамъ не покажется страннымъ, что нога моя не будетъ больше въ вашемъ домѣ».

Энгельсонъ, печальный и растерянный, схватилъ шляпу и вышелъ со мной на улицу: «Не принимайте необузданныя слова женщины съ разстроенными нервами au pied de la lettre...» Онъ путался въ объясненіяхъ. «Завтра я приду давать урокъ», сказалъ онъ, я пожалъ ему руку и молча пошелъ домой.

... Все это требуетъ объясненій, и притомъ самыхъ тяжелыхъ, касающихся не мнѣній и общихъ сферъ, а кухни и приходорасходныхъ книгъ. Тѣмъ не меньше я сдѣлаю опытъ раскрыть и эту сторону. Для патологическихъ изслѣдованій—брезгливость, этотъ *романтизмъ чистоплотности*, не идетъ.

Энгельсоны врядъ имѣли ли право себя включать въ категорию бѣдныхъ людей. Они получали изъ Россіи десять тысячъ франковъ въ годъ, и пять онъ легко могъ выработать—переводами, обзорѣніями, учебными книгами; Энгельсонъ занимался лингвистикой. Книгопродавецъ Трюбнеръ требовалъ отъ него лексиконъ русскаго корнесловія и грамматику; онъ могъ давать уроки, какъ Пьеръ Леру, какъ Кинкель, какъ Эскиросъ. Но въ качествѣ русскаго, онъ брался за все, и за корнесловіе, и за переводы, и за уроки,—ничего не кончалъ, ничѣмъ не стѣснялся и не выработывалъ ни одной копейки.

Ни мужъ, ни жена не были расчетливы и не умѣли устроить своихъ дѣлъ. Постоянная лихорадка, въ которой они жили, не позволяла имъ думать о хозяйствѣ. Онъ изъ Россіи уѣхалъ безъ опредѣленнаго плана и остался въ Европѣ безъ всякой цѣли. Онъ не взялъ никакихъ мѣръ, чтобъ спасти свое имѣнье, и un beau jour испугавшись, сдѣлалъ наскоро какое-то распоряженіе, въ силу котораго ограничилъ свой доходъ на 10.000 фр., которые получалъ не совсѣмъ аккуратно, но получалъ.

Что Энгельсонъ не вывернется съ своими десятиями, было очевидно; что онъ не сумѣетъ, съ другой стороны, ограничить себя, и это было ясно,—ему оставалось работать или заниматься. Сначала, послѣ приѣзда въ Лондонъ, онъ взялъ у меня около сорока фунтовъ... Черезъ нѣкоторое время попросилъ опять...

Я имѣлъ съ нимъ серьезный дружескій разговоръ объ этомъ и сказалъ ему, что готовъ ссужать его, но рѣшительно больше десяти фунтовъ въ мѣсяцъ ему займы не дамъ. Нахмурился Энгельсонъ, однако раза два взявъ по десятифунтовой бумажкѣ и вдругъ написалъ мнѣ, что ему нужны пятьдесятъ фунтовъ, и если я не хочу ему ихъ дать, или не вѣрю, то просить меня занять ихъ подъ закладъ какихъ-то брильянтовъ. Все это очень походило на шутку; если онъ въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ заложить брильянты, то ихъ слѣдовало бы снести къ какому-нибудь *pawnbroker*'у, а не ко мнѣ... Зная его и жалѣя, я написалъ ему, что брильянты заложу въ 50 фунтовъ, если дадутъ, и деньги пришлю. На другой день, я послалъ ему чекъ, а брильянты, которые онъ непременно бы продалъ или заложилъ, спряталъ, чтобъ ихъ сохранить ему. Онъ не обратилъ вниманія на то, что пятьдесятъ фунтовъ были безъ процентовъ и повѣрилъ, что я брильянты заложилъ.

Второй пунктъ, относящійся къ урокамъ, еще проще. Въ Лондонѣ С. давалъ у меня уроки русскаго языка и бралъ 4 шил. за часъ. Въ Ричмондѣ Энгельсонъ предложилъ замѣнить С. Я спросилъ его о цѣнѣ, онъ отвѣтилъ, что ему со мной считается мудрено, но такъ какъ у него нѣтъ денегъ, то онъ возьметъ то же, что бралъ С.

Пришедши домой, я написалъ Энгельсону письмо, напомнилъ ему, что цѣну за уроки онъ назначилъ самъ, но что я прошу его принять за всѣ прошлые уроки вдвое. Затѣмъ я написалъ ему, что заставило меня удержать его брильянты, и отослалъ ему ихъ.

Онъ отвѣчалъ конфузно, благодарилъ, досадовалъ, а вечеромъ пришелъ самъ и сталъ ходить попрежнему. Съ ней я не видался больше.

VII.

Съ мѣсяцъ спустя, обѣдалъ у меня Зено Свентославскій и съ нимъ Линтонъ, англійскій республиканецъ. Къ концу обѣда пришелъ Энгельсонъ. Свентославскій, чистѣйшій и добрѣйшій человекъ, фанатикъ, сохранившій за 50 лѣтъ безразсудный, польскій пылъ и запальчивость мальчика пятнадцати лѣтъ, проповѣдывалъ о необходимости возвращаться въ Россію и начать тамъ живую и печатную пропаганду. Онъ бралъ на себя перевести буквы и пр.

Слушая его, я полу-шутя сказалъ Энгельсону: «А что, вѣдь, васъ примутъ за трусовъ, если онъ пойдетъ одинъ (*on nous accusera de lâcheté*)». Энгельсонъ сдѣлалъ гримасу и ушелъ.

На другой день я ѣздилъ въ Лондонъ и возвратился вечеромъ. Мой сынъ, лежавшій въ лихорадкѣ, разсказалъ мнѣ, и притомъ въ большомъ волненіи, что безъ меня приходилъ Энгельсонъ, что онъ меня страшно бранилъ, говорилъ, что онъ мнѣ отомститъ, что онъ больше не хочетъ выносить моего авторитета и что я ему теперь ненуженъ, *послѣ напечатанія его статьи*. Я не зналъ, что думать, — Саша ли бредилъ отъ лихорадки, или Энгельсонъ приходилъ мертвецки пьяный.

Отъ Мальвиды М. я узналъ еще больше. Она съ ужасомъ разсказывала о его неистовствахъ. «Герценъ, кричалъ онъ нервнымъ, задыхающимся голосомъ, меня назвалъ вчера lâche, въ присутствіи двухъ постороннихъ». М. его перебила, говоря, что рѣчь шла совсѣмъ не о немъ, что я сказалъ: *on nous taxera de lâcheté*, говоря объ насъ вообще. «Если Г. чувствуетъ, что онъ дѣлаетъ подлости, пусть говоритъ о самомъ себѣ, но я ему не позволю говорить такъ обо мнѣ, да еще при двухъ мерзавцахъ...»

На его крикъ прибѣжала моя старшая дочь, которой тогда было десять лѣтъ. Энгельсонъ продолжалъ: «Нѣтъ, конечно, довольно, я не привыкъ къ этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я—и онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и продолжалъ кричать—заряженъ, заряженъ... я дождусь его...»

М. встала и сказала ему, что она требуетъ, чтобъ онъ ее оставилъ, что она не обязана слушать его дикій бредъ, что она только объясняетъ болѣзнію его поведеніе. «Я уйду, сказалъ онъ, не хлопчите, но прежде хочу попросить васъ отдать Герцену это письмо». Онъ развернулъ его и началъ читать, письмо было ругательное.

М. отказалась отъ порученія, спрашивая его, почему онъ думаетъ, что она должна служить посредницей въ доставленіи такого письма?

«Найду путь и безъ васъ», замѣтилъ Энгельсонъ, и ушелъ; письма не присылалъ, а черезъ день написалъ мнѣ записку; въ ней, не упоминая ни однимъ словомъ о прошедшемъ, онъ писалъ, что у него открылся геморой, что онъ ходитъ ко мнѣ не можетъ, а проситъ посылать дѣтей къ нему.

Я сказалъ, что отвѣта не будетъ, и снова всѣ дипломатическія сношенія были прерваны... оставались военные. Энгельсонъ и не преминулъ ихъ употребить въ дѣло.

Изъ Ричмонда я осенью 1855 переѣхалъ въ St. John's Wood. Энгельсонъ былъ забытъ на нѣсколько мѣсяцевъ.

Вдругъ получаю я весной 1856 отъ Орсини, котораго видѣлъ дня два тому назадъ, записку, пахнущую картелью...

Холодно и учтиво просилъ онъ меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяемъ слухъ, что онъ австрійскій

шпіонъ? Онъ просилъ меня или дать полный *dementi*, или указать, отъ кого я слышалъ такую гнусную клевету.

Орсини былъ правъ, я поступилъ бы такъ же. Можетъ, онъ долженъ былъ бы имѣть побольше довѣрія къ Саффи и ко мнѣ,— но обида была велика.

Тотъ, кто сколько-нибудь зналъ характеръ Орсини, могъ понять, что такой человекъ, задѣтый въ самой святѣйшей святынь своей чести, не могъ остановиться на полдорогѣ. Дѣло могло только розрѣшиться *совершенной* чистотой нашей или чьей-нибудь смертью.

Съ первой минуты мнѣ было ясно, что ударъ шель отъ Энгельсона. Онъ *отрпно* считалъ на одну сторону Орсиніевскаго характера, но, по счастью, забылъ другую: Орсини соединялъ съ неукротимыми страстями страшное самообузданіе, онъ среди опасностей былъ расчетливъ, обдумывалъ каждый шагъ и не рѣшался съ брызгу, потому что, однажды рѣшившись, онъ не тратилъ время на критику, на перерѣшенія, на сомнѣнія, а исполнялъ. Мы видѣли это въ улицѣ Лепелетъе. Такъ онъ поступилъ и теперь, онъ, не торопясь, хотѣлъ изслѣдовать дѣло, узнать виновнаго и потомъ, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла въ томъ, что онъ, безъ всякой нужды, замѣшалъ Саффи.

Дѣло было вотъ въ чемъ. *Мѣсяцевъ шесть* до нашего разрыва съ Энгельсономъ, я былъ какъ-то утромъ у м-ше Мильнеръ-Гибсонъ (жены министра), тамъ я засталъ Саффи и Пьянчани, они что-то говорили съ ней объ Орсини. Выходя, я спросилъ Саффи, о чемъ была рѣчь. «Представьте, отвѣчалъ онъ, что г-жѣ Мильнеръ-Гибсонъ рассказывали въ Женевѣ, что Орсини подкупленъ Австріей...»

Возвратившись въ Ричмондъ, я передалъ это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. «Чортъ съ нимъ со всѣмъ!» замѣтилъ Энгельсонъ, и больше объ этомъ рѣчи не было. Когда Орсини удивительнымъ образомъ спасся изъ Мантуи, мы вспомнили въ своемъ тѣсномъ кругу объ обвиненіи, слышанномъ Мильнеръ-Гибсонъ. Появленіе самого Орсини, его рассказъ, его раненая нога безслѣдно стерли нелѣпое подозрѣніе.

Я попросилъ у Орсини назначить свиданье. Онъ звалъ вечеромъ на другой день. Утромъ я пошелъ къ Саффи и показалъ ему записку Орсини. Онъ тотчасъ, какъ я и ждалъ, предложилъ мнѣ идти вмѣстѣ со мною къ нему. Огаревъ, только что пріѣхавшій въ Лондонъ, былъ свидѣтелемъ этого свиданья.

Саффи рассказалъ разговоръ у Мильнеръ-Гибсонъ, съ той простотой и чистотой, которая составляетъ особенность его характера. Я дополнилъ остальное. Орсини подумалъ и потомъ сказалъ:

— Что, у Мильнеръ-Гибсонъ могу я спросить объ этомъ?

— Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но, спросилъ онъ меня, скажите, зачѣмъ же вы говорили съ посторонними, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонній*, съ которымъ я говорилъ, былъ тогда не посторонній; вы лучше многихъ знаете, что онъ былъ для меня.

— Я никого не называлъ...

— Дайте кончить. Что же вы думаете, легко человѣку передавать такія вещи? Если-бъ эти слухи распространились, можетъ, васъ и слѣдовало бы предупредить,—но кто же теперь объ этомъ говорить? Что же касается до того, что вы никого не называли. вы очень дурно дѣлаете, сведите меня лицомъ къ лицу съ обвинителемъ, тогда еще яснѣе будетъ, кто какую роль игралъ въ этихъ сплетняхъ.

Орсини улыбнулся, всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, обнялъ Саффи, и сказалъ: «Amici, кончимъ это дѣло, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другомъ».

— Все это хорошо, и требовать отъ меня объясненіе вы были въ правѣ, но зачѣмъ же вы не называете обвинителя? Во-первыхъ. скрыть его нельзя... Вамъ сказалъ Энгельсонъ.

— Даете вы слово, что оставите дѣло?

— Даю, при двухъ свидѣтеляхъ.

— Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтвержденіе все-же сдѣлало какую-то боль, точно я еще сомнѣвался.

— Помните обѣщанное, прибавилъ, помолчавши, Орсини.

— Объ этомъ не беспокойтесь. А вы вотъ утѣшьте меня, да и Саффи, расскажите, какъ было дѣло, вѣдь, главное мы знаемъ.

Орсини засмѣялся.

— Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на-дняхъ пришелъ онъ ко мнѣ, я былъ въ столовой (Орсини жилъ въ boarding house), и обѣдалъ одинъ. Онъ ужъ обѣдалъ, я велѣлъ подать графинчикъ хересу, онъ выпилъ его и тутъ сталъ жаловаться на васъ, что вы его обидѣли, что вы перервали съ нимъ всѣ сношенія, и послѣ всякой болтовни спросилъ меня, какъ вы меня приняли послѣ возвращенія? Я отвѣчалъ, что вы меня приняли очень дружески, что я обѣдалъ у васъ и былъ вечеромъ... Энгельсонъ вдругъ закричалъ: «Вотъ они... знаю я этихъ молодцевъ, давно ли онъ и его другъ и почитатель Саффи говорили, что вы австрійскій агентъ. А вотъ теперь, вы опять въ славѣ, въ модѣ, и онъ вашъ другъ!» Энгельсонъ, замѣтилъ я ему, исполнѣ ли вы понимаете важность того, что вы сказали?—«Вполнѣ, вполнѣ»,

повторялъ онъ.—Вы готовы будете во всѣхъ случаяхъ подтвердить ваши слова?—«Во всѣхъ!» Когда онъ ушелъ, я взялъ бумагу и написалъ вамъ письмо. Вотъ и все.

Мы вышли всѣ на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мнѣ, сказалъ, какъ бы въ утѣшеніе:

— Онъ поврежденный.

Орсини вскорѣ уѣхалъ въ Парижъ, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помостъ гильотины.

Первая вѣсть объ Энгельсонѣ была вѣсть о его смерти въ Жерсеѣ.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетѣло до меня...

(1858)

... P. S. Въ 1864 я получилъ изъ Неаполя странное письмо. Въ немъ говорилось о появленіи духа моей жены, о томъ, что она звала меня къ обращенію, къ очищенію себя религіей, къ тому, чтобы я оставилъ свѣтскія заботы...

Писавшая говорила, что все писано подъ диктантъ духа, тонъ письма былъ дружескій, теплый, восторженный.

Письмо было безъ подписи, я узналъ почеркъ, оно было отъ m-me Энгельсонъ ¹⁾).

¹⁾ Здѣсь кончается та часть „Былого и Думъ“, которая была обработана авторомъ въ окончательномъ видѣ и напечатана въ четырехъ томахъ. Слѣдующія главы были напечатаны частью въ „Полярной Звѣздѣ“, частью въ „Колоколѣ“; онѣ отрывочны, не слѣдуютъ другъ за другомъ и не представляютъ цѣлости. Эти главы должны были, по мысли автора, войти въ V часть «Былого и Думъ», для которой, какъ онъ не разъ говорилъ, «онъ писалъ все остальное».

Кромѣ печатаемыхъ здѣсь отрывковъ изъ V части, имѣется еще нѣсколько главъ въ рукописи. Эти главы наслѣдники автора не считаютъ въ настоящее время удобнымъ печатать.

Примѣчаніе издателя заграничнаго изданія.

Англія ¹⁾.

(1852—1855).

ГЛАВА I.

Лондонскіе туманы.

Когда на разсвѣтѣ 25 августа 1852 я переходилъ по мокрой доскѣ на англійскій берегъ и смотрѣлъ на его замарано-бѣлые выступы, я былъ очень далекъ отъ мысли, что пройдутъ годы, прежде чѣмъ я покину мѣловые утесы его.

Весь подѣ влияніемъ мыслей, съ которыми я оставилъ Италію, болѣзненно ошеломленный, сбитый съ толку рядомъ ударовъ, такъ скоро и такъ грубо слѣдовавшихъ другъ за другомъ, я не могъ ясно взглянуть на то, что дѣлалъ. Мнѣ будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомыхъ истинъ, для того, чтобъ снова повѣрить тому, что я давно зналъ или долженъ былъ знать.

Я измѣнилъ своей логикѣ и забылъ, какъ розенъ современный человѣкъ въ мнѣніяхъ и дѣлахъ, какъ громко начинаетъ онъ и какъ скромно выполняетъ свои программы, какъ добры его желанія и какъ слабы мышцы.

Мѣсяца два продолжались ненужныя встрѣчи, бесплодное исканіе, разговоры тяжелые и совершенно безполезные, и я все чего-то ожидалъ... чего-то ожидалъ. Но моя реальная натура не могла остаться долго въ этомъ призрачномъ мірѣ, я сталъ мало-по-малу разглядывать, что зданіе, которое я выводилъ, не имѣетъ грунта, что оно непременно рухнетъ.

Я былъ униженъ, мое самолюбіе было оскорблено, я сердился на самого себя. Совѣсть угрызала за святотатственную порчу гостеи, за годъ суеты, и я чувствовалъ страшную, невыразимую

¹⁾ *Полярная Звѣзда*. Т. V. (1859).

усталь... Какъ мнѣ была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія мою исповѣдь, была бы несчастна—моимъ несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человѣка... А, можетъ, это было и къ лучшему.

Я не думалъ прожить въ Лондонѣ дольше мѣсяца, но мало-по-малу я сталъ разглядывать, что мнѣ рѣшительно некуда ѣхать и не зачѣмъ. Такого отшельничества я нигдѣ не могъ найти, какъ въ Лондонѣ.

Рѣшившись остаться, я началъ съ того, что нашелъ себѣ домъ въ одной изъ самыхъ дальнихъ частей города, за Режентъ-паркомъ, близъ Примрозъ-Гила.

Дѣти оставались въ Парижѣ, одинъ Саша былъ со мною. Домъ на здѣшній манеръ былъ раздѣленъ на три этажа. Весь средній этажъ состоялъ изъ огромнаго, неудобнаго, холоднаго drawing room. Я его превратилъ въ кабинетъ. Хозяинъ дома былъ скульпторъ и загромоздилъ всю эту комнату разными статуетками и моделями... Бюстъ Лола Монтесъ стоялъ у меня предъ глазами, вмѣстѣ съ Викторіей.

Когда на второй или третій день послѣ нашего переѣзда, разобравшись и устроившись, я взошелъ утромъ въ эту комнату, сѣлъ на большія кресла и просидѣлъ часа два въ совершеннѣйшей тишинѣ, никѣмъ не тормошимый, я почувствовалъ себя какъ-то свободнымъ,—въ первый разъ послѣ долгаго, долгаго времени. Мнѣ было нелегко отъ этой свободы, но все-же я съ привѣтомъ смотрѣлъ изъ окна на мрачныя деревья парка, едва сквозившія изъ-за дымчатаго тумана, благодаря ихъ за покой.

По цѣлымъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ-одинохонекъ, часто ничего не дѣлая, даже не читая; иногда прибѣгалъ Саша, но не мѣшалъ одиночеству. Г., жившій со мной, безъ крайности никогда не входилъ до обѣда, обѣдали мы въ седьмомъ часу. Въ этомъ досугѣ разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мѣшающее дѣлу, увлеченье другими. И въ продолженіе этого разбора внутри исподволь совершался переворотъ... Были тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекѣ; но были и другія, не радостныя, но мужественныя: я чувствовалъ въ себѣ силу, я не надѣялся ни на кого больше, но надежда на себя крѣпчала, я становился независимѣе отъ всѣхъ.

Пустота кругомъ окрѣпила меня, дала время собраться, я отвыкалъ отъ людей, т. е. не искалъ съ ними истиннаго сближенія; я и неизбѣгалъ никого, но лица мнѣ сдѣлались равнодушны. Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ

чужой между посторонними, сочувствовалъ больше однимъ, чѣмъ другимъ, но не былъ ни съ кѣмъ тѣсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домино были сняты, вѣнки попадали съ головъ, маски съ лицъ и я увидѣлъ другія черты, не тѣ, которыя я предполагалъ. Что же мнѣ было дѣлать? Я могъ не показывать, что я многихъ меньше люблю, т. е., больше знаю, но не чувствовать этого я не могъ и, какъ я сказалъ, эти открытія не отняли у меня мужества, но скорѣе укрѣпили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нѣтъ города въ мірѣ, который бы больше отучалъ отъ людей и больше приучалъ бы къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народонаселенія, въ которыхъ личность пропадаетъ, все это способствовало къ тому, вмѣстѣ съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умѣетъ *жить одинъ*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здѣшняя жизнь, точно такъ же, какъ здѣшній воздухъ, вредна слабому, хилому, ищущему опоры внѣ себя, ищущему привѣтъ, участіе, вниманіе; нравственные легкія должны быть здѣсь такъ же крѣпки, какъ и тѣ, которымъ назначено отдѣлывать изъ продымленнаго тумана кислородъ. Масса спасается завоевываніемъ себѣ насущнаго хлѣба, купцы недосугомъ стяжанія, всѣ суетой дѣлъ; но нервныя романтическія натуры, любящія жить на людяхъ, умственно тянуться и праздно млѣть, пропадаютъ здѣсь со скуки, впадаютъ въ отчаяніе.

Одинокю бродя по Лондону, по его каменнымъ просѣкамъ, по его угарнымъ коридорамъ, не видя иной разъ ни на шагъ впередъ отъ сплошнаго опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бѣгущими тѣнями,—я много прожилъ.

Обыкновенно вечеромъ, когда мой сынъ ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни къ кому не заходилъ;—читалъ газеты, всматривался въ тавернахъ въ незнакомое племя, останавливался на мостахъ черезъ Темзу.

Съ одной стороны, прорѣзываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, съ другой, опрокинутая миска С. Павла... и фонари... фонари безъ конца въ обѣ стороны. Одинъ городъ, сытый, заснулъ; другой, голодный, еще не проснулся,—пусто, только слышна мѣрная поступь полицмена съ своимъ фонарикомъ. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душѣ сдѣлается тише и мирнѣе. И вотъ за все за это я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ гдѣ прислонить голову, и полиція нерѣдко находитъ дѣтей и жен-

щипъ, умершихъ съ голода возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать, не истративши двухъ фунтовъ.

Но такого рода переломы, какъ бы быстро ни приходили, не дѣлаются разомъ, особенно въ сорокъ лѣтъ. Много времени прошло, пока я сладилъ съ новыми мыслями. Рѣшившись на трудъ, я долго ничего не дѣлалъ или дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Мысль, съ которой я пріѣхалъ въ Лондонъ, искать *суда своего*, была вѣрна и справедлива. Я это и теперь повторяю съ полнымъ и обдуманномъ сознаниемъ. Къ кому же въ самомъ дѣлѣ намъ обращаться за судомъ, за восстановленіемъ истины? за обличеніемъ лжи?

Не идти же намъ тягаться передъ судомъ нашихъ враговъ, судящихъ по другимъ началамъ, по законамъ, которыхъ мы не признаемъ.

Можно развѣдаться самому, можно, безъ сомнѣнія. Самоуправство вырываетъ силой взятое силой и тѣмъ самымъ приводитъ къ равновѣсію; месть такое же простое и вѣрное человѣческое чувство, какъ благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняютъ. Можетъ же случиться, что человѣку въ объясненіи главное дѣло, можетъ быть, ему *возстановленіе правды* дороже мести.

Ошибка была не въ *главномъ положеніи*,—она была въ прилагательномъ; для того, чтобъ былъ судъ своихъ, надобно было прежде всего имѣть *своихъ*. Гдѣ же они были у меня?..

Свой у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполнѣ былъ отрѣзанъ на чужбинѣ... Надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести рѣчь съ своими,—хотѣлось имъ рассказать, что тяжело лежало на сердцѣ. Писемъ не пропускаютъ,—книги сами пройдутъ; писать нельзя,—буду печатать, и я принялся мало-по-малу за *Былое* и *Думы* и за *устройство русской типографіи*.

ГЛАВА II 1).

Горныя вершины.—Центральный Европейскій Комитетъ.—Маццини.—Ледрю-Ролленъ.—Кошутъ.

Въ Лондонѣ я спѣшилъ увидѣть Маццини, не только потому, что онъ принялъ самое теплое и дѣятельное участіе въ несчастіяхъ, которыя пали на мою семью, но еще и потому, что я

1) Начало этой главы было напечатано въ IV т. „Былого и Думъ“, глава XL. Остальное, здѣсь печатаемое, появилось въ „Полярной Звѣздѣ“, т. VI, стр. 241.

Примѣчаніе издателя заграничнаго изданія.

имѣлъ къ нему особое порученіе отъ его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапы, Козенцъ, Бертани и другіе были недовольны направленіемъ, которое давалось изъ Лондона; они говорили, что Маццини плохо знаетъ новое положеніе, жаловались на революціонныхъ царедворцевъ, которые, чтобъ подслужиться, поддерживали въ немъ мысль, что все готово для возстанія и ждетъ только сигнала. Они хотѣли внутреннихъ преобразованій, имъ казалось необходимымъ ввести гораздо больше военного элемента и имѣть во главѣ стратеговъ, вмѣсто адвокатовъ и журналистовъ. Для этого они желали, чтобъ Маццини сблизился съ талантливыми генералами въ родѣ Уллоа, стоявшаго возлѣ старика Пепе, въ какомъ-то недовольномъ отдаленіи.

Они поручили мнѣ рассказать все это Маццини долею потому, что они знали, что онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе, а долею и потому, что мое положеніе, независимое отъ итальянскихъ партій, развязывало мнѣ руки.

Маццини меня принялъ, какъ стараго пріятеля. Наконецъ, рѣчь дошла до порученнаго мнѣ отъ его друзей. Онъ меня сначала слушалъ очень внимательно, хотя и не скрывалъ, что ему не совсѣмъ нравится оппозиція; но когда изъ общихъ мѣстъ я дошелъ до частныхъ и личныхъ вопросовъ, тогда онъ вдругъ прервалъ мою рѣчь:

— Это совершенно не такъ, тутъ нѣтъ ни слова дѣльнаго!

— Однако, замѣтилъ я, нѣтъ полутора мѣсяца, какъ я оставилъ Геную и въ Италію былъ два года безъ выѣзда, и могу самъ подтвердить многое изъ того, что говорилъ ему отъ имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были въ Генуѣ. Что такое Генуя? что вы могли тамъ слышать? Мнѣніе одной части эмиграціи. Я знаю, что она такъ думаетъ, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центръ, но это одна точка, а я знаю всю Италію; я знаю потребность каждаго мѣстечка отъ Абрुццъ до Форалберга. Друзья наши въ Генуѣ разобщены со всѣмъ полуостровомъ, они не могутъ судить объ его потребностяхъ, объ общественномъ настроеніи.

Я сдѣлалъ еще два-три опыта, но онъ уже былъ en garde, начиналъ сердиться, нетерпѣливо отвѣчалъ... Я замолчалъ съ чувствомъ грусти; такой нетерпимости я прежде въ немъ не замѣчалъ.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ онъ, подумавъ. Я долженъ знать мнѣніе нашихъ друзей; я готовъ взвѣсить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нѣтъ, это другое дѣло; на мнѣ лежитъ большая отвѣтственность не только передъ совѣстью и Богомъ, но передъ народомъ итальянскимъ.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывалъ свое 3 февраля 1853 года; дѣло для него было рѣшенное, а друзья его не были съ нимъ согласны.

— Знакомы вы съ Ледрю-Ролленомъ и Кошутомъ?

— Нѣтъ.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вамъ надобно съ ними повидаться, я вамъ напишу къ обоимъ нѣсколько словъ. Расскажите имъ, что вы видѣли, какъ оставили нашихъ. Ледрю-Ролленъ, продолжалъ онъ, взявъ перо и начавъ записку, самый милый человекъ въ свѣтѣ, но французъ *à bout des ongles*; онъ твердо вѣруетъ, что безъ революціи во Франціи—Европа не двинется, *le peuple initiateur!*.. А гдѣ французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшія Францію, шли изъ Италіи или изъ Англіи. Вы увидите, что новую эру революціи начнетъ Италія! Какъ вы думаете?

— Признаюсь вамъ, что я этого не думаю.

— Что же, сказалъ онъ, улыбаясь, славянскій міръ?

— Я этого не говорилъ; не знаю, на чемъ Ледрю-Ролленъ основываетъ свои вѣрованія, но весьма вѣроятно, что ни одна революція не удастся въ Европѣ, пока Франція въ томъ состояніи пристраціи, въ которой мы ее видимъ.

— Такъ и вы еще находитесь подъ *préstig'*емъ Франціи?

— Подъ престижемъ ея географическаго положенія, ея страшнаго войска и ея естественной опоры на Россію, Австрію и Пруссію. ¹⁾

— Франція спитъ, мы ее разбудимъ.

Мнѣ оставалось сказать: «Дай Богъ, вашими устами медъ пить!»

Кто изъ насъ былъ правъ на ту минуту,—доказалъ Гарибальди. Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ о моей встрѣчѣ съ нимъ, въ Вестъ-Индскихъ докахъ, на его американскомъ кораблѣ *Commonwealth*.

Тамъ за завтракомъ у него, въ присутствіи Орсини, Гаука и меня, Гарибальди, говоря съ большою дружбой о Маццини, высказывалъ открыто свое мнѣніе о 3 февраля 1853 (это было весной 1854), и тутъ же говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ партій въ одну военную.

Въ тотъ же день вечеромъ, мы встрѣтились въ одномъ домѣ; Гарибальди былъ не веселъ, Маццини вынулъ изъ кармана листъ «*Italia del popolo*», и показалъ ему какую-то статью. Гарибальди

¹⁾ Этотъ разговоръ былъ осенью 1852.

прочиталъ ее и сказалъ: «Да, написано бойко, а статья превредная, я скажу откровенно, за такую статью стоитъ журналиста или писателя сильно наказать. Раздуть всѣми силами раздоръ между нами и Пиемонтомъ въ то время, когда мы только имѣемъ одно войско—войско Сардинскаго короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступленія».

Маццини отстаивалъ журналъ; Гарибальди сдѣлался еще скучнѣе.

Когда онъ собирался ѣхать съ корабля, онъ говорилъ, что ночью будетъ поздно возвращаться въ доки, и что онъ побѣдетъ спать въ отель; я предложилъ, вмѣсто отеля, ѣхать спать ко мнѣ. Гарибальди согласился.

Послѣ этого разговора, осажденный со всѣхъ сторонъ неустрашимымъ легиономъ дамъ, Гарибальди ловкими маршами и контр-маршами выпутался изъ хоравада и, подойдя ко мнѣ, шепнулъ мнѣ на ухо:

— Вы до котораго часа останетесь?

— Поѣдемте хоть сейчасъ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Мы поѣхали; на дорогѣ онъ сказалъ мнѣ:

— Какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ безконечно жаль, что Рерро ¹⁾ такъ увлекается и съ благороднѣйшимъ, чистѣйшимъ намѣреніемъ дѣлаетъ ошибки. Я не могъ вытерпѣть давеча: тѣшится тѣмъ, что выучилъ своихъ учениковъ дразнить Пиемонтъ. Ну что же, если король бросится совсѣмъ въ реакцію, свободное слово итальянское смолкнетъ въ Италіи, и послѣдняя опора пропадетъ. Республика, республика! Я всегда былъ республиканецъ, всю жизнь, да дѣло теперь не въ республикѣ. Массы итальянскія я знаю лучше Маццини, а жилъ съ ними, ихъ жизнию. Маццини знаетъ Италію образованную и владѣетъ ея умами; но войска, чтобъ выгнать австрійцевъ и папу, изъ нихъ не составишь; для массы, для народа итальянскаго одно знамя и есть—*единство и изгнаніе иноземцевъ!* А какъ же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственное сильное королевство въ Италіи, которое, изъ какихъ бы причинъ ни было, хочетъ стать за Италію и бороться; вмѣсто того, чтобъ его звать къ себѣ, его толкаютъ прочь и обижаютъ. Въ тотъ день, въ который *молодой человекъ* повѣритъ, что онъ ближе къ эрцгерцогамъ, чѣмъ къ намъ, судьбы Италіи затормозятся на поколѣніе или на два.

На другой день было воскресенье; онъ ушелъ гулять съ моимъ сыномъ, сдѣлалъ у Калдези его дагеротипъ и принесъ мнѣ его въ подарокъ, а потомъ остался обѣдать.

1) Уменьшительное отъ Джузеппе.

Середь обѣда меня вызываетъ одинъ итальянецъ, посланный отъ Маццини, онъ съ утра отыскивалъ Гарибальди; я просилъ его сѣсть съ нами за столъ.

Итальянецъ, кажется, хотѣлъ говорить съ нимъ наединѣ, я предложилъ имъ идти ко мнѣ въ кабинетъ.

— У меня никакихъ секретовъ нѣтъ, да и чужихъ здѣсь нѣтъ, говорите, замѣтилъ Гарибальди.

Въ продолженіе разговора, Гарибальди еще разъ повторилъ, и притомъ раза два, то же, что мнѣ говорилъ, когда мы ѣхали домой.

Онъ внутренно былъ совершенно согласенъ съ Маццини, но расходился съ нимъ въ исполненіи, въ средствахъ: Что Гарибальди лучше зналъ массы, въ этомъ я совершенно убѣжденъ. Маццини, какъ средневѣковый монахъ, глубоко зналъ одну сторону жизни, но другія *создавалъ*; онъ много жилъ мыслью и страстью, но не на дневномъ свѣтѣ; онъ съ молодыхъ лѣтъ до сѣдыхъ волосъ жилъ въ карбонарскихъ юнтахъ, въ кругу гонимыхъ республиканцевъ, либеральныхъ писателей; онъ былъ въ сношеніяхъ съ греческими гетеріями и съ испанскими *exaltados*, онъ конспирировалъ съ настоящимъ Кавеньякомъ и поддѣльнымъ Ромарино, съ швейцарцомъ Джемсомъ Фази, съ польской демократіей, съ молдоваляхами... Изъ его кабинета вышелъ благословенный имъ восторженный Конарскій, пошелъ въ Россію и погибнулъ. Все это такъ, но съ народомъ, но съ этимъ *solo interprete della legge divina*, но съ этой густой толщей, идущей до грунта, т. е., до полей и плуга, до дикихъ калабрійскихъ пастуховъ, до факиновъ и лодочниковъ, онъ никогда не былъ въ сношеніяхъ; а Гарибальди не только въ Италіи, но вездѣ жилъ съ ними, зналъ ихъ силу и слабость, горе и радость: онъ ихъ зналъ на полѣ битвы и середь бурнаго океана и умѣлъ какъ Бемъ сдѣлаться легендой, въ него вѣрили больше, чѣмъ въ его патрона Санъ-Джузеппе.

Одинъ Маццини не вѣрилъ ему.

И Гарибальди, уѣзжая, сказалъ: «Я ѣду съ тяжелымъ сердцемъ, я на него не имѣю вліянія, и онъ опять предприметъ что-нибудь до срока!»

Гарибальди угадалъ: не прошло года, и снова двѣ-три неудачныя вспышки; Орсини былъ схваченъ піемонтскими жандармами, на піемонтской землѣ, чуть не съ оружіемъ въ рукахъ; въ Римѣ открыли одинъ изъ центровъ движенія, и та удивительная организація, о которой я говорилъ, разрушилась. Испуганная правительства усилили полицію; свирѣпый трусъ, король неаполитанскій, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпѣлъ и напечаталъ свое извѣст-

ное письмо: «Въ этихъ несчастныхъ возстаніяхъ могутъ участвовать или сумасшедшіе, или враги итальянскаго дѣла».

Можетъ, письма этого и не слѣдовало печатать. Маццини былъ побитъ и несчастенъ, Гарибальди наносилъ ему ударъ... Но что его письмо совершенно послѣдовательно съ тѣмъ, что онъ мнѣ говорилъ и при мнѣ,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. ¹⁾

Издавая прошлую *Полярную Звѣзду*, я долго думалъ, что слѣдуетъ печатать изъ лондонскихъ воспоминаній и что лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложилъ, теперь я печатаю изъ нея нѣсколько отрывковъ.

Что же измѣнилось?—59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партіи уяснились, однѣ окрѣпли, другія улетучились. Съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая не только всякое сужденіе, но самое бѣненіе сердца, слѣдили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырѣзывались изъ него съ такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымомъ. *На сію минуту* онъ разсѣялся и на сердцѣ легче, всѣ дорогія головы цѣлы!

А еще дальше за этимъ дымомъ, въ тѣни, безъ шума битвъ, безъ ликованій торжества, безъ лавровыхъ вѣнковъ, одна личность достигла колоссальныхъ размѣровъ.

Осыпaeмый проклятіями всѣхъ партій: обманутымъ плебеємъ, дикимъ попомъ, трусомъ буржуа и піемонтской дрянью; оклеветанный всѣми органами всѣхъ реакцій отъ папскаго и императорскаго *Монитера* до либеральныхъ кастратовъ Кавура и великаго Евнуха лондонскихъ мѣняль *Теймса* (который не можетъ назвать имени Маццини, не прибавивъ площадной брани),—онъ остался не только... «неколебимъ предъ общимъ заблужденіемъ», но благословляющимъ съ радостью и восторгомъ враговъ и друзей, исполнявшихъ его мысль, его планъ. Указывая на него, какъ на какого-то Абадонну—

Народъ, таинственно спасаемый тобою.

Ругался надъ твоей священной сѣдницей...

...Но возлѣ него стоялъ не Кутузовъ, а Гарибальди. Въ лицѣ своего героя, своего освободителя Италія не разрывалась съ Маццини. Какъ же Гарибальди не отдалъ ему полъ-вѣнка своего? зачѣмъ не признался, что идетъ съ нимъ рука въ руку? зачѣмъ оставленный триумвиръ римскій не предъявилъ своихъ правъ? зачѣмъ онъ самъ просилъ не поминать его, и зачѣмъ народный вождь, чистый, какъ отроекъ, молчалъ и лгалъ разрывъ?

¹⁾ Въ заграничномъ изданіи Сочиненій Герцена дальнѣйшее озаглавлено: „Изъ IV и V частей“. (Перепечатано тамъ пѣзъ „Поляр. Звѣзды“, т. VI, 1861).

Примѣч. издан.

Обоимъ было что-то дороже ихъ личностей, ихъ имени, ихъ славы—*Италія!*

И пошлая современность ихъ не поняла. У ней не хватало емкости, настолько величія; бухгалтерской книги ихъ недостало до того, чтобъ подвести итогъ такихъ credit и debet!

Гарибальди сдѣлался еще больше «лицомъ изъ Корнелія Непота»; онъ такъ антично великъ въ своемъ хуторѣ, такъ просто-душно, такъ чисто великъ, какъ описаніе Гомера, какъ греческая статуя. Нигдѣ ни риторики, ни декорацій, ни дипломатій,—въ эпопеѣ онѣ были ненужны; когда она кончилась и началось продолженіе календаря, тогда король отпустилъ его, какъ отпускаютъ доvezшаго ямщика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголялъ Австрію колоссальной благодарностью; а Гарибальди и не разсердился, онъ, улыбаясь, съ пятьюдесятью скудами въ карманѣ, вышелъ изъ дворцовъ странъ, покоренныхъ имъ, предоставляя дворовымъ усчитывать его расходы и разсуждать о томъ, что онъ испортилъ шкуру медвѣдя. Пускай себѣ тѣшатся, половина великаго дѣла сдѣлана,—лишь бы Италію сколотить въ одно и прогнать бѣлыхъ кретиновъ.

Были минуты тяжелыя для Гарибальди. Онъ увлекается людьми; какъ онъ увлекся А. Дюма, такъ увлекается Викторомъ Эммануиломъ; неделикатность короля огорчаетъ его; король это знаетъ и, чтобъ задобрить его, посылаетъ фазановъ собственноручно убитыхъ, цвѣты изъ своего сада и любовныя записки, подписанныя: *sempre il tuo amico Vittorio*.

Для Маццини люди не существуютъ, для него существуетъ *дѣло*, и притомъ *одно дѣло*; онъ самъ существуетъ, «живетъ и движется» только въ немъ. Сколько ни посылай ему король фазановъ и цвѣтовъ, онъ его не тронетъ. Но онъ сейчасъ соединится не только съ нимъ, котораго онъ считаетъ за добраго человѣка, но съ его маленькимъ Талейраномъ, котораго онъ вовсе не считаетъ ни за добраго, ни за порядочнаго человѣка. Маццини аскетъ, Кальвинъ, Прочида итальянскаго освобожденія. Односторонній, вѣчно занятый одной идеей, вѣчно на стражѣ и готовый, Маццини съ тѣмъ упорствомъ и терпѣніемъ, съ которымъ онъ создалъ, изъ разбросанныхъ людей и неясныхъ стремленій, плотную партію и, послѣ десяти неудачъ, вызвалъ Гарибальди и его войско полсвободной Италіи и живую, неприложную надежду на ея единство,—Маццини не спитъ. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видятъ худую, печальную руку Маццини, указывающую на Римъ, и они еще пойдутъ туда!

Я дурно сдѣлалъ, что выпустилъ, въ напечатанномъ отрывкѣ, нѣсколько страницъ объ Маццини; его усѣченная фигура вышла

не такъ ясно. я остановился именно на его размолвкѣ съ Гарибальди въ 1854, и на моемъ разномыслии съ нимъ. Сдѣлано было это мною изъ деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О такихъ людяхъ нечего умалчивать, *ихъ щадить нечего!*

Послѣ своего возвращенія изъ Неаполя, онъ написалъ мнѣ записку; я поспѣшилъ къ нему, сердце щемило, когда я его увидѣлъ, я все-же ждалъ найти его грустнымъ, оскорбленнымъ въ своей любви, положеніе его было въ высшей степени трагическое; я дѣйствительно его нашелъ тѣлесно состарившимся и помолодѣлымъ душой; онъ бросился ко мнѣ, по обыкновенію протягивая обѣ руки, съ словами: «Итакъ, наконецъ-то сбывается!»... въ его глазахъ былъ восторгъ и голосъ дрожалъ.

Онъ весь вечеръ рассказывалъ мнѣ о времени, предшествовавшемъ экспедиціи въ Сицилію, о своихъ сношеніяхъ съ Викторомъ Эммануиломъ, потомъ о Неаполѣ. Въ увлеченіи, въ любви, съ которыми онъ говорилъ о побѣдахъ, о подвигахъ Гарибальди, было столько же дѣжбы къ нему, какъ въ его брани за довѣрчивость и за неумѣнье распознавать людей.

Слушая его, я хотѣлъ поймать одну ноту, одинъ звукъ обиженнаго самолюбія, и не поймалъ; ему грустно, но грустно, какъ матери, оставленной на время возлюбленнымъ сыномъ,—она знаетъ, что сынъ воротится, и знаетъ больше этого, что сынъ счастливъ: это покрываетъ все для нея!

Маццини исполненъ надеждъ, съ Гарибальди онъ ближе, чѣмъ когда-нибудь. Онъ съ улыбкой рассказывалъ, какъ толпы неаполитанцевъ, подбитыя агентами Кавура, окружили его домъ съ криками: «Смерть Маццини!» Ихъ, между прочимъ, увѣрили, что Маццини «бурбонскій республиканецъ».—«У меня въ это время было нѣсколько человекъ нашихъ и одинъ молодой русскій, онъ удивлялся, что мы продолжали прежній разговоръ. Вы не опасайтесь, сказалъ я ему въ успокоеніе, *они меня не убьютъ, они только кричатъ!*»

Нѣтъ, такихъ людей нечего щадить!

31 января, 1861.

... На другой день я отправился къ Ледрю-Роллену. Онъ меня принялъ очень привѣтливо. Колоссальная, импозантная фигура его, которой ненадо разбирать en détail, общимъ впечатлѣніемъ располагала въ его пользу. Должно быть онъ былъ и *bon enfant* и *bon vivant*. Морщины на лбу и просѣды показывали, что заботы и ему не совсѣмъ даромъ прошли. Онъ потратилъ на революцію свою жизнь и свое состояніе; а общественное мнѣніе ему измѣнило. Его странная, непрямая роль въ апрѣлѣ и маѣ, слабая

въ іоньскіе дни, отдалила отъ него часть красныхъ, не сблизивъ съ синими. Имя его, служившее символомъ и произносимое иной разъ съ ошибкой ¹⁾ мужиками, но все же произносимое, рѣже было слышно. Самая партія его въ Лондонѣ таяла больше и больше; особенно, когда и Феликсъ Піа открылъ свою лавочку въ Лондонѣ.

Усѣвшись покойно на кушеткѣ, Ледрю-Ролленъ началъ меня «гаранжировать».

— «Революція, говорилъ онъ, только и можетълучиться (gaupner) изъ Франціи. Ясно, что, къ какой бы странѣ вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать намъ для вашего собственнаго дѣла. Революція только можетъ выйти изъ Парижа. Я очень хорошо знаю, что нашъ другъ Маццини не того мнѣнія, — онъ увлекается своимъ патриотизмомъ. Что можетъ сдѣлать Италия съ Австріей на шеѣ и съ наполеоновскими солдатами въ Римѣ? Намъ надобно Парижъ; Парижъ — это Римъ, Варшава, Венгрія, Сицилія, и, по счастью, Парижъ совершенно готовъ — не ошибайтесь — совершенно готовъ! Революція сдѣлана — la révolution est faite: c'est clair comme bon jour. Я объ этомъ и не думаю; я думаю о послѣдствіяхъ, о томъ, какъ избѣгнуть прежнихъ ошибокъ». Такимъ образомъ онъ продолжалъ съ полчаса и вдругъ, спохватившись, что онъ и не одинъ, и не передъ аудиторіей, добродушнѣйшимъ образомъ сказалъ мнѣ: «Вы видите; мы съ вами совершенно одинакаго мнѣнія». Я не раскрывалъ рта. Ледрю-Ролленъ продолжалъ: «Что касается до матеріальнаго факта революціи, — онъ задержанъ нашимъ безденежемъ. Средства наши истощились въ этой борьбѣ, которая идетъ годы и годы. Будь теперь сейчасъ въ моемъ распоряженіи *сто тысячъ* франковъ, — да — мизерабельныхъ *сто тысячъ* франковъ! и послѣ завтра, черезъ три дня, революція въ Парижѣ».

— Да какъ же это, — замѣтилъ я наконецъ, — такая богатая нація, совершенно готовая на возстаніе, не находитъ *ста тысячъ* — полумилліона франковъ?

Ледрю-Ролленъ немного покраснѣлъ, но, не запинаясь, отвѣчалъ:

— «Pardon, pardon. Вы говорите о *теоретическихъ предположеніяхъ* въ то время, какъ я вамъ говорю о фактахъ, о простыхъ фактахъ».

Этого я не понималъ.

Когда я уходилъ, Ледрю-Ролленъ по англійскому обычаю про-

¹⁾ Мужички дальнихъ краевъ любили le duc Rollin'a и жалѣли только, что имъ руководствуетъ женщина, съ которой онъ связался — La Martine, что она-то дюка сбиваетъ, а что онъ самъ bon pour le populaire.

водилъ меня до лѣстницы и еще разъ, подавая мнѣ свою огромную богатырскую руку, сказалъ:

— «Надѣюсь, это не въ послѣдній разъ, я буду всегда радъ; итакъ—au revoir».

— Въ Парижѣ—отвѣтилъ я.

— «Какъ въ Парижѣ?»

— Вы такъ убѣдили меня, что революція за плечами, что я право не знаю, успѣю ли я побывать у васъ здѣсь.

Онъ смотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, и потому я поторопился прибавить:

— По крайней мѣрѣ я этого искренно желаю, въ этомъ, думаю, вы не сомнѣваетесь.

— «Иначе вы не были бы здѣсь»—замѣтилъ хозяинъ, и мы разстались.

Кошута въ первый разъ я видѣлъ собственно во второй разъ. Это случилось такъ. Когда я пріѣхалъ къ нему, меня встрѣтилъ въ парлорѣ военный господинъ, въ полу-венгерскомъ военномъ костюмѣ, съ извѣщеніемъ, что г. *Губернаторъ* не принимаетъ.

— Вотъ письмо отъ Маццини.

— Я сейчасъ передамъ. Сдѣлайте одолженіе.—Онъ указалъ мнѣ на трубку и потомъ на стулъ. Черезъ двѣ-три минуты возвратился.

— Г. *Губернаторъ* чрезвычайно жалѣеть, что не можетъ васъ видѣть. Сейчасъ онъ оканчиваетъ *американскую почту*; впрочемъ, если вамъ угодно подождать, то онъ будетъ очень радъ васъ принять.

— А скоро онъ кончитъ почту?

— Къ пяти часамъ непремѣнно.

Я взглянулъ на часы: половина второго.—Ну, трехъ часовъ съ половиной я ждать не стану.

— Да вы не пріѣдете ли послѣ?

— Я живу не меньше трехъ миль отъ Нотингъ-Гиля. Впрочемъ, прибавилъ я, у меня никакого спѣшнаго дѣла къ г. *Губернатору* нѣтъ!

— Но г. *Губернаторъ* будетъ очень жалѣть.

— Такъ вотъ мой адресъ.

Прошло съ недѣлю, вечеромъ является длинный господинъ, съ длинными усами—венгерскій полковникъ, съ которымъ я лѣтомъ встрѣтился въ Лугано.

— Я къ вамъ отъ г. *Губернатора*: онъ очень беспокоится, что вы у него не были.

— Ахъ, какая досада. Я, вѣдь, впрочемъ, оставилъ адресъ. Если-бъ я зналъ время, то непремѣнно поѣхалъ бы къ Кошуту

сегодня—или... прибавилъ я вопросительно, какъ надобно говорить, къ г. Губернатору?

— *Zu dem Olten, zu dem Olten*,—замѣтилъ улыбаясь гонведъ—мы его между собой все называемъ *der Olte*.— Вотъ увидите чепуха! такой головы въ мѣрѣ нѣтъ, не было и... полковникъ внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра въ два часа приѣду.

— Это невозможно. Завтра среда, завтра утромъ старикъ принимаетъ однихъ нашихъ, однихъ венгерцевъ.

Я не выдержалъ, засмѣялся, и полковникъ засмѣялся. Когда же вашъ старикъ пьетъ чай?

— Въ восемь часовъ вечера.

— Скажите ему, что я приѣду завтра въ восемь часовъ; но если нельзя, вы мнѣ напишите.

— Онъ будетъ очень радъ. Я васъ жду въ приемной.

На этотъ разъ, какъ только я позвонилъ, длинный полковникъ меня встрѣтилъ, а короткій полковникъ тотчасъ повелъ въ кабинетъ Кошута.

Я засталъ Кошуту, работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ, вѣроятно, красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ особеннымъ романтически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имѣютъ античной строгости, какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и, можетъ, именно по этому) онъ былъ роднѣ намъ, жителямъ сѣвера; въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говорить онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣляется фразами, не опирается на бытыя мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль почти всегда оригинально, потому что онъ свободнѣ другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ, въ его манерѣ доводовъ и возраженій виденъ адвокатъ, но то, что онъ говоритъ,—серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мѣрѣ событій и приложений не всегда можно прямо летать, какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ, между прочимъ, причина, почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣя-

тельности и почему, съ другой стороны, Маццини дѣлаетъ непре-
рывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаетъ
вовсе.

Маццини глядитъ на итальянскую революцію какъ фанатикъ;
онъ вѣруеть въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ кри-
тикѣ и стремится ога е sempre, какъ стрѣла, пущенная изъ
лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчетъ, тѣмъ
прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ,
его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ ко-
митета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ
Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апока-
липтическія формулы соціального доктринаризма, а протестъ
своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неиз-
вѣстнаго ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отно-
шеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи
къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими това-
рищами, Кошутъ былъ специалистъ.

Французскіе рефюжъе, съ своей несчастной привычкой рубить
съ плеча и все мѣрять на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута
за то, что онъ въ Марсели выразилъ свое сочувствіе къ соціаль-
нымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ
балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о
парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его пу-
тешествія изъ Константинополя, т. е., во время самага торже-
ственно-эпического эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 го-
домъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесен-
ныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнан-
никомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой
республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора Франціи,
чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи.
Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были оконча-
тельно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ
къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними
очень натурально о социализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ
одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ
въ гости. Кошутъ, всенародно благодаря англичанъ за пріемъ,
не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который
его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совер-
шенно искрененъ; онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи;
онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувство-
вать съ англійской конституціей, не сдѣлавшись орлеанистомъ
и не предавъ республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно

превосходно понялъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно въ далекѣ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи-Блана. Съ Маццини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маццини и Ворцель давнымъ давно были, по испанскому выраженію, afrancisados. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маццини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маццини ждалъ революціоннаго толчка изъ Италіи и вообще былъ очень недоволенъ Франціей; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ, съ одной стороны, въ немъ говорилъ патриотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой—личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *внѣ ея духа*; французскій революціонаризмъ имѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуаль, свой символъ вѣры; въ ихъ предѣлахъ можно быть специально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ; можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варіаціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется то же.

Разговоръ Кошута со мной тотчасъ принялъ серьезный оборотъ: въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное, онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣдѣнія его объ юго-востокѣ Европы были огромны: онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. «Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія», сказалъ онъ, «и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и *противуславянская* политика поддерживать Австрію. Разумѣется, Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе; развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще власти».

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно; многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что-нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ несвязанныхъ замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, спрашивалъ о сельской общинѣ, о помѣщицкѣй власти; я рассказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута, я спрашивалъ себя: да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество, Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ ли заботился обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому, скоро ли провозгласятъ республику въ Лиссабонѣ или дей Триполи будетъ называться простымъ гражданномъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые два три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Маццинъевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Кайенѣ, но они съ фанатизмомъ слѣпо вѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отъ чего закружиться головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двухмилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета лордъ-мера стояла, приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Mansion House'a, его привѣтствовало громогласное «ура!»

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему—изгнаннику. *Теймсъ* нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ-другой и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкѣ, и какъ въ самой Англійи остывалъ энтузіазмъ, Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно, и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ: это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е., съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного *воззванія*, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновение—*oggi o mai*. Если-бъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29 ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ вслѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англій, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны и по содержанію, и по формѣ. Но Англій на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплескалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдалѣ движеніе не шло, но рѣчи не вызывали того отзвука въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ; насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому же мира, главное было достигнуто—*статскій* Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ «Атласѣ» и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестерѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувши къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось выработать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія, и что они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣсколькими вѣрными сподвижниками; сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время, и тяжело становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ не только Англій, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 г.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ. Оба сына

Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошуты стоялъ у дверей и какъ-то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ:

— Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну.

— Увидятъ ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ,— прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотрѣть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и то же:

А увидятъ ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные догорающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Маццини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежить ли уже прошедшему; эти люди не дѣлаются ли печальными представителями былого, около которыхъ закипаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое... Звуки церковнаго колокола тихимъ утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясаютъ душу, но вѣры все же въ ней нѣтъ!

Есть печальная истины,—трудно, тяжело прямо смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вѣдь, это тоже своего рода страсть или болѣзнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это такъ; да сообразно ли вѣдѣніе ея съ нашей жизнію? не разъѣдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота разъѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть ли страсть къ ней—страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ его въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня—мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора въ бѣдной комнатѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ—Маццини.

Я этого старика грустно любилъ и ни разу не сказалъ ему *всей правды*, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

ГЛАВА III.

Эмиграція въ Лондонѣ.—Нѣмцы, Французы.—Партіи.—В. Гюго.—Феликсъ Піа.—Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.

Сидѣхомъ и плакахомъ на берегахъ вавилонскихъ...

Псалтырь.

Если-бъ кто-нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 года въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдность умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ и мелкость въ самолюбіи...

Съ одной стороны, люди простые, инстинктомъ и сердцемъ понявшіе дѣло революціи и приносящіе ему наибольшую жертву, которую человѣкъ можетъ принести,—добровольную нищету, составляютъ небольшую кучку. Съ другой, эти худо прикрытыя, затаенныя самолюбія, для которыхъ революція была служба, *position sociale*, и которые сорвались въ эмиграцію, не достигнувъ мѣста; потомъ всякіе фанатики, мономаны всѣхъ мономаній, сумасшедшіе всѣхъ сумасшествій; въ силу этого нервнаго, натянутого, раздраженнаго состоянія—верченіе столовъ надѣлало въ эмиграціи страшное количество жертвъ. Кто не вертѣлъ столовъ—отъ Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошелъ дальше... и узнавалъ все, что человѣкъ дѣлалъ лѣтъ тысячу тому назадъ!..

Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показываютъ одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показываютъ одно событіе, одну кончину какого-нибудь событія. Объ немъ говорятъ, объ немъ думаютъ, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы, мѣсяцевъ черезъ пять-шесть, года черезъ два-три, становится страшно,—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями, больше; сюртуки, пальто—вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... А рѣчи все тѣ же и тѣ же!

Революція у нихъ остается, какъ въ девяностыхъ годахъ, ме-

тафизикой общественнаго быта, но тогдашней наивной страсти къ борьбѣ, которая давала рѣзкій колоритъ самымъ тощимъ всеобщностямъ и тѣло сухимъ линиямъ, ихъ политическаго сруба— у нихъ нѣтъ и не можетъ быть; всеобщности и отвлеченныя понятія тогда были радостной новостью, откровениемъ. Въ концѣ XVIII столѣтія люди въ первый разъ, не въ книгѣ, а на самомъ дѣлѣ, начали освобождаться отъ рокового, таинственно-тяготѣвшаго міра теологической исторіи и пытались весь гражданскій бытъ, выросшій помимо сознанія и воли, основать на сознательномъ пониманіи. Въ попыткѣ *разумнаго* государства, какъ въ попыткѣ религіи *разума*, была въ 1793 могучая, титаническая поэзія, которая принесла свое, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, вывѣтрилась и оскудѣла въ послѣдніе шестьдесятъ лѣтъ. Наши наследники титановъ этого не замѣчаютъ. Они, какъ монахи Аѳонской горы, которые занимаются своимъ, ведутъ тѣ же рѣчи, которыя вели во время Златоуста, и продолжаютъ жизнь, давно задвинутую турецкимъ владычествомъ, которое само ужъ приходитъ къ концу, ... собираясь въ извѣстные дни поминать извѣстныя событія. въ томъ же порядкѣ, съ тѣми же молитвами.

Другой тормазъ, останавливающій эмиграціи, состоитъ въ отстаиваніи себя другъ противъ друга; это страшно убиваетъ внутреннюю работу и всякій добросовѣстный трудъ. Объективной цѣли у нихъ нѣтъ, всѣ партіи упрямо консервативны, движеніе впередъ имъ кажется слабостью, чуть не бѣгствомъ; сталъ подъ знамя, такъ стой подъ нимъ, хотя бы со временемъ и разглядѣлъ, что цвѣта не совсѣмъ такіе, какъ казались.

Такъ идутъ годы,—исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга, растетъ трава, вмѣсто кустарника—лѣсъ, вмѣсто лѣса—одни пни..... Они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторыя выходы совсѣмъ обвалились и засыпались, они въ нихъ-то и стучать; новыя щели открылись; свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но они смотрятъ въ другую сторону.

Отношенія, сложившіяся между разными эмиграціями и англичанами, могли бы сами по себѣ дать удивительные факты о химическомъ сродствѣ разныхъ народностей.

Англійская жизнь сначала ослѣпляетъ нѣмцевъ, подавляетъ ихъ, потомъ поглощаетъ, или, лучше сказать, распускаетъ ихъ въ плохихъ англичанъ. Нѣмецъ, по большей части, если предпринимаетъ какое-нибудь дѣло, тотчасъ брѣтается, поднимаетъ воротнички рубашки до ушей, говоритъ yes, вмѣсто ja, и well тамъ, гдѣ ничего ненужно говорить. Года черезъ два онъ пишетъ по англійски письма и записки и живетъ совершенно въ англійскомъ кругу. Съ англичанами нѣмцы никогда не обходятся, какъ съ рав-

ными, а какъ наши мѣщане съ чиновниками и наши чиновники съ столбовыми дворянами.

Входя въ англійскую жизнь, нѣмцы не въ самомъ дѣлѣ дѣлаются англичанами, но притворяются ими и долею перестаютъ быть нѣмцами. Англичане въ своихъ сношеніяхъ съ иностранцами такіе же капризники, какъ во всемъ другомъ; они бросаются на пріѣзжаго, какъ на комедіанта или акробата, не даютъ ему покоя, но едва скрываютъ чувство своего превосходства и даже нѣкотораго отвращенія къ нему. Если пріѣзжій удерживаетъ свой костюмъ, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанинъ шпыняетъ надъ нимъ, но мало-по-малу привыкаетъ въ немъ видѣть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранецъ начинаетъ подлаживаться подъ его манеры, онъ не уважаетъ его и снисходительно трактуетъ его съ высоты своей британской надменности. Тутъ и съ большимъ тактомъ трудно найтись иной разъ, чтобъ не согрѣшить по минусу или по плюсу; можно же себѣ представить, что дѣлаютъ нѣмцы, лишенные всякаго такта, фамиллярные и подобострастные, слишкомъ вычурные и слишкомъ простые, сентиментальные безъ причины и грубые безъ вызова.

Но если нѣмцы смотрятъ на англичанъ, какъ на высшее племя того же рода, и чувствуютъ себя ниже ихъ, то изъ этого не слѣдуетъ никакъ, чтобы отношеніе французовъ, и преимущественно французскихъ рефюжѣ, было умнѣе. Такъ, какъ нѣмецъ все безъ разбору уважаетъ въ Англии, французъ протестуетъ противъ всего и ненавидитъ все англійское. Это доходить, само собой разумѣется, до уродливости самой комической.

Французъ, во-первыхъ, не можетъ простить англичанамъ, что они не говорятъ по-французски; во-вторыхъ, что они не понимаютъ, когда онъ Чарингъ-Кросъ называетъ *Шаран'кро* или Лестеръ-скверъ—*Лесестеръ-скуаръ*. Далѣе его желудокъ не можетъ переварить, что въ Англии обѣдъ состоитъ изъ двухъ огромныхъ кусковъ мяса и рыбы, а не изъ пяти маленькихъ порцій всякихъ рагу, фритюръ, салми и пр. Затѣмъ, онъ не можетъ примириться съ «рабствомъ», по которому трактиры заперты въ воскресенье и весь народъ *скучаетъ Богу*, хотя вся Франція семь дней въ недѣлю *скучаетъ Бонапарту*. Затѣмъ, весь *habitus*, все хорошее и дурное въ англичанинѣ ненавистно французу. Англичанинъ платитъ ему той же монетой, но съ завистью смотреть на покрой его одежды и каррикатурно старается подражать ему.

Все это очень замѣчательно для изученія сравнительной физиологии, и я совсѣмъ не для смѣха рассказываю это. Нѣмецъ, какъ мы замѣтили, сознаетъ себя, по крайней мѣрѣ, въ гражданскомъ отношеніи низшимъ видомъ той же породы, къ которой

принадлежитъ англичанинъ, и подчиняется ему. Французъ, принадлежащій къ другой породѣ, не настолько различной, чтобы быть равнодушнымъ, какъ турокъ къ китайцу. ненавидитъ англичанина, особенно потому, что оба народа слѣпо убѣждены, каждый о себѣ, что они представляютъ первый народъ въ мѣрѣ. И нѣмецъ внутри себя въ этомъ увѣренъ, особенно auf dem theoretischen Gebiete, но стыдится признаться.

! Французъ дѣйствительно во всемъ противоположенъ англичанину; англичанинъ существо берложное, любящее жить особнякомъ, упрямое и непокорное, французъ—стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельныя развитія, между которыми Ла-Маншъ. Французъ постоянно предупреждаетъ, во все мѣшается, всѣхъ воспитываетъ, всему поучаетъ; англичанинъ выжидаетъ, вовсе не мѣшается въ чужія дѣла и былъ бы готовъ скорѣе поучиться, нежели учить, но времени нѣтъ, въ лавку надо.)

Два краѣугольныхъ камня всего англійскаго быта: личная независимость и родовая традиція, для француза почти не существуютъ. Грубость англійскихъ нравовъ выводитъ француза изъ себя, и она дѣйствительно противна и отравляетъ лондонскую жизнь, но за ней онъ не видитъ той суровой мощи, которою народъ этотъ отстоялъ свои права; того упрямства, вслѣдствіе котораго изъ англичанина можно все сдѣлать, льстя его страстямъ,—но не раба, веселящагося галунами своей ливреи, восхищающагося своими цѣпями, обвитыми лаврами.

Французу такъ дикъ, такъ непонятенъ мѣръ самоуправленія, децентрализаціи, своеобразно, капризно разросшійся, что онъ, какъ долго ни живетъ въ Англии, ея политической и гражданской жизни, ея правъ и судопроизводства не знаетъ. Онъ теряется въ неспѣтомъ разноначаліи англійскихъ законовъ, какъ въ темномъ бору, и совсѣмъ не замѣчаетъ, какіе огромные и величавые дубы составляютъ его и сколько прелести, поэзіи, смысла въ самомъ разнообразіи. То ли дѣло маленькой кодексъ съ посыпанными дорожками, съ подстриженными деревьями и съ полицейскими садовниками на каждой аллеѣ.

Опять Шекспиръ и Расинъ.

Видитъ ли французъ пьяныхъ, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящаго съ спокойствіемъ посторонняго и любопытствомъ челоуѣка, слѣдящаго за пѣтушинымъ боемъ,—онъ приходитъ въ неистовство, зачѣмъ полисменъ не выходитъ изъ себя, зачѣмъ не ведетъ кого-нибудь au violon. Онъ и не думаетъ о томъ, что личная свобода только и возможна, когда полицейскій не имѣетъ власти отца и матери и когда его вмѣшательство сводится на страдательную готовность—до тѣхъ поръ, пока его по-

зовуть. Увѣренность, которую чувствуетъ каждый бѣднякъ, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, измѣняетъ взглядъ человѣка. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами, иногда прячется преступникъ,—пускай себѣ. Гораздо лучше, чтобъ ловкій воръ остался безъ наказанія, нежели чтобъ каждый честный человѣкъ дрожалъ какъ воръ у себя въ комнатѣ. До моего пріѣзда въ Англію всякое появленіе полицейскаго въ домъ, въ которомъ я жилъ, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde противъ врага. Въ Англіи полицейскій у дверей и въ дверяхъ только прибавляетъ какое-то чувство безопасности.

Въ 1855, когда Жерсейскій губернаторъ, пользуясь особымъ *безправіемъ* своего острова, поднялъ гоненіе на журналъ «L'Номме» за письмо Ф. Пиа къ королевѣ и, не смѣя вести дѣло судебнымъ порядкомъ, велѣлъ В. Гюго и другимъ рефюжѣ, протестовавшимъ въ пользу журнала, оставить Жерсей,—здравый смыслъ и всѣ оппозиціонные журналы говорили имъ, что губернаторъ перешелъ власти, что имъ слѣдуетъ остаться и сдѣлать процессъ ему. «Daily News» общалъ съ другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и какъ,—«будто возможно выиграть процессъ противъ правительства». Они напечатали новый грозный протестъ, грозили губернатору судомъ исторіи—и гордо отступили въ Гернсей.

Разскажу одинъ примѣръ французскаго пониманія англійскихъ нравовъ. Однажды вечеромъ прибѣгаетъ ко мнѣ одинъ рефюжѣ и, послѣ цѣлаго ряда ругательствъ противъ Англіи и англичанъ, разсказываетъ мнѣ слѣдующую «чудовищную» исторію.

Французская эмиграція въ то утро хоронила одного изъ своихъ собратьевъ. Надо сказать, что въ томной и скучной жизни изгнанія похороны товарища почти принимаются за праздникъ,—случай сказать рѣчь, пронести свои знамена, собраться вмѣстѣ, пройтись по улицамъ, отмѣтить кто былъ и кто не былъ, а потому демократическая эмиграція отправилась au grand complet. На кладбищѣ явился англійскій пасторъ съ молитвенникомъ. Пріятель мой замѣтилъ ему, что покойникъ не былъ христіанинъ, и что въ силу этого ему ненужна его молитва. Пасторъ, педантъ и лицемеръ, какъ всѣ англійскіе пасторы, съ притворнымъ смиреніемъ и національной флегмой, отвѣчалъ: «Что можетъ покойнику и ненужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать cadaго умершаго молитвой на послѣднее жилище его». Завязался споръ, и такъ какъ французы стали горячиться и кричать, упрямый пасторъ позвалъ полицейскихъ.

— Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée li-

berté!—прибавилъ главный актеръ этой сцены, послѣ покойника и пастора.

— Ну, что же сдѣлала, спросилъ я, *la force brutale au service du noir fanatisme?*

— Пришли четыре полицейскихъ, et le chef de la bande спрашиваетъ: Кто говорилъ съ пасторомъ?

Я прямо вышелъ впередъ—и, рассказывая, мой пріятель, обѣдавшій со мною, смотрѣлъ такъ, какъ нѣкогда смотрѣлъ Леонидъ, отправляясь ужинать съ богами,—*c'est moi «Monsieur», car je me garde bien de dire «citoyen»* ¹⁾ a ces gueux-là.—Тогда le chef des sbires съ величайшей дерзостью сказалъ мнѣ: «Переведите другимъ, чтобъ они не шумѣли, хороните вашего товарища и ступайте по домамъ. А если вы будете шумѣть, я васъ всѣхъ велю отсюда вывести».—Я посмотрѣлъ на него, снявъ съ себя шляпу и громко что есть силы прокричалъ: *Vive la République démocratique et sociale!*

Едва удерживая смѣхъ, я спросилъ его:—Что же сдѣлать «начальникъ сбировъ»?

— Ничего—съ самодовольной гордостью замѣтилъ французъ.—Онъ переглянулся съ товарищами, прибавилъ: «Ну, дѣлайте, дѣлайте ваше дѣло!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имѣютъ дѣло не съ англійской чернью... у нихъ тонкій носъ!

Что-то происходило въ душѣ серьезнаго, плотнаго и, вѣроятно, выпившаго констебля во время этой выходки? Пріятель и не подумалъ о томъ, что онъ могъ себѣ доставить удовольствіе прокричать то же самое передъ окнами королевы у рѣшетки Букингамскаго дворца, безъ малѣйшаго неудобства. Но еще замѣчательнѣе, что ни мой пріятель, ни всѣ прочіе французы, при такомъ происшествіи и не думаютъ, что за подобную продѣлку во Фран-

¹⁾ Въ поясненіе того, что мой красный пріятель употреблялъ въ разговорѣ съ полицменомъ слово „Monsieur“, чтобы не употребить во зло слово „Citoyen“—надо вотъ что рассказать. Въ одной изъ темныхъ, бѣдныхъ и нечистыхъ улицъ лежащихъ между Сога и Лестеръ-Скверомъ, гдѣ обыкновенно кочуетъ недостаточная часть эмиграціи, завелъ какой-то красный ликвористъ небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашелъ къ нему взять седативной воды. За прилавкомъ сидѣлъ онъ самъ, высокій, съ грубыми чертами, густыми, насуспенными бровями, большимъ носомъ и ртомъ нѣсколько на сторону. Настоящій убадный террористъ 94 года, къ тому же и бритый.—„Распалевой воды на 6 пенсовъ, Monsieur“, сказалъ я. Онъ отвѣщивалъ какую-то траву, за которой пришла дѣвочка, не обращая никакого вниманія на мой вопросъ; я могъ досыта налюбоваться этимъ *Collot d'Herbois*, пока онъ, наконецъ, припечаталъ сургучемъ уголки бумажнаго пакета, написалъ и потомъ довольно строго обратился ко мнѣ съ *plait-il?*—Распалевой воды на 6 пенсовъ, повторилъ я, Monsieur. Онъ посмотрѣлъ на меня съ какимъ-то свирѣпымъ выраженіемъ и, оглядѣвъ съ головы до ногъ, важнымъ и густымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „Citoyen, s'il vous plait!“

ціи они бы пошли въ Кайенну или Ламбессу. Если же имъ это напомнишь, то отвѣтъ ихъ готовъ: A bas! C'est une halte dans la boue... ce n'est pas normal!

А когда же у нихъ свобода была нормальна?

Антагонизмъ, нѣкогда выражавшійся *возможнымъ* Мартиномъ Лютеромъ и *последовательнымъ* Томасомъ Мюнцеромъ, лежитъ какъ сѣменные доли при каждомъ зернѣ; логическое развитіе, расчлененіе всякой партіи непременно дойдетъ до обнаруженія его. Мы его равно находимъ въ *трехъ* невозможныхъ Гракахъ, т. е., считая тутъ же Гракха Бабѣфа, и въ слишкомъ возможныхъ Суллахъ и Сулукахъ всѣхъ цвѣтовъ. Возможна одна диагональ, возможенъ компромиссъ, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословію, богатству, пониманью. Изъ Лиги и гугенотовъ—дѣлается Ганрихъ IV, изъ Стюартовъ и Кромвеля—Вильгельмъ Оранскій, изъ революціи и легитимизма—Людовикъ Филиппъ. Послѣ него антагонизмъ сталъ между возможной республикой и последовательной; возможную назвали *демократической*, последовательную *соціальной*—изъ ихъ столкновенія вышла имперія, но партіи остались.

Несговорчивыя крайности очутились въ Кайеннѣ, Ламбессѣ, Бель-Илѣ, и долею за французской границей, преимущественно въ Англіи.

Какъ только они въ Лондонѣ перевели духъ и глазъ ихъ привыкъ различать предметы въ туманѣ, старый споръ возобновился съ особенной нетерпимостью эмиграціи, съ мрачнымъ характеромъ Лондонскаго климата.

Предсѣдатель Люксембургской комиссіи былъ, de jure, главное лицо между социалистами въ Лондонской эмиграціи. Представитель организаціи работъ и эгалитарныхъ рабочничьихъ обществъ, онъ былъ любимъ работниками; строгій по жизни, неукоризненной чистоты въ мнѣніяхъ, вѣчно работающій самъ, sobre, мастеръ говорить, популярный безъ фамильярности, смѣлый и вмѣстѣ осторожный, онъ имѣлъ всѣ средства, чтобъ дѣйствовать на массу.

Съ другой стороны, Ледрю-Ролленъ представлялъ религіозную традицію 93 года, для него слова *республика* и *демократія* обнимали все: насыщеніе голодныхъ, право на работу, братство народовъ, паденіе папы. Работниковъ было меньше около него, его хоръ состоялъ изъ сараситѣс, то есть, изъ адвокатовъ, журналистовъ, учителей, клубистовъ и пр.

Двойство этихъ партій ясно, и именно по этому я никогда не умѣлъ понять, какъ Маццини и Луи Бланъ объясняли свое окончательное распаденіе частными столкновеніями. Разрывъ лежалъ въ самой глубинѣ ихъ воззрѣнія, въ задачѣ ихъ. Имъ вмѣстѣ нельзя было идти, но, можетъ, ненужно было и ссориться публично.

Дѣло социализма и итальянское дѣло различались, такъ сказать, чередомъ или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства въ Италіи. Но тутъ нѣтъ мѣста полемикѣ, это скорѣе вопросъ о хронологическомъ раздѣленіи труда, чѣмъ о взаимномъ уничтоженіи. Соціальныя теоріи мѣшали прямому, сосредоточенному дѣйствию Маццини, мѣшали военной организаціи, которая для Италіи была необходима; за это онъ сердился, не соображая, что для французовъ такая организація только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, онъ напалъ на социалистовъ и въ особенности на Луи Блана, въ небольшой брошюркѣ, оскорбительной и ненужной. По дорогѣ зацѣпилъ онъ и другихъ, такъ, на примѣръ, называетъ Прудона «демономъ»... Прудонъ хотѣлъ ему отвѣчать, но ограничился только тѣмъ, что въ слѣдующей брошюркѣ назвалъ Маццини «архангеломъ». Я раза два говорилъ, шутя, Маццини: *Ne reveillez pas le chat qui dort*, а то съ такими бойцами трудно выйти безъ сильныхъ рубцовъ. Лондонскіе социалисты отвѣчали ему тоже желчно, съ ненужными личностями и дерзкими выраженіями.

Другого рода вражда и вражда, больше основательная, была между французами двухъ революціонныхъ толковъ. Всѣ опыты соглашенія формальнаго республиканизма съ социализмомъ были неудачны, и дѣлали только очевиднѣе неоткровенность уступокъ и непримиримый раздоръ; черезъ ровъ, ихъ раздѣлявшій, ловкій акробатъ бросилъ свою доску и провозгласилъ себя на ней императоромъ.

Провозглашеніе имперіи было гальваническимъ ударомъ, судорожно вздрогнули сердца эмигрантовъ и ослабли.

Это былъ печальный, тоскливый взглядъ больного, убѣдившагося, что ему не встать безъ костылей. Усталъ, скрытная безнадежность стала овладѣвать тѣми и другими. Серьезная полемика начинала блѣднѣть, сводиться на личности, на упреки, обвиненія.

Еще года два оба французскіе стана продержались въ агрессивной готовности, одинъ празднуя 24 февраля, другой июльскіе дни. Но къ началу крымской войны и къ торжественной прогулкѣ Наполеона съ королевой Викторіей по Лондону—бесиліе эмиграціи стало очевидно. Самъ начальникъ лондонской Metropolitan-Police Робертъ Менъ засвидѣтельствовалъ это. Когда консерваторы благодарили его, послѣ посѣщенія Наполеона, за ловкія мѣры, которыми онъ предупредилъ всякую демонстрацію со стороны эмигрантовъ, онъ отвѣчалъ: *«Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана»*.

Признакъ, еще больше намекавшій на близкую кончину, обна-

ружился около того же времени въ подраздѣленіяхъ партій во имя лицъ или личностей, безъ серьезныхъ причинъ.

Партія эти составлялись такъ, какъ иногда комполисты придумываютъ въ операхъ партіи для Гризи и Лаблаша не потому, чтобъ эти партіи были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

...Они просидѣли до поздней ночи, вспоминая о 1848 годѣ: когда я проводилъ ихъ на улицу и возвратился одинъ въ мою комнату, мною овладѣла безконечная грусть, я сѣлъ за свой письменный столъ и готовъ былъ плакать...

Я чувствовалъ то, что долженъ ощущать сынъ, возвращаясь послѣ долгой разлуки въ родительскій домъ; онъ видитъ, какъ въ немъ все почернѣло, покривилось, отецъ его постарѣлъ, не замѣчая того, сынъ очень замѣчаетъ и ему тѣсно, онъ чувствуетъ близость гроба, скрываетъ это, но свиданье не оживляетъ его, не радуется, а утомляетъ.

Барбесъ, Луи Бланъ! вѣдь, это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. Histoire de dix ans, процессъ Барбеса передъ камерой пэровъ, все это такъ давно обжилося въ головѣ, въ сердцѣ, со всѣмъ съ этимъ мы такъ сроднились,—и вотъ они налицо.

Самые злые враги ихъ никогда не осмѣливались заподозрѣть неподкупную честность Луи Блана или набросить тѣнь на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоихъ всѣ видѣли, знали во всѣхъ положеніяхъ, у нихъ не было частной жизни, не было закрытыхъ дверей. Одного изъ нихъ мы видѣли членомъ правительства, другого за полчаса до гильотины. Въ ночь передъ казню Барбесъ не спалъ, а спросилъ бумаги и сталъ писать; строки эти сохранились, я ихъ читалъ. Въ нихъ есть французскій идеализмъ, религіозныя мечты, но ни тѣни слабости; его духъ не смутился, не унылъ; съ яснымъ сознаниемъ приготовлялся онъ положить голову на плаху и покойно писалъ, когда рука тюремщика сильно стукнула въ дверь; «это было на разсвѣтѣ, я (и это онъ мнѣ рассказала самъ) ждалъ исполнителей», но вмѣсто палачей, взошла его сестра и бросилась къ нему на шею. Она выпросила, безъ его вѣдома, у Людовика Филиппа перемѣну наказанія, и скакала на почтовыхъ всю ночь, чтобъ успѣть.

Колодникъ Людовика Филиппа, черезъ нѣсколько лѣтъ, является на верху дивическаго торжества: цѣпи сняты ликующимъ народомъ, его везутъ въ триумфѣ по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, онъ явился первымъ обвинителемъ временнаго правительства за руанскія убійства. Реакція росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Бабресъ 15 мая сдѣлалъ то, чего не дѣлали ни Ледрю-Ролленъ, ни Луи Бланъ, чего испугался Косидьеръ! Coup d'état не удался,

и Барбесъ, колодникъ республики, снова передъ судомъ. Онъ въ Буржѣ такъ же, какъ въ камерѣ пэровъ, говоритъ законникамъ мѣщанскаго міра, какъ говорилъ грѣшному старцу Пакъе: «Я васъ не признаю за судей, вы враги хоя, я вашъ военноплѣнный, дѣлайте со мною, что хотите, но судьями я васъ не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за нимъ.

Случайно, противъ своей воли, вышелъ онъ изъ тюрьмы; Наполеонъ его вытолкнулъ изъ нея почти въ насмѣшку, прочитавъ во время крымской войны письмо Барбеса, въ которомъ онъ, въ припадкѣ гальскаго шовинизма, говоритъ о военной славѣ Франціи. Барбесъ удалился было въ Испанію, перепуганное и тупое правительство выслало его. Онъ уѣхалъ въ Голландію, и тамъ нашель покойное, глухое убѣжище.

И вотъ этотъ-то герой и мученикъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ главныхъ дѣятелей февральской республики, съ первымъ государственнымъ человѣкомъ социализма, вспоминали и обсуживали прошедшіе дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я съ несчастной ясностью видѣлъ, что они тоже принадлежать исторіи *другого десятильтія*, которая окончена до послѣдняго листа, до переплета!

Окончена не для нихъ лично, а для всей эмиграціи и для всѣхъ теперешнихъ политическихъ партій. Живыя и шумныя десять, даже пять, лѣтъ тому назадъ, онѣ вышли и русла ихъ теряются въ песокъ, воображая, что все текутъ въ океанъ. У нихъ нѣтъ больше ни тѣхъ словъ, которыя, какъ слово: республика, пробуждали цѣлые народы, ни тѣхъ пѣсенъ, какъ марсельеза, которыя заставляли содрогаться каждое сердце. У нихъ и враги не той же величины, и не той же пробы. Казните Наполеона, изъ этого не будетъ 21 января; разберите по камнямъ Мазасъ, изъ этого не выйдетъ взятія Бастиліи! *Тогда*, въ этихъ громахъ и молніяхъ, раскрывалось новое откровеніе, откровеніе государства, основаннаго на разумѣ, новое искупленіе изъ средневѣковаго мрачнаго рабства. Съ тѣхъ поръ искупленіе революціей обличилось несостоятельнымъ, на разумѣ государство не устроилось. Политическая реформація выродилась, какъ и религиозная, въ риторическое пустословіе, охраняемое слабостью однихъ и лицемеріемъ другихъ. Марсельеза остается гимномъ прошедшаго, какъ *Gottes feste Burg*, звуки той и другой пѣсни вызываютъ и теперь рядъ величественныхъ образовъ, какъ въ Макбетовскомъ процессѣ тѣней—все цари, но все мертвые.

Послѣдній едва еще виденъ въ спину, а объ новомъ только слухи. Мы въ *междоцарствіи*: пока до наслѣдника, полиція все захватила, во имя наружнаго порядка. Тутъ не можетъ быть п рѣчи о правахъ, это временныя необходимости, это *lunch law* въ исто-

рія, езекуція, оцѣпленіе, карантинная мѣра. Новый порядокъ, совмѣстившій все тяжкое монархіи и все свирѣпое якобинизма, огражденъ не идеями, не предразсудками, а страхамъ и неизвѣстностями. Пока одни боялись, другіе ставили штыки и занимали мѣста. Первый, кто прорветъ ихъ цѣпь, пожалуй, и займетъ главное мѣсто, занятое полиціей, только онъ и самъ сдѣлается сейчасъ кварталнымъ.

Это напоминаетъ намъ, какъ Косидьеръ вечеромъ 24 февраля пришелъ въ префектуру съ ружьемъ въ рукѣ, сѣлъ въ кресла только что бѣжавшаго Делесера, позвалъ секретаря, сказалъ ему, что онъ назначенъ префектомъ, и велѣлъ подать бумаги. Секретарь такъ же почтительно улыбнулся, какъ Делесеру, такъ же почтительно поклонился и пошелъ за бумагами, и бумаги пошли своимъ чередомъ, ничего не перемѣнилось, только ужинъ Делесера съѣлъ Косидьеръ.

Многіе узнали пароль префектуры, но лозунга исторіи не знаютъ. Они хотѣли, чтобъ старому порядку былъ нанесенъ ударъ, но не смертельный.

И вотъ почему, если они снова сойдутъ на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности*, и пусть останутся при этой мысли, пусть думаютъ, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многихъ другихъ.

А еще лучше имъ вовсе не ходить туда, пусть они намъ и нашимъ дѣтямъ повѣствуютъ о своихъ великихъ дѣлахъ. Сердиться за этотъ совѣтъ нечего, живое мѣняется, неизмѣнное становится памятникомъ. Они оставили свою бразду такъ, какъ свою оставить за ними идущіе, и ихъ обгонитъ въ свою очередь свѣжая волна, а потомъ все, бразды... живое и памятники, все кроется всеобщей амнистіей вѣчнаго забвенія!

На меня сердятся многіе за то, что я высказываю эти вещи. «Въ вашихъ словахъ, говорилъ мнѣ очень почтенный человекъ, такъ и слышится *посторонній зритель*».

А, вѣдь, я не постороннимъ пришелъ въ Европу. Постороннимъ я сдѣлался. Я очень выносливъ, но выбился, наконецъ, изъ силъ.

Я пять лѣтъ не видалъ свѣтлаго лица, не слыхалъ простого смѣха, понимающаго взгляда. Все фельдшеры были возлѣ, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали имъ по трупу, что они ошиблись,—ну, и я, наконецъ, схватилъ скальпель; можетъ, рѣзнулъ слишкомъ глубоко съ привычки.

Говорилъ я не какъ посторонній, не для упрека, говорилъ оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило изъ терпѣнія. Что я раньше отрезвѣлъ, это мнѣ ничего

не облегчило. Это и изъ фельдшероу только самыя плохіе само-довольно улыбаются, глядя на умирающаго. «Вотъ, молъ, я ска-залъ, что онъ къ вечеру протянетъ ноги, онъ и протянулъ».

Такъ зачѣмъ же я вынесъ?

Въ 1856 году, лучшій изъ всей нѣмецкой эмиграціи челоуѣкъ. *Карлъ Шурицъ*, пріѣзжалъ изъ Висконсина въ Европу. Возвра-щаясь изъ Германіи, онъ говорилъ мнѣ, что его поразило нрав-ственное заустѣніе материка. Я перевелъ ему, читая, мои *За-падныя Арабески*, онъ оборонялся отъ моихъ заключеній, какъ отъ привидѣній, въ которое челоуѣкъ не хочетъ вѣрить, но ко-тораго боится.

— Челоуѣкъ, сказалъ онъ мнѣ, который такъ понимаетъ со-временную Европу, какъ вы, долженъ бросить ее.

— Вы такъ и поступили, замѣтилъ я.

— Отчего же вы этого не дѣлаете?

— Очень просто: я могу вамъ сказать такъ, какъ одинъ че-стный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ са-мобытности: «у меня въ Швабіи есть свой король», — *у меня въ Россіи есть свой народъ!*

Сходя съ вершинъ въ средніе слои эмиграціи, мы увидимъ, что большая часть была увлечена въ изгнаніе благороднымъ по-рывомъ и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова. т. е. за ихъ музыку, не давая себѣ никогда яснаго отчета въ смыслѣ ихъ. Они ихъ любили горячо и вѣрили въ нихъ, какъ католики любили и вѣрили въ латинскія молитвы, не зная по-латы-ни. *La fraternité universelle comme base de la république uni-verselle*—это конечно и принято! *Point de salariés, et la solida-rité des peuples!*—и, покраснѣйте, этого иному достаточно, чтобъ идти на баррикаду, а ужъ коли французъ пойдетъ, онъ съ нея не побѣжитъ.

Pour moi, voyez vous, la république n'est pas une forme gouverne-mentale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera, говорилъ мнѣ одинъ участникъ всѣхъ возстаній со времени Ла-марковскихъ похоронъ. Et lorsque la religion sera une république,—добавилъ я. Précisément! отвѣчалъ онъ, очень довольный тѣмъ, что я вывернулъ на изнанку его фразу.

Массы эмиграціи представляютъ своего рода вѣчно открытое угрызеніе совѣсти, передъ глазами вождей. Въ нихъ всѣ ихъ недостатки являются въ томъ преувеличенномъ и смѣшномъ видѣ, въ которомъ парижскія моды являются гдѣ-нибудь въ рус-скомъ уѣздномъ городѣ.

И во всемъ этомъ есть бездна наизнаго. За декламацией на первомъ планѣ, *la mise en scene*.

Античныя драпир и торжественная постановка конвента такъ

поразила французскій умъ своей грозной поэзіей, что, напр., съ именемъ республики ея энтузіасты представляютъ не внутреннюю перемѣну, а праздникъ федерализаціи, барабанный бой и заунывные звуки *tocsin*. Отечество возвѣщается въ опасности, народъ встаетъ массою на его защиту, въ то время какъ около деревьевъ свободы празднуется торжество цивилизма; дѣвушки въ бѣлыхъ платьяхъ пляшутъ подъ напѣвъ патриотическихъ гимновъ и Франція въ фригійской шапкѣ посылаетъ громадныя арміи для освобожденія народовъ и низверженія царей.

Главный баластъ всѣхъ эмиграцій, особенно французской, принадлежитъ буржуазіи; этимъ характеръ ихъ уже обозначенъ. Марка или штемпель мѣщанства такъ же трудно стирается, какъ печать, которую прикладываютъ наши семинаріи своимъ ученикамъ. Собственно купцовъ, лавочниковъ, хозяевъ въ эмиграціи мало и тѣ попали въ нее какъ-то невзначай, вытолкнутые большей частью изъ Франціи послѣ 2 декабря, за то, что не догадались, что на нихъ лежитъ священная обязанность измѣнить конституцію. Ихъ тѣмъ больше жаль, что положеніе ихъ совершенно комическое, они потеряны въ красной обстановкѣ, которой дома не знали, а только боялись; въ силу національной слабости имъ хочется себя выдавать за гораздо большихъ радикаловъ, чѣмъ они въ самомъ дѣлѣ; но не превыкнувъ къ революціонному *jaigon*, они, къ ужасу новыхъ товарищей, безпрестанно впадаютъ въ орлеанизмъ. Разумѣется, они были бы всѣ рады возвратиться, если-бъ *point d'honneur*, единственная крѣпкая, нравственная сила современнаго француза, не воспрещала просить дозволенія.

Надъ ними стоящій слой составляетъ лейбъ-компанейскую роту эмиграціи: адвокаты, журналисты, литераторы и нѣсколько военныхъ.

Большая часть изъ нихъ искали въ революціи общественнаго положенія, но при быстромъ отливѣ, они очутились на англійской отмели. Другіе—безкорыстно увлеклись клубной жизнью и агитаціями, риторика довела ихъ до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. Въ ихъ числѣ много чистыхъ и благородныхъ людей, но мало способныхъ; они попали въ революцію по темпераменту, по отвагѣ чловѣка, который бросается, слыша крикъ, въ рѣку, забывая объ ея глубинѣ и о своемъ неумѣннн плавать.

За этими дѣтьми, у которыхъ, по несчастію, посядѣли узкія бородки и нѣсколько очистился отъ волосъ остроконечный гальскій черепъ, стояли разныя кучки работниковъ, гораздо болѣе серьезныхъ, не столько связанные въ одно наружностію, сколько духомъ и общимъ интересомъ.

Ихъ революціонерами поставила сама судьба; нужда и развитіе сдѣлали ихъ практическими социалистами; оттого-то ихъ дума

реальнѣе, рѣшимость тверже. Эти люди вынесли много лишеній, много униженій, и притомъ молча, это даетъ большую крѣпость; они переплыли Ламаншъ не съ фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положеніе спасло ихъ отъ буржуазной *suffisance*, они знаютъ, что имъ некогда было образоваться, они хотятъ учиться; въ то время, какъ буржуа не больше ихъ учился, но совершенно доволенъ знаніемъ.

Оскорбленные съ дѣтства, они ненавидятъ общественную неправду, которая ихъ столько давила. Тлѣтворное вліяніе городской жизни и всеобщей страсти стяжанія превратило у многихъ эту ненависть въ зависть; они, не давая себѣ отчета, тянутся въ буржуазію и терпѣть ея не могутъ, такъ, какъ мы не можемъ терпѣть счастливаго соперника, страстно желая занять его мѣсто или отомстить ему его наслажденія.

Французская эмиграція, какъ и всѣ другія, увезла съ собою въ изгнаніе и ревниво сохранила всѣ раздоры, всѣ партіи. Сумрачная среда чужой и непріязненной страны, не скрывавшей, что она хранитъ свое *право убѣжища* не для ищущихъ его, а изъ уваженія къ себѣ, раздражала нервы.

А тутъ оторванность отъ людей и привычекъ, невозможность передвиженія. Столкновенія стали злѣе, упреки въ пропедшихъ ошибкахъ—безпощаднѣе. Оттѣнки партій расходились до того, что старые знакомые прерывали всѣ сношенія, не кланялись...

Были дѣйствительные, теоретическіе и всяческіе раздоры; но рядомъ съ идеями стояли лица; рядомъ со знаменами—собственными имена, рядомъ съ фанатизмомъ—зависть, и съ откровеннымъ увлеченіемъ—наивное самолюбіе.

Года черезъ полтора послѣ *coup d'état*, пріѣхалъ въ Лондонъ Феликсъ Пиа изъ Швейцаріи. Бойкій фельетонистъ, онъ былъ извѣстенъ процессомъ, который имѣлъ, скучной комедіей *Диогенъ*, понравившейся французамъ своими сухими и тощими сентенціями, наконецъ, успѣхомъ «Ветошника» на сценѣ *Porte Saint-Martin*. Объ этой пьесѣ я когда-то писалъ цѣлую статью ¹⁾. Феликсъ Пиа былъ членомъ послѣдняго законодательнаго собранія, сидѣлъ на горѣ, *подрался* какъ-то въ палатѣ съ Прудономъ, замѣшался въ протестъ 13 іюня 1849 г. и, вслѣдствіе этого, долженъ былъ оставить Францію тайкомъ. Уѣхалъ онъ, какъ и я, съ молдавскимъ видомъ и ходилъ въ Женевѣ въ костюмѣ ка-

¹⁾ Письма изъ Avenue Maigny. „Зачѣмъ вы испортили вашего *Chiffonnier*, навязавъ ему въ концѣ счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы, и ея артистическое единство?“ спросилъ я разъ Пиа.

— Затѣмъ, отвѣчалъ онъ, что если-бъ я огорчилъ парижанъ мрачной судьбой старика и дѣвушки, на другое представленіе никто бы не пошелъ.

кого-то мавра, вѣроятно для того, чтобъ его всѣ узнали. Въ Лондонѣ, куда онъ переѣхалъ, составилъ у Ф. Піа небольшой кругъ почитателей изъ французскихъ изгнанниковъ, жившихъ манною его острыхъ словъ и крупицами его мыслей. Горько ему было изъ кантональныхъ вождей перейти въ какую-нибудь изъ лондонскихъ партій. Для лишняго кандидата на великаго человека не было партій; приятели и поклонники его выручили изъ бѣды: они выдѣлились изъ всѣхъ прочихъ партій и назвали *лондонской революціонной коммуной*.

La Commune révolutionnaire должна была представлять самую красную сторону демократіи и самую коммунистическую социализма. Она считала себя вѣчно на чеку, въ самыхъ тѣсныхъ связяхъ съ «Марьяной» и съ тѣмъ вмѣстѣ вѣрнѣйшей представительницей Бланки *in partibus infidelium*.

Мрачный Бланки, суровый педантъ и доктринеръ своего дѣла, аскетъ, исхудавшій въ тюрьмахъ, расправилъ въ образѣ Ф. Піа свои морщины, подкрасилъ въ алый цвѣтъ свои черныя мысли и сталъ морить со смѣху Парижскую коммуну въ Лондонѣ. Выходки Ф. Піа въ его письмахъ къ королевѣ, къ Валевскому, котораго онъ называлъ *ex-réfugié* и *ex-Polonais*, не-принцемъ и пр., были очень забавны; но въ чемъ сходство съ Бланки, я никакъ не могъ добратся; да и вообще, въ чемъ состояла отличительная черта, дѣлившая его отъ Луи-Блана, напр., простымъ глазомъ видѣть было трудно.

Тоже должно сказать о Жерсейской партіи Виктора Гюго.

Викторъ Гюго никогда не былъ въ настоящемъ смыслѣ слова политическимъ дѣятелемъ. Онъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ подъ вліяніемъ своей фантазіи, чтобы быть имъ. И, конечно, я это говорю не въ порицаніе ему. Соціалистъ-художникъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поклонникомъ военной славы, республиканскаго разгрома, средневѣковаго романтизма и бѣлыхъ лилій,—виконтъ и гражданинъ, пэръ орлеанской Франціи и агитаторъ 2 декабря: это—пышная, великая личность; но не глава партіи, несмотря на рѣшительное вліяніе, которое онъ имѣлъ на два поколѣнія. Кого не заставилъ задуматься надъ вопросомъ о смертной казни «Последній день осужденнаго»? Въ комъ не возбуждали чего-то въ родѣ угрызеній совѣсти его рѣзкія, страшно и странно освѣщенные, на манеръ Турнера, картины общественныхъ язвъ бѣдности и роковаго порока?

Февральская революція застала Гюго въ располхъ: онъ не понималъ ея, удивился, отсталъ, надѣлалъ бездну ошибокъ, пока реакція въ свою очередь не опередила его. Приведенный въ негодование цензурой театральныхъ пьесъ и римскими дѣлами, онъ явился на трибунѣ собранія съ рѣчами, раздавшимися по всей

Франціи. Успѣхъ и рукоплесканія увлекали его дальше и дальше. Наконецъ, 2 декабря 1851, онъ сталъ во весь ростъ: онъ, въ виду штыковъ и заряженныхъ ружей, звалъ народъ къ возстанію: подъ пулями протестовалъ противъ *сoup d'état* и удалился изъ Франціи, когда нечего было въ ней дѣлать. Раздраженнымъ львомъ отступилъ онъ въ Жерсей; оттуда, едва переводя духъ, онъ бросилъ въ императора своего «Napoléon le petit», потому свои «*Châtiments*». Какъ ни старались бонапартскіе агенты примирить стараго поэта съ новымъ дворомъ—не могли. «Если останутся хоть десять французовъ въ изгнаніи, и я останусь съ ними; если три, я буду въ ихъ числѣ; если останется одинъ, то этотъ изгнанникъ буду я. Я не возвращусь иначе, какъ въ свободную Францію».

Отъѣздъ Гюго изъ Жерсея въ Гернсей, кажется, убѣдилъ еще больше его друзей и его самого въ его политическомъ значеніи, въ то время, какъ отъѣздъ этотъ могъ только убѣдить въ противномъ. Дѣло было такъ. Когда Ф. Піа написалъ свое письмо къ королевѣ Викторіи, послѣ посѣщенія ею Наполеона, онъ прочиталъ его на митингѣ и отослалъ его въ редакцію *L'Homme*. Свентославскій, печатавшій *L'Homme* на свой счетъ въ Жерсеѣ, былъ тогда въ Лондонѣ и вмѣстѣ съ Ф. Піа пріѣзжалъ ко мнѣ: уходя, онъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ, что ему знакомый его lawyer сообщилъ, что за это письмо легко можно преслѣдовать журналъ въ Жерсеѣ, состоящемъ на положеніи колоній, а Ф. Піа непремѣнно захочетъ въ *L'Homme*. Свентославскій сомнѣвался и хотѣлъ знать мое мнѣніе.

-- Не печатайте.

— Да, я и самъ думаю такъ, только вотъ что скверно: онъ подумаетъ, что я испугался.

— Какъ же не бояться при теперешнихъ обстоятельствахъ потерять нѣсколько тысячъ франковъ.

-- Вы правы. Этого я не могу, не долженъ дѣлать.

Свентославскій, такъ премудро разсуждавшій, уѣхалъ въ Жерсей и письмо напечаталъ.

Слухи носились, что министерство хотѣло что-то сдѣлать. Англичане были обижены за тонъ, съ которымъ Ф. Піа обращался къ Квинѣ. Первымъ результатомъ этихъ слуховъ было то, что Ф. Піа пересталъ ночевать у себя дома: онъ *боится въ Англии* *visite domiciliaire* и ночного ареста за напечатанную статью! Преслѣдовать судомъ правительство и не думало; министры подмигнули Жерсейскому губернатору, или какъ тамъ онъ у нихъ называется, и тотъ, пользуясь незаконными правами, которыя существуютъ въ колоніяхъ, велѣлъ Свентославскому выѣхать съ острова. Свентославскій протестовалъ, и съ нимъ

человѣкъ десять французовъ, въ томъ числѣ В. Гюго. Тогда полицейскій Наполеонъ Жерсея велѣлъ выѣхать всѣмъ протестовавшимъ. Имъ слѣдовало не слушаться до нельзя; пусть бы полиція схватила кого-нибудь за шиворотъ и выбросила съ острова; тогда можно было бы поставить передъ судомъ вопросъ о высылкѣ. Это и предлагали французамъ англичане. Процессы въ Англіи безобразно дороги; но издатели Daily News и другихъ либеральныхъ листовъ обѣщали собрать какую надобно сумму, найти способныхъ защитниковъ. Французамъ путь легальности показался скученъ и дологъ, противенъ, и они съ гордостью оставили Жерсей, увлекая за собой Свентославскаго и С. Телеки.

Объявленіе полицейскаго приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейскій чиновникъ вошелъ къ нему, чтобъ прочесть приказъ, Гюго позвалъ своихъ сыновей, сѣлъ, указавъ на стулъ чиновнику и, когда всѣ усѣлись,—какъ въ Россіи передъ отъѣздомъ,—онъ всталъ и сказалъ: «Г. комиссаръ, мы дѣлаемъ теперь страницу исторіи (Nous faisons maintenant une page de l'histoire).—Читайте вашу бумагу». Полицейскій, ожидавшій, что его выбросятъ за двери, былъ удивленъ легкостью побѣды; объявилъ Гюго подпиской, что онъ уѣдетъ, и ушелъ, отдавая справедливость учтивости французовъ, давшихъ даже ему стулъ. Гюго уѣхалъ, и другіе съ нимъ вмѣстѣ оставили Жерсей. Большая часть поѣхали не дальше Гернсея; другіе отправились въ Лондонъ; дѣло было проиграно и право высылать осталось непочатымъ. Серьезныхъ партій было только двѣ, т. е., партія формальной республики и насильственнаго социализма: Ледрю-Ролленъ и Луи-Бланъ. О послѣднемъ я еще не говорилъ, а зналъ я его почти больше, чѣмъ всѣхъ французскихъ изгнанниковъ.

Нельзя сказать, чтобъ возрѣніе Луи-Блана было неопредѣленно,—оно во всѣ стороны обрѣзано какъ ножомъ. Луи-Бланъ въ изгнаніи приобрѣлъ много фактическихъ свѣдѣній (по своей части, т. е., по части изученія первой французской революціи),—нѣсколько устоялся и успокоился; но въ сущности своего возрѣнія не подвинулся ни на одинъ шагъ съ того времени, какъ писалъ «Исторію десяти лѣтъ» и «Организацію труда». Осѣвшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

Въ маленькомъ тѣльцѣ Луи-Блана живетъ бодрый и круто сложившійся духъ, très-éveillé, съ сильнымъ характеромъ, со своей опредѣленно вываянной особенностью, и притомъ совершенно французскій. Быстрые глаза, скорыя движенія, придаютъ ему какой-то вмѣстѣ подвижной и точный видъ, нелишенный граціи. Онъ похожъ на сосредоточеннаго человѣка, сведеннаго на наименьшую величину, въ то время какъ колоссальность его противника, Ледрю-Роллена, похожа на разбухнувшаго ребенка, на

карлика въ огромныхъ размѣрахъ, или подъ увеличительнымъ стекломъ. Они оба могли бы чудесно играть въ Гуливеровомъ путешествіи. Луи-Бланъ, — и это большая сила и очень рѣдкое свойство, — мастерски владѣетъ собой; въ немъ много выдержки, и онъ въ самомъ пылу разговора, не только публично, но и въ пріятельской бесѣдѣ, никогда не забываетъ самыхъ сложныхъ отношеній, никогда не выходитъ изъ себя въ спорѣ, не перестаетъ весело улыбаться, — и никогда не соглашается съ противникомъ. Онъ мастеръ рассказывать и, несмотря на то, что много говоритъ, какъ французъ, — никогда не скажетъ лишняго слова, какъ корсиканецъ.

Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ «развѣ ее». Событія міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія занимаютъ его по той мѣрѣ, по которой они касаются Франціи. Говоря съ нимъ, слушая его тонкія замѣчанія, его замѣчательные рассказы, легко изучать характеръ французскаго ума и тѣмъ легче, что мягкія, образованныя формы его не имѣютъ въ себѣ ничего вызывающаго раздражительную колкость ¹⁾.

¹⁾ Все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ добавокъ и поправокъ, писано лѣтъ десять тому назадъ. Я долженъ признаться, что послѣднія событія заставили меня отчасти измѣнить мое мнѣніе о Луи-Бланѣ. Онъ дѣйствительно сдѣлалъ шагъ впередъ — и, какъ слѣдовало ожидать отъ якобинскихъ старообрядцевъ, онъ ему не прошелъ даромъ. „Что дѣлать, говорилъ мнѣ Луи-Бланъ, еще въ разгарѣ Мексиканской войны: — честь нашего знамени компрометирована“. Мнѣніе чисто французское и совершенно противочеловѣческое. Видно, оно сильно мучило Луи-Блана. Черезъ годъ, за обѣдомъ, который давали въ Брюсселѣ В. Гюго послѣ паданія „Les Misérables“, Луи-Бланъ въ своей рѣчи сказалъ: „Горе народу, когда его понятіе о чести вообще не совпадаетъ съ понятіемъ военной чести“. Тутъ былъ цѣлый переворотъ. Онъ-то и обличился при началѣ послѣдней войны. Энергическія, полная мѣткости и истинны статьи Луи-Блана, помѣщаемыя въ *Le Temps*, возбуждали грозу *Siècle*'я и *Opinion Nationale*: они чуть не выдали Луи-Блана за австрійскаго агента; и выдали бы совсѣмъ, если-бъ онъ не пользовался дѣйствительно заслуженной репутаціей — чистоты.

Когда я ближе познакомился съ Луи-Бланомъ, меня поразили внутренній невозмутимый покой его. Въ его разумніи все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: *er war im Klagen mit sich*; ему было нравственно свободно, какъ чловѣку, который знаетъ, что онъ правъ. — Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей онъ сознавался добродушно; теоретическихъ угрозъ совѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики 1848 г. Умъ его, подвижной въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, — былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта невыблемая увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка протѣриваемая холоднымъ рациональнымъ вѣтеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнѣнія.

Я иногда, шутя, останавливалъ его на общихъ мѣстахъ, которыя онъ, вѣроятно, повторялъ годы, не думая, чтобъ можно было возражать на такія почтенныя истины, и самъ не возражая: жизнь человѣка великій социальный долгъ; человѣкъ *долженъ* постоянно приносить себя на жертву обществу.

— Зачѣмъ?—спросилъ я вдругъ.

— Какъ зачѣмъ? Помилуйте: вся цѣль, все назначеніе лица— благосостояніе общества.

— Оно никогда не достигнется, если всѣ будутъ жертвовать и никто не будетъ наслаждаться.

— Это игра словъ.

— Варварская сбивчивость понятій, — говорилъ я, смѣясь.

— Мнѣ никакъ не дается матеріалистическое понятіе о духѣ, — говорилъ онъ разъ, — все же духъ и матерія различны; они тѣсно связаны, такъ тѣсно, что и не являются врозь, но все же они не одно и то же и, видя, что какъ-то доказательство идетъ плохо, онъ вдругъ прибавилъ:—Ну вотъ, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голосъ; гдѣ же матеріальное существованіе этого образа?

Я сначала думалъ, что онъ шутитъ; но, видя, что онъ говоритъ совершенно серьезно, я замѣтилъ ему, что образъ его брата на сію минуту въ фотографическомъ заведеніи, называемомъ мозгомъ, и что врядъ ли существуетъ портретъ Шарля-Блана отдѣльно отъ фотографическаго снаряда.

— Это совсѣмъ другое дѣло: матеріально въ моемъ мозгѣ нѣтъ изображенія моего брата.

— Почему вы знаете?

— А вы почему?

— По наведенію.

— Кстати: это напоминаетъ мнѣ преуморительный анекдотъ...

И тутъ, какъ всегда, рассказъ о Дидро или m-me Tencin, очень милый, но вовсе не идущій къ дѣлу.

Въ качествѣ преемника Максимилиана Робеспьера, Луи-Бланъ поклонникъ Руссо и въ холодныхъ отношеніяхъ съ Вольтеромъ. Въ своей исторіи онъ по-библейски раздѣлилъ всѣхъ дѣятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуюю — козлы алчности и эгоизма. Эгоистамъ, въ родѣ Монтеня, пощады нѣтъ, и ему досталось порядкомъ. Луи-Бланъ въ этой сортировкѣ ни на чемъ не останавливается и, встрѣтивъ финансиста Ло, смѣло зачислилъ его по братству, чего, конечно, отважный шотландецъ никогда не ожидалъ.

Въ 1856 году пріѣзжалъ въ Лондонъ изъ Гааги Барбесъ. Луи-Бланъ привелъ его ко мнѣ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ я на страдальца, который провелъ почти всю жизнь въ тюрьмѣ. Я прежде

видѣлъ его одинъ разъ, и гдѣ? Въ окнѣ Hôtel-de-Ville, 15 мая 1848 г., за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ ворвавшаяся національная гвардія схватила его ¹⁾).

Я звалъ ихъ на другой день обѣдать; они пришли и мы просидѣли до поздней ночи.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этой дикой, стихійной силѣ, которая мрачно содрогается, скованная людскимъ насилиемъ и собственнымъ невѣжествомъ, и подъ часъ прорывается въ щели и трещины разрушительнымъ огнемъ, наводящимъ ужасъ и смятеніе,—остановимся еще разъ на послѣднихъ тамплиерахъ и классикахъ французской революціи,—на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбонской, демократической буржуазіи, которая участвовала лѣтъ десять въ борьбѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ, увлекаясь событіями 1848 года, и осталась имъ вѣрной и дома, и въ изгнаніи.

Въ ихъ рядахъ есть люди умные, острые, люди очень добрые, съ горячей религіей и съ готовностью ей пожертвовать всѣмъ; но понимающихъ людей, людей, которые изслѣдовали бы свое положеніе, свои вопросы такъ, какъ естествоиспытатель изслѣдуетъ явленіе или паталогъ болѣзни, почти вовсе нѣтъ.

Скорѣе полное отчаяніе, презрѣніе къ лицамъ и дѣлу, скорѣе праздность упрековъ и попрековъ, стоицизмъ, героизмъ, всѣ лишенія, чѣмъ изслѣдованіе. Или такая же полная вѣра въ успѣхъ, безъ взвѣшиванія средствъ, безъ уясненія практической цѣли. Въмѣсто нея удовлетворялись знаменемъ, заголовкомъ, общимъ мѣстомъ: право на трудъ, уничтоженіе пролетаріата, республика и порядокъ, братство и солидарность всѣхъ народовъ. Да какъ же все это устроить, осуществить? Это послѣднее дѣло. Лишь бы имѣть власть; остальное сдѣлается декретами, плебисцитами. А не будутъ слушаться—Grenadiers, en avant armes! pas de charge... bayonnettes!

И религія террора, *coup d'état*, централизаціи, военнаго вмѣшательства, сквозить въ дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерскій протестъ нѣсколькихъ аттическихъ умовъ орлеанской партіи, отъ которыхъ разить Англіей на ружейный выстрѣлъ, терроръ былъ величественъ въ своей грозной неожиданности, въ своей неприготовленной, колоссальной мести; но оста-

¹⁾ До чего доходило остервенѣніе хранителей порядка въ этотъ день, можно измѣрить тѣмъ, что національная гвардія схватила на бульварѣ Луи-Блана, котораго вовсе не слѣдовало арестовать, и котораго полиція тотчасъ велѣла освободить. Видя это, національный гвардеецъ, державшій его, схватилъ его за лалецъ, врызалъ въ него свои ногти и повернулъ послѣдній суставъ.

навливаться на немъ съ любовью, но звать его безъ необходимости, — страшная ошибка, которой мы обязаны реакцію.

На меня комитетъ общественнаго спасенія постоянно производилъ то впечатлѣніе, которое я испытывалъ въ магазинѣ Charrière, rue de l'école de Médecine: со всѣхъ сторонъ блестятъ зловѣщимъ блескомъ стали кривыя, прямыя лезвья, ножницы, пилы, оружія вѣроятно спасенія, но навѣрно и боли. Операциі оправдываются успѣхомъ, а терроръ этимъ похвастаться не можетъ. Онъ всей своей хирургіей не спасъ республики. Къ чему была сдѣлана *Дантономія*, къ чему *Эбертономія*? Онѣ ускорили лихорадку термидора; а въ ней республика и зачахла; люди все также и еще больше бредили спартанскими добродѣтелями, латинскими сентенціями и латинизмами à la David; бредили до того, что *Salus populi* въ одинъ прекрасный день перевели на *Salvum fac Imperatorem*, и пропѣли его «соборне», во всемъ архіерейскомъ орнатѣ, въ Нотр-Дамскомъ соборѣ.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, рѣзкіе образы ихъ глубоко выяснились въ пятомъ дѣйствиі и вѣка останутся въ исторіи до тѣхъ поръ, пока у рода человѣческаго не зашибетъ памяти; но нынѣшніе французы-республиканцы на нихъ смотрятъ не такъ; они въ нихъ видятъ образцы и стараются быть кровожадными въ теоріи и въ *надеждѣ* приложенія.

Повторяя à la Saint-Just натянутыя сентенціи изъ хрестоматій и латинскихъ классовъ, восхищаясь холоднымъ, риторическимъ краснорѣчіемъ Робеспьера, они не допускаютъ, чтобъ ихъ герои судили, какъ прочихъ смертныхъ. Человѣкъ, который бы сталъ говорить о нихъ, освобождаясь отъ обязательныхъ титуловъ, былъ бы обвиненъ въ ренегатствѣ, въ измѣнѣ, въ шпіонствѣ.

Изрѣдка встрѣчалъ я, впрочемъ, людей эксцентричныхъ, сорвавшихся со своей торной, гуртовой дороги.

Зато уже французы въ этихъ случаяхъ, закусывая удила и усвоивая себѣ какую-нибудь мысль, непринлежащую къ суммѣ *оборотныхъ* мыслей и идей, доводятъ эту мысль до того черезъ край, что человѣкъ, подавшій имъ ее, самъ съ ужасомъ отпрядывалъ отъ нихъ.

Въ 1854 году, докторъ Сœpudegou, посылая мнѣ изъ Испаніи свою брошюру, написалъ ко мнѣ письмо. Такой озлобленный крикъ противъ современной Франціи и ея послѣднихъ революціонеровъ — мнѣ рѣдко удавалось слышать. Это былъ отвѣтъ Франціи на легко перенесенный *coup d'état*; онъ сомнѣвался въ умѣ, въ силѣ, въ крови своей расы; онъ звалъ казаковъ для «поправленія выродившагося народонаселенія». Онъ писалъ ко мнѣ потому, что нашелъ въ моихъ статьяхъ «то же возрѣніе».

Я отвѣчалъ ему, что до исправительной трансфузiи крови не иду, и послалъ ему «Du Développement des idées révolutionnaires en Russie».

Cœurderoi не остался въ долгу; онъ отвѣтилъ мнѣ, что возлагаетъ всю надежду на войско Николая, должствующее разрушить до тла, безъ пощады и сожалѣнiя, цивилизацію обветшавшую, испорченную, и которая не имѣетъ силъ ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцѣлѣвшее письмо его прилагаю:

M. A. Herzen.

Santander, 27 mai.

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacun des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg Saint-Antoine*.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude, organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un Philistre d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré.—mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie du XIX-e siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

...Sur le point patriculier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'Introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

1o Que la force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme;

2o Qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainc que la force prépare toujours la Révolution que l'idée a démontrée nécessaire;

30 Que l'idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction;

40 Que le despotisme, au point de vue de la rapidité, de la sûreté, de la possibilité d'exécutions, est plus apte que la démocratie à bouleverser un monde;

50 Que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave;

60 Qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, graine, épée, et exécuter l'Occident et trancher le nœud gordien.

La La La

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale.*

Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre I-er, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un formidable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé un mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen, seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi j'aime même voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de Révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds ou muets de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est tellement séduisant que de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins, comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc., etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beau-

coup plus hypocrites. Ils portent des faux-cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribunes que les peuples admirent.

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement.

Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politique banale. Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: La Force et la Destruction demain par le tzar, la pensée et l'ordre après demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest Cœurderoi.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq-ре que le journal l'*Homme* a données à ses lecteurs.

Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff. Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire. La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'exil*.

ГЛАВА IV ¹⁾.

Польскіе выходцы.

Алонзій Бернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитация 1854-56 года.—Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!
Inferno.

Другія несчастія, другіе страдальцы ждуть насъ. Мы живемъ на полѣ вчерашней битвы: кругомъ лазареты, раненые, плѣнные, умирающіе. Польская эмиграція, старшая всѣмъ, истощилась больше другихъ, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли съ собою свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту. Европа проснулася на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать ²⁾.

¹⁾ Напечатано было въ «Колоколѣ», 1 октября и 7 ноября 1865 г., стр. 1681 и 1693.

²⁾ Д-ръ П. Дарашъ рассказывалъ мнѣ случай, бывший съ нимъ самимъ. Онъ студентомъ медицины участвовалъ въ возстаніи 1831. Послѣ взятія Вар-

Но правительство, въ которомъ сидѣлъ Ламартинъ, въ нихъ не нуждалось и вовсе объ нихъ не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровеннымъ крикомъ возстанія и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазія (у которой Польша была капризомъ, какъ у англійской Италия) стала съ тѣхъ поръ дуться. Въ Парижѣ не говорили больше съ прежней риторикой о *Varsovie échevelée*, и только въ народѣ оставалась, рядомъ со всякими бонапартовскими воспоминаніями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовскій тонетъ, верхомъ въ своей *charska*.

Съ 1849 начинается для польской эмиграціи самое удручительное время. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провидѣнное Красинскимъ, казалось, наступало. Отрѣзанная отъ страны, эмиграція осталась на другомъ берегу и, какъ дерево безъ новыхъ соковъ, вяла, сохла, дѣлалась чужой для родины, не переставая быть чужой для странъ, въ которыхъ жила. Онѣ до нѣкоторой степени ей сочувствовали, но ихъ несчастіе продолжалось слишкомъ долго, а въ душѣ человѣка нѣтъ добраго чувства, которое бы не изнашивалось. Къ тому же вопросъ польскій прежде всего былъ вопросъ національный.

Эмиграція смотрѣла столько же назадъ, сколько впередъ, она стремилась возстановить, — какъ-будто въ прошедшемъ что-нибудь достойно возстановленія, кромѣ независимости, а одна независимость ничего не говоритъ: это понятіе отрицательное. Развѣ можно быть независимѣе Россіи? Въ сложную, туго выработывающуюся формулу будущаго общественнаго устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другимъ, въ справедливой надеждѣ на взаимность. Борьба за независимость всегда вызываетъ горячее сочувствіе,

шавы отрядъ, въ которомъ онъ былъ, перешелъ границу и небольшими кучками сталъ пробираться во Францію. Вездѣ по городамъ и деревнямъ мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанниковъ къ себѣ, предлагая свои комнаты, часто свои кровати. Въ одномъ небольшомъ городкѣ хозяйка замѣтила, что у него иворванъ, помнится, кисеть, и взяла его починить. На другой дець на пути Дарашъ, ошупавъ въ кисетѣ что-то постороннее, нашелъ въ немъ тщательно зашитыми два золотыхъ. Дарашъ, у котораго не было ни гроша, бросился назадъ, чтобы отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знаетъ, потомъ принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тутъ надобно вспомнить, что въ маленькомъ нѣмецкомъ городкѣ для небогатаго женщины значать *два золотыхъ*; они составляли, вѣроятно, плодъ откладыванія въ *Sparbüchse* разныхъ крейцеровъ, фенниговъ, *хорошихъ* и *дурныхъ* грошей въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ.... Прощай всѣ мечты объ шелковомъ платьѣ, о цвѣтной мантиліи, о яркой шали.

но она не можетъ стать *своимъ* дѣломъ для чужихъ. Только тѣ интересы принадлежать всѣмъ, которые по сущности своей *не-національны*.

... Въ 1847 году познакомился я съ польской демократической централизаціей. Тогда она жила въ Версалѣ и, сколько мнѣ казалось, самый дѣятельный членъ ея былъ Высоцкій. Особеннаго сближенія не могло быть. Эмигрантамъ хотѣлось слышать отъ меня подтвержденіе своимъ желаніямъ, своимъ предположеніямъ, а не то, что я зналъ. Они желали имѣть свѣдѣнія о какомъ-то заговорѣ, подкапывающемъ все государственное зданіе въ Россіи, и спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ... А я имъ могъ рассказывать о направленіи тогдашней молодежи, о пропагандѣ Грановскаго, объ огромномъ вліяніи Бѣлинскаго, о социальномъ отбѣнкѣ въ обѣихъ партіяхъ, бывшихъ тогда въ литературѣ и въ обществѣ, у западниковъ и славянофиловъ. Имъ казалось это не важнымъ.

У нихъ было богатое прошедшее, у насъ большая надежда: у нихъ грудь была покрыта рубцами, у насъ только крѣпли для нихъ мышцы. Мы казались ополченцами передъ ними, ветеранами. Поляки—мистики, мы—реалисты. Ихъ влечетъ въ таинственный полусвѣтъ, въ которомъ стираются очертанія, носятя образы, въ которомъ можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могутъ жить въ этомъ полуснѣ, безъ анализа, безъ *холоднаго* изслѣдованія, безъ сосущаго сомнѣнія. Въ глубинѣ ихъ души, какъ челоуѣкъ въ военномъ станѣ, есть чуждый намъ отблескъ среднихъ вѣковъ и распятіе, передъ которымъ въ минуты тяжести и усталости они могутъ молиться. Въ поэзіи Красинскаго Stabat Mater заглушаетъ народные гимны и влечетъ васъ не къ торжеству жизни, а къ торжеству смерти, ко дню великаго суда... Мы или *глуше* вѣримъ, или *умнее* сомнѣваемся.

Мистическое направленіе развернулось во всей свѣдѣ послѣ наполеоновской эпохи. Мицкевичъ, Товянский, даже математикъ Вронскій—всѣ способствовали мессіанизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиковъ. Старики, получившіе образованіе еще въ XVIII вѣкѣ, были свободны отъ теософическихъ фантазій. Классическій закалъ, который давалъ людямъ великій вѣкъ, какъ дамаскъ, не стирался. Мнѣ еще удалось видѣть два-три типа старыхъ пановъ энциклопедистовъ.

Въ Парижѣ и притомъ въ Rue de la Chaussée d'Antin жилъ съ 1831 года графъ Алоизій Бернацкій, нунцій польской діеты, министръ финансовъ во время революціи, маршалъ дворянства какой-то губерніи, представлявшій свое сословіе императору Александру I въ 1814 г.

Совершенно разоренный конфискаціей, онъ поселился съ 1831 года въ Парижъ и притомъ на той маленькой квартирѣ въ Chaussée d'Antin, которую я упомянулъ; оттуда-то онъ выходилъ всякое утро въ темно-коричневомъ сюртукѣ на прогулку и чтеніе журналовъ и всякій вечеръ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, къ кому-нибудь провести вечеръ; тамъ, въ 1847 году, я познакомился съ нимъ. Домъ состарѣлся, хозяйка хотѣла его перестроить. Бернацкій написалъ къ ней письмо, которое до того тронуло французенку (что очень не легкая вещь, когда замѣшаны финансы!), что она пустилась съ нимъ въ переговоры и просила его только на время переѣхать. Отдѣлавъ квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цѣну. Съ горестью увидѣлъ онъ новую красивую лѣстницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбѣ.

Во всемъ умѣренный, безусловно чистый и благородный, старикъ былъ поклонникъ Вашингтона и пріятель О'Коннела. Настоящій энциклопедистъ, онъ проповѣдывалъ эгоизмъ bien entendu и провѣлъ всю жизнь въ самоотверженіи и пожертвовалъ всѣмъ, отъ семьи и богатства до родины и общественнаго положенія, никогда не показывая особеннаго сожалѣнія и никогда не падая до ропота.

Французская полиція оставляла его въ покоѣ и даже уважала его, зная, что онъ былъ министръ и *нунцій*; префектура пресерьезно думала, что нунцій польской діеты былъ что-то въ родѣ папскаго нунція. Въ эмиграціи это знали и потому товарищи и соотечественники безпрестанно посылали его объ нихъ хлопотать. Бернацкій шелъ безпрекословно и до тѣхъ поръ говорилъ правильные комплименты и надоѣдалъ, что префектура часто дѣлала уступки, чтобъ отвязаться отъ него. Послѣ совершеннаго покоренія февральской революціи тонъ перемѣнился; ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни сѣдой головой ничего нельзя было взять, а тутъ, какъ на зло, пріѣхала въ Парижъ жена польскаго генерала, участвовавшаго въ венгерской войнѣ, въ большой крайности. Бернацкій просилъ помощи для нея у префектуры; префектура, несмотря на громкій адресъ à son Excellence monsieur le Nonce, отказала наотрѣзъ. Старикъ отправился самъ къ Карлье; Карлье, чтобъ отвязаться отъ него и съ тѣмъ вмѣстѣ унизить, замѣтилъ ему, что пособія только даютъ выходцамъ 1831 года. «Вотъ, прибавилъ онъ, если вы принимаете такое участіе въ этой дамѣ, подайте просьбу, чтобъ вамъ по бѣдности назначили пособіе; мы вамъ положимъ франковъ двадцать въ мѣсяцъ, а вы ихъ отдавайте, кому хотите».

Карлье былъ пойманъ. Бернацкій самымъ простодушнымъ образомъ принялъ предложеніе префекта и тотчасъ согласился, раз-

сыпаясь въ благодарности. Съ тѣхъ поръ всякій мѣсяцъ старикъ являлся въ префектуру, ждалъ въ передней часъ-другой, получалъ двадцать франковъ и относилъ ихъ къ вдовѣ.

Бернацкому было далеко за семьдесятъ лѣтъ, но онъ удивительно сохранился, любилъ обѣдать съ друзьями, онѣдѣть вечеромъ часовъ до двухъ, иногда выпить бокаль-другой вина. Разъ какъ-то поздно, часа въ три, возвращались мы съ нимъ домой: дорога наша шла по улицѣ Лепелетье. Опера горѣла въ огнѣ; пѣро и дебардеры, едва прикрытые шальями, драгуны и полицейскіе толпились въ сѣняхъ. Шутя и увѣренный, что онъ откажется, я сказалъ Бернацкому:

— Quelle chance, не зайти ли?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ, я лѣтъ пятнадцать не видалъ маскарада.

— Бернацкій, сказалъ я ему, шутя и входя въ сѣни, когда же вы начнете старѣть?

— Un homme comme il faut, отвѣчалъ онъ, смѣясь, acquiert des années, mais ne vieillit jamais!

Онъ выдержалъ характеръ до конца и, какъ благовоспитанный человѣкъ, разстался съ жизнью тихо и въ хорошихъ отношеніяхъ; утромъ ему нездоровилось, къ вечеру онъ умеръ.

Во время смерти Бернацкаго я былъ уже въ Лондонѣ. Тамъ вскорѣ послѣ моего приѣзда сблизился я съ человѣкомъ, котораго память мнѣ дорога и котораго гробъ я помогъ снести на Гайгетское кладбище,—я говорю о Ворцелѣ. Изъ всѣхъ поляковъ, съ которыми я сблизился тогда, онъ былъ наиболѣе симпатичный и, можетъ, наименѣе исключительный въ своей нелюбви къ намъ. Онъ не то, чтобъ любилъ русскихъ, но онъ понималъ вещи гуманно, и потому далеко былъ отъ гуловыхъ проклятій и ограниченной ненависти. Съ нимъ съ первымъ говорилъ я объ устройствѣ русской типографіи. Выслушавъ меня, бслной встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дѣлать расчеты, вычислять, сколько нужно буквъ и пр. Онъ сдѣлалъ главные заказы, онъ познакомилъ меня съ Чернецкимъ, съ которымъ мы столько работали потомъ.—«Боже мой, Боже мой, говорилъ онъ, держа въ рукѣ первый корректурный листъ, Вольная Русская Типографія въ Лондонѣ... сколько дурныхъ воспоминаній стираетъ съ моей души этотъ клочекъ бумаги, замаранный голландской сажей!»

— «Намъ надобно идти вмѣстѣ, повторялъ онъ часто потомъ, намъ одна дорога и одно дѣло...», и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщинѣ 29 ноября 1853 года я сказалъ рѣчь въ ГанOVERЪ-Румѣ, Ворцель предсѣдательствовалъ. Когда я кон-

чилъ, Ворцель, при громѣ рукоплесканій, обнялъ меня и со слезами на глазахъ поцѣловалъ. «Ворцель и вы, замѣтилъ мнѣ, выходя, одинъ итальянецъ (графъ Нани), вы меня поразили давеча на платформѣ, мнѣ казалось, что этотъ увядающій, благородный, покрытый сѣдинами старецъ, обнимающій вашу здоровую плотную фигуру, представляли типически Польшу и Россію».

Дѣйствительно мы могли идти вмѣстѣ... Это не удалось.

Ворцель былъ *не одинъ*..... Но прежде объ немъ одномъ.

Когда родился Ворцель, его отецъ, одинъ изъ богатыхъ польскихъ аристократовъ въ Литвѣ, родственникъ Эстергази, Потцкимъ и не знаю кому, выписалъ изъ пяти помѣстій старость и съ ними молодыхъ женщинъ, чтобъ они присутствовали при крещеніи графа Станислава и помнили бы до конца жизни объ панскомъ угощеніи по поводу такой радости. Это было въ 1800 году. Графъ далъ своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитаніе; Ворцель былъ математикъ, лингвистъ, знакомый съ пятью-шестью литературами, съ раннихъ лѣтъ приобрѣлъ онъ огромную эрудицію, и притомъ былъ свѣтскимъ челоѣкомъ и принадлежалъ къ высшему польскому обществу, въ одну изъ самыхъ блестящихъ эпохъ его заката, между 1815—1830 годами; Ворцель рано женился, и только что началъ «практическую» жизнь, какъ вспыхнуло возстаніе 1831 года. Ворцель бросилъ все и присталъ душой и тѣломъ къ движенію. Возстаніе было подавлено, Варшава взята. Графъ Станиславъ перешелъ, какъ и другіе, границу, оставляя за собой семью и состояніе.

Жена его не только не поѣхала за нимъ, но прервала съ нимъ всѣ сношенія, и за то получила обратно какую-то часть имѣнія. У нихъ были двое дѣтей, сынъ и дочь; какъ она ихъ воспитала, мы увидимъ; на первый случай она ихъ выучила за-быть отца.

Ворцель между тѣмъ пробрался черезъ Австрію въ Парижъ, и тутъ сразу очутился въ вѣчной ссылке и безъ малѣйшихъ средствъ. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Онъ, какъ Бернацкій, свелъ свою жизнь на какой-то монашескій постъ, и ревностно началъ свое апостольство, которое прекратилось черезъ двадцать пять лѣтъ съ его послѣднимъ дыханіемъ, въ сыромъ углу нижняго этажа убогой квартиры, въ темной Hunter Street.

Реорганизовать польскую партію движенія, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграціонныя силы, приготовить новое возстаніе и для этого проповѣдывать съ утра до ночи, для этого жить,—такова была тема всей жизни Ворцеля, отъ которой онъ не отступалъ ни на шагъ и которой подчинилъ все. Съ этой

цѣлью онъ сблизился со всѣми людьми движенія во Франціи, отъ Годафруа Кавеньяка до Ледрю-Роллена; съ этой цѣлью былъ массономъ, былъ въ близкихъ сношеніяхъ съ сторонниками Маццини и съ самимъ Маццини впослѣдствіи. Ворцель твердо и открыто поставилъ революціонное знамя Польши противъ партіи Чарторижскихъ. Онъ былъ увѣренъ, что аристократія погубила возстаніе, онъ въ старыхъ панахъ видѣлъ враговъ своему дѣлу и собиралъ новую Польшу, чисто демократическую.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему дѣлу, шла во многомъ въ разрѣзъ съ стремленіями нашего времени; передъ ея глазами постоянно носился образъ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ея идеаль былъ столько же въ воспоминаніи, сколько въ упованіяхъ. Польшѣ достаточно было и одного католическаго ядра на ногахъ, чтобъ отставать,—рыцарскіе доспѣхи совсѣмъ остановили бы ее. Соединяясь съ Маццини, Ворцель хотѣлъ привѣнчать польское дѣло къ обще-европейскому, республиканскому и демократическому движенію.

Можно обвинять Ворцеля за то, что онъ вступилъ въ ту же колею, въ которой уже вязла и грузла западная революція, что онъ въ этомъ пути видѣлъ единственный путь спасенія; но однажды принявъ его, онъ былъ послѣдователенъ.

Года за полтора до февральской революціи по дремавшей Европѣ пробѣжала какая-то дрожь пробужденія: Краковское дѣло, процессъ Мирославскаго, потомъ война Зондербунда и Итальянское risorgimento. Австрія отвѣчала возстанію имперской пугачевщиной, но тишина не возвратилась. Людовикъ Филиппъ палъ въ февралѣ 1848 года, полякъ возилъ его тронъ на сожженіе. Ворцель во главѣ польской демократіи явился напомнить временному правительству о Польшѣ. Ламартинъ принялъ его холодной риторикой. Республика была больше миръ, чѣмъ имперія.

Съ паденіемъ Венгріи, Ворцель, вынужденный оставить Парижъ, переселился въ Лондонъ.

Въ Лондонѣ я его засталъ въ концѣ 1852 членомъ Европейскаго комитета ¹⁾. Онъ стучался во всѣ двери, писалъ письма, статьи въ журналахъ, онъ работалъ и надѣялся, убѣждалъ и просилъ,—а такъ какъ при всемъ остальномъ надо было ѣсть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка; кашляя и задыхаясь отъ астма, ходилъ онъ съ конца Лондона на другой, чтобъ заработать два шиллинга, много полкроны. И тутъ онъ еще долю выработаннаго отдавалъ своимъ товарищамъ.

¹⁾ Маццини. Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Арнольдъ Руге, Братіано и Ворцель.

Духъ его не унывалъ, но тѣло отстало. Лондонскій воздухъ, сырой, копченый, не согрѣтый солнцемъ, былъ не по слабой груди. Ворцель таялъ, но держался. Такъ онъ дожилъ до крымской войны; ее онъ не могъ, я готовъ сказать, не долженъ былъ пережить. «Если Польша *теперь* ничего не сдѣлаетъ, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мнѣ лучше закрыть глаза», говорилъ Ворцель мнѣ, отправляясь по Англіи съ Кошутомъ. Во всѣхъ главныхъ городахъ собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встрѣчали громомъ рукоплесканій, дѣлали небольшие денежные сборы *и только*. Парламентъ и правительство очень хорошо знаютъ, когда народная волна просто шумитъ и когда она въ самомъ дѣлѣ напираетъ. Твердо стоявшее министерство, предложившее *conspiracy bill*, пало *въ осмѣбани* народного схода въ Гайдъ-паркѣ. Въ митингахъ, собираемыхъ Кошутомъ и Ворцелемъ для того, чтобъ вызвать со стороны парламента и правительства признаніе польскихъ правъ, заявленіе симпатіи къ польскому дѣлу, ничего не было опредѣленнаго, не было силы. Отвѣтъ консерваторовъ былъ неотразимъ: «въ Польшѣ все покойно». Правительству приходилось не признать совершившійся фактъ, а вызвать его, взять революціонную инициативу, разбудить Польшу. Такъ далеко въ Англіи общественное мнѣніе не идетъ. Къ тому же *in petto* всѣ желали окончанія войны, только что начавшейся, дорогой и въ сущности бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался въ Лондонъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не понять неудачу, онъ старился наглазно, былъ угрюмъ и раздражителенъ, и съ той лихорадочной дѣятельностью, съ которой умирающіе принимаются тревожно за всякое леченіе, съ зловѣщей боязнію въ груди и съ упорной надеждой, ѣздилъ онъ опять, въ Бирмингамъ или Ливерпуль, съ трибуны поднимать свой плачъ о Польшѣ. Я смотрѣлъ на него съ глубокой горестью. Но какъ же онъ могъ думать, что Англія подниметъ Польшу, что Франція Наполеона вызоветъ революцію? Какъ онъ могъ надѣяться на ту Европу, которая допустила Россію въ Венгрію, французовъ въ Римъ, развѣ самое присутствіе Маццини и Кошута въ Лондонѣ не громко ему напоминало о ея паденіи?

... Около того же времени давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части эмиграціи подняло голось. Ворцель обомлѣлъ,—этого удара онъ не ждалъ, а онъ пришелъ совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, но, привыкнувъ къ своему хору, былъ подъ его вліяніемъ. Онъ

воображалъ, что онъ ведетъ, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направляя его, куда хотѣлъ. Только Ворцель подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,—хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграционныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ. Преждевременный старикъ задыхался въ этой средѣ отъ духовнаго астма, столько же, какъ и отъ физическаго.

Люди эти не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ.

— Вы вѣрно слышали, спросилъ меня Ворцель, что противъ насъ готовится обвинительный актъ?

— Слышалъ.

— Вотъ что я заслужилъ подъ старость... вотъ до чего дожилъ. . . и онъ грустно качалъ сѣдой головой своей.

— Врядъ правы ли вы, Ворцель? Васъ такъ привыкли любить и уважать, что если этому дѣлу не давали хода, то это только изъ боязни васъ огорчить. Вы знаете, зубъ не на васъ, пусть ваши товарищи идутъ своей дорогой.

— Никогда, никогда, мы все дѣлали вмѣстѣ, на насъ лежитъ общая отвѣтственность.

— Вы ихъ не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назадъ по поводу того, что Россель предалъ своихъ товарищей?

Это было вечеромъ. Я стоялъ поодаль отъ камина, Ворцель сидѣлъ у самаго огня, обернувшись лицомъ къ камину; его болѣзненное лицо, на которомъ дрожалъ красный отсвѣтъ, показалось мнѣ еще больше истомленнымъ и страдальческимъ... Слеза, старая слеза, скатывалась по исхудалой щекѣ его... Прощли нѣсколько минутъ невыносимо тяжелаго молчанія... Онъ всталъ, я проводилъ его въ его спальню, большія деревья шумѣли въ саду... Ворцель отворилъ окно и сказалъ:

— Я здѣсь съ моей несчастной грудью прожилъ бы вдвое. Я схватилъ его за обѣ руки.

— Ворцель,—говорилъ я ему, — останьтесь у меня, я вамъ дамъ еще комнату, вамъ никто мѣшать не будетъ, дѣлайте, что хотите, завтракайте одни, обѣдайте одни, если хотите; вы отдохнете мѣсяца два... васъ не будутъ непрерывно тормошить, вы освѣжитесь, я васъ прошу, какъ друга, какъ вашъ меньшей братъ!

— Благодарю, благодарю васъ отъ всего сердца; я сейчасъ бы принялъ ваше предложеніе, но при теперешнихъ обстоятельствахъ это просто невозможно... Съ одной стороны, война, съ другой, наши

это примутъ за то, что я ихъ оставилъ. Нѣтъ, каждый долженъ нести крестъ свой до конца.

— Ну, такъ усните, по крайней мѣрѣ, спокойно, сказалъ я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

... Война оканчивалась, началась новая Россія, дожили мы до Парижскаго мира и до того, что *Полярная Звѣзда* и все напечатанное нами въ Лондонѣ покупалось *на кормо*. Мы стали издавать *Колоколъ*, и онъ пошелъ... Мы съ Ворцелемъ видались рѣдко, онъ радовался нашимъ успѣхамъ, съ той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, съ которой мать, потерявшая сына, слѣдитъ за развитіемъ чужого отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелемъ въ его *oggi o mai*, наступило и онъ гаснулъ...

За три дня до его кончины Чернецкій прислалъ за мною. Ворцель меня спрашивалъ,—онъ былъ очень плохъ, ждали его кончины. Когда я пріѣхалъ къ нему, онъ былъ въ забытіи, близкомъ къ обмороку; блѣдный, восковой лежалъ онъ на диванѣ... щеки его совершенно ввалились; такіе припадки съ нимъ повторялись въ послѣдніе дни, онъ привыкалъ быть мертвымъ. Черезъ четверть часа Ворцель сталъ приходить въ себя, слабо говорить, потомъ узналъ меня, привсталъ и легъ полусидя на диванѣ.

— Читали вы газеты?—спросилъ онъ меня.

— Читалъ.

— Расскажите, какъ идетъ Невшательскій вопросъ, я не могу ничего читать?

И ему рассказалъ, онъ все слышалъ и все понялъ.

— Ахъ, какъ спать хочется, оставьте меня теперь, я не усну при васъ, а мнѣ отъ сна будетъ легче.

На другой день ему было лучше. Ему хотѣлось мнѣ что-то сказать... Онъ раза два начиналъ и останавливался... и только оставшись со мной наединѣ, умирающій подозвалъ меня къ себѣ и, слабо взявъ меня за руку, сказалъ:

— Какъ вы были правы... вы не знаете, какъ вы были правы... у меня лежало это на душѣ вамъ сказать.

— Не будемъ больше говорить объ нихъ.

— Идите вашей дорогой... онъ поднялъ на меня свой умирающій, но свѣтлый, лучезарный взглядъ. Больше онъ говорить не могъ. Я поцѣловалъ его въ губы—и хорошо сдѣлалъ, мы простились надолго. Вечеромъ онъ всталъ, вышелъ въ другую комнату, хлебнулъ теплой воды съ джиномъ у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религіозно уважавшей въ Ворцелѣ какое-то высшее явленіе, взошелъ опять къ себѣ и уснулъ. На другой день, утромъ, Жабицкій и хозяйка спросили не надобно ли

ему чего больше. Онъ просилъ сдѣлать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сдѣлали, Ворцель не просыпался.

Я уже не засталъ его. Худое, худое лицо его и тѣло было покрыто бѣлой простыней, я посмотрѣлъ на него, простился и пошелъ за работникомъ скульптора, чтобъ снять маску.

Его послѣднее свиданіе, его величественную агонію я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ. ¹⁾ Прибавлю къ ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорилъ о своей семьѣ. Разъ какъ-то онъ искалъ для меня какое-то письмо; порывшись на столѣ, онъ открылъ ящикъ. Тамъ лежала фотографія какого-то сытаго, молодого человѣка съ офицерскими усами.

— Навѣрное полякъ и патриотъ? сказалъ я больше шутя, чѣмъ спрашивая.

— Это—сказалъ Ворцель, глядя въ сторону и поспѣшно взявъ у меня изъ рукъ портретъ,—это... мой сынъ.

Я узналъ впоследствии, что онъ былъ русскимъ чиновникомъ въ Варшавѣ.

Дочь его вышла замужъ за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины онъ диктовалъ Маццини свое завѣщаніе—совѣтъ Польшѣ, поклонъ ей, привѣтъ друзьямъ...

— Теперь все,—сказалъ умирающій; Маццини не покидалъ пера.

— Подумайте,—говорилъ онъ, не хотите ли вы въ эту минуту...

Ворцель молчалъ.

— Нѣтъ ли еще лицъ, которымъ бы вы имѣли что-нибудь сказать?

Ворцель понялъ, лицо его подернулось тучей и онъ отвѣтилъ:

— *Мнѣ имъ нечего сказать.*

Я не знаю проклятія, которое ужаснѣе звучало бы и тяжелѣй бы ложилося этихъ простыхъ словъ.

Нѣмцы въ эмиграціи.

Руге, Кинкель, Schwefelbaende.—Американскій обѣдъ.—The Leader.—Народный сходъ въ—St-Martin's Hall.

Нѣмецкая эмиграція отличалась отъ другихъ своимъ тяжелымъ, скучнымъ и сварливымъ характеромъ. Въ ней не было энтузіастовъ, какъ въ итальянской; не было ни горячихъ головъ, ни горячихъ языковъ, какъ между французами.

¹⁾ Сборникъ Типогр. Стр. 163, 164.

Другія эмиграціи мало сближались съ нею. Разница въ манерѣ, въ *habitus*’ѣ, удерживала ихъ на нѣкоторомъ разстояніи; французская дерзость не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкой грубостью. Отсутствие общепринятой свѣтскости, тяжелый школьный доктринаризмъ, излишняя фамиллярность, излишнее простодушіе нѣмцевъ затрудняли съ ними сношенія непривычныхъ людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, съ одной стороны, гораздо выше прочихъ по научному развитію, а съ другой—чувствуя передъ другими непріятную неловкость провинціала въ столичномъ салонѣ, или чиновника въ аристократическомъ кругу.

Внутри нѣмецкая эмиграція представляла такую же разсыпчатость, какъ и ея родина. Общаго плана у нѣмцевъ не было: единство ихъ поддерживалось взаимной ненавистью и злымъ преслѣдованіемъ другъ друга. Лучшіе изъ нѣмецкихъ изгнанниковъ чувствовали это. Люди энергическіе, люди чистые, люди умные, какъ К. Шурцъ, какъ А. Виллихъ, какъ Рейхенбахъ, уѣзжали въ Америку. Люди кроткіе по нраву прятались за дѣлами, за Лондонской далью, какъ Фрейлигратъ. Остальные, не исключая двухъ-трехъ вожаковъ, раздирали другъ друга на части съ неутолимымъ остервенѣніемъ, не щадя ни семейныхъ тайнъ, ни самыхъ уголовныхъ обвиненій.

Вскорѣ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, поѣхалъ я въ Брайтонъ къ Арнольду Руге. Руге былъ коротко знакомъ московскому университетскому кругу сороковыхъ годовъ: онъ издавалъ знаменитые *Hallische Jahrbücher*; мы въ нихъ черпали философскій радикализмъ. Встрѣтился я съ нимъ въ 1849, въ Парижѣ, на неостывшей еще вулканической почвѣ. Въ тѣ времена было не до изученія личностей. Онъ приѣзжалъ однимъ изъ повѣренныхъ баденскаго инсurreкціоннаго правительства звать Мѣрославскаго, не умѣвшаго по-нѣмецки, начальствовать арміей фрейшерлеровъ и переговаривать съ французскимъ правительствомъ, которое вовсе не хотѣло признавать революціонный Баденъ. Съ нимъ былъ и К. Блиндъ. Послѣ 13 іюня ему и мнѣ пришлось бѣжать изъ Франціи. К. Блиндъ опоздалъ нѣсколькими часами и былъ посаженъ въ Консьержери. Съ тѣхъ поръ я не видалъ Руге до осени 1852. Въ Брайтонѣ я нашелъ его брюзгливымъ старикомъ, озлобленнымъ и злорѣчивымъ. Оставленный прежними друзьями, забытый въ Германіи, безъ вліянія на дѣла, и перессорившись съ эмиграціей,—Руге былъ поглощенъ сплетнями и пересудами. Въ постоянной связи съ нимъ были два-три бездарнѣйшихъ газетныхъ корреспондента, грошевыхъ фельетонистовъ, мелкихъ мародеровъ гласности, которыхъ никогда не видятъ во время сраженія и всегда послѣ, майскихъ жуковъ политическаго и литературнаго міра, каждый вечеръ съ наслажденіемъ и усердіемъ ко-

пающихся въ выброшенныхъ остаткахъ дня. Съ ними Руге составлялъ статейки, подзадоривалъ ихъ, давалъ имъ матеріалы и сплетничалъ на нѣсколько журналовъ въ Германіи и Америкѣ.

Я обѣдалъ у него и провелъ весь вечеръ. Въ продолженіе всего времени онъ жаловался на эмигрантовъ и сплетничалъ на нихъ.

— Вы не слыхали, — говорилъ онъ, — какъ идутъ дѣла нашего сорокапяти-лѣтняго Вертера съ баронессой? Говорятъ, что, открываясь ей въ любви, онъ хотѣлъ ее увлечь химической перспективой гениальнаго ребенка, который долженъ родиться отъ аристократки и коммуниста? Баронъ не охотникъ до физиологическихъ опытовъ, говорятъ, прогналъ его въ три шеи. Правда ли это?

— Какъ же вы можете вѣрить такимъ нелѣпостямъ?

— Да я и въ самомъ дѣлѣ не очень вѣрю. Живу здѣсь въ захолустьи и слышу только о томъ, что дѣлается въ Лондонѣ, отъ нѣмцевъ; всѣ они, а особенно эмигранты, врутъ Богъ знаетъ что, всѣ между собой въ ссорѣ, клеветцуютъ другъ на друга. Я думаю, это К. распустилъ такой слухъ въ знакъ благодарности за то, что баронесса его выпустила изъ тюрьмы. Вѣдь, онъ бы и самъ за ней поволочился, да воли-то нѣтъ. Жена не даетъ ему баловаться: «Ты, говоритъ, меня отъ перваго мужа отбилъ, такъ ужъ теперь довольно....»

Вотъ образчикъ философской бесѣды Арнольда Руге.

Одинъ разъ онъ измѣнилъ своему діапазону и сталъ съ дружескимъ участіемъ говорить о Бакунинѣ; но на полъ-дорогѣ спохватился и добавилъ: «А впрочемъ, въ послѣднее время онъ какъ-то сталъ опускаться, бредилъ какимъ-то революціоннымъ царизмомъ, панславизмомъ».

Я уѣхалъ отъ него съ тяжелымъ сердцемъ и съ твердымъ намѣреніемъ никогда не возвращаться.

Черезъ годъ онъ читалъ въ Лондонѣ нѣсколько лекцій о философскомъ движеніи въ Германіи. Лекціи были плохи, берлинско-англійскій акцентъ неприятно поражалъ ухо; къ тому же онъ всѣ греческія и римскія имена произносилъ на нѣмецкій манеръ, такъ что англичане не могли догадаться, кто это Іофисъ, Юно, и проч.

На вторую лекцію пришли десять человѣкъ; на третью человѣкъ пять, да я съ Ворцелемъ. Руге, проходя по пустой залѣ мимо насъ, сильно сжалъ мнѣ руку и прибавилъ: «Польша и Россія пришли, а Италіи нѣтъ; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новомъ возстаніи народовъ». Когда онъ ушелъ, разгнѣванный и грозящій, я посмотрѣлъ на сардоническую улыбку Ворцеля и сказалъ ему: «Россія зоветъ Польшу къ себѣ отобѣ-

дать». — «*Sen est fait de l'Italie*», замѣтилъ Ворцель, качая головой, и мы пошли.

К. былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ. Человѣкъ безукоризненнаго поведенія, работавшій въ потѣ лица своего, что, какъ ни странно можетъ это показаться, почти вовсе не встрѣчалось въ эмиграціи, К. былъ заклятый врагъ Руге. Почему? Это такъ же трудно объяснить, какъ то, что проповѣдникъ атеизма, Руге, былъ другомъ нео-католика Ронге.

Готфридъ К. былъ одинъ изъ главъ сорока сороковъ лондонскихъ нѣмецкихъ расколовъ. Глядя на него, я всегда дивился, какъ величественная Зевсовская голова попала на плечи нѣмецкаго профессора, и какъ нѣмецкій профессоръ попалъ сначала на поле сраженія, потомъ, раненый, въ прусскую тюрьму; а, можетъ, мудренѣе всего этого то, что все это *пюсъ* Лондонъ, его нисколько не измѣнило, и онъ остался нѣмецкимъ профессоромъ. Высокій ростомъ, съ сѣдыми волосами и бородой съ просѣдью, онъ самъ по себѣ имѣлъ величавый и внушающій уваженіе видъ,—но онъ къ нему прибавлялъ какое-то официальное помазаніе, *Salbung*, что-то судейское и архіерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттѣнокъ этотъ въ разныхъ варіаціяхъ встрѣчается у модныхъ пасторовъ, у дамскихъ врачей; особенно у магнетизеровъ, адвокатовъ, специально защищающихъ нравственность, у главныхъ waiter'овъ аристократическихъ отелей въ Англіи. К. въ молодости много занимался богословіемъ; освободившись отъ него, онъ остался священникомъ въ приѣмахъ. Это не удивительно: самъ Ламене, подрывая такъ глубоко корни католицизма, сохранилъ до старости видъ аббата. Обдуманная и плавная рѣчь К., правильная и избѣгающая крайностей, шла какой-то назидательной бесѣдой; онъ съ изученнымъ снисхожденіемъ выслушивалъ другого и съ искреннимъ удовольствіемъ самого себя.

Онъ былъ профессоромъ въ Сомерсетъ-гаузѣ и въ нѣсколькихъ высшихъ заведеніяхъ, читалъ публичныя лекціи объ эстетикѣ въ Лондонѣ и Манчестерѣ; этого ему не могли простить голодные и праздношатающіеся въ Лондонѣ освободители тридцати четырехъ нѣмецкихъ отечествъ. К. былъ постоянно обругиваемъ въ американскихъ газетахъ, сдѣлавшихся главнымъ стокомъ нѣмецкихъ сплетенъ, и на тощихъ митингахъ, ежегодно даваемыхъ въ память Роберта Блюма, перваго баденскаго *Schilderhebung'a* и проч., перваго австрійскаго *Schwertfart'a*. Ругали его всѣ его соотечественники,—не имѣвшіе никогда уроковъ, всегда просящіе денегъ въ займы, никогда не отдающіе занятаго и постоянно готовые выдать человѣка за шпиона и вора въ случаѣ отказа. К.

не отвѣчалъ. Писаки лаяли лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изрѣдка какая-нибудь нечесанная и шершавая шавка выбѣжить изъ нижняго этажа германской демократіи куда-нибудь въ фельетонъ никѣмъ нечитаемаго журнала,—и залетѣтъ злѣйшимъ лаемъ, который такъ и напомнитъ счастливыя времена братскихъ возстаній въ разныхъ Тюбингенахъ, Дармштатахъ и Брауншвейгъ-Вольфенбюттеляхъ.

Въ домѣ К., на его лекціяхъ, въ его разговорѣ, все было хорошо и умно; но не доставало какого-то масла въ колесахъ, и оттого все вертѣлось туго, безъ скрипа,—но тяжело. Онъ говорилъ всегда интересныя вещи; жена его, извѣстная піанистка, играла прекрасныя вещи,—а скука была смертная. Одни дѣти, прыгая, вносили какой-то больше свѣтлый элементъ; ихъ свѣтленькіе глазенки и звонкіе голоса обѣщали меньше достоинства, но больше масла въ колесахъ ¹⁾.

...Смѣшно національное фанфаронство и у французовъ; но все же они могутъ сказать, «что, нѣкоторымъ образомъ, за человечество кровь проливали», въ то время какъ ученые германцы проливали одни чернила. Притязаніе на какое-то огромное національное значеніе, идущее рядомъ съ доктринерскимъ космополитизмомъ, тѣмъ смѣшнѣе, что оно не предъявляетъ другого права, кромѣ неувѣренности въ уваженіи другихъ, желанія *sich geltend machen*.

— За что насъ поляки не любятъ? говорилъ серьезно въ обществѣ гелертеровъ одинъ нѣмецъ. Тутъ случился журналистъ, умный человекъ, давно поселившійся въ Англіи.

— Ну, это еще не такъ мудро понять, — отвѣчалъ онъ:— вы лучше скажите, кто насъ любитъ? Или за что насъ всѣ ненавидятъ?

— Какъ всѣ ненавидятъ? — спросилъ удивленный профессоръ.

— По крайней мѣрѣ всѣ пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русскіе, славяне.

— Позвольте, Herr Doctor, есть же исключенія, — возразилъ обезпокоенный и нѣсколько сконфуженный гелертеръ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія, и какое исключеніе: Франція и Англія.

Ученый началъ расцвѣтать.

— И знаете отчего?—Франція насъ не боится, а Англія презираетъ.

¹⁾ Здѣсь пропускъ въ рукописи, которая снова начинается слѣдующими словами:... „отраженія, является горькое чувство зависти. Источникъ этихъ ненавистей долею лежитъ въ сознаніи политической второстепенности *германскаго отечества* и въ притязаніи играть первую роль“.

Прич. издателей заграничнаго изданія.

Положеніе нѣмца дѣйствительно печальное,—но печаль его не интересна. Всѣ знаютъ, что они справиться могутъ съ внутреннимъ и вѣшнимъ врагомъ, но не умѣютъ. Отчего, напримѣръ, единоплеменные ей народы: Англія, Голландія, Швеція, свободны, а нѣмцы нѣтъ? Неспособность тоже обязываетъ, какъ дворянство, кой къ чему, и всего больше къ скромности. Нѣмцы чувствуютъ это и прибѣгаютъ къ отчаяннымъ средствамъ, чтобъ имѣть верхъ; они выдаютъ Англію и Сѣверо-Американскіе Штаты за представителей германизма въ сферѣ государственной прахис. Руге, разгнѣвавшись на Эдгарда Бауера за его пустую брошюру о Россіи (кажется, подъ заглавіемъ Kirche und Staat) и подозрѣвая, что я Э. Бауера ввелъ въ искушеніе, писалъ мнѣ (а потомъ то же самое напечаталъ въ Жерсейскомъ Альманахѣ), что Россія одинъ грубый матеріалъ, дикій и неустроенный, котораго сила, слава и красота только отъ того и происходятъ, что германскій геній ей придалъ свой образъ и подобіе.

Каждый русскій, являющійся на сцену, встрѣчаетъ то озлобленное удивленіе нѣмцевъ, которое не такъ давно находили отъ нихъ же наши ученые, желавшіе сдѣлаться профессорами русскихъ университетовъ и русской академіи. Выписнымъ «коллегамъ» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватомъ чужого мѣста.

—Марксъ, очень хорошо знавшій Бакунина, который чуть не сложилъ голову за нѣмцевъ подъ топоромъ саксонскаго палача, выдалъ его за *русскаго шпіона*. Онъ разсказалъ въ своей газетѣ цѣлую исторію, какъ Ж.-Зандъ слышала отъ Ледрю-Роллена, что, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то видѣлъ какую-то компрометирующую Бакунина переписку. Бакунинъ тогда сидѣлъ, ожидая приговора, въ тюрьмѣ—и ничего не подозрѣвалъ. Клевета толкала его на эшафотъ и порывала послѣднее общеніе любви между мученикомъ и сочувствующей ему массой.— Другъ Бакунина, А. Рейхель, написалъ въ Nohant къ Ж.-Зандъ и спросилъ ее, въ чемъ дѣло? Она тотчасъ отвѣчала Рейхелю и прислала письмо въ редакцію Марксова журнала, отзываясь съ величайшей дружбой о Бакунинѣ; она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* съ Ледрю-Ролленомъ о Бакунинѣ, въ силу чего не могла сказать и сказаннаго въ газетѣ. Марксъ нашелся ловко и помѣстилъ письмо Ж.-Зандъ съ примѣчаніемъ, что статья о Бакунинѣ была помѣщена во время его отсутствія. —

Финалъ совершенно нѣмецкій: онъ невозможенъ не только во Франціи, гдѣ point d'honneur такъ щепетилень и гдѣ издатель зарылъ бы всю нечистоту дѣла подъ кучей фразъ, словъ, околичностей, нравственныхъ сентенцій, покрылъ бы ее отчаяніемъ qu'on avait surpris sa religion; но даже англійскій издатель,

несравненно менѣ церемонный, не смѣлъ бы свалить дѣла на сотрудниковъ ¹⁾).

Черезъ годъ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, Марксова шайка еще разъ возвратилась на гнусную клевету противъ Бакунина.

Въ Англіи, въ этомъ стародавнемъ отечествѣ поврежденныхъ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ мѣстъ между ними занимаетъ *Давидъ Уркуардъ*—человѣкъ съ талантомъ и энергіей, эксцентрической радикалъ изъ консерватизма. Онъ помѣшался на двухъ идеяхъ: во-первыхъ,—что Турція превосходная страна, имѣющая большую будущность, въ силу чего онъ завелъ себя турецкую кухню, турецкую баню, турецкіе диваны; во-вторыхъ,—что русская дипломатія, самая хитрая и ловкая во всей Европѣ, подкупаетъ и надуваетъ всѣхъ государственныхъ людей во всѣхъ государствахъ міра сего, и преимущественно въ Англіи. Уркуардъ работалъ годы, чтобъ отыскать доказательства того, что Пальмерстонъ на откупѣ у Петербургскаго кабинета. Онъ объ этомъ печаталъ статьи и брошюры, дѣлалъ предложенія въ парламентъ, проповѣдывалъ на митингахъ. Сначала на него сердились, отвѣчали ему, бранили его; потомъ привыкли. Обвиняемые и слушав-

¹⁾ Несмотря на то, что они позволяютъ себѣ ужасно много, для нихъ характеристики расказу одинъ случай, бывший съ Луи Бланомъ. *Теймсъ* напечаталъ, что Луи Бланъ, бывши членомъ временнаго правительства, истратилъ „милліона полтора франковъ казенныхъ денегъ“ на составленіе себѣ партіи между работниками. Луи Бланъ отвѣчалъ редакціи, что она имѣетъ невѣрные свѣдѣнія о немъ, что, при пущемъ желаніи, онъ не могъ ни украсть, ни истратить полтора милліона франковъ, потому что во все время его завѣдыванія Люксембургской комиссіей у него не было въ распоряженіи болѣе 30,000 франковъ. *Теймсъ* не помѣстилъ его отвѣта. Луи Бланъ отправился въ редакцію самъ и потребовалъ свиданья съ главнымъ издателемъ. Ему отвѣчали, что главнаго издателя *вовсе нѣтъ*, что *Теймсъ* издается какъ-то артелью. Луи Бланъ требовалъ отвѣтственнаго артельщика; ему отвѣчали, что никто лично ни за что не отвѣчаетъ.

— Къ кому же, наконецъ, я долженъ обратиться, у кого требовать отчетъ въ томъ, что мое письмо въ дѣлѣ, касающемся до моего добраго имени, не было помѣщено?

— Здѣсь,—сказалъ ему одинъ изъ чиновниковъ при *Теймсъ*, — не такъ, какъ во Франціи; у насъ нѣтъ ни *Gérant responsable*, ни законнаго обязательства помѣщать отвѣты.

— Рѣшительно нѣтъ отвѣтственнаго редактора?—спросилъ Луи Бланъ.

— Нѣтъ.

— Очень, очень жаль, — замѣтилъ Луи Бланъ, зло улыбаясь: — что нѣтъ главнаго редактора; а то я непременно надавалъ бы ему пощечины. Прощайте, господа.

— Good day, Sir. good day. God bless you!—повторялъ чиновникъ при *Теймсъ*, учтиво и спокойно отворяя двери.

шіе стали улыбаться, не обращали вниманія; наконецъ, разразились общимъ хохотомъ.

На одномъ митингѣ, въ одномъ изъ большихъ центровъ, Уркуардъ до того увлекся своей *idée fixe*, что, представляя Кошута человѣкомъ невѣрнымъ, онъ прибавилъ, что, если Кошутъ и не подкупленъ Россіей, то находится подъ вліяніемъ человѣка, явнымъ образомъ работающаго въ пользу Россіи, и *этотъ человекъ Маццини!* Уркуардъ, какъ Дантовская Франческа, не продолжалъ больше своего чтенія въ этотъ день. При имени Маццини поднялся такой гомерическій смѣхъ, что самъ Давидъ замѣтилъ, что итальянскаго Голіаѳа онъ не сбиль своей працею, а себя свихнулъ руку.

Человѣкъ, думавшій и открыто говорившій, что, отъ Гизо и Дерби, до Эспартеро, Кобдена и Маццини, все русскіе агенты, былъ кладъ для шайки непризнанныхъ нѣмецкихъ государственныхъ людей, окружавшихъ неузнаннаго генія первой величины, Маркса. Они изъ своего неудачнаго патріотизма и страшныхъ притязаній сдѣлали какую-то Hochschule клеветы и подозрѣванія всѣхъ людей, выступавшихъ на сцену съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ они сами. Имъ недоставало честнаго имени. Уркуардъ его далъ. Съ Уркуардомъ и публикой питейныхъ домовъ вошли въ Morning Advertiser марксиды и ихъ друзья. Гдѣ пиво,—тамъ и нѣмцы.

Однимъ добрымъ утромъ, Morning Advertiser вдругъ поднялъ вопросъ: «Былъ ли Бакунинъ русскій агентъ или нѣтъ?» Само собою разумѣется, отвѣчалъ на него положительно ¹⁾. Поступокъ этотъ былъ до того гнусенъ, что возмутилъ даже такихъ людей, которые не принимали особеннаго участія въ Бакунинѣ.

Оставить это дѣло такъ было невозможно. Какъ ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацію съ Головинымъ (объ этомъ субъектѣ будетъ особая глава), но выбора не было. Я пригласилъ Ворцеля и Маццини присоединиться къ нашему протесту: они тотчасъ согласились. Казалось бы, что, послѣ свидѣтельства предсѣдателя польской демократической централизаціи и такого человѣка, какъ Маццини, все кончено.

Но нѣмцы не остановились на этомъ.

¹⁾ Уркуардъ имѣлъ тогда большое вліяніе на Morning Advertiser. — одинъ изъ журналовъ, самымъ страннымъ образомъ поставленныхъ. Журнала этого нѣтъ ни въ клубахъ, ни у большихъ стешіонеровъ, ни на столѣ у порядочныхъ людей; однако же онъ имѣетъ большую циркуляцію, чѣмъ Daily News, и только въ послѣднее время дешевые листы, въ родѣ Daily Telegraph, Morning Star и Evening Star отсдвинули Morning Advertiser на второй планъ. Явленіе чисто англійское. Morning Advertiser журналъ питейныхъ домовъ, и нѣтъ кабака, въ которомъ бы его не было.

Они затагнули скучнѣйшую полемику съ Головинымъ, который, съ своей стороны, поддерживалъ ее для того, чтобъ собою занимать публику лондонскихъ кабаковъ...

Мой протестъ и то, что я писалъ къ Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнѣвъ Маркса. Вообще, то было время, въ которое нѣмцы спохватились и стали меня окружать такою же грубою неприязнью, какъ прежде окружали грубымъ ухаживаніемъ; они уже не писали мнѣ панегириковъ, какъ во время выхода «Vom Andern Ufer» и «Писемъ изъ Италіи», а отзывались обо мнѣ «какъ о дерзкомъ варварѣ, осмѣливающемся смотрѣть на Германію сверху внизъ» ¹⁾. Одинъ изъ марксовскихъ гезеллей написалъ цѣлую книжку противъ меня и отослалъ Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда онъ напечаталъ (что я узналъ гораздо позже) ту статейку въ Лидерѣ, о которой шла рѣчь. Имя его я не припомню.

Къ марксистамъ присоединился вскорѣ и рыцарь съ опущеннымъ забраломъ, *Карлъ Блиндъ*, тогда *famulus* Маркса, теперь его врагъ. Въ его корреспонденціи въ нью-іоркскіе журналы было сказано по поводу обѣда, который давалъ намъ американскій консулъ въ Лондонѣ: «На этомъ обѣдѣ былъ русскій, именно А. Герценъ, выдающій себя за социалиста и республиканца. Герценъ живетъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Маццини, Кошутомъ и Саффи. Со стороны людей, стоящихъ во главѣ движенія, чрезвычайно неосторожно допускать русскаго въ свою близость. Желаемъ, чтобы имъ не пришлось слишкомъ поздно раскаяться въ этомъ».

Самъ ли Блиндъ это писалъ, или кто изъ его помощниковъ, я не знаю; текста у меня передъ глазами нѣтъ, но за смыслъ я отвѣчаю.

При этомъ надобно замѣтить, что, какъ со стороны К. Блинда, такъ и со стороны Маркса, котораго я совсѣмъ не зналъ, вся эта ненависть была чисто платоническая, такъ сказать, безличная: меня приносили на жертву фатерланду изъ патриотизма. Въ американскомъ обѣдѣ, между прочимъ, ихъ бѣсило отсутствіе нѣмца,—за это они наказали русскаго ²⁾.

¹⁾ Это печаталъ нѣкто Колачекъ въ одномъ американскомъ журналѣ по поводу второго французскаго изданія: *Du développement des idées révolutionnaires en Russie*. *Пикантное* этого состоитъ въ томъ, что *весь текстъ* этой книги былъ прежде напечатанъ по нѣмецки въ *Deutsche Jahrbücher*, издаваемыхъ тѣмъ же самымъ *Колачкомъ*!

²⁾ Отсутствие нѣмца на обѣдѣ напоминаетъ мнѣ похороны матери Гарibaldi. Она умерла въ Ниццѣ въ 1851 году. Друзья ея сына пригласили магнанниковъ разныхъ странъ нести покойницу; въ томъ числѣ былъ приглашенъ и я.

Обѣдъ этотъ, надѣлавшій много шума по ту и другую сторону Атлантики, случился такимъ образомъ. Президентъ Пирсъ будировалъ старыя европейскія правительства,—долею для того, чтобъ приобрести больше популярности дома; долею, чтобъ отвести глаза всѣхъ радикальныхъ партій въ Европѣ отъ главнаго алмаза, на которомъ ходила вся его политика: отъ незамѣтнаго упроченія и распространенія невольничества.

Это было время посольства Суле въ Испанію и сына Р. Оуэна въ Неаполь, вскорѣ послѣ дуэли Суле съ Тюрго и его настоятельнаго требованія проѣхать, вопреки приказу Наполеона, черезъ Францію въ Брюссель: въ проѣздѣ этомъ императоръ французовъ отказать не рѣшился. «Мы посылаемъ пословъ»,—говорили американцы—«не къ царямъ, а къ народамъ». Отсюда идея дать дипломатическій обѣдъ врагамъ всѣхъ существующихъ правительствъ.

Я не имѣлъ понятія о готовящемся обѣдѣ; получаю вдругъ приглашеніе отъ Саундерса, американскаго консула. Въ приглашеніи лежала небольшая записочка отъ Маццини: онъ просилъ меня, чтобъ я не отказывался, что обѣдъ этотъ дѣлается съ цѣлю кой-кого подразнить и показать симпатію кой-кому другому.

На обѣдѣ были Маццини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульскій и я. Изъ англичанъ одинъ радикальный членъ парламента, Жозуа Вомсей; затѣмъ посолъ Бюхананъ и всѣ посольскіе чиновники.

Надобно замѣтить, что одна изъ цѣлей *краснаго* обѣда, данаго защитникомъ *чернаго* рабства, состояла въ сближеніи Кошута съ Ледрю-Ролленомъ. Дѣло было не въ томъ, чтобы ихъ примирить: они никогда не ссорились, а чтобы ихъ официально познакомиться. Ихъ незнакомство случилось такъ. Ледрю-Ролленъ былъ уже въ Лондонѣ, когда Кошутъ пріѣхалъ изъ Турціи. Возникъ вопросъ, кому первому ѣхать съ визитомъ: Ледрю-Роллену къ Кошуту, или Кошуту къ Ледрю-Роллену. Вопросъ этотъ сильно занималъ ихъ друзей, сподвижниковъ, ихъ дворъ, гвардію и чернь. Рго и contra были значительныя. Одинъ былъ диктаторомъ Венгріи; другой не былъ диктаторомъ, но зато *французъ*. Одинъ былъ почетный гость Англій, левъ первой величины, на вершинѣ своей славы; другой былъ въ Англій какъ дома, а визиты дѣлаются вновь пріѣзжающими. Словомъ, вопросъ этотъ, какъ квадратура круга или *perpetuum mobile*, былъ найденъ

Когда мы собрались у сѣней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (одинъ изъ нихъ былъ Орсини), два ломбардца, два неаполитанца, два француза, Хоецкій—полякъ и я—русскій. „Господа,—сказалъ,—Хоецкій,—L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand!“

обоими дворами неразрѣшимымъ... А потому и рѣшили тѣмъ, чтобы не ѣздить ни тому, ни другому, предоставляя дѣло встрѣчи воле божіей и случаю. Года три или четыре Ледрю-Ролленъ и Кошутъ, живя въ одномъ городѣ, имѣя общихъ друзей, общіе интересы и одно дѣло, должны были игнорировать другъ друга, а случая никакого не было. Маццини рѣшился помочь судьбѣ.

Передъ обѣдомъ, послѣ того какъ Бюхананъ уже пережалъ намъ всѣмъ руки и изъявилъ каждому свое полное удовольствіе, что познакомился лично,—Маццини взялъ Ледрю-Роллена подъ руку; въ то же самое время Бюхананъ сдѣлалъ такой же маневръ съ Кошутомъ, и, кротно подвигая виновниковъ, привели ихъ почти къ столкновенію и назвали ихъ другъ другу. Новые знакомые не остались въ долгу и осыпали другъ друга комплиментами—съ восточнымъ, цвѣтистымъ оттѣнкомъ со стороны великаго мадьяра, и съ сильнымъ колоритомъ рѣчей конвента со стороны великаго галла...

Я стоялъ во время всей этой сцены у окна съ Орсини; взглянувъ на него, я былъ до смерти радъ, видя легкую улыбку больше въ его глазахъ, чѣмъ на губахъ. «Послушайте,—сказалъ я ему,—какой мнѣ вздоръ пришелъ въ голову: въ 1847 году я видѣлъ въ Парижѣ въ историческомъ театрѣ какую-то глупѣйшую военную пьесу, въ которой главную роль играли дымъ и стрѣльба, вторую—лошади, пушки и барабаны. Въ одномъ изъ дѣйствій полководцы обѣихъ армій выходятъ для переговоровъ съ противоположныхъ сторонъ сцены, храбро идутъ навстрѣчу другъ другу, и, подойдя, одинъ снимаетъ шляпу и говоритъ:

Souvaroff—Massena!

На что другой ему отвѣчаетъ тоже безъ шляпы:

Massena—Souvaroff!

— Я самъ едва удержался отъ смѣха,—сказалъ мнѣ Орсини съ совершенно серьезнымъ лицомъ.

Хитрый старикъ Бюхананъ, мечтавшій тогда уже, несмотря на семидесятилѣтній возрастъ, о президентствѣ, и потому говорившій постоянно о счастіи покоя, объ идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничалъ съ нами такъ, какъ любезничалъ въ Зимнемъ дворцѣ съ Орловымъ и Бенкендорфомъ, когда былъ посломъ при Николаѣ. Съ Кошутомъ и Маццини онъ былъ прежде знакомъ; другимъ онъ говорилъ очень хорошо отдѣланные комплименты, напоминавшіе гораздо больше тертаго дипломата, чѣмъ суроваго гражданина демократической республики. Мнѣ онъ ничего не сказалъ, кромѣ того, что онъ долго былъ въ Россіи и вывезъ убѣжденіе, что она имѣетъ великую будущность. Я ему на это, разумѣется, ничего не сказалъ, а замѣтилъ, что помню

это со временъ коронаціи Николая: «Я былъ мальчиномъ, но вы были такъ замѣтны въ вашемъ простомъ черномъ фракѣ и въ круглой шляпѣ среди толпы раззолоченной ливрейной знати»¹⁾.

Гарибальди онъ замѣтилъ: «У васъ такая же слава въ Америкѣ, какъ въ Европѣ; только въ Америкѣ еще прибавляется новый титулъ: тамъ васъ знаютъ за отличнаго моряка».

За десертомъ, когда m-me Sanders уже вышла и подали сигары съ еще большимъ количествомъ вина, Бюхананъ, сидѣвшій противъ Ледрю-Роллена, сказалъ ему, «что у него былъ знакомый въ Нью-Йоркѣ, говорившій, будто онъ готовъ бы былъ съѣздить изъ Америки во Францію только для того, чтобъ познакомиться съ нимъ».

По несчастію, Бюхананъ какъ-то шамшилъ, а Ледлю-Ролленъ плохо понималъ по-англійски; въ силу чего вышло презабавное *qui pro quo*. Ледрю-Ролленъ думалъ, что Бюхананъ говоритъ это отъ себя и, съ французскимъ *effusion de reconnaissance*, сталъ его благодарить—и протянулъ ему черезъ столъ свою огромную руку. Бюхананъ принялъ благодарность и руку и, съ тѣмъ невозможнымъ спокойствіемъ въ трудныхъ обстоятельствахъ, съ которыми англичане и американцы тонуть съ кораблемъ или теряютъ половину состоянія,—замѣтилъ ему: «I think—it is a mistake,—это не я такъ думалъ, это одинъ изъ моихъ хорошихъ приятелей въ New-York'ѣ».

Праздникъ кончился тѣмъ, что поздно вечеромъ, когда Бюхананъ уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ не считъ болѣе возможнымъ остаться и Кошутъ, и отправился съ своимъ министромъ безъ портфеля,—Сандерсъ сталъ умолять насъ снова сойти въ столовую, гдѣ онъ хотѣлъ самъ приготовить какой-то американскій пуншъ изъ стараго кентукійскаго виски. Къ тому же, Сандерсу тамъ хотѣлось вознаграждать себя за отсутствіе тостовъ за будущую всемірную (бѣлую) республику и т. д., которыхъ, должно быть, осторожный Бюхананъ не допускалъ. За обѣдомъ пили тосты двухъ-трехъ гостей и его, безъ рѣчей.

Пока онъ жегъ какой-то алкоголь и приправлялъ его всякой всячиной,—онъ предложилъ хоромъ *отслужить* марсельезу. Оказалось, что музыку ея порядкомъ зналъ одинъ Ворцель—зато у него было *extinction* голоса.—да кое-какъ Маццини, и пришлось звать американку Сандерсъ, которая сыграла марсельезу на гитарѣ.

Между тѣмъ ея супругъ, окончивъ свою стряпню, попробовалъ ее, остался доволенъ и разлилъ намъ въ большія чайныя чашки.

¹⁾ Я ни слова тогда не говорилъ по-англійски. Бюхананъ плохо понималъ по-французски. Ворцель ему переводилъ мои слова.

Не опасаясь ничего, я сильно хлебнулъ—и въ первую минуту не могъ перевести духа. Когда я пришелъ въ себя и увидѣлъ, что Ледрю-Ролленъ собирался также усердно хлебнуть, я остановилъ его словами:

— Если вамъ дорога жизнь, то вы осторожнѣе обращайтесь съ кентукійскимъ прохладительнымъ; я русскій — да и то опалилъ себѣ нѣбо, горло и весь пищепріемный каналъ,— что же будетъ съ вами? Должно быть, у нихъ въ Кентуки пуншъ дѣлается изъ краснаго перца, настоящаго на купоросномъ маслѣ.

Американецъ радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцевъ. Подражатель Митридата съ молодыхъ лѣтъ, я одинъ подаль пустую чашку и попросилъ еще. Это химическое сродство съ алкоголемъ ужасно подняло меня въ глазахъ консула.

— Да, да, говорилъ онъ, только въ Америкѣ и въ Россіи люди и умѣютъ пить.

Да, есть и еще больше лестное сходство, подумалъ я, только въ Америкѣ и въ Россіи умѣютъ крѣпостныхъ засѣкать до смерти.

Пуншемъ въ 70% окончился этотъ обѣдъ, испортившій больше крови нѣмецкимъ фолликуляріямъ, чѣмъ желудокъ обѣдавшимъ.

За трансъ-атлантическимъ обѣдомъ слѣдовала попытка *международнаго комитета*:— послѣднее усиліе чартистовъ и изгнанниковъ соединенными силами заявить свою жизнь и свой союзъ. Мысль этого комитета принадлежала Эрнесту Джонсу. Онъ хотѣлъ оживить дряхлѣвшій не по лѣтамъ чартизмъ,—сближать англійскихъ работниковъ съ французскими социалистами. Общественнымъ актомъ этой entente cordiale назначенъ былъ митингъ— въ воспоминаніе 24 февраля 1848.

Международный комитетъ избралъ между десятками другихъ и меня своимъ членомъ. Меня просили сказать рѣчь о Россіи; я поблагодарилъ ихъ письмомъ, рѣчи говорить не хотѣлъ; тѣмъ бы и заключилъ, если-бъ Марксъ и Головинъ не вынудили меня явиться на зло имъ на трибунѣ St.-Martin's Hall. Сначала Джонсъ получилъ письмо отъ какого-то нѣмца, протестовавшаго противъ моего избранія. Онъ писалъ, что я извѣстный панславистъ, что я писалъ о необходимости завоеванія Вѣны, которую назвалъ славянскою столицей; что я проповѣдую русское крѣпостное состояніе, какъ идеаль для земледѣльческаго населенія. Во всемъ этомъ онъ ссылался на мои письма къ Линтону (*La Russie et le vieux monde*). Джонсъ бросилъ безъ вниманія патріотическую клевету.

Но это письмо было только авангардною рекогносцировкой. Въ слѣдующее засѣданіе комитета Марксъ объявилъ, что онъ

считаетъ мой выборъ несомнѣннымъ съ цѣлью комитета и предлагалъ выборъ уничтожить. Джонсъ замѣтилъ, что это не такъ легко, какъ онъ думаетъ, что комитетъ, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желанія быть членомъ, и сообщивши ему официально избраніе, не можетъ измѣнить рѣшеній по желанію одного члена, что пусть Марксъ формулируетъ свои обвиненія, и онъ ихъ предложитъ теперь же на обсужденіе комитета.

На это Марксъ сказалъ, что онъ меня лично не знаетъ, что онъ не имѣетъ никакого частнаго обвиненія, но находитъ достаточнымъ и того, что я русскій, и притомъ *русскій, который во всемъ, что писалъ, поддерживаетъ Россію*, что, наконецъ, если комитетъ не исключитъ меня, то онъ, Марксъ, со всѣми своими будетъ принужденъ выйти.

Французы, поляки, итальянцы, челоуѣка два-три нѣмцевъ и англичане вотировали за меня. Марксъ остался въ страшномъ меньшинствѣ. Онъ всталъ и, со своими пріятелями, оставилъ комитетъ, куда болѣе не возвращался.

Побитые въ комитетѣ, марксисты отретировались въ свою твердыню—въ Morning Advertiser. Герстъ и Блакетъ издали англійскій переводъ одного тома «Былого и Думъ», включивъ въ него «Тюрьму и Ссылку»; чтобъ товаръ продать лицомъ, они не обинуясь поставили: «My exil in Siberia» на заглавномъ листѣ Express первый замѣтилъ это фанфаронство. Я написалъ къ издателямъ письмо, и другое въ Express. Герстъ и Блакетъ объявили, что заглавіе было сдѣлано ими, что въ оригиналѣ его нѣтъ, но что Гофманъ и Кампе поставили въ нѣмецкомъ переводѣ тоже «въ Сибири». Express все это напечаталъ. Казалось, дѣло было кончено. Но Morning Advertiser началъ меня шпиговать въ недѣлю раза два-три. Онъ говорилъ, что я слово *Сибирь* употребилъ для лучшаго сбыта книги, что я протестовалъ черезъ *пять дней* послѣ выхода книги, т. е., давши время сбыту изданіе. Я отвѣчалъ, они сдѣлали рубрику: «Case of M. Herzen», какъ помѣщаютъ дополненіе къ убійствамъ или уголовнымъ процессамъ. Адвертейзеровскіе нѣмцы не только сомнѣвались въ Сибири, приписанной книгопродавцемъ, но и въ самой ссылкѣ. «Въ Вяткѣ и Новгородѣ г. Герценъ былъ на императорской службѣ; гдѣ же и когда онъ былъ въ ссылкѣ?»

Наконецъ, интересъ изсякъ, и Morning Advertiser забылъ меня.

Прошло четыре года.—Началась итальянская война. Красный Марксъ избралъ самый черно-желтый журналъ въ Германіи, «Аугсбургскую газету», и въ ней сталъ выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута съ Телеки, Пульскаго и пр., какъ продавшихся Бонапарту. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ напечаталъ: «Герценъ, по самымъ вѣрнымъ источникамъ,

получаетъ большія деньги отъ Наполеона. Его близкія сношенія съ Palais-Royal'емъ были и прежде не тайной». Я не отвѣчалъ; но зато былъ почти обрадованъ, когда одинъ тощій лондонскій журналъ помѣстилъ статейку, въ которой говорилъ (несмотря на то, что я десять разъ отрицалъ это), будто я «рекомендую Россіи завоевать Вѣну и считаю ее столицей славянскаго міра».

Мы сидѣли за обѣдомъ, — человѣкъ десять; кто-то разсказывалъ изъ газетъ о злодѣйствахъ, сдѣланныхъ Урбаномъ со своими пандурами возлѣ Комо. Кавуръ обнародовалъ ихъ. Что касается до Урбана, въ немъ сомнѣваться было грѣшно. Кондотьеръ безъ роду и племени, онъ гдѣ-то родился на бивакахъ и выросъ въ какихъ-то казармахъ: пандуръ и грабитель *par droit de conquête et par droit de naissance, fille du régiment* мужского пола, и по всему свирѣпый солдатъ. Дѣло было какъ-то около Мадженты и Сольферино. Нѣмецкій патриотизмъ былъ тогда въ періодъ злѣйшей ярости; классическая любовь къ Италіи, патриотическая ненависть къ Австріи, — все исчезло передъ *патосомъ* національной гордости, хотѣвшей во что бы то ни стало удержать чужой «квадрилатеръ». Баварцы собирались итти, несмотря на то, что ихъ никто не посылалъ, никто не звалъ, никто не пускалъ. Гремя ржавыми саблями бефрейюнгс-крига, они запаивали пивомъ и засыпали цвѣтами всякихъ кроатовъ и далматовъ, шедшихъ бить итальянцевъ за Австрію и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанникъ Бухеръ и какой-то, должно быть побочный потомокъ Барбароссы, Ротбартусъ протестовали противъ всякаго притязанія иностранцевъ (т. е., итальянцевъ) на Венецію.

При этихъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ и былъ, между супомъ и рыбой, поднятъ несчастный вопросъ о злодѣйствахъ Урбана.

— Ну, если это не правда? — замѣтилъ нѣсколько поблѣднѣвшій докторъ М.-С. изъ Мекленбурга по тѣлесному и Берлина по духовному рожденію.

— Однако же нота Кавура...

— Ничего не доказываетъ.

— Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ я, можетъ, подъ Маджентой австрійцы разбили на голову французовъ: вѣдь, никто изъ насъ не былъ тамъ.

— Это другое дѣло: тамъ тысячи свидѣтелей, а тутъ какіе-то итальянскіе мужики.

— Да что за охота защищать австрійскихъ генераловъ?... Развѣ мы ихъ и прусскихъ офицеровъ не знаемъ по 1848 г.: эти проклятые юнкеры, съ дерзкимъ лицомъ, надменнымъ видомъ...

— Господа, — замѣтилъ М.-С. — прусскихъ офицеровъ не слѣдуетъ оскорблять и ставить на ряду съ австрійскими.

— Такихъ тонкостей мы не знаемъ; всѣ они несносны, противны. Мнѣ кажется, что всѣ они, да и наши лейбъ-гвардейцы въ добавокъ, такіе же...

— Кто обижаетъ прусскихъ офицеровъ, обижаетъ прусскій народъ: они съ нимъ неразрывны, и М.-С., совѣмъ блѣдный, отставилъ въ первый разъ отроду дрожащей рукой стаканъ налитаго пива.

— Нашъ другъ М.-С.—величайшій патриотъ Германіи, сказалъ я, все еще полушутя,—онъ на алтарь отечества приноситъ больше чѣмъ жизнь, больше, чѣмъ обожженную руку; онъ жертвуетъ здравымъ смысломъ.

— И нога его не будетъ въ домъ, гдѣ обижаютъ германскій народъ!

Съ этими словами мой докторъ философіи всталъ, бросилъ на столъ салфетку, какъ матеріальный знакъ разрыва, и мрачно вышелъ... Съ тѣхъ поръ мы не видѣлись.

А, вѣдь, мы съ нимъ пили на «Du» у Стеели, Gendarmen-Platz, въ Берлинѣ, въ 1847 году, и онъ былъ самый лучшій и самый счастливый Bummelg изъ всѣхъ, видѣнныхъ мною. Не въѣзжая въ Россію, онъ какъ-то всю жизнь прожилъ съ русскими, и біографія его не лишена для насъ интереса.

Какъ всѣ нѣмцы, не работающіе руками, М.-С. учился древнимъ языкамъ очень долго и подробно; зналъ ихъ очень хорошо и много. Его образование было до того упорно классическое, что онъ не имѣлъ времени никогда заглянуть ни въ какую книгу объ естествовѣдѣніи, хотя естественныя науки уважалъ, зная, что Гумбольдтъ ими занимался всю жизнь. М.-С., какъ всѣ филологи, умеръ бы отъ стыда, если-бъ онъ не зналъ какой-нибудь книжонки средневѣковой, или классическую дрянь, и не обинуясь признавался, напр., въ совершенномъ невѣдѣніи физики, химіи и пр. Страстный музыкантъ безъ Anschlag'a и голоса, платонической эстетики, неумѣвшій карандаша взять въ руки и изучавшій картины и статуи. Въ Берлинѣ М.-С. началъ свою карьеру глубокомысленными статьями объ игрѣ талантливыхъ, но все неизвѣстныхъ, берлинскихъ актеровъ въ «Шпенеровой газетѣ», и былъ страстнымъ любителемъ спектакля. Театръ, впрочемъ, не мѣшалъ ему любить вообще всѣ зрѣлища, отъ звѣринцевъ, съ пожилыми львами и умывающимся бѣлымъ медвѣдемъ, и фокусниковъ, до панорамъ, телятъ съ двумя головами, восковыхъ фигуръ, ученыхъ собакъ и пр.

Въ жизнь мою я не видывалъ такого *дѣятельнаго лѣнтяя*, такого вѣчно занятаго празднующагося. Утомленный, въ поту, въ пыли, измятый, затасканный, приходилъ онъ въ одиннадцатомъ часу вечера и бросался на диванъ... Вы думаете, у

себя въ комнатѣ? совсѣмъ нѣтъ, — въ учено-литературной бирж-
кнейпѣ, у Стеели, и принимался за пиво. Выпивалъ онъ его
нечеловѣческое количество, безпрестанно стучалъ крышкой кружки,
и Jungfer уже знала безъ словъ и просьбы, что слѣдуетъ нести
другую. Здѣсь, окруженный отставными актерами и еще непри-
нятыми въ литературу писателями, проповѣдывалъ М.-С. часы
о Каульбахѣ и Корнелиусѣ, — о томъ, какъ пѣлъ въ этотъ вечеръ
Лаблашъ въ королевской оперѣ, о томъ, какъ мысль губить сти-
хотвореніе и портить картину, убивая ея непосредственность...
Вдругъ онъ вскакивалъ, вспомнивъ, что долженъ завтра въ во-
семь часовъ утра бѣжать къ Пассаланьи, въ египетскій музей
смотрѣть новую мумію; и непремѣнно въ восемь часовъ, потому
что въ половинѣ десятаго одинъ пріятель обѣщалъ сводить его
въ конюшню англійскаго посланника показать, какъ англичане
отлично содержать лошадей. Схваченный такимъ воспоминаніемъ,
М.-С. извиняясь, наскоро выпивалъ кружку, забывая то очки, то
платокъ, то крошечную табакерку, бѣжалъ въ какой-то переулокъ
за Шпре, подымался на четвертый этажъ и торопился выспаться,
чтобъ не заставить дожидаться мумію, три-четыре тысячи лѣтъ
покоившуюся, не нуждаясь ни въ Пассаланьи, ни въ док-
торѣ М.-С.

Безъ гроша денегъ и тратя послѣднія на Cerevisia и Circenses,
М.-С. жилъ на антоніевой пиццѣ, храня внутри сердца непреодо-
лимую любовь къ кухоннымъ рѣдкостямъ и столовымъ лаком-
ствамъ. Зато, когда фортуна ему улыбалась и когда его несчаст-
ная любовь могла перейти въ реальную, — онъ торжественно до-
казывалъ, что онъ не только уважалъ категорію качества, но
столько же отдавалъ справедливости категоріи количества.

Судьба, рѣдко балующая нѣмцевъ, особенно идущихъ по фи-
лологической части, сильно баловала М.-С. Онъ случайно попалъ
въ пассатное русское общество, и при томъ молодыхъ и образо-
ванныхъ русскихъ. Оно завертѣло его, закармило, запоило. Это
было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre! Лица
мѣнялись, пиръ продолжался. Безсмѣннымъ былъ одинъ М.-С.
Кого и кого, съ 1848 года, не водилъ онъ по музеямъ, кому не
объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда
была эпоха германопоклоненія въ пущемъ разгарѣ; русскій оста-
навливался съ почтеніемъ въ Берлинѣ, тронутый тѣмъ, что по-
пираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поми-
налъ его и учениковъ его съ М.-С. языческими возліаніями и
страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить все
міросозерпаніе какого-угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ
синтезисомъ обнять страсбургскіе пироги и шампанское съ изу-
ченіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера,

Вердера, Шиллера, Розенкранца и всѣхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нихъ все еще,—если страсбургскій пирогъ—то банкиръ,—если Champagner—то юнкеръ.

М.-С. довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету (или, потомъ, въ вагонъ), чтобъ ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьѣ, подъѣзжавшей изъ Кенигсберга или Штетина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу,—и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладкимъ пивомъ новаго знакомства. Виргилій философскаго чистилища, онъ вводилъ сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище *des reinen Denkens und des deutschen Kneipens*. Чистые душою соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранныя комнаты отелей, чтобы бѣжать съ М.-С. въ душную поль-пивную. Они всѣ были внѣ себя отъ буршиковской жизни, и скверный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и пріятенъ былъ.

Въ 1847 году и я дѣлилъ эти увлеченія, и мнѣ казалось, что я какъ-то выше становлюсь въ общественномъ значеніи отъ того, что по вечерамъ встрѣчалъ въ поль-пивной Ауэрбаха, читавшаго карикатурно Шиллерову *Bürgerschaft* и рассказывавшаго смѣшныя анекдоты, въ родѣ того, какъ русскій генералъ покупалъ для двора какія-то картины въ Дюссельдорфѣ. Генералъ былъ не совсѣмъ доволенъ величиной картины и думалъ, что живописецъ хочетъ его обмѣрить.

«*Гутъ*,—говоритъ онъ,—*аберь клейнъ. Кейзеръ liebt grosse Bilder, Кейзеръ sehr klug; Gott klüger, aber Кейзеръ noch jung*» и т. п. Кромѣ Ауэрбаха, тамъ бывали два-три берлинскихъ (что было въ этомъ звукѣ для русскаго уха сороковыхъ годовъ!) профессора, одинъ изъ нихъ въ какомъ-то скрутокѣ на *военный* манеръ, и какой-то спившійся актеръ, который былъ недоволенъ современнымъ сценическимъ искусствомъ и считалъ себя неузнаннымъ гениемъ. Этого неопѣяннаго Тальму заставляли всякій вечеръ пѣть куплеты «о покушеніи Фіески на Людовика Филиппа» и, немного потише, о выстрѣлѣ чеха въ прусскаго короля.

Hatte Keiner je so Pech
Wie der Bürgermeister Tschech,
Denn er schoss der Landesmutter
Durch den Rock ins Unterfutter.

Вотъ она свободная - то Европа!.. вотъ онѣ — Аэины на Шпре! И какъ мнѣ было жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ.

Зачѣмъ износились все эти чувства непочатости, сѣверной свѣжести и невѣдѣнія, удивленія, поклоненія? Все это оптический обманъ. Что же за бѣда? развѣ мы въ театрѣ ходимъ не изъ-за оптического обмана; только тутъ мы сами въ разговорѣ съ обманщикомъ; а тамъ если и есть обманъ,—то нѣтъ обманщика. Потому всякій увидитъ свои ошибки, улыбнется, немного посовѣстится; солжетъ, что этого никогда не было. А веселыя-то минуты *были таки.*

Зачѣмъ видѣть сразу всю подноготную? Мнѣ просто хотѣлось бы воротиться къ прежнимъ демократіямъ и взглянуть на нихъ съ лицевой стороны: «Луиза, обмани меня... солги, Луиза!»

Но Луиза (тоже М.-С.), отворачиваясь отъ старика, говорить, надувши губки: «Ach, um Himmelsnaden lassen Sie doch ihre Thorheiten und gehen Sie nur ihren Weg!» и бреди себѣ по мостовой изъ булыжника, въ пыли, шумѣ, трескѣ, въ безотрадныхъ, ненужныхъ, мелькающихъ встрѣчахъ, ничѣмъ не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь къ выходу—зачѣмъ? Затѣмъ, что его миновать нельзя.

Возвращаясь къ М.-С., я долженъ сказать, что не все же онъ жилъ бабочкой, перелетая отъ Кронгартена Подъ-Липы. Нѣтъ, и его молодость имѣла свою героическую главу. Онъ высидѣлъ цѣлыхъ *пять лѣтъ* въ тюрьмѣ и никогда порядкомъ не зналъ за что, такъ же, какъ и философское правительство, которое его засадило; тогда преслѣдовали отголоски Гамбахскаго праздника, студенческихъ рѣчей, брудершафтскихъ тостовъ, буршентумскихъ идей и тугендбундскихъ воспоминаній. Вѣроятно, и М.-С. что-нибудь вспомнилъ: его и посадили. Конечно, во всѣхъ Пруссіяхъ, съ Вестфаліей и Рейнскими провинціями, не было субъекта меньше опаснаго для правительства, какъ М.-С.—М. С. родился зрителемъ, шаферомъ, публикой. Во время берлинской революціи 1848 г. онъ отнесся къ ней точно также; онъ бѣгалъ съ улицы на улицу, подвергаясь то пулѣ, то аресту, для того, чтобы посмотреть, что тамъ дѣлается и что тутъ.

Послѣ революціи, отеческое управленіе короля-богослова и философа стало тяжело, и М.-С., походивши еще съ полъ-года къ Стеели и Пассаланьи, началъ скучать. Звѣзда его стояла высоко: спасеніе было возлѣ. Полина Гарсія Віардо пригласила его къ себѣ въ Парижъ. Она была такъ покрыта нашими подснѣжными вѣнками, такъ окружена сѣверной любовью нашей, что сама состояла на правахъ русской и имѣла, стало быть, въ свою очередь неотъемлемое право на чичеронство М.-С. въ Берлинѣ. Віардо звала его погостить у нихъ. Быть въ домѣ у умной, блестящей, образованной Віардо значило разомъ перешагнуть пропасть, которая дѣлитъ всякаго туриста отъ Парижскаго и Лон-

донскаго общества, всякаго нѣмца безъ *особенныхъ примѣтъ* отъ французовъ. Быть у нея въ домѣ—значило быть въ кругу артистовъ и либераловъ марастовскаго цвѣта, литераторовъ, Ж.-Зандъ и проч. Кто не позавидоваль бы М.-С. и его дебютамъ въ Парижѣ.

На другой день послѣ своего приѣзда онъ прибѣжалъ ко мнѣ, совершенно запаленный отъ усталости и суеты, и, не имѣя времени сказать двухъ словъ, выпилъ бутылку вина, разбилъ стаканъ, взялъ мою зрительную трубку и побѣжалъ въ театръ. Въ театрѣ онъ трубку потерялъ и, проведя цѣлую ночь по разнымъ полицейскимъ домамъ, явился ко мнѣ съ повинной головой. Я отпустилъ ему грѣхъ бинокля за удовольствіе, которое мнѣ онъ доставлялъ своимъ медовымъ мѣсяцемъ въ Парижѣ. Тутъ только онъ показалъ всю ширь своихъ способностей; онъ выросъ ненасытностью всего на свѣтѣ: картинъ, дворцовъ, звуковъ, видовъ, потрясеній, ѣды и питья. Проглотивъ три-четыре дюжины устрицъ, онъ принимался за три другихъ, потомъ за омара, потомъ за цѣлый обѣдъ; окончивъ бутылку шампанскаго, онъ наливалъ съ такимъ же наслажденіемъ стаканъ пива; сходя съ лѣстницы Вандомской колонны, онъ шелъ на куполь Пантеона: и тамъ и тутъ удивлялся громкимъ и наивнымъ удивленіемъ нѣмца, этого провинціала по натурѣ. Между волкомъ и собакой забѣгалъ онъ ко мнѣ, выпивалъ галонъ пива, ѣлъ что попало и, когда волкъ бралъ верхъ надъ собакой, М.-С. въ райкѣ какого-нибудь театра заливался громкимъ гутуральнымъ хохотомъ и потомъ, струившимся со всего лица его.

Не успѣлъ еще М.-С. досмотрѣть Парижъ и догадаться, что онъ становится невыносимо противенъ, какъ Ж.-Зандъ увезла его къ себѣ въ Nohant. Для элегантной Виардо М.-С. *à la longue* былъ слишкомъ грузенъ; съ нимъ случались въ ея гостиной разныя несчастья. Разъ какъ-то онъ съ неосторожной скоростью уничтожилъ цѣлую корзиночку какихъ-то особенныхъ чудесъ, приготовленныхъ къ чаю для десяти человѣкъ, такъ что, когда Виардо ихъ предложила, въ корзинкѣ были однѣ крошки, и не въ одной корзинкѣ, а и на усахъ М.-С. ¹⁾

Виардо передала его Ж.-Зандъ. Ж.-Зандъ, наскучивъ Парижемъ, ѣхала на покойное помѣщичье житье. Ж.-Зандъ сдѣлала съ М.-С. чудеса. Она какъ-то вычистила, прибрала, привела его въ порядокъ; исчезъ темный табакъ, покрывавшій верхнюю часть его бѣлокурыхъ усовъ, и доля нѣмецкихъ кнейповыхъ пѣсенъ

¹⁾ И. Т. говорилъ о М.-С., что, садясь за закуску, онъ съ опытностью искуснаго полководца осматривалъ позицію и, если находилъ слабое мѣсто, т. е., вино или мясо, поданное въ недостаточномъ количествѣ, онъ тотчасъ нападалъ на нихъ и бралъ двойную порцію.

замѣнилась французскими, въ родѣ: «Pricadier, rébontit Pantore».. Зачѣмъ онъ не утонулъ, купаясь въ Nohant; зачѣмъ не зашибла его гдѣ-нибудь желѣзная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамерѣ съ буфетами, площадками и музыкой. М.-С. вставилъ двойную рамку лорнета въ глаза и помолодѣлъ; когда онъ пріѣхалъ въ Парижъ въ отпускъ, я его едва узналъ. Послѣ 13 июня 1849 г., я уѣхалъ изъ Парижа; геройство М.-С., кричавшаго «Au armes!» на Chaussée d'Antin, я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ. Возвратившись въ 1850 г. въ Парижъ, я М.-С. не видѣлъ; онъ былъ у Ж.-Зандъ. Меня выслали изъ Франціи. Года черезъ два, я былъ въ Лондонѣ и шелъ по Трафальгарской площади. Какой-то господинъ пристально смотрѣлъ въ вставленный лорнетъ на Нельсона; досмотрѣвши его съ лѣвой стороны, онъ занялся правой. «Да, это онъ! кажется, онъ».

Между тѣмъ господинъ занялся спиной адмирала.—«М. С.!»—закричалъ я ему. Онъ не тотчасъ пришель въ себя: такъ его заняла плохая статуя сквернаго человѣка; но потомъ, съ крикомъ Potz Tausend, бросился ко мнѣ. Онъ переѣхалъ на житье въ Лондонъ, счастливая звѣзда его померкла. Да и трудно сказать, зачѣмъ онъ пріѣхалъ именно въ Лондонъ. Буммлеру, когда у него есть деньги, нельзя не побывать въ Лондонѣ: въ немъ будетъ пробѣлъ, раскаяніе, неудовлетворенное желаніе; но жить въ Лондонѣ ему нельзя и съ деньгами, а безъ денегъ и думать нечего.

Въ Лондонѣ надобно работать въ *самомъ дѣлѣ*, работать безостановочно, какъ локомотивъ, правильно, какъ машина. Если человѣкъ отошелъ на день, на его мѣстѣ стоятъ двое другихъ; если человѣкъ занемогъ, его считаютъ мертвымъ всѣ, отъ кого ему надобно получать работу, и здоровымъ всѣ, кому надобно получить отъ него деньги.

М.-С., М.-С.!... Куда ты попалъ изъ должности Виргилія въ Берлинѣ, изъ салоновъ Віардо, изъ помѣщицѣй нѣги Ж.-Зандъ! Ноганскіе пресале и пулярдки—прощай; прощай русскіе завтраки, продолжающіеся до вечера, и русскіе обѣды, оканчивающіеся на другой день; да, прощай и русскіе:—въ Лондонѣ русскіе ѣздили на скорую руку, сконфуженные, потерянные; имъ было не до М.-С. Да, кстати прощай и солнце, которое такъ хорошо грѣетъ и весело свѣтитъ, когда нѣтъ денегъ на внутреннее топливо... Туманъ, дымъ и вѣчная борьба работы, бой изъ-за работы! Года черезъ три М.-С. сталъ замѣтно старѣть; морщины прорѣзывались глубже и глубже,—онъ опускался. Уроки не шли (несмотря на то, что онъ на нѣмецкій ладъ былъ очень основательно ученъ). Зачѣмъ онъ не ѣхалъ въ Германію? Но вообще у нѣмцевъ, даже у такихъ неистовыхъ патріотовъ, какъ М.-С., дѣлается, поживши

нѣсколько лѣтъ внѣ Германіи, непреодолимое отвращеніе отъ родины, что-то въ родѣ обратнаго Heimweh. Въ Лондонѣ онъ не могъ свести концовъ. Длинная масленица, длившаяся около десяти лѣтъ, кончилась, и суровый постъ захватилъ добродушнаго буммера; потерянный, вѣчно ищущій захватить денегъ, кругомъ въ маленькихъ долгахъ и становясь лицомъ изъ Диккенсова романа, М.-С. все еще доканчивалъ «Эриха»,—все еще мечталъ, что продать его и заслужить разомъ талеры и лавры,—но «Эрихъ» былъ упоренъ и не оканчивался, и М.-С., чтобъ освѣжиться, дозволялъ себѣ, сверхъ пива, одну роскошь—pleasure-train въ воскресенье. Онъ платилъ очень дешево за большія пространства и ничего не видалъ.

«Я ѣду на Isle of Wight, назадъ и впередъ (помнится) 4 шил., и завтра утромъ рано буду опять въ Лондонѣ». Что же ты увидишь тамъ? «Да, но за то четыре шиллинга!» Бѣдный М.-С., бѣдный буммеръ!

А впрочемъ, пусть онъ съѣздитъ въ Рейдъ, не выдавши его; лишь бы также не видалъ будущаго: въ его гороскопѣ не осталось ни одной свѣтлой точки, ни одного шанса. Онъ, бѣдняга безотрадный, исчезнетъ въ лондонскомъ туманѣ.

Лондонская вольница ¹⁾

ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

Отрывокъ этотъ идетъ за описаніемъ «горныхъ вершинъ» эмиграціи, отъ ихъ вѣчно красныхъ утесовъ до низменныхъ болотъ и «сѣрныхъ копей» ²⁾. Я прошу читателя не забывать, что въ этой главѣ мы опускаемся съ нимъ ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистымъ дномъ его, такъ, какъ оно было послѣ февральскаго шквала.

Почти все описанное здѣсь измѣнилось, исчезло; политическіе подонки пятидесятихъ годовъ занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притихъ, вымеръ этотъ низменный міръ волненій и гоненій, отстой его успокоился и занялъ свое мѣсто въ слойкѣ. Оставшіяся личности становятся рѣдкостью и я ужъ люблю съ ними встрѣчаться.

Печально уродливы, печально смѣшны нѣкоторые изъ образовъ, которые я хочу вывести, но они всѣ писаны съ натуры,—безслѣдно исчезнуть и они не должны.

ГЛАВА VI.

Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и комиссіонеры—Ходябщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни.—Русскіе.—Воры.—Шпіоны.

(Писано въ 1856—1857).

... Отъ *сѣрной шайки*, какъ сами нѣмцы называютъ марксидовъ, естественно и не далеко перейти къ послѣднимъ подонкамъ къ мутной гущѣ, которая осѣдаетъ отъ континентальныхъ толчковъ и потрясеній—на британскихъ берегахъ и пуще всего въ Лондонѣ.

Можно себѣ представить, сколько противоположнаго снадобья

¹⁾ Изъ V тома „Былое и Думы“.

Примѣчаніе заграничнаго изданія.

²⁾ Die Schwefelbände.

захватываютъ съ собой съ материка и оставляютъ въ Англии приливы и отливы революцій и реакцій, истощающихъ, какъ перемежающаяся лихорадка, европейскій организмъ, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродятъ по сырому, топкому лондонскому дну. Каковъ долженъ быть хаосъ понятій, возрѣній у этихъ образцовъ всѣхъ нравственныхъ формаций и реформаций, всѣхъ протестовъ, всѣхъ утопій, всѣхъ отчаяній, всѣхъ надеждъ, встрѣчающихся въ закоулкахъ, харчевняхъ и питейныхъ домахъ Лестеръ-Сквера и его *проселочныхъ* переулковъ. «Тамъ, гдѣ, по выраженію «Теймса», обитаетъ жалкое населеніе чужеземцевъ, носящихъ шляпы, какихъ никто не носить, и волосы тамъ, гдѣ ихъ ненужно, населеніе несчастное». Да, тамъ дѣйствительно по public houses'амъ и харчевнямъ сидятъ эти чужіе, эти гости, за джиномъ съ горячей водой, съ холодной водой и совѣмъ безъ воды, горькимъ портеромъ въ кружкѣ и съ еще больше горькими словами на губахъ, поджидая революціи, къ которой они больше не способны, и денегъ отъ родныхъ, которыхъ никогда не получаютъ.

Какихъ оригиналовъ, какихъ чудаковъ я не наглядѣлся между ними! Тутъ, рядомъ съ коммунистомъ стараго толка, ненавидящимъ всякаго собственника во имя общаго братства,—старый карлистъ, пристрѣливавшій своихъ родныхъ братьевъ во имя любви къ отечеству, изъ преданности къ Монтемолино или Донъ-Хуану, о которыхъ ничего не зналъ и не знаетъ. Тамъ, рядомъ съ венгерцемъ, рассказывающимъ, какъ онъ съ пятью гонведами опрокинулъ эскадронъ австрійской кавалеріи, и застегивающимъ венгерку до самаго горла, чтобы имѣть еще больше военный видъ, венгерку, размѣры которой показываютъ, что ея юность принадлежала другому,—нѣмецъ, дающій уроки музыки, латыни, всѣхъ литературъ и всѣхъ искусствъ изъ насущнаго пива, атеистъ, космополитъ, презирающій всѣ націи, кромѣ Куръ-Гессена или Гессенъ-Касселя, смотря по тому, въ которомъ изъ Гессеновъ родился; полякъ, прежняго покроя, католически любящій независимость, и итальянецъ, полагающій независимость въ ненависти къ католицизму.

Возлѣ эмигрантовъ-революціонеровъ—эмигранты-консерваторы. Какой-нибудь негоціантъ или нотариусъ, sans adieux удалившійся отъ родины, кредиторомъ и довѣрителемъ, считающій себя тоже *несправедливо гонимымъ*, какой-нибудь *честный* банкротъ, увѣренный, что онъ скоро очистится, приобрѣтетъ кредитъ и капиталъ, такъ какъ его сосѣдъ справа достовѣрно знаетъ, что на дняхъ, la coupe будетъ провозглашена лично самой «Марьяной», а сосѣдъ слѣва, что Орлеанская фамилія укладывается въ Клер-

монѣ и принцессы шьютъ отличныя платья для торжественнаго въѣзда въ Парижъ.

Къ консервативной средѣ «виноватыхъ, но не осужденныхъ окончательно за отсутствіемъ подсудимаго», принадлежать и больше радикальныя лица, чѣмъ банкроты и нотариусы съ горячимъ воображеніемъ;—это люди, имѣвшіе на родинѣ большія несчастія и желающіе всѣми силами выдать свои простыя несчастія за несчастія всѣми силами выдать свои политическія. Эта особая номенклатура требуетъ поясненія.

Одинъ нашъ пріятель явился, шутя, въ агентство сватовства. Съ него взяли десять франковъ и принялись распрашивать, какую ему нужно невѣсту, въ сколько приданаго, бѣлокурую или смуглую, и пр.; затѣмъ записывавшій гладенькій старичекъ, оговорившись и извиняясь, сталъ спрашивать о его происхожденіи, очень обрадовался, узнавъ, что оно дворянское, потомъ, усугубивъ извиненія, спросилъ его, замѣтивъ притомъ, что молчаніе гроба ихъ законъ и сила:

— Не имѣли ли вы несчастій?

— Я полякъ и въ изгнаніи, т. е., безъ родины, безъ правъ, безъ состоянія.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причинѣ оставили вы вашу belle patrie?

— По причинѣ послѣдняго возстанія (дѣло было въ 1848 году).

— Это ничего не значить, политическія несчастія мы не считаемъ, оно скорѣе выгодно, c'est une attraction. Но позвольте, вы меня завѣряете, что у васъ не было другихъ несчастій?

— Мало ли было, ну, отецъ съ матерью у меня умерли.

— О, нѣтъ, нѣтъ...

— Что же вы разумѣете подъ словомъ другого несчастія?

— Видите, если-бъ вы оставили ваше прекрасное отечество по частнымъ причинамъ, а не по политическимъ. Иногда въ молодости, неосторожность, дурные примѣры, искушеніе большихъ городовъ, знаете эдакъ... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, какъ-нибудь...

— Понимаю, понимаю, сказалъ, расхохотавшись, X; нѣтъ, увѣряю васъ, я не былъ судимъ ни за кражу, ни за подлогъ.

... Въ 1855 году одинъ французъ exilé de sa patrie ходилъ по товарищамъ несчастія съ предложеніемъ помочь ему въ изданіи его поэмы, въ ролѣ Бальзаковой «Comedie du diable», писанной стихами и прозой, съ новой орфографіей и вновь изобрѣтеннымъ синтаксисомъ. Тутъ были дѣйствующими лицами: Людовикъ-Филиппъ, Иисусъ Христосъ, Робеспьеръ, Маршалъ Бюжо и самъ Богъ.

Между прочимъ, явился онъ съ той же просьбой къ Ш.¹⁾, честнѣйшему и чопорнѣйшему изъ смертныхъ.

— Вы давно ли въ эмиграціи? спросилъ его защитникъ черныхъ.

— Съ 1847 года.

— Съ 1847 года? и вы пріѣхали сюда?

— Изъ Бреста, изъ каторжной работы.

— Какое же это было дѣло? Я совсѣмъ не помню.

— О, какъ же, тогда это дѣло было очень извѣстно! Конечно, это дѣло больше частное.

— Однакожь?... спросилъ нѣсколько обезпокоенный Ш.

— Ah bas, si vous y tenez, я по своему протестовалъ противъ права собственности, j'ai protesté à ma manière.

И вы... вы были въ Брестѣ?

Parbleu, oui, семь лѣтъ каторжной работы за воровство со взломомъ (vol avec effraction).

И Ш. голосомъ цѣломудренной Сусанны, гнавшей нескромныхъ стариковъ, просилъ самобытнаго протестанта выйти вонъ.

Люди, которыхъ несчастія, по счастью, были общія и протесты коллективные, оставленные нами въ закопченныхъ public housesъ и черныхъ тавернахъ, за некрашенными столами съ джинъ-утеромъ и портеромъ, настрадались вдоволь и, что всего больнѣе, не зная совсѣмъ, за что.

Время шло съ ужасной медленностью, но шло; революціи нигдѣ не было въ виду, кромѣ въ ихъ воображеніи, а нужда дѣйствительная, безпощадная подкашивала все ближе и ближе подножный кормъ, и вся эта масса людей, большею частью хорошихъ, голодала больше и больше. Привычки у нихъ не было къ работѣ; умъ, обращенный на политическую арену, не могъ сосредоточиться на дѣлѣ. Они хватались за все, но съ озлобленіемъ, съ досадой, съ нетерпѣніемъ, безъ выдержки, и все падало у нихъ изъ рукъ. Тѣ, у которыхъ была сила и мужество труда, тѣ незамѣтно выдѣлялись и выплывали изъ тины, а остальные?

И какая бездна была этихъ остальныхъ! Съ тѣхъ поръ многихъ унесла французская амнистія и амнистія смерти, но въ началѣ пятидесятихъ годовъ я засталъ еще the great tide.

Нѣмецкіе изгнанники, особенно не работники, много бѣдствовали, не меньше французовъ. Удачъ имъ было мало. Доктора медицины, хорошо учившіеся и, во всякомъ случаѣ, во сто разъ лучше знавшіе дѣло, чѣмъ англійскіе цирюльники, называемые surgeons, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, съ чистыми и платоническими мечтами объ ис-

¹⁾ Шельгеръ.

куствѣ и священнодѣйственномъ служеніи ему, но безъ производительнаго таланта, безъ ожесточенія, настойчивости работы, безъ мѣткаго чутья, гибли въ толпѣ соревнующихъ соперниковъ. Въ простой жизни своего маленькаго городка, на дешевомъ нѣмецкомъ корму, они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое дѣвственное поклоненіе идеаламъ и вѣру въ свое жреческое призваніе. Тамъ они остались бы и умерли въ подозрѣніи таланта. Вырванные французской бурей изъ родныхъ палисадниковъ, они потерялись въ Бѣловѣжской пушчѣ лондонской жизни.

Въ Лондонѣ, чтобъ не быть затертымъ, задавленнымъ, надобно работать много, рѣзко, сейчасъ и что попало, что потребовали. Надобно остановить разсѣянное вниманіе ко всему приглядѣвшейся толпы силой, наглостью, множествомъ, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слѣпки, портреты, рамки, акварели, крошфейны, цвѣты,—лишь бы скорѣе, лишь бы кстати и въ большомъ количествѣ. Жюльенъ, *le grand Julien*, *черезъ сутки* послѣ полученія вѣсти объ индійской побѣдѣ Гевлока написалъ концертъ съ крикомъ африканскихъ птицъ и топотомъ слоновъ, съ индійскими напѣвами и пушечной пальбой, такъ что Лондонъ разомъ читалъ въ газетахъ и слушалъ въ концертѣ реляцію. За этотъ концертъ онъ выручилъ громадныя суммы, повторяя его мѣсяцъ. А зарейнскіе мечтатели падали середь дороги на этой безчеловѣчной скачкѣ за деньгами и успѣхами, изнеможенные, съ отчаяніемъ складывали они руки или, хуже, подымали ихъ на себя, чтобы окончить нервный и оскорбительный бой.

Кстати къ концертамъ,—музыкантамъ изъ нѣмцевъ вообще было легче; количество ихъ, потребляемое ежедневно Лондономъ съ его субурбами, колоссально. Театры и частные уроки, скромныя балы у мѣщанъ и нескромныя въ *Argyl'румѣ*, въ *Креморнѣ*, въ *Casino*, *cafés chantants* съ танцами, *cafés chantants* съ трико въ античныхъ позахъ, *Her Majesty's Ковень-Гарденъ*, *Эксетеръ-Галь*, *Кристалъ-Палась*, *С. Джемсъ* наверху и углы всѣхъ большихъ улицъ внизу занимаютъ и содержатъ цѣлое народонаселеніе двухъ-трехъ нѣмецкихъ герцогствъ. Мечтай себѣ о музыкѣ будущаго и о Россини, колѣнопреклоненномъ передъ Вагнеромъ, читай себѣ дома *à livre ouvert*, безъ инструмента, Тангейзера и исполняй, за штатскимъ тамбурмажоромъ и гаеромъ съ слоновою палкой, часа четыре къ ряду какую-нибудь *May Ann* польку или *Flower and butterfly's gedova*, и дадутъ бѣдняку отъ двухъ до четырехъ съ половиной шиллинговъ за вечеръ, и пойдетъ онъ въ темную ночь по дождю въ полпивную, въ которую преимущественно ходятъ нѣмцы, и застанетъ тамъ моихъ бывшихъ друзей Краута и Миллера: Краута, шестой годъ работающаго надъ бю-

стомъ, который становится все хуже; Миллера, двадцать шестой годъ дописывающаго трагедію «Эрикъ», которую онъ мнѣ читалъ десять лѣтъ тому назадъ, пять лѣтъ тому назадъ и теперь бы еще читалъ, если-бъ мы не поссорились съ нимъ.

А поссорились мы съ нимъ за генерала Урбана, но объ этомъ въ другой разъ...

... И чего не дѣлали нѣмцы, чтобъ заслужить благосклонное вниманіе англичанъ; все безуспѣшно.

Люди, всю жизнь курившіе во всѣхъ углахъ своего жилья, за обѣдомъ и чаемъ, въ постели и за работою, не курятъ въ Лондонѣ, въ своемъ закопченномъ, продымленномъ отъ угля drawing room'ѣ и не дозволяютъ курить гостю. Люди, всю жизнь ходившіе въ биркнейпы своей родины выпить «шопъ», посидѣть тамъ за трубкой въ хорошемъ обществѣ, идутъ, не глядя, мимо public haus'овъ и посылаютъ туда за пивомъ горничную съ кружкой или молочникомъ.

Мнѣ случилось въ присутствіи одного нѣмецкаго выходца отправлять къ англичанкѣ письмо. «Что вы дѣлаете?» вскрикнулъ онъ въ какомъ-то азартѣ; я вздрогнулъ и невольно бросилъ пакетъ, полагая, по крайней мѣрѣ, что въ немъ скорпіонъ... «Въ Англии, сказалъ онъ, письма складываютъ вообще *втрое*, а не *четыре*, а вы еще пишете къ дамѣ, и къ какой!»

Сначала моего приѣзда въ Лондонъ, я пошелъ отыскивать одного знакомаго нѣмецкаго доктора. Я не засталъ его дома и написалъ на бумагѣ, лежавшей на столѣ, что-то въ родѣ: *Cher docteur*, я въ Лондонѣ и очень желалъ бы васъ видѣть, не придете ли вечеромъ въ такую-то таверну выпить по старому бутылку вина и потолковать о всякой всячинѣ. Докторъ не пришелъ, а на другой день я получилъ отъ него записку въ такомъ родѣ: *Monsieur H.*, мнѣ очень жаль, что я не могъ воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ, мои занятія не оставляютъ мнѣ столько свободнаго времени. Постараюсь, впрочемъ, на дняхъ посѣтить васъ и пр.

— А что? У доктора, видно, практика, того?.. спросилъ я освободителя Германіи, которому былъ обязанъ знаніемъ, что англичане письма складываютъ *втрое*.

— «Никакой нѣтъ, *der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu omind's*».

— Такъ что же онъ дѣлаетъ?—и я передалъ ему записку.

Онъ улынулся, однако замѣтилъ, что и мнѣ врядъ слѣдовало ли оставлять на столѣ доктора медицины открытую записку, въ которой я его приглашаю выпить бутылку вина:

— Да и зачѣмъ же въ такой тавернѣ, гдѣ всегда народъ, здѣсь пьютъ дома.

— Жаль, замѣтилъ я, наука всегда приходитъ поздно, теперь я знаю, какъ доктора звать и куда, но навѣрно не позову.

Затѣмъ воротимся къ нашимъ чающимъ движенія народнаго. присылки денегъ отъ родныхъ и работы безъ труда.

Неработнику начать работу не такъ легко, какъ кажется; многіе думаютъ, пришла нужда, есть работа, есть молотъ и долотъ и работникъ готовъ. Работа требуетъ не только своего рода воспитанія, навыка, но и самоотверженія. Изгнанники большей частью изъ мелкой литературной и «паркетной» среды, журнальные поденщики, начинавшіе адвокаты; отъ своего труда въ Англіи они жить не могли, другой имъ былъ дикъ; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздается ли набатъ; прошло десять лѣтъ, прошло пятнадцать лѣтъ, нѣтъ набата.

Въ отчаяніи, въ досадѣ, безъ защиты, безъ обезпеченія на завтрашній день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрывъ глаза, на аферы, выдумываютъ спекуляціи. Аферы не удаются, спекуляціи лопаются, и потому что они выдумываютъ вздоръ, и потому что они вносятъ вмѣсто капитала какую-то беспомощную неловкость въ дѣлѣ, чрезвычайную раздражительность, неумѣнье найтись въ самомъ простомъ положеніи и опять-таки неспособность къ выдержанному труду и усѣянному терніями началу. При неудачѣ они утѣшаются недостаткомъ денегъ: «Будь сто-двѣсти фунтовъ, и все пошло бы какъ по маслу!» Дѣйствительно, недостатокъ капитала мѣшаетъ, но это общая судьба работниковъ. Чего и чего не выдумывалось, отъ общества на акціяхъ для выписыванія изъ Гавра куриныхъ яицъ до изобрѣтенія особыхъ чернилъ для фабричныхъ марокъ и какихъ-то эссенцій, которыми можно было превращать сквернѣйшія водки въ превосходнѣйшіе ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на всѣ эти чудеса, надобно было ѣсть и нѣсколько прикрываться отъ сѣверо-восточнаго вѣтра и отъ застѣнчивыхъ взоровъ дочерей Альбіона.

Для этого предпринимались два палліативныя средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но съ большими развлеченіями. Люди мирные, съ Sitzfleisch'emъ, принимались за уроки, несмотря на то, что они не только прежде не давали уроковъ, да и сомнительно, чтобъ когда-нибудь ихъ брали. Конкуренція страшно понизила цѣны.

Вотъ образецъ объявленій одного семидесятилѣтняго старика, который, мнѣ кажется, принадлежалъ скорѣе къ числу *самобытныхъ протестантовъ*, чѣмъ коллективныхъ.

MONSIEUR N. N.

TEACHES THE FRENCH LANGUAGE

on a new and easy system of rapid proficiency,
has attended members of the british parliament and many other
persons of respectability, as vouchers certify,
translates and interprets that universal continental
language, and english,

IN A MASTERLY MANNER.

TERMS MODERATE:

Namely, Three Lessons per Week for Six Shillings.

Давать уроки у англичанъ не составляетъ особеннаго удовольствія; кому англичанинъ платитъ, съ тѣмъ онъ не церемонится.

Одинъ изъ моихъ старыхъ пріятелей получаетъ письмо отъ какого-то англичанина, предлагающаго ему давать уроки французскаго языка его дочери. Онъ отправился къ нему въ назначенное время для переговоровъ. Отецъ спалъ послѣ обѣда, его встрѣтила дочь и довольно учтиво, потомъ вышелъ старикъ, осмотрѣлъ съ головы до ногъ Б. и спросилъ: «Vous etrè le french teacher?» Б. подтвердилъ. «Vous pas convenir à moa». При этомъ британскій осель указалъ на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака?—спрашивалъ я Б.

— Я право думалъ объ этомъ, но когда быкъ повернулся, дочь со слезами на глазахъ, молча, просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не такъ скучно; оно состоитъ въ судорожномъ и артистическомъ комиссіонерствѣ, въ предложеніи разныхъ разностей безъ вниманія на запросъ. Французы по большей части *работали* въ винахъ и водкахъ. Одинъ легистъ предлагалъ своимъ знакомымъ и *корремпціонерамъ* коньякъ, доставшійся ему чрезвычайнымъ образомъ, по связямъ, о которыхъ въ теперешнемъ положеніи Франціи онъ не могъ и не долженъ былъ рассказывать, и притомъ черезъ капитана корабля, котораго компрометировать было бы *salamité publique*. Коньякъ былъ такъ себѣ и стоилъ шесть пенсовъ дороже, чѣмъ въ лавкѣ. Легистъ, привыкнувшій «pledировать» съ декламацией, прибавлялъ къ насилію оскорбленіе: онъ бралъ рюмку двумя пальцами за донышко, описывалъ ею медленные круги, плескалъ нѣсколько капель, нюхалъ ихъ на воздухъ и всякій разъ былъ изумленъ замѣчательно превосходнымъ запахомъ коньяка.

Другой товарищъ изгнанія, нѣкогда провинціальныи профес-

соръ словесности, увлекалъ виномъ. Вино онъ получалъ *прямо* изъ Котъ д'Ора, Бургоньи, отъ прежнихъ учениковъ и съ необыкновеннымъ выборомъ.

«Гражданинъ, писалъ онъ ко мнѣ, спросите ваше братское сердце (*votre coeur fraternel*), и оно вамъ скажетъ, что вы должны мнѣ уступить приятное преимущество снабжать васъ французскимъ виномъ. И тутъ сердце ваше будетъ за одно со вкусомъ и экономіей. Употребляя превосходное вино, по самой дешевой цѣнѣ, вы будете имѣть наслажденіе въ мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человѣка, который дѣлу родины и свободы пожертвовалъ все.

Salut et fraternité!

Р. С. Я взялъ на себя смѣлость вмѣстѣ съ тѣмъ отправить къ вамъ нѣсколько пробъ».

Образчики эти были въ полубутылкахъ, на которыхъ онъ собственноручно надписывалъ не только имя вина, но и разныя обстоятельства изъ его биографіи: Chambertin (*Gr. vin et très-rare!*). Côte rotie (*Comète*). Pomard (1823!). Nuits (*provision Aguado!*)...

Недѣли черезъ двѣ-три профессоръ словесности снова присылалъ образчики. Обыкновенно черезъ день или два послѣ присылки, онъ являлся самъ и сидѣлъ часъ, два, три, до тѣхъ поръ, пока я оставлялъ почти всѣ пробы и платилъ за нихъ. Такъ какъ онъ былъ неумолимъ и это повторялось нѣсколько разъ, то въ послѣдствіи, только что онъ отворялъ дверь, я хвалилъ часть образчиковъ, отдавалъ деньги и остальное вино. «Я не хочу, гражданинъ, у васъ красть ваше драгоценное время», говорилъ онъ мнѣ и освобождалъ меня недѣли на двѣ отъ кислаго бургонскаго, рожденнаго подъ кометою, и прянаго Котъ-роти изъ подваловъ Aguado.

Нѣмцы, венгерцы работали въ другихъ отрасляхъ.

Какъ-то въ Ричмондѣ я лежалъ въ одномъ изъ страшныхъ припадковъ головной боли. Взошелъ Франсуа съ визитной карточкой, говоря, что какой-то господинъ имѣетъ крайность меня видѣть, что онъ венгерецъ, *adjutante del generale* (*всѣ венгерцы-изгнанники, не имѣющіе никакого занятія, никакой честной профессіи, называли себя адъютантами Кошута*). Я взглянулъ на карточку—совершенно незнакомая фамилія, украшенная капитанскимъ чиномъ.

— Зачѣмъ вы его пустили? сколько тысячъ разъ я вамъ говорилъ?

— Онъ приходитъ сегодня въ третій разъ.

— Ну, зовите въ залу. Я вышелъ разъяреннымъ львомъ, вооружившись склянкой распайлевой седативной воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитанъ такой-то. Я долгое

время находился у русскихъ въ плѣну, у Ридигера послѣ Вилагоша. Съ нами русскіе превосходно обращались. Я былъ особенно обласканъ генераломъ Глазенапъ и полковникомъ... какъ бышь его... русскія фамиліи очень мудрены... *ичь... ичь...*

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень радъ, что вамъ было хорошо. Не угодно ли сѣсть.

— Очень, очень хорошо... мы съ офицерами всякій день эдакъ, шгость, банкъ... прекрасные люди и австрійцевъ терпѣть не могутъ. Я даже помню нѣсколько словъ по русски: «глѣба», «шевердакъ»—*une pièce de 25 sous.*

— Позвольте васъ спросить, что мнѣ доставляетъ...

— Вы меня должны извинить, *баронъ...* я гулялъ въ Ричмондѣ... прекрасная погода, жаль только, что дождь идетъ... я только наслышался объ васъ отъ *самого старика* и отъ графа Сандора—Сандора Телеки, также отъ графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, *hors ligne.*—Молчаніе.

— Да-съ, и Сандоръ... мы съ нимъ вмѣстѣ были въ гонведахъ... Я, собственно, желалъ бы показать вамъ...—и онъ вытащилъ откуда-то изъ-за стула портфель, развязалъ его и вынулъ портреты безрукаго Раглана, отвратительную рожу С. Арно, Омеръ-паши въ фесѣ.—Сходство, баронъ, удивительное. Я самъ былъ въ Турціи, въ Кутайсѣ, въ 1849 году, прибавилъ онъ, какъ будто въ удостовѣреніе сходства, несмотря на то, что въ 1849 году ни Раглана, ни С. Арно тамъ не было.—Вы прежде видѣли эту колекцію?

— Какъ не видать, отвѣчаю я, смачивая голову распайлевой водой.—Эти портреты вывѣшены вездѣ, на Чипсайдѣ, по Странду, въ Вестъ-Эндѣ.

— Да-съ, вы правы, но у меня вся колекція, и тѣ не на китайской бумагѣ. Въ лавкахъ вы заплатите гинею, а я могу вамъ уступить за пятнадцать шиллинговъ.

— Я, право, очень благодаренъ, но скажите, капитанъ, на что же мнѣ портреты С. Арно и всей этой сволочи?

— Баронъ, я буду откровененъ, я солдатъ, а не меттерниховскій дипломатъ. Потерявъ мои владѣнія близъ Темешвара, я нахожусь во временно стѣсненномъ положеніи, а потому беру на комиссію артистическія вещи (а также сигары, гаванскія сигары и турецкій табакъ—ужъ въ немъ-то русскіе и мы знаемъ толкъ!); это доставляетъ мнѣ скудную копейку, на которую я покупаю «горькій хлѣбъ изгнанья», *wie der Schiller sagt.*

— Капитанъ, будьте вполне откровенны и скажите, что вамъ придется съ каждой тетради?—спрашиваю я (хотя и сомнѣваюсь, что Шиллеръ сказалъ этотъ дантовскій стихъ).

— Полкроны.

— Позвольте намъ вотъ какъ покончить дѣло: я вамъ предложу *цѣлую крону*, но съ тѣмъ, чтобъ не покупать портретовъ.

— Право, баронъ, мнѣ совѣстно, но мое положеніе... впрочемъ, вы все знаете, чувствуете... я васъ такъ давно привыкъ уважать... графиня Пульская и графъ Сандоръ... Сандоръ Телеки.

— Вы меня извините, капитанъ, я едва сижу отъ головной боли.

— У нашего губернатора (т. е., у Кошута), у старика тоже часто болитъ голова, замѣчаетъ мнѣ гонведъ, какъ бы въ ободреніе и утѣшеніе; потомъ на-скоро завязываетъ портфель и беретъ вмѣстѣ съ удивительно похожими портретами Раглана и К-и до-вольно сходное изображеніе королевы Викторіи на монетѣ.

Между этими *ходебщиками* эмиграціи, предлагающими выгодныя покупки, и эмигрантами, останавливающими всѣхъ небрѣющихъ бороду на улицахъ и скверахъ, требуя *десятый годъ* недостающихъ двухъ шиллинговъ для отъѣзда въ Америку, и шести пенсовъ для покупки гробика ребенку, умершему отъ скарлатины,—находятся эмигранты, пишущіе письма, иногда пользуясь знакомствомъ, иногда пользуясь незнакомствомъ, о всякаго рода чрезвычайныхъ нуждахъ и единовременныхъ денежныхъ затрудненіяхъ, часто представляя въ дальней перспективѣ обогащеніе, и всегда съ оригинальнымъ эпистолярнымъ искусствомъ.

Такихъ писемъ у меня тетрадь, сообщу два-три особенно характеристическихъ.

«*Heß Graf!* Я былъ австрійскимъ лейтенантомъ, но дрался за свободу мадяровъ, долженъ былъ бѣжать и совершенно обновился. Если у васъ найдутся поношенные панталоны,—вы неизрѣченно меня обяжете.

P. S. Завтра въ 9 часовъ я навѣдаюсь у вашего *курьера*».

Это родъ наивный, но есть письма классическія по языку и лапидарности, напр.:

«*Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.*

Mercuris dies 1859».

Другія письма, не имѣя ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особннымъ счетоводствомъ:

«Гражданинъ, вы были такъ добры, что прислали мнѣ прошлаго февраля (вы, можетъ, не помните, но я помню) *три* ливра. Давно хотѣлъ я вамъ ихъ отдать, но не получалъ вовсе денегъ отъ родныхъ; на дняхъ я получу довольно значительную сумму. Если-бъ мнѣ не было совѣстно, я бы попросилъ васъ прислать еще два ливра и отдалъ бы вамъ *круглымъ счетомъ пять* ливровъ».

Я предпочелъ остаться при треугольномъ. Охотникъ до круглыхъ счетовъ началъ поговаривать, что я въ связяхъ съ русскимъ посольствомъ.

Затѣмъ идутъ письма дѣловыя и письма ораторскія, и тѣ и другія очень много теряютъ въ русскомъ переводѣ.

«*Mon cher Monsieur!* Вы *вѣрно* знаете мое открытіе, оно доставило бы нашему вѣку честь, а мнѣ кусокъ хлѣба. И открытіе это останется неизвѣстнымъ, оттого что у меня нѣтъ кредита на какихъ-нибудь 200 фунтовъ, и вмѣсто того, чтобъ заниматься моимъ дѣломъ, мнѣ приходится за вздорную плату *couvrir le cachet*. Всякій разъ, когда мнѣ представляется работа продолжительная и выгодная, насмѣшливая судьба дуетъ на нее (*я перевожусь слово въ слово*), она летитъ прочь,—я за ней, настойчивая дерзость ея беретъ верхъ (*son opiniâtre insolence bafoue mes projets*), вновь стегаетъ мои надежды, и я бѣгу туда—туда. Бѣгу и теперь. Поймаю ли? Почти увѣренъ,—если вы, имѣя довѣріе къ моему таланту, захотите пустить въ волны ваше довѣріе съ моими надеждами, по капризному вѣтру моей судьбы (*embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin*)». Далѣе объясняется, что 80 фунт. есть въ виду, даже 85; остальные 115 изобрѣтатель ищетъ занять, обѣщая 13, almeno 11, процентовъ въ случаѣ удачи. «Можно ли лучше, вѣрнѣе помѣстить капиталъ въ наше время, когда фонды всего міра колеблются и государства такъ не твердо стоятъ, опираясь на штыки нашихъ враговъ?»

Я ста пятнадцать не даю. Изобрѣтатель начинаетъ соглашаться, что въ моемъ поведеніи не все ясно, *il y a du louche*, и что не мѣшаетъ со мною быть осторожнымъ.

Въ заключеніе, вотъ письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданинъ будущей всемірной республики! Сколько разъ вы помогали мнѣ и вашъ знаменитый другъ Луи-Бланъ, и опять-таки я пишу къ вамъ и пишу къ гражданину Блану, чтобъ попросить нѣсколько шиллинговъ. Удручающее положеніе мое не улучшается вдали отъ Ларъ и Пенатъ, на негостепріимномъ островѣ эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы въ одномъ изъ сочиненій вашихъ (*я постоянно ихъ перечитываю*), «что талантъ гаснетъ безъ денегъ, какъ лампа безъ масла» и пр.

Само собой разумѣется, что я этой пошлости никогда не писалъ и что согражданинъ по будущей республикѣ, *future et universelle*, ни разу не развертывалъ моихъ сочиненій.

За ораторами на письмѣ идутъ ораторы на словахъ, «дѣлающіе тротуаръ и переулокъ». Большею частію они только прикидываются изгнанниками, а въ сущности—спившіеся съ круга не англійскіе мастеровые или люди, имѣвшіе дома *несчастія*, Поль-

зуюсь необъятной величиной Лондона, они продѣлываютъ одну часть за другой и потомъ снова возвращаются на Via sacra, т. е. на Реджентъ-стричь съ Геймаркетомъ и Лестеръ-скверомъ.

Лѣтъ пять тому назадъ, молодой человекъ, довольно чисто одѣтый и съ сентиментальной наружностью, нѣсколько разъ подходилъ ко мнѣ въ сумеркахъ съ вопросомъ на французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ акцентомъ: «Не можете ли вы мнѣ сказать гдѣ такая-то часть города?» и онъ подавалъ какой-то адресъ версть за десять отъ Вестъ-Энда, гдѣ-нибудь въ Головеѣ, Гекнеѣ. Каждый, такъ, какъ и я, принимался ему толковать. Его обдавалъ ужасъ. «Теперь 9 часовъ вечера, я еще не ѣлъ... когда же я приду? Ни гроша на омнибусъ... этого я не ждалъ. Не смѣю просить васъ, но если-бъ вы меня выручили.. мнѣ одного шиллинга за глаза довольно».

Я его встрѣчалъ еще два раза, наконецъ, онъ исчезъ, и я не безъ удовольствія его встрѣтилъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя на старомъ мѣстѣ, съ измѣненной бородой и въ другой фуражкѣ. Съ чувствомъ приподымая ее, спросилъ онъ меня:

— Вы, вѣрно, знаете по-французски?

— Знаю, отвѣчалъ я, да сверхъ того знаю, что у васъ есть адресъ, вамъ придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ѣли, на омнибусъ денегъ нѣтъ, вамъ нуженъ шиллингъ... но, на этотъ разъ, я вамъ дамъ сикспенсъ, потому что не вы мнѣ, а я вамъ рассказалъ все это.

— Что дѣлать, отвѣчалъ онъ мнѣ улыбаясь, безъ малѣйшей злобы, вѣдь, вотъ вы опять не повѣрите, а я ѣду въ Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержалъ и додалъ сикспенсъ.

Въ числѣ этихъ господъ были и русскіе: напр., бывший кавказскій офицеръ Стремоуховъ, просившій на бѣдность въ Парижѣ еще въ 1847 году, рассказывая очень плавно исторію какой-то дуэли, бѣгства и пр. и забирая, къ сильному озлобленію прислуги, все на свѣтѣ: старыя платья и туфли, фуфайки лѣтомъ и зимой панталоны изъ парусины, дѣтскія платья, дамскія не-нужности. Русскіе собрали для него денегъ и отправили въ Алжиръ въ иностранный легіонъ. Онъ выслужилъ пять лѣтъ, привезъ аттестатъ и снова отправился изъ дома въ домъ, рассказывать о дуэли и побѣгѣ, прибавляя къ нимъ разныя арабскія похождения. Стремоуховъ становился старъ, и жаль его было и надоѣдалъ онъ страшно. Русскій священникъ при лондонской миссіи сдѣлалъ для него колекту, чтобъ отправить его въ Австралію. Ему дали въ Мельборнѣ рекомендацію и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проѣздъ. Стремоуховъ приходилъ къ намъ прощаться. Мы его советамъ снарядили: я ему дамъ

теплое пальто, Г. рубашекъ и пр. Стремоуховъ, прощаясь, заплакалъ и сказалъ: «Какъ хотите, господа, а ѣхать въ такую даль не легкая вещь. Вдругъ разорваться со всѣми привычками, но это надобно...» И онъ цѣловаль насъ и благодарилъ съ горячностью.

Я думалъ, что Стремоуховъ давнымъ-давно гдѣ-нибудь на берегахъ Викторіи Риверъ; какъ вдругъ читаю въ «Теймсѣ», что какой-то russian officer Stremoouchoff за бунство, драку въ кабацѣ, вслѣдствіе какихъ-то взаимныхъ обвиненій въ воровствѣ и пр., присуждается на три мѣсяца тюрьмы. Мѣсяца черезъ четыре послѣ этого, я шелъ по Оксфордъ-стритъ, пошелъ сильный дождь, со мной не было зонтика, я подъ ворота. Въ то самое время, какъ я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлымъ зонтикомъ, торопливо шмыгнула подъ другія ворота. Я узналъ Стремоухова.

— Какъ, вы воротились изъ Австраліи? спросилъ я его, прямо глядя ему въ глаза.

— Ахъ, это вы, а я и не призналъ васъ, отвѣчалъ онъ слабымъ и умирающимъ голосомъ; — нѣтъ-съ, не изъ Австраліи, а изъ больницы, гдѣ пролежалъ мѣсяца три между жизнію и смертію... и не знаю, зачѣмъ выздоровѣлъ.

— Въ какой же вы были больницѣ, въ S. Georges Hospital?

— Нѣтъ, не здѣсь, въ Соутгэмптонѣ.

— Какъ же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и какъ же вы не уѣхали?

— Опоздалъ на первый train, приѣзжаю со вторымъ, пароходъ-съ ушелъ. Я постоялъ на берегу, постоялъ и чуть не бросился въ пучину морскую. Иду къ Reverend'u, къ которому нашъ батюшка меня рекомендовалъ; «капитанъ, говоритъ, уѣхалъ, часу ждать не хотѣлъ».

— А деньги?

— Деньги онъ оставилъ у Reverend'a.

— Вы, разумѣется, ихъ взяли?

— Взять-съ, но проку не вышло, во время болѣзни все утащили изъ-подъ подушки, такой народъ! Если можете чѣмъ помочь?

— А вотъ здѣсь, во время вашего отсутствія, какого-то другого Стремоухова запекли въ тюрьму и тоже на три мѣсяца, за драку съ курьеромъ. Вы не слыхали?

— Гдѣ же слышать между жизнію и смертію. Кажется, дождь перестаетъ. Желаю счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить въ сырую погоду, а то опять попадетесь въ больницу.

Послѣ Крымской войны нѣсколько плѣнныхъ матросовъ и

солдаты остались, сами не зная за чѣмъ, въ Лондонѣ. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Нѣкоторые изъ нихъ просили посольство заступиться за нихъ, исходатайствовать прощенье, aber was macht es den dem Herrn Baron von Brunov!

Они представляли чрезвычайно печальное зрѣлище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то съ дерзостью (довольно неприятною въ узкихъ улицахъ послѣ десяти часовъ вечера) требовали денегъ.

Въ 1853 г. бѣжало нѣсколько матросовъ съ военнаго корабля въ Портсмутѣ; часть ихъ была возвращена, въ силу нелѣпаго закона, подъ который подходятъ исключительно одни матросы. Нѣсколько человѣкъ спаслись и пришли пѣшкомъ изъ *Порчмы* въ Лондонъ. Одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати двухъ, съ добрымъ и открытымъ лицомъ, былъ башмачникомъ, умѣлъ точать, какъ онъ называлъ, «шлиперы». Я купилъ ему инструментъ и далъ денегъ, но работа не пошла.

Въ это время Гарибальди отплывалъ съ своимъ Common Wealth въ Геную, я попросилъ его взять съ собой молодого человѣка. Гарибальди принялъ его съ жалованьемъ *фунта* въ мѣсяцъ и съ обѣщаньемъ, если будетъ хорошо себя вести, давать черезъ годъ два фунта. Матросъ, разумѣется, согласился, взялъ у Гарибальди два фунта впередъ и принесъ свои пожитки на корабль.

На другой день послѣ отъѣзда Гарибальди, матросъ пришелъ ко мнѣ красный, заспанный, вспухнувшій.

— Что случилось? спрашиваю я его.

— Несчастіе, ваше благородіе, опоздалъ на корабль.

— Какъ опоздалъ?

Матросъ бросился на колѣни и неестественно хныкалъ. Дѣло было исправимо. Корабль пошелъ за углемъ въ Newcastle on Tyne.

— Я тебя пошлю по желѣзной дорогѣ туда, сказалъ я ему, но если ты и на этотъ разъ опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сдѣлаю, хоть умри съ голоду. А такъ какъ дорога въ Newcastle стоитъ больше фунта, а я тебѣ не довѣрю шиллинга, то я пошлю за знакомымъ и ему поручу продержатъ тебя всю ночь и посадить въ вагонъ.

— Всю жизнь буду молить Бога за в. в.!

Знакомый, взявшійся за отправку, пришелъ ко мнѣ съ рапортомъ, что матроса выпроводилъ.

Представьте же мое удивленіе, когда дня черезъ три матросъ явился съ какимъ-то полякомъ.

— Что это значитъ? закричалъ я на него, въ самомъ дѣлѣ дрожа отъ бѣшенства.

Но прежде чѣмъ матросъ открылъ ротъ, его товарищъ при-

нялся его защищать на ломаномъ русскомъ языкѣ, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и вина.

— Кто вы такой?

— Польскій дворянинъ.

— Въ Польшѣ всѣ дворяне. Почему вы пришли ко мнѣ съ этимъ мошенникомъ?

Дворянинъ расхорохорился. Я сухо замѣтилъ ему, что я съ нимъ не знакомъ и что его присутствіе въ моей комнатѣ до того странно, что я могу его велѣть вывести, позвавъ полицмена.

Я посмотрѣлъ на матроса. Въ три дня аристократическаго общества съ дворяниномъ его много воспитали. Онъ не плакалъ и пьяно дерзко смотрѣлъ на меня.

— Очень занемогъ, в. б. Думаль Богу душу отдать, полегчало, когда машина ушла.

— Гдѣ же это тебя схватило?

— На самой, т. е., желѣзной дорогѣ.

— Что-жъ не поѣхаль съ слѣдующей машиной?

— Не въ домекъ-съ, да и такъ какъ языку не способенъ...

— Гдѣ билетъ?

— Да билета нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Уступилъ тутъ одному человѣчку.

— Ну, теперь ищи себѣ другихъ человѣчковъ, только въ одномъ будь увѣренъ, я тебѣ не помогу ни въ какомъ случаѣ.

— Однако, позвольте, вступилъ въ рѣчь «вольный шляхтичъ».

— М. г., я не имѣю ничего вамъ сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился онъ съ своимъ Телемакомъ, вѣроятно, до перваго кабака.

Еще ступеньку внизъ...

Можетъ, многіе съ недоумѣніемъ спросятъ, какая же это еще ступенька внизъ... *А есть*, и довольно *большая*—только тутъ ужъ темно, идите осторожно. Я не имѣю *prudence* III-ра и мнѣ авторъ поэмы, въ которой Христосъ разговариваетъ съ маршаломъ Бюжо, показался еще забавнѣе послѣ геройскаго *rouge un vol avec effraction*. Если онъ и укралъ что-нибудь изъ-подъ замка, зато подвѣргался Богъ знаетъ чему и потомъ работалъ нѣсколько лѣтъ, можетъ, съ ядромъ на ногахъ. Онъ имѣлъ противъ себя не только того, котораго обокралъ, но все государство и общество, церковь, войско, полицію, судъ, всѣхъ честныхъ людей, которымъ красть ненужно, и всѣхъ безчестныхъ, но не уличенныхъ по суду. Есть воры другого рода, не преслѣдуемые полиціей, потому что они сами къ ней принадлежатъ. Это люди, ворующіе не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпіоны—шпіоны въ ква-

драть... Ими оканчивается порокъ и развратъ; дальше, какъ за Луциферомъ у Данта, ничего нѣтъ,—тамъ ужь опять пойдетъ вверхъ.

Французы большіе артисты этого дѣла. Они умѣютъ ловко сочетать образованныя формы, горячія фразы, arlombъ человѣка, котораго совѣсть чиста и point d'honneur раздражителенъ, съ должностью шпіона. Заподозрите его, онъ вызоветъ васъ на дуэль, онъ будетъ драться и *храбро* драться.

Записки Де-ла-Года, Шеню, Шнепфа—кладъ для изученія грязи, въ которую цивилизація завела своихъ блудныхъ дѣтей. Де-ла-Годъ наивно печатаетъ, что онъ, предавая своихъ друзей, долженъ былъ съ ними хитрить такъ, «какъ хитритъ охотникъ съ дичью».

Де-ла-Годъ—это Алкивиадъ шпіонства.

Молодой человѣкъ съ литературнымъ образованіемъ и радикальнымъ образомъ мыслей, онъ изъ провинціи явился въ Парижъ, бѣдный какъ Ирѣ, и просилъ работы въ редакціи *Реформы*. Ему дали какую-то работу, онъ ее сдѣлалъ хорошо; мало-по-малу съ нимъ сблизились. Онъ вступилъ въ политическіе круги, зналъ многое изъ того, что дѣлалось въ республиканской партіи, и продолжалъ работать *несколько лѣтъ*, оставаясь въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ сотрудникамъ.

Когда послѣ февральской революціи Коссидьеръ разобралъ бумаги въ префектурѣ, онъ нашелъ, что Де-ла-Годъ все время преправильно доносилъ полиціи о томъ, что дѣлалось въ редакціи *Реформы*. Коссидьеръ позвалъ Де-ла-Года къ Альберу, тамъ ждали свидѣтели. Де-ла-Годъ явился, ничего не подозрѣвая, попробовалъ заператься, но потомъ, видя невозможность, признался, что письма къ префекту писалъ онъ. Возникъ вопросъ, что съ нимъ дѣлать? Одни думали застрѣлить его тутъ же, какъ собаку. Альберъ возсталъ пуще всѣхъ и не хотѣлъ, чтобы въ *его квартиру* убили человѣка. Коссидьеръ предложилъ ему заряженный пистолетъ съ тѣмъ, чтобъ онъ застрѣлился. Де-ла-Годъ отказался. Кто-то спросилъ его, не хочетъ ли онъ яду? Онъ и отъ яду отказался, а, отправляясь въ тюрьму, какъ благоразумный человѣкъ, *спросилъ кружку пива*,—это фактъ, переданный мнѣ сопровождавшимъ его помощникомъ мера XII округа.

Когда реакція стала брать верхъ, Де-ла-Года выпустили изъ тюрьмы, онъ уѣхалъ въ Англію, но когда реакція еще окончательно восторжествовала, онъ возвратился въ Парижъ и совался впередъ въ театрахъ и другихъ публичныхъ собраніяхъ, какъ левъ особой породы; вслѣдъ за тѣмъ издалъ онъ свои записки.

Шпіоны постоянно трутся во всѣхъ эмиграціяхъ; ихъ узнаютъ, открываютъ, колотятъ, а они свое дѣло дѣлаютъ съ пол-

нѣйшимъ успѣхомъ. Въ Парижѣ полиція знаетъ всѣ лондонскія тайны. День тайнаго прїѣзда Делеклюза, потомъ Буашо во Францію, были такъ хорошо извѣстны, что они были схвачены въ Кале, лишь только вышли изъ корабля. Въ коммунистическомъ процессѣ въ Кельнѣ читали документы и письма, «купленные въ Лондонѣ», какъ наивно признался въ судѣ прусскій комиссаръ полиціи.

Въ 1849 году я познакомился съ изгнаннымъ австрійскимъ журналистомъ, Энглендеромъ. Онъ былъ очень уменъ, очень колоекъ и въ послѣдствіи помѣщалъ въ Колачековскихъ ярбухахъ рядъ живыхъ статей объ историческомъ развитіи социализма. Энглендеръ этотъ попался въ тюрьму въ Парижѣ по дѣлу, названному «Дѣломъ корреспондентовъ». Ходили разные слухи объ немъ; наконецъ, онъ самъ явился въ Лондонъ. Здѣсь другой австрійскій изгнанникъ, докторъ Гефнеръ, очень уважаемый своими, говорилъ, что Энглендеръ въ Парижѣ былъ на жалованьи у префекта, и что его сажали въ тюрьму за измѣну брачной вѣрности французской полиціи, приревновавшей его къ австрійскому посольству, у котораго онъ тоже былъ на жалованьи. Энглендеръ жилъ разгульно, на это надобно много денегъ, одного префекта видно не хватало.

Нѣмецкая эмиграція потолковала, потолковала и позвала Энглендера къ отвѣту. Энглендеръ хотѣлъ отшутиться, но Гефнеръ былъ безошаденъ! Тогда мужъ двухъ полицій вдругъ вскочилъ съ покраснѣвшимъ лицомъ, со слезами на глазахъ и сказалъ: «Ну, да, я во многомъ виноватъ, но не ему меня обвинять», и онъ бросилъ на столъ письмо префекта, изъ котораго ясно было, что и Гефнеръ получалъ отъ него деньги.

Въ Парижѣ проживалъ нѣкій Н-ръ, тоже австрійскій рефюжье; я познакомился съ нимъ въ концѣ 1848 года. Товарищи его рассказывали объ немъ необыкновенно храбрый поступокъ во время революціи въ Вѣнѣ. У инсургентовъ не доставало пороха, Н-ръ вызвался привезти по *железной дорогѣ* и привезъ. Женатый и съ дѣтьми, онъ бѣдствовалъ въ Парижѣ. Въ 1853 г. я его нашелъ въ Лондонѣ въ большой крайности, онъ занималъ съ семьей двѣ небольшія комнатки, въ одномъ изъ самыхъ бѣдныхъ переулковъ Соо. Все не спорилось въ его рукахъ. Завелъ онъ было прачешную, въ которой его жена и еще одинъ эмигрантъ стирали бѣлье, а Н-ръ развозилъ его,—но товарищъ уѣхалъ въ Америку и прачешная остановилась.

Ему хотѣлось помѣститься въ купеческую контору,—очень не глупый человѣкъ и съ образованіемъ онъ могъ заработать хорошія деньги, но *reference, reference, безъ reference* въ Англии ни шагу. Я ему далъ свою; по поводу этой рекомендаціи одинъ нѣ-

мѣцкій рефюжье, О., замѣтилъ мнѣ, что напрасно я хлопочу, что человекъ этотъ не пользуется хорошей репутаціей, что онъ будто бы въ связяхъ съ французской полиціей.

Въ это время Р. привезъ въ Лондонъ моихъ дѣтей. Онъ принималъ въ Н-рѣ большое участіе. Я сообщилъ ему, что объ немъ говорятъ.

Р. расхохотался, онъ ручался за Н-рѣ, какъ за самого себя, и указывалъ на его бѣдность, какъ на лучшее опроверженіе. Последнее убѣждало отчасти и меня. Вечеромъ Р. ушелъ гулять, возвратился поздно встревоженный и блѣдный. Онъ взошелъ на минуту ко мнѣ и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— У васъ есть что-то на душѣ, heraus damit!

— Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

— Пожалуй, но что за шалости, предоставьте моей совѣсти.

— Я не могъ успокоиться, услышавши отъ васъ объ Н-рѣ, и, несмотря на обѣщаніе, данное вамъ, я рѣшился его спросить и былъ у него. Жена его на дняхъ родить, нужда страшная... Чего мнѣ стоило начать разговоръ! Я вызвалъ его на улицу и, наконецъ, собравъ всѣ силы, сказалъ ему: знаете ли, что Г. предупредили въ томъ-то и томъ-то; я увѣренъ, что это клевета, поручите мнѣ разъяснить дѣло. «Благодарю васъ,—отвѣчалъ онъ мнѣ мрачно,—но это ненужно; я знаю, откуда это идетъ. Въ минуту отчаянія, умирая съ голода, я предложилъ префекту въ Парижѣ мои услуги, чтобы держать его au courant эмиграціонныхъ новостей. Онъ мнѣ прислалъ 300 франковъ и я никогда ему не писалъ потомъ».

Р. чуть не плакалъ.

— Послушайте, пока жена его не родить и не оправится, даю вамъ слово молчать; пусть идетъ въ конторщики и оставить политическіе круги. Но, если я услышу новыя доказательства и онъ все-таки будетъ въ сношеніяхъ съ эмиграціей, я его выдамъ. Чортъ съ нимъ!

Р. уѣхалъ. Дней черезъ десять, во время обѣда, взошелъ ко мнѣ Н-рѣ, блѣдный, разстроенный. «Вы можете понять, — говорилъ онъ, — чего мнѣ стоитъ этотъ шагъ; но куда ни смотрю, кромѣ васъ спасенія нѣтъ. Жена родить черезъ нѣсколько часовъ, въ домѣ ни угля, ни чая, ни чашки молока, денегъ ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушеромъ». И онъ, дѣйствительно, изнеможенный бросился на стулъ и, покрывъ лицо руками, сказалъ: «Остается плюю въ лобъ, по крайней мѣрѣ, не увижу этого ужаса».

Я тотчасъ послалъ за добрымъ Павломъ Дарашемъ, далъ де-

негъ Н-ръ и, сколько могъ, успокоилъ его. На другой день Дарашъ заѣхалъ сказать, что роды сошли съ рукъ хорошо.

Между тѣмъ вѣсть, пущенная, вѣроятно, по личной враждѣ, о связяхъ съ французской полиціей Н-ра ходила больше и больше и, наконецъ, Т., извѣстный вѣнскій клубистъ и агитаторъ, послѣ рѣчи котораго народъ повѣсилъ Латура, увѣрялъ направо и налево, что онъ самъ читалъ письмо отъ префекта, писанное при присылкѣ денегъ. Обвиненіе Н-ра, видно, было дорого для Т.: онъ самъ зашелъ ко мнѣ, чтобы подтвердить его.

Положеніе мое становилось трудно. Гаугъ жилъ у меня; до того я ему не говорилъ ни слова, но теперь это становилось не деликатно и опасно. Я рассказалъ ему, не упоминая о Р., котораго не хотѣлъ путать въ драму, имѣвшую всѣ шансы на то, что V актъ ея будетъ представляться въ полицейскомъ судѣ или въ Олдъ-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипѣлъ бульонъ», я едва могъ усмирить Гауга и удержать его отъ нашествія на чердакъ Н-ра. Я зналъ, что Н-ръ долженъ былъ придти къ намъ съ переписанными тетрадями, и совѣтовалъ подождать его. Гаугъ согласился и какъ-то утромъ воѣжалъ ко мнѣ, блѣдный отъ ярости, и объявилъ, что Н-ръ внизу. Я бросилъ поскорѣ бумаги въ столъ и сошелъ. Перестрѣлка шла ужъ сильная. Гаугъ кричалъ и Н-ръ кричалъ. Калибръ крѣпкихъ словъ становился все крупнѣе. Выраженіе лица Н-ра, искаженнаго злобой и стыдомъ, было дурно. Гаугъ былъ въ азартѣ и путался. Этимъ путемъ можно было скорѣе дойти до раскрытія черепа, чѣмъ дѣла.

— Господа,—сказалъ я вдругъ середь рѣчи,—позвольте васъ остановить на минуту.

Они остановились.

— Мнѣ кажется, что вы портите дѣло горячностью; прежде чѣмъ браниться, надобно поставить совершенно ясно вопросъ.

— Что я *тпiонъ или нѣтъ*,—кричалъ Н-ръ,—я ни одному человѣку не позволю ставить такой вопросъ.

— Нѣтъ, не въ этомъ вопросъ, который я хотѣлъ предложить; васъ обвиняетъ *одинъ человекъ*, да и не онъ одинъ, что вы получали деньги отъ парижскаго префекта полиціи.

— Кто этотъ человѣкъ?

— Т.

— Мерзавецъ.

— Это къ дѣлу не идетъ, вы деньги получали или нѣтъ?

— *Получалъ*,—сказалъ Н-ръ съ натянутымъ спокойствіемъ, глядя мнѣ и Гаугу въ глаза. Гаугъ судорожно кривлялся и какъ-то стоналъ отъ нетерпѣнія снова обругать Н-ра; я взялъ Гауга за руку и сказалъ:

— Ну, только намъ и надобно.

— *Нѣтъ, не только*, — отвѣчалъ Н-ръ, — вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировалъ никого.

— Дѣло это можетъ рѣшить только вашъ корреспондентъ Пиетри, а мы съ нимъ не знакомы.

— Да что я у васъ подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я долженъ передъ вами оправдываться? Я слишкомъ высоко цѣню свое достоинство, чтобы зависѣть отъ мнѣнія какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будетъ въ этомъ домѣ, — прибавилъ Н-ръ, — гордо надѣлъ шляпу и отворилъ дверь.

— Въ этомъ вы можете быть увѣрены, — сказалъ я ему вслѣдъ.

Онъ хлопнулъ дверью и ушелъ. Гаугъ порывался за нимъ, но я, смѣясь, остановилъ его, перефразируя слова Сіэса

— *Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier—déjeunons!*

Н-ръ отправился прямо къ Т. Тучный, лоснящійся Силенъ, о которомъ Маццини какъ-то сказалъ: «мнѣ все кажется, что его поджарили на оливковомъ маслѣ и не обтерли», еще не покидалъ своего ложа. Дверь отворилась и передъ его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н-ра.

— Ты сказалъ Г., что я получалъ деньги отъ префекта?

— Я.

— Зачѣмъ?

— За тѣмъ, что ты получалъ.

— Хотя и зналъ, что я не доносилъ. Вотъ же тебѣ за это.— При этихъ словахъ Н-ръ плюнулъ Т. въ лицо и пошелъ вонъ... Разъяренный Силенъ не хотѣлъ остаться въ долгу, — онъ вскопчилъ съ постели, схватилъ горшокъ и, пользуясь тѣмъ, что Н-ръ спускался по лѣстницѣ, вылилъ ему весь запасъ на голову, приговаривая:

— А это ты возьми себѣ.

Эпилогъ этотъ утѣшилъ меня несказанно.

— Видите, какъ хорошо я сдѣлалъ, — говорилъ я Гаугу, — что васъ остановилъ. Ну, что бы подобнаго вы могли сдѣлать надъ головой несчастнаго корреспондента Пиетри, вѣдь, онъ до второго пришествія не просохнетъ.

Казалось бы, дѣло должно было окончиться этой нѣмецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финалъ. Какой-то господинъ, говорятъ добрый и честный, старикъ В., сталъ защищать Н. Онъ созвалъ комитетъ нѣмцевъ и пригласилъ меня, *какъ одного изъ обвинителей*. Я написалъ ему, что въ комитетъ не пойду, что все мнѣ извѣстное ограничивается тѣмъ, что Н. въ моемъ присутствіи сознался Гаугу, что онъ деньги *отъ префекта получалъ*. В-ру это не понравилось, онъ написалъ

мнѣ, что Н. *фактически* виноватъ, но *морально* чистъ, и приложилъ письмо Н. къ нему. Н. обращалъ, между прочимъ, вниманіе его на *странность* моего поведенія. «Г.,—говорилъ онъ,—гораздо прежде зналъ отъ г. Р. объ этихъ деньгахъ и не только молчалъ до обвиненія Т., но послѣ того еще далъ мнѣ два фунта и присылалъ на свой счетъ доктора во время болѣзни жены!»
Sehr gut!

On Liberty.

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, безъ страха и сожалѣнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ *Современникъ* мои *Письма изъ Avenue Marigny*, часть друзей и недруговъ показывали знаки нетерпѣнія, негодованія, возражали..., а тутъ, какъ на зло, съ каждымъ событіемъ становилось на Западѣ темнѣе, угарнѣе, и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально-либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля прусскимъ принцемъ не могли отвести глазъ, искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и, натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеаль, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ; если она не такая, ее надобно выдумать. Развѣ наивныя вольнодумы XVIII вѣка, и въ ихъ числѣ Вольтеръ и Робеспьеръ, не говорили, что если и нѣтъ безсмертія души, то его надобно проповѣдывать для того, чтобъ держать людей въ страхѣ и добродѣтели. Или развѣ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую болѣзнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа или сумасшедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію—дѣло, можетъ, хорошее, но не всѣ способны къ ней.

Я не унылъ, впрочемъ, отъ порицаній и утѣшалъ себя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е., независимы отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдетъ и обличится, «Kommt an die Sonnen», какъ говоритъ Гёте.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ моихъ мнѣній, антропологически понятна: сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаменѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что я *свой человекъ*,—съ чего же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить, да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны, какъ въ маятникахъ, самые противоположные элементы:

съ одной стороны, оно толкается какимъ-то жестянымъ, кострявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ, заносчивой самонадѣянностью, щепетильной обидчивостью; съ другой, въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовѣріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный результатъ рабства; въ немъ въ иной формѣ сохранилась наглость начальника, дерзость барина, съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпущаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературныхъ отдѣленій, время шло себѣ да шло, и, наконецъ, прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849, стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ парадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много *вѣчныхъ и неизблемыхъ* истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платья.

Серьезные умы въ Европѣ стали смотрѣть серьезно. Ихъ очень немного, это только подтверждаетъ мое мнѣніе о Западѣ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ, который былъ замѣшанъ въ дѣло Орсини) улыбались надъ остатками моей вѣры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. *Regeant qui ante nos nostra dixerunt* и спасибо тѣмъ, которые послѣ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудомъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ социалистомъ-изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсѣмъ нѣтъ; она писана однимъ изъ извѣстнѣйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индійскаго борда, которому три мѣсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мѣсто въ правительствѣ. Человѣкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ, въ Англии его нехотятъ читать тори и со злобой виги; его читаютъ на материкѣ тѣ нѣсколько человѣкъ (кромѣ специалистовъ), которые вообще читаютъ что-нибудь, кромѣ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Милль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту *свободы мысли, рѣчи и лица*; я говорю странную, потому что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь *on Liberty*. А, вѣдь, такіе люди, какъ С. Милль, не могутъ писать изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не то-скующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энерги-

ческое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Милля врагъ совѣмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ *общества*, противъ *нравовъ*, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетерпимости, противъ «посредственности».

Это не негодующій старикъ царедворецъ Екатерины, который брюзжитъ, обойденный кавалеріей, надъ юнымъ поколѣніемъ и колеть глаза зимнему дворцу грановитой палатой. Нѣтъ, это чловѣкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дѣлахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнущій спокойно смотрѣть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то, наконецъ, не вытерпѣлъ и, подвергаясь гнѣву невыхскихъ регистраторовъ цивилизаціи и москворѣцкихъ крыжниковъ западнаго образованія,—закричалъ: «Мы тонемъ!»

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота интересовъ, отсутствіе энергіи ужаснули его, онъ присматривается и видитъ, какъ ясно все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочнѣе», но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіи (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціи), что вырабатываются общіе стандартные типы, и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите—*душа убываетъ*.

Но зачѣмъ же будить онъ спящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумалъ для нихъ? Онъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Предтеча, гроить будущимъ и зоветъ на покаянiе; врядъ второй разъ подвинешь ли этимъ отрицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Милль стыдитъ своихъ современниковъ, какъ стыдилъ своихъ Тацитъ; онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановилъ своихъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, можетъ, никакой плотиной въ мірѣ.

«Люди иного закала, говоритъ онъ, сдѣлали изъ Англіи то, что *она была*, и только люди другого закала могутъ ее предупредить отъ *паденія*».

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала, только патологическій фактъ, и признать его очень важный шагъ для выхода, но не выходъ. Стюартъ Милль коритъ больного, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ,—странное леченіе и едва ли великодушное.

Ну, что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтиозавромъ,—виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, кричалъ со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: «Есть ли въ полѣ живъ чловѣкъ?»

Зачѣмъ же онъ его звалъ? Затѣмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъ и, слѣдственно, долженъ сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Для чего?—Молчаніе.

И Робертъ Оуэнъ звалъ людей лѣтъ семьдесятъ сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Милль, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣнями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочки сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики героями.

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и épiciers, и начать рѣчь въ родѣ Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...
Hyperion's curls, the front of Love himself;
An eye like Mars...

Look you now, what follows,
Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно, но неужели отъ этого кто-нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный бытъ, и все это для того, чтобъ величаво скучать, какъ Кромвель, или стойчески нести голову на плаху, какъ Дантонъ.

Тѣмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ господствомъ страстнаго убѣжденія, d'une idée fixe.

Такія idées fixe былъ католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII столѣтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ magnum ignotum, этотъ сфинксовской вопросъ нашей цивилизаціи, гдѣ та могущая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло, какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ, что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли папы съ его незапятнаннымъ рожденіемъ Богородицы, или религія безъ папы, съ ея догматомъ воздержанія отъ пива въ субботній день? арифметическій ли пантеизмъ всеобщей подачи голосовъ, суевѣріе ли въ республику, или суевѣріе въ парламентскія реформы?... Нѣтъ и нѣтъ;

все это блѣднѣетъ, старѣетъ и укладывается, какъ нѣкогда боги Олимпа укладывались, когда они съѣзжали съ неба, вытѣсняемые новыми соперниками.

Только на бѣду ихъ нѣтъ у нашихъ почернѣвшихъ кумировъ, по крайней мѣрѣ, С. Милль не указываетъ ихъ.

Знаетъ онъ ихъ или нѣтъ,—это сказать трудно.

Съ одной стороны, англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смѣлая логическая послѣдовательность; онъ своимъ скептицизмомъ чувствуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаема безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны, онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всѣ пуговицы и поднимать воротникъ; это его предостерегаетъ отъ сырого вѣтра и отъ суровой нетерпимости.

С. Милль, вмѣсто всякаго выхода, вдругъ замѣчаетъ: «Въ развитіи народовъ, кажется, есть предѣлъ, послѣ котораго онъ останавливается и *дѣлается Китаемъ*».

Когда же это бываетъ?

Тогда, отвѣчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятіе добра и зла смѣшиваются съ понятіемъ сообразности или несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе, развитіе собственно и состоитъ изъ стремленія къ *лучшему* отъ обычнаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человѣчества не имѣетъ исторіи, то это потому, что жизнь ихъ совершенно подчинена обычаю.

Теперь слѣдуетъ взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваетъ современное состояніе образованнаго міра. Онъ говоритъ, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идетъ къ *посредственности*, лица теряются въ толпѣ. Эта *collective mediocrity* ненавидитъ все рѣзкое, самобытное, выступающее; она проводитъ надъ всѣмъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разрѣзѣ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность, какъ тонокое болото, понимаетъ, съ одной стороны, все желающее вынырнуть, а съ другой, предупреждаетъ беспорядокъ эксцентричныхъ личностей воспитаніемъ новыхъ поколѣній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоитъ преимущественно въ томъ, чтобъ жить, какъ другіе. «Горе муцинѣ, а особливо женщинѣ, которые вздумаютъ дѣлать то, *чего никто не дѣлаетъ*; но горе и тѣмъ, которые не дѣлаютъ *того, что дѣлаютъ все*». Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *дѣлами*, и иной разъ для развлеченія шалятъ

въ филантропію (*philantic hobby*) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то средѣ принадлежить сила и власть, самое правительство по той мѣрѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствующей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же это державная среда? «Въ Америкѣ къ ней принадлежать всѣ бѣлые, въ Англии господствующій слой составляетъ *среднее состояніе*»¹⁾.

С. Милль находитъ одно различіе между мертвой неподвижностью восточныхъ народовъ и современнымъ мѣщанскимъ государствомъ. И въ немъ-то, мнѣ кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полныни, поданнаго имъ. Въѣсто азіатскаго, коснаго покоя, современные европейцы живутъ, говоритъ онъ, въ пустомъ безпокойствѣ, въ бессмысленныхъ перемѣнахъ: «отвергая особенности, мы не отвергаемъ перемѣнъ, лишь бы онѣ были всякій разъ сдѣланы *всѣми*. Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мѣнять два-три раза въ годъ покрой нашего платья, но съ тѣмъ, чтобъ всѣ мѣняли его, и это дѣлается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемѣны!»

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, *сдѣлается Китаемъ*».

Вотъ мы и возвратились и стоимъ передъ тѣмъ же вопросомъ. На какомъ основаніи будить спящаго: во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь вдохновится, сдѣлается недовольна своей теперешней жизнью, съ желѣзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изданіями?

Личности не выступаютъ оттого, что нѣтъ достаточнаго повода. За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ *лучшаго* и сохраненіемъ *существующаго* оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, *историческая* часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуетъ ему, это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успокаивается, продолжаетъ вѣчное одно и то же, до катаклизма, обновленія, разрушенія. *Semper idem* не требуетъ ни огромныхъ усилій, ни грозныхъ бойцовъ; въ какомъ бы родѣ они ни были, они будутъ лишніе, середь мира ненужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлѣ,

¹⁾ Пусть читатель вспомнить, что было сказано объ этомъ въ „Западныхъ Арабескахъ“.

на ту страну на Западѣ, которая наибольше отстоялась, на страну, которой Европа начинаетъ сѣдѣть,—на Голландію; гдѣ ея великіе государственные люди, гдѣ ея великіе живописцы, гдѣ тонкіе богословы, гдѣ смѣлые мореплаватели? Да на что ихъ? Развѣ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуетъ, оттого, что ихъ нѣтъ? Она вамъ покажетъ свои смѣющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфортъ, свою свободу, и скажетъ: мои великіе люди приобрѣли мнѣ эту свободу, мои мореплаватели завѣщали мнѣ это богатство, мои великіе художники украсили мои стѣны и церкви, мнѣ хорошо,—чего же вы отъ меня хотите? Рѣзкой борьбы съ правительствомъ? Да развѣ оно тѣснить? у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда-либо бывало.

Да что же изъ этой жизни?

Что выйдетъ? Да вообще, что изъ жизни выходитъ? А потомъ—развѣ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней; развѣ въ Голландіи люди не любятъ, не плачутъ, не хохочутъ, не поютъ пѣсенъ, не пьютъ скидама, не пляшутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что, съ одной стороны, они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и художествъ, а съ другой—имъ бездна дѣла: гран-пасьянсъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей по образу и подобию своему; не успеетъ голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ его несутъ на «Божью ниву» въ шегольски отлакированномъ гробѣ, въ то время какъ сынъ запряженъ въ торговое колесо, которое необходимо слѣдуетъ безпрестанно вертѣть, а то дѣла останутся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣшаетъ какое-нибудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволенія отступить къ меньшимъ.

Мы не имѣемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ, какъ онѣ установились, представляютъ послѣдній результатъ долгаго колебанія разныхъ видоизмѣненій, ряда совершенствованій и достиженій. Эта исторія дѣлалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопныя животныя представляютъ какую-то героическую эпоху этой *книги бытія*; это—титаны и богатыри, они мельчаютъ, уравниваются съ новой средой и, какъ только достигаютъ довольно ловкаго и прочнаго типа, начинаютъ типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака въ Одиссеѣ похожа, какъ двѣ капли воды, на всѣхъ нашихъ собакъ. И это не

все: кто сказалъ, что животныя политическія или общественныя, живущія не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и пчелы, что они такъ сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои *китайскіе* муравейники.

Я желалъ бы уяснить этимъ, что если какой-нибудь народъ дойдетъ до этого состоянія соотвѣтственности внѣшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему нѣтъ никакой внутренней необходимости, до переменъ потребностей, идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадѣ, въ ульѣ—одно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого полнаго покоя міръ, о которомъ говоритъ С. Милль, не дошелъ. Онъ послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній не можетъ ни устояться, ни отстояться, бездна дряни наверху, все мутно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дѣйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно приобрести не энергическія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанетъ обвѣшивать, французъ—помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только *gasprestability*, но и прочность быта.

Тогда Англія можетъ, по словамъ С. Милля, превратиться въ Китай (и, конечно, въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е., облегчая его по мѣрѣ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всѣхъ судовъ и наказаній заморить волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всѣмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всѣхъ человѣческихъ правъ блестящими набѣгами на сосѣдей и приковыывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи.... Черты зуавовъ уже теперь принадлежатъ азиатскому типу, чѣмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здѣсь рѣчь идетъ не о моихъ желаніяхъ, ни даже о моихъ мнѣніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотѣлъ *развернуть скобки* формулы, въ которой выраженъ результатъ С. Милля, я хотѣлъ отъ его личностей-дифференціаловъ взять историческій интеграль.

Стало *быть*, вопросъ не можетъ быть въ томъ, учтиво ли про-

рочить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будетъ Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Милль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подсе́ды и здоровые ростки, чтобъ прорасти измельчавшую траву? А тотъ вопросъ сводится на то, потерпитъ ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь, позволяя взамѣнъ, какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примѣръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдающаго—обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разрѣшать событія,—теоретически его не разрѣшишь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы.

Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дни,—тогда Китай, пророчимый Стюартомъ Миллемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдѣлается незамѣтно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкіе, люди чувствительные говорятъ, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоитъ именно въ томъ, что та идея, которая можетъ спасти народъ и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—*невыгодна* господствующему классу, что ему, если-бъ онъ былъ послѣдователенъ и смѣлъ, *выгодно* только государство съ американскимъ невольничествомъ!

Но кто же изъ нихъ правъ? Праваго между голоднымъ и сытымъ найти не мудрено, но это ни къ чему не ведетъ,—Иисусъ Христосъ развѣ не былъ правъ противъ синагоги,—однако же его распяли.

Зато черезъ четыре вѣка римская имперія сдѣлалась *христіанской*.

А христіанство *языческимъ!* ¹⁾

¹⁾ Прибавленіе о книгѣ С. Милля писано въ 1859 году.

С. Ворцель.

Давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части демократической эмиграціи подняло голосъ, голосъ, обвиняющій Ворцеля. Онъ обомлѣлъ: этой раны онъ не ждалъ, и она пришла совершенно естественно. Былъ ли онъ виноватъ и насколько,—мы сейчасъ увидимъ.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, и изъ числа которыхъ были избраны почти всѣ члены централизаціи, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это и постоянно находился подъ ихъ вліяніемъ. Этому странному явленію способствовало многое: снисхожденіе человѣка сильнаго къ слабымъ, но благонамѣреннымъ людямъ; желаніе сохранить около себя цѣлую партію, цѣбною, повидимому, неважныхъ уступокъ; наконецъ, физическая слабость и его астмъ: ему говорить было трудно, поднимать голосъ онъ не могъ; а тѣ не привыкли его понижать и, въ случаѣ возраженій, такъ кричали, что Ворцель отказывался отъ своего мнѣнія, чтобъ опомниться отъ крика. Привыкнувъ къ своему жиденькому хору, онъ воображалъ, что ведетъ его, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его, куда хотѣлъ. Только старикъ подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,—хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, какъ гиря, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрызгъ и мелочныхъ расчетовъ; бѣдный Ворцель задыхался въ этой средѣ столько же отъ духовнаго астма, сколько отъ физическаго.

Люди не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. Они въ немъ видѣли средство придать новый колоритъ дѣлу; вѣчная таутологія общихъ мѣстъ, патриотическія фразы, казенныя воспоминанія, все это пріѣлось, наскучило. Соединеніе съ русскимъ давало новый интересъ. Къ тому же они думали поправить свои дѣла, очень разстроенныя, насчетъ русской пропаганды.

Съ самаго начала между мной и членами централизаціи не было настоящаго пониманья. Недовѣрчивые ко всему русскому, они хотѣли, чтобъ я написалъ и напечаталъ нѣчто въ родѣ

profession de foi. Я написал. Они просили изменить кой-какія выраженія. Я это сдѣлалъ, хотя далеко не былъ согласенъ съ ними. Въ отвѣтъ на мою статью, Л. З. написалъ воззваніе къ русскимъ и прислалъ мнѣ его въ рукописи. Ни тѣни новой мысли; тѣ же фразы, тѣ же воспоминанія, и притомъ католическія выходы. Прежде чѣмъ переводить на русскій языкъ, я показалъ Ворцелю нелѣпости редакціи. Ворцель былъ согласенъ и пригласилъ меня вечеромъ объяснить дѣло членамъ централизаціи. Тутъ произошла вѣчная сцена Трисотина и Вадіуса: именно тѣ мѣста, на которыя я указывалъ, они-то и были *необходимы* для того, чтобъ «Польша не сгинѣла». Насчетъ католическихъ фразъ они сказали, что, каковы бы ни были ихъ личныя вѣрованія, они хотятъ быть съ народомъ; а народъ горячо любитъ свою гонимую мать, латинскую церковь.

Ворцель поддерживалъ меня. Но, какъ только онъ начиналъ говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлялъ отъ табачнаго дыма и ничего не могъ сдѣлать. Онъ общалъ мнѣ переговорить съ ними потомъ и настоять на главныхъ поправкахъ. Черезъ недѣлю вышелъ «Демократъ Польскій». Въ воззваніи не было перемѣнено *ни одной іоты*; я отказался отъ перевода. Ворцель говорилъ мнѣ, что и онъ былъ удивленъ этой продѣлкой. «Этого мало, что вы удивились, зачѣмъ вы не остановили», — замѣтилъ я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопросъ станетъ для Ворцеля такъ: разорвать съ тогдашними членами централизаціи и остаться въ близкомъ отношеніи со мной, или разорвать со мной и остаться попрежнему со своими революціонными недорослями..... Ворцель выбралъ послѣднее; я былъ огорченъ этимъ, но никогда не сѣтовалъ на него и не сердился.

Здѣсь я долженъ буду войти въ печальныя подробности. Когда я завелъ типографію, у насъ было рѣшено такъ: всѣ расходы книгопечатанія (бумага, наборъ, наемъ мѣста, работа и проч.) падали на мой счетъ. Централизація брала на свой счетъ пересылку русскихъ листовъ и брошюръ тѣми путями, которыми она пересылала польскія брошюры. Все, что они брали для пересылки, я имъ давалъ безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша; но вышло, что и она была мала.

Для своихъ дѣлъ, и преимущественно для собранія денегъ, централизація рѣшила послать въ Польшу эмиссара. Хотѣли даже, чтобъ онъ пробрался въ Кіевъ, а если можно—въ Москву, для русской пропаганды, и просили отъ меня писемъ. Я отказалъ, боясь надѣлать бѣдъ. Дня за три до его отправленія, вечеромъ, встрѣтилъ я на улицѣ З., который тотчасъ меня спросилъ:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?

Вопросъ показался мнѣ страннымъ; но, зная ихъ стѣсненное положеніе, я сказалъ, что, пожалуй, дамъ фунтовъ десять (250 фр.).

— Да что вы шутите, что ли?—спросилъ, морщась, З. Ему надобно по меньшей мѣрѣ шестьдесятъ фунтовъ, а у насъ *фунтовъ сорокъ* не достаетъ. Этого такъ оставить нельзя, я поговорю съ нашими и приду къ вамъ.

Дѣйствительно, на другой день онъ пришелъ съ Ворцелемъ и двумя членами централизаціи. На этотъ разъ З. меня просто обвинилъ въ томъ, что я не хочу дать достаточно денегъ на посылку эмиссара, а согласенъ ему дать русскіе печатные листы.

— Помилуйте,—отвѣчалъ я,—вы рѣшились послать эмиссара, вы находите это необходимымъ; трата падаетъ на васъ. Ворцель налицо, пусть онъ вамъ напомнитъ условія.

— Что тутъ толковать о *вздоръ*: развѣ вы не знали, что у насъ теперь гроша нѣтъ.

Тонъ этотъ мнѣ, наконецъ, надоѣлъ.

— Вы, сказалъ я, кажется, не читали «Мертвыя Души»; а то бы я вамъ напомнилъ Поздрева, который, показывая Чичикову границу своего имѣнья, замѣтилъ, что и съ той и съ другой стороны земля его. Это очень сбиваетъ на нашъ дѣлежъ: мы дѣлили работу нашу и тягу пополамъ на томъ условіи, чтобъ обѣ половины лежали на моихъ плечахъ.

Маленькій, желчный литвинъ началъ выходить изъ себя, кричать о гонорѣ и заключилъ нелѣпую и невѣжливую рѣчь вопросомъ:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтобъ вы меня не принимали ни за *bailleur de fonds*, ни за демократическаго банкира, какъ меня назвалъ одинъ нѣмецъ въ своей брошюрѣ. Вы слишкомъ оцѣнили мои средства, и, кажется, слишкомъ мало меня; вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте,—горячился блѣдный отъ ярости литвинъ.

— Я не могу дозволить продолженія этого разговора,—сказалъ, наконецъ, Ворцель, мрачно сидѣвшій въ углу и вставая,—или продолжайте его безъ меня. *Sher Herzen*, вы правы; но подумайте объ нашемъ положеніи: эмиссара послать необходимо, а средствъ нѣтъ.

Я остановилъ его.

— Въ такомъ случаѣ можно было меня спросить: могу ли я что-нибудь сдѣлать, но нельзя было требовать; а требовать въ этой грубой формѣ просто гадко. Деньги я дамъ; дѣлаю это единственно для васъ и, даю вамъ честное слово, господа, въ послѣдній разъ.

Я вручилъ Ворцелю деньги, и всё мрачно разошлись.

Эмиссаръ поѣхалъ и пріѣхалъ назадъ, ничего не сдѣлавши.

Война приближалась, началась. Эмиграция была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля въ неспособности, лѣни, въ желаніи устроить свои дѣлишки вмѣсто польскихъ дѣлъ. Неудовольствіе ихъ дошло до явнаго ропота; они поговаривали объ отчетѣ, котораго хотѣли требовать отъ членовъ централизаціи, объ открытомъ заявленіи недовѣрія. Ихъ останавливало и удерживало одно—уваженіе и любовь къ Ворцелю. Сколько могъ, я, черезъ Ч., поддерживалъ это; но ошибка за ошибкой централизаціи должны были, наконецъ, вывести изъ терпѣнія хоть кого.

Въ ноябрѣ 1854 былъ снова польскій митингъ; но уже совсѣмъ въ другомъ духѣ, чѣмъ въ прошломъ году. Предсѣдателемъ былъ избранъ членъ парламента, Жозуа Вомслей. Поляки ставили свое дѣло подъ англійскій патронажъ. Въ предупрежденіе слишкомъ красныхъ рѣчей, Ворцель написалъ кое къ кому записки въ родѣ полученной мною: «Вы знаете, что 29-го у насъ митингъ; не можемъ пригласить васъ и въ этотъ разъ, какъ въ прошлый, сказать намъ нѣсколько сочувственныхъ словъ: война и необходимость сближенія съ англичанами заставляютъ насъ дать митингу иной цвѣтъ. Не Герценъ, не Ледрю-Ролленъ и Пьянчани будутъ говорить, а большей частью англичане; изъ нашихъ же одинъ Кошутъ возьметъ рѣчь, чтобы изложить положеніе дѣлъ и пр.»

Я отвѣчалъ, «что приглашеніе *не говоритъ* на митингѣ я получилъ, и съ тѣмъ большей охотой его принимаю, что оно очень легко».

Сближеніе съ англичанами не состоялось; уступки были сдѣланы напрасно; даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказалъ, что онъ готовъ дать денегъ, но не хочетъ подписать своего имени, не желая, какъ членъ парламента, официально участвовать въ сборѣ, цѣль котораго не признана правительствомъ.

Все это, и между прочимъ мое отдѣленіе отъ митинга, довело раздраженіе молодыхъ людей до крайней степени; у нихъ уже ходилъ по рукамъ обвинительный актъ. Какъ нарочно въ то же время я долженъ былъ перевести русскую типографію въ другое мѣсто. З., нанимавшій на свое имя домъ, въ которомъ помѣщалась она вмѣстѣ съ польской типографіей, былъ кругомъ въ долгахъ; два раза уже являлись брокеры; всякій день можно было ждать, что типографію захватятъ вмѣстѣ съ другой мебелью. Я поручилъ Ч. ее перевезти; З. упирался, не хотѣлъ выдать буквъ и принадлежностей; я написалъ ему холодную записку. Въ отвѣтъ на нее, на другой день, пріѣхалъ больной и разстроенный Ворцель ко мнѣ въ Ричмондъ.

— Вы намъ наносите le coup de grâse; въ то самое время, какъ у насъ идетъ такая усобица, вы переводите типографію.

— Увѣряю васъ, что тутъ никакихъ нѣтъ политическихъ причинъ, ни ссоръ, ни демонстраціи; а очень просто: я боюсь, что опишутъ все у З. Отвѣчаете ли вы мнѣ, что этого не будетъ, я на *ваше* честное слово положусь и типографію оставлю.

— Дѣла его очень запутаны, это правда.

— Какъ же вы хотите, чтобъ я рисковалъ моимъ единственнымъ орудіемъ. Если даже я потомъ и выкуплю, чего будетъ стоить одна потеря времени? Вы знаете, какъ это здѣсь дѣлается.

Ворцель молчалъ.

— Вотъ что я могу сдѣлать для васъ; я напишу письмо, въ которомъ скажу, что хозяйственные распоряженія заставляютъ меня перевести типографію, но что это не только не значитъ, что мы расходимся, но, напротивъ, что у насъ, вмѣсто одной, будутъ двѣ типографіи; письмо это вы можете напечатать, ежели желаете, или показать кому угодно.

Дѣйствительно, я въ этомъ смыслѣ и написалъ письмо на имя Ж., забитаго члена централизаціи, завѣдывавшаго ея матеріальной частью.

Ворцель остался обѣдать; послѣ обѣда я уговорилъ его переночевать въ Ричмондѣ; вечеромъ мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ передъ каминомъ. Онъ былъ очень печаленъ, ясно понимая, какихъ ошибокъ онъ надѣлалъ, какъ всѣ уступки не повели ни къ чему, кромѣ внутренняго распада; наконецъ, какъ агитация, которую онъ дѣлалъ съ Кошутомъ, пропадала безслѣдно; а фономъ всей черной картины—убійственный покой Польши.

Осенью 1856 Ворцелю совѣтовали ѣхать въ Ниццу и сначала пожить на теплыхъ закраинахъ Женевского озера. Услышавъ это, я ему предложилъ деньги, нужныя на путь. Онъ принялъ, и это насъ снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирался онъ въ путь тихо; лондонская зима сырая, съ продымленнымъ, давящимъ туманомъ, вѣчной сыростью и страшными сѣверо-восточными вѣтрами, начиналась. Я торопилъ его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страхъ отъ перемѣны, отъ движенія. Онъ боялся одиночества. Я ему предлагалъ взять съ собою кого-нибудь до Женевы; тамъ я его передалъ бы Карлу Фогту.

Онъ все принималъ, со всѣмъ соглашался, но ничего не дѣлалъ. Жилъ онъ ниже *rez-de-chaussée*; у него въ комнатѣ почти никогда не было свѣтло. Тамъ-то, въ асмѣ, безъ воздуха, дыша каменнымъ углемъ, онъ потухалъ.

II. Тэйлоръ велѣлъ хозяйкѣ дома всякую недѣлю посылать къ нему счетъ за квартиру, столъ и прачку: этотъ счетъ онъ платилъ, но «на руки» ему не давалъ ни одного фунта.

Бхать онъ рѣшительно опоздалъ; я ему предложилъ нанять для него хорошую комнату въ Brompton Consumption hospital.

— Да, это было бы хорошо, но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну, такъ что же?

— Ж. живетъ здѣсь, и всѣ дѣла наши здѣсь, а онъ *долженъ каждое утро приходиться ко мнѣ съ дневнымъ отчетомъ!*

Тутъ самоотверженіе граничило съ сумасшествіемъ.

Со смертью Ворцеля, демократическая партія польской эмиграціи въ Лондонѣ обмельчала. Имъ, его изыщной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальные партіи распались на мелкія партіи, почти враждебныя. Годичные митинги въ разбивку стали бѣдны числомъ и интересомъ: вѣчная панихида, перечень старыхъ и новыхъ потерь и, какъ всегда въ панихидахъ, чапаніе воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, вѣра во второе пришествіе Бонапарта и въ преображеніе Рѣчи Посполитой.

Два-три благородныхъ старца остались величественными и скорбными памятниками; какъ тѣ длиннородые, сѣдые израильтяне, которые плачуть у стѣнъ Іерусалимскихъ, они, не какъ вожди, указываютъ путь впередъ, а, какъ иноки, — могилу; они останавливаютъ насъ своимъ *Sta viator!*

Между ними — лучшій изъ лучшихъ, сохранившій въ дряхломъ тѣлѣ молодое сердце и юный, кроткій, дѣтски чистый, голубой взглядъ. Одна нога его уже въ гробѣ, — скоро уйдетъ онъ, скоро и противникъ его, Адамъ Чарторижскій.

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это *finis Poloniae?*

.... Прежде чѣмъ мы совсѣмъ оставимъ трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодномъ Гай-Гетовскомъ кладбищѣ, я хочу рассказать нѣсколько мелочей о немъ. Такъ люди, идущіе съ похоронъ, приостанавливая скорбь, рассказываютъ разныя подробности о покойномъ.

Ворцель былъ очень разсѣянъ въ маленькихъ житейскихъ дѣлахъ; послѣ него всегда оставались очки, ихъ чехолъ, платокъ, табакерка; зато, если близко него лежалъ не его платокъ, онъ его клалъ въ карманъ; онъ приходилъ иногда съ тремя перчатками, иногда съ одной.

Прежде чѣмъ онъ переѣхалъ въ Hunter street, онъ жилъ возлѣ, въ полукругѣ небольшихъ домовъ Burton Crescent, 43, недалеко отъ Нью-Родъ. На англійскій манеръ, всѣ дома полукруга были одинакіе. Домъ, въ которомъ жилъ Ворцель, былъ пятый съ края, и онъ всякій разъ, зная свою разсѣянность, считалъ двери. Возвращаясь какъ-то съ противоположной стороны полулуныя, Ворцель постучалъ и, когда ему отперли, вошелъ въ свою комнату.

Изъ нея вышла какая-то дѣвушка, вѣроятно хозяйская дочь. Ворцель сѣлъ отдохнуть къ потухавшему камину. За нимъ кто-то раза два кашлянулъ: на креслахъ сидѣлъ незнакомый человѣкъ.

— Извините, сказалъ Ворцель, вы вѣрно меня ждали?

— Позвольте, замѣтилъ англичанинъ, прежде чѣмъ я отвѣчу, узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имѣю удовольствія знать; что же вамъ угодно?

Тутъ вдругъ Ворцеля поразила мысль, что онъ не туда попалъ: оглядѣвшись, онъ увидѣлъ, что мебель и все прочее не его. Онъ разсказалъ англичанину свою бѣду и, извиняясь, отправился въ пятый домъ съ другой стороны. По счастью, англичанинъ былъ очень учтивый человѣкъ, что не очень обыкновенный плодъ въ Лондонѣ.

Мѣсяца черезъ три та же исторія. На этотъ разъ, когда онъ постучалъ, горничная, отворившая дверь, видя почтеннаго старика, просила его взойти прямо въ парлоръ; тамъ англичанинъ ужиналъ со своей женой. Увидя входящаго Ворцеля, онъ весело протянулъ ему руку и сказалъ:

— Это не здѣсь, вы живете въ 43.

При этой разсѣянности, Ворцель сохранилъ до конца жизни необыкновенную память; я въ немъ справлялся какъ въ лексиконѣ или энциклопедіи. Онъ читалъ все на свѣтѣ, занимался всѣмъ: механикой и астрономіей, естественными науками и исторіей. Не имѣя никакихъ католическихъ предразсудковъ, онъ, по старому рлі польскаго ума, вѣрилъ въ какой-то духовный міръ, неопредѣленный, ненужный, невозможный, но отдѣльный отъ міра матеріальнаго. Это не религія Моисея, Авраама и Исаака, а религія Жанъ-Жака, Жоржъ-Зандъ, Пьера-Леру, Маццини и пр. Но Ворцель имѣлъ меньше ихъ всѣхъ правъ на нее.

Когда его астма не очень мучилъ и на душѣ было не очень темно, Ворцель былъ очень любезенъ въ обществѣ. Онъ превосходно разсказывалъ, и особенно воспоминанія изъ стараго панскаго быта; этихъ разсказовъ я заслушивался. Міръ пана Тадеша, міръ Мурделию проходилъ передъ глазами; міръ, о кончинѣ котораго не жалѣешь, напротивъ, радуешься, но которому невозможно отказать въ какой-то яркой, необузданной поэзіи, вовсе недостающей нашему барскому быту. Намъ въ сущности такъ не свойственна западная аристократія, что всѣ рассказы о нашихъ тузахъ сводятся на дикую роскошь, на пиры на цѣлый городъ, на безчисленныя дворни, на тиранство крестьянъ и мелкихъ сосѣдей. Шереметьевы и Голицыны, со всѣми ихъ дворцами и помѣстьями, ничемъ не отличались отъ своихъ крестьянъ, кромѣ нѣмецкаго кафтана, французской грамоты, царской милости и

богатства. Всѣ они непрерывно подтверждали изреченіе Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди: это тѣ, съ которыми онъ говорить, и пока говорить. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что можетъ быть жалче *et moins aristatique*, какъ послѣдній представитель русскаго барства и вельможничества, видѣнный мною, князь С. М. Г.,—и что отвратительнѣе какого-нибудь Измайлова.

Замашки польскихъ пановъ были скверны, дики, почти непонятны теперъ; но діаметръ другой, но другой закалъ личности, и ни тѣни холопства.

— Знаете вы, спросилъ меня разъ Ворцель, отчего называется *passage Radzivil*, въ Пале-Рояль?

— Нѣтъ.

— Вы помните знаменитаго Радзивилла, пріятеля регента, который проѣхалъ на своихъ изъ Варшавы въ Парижъ, и для всякаго ночлега покупалъ домъ; количество вина, которое выпивалъ Радзивиллъ, покорило ему разслабленнаго хозяина; герцога такъ привыкъ къ нему, что, выдаясь всякій день, посылалъ еще по утрамъ къ нему записки. Занудило какъ-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Онъ послалъ хлопца къ нему съ письмами. Хлопецъ искалъ—искалъ, не нашелъ и принесъ повинную голову. Дуракъ, сказалъ ему панъ, поди сюда, смотри въ окно: видишь этотъ большой домъ? (Пале-Рояль).—Вижу.—Ну, тауъ живетъ первый здѣшній панъ, каждый тебѣ укажетъ. Пошелъ хлопецъ, искалъ—искалъ, не можетъ найти.

Дѣло было тоуъ, что дома отгораживали дворецъ и надобно было сдѣлать обходъ по *St.-Honoré*.

— Фу, какая скука, сказалъ панъ, велите моему повѣренному скупить дома между моимъ дворцомъ и Пале-Роялемъ, да и сдѣлайте улицу, чтобъ дуракъ этотъ не путалъ, когда я опять его пошлю къ регенту.....

Какъ вообще дѣлались финансовыя операціи въ нашемъ мирѣ, я покажу еще на одномъ примѣрѣ.

Послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ въ 1852, говоря о плохомъ состояніи итальянской кассы съ Маццини, я сообщилъ ему, что въ Генуѣ я предлагалъ его друзьямъ завести свою *income tax* и платить—безсмейнымъ процентовъ десять, семейнымъ меньше.

— Примуть всѣ, замѣтилъ Маццини, а заплатятъ весьма немногіе.

— Стыдно будетъ, заплатятъ. Я давно хотѣлъ внести свою лепту въ итальянское дѣло; мнѣ оно близко, какъ родное; я дамъ десять процентовъ съ дохода одновременно. Это составитъ около двухсотъ фунтовъ. Вотъ сто сорокъ фунтовъ, а шестьдесятъ останутся за мной.

... Въ 1853 году Маццини исчезъ. Вскорѣ послѣ его отъѣзда явились ко мнѣ два породистыхъ рефюжье; одинъ въ шинели съ мѣховымъ воротникомъ, потому что онъ десять лѣтъ тому назадъ былъ въ Петербургѣ; другой безъ воротника, но съ сѣдыми усами и военной бородкой. Они пришли съ порученіемъ отъ Ледрю-Роллена: онъ хотѣлъ знать, не намѣренъ ли я прислать какую-нибудь сумму денегъ въ Европейскій комитетъ? Я признался, что *не намѣренъ*.

Нѣсколько дней спустя тотъ же вопросъ былъ мнѣ сдѣланъ Ворцелемъ.

— Съ чего это взялъ Ледрю-Ролленъ?

— Да, вѣдь, дали же вы Маццини.

— Это скорѣе резонъ не давать никому другому.

— Кажется, за вами остались шестьдесятъ фунтовъ?

— Обѣщанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

... Прошла недѣля; я получилъ письмо отъ Маццолетти, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня, что до его свѣдѣнія дошло, что я *не знаю*, кому доставить шестьдесятъ фунтовъ, оставшіеся за мной; въ силу чего онъ проситъ переслать ихъ ему, какъ пред-ставителю Маццини въ Лондонѣ.

Маццолетти этотъ дѣйствительно былъ секретаремъ Маццини. Чиновникъ, бюрократъ по натурѣ, онъ насъ смѣшилъ своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о возстаніи въ Миланѣ 3 февраля 1853 была напечатана въ журналахъ, я поѣхалъ къ Маццолетти узнать, не имѣетъ ли онъ какихъ вѣстей. Маццолетти просилъ меня подождать; потомъ вышелъ озабоченный, доблестный, съ какими-то бумагами и съ Братіано, съ которымъ былъ въ важномъ разговорѣ.

— Я къ вамъ пріѣхалъ узнать, нѣтъ ли какихъ вѣстей.

— Нѣтъ, я самъ узналъ изъ «Теймса»; жду съ часу на часъ депешу!

Пошли еще человѣка два. Маццолетти былъ доволенъ и потому морщился и жаловался на недосугъ. Разговорившись, онъ началъ полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете?—спросилъ я его.

— Это....—это, разумѣется, мои соображенія,—замѣтилъ, нѣсколько смѣшавшись, Маццолетти.

— Завтра утромъ я къ вамъ пріѣду....

— А если сегодня будетъ что-нибудь, я извѣщу васъ.

— Вы меня одолжите, отъ 7 до 9 я буду у Вери.

Маццолетти не забылъ. Часу въ восьмомъ я обѣдалъ у Вери; вошелъ итальянецъ, котораго я раза два видалъ, онъ подошелъ ко мнѣ, осмотрѣлся, выждалъ, когда гарсонъ пошелъ за чѣмъ-то,

и, сказавъ мнѣ, что Маццолетти поручилъ ему передать, что никакой телеграммы не было, ушелъ.

... Получивъ письмо отъ этого статсъ-секретаря по революціи, я ему отвѣчалъ шутя, что онъ напрасно меня представляетъ въ какомъ-то безпомощномъ состояніи, стоящаго середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесятъ ливровъ, что я безъ письма Маццини вовсе не намѣренъ ихъ кому бы то ни было отдавать.

Маццолетти написалъ мнѣ длинную и нѣсколько гнѣвную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшаго, быть колкой для получающаго, не выходя, впрочемъ, изъ предѣловъ парламентской вѣжливости.

Не прошло недѣли послѣ этихъ искушеній, какъ утромъ рано пріѣхала ко мнѣ Эмилиа Г., одна изъ преданнѣйшихъ женщинъ Маццини и близкій его другъ. Она мнѣ сообщила о томъ, что возстаніе въ Ломбардіи не удалось, и что еще Маццини скрывается тамъ и проситъ немедленно выслать денегъ, а денегъ нѣтъ.

— Вотъ вамъ, сказалъ я ей, знаменитые шестьдесятъ фунтовъ; не забудьте только сказать тайному совѣтнику Маццолетти, да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не такъ дурно сдѣлалъ, не бросивъ въ омутъ Европейскаго комитета эти полторы тысячи франковъ.

Предупреждая нашъ русскій національный выводъ изъ моего разказа, я долженъ сказать, что деньгами такъ собираемыми никогда никто не пользовался ¹⁾: у насъ ихъ кто-нибудь укралъ бы; здѣсь онѣ исчезали въ томъ родѣ, какъ если бы кто-нибудь, не записывая нумеровъ, жегъ на свѣчкѣ ассигнаціи.

¹⁾ Итальянская эмиграція выше всякаго подозрѣнія. Во французской былъ одинъ забавный случай.—В., о которомъ была рѣчь въ разказѣ о дуэли Бартеlemi, собралъ по порученію Ледрю-Роллена какія-то денги и прожилъ ихъ. Послѣ этого желаніе возвратиться въ Лондонъ сильно уменьшилось, и онъ сталъ просить разрѣшенія остаться въ Марсели. Биле отвѣчалъ, что В., какъ политическій человекъ, такъ безопасенъ, что могъ бы остаться; но что безчестный поступокъ его со своей собственной партіей показываетъ, что онъ не надежный человекъ, въ силу чего онъ ему отказываетъ.

Своего рода пальма и тутъ принадлежатъ нѣмцамъ. Они сколотили сборами въ Америкѣ и Манчестерѣ, помнится, тысячъ двадцать франковъ. Деньги эти назначенныя для агитации, пропаганды, поддержанія процессовъ и пр., они положили въ одинъ изъ лондонскихъ банковъ и избрали распорядителями: Кякеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха, трехъ непримиримыхъ враговъ. Тѣ тотчасъ догадались, какой богатый источникъ неприятностей другъ другу имъ данъ въ руки; а потому и поспѣшили написать въ условіяхъ взноса, чтобъ банкъ не выдавалъ никакой суммы безъ всѣхъ трехъ подписей. Стоило одному, или двумъ даже, подписаться,—третій не соглашался. Что ни дѣлало нѣмецкое эмиграционное общество.—одной подписи не доставало. Такъ и лежитъ сумма нетронутою и поднесъ въ банкъ,—вѣроятно, приданнымъ для будущей тевтонской республики.

Pater V. Petscherine.

— Вчера я видѣлъ Печерина.

Я вздрогнулъ при этомъ имени.

— Какъ, спросилъ я,—*того* Печерина, онъ здѣсь?

— Кто, reverend Petscherine? да, онъ здѣсь.

— Гдѣ же онъ?

— Въ іезуитскомъ монастырѣ С. Мери Чепель въ Клапамѣ.

Reverend Petscherine! Я Печерина лично не зналъ, но слышалъ объ немъ очень много отъ Рѣдкина, Крюкова, Грановскаго. Молодымъ доцентомъ возвратился онъ изъ-за границы, на кафедре греческаго языка въ московскомъ университетѣ; это было въ одну изъ самыхъ темныхъ эпохъ между 1835 и 1840. Мы были въ ссылкѣ, молодые профессора еще не пріѣзжали, *Телеграфъ* былъ запрещенъ, *Европеецъ* былъ запрещенъ, *Телескопъ* запрещенъ, Чаадаевъ объявленъ сумасшедшимъ.

Печеринъ задыхался, имъ овладѣлъ ужасъ, тоска, надобно было бѣжать, бѣжать во что бы ни стало, изъ этой страны. Для того, чтобъ уѣхать, надобны деньги. Печеринъ сталъ давать уроки, свелъ свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходилъ, миновалъ товарищескія сходки и, накопивши немного денегъ, уѣхалъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ написалъ гр. Р. Строгонову письмо; онъ увѣдомлялъ его о томъ, что онъ не воротится больше. Благодаря его, прощаясь съ нимъ, Печеринъ говорилъ о невыносимой духотѣ, отъ которой онъ бѣжалъ, и заклиналъ его *бегать* молодыхъ профессоровъ, быть ихъ щитомъ отъ ударовъ.

Строгоновъ показывалъ это письмо многимъ изъ профессоровъ.

Москва на нѣкоторое время замолкла объ немъ, и вдругъ мы услышали, съ какимъ-то безконечно тяжелымъ чувствомъ, что Печеринъ сдѣлался іезуитомъ, что онъ на искусь въ монастырѣ. Бѣдность, безучастіе, одиночество сломили его; я перечитывалъ его «Торжество смерти!» и спрашивалъ себя, неужели этотъ человекъ можетъ быть католикомъ, іезуитомъ?

Разобщеннымъ показался себѣ, сирымъ русскій человекъ въ

сортированномъ и по горло занятомъ Западъ, ему было слишкомъ безродно. Когда веревка, на которой онъ былъ привязанъ, порвалась, и судьба его, вдругъ отрѣшенная отъ всякаго внѣшняго направленія, попала въ его собственные руки, онъ не зналъ, что дѣлать, не умѣлъ съ ней управляться и, сорвавшись съ орбиты, безъ цѣли и границъ, упалъ въ іезуитскій монастырь!

На другой день, часа въ два, я отправился въ S. Mary Chapel. Тяжелая, дубовая дверь заперта.—Я стукнулъ три раза кольцемъ, дверь отворилась и явился тощій, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, въ монашескомъ подрясникѣ, въ рукахъ у него былъ молитвенникъ.

— Кого вамъ?—спросилъ братъ-привратникъ по-англійски.

— Reverend Father Petscherine.

— Позвольте ваше имя.

— Вотъ карточка и письмо. Въ письмѣ я вложилъ объявленіе о русской типографіи.

— Взойдите, сказалъ молодой человѣкъ, запирая снова за мною дверь.—Подождите здѣсь,—и онъ указалъ въ обширныхъ сѣняхъ на два, три большихъ стула со старинной рѣзьбой.

Минуть черезъ пять, братъ-привратникъ возвратился и сказалъ мнѣ съ небольшимъ акцентомъ по-французски, что le père Petscherine sera enchanté de me recevoir dans un instant.

Послѣ этого онъ повелъ меня черезъ какой-то рефекторій въ высокую, небольшую комнату, слабо освѣщенную, и снова прислѣ сѣсть. На стѣнѣ было высѣченное изъ камня распятіе и, если не ошибаюсь, съ другой стороны также Богородица. Кругомъ тяжелаго массивнаго стола стояли большія деревянныя кресла и стулья. Противоположная дверь вела сѣнями въ обширный садъ, его свѣтская зелень и шумъ листьевъ были какъ-то не на мѣстѣ.

Братъ-привратникъ показалъ мнѣ на стѣнѣ надпись; въ ней было сказано, что reverend Fathers принимаютъ имѣющихъ въ нихъ нужду отъ 4 до 6 часовъ. Еще не было четырехъ.

— Вы, кажется, не англичанинъ и не французъ? — спросилъ я его, вслушиваясь въ его акценты.

— Нѣтъ.

— Sind sie ein Deutscher?

— O, nein, mein Herr,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь,—ich bin beinahe Ihr Landsmann, ich bin ein Pole.

Ну, брата-привратника выбрали не дурно, онъ говорилъ на четырехъ языкахъ. Я сѣлъ, онъ ушелъ; странно мнѣ было видѣть себя въ этой обстановкѣ. Черныя фигуры прохаживались въ саду, человѣка два въ полумонашескомъ платьѣ прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво, кланялись, глядя въ землю, я

всякой разъ привставалъ, и также серьезно откланивался имъ. Наконецъ, вышелъ, небольшой ростомъ, очень пожилой, священникъ въ граненой шапкѣ и во всемъ одѣяніи, въ которомъ священники ходятъ въ монастыряхъ. Онъ шелъ прямо ко мнѣ, шурстя своей сутаной, и спросилъ меня чистѣйшимъ французскимъ языкомъ:

— Вы желали видѣть Печерина?

Я отвѣчалъ, что—я.

— Чрезвычайно радъ вашему посѣщенію, сказалъ онъ, протягивая руку, сдѣлайте одолженіе, присядьте.

— Извините, — сказалъ я, нѣсколько смѣшавшись, что не узналъ его; мнѣ въ голову не приходило, что встрѣчу его костюмированного, — ваше платье...

Онъ слегка улынулся, и тотчасъ продолжалъ:

— Давно не слыхалъ я никакой вѣсти о родномъ краѣ, объ нашихъ, объ университетѣ; вы, вѣроятно, знали Рѣдкина и Крюкова.

Я смотрѣлъ на него, лице его было старо, старше лѣтъ; видно было, что подъ этими морщинами много прошло и прошло tout de bon, т. е., умерло, оставивъ только свои надгробные слѣды въ чертахъ. Искусственный, клерикальный покой, которымъ особенно монахи, какъ сулеймой, заморяютъ цѣлыя стороны сердца и ума, былъ уже и въ его рѣчи и во всѣхъ движеніяхъ. Католическій священникъ всегда сбивается на вдову, онъ также въ траурѣ и въ одиночествѣ, онъ также вѣренъ чему-то, чего нѣтъ, и утоляетъ настоящія страсти раздраженіемъ фантазій.

Когда я ему рассказалъ объ общихъ знакомыхъ, и о кончинѣ Крюкова, при которой я былъ, о томъ, какъ его студенты несли черезъ весь городъ на кладбище, потомъ объ успѣхахъ Грановскаго, объ его публичныхъ лекціяхъ, — мы оба какъ-то призадумались; что происходило въ черепѣ подъ граненой шапкой, — не знаю; но Печеринъ снялъ ее, какъ будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставилъ на столъ. Разговоръ не шелъ.

— Sortons un peu au jardin, сказалъ Печеринъ, le temps est si beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы съ вами говоримъ по-французски?

— И то! будемте говорить по-русски, я думаю, что уже совсѣмъ разучился.

Мы вышли въ садъ. Разговоръ снова перешелъ къ университету и Москвѣ.

— О, сказалъ Печеринъ, что это было за время, когда я оставилъ Россію, — безъ содроганія не могу вспомнить! Бѣдная страна, особенно для меньшинства, получившаго несчастный

даръ образованія. А, вѣдь, какой добрый народъ, я часто вспоминаю нашихъ мужиковъ, когда бываю въ Ирландіи, они чрезвычайно похожи; келтійскій землепашецъ такой же ребенокъ, какъ нашъ. Побывайте въ Ирландіи, вы сами убѣдитесь въ этомъ.

Такъ длился разговоръ съ полчаса, наконецъ, собираясь оставить его, я сказалъ ему:

— У меня есть просьба къ вамъ.

— Что такое, сдѣлайте одолженіе?

— У меня были въ рукахъ въ Петербургѣ нѣсколько вашихъ стихотвореній; въ числѣ ихъ есть трилогія — *Паликратъ Самосскій*, *Торжество смерти*, и еще что-то, нѣтъ ли у васъ ихъ, или не можете ли вы мнѣ ихъ дать?

— Какъ это вы вспомнили такой вздоръ. Это незрѣлыя, ребяскія произведенія иного времени и иного настроенія.

— Можетъ, замѣтилъ я, улыбаясь, *потому-то* они мнѣ и нравятся. Да есть они у васъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, гдѣ же!..

— И продиктовать не можете?

— Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ.

— А если я ихъ найду гдѣ-нибудь въ Россіи, — печатать позволите?

— Я, право, на эти ничтожныя произведенія смотрю, точно будто другой писалъ; мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ, какъ больному до бреда послѣ выздоровленія.

— Коли вамъ дѣла нѣтъ, стало, я могу печатать ихъ, положимъ безъ имени.

— Неужели эти стихи вамъ нравятся до сихъ поръ?

— Это мое дѣло, вы мнѣ скажите, позволяете мнѣ ихъ печатать или нѣтъ?

Прямого отвѣта онъ и тутъ не далъ, я пересталъ приставать.

— А что же, — спросилъ Печеринъ, когда я прощался, — вы мнѣ не привезли ничего изъ вашихъ публикацій; я помню, въ журналахъ говорили, года три тому назадъ, объ одной книгѣ, изданной вами, кажется, на нѣмецкомъ языкѣ?

— Ваше платье, отвѣчалъ я, скажетъ вамъ, по какимъ соображеніямъ я не долженъ былъ привезти ее; примите это съ моей стороны за знакъ уваженія и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь: мы можемъ скорбѣть о заблужденіи, молиться объ исправленіи, желать его, и во всякомъ случаѣ любить человѣка.

Мы разстались.

Онъ не забылъ ни книги, ни моего отвѣта, и дня черезъ три написалъ ко мнѣ слѣдующее письмо по-французски.

Ж. М. Ж. А.

St-Mary's Clapham, 11 апрѣля, 1853 г.

«Я не могу скрыть отъ васъ той симпатіи, которую возбуждаетъ въ моемъ сердцѣ слово свободы,—свободы для моей несчастной родины! Не сомнѣвайтесь ни на минуту въ искренности моего желанія—возрожденія Россіи. При всемъ этомъ, я далеко не во всемъ согласенъ съ вашей программой. Но это ничего не значить. Любовь католическаго священника обнимаетъ всѣ мнѣнія и всѣ партіи. Когда ваши драгоценнѣйшія упованія обманутъ васъ, когда силы міра сего поднимутся на васъ, вамъ еще останется вѣрное убѣжище въ сердцѣ католическаго священника: въ немъ вы найдете дружбу безъ притворства, сладкія слезы и миръ, который свѣтъ не можетъ вамъ дать. Приѣзжайте ко мнѣ, либезной соотечественникъ. Я былъ бы очень радъ васъ видѣть еще разъ, до моего отъѣзда въ Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мнѣ».

В. Печеринъ.

Я свезъ ему книги, и черезъ четыре дня получилъ слѣдующее письмо.

Ж. М. Ж. А.

S-t Pierre, Island of Guernsey.

Chapelle Catholique, 15 апрѣля, 1853 г.

«Я прочелъ обѣ ваши книги съ большимъ вниманіемъ. Одна вещь особенно поразила меня: мнѣ кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философію и на изящную словесность (*belle littérature*). Неужели вы думаете, что онѣ призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидѣтельство исторіи совершенно противъ васъ. Нѣтъ примѣра, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философіей и словесностью. Скажу просто (*tranchons le mot*), одна религія служила всегда основой государствъ; философія и словесность—это увы! уже послѣдній цвѣтокъ общественнаго древа. Когда философія и литература достигаютъ своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуютъ и разрѣшаютъ всѣ общественные вопросы, тогда конецъ, паденіе, тогда смерть общества. Это доказываетъ Греція и Римъ, это доказываетъ такъ называемая александринская эпоха; никогда философія не была больше изощрена, никогда литература цвѣтуще, а между тѣмъ это была эпоха глубокаго общественнаго паденія! Когда философія бралась за пересозданіе общественнаго порядка, она постоянно доходила до жестокаго деспотизма, на примѣръ, въ Фридрихъ II, Екатеринъ II, Иосифъ II и во всѣхъ неудавшихся революціяхъ. У васъ вырвалась фраза, счастливая или несчастная, какъ хотите: вы говорите, «что фаланстеръ ничто иное, какъ преобразованная казарма, и коммунизмъ можетъ быть только видоизмѣненіе самовластья». Я вообще

вижу какой-то меланхолическій отблескъ на васъ и на вашихъ московскихъ друзьяхъ. Вы даже сами сознаетесь, что вы всѣ Онѣгины, т. е., что вы и ваши—въ отрицаніи, въ сомнѣніи, въ отчаяніи. Можно ли перерождать общество на такихъ основаніяхъ?

«Можетъ, я высказалъ вещь избитую, и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобъ начать контроверзу, но я считалъ себя обязаннымъ сдѣлать это замѣчаніе, потому что иногда лучшіе умы и благороднѣйшія сердца ошибаются въ основѣ, сами не замѣчая того. Для того я это пишу вамъ, чтобъ доказать, какъ внимательно читалъ я вашу книгу, и дать новый знакъ того уваженія и любви, съ которыми...»

В. Печеринъ.

На это я отвѣчалъ ему по-русски.

25, Euston Square, 21 апрѣля, 1853 г.

«Почтеннѣйшій соотечественникъ.

«Душевно благодарю васъ за ваше письмо и прошу позволеніе сказать нѣсколько словъ à la hâte о главныхъ пунктахъ.

«Я совершенно согласенъ съ вами, что литература, какъ осенніе цвѣты, является во всемъ блескѣ передъ смертью государства. Древній Римъ не могъ быть спасенъ щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтеріанизмомъ Лукіана, ни нѣмецкой философіей Прокла. Но замѣьте, что онъ равно не могъ быть спасенъ ни елевзинскими таинствами, ни Аполлономъ Тіанскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество.

«Это было не только невозможно, но и ненужно. Древній міръ вовсе ненужно было спасать, онъ дожилъ свой вѣкъ, и новый міръ шелъ ему на смѣну. Европа совершенно въ томъ же положеніи; литература и философія не сохраняютъ дряхлыхъ формъ, а толкнутъ ихъ въ могилу, разобьютъ ихъ, освободятъ отъ нихъ.

«*Новый міръ*—точно такъ же приближается, какъ тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвавъ фаланстеръ—казармой; нѣтъ, всѣ доселѣ явившіяся ученія и школы социалистовъ, отъ С. Симона до Прудона, который представляетъ одно отрицаніе,—бѣдны, это первый лепетъ, это чтеніе по складамъ, это терапевты и ессеніане древняго Востока.

«Тоска современной жизни—тоска сумерокъ, тоска перехода, предчувствія. Звѣри беспокоятся передъ землетрясеніемъ.

«Къ тому же все остановилось. Одни хотятъ насильственно раскрыть дверь будущему, другіе насильственно не выпускаютъ прошедшаго; у однихъ впереди пророчества, у другихъ—воспо-

мигранія. Ихъ *работа* состоитъ въ томъ, чтобъ мѣшать другъ другу, и вотъ тѣ и другіе стоятъ въ болотѣ.

«Рядомъ другой міръ—Русь. Въ основѣ его—народъ, еще дремлющій, покрытый поверхностной пленкой образованныхъ людей, дошедшихъ до состоянія Онѣгина, до отчаянія, до эмиграціи, до вашей, до моей судьбы. Для насъ это горько. Мы жертвы того, что не во-время родились; для *дѣла* это безразлично, по крайней мѣрѣ, не имѣетъ того смысла.

«Я имѣлъ смѣлость сказать (въ письмѣ къ Мишле), что образованные русскіе *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли въ отрицаніи, чѣмъ, напр., французы. Въ отрицаніи чего? Разумѣется, стараго міра.

«Онѣгинъ рядомъ съ празднымъ отчаяніемъ доходитъ теперь до положительныхъ надеждъ. Вы ихъ, кажется, не замѣтили. Отвергая Европу въ ея изжитой формѣ, отвергая Петербургъ, т. е., опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы,—слабые и оторванные отъ народа, мы гибли. Но мало-по-малу развивалось нѣчто новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистовъ. Этотъ новый элементъ, элементъ вѣры въ силу народа, элементъ проникнутый любовью. Мы съ нимъ только начали понимать народъ. Но мы далеки отъ него. Я и не говорю, чтобъ *намъ* досталась участь пересоздать Россію, и то хорошо, что мы привѣтствовали русскій народъ и догадались, что онъ принадлежитъ къ грядущему міру.

«Еще одно слово. Я не смѣшиваю науки съ литературно-философскимъ развитіемъ. Наука, если и не пересоздаетъ государства, то и не падаетъ въ самомъ дѣлѣ съ нимъ. Она средство, память рода человѣческаго, она побѣда надъ природой, освобожденіе. Невѣжество, *одно невѣжество*—причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* въ животномъ состояніи. Наука, одна наука можетъ теперь поправить это, и дать имъ кусокъ хлѣба и кровъ. Не пропагандой, а химіей, а механикой, технологіей, желѣзными дорогами она можетъ поправить мозгъ, который вѣками сжимали физически и нравственно.

«Я буду сердечно радъ...»

Черезъ двѣ недѣли я получилъ отъ о. Печерина слѣдующее письмо.

Ж. М. Ж. А.

St. Mary's, Clapham, 3 мая, 1853.

«Я вамъ отвѣчаю по-французски по причинамъ, которыя вы знаете. Не могъ писать я къ вамъ прежде, потому что былъ обремененъ занятіями въ Гернсеѣ. Мало остается времени на философскія теоріи, когда живешь въ самой серединѣ животре-

пещущей дѣйствительности; нѣтъ досуга разрѣшать спекулятивные вопросы о будущихъ судьбахъ человѣчества, когда человѣчество съ костями и плотью приходитъ изливать въ вашу грудь свои скорби и требуетъ совѣта и помощи.

«Признаюсь вамъ откровенно, ваше послѣднее письмо навело на меня ужасъ, и ужасъ очень эгоистическій, признаюсь и въ этомъ.

«Что будетъ съ нами, когда *ваше* образование (*votre civilisation à vous*) одержитъ побѣду. Для васъ *наука* все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимаетъ всѣ способности человѣка, видимое и невидимое, наука—такъ, какъ ее понималъ мѣръ до сихъ поръ; но наука ограниченная, узкая, наука матеріальная, которая разбираетъ и разсѣкаетъ вещество, и ничего не знаетъ кромѣ его. Химія, механика, технологія, паръ, электричество, великая наука пить и ѣсть, поклоненіе личности (*le culte de la personne*), какъ бы сказалъ Мишель Шевалье. Если *эта* наука восторжествуетъ, горе намъ! Во времена гоненій римскихъ императоровъ христіане имѣли, по крайней мѣрѣ, возможность бѣгства въ степи Египта, мечъ тирановъ останавливался у этого непроходимого для нихъ предѣла. А куда бѣжать отъ тиранства вашей матеріальной цивилизаціи? Она сглаживаетъ горы, вырываетъ каналы, прокладываетъ желѣзные дороги, посылаетъ пароходы, журналы ея проникаютъ до каленыхъ пустынь Африки, до непроходимыхъ лѣсовъ Америки. Какъ нѣкогда христіанъ влекли на амфитеатры, чтобы ихъ отдать на посмѣяніе толпы, жадной до зрѣлищъ, такъ повлекутъ теперь насъ, людей молчанія и молитвы, на публичныя торжища, и тамъ спросятъ: «Зачѣмъ вы бѣжите отъ нашего общества? Вы должны участвовать въ нашей матеріальной жизни, въ нашей торговлѣ, въ нашей удивительной индустріи. Идите витійствовать на площади, идите проповѣдывать политическую экономію, обсуживать паденіе и возвышеніе курса, идите работать на наши фабрики, направлять паръ и электричество. Идите предсѣдательствовать на нашихъ пирахъ, рай здѣсь на землѣ,—будемъ ѣсть и пить, вѣдь, мы завтра умремъ!» Вотъ что меня приводитъ въ ужасъ, ибо гдѣ же найти убѣжище отъ тиранства матеріи, которая больше и больше овладѣваетъ всѣмъ.

«Простите, если я сколько-нибудь преувеличилъ темныя краски. Мнѣ кажется, что я только довелъ до законныхъ послѣдствій основанія, положенныя вами.

«Стоило ли покидать Россію изъ-за умственного каприза (*caprice de spiritualité*). Россія именно начала съ науки такъ, какъ вы ее понимаете, она продолжаетъ наукой. Она въ рукахъ своихъ держитъ гигантскій рычагъ матеріальной мощи, она призываетъ всѣ таланты на служеніе себѣ и на пиръ своего матеріальнаго

благосостоянія, она сдѣлается самая образованная страна въ мірѣ; Провидѣніе ей дало въ удѣлъ матеріальный міръ,—она сдѣлаетъ рай изъ него для своихъ избранныхъ. Она понимаетъ цивилизацію именно такъ, какъ вы ее понимаете. Матеріальная наука составляла всегда ея силу. Но мы, вѣрующіе въ безсмертную душу и въ будущій міръ, какое намъ дѣло въ этой цивилизаціи настоящей минуты? Россія никогда не будетъ меня имѣть своимъ подданнымъ.

«Я изложилъ мои идеи съ простотою для того, чтобы уяснить намъ другъ друга. Извините, если я внесъ въ слова мои излишнюю горячность. Такъ какъ я ѣду снова въ Ирландію въ пятницу утромъ, мнѣ будетъ невозможно зайти къ вамъ. Но я буду очень радъ, если вамъ будетъ удобно посѣтить меня въ среду или въ четвергъ послѣ обѣда.

«Примите и проч.»

В. Печеринъ.

Я ему отвѣчалъ на другой день.

25. Euston Square. 4 мая. 1853.

«Почтеннѣйшій соотечественникъ,

«Я былъ у васъ для того, чтобы пожать руку русскому, котораго имя мнѣ было знакомо, котораго положеніе такъ сходно съ моимъ... Несмотря на то, что судьба и убѣжденія васъ поставили въ торжествующіе ряды побѣдителей, меня—въ печальный станъ побѣжденныхъ, я не думалъ коснуться разницы нашихъ мнѣній. Мнѣ хотѣлось видѣть русскаго, мнѣ хотѣлось принести вамъ живую вѣсть о родинѣ. Изъ чувства глубокой деликатности я не предложилъ вамъ моихъ брошюръ, вы сами желали ихъ видѣть. Отсюда ваше письмо, мой отвѣтъ и второе письмо ваше отъ 3 марта. Вы нападаете на меня, на мои мнѣнія (преувеличенныя и не вполне раздѣляемые мною), нельзя же мнѣ не защищаться. Я не давалъ того значенія слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вамъ только писалъ, что я совокупность всѣхъ побѣдъ надъ природой и всего развитія, разумѣется, ставлю внѣ беллетристики и отвлеченной философіи.

«Но это предметъ длинный и, безъ особаго вызова, не хочется повторять все, такъ много разъ сказанное объ немъ. Позвольте мнѣ лучше успокоить васъ насчетъ вашего страха о будущности людей, любящихъ созерцательную жизнь. Наука не есть ученіе или доктрина и потому она не можетъ сдѣлаться ни правительствомъ, ни указомъ, ни гоненіемъ. Вы, вѣрно, хотѣли сказать о торжествѣ социальныхъ идей, свободы. Въ такомъ случаѣ возьмите страну самую «матеріальную» и самую свободную, Англію. Люди созерцательные, такъ, какъ утописты, находятъ въ ней уголь для тихой думы и трибуну для проповѣди. А еще

Англія, монархическая и протестантская, далека отъ полной терпимости.

«И чего же бояться? Неужели шума колесъ, подвозящихъ хлѣбъ насущный толпѣ голодной и полуодѣтой? Не запрещаютъ же у насъ, для того, чтобы не беспокоить лирическую нѣгу, молотить хлѣбъ.

«Созерцательныя природы будутъ всегда, вездѣ; имъ будетъ привольнѣе въ думахъ и тиши, пусть ищутъ онѣ себѣ тогда тихаго мѣста; кто ихъ будетъ беспокоить, кто звать, кто преслѣдовать; ихъ ни гнать, ни *поддерживать* никто не будетъ. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни массъ, потому что производство этого улучшения *можетъ* обезбеспокоить слухъ лицъ, не хотящихъ слышать ничего вѣшняго. Тутъ даже самоотверженія никто не проситъ, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торгъ перенести слѣдуетъ, а отойти отъ него. Но журналы всюду идутъ слѣдомъ,—кто же изъ *созерцательныхъ* натуръ зависить отъ premier Paris или premier Londres?»

«Вотъ видите, если вмѣсто свободы восторжествуетъ антима-теріальное начало, тогда укажите *намъ* мѣсто, гдѣ насъ, не то что не будутъ беспокоить, а гдѣ насъ не будутъ вѣшать, жечь, сажать на колъ, какъ это теперь отчасти дѣлается въ Римѣ, Миланѣ, во Франціи.

«Кому же слѣдуетъ бояться? Оно, конечно, смерть не важна, sub specie eternitatis, да, вѣдь, съ этой точки зрѣнія и все остальное не важно.

«Простите мнѣ, П. С., откровенное противорѣчіе вашимъ словамъ и подумайте, что мнѣ было невозможно иначе отвѣчать.

«Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествіе въ Ирландію».

Этимъ и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Сѣрая мгла европейскаго горизонта зардѣлась заревомъ крымской войны, мгла отъ него стала еще чернѣй и, вдругъ, середь кровавыхъ вѣстей походовъ и осадъ, читаю я въ газетахъ, что тамъ-то въ Ирландіи отданъ подъ судъ rever. father Vladimir Petscherin, native a Russian, за публичное сожженіе на площади протестантской библіи. Гордый британскій судья, взявъ въ расчетъ безумный поступокъ и то, что виноватый—русскій, а Англія съ Россіей въ войнѣ, ограничился отеческимъ наставленіемъ вести себя впредь на улицахъ благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или онъ часто снимаетъ гра-невую шапку и ставитъ ее устало на столъ?»

Робертъ Оуэнъ.

Посвящено К—у.

Ты все поймешь, ты все оцѣнишь!
Shut up the world at large, let Bedlam out
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of «soi-disant» sound mind,
This I could prove beyond a single doubt.
Were there a jot of sense among mankind;
But till that point d'appui is found, alas!
Like Archimedes, I leave earth as 't was.
Byron. Don-Juan. C. XIV—84.

I.

...Вскорѣ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, въ 1852 году, я получилъ приглашеніе отъ одной дамы; она звала меня на нѣсколько дней къ себѣ на дачу въ Seven Oaks. Я съ ней познакомился въ Ниццѣ, въ 50 году, черезъ Маццини. Она еще застала домъ мой свѣтлымъ и такъ оставила его. Мнѣ захотѣлось ее видѣть; я поѣхалъ.

Встрѣча наша была неловка. Слишкомъ много чернаго было со мною съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Если человѣкъ не хвастаетъ своими бѣдствіями, то онъ ихъ стыдится, и это чувство стыда всплываетъ при всякой встрѣчѣ съ прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мнѣ руку и повела меня въ паркъ. Это былъ первый старинный англійскій паркъ, который я видѣлъ, и одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ. До него со временъ Елизаветы не дотрогивалась рука человѣческая; тѣнистый, мрачный, онъ росъ безъ помѣхи и разрастался въ своемъ аристократически-монастырскомъ удаленіи отъ міра. Старинный и чисто елизаветинской архитектуры дворецъ былъ пустъ; несмотря на то, что въ немъ жила одинокая старуха барыня, никого не было видно; только сѣдой привратникъ, сидѣвшій у воротъ, съ нѣкоторой важностью замѣчалъ входящимъ въ паркъ, чтобъ въ обѣденное время не ходить мимо замка. Въ паркѣ было такъ тихо,

что лани гурьбой перебѣгали большія аллеи спокойно пріостанавливались и безопасно нюхали воздухъ, приподнявши морду. Нигдѣ не раздавался никакой посторонній звукъ и вороны каркали, точно какъ въ старомъ саду у насъ, въ Васильевскомъ. Такъ бы, кажется, легъ гдѣ-нибудь подъ дерево и представилъ бы себѣ тринадцатилѣтній возрастъ... Мы вчера только-что изъ Москвы, тутъ гдѣ-нибудь неподалеку старикъ садовникъ тронъ мятную воду... На насъ, дубравныхъ жителей, лѣса и деревья роднѣ дѣйствуютъ моря и горы.

Мы говорили объ Италіи, о поѣздѣ въ Ментону; говорили о Медичи, съ которымъ она была коротко знакома, объ Орсини и не говорили о томъ, что тогда меня и ее, вѣроятно, занимало больше всего.

Ея искреннее участіе я видѣлъ въ ея глазахъ и, молча, благодарилъ ее... Что я могъ ей сказать новаго?

Сталъ перепадать дождь; онъ могъ сдѣлаться сильнымъ и продолжительнымъ, мы воротились домой.

Въ гостиной былъ маленькій, тщедушный старичекъ, сѣдой какъ лунь, съ необычайно добродушнымъ лицомъ, съ чистымъ, свѣтлымъ, кроткимъ взглядомъ, съ тѣмъ голубымъ дѣтскимъ взглядомъ, который остается у людей до глубокой старости, какъ отсвѣтъ великой доброты ¹⁾.

Дочери хозяйки дома бросились къ сѣдому дѣдушкѣ; видно было, что они пріятели.

Я остановился въ дверяхъ сада.

— Вотъ кстати, какъ нельзя больше,—сказала ихъ мать, протягивая старику руку, сегодня у меня есть чѣмъ васъ угостить. Позвольте вамъ представить нашего русскаго друга. Я думаю, прибавила она, обращаясь ко мнѣ, вамъ пріятно будетъ познакомиться съ однимъ изъ *вашихъ патриарховъ*.

— Robert Owen, — сказалъ добродушно, улыбаясь, старикъ, очень радъ.

Я сжалъ его руку съ чувствомъ сыновняго уваженія; если-бъ я былъ моложе, я бы сталъ, можетъ, на колѣни и просилъ бы старика возложить на меня руки.

Такъ вотъ отчего у него добрый, свѣтлый взглядъ, вотъ отчего его любятъ дѣти... Это тотъ, *одинъ* треввый и мужественный присяжный «между пьяными» (какъ нѣкогда выразился Аристотель объ Анаксагорѣ), который осмѣлился произнести *not guilty* человечеству, *not guilty* преступнику. Это тотъ второй чудакъ, который скорбѣлъ о мытарѣ и жалѣлъ о падшемъ, и который,

¹⁾ При этомъ не могу не вспомнить тотъ же голубой взглядъ дѣтства подъ сѣдыми бровями Делевеля.

не потонувши, прошелъ если не по морю, то по мѣщанскимъ болотамъ англійской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращеніе Оуэна было очень просто; но и въ немъ, какъ въ Гарибальди, середь добродушія просвѣчивала сила и сознание, что онъ власть имущій. Въ его снисходительности было чувство собственнаго превосходства; оно, можетъ, было слѣдствіемъ постоянныхъ сношеній съ жалкой средой; вообще онъ скорѣе подходилъ на раззорившагося аристократа, на меньшаго брата большой фамиліи, чѣмъ на плебея и социалиста.

Я тогда совсѣмъ не говорилъ по-англійски; Оуэнъ не зналъ по-французски и былъ замѣтно глухъ. Старшая дочь хозяйки предложила намъ себя въ драгоманы: Оуэнъ привыкъ такъ говорить съ иностранцами.

— Я жду великаго отъ вашей родины, сказалъ мнѣ Оуэнъ, у васъ поле чище, у васъ попы не такъ сильны, предрасудки не такъ законѣли... а силь-то... а силь-то! Если-бъ императоръ хотѣлъ вникнуть, понять новыя требованія возникающаго гармоническаго міра, какъ ему легко было бы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ людей.

Когда я встрѣтилъ Оуэна, ему былъ восемьдесятъ второй годъ (род. 1771). Онъ *шестьдесятъ лѣтъ* не сходилъ съ арены.

Года три спустя послѣ Seven Oaks'a, я еще разъ мелькомъ видѣлъ Оуэна. Тѣло отжило, умъ тускъ и иногда бродилъ, разнуздавшись, по мистическимъ областямъ призраковъ и тѣней. А энергія была та же и тотъ же голубой взглядъ дѣтской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, онъ старые счеты забылъ, онъ былъ тотъ же молодой энтузіастъ, учредитель New Lanark'a; худо слышавшій, сѣдой, слабый, но также проповѣдывавшій уничтоженіе казней и стройную жизнь общаго труда. Нельзя было безъ глубокаго благоговѣнія видѣть этого старца, идущаго медленно и невѣрной стопой на трибуну, на которой *никогда* его встрѣчали горячія рукоплесканія блестящей аудиторіи и на которой пожелтѣлыя сѣдины его вызывали теперь шопотъ равнодушія и ироническій смѣхъ. Безумный старикъ, съ печатью смерти на лицѣ, стоялъ, не сердясь, и просилъ кротко, съ любовью, часъ времени. Казалось, можно бы было дать ему этотъ часъ за шестидесяти-пяти лѣтнюю безпорочную службу; но ему въ немъ отказывали, онъ надоѣлъ, онъ повторялъ одно и то же, а главное онъ глубоко обидѣлъ толпу, онъ хотѣлъ отнять у нея право болтаться на висѣлицѣ и смотрѣть, какъ другіе на ней болтаются; онъ хотѣлъ у нихъ отнять подлое колесо, которое сзади подгоняетъ, и отворить целлюлярную клѣтку, эту безчеловѣчную *mater dolorosa* для духа, которой

свѣтская инквизиція замѣнила монашескіе ящики съ ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна камнями, но и она сдѣлалась *человѣколюбивѣе*: камни вышли изъ моды, имъ предпочитаютъ грязь, свистъ и журнальныя статейки.

Другой старикъ былъ счастливѣе Оуэна, когда слабыми, столѣтними руками благословлялъ малаго и большого на Патмосѣ и только лепеталъ: «Дѣти! любите другъ друга!» Простые люди и нищіе не хохотали надъ нимъ, не говорили, что его заповѣдь нелѣпость; между этими плебеями не было золотой посредственности мѣщанскаго міра, — больше лицемѣрнаго, чѣмъ невѣжественнаго, больше *ограниченнаго*, чѣмъ глупаго. Принужденный оставить свой New Lanark въ Англіи, Оуэнъ десять разъ переплывалъ океанъ, думая, что сѣмена его ученія лучше взойдутъ на *новомъ грунтѣ*, забывая, что его расчистили квакеры и пуристане, и навѣрно не предвидя, что пять лѣтъ послѣ его смерти, джеферсоновская республика, первая провозгласившая права человѣка, распадется во имя права сѣчь негровъ. Не успѣвъ и тамъ, Оуэнъ снова является на старой почвѣ, стучится ста руками во всѣ двери, у дворцовъ и хижинъ, заводитъ базары, которые послужатъ типомъ рочдельскаго общества и кооперативныхъ ассоціацій, издаетъ книги, издаетъ журналы, пишетъ посланія, собираетъ митинги, произноситъ рѣчи, пользуется всякимъ случаемъ. Правительства посылаютъ со всего міра делегатовъ на «всемирную выставку», — Оуэнъ уже между ними, проситъ ихъ взять съ собой оливковую вѣтку, вѣсть призыва къ разумной жизни и согласію, а тѣ не слушаютъ его, думаютъ о будущихъ крестахъ и табакеркахъ. Оуэнъ не унываетъ.

Однимъ туманнымъ октябрьскимъ днемъ 1858 лордъ Брумъ, очень хорошо знающій, что въ ветхой общественной баркѣ течетъ все сильнѣе, но чающій еще, что ее можно такъ проконопатить, что на нашъ вѣкъ хватить, — совѣщался о *паклѣ и смолѣ* въ Ливерпулѣ, на второмъ сходѣ Social science association.

Вдругъ дѣлается какое-то движеніе, тихо несутъ на носилкахъ блѣднаго больного Оуэна на платформу. Онъ черезъ силу, нарочно пріѣхалъ изъ Лондона, чтобъ повторить свою благуу вѣсть о возможности—сытаго и одѣтаго общества, о возможности общества безъ палача. Съ уваженіемъ принялъ лордъ Брумъ старца, — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэнъ и слабымъ голосомъ сказалъ о приближеніи другого времени... новаго согласія, new harmony, и рѣчь его остановилась, силы оставили... Брумъ докончилъ фразу и подалъ знакъ... тѣло старца склонилось, — онъ былъ безъ чувствъ; тихо положили его на носилки и въ мертвой тишинѣ пронесли толпой, пораженной на этотъ разъ какимъ-то благоговѣніемъ: она будто чувствовала, что тутъ

начинаются какія-то не совсѣмъ обыкновенныя похороны, и тухнеть что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло нѣсколько дней. Оуэнъ немного оправился и однимъ утромъ сказалъ своему другу и помощнику Ригби, чтобъ онъ укладывался, что онъ хочетъ ѣхать.

— Опять въ Лондонъ?—спросилъ Ригби.

— Нѣтъ, свезите меня теперъ на мѣсто моего рожденія, я тамъ сложу мои кости.

И Ригби повезъ старца въ Монгомери-Ширъ, въ Ньютоунъ, гдѣ за восемьдесятъ восемь лѣтъ тому назадъ родился этотъ странный человѣкъ, апостолъ между фабрикантами...

«Дыханье его прекратилось такъ тихо, пишетъ его старшій сынъ, одинъ успѣвшій еще пріѣхать въ Ньютоунъ до кончины Оуэна, что я, державшій его руку, едва замѣтилъ,—не было ни малѣйшей борьбы, ни одного судорожнаго движенія». Ни Англія, ни весь міръ точно такъ же не замѣтили, какъ этотъ свидѣтель à discharge въ уголовномъ процессѣ человѣчества пересталъ дышать.

Англійскій поцъ вѣснилъ его праху отпѣваніе вопреки желанію небольшой кучки друзей, пріѣхавшихъ похоронить его, друзья разошлись, Томасъ Ольсопъ ¹⁾ протестовалъ смѣло, благородно—and all was over.

Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ немъ, но унесенный общимъ wirlewind'омъ, я ничего не сдѣлалъ; трагическая тѣнь его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за рѣзкими событіями и ежедневной пылью, — вдругъ на дняхъ я вспомнилъ Оуэна и мое намѣреніе написать о немъ что-нибудь.

Перелистывая книжку Westminster Review, я нашелъ статью о немъ и прочиталъ ее всю внимательно. Статью эту писалъ не врагъ Оуэна, человѣкъ солидный, разсудительный, умѣющій отдавать должное заслугамъ и заслуженное недостаткамъ,—а между тѣмъ я положилъ книгу съ страннымъ чувствомъ боли, оскорбленія, чего-то душнаго; съ чувствомъ близкимъ къ ненависти за вынесенное.

Можетъ, я былъ боленъ, въ дурномъ расположеніи, не понималъ?.. Я взялъ опять книжку, перечиталъ тамъ-сямъ,—все тоже дѣйствіе.

«Больше чѣмъ двадцать послѣднихъ лѣтъ жизни Оуэна не имѣютъ никакого интереса для публики.

Ein unnütz leben ist ein früher Tod

«Онъ сзывалъ митинги, но почти никто не шелъ на нихъ,

¹⁾ Извѣстный по дѣлу Орсини.

потому что онъ повторялъ свои старыя начала, давно всѣми забытыя. Тѣ, которые хотѣли узнать отъ него *что-нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о томъ, что весь общественный бытъ зиждется на ложныхъ основаніяхъ... Вскорѣ къ этому помѣшательству (dotage) присовокупились вѣра въ постукивающіе духи... старикъ толковалъ о своихъ бесѣдахъ съ герцогомъ Кентомъ, Байрономъ, Шелли и проч...

«Нѣтъ ни малѣйшей опасности, чтобъ ученіе Оуэна было практически принято. Это такія *слабыя* цѣпи, которыя не могутъ *держатъ* цѣлаго народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а онъ все еще воображалъ себя благодѣтелемъ рода человѣческаго, какимъ-то *атеистическимъ Мессіей*.

«Его обращеніе къ постукивающимъ духамъ нисколько не удивительно. Люди, *не получившіе воспитанія*, постоянно переходятъ, съ чрезвычайной легкостью, отъ крайняго скептицизма къ крайнему суевѣрію. Они хотятъ опредѣлить каждый вопросъ однимъ *природнымъ свѣтомъ*. Изученіе, разсужденіе и осторожность въ сужденіяхъ имъ неизвѣстны.

«Мы въ предшествующихъ страницахъ», прибавляетъ авторъ въ концѣ статьи, «больше занимались жизнью Оуэна, чѣмъ его ученіями; мы хотѣли *выразить наше сочувствіе* къ практическому добру, сдѣланному имъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ заявить наше совершенное несогласіе съ его теоріями. Его біографія интереснѣе его сочиненій. Въ то время какъ первая можетъ быть полезна и занимательна (amuse), вторыя могутъ только сбить съ толку и надоѣсть читателю. Но и тутъ мы чувствуемъ, что онъ *слишкомъ долго жилъ*: слишкомъ долго для себя, слишкомъ долго для своихъ друзей, и еще дольше для своихъ біографовъ!»

Тѣнь кроткаго старца носилась передо мной; на глазахъ его были горькія слезы и онъ, грустно качая своей старой, старой головой, какъ будто хотѣлъ сказать: «неужели я заслужилъ это?», и не могъ, а рыдая упалъ на колѣни, и будто лордъ Брумъ торопился опять покрыть его и дѣлалъ знакъ Ригби, чтобъ его снесли, какъ можно скорѣе назадъ на кладбище, пока испуганная толпа не успѣетъ образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было такъ дорого и свято, и даже за то, что онъ такъ долго жилъ, задалъ чужую жизнь, занималъ лишнее мѣсто у очага. Въ самомъ дѣлѣ Оуэнъ, чай, былъ ровесникомъ Веллингтона, этой величественнѣйшей *неспособности* во время мира.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его паденіе, Оуэнъ *заслуживаетъ наше признаніе*».—Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь Оксфордскаго, Винчестерскаго или Чичестерскаго архіерея, проклинающаго Оуэна,

легче для насъ, чѣмъ это воздаяніе по заслугамъ? Оттого, что тамъ страсть, обиженная вѣра, а тутъ узенькое *безпристрастіе*, безпристрастіе не просто человѣка, а судьи низшей инстанціи. Въ управѣ благочинія очень хорошо могутъ обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, какъ Мирабо или Фоксъ. Складнымъ футомъ легко мѣрять съ большой точностью холстъ, но очень неудобно прикидывать на него сидеральныя пространства.

Можетъ, для вѣрности сужденія о дѣлахъ, не подлежащихъ ни полицейскому суду, ни арифметической повѣркѣ, *пристрастіе* нужнѣе справедливости. Страсть можетъ не только ослѣплять, но и проникать глубже въ предметъ, обхватывать его своимъ огнемъ.

Дайте школьному педанту, если онъ только не надѣленъ отъ природы эстетическимъ пониманьемъ,—дайте ему на разборъ что хотите, Фауста, Гамлета, и вы увидите, какъ исхудааетъ «жирный датскій принцъ», помятый какимъ-нибудь гимназистомъ-доктринеромъ. Съ цинизмомъ Ноева сына покажетъ онъ наготу и недостатки драмъ, которымъ восхищается поколѣніе за поколѣніемъ.

Въ мірѣ ничего нѣтъ великаго, поэтическаго, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взглядъ, взглядъ обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили такъ мѣтко пословицей, что «для камердинера нѣтъ великаго человѣка».

«Попадись нищему лошадь», какъ говоритъ народъ и повторяетъ критикъ «Вестминстерскаго Обозрѣнія», «онъ на ней и ускачетъ къ чорту... An ex linen-dragger (это выраженіе употреблено нѣсколько разъ)¹⁾, который вдругъ сдѣлался (замѣтите, послѣ двадцати лѣтъ неусыпнаго труда и колоссальныхъ успѣховъ) важнымъ лицомъ, на дружеской ногѣ съ герцогами и министрами,—натурально долженъ былъ зазнаться и сдѣлаться *смѣшнымъ, не имѣя ни большой умѣренности, ни большого благоразумія*». Ex linen-dragger зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотѣлось перестроить свѣтъ; съ этими притязаніями, онъ раззорился, ни въ чемъ не успѣлъ и покрылъ себя *смѣхомъ*.

И это не все. Если-бъ Оуэнъ только проповѣдывалъ свой экономическій переворотъ, это безуміе простили бы ему, на первый случай, въ *классической* странѣ сумасшествія. Доказательствомъ этому служить то, что министры и архіерея, парламентскіе комитеты и съѣзды фабрикантовъ совѣщались съ нимъ. Успѣхъ New

¹⁾ Фурье началъ съ того, что былъ сидѣльцемъ въ суконной лавкѣ своего отца.

Lanark'a увлекъ всѣхъ: ни одинъ государственный человѣкъ, ни одинъ ученый не уѣзжалъ изъ Англіи, не сдѣлавши поѣздки къ Оуэну. Толпы народа наполняли коридоры и еѣни залъ, гдѣ Оуэнъ читалъ свои рѣчи. Но Оуэнъ своей дерзостью, разомъ, въ четверть часа, уничтожилъ эту колоссальную популярность, основанную на колоссальномъ непониманіи того, что онъ говорилъ; видя это, онъ поставилъ точку на і, и притомъ на самое опасное і.

Это случилось 21-го августа 1817 года. Протестантскіе святоши, самые неотвязчивые и клейко-скучные, давно надоѣдали ему. Оуэнъ, сколько могъ, отклонялъ пренія съ ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизиторъ и бумажныхъ дѣлъ фабрикантъ, Филипсъ, дошелъ до того, что въ комитетѣ парламента, вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, середь дѣльныхъ преній, присталъ къ Оуэну съ допросомъ, во что онъ вѣритъ и во что не вѣритъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать бумажныхъ дѣлъ фабриканту какими-нибудь тонкостями, какъ Фаустъ отвѣчаетъ Гретхенъ, ex lipen - draget Оуэнъ предпочелъ отвѣчать съ высоты трибуны, передъ огромнѣйшимъ стеченіемъ народа, на публичномъ митингѣ въ Англіи, въ Лондонѣ, въ Сити, въ London Tavern! Онъ, по сю сторону Темплъ-бара, возлѣ каедральнаго зонтика, подъ которымъ лѣжится старый городъ, въ сосѣдствѣ Гога и Магога, въ виду Уайтъ-Голль и свѣтской каедральной синагоги Банка,—объявилъ прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто: «Нелѣпости изувѣрства сдѣлали изъ человѣка слабого, одурѣлаго звѣря, безумнаго фанатика, ханжу или лицомѣра. Съ существующими религіозными понятіями, заключилъ Оуэнъ, не только не устроишь предполагаемыхъ имъ общинныхъ деревень, но съ ними рай не долго устоялъ бы раемъ».

Оуэнъ былъ до того увѣренъ, что этотъ актъ «безумія» былъ актомъ *честности и апостольства*, необходимымъ послѣдствіемъ его ученія, что обнародовать свое мнѣніе заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что черезъ *тридцать пять лѣтъ* онъ писалъ: «это величайшій день въ моей жизни, я исполнилъ свой долгъ!»

Нераскаивный грѣшникъ былъ этотъ Оуэнъ! За то ему и досталось!

«Оуэна, говоритъ Westminster Review, не разорвали на части за это: время физической мести въ дѣлахъ религіи прошло. Но никто, даже и нынѣ, *не можетъ безнаказанно оскорблять дорогіе намъ предрасудки!*»

Англійскіе попы, въ самомъ дѣлѣ, не употребляютъ больше хирургическихъ средствъ, хотя другими, болѣе духовными, не

брезгають. «Съ этой минуты, говоритъ авторъ статьи, Оуэнъ опрокинулъ на себя страшную ненависть духовенства, и съ этого митинга начинается *длинная перечень его неудачъ, сдѣлавшая слышимыми сорокъ послѣднихъ лѣтъ его жизни*. He was not a martyr, but he was an outlaw!»

Я думаю, довольно. Westminster Review можно положить на мѣсто; я ему очень благодаренъ, онъ мнѣ такъ живо напомнилъ не только старца, но и среду, въ которой онъ жилъ. Обритимся къ дѣлу, т. е., къ самому Оуэну и его ученію.

Одно прибавлю я, прощаясь съ неумытнымъ критикомъ и съ другимъ біографомъ Оуэна, тоже неумытнымъ, менѣе строгимъ, но не менѣе солиднымъ, что, не будучи вовсе завистливымъ человекомъ, я завидую имъ отъ всей души. Я далъ бы дорого за ихъ невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своимъ пониманіемъ, за ихъ иногда уступчивую, всегда справедливую, а подѣ-часъ слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная увѣренность и въ своемъ знаніи, и въ томъ, что они и умнѣе, и практичнѣе Оуэна, что будь у нихъ его энергія и его деньги, они бы не надѣлали такихъ глупостей, а были бы богаты, какъ Ротшильдъ, и министры, какъ Пальмерстонъ!

II.

Р. Оуэнъ назвалъ одну изъ статей, въ которыхъ онъ излагалъ свою систему An attempt to change this lunatic asylum into a rational world ¹⁾).

Одинъ изъ біографовъ Оуэна по этому случаю рассказываетъ, какъ какой-то безумный, содержавшійся въ больницѣ, говорилъ: «Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же; бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта».

Это пополняетъ заглавіе Оуэна и бросаетъ яркій свѣтъ на все. Мы увѣрены, что біографъ не рассудилъ, *насколько беретъ и какъ далеко бьетъ* его сравненіе. Онъ только хотѣлъ намекнуть на то, что Оуэнъ былъ сумасшедшій, и мы спорить объ этомъ не станемъ... Но съ чего же онъ *весь свѣтъ-то считаетъ умнымъ*,— этого мы не понимаемъ.

¹⁾ Опытъ намѣнить сумасшедшій домъ общественнаго устройства въ рациональный.

Оуэнь, если былъ сумасшедшимъ, то вовсе не потому, что его свѣтъ считалъ такимъ и онъ ему платилъ той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живетъ въ домѣ умалишенныхъ и окруженъ больными, онъ *шестьдесятъ лѣтъ* говорилъ съ ними, какъ съ здоровыми.

Число больныхъ тутъ ничего не значитъ, умъ имѣеть свое оправданіе не въ большинствѣ голосовъ, а въ своей логической самозаконности. И если вся Англія будетъ убѣждена, что такой-то *medium* призываетъ духи умершихъ, а одинъ Фаредей скажетъ, что это вздоръ, то истина и умъ будутъ съ его стороны, а не со стороны всего англійскаго населенія. Еще больше, если и Фаредей не будетъ этого говорить, тогда истина объ этомъ предметѣ совсѣмъ существовать не будетъ, какъ сознанныя, но, тѣмъ не меньше, единогласно принятая цѣлымъ народомъ нелѣпость—все же будетъ нелѣпость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, въ лжи или въ истинѣ, а потому, что оно сильно, и потому что ключи отъ Бедлама у него въ рукахъ.

Сила не заключаетъ въ своемъ понятіи сознательности, какъ необходимаго условія, напротивъ, она тѣмъ непреодолимѣе—чѣмъ безумнѣе, тѣмъ страшнѣе—чѣмъ безсознательнѣе. Отъ поврежденнаго человѣка можно спастись, отъ стада бѣшеныхъ волковъ труднѣе, а передъ бессмысленной стихіей человѣку остается сложить руки и погибнуть.

Поступокъ Оуэна, поразившій ужасомъ Англію 1817 года, не удивилъ бы въ 1617 родину Ванини и Джордана Бруно; не скандализировалъ бы въ 1717 ни Германію, ни Францію, а Англія не можетъ черезъ полвѣка вспомнить объ немъ безъ раздраженія. Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Испаніи, монахи взбунтовали бы противъ него дикую чернь, или инквизиціонные алгвазилы посадили бы его въ тюрьму, сожгли бы на кострѣ; но очеловѣченная часть общества была бы за него...

Развѣ Гёте и Фихте, Кантъ и Шиллеръ, наконецъ, Гумбольдъ въ наше время и Лессингъ сто лѣтъ тому назадъ скрывали свой образъ мыслей или имѣли безсовѣстность проповѣдывать шесть дней въ недѣлю въ академіяхъ и книгахъ свою философію, а на седьмой фарисейски слушать предіку и морочить толпу, la plèbe, своимъ благочестивымъ христіанствомъ?

Во Франціи то же самое: ни Вольтеръ, ни Руссо, ни Дидро, ни всѣ энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лапласъ, ни Контъ не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговѣнно передъ «дорогими предразсудками», и это ни на одну іоту не унизило, не умалило ихъ значенія.

Политически порабощенный материкъ нравственно свободнѣе Англіи; масса идей и сомнѣній, находящихся въ оборотѣ, гораздо обширнѣе; къ ней привыкли, общество не трепещетъ ни страхомъ, ни негодованіемъ передъ свободнымъ человѣкомъ—

Wenn er die Kette bricht.

Люди материка безпомощны передъ властью, выносятъ цѣпи, но не уважаютъ ихъ. Свобода англичанина больше въ учрежденіяхъ, чѣмъ въ немъ, чѣмъ въ его совѣсти; его свобода въ common law, въ habeas corpus, а не въ правахъ, не въ образѣ мыслей. Передъ общественнымъ предразсудкомъ гордый Бритъ склоняется безъ ропота, съ видомъ уваженія. Само собою разумѣется что вездѣ, гдѣ есть люди, тамъ лгутъ и притворяются; но не считаютъ откровенности порокомъ, не смѣшиваютъ смѣло высказанное убѣжденіе мыслителя съ неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своимъ паденіемъ; но не поднимаютъ лицемѣрія на степень общественной и притомъ обязательной добродѣтели ¹⁾.

Конечно, ни Давидъ Юмъ, ни Гиббонъ не лгали на себя мистическихъ вѣрованій. Но Англія, слушавшая Оуэна въ 1817 г., была не та, во времени и въ глубинѣ. Цензъ пониманья расширился и не былъ больше ограниченъ отборнымъ вѣнкомъ образованныхъ аристократовъ и литераторовъ. Съ другой стороны, она лѣтъ пятнадцать просидѣла въ цѣлюлярной тюрьмѣ, запертая въ нее Наполеономъ, и, съ одной стороны, выдвинулась изъ потока идей, а съ другой, жизнь вдвинула впередъ огромное большинство мѣщанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. Въ новой Англіи люди, какъ Байронъ и Шелли, бродятъ иностранцами: одинъ проситъ у вѣтра нести его куда-нибудь, только не на родину; у другого судьи, съ помощью обезумѣвшей отъ изувѣрства семьи, отбираютъ дѣтей, потому что онъ не вѣритъ въ Бога.

Итакъ, нетерпимость противъ Оуэна не даетъ никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его ученія; она только даетъ мѣру безумія, т. е., нравственной несвободы Англіи и въ особенности того слоя, который ходитъ по митингамъ и пишетъ журнальныя статьи.

¹⁾ Въ нынѣшнемъ году мирный судья Темплъ не принялъ показанія одной женщины изъ Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной формѣ, говоря, что не вѣритъ въ наказанія на томъ свѣтѣ. Трелоне (сынъ извѣстнаго пріятеля Байрона и Шелли) спрашивалъ 12 февраля въ парламентѣ министра внутреннихъ дѣлъ, какія мѣры онъ предполагаетъ взять, въ отстраненіе такихъ отводовъ? Министръ отвѣчалъ, что никакихъ. Подобные случаи повторялись много разъ, напр., съ извѣстнымъ публицистомъ Голюкомъ.

Умъ количественно всегда долженъ будетъ уступить, онъ *на вѣсъ* всегда окажется слабѣйшимъ, онъ, какъ сѣверное сіяніе, свѣтитъ далеко, но едва существуетъ.—Умъ послѣднее усиліе, вершина, до которой развитіе не часто доходитъ, оттого-то онъ мощенъ, но не устоитъ противъ кулака. Умъ, какъ сознание, можетъ вовсе не быть на земномъ шарѣ; онъ едва родился въ сравненіи съ маститыми Альпійскими старцами, свидѣтелями и участниками геологическихъ революцій. Въ до-человѣческой, въ около-человѣческой природѣ нѣтъ ни ума, ни глупости, а необходимость условій, отношеній и послѣдствій. Умъ мутно глядитъ въ первый разъ молочнымъ взглядомъ животнаго, онъ медленно мужаетъ, вырастаетъ изъ своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнью рода человѣческаго. Стремленіе пробиться къ уму, изъ инстинкта, постоянно является вслѣдъ за сытостью и безопасностью; такъ что въ какую бы минуту мы ни остановили людское сожитіе, мы поймаемъ его на этихъ усиліяхъ достигнуть ума изъ-подъ власти безумія. Пути впередъ не назначено, его надобно прокладывать; исторія, какъ поэма Аріоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, съ тѣмъ тревожнымъ безпокойствомъ, которое уже безцѣльно волнуетъ обезьяну и котораго почти совсѣмъ нѣтъ у низшихъ звѣрей, этихъ довольныхъ животнаго царства.

Слово *lunatic asylum*, Оуэнъ, само собою разумѣется, употребилъ *comme une manière de dire*. Государства не домы сошедшихъ съ ума, а домы *не взошедшихъ въ умъ*. Практически, впрочемъ, онъ могъ употребить это выраженіе... не дѣлая ошибки. Ядъ или огонь въ рукахъ трехлѣтняго ребенка такъ же страшенъ, какъ въ рукахъ тридцатилѣтняго сумасшедшаго. Разница въ томъ, что безуміе одного—состояніе патологическое, другого—степень развитія, состояніе эмбриогеническое. Устрица представляетъ ту степень развитія организма, на которой животное *еще не имѣетъ* ногъ, она фактически *безногая*, но вовсе не такъ, какъ звѣрь, у котораго ноги отняты. Мы знаемъ (но устрица этого не знаетъ), что при хорошихъ обстоятельствахъ органическія попытки дойдутъ до ногъ и до крыльевъ, и смотримъ на неразвитыя формы моллюска, какъ на одну изъ растущихъ прибывающихъ волнъ прилива, въ то время какъ форма искаженная возвращается съ отливомъ въ стихійный океанъ и составляетъ частный случай смерти или агоніи.

Оуэнъ, убѣдившись, что организму въ тысячу разъ удобнѣе имѣть ноги, руки, крылья, чѣмъ постоянно дремать въ раковинѣ, понимая, что изъ тѣхъ же самыхъ бѣдныхъ, но уже *существующихъ* частей организма, есть возможность развить эти оконечности,—до того увлекся, что вдругъ сталъ проповѣдывать устри-

намъ, чтобъ они взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидѣлись и сочли его *анти-моллюскомъ*, т. е., безнравственнымъ въ смыслѣ раковинной жизни, и проклинали его.

... «Характеръ человѣка существенно опредѣляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество можетъ легко* такъ устроить, чтобъ они способствовали наилучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя притомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многообразіемъ физической и умственной натуры».

Все это понятно, и надобно имѣть рѣдкую степень тупоумія чтобъ возражать на этотъ тезисъ Оуэна. Да на него, замѣтите, никто и не возражаетъ. Возраженіе большинствомъ—не отвѣтъ, а насиліе; возраженіе, что это безнравственно или несогласно съ такой-то традиціонной религіей или съ иной, тоже не опроверженіе. Въ худшемъ случаѣ, такіе отвѣты могутъ только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вредъ правды*. Истина не подлежитъ этому суду, ея критеріумъ не тутъ.

Ахиллова пята Оуэна не въ ясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая такъ, онъ впалъ въ святую ошибку любви и нетерпѣнія, въ которую впадали всѣ преобразователи и предтечи переворотовъ.

Хроническое *недоуміе* въ томъ и состоитъ, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей и разныхъ нравственныхъ параллаксъ, всего меньше понимаютъ *простое*, а готовы вѣрить и еще больше *вѣрить*, что *понимаютъ* вещи очень *сложныя* и совершенно непонятныя, но традиціонныя, привычныя и соответствующія дѣтской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать чѣмъ водой, но для этого надобно имѣть легкія; а гдѣ же имъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный снарядъ, чтобъ достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ на развитіе легкіхъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чѣмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обусловила у нихъ свои *духовныя* жабры, дышать болѣе чистой и рѣдкой средой должно было произвести боль и отвращеніе.

Не думайте, что тутъ только выѣшнее сравненіе, тутъ истинная аналогія одинакихъ явленій, въ разныхъ возрастахъ и разныхъ слояхъ.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте—кому? Той толпѣ, которая наполняетъ до давки колоссальный трансектъ кристалъ-

наго дворца, слушая съ жадностью и рукоплесканіемъ проповѣда какого-то плоскаго средневѣковаго бакалавра, попавшаго, не знаю какъ, въ нашъ вѣкъ и общающаго толпѣ кары небесныя и бѣдствія земныя на вульгарномъ языкѣ шиллеровскаго капуцана въ Wallenstein's Lager?

Для нихъ не легко!

Люди отдають долю своего достоянія и своей воли, подчиняются всякаго рода властямъ и требованіямъ, вооружаютъ цѣлыя толпы, строятъ суды, тюрьмы и страшатъ висѣлицей. Словомъ, дѣлають все такъ, чтобъ, куда человѣкъ ни обернулся, передъ его глазами былъ бы палачъ съ веревкой, готовый все кончить. Цѣль всего этого сохранить общественную безопасность отъ дикихъ страстей и преступныхъ покушеній, какъ-нибудь удержать въ руслѣ общественной жизни необузданныя покушенія вырваться изъ него.

А тутъ является чудакъ, который прямо и просто говорить, да еще съ какой-то обидной наивностью, *что все это вздоръ*, что человѣкъ вовсе не преступникъ *parle le droit de naissance*, что онъ такъ же мало отвѣчаетъ за себя, какъ и другіе звѣри, и, какъ они, суду не подлежитъ, *а воспитанію очень*. И это не все: онъ передъ лицомъ судей и поповъ всенародно объявляетъ, что человѣкъ не самъ творитъ свой характеръ, что стоитъ его поставить со дня рожденія въ такія обстоятельства, чтобъ онъ могъ быть не мошенникомъ, такъ онъ и будетъ, такъ себѣ, хорошій человѣкъ. А теперь общество рядомъ нелѣпостей наводитъ его на преступленіе, а люди наказываютъ не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэнъ воображалъ, что это *легко* понять?

Развѣ онъ не зналъ, что намъ легче себѣ вообразить кошку, повѣшенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетнымъ ошейникомъ за оказанное усердіе при поимкѣ укрывшагося зайца, чѣмъ ребенка не наказаннаго за дѣтскую шалость, не говоря уже о преступникѣ. Примириться съ тѣмъ, что мстить всѣмъ обществомъ преступнику мерзко и глупо, что цѣлымъ соборомъ дѣлать безопасно и хладнокровно столько же злодѣйства надъ преступникомъ, сколько онъ сдѣлалъ, подвергаясь опасности и подвляніемъ страсти, отвратительно и бесполезно,—ужасно трудно, не по нашимъ жабрамъ! Рѣзко!

Въ боязливомъ упорствѣ массъ, въ тупомъ отстаиваніи стараго, въ консервативной цѣпкости ея есть своего рода темное воспоминаніе, что висѣлица, смертная казнь, страхъ власти, уголовная палата были нѣкогда огромные шаги впередъ, огромныя ступени вверхъ, великіе *Ergungenschaften*, подмостки, по которымъ люди, выбиваясь изъ силъ, взбирались къ покойной жизни, ко-

мяги, на которыхъ подплывали, сами не зная дороги, къ гавани гдѣ бы можно было отдохнуть отъ тяжелой борьбы со стихіями, отъ земляной и кровавой работы, можно было бы найти безтревожный досугъ и святую праздность, этихъ первыхъ условий прогресса, свободы, искусства и сознанія!

Чтобъ сберечь этотъ дорого доставшійся покой, люди обставили свои гавани всякаго рода пугалами.

Одолѣвшее племя естественно кабалило себѣ племя покоренное, и на его рабствѣ основывало свой досугъ, т. е., свое развитіе. Рабствомъ собственно началось государство, образованіе, челоѣческая свобода. Инстинктъ самосохраненія навелъ на свирѣпыя законы, необузданная фантазія додѣлала остальное.

Если свести всѣ разнообразныя основы этихъ краугольныхъ камней, на которыхъ выводились государства, на главныя начала, освобождая ихъ отъ фантастическаго, дѣтскаго, принадлежащаго къ возрасту, то мы увидимъ, что они постоянно одни и тѣ же, соприисносуши всякому государству; декораціи и формы мѣняются, но начала тѣ же.

Дикая расправа царя звѣролова въ Африкѣ, который собственноручно прирѣзываетъ преступника, совсѣмъ не такъ далека отъ расправы судьи, довѣряющаго другому убійство. Дѣло въ томъ, что ни судья въ шубѣ, въ бѣломъ парикѣ, съ перомъ за ухомъ, ни голый африканскій царь, съ перомъ въ носу, и совершенно черный не сомнѣваются, что они это дѣлаютъ для спасенія общества и не только имѣютъ право въ иныхъ случаяхъ убивать, но и священный долгъ.

Сверхъ страха воли, того страха, который дѣти чувствуютъ, начиная ходить безъ помочей, сверхъ привычки къ этимъ поручнямъ, облитымъ потомъ и кровью, къ этимъ ладьямъ; сдѣлавшимся ковчегами спасенія, въ которыхъ народы пережили не одинъ черный день,—есть еще сильныя контрфорсы, поддерживающіе ветхое зданіе. Неразвитость массъ, не умѣющихъ понимать, съ одной стороны, и корыстный страхъ, съ другой, мѣшающій понимать меньшинству, долго продержатъ на ногахъ старый порядокъ. Образованныя сословія, противно своимъ убѣжденіямъ, готовы сами ходить на веревкѣ, лишь бы не спускали съ нея толпу.

Оно и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX вѣкъ, а внизу развѣ XV, да и то не въ самомъ внизу,—тамъ уже готтенты и кафры различныхъ цвѣтовъ, породъ и климатовъ.

Если въ самомъ дѣлѣ подумать объ этой цивилизаціи, которая осѣдаетъ лацаронами и лондонской чернью, людьми свернувшими съ пол-дороги и возвращающимися къ состоянію лему-

ровъ и обезьянъ, въ то время, какъ на вершинахъ ея цвѣтутъ тщедушные ацтеки всѣхъ аристократій,—дѣйствительно голова закружится. Вообразите себѣ этотъ звѣринецъ на волѣ, безъ церкви, безъ инквизиціи и суда.

Оуэнъ считалъ ложью, т. е., отжившей правдой, вѣковыя твердыни юриспруденціи, и это понятно; но когда онъ подъ этимъ предлогомъ требовалъ, чтобъ они сдались, онъ забылъ храбрый гарнизонъ, защищающій крѣпость. Ничего въ мірѣ нѣтъ упорнѣе трупа, его можно убить, разбить на части, но убѣдить нельзя.

Это приводитъ насъ къ вопросу не о томъ, правъ или не правъ Р. Оуэнъ, а о томъ, *совмѣстны ли вообще разумное сознаніе и нравственная независимость съ государственнымъ бытомъ?*

Исторія свидѣтельствуетъ, что общества постоянно достигаютъ разумной автономіи, но свидѣтельствуетъ также, что они остаются въ нравственной неволѣ. Разрѣшимъ эти вопросы или нѣтъ, сказать трудно; ихъ не рѣшишь съ плеча, особенно одной любовью къ людямъ и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всѣхъ сферахъ жизни мы наталкиваемся на неразрѣшимыя антиноміи, на эти ассимпоты, вѣчно стремящіяся къ своимъ гиперболамъ, никогда не совпадая съ ними. Это—крайнія грани между которыми колеблется жизнь, движется и утекаетъ, касаясь то того берега, то другого.

Появленіе людей, протестующихъ противъ общественной неволи и неволи совѣсти,—не новость; они являлись обличителями и пророками во всѣхъ сколько-нибудь назрѣвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда онѣ старѣли. Это высшій предѣлъ, *перехватывающая личность*, явленіе исключительное и рѣдкое, какъ гений, какъ красота, какъ необыкновенный голосъ. Опытъ не доказываетъ, чтобъ ихъ утопіи были осуществляемы.

У насъ передъ глазами страшный примѣръ. Съ тѣхъ поръ, какъ родъ человѣческій запомнитъ себя, не встрѣчалось никогда такого стеченія счастливыхъ обстоятельствъ для разумаго и свободнаго развитія государственнаго, какъ въ Сѣверной Америкѣ; все, мѣшающее на истощенной, исторической почвѣ, или на почвѣ, вовсе невоздѣланной, отсутствовало. Ученіе великихъ мыслителей и революціонеровъ XVIII вѣка безъ французской военщины, англійскій common law безъ кастъ легли въ основу ихъ государственнаго быта. Чего же больше? Все, о чемъ мечтала старая Европа: республика, демократія, федерація, самозаконность каждаго клочка и — едва связывающій общій правительственный поясъ съ слабымъ узломъ въ серединѣ.

Что же вышло изъ всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую

власть; народъ, объявившій восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ «права человѣка», распадается изъ-за «права сѣчь». Преслѣдованія и гоненія въ южныхъ штатахъ, поставившихъ на своемъ знамени слово *Рабство*, за образъ мыслей и слова, не уступаютъ въ гнусности тому, что дѣлалъ неаполитанскій король и вѣнскій императоръ.

Въ сѣверныхъ штатахъ «рабство» не возведено въ догматъ религiи; но каковъ уровень образованія и свободы совѣсти въ странѣ, бросающей счетную книгу только для того, чтобъ заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, въ странѣ, хранящей всю нетерпимость пуританъ и квакеровъ!

Въ формахъ, болѣе мягкихъ, мы то же встрѣчаемъ въ Англии и въ Швеции. Чѣмъ страна свободнѣе отъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ больше признаны ея права на слово, на независимость совѣсти,—тѣмъ нетерпимѣе дѣлается толпа, общественное мнѣнiе становится застѣнкомъ; вашъ сосѣдъ, вашъ мясникъ, вашъ портной, семья, клубъ, приходъ держатъ васъ подъ надзоромъ и исправляютъ должность квартальнаго. Неужели только народъ, не способный къ *внутренней* свободѣ, можетъ достигнуть свободныхъ учрежденiй? или не значить ли это, наконецъ, что государство развиваетъ постоянно потребности и идеалы, достиженiе которыхъ исполняютъ дѣятельностью лучшiе умы, но которыхъ осуществленiе несомнѣстимо съ государственной жизнью?

Мы не знаемъ рѣшенiя этого вопроса; но считать его рѣшенымъ не имѣемъ права. Исторiя до сихъ подъ его рѣшаетъ однимъ образомъ; нѣкоторые мыслители, и въ томъ числѣ Р. Оуэнъ, иначе. Оуэнъ *впритъ* несокрушимой вѣрой мыслителей XVIII-го столѣтiя (прозваннаго вѣкомъ безвѣрiя), что человѣчество накупитъ своего торжественнаго облеченiя въ вирильную тогу. А намъ кажется, что всѣ опекуны и пастухи, дядьки и мамки могутъ спокойно ѣсть и спать насчетъ недоросля. Какой бы вздоръ народы ни потребовали, *на нашемъ вѣку* они не потребуютъ право совершеннолѣтiя. Человѣчество еще долго проходить съ отложными воротничками à l'enfant.

Причинъ на это бездна. Для того, чтобъ человѣку образумиться и придти въ себя, надобно быть гигантомъ; да, наконецъ, и никакiя колоссальныя силы не помогутъ пробиться, если быть общественный такъ хорошо и прочно сложился, какъ въ Японiи или Китаѣ. Съ той минуты, когда младенецъ, улыбаясь, открываетъ глаза у груди своей матери, до тѣхъ поръ, пока, примирившись съ совѣстью и Богомъ, онъ также спокойно закрываетъ глаза, увѣренный, что его перевезутъ въ обитель, гдѣ нѣтъ ни плача, ни воздыханiя,—все такъ улажено, чтобъ онъ не развилъ

ни одного простого понятія, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Онъ съ молокомъ матери сосеть дурманъ: никакое чувство не остается не искаженнымъ, не сбитымъ съ естественнаго пути. Школьное воспитаніе продолжаетъ то, что сдѣлано дома, оно обобщаетъ оптической обманъ, книжно упрочиваетъ его, теоретически узакониваетъ традиціонный хламъ и приучаетъ дѣтей къ тому, чтобъ они *знали, не понимая*, и принимали бы *названія за опредѣленія*.

Сбитый въ понятіяхъ, запутанный словами, человѣкъ теряетъ чутье истины, вкусъ природы. Какую же надобно имѣть силу мышленія, чтобъ заподозрить этотъ нравственный чадъ и уже съ круженіемъ головы броситься изъ него на чистый воздухъ, которыми въ добавокъ стращаютъ всѣ вокругъ! На это Оуэнъ отвѣчалъ бы, что онъ именно потому и начиналъ свое социальное перерожденіе людей не съ фаланстера, не съ Икаріи, а со школы, со школы, въ которую онъ бралъ дѣтей съ двухлѣтняго возраста и меньше.

Оуэнъ былъ правъ, и еще больше, онъ практически доказалъ, что *онъ былъ правъ*: передъ New Lanark'омъ противники Оуэна молчатъ. Этотъ проклятый New Lanark вообще костью стоитъ въ горлѣ людей, постоянно обвиняющихъ социализмъ въ утопіяхъ и въ неспособности что-нибудь осуществить на практикѣ. «Что сдѣлалъ Консидеранъ съ Брейсбеномъ, что монастырь Сито, что портные въ Клиши и Vanque du peuple Прудона?» Но противъ блестящаго успѣха New Lanark'a сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды, все выходило съ удивленіемъ и благоговѣніемъ изъ школы. Докторъ герцога Кентскаго, скептикъ, говорилъ о Lanark'ѣ съ улыбкой; герцогъ, другъ Оуэна, совѣтовалъ ему съѣздить самому въ New Lanark. Вечеромъ докторъ пишетъ герцогу: «отчетъ я оставляю до завтра: я такъ взволнованъ и тронутъ тѣмъ, что видѣлъ, что не могу еще писать; у меня нѣсколько разъ наворачивались слезы на глазахъ». На этомъ торжественномъ признаніи я и жду моего старика. И такъ, онъ доказалъ свою мысль на дѣлѣ,—онъ былъ правъ. Пойдемте далѣе.

New Lanark былъ на вершинѣ своего благосостоянія. Неутомимый Оуэнъ, несмотря ни на лондонскія поѣздки, ни на митинги, ни на непрерывныя посѣщенія всѣхъ знаменитостей Европы,—съ той же дѣятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостояніемъ работниковъ, между которыми развивалъ общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, онъ обанкротился? Учители перессорились, дѣти избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатѣли, школа про-

цвѣтала. Но однимъ добрымъ утромъ въ эту школу взошли какіе-то два черныхъ шута, въ низенькихъ шляпахъ, въ намѣренно дурно сшитыхъ сюртукахъ: это были двое квакеровъ, такіе же собственники New Lanark'a, какъ и самъ Оуэнъ. Насупили они брови, видя веселыхъ дѣтей, нисколько не горюющихъ о грѣхопаденіи; ужаснулись, что маленькіе мальчики безъ панталонъ, и потребовали преподаваніе какого-то своего катехизиса. Оуэнъ сначала отвѣчалъ гениально: цифрой приращенія доходовъ. Ревность успокоилась на время: такъ грѣховная цифра была велика. Но совѣсть квакеровъ проснулась опять, и они еще настоятельно стали требовать, чтобы дѣтей не учили ни танцовать, ни *свѣтскому* пѣнію, а раскольничьему катехизису непремѣнно.

Оуэнъ, у котораго хоры, правильныя эволюціи и танцы играли важную роль въ воспитаніи, не согласился. Были долгія пренія; квакеры рѣшились на этотъ разъ и требовали введенія псалмовъ и какихъ-то штанишекъ дѣтямъ, ходившимъ по-шотландски. Оуэнъ понялъ, что крестовый походъ квакеровъ на этомъ не остановится. «Въ такомъ случаѣ», сказалъ онъ имъ, «управляйте сами; я отказываюсь». Онъ не могъ иначе поступить.

«Квакеры» говорятъ біографъ Оуэна, «вступивъ въ управленіе New Lanark'омъ, начали съ того, что *уменьшили плату и увеличили число часовъ работы*».

New Lanark палъ.

Ненадобно забывать, что успѣхъ Оуэна раскрываетъ еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бѣдный и подавленный работникъ, лишенный образованія, съ дѣтства приученный къ пьянству и обману, къ войнѣ съ обществомъ, только сначала противудѣйствуетъ нововведеніямъ, и то изъ недовѣрія; но какъ только онъ убѣждается въ томъ, что перемѣна не во вредъ ему, что при ней и онъ не забыть, онъ слѣдуетъ съ покорностью, потомъ съ довѣрчивой любовью.

Среда, служащая тормазомъ, не тутъ.

Гейнце, литературный холопъ Меттерниха, за обѣдомъ во Франкфуртѣ, сказалъ Роберту Оуэну:

— Положимъ что вы бы успѣли,—что же бы изъ этого вышло?

— Очень просто, отвѣчалъ Оуэнъ, вышло бы то, что каждый былъ бы сытъ, хорошо одѣтъ, и получилъ бы дѣльное воспитаніе.

И вотъ отчего паденіе небольшой шотландской деревушки, съ фабрикой и школой, имѣетъ значеніе историческаго несчастія. Развалины Оуэнскаго New Lanark'a наводятъ на нашу душу не меньше грустныхъ думъ, какъ нѣкогда другія развалины наводили на душу Марія; съ той разницей, что римскій изгнанникъ сидѣлъ на гробѣ старца и думалъ о суетѣ суетствій; а мы тоже

думаемъ, сидя у свѣжей могилы младенца, много общавшаго и убитаго дурнымъ уходомъ и страхомъ, *что онъ потребуемъ наследства!*

III

Итакъ, Р. Оуэнъ былъ правъ передъ разумомъ; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Имъ только недоставало *пониманья* со стороны слушавшихъ его.

— Это дѣло времени, когда-нибудь люди поймутъ.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтобъ люди никогда не дошли до пониманья своихъ собственныхъ выгодъ.

— Однако до сихъ поръ было такъ.

Во всю тысячу и одну ночь исторiя, какъ только накапливалось немного образованiя, попытки эти были; нѣсколько человѣкъ просыпались, протестовали противъ спящихъ, заявляли, что они наяву, но другихъ добудиться не могли. Появленiе ихъ доказываетъ, безъ малѣйшаго сомнѣнiя, возможность человѣка развиваться до разумнаго пониманья. Но этимъ не разрѣшается нашъ вопросъ: можетъ-ли это исключительное развитiе сдѣлаться общимъ? Наведенiе, которое намъ даетъ прошедшее, не въ пользу положительнаго рѣшенiя. Развѣ будущее пойдетъ иначе, приведетъ иныя силы, иныя элементы, которыхъ мы не знаемъ и которые перевернутъ, по плюсу или минусу, судьбы человѣчества или значительной части его. Открытiе Америки равняется геологическому перевороту; желѣзныя дороги, электрическiй телеграфъ измѣнили всѣ человѣческiя отношенiя. То, чего мы не знаемъ, мы не имѣемъ права вводить въ нашъ расчетъ; но, принимая всѣ лучшiе шансы, мы все же не предвидимъ, чтобъ люди скоро почувствовали потребность *здраваго смысла*. Развитiе мозга требуетъ своего времени. Въ природѣ нѣтъ торопливости; она могла тысячи и тысячи лѣтъ лежать въ каменномъ обморокѣ и другiя тысячи чирикать птицами, рыскать звѣрями по лѣсу, или плавать рыбою по морю. Историческаго бреда ей станетъ надолго; имъ же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной въ другихъ сферахъ.

Люди, которые поняли, что это сонъ, воображаютъ, что проснуться легко, сердятся на спящихъ, не соображая, что весь мiръ ихъ окружающiй не позволяетъ имъ проснуться. Жизнь проходить рядомъ оптическихъ обмановъ, искусственныхъ потребностей и мнимыхъ удовлетворенiй.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тутъ Робертъ Оуэнъ поможетъ? Изъ вздора люди страдаютъ съ самоотверженіемъ, изъ вздора идутъ на смерть, изъ вздора убиваютъ другихъ. Въ вѣчной заботѣ, суетѣ, нуждѣ, тревогѣ, въ потѣ лица, въ трудѣ безъ отдыха и конца, человѣкъ даже и не наслаждается. Если ему досугъ отъ работы, онъ торопится свить семейныя сѣти, вьетъ ихъ совершенно случайно, самъ попадаетъ въ нихъ, стягиваетъ другихъ, и, если не долженъ спастись отъ голодной смерти—каторжной, нескончаемой работой, то начинаетъ ожесточенное преслѣдованіе жены, дѣтей, родныхъ или самъ преслѣдуется ими. Такъ люди гонять другъ друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, дѣлая ненавистными священнѣйшія связи. Когда же тутъ образумиться? Развѣ по другую сторону семьи, за ея гробомъ, когда человѣкъ все потерялъ, и энергію, и свѣжесть мысли, когда онъ ищетъ одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цѣлаго муравейника, или одного муравья отдѣльно; вникните въ его домогательства и цѣли, въ его радости и горе, въ его понятія о добрѣ и злѣ, о *чести и позорѣ*—во все, что онъ дѣлаетъ въ продолженіе всей жизни, съ утра до ночи; взгляните, на что онъ посвящаетъ послѣдніе дни и чему жертвуетъ лучшими мгновеніями своей жизни,—вась обдасть дѣтской, съ ея лошадками на колесахъ, съ блестками и фольгой, съ куклами, поставленными въ уголь, и съ розгами, поставленными въ другой. Въ ребячьемъ лепетѣ слышится иной разъ проблескъ дѣла; но онъ теряется въ дѣтской разсѣянности. Остановиться, обдуматься нельзя,—дѣла разстроишь, отстанешь, будешь затертъ; всѣ слишкомъ компрометировались и всѣ слишкомъ быстро несутся, чтобъ можно было остановиться, особенно передъ горстью людей, безъ пушекъ, безъ денегъ, безъ власти, *протестующихъ во имя разума*, не подтверждавая даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре *надобно* съ утра въ бюро, чтобъ начать капитализацію сотаго милліона; въ Бразиліи моръ, въ Италіи война, Америка распадается, все идетъ прекрасно; а тутъ ему говорятъ о безответственности человѣка и о *иномъ* распределеніи богатствъ,—разумѣется, онъ не слушаетъ. Макъ-Магонъ дни, ночи обдумывалъ, какъ вѣрнѣе, въ самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одѣтыхъ въ бѣлые мундиры, людьми, одѣтыми въ красные штаны; истребилъ ихъ больше, чѣмъ думалъ, всѣ его поздравляютъ, даже ирландцы, которые въ качествѣ папистовъ побиты имъ; а ему говорятъ, что война не только отвратительная нелѣпность, но и преступленіе. Ра-

зумѣтся, вмѣсто того, чтобъ слушать, онъ станетъ любоваться мечемъ, поднесеннымъ Ирландіей.

Въ Италіи я былъ знакомъ съ однимъ старикомъ, главою богатаго банкирскаго дома. Разъ, поздно ночью, мнѣ не спалось, я пошелъ гулять и возвращался, часу въ пятомъ утра, мимо его дома. Работники выкатывали изъ подваловъ боченки съ оливковымъ масломъ, для отправки моремъ. Старикъ банкиръ, въ тепломъ сюртукѣ, стоялъ съ бумагой въ рукѣ, отмѣчая каждый боченокъ. Утро было свѣжо, онъ зябнулъ.

— Вы уже встали?—сказалъ я ему.

— Я здѣсь больше часа,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, какъ въ Россіи.

— Что дѣлать, старъ становлюсь, силы отказываютъ.

— Пріятели-то ваши (т. е., его сыновья) спятъ еще, небось,—и пусть поспятъ, пока старикъ еще живъ.

— А безъ собственнаго надзора нельзя. Я прежняго покроя человѣкъ, много наглядѣлся; пять революцій, amico mio, видѣлъ, возлѣ прошли; а я, за своей работой, все также: отпущу масло, пойду въ контору. Я и кофе тамъ пью, прибавилъ онъ.

— И такъ до самага обѣда?

— До самага обѣда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочемъ, скажу вамъ откровенно, тутъ много дѣлаетъ привычка. *Мнѣ скучно безъ дѣла.*

Не нынче-завтра онъ умретъ. Кто же будетъ масло отпускать, какъ пойдетъ домъ? думалъ я, оставивъ его. Развѣ къ тѣмъ порамъ старшій сынъ тоже сдѣлается человѣкомъ прежняго покроя, и тоже будетъ скучать безъ дѣла и вставать въ четыре часа? Такъ и пойдетъ одна тысяча золотыхъ къ другой, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ династовъ, и, навѣрное, самый лучшій, проиграетъ все въ карты или поднесетъ лореткѣ.—«Родители-то какіе были! скажутъ добрые люди,—они отказывали во всемъ себѣ и другимъ тоже, и все копили про дѣтей. А вотъ блудный сынъ!..»

Ну, гдѣ-жъ тутъ скоро добраться, сквозь эту толщу нелѣпости до живого мяса?

Этимъ людямъ, занятымъ службой, ажіотажемъ, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми,—Р. Оуэнъ проповѣдывалъ другое употребленіе силъ и указывалъ имъ на нелѣпость ихъ жизни. Убѣдить ихъ онъ не могъ, а озлобилъ ихъ и опрокинулъ на себя всю нетерпимость непониманія. Одинъ разумъ долготерпѣливъ и милосердъ, потому что онъ понимаетъ.

Биографъ Р. Оуэна очень вѣрно судилъ, говоря, что онъ раз-

рушилъ свое вліяніе, отрекаясь отъ религіи. Дѣйствительно, стукнувшись о церковную ограду, ему слѣдовало остановиться, а онъ перелѣзъ на другую сторону и остался тамъ одинъ одинехонекъ провожаемый благочестивымъ ругательствомъ. Но намъ кажется что рано или поздно, онъ точно также остался бы и за *другимъ черепкомъ* раковины—одинъ и outlaw!

Толпа только потому не осwirѣгла на него съ самаго начала, что государство и судъ не такъ популярны, какъ церковь и алтарь. Но за право наказанія вступились бы, à la longue, люди получше подкованные, чѣмъ богобѣснующіеся квакеры и фельетонные святоши.

Вѣковой споръ, споръ тысячелѣтній о *воль и предопредѣленіи* не конченъ. Не одинъ Оуэнъ въ наше время сомнѣвался въ отвѣтственности чловѣка за его поступки; слѣды того сомнѣнія мы найдемъ у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауера, у натуралистовъ и у врачей, и, что всего важнѣе, у всѣхъ занимающихся статистикой преступленій. Во всякомъ случаѣ споръ не рѣшенъ, *но о томъ, что преступника наказывать справедливо, и, притомъ, по мѣрѣ преступленія, объ этомъ и спору нѣтъ*, это всякій самъ знаетъ!

Съ которой же стороны lunatic asylum?

«Наказаніе есть неотъемлемое право преступника», сказалъ самъ Платонъ.

Жаль, что онъ самъ сказалъ этотъ каламбуръ, но, впрочемъ, мы не обязаны съ Аддисоновымъ Катонемъ приговаривать ко всему: «ты правъ, Платонъ, ты правъ», даже и тогда, когда онъ говорить, что «нашъ духъ не умираетъ».

Если быть выпоронному или повѣшенному составляетъ *право* преступника, пусть же онъ самъ и предъявляетъ его, если оно нарушено. Права втѣснять ненадобно.

Бентамъ называетъ преступника дурнымъ счетчикомъ; понятно, что кто обчелся, тотъ долженъ нести послѣдствія ошибки, но, вѣдь, это не право его. Никто не говорить, что если вы стукнулись лбомъ, то вы имѣете право на синее пятно, и нѣтъ особаго чиновника, который бы посылалъ фельдшера сдѣлать это пятно, если его нѣтъ. Но юристы или такъ неоткровенны, или такъ забили свой умъ, что они казнь вовсе не хотятъ признать обороной или местию, а какимъ-то нравственнымъ вознагражденіемъ, «возстановленіемъ равновѣсія». На войнѣ дѣла идутъ прямо: убивая непріятеля, солдатъ не ищетъ *его* вины, не говорить даже, что это справедливо, а кто кого сможетъ, тотъ того и повалить.

— Но съ этими понятіями придется затворить всѣ суды.

— Зачѣмъ? дѣлали же изъ базиликъ приходскія церкви, не попробовать ли теперь ихъ отдать подъ приходскія школы?

— Съ этими понятіями о безнаказанности не устоитъ ни одно правительство.

— Оуэнъ могъ бы, какъ первый *историческій* братъ, на это отвѣчать: развѣ мнѣ было поручено упрочивать правительства?

— Онъ въ отношеніи правительствъ былъ очень уклончивъ и умѣлъ ладить съ коронованными головами, съ министрами тори и съ президентомъ американской республики.

— А развѣ онъ былъ дурень съ католиками или протестантами?

— Что-жъ вы думаете, Оуэнъ былъ республиканецъ?

— Я думаю, что Р. Оуэнъ предпочиталъ ту *форму правительства*, которая наибольше соотвѣтствуетъ принимаемой имъ церкви.

— Помилуйте, у него никакой нѣтъ церкви.

— Ну, вотъ видите.

— Однако нельзя быть безъ правительства.

— Безъ сомнѣнія; хоть какое-нибудь да надобно. Гегель рассказываетъ о доброй старухѣ, говорившей: «Ну, что-жъ, что дурная погода, все лучше, чтобъ была дурная, чѣмъ если-бъ совсѣмъ погоды не было!»

— Хорошо, смѣйтесь, да, вѣдь, государство погибнетъ безъ правительства!

— А мнѣ что за дѣло!

IV.

Во время революціи былъ сдѣланъ опытъ коренного измѣненія гражданскаго быта, съ сохраненіемъ *сильной правительственной* власти.

Декреты приготовлявшася правительства уцѣлѣли съ своимъ заголовкомъ:

Egalité

Liberté

Bonheur Commun.

Къ которому иногда прибавляется, въ видѣ поясненія: ou la mort!

Декреты, какъ и слѣдуетъ ожидать, начинаются съ *декрета полиціи*.

§ 1. Лица, ничего не дѣлающія для *отечества*, не имѣютъ

никакихъ политическихъ правъ, это *иностранцы*, которымъ *республика* даетъ гостепрѣимство.

§ 2. Ничего не дѣлаютъ *для отечества* тѣ, которые не *служатъ ему* полезнымъ трудомъ.

§ 3. *Законъ* считаетъ полезными трудами:

Земледѣліе, скотоводство, рыбную ловлю, мореплаваніе.

Механическія и ручныя работы.

Мелкую торговлю (*la vente en detail*).

Иавозъ и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподаваніе.

§ 4. Впрочемъ, *науки и преподаваніе* не будутъ считаться полезными, если *лица*, занимающіяся ими, не представляютъ въ данное время свидѣтельство цивилизма, *написанное по опредѣленной формѣ.*

§ 6. *Иностранцамъ* воспрещается входъ въ публичныя собранія.

§ 7. Иностранцы находятся подъ прямымъ надзоромъ высшей администраціи, которой предоставляется право высылать ихъ съ мѣста жительства и отправлять въ исправительныя мѣста.

Въ декретѣ о «работахъ» все расписано и распределено, въ какое время, когда что дѣлать, сколько часовъ работать; старшины даютъ «примѣръ усердія и дѣятельности»; другіе доносятъ обо всемъ, дѣлающемся въ мастерскихъ, начальству. Работниковъ *посылаютъ* изъ одного мѣста въ другое (такъ, какъ гоняютъ мужиковъ на посейную работу у насъ), по мѣрѣ надобности рукъ и труда.

§ 11. Высшая администрація посылаетъ на каторжную работу (*travaux forcés*), подъ надзоръ ея назначенныхъ общинъ, лицъ обоого пола, которыхъ *инцивизмъ* (*incivisme*), лѣнь, роскошь и *дурное поведеніе* даютъ обществу дурной примѣръ. Ихъ имущество будетъ конфисковано.

§ 14. Особенности чиновники заботятся о содержаніи и приплодѣ скота, объ одеждѣ, переѣздахъ и облегченіяхъ, работающихъ гражданъ.

Декретъ о распределеніи имущества.

§ 1. Ни одинъ членъ общины не можетъ пользоваться ни чѣмъ, кромѣ того, что ему опредѣляется закономъ и дано посредствомъ облеченнаго властью чиновника (*magistrat*).

§ 2. Народная община съ самаго начала даетъ своимъ членамъ квартиру, платья, стирку, освѣщеніе, отопленіе, достаточное количество хлѣба, мяса, куръ, рыбы, яицъ, масла, вина и другихъ напитковъ.

§ 3. Въ каждой коммунѣ, въ опредѣленныя эпохи, будутъ

общія трапезы, на которыхъ члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякій членъ, взявшій плату за работу или хранящій у себя деньги, *наказывается*.

Декретъ о торговлѣ.

§ 1. Заграничная торговля частнымъ лицамъ *запрещена*. Товаръ будетъ конфискованъ, преступникъ наказанъ.

Торговля будетъ производиться чиновниками. Затѣмъ деньги уничтожаются. Золото и серебро не вѣдно ввозить. Республика не выдаетъ денегъ, внутренніе частные долги уничтожаются, внѣшніе уплачиваются; а если кто обманетъ или сдѣлаетъ подлогъ, то наказывается *вѣчнымъ рабствомъ* (esclavage perpétuel).

За этимъ такъ и ждешь: *Питеръ* въ Сарскомъ Селѣ, или гр. *Аракчеевъ* въ Грузинѣ; а подписалъ не Петръ I, а первый социалистъ французскій *Гракъ Бабёфъ!*

Жаловаться трудно, чтобъ въ этомъ проектѣ не доставало правительства: обо всемъ попеченіе, за всеѣмъ надзоръ, надъ всеѣмъ опека, все устроено, все приведено въ порядокъ. Даже воспроизведеніе животныхъ не предоставляется ихъ собственнымъ слабостямъ и кокетству, а регламентировано высшимъ начальствомъ.

И для чего вы думаете все это? Для чего кормятъ «курами и рыбой, обмываютъ, одѣваютъ и *утѣшаютъ*»¹⁾ этихъ *крупныхъ* благосостоянія, этихъ приписанныхъ къ равенству арестантовъ? Не просто для нихъ, декретъ именно говоритъ, что все это будетъ дѣлаться *mediocrement*. «Одна Республика должна быть богата, великолѣпна и всемогуща».

Противуположность Роберта Оуэна съ Граккомъ Бабёфомъ очень замѣчательна. Черезъ вѣка, когда все измѣнится на земномъ шарѣ, по этимъ *двумъ кореннымъ зубамъ* можно будетъ возстановить ископаемые остовы Англіи и Франціи до послѣдней косточки. Тѣмъ больше, что въ сущности эти мастодонты социализма принадлежатъ одной семьѣ, идутъ къ одной цѣли, и изъ тѣхъ же побужденій,—тѣмъ ярче ихъ различіе.

Одинъ видѣлъ, что, несмотря на казнь короля, на провозглашеніе республики, на уничтоженіе *федералистовъ* и демократическій терроръ, народъ остался не причемъ. Другой, что, несмотря на огромное развитіе промышленности, капиталовъ, машинъ и усиленной производительности, «веселая Англія» дѣлается все больше Англіей скучной, и Англія обжорливая—все больше Англіей голодной. Это привело обоихъ къ необходимости измѣненія основ-

¹⁾ „Каждый гражданинъ будетъ отъ администраціи *logé, nourri, habillé et amusé*“.

ныхъ условій государственнаго и экономическаго быта. Почему они (и многіе другіе) почти въ одно и то же время попали на этотъ порядокъ идей,—понятно. Противорѣчія общественнаго быта становились не больше и не хуже, чѣмъ прежде, но они выступали рѣзче къ концу XVIII вѣка. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонію, которая была прежде между ними, при меньше благоприятныхъ обстоятельствахъ.

Встрѣтившись такъ близко въ точкѣ исхода, оба идутъ въ противоположныя стороны.

Оуэнъ видитъ въ томъ, что общественное зло приходитъ къ сознанию, послѣднее *достиженіе*, послѣднюю побѣду тяжелаго, сложнаго, историческаго похода; онъ привѣтствуетъ зарю *новаго* дня, никогда не бывалаго и невозможнаго въ прошедшемъ, и уговариваетъ дѣтей, какъ можно скорѣе покинуть пеленки, помочи, и стать на свои ноги. Онъ заглянулъ въ двери будущаго и, какъ путешественникъ, доѣхавшій до мѣста, не сердится больше на дорогу, не бранитъ ни станціонныхъ смотрителей, ни клячъ.

Но конституція 1793 года думала не такъ, а съ ней не такъ думалъ и Тракхъ Бабёфъ. Она декретировала *возстановленіе естественныхъ правъ чловѣка, забытыхъ и утраченныхъ*. Государственный бытъ—преступный плодъ узурпаціи, послѣдствіе злодѣйскаго заговора тирановъ и ихъ сообщниковъ, поповъ и аристократовъ. Ихъ слѣдуетъ казнить, какъ враговъ отечества, достояніе ихъ возвратитъ законному *государю*, которому теперь ѣсть нечего, и который называется поэтому *санкюлотомъ*. Пора возстановитъ его старыя, *неотъемлемыя* права... Гдѣ они были? Почему пролетарій государь? Почему ему принадлежитъ все достояніе, награбленное другими?.. А! вы сомнѣваетесь,—вы подозрительный чловѣкъ, ближній государь сведетъ васъ къ гражданину судѣ, а тотъ пошлетъ къ гражданину палачу, и вы больше сомнѣваться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мѣшать практикѣ *акушера* Оуэна.

Бабёфъ хотѣлъ силой, т. е., властью разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжаніе. Для этого онъ сдѣлалъ заговоръ; если-бъ ему удалось овладѣть Парижемъ, комитетъ *insurgenteur приказалъ бы* Франціи новое устройство, точно такъ, какъ Византія его приказалъ побѣдоносный Османлисъ; онъ втѣснилъ бы французамъ свое *рабство общаго благосостоянія*, и, разумѣется, съ такимъ насиліемъ, что вызвалъ бы страшнѣйшую реакцію, въ борьбѣ съ которой Бабёфъ и его комитетъ погибли бы, бросивъ міру *великую мысль въ нелпной формѣ*, мысль, которая и теперь тлѣетъ подъ пепломъ и мутитъ довольство *довольныхъ*.

Оуэнь, видя, что люди образованныхъ странъ подростаютъ къ переходу въ новый періодъ, не думалъ вовсе о насиліи, а хотѣлъ только облегчить развитіе. Съ своей стороны, онъ такъ же послѣдовательно, какъ Бабѣфъ съ своей, принялся за изученіе зародыша, за развитіе ячейки. Онъ началъ, какъ всѣ естествоиспытатели, съ частнаго случая; его микроскопъ, его лабораторія былъ New Lanark; его ученіе росло и мужало вмѣстѣ съ ячейкой, и оно-то довело его до заключенія, что главный путь водворенія новаго порядка—*воспитаніе*.

Заговоръ для Оуэна былъ ненуженъ, возстаніе могло только повредить ему. Онъ не только могъ ужиться съ лучшимъ въ мірѣ правительствомъ, съ англійскимъ, но со всякимъ другимъ. Онъ въ правительствѣ видѣлъ устарѣлый, историческій фактъ, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойниковъ, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительства, онъ не домогался нисколько и *поправлять его*. Если-бъ святые лавочники не мѣшали ему, въ Англіи и Америкѣ были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony ¹⁾, въ нихъ втекали бы свѣжія силы рабочаго народонаселенія, они исподволь отвели бы лучшіе, жизненные соки отъ отжившихъ государственныхъ цистернъ. Что же ему было бороться съ умирающими; онъ могъ ихъ предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенецъ, котораго приносятъ въ его школы, c'est autant de pris надъ церковью и правительствомъ!

Бабѣфъ былъ казенъ. Во время процесса онъ вырастаетъ въ одну изъ тѣхъ великихъ личностей—мучениковъ и побитыхъ пророковъ, передъ которыми невольно склоняется человѣкъ. Онъ угасъ, а на его могилѣ росло больше и больше всепоглощающее чудовище *централизаціи*. Передъ нею особенность стерлась, завянула, поблѣднѣла личность и исчезла. Никогда на европейской почвѣ, со временъ тридцати тирановъ аѳинскихъ до тридцатилѣтней войны и отъ нея до исхода французской революціи, человѣкъ не былъ такъ пойманъ правительственной паутиной, такъ опутанъ сѣтями администраціи, какъ въ новѣйшее время во Франціи.

Оуэна исподволь затащило иломъ. Онъ двигался, пока могъ, говорилъ, пока его голосъ доходилъ. Илъ пожималъ плечами, качалъ головой; неотразимая волна мѣщанства росла, Оуэнь ста-

¹⁾ Съ легкой руки Оуэна начали въ Англіи развиваться *кооперативныя работничьи ассоціаціи*, ихъ считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бѣдно 15 лѣтъ тому назадъ, съ капиталомъ 28 ливровъ, строитъ теперь на общественныя деньги фабрику съ двумя машинами, каждая въ 60 силъ, и которая имъ стоитъ за 30.000 фунтовъ. Кооперативныя общества печатаютъ журналъ «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

рѣлся и все глубже уходилъ въ трясины; мало-по-малу его усилія, его слова, его ученіе—все исчезло въ болотѣ. Иногда будто попрыгиваютъ фіолетовые огоньки, пугающіе робкія души либераловъ,— только *либераловъ*: аристократы ихъ презираютъ, попы ненавидятъ, народъ не знаетъ.

— За то будущее ихъ!..

— Какъ случится!

— Помилуйте, къ чему же послѣ этого вся исторія?

— Да и все-то на свѣтѣ къ чему? Что касается до исторіи, я не дѣлаю ее и потому за нее не отвѣчаю. Я, какъ «сестра Анна» въ Синей Бородѣ, смотрю для васъ на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... вотъ ѣдутъ... ѣдутъ, кажется, они; нѣтъ, это не братья наши, это бараны, много барановъ! Наконецъ-то, приближаются два гиганта разными дорогами. Ну, ужъ не тотъ, такъ другой потреплеть Рауля за синюю бороду. Не тутъ-то было! грозныхъ указовъ Бабѣфа Рауль не слушается, въ школу Р. Оуэна не идетъ; одного послалъ на гильотину, другого утопилъ въ болотѣ. Я этого вовсе не хвалю, мнѣ Рауль не родной; я только констатирую фактъ *и больше ничего!*

V.

... Около того времени, когда въ Вандомѣ упали въ роковой мѣшокъ головы Бабѣфа и Дорте, Оуэнъ жилъ на одной квартирѣ съ другимъ непризнаннымъ гениемъ и бѣднякомъ Фультономъ и отдавалъ ему послѣдніе свои шиллинги, чтобъ тотъ дѣлалъ модели машинъ, которыми онъ обогатилъ и облагодѣтельствовалъ родъ человѣческій;—случилось, что одинъ молодой офицеръ показывалъ дамамъ свою батарею. Чтобъ быть вполне любезнымъ, онъ безъ всякой нужды пустилъ нѣсколько ядеръ (это рассказываетъ онъ самъ); непріятель отвѣчалъ тѣмъ же; нѣсколько человѣкъ пали, другіе были изранены; дамы остались очень довольны нервнымъ потрясеніемъ. Офицера немножко угрызала совѣсть: «люди эти, говорить, погибли совершенно бесполезно»... но дѣло военное, это скоро прошло. *Cela prometait* и въ послѣдствіи молодой человѣкъ пролилъ крови больше, чѣмъ всѣ революціи вмѣстѣ, потребилъ одной конскрипціей больше солдатъ, чѣмъ надобно было Оуэну учениковъ, чтобъ пересоздать весь свѣтъ.

Системы у него не было никакой, добра людямъ онъ не желалъ и не общалъ. Онъ добра желалъ себѣ одному, а подъ добромъ

разумѣль власть. Теперь и посмотрите, какъ слабы передъ нимъ Бабефъ и Оуэнъ! Его имя тридцать лѣтъ послѣ его смерти было достаточно, чтобъ его племянника признали императоромъ.

Какой же у него былъ секретъ?

Бабефъ хотѣлъ людямъ *приказать благосостояніе* и коммунистическую республику.

Оуэнъ хотѣлъ ихъ *воспитать* въ другой экономической бытъ, несравненно больше выгодный для нихъ.

Наполеонъ не хотѣлъ ни того, ни другого; онъ понялъ, что французы не въ самомъ дѣлѣ желаютъ питаться спартанской похлебкой и возвратиться къ нравамъ Брута старшаго, что они не очень удовлетворятся тѣмъ, что по большимъ праздникамъ «граждане будутъ сходиться разсуждать о законахъ¹⁾ и обучать дѣтей цивическимъ добродѣтелямъ». Вотъ, дѣло другое, подрасться и похвастаться храбростью они, точно, любятъ.

Вмѣсто того, чтобъ имъ мѣшать и дразнить, проповѣдуя вѣчный миръ, лакедемонскій столъ, римскія добродѣтели и миртовые вѣнки, Наполеонъ, видя, какъ они страстно любятъ кровавую славу, сталъ ихъ натравливать на другіе народы и самъ ходить съ ними на охоту. Его винить не за что, французы и безъ него были бы такіе же. Но эта одинаковость вкусовъ совершенно объясняетъ любовь къ нему народа: для толпы онъ не былъ упрекомъ, онъ ее не оскорблялъ ни своей чистотой, ни своими добродѣтелями, онъ не представлялъ ей возвышенный, преображенный идеаль; онъ не являлся ни карающимъ пророкомъ, ни поучающимъ геніемъ, онъ самъ принадлежалъ толпѣ и показалъ ей *ее самое*, съ ея недостатками и симпатіями, съ ея страстями и влеченіями, возведенную въ *Генія* и покрытую лучами славы. Вотъ отгадка его силы и вліянія; вотъ отчего толпа плакала объ немъ, переносила его гробъ съ любовью и вездѣ повѣсила его портретъ.

Если и онъ палъ, то вовсе не отъ того, чтобъ толпа его оставила, что она разглядѣла пустоту его замысловъ, что она устала отдавать послѣдняго сына и безъ причины лить кровь человѣческую. Онъ додразнилъ другіе народы до дикаго отпора, и они стали отчаянно драться за своихъ господъ.

На этотъ разъ военный деспотизмъ былъ побѣжденъ феодальнымъ.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встрѣчу Веллингтона съ Блюхеромъ въ минуту побѣды подъ Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякій разъ, и всякій разъ

¹⁾ Не изъ нашихъ ли законовъ взялъ Гракъ Бабефъ это развлечение? Когда въ коллегіи вѣтъ дѣла, члены должны *читать законы!*

внутри груди дѣлается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обещающая ничего свѣтлаго фигура,—и этотъ сѣдой, свирѣпо-добродушный нѣмецкій кондотьеръ. Ирландецъ на англійской службѣ, человекъ безъ отечества, и пруссакъ, у котораго отечество въ казармахъ,—привѣтствуютъ радостно другъ друга; и какъ имъ не радоваться, они только-что своротили исторію съ большой дороги по ступицу въ грязь, въ такую грязь, изъ которой ее въ полвѣка не вытащить... Дѣло на разсвѣтъ... Европа еще спала въ это время и не знала, что судьбы ея перемѣнились. И отъ чего? Оттого, что Блюхеръ поторопился, а Груши опоздалъ! Сколько несчастій и слезъ стоила народамъ эта побѣда? А сколько несчастій и крови стоила бы народамъ побѣда противной стороны?

... Да какой же выводъ изъ всего этого?

— Что вы называете выводъ? Правуоченіе въ родѣ *fais ce que dois, advienne ce qui pourra*, или сентенцію въ родѣ—

И прежде кровь лилась рѣкою,
И прежде плакалъ человекъ?

Пониманіе дѣла—вотъ и выводъ, освобожденіе отъ лжи—вотъ и правуоченіе.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбіе и особенно теперь, когда всѣ кричать о безнравственности взятокъ? «Истина—религія», толкуетъ старикъ Оуэнъ, «не требуйте отъ нея ничего больше, какъ ее самое».

За все вынесенное, за поломанныя кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблужденія, по крайней мѣрѣ, разобрать нѣсколько буквъ таинственной грамоты, понять общій смыслъ того, что дѣлается около насъ... Это страшно много! Дѣтскій хламъ, который мы утрачиваемъ, не занимаетъ больше, онъ намъ дорогъ только по привычкѣ. Чего тутъ жалѣть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотомъ вѣкѣ сзади или о безконечномъ прогрессѣ впереди, тайный умыселъ химическихъ заговорщиковъ или *natura sic voluit*?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокругъ все колеблется, несется; стой или ступай, куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вѣроятно, и море пугало сначала безпорядкомъ, но какъ только человекъ понялъ его безцѣльную суету, онъ взялъ дорогу съ собой и въ какой-то скорлупѣ переплылъ океаны.

Ни природа, ни исторія *никуда не идутъ* и потому готовы идти *всюду*, куда имъ укажутъ, *если это возможно*, т. е., если ничего не мѣшаетъ. Онѣ слагаются *au fur et à mesure*, бездной другъ на

друга дѣйствующихъ, другъ съ другомъ встрѣчающихся, другъ друга останавливающихъ и увлекающихъ частностей; но человекъ вовсе не теряется отъ этого, какъ песчинка въ горѣ, не больше подчиняется стихіямъ, не круче связывается необходимостью, а вырастаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулевого, который гордо разсѣкаетъ волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія.

Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминущей развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется его стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и памяти. Возможностей, эпизодовъ, открытій въ ней и въ природѣ дремлетъ бездна на всякомъ шагу. Стоитъ тронуть наукой скалу, чтобъ изъ нея текла вода... Да что вода? Подумайте о томъ, что сдѣлалъ сгнетенный царь, что дѣлаетъ электричество съ тѣхъ поръ, какъ человекъ, а не Юпитеръ, взялъ ихъ въ руки. Человѣческое участіе велико и полно поэзіи, это своего рода творчество. Стихіямъ, веществу все равно, они могутъ дремать тысячелѣтія и вовсе не просыпаться, но человекъ шлетъ ихъ на свою работу и они идутъ. Солнце давно ходитъ по небу; вдругъ человекъ перехватилъ его лучъ, задержалъ его слѣдъ, и солнце стало ему дѣлать портреты.

Природа никогда не борется съ человѣкомъ, это пошлый поклепъ на нее, она не настолько умна, чтобъ бороться, ей все равно; «по той мѣрѣ, по которой человекъ ее знаетъ, по той мѣрѣ онъ можетъ ею управлять», сказалъ Бэконъ и былъ совершенно правъ. Природа не можетъ перечить человѣку, если человекъ не перечить ея законамъ; она, продолжая свое дѣло, бессознательно будетъ дѣлать его дѣло. Люди это знаютъ и на этомъ основаніи владѣютъ морями и сушами. Но передъ объективностью историческаго міра человекъ не имѣетъ того же уваженія, тутъ онъ дома и не стѣняется; въ исторіи ему легче страдательно уноситься потокомъ событій или врываться въ него съ ножомъ и крикомъ: «общее благосостояніе или смерть!» чѣмъ вглядываться въ приливы и отливы волнъ, его несущихъ, изучать ритмъ ихъ колебаній и тѣмъ самымъ открыть себѣ безконечные фарватеры.

Конечно, положеніе человека въ исторіи сложнѣе, тутъ онъ разомъ *лодка, волна и кормчій*. Хоть бы карта была!

А будь карта у Колумба, не онъ открылъ бы Америку. Отчего?

Оттого, что она должна была быть открыта... чтобъ попасть на карту. Только отнимая у исторіи всякой предназначенный

путь, человекъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія—развитіе какого-то доисторическаго *заговора* и она сводится на одно выполненіе, на одну его *mise en scène*, возьмемте, по крайней мѣрѣ, и мы деревянные мечи и щиты изъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады. Съ предопредѣленнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія.

Люди, съ ужасомъ говорящіе о томъ, что Р. Оуэнъ лишаетъ человека воли и нравственной доблести, миряты предопредѣленіе не только съ свободой, но и съ палачемъ ¹⁾).

Въ мистическомъ возрѣніи все это на мѣстѣ, и тамъ это имѣетъ свою художественную сторону, которой въ доктринаризмѣ нѣтъ. Въ религіи развертывается цѣлая драма; тутъ борьба, возмущеніе и его усмиреніе; вѣчная Мессіада, Титаны, Луциферъ, Аббадона, изгоняемый Адамъ, прикованный Прометей, караемые Богомъ и искупаемые Спасителемъ. Фатализмъ, переходя изъ церкви въ школу, утратилъ весь свой смыслъ, даже тотъ смыслъ правдоподобія, который мы требуемъ въ сказкѣ. Изъ яркаго, пахучаго, опяняющаго, азіатскаго цвѣтка доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума. Отталкивая фантастическіе образы, они остались при голой логической ошибкѣ, при нелѣпости предъ исторической *aggrège pensèe*, воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами, своихъ цѣлей. Зачѣмъ, если она существуетъ, она еще разъ

¹⁾ Теологи отважнѣе доктринеровъ вообще, они прямо говорятъ, что безъ воли Божіей не падетъ волосъ съ головы, а отвѣтственность за каждое дѣйствіе, даже за помыслъ оставляютъ на человекѣ. Ученый фатализмъ утверждаетъ, что у нихъ и рѣчи нѣтъ о личностяхъ, о *случайныхъ* носителяхъ идеи... (т. е., рѣчи нѣтъ о нашемъ братѣ, обыкновенномъ человекѣ, а что касается до такихъ личностей, какъ Александръ Македонскій или Петръ I—намъ уши прожужжали ихъ всемірно-историческимъ призваніемъ). Доктринеры, видите, какъ большіе господа, хозяйствомъ исторіи распоряжаются *en gros*, гуртомъ... Но гдѣ граница стада и личностей, гдѣ нѣсколько зеренъ-то, какъ спрашивали мои милые аѳинскіе софисты, становятся кучей?

Само собою разумѣется, что мы никогда не смѣшивали предопредѣленій съ теоріей вѣроятностей, мы въ правѣ наведеніемъ дѣлать послышки отъ прошедшаго къ будущему. Дѣлая индукцію, мы знаемъ, что дѣлаемъ, основываясь на постоянствѣ нѣкоторыхъ законовъ и явленій, но допуская также и нарушенія. Мы видимъ человека тридцати лѣтъ и имѣемъ полное право предполагать, что черезъ другія тридцать лѣтъ онъ будетъ сѣдъ или плѣшивъ, нѣсколько сгорбится и пр. Это не значитъ, что его назначеніе сѣдѣть, плѣшивѣть, сгорбится, что ему это на роду написано. Умри онъ тридцати пяти лѣтъ, онъ не будетъ сѣдѣть, а пойдетъ „на замазку“, какъ говоритъ Гамлетъ, или на салатъ.

осуществляется? Если же ее нѣтъ и она только *становится и отстает* событіями, то что же за новый immacулатный процессъ зачатія зародилъ во временномъ преждедущую идею, которая, выходя изъ чрева исторіи, возвѣщаетъ тотчасъ, что она была прежде и будетъ послѣ. Это новосводное безсмертіе души, идущее въ обѣ стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое... *Безсмертная душа* всего человѣчества... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ-ли безсмертной березы всѣхъ березъ?

Мудрено-ли, что съ такимъ освѣщеніемъ самые простѣйшіе, обыденные предметы сдѣлались при схоластическомъ объясненіи совершенно непонятными. Можетъ ли, напримѣръ, быть фактъ доступнѣе всякому, какъ наблюденіе, что чѣмъ челоѣкъ больше живетъ, тѣмъ имѣетъ больше случая нажитья; чѣмъ дольше глядитъ на одинъ предметъ, тѣмъ больше разглядываетъ его, если ничего не помѣшаетъ или онъ не ослѣпнетъ? И изъ этого факта ухитрились сдѣлать кумирь *прогресса*, какого-то непрерывно растущаго и общающаго расти въ безконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что челоѣкъ живетъ не для *совершенія судьбы*, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился *для* (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію. Это кажется идеалистамъ унижительно и грубо; они никакъ не хотятъ обратить вниманія на то, что все великое значеніе наше при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ-то и состоитъ, что, пока мы живы, пока не развязался на стихіи задержанный нами узелъ, *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тѣмъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шьющаго пеструю ткань исторіи... Мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не дѣль наша, не назначенье, не заданный урокъ, а послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все сущее концами и началами, причинами и дѣйствіями.

И это не все, мы можемъ *перемѣнить узоръ ковра*. Хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа, да мы одни одинехоньки. Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрываютъ отъ насъ ихъ завѣщаніе, а покойники намъ завѣщали свою власть.

«Но если, съ одной стороны, вы отдаете судьбу челоѣка на его произволь, а съ другой, снимаете съ него отвѣтственность, то съ вашимъ ученіемъ онъ сложитъ руки и просто ничего не будетъ дѣлать».

Ужь не перестануть ли люди ѣсть и пить, любить и производить дѣтей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнають, что ѣдят и слушаютъ, любятъ и наслаждаются для себя, а не для совершенія высшихъ предначертаній и не для *скорѣйшаго* достиженія *безконечнаго* развитія совершенства?

Если религія съ своимъ подавляющимъ фатализмомъ и доктринаризмомъ, съ своимъ безотраднымъ и холоднымъ, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтобъ это сдѣлало воззрѣніе, освобождающее его отъ этихъ плитъ. Одного чутья жизни и непослѣдовательности было достаточно, чтобъ спасти европейскіе народы отъ религиозныхъ проказъ, въ родѣ аскетизма, квіетизма, которые постоянно были только на словахъ и никогда на дѣлѣ; неужели разумъ и сознание окажутся слабѣе?

Къ тому же, въ реальномъ воззрѣніи есть свой секретъ; тотъ, кто отъ него сложить руки, тотъ не пойметъ его, и не приметъ: онъ еще принадлежитъ къ иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры.

Стремленіе людей къ болѣе гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничѣмъ остановить, такъ, какъ нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вотъ почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки отъ какого бы ученія ни было. Найдутся ли лучшія условія жизни, совладеетъ ли съ ними человекъ, или въ иномъ мѣстѣ собьется съ дороги, а въ другомъ надѣлаетъ вздору,—это другой вопросъ. Говоря, что у человека никогда не пропадетъ голодь, мы не говоримъ, будутъ ли всегда и для каждаго сѣбѣстные припасы, и притомъ здоровые.

Есть люди, удовлетворяющіеся малымъ, съ бѣдными потребностями, съ узкимъ взглядомъ и ограниченными желаніями. Есть и народы съ небольшимъ горизонтомъ, съ страннымъ воззрѣніемъ, удовлетворяющіеся бѣдно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, безъ сомнѣнія, два народа, нашедшіе наиболѣе соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они такъ неизмѣнно одни и тѣ же.

Европа, кажется намъ, тоже близка къ «насыщенію» и стремится, усталая, осѣсть, скристаллизироваться, найдя свое прочное общественное положеніе въ *мѣщанскомъ устройствѣ*. Ей мѣшаютъ покойно сложиться монархическо-феодалные остатки и завоевательное начало. Мѣщанское устройство представляетъ огромный успѣхъ въ сравненіи съ олигархически-военнымъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но для Европы, и въ особенности для англо-германской, оно представляетъ не только огромный успѣхъ, но и *успѣхъ достаточный*. Голландія опередила, она первая успокоилась до прекращенія исторіи. Прекращеніе роста—начало совершеннотѣи. Жизнь студента полнѣе событий и идетъ гораздо

бурнѣе, чѣмъ трезвая и работающая жизнь отца семейства. Если-бъ падъ Англіей не тяготѣлъ свинцовый щитъ феодальнаго землевладѣнія и она, какъ Уголино, не ступала бы постоянно на своихъ дѣтей, умирающихъ съ голоду; если-бъ она, какъ Голландія, могла достигнуть для всѣхъ благосостоянія мелкихъ лавочниковъ и небогатыхъ хозяевъ средней руки, она успокоилась бы на мѣщанствѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь безъ событій, развлекаемая иногда внѣшними толчками, свелась бы на однообразный круговоротъ, на слегка видоизмѣняющійся *semper idem*. Собирался бы парламентъ, представлялся бы бюджетъ, говорились бы дѣльные рѣчи, улучшались бы формы... И на будущій годъ то же, и черезъ десять лѣтъ то же; это была бы покойная колея взрослога человѣка, его дѣловые будни. Мы и въ естественныхъ явленіяхъ видимъ, какъ начала эксцентричны, а устоявшееся продолженіе идетъ потихоньку, не буйной кометой, описывающей съ распущенной косою свои невѣдомые пути, а тихой планетой, плывущей съ своими сателлитами, въ родѣ фонариковъ, битымъ и перебитымъ путемъ; небольшія отступленія выставляютъ еще больше общій порядокъ... Весна помокрѣе, весна посуше, но послѣ всякой—лѣто, но передъ всякой—зима.

Такъ это, пожалуй, все человѣчество дойдетъ до мѣщанства, да на немъ и застрянетъ?

Не думаю, чтобы все, а нѣкоторыя части навѣрно. Слово «человѣчество»—препротивное, оно не выражаетъ ничего определеннаго, а только къ смутности всѣхъ остальныхъ понятій прибавляетъ еще какого-то пѣгаго полубога. Какое единство разумѣется подъ словомъ «человѣчество»? Развѣ то, которое мы понимаемъ подъ всякимъ суммовымъ названіемъ, въ родѣ икры и т. п. Кто въ мірѣ осмѣлится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинакимъ образомъ ирокеровъ и ирландцевъ, арабовъ и мадьяръ, кафровъ и славянъ? Мы можемъ сказать одно, что нѣкоторымъ народамъ мѣщанское устройство противно, а другіе въ немъ какъ рыба въ водѣ. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русскіе имѣютъ въ себѣ очень мало мѣщанскихъ элементовъ; общественное устройство, въ которомъ имъ было бы привольно, выше того, которое можетъ имъ дать мѣщанство. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что они достигнутъ этого высшаго состоянія, или что они не свернутъ на буржуазную дорогу. Одно стремленіе ничего не обезпечиваетъ, на разницу возможнаго и неминуемаго мы ужасно назираемъ. Недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно знать, какого мы хотимъ и возможно ли его осуществленіе. Возможностей много впереди: народы буржуазные могутъ взять со-

всѣмъ иной полетъ, народы самыя поэтическіе—сдѣлаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнуть, стремленій авортируетъ, развитій отклоняется. Что можетъ быть очевиднѣе, осязаемѣ тѣхъ, не только возможностей, а началъ личной жизни, мысли, энергіи, которыя умираютъ въ каждомъ ребенкѣ. Забудьте, что и эта ранняя смерть дѣтей тоже не имѣетъ въ себѣ ничего неминуемаго; жизнь девяти десятыхъ навѣрное могла бы сохраниться, если-бъ доктора знали медицину и медицина была бы въ самомъ дѣлѣ наукой. На это *вліяніе чловѣка и науки* мы обращаемъ особенное вниманіе, оно чрезвычайно важно.

Забудьте еще посягательство обезьянъ (напр., шимпанзе) на дальнѣйшее умственное развитіе. Оно видно въ ихъ безпокойно озабоченномъ взглядѣ, въ тоскливо грустномъ присматриваніи ко всему, что дѣлается, въ недовѣрчивой и суетливой тревожности и любопытствѣ, которое, съ другой стороны, не даетъ мысли сосредоточиться и постоянно ее разсѣваетъ. Ряды и ряды поколѣній вновь и вновь стремятся къ какому-то разумнѣю, замѣняются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умираютъ,—и такъ прошли десятки тысячъ лѣтъ и пройдутъ еще десятки.

Люди имѣютъ большой шагъ передъ обезьянами; ихъ стремленія не пропадаютъ безслѣдно; они облакаются словомъ, воплощаются въ образъ, остаются въ преданіи и передаются изъ вѣка въ вѣкъ. Каждый чловѣкъ опирается на страшное генеалогическое дерево, котораго корни чуть ли не идутъ до адамова рая; за нами, какъ за прибрежной волной, чувствуется напоръ цѣлаго океана—всмирной исторіи; мысль всѣхъ вѣковъ на сію минуту въ нашемъ мозгу и нѣтъ ея «развѣ него», а съ нею мы можемъ быть властью.

Крайности ни въ комъ нѣтъ, но всякой можетъ быть незамѣнимой дѣйствительностью; передъ каждымъ открытыя двери. *Есть что* сказать чловѣку, пусть говоритъ, слушать его будутъ; мучить его душу убѣжденіе, пусть проповѣдуетъ. Люди не такъ покорны, какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной массой,—ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго фона картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы понимаете, отъ кого и кого зачислить будущность людей, народовъ?

Отъ кого?

Какъ отъ кого?.. да отъ насъ съ вами, напримѣръ. Какъ же послѣ этого намъ сложить руки!

Дуэль ¹⁾.

Въ 1853 году извѣстный коммунистъ Виллихъ познакомилъ меня съ парижскимъ работникомъ *Бартеlemi*. Имя его я зналъ прежде, по июньскому процессу, по приговору и, наконецъ, по его бѣгству изъ Бель-Иля.

Онъ былъ молодъ, невысокаго роста, но мускульно сильнаго сложенія, черные какъ смоль и курчавые волосы придавали ему что-то южное, лице его, слегка отмѣченное оспой, было красиво и рѣзко. Постоянная борьба воспитала въ немъ непреклонную волю и умѣнье управлять ею. Бартеlemi былъ одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ характеровъ, которыхъ мнѣ случилось видѣть. Школьнаго, книжнаго образованія онъ не имѣлъ, кромѣ по своей части: онъ былъ отличнымъ механикомъ.

Жизненная мысль его, страсть всего его существованія была неутомимая, спартаковская жажда возстанія рабочаго класса противъ средняго сословія. Мысль эта у него была неразрывна съ свирѣпымъ желаніемъ истребленія буржуазіи.

Какой комментарий далъ мнѣ этотъ человѣкъ къ ужасамъ 93 и 94 года, къ сентябрьскимъ днямъ, къ той ненависти, съ которой ближайшія партіи уничтожали другъ друга; въ немъ я наглазно видѣлъ, какъ человѣкъ можетъ соединять желаніе крови съ гуманностью въ другихъ отношеніяхъ, даже съ вѣжностью.

«Чтобъ революція въ десятый разъ не была украдена изъ нашихъ рукъ, говорилъ Бартеlemi, надобно дома, въ нашей семьѣ сломить голову злѣйшему врагу. За прилавкомъ, за конторкой мы его всегда найдемъ—въ своемъ станѣ слѣдуетъ его побить!» Въ его листы проскрипціи входила почти вся эмиграція: Викторъ Гюго, Маццини, Викторъ Шельхеръ и Кошутъ. Онъ исклнчалъ очень не многихъ и въ томъ числѣ, я помню, Луи-Блана.

Особымъ, задушевымъ предметомъ его ненависти былъ Ледрю-Ролленъ. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лице Бартеlemi судорожно подергивалось, когда онъ говорилъ объ «этомъ диктаторѣ буржуазіи».

¹⁾ Пол. Звѣзда, томъ VII (часть 2-я). Примѣчаніе заграничнаго изданія.

А говорилъ онъ мастерски, этотъ талантъ становится рѣже и рѣже. Публичныхъ говоруновъ въ Парижѣ и особенно въ Англіи бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевыхъ карандашей, наемные свѣтскіе и духовные ораторы въ паркахъ, всѣ они имѣютъ удивительную способность *проповѣдывать*, но говорить *для комнаты* умѣютъ не многіе.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная въ одну точку, дѣйствовала какъ пламя паяльной трубки. Онъ говорилъ плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выборъ словъ были правильны, чисты и совершенно свободны отъ трехъ проклятій современнаго французскаго языка: революціоннаго жаргона, адвокатско-судебныхъ выраженій и развязности сидѣльцевъ.

Откуда же взялъ этотъ работникъ, воспитанный въ душныхъ мастерскихъ, гдѣ ковали и тянули желѣзо для машинъ, въ душныхъ парижскихъ закоулкахъ, между питейнымъ домомъ и наковальнею, въ тюрьмѣ и на каторжной работѣ,—вѣрное понятіе мѣры и красоты, такта и граціи, понятіе, утраченное буржуазной Франціей? Какъ онъ умѣлъ сохранить естественность языка середь вычурныхъ риторовъ, гасконцевъ революціонной фразы?

Это дѣйствительно задача.

Видно около мастерскихъ вѣетъ воздухъ посвѣжѣе. Впрочемъ, вотъ его жизнь.

Ему не было двадцати лѣтъ, когда онъ замѣшался въ какую-то эмѣту при Людовикѣ Филиппѣ. Жандармъ остановилъ его и, такъ какъ онъ сталъ ему что-то говорить, то жандармъ хватилъ его кулакомъ въ лицо. Бартелеми, котораго держалъ муниципаль, рванулся, но не могъ ничего сдѣлать. Ударъ этотъ пробудилъ тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работникъ всталъ на другой день переродившимся.

Надобно замѣтить, что арестованнаго Бартелеми полиція отпустила, найдя его невиноватымъ. Объ обидѣ, причиненной ему, никто и говорить не хотѣлъ. «Зачѣмъ ходить по улицамъ во время эмѣты! Да и какъ найти теперь жандарма!»

Бартелеми купилъ пистолетъ, зарядилъ его и пошелъ бродить около тѣхъ мѣстъ; побродилъ день, другой, вдругъ на углу стоитъ жандармъ. Бартелеми отвернулся и взвелъ курокъ.

— Вы меня узнали? спросилъ онъ полицейскаго.

— Еще бы нѣтъ.

— Такъ вы помните, какъ вы....?

— Ну, ступайте, ступайте своей дорогой, сказалъ жандармъ.

— Счастливаго и вамъ пути, отвѣчалъ Бартелеми и спустилъ курокъ.

Жандармъ повалился, а Бартелеми пошелъ. Жандармъ былъ смертельно раненъ, но не умеръ.

Бартелеми судили какъ простаго убійцу. Никто не взялъ въ расчетъ величину обиды, особенно по понятіямъ французовъ, невозможность работника послать ему вызовъ, невозможность сдѣлать процессъ. Бартелеми былъ осужденъ на *каторжную работу*. Это былъ третій пансіонъ, въ которомъ онъ воспитывался послѣ кузницы и тюрьмы. При переборѣ дѣлъ министромъ юстиціи Кремье, послѣ февральской революціи, Бартелеми выпустили.

Пришли іюньскіе дни. Бартелеми, принадлежавшій къ горячимъ послѣдователямъ Бланки, былъ схваченъ, геройски защищая баррикаду, и сведенъ въ форты. Однихъ побѣдители разстрѣливали, другими набивали тюльерійскіе подвалы, третьихъ отсылали въ форты и тамъ иногда разстрѣливали, случайно больше, чтобъ очистить мѣсто.

Бартелеми уцѣлѣлъ; въ судѣ онъ и не думалъ оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимаго, чтобъ изъ нея сдѣлать трибуну для обвиненія національной гвардіи. Нѣсколько разъ президентъ приказывалъ ему молчать и, наконецъ, перервалъ его рѣчь, приговоромъ на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лѣтъ (у меня нѣтъ передъ глазами іюньскаго процесса).

Бартелеми былъ съ другими отправленъ въ Belle Isle.

Года черезъ два онъ бѣжалъ оттуда и явился въ Лондонъ съ предложеніемъ ѣхать назадъ и устроить бѣгство шести заключенныхъ. Небольшая сумма денегъ, которую онъ просилъ (тысячъ 6-7 фр.) была ему обѣщана, и онъ, одѣвшись аббатовъ, съ молитвенникомъ въ рукѣ, отправился въ Парижъ, въ Бель-Иль, все устроилъ и возвратился въ Лондонъ за деньгами. Говорятъ, что дѣло не состоялось за споромъ, освободить ли Бланки, или нѣтъ. Сторонники Барбеса и другихъ лучше желали оставить нѣсколько человѣкъ друзей въ тюрьмѣ, чѣмъ освободить одного врага.

Бартелеми уѣхалъ въ Швейцарію. Онъ разошелся со всѣми партіями и отсталъ отъ нихъ; съ ледрю-роллинистами онъ былъ заклятый врагъ, но онъ не былъ другомъ и съ своими; онъ былъ слишкомъ рѣзокъ и угловатъ, крайнія мнѣнія его были непріятны запѣваламъ и отпугивали слабыхъ. Въ Швейцаріи онъ особенно занялся ружейнымъ мастерствомъ. Онъ изобрѣлъ особеннаго устройства ружье, которое заряжалось по мѣрѣ выстрѣловъ и такимъ образомъ давало возможность пустить рядъ пуль въ одну точку, другъ за другомъ.

Въ партіи Ледрю-Роллена находился лихой человѣкъ, бретеръ, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежалъ къ особому типу людей, который часто встрѣчается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими въ деревнѣ; къ нимъ принадлежалъ Денисъ Давыдовъ и его «собутыльникъ» Бурцовъ, Гагаринъ—Адамова головка и секундантъ Ленскаго Зарѣцкій. Въ вульгарной формѣ они встрѣчаются между прусскими «юнкерами» и австрійскимъ казарменнымъ брудерствомъ. Въ Англіи ихъ совсѣмъ нѣтъ, во Франціи они дома, какъ рыба въ водѣ, но рыба съ почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безразсудства, и очень недалгіе. Они всю жизнь живутъ воспоминаніемъ двухъ-трехъ случаевъ, въ которыхъ они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубилъ уши, простояли подъ градомъ пуль. Случается, что они сперва наклеплютъ на себя отважный поступокъ, а потомъ дѣйствительно его сдѣлаютъ, чтобъ подтвердить свои слова. Они смутно понимаютъ, что этотъ задоръ ихъ сила, единственный интересъ, которымъ они могутъ похвастаться; а хвастаться имъ хочется смертельно. При этомъ они часто хорошіе товарищи, особенно въ веселой бесѣдѣ, и до первой размолвки за своихъ стоятъ грудью; и вообще имѣютъ больше военной отваги, чѣмъ гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки въ картахъ и въ жизни, ланскене всякаго отчаяннаго предпріятія, особенно если притомъ можно надѣтъ мундиръ съ генеральскимъ шитьемъ, схватить денегъ, крестовъ, и потомъ снова успокоиться на нѣсколько лѣтъ въ бильярдной или кофейной. А ужъ помогая Наполеону ли въ Страсбургѣ, герцогинѣ ли Берійской въ Блуа, или красной республикѣ въ предмѣстіи Св. Антона,—все равно. Храбрость и удача для нихъ и для всей Франціи покрываютъ все.

Курне началъ свою карьеру во флотѣ во время ссоры Франціи съ Португаліей. Онъ съ нѣсколькими товарищами влѣзъ на португальскій фрегатъ, овладѣлъ экипажемъ и взялъ фрегатъ. Случай этотъ опредѣлилъ и окончилъ дальнѣйшую жизнь Курне. Вся Франція говорила о молодомъ мичманѣ; далѣе онъ не пошелъ и такъ же кончилъ свою карьеру абордажемъ, которымъ началъ ее, какъ если-бъ онъ на немъ былъ убитъ на повалѣ. Изъ флота онъ былъ въ послѣдствіи исключенъ. Въ Европѣ царилъ глухой миръ; Курне поскучалъ, поскучалъ, и сталъ воевать на свой салтыкъ. Онъ говорилъ, что у него было до двадцати дуэлей, положимъ, что ихъ было десять, и этого за глаза довольно, чтобъ его не считать серьезнымъ человѣкомъ.

Какъ онъ попалъ въ красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли онъ во французской эмиграціи не игралъ. Разказывали объ немъ разные анекдоты, какъ онъ въ Бельгіи поколо-

тиль полицейскаго, который хотѣлъ его арестовать и ушелъ отъ него, и другія продѣлки въ томъ же родѣ. Онъ считалъ себя «одной изъ первыхъ шпагъ во Франціи».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненнаго по своему необузданнѣйшимъ самолюбіемъ, столкнувшись съ надменной храбростью Курне, должна была привести къ бѣдствіямъ. Они ревновали другъ друга. Но, принадлежа къ разнымъ кругамъ, къ враждебнымъ партіямъ, они могли всю жизнь не встрѣчаться. Добрые люди братски помогли дѣлу.

Бартелеми имѣлъ на Курне какой-то зубъ за письма, посланныя ему черезъ Курне изъ Франціи, которыя до него не дошли. Очень вѣроятно, что въ этомъ дѣлѣ онъ не былъ виноватъ; вскорѣ къ этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился въ Швейцаріи съ одной актрисой, итальянкой, и былъ съ нею въ связи. «Какая жалость», говорилъ Курне, что этотъ социалистъ изъ социалистовъ пошелъ на содержаніе къ актрисѣ». Пріятели Бартелеми тотчасъ написали ему это. Получивъ письмо, Бартелеми бросилъ свой проектъ ружья и свою актрису и прискакалъ въ Лондонъ.

Мы уже сказали, что онъ былъ знакомъ съ Виллихомъ. Виллихъ былъ человѣкъ съ чистымъ сердцемъ и очень добрый, прусскій артиллерійскій офицеръ; онъ перешелъ на сторону революціи и сдѣлался коммунистомъ. Дрался въ Баденѣ за народъ, начальствуя орудіями во время Геккерова возстанія, и когда все было побито, уѣхалъ въ Англію. Въ Лондонъ онъ явился безъ гроша денегъ, попробовалъ давать уроки математики, нѣмецкаго языка, ему не повезло. Онъ бросилъ учебныя книги и, забывая бывшіе зполеты, геройски сталъ работникомъ. Съ нѣсколькими товарищами они завели мастерскую щеточныхъ издѣлій; ихъ не поддержали. Виллихъ не терялъ надежды ни на возстаніе Германіи, ни на поправку своихъ дѣлъ; однако дѣла не поправлялись и онъ надежду на тевтонскую республику увезъ съ собою въ Нью-Йоркъ, гдѣ получилъ отъ правительства мѣсто землемѣра.

Виллихъ понялъ, что дѣло съ Курне приметъ очень дурной оборотъ и самъ себя предложилъ въ посредники. Бартелеми вполне вѣрилъ Виллиху и поручилъ ему дѣло. Виллихъ отправился къ Курне; твердый, спокойный тонъ Виллиха подѣйствовалъ на «первую шпагу»; онъ объяснилъ исторію писемъ; послѣ, на вопросъ Виллиха, увѣренъ ли онъ, что Бартелеми жилъ на содержаніи у актрисы,—Курне сказалъ ему, что онъ повторилъ слухъ и что жалѣеть объ этомъ.

— Этого, сказалъ Виллихъ, совершенно достаточно, напишите, что вы сказали, на бумагѣ, отдайте мнѣ и я съ искренней радостью пойду домой.

— Пожалуй,—сказаль Курне и взяль перо.

— Такъ это вы будете извиняться передъ какимъ-нибудь Бартелеми, замѣтилъ другой рефюжье, взшедшій въ концѣ разговора.

— Какъ извиняться?—И вы принимаете это за извиненіе?

— За дѣйствіе, сказаль Виллихъ, честнаго человѣка, который, повторивши клевету, жалѣеть объ этомъ.

— Нѣтъ, сказаль Курне, бросая перо, этого я не могу.

— Не сейчасъ же ли вы говорили?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, «что я сказаль это потому, что хотѣль сказать».

— Брависсимо,—воскрикнуль другой рефюжье.

— На васъ, м. г., падеть отвѣтственность за будущія несчастія, сказаль ему Виллихъ и вышелъ вонъ.

Это было вечеромъ; онъ зашелъ ко мнѣ, не выдавшись еще съ Бартелеми; печально ходилъ онъ по комнатѣ, говоря: «теперь дуэль неотвратима, екое несчастіе, что этотъ рефюжье былъ на лицо».

Тутъ не можешь, думаль я: умъ молчить передъ дикимъ разгаромъ страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерій и разныхъ хористовъ въ амфитеатрѣ!..

Черезъ день утромъ я шелъ по Пель-Мелю; Виллихъ скорыми шагами торопился куда-то, я остановилъ его; блѣдный и встревоженный, обернулся онъ ко мнѣ.

— Что?

— Убить на поваль.

— Кто?

— Курне. Я бѣгу къ Луи Бланъ за совѣтомъ, что дѣлать.

— Гдѣ Бартелеми?

— И онъ, и его секундантъ, и секунданты Курне—въ тюрьмѣ; одинъ изъ секундантовъ только не взять; по англійскимъ законамъ, Бартелеми можно повѣсить. Виллихъ сѣлъ на омнибусъ и уѣхаль. Я остался на улицѣ, постояль, постояль, повернулся и пошелъ опять домой.

Часа черезъ два пришелъ Виллихъ. Луи Бланъ приняль, разумѣется, дѣятельное участіе, хотѣль посовѣтоваться съ извѣстными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дѣло такъ, чтобъ слѣдователи не знали, кто стрѣляль и кто былъ свидѣтелемъ. Для этого надобно было, чтобъ обѣ стороны говорили одно и то же. Въ томъ, что англійскій судъ не захочетъ въ дѣлѣ дуэли употреблять полицейскіе уловки, — въ этомъ всѣ были увѣрены.

Надобно было передать это пріятелямъ Курне, но никто изъ знакомыхъ Виллиха не ѣздилъ ни къ нимъ, ни къ Ледрю-Роллену; Виллихъ поэтому отправилъ меня къ Маццини.

Я его засталъ сильно раздраженнымъ.

— Вы вѣрно прѣѣхали,—сказалъ онъ,—по дѣлу этого убійцы?

Я посмотрѣлъ на него, намѣренно помолчалъ и сказалъ:

— По дѣлу *Бартелеми*.

— Вы съ нимъ знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастнаго Курне, были тоже прѣатели и друзья...

— Которые, вѣроятно, не называли его разбойникомъ за то, что онъ былъ на двадцати дуэляхъ, на которыхъ, кажется, *онъ* былъ убитъ.

— Теперь ли поминать объ этомъ?

— Я отвѣчаю.

— Что же, теперь спасти *его* изъ петли?

— Я полагаю, что особеннаго удовольствія никому не будетъ, если повѣсятъ человѣка. Впрочемъ, рѣчь идетъ не о немъ одномъ, а и о секундантахъ Курне.

— Его не повѣсятъ.

— Почему знать,—замѣтилъ хладнокровно молодой англійскій радикалъ, причесанный à la Jesus, молчавшій все время и подтверждавшій слова Маццини головой, дымомъ сигары и какими-то неуловимыми *полифтонгами*, въ которыхъ пять-шесть гласныхъ, сплюснутыхъ вмѣстѣ, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имѣете противъ этого?

— Мы любимъ и уважаемъ законъ.

— Не оттого ли,—замѣтилъ я, придавая добродушный видъ моимъ словамъ,—всѣ народы больше уважаютъ Англiю, чѣмъ любить англичанъ.

— Оеуз?—спросилъ радикалъ, а, можетъ, и отвѣчалъ.

— Въ чемъ дѣло?—перебилъ Маццини.

Я рассказалъ ему.

Они уже сами думали объ этомъ и пришли къ тому же результату.

Процессъ Бартелеми имѣетъ чрезвычайный интересъ. Рѣдко англійскій и французскій характеръ обличались съ такой рѣзкостью, въ такой тѣсной и удобоизмѣримой рамѣ.

Начиная съ мѣста поединка все было нелѣпо: они дрались близъ Виндзора, для этого надобно было по желѣзной дорогѣ (которая *только* идетъ въ Виндзоръ) отѣхать нѣсколько десятковъ миль *отъ границы внутрь* королевства,—въ то время какъ вообще люди дерутся на границѣ, близъ кораблей, лодокъ и пр. Выборъ Виндзора, сверхъ того, самъ по себѣ былъ никуда негоденъ. Королевскій дворецъ, любимая резиденція Викторiи, разумѣется, въ полицейскомъ отношенiи, находится подъ двойнымъ надзоромъ. Я полагаю, что мѣсто это было выбрано очень просто потому,

что французы изъ всѣхъ окрестностей Лондона только и знаютъ: *Ришмон'* и *Вансоръ*.

Секунданты взяли на всякій случай рапиры съ отточенными концами, хотя и знали, что противники будутъ стрѣляться. Когда Курне палъ, всѣ, за исключеніемъ одного секунданта, который уѣхалъ особо и вслѣдствіе того спокойно пробрался въ Бельгію, поѣхали вмѣстѣ, не забывая съ собою взять рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцію въ Лондонѣ, телеграфъ уже давно извѣстилъ полицію. Полиціи искать было нечего: «четыре человѣка, съ бородами и усами, въ фуражкахъ, говорящіе по-французски и съ завернутыми рапирами», были взяты, выходя изъ вагоновъ.

Какъ же все это могло случиться? Не намъ, кажется, учить французовъ прятаться отъ полиціи. Злѣе, расторопнѣе, безнравственнѣе и неутомимѣе въ своемъ усердіи нѣтъ полиціи въ мірѣ, какъ французская. Во время Людовика Филиппа *ищущій* и *искомый* играли мастерски свою партію, каждый ходъ былъ разсчитанъ (теперь это ненужно, полиція впередъ говорить *шахъ и матъ*), но, вѣдь, время Людовика Филиппа не за горами. Какимъ же образомъ такой умный человѣкъ, какъ Бартеlemi, и такіе бывалые люди, какъ секунданты Курне, надѣлали столько промаховъ?

Причина одна и та же: совершенное незнаніе Англіи и англійскихъ законовъ. Они слышали, что никого арестовать нельзя безъ «уарандъ»; они слышали о какомъ-то «абеасъ корпюсъ», по которому слѣдуетъ выпустить человѣка по требованію адвоката, и полагали, что они доѣдутъ домой, переодѣнутся и будутъ въ Бельгіи, когда утромъ за ними придетъ одураченный констебль, *непретивно* съ палочкой (какъ ихъ описываютъ во французскихъ романахъ), и скажетъ, увидя, что ихъ нѣтъ, goddamn! Несмотря на то, что ни констебли палочекъ не носятъ, ни англичане не говорятъ god-damn!

Арестованныхъ посадили въ Surrey'скую тюрьму. Начались посѣщенія, поѣхали дамы, поѣхали пріятели убитаго Курне. Полиція, разумѣется, тотчасъ догадалась, въ чемъ дѣло и какъ оно было; впрочемъ, этого нельзя ей поставить въ заслугу: пріятели и непріятели Бартеlemi и Курне кричали въ трактирахъ и public-гаузахъ о всѣхъ подробностяхъ дуэли, разумѣется, прибавляя и и такія, которыхъ вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиція *не хотѣла* знать, и потому, когда одни посѣтители спрашивали позволеніе видѣть секунданта «Бароне», другіе секунданта Бартеlemi, полицейскій офицеръ рѣшилъ имъ сказать: «Гг., мы вовсе не знаемъ, кто изъ нихъ секундантъ, кто виноватый, слѣдствіе еще не открыло всѣхъ обстоятельствъ дѣла,

называйте, пожалуйста, знакомыхъ вашихъ по именамъ». Первый урокъ!

Наконецъ, судебный кругъ дошелъ до Surree, назначенъ былъ день, въ который lord-chief-justice Кембель будетъ судить дѣло о неизвѣстно кѣмъ убитомъ французѣ Курне и прикосновенныхъ къ его убійству лицахъ.

Я тогда жилъ возлѣ Primrose-Hill; часовъ въ семь холодно-туманнаго февральскаго утра вышелъ я въ Режентъ-Паркъ, чтобы, пройдя его, отправиться на желѣзную дорогу.

День этотъ остался очень рельефно въ моей памяти. Отъ тумана, покрывавшаго паркъ, и бѣлыхъ лебедей, сонно плывшихъ по водѣ, подернутой искрасна-желтымъ дымомъ, до той минуты, когда далеко за полночь я сидѣлъ съ однимъ lawyer'омъ у Вери на Режентъ-стритъ и пилъ шампанское за здоровье Англии,—все какъ на блюдечкѣ.

Я англійскаго суда не видалъ прежде; комизмъ средневѣковой mise en scène будить въ насъ больше воспоминаній оперы буффъ, чѣмъ почтенной традиціи, но это можно забыть въ этотъ день.

Около десяти часовъ передъ гостиницею, гдѣ стоялъ лордъ Кембель, явились первыя маски, герольды съ двумя трубачами, возвѣстившіе, что лордъ Кембель въ открытомъ судѣ будетъ въ 10 часовъ судить такое-то дѣло. Мы бросились къ дверямъ судебной залы, которая была въ нѣсколькихъ шагахъ; между тѣмъ черезъ площадь двигался и лордъ Кембель въ золоченой каретѣ, въ парикѣ, который только уступалъ въ величинѣ и красотѣ парикау его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пѣшкомъ челоуѣкъ двадцать атторнеевъ, солиситоровъ, подобравъ мантии, безъ шляпъ и въ шерстяныхъ парикахъ, намѣренно сдѣланныхъ какъ можно менѣе похожими на челоуѣческіе волосы. Въ дверяхъ я чуть было, вмѣсто суда чифъ-джустиса Кембеля надъ Бартелеми, не попалъ на судъ, который Богъ держалъ надъ Курне.

Въ самыхъ дверяхъ масса народа, вытѣсняемая полицейскими изъ залы, и нечелоуѣческій напоръ сзади произвели остановку: впередъ нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейскимъ надоѣло работать по мелочи, они схватились за руки и разомъ, дружно пошли на приступъ,—передній рядъ меня такъ прижалъ, что дыханіе сперлось, еще и еще храбрый напоръ осаждающихъ, и мы вдругъ очутились вытѣсненными, выжатыми, выброшенными на десять шаговъ далѣе двери на улицу.

Если-бъ не знакомый адвокатъ, мы бы совсѣмъ не попали, зала была набита, онъ насъ провелъ особыми дверями, и мы, наконецъ, усѣлись, отирая потъ и справляясь, дѣлы ли часы, деньги и пр.

Замѣчательная вещь, что нигдѣ толпа не бываетъ многочисленнѣе, плотнѣе, страшнѣе, какъ въ Лондонѣ, а дѣлать «кѣ» ни въ какомъ случаѣ не умѣетъ; англичане всегда берутъ своимъ национальнымъ упорствомъ, даютъ два часа, что-нибудь да продавятъ. Меня это много разъ дивило при входѣ въ театры: если-бъ люди шли другъ за другомъ, они навѣрное вошли бы въ полчаса, но такъ какъ они прутъ всей массою, то множество переднихъ пробиваются по правой и лѣвой сторонѣ дверей, тутъ ими овладѣваетъ какое-то сосредоточенное ожесточеніе и они начинаютъ давить съ боковъ медленно двигающуюся среднюю струю безъ всякой пользы для себя, но какъ бы вымѣщая на ихъ бокахъ ихъ счастье.

Стучать въ двери. Какой-то господинъ, тоже въ маскарадномъ платьѣ, кричитъ, кто тамъ?—«Судъ»,—отвѣчаютъ съ той стороны; отворяются двери и является Кембель въ шубѣ и въ какомъ-то женскомъ плафрокѣ; онъ поклонился на всѣ четыре стороны и объявилъ, что судъ открытъ.

Мнѣніе о дѣлѣ Бартелеми, составленное судомъ, т. е., Кембелемъ, было ясно съ начала до конца, и онъ его выдержалъ, несмотря на всѣ усилія французовъ сбить его съ дороги и ухудшить. Была дуэль. Одинъ убить. Оба—французы, рефюжье, имѣющіе иныя понятія о чести, чѣмъ мы; кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, разобрать трудно. Одинъ сошелъ съ баррикады, другой бретеръ. Намъ нельзя оставить это безнаказаннымъ, но не слѣдуетъ всею силою англійскихъ законовъ побивать иностранцевъ, тѣмъ больше, что всѣ они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому, кто убійца, мы не будемъ добиваться,—все вѣроятіе, что убійца тотъ изъ нихъ, который бѣжалъ въ Бельгію; подсудимыхъ мы обвинимъ въ участіи, и спросимъ присяжныхъ, виноваты ли они въ manslaughter или нѣтъ? Обвиненные присяжными,—они въ нашихъ рукахъ; мы приговоримъ ихъ къ одному изъ наименьшихъ наказаній, и покончимъ дѣло. Оправдаютъ ихъ присяжные,—Богъ съ ними совѣтъ, пусть идутъ на всѣ четыре стороны.

Все это французамъ обѣихъ партій было ножъ острый!

Сторонники Курне хотѣли воспользоваться случаемъ, чтобъ потерять въ мнѣніи суда Бартелеми, и, не называя его прямо, указать на него, какъ на убійцу Курне.

Нѣсколько человѣкъ друзей Бартелеми и самъ онъ домогались покрыть презрѣніемъ и стыдомъ Бароне и компанію странной подробностью, которая открылась въ полицейскомъ слѣдствіи. Пистолеты были взяты у ружейника, послѣ дуэли ему ихъ прислали. Одинъ пистолетъ былъ заряженъ. Когда началось дѣло, ружейникъ явился съ пистолетомъ и съ показаніемъ, что подѣ

пулей и порохомъ лежала небольшая тряпочка, такъ что выстрѣлъ былъ невозможенъ.

Дуэль шла такъ: Курне выстрѣлилъ въ Бартелеми и не попалъ. У Бартелеми капсюль исправно шелкнулъ, но выстрѣла не было, ему дали другой капсюль,—та же исторія. Тогда Бартелеми бросилъ пистолеть и предложилъ Курне драться на рапирахъ. Курне не согласился; рѣшились еще разъ стрѣлять, но Бартелеми потребовалъ другой пистолеть, на что Курне тотчасъ согласился. Пистолеть былъ поданъ, раздался выстрѣлъ и Курне упалъ мертвый.

Стало быть, пистолеть, возвратившійся къ ружейнику заряженнымъ, былъ тотъ самый, который былъ въ рукахъ Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты досталъ пріятель Курне, Пардигонъ, нѣкогда участвовавшій въ *Voix du peuple* и страшно изуродованный въ июньскіе дни ¹⁾.

Если-бъ можно было доказать, что тряпка была положена съ цѣлью, т. е., что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позоромъ и погублены на вѣки вѣковъ.

За такой пріятный результатъ Бартелеми охотно пошелъ бы на десять лѣтъ въ каторжную работу или въ депортацію.

По слѣдствію оказалось, что лоскутокъ, вынутый изъ пистолета, дѣйствительно принадлежалъ Пардигону, онъ былъ вырванъ изъ тряпки, которой онъ обтиралъ лаковые сапоги. Пардигонъ говорилъ, что онъ чистилъ дуло, надѣвъ тряпочку на карандашъ, и что, можегь, вертѣвши ею, отрѣзалъ лоскутокъ; но друзья

¹⁾ Пардигонъ, схваченный въ июньскіе дни, былъ брошенъ въ тюльерійскій подвалъ; тамъ находилось тысячъ до пяти человекъ. Тутъ были холерные, раненые, умиравшіе. Когда правительство прислало Корменена освидѣтельствовать положеніе ихъ, то, отворивши двери, онъ и доктора отпирянули отъ удушающей заразной вонн. Къ окошечкамъ *sourcil* было запрещено подходить. Пардигонъ, изнемогая отъ духоты, поднялъ голову, чтобы подышать; это замѣтилъ часовой изъ національной гвардіи и сказалъ ему, чтобъ онъ отошелъ или онъ выстрѣлитъ. Пардигонъ медлил, тогда почтенный буржуа опустилъ дуло и выстрѣлилъ въ него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, онъ упалъ. Вечеромъ часть арестантовъ повели въ форты, въ томъ числѣ подняли раненаго Пардигона, связали ему руки и повели. Тутъ извѣстная тревога на Карусельской площади, въ которой національная гвардія со страха стрѣляла другъ въ друга; раненый Пардигонъ выбился изъ силъ и упалъ; его бросили на полъ въ полицейскую коръ-де-гардію, и онъ остался съ связанными руками, лежа на спинѣ и *заллебяваясь* своей кровью изъ раны. Такъ его засталъ какой-то политехникъ, разругавшій этихъ каннибаловъ и заставившій ихъ снести больного въ больницу. Помните, я этотъ случай расказалъ въ „Письмахъ изъ Италіи и Франціи“... но это не мѣшаетъ протверживать, чтобы не забывать, что такое образованная парижская буржуазія.

Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нѣту городковъ отъ складокъ...

Съ своей стороны, противники Бартелеми приготовили фалангу свидѣтелей à discharge въ пользу Бароне и его товарищей.

Политика ихъ состояла въ томъ, что атторней со стороны Бароне будетъ ихъ спрашивать объ антецедентахъ Курне и прочихъ. Они превознесутъ ихъ и будутъ молчать о Бартелеми и его секундантахъ. Такое единодушное умалчиваніе со стороны соотечественниковъ и «корелижіонеровъ» должно было, по ихъ мнѣнію, сильно поднять въ глазахъ Кембеля и публики однихъ и сильно уронить другихъ. Призывъ свидѣтелей стоитъ денегъ, да и, сверхъ того, у Бартелеми не было цѣлой шеренги друзей, которымъ онъ могъ бы отдать приказаніе говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при слѣдствіи, умѣли краснорѣчиво молчать.

Одного изъ арестованныхъ свидѣтелей, Бароне, слѣдопроизводитель спросилъ, знаетъ ли онъ, кто убилъ Курне, или кого онъ подозреваетъ. Бароне отвѣчалъ, что никакія угрозы, никакія наказанія не заставятъ его назвать человѣка, лишившаго жизни Курне, несмотря на то, что покойникъ былъ лучший другъ его. «Если бы я долженъ былъ десятокъ лѣтъ влачить цѣпи въ душевной тюрьмѣ, то я и тогда не сказалъ бы».

Солиситоръ перебилъ его хладнокровнымъ замѣчаніемъ: «Да, это ваше право, впрочемъ вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете».

И послѣ всего этого они хотѣли перехитрить—кого же?—*лорда Кембеля?* Я желалъ бы приложить его портретъ для того, чтобы показать всю мѣру нелѣпости этой попытки. Старика лорда Кембеля, посѣдѣвшаго и сморщившагося на своемъ судейскомъ креслѣ, читая равнодушнымъ голосомъ, съ шотландскимъ акцентомъ, страшнѣйшія evidences и распутывая самыя сложныя дѣла съ осязательной ясностью,—его хотѣла перехитрить кучка парижскихъ клубистовъ... Лорда Кембеля, который никогда не поднимаетъ голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяетъ себѣ въ самыхъ смѣшныхъ или сильныхъ минутахъ высморкаться... Лорда Кембеля, съ лицомъ ворчуньи-старухи, въ которомъ, вглядываясь, вы ясно видите известную метаморфозу, такъ неприятно удивившую дѣвочку *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волкъ, въ парикѣ, женскомъ робронѣ и кацавейкѣ, обшитой мѣхомъ.

Зато его лордшипство не осталось въ долгу.

Послѣ долгихъ дискусій о тряпочкѣ и послѣ показаній Пардигона, защитники Бароне начали вызывать свидѣтелей.

Во-первыхъ, явился старикъ рефюжье, товарищъ Барбеса и Бланки. Онъ присягнулъ и вытянулъ шею.

— Давно ли вы, спросилъ одинъ изъ атторнеевъ, знакомы съ Курне?

— Граждане, сказалъ рефюжье по-французски, съ молодыхъ лѣтъ моихъ преданный одному дѣлу, я посвятилъ жизнь свою священному дѣлу свободы и равенства... и пошелъ было въ этотъ родъ.

Но атторней остановилъ его и, обращаясь къ переводчику, замѣтилъ: свидѣтель, кажется, не понялъ вопроса, переведите его на французскій.

За нимъ слѣдовалъ другой. Когда пять-шесть французовъ, съ бородами, идущими въ рюмочку, и плѣшивыхъ, съ огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконецъ, съ волосами, падающими на плечи и въ красныхъ шейныхъ платкахъ, являлись одинъ за другимъ, чтобъ сказать вариациі на слѣдующую тему: «Курне былъ челоуѣкъ, котораго достоинства превышали добродѣтели, а добродѣтели равнялись достоинствамъ: онъ былъ украшеніе эмиграціи, честь партіи, жена его неутѣшна, а друзья утѣшаются только тѣмъ, что остались въ живыхъ такіе люди, какъ Бароне и его товарищи».

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, онъ французскій рефюжье... видаль, но не знаю ничего о немъ; при этомъ свидѣтель чмокалъ по-французски ртомъ.

— Свидѣтеля такого-то... сказалъ атторней.

— Позвольте, замѣтила бабушка Кембель голосомъ мягкаго участія, не беспокойте ихъ больше, это множество свидѣтелей съ пользоу покойнаго Курне и подсудимаго Бароне намъ кажется излишнимъ и вреднымъ, мы не считаемъ ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы ихъ честность и порядочное поведеніе слѣдовало доказывать съ такимъ упорствомъ. Сверхъ того, Курне умеръ, и намъ вовсе ненужно ничего знать о немъ. мы призваны судить одно дѣло о его убіеніи; все, идущее къ этому преступленію, для насъ важно, а событія прошлой жизни подсудимыхъ, которыхъ мы равно считаемъ весьма порядочными джентельменами, намъ ненужно знать. Я, съ своей стороны, не имѣю никакихъ подозрѣній насчетъ г. Бароне.

... А на что у тебя, бабушка, такіе хитрые, да смѣющіеся глаза?

— На то, что ртомъ я по моему сану не могу смѣяться надъ вами, милые внучата, а потому посмѣюсь глазами.

Разумѣется, что послѣ этого свидѣтелей съ прической внизу и съ прической наверху, съ военнымъ видомъ и съ кашне всѣхъ семи цвѣтовъ призмы, отпустили, не слушавши.

Затѣмъ дѣло пошло быстро.

Одинъ изъ защитниковъ, представляя присяжнымъ, что подданные иностранцы, совершенно не знающіе англійскихъ законовъ, заслуживаютъ всякаго снисхожденія, прибавилъ: «Представьте себѣ, гг. присяжные, г. Бароне такъ мало зналъ Англію, то на вопросъ, знаете ли вы, кто убилъ Курне, отвѣчалъ, что сли-бъ его въ цѣпяхъ посадили лѣтъ на десять въ тюремные клѣпы, то онъ и тогда бы не сказалъ имени. Вы видите, что Бароне еще имѣлъ объ Англіи какія-то средневѣковыя понятія, въ могъ думать, что за его умалчиваніе его можно ковать въ ѣпи, бросить на десять лѣтъ въ тюрьму. Надѣюсь, сказалъ онъ, е удерживая смѣха, что несчастное событіе, по которому г. Бароне былъ нѣсколько мѣсяцевъ лишенъ свободы, убѣдило его, что юрмы въ Англіи нѣсколько улучшились съ среднихъ вѣковъ. врядъ ли хуже тюремъ въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. окажемте же подсудимымъ, что и судъ нашъ также человѣ- ественъ и справедливъ» и пр.

Присяжные, составленные на половину изъ иностранцевъ, ашли подсудимыхъ «виновными».

Тогда Кембель обратился къ подсудимымъ, напомнилъ имъ трогость англійскихъ законовъ, напомнилъ, что иностранецъ, тупая на англійскую землю, пользуется всѣми правами англичанина и за это долженъ нести и равную отвѣтственность передъ закономъ. Потомъ перешелъ къ разницѣ нравовъ и сказалъ, аконецъ, что онъ не считалъ бы справедливымъ наказать ихъ ю всей строгости законовъ, а потому приговариваетъ ихъ *къ вумьсячному тюремному заключенію*.

Публика, народъ, адвокаты и мы всѣ были довольны; ждали ѣзкаго наказанія, но не смѣли думать о меньшемъ *minimum'ѣ*, какъ три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошелъ къ Бартелеми, онъ мрачно сжалъ мнѣ руку и казалъ:

— Пардигонъ - то остался чистъ, Бароне... и онъ пожалъ слечами.

Когда я выходилъ изъ залы, я встрѣтилъ моего знакомаго, lawyer'a, онъ стоялъ съ Бароне.

— Лучше бы меня, говорилъ послѣдній, на годъ посадили, чѣмъ смѣшать съ этимъ злодѣемъ Бартелеми.

Судъ кончился часовъ около десяти вечеромъ. Когда мы пришли на желѣзную дорогу, мы застали въ амбаркадерѣ толпы французовъ и англичанъ, громко и шумно разсуждавшихъ о дѣлѣ. Большинство французовъ было довольно приговоромъ, хотя и

чувствовало, что побѣда не по ту сторону Ламанша. Въ вагонахъ французы затагнули марсельезу.

— Господа, сказалъ я, справедливость прежде всего; на этотъ разъ споемте-ка Rule Britannia!

И Rule Britannia запѣли!

Бартеlemi.

Прошло два года, Бартеlemi снова стоялъ передъ лордомъ Кембелемъ, и на этотъ разъ угрюмый старикъ, накрывшись чернымъ клобукомъ, произнесъ надъ нимъ иной приговоръ.

Въ 1854 году Бартеlemi еще больше отдалился отъ всѣхъ; вѣчно чѣмъ-то занятый, онъ мало показывался, готовилъ что-то втиши; люди, жившіе съ нимъ вмѣстѣ, знали не больше другихъ. Я его видалъ изрѣдка; онъ всегда мнѣ показывалъ большое сочувствіе и довѣріе, но ничего особеннаго не говорилъ.

Вдругъ разнесся слухъ о двойномъ убійствѣ: Бартеlemi убилъ какого-то мелкаго неизвѣстнаго англійскаго купца и потомъ полицейскаго агента, который хотѣлъ его арестовать. Объясненія, ключа—никакого; Бартеlemi молчалъ передъ судьями, молчалъ въ Нью-Гетъ. Онъ съ самаго начала признался въ убійствѣ полицейскаго: за это его можно было приговорить къ смерной казни, а потому онъ остановился на признаніи, защищая, такъ сказать, *свое право* быть повѣшеннымъ за послѣднее преступленіе, не говоря о первомъ.

Вотъ что мы узнали мало-по-малу. Бартеlemi собрался ѣхать въ Голландію. Въ дорожномъ платьѣ, съ визированнымъ пассомъ въ карманѣ, съ револьверомъ въ другомъ, въ сопровожденіи женщины, съ которой онъ жилъ, Бартеlemi отправился въ десять часовъ вечера къ англичанину, фабриканту содовой воды. Когда онъ постучался, горничная отворила ему дверь; хозяинъ пригласилъ ихъ въ парлоръ и, вслѣдъ за тѣмъ, пошелъ съ Бартеlemi въ свою комнату.

Горничная слышала, какъ разговоръ становился крупнѣе, какъ онъ перешелъ въ брань; вслѣдъ за тѣмъ ея господинъ отворилъ дверь и пхнулъ Бартеlemi; тогда Бартеlemi вынулъ изъ кармана пистолетъ и выстрѣлилъ въ него. Купецъ упалъ мертвый. Бартеlemi бросился вонъ; испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливѣе. Полицейскій агентъ, слышавшій выстрѣлъ, остановилъ Бартеlemi на улицѣ; онъ грозилъ ему пистолетомъ, полицейскій не пускалъ. Бартеlemi выстрѣлилъ... На этотъ разъ больше, чѣмъ вѣроятно, что онъ не хотѣлъ убить

агента, а только пострадать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолетъ, на такомъ близкомъ разстояніи, онъ его смертельно ранилъ. Бартелеми пустился бѣжать, но полицейскіе уже замѣтили его, и онъ былъ схваченъ.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это былъ просто актъ разбоя, что Бартелеми хотѣлъ ограбить англичанина. Но англичанинъ вовсе не былъ богатъ. Безъ полнаго помѣшательства трудно предположить, чтобъ человѣкъ пошелъ на открытый разбой въ Лондонѣ, въ одномъ изъ населеннѣйшихъ кварталовъ, въ знакомый домъ, часовъ въ десять вечера, съ женщиной,— и все это, чтобъ украсть какихъ-нибудь сто фунтовъ (что-то такое было найдено въ комодѣ убитаго).

Бартелеми, за нѣсколько мѣсяцевъ до этого, завелъ какую-то мастерскую крашенныхъ стеколъ съ узорами, арабесками и надписями по особому способу. Онъ на привилегію истратилъ фунтовъ до 60; фунтовъ 15 не достало, онъ попросилъ у меня займа и очень аккуратно отдалъ. Ясно, что тутъ было что-то важнѣе простого воровства. Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, мономанія остались. Что онъ ѣхалъ въ Голландію только для того, чтобы оттуда пробраться въ Парижъ,— это знали многіе.

Едва три-четыре человѣка остановились въ раздумьи передъ этимъ кровавымъ дѣломъ; остальные всѣ испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повѣшеннымъ въ Англіи не респектабельно; имѣть связи съ человѣкомъ, судимымъ за убійство,— shocking; ближайшіе друзья его отшарахнулись.

Я тогда жилъ въ Твикнемѣ. Прихожу разъ домой вечеромъ, меня ждутъ два рефюжъе:

— Мы къ вамъ, говорятъ они, пріѣхали, чтобъ васъ удостовѣрить, что мы ни малѣйшаго участія не имѣли въ страшномъ дѣлѣ Бартелеми; у насъ была общая работа, мало ли съ кѣмъ приходится работать. Теперь скажутъ... подумаютъ...

— Да неужели вы за этимъ пріѣхали изъ Лондона въ Твикнемъ?—спросилъ я.

— Ваше мнѣніе намъ очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я самъ былъ знакомъ съ Бартелеми, и хуже васъ, потому что никакой общей работы съ нимъ не имѣлъ; но я не отрекаюсь отъ него. Я не знаю дѣла, судъ и осужденіе предоставляю лорду Кембелю, а самъ плачу о томъ, что такая молодая и богатая сила, такой талантъ, такъ воспитался горькой борьбой и средой, въ которой жилъ, что въ пущемъ цвѣтѣ лѣтъ его жизнь потухаетъ подъ рукою палача.

Поведеніе его въ тюрьмѣ поразило англичанъ: ровное, покойное, печальное безъ отчаянія, твердое безъ jactance. Онъ зналъ, что для него все кончено, и съ тѣмъ же непоколебимымъ спокой-

ствием выслушалъ приговоръ, съ которымъ нѣкогда стоялъ подъ градомъ пуль на баррикадахъ.

Онъ писалъ къ своему отцу и къ дѣвухѣ, которую любилъ. Письмо къ отцу я читалъ; ни одной фразы, величайшая простота, онъ кротко утѣшаетъ старика, какъ будто рѣчь не о немъ самомъ.

Католическій священникъ, который ех officio ходилъ къ нему въ тюрьму, человѣкъ умный и добрый, принялъ въ немъ большое участіе и даже просилъ Пальмерстона о перемѣнѣ наказанія, но Пальмерстонъ отказалъ. Разговоры его съ Бартелеми были тихи и исполнены гуманности съ обѣихъ сторонъ. Бартелеми писалъ ему: «Много, много благодаренъ я вамъ за ваши добрыя слова, за ваши утѣшенія. Если-бъ я могъ обратиться въ вѣрующаго, то, конечно, одни вы могли бы обратиться ко мнѣ; но что же дѣлать,—у меня нѣтъ вѣры!» Послѣ его смерти священникъ писалъ одной знакомой мнѣ дамѣ: «Какой человѣкъ былъ этотъ несчастный Бартелеми! если-бъ онъ дольше прожилъ, можетъ, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душѣ!»

Тѣмъ болѣе останавливаюсь я на этомъ случаѣ, что «Times» со злобой рассказалъ насмѣшку Бартелеми надъ шерифомъ.

За нѣсколько часовъ до казни, одинъ изъ шерифовъ, узнавъ, что Бартелеми отказался отъ духовной помощи, счелъ себя обязаннымъ обратиться его на путь спасенія и началъ ему пороть ту шістическую дичь, которую печатаютъ въ англійскихъ грошевыхъ трактатахъ, раздаваемыхъ даромъ на перекресткахъ. Бартелеми надоѣло увѣщаніе шерифа. Апостоль съ золотой цѣпью замѣтилъ это и, принявъ торжественный видъ, сказалъ ему. «Подумайте, молодой человѣкъ, черезъ нѣсколько часовъ вы будете не мнѣ отвѣчать, а Богу».

Но не одинъ апостольствующій шерифъ мѣшалъ Бартелеми умереть въ томъ серьезномъ и нервно поднятомъ состояніи, котораго онъ искалъ, которое такъ естественно искать въ послѣдніе часы жизни.

Приговоръ былъ прочтенъ. Бартелеми замѣтилъ кому-то изъ друзей, что, уже если нужно умереть, онъ предпочелъ бы тихо, безъ свидѣтелей, потухнуть въ тюрьмѣ, чѣмъ всенародно, на площади, погибнуть отъ руки палача. «Ничего нѣтъ легче: завтра, послѣ завтра, я тебѣ принесу стрихнина». Мало одного, двое взялись за дѣло. Онъ тогда уже содержался какъ осужденный, т. е., очень строго; тѣмъ не меньше, черезъ нѣсколько дней, друзья достали стрихнинъ и передали ему въ бѣльѣ. Оставалось убѣдиться, что онъ нашелъ. Убѣдились и въ этомъ...

Боясь отвѣтственности, одинъ изъ нихъ, на котораго могло пасть подозрѣніе, хотѣлъ на время покинуть Англію. Онъ попро-

силъ у меня нѣсколько фунтовъ на дорогу; я былъ согласенъ ихъ дать. Что кажется проще этого? Но я расскажу это ничтожное дѣло для того, чтобъ показать, какимъ образомъ всѣ тайные заговоры французовъ открываются, какимъ образомъ у нихъ во всякомъ дѣлѣ любовью къ роскошной *mise en scène* бездна постороннихъ лицъ компрометируется.

Вечеромъ въ воскресенье у меня были, по обыкновенію, нѣсколько человѣкъ, польскихъ, итальянскихъ и другихъ рефюжѣ. Въ этотъ день были и дамы. Мы очень поздно сѣли обѣдать, часовъ въ восемь. Часовъ въ девять вошелъ одинъ близкій знакомый. Онъ ходилъ ко мнѣ часто, и потому его появленіе не могло броситься въ глаза; но онъ такъ ясно выразилъ всѣмъ лицамъ: «Я умалчиваю!» что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь съѣсть, или рюмку вина? спросилъ я.

— Нѣтъ, сказалъ, опускаясь на стулъ, сосудъ, отяжелѣвшій отъ тайны.

Послѣ обѣда онъ при всѣхъ вызвалъ меня въ другую комнату и, сказавши, что Бартеlemi досталъ ядъ (новость, которую я уже слышалъ), передалъ мнѣ просьбу о ссудѣ деньгами отъ жаждающаго.

— Съ большимъ удовольствіемъ, я сейчасъ принесу, сказалъ я.

— Нѣтъ, я ночую въ Твикнемъ и завтра утромъ еще увижусь съ вами. Мнѣ ненужно вамъ говорить, васъ просить, чтобъ вы одинъ человѣкъ...

Я улыбнулся.

Когда я вошелъ опять въ столовую, одна молодая дѣвушка спросила меня: «Вѣрно онъ говорилъ о Бартеlemi?»...

На другой день, часовъ въ восемь утра, вошелъ Франсуа и сказалъ, что какой-то французъ, котораго онъ прежде не видѣлъ, требуетъ непременно меня видѣть.

Это былъ тотъ самый пріятель Бартеlemi, который хотѣлъ незамѣтно уѣхать. Я набросилъ на себя пальто и вышелъ въ садъ, гдѣ онъ меня дождался. Тамъ я встрѣтилъ болѣзненнаго, ужасно исхудалаго, черноволосаго француза (я послѣ узналъ, что онъ годы сидѣлъ въ Бель-Илѣ и потомъ *à la lettre* умиралъ съ голоду въ Лондонѣ). На немъ было потертое пальто, на которомъ бы никто не обратилъ вниманія; но дорожный картузъ и большой дорожный шарфъ, обмотанный вокругъ шеи, невольно остановили бы на себѣ глаза въ Москвѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ.

— Что случилось?

— Былъ у васъ такой-то?

— Онъ и теперь здѣсь.

- Говорилъ о деньгахъ?
- Это все кончено,—деньги готовы.
- Я, право, очень благодаренъ.
- Когда вы ѣдете?
- Сегодня или завтра.

Къ концу разговора подошълъ и нашъ общій знакомый. Когда путешественникъ ушелъ:

— Скажите, пожалуйста, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ? — спросилъ я, оставшись съ нимъ наединѣ.

— За деньгами.

— Да, вѣдь, вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотѣлось съ вами познакомиться; онъ спрашивалъ меня, пріятно ли вамъ будетъ; что же мнѣ было сказать?

— Безъ сомнѣнія, очень; только я не знаю, хорошо ли онъ выбралъ время.

— А развѣ онъ вамъ помѣшалъ?

— Нѣтъ; а какъ бы полиція ему не помѣшала выѣхать...

По счастью, этого не случилось. Въ то время, какъ онъ уѣзжалъ, его товарищъ усомнился въ ядѣ, который они доставили; подумалъ - подумалъ и далъ остатокъ его собакѣ. Прошелъ день, собака жива; прошелъ другой—жива. Тогда, испуганный, онъ бросился въ Нью-Гетъ, добился свиданья съ Бартелеми черезъ рѣшетку и, улучшивъ минуту, шепнулъ ему:

— У тебя?

— Да, да!

— Вотъ видишь, у меня большое сомнѣніе. Ты лучше не принимай: я пробовалъ надъ собакой, никакого дѣйствія не было!

Бартелеми опустилъ голову и потомъ, поднявши ее съ глазами, полными слезъ, сказалъ:

— Что же вы это надо мной дѣлаете!

— Мы достанемъ другого.

— Не надобно — отвѣтилъ Бартелеми — пусть совершится судьба.

И съ той минуты сталъ готовиться къ смерти, не думалъ объ ядѣ и писалъ *какой-то мемуаръ, котораго не выдали* послѣ его смерти другу, которому онъ его завѣщалъ (тому самому, который уѣзжалъ).

Девятнадцатаго января, въ субботу, мы узнали о посѣщеніи священникомъ Пальмерстона и его отказѣ.

Тяжелое воскресенье слѣдовало за этимъ днемъ. Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался одинъ. Легъ спать, уснулъ и тотчасъ проснулся. Итакъ, черезъ 7—6—5 часовъ, его, исполненнаго силы, молодости, страстей, совершенно здороваго,

выведутъ на площадь и убьютъ, безъ жалости убьютъ, безъ удовольствія и озлобленія, а еще съ какимъ-то фарисейскимъ состраданіемъ!.. На церковной башнѣ начало бить семь часовъ. *Теперь* двинулось шествіе, и Калькрафтъ налицо. Послужили ли бѣдному Бартелеми его стальные нервы? У меня стучалъ зубъ объ зубъ.

- Въ 11 утра взошелъ Д.
— Кончено? спросилъ я.
— Кончено.
— Вы были?
— Былъ.

Остальное досказалъ «Times».

Противъ статьи «Теймсъ», аббатъ Roux напечаталъ: «The murderer Barthelemy».

Когда все было готово, рассказываетъ «Times», онъ просилъ письмо той дѣвушки, къ которой писалъ, и, помнится, локонъ ея волосъ или какой-то сувениръ; онъ сжалъ ихъ въ рукѣ, когда палачъ подошелъ къ нему... ихъ, сжатыми въ его окоченѣлыхъ пальцахъ нашли помощники палача, пришедшіе снять его тѣло съ висѣлицы. «Человѣческая справедливость, какъ говорить «Теймсъ», была удовлетворена!» Я думаю, да этого и дьявольской не показалось бы мало!

Тутъ бы и остановиться. Но пусть же въ моемъ рассказѣ, какъ было въ самой жизни, останутся слѣды богатырской поступи возлѣ ступней ослиныхъ и свиныхъ копытъ.

Когда Бартелеми былъ схваченъ, у него не было достаточно денегъ, чтобъ платить солиситеру; да ему и не хотѣлось нанимать его. Явился какой-то неизвѣстный адвокатъ Герингъ, предложившій ему защищать его, явнымъ образомъ, чтобъ сдѣлать себя извѣстнымъ. Защищалъ онъ слабо; но ненадобно забывать, задача была необыкновенно трудна; Бартелеми молчалъ и не хотѣлъ, чтобъ Герингъ говорилъ о главномъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, Герингъ возился, терялъ время, хлопоталъ. Когда казнь была назначена, Герингъ пришелъ въ тюрьму проститься; Бартелеми былъ тронутъ, благодарилъ его и, между прочимъ, сказалъ ему:

— У меня ничего нѣтъ, я не могу вознаградить вашъ трудъ ничѣмъ, кромѣ моей благодарности. Хотѣлъ бы я вамъ, по крайней мѣрѣ, оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нѣтъ, что-бъ я могъ вамъ предложить. Развѣ мое пальто?

— Я вамъ буду очень, очень благодаренъ, я хотѣлъ его у васъ просить.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — сказалъ Бартелеми — но оно плохо...

— О, я его не буду носить; признаюсь вамъ откровенно, я уже запродаю его, и очень хорошо.

— Какъ запродали? спросилъ удивленный Бартеlemi.

— Да, madame Туссо, для ея особой галлерей.

Бартеlemi содрогнулся.

Когда его вели на казнь, онъ вдругъ вспомнилъ и сказалъ шерифу:

— Ахъ, я совсѣмъ было забылъ попросить, чтобъ мое пальто никакъ не отдавали Герингу!

Camicia Rossa ¹⁾.

Шекспировъ день превратился въ день Гарибальди. Сближеніе это вытянуто за волосы исторіей, такія натяжки удаются ей одной.

Народъ, собравшись на Примрозъ-Гиль, чтобъ посадить дерево въ память tricentenary, остался тамъ, чтобъ поговорить о *скоропостижномъ* отъѣздѣ Гарибальди. Полиція разогнала народъ. Пятьдесятъ тысячъ человѣкъ (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейскихъ и, изъ глубокаго уваженія къ законности, поддержали незаконное вмѣшательство власти.

... Дѣйствительно, какая-то шекспировская фантазія пронеслась передъ нашими глазами на сѣромъ фонѣ Англій, съ чисто шекспировской близостью великаго и отвратительнаго, раздражающаго душу и скрипящаго по тарелкѣ. Святая простота человѣка, наивная простота массъ и тайные скопы за стѣной, интриги, ложь. Знакомыя тѣни мелькаютъ въ другихъ образахъ — отъ Гамлета до короля Лира, отъ Гонериль и Корделій до *честнаго* Яго. Яго — все крошечные, но зато какое количество и какая у нихъ честность!

Прологъ. Трубы. Является идолъ массъ, единственная, великая, народная личность нашего вѣка, выработавшаяся съ 1848 года, является во всѣхъ лучахъ славы. Все склоняется передъ ней, все ее празднуетъ, это очью совершающееся hero-worship Карлейля. Пушечные выстрѣлы, колокольный звонъ, вымпела на корабляхъ — и только потому нѣтъ музыки, что *гость Англій* пріѣхалъ въ воскресенье, а воскресенье здѣсь постный день... Лондонъ ждетъ пріѣзжаго часовъ семь на ногахъ, оваціи растутъ съ каждымъ днемъ; появленіе человѣка въ *красной рубахѣ* на улицѣ дѣлаетъ взрывъ восторга, толпы провожаютъ его ночью въ часъ изъ оперы, толпы встрѣчаютъ его утромъ въ семь часовъ передъ Стаффордъ гаузомъ. Работники и дюки

¹⁾ Напечатано было въ „Колоколъ“ 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 года. *Примѣчаніе заграничнаго изданія.*

²⁾ Я прошу позволеніе дюковъ называть дюками, а не герцогами. Во-первыхъ оно правильнѣе, а во-вторыхъ, однимъ нѣмецкимъ словомъ меньше въ русскомъ языкѣ. Autant de pris sur le Deutchthum.

швей и лорды, банкиры и high church, феодальная развалина Дерби и осколокъ февральской революціи — республиканецъ 1848 года, старшій сынъ королевы Викторіи и босой swiper, родившійся безъ родителей, ищутъ на перерывъ его руки, взгляда, слова. Шотландія, Ньюкестль-он-Тейнъ, Глазговъ, Манчестеръ трепещутъ отъ ожиданія,—а онъ исчезаетъ въ непроницаемомъ туманѣ, въ синевѣ океана.

Какъ тѣнь Гамлетова отца, гость попалъ на какую-то министерскую дощечку, и исчезъ. Гдѣ онъ? Сейчасъ былъ тутъ и тутъ, а теперь нѣтъ... Остается одна точка, какой-то парусъ готовый отплыть.

Народъ англійскій одураченъ. «Великій, глупый народъ» — какъ сказалъ о немъ поэтъ. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джонъ-буль,—и жаль его, и смѣшно! Быкъ съ львиными замашками—только что было тряхнулъ гривой и порасправился, чтобъ встрѣтить гостя, а у него его и отняли. Левъ-быкъ бьетъ двойнымъ копытомъ, царапаетъ землю, сердится... но сторожа знаютъ хитрости замковъ и засосовъ *свободы*, которыми онъ запертъ, болтаютъ ему какой-то вздоръ и держатъ ключъ въ карманѣ... а точка исчезаетъ въ океанѣ.

Бѣдный левъ-быкъ, ступай на свой hard labour, тащи плугъ, подымай молотъ. Развѣ три министра, одинъ не министръ, одинъ дюкъ, одинъ профессоръ хирургіи и одинъ лордъ піэтизма не засвидѣтельствовали всенародно въ камерѣ пэровъ и въ низшей камерѣ, въ журналахъ и гостиныхъ, что здоровый человѣкъ, котораго ты видѣлъ вчера, *боленъ* и боленъ такъ, что его надобно послать на яхтѣ вдоль Атлантическаго океана и понерегъ Средиземнаго моря... «Кому же ты больше вѣришь, моему ослу или мнѣ?»—говорилъ обиженный мельникъ, въ старой баснѣ, скептическому другу своему, который сомнѣвался, слыша ревъ, что осла нѣтъ дома...

Или развѣ они не друзья народа?.. Больше чѣмъ друзья,—они его опекуны, его отцы съ матерью...

... Газеты подробно рассказали о пирахъ и яствахъ, рѣчахъ и мечаяхъ, адресахъ и кантатахъ, Чизикѣ и Гильдголтѣ. Балетъ и декорачіи, пантомимы и арлекины этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намѣренъ вступать съ ними въ соревнованіе, а просто хочу передать изъ моего небольшого фотографическаго снаряда нѣсколько картинокъ, взятыхъ съ того скромнаго угла, изъ котораго я смотрѣлъ. Въ нихъ, какъ всегда бываетъ въ фотографіяхъ, захватилось и осталось много случайнаго, неловкія складки, неловкія позы, слишкомъ выступившія

мелочи—рядомъ съ нерукотворенными чертами событій и неподслащенными чертами лицъ...

Разсказъ этотъ дарю я вамъ, отсутствующія дѣти (отчасти онъ для васъ и писанъ), и еще разъ очень, очень жалѣю, что васъ здѣсь не было съ нами 17 апрѣля.

I.

Въ Брукъ-гаузѣ.

Третьяго апрѣля къ вечеру Гарибальди пріѣхалъ въ Соутгэмптонъ. Мнѣ хотѣлось видѣть его прежде, чѣмъ его завертять. опутають, утомять.

Хотѣлось мнѣ этого по многому: во-первыхъ, просто потому, что я его люблю и не видалъ около десяти лѣтъ. Съ 1848 я слѣдилъ шагъ за шагомъ за его великой карьерой; онъ уже былъ для меня въ 1854 г. лицо, взятое цѣликомъ изъ Корнелія Непота или Плутарха... Съ тѣхъ поръ онъ переросъ половину ихъ, сдѣлался «невѣнчаннымъ царемъ» народовъ, ихъ упованіемъ, ихъ живой легендой, ихъ святымъ человѣкомъ, и это отъ Украины и Сербіи до Андалузіи и Шотландіи, отъ Южной Америки до Сѣверныхъ Штатовъ. Съ тѣхъ поръ онъ съ горстью людей побѣдилъ армію, освободилъ цѣлую страну и былъ отпущенъ изъ нея, какъ отпускаютъ ямщика, когда онъ доведетъ до станціи. Съ тѣхъ поръ онъ былъ обманутъ и побитъ, и, такъ какъ ничего не выигралъ побѣдой, не только ничего не проигралъ пораженіемъ, но удвоилъ ею свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его съ народомъ. Къ величію героя прибавился вѣнецъ мученика. Мнѣ хотѣлось видѣть, тотъ ли же это добродушный морякъ, приведшій *Common Wealth* изъ Бостона въ *Indian Docks*, мечтавшій о пловучей эмиграціи, носящейся по океану, и угощавшій меня ниццскимъ Белетомъ, привезеннымъ изъ Америки.

Хотѣлось мнѣ, во-вторыхъ, поговорить съ нимъ о здѣшнихъ интригахъ и нелѣпостяхъ, о добрыхъ людяхъ, строившихъ одной рукой пьедесталъ ему и другой привязывавшихъ Маццини къ позорному столбу. Хотѣлось ему разсказать объ охотѣ по Стансфильду и о тѣхъ нищихъ разумомъ либералахъ, которые вторяли маю готическихкихъ своръ, не понимая, что тѣ имѣли, по крайней мѣрѣ, цѣль—сковырнуть на Стансфильдѣ пѣгое и безхарактерное министерство и замѣнить его своей подагрой, своей ветошью и своимъ линялымъ тряпьемъ съ гербами.

... Въ Суутгамтонѣ я Гарибальди не засталъ. Онъ только-что уѣхалъ на островъ Вайтъ. На улицахъ были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездна иностранцевъ...

Не останавливаясь въ Суутгамтонѣ, я отправился въ Коусъ. На пароходѣ, въ отеляхъ все говорило о Гарибальди, о его приѣмѣ. Рассказывали отдѣльные анекдоты, какъ онъ выпелъ на палубу, опираясь на дюка Сутерландскаго, какъ, сходя въ Коусъ съ парохода, когда матросы выстроились, чтобъ проводить его, Гарибальди пошелъ было, поклонившись, но вдругъ остановился, подошелъ къ матросамъ и каждому подальъ руку, вмѣсто того чтобъ подать на водку.

Въ Коусъ я приѣхалъ часовъ въ 9 вечера; узналъ, что Брукъ-гаусъ очень не близокъ, заказалъ на другое утро коляску и пошелъ по взморью. Это былъ первый теплый вечеръ 1864. Море совершенно покойное, лѣниво-шала, колыхалось; кой-гдѣ сверкалъ, исчезая, фосфорическій свѣтъ; я съ наслажденіемъ вдыхалъ влажно-юдистый запахъ морскихъ испареній, который люблю, какъ запахъ сѣна; издали раздавалась бальная музыка изъ какого-то клуба или казино, все было свѣтло и празднично.

Зато на другой день, когда я часовъ въ шесть утра отворилъ окно, Англія напомнила о себѣ; вмѣсто моря и неба, земли и дали, была одна сплошная масса неровнаго сѣраго цвѣта, изъ которой лился частый, мелкій дождь, съ той британской настойчивостью, которая впередъ говорить: «если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». Въ семь часовъ поѣхалъ я подъ этой душой въ Брукъ-гаусъ.

Не желая долго толковать съ тугой на пониманье и скупой на учтивость англійской прислужгой, я послалъ записку къ секретарю Гарибальди—Гверцони. Гверцони провелъ меня въ свою комнату и пошелъ сказать Гарибальди. Вслѣдъ за тѣмъ я услышалъ постукиванье трости и голосъ: «Гдѣ онъ, гдѣ онъ?» Я вышелъ въ коридоръ, Гарибальди стоялъ передо мной и прямо, ясно, кротко смотрѣлъ мнѣ въ глаза, потомъ протянулъ обѣ руки и, сказавъ: «Очень, очень радъ, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете», обнялъ меня. «Куда вы хотите?» Это комната Гверцони; хотите ко мнѣ, хотите остаться здѣсь?»—спросилъ онъ и сѣлъ.

Теперь была моя очередь смотрѣть на него.

Одѣтъ онъ былъ такъ, какъ вы знаете по безчисленнымъ фотографіямъ, картинкамъ, статуеткамъ; на немъ была красная шерстяная рубашка и сверху плащъ, особымъ образомъ застегнутый на груди; не на шеѣ, а на плечахъ былъ платокъ, такъ, какъ его носятъ матросы, узломъ завязанный на груди. Все это къ нему необыкновенно шло, особенно его плащъ.

Онъ гораздо меньше измѣнился въ эти десять лѣтъ, чѣмъ я ожидалъ. Всѣ портреты, всѣ фотографіи его никуда не годятся, на всѣхъ онъ старше, чертѣ, и, главное, выраженіе лица нигдѣ не схвачено. А въ немъ-то и высказывается *весь секретъ* не только его лица, но его самого, его силы,—той притяжательной и отдающей силы, которой онъ постоянно покорялъ все окружавшее его... какое бы оно ни было, безъ различія діаметра: кучку рыбаковъ въ Ниццѣ, экипажъ матросовъ на океанѣ, *dagrello* гверильясовъ въ Монтевидео, войско ополченцовъ въ Италіи, народныя массы всѣхъ странъ, цѣлыя части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильнаго и скорѣе напоминающаго славянскій типъ, чѣмъ итальянскій, оживлена, проникнута безпредѣльной добротой, любовью и тѣмъ, что называется *bienveillance* (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволеніе» затаскалось до того, что его смыслъ исказился). То же въ его взглядѣ, то же въ его голосѣ, и все это такъ просто, такъ отъ души, что если человѣкъ не имѣетъ задней мысли и вообще не остережется, то онъ непременно его полюбитъ.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характеръ, ни выраженіе его лица; рядомъ съ его добродушіемъ и увлекаемостью чувствуется несокрушимая, нравственная твердость и какой-то возвратъ на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты меланхолической, печальной я прежде не замѣчалъ въ немъ.

Минутами разговоръ обрывается; по его лицу, какъ тучи по морю, пробѣгаютъ какія-то мысли,—ужасъ ли то передъ судьбами, лежащими на его плечахъ, передъ тѣмъ народнымъ *помазаніемъ*, отъ котораго онъ уже не можетъ отказаться? Сомнѣніе ли послѣ того, какъ онъ видѣлъ столько измѣнъ, столько паденій, столько слабыхъ людей? Искушеніе ли величія? Послѣдняго не думаю, его личность давно исчезла въ его дѣлѣ...

Я увѣренъ, что подобная черта страданья, передъ призваньемъ, была и на лицѣ Дѣвы Орлеанской, и на лицѣ Іоанна Лейденскаго,—они принадлежали народу, стихійныя чувства или лучше предчувствія, заморенныя въ насъ, сильнѣе въ народѣ. Въ ихъ вѣрѣ былъ фатализмъ, а фатализмъ самъ по себѣ безконечно грустенъ.

... Гарибальди вспомнилъ разныя подробности о 1854 годѣ, когда онъ былъ въ Лондонѣ, какъ онъ ночевалъ у меня, опоздавши въ *Indian docks*; я напомнилъ ему, какъ онъ въ этотъ день пошелъ гулять съ моимъ сыномъ и сдѣлалъ для меня его фотографію у Кальдези, объ обѣдѣ у американскаго консула съ Бюхананомъ, который нѣкогда надѣлалъ бездну шума и въ сущности не имѣлъ смысла.

— Я долженъ вамъ покаяться, что я поторопился къ вамъ при-

ѣхать не безъ цѣли, сказалъ я, наконецъ, ему,—я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишкомъ англійская, т. е., туманная, для того, чтобъ ясно видѣть закулисную механику одной пьесы, которая съ успѣхомъ разыгрывается теперь въ парламентѣ... Чѣмъ вы дальше поѣдете, тѣмъ гуще будетъ туманъ. Хотите вы меня выслушать?

— Говорите, говорите,—мы старые друзья.

Я рассказалъ ему дебаты, журнальный вопль, нелѣпость выходокъ противъ Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

— Замѣьте, добавилъ я, что въ Стансфильдѣ тори и ихъ общники преслѣдуютъ не только революцію, которую они смѣшиваютъ съ Маццини, не только министерство Пальмерстона, но, сверхъ того, человѣка, своимъ личнымъ достоинствомъ, своимъ трудомъ, умомъ достигнувшаго въ довольно молодыхъ лѣтахъ мѣста лорда въ адмиралтействѣ, человѣка безъ рода и связей въ аристократіи.—На васъ прямо они не смѣютъ нападать на сію минуту, но посмотрите, какъ они безцеремонно васъ трактуютъ. Вчера въ Коусѣ я купилъ послѣдній листъ Standart'a; ѣхавши къ вамъ, я его прочиталъ, посмотрите. «Мы увѣрены, что Гарибальди пойметъ настолькоъ обязанности, возлагаемыя на него гостеприимствомъ Англій, что не будетъ имѣть сношеній съ прежнимъ товарищемъ своимъ, и найдетъ настолькоъ такта, чтобъ не ѣздить въ 35, Thourloe Square» ¹⁾. Затѣмъ выговоръ *par anticipation*, если вы этого не исполните.

— Я слышалъ кое-что, сказалъ Гарибальди, объ этой интригѣ. *Разумѣется, одинъ изъ первыхъ визитовъ моихъ будетъ къ Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вамъ дѣлать, я хотѣлъ вамъ только показать безъ тумана безобразныя линіи этой интриги.

Гарибальди всталъ, я думалъ, что онъ хочетъ окончить свиданіе и сталъ прощаться.

— Нѣтъ, нѣтъ, пойдемте теперь ко мнѣ, сказалъ онъ и мы пошли.

Прихрамываетъ онъ сильно, но вообще его организмъ вышелъ торжественно изъ всякаго рода моральныхъ и хирургическихъ зондированій, операцій и пр.

Костюмъ его, скажу еще разъ, необыкновенно идетъ къ нему и необыкновенно изященъ; въ немъ нѣтъ ничего профессионально-солдатскаго и ничего буржуазнаго, онъ очень простъ и очень удобенъ. Непринужденность, отсутствіе всякой афектаціи въ томъ, какъ онъ носитъ его, остановили салонныя пересуды и тонкія

¹⁾ Квартира Стансфильда.

насмѣшки. Врядъ существуетъ-ли европеецъ, которому бы сошла съ рукъ *красная рубашка* въ дворцахъ и палатахъ Англіи.

Притомъ костюмъ его чрезвычайно важенъ. Аристократія думаетъ, что, схвативши его коня подъ уздцы, она его поведетъ, куда хочетъ, и, главное, отведетъ отъ народа; но народъ смотритъ на *красную рубашку* и радъ, что дюки, маркизы и лорды пошли въ конюхи и официанты къ революціонному вождю, взяли на себя должности мажордомовъ, пажей и скороходовъ при великомъ плебеѣ въ плебейскомъ платьѣ.

Консервативныя газеты замѣтили бѣду и, чтобъ смягчить безнравственность и безчиніе гарибальдѣйскаго костюма, выдумали, что онъ носитъ *мундиръ* монтевидейскаго волонтера. Да, вѣдь, Гарибальди съ тѣхъ поръ былъ пожалованъ генераломъ—королемъ, которому онъ пожаловалъ два королевства,—отчего же онъ носитъ мундиръ монтевидейскаго волонтера?

Да и почему то, что онъ носитъ,—мундиръ?

Къ мундиру принадлежитъ какое-нибудь смертоносное оружіе, какой-нибудь знакъ власти, или кровавыхъ воспоминаній. Гарибальди ходитъ безъ оружія, онъ не боится никого и никого не страшаетъ; въ Гарибальди такъ же мало военнаго, какъ мало аристократическаго и мѣщанскаго. «Я не солдатъ, говорилъ онъ въ Кристальпаласѣ итальянцамъ, подносящимъ ему мечъ, и не люблю солдатскаго ремесла. Я видѣлъ мой отчій домъ, наполненный разбойниками, и схватился за оружіе, чтобъ ихъ выгнать».— «Я работникъ, происхожу отъ работниковъ и горжусь этимъ», сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что у Гарибальди нѣтъ также ни на іоту плебейской грубости, ни изученнаго демократизма. Его обращеніе мягко до женственности. Итальянецъ и человекъ, онъ на вершинѣ общественнаго міра представляетъ не только плебея, вѣрнаго своему началу, но итальянца, вѣрнаго эстетичности своей расы.

Его мантія, застегнутая на груди, не столько военный плащъ, сколько риза воина-первосвященника, *propheta-re*. Когда онъ поднимаетъ руку, отъ него ждуть благословенія и привѣта, а не военнаго приказа.

Гарибальди заговорилъ о польскихъ дѣлахъ.

— Я полагаю, что Галиція готова къ возстанію?

Я промолчалъ.

— Такъ же, какъ и Венгрія,—вы не вѣрите?

— Нѣтъ, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движенія въ Россіи?

— Никакого. Съ тѣхъ поръ какъ я вамъ писалъ письмо, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, ничего не перемѣнилось.

Такъ продолжался разговоръ еще нѣсколько минутъ, начались въ дверяхъ показываться архи-англійскія фізіономіи, шурстѣтъ дамскія платья... я всталъ.

— Куда вы торопитесь?—сказаль Гарибальди.

— Я не хочу васъ больше красть у Англій.

— До свиданья въ Лондонѣ, не правда ли?

— Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландскаго?

— Да, сказалъ Гарибальди и прибавилъ, будто извиняясь:— не могъ отказаться.

— Такъ я явлюсь къ вамъ напудрившись, для того, чтобъ лакеи въ Стаффордъ-гаузѣ подумали, что у меня пудренный слуга.

Въ это время явился поэтъ *лавреатъ* Тенисонъ съ женой,— это было слишкомъ много лавровъ, и я по тому же непрерывному дождю отправился въ Коусъ.

Перемѣна декораціи, но продолженіе той же пьесы. Пароходъ изъ Коуса въ Соутгамтонъ только-что ушелъ, а другой отправлялся черезъ три часа, въ силу чего я пошелъ въ ближайшій ресторанъ, заказаль себѣ обѣдъ и принялся читать «Теймсъ». Съ первыхъ строкъ я былъ ошеломленъ. Семидесятипятилѣтній Авраамъ, судившійся мѣсяца два тому назадъ за какія-то пашни съ новой Агарью, принесъ окончательно на жертву своего Галифакскаго Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это въ самое то время, когда Гарибальди начиналъ свое торжественное шествіе въ Англій. Говоря съ Гарибальди, я этого даже не предполагалъ.

Что Стансфильдъ подалъ во второй разъ въ отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему съ самаго начала слѣдовало стать во весь ростъ и бросить свое лордшипство. Стансфильдъ сдѣлалъ свое дѣло. Но что сдѣлалъ Пальмерстонъ съ товарищами? И что онъ лепеталъ потомъ въ своей рѣчи?.. Съ какой подобострастной лестью отзывался онъ о великодушномъ союзникѣ, о притрепетномъ желаніи ему долговѣчья и всякаго блага на вѣки нерушимаго. Какъ будто кто-нибудь бралъ au sérieux эту полицейскую фарсу Graco Trabisco et C^o.

Это была *Маджента*.

Я спросилъ бумаги и написалъ письмо къ Гверцони; написалъ я его со всей свѣжестью досады и просилъ его прочесть «Теймсъ» Гарибальди; я ему писалъ о безобразіи этой апотеозы Гарибальди—рядомъ съ оскорбленіями Маццини. «Мнѣ 52 года, говорилъ я, но признаюсь, что слезы негодованія навертываются на глазахъ, при мысли объ этой несправедливости» и проч.

За нѣсколько дней до моей поѣздки, я былъ у Маццини. Че-

ловѣкъ этотъ многое вынесъ, многое умѣетъ выносить, это старый боецъ, котораго ни утомить, ни низложить нельзя; но тутъ я его засталъ сильно огорченнымъ, именно тѣмъ, что его выбрали средствомъ для того, чтобъ выбить изъ стремянъ его друга. Когда я писалъ письмо къ Гверцони образъ исхудалаго, благороднаго старца съ сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончилъ и человѣкъ подалъ обѣдъ, я замѣтилъ, что я не одинъ: небольшого роста бѣлокурый молодой человѣкъ съ усиками и въ синей пальто-курткѣ, которую носятъ моряки, сидѣлъ у камина, à l'américaine, хитро утвердивши ноги въ уровень съ ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинціальныи акцентъ, дѣлавшій для меня его рѣчь непонятной, убѣдили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующій на берегу мичманъ, и я пересталъ имъ заниматься,—говорилъ онъ не со мной, а съ слугой. Знакомство окончилось было тѣмъ, что я ему подвинулъ соль, а онъ зато тряхнулъ головой.

Вскорѣ къ нему присоединился пожилыхъ лѣтъ черноватенькій господинъ, весь въ черномъ и весь до невозможности застегнутый, съ тѣмъ особеннымъ видомъ помѣшательства, которое даетъ людямъ натянутая религіозная экзальтація, дѣлающаяся натуральной отъ долгаго употребленія.

Казалось, что онъ хорошо знаетъ мичмана и пришелъ, чтобъ съ нимъ повидаться. Послѣ трехъ-четырехъ словъ, онъ пересталъ *говорить* и началъ *проповѣдывать*. «Видѣлъ я, говорилъ онъ Маккавея, Гедеона... орудіе въ рукахъ промысла, его мечъ, его пращъ... и чѣмъ болѣе я смотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣе былъ тронутъ, и со слезами твердилъ: мечъ Господень! мечъ Господень! Слабаго Давида избралъ онъ побить Голиааа. Оттого-то народъ англійскій, народъ избранный, идетъ ему на срѣтеніе, какъ къ невѣстѣ ливанской... Сердце народа въ рукахъ Божіихъ: оно сказало ему, что это мечъ Господень, орудіе промысла, Гедеонъ!»

...Отворились настезъ двери и вошла на невѣста ливанская, а разомъ человѣкъ десять важныхъ бриттовъ, и въ ихъ числѣ лордъ Шефтсбюри, Линдсей. Всѣ они усѣлись за столъ и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчасъ ѣдутъ въ Brook-house. Это была официальная депутація отъ Лондона, съ приглашеніемъ къ Гарибальди. Проповѣдникъ умолкъ; но мичманъ поднялся въ моихъ глазахъ: онъ съ такимъ недвусмысленнымъ чувствомъ отвращенія смотрѣлъ на взошедшую депутацію, что мнѣ пришло въ голову, вспоминая проповѣдь его пріятеля, что онъ принимаетъ этихъ людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросилъ его, какъ слѣдуетъ надписать письмо въ Brook-

house? достаточно ли назвать домъ, или надобно прибавить ближній городъ. Онъ сказалъ, что ненужно ничего прибавлять.

Одинъ изъ депутаціи, сѣдой, толстый старикъ, спросилъ меня, къ кому я посылаю письмо въ Brook-house?

— Къ Гвердони.

— Онъ, кажется, секретаремъ при Гарибальди?

— Да.

— Чего же вамъ хлопотать, мы сейчасъ ѣдемъ, я охотно свезу письмо.

Я вынулъ мою карточку и отдалъ ее съ письмомъ. Можеть ли что-нибудь подобное случиться на континентѣ? Представьте себѣ, если-бъ во Франціи кто-нибудь спросилъ бы васъ въ гостиницѣ,—къ кому вы пишете, и узнавши, что это къ секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано и я на другой день имѣлъ отвѣтъ въ Лондонѣ.

Редакторъ иностранной части Morning Star'a узналъ меня. Начались вопросы о томъ, какъ я нашелъ Гарибальди, о его здоровьи. Поговоривши нѣсколько минутъ съ нимъ, я ушелъ въ smoking room. Тамъ сидѣли за пель-элемя и трубками мой бѣлокурый морякъ и его черномазый теологъ.

— Что, сказалъ онъ мнѣ, наглядѣлись вы на эти лица?.. а, вѣдь, это неподражаемо хорошо: лордъ Шефтсбюри, Линдсей ѣдутъ депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедія! Знаютъ ли они, кто такое Гарибальди?

— Орудіе промысла, мечъ въ рукахъ Господнихъ, его пращъ... потому-то онъ и вознесъ его и оставилъ его въ святой простотѣ его...

— Это все очень хорошо, да за чѣмъ ѣдутъ эти господа? Спросилъ бы я кой у кого изъ нихъ,—сколько у нихъ денегъ въ Алабамѣ?.. Дайте-ка Гарибальди пріѣхать въ Ньюкестль-он'Тейнъ да въ Глазговъ, тамъ онъ увидитъ народъ поближе, тамъ ему не будутъ мѣшать лорды и дюки.

Это былъ не мичманъ, а корабельный строительщикъ. Онъ долго жилъ въ Америкѣ, зналъ хорошо дѣла Юга и Сѣвера, говорилъ о безвыходности тамошней войны, на что утѣшительный теологъ замѣтилъ:

— Если Господь раздвоилъ народъ этотъ и направилъ брата на брата, Онъ имѣетъ свои виды, и если мы ихъ не понимаемъ, то должны покоряться Провидѣнію даже тогда, когда оно караеть.

Вотъ гдѣ и въ какой формѣ мнѣ пришлось слышать въ послѣдній разъ комментарий на знаменитый гегелевскій мотто: «Все, что дѣйствительно, то разумно».

Дружески пожавъ руку моряку и его каплану, я отправился въ Суутгамптонъ.

На пароходѣ я встрѣтилъ радикальнаго публициста Голіока; онъ видѣлся съ Гарибальди позже меня, Гарибальди черезъ него приглашалъ Мадцини; онъ ему уже телеграфировалъ, чтобъ онъ ѣхалъ въ Суутгамптонъ, гдѣ Голіокъ намѣренъ былъ его ждать съ Менотти Гарибальди и его братомъ. Голіоку очень хотѣлось доставить еще въ тотъ-же вечеръ два письма въ Лондонъ (по почтѣ они придти не могли до утра). Я предложилъ мои услуги.

Въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ я въ Лондонъ, заказалъ въ York hotel'ѣ возлѣ Ватерлооской станціи комнату и поѣхалъ съ письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успѣлъ перестать. Въ часъ или въ началѣ второго пріѣхалъ я въ гостиницу,—заперто. Я стучался, стучался... Какой-то пьяный, оканчивавшій свой вечеръ возлѣ рѣшетки кабака, сказалъ: «не тутъ стучите, въ переулкѣ есть night-bell»; пошелъ я искать night-bell, нашелъ и сталъ звонить. Не отворяя дверей, изъ какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая: «Чего мнѣ?»—Комнаты.—«Ни одной нѣтъ».—Я въ 11 часовъ самъ заказалъ.—«Говорятъ, что нѣтъ ни одной», и онъ захлопнулъ дверь преисподней, не дождавшись даже, чтобъ я его обругалъ, что я и сдѣлалъ платонически, потому что онъ слышать не могъ.

Дѣло было непріятное, найти въ Лондонѣ въ два часа ночи комнату, особенно въ такой части города, не легко. Я вспомнилъ объ небольшомъ французскомъ ресторанѣ и отправился туда.—«Есть комната?»—спросилъ я хозяина.—«Есть, да не очень хороша».—«Показывайте». Дѣйствительно, онъ сказалъ правду, комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было, я отворилъ окно и сошелъ на минуту въ залу. Тамъ все еще пили, кричали, играли въ карты и домино какіе-то французы. Нѣмецъ колоссальнаго роста, котораго я видалъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ, имѣю ли я время съ нимъ поговорить наединѣ, что ему нужно мнѣ сообщить что-то особенно важное.

— Разумѣется, имѣю, пойдемте въ другую залу, тамъ никого нѣтъ.

Нѣмецъ сѣлъ противъ меня и трагически началъ мнѣ разсказывать, какъ его патронъ французъ надулъ, какъ онъ три года эксплуатировалъ его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что онъ его приметъ въ товарищи, и вдругъ, не говоря худого слова, уѣхалъ въ Парижъ и тамъ нашелъ товарища. Въ силу этого, нѣмецъ сказалъ ему, что онъ оставляетъ мѣсто, а патронъ не возвращается...

— Да за чѣмъ же вы вѣрили ему безъ всякаго условія?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin.

— Ну, это другое дѣло.

— Я хочу запечатать заведеніе и уйти.

— Смотрите, онъ вамъ сдѣлаетъ процессъ; знаете ли вы здѣшніе законы?

Нѣмецъ покачалъ головой.

— Хотѣлось бы мнѣ насолить ему... А вы вѣрно были у Гарибальди?

— Былъ.

— Ну, что онъ? Ein famoser Kerl... Да, вѣдь, если-бъ онъ мнѣ не обѣщалъ цѣлые три года, я бы иначе велъ дѣла... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется, ничего.

— Эдакая bestia, все скрылъ и въ послѣдній день говорить: у меня ужъ есть товарищъ-associé... Я вамъ, кажется, надоѣлъ?

— Совсѣмъ нѣтъ, только я немного усталъ, хочу спать, я всталъ въ 6 часовъ, а теперь два съ хвостикомъ.

— Да, что же мнѣ дѣлать? Я ужасно обрадовался, когда вы вошли, ich habe so bei mir gedacht der wird Rath schaffen. Такъ не запечатывать заведенія?

— Нѣтъ. А такъ какъ ему полюбилося въ Парижѣ, такъ вы ему завтра же напишите: «Заведеніе запечатано, когда вамъ угодно принимать его?» Вы увидите эффектъ, онъ бросить жену и игру на биржѣ, прискачетъ сюда и... и увидитъ, что заведеніе не заперто.

— Saperlot! das ist eine Idée—ausgezeichnet, я пойду писать письмо.

— А я спать. Gute Nacht.

— Schlafen sie wohl!

Я спрашиваю свѣчку. Хозяинъ подаетъ ее собственноручно и объясняетъ, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сдѣлался духовникомъ.

— Что вамъ надобно, оно немного поздно, но я готовъ.

— Нѣсколько словъ. Я васъ хотѣлъ спросить,—какъ вы думаете, если я завтра выставлю бюстъ Гарибальди, знаете, съ цвѣтами, съ лавровымъ вѣнкомъ, вѣдь, это будетъ очень хорошо? Я ужъ и о надписи думалъ... трехцвѣтными буквами: Garibaldi—libérateur?

— Отчего же—можно! Только французское посольство запретить ходить въ вашъ ресторанъ французамъ, а они у васъ съ утра до ночи.

— Оно такъ... Но знаете, сколько денегъ запибешь, выставивши бюстъ... а потомъ забудутъ...

— Смотрите, замѣтилъ я, рѣшительно вставая, чтобъ идти,— не говорите никому, у васъ украдутъ эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надѣюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомнѣвайтесь, и я отправился въ нечистую спальню его. Симъ оканчивается мое первое свиданіе съ Гарибальди въ 1864 году.

II.

Въ Стаффордъ-гаузѣ.

Въ день пріѣзда Гарибальди въ Лондонъ, я его не видалъ, а видѣлъ море народа, рѣки народа, запруженные имъ улицы въ нѣсколько верстъ, наводненныя площади; вездѣ, гдѣ былъ карнизъ, балконъ, окно, выступили люди, и все это ждало, въ иныхъ мѣстахъ *шесть часовъ*... Гарибальди пріѣхалъ въ половинѣ третьяго на станцію Нейн'Эльмсъ и только въ половинѣ девятаго подѣхалъ къ Стаффордъ-гаузу, у подѣзда котораго ждалъ его дюкъ Сутерландъ съ женой.

Англійская толпа груба, многочисленныя сборища ея не обходятся безъ дракъ, безъ пьяныхъ, безъ всякаго рода отвратительныхъ сценъ и, главное, безъ организованнаго на огромную скалу воровства. На этотъ разъ порядокъ былъ удивительный.

У Вестминстерскаго моста, близъ парламента, народъ такъ плотно сжался, что коляска, ѣхавшая шагомъ, остановилась и процессія, тянувшаяся на версту, ушла впередъ съ своими знаменами, музыкой и пр. Съ криками ура народъ облѣпилъ коляску, все, что могло продраться, жало руку, цѣловало края плаща Гарибальди, кричало Wellcom! Съ какимъ-то упоеніемъ любясь на великаго плебея, народъ хотѣлъ отложить лошадей и везти на себѣ, но его уговорили. Дюковъ и лордовъ, окружавшихъ его, никто не замѣчалъ. Эта овація продолжалась около часа, одна народная волна передавала гостя другой, при чемъ коляска двигалась нѣсколько шаговъ и снова останавливалась.

Злоба и остервенѣніе континентальныхъ консерваторовъ совершенно понятны. У нихъ помутилось въ глазахъ, зашумѣло въ ухахъ... Англія дворцовъ, Англія сундуковъ, забывъ всякое приличіе, идетъ вмѣстѣ съ Англіей мастерскихъ на срѣтеніе какого-то «aventurier», мятежника, который былъ бы повѣшенъ, если-бъ ему не удалось освободить Сициліи. «Отчего, говоритъ опростоволосившаяся La France, отчего Лондонъ никогда такъ не встрѣчалъ маршала Пелисье, котораго слава такъ чиста?» и даже несмотря на то, забыла она прибавить, что онъ выжигалъ сотнями арабовъ

съ дѣтьми и женами, такъ, какъ у насъ выжигаютъ таракановъ.

Жаль, что Гарибальди принялъ гостепріимство дюка Сутерландскаго. Неважное значеніе и политическая стертость «пожарнаго» дюка до нѣкоторой степени дѣлали Стаффордъ-гаузъ гостиницей Гарибальди... Но все-же обстановка не шла и интрига, затѣянная *до отъзда* его въ Лондонъ, расплѣла удобно на дворцовомъ грунтѣ. Цѣль ея состояла въ томъ, чтобъ удалить Гарибальди отъ народа, т. е., отъ работниковъ, и отрѣзать его отъ тѣхъ изъ друзей и знакомыхъ, которые остались вѣрными прежнему знамени и, разумѣется, пуще всего отъ Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этихъ ширмъ, но другая половина осталась,—именно, невозможность говорить съ нимъ безъ свидѣтелей. Если-бъ Гарибальди не вставалъ въ 5 часовъ утра и не принималъ въ 6, она удалась бы совсѣмъ; но счастію, усердіе интриги раньше половины девятаго не шло; только въ день его отъзда дамы начали вторженіе въ его спальню часомъ раньше. Разъ какъ-то Мордини, не успѣвъ сказать ни слова съ Гарибальди въ продолженіе часа, смѣясь, замѣтилъ мнѣ: «Въ мірѣ нѣтъ человѣка, котораго бы было легче видѣть, какъ Гарибальди, но зато нѣтъ человѣка, съ которымъ бы было труднѣе говорить».

Гостепріимство дюка было далеко лишено того широкаго характера, которое нѣкогда мирило съ аристократической роскошью. Онъ далъ только комнату для Гарибальди и для молодого человѣка, который перевязывалъ его ногу; а другимъ, т. е., сыновьямъ Гарибальди, Гверцони и Базилію, хотѣлъ нанять комнаты. Они, разумѣется, отказались и помѣстились на свой счетъ въ Bath hotel. Чтобъ оцѣнить эту странность, надо знать, что такое Стаффордъ-гаузъ. Въ немъ можно помѣстить, не стѣсня хозяевъ, всѣ семьи крестьянъ, пущенныхъ по міру отцомъ дюка, а ихъ очень много.

Англичане дурные актеры, и это имъ дѣлаетъ величайшую честь. Въ первый разъ какъ я былъ у Гарибальди въ Стаффордъ-гаузѣ, придворная интрига около него бросилась мнѣ въ глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали непрерывно. Какой-то итальянецъ сдѣлался полицмейстеромъ, церемоніймейстеромъ, экзекуторомъ, дворецкимъ, бутафоромъ, суфлеромъ. Да и какъ не сдѣлаться за честь засѣдать съ дюками и лордами, вмѣстѣ съ ними предпринимать мѣры для предупрежденія и пресѣченія всѣхъ сближеній между народомъ и Гарибальди, и вмѣстѣ съ дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянскаго вождя и которую хромой генераль рвалъ ежедневно, не замѣчая ее.

Гарибальди, напримѣръ, ѣдетъ къ Маццини. Что дѣлать? Какъ скрыть? Сейчасъ на сцену бутафоры, фактотумы,—средство найдено. На другое утро весь Лондонъ читаетъ: «Вчера въ такомъ-то часу Гарибальди посѣтилъ въ Онсло Террасъ *Джонъ Френса*». Вы думаете, что это вымышленное имя,—нѣтъ, это имя хозяина, содержащаго квартиру.

Гарибальди не думалъ отречься отъ Маццини; но онъ могъ уѣхать изъ этого водоворота, не встрѣчаясь съ нимъ при людяхъ и не заявивъ этого публично. Маццини отказался отъ посѣщеній къ Гарибальди, пока онъ будетъ въ Стаффордъ-гаузѣ. Они могли бы легко встрѣтиться при небольшомъ числѣ, но никто не бралъ инициативы. Подумавъ объ этомъ, я написалъ къ Маццини записку и спросилъ его, приметъ ли Гарибальди приглашеніе въ такую даль, какъ Теддингтонъ, если нѣтъ, то я его не буду звать, тѣмъ дѣло и кончится; если же поѣдетъ, то я очень желалъ бы ихъ обоимъ пригласить. Маццини написалъ мнѣ на другой день, что Гарибальди очень радъ, и что если ему ничего не помѣшаетъ, то они приѣдутъ въ воскресенье, въ часъ. Маццини въ заключеніе прибавилъ, что Гарибальди очень бы желалъ видѣть у меня Ледрю-Роллена.

Въ субботу утромъ я поѣхалъ къ Гарибальди и, не заставъ его дома, остался съ Саффи, Гверцони и др. его ждать. Когда онъ возвратился, толпа посѣтителей, ожидавшихъ въ сѣняхъ и коридорѣ, бросилась на него; одинъ храбрый бриттъ вырвалъ у него палку, всунулъ ему въ руку другую и съ какимъ-то азартомъ повторялъ: «Генераль, эта лучше, вы примите, вы позволите, эта лучше». — «Да за чѣмъ-же?» — спросилъ Гарибальди, улыбаясь, — я къ моей палкѣ привыкъ». Но видя, что англичанинъ безъ боя палки не отдастъ, пожалъ слегка плечами и пошелъ дальше.

Въ залѣ, за мною, шелъ крупный разговоръ. Я не обратилъ бы на него никакого вниманія, если-бъ не услышалъ громко повторенныя слова:

— *Carite*, Теддингтонъ въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта. Помилуйте, да это невозможно, матеріально невозможно... въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта, это 16-18 миль.

Я обернулся и, видя совершенно мнѣ незнакомаго человѣка, принимавшаго такъ къ сердцу разстояніе отъ Лондона до Теддингтона, я ему сказалъ:

— Двѣнадцать или тринадцать миль.

Спорившій тотчасъ обратился ко мнѣ:

— И тринадцать миль страшное дѣло. Генераль долженъ быть въ три часа въ Лондонѣ... во всякомъ случаѣ Теддингтонъ надо отложить.

Гверцони повторялъ ему, что Гарибальди хочет ѣхать и поѣдетъ.

Къ итальянскому опекуну прибавился англійскій, находившій, что принять приглашеніе въ такую даль сдѣлаеть гибельный антецедентъ... Желая имъ напомнить неделикатность дебатировать этотъ вопросъ при мнѣ, я замѣтилъ имъ:

— Господа, позвольте мнѣ покончить вашъ споръ,—и тутъ же, подойдя къ Гарибальди, сказалъ ему:—Мнѣ ваше посѣщеніе безконечно дорого. Зная, какъ вы заняты, я боялся васъ звать. По одному слову общаго друга, вы велѣли мнѣ передать, что пріѣдете. Это вдвое дороже для меня. Я вѣрю, что вы хотите пріѣхать, но я не настаиваю (*je n'insiste pas*), если это сопряжено съ такими непреоборимыми препятствіями, какъ говорить этотъ господинъ, котораго я не знаю,—я указалъ его пальцемъ.

— Въ чемъ же препятствія?—спросилъ Гарибальди.

Impressario подбѣжалъ и скороговоркой представилъ ему всѣ резоны, что ѣхать завтра въ 11 часовъ въ Теддингтонъ и пріѣхать къ тремъ невозможно.

— Это очень просто, сказалъ Гарибальди, значить надо ѣхать не въ 11, а въ 10, кажется ясно?

Импредсаріо исчезъ.

— Въ такомъ случаѣ, чтобъ не было ни потери времени, ни исканья, ни новыхъ затрудненій, сказалъ я, позвольте мнѣ пріѣхать къ вамъ въ десятомъ часу и поѣдемте вмѣстѣ.

— Очень радъ, я васъ буду ждать.

Отъ Гарибальди я отправился къ Ледрю-Ролленъ. Въ послѣдніе два года я его не видалъ. Не потому, чтобъ между нами были какіе-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общаго. Къ тому же лондонская жизнь и въ особенности въ его предметяхъ разводитъ людей какъ-то незамѣтно. Онъ держалъ себя въ послѣднее время одиноко и тихо, хотя и вѣрилъ съ тѣмъ же ожесточеніемъ, съ которымъ вѣрилъ 14 іюня 1849 въ близкую революцію во Франціи. Я не вѣрилъ въ нее почти также долго и тоже оставался при моемъ невѣріи.

Ледрю-Ролленъ, съ большой вѣжливостью ко мнѣ, отказался отъ приглашенія. Онъ говорилъ, что душевно былъ бы радъ опять встрѣтиться съ Гарибальди и, разумѣется, готовъ бы былъ ѣхать ко мнѣ, но что онъ, какъ представитель французской республики, какъ пострадавшій за Римъ (13 іюня 1849 года), не можетъ Гарибальди видѣть въ первый разъ иначе, какъ у себя.

— Если, говорилъ онъ, политическіе виды Гарибальди не дозволяютъ ему официально показать свою симпатію французской республикѣ, въ моемъ ли лицѣ, въ лицѣ Луи-Блана, или кого-нибудь изъ насъ, все равно, я не буду сѣтовать. Но отклоню

свиданье съ нимъ, гдѣ бы оно ни было. Какъ частный человѣкъ, я желаю его видѣть, но мнѣ нѣтъ особеннаго дѣла до него; французская республика не куртизанка, чтобъ ей назначать свиданье полутайкомъ. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете къ себѣ, и скажите откровенно, согласны вы съ моимъ разсужденіемъ или нѣтъ?

— Я полагаю, что вы правы, и надѣюсь, что вы не имѣете ничего противъ того, чтобъ я передалъ нашъ разговоръ Гарибальди?

— Совсѣмъ напротивъ.

Затѣмъ разговоръ перемѣнился. Февральская революція и 1848 годъ вышли изъ могилы и снова стали передо мной въ томъ же образѣ тогдашняго трибуна, съ нѣсколькими морщинами и сѣдинами больше. Тотъ же слогъ, тѣ же мысли, тѣ же обороты, а главное та же надежда.

— Дѣла идутъ превосходно. Имперія не знаетъ, что дѣлать. Elle est débordée. Сегодня еще я имѣлъ вѣсти, невѣроятный успѣхъ въ общественномъ мнѣніи. Да и довольно; кто могъ думать, что такая нелѣпость продержится до 1864.

Я не противорѣчилъ и мы разстались довольные другъ другомъ.

На другой день, пріѣхавши въ Лондонъ, я началъ съ того, что взялъ карету съ парой сильныхъ лошадей и отправился въ Стаффордъ-гаузъ.

Когда я вошелъ въ комнату Гарибальди, его въ ней не было. А ярый итальянецъ уже съ отчаяніемъ проповѣдывалъ о совершенной невозможности ѣхать въ Теддингтонъ.

— Неужели вы думаете, говорилъ онъ Гверцони, что лошади дюка вынесутъ 12 или 13 миль взадъ и впередъ, да ихъ просто не дадутъ на такую поѣздку.

— Ихъ ненужно, у меня есть карета.

— Да какія же лошади повезутъ назадъ, все тѣ же?

— Не заботьтесь, если лошади устанутъ, впрягутъ другихъ.

Гверцони съ бѣшенствомъ сказалъ мнѣ:

— Когда это кончится эта каторга, всякая дрянь распоряжается, интригуешь.

— Да вы не обо мнѣ ли говорите, кричалъ блѣдный отъ злобы итальянецъ, я, м. г., не позволю съ собой обращаться, какъ съ какимъ-нибудь лакеемъ, и онъ схватилъ на столѣ карандашъ, сломалъ его и бросилъ. Да если такъ, я все брошу, я сейчасъ уйду.

— Объ этомъ-то васъ просятъ.

Ярый итальянецъ направился быстрымъ шагомъ къ двери, но въ дверяхъ показался Гарибальди, покойно посмотрѣлъ онъ на нихъ, на меня и потомъ сказалъ:

— Не пора ли? Я въ вашихъ распоряженіяхъ, только доставьте меня, пожалуйста, въ Лондонъ къ 2¹/₂ или 3 часамъ, а теперь позвольте мнѣ принять стараго друга, который, только что приѣхалъ, да вы, можетъ, его знаете, Мордини.

— Больше, чѣмъ знаю, мы съ нимъ пріятели. Если вы не имѣете ничего противъ, я его приглашу.

— Возьмемъ его съ собой.

Взошелъ Мордини, я отошелъ съ Саффи къ окну. Вдругъ факотумъ, измѣнившій свое намѣреніе, подбѣжалъ ко мнѣ и храбро спросилъ меня:

— Позвольте, я ничего не понимаю, у васъ карета, а ѣдете, — вы сосчитайте: генераль, вы, Меноти, Гверцони, Саффи и Мордини... гдѣ вы сядете?

— Если нужно, будетъ еще карета, двѣ...

— А время-то ихъ достать...

Я посмотрѣлъ на него и, обращаясь къ Мордини, сказалъ ему:

— Мордини, я къ вамъ и къ Саффи съ просьбой, возьмите энсомъ и поѣжайте сейчасъ на Ватерлооскую станцію, вы застанете train, а то вотъ этотъ господинъ заботится, что намъ негдѣ сѣсть и вѣтъ времени послать за другой каретой. Если-бъ я вчера зналъ, что будутъ такія затрудненія, я пригласилъ бы Гарибальди ѣхать по желѣзной дорогѣ; теперь это потому нельзя, что я не отвѣчаю, найдемъ ли мы карету или коляску у теддингтонской станціи. А пѣшкомъ идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы ѣдемъ сейчасъ, отвѣчали Саффи и Мордини.

— Поѣдте и мы, сказалъ Гарибальди, вставая.

Мы вышли, толпа уже густо покрывала мѣсто передъ Стаффордъ-гаузомъ. Громкое, продолжительное ура встрѣтило и проводило нашу карету.

Меноти не могъ уѣхать съ нами, онъ съ братомъ отправлялся въ Виндзоръ. Говорятъ, что королева, которой хотѣлось видѣть Гарибальди, но которая одна во всей Великобританіи не имѣла на то права, желала *нечаянно* встрѣтиться съ его сыновьями. Въ этомъ дѣлѣжъ львиная часть досталась не королевѣ...

III.

У н а с ъ.

День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота,

въ немъ была эстетическая мѣра и законченность, очень рѣдко случающіяся. *Однимъ* днемъ позже, и праздникъ нашъ не имѣлъ бы того характера. Однимъ не итальянцемъ больше и тонъ былъ бы другой, по крайней мѣрѣ, была бы боязнь, что онъ исказится. Такіе дни представляютъ вершины... Дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропѣтыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвѣтахъ.

Съ той минуты, какъ исчезъ подъѣздъ Стаффордъ-гауза съ факотами, лакеями и швейцаромъ Сутерландскаго дюка и толпа приняла Гарибальди своимъ *ура*, на душѣ стало легко, все настроилось на свободный человѣческій діапазонъ и такъ осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова тѣсный, сжимаемый народомъ, цѣлуемый въ плечо и въ полы, сѣлъ въ карету и уѣхалъ въ Лондонъ.

На дорогѣ говорили объ разныхъ разностяхъ. Гарибальди дивился, что нѣмцы не понимаютъ, что въ Даніи побѣждаетъ не ихъ свобода, не ихъ единство, а двѣ арміи двухъ государствъ, съ которыми они послѣ не сладятъ ¹⁾).

— Если-бъ Данія была поддержана въ ея борьбѣ, говорилъ онъ, силы Австріи и Пруссіи были бы отвлечены, намъ открылась бы линія дѣйствій на противоположномъ берегу.

Я замѣтилъ ему, что нѣмцы страшные націоналисты, что на нихъ наклепали космополитизмъ, потому что ихъ знали по книгамъ. Они патріоты не меньше французовъ, но французы спокойнѣе, зная, что ихъ боятся. Нѣмцы знаютъ невыгодное мнѣніе о себѣ другихъ народовъ и выходятъ изъ себя, чтобъ поддержать свою репутацію.

— Неужели вы думаете, прибавилъ я, что есть нѣмцы, которые хотятъ отдать Венецію и квадрилатеръ? Можетъ, еще Венецію, вопросъ этотъ слишкомъ на виду, неправда этого дѣла очевидна, аристократическое имя дѣйствуетъ на нихъ; а вы поговорите о Триестѣ, который имъ нуженъ для торговли, и о Галиціи или Познани, которыя имъ нужны для того, чтобъ ихъ *цивилизовать*.

Между прочимъ, я передалъ Гарибальди нашъ разговоръ съ Ледрю-Ролленомъ и прибавилъ, что, по моему мнѣнію, Ледрю-Ролленъ правъ.

— Безъ сомнѣнія, сказалъ Гарибальди, совершенно правъ. Я не подумалъ объ этомъ. Завтра поѣду къ нему и къ Луи Блану. Да нельзя ли захватить теперь? прибавилъ онъ.

Мы были на Вондсвортскомъ шоссе, а Ледрю Ролленъ живетъ

¹⁾ Не странно ли, что Гарибальди въ оцѣнкѣ своей Шлезвигъ-Гольштинскаго вопроса встрѣтился съ К. Фогтомъ?

въ Сенъ-Джонсъ-Вудъ Паркъ, т. е., за восемь миль. Пришлось и мнѣ à l'impressario сказать, что это матеріально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчалъ, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминалъ. Онъ глядѣлъ въ даль, словно искалъ чего-то на горизонтѣ. Я не прерывалъ его, а смотрѣлъ и думалъ: «мечъ ли онъ въ рукахъ Провидѣнія», или нѣтъ, но навѣрное не полководецъ по ремеслу, не *генералъ*. Онъ сказалъ святую истину, говоря, что онъ не солдатъ, а просто человекъ, вооружившійся, чтобъ защитить поруганный очагъ свой, апостоль-воинъ, готовый проповѣдывать крестовый походъ и идти во главѣ его, готовый отдать за свой народъ свою душу, своихъ дѣтей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, разсѣять его прахъ... и, позабывши потомъ побѣду, бросить окровавленный мечъ свой вмѣстѣ съ ножами въ глубину морскую...

Все это и *именно это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь тѣмъ ясновидѣніемъ, тѣмъ откровеніемъ, которымъ нѣкогда римскіе рабы поняли непонятную тайну пришествія Христова, и толпы страждущихъ и обремененныхъ, женщинъ и старцевъ, молились кресту казненнаго. Понять значить для нихъ увѣровать, увѣровать значить чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейскій Теддингтонъ и толпился у рѣшетки нашего дома, съ утра поджидая Гарибальди. Когда мы подѣхали, толпа въ какомъ-то изступленіи бросилась его привѣтствовать, жала ему руки, кричала: God bless you, Garibaldi, женщины хватили руку его и цѣловали, цѣловали край его плаща—я это видѣлъ своими глазами—подымали дѣтей своихъ къ нему, плакали... Онъ, какъ въ своей семьѣ, улыбаясь, жалъ имъ руки, кланялся и едва могъ пройти до сѣней. Когда онъ взшелъ, крикъ удвоился,—Гарибальди вышелъ опять и, положи обѣ руки на грудь, кланялся во всѣ стороны. Народъ затихъ, но остался и простоялъ все время, пока Гарибальди уѣхалъ.

Трудно людямъ, не видавшимъ ничего подобнаго, понять подобныя явленія: «флибустьеръ», сынъ моряка изъ Ниццы, матросъ... и этотъ царскій приемъ! Что онъ сдѣлалъ для англійскаго народа?... И добрые люди ищутъ, ищутъ въ головѣ объясненія, ищутъ тайную пружину: «въ Англии удивительно съ какимъ плутовствомъ умѣтъ *начальство* устраивать демонстраціи... Насъ не проведешь—Wir wissen was wir wissen—мы сами Гнейста читали!»

Чего добраго, можетъ, и лодочникъ въ Неаполѣ, который рассказывалъ ¹⁾, что медальонъ Гарибальди и медальонъ Богородицы

¹⁾ „Колоколь“, № 177 (1864).

предохраняють во время бури, былъ подкупленъ партіей Сикарди и министерствомъ Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтобъ журнальные Видоки, особенно наши москворѣцкіе, такъ ужъ ясно могли отгадывать игру такихъ мастеровъ, какъ Пальмерстонъ, Гладстонъ и К^о, но все же иной разъ они ее скорѣе поймутъ, по сочувствію крошечнаго паука съ огромнымъ тарантуломъ, чѣмъ секретъ Гарибальдѣйскаго приема. И это превосходно для нихъ,—пойми они *эту тайну*, имъ придется повѣситься на ближней осинѣ. Клѣпы на томъ только основаніи и могутъ жить счастливо, что они не догадываются о своемъ запахѣ. Горе клѣпу, у котораго раскроется *человѣческое* обоняніе...

...Маццини пріѣхалъ тотчасъ послѣ Гарибальди, мы всѣ вышли его встрѣчать къ воротамъ. Народъ, услышавъ кто это, громко привѣтствовалъ; народъ вообще ничего не имѣетъ противъ него. Старушечій страхъ передъ агитаторомъ начинается съ лавочниковъ, мелкихъ собственниковъ и проч.

Нѣсколько словъ, которыя сказали Маццини и Гарибальди, извѣстны читателямъ *Колокола*, мы не считаемъ нужнымъ ихъ повторять.

...Всѣ были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини ¹⁾, тѣмъ искреннимъ голосомъ, которымъ они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало въ нихъ, той торжественностью, которую они пріобрѣтали отъ ряда предшествовавшихъ событій, что никто не отвѣчалъ, одинъ Маццини протянулъ руку и два раза повторилъ—«это слишкомъ». Я не видалъ ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида гесцеилли и не было бы взволновано сознаниемъ, что тутъ пали великія слова, что эта минута вносила въ исторію.

Мы перешли въ другую комнату. Въ коридорѣ понабрались разныя лица, вдругъ продирается старикъ итальянецъ, стародавній эмигрантъ, бѣднякъ, дѣлавшій мороженое; онъ схватилъ Гарибальди за полу, остановилъ его и, заливаясь слезами, сказалъ:

— Ну, теперь я могу умереть, я его видѣлъ, я его видѣлъ!

Гарибальди обнялъ и поцѣловалъ старика. Тогда старикъ,

¹⁾ Гарибальди, съ *рюмкой марсалы* въ рукахъ, сказалъ:

„Я хочу сегодня исполнить долгъ, который уже давно слѣдовало бы исполнить. Между нами здѣсь чловѣкъ, оказавшій величайшія услуги и моему родному краю и свободѣ вообще. Когда еще я былъ юношей и имѣлъ одни неопредѣленные стремленія, я искалъ чловѣка, который бы могъ быть путеводителемъ, совѣтникомъ моей юности, искалъ его, какъ жаждущій ищетъ воды... Я нашелъ его. Онъ одинъ бодрствовалъ, когда все спало кругомъ. Онъ сдѣлался моимъ другомъ и остался имъ навсегда, въ немъ никогда не потухалъ священный огонь любви къ отечеству и къ свободѣ. Этотъ чловѣкъ Джузеппе Маццини— я пью за него, за моего друга, за моего наставника!“

перебиваясь и путаясь, съ страшною быстротою народнаго итальянскаго языка, началъ разсказывать Гарибальди свои похождения и заключилъ свою рѣчь удивительнымъ цвѣткомъ южнаго краснорѣчія:

— Я теперь умру покойно, а вы—да благословить васъ Богъ— живите долго, живите для нашей родины, живите для насъ, живите, пока я воскресну изъ мертвыхъ!

Онъ схватилъ его руку, покрылъ ее поцѣлуями и, рыдая, ушелъ вонъ.

Какъ ни привыкъ Гарибальди ко всему этому, но явнымъ образомъ взволнованный, онъ сѣлъ на небольшой диванъ, дамы окружили его, я сталъ возлѣ дивана,—и на него налетѣло облако тяжелыхъ думъ; но на этотъ разъ онъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Мнѣ иногда бываетъ страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишкомъ много хорошаго. Я помню, когда изгнанникомъ я возвращался изъ Америки въ Ниццу, когда я опять увидалъ родительскій домъ, нашелъ свою семью, родныхъ, знакомыя мѣста, знакомыхъ людей,—я былъ удрученъ счастьемъ... Вы знаете, прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, что и что было потомъ, какой рядъ бѣдствій. Приѣмъ народа англійскаго превзошелъ мой ожиданія... Что же дальше? Что впереди?

Я не имѣлъ ни одного слова успокоенія, я внутренне дрожалъ передъ вопросомъ: *Что дальше? Что впереди?*

... Пора было ѣхать. Гарибальди всталъ, крѣпко обнялъ меня, дружески простился со всѣми,—снова крики, снова *ура*, снова два толстыхъ полицейскихъ и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу, снова God bless you, Garibaldi, for ever... и карета умчалась.

Всѣ остались въ какомъ-то поднятомъ, тихо торжественномъ настроеніи. Точно послѣ праздничнаго богослуженія, послѣ крестинъ или отъѣзда невѣсты, у всѣхъ было полно на душѣ, всѣ перебирали подробности и примыкали къ грозному, безотвѣтному— «А что дальше?»

Князь П. В. Долгорукій первый догадался взять листъ бумаги и записать оба тоста. Онъ записалъ вѣрно, другіе дополнили. Мы показали Маццини и другимъ, и составили тотъ текстъ (съ легкими и несущественными перемѣнами), который облетѣлъ Европу.

Потомъ уѣхалъ Маццини, уѣхали гости. Мы остались одни съ двумя-тремя близкими и тихо настали сумерки.

Какъ искренно и глубоко жалѣлъ я, дѣти, что васъ не было съ нами въ этотъ день: такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свѣжѣетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало...

IV.

26. Princess Gate.

«Что-то будетъ?»... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Какъ въ старыхъ эпопеяхъ, въ то время, какъ герой спокойно отдыхаетъ на лаврахъ, пируетъ или спитъ,—Раздоръ, Мечь, Зависть въ своемъ парадномъ костюмѣ съѣзжаются въ какихъ-нибудь тучахъ; Мечь съ Завистью варятъ ядъ, куютъ кинжалы, а Раздоръ раздуваетъ мѣха и оттачиваетъ острія. Такъ случилось и теперь, въ приличномъ переложеніи на наши мирно-кроткіе нравы. Въ нашъ вѣкъ все это дѣлается просто людьми, а не аллегоріями; они собираются въ свѣтлыхъ залахъ, а не во «тѣмѣ ночной», безъ растрепанныхъ фурій, а съ пудренными лакеями; декорация и ужасы классическихъ поэмъ и дѣтскихъ пантомимъ замѣнены простой мирной *игрой*—въ крапленныя карты, колдовство—обыденными коммерческими продѣлками, въ которыхъ *честный* лавочникъ клянется, продавая какую-то смородинную ваксу съ водкой, что это «портъ» и притомъ «олдпортъ ххх», зная, что ему никто не вѣритъ, но и процесса не сдѣлаетъ, а если сдѣлаетъ, то самъ же будетъ въ дуракахъ.

Въ то самое время, какъ Гарибальди называлъ Маццини своимъ «другомъ и учителемъ», называлъ его тѣмъ раннимъ, бдящимъ сѣтелемъ, который одиноко стоялъ на полѣ, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указалъ его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, изъ котораго вышелъ вождь народа итальянскаго; въ то время, какъ, окруженный друзьями, онъ смотрѣлъ на плакавшаго бѣдняка-изгнанника, повторявшаго свое «нынѣ отпущаеши», и самъ чуть не плакалъ; въ то время, когда онъ повѣрялъ намъ свой тайный ужасъ передъ будущимъ,—какіе-то *заговорщики* рѣшили отдѣлаться во чтобъ ни стало отъ неловкаго гостя и несмотря на то, что въ *заговоръ* участвовали люди, состарившіеся въ дипломатіяхъ и интригахъ, посядѣвшіе и падшіе на ноги въ каверзахъ и лицемѣріи, они сыграли свою игру вовсе не хуже честнаго лавочника, продающаго на свое *честное* слово смородинную ваксу за Old Port ххх.

Англійское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди,—это все вздоръ, выдуманый глубоко-

мысленными журналистами на континентѣ. Англичане, приглашавшіе Гарибальди, не имѣютъ ничего общаго съ министерствомъ. Предположеніе правительственнаго плана такъ же нелѣпо, какъ тонкое замѣчаніе нашихъ кретиновъ о томъ, что Пальмерстонъ далъ Стансфильду мѣсто въ адмиралтействѣ *именно потому*, что онъ другъ Маццини. Замѣтите, что въ самыхъ яростныхъ нападкахъ на Стансфильда и Пальмерстона объ этомъ не было рѣчи ни въ парламентѣ, ни въ англійскихъ журналахъ, подобная пошлость возбудила бы такой же смѣхъ, какъ обвиненіе Уркуарда, что Пальмерстонъ беретъ деньги съ Россіи. Чемберсъ и другіе спрашивали Пальмерстона, не будетъ ли пріѣзъ Гарибальди неприятеlemъ правительству. Онъ отвѣчалъ то, что ему слѣдовало отвѣчать: правительству не можетъ быть неприятно, чтобъ генераль Гарибальди пріѣхалъ въ Англію, оно, съ своей стороны, не отклоняетъ его пріѣзда и не приглашаетъ его.

Гарибальди согласился пріѣхать съ цѣлью снова выдвинуть въ Англіи итальянскій вопросъ, собрать настолько денегъ, чтобъ начать походъ въ Адриатикѣ и совершившимся фактомъ увлечь Виктора Эмануила.

Вотъ и все.

Что Гарибальди будутъ оваціи,—знали очень хорошо приглашавшіе его и всѣ желавшіе его пріѣзда. Но оборотъ, который приняло дѣло, они не ждали.

Англійскій народъ при вѣсти, что человекъ «красной рубашки», что *раненый итальянской пулей* ѣдетъ къ нему въ гости, встрепенулся и взмахнулъ своими крыльями, отвыкнувшими отъ полета и потерявшими гибкость отъ тяжелой и непрерывной работы. Въ этомъ взмахѣ была не одна радость и не одна любовь.

Вспомните мою встрѣчу съ корабельщикомъ изъ Нью-Кестля. Вспомните, что лондонскіе работники были первые, которые въ своемъ адресѣ преднамѣренно поставили имя Маццини рядомъ съ Гарибальди.

Англійская аристократія на сію минуту отъ своего могучаго и забитаго недоросля ничего не боится; сверхъ того, ея Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революціи. Но все же ей былъ крайне неприятеlemъ характеръ, который принимало дѣло. Главное, что коробило народныхъ пастырей въ мирной агитаціи работниковъ, это то, что она выводила ихъ изъ достодолжнаго строя, отвлекала ихъ отъ доброй, нравственной и притомъ безвыходной заботы о хлѣбѣ насущномъ, отъ пожизненнаго *hard labor*, на который не они его приговорили, а нашъ общій фабрикантъ, our Maker, богъ Шефтсбюри, богъ Дерби, богъ Сутерландовъ и Девоншировъ — въ неисповѣдимой премудрости своей и нескончаемой благодати.

Настоящей английской аристократіи, разумѣется, и въ голову не приходило изгонять Гарибальди; напротивъ, она хотѣла утннуть его въ себя, закрыть его золотымъ облакомъ, какъ закрывалась волоокая Гера, забавляясь съ Зевсомъ. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему придти въ себя, опомниться, остаться минутою одному. Гарибальди хочеть денегъ,—много ли могутъ ему собрать, осужденные благостью нашего «фабриканта», фабриканты Шефтсбюри, Дерби, Девоншира на тихую и благословенную бѣдность? Мы ему набросаемъ полмилліона, милліонъ франковъ, полпари за лошадь на Эпсомской скачкѣ, мы ему купимъ—

Деревню, дачу, домъ,
Сто тысячъ чистымъ серебромъ.

Мы ему купимъ остальную часть Капреры, мы ему купимъ удивительную яхту, онъ такъ любитъ кататься по морю; а чтобъ онъ не бросилъ на вздоръ деньги (подъ вздоромъ разумѣется освобожденіе Италіи), мы сдѣлаемъ маіоратъ, мы предоставимъ ему пользоваться рентой ¹⁾.

Всѣ эти планы приводились въ исполненіе съ самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно мѣсяцъ въ ненастную ночь, какъ облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходилъ свѣтлый, ясный и свѣтилъ къ намъ внизъ.

Аристократія начала нѣсколько конфузиться. На выручку ей явились *дѣльцы*. Ихъ интересы слишкомъ скоротечны, чтобъ думать о нравственныхъ послѣдствіяхъ агитаціи, имъ надобно владѣть минутой,—какъ бы этимъ не воспользовались тори... и то Стансфильдова исторія вотъ гдѣ сидитъ.

По счастью, въ самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать въ Тюльери! Нужда была небольшая, онъ тотчасъ возвратился. Наполеонъ говорилъ съ нимъ о Гарибальди и изъявилъ свое удовольствіе, что английскій народъ чтитъ великихъ людей. Дрюинъ-де-Люйсъ говорилъ, т. е., онъ ничего не говорилъ, а если-бъ онъ заикнулся—

Я близъ Кавказа рождена,
Civis romanus sum!

Австрійскій посолъ даже и не радовался приему—*увелциунгсз*

¹⁾ Какъ будто Гарибальди просилъ денегъ для себя. Разумѣется, онъ отказался отъ приданнаго английской аристократіи, даннаго на такихъ нелѣпыхъ условіяхъ, къ крайнему огорченію полицейскихъ журналовъ, рассчитавшихъ грошъ въ грошъ, сколько онъ увезетъ на Капреру.

генерала. Все обстояло благополучно. А на душѣ-то кошки... кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» со вторымъ, «второй» съ другомъ Гарибальди, другъ Гарибальди съ родственникомъ Пальмерстона, съ лордомъ Шефтсбюри и съ еще большимъ его другомъ Силли, Силли шепчется съ операторомъ Фергюсономъ,—испугался Фергюсонъ, ничего не боявшійся за ближняго, и пишетъ письмо за письмомъ о болѣзни Гарибальди. Прочитавши ихъ, еще больше хирурга испугался Гладстонъ. Кто могъ думать, какая пропасть любви и состраданія лежитъ иной разъ подъ портфелемъ министра финансовъ?..

...На другой день послѣ нашего праздника поѣхалъ я въ Лондонъ. Беру на желѣзной дорогѣ вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болѣзнъ генерала Гарибальди», потомъ вѣсть, что онъ на дняхъ ѣдетъ въ Капреру, *не заѣзжая ни въ одинъ городъ*. Не будучи ни такъ нервно чувствителенъ, какъ Шефтсбюри, ни такъ тревожливъ за здоровье друзей, какъ Гладстонъ, я нисколько не обезпокоился газетной вѣстью о болѣзни человѣка, котораго вчера видѣлъ совершенно здоровымъ,—конечно, бываютъ болѣзни очень быстрыя, но отъ *апоплексического* удара Гарибальди былъ далекъ, а если-бъ съ нимъ что и случилось, кто-нибудь изъ общихъ друзей далъ бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ѣхать къ Гарибальди было поздно. Я отправился къ Маццини и не засталъ его, потомъ къ одной дамѣ, отъ которой узналъ главныя черты министерскаго состраданія къ болѣзни великаго человѣка. Туда пришелъ и Маццини, такимъ я его еще не видалъ; въ его чертахъ, въ его голосѣ были слезы.

Изъ рѣчи, сказанной на второмъ митингѣ на Примрозъ-Гилъ Шеномъ, можно знать en gros, какъ было дѣло. «Заговорщики» были имъ названы обстоятельства описаны довольно вѣрно. Шефтсбюри пріѣзжалъ совѣтоваться съ Силли; Силли, какъ дѣловой человѣкъ, тотчасъ сказалъ, что необходимо письмо Фергюсона; Фергюсонъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобъ отказать въ письмѣ. Съ нимъ-то въ воскресенье вечеромъ, 17 апрѣля, явились заговорщики въ Стаффордъ-гаусъ и возлѣ комнаты, гдѣ Гарибальди спокойно сидѣлъ, не зная ни того, что онъ такъ боленъ, ни того, что онъ ѣдетъ, ѣль виноградъ,—сговаривались, что дѣлать. Наконецъ, храбрый Гладстонъ взялъ на себя трудную роль и пошелъ въ сопровожденіи Шефтсбюри и Силли въ комнату Гарибальди. Гладстонъ заговаривалъ цѣлые парламенты, университеты, корпорація, депутація,—мудрено-ли было заговорить Гарибальди, къ тому же онъ рѣчь велъ на итальянскомъ языкѣ, и хорошо сдѣлалъ, потому что вчетверомъ говорилъ безъ

свидѣтелей. Гарибальди ему отвѣчалъ сначала, «что онъ здоровъ»; но министръ финансовъ не могъ принять случайный фактъ его здоровья за оправданіе и доказывалъ по Фергюсону, что онъ боленъ, и это съ документомъ въ рукѣ. Наконецъ, Гарибальди, догадавшись, что нѣжное участіе прикрываетъ что-то другое, спросилъ Гладстона:

— Значить ли все это, что они желаютъ, чтобъ онъ ѣхалъ?

Гладстонъ не скрылъ отъ него, что присутствіе Гарибальди во многомъ усложняетъ трудное безъ того положеніе.

— Въ такомъ случаѣ я ѣду.

Смягченный Гладстонъ испугался слишкомъ *замѣтнаго* успѣха и предложилъ ему ѣхать въ два-три города, и потомъ отправиться въ Капреру.

— Выбирать между городами я не умѣю, отвѣчалъ оскорбленный Гарибальди, и даю слово, что черезъ два дня уѣду.

... Въ понедѣльникъ была интерпелляція въ парламентѣ. Вѣтреный старичекъ Пальмерстонъ въ одной и быстрый пилигримъ Кларендонъ въ другой палатѣ все объясняли по чистой совѣсти. Кларендонъ удостовѣрилъ пэровъ, что Наполеонъ вовсе не требовалъ высылки Гарибальди. Пальмерстонъ, съ своей стороны, вовсе не желалъ его удаленія. Онъ только беспокоился о его здоровьи... и тутъ онъ вступилъ во всѣ подробности, въ которыя вступаетъ любящая жена или врачъ, присланный отъ страхового общества,—о часахъ сна и ѣды, о послѣдствіяхъ раны, о діетѣ, о волненіи, о лѣтахъ. Засѣданіе парламента сдѣлалось консультаціей лекарей. Министръ ссылался не на Чама и Кембея, а на лечебники и Фергюсона, помогавшаго ему въ этой трудной операціи.

Законодательное собраніе рѣшило, что Гарибальди боленъ. Города и села, графства и банки управляются въ Англии по собственному крайнему разумѣнію. Правительство, ревниво отталкивающее отъ себя всякое подозрѣніе въ вмѣшательствѣ, позволяющее ежедневно умирать людямъ съ голоду, боясь ограничить самоуправленіе рабочихъ домовъ, позволяющее морить на работѣ и кретинизировать цѣлыя населенія, вдругъ дѣлается больничной сидѣлкой, дядькой. Государственные люди бросаютъ кормило великаго корабля и шушукуются о здоровьи челоуѣка, не просящаго ихъ о томъ, прописываютъ ему безъ его спроса Атлантическій океанъ и Сутерландскую «Ундиу», министръ финансовъ забываетъ балансъ, income tax, debit и credit, и ѣдетъ на консиліумъ. Министръ министровъ докладываетъ этотъ патологическій казусъ парламенту. Да неужели самоуправленіе желудкомъ и ногами меньше свято, чѣмъ произволъ богоугодныхъ заведеній, служащихъ введеніемъ въ кладбище?

Давно ли Стансфильдъ пострадалъ за то, что, служа королевѣ, не счелъ обязанностью поссориться съ Маццини? А теперь самые *мстныя* министры пишутъ не адреса, а рецепты и хлопчутъ изъ всѣхъ силъ о сохраненіи дней такого же революціонера, какъ Маццини?

Гарибальди *долженъ былъ* усомниться въ желаніи правительства, изъявленномъ ему слишкомъ горячими друзьями его, и остаться; развѣ кто-нибудь могъ сомнѣваться въ истинѣ словъ перваго министра, сказанныхъ представителямъ Англіи,—ему это совѣтовали всѣ друзья.

— Слова Пальмерстона не могутъ развязать моего честнаго слова,—отвѣчалъ Гарибальди и велѣлъ укладываться.

Это Сольферино!

Бѣлинскій давно замѣтилъ, что секретъ успѣха дипломатовъ состоитъ въ томъ, что они съ нами поступаютъ какъ съ дипломатами, а мы съ *дипломатами* какъ съ людьми.

Теперь вы понимаете, *что однимъ днемъ позже* и нашъ праздникъ и рѣчь Гарибальди, его слова о Маццини не имѣли бы того значенія.

...На другой день я поѣхалъ въ Стаффордъ-гаузъ и узналъ, что Гарибальди переѣхалъ къ Силли, 26 Princess Gate, возлѣ Кензинтонскаго сада. Я отправился въ Princess Gate; говорить съ Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали съ глазъ, человекъ двадцать гостей ходило, сидѣло, молчало, говорило въ залѣ, въ кабинетѣ.

— Вы ѣдете?—сказалъ я и взялъ его за руку.

Гарибальди пожалъ мою руку и отвѣчалъ печальнымъ голосомъ:

— Я покоряюсь необходимостямъ (*je plie aux nécessités*).

Онъ куда-то ѣхалъ; я оставилъ его и пошелъ внизъ, тамъ засталъ я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, всѣ были вѣ себя отъ отъѣзда Гарибальди. Взошла m-me Силли и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ къ хозяйкѣ дома, говоря о счастіи познакомиться съ такой *personne distinguée*. M-me Силли обратилась къ Стансфильду, прося его перевести въ чемъ дѣло. Француженка продолжала:

— Ахъ, Боже мой, какъ я рада, это вѣрно вашъ сынъ, позвольте мнѣ ему представиться.

Стансфильдъ разувѣрилъ француженку, не замѣтившую, что m-me Силли однихъ съ нимъ лѣтъ, и просилъ ее сказать, что ей угодно. Она бросила взглядъ на меня (Саффи и другіе ушли) и сказала:

— Мы не одни.

Стансфильдъ назвалъ меня. Она тотчасъ обратилась съ *рѣчью* ко мнѣ и просила остаться, но я предпочелъ ее оставить въ *tête à tête* съ Стансфильдомъ и опять ушелъ наверхъ. Черезъ минуту пришелъ Стансфильдъ съ какимъ-то крюкомъ или рванью. Мужъ французенки изобрѣлъ его и она хотѣла одобренія Гарибальди.

Послѣдніе два дня были смутны и печальны. Гарибальди избѣгалъ говорить о своемъ отъѣздѣ и ничего не говорилъ о своемъ здоровьи... во всѣхъ близкихъ онъ встрѣчалъ печальный упрекъ. Дурно было у него на душѣ, но онъ молчалъ.

Наканунѣ отъѣзда, часа въ два, я сидѣлъ у него, когда пришли сказать, что въ приемной уже тѣсно. Въ этотъ день представлялись ему члены парламента съ семействами и разная *nobility* и *gentry*, всего по «Теймсу» до двухъ тысячъ человѣкъ, это было *Grande levée*, царскій выходъ.

Гарибальди всталъ и спросилъ:

— Неужели пора?

Стансфильдъ, который случился тутъ, посмотрѣлъ на часы и сказалъ:

— Еще минутъ пять есть до назначеннаго времени.

Гарибальди вздохнулъ и весело сѣлъ на свое мѣсто. Но тутъ прибѣжалъ фактотумъ и сталъ распорядиться, гдѣ поставить диванъ, въ какую дверь входить, въ какую выходить.

— Я уйду,—сказалъ я Гарибальди.

— Зачѣмъ, оставайтесь.

— Что же я буду дѣлать?

— Могу же я,—сказалъ онъ улыбаясь,—оставить одного знакомаго, когда принимаю столько незнакомыхъ.

Отворились двери; въ дверяхъ сталъ импровизированный церемоніймейстеръ съ листомъ бумаги и началъ громко читать какой-то адресъ-календарь—*The right honorable so and so—honorable—esquire—lady—esquire—lordship—Misses—esquire—m. p.—m. p.—m. p.*, безъ конца. При каждомъ имени врывались въ дверь и потомъ покойноплыли старые и молодые криволины, аэростаты, сѣдые головы и головы безъ волосъ, крошечные и толстенкые старички-крѣпыши и какіе-то худые жирафы, безъ заднихъ ногъ, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что какъ-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы... каждый имѣлъ три, четыре, пять дамъ, и это было очень хорошо, потому что онѣ занимали мѣсто пятидесяти человѣкъ и такимъ образомъ спасали отъ давки. Всѣ подходили по очереди къ Гарибальди, мужчины трясали ему руку съ той силой, съ которой это дѣлаетъ человѣкъ, поавши пальцемъ въ кипяткъ, иные при этомъ что-то говорили, большая

часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрѣли такъ страстно и долго на Гарибальди, что въ нынѣшнемъ году, навѣрное, въ Лондонѣ будетъ урожай дѣтей съ его чертами, а такъ какъ дѣтей и теперь ужъ водятъ въ такихъ же красныхъ рубашкахъ, какъ у него, то дѣло станетъ только за плащемъ.

Откланявшіеся плыли въ противоположную дверь, открывавшуюся въ залу, и спускались по лѣстницѣ; болѣе смѣлые не торопились, а старались побыть въ комнатѣ.

Гарибальди сначала стоялъ, потомъ сѣлся и вставалъ, наконецъ, просто сѣлъ. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать... кареты все подъѣзжали... церемоніймейстеръ все читалъ памяти.

Грянула музыка *horse gard'овъ*, я постоялъ, постоялъ и вышелъ сначала въ залу, а потомъ вмѣстѣ съ потокомъ кринолинныхъ волнъ достигъ до каскады и съ нею очутился у дверей комнаты, гдѣ обыкновенно сѣдѣли Саффи и Мордини. Въ ней никого не было, на душѣ было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка съ позолотой и рядомъ эта комедія царскаго приѣма? Усталый бросился я на диванъ, музыка играла изъ Лукреціи, и очень хорошо, я сталъ слушать.—Да, да, *Non curiamo l'incerto domani*.

Въ окно былъ виденъ рядъ каретъ; эти еще не подъѣхали, вотъ двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка... и мнѣ представилось, какъ Гарибальди, съ раненой *рукой*, усталый, печальный сидитъ, у него по лицу идетъ туча, этого никто не замѣчаетъ, и все плывутъ кринолины, и все идутъ *right honorable's*—сѣдые, плѣшивые, скулы, жирафы...

...Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ; не знаю, какъ это случилось, но я заснулъ, кто-то отворилъ дверь и разбудилъ меня... Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, конца не видать... Они въ самомъ дѣлѣ его убьютъ!

Я пошелъ домой.

На другой день, т. е., въ день отъѣзда, я отправился къ Гарибальди въ семь часовъ утра, и нарочно для этого ночевалъ въ Лондонѣ. Онъ былъ мраченъ, отрывистъ, тутъ только можно было догадаться, что онъ привыкъ къ начальству, что онъ былъ желѣзнымъ вождемъ на полѣ битвы и на морѣ.

Его поймалъ какой-то господинъ, который привелъ сапожника, изобрѣтателя обуви съ желѣзнымъ снарядомъ для Гарибальди. Гарибальди сѣлъ самоотверженно на кресло,—сапожникъ въ потѣ лица надѣлъ на него свою колодку, потомъ заставилъ его потопать и походить, все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить?—спросилъ Гарибальди.

— Помилуйте, отвѣчалъ господинъ, вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

— На дняхъ это будетъ на вѣвѣскѣ, — замѣтилъ кто-то, а Гарибальди съ умоляющимъ видомъ сказалъ молодому человѣку, который ходилъ за нимъ:

— Бога ради, избавьте меня отъ этого снаряда, мочи нѣтъ больно.

Это было ужасно смѣшно.

Затѣмъ явились аристократическія дамы, менѣ важныя толпой ожидали въ залѣ.

Я и Огаревъ, мы подошли къ нему.

— Прощайте, сказалъ я. Прощайте и до свиданья въ Капрерѣ.

Онъ обнялъ меня, сѣлъ, протянулъ намъ обѣ руки и голову, который такъ и рѣзнулъ по сердцу, сказалъ:

— Простите меня, простите меня, у меня голова кругомъ идетъ, пріѣзжайте въ Капреру.

И онъ еще разъ обнялъ насъ.

Гарибальди послѣ приѣма собирался ѣхать на свиданіе съ дюкомъ Уэльскимъ въ Стаффордъ-гаузъ.

Мы вышли изъ воротъ и разошлись. Огаревъ пошелъ къ Маццини, я къ Ротшильду. У Ротшильда въ конторѣ еще не было никого. Я взшелъ въ таверну св. Павла и тамъ не было никого... Я спросилъ себѣ ромстекъ и, сидя совершенно одинъ, перебиралъ подробности этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь»...

... Ступай, великое дитя, великая сила, великій юродивый и великая *простота*. Ступай на свою скалу, плебей въ красной рубашкѣ и король Лиръ! — Гонериль тебя гонить, оставь ее, у тебя есть бѣдная Корделія, она не разлюбитъ тебя и не умретъ!

Четвертое дѣйствіе кончилось...

Что-то будетъ въ пятомъ?

15 мая, 1864 г.

Апогей и перигей.

(Продолженіе).

По воскресеньямъ вечеромъ собирались у насъ знакомые, и преимущественно русскіе. Въ 1862 число послѣднихъ очень увеличилось: на выставку пріѣзжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности. Дѣлать строгій выборъ было невозможно; короткихъ знакомыхъ мы предупреждали, чтобъ они приходили въ другой день. Благочестивая скука лондонскаго воскресенья побуждала осторожность. Отчасти эти воскресенья и привели къ бѣдѣ. Но прежде чѣмъ я ее передамъ, я долженъ познакомить съ двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися въ скромной залѣ Orsett-house. Наша галлерей живыхъ рѣдкостей изъ Россіи была, безъ всякаго сомнѣнія, замѣчательнѣе и занимательнѣе русскаго отдѣла на Great Exhibition.

... Въ 1860 получаю я изъ одного отеля на Гай-Маркетѣ русское письмо, въ которомъ какіе-то люди извѣщали меня, что они, русскіе, находятся въ услуженіи князя Юрія Николаевича Голицына, тайно оставившаго Россію: «самъ князь поѣхалъ на Константинополь, а насъ отправилъ по другой дорогѣ. Князь велѣлъ дожидаться его и далъ намъ денегъ на нѣсколько дней. Прошло больше двухъ недѣль; о князѣ ни слуха; деньги вышли, хозяинъ гостиницы сердится. Мы не знаемъ, что дѣлать; по-англійски никто не говорить». Находясь въ такомъ безпомощномъ состояніи, они просили, чтобъ я ихъ выручилъ. Я поѣхалъ къ нимъ и уладилъ дѣло. Хозяинъ отеля зналъ меня и согласился подождать еще недѣлю.

Дней черезъ пять послѣ моей поѣздки подѣхала къ крыльцу богатая коляска, запряженная парой сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Сколько я ни объяснялъ моей прислугѣ, что, какъ бы человекъ ни пріѣзжалъ, хоть цугомъ, и какъ бы ни назывался, хоть дюкомъ, всеже утромъ не принимать; но уваженія къ аристократическому экипажу и титулу я не могъ побѣдить.

На этотъ разъ встрѣтились оба искусительныя условія, и потому черезъ минуту огромный мужчина, толстый, съ красивымъ лицомъ ассирійскаго бога-вола, обнялъ меня, благодаря за мое посѣщеніе къ его людямъ.

Это былъ князь Юрій Николаевичъ Голицынъ. Такого крупнаго, характеристическаго обломка всей Россіи, такого цвѣтка съ нашей родины я давно не видалъ.

Онъ мнѣ сразу разсказалъ какую-то неправдоподобную исторію, которая вся оказалась справедливой: какъ онъ давалъ кантонисту переписывать статью въ *Колоколъ*, и какъ онъ разошелся со своей женой; какъ кантонистъ донесъ на него, а жена не присылаетъ денегъ; какъ государь его услалъ на безвыѣздное житье въ Козловъ, вслѣдствіе чего онъ рѣшился бѣжать за границу, и поэтому увезъ съ собой какую-то барышню, гувернантку, управляющаго, регента и горничную, черезъ молдавскую границу.

Въ Галацѣ онъ захватилъ еще какого-то лакея, говорившаго ломанымъ языкомъ на пяти языкахъ и показавшагося ему шпіономъ. Тутъ же объявилъ онъ мнѣ, что онъ страстный музыкантъ и будетъ давать концерты въ Лондонѣ, а потому хочетъ познакомиться съ Огаревымъ.

— Дорого у васъ здѣсь въ Англии б—берутъ на таможенѣ,—сказалъ онъ, слегка заикаясь и окончивъ курсъ своей всеобщей исторіи.

-- За товары можетъ,—замѣтилъ я—а къ путешественникамъ costume-house очень снисходителенъ.

— Не скажу; я заплатилъ шиллинговъ 15 за крокодила.

— Да это что такое?

— Какъ что?—да просто крокодилъ.

Я сдѣлалъ большіе глаза и спросилъ его:

— Да вы, князь, что же это: возите съ собой крокодила вмѣсто паспорта, стращать жандармовъ на границахъ?

— Такой случай. Я въ Александріи гулялъ; а тутъ какой-то арабченкокъ продаетъ крокодила. Понравился, я и купилъ.

— Ну, а арабченка купили?

— Ха, ха—нѣтъ.

Черезъ недѣлю князь былъ уже инсталированъ въ Porchester terrace, т. е., въ очень дорогой части города, въ большомъ домѣ. Онъ началъ съ того, что велѣлъ на вѣки-вѣчные, вопреки англійскому обычаю, отперты настѣжь ворота и поставилъ въ вѣчномъ ожиданіи у подъѣзда пару сѣрыхъ лошадей въ яблочкахъ. Онъ зажилъ въ Лондонѣ, какъ въ Козловѣ, какъ въ Тамбовѣ.

Денегъ у него, разумѣется, не было, т. е., были нѣсколько

тысячь франковъ на афишу и заглавный листъ лондонской жизни; ихъ тотчасъ истратилъ; но пылъ въ глаза бросилъ и успѣлъ на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечиться, благодаря английской тупоумной довѣрчивости, отъ которой иностранцы всего континента не могутъ еще поднесъ отучить ихъ.

Но князь шелъ на всѣхъ парахъ.—Начались концерты. Лондонъ былъ удивленъ княжескимъ титуломъ на афишѣ, и во второй концертъ зала была полна (S.-James hall, Piccadilly). Концертъ былъ великолѣпный. Какъ Голицынъ успѣлъ такъ приготовить хоръ и оркестръ,—это его тайна; но концертъ былъ совершенно изъ ряду вонъ. Русскія пѣсни и молитвы, камаринская и обѣдня, отрывки изъ оперы Глинки и изъ Евангелья (Отче нашъ),—все шло прекрасно. Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красиваго ассирійскаго бога, величественно и граціозно поднимавшаго и опускавшаго свой скипетръ изъ слоновой кости.

Голицынъ нашелъ средство и изъ этого успѣха сдѣлать себѣ убытокъ. Упоенный рукоплесканіями, онъ послалъ въ концѣ первой части концерта за корзиной букетовъ (не забываютъ лондонскія цѣны) и, передъ началомъ второй части, явился на сцену: два ливрейныхъ лакея несли корзину, князь, благодаря пѣвицъ и хористокъ, каждой поднесъ по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громомъ рукоплесканій. Выросъ, расцвѣлъ мой князь и, какъ только окончился концертъ, пригласилъ *всѣхъ* музыкантовъ на ужинъ.

Тутъ, сверхъ лондонскихъ цѣнъ, надобно знать и лондонскіе обычаи: въ одиннадцать часовъ вечера, не предупредивши съ утра, нигдѣ нельзя найти ужинъ чловѣкъ на пятьдесятъ.

Ассирійскій вождь храбро пошелъ пѣшкомъ по Regent street съ музыкальнымъ войскомъ своимъ, стучась въ двери разныхъ ресторановъ; и достучался, наконецъ: смекнувшій дѣло хозяинъ выѣхалъ на холодныхъ мясахъ и на горячихъ винахъ.

Затѣмъ начались концерты его со всевозможными штуками,¹⁴ даже съ политическими тенденціями. Всякій разъ гремѣлъ Herzen's Walzer, гремѣлъ Ogareff's Quadrille и потомъ Emancipation Symphonie..... пьесы, которыми и теперь, можетъ, чаруетъ князь москвичей, и которыя, вѣроятно, ничего не потеряли при переѣздѣ изъ Альбіона, кромѣ собственныхъ именъ; онѣ могли легко перемѣнить ихъ на Pataroff's Walzer, Mina Walzer и Komissaroff's Partitur.

При всемъ этомъ шумѣ денегъ не было; платить было нечѣмъ. Поставщики начали роптать, и даже начиналось исподволь спартакское возстаніе рабовъ.....

Однимъ утромъ явился ко мнѣ factotum князя, чтобъ упра-

вляющій, переименовавшій себя въ секретаря, съ «регентомъ». т. е., не съ отцомъ Филиппа Орлеанскаго, а съ бѣлокуроымъ и кудрявымъ русскимъ малымъ лѣтъ двадцати двухъ, управлявшимъ пѣвцами.

— Мы, Александръ Ивановичъ, къ вамъ-съ.

— Что случилось?

— Да ужъ Юрій Николаевичъ очень обижаютъ, хотимъ ѣхать въ Россію и требуемъ расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Такъ меня и обдало отечественнымъ паромъ,—словно на каменку поддали.

— Почему же вы обращаетесь съ этой просьбой ко мнѣ? Если вы имѣете серьезныя причины жаловаться на князя, на это есть здѣсь для всякаго судъ, и судъ, который не покривитъ ни въ пользу князя, ни въ пользу графа.

— Мы точно слышали объ этомъ, *да чтожъ ходить до суда*. Вы ужъ лучше разберите.

— Какая же польза будетъ вамъ отъ моего разбора? Князь скажетъ мнѣ, что я мѣшаюсь въ чужія дѣла; я и побѣду съ носомъ. Не хотите въ судъ, пойдите къ послу; не мнѣ, а ему поручены русскіе въ Лондонѣ.....

— Это ужъ гдѣ же-съ? коль скоро русскіе господа сидятъ какой же можетъ быть разборъ съ княземъ; а вы, вѣдь, за народъ: такъ мы такъ и пришли къ вамъ. Ужъ разберите дѣло, сдѣлайте милость.

— Экіе, вѣдь, какіе;—да князь не приметъ моего разбора; что же вы выиграете?

— Позвольте доложить, съ живостью возразилъ секретарь, этого онъ не посмѣетъ-съ, такъ какъ они очень уважаютъ васъ, да и боятся сверхъ того: въ *Колоколь*-то попасть имъ не весело,—амбиція-съ.

— Ну, слушайте, чтобъ не терять намъ по-пусту время, вотъ мое рѣшеніе: если князь согласенъ принять мое посредничество, я разберу ваше дѣло; если нѣтъ,—идите въ судъ; а такъ какъ вы не знаете ни языка, ни здѣшняго хожденія по дѣламъ, то я, если васъ въ самомъ дѣлѣ князь обижаютъ, дамъ человѣка, который знаетъ то и другое, и по-русски говорить.

— Позвольте,—замѣтилъ секретарь.

— Нѣтъ, не позволяю, любезнѣйшій.—Прощайте.

Скажу и объ нихъ слово.

Регентъ ничѣмъ не отличался, кромѣ музыкальныхъ способностей; это былъ откормленный, крупитчатый, туповато красявый, румяный малый изъ дворовыхъ; его манера говорить прикартавливая и нѣсколько заспаные глаза напоминали мнѣ цѣлны

рядъ.—какъ въ зеркалѣ, когда гадаешь,—Сашекъ, Сенекъ, Алешекъ, Мирошекъ.

Секретарь былъ тоже чисто русскій продуктъ, но больше рѣзкій представитель своего типа: человекъ лѣтъ за сорокъ, съ небритымъ подбородкомъ, испытанъ лицомъ, въ засаленномъ сюртукѣ, весь, снаружи и внутри, нечистый и замаранный, съ небольшими плутовскими глазами и съ тѣмъ особеннымъ запахомъ русскихъ пьяницъ, составленнымъ изъ вѣчно поддерживаемаго перегорѣлаго сивушнаго букета съ отбѣнкомъ лука и, для прикрытiя, гвоздики. Всѣ черты его лица ободряли, внушали довѣрiе всякому скверному предложенiю: въ его сердцѣ оно нашло бы навѣрное отголосокъ и отбѣнку, а если выгодно, то и помощь. Это былъ первообразъ русскаго чивовника, мироѣда, подъячаго. Когда я его спросилъ, доволенъ ли онъ готовившимся освобожденiемъ крестьянъ, онъ отвѣчалъ мнѣ:

— Какъ-же-съ, безъ сомнѣнiя—и, вздохнувши, прибавилъ Господи, что тяжбѣ-то будетъ-съ, разбирательствъ! а князь завезъ меня сюда, какъ на смѣхъ, именно въ такое время.

До приѣзда Голицына онъ мнѣ съ видомъ задушевности говорилъ:—Вы не вѣрьте, что вамъ о князѣ будутъ говорить насчетъ притѣсненiя крестьянъ, или какъ онъ хотѣлъ ихъ безъ земли на волю выпустить за большой выкупъ. Все это враги распускаютъ. Ну, правда, лють онъ и щеголь; но зато сердце доброе, и для крестьянъ отецъ былъ.

Какъ только онъ поссорился, онъ, жалуясь на него, проклиналъ свою судьбу и жалѣлъ, что довѣрился такому прощальгѣ:

— Вѣдь, онъ всю жизнь безпутничалъ и крестьянъ раззорилъ; вѣдь, это онъ теперь прикидывается при васъ такимъ, а то, вѣдь, звѣрь, грабитель.....

— Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили?—спросилъ я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушелъ. Родись этотъ человекъ не въ людской князей Голицыныхъ, не сыномъ какого-нибудь земскаго, давно былъ бы, при его способностяхъ, министромъ, не знаю чѣмъ.

Черезъ часъ явился регентъ и его менторъ, съ запиской Голицына; онъ, извиняясь, просилъ меня, если могу, приѣхать къ нему, чтобъ покончить эти дразги. Князь впередъ обѣщалъ принять безъ спора мое рѣшенiе.

Дѣлать было нечего; я отправился.

Все въ домѣ показывало необыкновенное волненiе. Французъ слуга, Пико, поспѣшно отворилъ мнѣ дверь и съ той торжественной суетливостью, съ которой провожаютъ доктора на консултацию къ умирающему, провелъ въ залу. Тамъ была вторая жена

Голицына, встревоженная и раздраженная; самъ Голицынъ ходилъ огромными шагами по комнатѣ, безъ галстука, богатырская грудь на-голо. Онъ былъ взбѣшенъ и оттого вдвое заикался; на всемъ лицѣ его было видно страданіе отъ внутрь взошедшихъ, т. е., не вышедшихъ въ дѣйствительный міръ, зуботычинъ, пинковъ, треуховъ, которыми бы онъ отвѣчалъ инсургентамъ въ Тамбовской губерніи.

— Вы б—б—Бога ради простите меня, что я в—васъ безпокою изъ-за этихъ м—м—мошенниковъ.

— Въ чемъ дѣло?

— Вы ужь, п—пожалуйста, сами спросите; я только буду слушать.

Онъ позвалъ регента, и у насъ пошелъ слѣдующій разговоръ:

— Вы недовольны чѣмъ-то?

— Оченно недоволенъ, и оттого именно безпремѣнно хочу ѣхать въ Россію.

Князь, у котораго голосъ Лаблашевской силы, испустилъ львиный стонъ: еще пять зуботычинъ возвращались къ сердцу.

— Князь васъ удержать не можетъ, такъ вы скажите, чѣмъ недовольны-то вы?

— Всѣмъ-съ, Александръ Ивановичъ.

— Да вы ужь говорите потолковитѣе.

— Какъ же чѣмъ-съ? я съ тѣхъ поръ, какъ изъ Россіи приѣхалъ, съ ногъ сбитъ работой, а жалованья получилъ только два фунта, да третій разъ вечеромъ князь далъ больше въ подарокъ.

— А вы сколько должны получить?

— Этого я не могу сказать-съ...

— Есть же у васъ опредѣленный окладъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Князь, когда *изволили бѣжать за границу* (это безъ злого умысла), сказали мнѣ: вотъ хочешь ѣхать со мной, я, молъ, устрою твою судьбу и, если мнѣ повезетъ, дамъ большое жалованье; а если нѣтъ, то и малымъ довольствуйся; ну, я такъ и поѣхалъ.

Это онъ изъ Тамбова-то въ Лондонъ поѣхалъ на такомъ условіи..... О, Русь!

— Ну, а какъ, по вашему, везетъ князю, или нѣтъ?

— Какой везетъ-съ! оно, конечно, можно бы все...

— Это другой вопросъ. Если ему не везетъ, стало, вы должны довольствоваться малымъ жалованьемъ.

— Да князь самъ говорилъ, что по моей службѣ, т. е., и способности, по здѣшнимъ деньгамъ, меньше нельзя, какъ фунта четыре въ мѣсяцъ.

— Князь, вы желаете заплатить ему по 4 ф. въ мѣсяцъ?

— Съ о—о—хотой-съ

— Дѣло идетъ прекрасно, что же дальше?

— Князь-съ обѣщалъ, что, если я захочу возвратиться, то пожалуетъ мнѣ на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнулъ головой и прибавилъ:

— Да, но въ томъ случаѣ, если я имъ буду доволенъ!

— Чѣмъ же вы недовольны имъ?

Теперь плотину прорвало: князь вскочилъ, трагическимъ басомъ, которому еще больше придавало вѣса дребезжаніе нѣкоторыхъ буквъ и маленькія паузы между согласными, произнесъ онъ слѣдующую рѣчь:

— Мнѣ имъ быть д—довольнымъ, этимъ м—м—молокосомъ, этимъ щ—щенкомъ? Меня бѣситъ гнусная неблагодарность этого разбойника. Я его взялъ къ себѣ во дворъ изъ самобѣднѣйшаго семейства крестьянъ, вшами заѣденнаго, босого; училъ негодяя. Я изъ него сдѣлалъ ч—человѣка, музыканта, регента; голось каналѣ выработалъ такой, что въ Россіи въ сезонъ рублией возьметъ сто въ мѣсяцъ жалованья.

— Все это такъ, Юрій Николаевичъ, но я не могу раздѣлить вашего взгляда. Ни онъ, ни его семья васъ не просили дѣлать изъ него Ронкони; стало, и особой благодарности съ его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, какъ учатъ соловьевъ, и хорошо сдѣлали; но тѣмъ и конецъ. Къ тому же это и къ дѣлу не идетъ.

— Вы правы, но я хотѣлъ сказать: каково мнѣ выносить это? вѣдь, я его к—каналю.....

— Такъ вы согласны ему дать на дорогу?

— Чортъ съ нимъ, для васъ, только для васъ даю.

— Ну, вотъ дѣло и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорятъ фунтовъ двадцать.

— Нѣтъ, этого много. Отсюда до Петербурга ста цѣлковыхъ за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расцелъ на бумажкѣ и передалъ Голицыну; тотъ взглянулъ на итогъ... выходило, помнится, съ чѣмъ-то 30 фунтовъ. Онъ тутъ же мнѣ ихъ и вручилъ.

— Вы, разумѣется, грамотѣ знаете, спросилъ я регента.

— Какъ же-съ.

Я написалъ ему расписку въ такомъ родѣ: «Я получилъ съ кн. Ю. Н. Голицына должныя мнѣ за жалованье и на проѣздъ изъ Лондона въ Петербургъ тридцать съ чѣмъ-то фунтовъ (на

русскія деньги столько-то). Затѣмъ остаюсь доволенъ и никакиѣхъ другихъ требованій на него не имѣю».

— Прочтите сами и подпишитесь.

Регентъ прочелъ, но не дѣлалъ никакихъ приготовленій, чтобъ подписаться.

— За чѣмъ дѣло?

— Не могу-съ.

— Какъ не можете?

— Я недоволенъ.

Львиный, сдержанный ревъ, да ужъ и я самъ готовъ быть прикрикнуть:

— Что за дьявольщина, вы сами сказали, въ чемъ ваше требованіе. Князь заплатилъ все до копейки; чѣмъ же вы недовольны?

— Помилуйте-съ; а сколько нужды я натерпѣлся съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь.

Ясно было, что легкость, съ которой онъ получилъ деньги, разлакомила его.

— Напримѣръ-съ, мнѣ слѣдуетъ еще за переписку потъ.

— Врешь! закричалъ Голицынъ такъ, какъ и Лаблашъ никогда не кричалъ; робко отвѣтили ему своимъ эхо рояли; блѣдная голова Пико показалась въ щель и исчезла съ быстротой испуганной ящерицы...

— Развѣ переписываніе потъ не входило въ прямую твою обязанность? да и что же бы ты дѣлалъ все время, когда концертовъ не было?

Князь былъ правъ, хотя и ненужно было пугать Пико глазомъ контрбомбардоннымъ.

Регентъ, привыкнувшій ко всякимъ звукамъ, не сдался и, оставя въ сторонѣ переписываніе потъ, обратился ко мнѣ съ слѣдующей нелѣпостью.

— Да вотъ еще и насчетъ одежды, я совсѣмъ обносился.

— Да неужели, давая вамъ въ годъ около 50 фунтовъ жалованья, Юрій Николаевичъ еще обязался одѣвать васъ?

— Нѣтъ-съ; но прежде князь все иногда давали, а теперь стыдно сказать, до того дошелъ, что безъ носковъ хожу.

— Я самъ хожу безъ н—н—носокъ, прогремѣлъ князь и, сложа на груди руки, гордо и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на регента. Этой выходки я никакъ не ожидалъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ ему въ глаза. Но, видя, что онъ собирается продолжать, я очень серьезно соколу-пѣвцу сказалъ:

— Вы приходили ко мнѣ сегодня утромъ просить меня въ посредники: стало, вы вѣрили мнѣ?

— Мы васъ очень довольно знаемъ, въ васъ мы нисколько не сомнѣваемся, вы ужъ въ обиду не дадите.

— Прекрасно, ну, такъ я вотъ какъ рѣшаю дѣло: подписывайте сейчасъ бумагу, или отдайте деньги; я ихъ передамъ князю и съ тѣмъ вмѣстѣ отказываюсь отъ всякаго вмѣшательства.

Регентъ не захотѣлъ вручить бумажникъ князю, подписалъ и поблагодарилъ меня.

Избавляю отъ разсказа, какъ онъ переводилъ счетъ на цѣлковые; я ему никакъ не могъ вдолбить, что по курсу цѣлковый стоитъ теперь не то, что стоилъ тогда, когда онъ выѣзжалъ изъ Россіи.

— Если вы думаете, что я васъ хочу надуть фунта на полтора, такъ вы вотъ что сдѣлайте: сходите къ нашему попу, да и попросите вамъ сдѣлать расчетъ. Онъ согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не такъ грозно и бурно вздымалась; но судьба хотѣла, чтобъ и финалъ такъ же бы напомнилъ родину, какъ начало.

Регентъ помялся, помялся, и вдругъ, какъ будто между ними ничего не было, обратился къ Голицыну со словами:

— Ваше сіятельство, такъ какъ пароходъ изъ Гуля-съ идетъ только черезъ пять дней, явите милость—позвольте остаться пока мѣсть у васъ.

Задасть ему, подумалъ я, мой Лаблашъ, самоотвержимо приговорясь къ боли отъ шума.

— Разумѣется, оставайся. Куда ты къ чорту пойдешь.

Регентъ разблагодарилъ князя и ушелъ.

Голицынъ въ видѣ поясненія сказалъ мнѣ:

— Вѣдь, онъ предобрый малый; это его этотъ мошенникъ, этотъ в—воръ, этотъ поганый Юсъ подбилъ.

Поди тутъ Савиньи и Миттермейеръ, пусть схватятъ формулами и обобщать въ нормы юридическія понятія, развившіяся въ православномъ отечествѣ нашемъ между конюшней, въ которой драли дворовыхъ, и бариновымъ кабинетомъ, въ которомъ обирали мужиковъ.

Вторая cause céleste, именно съ Юсомъ, не удалась. Голицынъ вышелъ и вдругъ такъ закричалъ, и секретарь такъ закричалъ, что оставалось за тѣмъ катать другъ друга «подъ нитки»; причѣмъ князь, конечно, зашибъ бы гуняваго подъячаго. Но какъ все въ этомъ домѣ совершалось по законамъ особой логики, то подрались не князь съ секретаремъ, а секретарь съ дверью. Набравшись злобы и освѣжившись еще шкаликомъ джину, онъ, выходя, треснулъ кулакомъ въ большое стекло, вставленное въ дверь, и *расшибъ его*.

— Полицію!—кричалъ Голицынъ—разбой,—полицію, и вошедши въ залу, бросился изнеможенный на диванъ. Когда онъ немного отошелъ, онъ пояснилъ мнѣ, между прочимъ, въ чемъ состоитъ

неблагодарность секретаря. Человѣкъ тотъ былъ повѣреннымъ у его брата и, не помню, смощенничалъ что-то и долженъ былъ непремѣнно идти подъ судъ. Голицыну стало жаль его; онъ до того вошелъ въ его положеніе, что заложилъ послѣдніе часы, чтобъ выкупить его изъ бѣды. И потомъ, имѣя полныя доказательства, что онъ плутъ, взялъ его къ себѣ управляющимъ!

Что онъ на всякомъ шагу надувалъ Голицына, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Я уѣхалъ. Человѣкъ, который могъ кулакомъ пробить зеркальное стекло, можетъ самъ себѣ найти судъ и расправу. Къ тому же онъ мнѣ рассказывалъ потомъ, прося меня достать ему паспортъ, чтобъ ѣхать въ Россію, что онъ гордо предложилъ Голицыну pistolеть и жребій,—кому стрѣлять.

Если это было, то pistolеть навѣрное не былъ заряженъ.

Послѣдній день князя пошли на усмиреніе Спартаковского возстанія, и онъ все-таки, наконецъ, попалъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ тюрьму за долги. Другого посадили бы—и дѣло въ шляпѣ; съ Голицынымъ и это не могло сойти просто съ рукъ.

Полисменъ привозилъ его ежедневно въ Stemon Garden, часу въ восьмомъ; тамъ онъ дирижировалъ, для удовольствія лоретокъ всего Лондона, концертъ, и съ послѣднимъ взмахомъ скипетра изъ слоновой кости, незамѣтный полицейскій выросталъ изъ-подъ земли и не покидалъ князя до кэба, который везъ узника въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ въ тюрьму. Прощаясь со мной въ саду, у него были слезы на глазахъ. Бѣдный князь! другой смѣялся бы надъ этимъ, но онъ бралъ къ сердцу свое въ неволѣ заключеніе. Родные какъ-то выкупили его; потомъ правительство позволило ему возвратиться въ Россію и отправило его сначала на житѣ въ Ярославль, гдѣ онъ могъ держировать духовные концерты вмѣстѣ съ Фелинскимъ, варшавскимъ архіереемъ. Правительство добрѣ его отца: третій калачъ не меньше сына, онъ ему совѣтовалъ *идти въ монастырь*. Хорошо зналъ сына отецъ; а, вѣдь, самъ былъ до того музыкантъ, что Бетховенъ посвятилъ ему одну изъ симфоній.

За пышной фигурой ассирійскаго бога, тучнаго Аполлона-вола, не должно забывать рядъ другихъ русскихъ странностей.

✕ Я не говорю о мелькающихъ тѣняхъ, какъ «колонель Руссъ», но о тѣхъ, которые, причаленные судьбой и разными превратностями, приостанавливались надолго въ Лондонѣ, въ родѣ того чиновника военного комендантства, который, запутавшись въ дѣлахъ и долгахъ, бросился въ Неву, утонулъ... и всплылъ въ Лондонѣ *изгнанникомъ*, въ шубѣ и мѣховомъ картузѣ, которыхъ не покидалъ, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы; въ родѣ моего друга Ивана Ивановича С., который весь, цѣликомъ,

съ своими antecedентами и будущностью, съ какой-то мездрой въѣсто волосъ на головѣ, такъ и просится въ мою галерею рѣдкостей.

Лейбъ-гвардія павловскаго полка офицеръ въ отставкѣ, онъ жилъ себѣ да жилъ въ странахъ заморскихъ и дожилъ до февральской революціи; тутъ онъ испугался и сталъ на себя смотрѣть, какъ на преступника; не то чтобъ его мучила совѣсть, но мучила мысль о жандармахъ, которые его встрѣтятъ на границѣ, казематахъ, тройкѣ, снѣгѣ, — и рѣшился отложить возвращеніе. Вдругъ вѣсть о томъ, что его брата взяли по дѣлу Шевченка. Ему стало въ самомъ дѣлѣ нѣсколько опасно, и онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Въ это время я съ нимъ познакомился въ Ниццѣ. Отправился С., купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переѣзжая границу, хотѣлъ какъ-то укрѣпить въ дуплѣ пустого зуба и раскусить въ случаѣ ареста.

По мѣрѣ приближенія къ родинѣ, страхъ все возрасталъ, и въ Берлинѣ дошелъ до удушающей боли; однако С. переломилъ себя и сѣлъ въ вагонъ. Станцій на пять его стало; далѣе онъ не могъ. Машина брала воду, онъ подъ совершенно другимъ предлогомъ вышелъ изъ вагона. Машина свиснула, поѣздъ двинулся безъ С.; того-то ему и было надо. Оставивъ чемоданъ свой на произволъ судьбы, онъ съ первымъ обратнымъ поѣздомъ возвратился въ Берлинъ. Оттуда телеграфировалъ о чемоданѣ и пошелъ визировать свой пассъ въ Гамбургъ. «Вчера ѣхали въ Россію, сегодня въ Гамбургъ», замѣтилъ полицейскій, вовсе не отказывая въ визѣ. Перепуганный С. сказалъ ему: «Письма я получилъ, письма», и, вѣроятно, у него былъ такой видъ, что со стороны прусскаго чиновника просто упущеніе по службѣ, что онъ его не арестовалъ. Затѣмъ С., спасаясь никѣмъ не преслѣдуемый, какъ Людовикъ Филиппъ, пріѣхалъ въ Лондонъ. Въ Лондонѣ для него началась, какъ для тысячи и тысячи другихъ, тяжелая жизнь; онъ годы честно и твердо боролся съ нуждой. Но и ему судьба опредѣлила комическій бортикъ ко всѣмъ трагическимъ событіямъ. Онъ рѣшился давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка (*для англичанъ*). Посовѣтовавшись съ тѣмъ и другимъ, онъ увидѣлъ, что безъ объявленія или карточекъ не обойдется. «Но вотъ бѣда: какъ взглянуть на это русское правительство. Думалъ я, думалъ, да и напечаталъ *анонимныя карточки*».

Долго я не могъ нарадоваться на это великое изобрѣтеніе: мнѣ въ голову не приходила возможность визитной карточки безъ имени.

Со своими анонимными карточками, съ большой настойчивостью (онъ живалъ дни цѣлые картофелемъ и хлѣбомъ), онъ

сдвинуль-таки свою барку съ мели, сталъ заниматься торговымъ комиссіонерствомъ, и дѣла его пошли успѣшно.

И это именно въ то время, когда шефъ павловскаго полка отошелъ въ вѣчность. Пошли льготы, амнистіи; захотѣлось и С. воспользоваться царскими милостями, и вотъ онъ пишетъ къ Брунову письмо и спрашиваетъ, подходитъ ли онъ подъ амнистію? Черезъ мѣсяць времени приглашаютъ С. въ посольство. Дѣло-то,—думалъ онъ—не такъ просто, мѣсяць думали.

— Мы получили отвѣтъ,—говоритъ ему старшій секретарь.— Вы нехотя поставили министерство въ затрудненіе; ничего объ васъ нѣтъ. Оно сносилось съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и у него не могутъ найти никакого дѣла объ васъ. Скажите намъ просто, что съ вами было, не можетъ же быть ничего важнаго.

— Да въ 1849 г. мой братъ былъ арестованъ и потомъ сосланъ.

— Ну?

— Больше ничего.

Нѣтъ,—подумалъ Николай,—шалить, и сказалъ С., что, если такъ, то министерство снова наведетъ справки. Прошло мѣсяца два. Я воображаю, что было въ эти два мѣсяца въ Петербургѣ: отношенія, сообщенія, конфиденціональныя справки, секретныя запросы изъ министерства въ III отдѣленіе, изъ III отдѣленія въ министерство, справки Х... генераль-губернатора... выговоры, замѣчанія... а дѣла о С. найти не могли.

Такъ министерство и сообщило въ Лондонъ.

Посылаетъ за С. самъ Бруновъ.

— Вотъ, говоритъ, смотрите отвѣтъ: нигдѣ ничего объ васъ. Скажите, по какому вы дѣлу замѣшаны?

— Мой братъ...

— Все это я слышалъ, да вы-то сами по какому дѣлу?

— Больше ничего не было.

Бруновъ, отъ рожденія ничему не удивлявшійся, удивился.

— Такъ отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сдѣлали?

— Я думалъ, что все же лучше...

— Стало, просто на просто, вамъ не амнистія нужна, а паспортъ.

И Бруновъ велѣлъ выдать пассъ.

На радостяхъ С. прискакалъ къ намъ.

Разказавъ подробно всю исторію о томъ, какъ онъ добился амнистіи, онъ взялъ Огарева подъ руку и увелъ въ садъ.

— Дайте мнѣ, Бога ради, совѣтъ, сказалъ онъ ему, Александръ Ивановичъ все смѣется надо мной, такой ужъ нравъ у него; но у васъ сердце доброе. Скажите мнѣ откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ѣхать Вѣной?

Огаревъ не поддержаль добраго мѣнѣя и раскохотался. Да что Огаревъ, я воображаю, какъ Бруновъ и Николаи минуты на двѣ расправили морщины отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ и ослабились, когда амнистірованный С. вышелъ изъ кабинета.

Но при всѣхъ своихъ оригинальностяхъ, С. былъ честный человекъ. Другіе русскіе, неизвѣстно откуда всплывавшіе, бродившіе мѣсяцъ, другой по Лондону, являвшіеся къ намъ съ собственными рекомендательными письмами и исчезавшіе неизвѣстно куда, были далеко не такъ безопасны.

Печальное дѣло, о которомъ я хочу рассказать, было лѣтомъ 1862. Реакція была тогда въ инкубаціи и изъ внутренняго, скрытаго гнѣенія еще не выходила наружу. Никто не боялся къ намъ ѣздить; никто не боялся брать съ собой *Колоколъ* и другія наши изданія; многіе хвастались, какъ они мастерски провозятъ. Когда мы совѣтовали быть осторожными, надъ нами смѣялись. Писемъ мы почти никогда не писали въ Россію: старымъ знакомымъ намъ нечего было сказать, мы съ ними стояли все дальше и дальше, съ новыми незнакомцами мы переписывались черезъ *Колоколъ*.

Весной возвратился изъ Москвы и Петербурга Кельсіевъ. Его поѣздка, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ самымъ замѣчательнымъ эпизодамъ того времени. Человекъ, ходившій мимо носа полиціи, едва скрывавшійся, бывавшій на раскольниковыхъ бесѣдахъ и товарищескихъ попойкахъ, съ глупѣйшимъ турецкимъ пассомъ въ карманѣ, и возвратившійся *sain et sauf* въ Лондонъ, немного закусилъ удила. Онъ вздумалъ сдѣлать пирушку въ нашу честь въ день пятилѣтія *Колокола*, по подпискѣ, въ ресторанѣ Кюна. Я просилъ его отложить праздникъ до другого, больше веселаго времени. Онъ не хотѣлъ. Праздникъ не удался, не было entrain и не могло быть. Въ числѣ участниковъ были люди слишкомъ посторонніе.

Говоря о томъ и семь, между тостами и анекдотами, говорили, какъ о самопростѣйшей вещи, что пріятель Кельсіева, Ветошниковъ, ѣдетъ въ Петербургъ и готовъ съ собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многіе сказали, что будутъ въ воскресенье у насъ. Собралась дѣйствительно цѣлая толпа, въ числѣ которой были очень мало знакомые намъ люди и, по несчастію, самъ Ветошниковъ; онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что завтра утромъ ѣдетъ, спрашивая меня, — пѣтъ-ли писемъ, порученій. Бакунинъ ему уже далъ два-три письма. Огаревъ пошелъ къ себѣ внизъ и написалъ нѣсколько словъ дружескаго привѣта Николаю Серно-Соловьевичу; съ нимъ я приписалъ поклонъ и просилъ его обратить вниманіе Чернышевскаго (къ которому я никогда не писалъ).

на наше предложеніе въ *Колоколъ* печатать на свой счетъ *Современникъ* въ Лондонѣ. Гости стали расходиться часовъ около 12; двое-трое оставались. Ветошниковъ вошелъ въ мой кабинетъ и взялъ письмо. Очень можетъ быть, что и это осталось бы незамѣченнымъ. Но вотъ что случилось. Чтобъ отблагодарить участниковъ обѣда, я просилъ ихъ принять на память отъ меня по выбору что-нибудь изъ нашихъ изданій, или большую фотографію мою. Левъ Ветошниковъ взялъ фотографію; я ему совѣтовалъ обрѣзать края и свернуть въ трубочку; онъ не хотѣлъ и говорилъ, что положить ее на дно чемодана, а потому завернулъ ее въ листъ «Теймса» и такъ отправился. Этого нельзя было не замѣтить. Прощаясь съ нимъ съ послѣднимъ, я спокойно отправился спать,—такъ иногда сильно бываетъ ослѣпленіе—и, ужъ конечно, не думалъ, какъ дорого обойдется эта минута и сколько ночей безъ сна она принесетъ мнѣ. Все вмѣстѣ было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить въ субботу; зачѣмъ онъ не приходилъ утромъ?... да и вообще зачѣмъ онъ приходилъ самъ?... да и зачѣмъ мы писали?...

Говорятъ, что одинъ изъ гостей телеграфировалъ тотчасъ въ Петербургъ.

Ветошникова схватили на пароходѣ; остальное извѣстно.

Въ заключеніе этого печальнаго сказанья, скажу о человѣкѣ, вскользь упомянутомъ мною, и котораго пройти мимо не слѣдуетъ. Я говорю о Кельсіевѣ.

В. И. Кельсіевъ.

Имя В. Кельсіева приобрѣло въ послѣднее время печальную извѣстность: быстрота внутренней и скорость внѣшней перемѣны, удачность раскаянія, неотлагаемая потребность всенародной исповѣди и ея странная усѣченность, безтактность разсказа, неумѣстная смѣшливость рядомъ съ неприличной въ кающемся и прощенномъ развязностью; все это, при непривычкѣ нашего общества къ крутымъ и гласнымъ превращеніямъ, вооружило противъ него лучшую часть нашей журналистики. Кельсіеву хотѣлось во что бы то ни стало—занимать собою публику; онъ и накупился на видное мѣсто мишенью, въ которую каждый бросаетъ камень, не жалѣя. Я далекъ отъ того, чтобъ порицать неторпимость, которую показала въ этомъ случаѣ наша дремлющая литература. Негодованіе это свидѣтельствуетъ о томъ, что много свѣтлыхъ, неиспорченныхъ силъ уцѣлѣли у насъ, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственнаго слова. Негодованіе, опрокинувшееся на Кельсіева, то самое, которое нѣкогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворенія и отвернулось отъ Гоголя за его «Переписку съ друзьями».

Бросать въ Кельсіева камнемъ лишнее, въ него и такъ брошена цѣлая мостовая. Я хочу передать другимъ и напомнить ему, какимъ онъ явился къ намъ въ Лондонъ и какимъ уѣхалъ во второй разъ въ Турцію.

Пусть онъ сравнитъ самыя тяжелыя минуты тогдашней жизни съ лучшими своей теперешней карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я въ нихъ ничего не измѣнилъ и добавилъ только отрывки изъ писемъ. Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ Кельсіевъ представленъ такъ, какъ онъ остался въ памяти до его появленія на лодкѣ въ Скулянскую таможеню, въ качествѣ запрещеннаго товара, просящаго конфискаціи и поступленія съ нимъ по законамъ.

Въ 1859 году получилъ я первое письмо отъ него.

Письмо отъ Кельсіева было изъ Плимута. Онъ туда приплылъ на пароходѣ Сѣверо-Американской компаніи и отправлялся куда-

то въ Ситху или Уполамай на службу. Погостивши въ Плимутѣ, ему расхотѣлось ѣхать на Алеутскіе острова и онъ писалъ ко мнѣ, спрашивая, можно ли ему найти пропитаніе въ Лондонѣ. Онъ успѣлъ уже въ Плимутѣ познакомиться съ какими-то теологами и сообщалъ мнѣ, что они обратили его вниманіе на замѣчательныя истолкованія пророчествъ. Я предостерегъ его отъ клерджименовъ и звалъ въ Лондонъ, «если онъ дѣйствительно хочетъ работать». Недѣли черезъ двѣ онъ явился. Молодой, довольно высокій, худой, болѣзненный, съ четверугольнымъ черепомъ, съ шапкой волосъ на головѣ, онъ мнѣ напоминалъ, не волосами (тотъ былъ плѣшивъ), а всѣмъ существомъ своимъ Энгельсона,— и дѣйствительно, онъ очень многимъ былъ похожъ на него. Съ перваго взгляда можно было замѣтить много неустроеннаго и неустояваго,—но ничего пошлаго. Видно было, что онъ вышелъ на волю изъ всѣхъ опекъ и крѣпостей, но еще не приписался ни къ какому дѣлу и обществу: цѣли не имѣлъ. Онъ былъ гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежалъ къ позднѣйшей шеренгѣ Петрашевцевъ и имѣлъ часть ихъ достоинствъ и всѣ недостатки, учился всему на свѣтѣ и ничему не научился до гл. читалъ всякую всячину и надо всѣмъ ломалъ довольно безплодно голову. Отъ постоянной критики всего общепринятаго Кельсиевъ раскачалъ въ себѣ всѣ нравственныя понятія и не приобрѣлъ никакой нити поведенія.

Особенно оригинально было то, что въ скептическомъ ощущеніи Кельсіева сохранилась какая-то примѣсь мистическихъ фантазій: онъ былъ нигилистъ съ религиозными приемами, нигилистъ въ дьяконовскомъ стихарѣ. Церковный отгѣнокъ, нарѣчіе и образность остались у него въ формѣ, въ языкѣ, въ слогѣ¹⁾, и придавали всей его жизни особый характеръ и особое единство, основанное на спайкѣ противоположныхъ металловъ.

У Кельсіева шелъ тотъ знакомый намъ переборъ, который дѣлаетъ почти всегда въ самомъ дѣлѣ проснувшійся русскій внутри себя и о которомъ вовсе не думаетъ за отсутствіемъ и заботами западный человѣкъ, втянутый своими специальностями въ другія дѣла; старшіе братья наши не провѣряютъ задовъ, и оттого у нихъ смѣняются поколѣнія, строя и разрушая, награждая и наказуя, надѣвая вѣнки и кандалы, твердо увѣренные, что такъ и надобно, что они дѣлаютъ дѣло. Кельсіевъ, напротивъ, сомнѣвался во всемъ и не принималъ на слово ни добро—добра, ни зло—зла. Кобенящійся духъ этотъ, отрѣшающійся отъ впередъ идущей нравственности и готовыхъ истинъ, накупѣлъ всего

¹⁾ Петрашевцами заключаются у насъ сильно занимавшіеся юноши; ихъ можно назвать послѣднимъ классомъ нашего учебнаго историческаго развитія.

больше въ *mi-sagete* нашего николаевского поста и рѣзко стали высказываться, когда гиря, давившая наши мозги, приподнялась на одну линію. На этотъ полный жизни и отваги анализъ и накинута Богъ вѣсть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробужденія, подъ звуки севастопольскихъ пушекъ, съ чужихъ словъ, многіе изъ нашихъ умниковъ пошли повторять, что западный консерватизмъ у насъ фактъ правильный, что насъ наскоро подогнали къ европейскому образованію не для того, чтобъ дѣлиться съ нимъ наслѣдственными болѣзнями и застарѣлыми предрасудками, а для «сравненія съ старшими», для того, чтобъ была возможность съ ими итти ровнымъ шагомъ впередъ. Но какъ только мы видимъ на самомъ дѣлѣ, что у проснувшейся мысли, что у возмужалаго слова нѣтъ ничего твердаго, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищетъ, что слово отрицаетъ, что дурное раскачивается вмѣстѣ съ «завѣдомо» хорошимъ и что духъ пытання и сомнѣнія влечетъ все—все безъ разбора—въ пропасть, лишенную перилъ,—тогда крикъ ужаса и изступленія вырывается изъ груди, и пассажиры первыхъ классовъ закрываютъ глаза, чтобъ не видать какъ вагоны сорвутся съ рельсовъ, а кондукторы тормозятъ и останавливаютъ всякое движеніе.

Разумѣется, бояться причины нѣтъ: возникающая *сила* слишкомъ слаба, чтобъ матеріально сдвинуть шестидесяти милліонный поѣздъ съ рельсовъ. Но въ ней была программа, можетъ быть, пророчество.

Кельсіевъ развился подъ первымъ вліяніемъ времени, о которомъ мы говорили. Онъ далеко не осѣлся, не дошелъ ни до какого центра тяжести, но онъ былъ въ полной ликвидаціи всего нравственнаго имущества. Отъ стараго онъ отрѣшился, твердое распустилъ, берегъ оттолкнулъ и, очертя голову, пустился въ широкое море. Равно подозрительно и съ недовѣріемъ относился онъ къ вѣрѣ и къ невѣрію, къ русскимъ порядкамъ и къ порядкамъ западнымъ.

Одно, что пустило корни въ его груди, было сознаніе страстное и глубокое экономической неправды современнаго государственнаго строя и, въ силу этого, ненависть къ нему и темное стремленіе къ социальнымъ теоріямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ выходъ.

На это сознаніе неправды и на эту ненависть, сверхъ пониманья, онъ имѣлъ неотъемлемое право.

Въ Лондонѣ онъ поселился въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, въ глухомъ переулкѣ Фулама, населенномъ матовыми, подернутыми чѣмъ-то пепельнымъ, ирландцами и всякими

исхудалыми работниками. Въ этихъ сырыхъ каменныхъ коридорахъ безъ крыши страшно тихо, звуковъ почти нѣтъ никакихъ, ни свѣта, ни цвѣта: люди, плошки, дома, все полиняло и осунулось; дымъ и сажа обвели всѣ линіи траурнымъ ободкомъ. По нимъ не трещатъ телѣжки лавочниковъ, развозящихъ съѣстные припасы, не ѣздятъ извозицы кареты, не кричатъ разносчики, не лаютъ собаки (последнимъ рѣшительно нечѣмъ питаться); изрѣдка только выходитъ какая-нибудь худая взѣрошенная и покрытая углемъ кошка, проберется по крышѣ и подойдетъ къ трубѣ погрѣться, выгибая спину и обличая видомъ, что внутри дома она передрогла.

Когда я въ первый разъ посѣтилъ Кельсіева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, съ заплаканными глазами, сидѣла у тюфяка, посланнаго на полу, на которомъ весь въ лихорадкѣ и жарѣ метался, страдалъ, умиралъ ребенокъ, года или полутора.

Я посмотрѣлъ на его лицо и вспомнилъ предсмертныя черты другого ребенка, это было *то же* выраженіе. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ, другой родился.

Вѣдность была всесовершеннѣйшая. Молодая, тщедушная женщина, или, лучше, замужня дѣвочка, выносила ее геройски и съ необычайной простотой.

Думать нельзя было, глядя на ея болѣзненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала въ этомъ хиломъ тѣлѣ. Она могла служить горькимъ урокомъ нашимъ записнымъ романистамъ. Она была, хотѣла быть тѣмъ, что впоследствии назвали *нигилисткой*: странно чесала волосы, небрежно одѣвалась, много курила, не боялась ни смѣлыхъ мыслей, ни смѣлыхъ словъ; она не умилялась передъ семейными добродѣтелями, не говорила о священномъ долгѣ, о сладости жертвы, которую совершаетъ ежедневно, и о легкости креста, давившаго ея молодыя плечи. Она не кокетничала своей борьбой съ нуждой и дѣлала все: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердымъ товарищемъ была она мужу и великой страдальцей сложила голову свою на дальнемъ востокѣ, слѣдуя за блуждающимъ, безпокойнымъ бѣгомъ своего мужа и потерявъ рядомъ двухъ послѣднихъ малютокъ.

Поборолся я сначала съ Кельсіевымъ, старался его убѣдить, чтобъ онъ не отрѣзывалъ себѣ съ самаго начала, не извѣдавши жизни изгнанника, пути къ возвращенію.

Я ему говорилъ, что надобно прежде узнать нужду на чужбинѣ, нужду въ Англій, особенно въ Лондонѣ; я ему говорилъ, что въ Россіи теперъ дорога всякая сила.

— Что вы будете здѣсь дѣлать?—спрашивалъ я его. Кельсiевъ собирался всему учиться и обо всемъ писать; пуще всего хотѣлъ онъ писать о женскомъ вопросѣ, о семейномъ устройствѣ.

— Пишите прежде, говорилъ я ему, объ освобожденiи крестьянъ съ землей. Это первый вопросъ, стоящiй на дорогѣ. Но симпатiи Кельсiева были не туда обращены. Онъ дѣйствительно принесъ мнѣ статью о женскомъ вопросѣ. Она была безмѣрно плоха. Кельсiевъ посердился, что я ее не напечаталъ, и самъ благодарилъ меня за это, года два спустя.

Возвращаться онъ не хотѣлъ. Во чтобъ ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологическiя эксцентричности его намъ помогли. Мы доставили ему корректуру св. Писанiя, издаваемого по русски лондонскимъ библейскимъ обществомъ; затѣмъ передали ему кипу бумагъ, полученныхъ нами въ разное время, по части старообрядцевъ. За изданiе ихъ и приведенiе въ порядокъ Кельсiевъ принялся со страстью. То, о чемъ онъ догадывался и мечталъ, то раскрывалось передъ нимъ фактически: грубо наивный социализмъ въ евангельской ризѣ сквозилъ ему въ расколѣ. Это было лучшее время въ жизни Кельсiева, онъ съ увлеченiемъ работалъ и прибѣгалъ иногда вечеромъ ко мнѣ указать какую-нибудь социальную мысль духоборцевъ, молоканъ, какое-нибудь коммунистическое ученiе едосѣвцевъ; онъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ скитанiя по лѣсамъ, ставилъ идеаломъ своей жизни скитаться между ними и сдѣлаться учителемъ социальнo-христианскаго раскола въ Бѣлo-криницѣ или Россiи.

И дѣйствительно, Кельсiевъ былъ въ душѣ «бѣгуномъ», бѣгуномъ нравственнымъ и практическимъ: его мучили неустоявшiяся мысли, тоска. На одномъ мѣстѣ онъ оставаться не могъ. Онъ нашелъ работу, занятiе, безбѣдное пропитанiе, но не нашелъ дѣла, которое бы поглотило совсѣмъ его безпокойный темпераментъ; онъ былъ готовъ искать его, готовъ былъ не только итти всюду, но поступить въ монахи, принявъ священство безъ вѣры.

Настоящiй русскiй человекъ, Кельсiевъ всякiй мѣсяцъ дѣлалъ новую программу занятiй, придумывалъ проекты и брался за новую работу, не кончивъ старой. Работалъ онъ запоемъ и запоемъ ничего не дѣлалъ. Онъ схватывалъ вещи легко, но тотчасъ удовлетворялся до пресыщенiя, изъ всего тянулъ онъ съ разу жилы до послѣдняго вывода, а иногда и подальше.

Сборникъ о раскольникахъ шелъ успѣшно; онъ издалъ *шесть* частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародованiе свѣдѣнiй о старообрядцахъ. Тоже случилось съ переводомъ библии. Переводъ съ еврейскаго не удался. Кельсiевъ попробовалъ сдѣлать un tour de force и перевести «слово

въ слово», несмотря на то, что грамматическія формы семитическихъ языковъ вовсе не совпадаютъ съ славянскими. Тѣмъ не меньше, выпущенные ливрезоны разошлись мгновенно, и святѣйшій синодъ, испугавшись заграничнаго изданія, *благословилъ* печатаніе стараго завѣта на русскомъ языкѣ. Эти обратныя побѣды никогда никѣмъ не были поставлены въ *crédit* нашего станка.

Въ концѣ 1862 Кельсіевъ отправился въ Москву съ цѣлью завести прочныя связи съ раскольниками. Поѣздку эту онъ когда-нибудь долженъ самъ разсказать. Она невѣроятна, невозможна, а на дѣлѣ дѣйствительно была. Въ этой поѣздкѣ отвага граничитъ съ безуміемъ; въ ней опрометчивость почти преступная, но уже, конечно, не я буду его винить въ ней. Неосторожная болтовня за границей могла сдѣлать много бѣдъ. Но къ дѣлу и оцѣнкѣ самой поѣздки это не идетъ.

Возвратясь въ Лондонъ, онъ принялся по требованію Трюбнера за составленіе русской грамматики для англичанъ и за переводъ какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого онъ не кончилъ: путешествіе сгубило его *Sitzfleisch*. Онъ тяготился работой, впадалъ въ ипохондрію, унывалъ; а работа была нужна, денегъ опять не было ни гроша. Къ тому же и новый червь начиналъ точить его. Успѣхъ поѣздки, безспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, побѣда надъ опасностями, все это раздуло въ его груди и безъ того сильную струю самолюбія; обратно Цезарю, Донъ-Карлосу и Вадиму Пассекъ, Кельсіевъ, запуская руки въ свои густые волосы, говорилъ, покачивая грустно головой:

— Еще нѣтъ тридцати лѣтъ, и уже такая отвѣтственность взята мною на плечи.

Изъ всего этого легко можно было понять, что грамматики онъ не кончитъ, а уйдетъ. Онъ и ушелъ. Ушелъ онъ въ Турцію, съ твердымъ намѣреніемъ еще больше сблизиться съ раскольниками, составить новыя связи и, если возможно, остаться тамъ и начать проповѣдь вольной церкви и общиннаго житія. Я писалъ ему длинное письмо, убѣждая его не ѣздить, а продолжать работу. Но страсть къ скитанію, желаніе подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнѣе, и онъ уѣхалъ. Онъ и Мартяновъ исчезаютъ почти въ одно время. Одинъ, чтобъ, послѣ ряда несчастій и испытаній, хоронить своихъ и потеряться между Яссами и Галацомъ; другой, чтобъ схоронить себя на каторжной работѣ.

Послѣ нихъ являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имѣя большой глубины и захватывая очень тонкій слой, быстро изнашиваетъ и измѣняетъ формы и цвѣта.

Между Энгельсономъ и Кельсиевымъ уже цѣлая формація, какъ между нами и Энгельсономъ. Энгельсонъ былъ человекъ сломленный, оскорбленный; зло, сдѣланное ему всей средой, мiasмы, которыми онъ дышалъ съ дѣтства, изуродовали его. Лучъ свѣта скользнулъ по немъ и отогрѣлъ его года за три до его смерти; тогда уже неостанавливаемый недугъ грызъ его грудь. Кельсievъ, тоже помятый и попорченный средой, явился однако безъ отчаянія и усталости; оставаясь за границей, онъ не просто шелъ на покой, не просто бѣжалъ безъ оглядки отъ тяжести: онъ шелъ *куда-то*. Куда?—этого онъ не *зналъ* (и тутъ всего ярче выразился видовой отбѣнокъ его пласта), опредѣленной цѣли онъ не имѣлъ; онъ ее искалъ и покамѣстъ осматривался и приводилъ въ порядокъ, а, пожалуй, и въ безпорядокъ, всю массу идей, захваченныхъ въ школѣ, книгахъ и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существеннымъ вопросомъ, которымъ онъ жилъ, выжидая или такого дѣла, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы онъ отдался.

Потаскавшись въ Турціи, Кельсievъ рѣшился поселиться въ Тульчѣ; тамъ онъ хотѣлъ учредить средоточіе своей пропаганды между раскольниками, школу для казацкихъ дѣтей и сдѣлать опытъ общинной жизни, въ которой прибыль и убыль должна была падать на всѣхъ, чистая и нечистая, легкая и трудная работа — обдѣлываться всѣми. Дешевизна помѣщенія и сѣстныхъ припасовъ дѣлали опытъ возможнымъ. Онъ сблизился съ старымъ атаманомъ некрасовцевъ, Гончаромъ, и въ началѣ превозносилъ его до небесъ.

Лѣтомъ въ 1863 подѣхалъ къ нему его меньшей братъ Иванъ, прекрасный, даровитый юноша. Онъ былъ по студенческому дѣлу высланъ изъ Москвы въ Пермь; тамъ попался къ негодяю губернатору, который его тѣснилъ. Потомъ его опять вызвали въ Москву для какихъ-то показаній; ему грозила ссылка далѣе Перьми. Онъ бѣжалъ изъ частнаго дома и пробрался черезъ Константинополь въ Тульчу. Старшій братъ былъ чрезвычайно радъ ему; онъ искалъ товарищей и, наконецъ, звалъ жену, которая рвалась къ нему и жила на нашемъ попеченіи въ Тедингтонѣ. Пока мы ее снаряжали, явился въ Лондонъ и самъ Гончаръ.

Хитрый старикъ, почувшій смуты и войны, вышелъ изъ своей берлоги понюхать воздухъ и посмотреть, чего откуда можно ждать, т. е., съ кѣмъ итти и противъ кого. Не зная ни одного слова, кромѣ по-русски и по-турецки, онъ отправился въ Марсель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ онъ видѣлся съ Чарторижскимъ и Замоискимъ; говорятъ даже, что его возили къ Наполеону; отъ него я этого не слыхалъ. Переговоры ни къ чему не привели, и

сѣдой казакъ, качая головой и щура лукавыми глазами, написалъ каракульками семнадцатаго столѣтія ко мнѣ письмо, въ которомъ, называя меня «графомъ», спрашивалъ: можетъ ли пріѣхать къ намъ и какъ насъ найти. Мы жили тогда въ Тедингтонѣ; безъ языка не легко было добратъся до насъ, и я поѣхалъ въ Лондонъ на желѣзную дорогу встрѣтить его. Выходить изъ вагона старый русскій мужикъ, изъ зажиточныхъ, въ сѣромъ кафтанѣ, съ русской бородой, скорѣе худощавый, но крѣпкій, мускулистый, довольно высокій и загорѣлый, несетъ узелокъ въ пѣвѣтномъ платкѣ.

— Вы *Осипъ Семеновичъ*? спрашиваю я.

— Я, батюшка, я.—Онъ подаль мнѣ руку. Кафтанъ распахнулся, и я увидѣлъ на поддевкѣ большую звѣзду, разумѣется, турецкую: *русскихъ* звѣздъ мужикамъ не даютъ. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, этого я въ Россіи не видалъ.

— Я такой-то, пріѣхалъ васъ встрѣтить, да проводить къ намъ.

— Что же ты это, ваше сіятельство, самъ беспокоился... того... ты бы того, кого-нибудь...

— Это ужъ оттого, видно, что я не сіятельство. Съ чего же, Осипъ Семеновичъ, вы выдумали меня называть графомъ?

— А Христосъ тебя знаетъ, какъ величать; ты небось въ своемъ дѣлѣ во главѣ стоишь. Ну, а я — того, человекъ темный ну, и говорю: графъ, т. е., сіятельный, т. е., голова.

Не только оборотъ рѣчи, но и произношеніе у Гончара было великорусское, крестьянское. Какъ у нихъ въ захолустьи, окруженномъ иноплеменными, такъ славно сохранился языкъ?— Трудно было бы понять безъ старообрядческаго мерщениа. Расколъ ихъ выдѣлилъ такъ строго, что никакое чужое вліяніе не перешло за ихъ частоколь.

Гончаръ прожилъ у насъ три дня. Первые дни онъ ничего не ѣлъ, кромѣ сухого хлѣба, который привезъ съ собой, и пилъ одну воду. На третій день было воскресенье; онъ разрѣшилъ себѣ стаканъ молока, рыбу, вареную въ водѣ, и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себѣ на умѣ, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человекъ, привыкшаго съ дѣтскихъ лѣтъ къ полному безправію и къ сосѣдству сильныхъ враговъ, долгая жизнь, проведенная въ борьбѣ, въ настойчивомъ трудѣ, въ опасностяхъ, все это такъ и сквозило изъ-за-мнимо простыхъ чертъ и простыхъ словъ сѣдого казака. Онъ постоянно оговаривался, употреблялъ уклончивыя фразы, тексты изъ Священнаго Писанія, дѣлалъ скромный видъ, очень сознательно рассказывая о своихъ

успѣхахъ, и если иногда увлекался въ разсказахъ о прошломъ и говорилъ много, то, навѣрное, никогда не проговорился о томъ, о чемъ хотѣлъ молчать.

Этотъ закалъ людей на Западѣ почти не существуетъ. Онъ ненуженъ такъ, какъ ненужна дамаская сталь для лезвія перочиннаго ножа.

Въ Европѣ все дѣлается гуртомъ, массою; человѣку одиночно ненужно столько силы и осторожности.

Въ успѣхъ польскаго дѣла онъ уже не вѣрилъ и говорилъ о своихъ парижскихъ переговорахъ, покачивая головой.—«Намъ, конечно, гдѣ же сообразить: мы люди маленькіе, темные, а они вонъ поди какъ, ну, вельможи, какъ слѣдуетъ; только эдакъ нравъ-то легкій. Ты, молъ, Гончаръ, не сумлевайся: вотъ какъ справимся, мы то и то сдѣлаемъ для тебя, напимѣрь. Понимаешь?... все будетъ въ удовольствіе. Оно точно, люди они добрые, да поди вотъ, *когда справятся...* съ такой политикой». Ему хотѣлось разузнать, какія у насъ связи съ раскольниками и какія опоры въ краѣ; ему хотѣлось осязать, можетъ ли быть практическая польза въ связи старообрядцевъ съ нами. Въ сущности для него было все равно, онъ пошелъ бы равно съ Польшей и Австріей, съ нами и съ греками, съ Россіей и съ Турціей, лишь бы это было выгодно для его некрасовцевъ. Онъ и отъ насъ уѣхалъ, качая головой. Написалъ потомъ два-три письма, въ которыхъ, между прочимъ, жаловался на Кельсіева и подалъ, вопреки нашего мнѣнія, адресъ государю.

Въ началѣ 1864 поѣхали въ Тульчу два русскихъ офицера, оба эмигранты, Краснощвцевъ и В. Маленькая колонія сначала дружно принялась за работу. Они учили дѣтей и солили огурцы, чинили свои платья и копались въ огородѣ. Жена Кельсіева варила обѣдъ и обшивала ихъ. Кельсіевъ былъ доволенъ началомъ, доволенъ казаками и раскольниками, товарищами и турками ¹⁾.

Кельсіевъ писалъ еще намъ свои юмористическіе разсказы о ихъ водвореніи, а уже черная рука судьбы была занесена надъ маленькой кучкой Тульчинскихъ общинниковъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1864, ровно черезъ годъ послѣ своего пріѣзда, умеръ двадцати трехъ лѣтъ отроду, на рукахъ своего брата, въ злѣйшемъ тифѣ, Иванъ Кельсіевъ. Смерть его была для брата страшнымъ ударомъ; онъ самъ занемогъ, но какъ-то отходился. Письма его того

¹⁾ И вотъ эта ужасная Тульчинская агенція, имѣвшая сношенія со всемірною революціей, поджигавшая русскія деревни на деньги изъ Мацциніевскихъ кассъ, гровно дѣйствовавшая года черезъ два послѣ того, какъ перестала существовать, и теперь еще поминаемая въ литературѣ сыщиковъ и въ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ Каткова!

времени ужасны. Духъ, поддерживавшій отшельниковъ, упалъ, угрюмая скука овладѣвала ими; начались преступленія и ссоры. Гончаръ писалъ, что Кельсiевъ сильно пьетъ. Красногвѣзцевъ застрѣлился, В. ушелъ. Дальше не могъ вытерпѣть и Кельсiевъ; онъ взялъ свою жену и своихъ дѣтей (у него еще родился ребенокъ) и, безъ средствъ, безъ цѣли, отправился сначала въ Константинополь, потомъ въ Дунайскія княжества. Совершенно отрѣзанный отъ всѣхъ, отрѣзанный на время даже отъ насъ, онъ въ это время разошелся съ польской эмиграціей въ Турціи. Напрасно искалъ онъ заработать кусокъ хлѣба, съ отчаяніемъ смотрѣлъ онъ на изнуреніе бѣдной женщины и дѣтей. Деньги, которыя мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у насъ вовсе не было хлѣба»,—писала незадолго до своей смерти его жена. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій Кельсiевъ нашелъ въ Галацѣ мѣсто «надзирателя за пошесейными работами». Скука томила, грызла его. Онъ не могъ не винить себя въ положеніи семьи. Невѣжество дико-восточнаго міра оскорбляло его; онъ въ немъ чахнулъ и рвался вонъ. Вѣру въ раскольниковъ онъ утратилъ; вѣру въ Польшу утратилъ; вѣра въ людей, въ науку, въ революцію колебалась сильнѣй и сильнѣй, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется. Онъ только и мечталъ, чтобъ, во что бы то ни стало, вырваться опять на свѣтъ, пріѣхать къ намъ, и съ ужасомъ видѣлъ, что ему покинуть семью нельзя. «Если-бъ я былъ одинъ, писалъ онъ нѣсколько разъ, я съ дагерротипомъ или органомъ ушелъ бы, куда глаза глядятъ, и, потаскавшись по міру, пѣшкомъ явился бы въ Женеву».

Помощь была близка.

«Малуша» (такъ звали старшую дочь) легла здоровая спать, проснулась ночью больная; къ утру умерла холерой. Черезъ нѣсколько дней умеръ меньшей; мать свезли въ больницу. У ней открылась острая чахотка.

«Помнишь-ли, ты когда-то мнѣ обѣщалъ сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?»

«Смерть, другъ мой, смерть».

И она еще разъ улыбнулась, впала въ забытiе и умерла.

Отрывокъ изъ письма:

...Намъ пишутъ изъ Петербурга, что на дняхъ начальникъ Скулянской таможни получилъ за подписью «В. Кельсiевъ» письмо, предварявшее его, что пассажиръ, имѣющій прибыть на эту таможню съ правильнымъ турецкимъ паспортомъ на имя Ивана Желудкова, есть никто иной какъ онъ, г. Кельсiевъ, и что онъ, желая предать себя въ руки русскаго правительства, проситъ арестовать себя и препроводить въ Петербургъ.

Общій фондъ.

Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ, новые люди, вытѣсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей. Они шли не изъ готвальни наступающаго переворота, а съ обрушившейся сцены, на которой уже выступали актерами. Они укрывались отъ внѣшней бури и ничего не искали внутри, имъ нуженъ былъ временный пріютъ, пока погода уляжется, пока снова представится возможность итти въ бой. Люди эти очень молодые покончили съ идеями, съ образованіемъ; теоретическіе вопросы ихъ не занимали отчасти отъ того, что они у нихъ еще не возникали, отчасти отъ того, что у нихъ дѣло шло о приложеніи. Они были побиты матеріально, но дали доказательства своей отваги! Свернувши знамя, имъ приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тонъ, *cassant, gaide*, рѣзкій и нѣсколько поднятый. Отсюда военное, нетерпѣливое отвращеніе отъ долгаго обсуживанія, критики, нѣсколько изысканное пренебреженіе ко всѣмъ умственнымъ роскошамъ, въ числѣ которыхъ ставилось на первомъ планѣ искусство. Какая тутъ музыка, какая поэзія! «Отечество въ опасности, *aux armes, citoyens!*» Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они были отвлеченно правы, но сложнаго и запутаннаго процесса уравновѣшенія идеала съ существующимъ они не брали въ расчетъ и, само собой разумѣется, свои мнѣнія и воззрѣнія принимали за воззрѣнія и мнѣнія цѣлой Россіи. Винить за это нашихъ молодыхъ штурмановъ будущей бури было бы несправедливо. Это общеоношеская черта; годъ тому назадъ одинъ французъ, поклонникъ Конта, увѣрялъ меня, что католицизмъ во Франціи *не существуетъ* и *complètement perdu le terrain*, между прочимъ, ссылаясь на медицинскій факультетъ, на профессоровъ и студентовъ, которые не только не католики, но и не деисты.

— Ну, а та часть Франціи, замѣтилъ я, которая не читаетъ и не слушаетъ медицинскихъ лекцій?

— Она, конечно, держится за религію и обряды, но больше по привычкѣ и по невѣжеству.

— Очень вѣрно, но что же вы сдѣлаете съ нею?

— А что сдѣлали въ 1792 году?

— Немного: революція сначала заперла церкви, а потомъ открыла. Вы помните отвѣтъ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордаты: «Нравится ли тебѣ церемонія?»—спросилъ консуль, выходя изъ Нотръ-Дамъ. Якобинецъ-генераль отвѣчалъ: «Очень, жаль только, что недостаетъ тѣхъ двухсотъ тысячъ чело-вѣкъ, которые легли костями, чтобъ уничтожить подобныя церемоніи».

— А bah! мы стали умнѣе и не откроемъ церковныхъ дверей, или лучше, не запремъ ихъ вовсе и отдадимъ капища суетвѣрія подѣ школы.

— L'infâme sera écartée,—докончилъ я, смѣясь.

— Да, безъ сомнѣнія; это вѣрно!

— Но мы-то съ вами не увидимъ этого; это еще вѣрнѣе.

Въ этомъ взглядѣ на окружающій міръ сквозь подкрашенную личнымъ сочувствіемъ призму лежитъ половина всѣхъ революціонныхъ неуспѣховъ. Жизнь молодыхъ людей, вообще идущая въ своего рода шумномъ и замкнутомъ затворничествѣ, вдали отъ будничной и валовой борьбы изъ-за личныхъ интересовъ, рѣзко схватывая общія истины, почти всегда срѣзывается на ложномъ пониманіи ихъ приложенія къ нуждамъ дня.

...Сначала новые гости оживили насъ разсказами о петербургскомъ движеніи, о дикихъ выходкахъ оперившейся реакціи, о процессахъ и преслѣдованіяхъ, объ университетскихъ и литературныхъ партіяхъ; потомъ, когда все это было передано съ той скоростью, съ которой въ этихъ случаяхъ торопятся все сообщить, наступили паузы, гіатусы; бесѣды наши сдѣлались скучны, однообразны...

Неужели, думалъ я, это въ самомъ дѣлѣ старость, разводящая два поколѣнія? Холодъ, вносимый лѣтами, усталю, испытаніями?

Какъ бы то ни было, я чувствовалъ, что, съ появленіемъ новыхъ людей, горизонтъ нашъ не расширился... а сузился диаметръ разговоровъ сталъ короче; намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать. Ихъ занимали подробности ихъ круговъ, за границей которыхъ ихъ ничто не занимало. Однажды передавши все интересное объ нихъ, приходилось повторять и они повторяли. Наукой или дѣлами они занимались мало; даже мало читали и не слѣдили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаніями и ожиданіями, они не любили выходить въ другія области; а намъ не доставало воздуха въ этой спертой атмосферѣ. Мы, избаловавшись другими размѣрами, задыхались!

Къ тому же, если они и знали извѣстный слой Петербурга, то Россіи вовсе не знали и, искренно желая сблизиться съ народомъ, сближались съ нимъ книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком *обще*. Вместе идти, *служить*, по французскому выраженію, вместе что-нибудь дѣлать—мы могли; но вместе стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезномъ вліяніи и думать было нечего. Болѣзненное и очень безцеремонное самолюбіе давно закусило удила ¹⁾). Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но, при всей искренности, это было не въ самомъ дѣлѣ. Они ждали, чтобы мы формулировали ихъ собственное мнѣніе и только въ томъ случаѣ соглашались, когда высказанное нами нисколько не противорѣчило ему. На насъ они смотрѣли, какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ.

Я всегда и во всемъ боялся «пуще всѣхъ печалей» *мезальянсовъ*, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ.

Предвидѣть было немудрено, что новыя связи долго не продержатся, что рано или поздно онѣ разорвутся и что этотъ разрывъ, взявъ въ расчетъ шероховатый характеръ новыхъ пріятелей, не обойдется безъ дурныхъ послѣдствій.

Вопросъ, на которомъ покачнулись шаткія отношенія, былъ именно тотъ старый вопросъ, на которомъ обыкновенно разрываются знакомства, спитыя гнилыми нитками. Я говорю о деньгахъ. Не зная вовсе ни моихъ средствъ, ни моихъ жертвъ, они предъявляли на меня требованія, которыя удовлетворять я не считалъ справедливымъ. Если я могъ черезъ всѣ невзгоды, безъ малѣйшей поддержки, провести лѣтъ пятнадцать русскую пропаганду, то я могъ это сдѣлать, налагая мѣру и границу на другія траты. Новые знакомые находили, что все, дѣлаемое мною, мало, и съ негодованіемъ смотрѣли на человѣка, прикидывающагося социалистомъ и не раздающаго своего достоянія на дуванъ людямъ не работающимъ, но желающимъ денегъ. Очевидно, они стояли еще на непрактической точкѣ зрѣнія христіанской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практическій социализмъ.

Опыты собранія «Общаго фонда» не дали важныхъ результатовъ. Русскіе не любятъ давать денегъ на общее дѣло, если при немъ нѣтъ сооруженія церкви, обѣда, попойки и высшаго одобряющаго начальства.

¹⁾ Самолюбіе ихъ не было такъ велико, какъ задорно и раздражительно, а главное невоздержанно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія—чинопочитанія по рангу, ими присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока и постоянно трунили другъ надъ другомъ, отчего ихъ дружбы никогда не продолжались дольше мѣсяца.

Въ самый разгаръ эмигрантскаго безденежья, разнесся слухъ, что у меня есть какая-то сумма денегъ, врученная мнѣ для пропаганды.

Молодымъ людямъ казалось справедливымъ ее у меня отобрать.

Для того, чтобы понять это, слѣдуетъ рассказать объ одномъ странномъ случаѣ, бывшемъ въ 1858 г. Однимъ утромъ я получилъ записку, очень короткую, отъ какого-то незнакомаго русскаго; онъ писалъ мнѣ, что имѣеть «необходимость меня видѣть», и просилъ назначить время.

Я въ это время шелъ въ Лондонъ, а потому, вмѣсто всякаго отвѣта, зашелъ самъ въ Саблоньеръ-отель и спросилъ его. Онъ былъ дома. Молодой человекъ съ видомъ кадета, застѣбчивый, очень невеселый и съ особой наружностью, довольно топорно отдѣланной, седьмыхъ-восьмыхъ сыновей степныхъ помѣщиковъ. Очень неразговорчивый, онъ почти все молчалъ; видно было, что у него что-то на душѣ, но онъ не дошелъ до возможности высказать что.

Я ушелъ, пригласивши его дня черезъ два-три обѣдать. Прежде этого я его встрѣтилъ на улицѣ.

— Можно съ вами итти?—спросилъ онъ.

— Конечно, не мнѣ съ вами опасно, а вамъ со мной. Но Лондонъ великъ.

— Я не боюсь, и тутъ вдругъ, закусивши удила, онъ быстро проговорилъ:—я никогда не возвращусь въ Россію, нѣтъ, нѣтъ, я рѣшительно не возвращусь въ Россію...

— Помилуйте, вы такъ молоды?

— Я Россію люблю, очень люблю; но тамъ люди... тамъ мнѣ не житье. Я хочу завести колонію на совершенно социальныхъ основаніяхъ; это все я обдумалъ и теперь ѣду прямо туда.

— То есть, куда?

— На Маркизскіе острова.

Я смотрѣлъ на него съ нѣмымъ удивленіемъ.

— Да, да; это дѣло рѣшенное. Я плыву съ первымъ пароходомъ и потому очень радъ, что васъ встрѣтилъ сегодня,—могу я вамъ сдѣлать нескромный вопросъ?

— Сколько хотите.

— Имѣете вы выгоду отъ вашихъ публикацій?

— Какая же выгода; хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будетъ окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, въ вашу пропаганду не входятъ никакія торговля цѣли?

Я расхохотался.

— Ну, да какъ же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не изъ любопытства спрашиваю: у меня была мысль, оставляя Россію навсегда, сдѣлать что-нибудь полезное для нея, я и рѣшился оставить у васъ немного денегъ. На случай, если вашей типографіи нужно, или для русской пропаганды вообще, такъ вы бы и распорядились.

Мнѣ опять пришлось посмотреть на него съ удивленіемъ.

— Ни типографія, ни пропаганда, ни я, въ деньгахъ мы не нуждаемся; напротивъ, дѣло идетъ въ гору; зачѣмъ же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь отъ нихъ, позвольте мнѣ отъ души поблагодарить за доброе намѣреніе.

— Нѣтъ-съ, это дѣло рѣшенное. У меня пятьдесятъ тысячъ франковъ, тридцать я беру съ собой на острова, двадцать отдаю вамъ на пропаганду.

— Куда же я ихъ дѣну?

— Ну, не будетъ нужно, вы отдадите мнѣ, если я возвращусь; а не возвращусь лѣтъ черезъ десять, или умру, употребите ихъ на усиленіе вашей пропаганды. Только,—добавилъ онъ, подумавши,—дѣлайте, что хотите, но... но не отдавайте ничего мнѣ наслѣдникамъ. Вы завтра утромъ свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сдѣлайте одолженіе, въ банкъ и къ Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умѣю по-англійски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорѣе отдѣлаться отъ двадцати тысячъ и ѣхать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вотъ на какихъ основаніяхъ: я вамъ дамъ расписку.

— Никакой расписки мнѣ не нужно.

— Да, но мнѣ нужно дать, я безъ этого вашихъ денегъ не возьму. Слушайте же. Во-первыхъ, въ распискѣ будетъ сказано, что деньги ваши ввѣряются не мнѣ одному, а мнѣ и Огареву. Во-вторыхъ, такъ какъ вы, можетъ, соскучитесь на Маркизскихъ островахъ и у васъ явится тоска по родинѣ (онъ покачалъ головой)... почему знаешь чего не знаешь... то писать о цѣли, съ которой вы даете капиталъ, не слѣдуетъ, а мы скажемъ, что деньги эти отдаются въ полное распоряженіе мое и Огарева; буде же мы нумо распоряженія не сдѣлаемъ, мы купимъ для васъ на всю сумму какихъ-нибудь бумагъ, гарантированныхъ англійскимъ правительствомъ, въ 5% или около. Затѣмъ, даю вамъ слово, что, безъ явной крайности для пропаганды, мы денегъ вашихъ не тронемъ; вы на нихъ можете считать во всѣхъ случаяхъ, кромѣ банкротства въ Англии.

— Коли хотите непременно дѣлать столько затрудненій, дѣлайте ихъ. А завтра ѣдемъ за деньгами!

Слѣдующій день былъ необыкновенно смѣшенъ и суетливъ. Началось съ банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнаціями. Б. возымѣлъ сначала благое намѣреніе размѣнять ихъ на *испанское* золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрѣли на него съ изумленіемъ, но когда вдругъ, какъ съ просонья, онъ сказалъ совершенно ломанымъ франко-русскимъ языкомъ: «ну, такъ леть креди иль Маркизъ», тогда Кеснеръ, директоръ бюро, обернулъ на меня испуганный и тоскливый взглядъ, который лучше словъ говорилъ: «Онъ не опасенъ ли?» Еще никогда въ домѣ у Ротшильда никто не требовалъ кредитива на Маркизскіе острова.

Рѣшились тридцать тысячъ взять золотомъ и ѣхать домой; на дорогѣ заѣхали въ кафе, я написалъ расписку; Б. съ своей стороны написалъ мнѣ, что отдаетъ въ полное распоряженіе мое и Огарева восемьсотъ фунтовъ; потомъ онъ ушелъ зачѣмъ-то домой, а я отправился его ждать въ книжную лавку; черезъ четверть часа онъ пришелъ блѣдный какъ полотно и объявилъ, что у него изъ 30.000 недостаетъ 250 франковъ, т. е., 10 фунтовъ.

Онъ былъ совершенно сконфуженъ. Какъ потеря 250 франковъ могла такъ перевернуть человѣка, отдавашаго безъ всякой прочной гарантіи 20.000,—опять психологическая загадка натуры человѣческой.—Нѣтъ ли лишней бумажки у васъ?—Со мной денегъ нѣтъ, я отдалъ Ротшильдѣ и вотъ расписка: ровно 800 фунтовъ получено. Б., размѣнявшій безъ всякой нужды на фунты свои ассигнаціи, разсыпалъ на конторкѣ Тхоржевскаго 30.000; считалъ, пересчитывалъ, нѣтъ 10 фунтовъ да и только. Видя его отчаяніе, я сказалъ Тхоржевскому: я какъ-нибудь на себя возьму эти проклятые 10 фунтовъ, а то онъ же сдѣлалъ доброе дѣло, да онъ же и наказанъ.

— Горевать и толковать тутъ не поможетъ, прибавилъ я ему: я предлагаю ѣхать сейчасъ къ Ротшильдѣ.

Мы поѣхали. Было уже позже четырехъ и касса заперта. Я взошелъ съ сконфуженнымъ Б. Кеснеръ посмотрѣлъ на него и, улыбаясь, взялъ со стола 10-фунтовую ассигнацію и подаль ее мнѣ.

— Это какимъ образомъ?

— Вашъ другъ, мѣняя деньги, далъ вмѣсто двухъ 5 фунт.— двѣ 10 фунт. ассигнаціи, а я сначала не замѣтилъ.

Б. смотрѣлъ, смотрѣлъ и прибавилъ:

— Какъ глупо, одного цвѣта и 10 фунтовъ и 5 фунтовъ; кто же догадается,—видите, какъ хорошо, что я размѣнялъ деньги на золото.

Успокоившись, онъ поѣхалъ ко мнѣ обѣдать, а на другой день я обѣщался притти къ нему проститься. Онъ былъ совсѣмъ готовъ. Маленькій кадетскій или студентскій, вытертый, растертый

чемоданчикъ, шинель, перевязанная ремнемъ, и... и... тридцать тысячъ франковъ *золотомъ*, завязанныя въ толстомъ фулярѣ такъ, какъ завязываютъ фунтъ крыжовнику или орѣховъ.

Такъ ѣхалъ этотъ человекъ на Маркизскіе острова.

— Помилуйте,—говорилъ я ему,—да васъ убьютъ и ограбятъ прежде, чѣмъ вы отчалите отъ берега. Положите лучше въ чемоданчикъ деньги.

— Онъ полонъ.

— Я вамъ скажъ достану.

— Ни подъ какимъ видомъ.

— Такъ и уѣхалъ. Я первые дни думалъ, чего добраго его укукошати, а на меня падеть подозрѣніе, что я подослалъ его убить.

Съ тѣхъ поръ объ немъ не было слуху, ни духу... Деньги его я положилъ въ фонды, съ твердымъ намѣреніемъ не касаться до нихъ безъ крайней нужды типографіи или пропаганды.

Въ Россіи долгое время никто не зналъ объ этомъ; потомъ ходили смутные слухи,—чему мы обязаны двумъ-тремъ пріятелямъ нашимъ, давшимъ слово не говорить объ этомъ. Наконецъ, узнали, что деньги дѣйствительно есть и хранятся у меня.

Вѣсть эта пала какимъ-то яблокомъ искушенія, какимъ-то хроническимъ возбужденіемъ и ферментомъ. Оказалось, что эти деньги нужны всѣмъ, а я ихъ не давалъ. Мнѣ не могли простить, что я не потерялъ всего своего состоянія, а тутъ у меня депо, данное для пропаганды; а кто же пропаганда, какъ не они? Сумма вскорѣ выросла изъ скромныхъ франковъ *въ рубли серебромъ*, и дразнила еще больше желавшихъ сгубить ее *частно* на общее дѣло. Негодовали на Б., что онъ мнѣ деньги ввѣрилъ, а не кому-нибудь другому; самые смѣлые утверждали, что это съ его стороны ошибка, что онъ дѣйствительно хотѣлъ отдать ихъ не мнѣ, а одному петербургскому кругу и что, не зная, какъ это сдѣлать, отдалъ въ Лондонъ мнѣ. Отважность въ этихъ сужденіяхъ была тѣмъ замѣчательнѣе, что о фамиліи Б. такъ же никто не зналъ, какъ и о его существованіи, и что онъ о своемъ предположеніи ни съ кѣмъ не говорилъ до своего отъѣзда, а послѣ его отъѣзда съ нимъ никто не говорилъ.

Однимъ деньги эти нужны были для посылки эмиссаровъ; другимъ для образованія центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала. *Колоколомъ* они были не довольны и на наше приглашеніе работать въ немъ, что-то подавались туго.

Я рѣшительно денегъ не давалъ и пусть требовавшіе ихъ сами скажутъ, гдѣ онѣ были бы, если-бъ я далъ ихъ.

— Б., говорилъ я, можетъ воротиться безъ гроша; трудно сдѣлать аферу, заводя социалистическую колонію на Маркизскихъ островахъ.

— Онъ навѣрное умеръ.

— А какъ на зло вамъ живъ?

— Да, вѣдь, онъ деньги далъ на пропаганду.

— Пока мнѣ на нее ненужно.

— Да намъ нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь въ Одессу...

— Не думаю, чтобъ очень нужно было.

— Такъ вы не вѣрите въ необходимость послать?

— Не вѣрю.

Старѣеть и становится скупъ, — говорили обо мнѣ на разные тоны самые рѣшительные и свирѣпые. — Да что на него смотрѣть; взять у него эти деньги, да и баста, — прибавляли еще больше рѣшительные и свирѣпые. — А будетъ упираться, мы его такъ продернемъ въ журналахъ, что будетъ помнить, какъ задерживать чужія деньги.

Денегъ я не далъ.

Въ журналахъ они не продергивали. Ругательства въ печати являются гораздо позже, но тоже изъ-за денегъ.

... Эти *болше свирѣпые*, о которыхъ я сказалъ, были тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители «новаго поколѣнья», которыхъ можно назвать *Собакевичами* и *Ноздревыми* нигилизма.

Какъ ни излишне дѣлать оговорку, но я ее сдѣлаю, зная логику и манеру нашихъ противниковъ. Въ моихъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго желанія бросить камень ни въ молодое поколѣнiе, ни въ нигилизмъ. О послѣднемъ я писалъ много разъ. Наши Собакевичи нигилизма не составляютъ сильнѣйшаго выраженiя ихъ, а представляютъ ихъ черезчурную крайность ¹⁾.

Кто же станетъ христіанство судить по Аршеновымъ хлыстамъ и революцію по сентябрьскимъ мясникамъ и робеспьеровскимъ чулочницамъ?

Заносчивые юноши, о которыхъ идетъ рѣчь, заслуживаютъ изученiя, потому что они выражаютъ временный *типъ*, очень опредѣленно вышедшій, очень часто повторившійся, переходную форму болѣзни нашего развитiя изъ прежняго застоя.

Большею частью они не имѣли той выправки, которую даетъ воспитанiе и той выдержки, которая приобрѣтается научными занятiями. Они торопились въ первомъ задорѣ освобожденiя сбро-

¹⁾ Въ то самое время въ Петербургѣ и Москвѣ, даже въ Казани и Харьковѣ, образовывались между университетской молодежью кружки, серьезно посвящавшие себя изученiю науки, особенно между медиками. Честно и добросовѣстно трудились они, но устраненные отъ бойкаго участiя въ вопросахъ дня, они не были вынуждены покидать Россiю и мы ихъ почти вовсе не знали.

свить съ себя всё условныя формы и оттолкнуть всё каучуковыя подушки, мѣшающія жесткимъ столкновениямъ. Это затруднило всё простѣйшія отношенія съ ними.

Снимая все до послѣдняго клочка, наши *enfants terribles* гордо являлись какъ *мать родила*, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Въмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, обнаружились печальные слѣды наследственнаго худосочія, слѣды застрѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противоположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

Съ одной стороны, реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое поколѣніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды; тутъ нечего искать ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается назло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы лицомѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь, не уважая, мы будемъ толкаться, не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ поправаніе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ *points d'honneur*овъ.

Но, съ другой стороны, эта отрѣшенная отъ обыкновенныхъ формъ общежителства личность была полна своихъ наследственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасывая съ себя, какъ мы сказали, всё покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмѣ гоголевскаго Пѣтуха, и при томъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, и очень много съ приемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помѣщицьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало счелъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, исхудалыми баричами, стрекулистами безъ мѣста, нѣмцами изъ русскихъ.

Для полной свободы надобно забыть свое освобожденіе и то, изъ чего освободились, бросить привычки среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдѣлано, мы неволью узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть С.-Милля *ракальей*, забывая всю службу его, — развѣ это не барская замашка, которая «старога Гаврилу, за измятое жабо клещеть въ усъ да въ рыло». Развѣ въ этой и подобныхъ выходкахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, станового, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ свысока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго «дать фельдфебеля въ Вольтеры»?

Самая проказа взятокъ уцѣлѣла въ домогательствѣ денегъ нахрапомъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подъ предлогомъ общихъ дѣлъ, въ поползновеніи кормиться насчетъ службы и мстить кляузами и клеветами за отказъ.

Все это переработается и перемелется; но нельзя не сознаться, — странную почву приготовили опека и цивилизація въ нашемъ «темномъ царствѣ». Почву, на которой многообѣщающіе всходы проросли, съ одной стороны, поклонниками Муравьевыхъ и Катковыхъ, съ другой, *дантистами* нигилизма и базаровской безпардонной вольницы.

Много дренажа требуютъ наши черноземы!

М. Б. и Польское дѣло.

(Продолженіе главы „Перигей“).

Въ концѣ ноября мы получили отъ Б. слѣдующее письмо:

«15 октября 1861, С.-Франциско. Друзья, мнѣ удалось бѣжать изъ Сибири и, послѣ долгаго странствованія по Амуру, по берегамъ татарскаго пролива и черезъ Японію, сегодня прибылъ я въ Санъ-Франциско.

«Друзья, всѣмъ существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только приѣду, примусь за дѣло, буду у васъ служить по польско-славянскому вопросу, который былъ моею *idée fixe* съ 1846 и моею *практической спеціальностью* въ 48 и 49 годахъ.

«Разрушеніе, полное разрушеніе Австрійской имперіи, будетъ моимъ послѣднимъ словомъ; не говорю дѣломъ, это было бы слишкомъ честолюбиво; для служенія ему я готовъ итти въ барабанщики, или даже въ прохвосты и, если мнѣ удастся хоть на волосъ подвинуть его впередъ, я буду доволенъ. А за нимъ является *славная*, вольная *славянская* федерація, единственный исходъ для Россіи, Украйны, Польши и вообще для славянскихъ народовъ».

О его намѣреніи уѣхать изъ Сибири мы знали нѣсколько мѣсяцевъ прежде. Къ новому году явилась и собственная пышная фигура Б. въ нашихъ объятіяхъ.

Въ нашу работу, въ нашъ замкнутый двойной союзъ вошелъ новый элементъ, или, пожалуй, элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 года. Б. былъ тотъ же, онъ состарѣлся только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ во время всеобщихъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ такъ же преданъ одной идеѣ, такъ же способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впередъ остается не такъ много

и что, слѣдственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимъ изученіемъ, взвѣшиваніемъ про и contra и рвался, довѣрчивый и отвлеченный какъ прежде, къ дѣлу, лишь бы оно было среди бурь революціи, среди разгрома и грозной обстановки. Онъ и теперь, такъ въ статьяхъ Жюля Елизара, повторялъ: «Die Lust der Zerstörung ist eine Schaffende Lust». Фантазіи и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенгштейнѣ въ 1849, онъ сберегъ и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 году, во всей цѣлости. Даже языкъ его напоминалъ лучшія статьи «Реформы» и *Vraie République*, рѣчки рѣчи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашній духъ партій, ихъ исключительность, ихъ симпатіи и антипатіи къ лицамъ, пуще всего ихъ вѣра въ близость второго пришествія революціи, все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняютъ сильныхъ людей, если не тотчасъ ихъ губятъ; они выходятъ изъ нея, какъ изъ обморока, продолжая то, на чемъ лишились сознанія. Декабристы возвратились изъ-подъ сибирскаго снѣга моложе потоптанной на корню молодежи, которая ихъ встрѣтила. Въ то время, какъ два поколѣнія французовъ нѣсколько разъ мѣнялись, краснѣли и блѣднѣли, поднимаемые приливами и уносимыя назадъ отливами, Барбесъ и Бланки остались безмѣнными маяками, напоминавшими изъ-за тюремныхъ рѣшетокъ, изъ-за чужой дали прежніе идеалы во всей чистотѣ.

«Польско-славянскій вопросъ... разрушеніе Австрійской имперіи... вольная славянская и *славная* федерація»... И все это сейчасъ, какъ только онъ пріѣдетъ въ Лондонъ, и пишетъ изъ С.-Франциско, одна нога на кораблѣ!

Европейская реакція не существовала для Б., не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; они ему были извѣстны вкратцѣ, издалека, слегка. Онъ ихъ прочелъ въ Сибири, такъ, какъ читалъ въ Кайдановѣ о Пуническихъ войнахъ и о паденіи Римской имперіи. Какъ человекъ, возвратившійся послѣ мора, онъ слышалъ о тѣхъ, которые умерли, и вздохнулъ объ нихъ обо всѣхъ; но онъ не сидѣлъ у изголовья умирающихъ, не надѣялся на ихъ спасеніе, не шелъ за ихъ гробомъ. Совсѣмъ напротивъ, событія 1848 были возлѣ, близки къ сердцу, подробные и живые разговоры съ Коссидьеромъ, рѣчи славянъ на Пражскомъ съѣздѣ, споры съ Араго или Руге,—все это было для Б. вчера, звенѣло въ ушахъ, мелькало передъ глазами.

Впрочемъ, оно и сверхъ тюрьмы немудрено.

Первые дни послѣ февральской революціи были лучшими днями жизни Б. Возвратившись изъ Бельгіи, куда его вытурилъ Гизо за его рѣчь на польской годовщинѣ 29 ноября 1847, онъ

съ головой нырнулъ во всѣ тяжкія революціоннаго моря. Онъ не выходилъ изъ казармъ монтаньяровъ, ночевалъ у нихъ, ѣлъ съ ними и проповѣдывалъ, все проповѣдывалъ, коммунизмъ et l'égalité du salaire, нивелированіе во имя равенства, освобожденіе всѣхъ славянъ, уничтоженіе всѣхъ Австрій, революцію en reglemente, войну до избіенія послѣдняго врага. Префектъ съ баррикадъ, дѣлавшій «порядокъ изъ безпорядка», Коссидьеръ, не зналъ, какъ выжить дорогого проповѣдника, и придумалъ съ Флокономъ отправить его въ самомъ дѣлѣ къ славянамъ съ братской акколадой и увѣренностью, что онъ тамъ себѣ сломить шею и мѣшать не будетъ. Quel homme! Quel homme! говорилъ Коссидьеръ о Б.: «въ первый день революціи это просто кладъ, а на другой день его надобно разстрѣлять»¹⁾.

Когда я пріѣхалъ въ Парижъ изъ Рима въ началѣ мая 1848, Б. уже витійствовалъ въ Богеміи, окруженный старовѣрческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витійствовалъ до тѣхъ поръ, пока князь Виндишгрецъ не положилъ пушками предѣлы краснорѣчію (и не воспользовался хорошимъ случаемъ, чтобы при сей вѣрной оказіи не подстрѣлить невзначай своей жены). Исчезнувъ изъ Праги, Б. является военнымъ начальникомъ Дрездена; бывшій артиллерійскій офицеръ учитъ военному дѣлу поднявшихъ оружіе профессоровъ, музыкантовъ и фармацевтовъ, совѣтуетъ имъ Мадонну Рафаэля и картины Мурильо поставить на городскія стѣны и ими защищаться отъ пруссаковъ, которые zu klassisch gebildet, чтобъ осмѣлились стрѣлять по Рафаэлю.

Артиллерія ему вообще помѣшала. По дорогѣ изъ Парижа въ Прагу, онъ наткнулся гдѣ-то въ Германіи на возмущеніе крестьянъ; они шумѣли и кричали передъ залпомъ, не умѣя ничего сдѣлать. Б. вышелъ изъ повозки и, не имѣя времени узнать въ чемъ дѣло, построилъ крестьянъ и такъ ловко научилъ ихъ, что, когда пошелъ садиться въ повозку, чтобъ продолжать путь, замокъ пылалъ съ четырехъ сторонъ.

Б. когда-нибудь переломитъ свою лѣнь и сдержитъ обѣщаніе: онъ когда-нибудь разскажетъ длинный мартирологъ, начавшійся для него послѣ взятія Дрездена. Напомню здѣсь главныя черты. Б. былъ приговоренъ къ эшафоту. Король Саксонскій замѣнилъ топоръ вѣчной тюрьмой, потомъ, безъ всякаго основанія, пере-

¹⁾ Скажите Коссидьеру, — говорилъ я, шутя, его пріятелямъ, — что тѣмъ-то В. и отличается отъ него, что и Коссидьеръ славный человекъ, но что его лучше бы разстрѣлять *наканунѣ* революціи. Впослѣдствіи, въ Лондонѣ въ 1854 году, я ему помянулъ объ этомъ. Префектъ въ изгнаніи только ударилъ огромнымъ кулакомъ своимъ въ молодецкую грудь съ той силой, съ которой вбиваютъ сваи въ землю, и говорилъ: „Здѣсь ношу В... здѣсь“.

далъ его въ Австрію. Австрійская полиція думала отъ него узнать что-нибудь о славянскихъ замыслахъ. Б. посадили въ Грачинъ и, ничего не добившись, отослали его въ Ольмюцъ. Б. скованнаго везли подъ сильнымъ конвоемъ драгунъ; офицеръ, который сѣлъ съ нимъ въ повозку, зарядилъ при немъ пистолетъ.

— Это для чего же?—спросилъ Б.—неужели вы думаете, что я могу бѣжать при этихъ условіяхъ?

— Нѣтъ, но васъ могутъ отбить ваши друзья; правительство имѣло насчетъ этого слухи, и въ такомъ случаѣ...

— Что же?

— Мнѣ приказано посадить вамъ пулю въ лобъ.

И товарищи поскакали.

Въ Ольмюцѣ Б. *приковали къ стѣнѣ*, и въ этомъ положеніи онъ пробылъ *полгода*. Австріи, наконецъ, наскучило даромъ кормить чужого преступника; она предложила Россіи его выдать.

На русской границѣ съ Б. сняли цѣпи. Объ этомъ я слышалъ много разъ; дѣйствительно, цѣпи съ него сняли, но разсказчикъ забыть прибавить, что зато надѣли другія, гораздо тяжеле. Офицеръ австрійскій, сдавши арестанта, потребовалъ цѣпи, какъ казенную К. К. собственность.

Николай похвалилъ храброе поведеніе Б. въ Дрезденѣ и посадилъ его въ Алексѣевскій равелинъ. Туда онъ прислалъ къ нему Орлова и велѣлъ ему сказать, что онъ желаетъ отъ него записку о нѣмецкомъ и славянскомъ движеніи. Б. написалъ журнальный *leading article*. Николай этимъ былъ доволенъ. «Онъ умный и хорошій малый, но опасный человѣкъ, его надобно держать на заперти», и *три цѣлыхъ года* послѣ этого Б. былъ скороненъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ. Александръ II оставилъ Б. въ крѣпости до 1857, потомъ послалъ его на житье въ восточную Сибирь. Въ Иркутскѣ онъ очутился на волѣ послѣ девятилѣтняго заключенія. Начальникомъ края былъ тамъ, на его счастье, оригинальный человѣкъ, демократъ и татаринъ, либераль и деспотъ, родственникъ Михайлы Б... и Михайлы Муравьева, и самъ Муравьевъ, тогда еще не Амурскій. Онъ далъ Б. вздохнуть, возможность человѣчески жить, читать журналы и газеты, и самъ мечталъ съ нимъ о будущихъ переворотахъ и войнахъ. Въ благодарность Муравьеву Б. въ головѣ назначалъ его главнокомандующимъ будущей земской арміей, назначаемой имъ въ свою очередь на уничтоженіе Австріи и учрежденіе славянскаго союзничества.

Въ 1860 году мать Б. просила государя о возвращеніи сына въ Россію; государь сказалъ, что «при жизни его, Б. изъ Сибири не переведутъ»; но онъ разрѣшилъ ему *вступить въ службу писцомъ*.

Тогда Б. рѣшился бѣжать; я его въ этомъ совершенно оправдываю. Последніе годы лучше всего доказываютъ, что ему нечего въ Сибири было ждать. Девяти лѣтъ каземата и нѣсколько лѣтъ ссылки было за глаза довольно. Не отъ его побѣга, какъ говорили, стало хуже политическимъ сосланнымъ, а отъ того, что времена стали хуже, люди стали хуже.

Бѣгство Б. замѣчательно пространствомъ; это самое длинное бѣгство въ географическомъ смыслѣ. Пробравшись на Амуръ подъ предлогомъ торговыхъ дѣлъ, онъ уговорилъ какого-то американскаго шкипера взять его съ собой къ Японскому берегу.— Въ Гого-Дади другой американскій капитанъ взялся его довести до С.-Франциско. Б. отправился къ нему на корабль и засталъ моряка, сильно хлопотавшаго объ обѣдѣ; онъ ждалъ какого-то почетнаго гостя и пригласилъ Б. — Б. принялъ приглашеніе и, только когда гость пріѣхалъ, узналъ, что это генеральный русскій консулъ.

Скрываться было поздно, смѣшно; онъ прямо вступилъ съ нимъ въ разговоръ, сказалъ, что выпросился сдѣлать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла въ морѣ и собиралась плыть къ Николаеву.

— Вы не съ нашими ли возвращаетесь?—спросилъ консулъ.

— Я только что пріѣхалъ,—отвѣчалъ Б.,—и хочу еще посмотреть край.

Выѣстъ покушавши, они разошлись en bons amis. Черезъ день онъ проплылъ на американскомъ пароходѣ мимо русской эскадры; кромѣ океана опасности больше не было.

Какъ только Б. оглядѣлся и учредился въ Лондонѣ, т. е., перенакоился со всѣми поляками и русскими, которые были налицо, онъ принялся за дѣло. Къ страсти проповѣдыванія, агитаціи, пожалуй, демагогіи, къ непрерывнымъ усиліямъ учреждать устраивать комплоты, переговоры, заводить сношенія и придавать имъ огромное значеніе, у Б. прибавляется готовность первому итти на исполненіе, готовность погибнуть, отвага принять всѣ послѣдствія. Это натура героическая, оставленная исторіей не у дѣла. Онъ тратилъ свои силы иногда на вздоръ такъ, какъ левъ тратитъ шаги въ клѣткѣ, все думая, что выйдетъ изъ нея. Но онъ не риторъ, боящійся исполненія своихъ словъ или уклоняющійся отъ осуществленія своихъ общихъ теорій...

Б. имѣлъ много недостатковъ. Но недостатки его были мелки, а сильныя качества крупны. Развѣ это одно не великое дѣло, что, брошенный судьбою куда бы то ни было и схвативъ двѣтри черты окружающей среды, онъ отдѣлялъ революціонную струю и тотчасъ принимался вести ее далѣе, раздувать, дѣлать изъ нея страстный вопросъ жизни.

Говорятъ, будто И. Тургеневъ хотѣлъ нарисовать портретъ Б. въ Рудинѣ, но Рудинъ едва напоминаетъ нѣкоторыя черты Б. Тургеневъ создалъ Рудина по своему образу и подобию. Рудинъ Тургенева, наслушавшійся философскаго жаргона, молодой Б.

Въ Лондонѣ онъ, во-первыхъ, сталъ *революционировать Колоколъ* и говорилъ въ 1862 противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 противъ Бѣлинскаго. Мало было пропаганды, надобно было неминуемо приложеніе, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близкихъ и дальнихъ людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организація въ краѣ,—славянская организація, польская организація. Б. находилъ насъ умѣренными, не умѣющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими рѣшительныя средства. Онъ, впрочемъ, не унывалъ и вѣрилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный. Въ ожиданіи нашего обращенія, Б. сгруппировалъ около себя цѣлый кругъ славянъ. Тутъ были чехи, отъ литератора Фрича до музыканта, называвшагося Наперсткомъ; сербы, которые просто величались по батюшкѣ Іоановичъ, Даниловичъ, Петровичъ; были валахи, состоявшіе въ должности славянъ, съ своимъ вѣчнымъ *еско* на концѣ; наконецъ, былъ болгаръ, лекаръ въ турецкой арміи, и поляки всѣхъ епархій: Бонапартовской, Мирославской, Чарторижской; демократы безъ соціальныхъ идей, но съ офицерскимъ отѣнкомъ; социалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотѣвшіе гдѣ-нибудь подраться, въ Сѣверной или въ Южной Америкѣ, и преимущественно въ Польшѣ.

Отдохнулъ съ ними Б. за девятилѣтнее молчаніе и одиночество. Онъ спорилъ, проповѣдывалъ, распоряжался, кричалъ, рѣшалъ, направлялъ, организовалъ и ободрялъ цѣлый день, цѣлую ночь, цѣлыя сутки. Въ короткія минуты, оставшіяся у него свободными, онъ бросался за свой письменный столъ, расчищалъ небольшое мѣсто отъ золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писемъ въ Семипалатинскъ и Арадъ, въ Бѣлградъ и Царьградъ, въ Бессарабію, Молдавію и Бѣлокриницу. Среди письма онъ бросалъ перо и приводилъ въ порядокъ какого-нибудь отсталаго далмата и, не кончивши своей рѣчи, схватывалъ перо и продолжалъ писать; это, впрочемъ, для него было облегчено тѣмъ, что онъ писалъ и говорилъ объ одномъ и томъ же. Дѣятельность его, праздность, аппетитъ и все остальное, какъ гигантскій ростъ и вѣчный потъ, все было не по человѣческимъ размѣрамъ, какъ онъ самъ; а самъ онъ—исполинь съ львиной головой, съ всклокоченной гривой.

Въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ рѣшительно тотъ же кочующій

студентъ съ Маросейки, тотъ же бездомный Bohémien съ rue de Boulogne, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, пренебрегая деньгами, бросая ихъ, когда есть, занимая ихъ безъ разбора направо и налево, когда ихъ нѣтъ, съ той простотой, съ которой дѣти берутъ у родителей, безъ заботы объ уплатѣ, съ той простотой, съ которой онъ самъ отдаетъ всякому послѣднія деньги, отдѣливъ отъ нихъ, что слѣдуетъ на сигареты и чай. Его этотъ образъ жизни не тѣшилъ; онъ родился быть великимъ бродягой, великимъ бездомникомъ. Если-бъ его кто-нибудь спросилъ окончательно, что онъ думаетъ о правѣ собственности, онъ могъ бы сказать то, что отвѣчалъ Лаландъ Наполеону о Богѣ: «Sire, въ моихъ занятіяхъ я не встрѣчалъ никакой необходимости въ этомъ правѣ!» Въ немъ было что-то дѣтское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло къ нему слабыхъ и сильныхъ, отталкивая однихъ чопорныхъ мѣщанъ. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ, въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи, гдѣ онъ исчезъ за стѣнами Алексѣевского рavelина, — дѣлаютъ изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Б. носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его, куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клоотса, другомъ Гракха Бабѣфа, и онъ увлекать бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ.

Но Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелиамѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе, и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгунъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, глохнетъ, не издавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Когда въ спорѣ Б., увлекаясь, съ громомъ и трескомъ обрушивалъ на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Б. прощали, и я первый. Мартьяновъ, бывало, говаривалъ: «Это, Александръ Ивановичъ, большая Лиза, какъ же на нее сердиться,—дитя!»

Какъ онъ дошелъ до женитьбы, я могу только объяснить Сибирской скукой. Онъ свято сохранилъ всѣ привычки и обычаи *родины*, т. е., студентской жизни въ Москвѣ: груды табаку лежали на столѣ въ родѣ приготовленнаго фуража, зола сигаръ надъ бумагами съ недопитыми стаканами чая; съ утра дымъ столбомъ ходилъ по комнатѣ отъ цѣлаго хора курильщиковъ, курившихъ точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затыгиваясь, словомъ такъ, какъ курятъ одни русскіе и славяне. Много разъ наслаждался я удивленіемъ, сопровождавшимся нѣкоторымъ ужасомъ, и замѣшательствомъ хозяйской горничной Грассъ, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара въ эту готовальню Славянскаго освобожденія.

Долго послѣ отъѣзда Б. изъ Лондона, въ № 10 Paddington Green рассказывали объ его житьѣ-бытьѣ, ниспровергнувшемъ всѣ упроченныя англійскими мѣщанами понятія и религиозно принятые ими размѣры и формы. Замятые при этомъ, что горничная и хозяйка безъ ума любили его.

— Вчера, говоритъ Б. одинъ изъ его друзей, приѣхалъ такой-то изъ Россіи; прекраснѣйшій человекъ, бывший офицеръ.

— Я слыхалъ объ немъ, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непремѣнно, да что привести, гдѣ онъ? Сейчасъ.

— Онъ, кажется, нѣсколько конституціоналистъ.

— Можетъ быть, но...

— Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человекъ

— И вѣрный?

— Его очень уважаютъ въ Orsett hous'ѣ.

— Идемъ.

— Куда же? Вѣдь, онъ хотѣлъ къ вамъ придти, мы такъ сговорились, я его приведу.

Б. бросается писать; пишетъ, перемарываетъ кой-что, переписываетъ и печатаетъ пакетъ, адресуемый въ Яссы; въ безпокойствѣ ожиданія начинаетъ ходить по комнатѣ ступней, отъ которой и весь домъ № 10 Paddington Green ходитъ ходенемъ съ нимъ вмѣстѣ.

Является офицеръ скромно и тихо. Б. le met à l'aise, говоритъ какъ товарищъ, какъ молодой человекъ, увлекаетъ, журитъ за конституціонализмъ, и вдругъ спрашиваетъ:

— Вы, навѣрно, не откажетесь сдѣлать что-нибудь для общаго дѣла?

— Безъ сомнѣнія.

— Васъ здѣсь ничего не удерживаетъ?

— Ничего; я только-что пріѣхалъ, я...

— Можете вы ѣхать завтра, послѣ завтра, съ этимъ письмомъ въ Яссы?

Этого не случалось съ офицеромъ ни въ дѣйствующей арміи во время войны, ни въ генеральномъ штабѣ; однако, привыкнувшій къ военному послушанію, онъ, помолчавши, говорить не совсѣмъ своимъ голосомъ:

— О, да!

— Я такъ и зналъ. Вотъ письмо совсѣмъ готовое.

— Да я хоть сейчасъ, только. . . (офицеръ конфузится) я никакъ не рассчитывалъ на эту поѣздку.

— Что? денегъ нѣтъ? Ну, такъ и говорите. Это ничего не значить. Я возьму для васъ у Герцена; вы ему потомъ отдадите. Что тутъ, всего... всего какіе-нибудь 20 фунтовъ. Я сейчасъ напишу ему. Въ Яссахъ вы деньги найдете. Оттуда проберетесь на Кавказъ. Тамъ намъ особенно нуженъ вѣрный человѣкъ.

Пораженный, удивленный офицеръ, какъ равно и его спутникъ уходятъ. Маленькая дѣвочка, бывшая у Б. на большихъ дипломатическихъ посылкахъ, летитъ ко мнѣ по дождю и слякоти съ запиской. Я для нея нарочно завелъ шоколадъ en losenges, чтобъ чѣмъ-нибудь утѣшить ее въ климатѣ и отечествѣ, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично съ нимъ переговорю.

Дѣйствительно, переписка оказывается излишней. Къ обѣду, т. е., черезъ часъ, является Б.

— Зачѣмъ 20 фунтовъ для **?

— Не для него, для *дѣла*; а что, братъ, ** прекраснѣйшій человѣкъ?

— Я его знаю нѣсколько лѣтъ. Онъ бывалъ прежде въ Лондонѣ.

— Это такой случай, пропустить его грѣшно; я его посылаю въ Яссы. Да потомъ онъ осмолитъ Кавказъ.

— Въ Яссы? И отсюда на Кавказъ?

— Ты пойдешь сейчасъ острить. Каламбурами ничего не докажешь.

— Да, вѣдь, тебѣ ничего ненужно въ Яссахъ?

— Ты почему знаешь?

— Знаю, потому, во-первыхъ, что никому ничего ненужно въ Яссахъ; а во-вторыхъ, если-бъ нужно было, ты недѣлю бы посто-

янно мнѣ говорилъ объ этомъ. Тебѣ просто попался человѣкъ молодой, застѣнчивый, хотящій доказать свою преданность; ты и придумалъ послать его въ Яссы. Онъ хочетъ видѣть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахію. Ну, скажи-ка зачѣмъ?

— Какой любопытный. Ты въ эти дѣла со мной не входишь, какое же ты имѣешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этотъ секретъ ты скроешь ото всѣхъ; ну, а только денегъ давать на гонцовъ въ Яссы и Бухарестъ я нисколько не намѣренъ.

— Вѣдь, онъ отдастъ, у него деньги будутъ.

— Такъ пусть умнѣе употребить ихъ; полно, полно; письмо пошлешь съ какимъ-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдѣмъ ѣсть.

И Б., самъ смѣясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за трудъ обѣда послѣ котораго всякій разъ говорилъ: «Теперь настала счастливая минута», и закуривалъ папирску. Онъ принималъ всѣхъ, всегда, во всякое время. Часто онъ еще, какъ Онѣгинъ, спалъ или ворочался на постели, которая хрустѣла; а ужъ два-три славянина въ его комнатѣ съ отчаянной торопливостью курили; онъ тяжело вставалъ, обливался водой и въ ту же минуту принимался ихъ поучать; никогда не скучалъ онъ, не тяготился ими; онъ могъ, не уставая, говорить со свѣжей головой съ самымъ умнымъ и самымъ глупымъ человѣкомъ.

Отъ этой неразборчивости выходили иногда пресмѣшныя вещи.

Б. вставалъ поздно; нельзя было иначе и сдѣлать, употребляя ночь на бесѣду и чай.

Разъ, часу въ одиннадцатомъ, слышитъ онъ, кто-то копошится въ его комнатѣ. Постель его стояла въ большомъ альковѣ, задернутомъ занавѣсью.

— Кто тамъ?—кричитъ Б., просыпаясь.

— Русскій.

— Ваша фамилія?

— Такой-то.

— Очень радъ.

— Что вы это такъ поздно встаете, а еще демократъ.

...Молчаніе... слышенъ плескъ воды, каскады.

— Михайлъ Александровичъ!

— Что?

— Я васъ хотѣлъ спросить, вы вѣнчались въ церкви?

— Да.

— Нехорошо сдѣлали. Что за образецъ непослѣдователь-

сти; вотъ и Т... свою дочь прочить замужъ. Вы старики должны насъ учить примѣромъ.

— Что вы за вздоръ несете.

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вамъ что за дѣло?

— У насъ былъ слухъ, что вы женились отъ того, что невѣста ваша богата ¹⁾.

— Что вы это допрашивать меня пришли? ступайте къ чорту.

— Ну, вотъ вы и разсердились, а я, право, отъ чистой души. Прощайте. А я все-таки найду.

— Хорошо, хорошо; только будьте умнѣе.

Между тѣмъ польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на нѣсколько дней въ Лондонъ Потебня. Грустный, чистый, беззавѣтно отдавшійся урагану, онъ прѣзжалъ поговорить съ нами отъ себя и отъ товарищей, и все-таки идти своей дорогой. Чаше и чаще являлись поляки изъ края; ихъ языкъ былъ опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потебню и его товарищей, говорилъ я Б., и тѣмъ больше, что врядъ ли имъ по дорогѣ съ поляками.

— По дорогѣ, по дорогѣ,—возражалъ Б.—Не сидѣтъ же намъ вѣчно сложа руки и рефлектируя. Исторію надобно принимать, какъ представляется; не то всякій разъ будешь заурядъ то позади, то впереди.

Б. помолодѣлъ, онъ былъ въ своемъ элементѣ. Онъ любилъ не только ревъ возстанія и шумъ клуба, площади и баррикады, онъ любилъ также и приговорительную агитацію, эту возбужденную и вмѣстѣ съ тѣмъ задержанную жизнь конспирацій, консультацій, неспанныхъ ночей, переговоровъ, договоровъ, ректификацій, химическихъ чернилъ и условныхъ знаковъ. Кто изъ участниковъ не знаетъ, что репетиціи къ домашнему спектаклю и приготовленіе елки составляютъ одну изъ лучшихъ, изящныхъ частей. Но какъ онъ ни увлекался приготовленіями *елки*, у меня на сердцѣ скребли кошки; я постоянно спорилъ съ нимъ и не хотя дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Здѣсь я останавливаюсь на грустномъ вопросѣ. Какимъ образомъ, откуда взялась во мнѣ эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны, достоверность, что поступать надо такъ; съ другой, готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтость, dieses Zögernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили

¹⁾ Б. ничего не взялъ за невѣстой.

даже слабой утѣхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre sens; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Я рассказывалъ въ одной изъ предыдущихъ частей мое участіе въ 13 іюня 1849. Это типъ того, о чемъ я говорю. Ни на одну минуту я не вѣрилъ въ успѣхъ 13 іюня; я видѣлъ нелѣпность движенія и его безсиліе; народное равнодушіе, освирѣпѣлость реакціи и мелкій уровень революціонеровъ. (Я писалъ объ этомъ и все же пошелъ на площадь, смѣясь надъ людьми, которые шли).

Сколькими несчастіями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, если-бъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя. Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я, но это не составляетъ главнаго. Отдаваясь по удобовпечатливости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлексія и наблюдательность всегда почти брали верхъ въ теоріи, но не въ практикѣ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести *plens volens*...

Причиною быстрой стоворчивости былъ ложный стыдъ, а иногда и лучшія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему же все это побѣждало логику?

Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 февраля 1857, когда всѣ провожавшіе разбрелись по домамъ, и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову печальный вопросъ: не опустили ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польской эмиграціей?

Кроткая личность старика, являющаяся примиряющимъ началомъ при непрерывно возникавшихъ недоразумѣніяхъ, исчезла, а недоразумѣнія остались. Частно, лично, мы могли любить того-другого изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманья между нами было мало, и оттого отношенія наши были натянутыми, добросовѣстно неоткровенными; мы дѣлали другъ другу уступки, т. е., ослабляли сами себя, уменьшали другъ въ другѣ чуть ли не лучшія силы. Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ. Идеалъ поляковъ былъ *за ними*, они шли къ своему прошедшему, насильственно срѣзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ была бездна мощей, а у насъ пустыя колыбели. Во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ и во всей позіи столько же отчаянія, сколько яркой вѣры.

Они ищутъ воскресенья мертвыхъ, мы хотимъ поскорѣе схоронить своихъ. Формы нашего мысленія, упованія—не тѣ; весь геній нашъ, весь складъ не имѣетъ ничего сходнаго. Наше соединеніе съ ними казалось имъ то *mésalliance*’омъ, то разсудочнымъ

бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но больше глубины: мы сознавали свою косвенную вину, мы любили ихъ отвагу и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламаывали себя, сближаясь съ нами; они дѣлали для нѣсколькихъ русскихъ почетное исключеніе.

Въ темнотѣ Николаевского царствованія мы больше сочувствовали другъ другу, чѣмъ знали. Но когда окно немного пріотворилось, мы догадались, что насъ привели по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послѣ Крымской кампаніи мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать, у нихъ—съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ.

Старикъ Адамъ Чарторижскій съ смертнаго одра прислалъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парижѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырьмястами изгнанниковъ, къ которому присылались подписи отовсюду,—даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и въ Америкѣ. Казалось, во многомъ мы были близки; но шагъ глубже—и рознь, рѣзкая рознь, бросалась въ глаза.

...Разъ у меня сидѣли Ксаверій Браницкій, Хоецкій и еще кто-то изъ поляковъ; всѣ они были проѣздомъ въ Лондонъ и заѣхали позвать мнѣ руку за статьи. Зашла рѣчь о выстрѣлѣ въ Константина.

— Выстрѣлъ этотъ, сказалъ я, страшно повредить вамъ. Можетъ, правительство и уступило бы кое-что; теперь оно ничего не уступить.

— Да мы только этого и хотимъ! замѣтилъ съ жаромъ Ш. Е.; для насъ нѣтъ хуже несчастья, какъ уступки; мы хотимъ разрыва, открытой борьбы!

— Желаю отъ души, чтобъ вы не раскаялись.

Ш. Е. иронически улыбнулся, и никто не прибавилъ ни слова. Это было лѣтомъ 1861 года. А черезъ полтора года говорилъ то же Падлевскій, отправляясь *черезъ Петербургъ* въ Польшу.

Кости были брошены!...

Б. вѣрилъ въ возможность военно-крестьянскаго возстанія въ Россіи, вѣрили отчасти и мы. Напряженіе умовъ, броженіе умовъ было неоспоримо.

Б., не слишкомъ останавливаясь на взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, смотрѣлъ на одну дальнюю цѣль и принялъ второй мѣсяцъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, а желаніемъ. Онъ *хотѣлъ* вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ

и Украина возстанутъ какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ; онъ вѣрилъ, что старовѣръ воспользуется католическимъ движеніемъ, чтобъ узаконить расколъ.

Какъ-то, въ концѣ сентября, пришелъ ко мнѣ Б. особенно озабоченный и нѣсколько торжественный.

— Варшавскій центральный комитетъ, — сказалъ онъ, — прислалъ двухъ членовъ, чтобъ переговорить съ нами. Одного изъ нихъ ты знаешь: это Падлевскій; другой Г., закаленный боецъ; онъ изъ Польши прогулялся въ кандалахъ до рудниковъ и только что возвратился, снова принялся за дѣло. Сегодня вечеромъ я ихъ приведу къ вамъ, а завтра соберемся у меня: надобно *окончательно опредѣлить наши отношенія*.

Тогда набирался мой отвѣтъ офицерамъ ¹⁾.

— Моя программа готова; я имъ прочту мое письмо.

— Я согласенъ съ твоимъ письмомъ, ты это знаешь; но не знаю, все ли понравится имъ; во всякомъ случаѣ, я думаю, что этого имъ будетъ мало.

Вечеромъ Б. пришелъ съ тремя гостями вмѣсто двухъ. Я прочелъ мое письмо. Во время разговора и чтенія Б. сидѣлъ встревоженный, какъ бываетъ съ родственниками на экзаменѣ, или съ адвокатами, трепещущими, чтобъ ихъ кліентъ не проврался и не испортилъ всей *игры защиты*, хорошо налаженной, если не по всей правдѣ, то къ успѣшному концу.

Я видѣлъ по лицамъ, что Б. угадалъ и что чтеніе не то, чтобъ особенно понравилось.

— Прежде всего, замѣтилъ Г., мы прочтемъ письмо къ вамъ отъ Центрального комитета.

Читалъ М.; документъ этотъ, извѣстный читателямъ *Колокола*, былъ написанъ по-русски, не совсѣмъ правильнымъ языкомъ, но ясно. Говорили, что я его перевелъ съ французскаго и переименовалъ: это *не правда*. Всѣ трое говорили хорошо по-русски.

Смыслъ акта состоялъ въ томъ, чтобъ черезъ насъ сказать русскимъ, что слагающееся польское правительство согласно съ нами и кладетъ въ основаніе своихъ дѣйствій: «*Признаніе права крестьянъ на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбой*». Это заявленіе, говорилъ М., обязывало меня смягчить вопросительную и сомнѣвающуюся форму моего письма. Я согласился на нѣкоторыя перемѣны и предложилъ имъ, съ своей стороны, послать въ отѣвѣтъ и яснѣе высказать мысль о самозаконности провинцій; они согласились. Этотъ споръ изъ-за словъ показывалъ, что со-

¹⁾ Колоколъ, 1862 года.

чувствіе наше къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ не было *одинаково*.

На другой день утромъ Б. уже сидѣлъ у меня. Онъ былъ недоволенъ мной, находилъ, что я слишкомъ холоденъ, какъ будто не довѣряю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не дѣлали такихъ уступокъ. Они выражаются другими словами, принятыми у нихъ какъ катехизисъ; нельзя же имъ, подымая національное знамя, на первомъ шагѣ оскорбить раздражительное народное чувство.

— Мнѣ все кажется, что имъ до крестьянской земли въ сущности мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много.

— Любезный другъ, у тебя въ рукахъ будетъ документъ, направленный тобой, подписанный при всѣхъ насъ, чего же тебѣ еще?

— Есть-таки кое-что.

— Какъ для тебя труденъ каждый шагъ! ты вовсе не практической человѣкъ.

— Это уже прежде тебя говорилъ Сазоновъ.

Б. махнулъ рукой и пошелъ въ комнату къ Огареву. Я печально смотрѣлъ ему вслѣдъ; я видѣлъ, что онъ записалъ свой революціонный запой и что съ нимъ не столкнешь теперь. Онъ шагаль семи-мильными сапогами черезъ горы и моря, черезъ годы и поколѣнія. За возстаніемъ въ Варшавѣ, онъ уже видѣлъ свою «славную и славянскую» федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ, и торопился сгладить *какъ-нибудь* затрудненія, затушевать противорѣчія, не выполнить враги, а бросить черезъ нихъ чертовъ мостъ.

«Нѣтъ освобожденія безъ земли».

— Ты точно дипломатъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, повторялъ мнѣ съ досадой Б., когда мы потомъ толковали у него съ представителями жонда: придираешься къ словамъ и выраженіямъ. Это не журнальная статья, не литература.

— Съ моей стороны,—замѣтилъ Г.,—я изъ-за словъ спорить не стану; мѣняйте какъ хотите, лишь бы главный смыслъ остался тотъ же.

— Bravo Г.,—радостно воскликнулъ Б.

Ну, *этотъ*,—подумалъ я,—*прикасалъ подкованный и по лѣтнему и на шипы*; онъ ничего не уступить на дѣлѣ и оттого такъ легко уступаетъ все на словахъ.

Актъ поправили, члены жонда подписались; я его послалъ въ типографію.

Г. и его товарищи были убѣждены, что мы представляли заграничное средоточіе дѣлой организаціи, зависящей отъ насъ и которая по нашему приказу примкнетъ къ нимъ или нѣтъ. Для нихъ, дѣйствительно, дѣло было *не въ словахъ* и не въ теоретическомъ согласіи; свое profession de foi они всегда могли отгнѣнить толкованіями такъ, что его яркіе цвѣта пропали бы, полиняли и измѣнились.

Что въ Россіи клались первыя ячейки *организаціи*, въ этомъ не было сомнѣнія: первыя волокна, нити, были замѣтны простому глазу; но каждый сильный ударъ грозилъ разорвать начальныя кружева паутины.

Вотъ это-то я и сказалъ, отправивъ печатать письмо Комитета, Г. и его товарищамъ, говоря имъ о несвоевременности ихъ возстанія. Падлевскій слишкомъ хорошо зналъ Петербургъ, чтобъ удивиться моимъ словамъ; но Г. позадумался.

— Вы думали,—сказалъ я ему улыбаясь,—что мы сильнѣе? Да, Г., вы не ошиблись, сила у насъ есть большая и дѣятельная, но сила эта вся утверждаетъ на общественномъ мнѣніи, т. е., она можетъ сейчасъ улетучиться; мы сильны *сочувствіемъ* къ намъ, унисономъ съ своими. Организаціи, которой бы мы сказали: иди направо или налево,—*нѣтъ*.

— Да, любезный другъ, однако же,—началъ Б., ходившій въ волненіи по комнатѣ...

— Что же, развѣ *есть*?—спросилъ я его и остановился.

— Ну, это какъ ты хочешь назвать; конечно, если взять внѣшнюю форму, это совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ. Да видишь...

— Позволь же мнѣ кончить; я хочу пояснить Г., почему я такъ настаивалъ на словахъ. Если въ Россіи на вашемъ знамени не увидятъ *надѣлъ земли*, то наше сочувствіе вамъ *не принесетъ никакой пользы, а насъ погубитъ*, потому что вся наша сила въ одинаковомъ біеніи сердца; у насъ оно, можетъ, бьется посильнѣе и потому ушло секундой впередъ, чѣмъ у друзей нашихъ; но они связаны съ нами сочувствіемъ, а не службой!

— Вы будете нами довольны,—говорили Г. и Падлевскій.

Черезъ день двое изъ нихъ отправились въ Варшаву; третій уѣхалъ въ Парижъ.

Наступило затишье передъ грозой. Время темное, тяжелое, въ которое все казалось, что туча пройдетъ, а она все приближалась; тутъ явился указъ о наборѣ,—это была послѣдняя капля; люди, еще останавливавшіеся передъ рѣшительнымъ и невозвратнымъ шагомъ, рвались на бой. Теперь и *бѣлые* стали переходить на сторону движенія.

Приѣхалъ опять Падлевскій, наборъ не отмѣнялся. Падлевскій уѣхалъ въ Польшу.

Б. собирался въ Стокгольмъ совершенно независимо отъ экспедиціи Лапинскаго, о которой тогда никто не думалъ. Мелькомъ явился Потеня и исчезъ вслѣдъ за Б. Въ то же время какъ Потеня, приѣхалъ черезъ Варшаву изъ Петербурга уполномоченный отъ «Земли и Волп». Онъ съ негодованіемъ рассказывалъ, какъ поляки, пригласившіе его въ Варшаву, ничего не сдѣлали. Онъ былъ первый русскій, видѣвшій начало возстанія. Онъ рассказалъ объ убійствѣ солдатъ, о раненомъ офицерѣ, который былъ членомъ общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали съ ожесточеніемъ бить поляковъ. Падлевскій, главный начальникъ въ Ковно, рвалъ волосы, но боялся ясно выступить противъ своихъ.

Уполномоченный былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдѣлаться *агентами* общества «Земли и Воли». Я отклонилъ это къ крайнему удивленію не только Б., но и Огарева. Я сказалъ, что мнѣ не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ комиссары конвента 1793 г. трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мнѣ и это не понравилось.

— А много васъ?—спросилъ я.

— Это трудно сказать: нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и *тысячи три* въ провинціяхъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я потомъ Огарева.

Онъ промолчалъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я Б.

— Конечно, *онъ* прибавилъ; ну, *нѣтъ теперь столько, такъ будутъ потомъ!* и онъ расхохотался.

— Это другое дѣло.

— Въ томъ-то все и состоитъ, чтобъ поддержать слабыя начинанія; если-бъ они были крѣпки, они и не нуждались бы въ насъ,—замѣтилъ Огаревъ, въ этихъ случаяхъ всегда недовольный моимъ скептицизмомъ.

— Они такъ и должны бы были явиться передъ нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость, прибавилъ Б. и уѣхалъ въ Швецію.

А вслѣдъ за нимъ уѣхалъ и Потеня. Удручительно горестно я простился съ нимъ; я ни одной секунды не сомнѣвался, что онъ прямо идетъ на гибель.

...За нѣсколько дней до отъѣзда Б. пришелъ Мартыяновъ блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ. Онъ страдалъ по Россіи и носился съ мыслью о воз-

вращеніи домой. Шелъ споръ о возстаніи. Мартыановъ слушалъ молча, потомъ всталъ, собрался итти и вдругъ, остановившись передо мной, мрачно сказалъ мнѣ:

— Вы не сердитесь на меня, Александръ Ивановичъ, такъ ли, иначе ли, а *Колоколъ*-то вы порѣшили. Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла? Поляки, можетъ, и правы, но ихъ дѣло шляхетное—не ваше. Не пожалѣли вы насъ, Богъ съ вами, Александръ Ивановичъ. Попомните, что я говорилъ. Я-то самъ не увижу, я ворочусь домой. Здѣсь мнѣ нечего дѣлать.

— Ни вы не поѣдете въ Россію, ни *Колоколъ* не погибъ, отвѣтилъ я ему.

Онъ молча ушелъ, оставляя меня подъ тяжелымъ гнетомъ второго пророчества и какого-то темнаго сознанія, что что-то ошибочное сдѣлано.

Мартыановъ какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ; онъ воротился весной 1863 и пошелъ умирать на каторгу, сосланный своимъ «земскимъ царемъ» за любовь къ Россіи, за вѣру въ него.

Къ концу 1863 года расходъ *Колокола* съ 2500—2000 сошелъ на 500 и не разу ни подымался далѣе 1000 экземпляровъ.

Шарлота Кордэ изъ Орлова и Даніиль изъ крестьянъ были *правы!*

Писано въ Montreux и Lausanne, въ концѣ 1865 года.

Пароходъ Ward Jackson

R. Weterli & Co.

I.

Вотъ что случилось мѣсяца за два до польскаго востанія. Одинъ полякъ, прїѣзжавшій не надолго изъ Парижа въ Лондонъ, Іосифъ Цверчакъвичъ, по прїѣздѣ въ Парижъ, былъ схваченъ и арестованъ вмѣстѣ съ X. и M., о которомъ я упомянулъ при свиданьи съ членами жонда.

Во всей арестаціи было много страннаго. X. прїѣхалъ въ десятомъ часу вечера; онъ никого не зналъ въ Парижѣ и прямо отправился на квартиру M. Около одиннадцати явилась полиція.

— Вашъ пассъ, спросилъ комиссаръ X.

— Вотъ онъ, и X. подалъ исправно визированный пассъ на другое имя.

— Такъ, такъ, сказалъ комиссаръ, я зналъ, что вы подъ этимъ именемъ. Теперь вашъ портфель, спросилъ онъ Цверчакъвича.

Онъ лежалъ на столѣ. Полицейскій вынулъ бумага, посмотрѣлъ ихъ и, передавая своему товарищу небольшое письмо съ надписью Э. А., прибавилъ:

— Вотъ оно.

Всѣхъ трехъ арестовали, забрали у нихъ бумага, потомъ выпустили. Дольше другихъ задержали X. Для полицейскаго изясщества имъ хотѣлось, чтобъ онъ назвался своимъ именемъ. Онъ имъ не сдѣлалъ этого удовольствія. Выпустили и его черезъ недѣлю.

Когда, годъ или больше спустя, прусское правительство дѣлало нелѣпѣйшій познанскій процессъ, прокуроръ въ числѣ обвинительныхъ документовъ представилъ бумага, присланныя изъ русской полиціи и принадлежавшія Цверчакъвичу. На возникнувшій вопросъ, какимъ образомъ бумага эти очутились въ Россіи, прокуроръ спокойно объяснилъ, что, когда Цверчакъвичъ былъ подъ арестомъ, нѣкоторыя изъ его бумага были сообщены французской полиціей русскому посольству.

Выпущеннымъ полякамъ велѣно было оставить Францію; они поѣхали въ Лондонъ. Въ Лондонѣ они сами разсказывали мнѣ подробности ареста и по справедливости всего больше дивились тому, что комиссаръ зналъ, что у нихъ есть письмо съ надписью Э.-А. Письмо это изъ рукъ въ руки Цверчакѣвичу далъ Маццини и просилъ его вручить Этьену Араго.

— Говорили ли вы кому-нибудь о письмѣ? спросилъ я.

— Никому, рѣшительно никому, отвѣчалъ Цверчакѣвичъ.

— Это какое-то колдовство; не можетъ же пасть подозрѣніе ни на васъ, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько.

Цверчакѣвичъ подумалъ.

— Одно знаю я, замѣтилъ онъ, что я выходилъ на короткое время со двора и, помнится, портфель оставилъ въ незапертомъ ящикѣ.

— Cloud! Cloud! теперь позвольте, гдѣ вы жили?

— Тамъ-то, въ furnished appartements.

— Хозяинъ англичанинъ?

— Нѣтъ, полякъ.

— Еще лучше. А имя его?

— Туръ, онъ занимается агрономіей.

— И многимъ другимъ, коли отдаетъ меблированныя квартиры. Тура этого я немножко знаю. Слыхали ли вы когда-нибудь исторію о нѣкоемъ Михаловскомъ?

— Такъ, мелькомъ.

— Ну, я вамъ разскажу ее. Осенью 1857 года, я получилъ черезъ Брюссель письмо изъ Петербурга. Незнакомая особа извѣщала меня со всѣми подробностями о томъ, что одинъ изъ сидѣльцевъ у Трюбнера, Михаловскій, предложилъ свои услуги III отдѣленію шпионичать за нами, требуя за трудъ 200 фунтовъ, что въ доказательство того, что онъ достоинъ и способенъ, онъ представлялъ списокъ лицъ, бывшихъ у насъ въ послѣднее время, и обѣщалъ доставить образчики рукописей изъ типографіи. Прежде чѣмъ я хорошенько обдумалъ, что дѣлать, я получилъ *второе письмо* того же содержания черезъ домъ Ротшильда. Въ истиннѣ свѣдѣнія я не имѣлъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Михаловскій, полякъ изъ Галиціи, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и горящій на четырехъ языкахъ, имѣлъ всѣ права на званіе шпиона и ждалъ только случая *roug se faire valoir*. Я рѣшился ѣхать съ Огаревымъ къ Трюбнеру и уличить Михаловскаго, сбить на словахъ и, во всякомъ случаѣ, прогнать отъ Трюбнера. Для большей торжественности я пригласилъ съ собой ПIANчани и двухъ поляковъ. Михаловскій былъ наглъ, гадокъ, заирався; говорилъ, что шпионъ Наполеонъ Шестаковскій, *который жилъ съ нимъ* на одной квартирѣ. Въ половину я готовъ

былъ ему вѣрить, т. е., что и пріятель его тоже шпионъ. Трюбнеру я сказалъ, что требую немедленной высылки его изъ книжной лавки. Негодяй путался и не умѣлъ ничего серьезнаго привести въ свое оправданіе.—Это все зависть, говорилъ онъ, у кого изъ нашихъ заведется хорошее пальто, сейчасъ другіе кричатъ: шпионъ!—Отчего же, спросилъ его Зено Свентославскій, у тебя никогда не было хорошаго пальто, а тебя всегда считали шпиономъ? Всѣ захохотали.—Да обидьтесь же, наконецъ, сказалъ Чернецкій.—Не первый разъ, отвѣтилъ философъ, я имѣю дѣло съ такими безумными.—Привыкли, замѣтилъ Чернецкій. Мошенникъ вышелъ вонъ. Всѣ порядочные поляки оставили его, за исключеніемъ совсѣмъ спившихся игроковъ и совсѣмъ проигравшихся пьяницъ. Съ этимъ Михаловскимъ въ дружескихъ отношеніяхъ остался одинъ порядочный человѣкъ, и этотъ человѣкъ вапъ хозяинъ, Туръ.

— Да, это подозрительно. Я сейчасъ...

— Что сейчасъ? Дѣла теперь не поправите, а имѣйте этого человѣка въ виду. Какія у васъ доказательства?

Вскорѣ послѣ этого Цверчакъвичъ былъ назначенъ жондомъ въ свои дипломатическіе агенты въ Лондонъ. Пріѣздъ въ Парижъ ему былъ позволенъ; въ это время Наполеонъ чувствовалъ то пламенное участіе къ судьбамъ Польши, которое ей стоило цѣлага поколѣнія и можетъ стоить всего будущаго.

Б. былъ уже въ Швеціи, знакомясь со всѣми, открывая пути въ «Землю и Волю» черезъ Финляндію, слаживая посылку *Колокола* и книгъ и выдавая съ представителями всѣхъ польскихъ партій. Принятый министрами и братомъ короля, онъ всѣхъ увѣрилъ въ неминуюмомъ возстаніи крестьянъ и въ сильномъ волненіи умовъ въ Россіи. Увѣрилъ тѣмъ больше, что самъ *искренно вѣрилъ*, если не въ такихъ размѣрахъ, то вѣрилъ въ растущую силу. Объ экспедиціи Лапинскаго тогда никто не думалъ. Цѣль Б. состояла въ томъ, чтобъ, устроивши все въ Швеціи, пробраться въ Польшу и Литву.

Цверчакъвичъ возвратился изъ Парижа съ Демонтовичемъ. Въ Парижѣ они и ихъ друзья придумали снарядить экспедицію на балтійскіе берега. Они искали парохода, искали дѣльнаго начальника и за тѣмъ пріѣхали въ Лондонъ. Вотъ какъ шла тайная негоціація.

Какъ-то получаю я записочку отъ Цверчакъвича: онъ просилъ меня зайти къ нему на минуту, говорилъ, что очень нужно и что самъ онъ распростудился и лежитъ въ злой мигрени. Я пошелъ. Дѣйствительно засталъ его больнымъ и въ постели. Въ другой комнатѣ сидѣлъ С. Тхоржевскій. Зная, что Цверчакъвичъ писалъ ко мнѣ и что у него есть дѣло, Тхоржевскій хотѣлъ выйти, но Цвер-

чакѣвичъ остановилъ его, и я очень радъ, что есть живой свидѣтель нашего разговора.

Цверчакѣвичъ просилъ меня, оставивъ всѣ личныя отношенія и консидераціи, сказать ему по чистой совѣсти и, само собой разумѣется, въ глубочайшей тайнѣ, объ одномъ польскомъ эмигрантѣ, рекомендованномъ ему Маццини и Б., но къ которому онъ полной вѣры не имѣеть.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дѣло идетъ первой важности, жду отъ васъ истины, всей истины.

— Вы говорите о Л.-Б.? спросилъ я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовалъ, что могу повредить чело-вѣку, о которомъ все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, съ другой стороны, понимая, какой вредъ принесу общему дѣлу, спора противъ совершенно вѣрной антипатіи Цверчакѣвича.

— Извольте, я вамъ скажу откровенно и все. Что касается до рекомендаціи Маццини и Б., я ее совершенно отвожу. Вы знаете, какъ я люблю Маццини; но онъ такъ привыкъ изъ всякаго дерева рубить и изъ всякой глины лѣпить агентовъ и такъ умѣетъ ихъ въ итальянскомъ дѣлѣ ловко держать въ рукахъ, что на его мнѣніе трудно положиться. Къ тому же, употребляя все, что попало, Маццини знаетъ, до *какой степени*, кому и что поручить. Рекомендація Б. еще хуже: это большой ребенокъ, «большая Лиза», какъ его назвалъ Мартьяновъ; ему всѣ нравятся. «Ловецъ чело-вѣковъ», онъ такъ радуется, когда ему попадется «красный», да притомъ славянинъ, что онъ далѣе не идетъ. Вы помянули о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Л.-Б., слѣдуетъ же сказать и объ этомъ. З и Л.-Б. хотѣли меня эксплуатировать; инициатива дѣла принадлежала не ему, а З. Имъ это не удалось, они разсердились, и я это давно бы забылъ, но они стали между Ворцелемъ и мной, и этого я имъ не прощаль. Ворцеля я очень любилъ, но, слабый здоровьемъ, онъ подтакнулъ имъ, и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, онъ шепталъ мнѣ на ухо: «Да, вы были правы» (но свидѣтелей не было, а на мертвыхъ ссылаться легко). Затѣмъ, вотъ вамъ мое мнѣніе: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слуха даже*, который бы заставлялъ подозрѣвать политическую честность Л.-Б.; но я бы не замѣшалъ его ни въ какую серьезную тайну. Въ моихъ глазахъ онъ избалованный фразеръ, наполненный французскими фразами и безмѣрно высокомерный, желающій во что бы то ни было играть роль, онъ все сдѣлаетъ, чтобъ испортить пьесу, если она ему не выпадетъ.

Цверчакѣвичъ привсталъ. Онъ былъ блѣденъ и озабоченъ.

— Да, вы у меня сняли камень съ груди; *если не поздно* теперь, я все сдѣлаю. Взволнованный Цверчакъвичъ сталъ ходить по комнатѣ. Я ушелъ вскорѣ съ Тхоржевскимъ.

— Слышали вы весь разговоръ? спросилъ я у него идучи.

— Слышалъ.

— Я очень радъ; не забывайте его: можетъ, придетъ время, когда я сошлюсь на васъ... А знаете что? мнѣ кажется, онъ ему *все сказалъ*, да потомъ и догадался повѣрить свою антипатію.

— Безъ всякаго сомнѣнія. И мы чуть не расхохотались, не смотря на то, что на душѣ было вовсе не смѣшно.

1. ПРАВОУЧЕНІЕ.

.... Недѣли черезъ двѣ Цверчакъвичъ вступилъ въ переговоры съ Blackwood'a компаніей пароходства о наймѣ парохода для экспедиціи на Балтикъ.

— Зачѣмъ же, спрашивали мы, вы адресовались именно къ той компаніи, которая десятки лѣтъ исполняетъ всѣ комиссіи по части судоходства для петербургскаго адмиралтейства?

— Это мнѣ самому не такъ нравится, но компанія такъ хорошо знаетъ Балтійское море. Къ тому же она слишкомъ заинтересована, чтобъ выдать насъ; да и это не въ англійскихъ нравахъ.

— Все такъ, да какъ вамъ въ голову пришло обратиться именно къ ней?

— Это сдѣлалъ нашъ комиссіонеръ.

— То есть?

— Туръ.

— Какъ? тотъ Туръ!

— О, насчетъ его можно быть покойнымъ. Его самымъ лучшимъ образомъ намъ рекомендовалъ Л.-Б.

Мнѣ на минуту вся кровь бросилась въ голову. Я смѣшался отъ чувства негодованія, бѣшенства, оскорбленія, да, да, личнаго оскорбленія. А делегатъ Рѣчи-Посполитой, ничего не замѣчавшій, продолжалъ:

— Онъ превосходно знаетъ по-англійски.

— И языкъ, и законодательство.

— Въ этомъ я не сомнѣваюсь.

— Туръ какъ-то сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Лондонѣ за какія-то не совсѣмъ ясныя дѣла и употреблялся присяжнымъ переводчикомъ въ судѣ.

— Какъ такъ?

— Вы спросите у Л.-Б., или у Михаловскаго; вы не знакомы съ нимъ?

— Нѣтъ.

— Каковъ Туръ! занимался земледѣліемъ, а теперь занимается водоудѣліемъ. Но общее вниманіе обратилъ на себя взошедшій начальникъ экспедиціи, полковникъ Лапинскій.

II.

Lapinski-Colonel.—Polles-Aide de Camp.

Въ началѣ 1863 года я получилъ письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстомъ *Licite venite ragvulos*. Въ самыхъ изысканно льстивыхъ, стеющихся выраженіяхъ, просилъ у меня *ragvulus*, называвшійся Polles, позволенія пріѣхать ко мнѣ. Письмо мнѣ очень не понравилось. Онъ самъ—еще больше. Низкопоклонный, тихій, вкрадчивый, бритый, напомаженный, онъ мнѣ рассказалъ, что былъ въ Петербургѣ въ театральной школѣ и получилъ какой-то пансіонъ, прикидывался сильно полякомъ и, просидѣвши четверть часа, сообщилъ мнѣ, что онъ изъ Франціи, что въ Парижѣ тоска и что тамъ узелъ узловъ—Наполеонъ.

— Знаете ли, что мнѣ приходило часто въ голову, и я больше и больше убѣждаюсь въ вѣрности этой мысли: надобно рѣшиться убить Наполеона.

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Да вы какъ объ этомъ думаете? спросилъ *Ragvulus*, нѣсколько смутившись.

— Я никакъ. Вѣдь, это вы думаете.

Когда Поллесъ ушелъ, я рѣшился его не пускать больше. Черезъ недѣлю онъ встрѣтился со мной близъ моего дома; говорилъ, что два раза былъ и не засталъ, натолковалъ какого-то вздора и прибавилъ:

— Я, между прочимъ, заходилъ къ вамъ, чтобъ сообщить, какое я сдѣлалъ изобрѣтеніе, чтобъ по почтѣ сообщить что-нибудь тайное, напр., въ Россію. Вамъ, вѣрно, случается часто необходимость что-нибудь сообщать.

— Совсѣмъ напротивъ, никогда. Я вообще ни къ кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вамъ или Огареву захочется послушать кой-какой музыки, я и мой виолончель къ вашимъ услугамъ.

— Очень благодаренъ.

И я потерялъ его изъ виду съ полной увѣренностью, что это шпіонъ; русскій ли, французскій ли, я не зналъ; можетъ, интернаціональный, какъ Nord журналъ международный.

Въ польскомъ обществѣ онъ никогда не являлся, его тамъ никто не зналъ.

Послѣ долгихъ исканій, Демонтовичъ и парижскіе друзья его остановились на полковникѣ Лапинскомъ, какъ на способнѣйшемъ военномъ начальникѣ экспедиціи. Онъ былъ долго на Кавказѣ со стороны черкесовъ, и такъ хорошо зналъ войну въ горахъ, что о морѣ и говорить было нечего. Дурнымъ выбора назвать нельзя.

Лапинскій былъ въ полномъ словѣ кондотьеръ. Твердыхъ политическихъ убѣжденій у него не было никакихъ. Онъ могъ идти съ бѣлыми и красными, съ чистыми и грязными; принадлежа по рожденію къ галиційской шляхтѣ, а по воспитанію къ австрійской арміи, онъ сильно тянулъ къ Вѣнѣ. Россію и все русское онъ ненавидѣлъ—дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вѣроятно, онъ зналъ, вель долго войну и написалъ замѣчательную книгу о Кавказѣ.

— Какой случай разъ былъ со мной на Кавказѣ, рассказывалъ Лапинскій; русскій маіоръ, поселившійся съ цѣлой усадьбой своей недалеко отъ насъ, не знаю какъ и за что, захватилъ нашихъ людей. Узнаю я объ этомъ и говорю своимъ: что же это, стыдъ и срамъ; васъ, какъ бабъ, крадутъ? Ступайте въ усадьбу, берите что попало и тащите сюда. Горцы, знаете, имъ ненужно много толковать. На другой или третій день привели ко мнѣ всю семью и слугъ, и жену, и дѣтей, только самого маіора дома не застали. Я послалъ повѣстить, что, если нашихъ людей отпустятъ, да дадутъ такой-то выкупъ, то мы сейчасъ доставимъ обратно плѣнныхъ. Разумѣется, нашихъ прислали, разсчитались, и мы отпустили московскихъ гостей. На другой день приходитъ ко мнѣ черкесъ. «Вотъ, говорить, что случилось; мы, говорить, вчера, какъ отпускали русскихъ, забыли мальчика лѣтъ четырехъ: онъ спалъ, такъ его и забыли. Какъ же быть?»—Ахъ вы, собаки, не умѣете ничего въ порядкѣ сдѣлать. Гдѣ ребенокъ?»—«У меня; кричалъ, кричалъ, ну, я сжалился и взялъ его».—Видно тебѣ Аллахъ счастье послать; мѣшать не хочу. Дай туда знать, что она ребенка забыли, а ты его нашелъ; ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса такъ глаза и разгорѣлись. Разумѣется, мать, отецъ въ тревогѣ, дали все, что хотѣлъ черкесъ. Пресмѣшной случай.

— Очень.

Вотъ черта для характеристики будущаго героя въ Самогитіи.

Передъ своимъ отправленіемъ Лапинскій заѣхалъ ко мнѣ. Онъ взшелъ не одинъ и, нѣсколько озадаченный выраженіемъ моего лица, поспѣшилъ сказать:

— Позвольте вамъ представить моего адъютанта.

— Я уже имѣлъ удовольствіе съ нимъ встрѣчаться.

Это былъ Поллесъ.

— Вы его хорошо знаете? спросилъ Огаревъ у Лапинскаго наединѣ.

— Я его встрѣтилъ въ томъ же Boarding house, гдѣ теперь живу; онъ, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы увѣрены ли въ немъ?

— Конечно. Къ тому же онъ отлично играетъ на віолончели и будетъ насъ тѣшить во время плаванья.

Онъ, говорятъ, тѣшилъ полковника кой-чѣмъ другимъ.

Мы впоследствии сказали Демонтовичу, что для насъ *Поллесъ* очень подозрительное лицо.

Демонтовичъ замѣтилъ:

— Да я *имъ обоимъ* не очень вѣрю, но шалить они не будутъ.

И онъ вынулъ револьверъ изъ кармана.

Приготовленія шли тихо; слухъ объ экспедиціи все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароходъ, оказавшійся негоднымъ по осмотру хорошаго моряка, графа С. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово, и часть Лондона знала обо всемъ, случилось слѣдующее. Цверчакѣвичъ и Демонтовичъ повѣстили всѣхъ участниковъ экспедиціи, чтобъ они собирались къ *десяти* часамъ на такомъ-то амбаркадерѣ желѣзной дороги, чтобъ ѣхать до *Гуля* въ особомъ train, который давала имъ компания. И вотъ, къ десяти часамъ стали собираться будущіе воины. Въ ихъ числѣ были итальянцы и нѣсколько французовъ; бѣдные, отважные люди, которымъ надоѣла ихъ доля въ бездомномъ скитаніи, и люди истинно любившіе Польшу. И 10 и 11 часовъ проходятъ, но train'a нѣтъ, какъ нѣтъ. По домамъ, изъ которыхъ тайно вышли наши герои, мало-по-малу стали распространяться слухи о дальнемъ пути, и часовъ въ 12 къ будущимъ бойцамъ въ сѣняхъ амбаркадера присоединилась стая женщинъ, неутѣшныхъ дидонъ, оставленныхъ свирѣпыми поклонниками, и свирѣпыхъ хозяекъ домовъ, которымъ они не заплатили, вѣроятно, чтобъ онѣ не дѣлали огласки. Растрепанная, онѣ неистово кричали, хотѣли жаловаться въ полицію; у нѣкоторыхъ были дѣти; всѣ они кричали и всѣ матери кричали. Англичане стояли кругомъ и съ удивленіемъ смотрѣли на картину «Исхода». Напрасно старшіе изъ ѣхавшихъ спрашивали, скоро ли пойдетъ особый train? показывали свои билеты. Служители желѣзной дороги не слышали ни о какомъ train'ѣ. Сцена

становилась шумнѣе и шумнѣе... Какъ вдругъ прискакалъ гонецъ отъ шефовъ сказать ожидавшимъ, что они всё съ ума сошли, что отъѣздъ вечеромъ въ 10, а не утромъ, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли съ узелками и котомочками къ своимъ оставленнымъ дидонамъ и смягченнымъ хозяйкамъ бѣдные войны.

Въ 10 часовъ вечера они уѣхали. Англичане имъ даже прокричали три раза ура.

На другой день утромъ рано пріѣхалъ ко мнѣ знакомый морской офицеръ съ одного изъ русскихъ пароходовъ. Пароходъ получилъ вечеромъ приказъ—утромъ выступить на всѣхъ парахъ и слѣдить за Ward Jackson'омъ.

Между тѣмъ Ward Jackson остановился въ Копенгагенѣ за водой, прождалъ нѣсколько часовъ въ Мальме Б., собиравшагося съ ними для поднятія крестьянъ въ Литвѣ, и былъ захваченъ по приказанію шведскаго правительства.

Подробности дѣла и второй попытки Лапинскаго рассказаны были имъ самимъ въ журналахъ. Я прибавлю только то, что капитанъ уже въ Копенгагенѣ сказалъ, что онъ пароходъ къ русскому берегу не поведетъ, не желая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальме доходило до того, что Демонтовичъ пригрозилъ своимъ револьверомъ не Лапинскому, а капитану. Съ Лапинскимъ Демонтовичъ все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поѣхали въ Стокгольмъ, оставляя несчастную команду въ Мальме.

— Знаете ли вы, сказалъ мнѣ Цверчакъвичъ, или кто-то изъ близкихъ ему, что во всемъ этомъ дѣлѣ остановки въ Мальме становится всего подозрительнѣе лицо Тутенбольда.

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну, какъ не знаете, вы его видѣли у насъ: молодой малый безъ бороды. Лапинскій былъ разъ у васъ съ нимъ.

— Вы говорите, стало, о Поллесѣ?

— Это его псевдонимъ; настоящее имя его Тутенбольдъ.

— Что вы говорите? и я бросился къ моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашелъ одно, при- сланное мнѣ мѣсяца два передъ тѣмъ. Письмо это было изъ Петербурга; оно предупреждало меня, что нѣкій докторъ Тутенбольдъ состоитъ въ связи съ III отдѣленіемъ, что онъ возвратился, но оставилъ своимъ агентомъ меньшого брата, что меньшой братъ долженъ ѣхать въ Лондонъ.

Что Поллесъ и онъ былъ одно лицо, въ этомъ сомнѣнія не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы передъ отъѣздомъ экспедиціи, что Поллесъ былъ Тутенбольдъ?

— Зналъ. Говорили, что онъ перемѣнилъ свою фамилію потому, что въ краѣ его брата знали за шпиона.

— Что же вы мнѣ не сказали ни слова?

— Да такъ, не пришлось.

И Селифанъ Чичикова зналъ, что бричка сломана, а сказать не сказалъ.

Пришлось телеграфировать послѣ захвата въ Мальме. И тутъ ни Демонтовичъ, ни Б. ¹⁾ не умѣли ничего порядкомъ сдѣлать, перессорились. Поллеса сажали въ тюрьму за какіе-то брильянты, собранные у шведскихъ дамъ для поляковъ и употребленные на кутежъ.

Въ то самое время, какъ толпа вооруженныхъ поляковъ, бездна дорого купленнаго оружія и Ward Jackson оставались почетными плѣнниками на берегу Швеціи, собиралась другая экспедиція, снаряженная *бѣлыми*; она должна была итти черезъ Гибралтарскій проливъ. Ее велъ графъ Сбышевскій, братъ того, который писалъ замѣчательную брошюру «La Pologne et la Cause de l'ordre». Отличный морской офицеръ, бывший въ русской службѣ, онъ ее бросилъ, когда началось возстаніе, и теперь велъ тайно снаряженный пароходъ въ Черное море. Для переговоровъ онъ ѣздилъ въ Туринъ, чтобъ тамъ секретно видѣться съ начальникомъ тогдашней оппозиціи и, между прочимъ, съ Мордини.

«На другой день послѣ моего свиданья съ Сбышевскимъ, рассказывалъ мнѣ *самъ Мордини*, вечеромъ въ палатѣ министръ внутреннихъ дѣлъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ:—Пожалуйста, будьте осторожны; у васъ вчера былъ польскій эмисаръ, который хочетъ провести пароходъ черезъ Габралтарскій проливъ; какъ бы дѣло ни было, да зачѣмъ же они прежде болтаютъ?»

Пароходъ, впрочемъ, и не дошелъ до береговъ Италіи: онъ былъ захваченъ въ Кадиксъ испанскимъ правительствомъ. По минованіи надобности, оба правительства дозволили полякамъ продать оружіе и отпустили пароходъ.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Лапинскій въ Лондонъ.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Сбышевскій.

— Нѣтъ, поѣду въ Америку... буду драться за республику. — Кстати,—спросилъ онъ Тхоржевскаго,—гдѣ здѣсь можно завербоваться, со мной нѣсколько товарищей и всѣ безъ куска насущнаго хлѣба.

¹⁾ Демонтовичъ, послѣ долгихъ споровъ съ Б., говорилъ:—а, вѣдь, это, господа, какъ ни тяжело съ русскимъ правительствомъ, а все же наше положеніе при немъ лучше, чѣмъ то, которое намъ приготовить эти фанатики-соціалисты.

— Просто у консула.

— Да нѣтъ, мы хотѣли на югъ, у нихъ теперь недостатокъ въ людяхъ и они предлагаютъ болѣе выгодныя условія.

— Не можетъ быть, вы не пойдете на югъ!

..... По счастью, Тхоржевскій отгадалъ. На югъ они не пошли

3 мая, 1869 года.

Б е з ъ с в я з и.

I.

Швейцарскіе виды. ¹⁾

Лѣтъ десять тому назадъ, идучи позднимъ зимнимъ, холоднымъ, сырымъ вечеромъ по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лѣтъ семнадцати; онъ былъ босъ, безъ рубашки и, вообще, больше раздѣтъ тропически, чѣмъ одѣтъ по-лондонски. Стуча зубами и дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ попросилъ у меня милостыни. Дня черезъ два я опять его встрѣтилъ, а потомъ еще и еще. Наконецъ, я вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ говорилъ ломанымъ англо-испанскимъ языкомъ, но понять смыслъ его словъ было нетрудно.

— Вы молоды, сказалъ я ему, крѣпки, что же вы не ищете работы?

— Никто не даетъ.

— Отчего?

— Нѣтъ никого знакомаго, кто бы поручился.

— Да вы откуда?

— Съ корабля.

— Съ какого?

— Съ испанскаго. Меня капитанъ очень билъ, я и ушелъ.

— Что вы дѣлали на кораблѣ?

— Все: платье чистилъ, посуду мылъ, каюты прибиралъ.

— Что же вы намѣрены дѣлать?

— Не знаю.

— Да, вѣдь, вы умрете съ холода и голода, по крайней мѣрѣ навѣрно схватите лихорадку.

— Что же мнѣ дѣлать? говорилъ негръ съ отчаяніемъ, глядя на меня и дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода.

Ну, подумалъ я, была не была, не первая глупость въ жизни.

— Идите со мной, я вамъ дамъ уголь и платье, вы будете чис-

¹⁾ Небольшіе отрывки изъ этого отдѣла были напечатаны въ „Колоколѣ“.

тить у меня комнаты, топить камины и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядкомъ и тихо. Се по—по.

Негръ запрыгаль отъ радости.

Въ недѣлю онъ потолстѣлъ и весело работаль за четырехъ. Такъ прожилъ онъ съ полгода; потомъ, какъ-то вечеромъ, явился передъ моей дверью, постояль молча и потомъ сказалъ мнѣ:

— Я къ вамъ пришелъ проститься.

— Какъ такъ?

— *Теперь довольно*, я пойду.

— Васъ кто-нибудь обидѣлъ?

— Помилуйте, я всѣми доволенъ.

— Такъ куда же вы?

— На какой-нибудь корабль.

— Зачѣмъ?

— Очень соскучился, не могу, я сдѣлаю бѣду, если останусь, мнѣ надобно море. Я поѣзжу и опять приѣду, а *теперь довольно*.

Я сдѣлаль опытъ остановить его, дня три онъ подождалъ и во второй разъ объявилъ, что это сверхъ силъ его, что онъ долженъ уйти, что *теперь довольно*.

Это было весной. Осенью онъ явился ко мнѣ снова тропически раздѣтый, я опять его одѣлъ; но онъ вскорѣ надѣлаль разныхъ пакостей, даже грозилъ меня убить, и я былъ вынужденъ его прогнать.

Послѣднее къ дѣлу не идетъ, а идетъ къ дѣлу то, что я совершенно раздѣляю воззрѣніе негра. Долго живши на одномъ мѣстѣ и въ одной колеѣ, я чувствую, что на нѣкоторое время *довольно*, что надобно освѣжиться другими горизонтами и физиономіями... и съ тѣмъ вмѣстѣ ввойти въ себя, какъ бы это ни казалось страннымъ. Поверхностная разсѣянность дороги не мѣшаетъ.

Есть люди, предпочитающіе отъѣзжать *внутренно*: кто при помощи сильной фантазіи и *отвлекаемости* отъ окружающаго—на это надобно особое помазаніе, близкое къ гениальности и безумію—кто при помощи опиума или алкоголя. Русскіе, напимѣръ, пьютъ запоемъ недѣлю-другую, потомъ возвращаются ко дворамъ и дѣламъ. Я предпочитаю передвиженіе всего тѣла передвиженію мозга, и круженіе по свѣту—круженію головы.

Можетъ, отъ того, что у меня похмелье тяжело.

Такъ разсуждалъ я, 4 октября 1866, въ небольшой комнатѣ дрянной гостиницы на берегу Невшательскаго озера, въ которой чувствовалъ себя какъ дома, какъ будто въ ней жилъ всю жизнь.

Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества и главное тишины... На дворѣ было довольно тепло, я отворилъ окно... Все спало глубокимъ сномъ, и городъ, и озеро, и прича-

ленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрышу и видно по легкому уклоненію мачты, никакъ не попадавшей въ линію равновѣсія и переходившей ее то направо, то налево...

...Знать, что никто васъ не ждетъ, никто къ вамъ не взойдетъ, что вы можете дѣлать, что хотите, умереть пожалуй... и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ дѣла... разомъ страшно и хорошо. Я рѣшительно начинаю дичать и иногда жалѣю, что не нахожу силъ принять свѣтскую схиму.

Только въ одиночествѣ человѣкъ можетъ работать во всю силу своей могучи. Воля располагать временемъ и отсутствіе неминуемыхъ перерывовъ—великое дѣло. Сдѣлалось скучно, усталъ человѣкъ,—онъ беретъ шляпу и самъ ищетъ людей и отдыхаетъ съ ними. Стоить ему выйти на улицу—вѣчная каскада лицъ несется нескончаемая, мѣняющаяся, неизмѣнная, съ своей искривляющейся радугой и сѣдой пѣной, шумомъ и гуломъ. На этотъ водопадъ вы смотрите, какъ художникъ. Смотрите на него, какъ на выставку, именно потому, что не имѣете практическаго отношенія. Все вамъ постороннее, и ни отъ кого ничего ненадобно.

На другой день я всталъ ранехонько и уже въ 11 часовъ до того проголодался, что отправился завтракать въ большой отель, куда меня съ вечера не пустили за неимѣніемъ мѣста. Въ столовой сидѣлъ англичанинъ съ своей женой, закрывшись отъ нея листомъ «Теймса», и французъ лѣтъ тридцати, изъ новыхъ, теперь слагающихся, типовъ, толстый, рыхлый, бѣлый, бѣлокурый, мягкожирный; онъ, казалось, готовъ былъ расплыться, какъ желе въ теплой комнатѣ, если-бъ широкое пальто и панталоны изъ упругой матеріи не удерживали его мясовъ. Навѣрно, сынъ какого-нибудь князя биржи или аристократъ демократической имперіи. Вяло, съ недовѣріемъ и пытливымъ духомъ продолжалъ онъ свой завтракъ; видно было, что онъ давно занимается и усталъ.

Типъ этотъ, почти не существовавшій прежде во Франціи, началъ слагаться при Людовикѣ Филиппѣ и окончательно расцвѣлъ въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ. Онъ очень противенъ, и это, можетъ, комплиментъ французамъ. Жизнь кухоннаго и виннаго эпикуреизма не такъ искажаетъ англичанина и русскаго, какъ француза. Фоксы и Шериданы пили и ѣли за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Французъ безнаказанно предается одной *литературной* гастрономіи, состоящей въ утонченномъ знаніи яствъ и витійствъ, при заказѣ блюдъ. Ни одна нація не *говоритъ* столько объ обѣдѣ, о приправахъ, тонкостяхъ, какъ французы; но это все фіоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заѣдаетъ, поглощаетъ... оно ему не по нервамъ. Французъ остается цѣлъ и невредимъ только при

самомъ многостороннемъ волокитствѣ, это его національная страсть и любимая слабость,—въ ней онъ силенъ.

— Прикажете десертъ? спросилъ гарсонъ, видимо уважавшій француза больше насъ.

Молодой господинъ варилъ въ это время пицу въ себѣ и потому, медленно поднимая на гарсона тусклый и томный взглядъ, сказалъ ему:

— Я еще не знаю, потомъ подумалъ и прибавилъ:—une poire!

Англичанинъ, который въ продолженіе всего времени молчалъ за ширмами газеты, встрепенулся и сказалъ

— Et à moi aussi!

Гарсонъ принесъ двѣ груши, на двухъ тарелкахъ, и одну подалъ англичанину; но тотъ съ энергіей и азартомъ протестовалъ:

— No, no! aucune chose pour poire!

Ему просто хотѣлось пить. Онъ напился и всталъ; я тутъ только замѣтилъ, что на немъ была дѣтская курточка, или спенсеръ, свѣтло-коричневаго цвѣта и свѣтлые панталоны въ обтяжку, страшно сморщившіеся возлѣ ботинокъ. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сдѣлавшись очень высокой, оперлась на руку приземистаго своего мужа и вышла.

Я ихъ проводилъ улыбой невольной, но совершенно беззлой; они все-же мнѣ казались въдесятеро больше люди, чѣмъ мой собесѣдъ, разстегивавшій, по случаю удаленія дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейнъ—естественная граница, ничего не отдѣляющая, но раздѣляющая на двѣ части Базель, что не мѣшаетъ нисколько невыразимой скукѣ обѣихъ сторонъ. Тройная скука налегла здѣсь на все: нѣмецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нѣтъ удивительнаго, что единственное художественное произведеніе, выдуманное въ Базелѣ, представляетъ пляску умирающихъ со смертью; кромѣ мертвыхъ, здѣсь никто не веселится, хотя нѣмецкое общество сильно любитъ музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Городъ—транзитный: всѣ проѣзжаютъ по немъ и никто не останавливается, кромѣ комиссіонеровъ и ломовыхъ извозчиковъ высшаго порядка.

Жить въ Базелѣ, безъ особой любви къ деньгамъ, нельзя. Впрочемъ, вообще въ швейцарскихъ городахъ жить скучно, да и не въ однихъ швейцарскихъ, а во всѣхъ небольшихъ городахъ. «Чудесный городъ Флоренція, говоритъ Бакунинъ, точно прекрасная конфета... ѣшь, не нарадуешься, а черезъ недѣлю намъ все сладкое смертельно надоѣдаетъ». Это совершенно вѣрно; что же

и говорить послѣ этого о швейцарскихъ городахъ? Прежде было покойно и хорошо по берегу Лемана; но съ тѣхъ поръ, какъ отъ Веве до Ветто все застроили подмосковными и въ нихъ выселились изъ Россіи цѣлыя дворянскія семьи, исхудалыя отъ несчастія 19 февраля 1861, нашему брату тамъ не рука.

Лозанна.

Я въ Лозаннѣ проѣздомъ. Въ Лозаннѣ всѣ проѣздомъ, кромѣ аборигеновъ.

Въ Лозаннѣ посторонніе не живутъ, несмотря ни на ея удивительныя окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: разъ послѣ смерти Кромвеля, разъ при жизни Гиббона, и теперь, строя въ ней дома и виллы. Живутъ туристы только въ Женевѣ.

Мысль о ней для меня неразрывна съ мыслью о самомъ холодномъ и сухомъ великомъ человѣкѣ и о самомъ холодномъ и сухомъ вѣтрѣ, о Кальвинѣ и о бизѣ. Я обоихъ терпѣть не могу.

И, вѣдь, въ каждомъ женевцѣ осталось что-то отъ бизы и отъ Кальвина, которые дули на него духовно и тѣлесно, со дня рожденія, со дня зачатія и даже прежде, одинъ изъ горъ, другой изъ молитвенниковъ.

Дѣйствительно, слѣдъ этихъ *двухъ простудъ*, съ разными пограничными и череполосными оттѣнками: савойскими, валійскими, пуце всего французскими, составляетъ основной характеръ женевца, хорошій, но не то, чтобъ особенно пріятный.

Впрочемъ, я теперь описываю путевыя впечатлѣнія, а въ Женевѣ я *живу*. Объ ней я буду писать, отойдя на артистическое разстояніе...

... Въ Фрибургъ я пріѣхалъ часовъ въ десять вечера... прямо къ Zehringhoffу. Тотъ же хозяинъ, въ черной бархатной скуфьѣ, который встрѣчалъ меня въ 1851 году, съ тѣмъ же правильнымъ и высококомѣрно-учтивымъ лицомъ русскаго оберъ-церемоніймейстера или англійскаго швейцара, подошелъ къ омнибусу и поздравилъ насъ съ пріѣздомъ.

... И столовая та же, тѣ же складные четырехугольные диванчики, обитые краснымъ бархатомъ.

Четырнадцать лѣтъ прошли передъ Фрибургомъ, какъ четырнадцать дней! Та же гордость каеедральнымъ органомъ, та же гордость цѣпнымъ мостомъ.

Въяніе новаго духа, безпокойнаго, мѣняющаго стѣны, разбирающагося, поднятаго эквипоціальными бурями 1848 года, мало коснулось городовъ, стоящихъ въ нравственной и физической сторонѣ, въ родѣ іезуитскаго Фрибурга и піетистическаго Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашинымъ шагомъ,

стали лучше, но намъ кажутся отсталыми въ своей каменной одеждѣ, спитой не по модѣ... А, вѣдь, многое въ прежней жизни было не дурно, прочнѣе, удобнѣе: она была лучше разočтена для *малаго* числа избранныхъ и именно поэтому не соотвѣтствуетъ огромному числу вновь приглашенныхъ, далеко не такъ избалованныхъ и не такъ трудныхъ во вкусѣ.

Конечно, при современномъ состояніи техники, при ежедневныхъ открытіяхъ, при облегченіи средствъ можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человѣкъ, владѣющій мѣстомъ, довольствуется малымъ. Вообще на него наклепали и, главное, наклепалъ онъ самъ то пристрастіе къ комфорту и ту избалованность, о которой говорятъ. Все это у него риторика и фраза, какъ и все прочее; были же у него свободныя учрежденія безъ свободы, отчего же не имѣть блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключенія. Мало ли что можно найти у англійскихъ аристократовъ, у французскихъ камелій, у іудейскихъ князей міра сего... все это личное и временное: лорды и банкиры не имѣютъ будущности, а камелии наслѣдниковъ. Мы говоримъ о *всемъ свѣтѣ*, о золотой посредственности, о хорѣ и корѣ-де-бале, который теперь на сценѣ и жуируетъ, оставляя въ сторонѣ отца лорда Станлей, имѣющаго тысячь двадцать франковъ дохода въ день, и отца того двѣнадцатилѣтняго ребенка, который на дняхъ бросился въ Темзу, чтобъ облегчить родителямъ пропитанье.

Старый, разбогатѣвшій мѣщанинъ любитъ толковать объ удобствахъ жизни; для него все это еще ново, *что онъ баринъ*, *qu'il a ses aises*, «что его средства ему позволяютъ, что это его не раззорить». Онъ дивится деньгамъ и знаетъ ихъ цѣну и летучесть въ то время, какъ его предшественники по богатству не вѣрили ни въ ихъ истощаемость, ни въ ихъ достоинство, и потому раззорялись. Но раззорялись они со вкусомъ. У «буржуа» мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наслѣдственной, скупой жизни осталась. Онъ, пожалуй, и тратитъ большія деньги, но не на то, что надобно. Поколѣніе, прошедшее прилавкомъ, усвоило себѣ не тѣ размѣры, не тѣ планы, въ которыхъ привольно, и не можетъ отъ нихъ отстать. У нихъ все дѣлается, будто на продажу, и они естественно имѣютъ въ виду какъ можно большую выгоду, барышъ и казовый конецъ. «Пропріетеръ» инстинктивно уменьшаетъ размѣръ комнатъ и увеличиваетъ ихъ число, не зная, почему дѣлаетъ меньшія окна, низкіе потолки; онъ пользуется каждымъ угломъ, чтобъ вырвать его у жильца или у своей семьи. Уголь этотъ ему ненуженъ, но на всякій случай онъ его отнимаетъ у кого-нибудь. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ устраи-

васть двѣ неудобныхъ кухни, вмѣсто одной порядочной, устраиваетъ мансарду для горничной, въ которой нельзя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономію свѣта и пространства онъ украшаетъ фасадъ, грузить мебелью гостиную и устраиваетъ передъ домомъ цвѣтникъ съ фонтаномъ, наказаніе дѣтямъ, нянькамъ, собакамъ и наемщикамъ.

Чего не испортило скряжничество, то додѣлываетъ нерастормленность ума. Наука, прорѣзывающая мутный прудъ обыденной жизни, не мѣшаясь съ ней, бросаетъ направо и налево свои богатства, но ихъ не умѣютъ удить мелкіе лодочники. Вся польза идетъ гуртовщикамъ и цѣдится каплями для другихъ; гуртовщики мѣняютъ шаръ земной, а частная жизнь тащится возлѣ ихъ паровозовъ въ старой колымагѣ, на своихъ клячахъ... Каминъ, который бы не дымился—мечта; мнѣ одинъ женевскій хозяинъ успокоительно говорилъ: «каминъ этотъ *только* дымитъ въ бизу», т. е., именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза какъ будто случайность или новое изобрѣтеніе, какъ будто она не дула де рожденія Кальвина и не будетъ дуть послѣ смерти Фази. Во всей Европѣ, не исключая ни Испаніи, ни Италіи, надобно, вступая въ зиму, писать свое завѣщаніе, какъ писали его прежде, отправляясь изъ Парижа въ Марсель, и въ половинѣ апрѣля служить молебень Иверской Божіей Матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствій, что у нихъ другого дѣла много, я имъ прощу и дымящіяся каминны, и замки, которые разомъ отворяютъ дверь и кровь, и вонь въ сѣняхъ и проч., но спрошу, въ чемъ ихъ дѣло, въ чемъ ихъ высшіе интересы? *Ихъ нѣтъ*... они только выставляютъ ихъ для скрѣпленія невообразимой пустоты и безсмыслія...

Въ средніе вѣка люди жили наисквернѣйшимъ образомъ и тратились на совершенно ненужныя и не идущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ: напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу; ихъ роскошь была въ благолѣпнн дома Божія и дома общиннаго, и тамъ они ужъ не скупались, не жалелись. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворець и выбиралъ не наудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніе души отъ украшенія церквей никто не вѣрится; отъ форума и ратуши, отъ оппозиціи и клуба мирный гражданинъ порядка отсталъ; страсти и фанатизмы, религіи и героизмы—все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, а оно-то и не устроилось.

Для меня во всемъ этомъ есть что-то печальное, трагическое, точно этотъ міръ живетъ кой-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами, и ищетъ не устроиться, а забыться. Я

это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ серьезной мыслью, въ отвращеніи отъ всякаго разбора своего положенія, въ судорожной жадѣ недосуга, внѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, «лишь бы дѣло не шло на умъ».

Модный оттягивающій пластырь—всемирныя выставки. Пластырь и болѣзнь вмѣстѣ, какая-то перемежающаяся лихорадка съ переменными центрами. Все несетя, плыветъ, идетъ, летитъ, тратится, домогается, глядитъ, устааетъ, живетъ еще неудобнѣе, чтобъ слѣдить за *успѣхомъ*—чего? Ну, такъ, за успѣхами. Какъ будто въ три-четыре года можетъ быть такой прогрессъ во всемъ, какъ будто при желѣзныхъ дорогахъ такая крайность возить изъ угла въ уголъ—домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

... Ну, а выставки надоѣдаютъ,—примутся за войну, начнутъ разсѣиваться горами труповъ, лишь бы не видѣть какихъ-то *черныхъ точекъ* на небесклонѣ...

II.

Болтовня съ дороги и родина въ буфетѣ.

— Есть мѣсто въ Андерматъ?

— Вѣроятно будетъ.

— Въ кабриолетѣ?

— Можетъ быть, вы заходите въ половинѣ одиннадцатаго...

Я смотрю на часы, три безъ четверти... и я съ чувствомъ какого-то бѣшенства сажусь на лавочку передъ кафе... Шумъ, крикъ, таскаютъ чемоданы, водятъ лошадей, лошади стучатъ безъ нужды по камнямъ, трактирные гарсоны завоевываютъ путешественниковъ, дамы роются между саками... щелкъ, щелкъ, одинъ дилижансъ поскакалъ... щелкъ, щелкъ, другой поскакалъ за нимъ... площадь пустѣетъ, все разошлось... жаръ смертельный, свѣтло до безобразія, камни поблѣднѣли, собака легла было середь площади, но вдругъ вскочила съ негодованіемъ и побѣжала въ тѣнь. Передъ кафе сидитъ толстый хозяинъ въ рубашкѣ, онъ постоянно дремлетъ. Идетъ баба съ рыбой. «Почемъ рыба?» спрашиваетъ съ видомъ страшной злобы хозяинъ. Женщина говоритъ цѣну.—«Саггогна», кричитъ хозяинъ.—«Ladro», кричитъ женщина.—«Иди мимо, старая чертовка».—«Берешь что ли, раз-

бойникъ?»—«Ну, отдавай за *три венты фунтъ*».—«Чтобъ тебѣ умереть безъ исповѣди!» Хозяинъ беретъ рыбу, женщина деньги, и дружески расстаются. Всѣ эти ругательства—одна принятая форма, въ родѣ вѣжливостей, употребляемыхъ нами.

Собака продолжаетъ спать, хозяинъ отдалъ рыбу и опять дремлетъ, солнце печетъ, сидѣть дольше невозможно. Иду въ кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описаніе горъ и пропастей, цвѣтущихъ луговъ и голыхъ гранитовъ,—все это есть въ гидѣ... Лучше посплетничать. Сплетни—отдыхъ разговора, его десертъ, его соя, одни идеалисты и абстрактные люди не любятъ сплетней... Но о комъ сплетничать?... Разумѣется, о предметѣ самомъ близкомъ нашему патриотическому сердцу,—о нашихъ милыхъ соотечественникахъ. Ихъ вездѣ много, особенно въ хорошихъ отеляхъ.

Узнавать русскихъ все еще такъ же легко, какъ и прежде. Давно отмѣченные зоологическіе признаки не совсѣмъ стерлись при сильномъ увеличеніи путешественниковъ. Русскіе говорятъ громко тамъ, гдѣ другіе говорятъ тихо, и совсѣмъ не говорятъ тамъ, гдѣ другіе говорятъ громко. Они смѣются вслухъ и разсказываютъ шепотомъ смѣшныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ сосѣдями, они ѣдятъ съ ножа, военные похожи на вѣмцевъ, но отличаются отъ нихъ особенно дерзкимъ затылкомъ, съ оригинальной щетинкой; дамы поражаютъ костюмомъ на желѣзныхъ дорогахъ и параходахъ такъ, какъ англичанки за *table d'hôte* и пр.

Тунское озеро сдѣлалось цистерной, около которой насли наши туристы высшаго полета. *Fremden List* словно выписанъ изъ «памятной книжки»: министры и тузы, генералы всѣхъ оружій и даже тайной полиціи отмѣчены въ немъ. Въ садахъ отелей наслаждаются сановники, *mit Weib und Kind*, природой и въ ихъ столовой ея дарами.—«Вы черезъ Гемми или Гримзель?» спрашиваетъ англичанка англичанку.—«Вы въ *Jungfraublick* ѣ или въ Викторіи остановились?» спрашиваетъ русская русскую.—«Вотъ и *Jungfrau!*» говоритъ англичанка.—«Вотъ и Рейтернъ», министръ финансовъ, говоритъ русская...

.....
Intcinq minutes d'arret...

Intcinq minutes d'arret...

и все, что было въ вагонахъ, высыпалось въ залу ресторана и бросилось за столъ, торопясь съѣсть обѣдъ въ какія-нибудь двадцать минутъ, изъ которыхъ дорожное начальство непремѣнно украдетъ пять-шесть, да еще прежде испугаетъ аппетитъ страшнымъ звонкомъ и крикомъ: *En voiture*.

Взошла высокая барыня въ темномъ и ея мужъ въ свѣтломъ, съ ними двое дѣтей... Взошла съ застѣнчивымъ, неловкимъ видомъ, бѣдно одѣтая дѣвушка, у которой на рукахъ были какіе-то мѣшечки и баульчики. Она постояла... потомъ пошла въ уголь и сѣла почти возлѣ меня. Зоркій взглядъ гарсона ее замѣтилъ; прорѣвѣвъ съ тарелкой, на которой лежалъ кусокъ ростбифа, онъ спустился, какъ коршунъ, на бѣдную дѣвушку и спросилъ ее, что она желаетъ заказать?—«Ничего», отвѣчала она и гарсонъ, котораго кликалъ англійскій клержиманъ, побѣжалъ къ нему... Но черезъ минуту онъ опять подлетѣлъ къ ней и, махая салфеткой, спросилъ ее: «Что бишь вы заказали?»

Дѣвушка что-то прошептала, покраснѣла и встала. Меня такъ и кольнуло. Мнѣ захотѣлось предложить ей чего-нибудь, но я не смѣлъ.

Прежде чѣмъ я рѣшился, черная дама повела черными глазами по залѣ и, увидя дѣвушку, подозвала ее пальцемъ. Она подошла, дама указала ей на недоѣденный дѣтьми супъ, и та, стоя середь ряда сидящихъ и удивленныхъ путешественниковъ, смущенная и потерянная, съѣла ложки двѣ и поставила тарелку.

— *Essieurs les voyageurs pour Ucinnungen onctiou, et tontuux—en voiture!*

Всѣ бросились съ ненужной поспѣшностью къ вагонамъ.

Молчать я не могъ и сказалъ гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видѣли?

— Какъ же не видать,—это *русскіе*.

III.

11 За Альпами.

... Архитектуральный, монументальный характеръ итальянскихъ городовъ, рядомъ съ ихъ запущенностью, подъ конецъ надѣдаетъ. Современный человѣкъ въ нихъ не дома, а въ неудобной ложѣ театра, на сценѣ котораго поставлены величественныя декораціи.

Жизнь въ нихъ не уравновѣсилась, не проста и не удобна. Тонъ поднять, во всемъ декламация и декламация итальянская (кто слыхалъ чтеніе Данта, тотъ знаетъ ее). Во всемъ та натянутость, которая бывала въ ходу у московскихъ философовъ и нѣмецкихъ *ученыхъ* художниковъ; все съ высшей точки, vom höhern Standpunkt.—Взвинченность эта исключаетъ abandon, въ-

чно готова на отпоръ и проповѣдь съ сентенціями. Хроническая восторженность утомляетъ, сердить.

Человѣку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, имѣть *тugendy*, быть тронутымъ и носиться мыслию далеко въ быломъ, а Италия не спускаетъ съ извѣстнаго діапазона и безпрестанно напоминаетъ, что ея улица не просто улица, а что она памятникъ, что по ея площадямъ не только надобно ходить, но должно ихъ изучать.

Вмѣстѣ съ тѣмъ все особенно изящное и великое въ Италіи (а можетъ и вездѣ) граничитъ съ безуміемъ и нелѣпностью, по крайней мѣрѣ, напоминаетъ малолѣтство... Piazza Signoria,—это дѣтская флорентинскаго народа; дѣдушка Буонаротти и дядюшка Челлини надарили ему мраморныхъ и бронзовыхъ игрушекъ, а онъ ихъ разставилъ зря на площади, гдѣ столько разъ лилась кровь и рѣшалась его судьба—безъ малѣйшаго отношенія къ Давиду или Персею... Городъ въ водѣ, такъ что по улицамъ могутъ гулять ерши и окуни... Городъ изъ каменныхъ щелей, такъ что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтобъ ползать и бѣгать по узенькому дну—между утесами, составленными изъ дворцовъ... А тутъ бѣловѣжская пуца изъ мрамора. Какая голова смѣла создать чертежъ этого каменнаго лѣса, называемаго Миланскимъ соборомъ, эту гору сталактитовъ? Какая голова имѣла дерзость привести въ исполненіе сонъ безумнаго зодчаго... И кто даль деньги, огромныя, невѣроятныя деньги!

Люди только жертвуютъ на ненужное. Имъ всего дороже ихъ фантастическія цѣли, дороже насущнаго хлѣба, дороже своей корысти. Въ эгоизмъ надобно воспитаться такъ же, какъ въ гуманность. А фантазія уноситъ безъ воспитанія, увлекаетъ безъ разсужденій. Вѣка вѣры были вѣками чудесъ.

Городъ поновѣе, но менѣе историческій и декоративный—Туринъ.

Такъ и обдаетъ своей прозой.

Да, а жить въ немъ легче—именно потому, что онъ просто городъ, городъ не въ собственное свое воспоминаіе, а для обыденной жизни, для настоящаго, въ немъ улицы не представляютъ археологическаго музея, не напоминаютъ на каждомъ шагу *Memento mori*,—а взгляните на его работничье населеніе, на ихъ рѣзкій, какъ альпійскій воздухъ, видъ,—и вы увидите, что это кряжъ людей бодрѣ флорентинцевъ, венеціанъ, а, можетъ, и постойчѣ генуэзцевъ.

Послѣднихъ, впрочемъ, я не знаю. Къ нимъ присмотрѣться очень трудно, они все мелькаютъ передъ глазами, бѣгутъ, суетятся, снуютъ, торопятся. Въ переулкахъ къ морю народъ кипитъ, но тѣ, которые стоятъ, не генуэзцы—это матросы всѣхъ морей и

океановъ, шкиперы, капитаны.—Звонокъ тамъ, звонокъ тутъ—Partenza!—Partenza!—и часть муравейника засуетилась,—одни нагружаютъ, другіе разгружаютъ.

||

IV.

Z u d e u t s c h .

... Три дня льетъ проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... Въ окнѣ книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома. Вотъ спасенье, я взялъ ихъ и принялся читать впредь до расчищенія неба.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ Гейне писалъ Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дѣло, съ 1848 года мы все пятились, да отступали, все бросали за бортъ, да ежились, а кой-что сдѣбалось и все исподволь измѣнилось. Мы ближе къ землѣ, мы ниже стоимъ, т. е., тверже, плугъ глубже врѣзывается, работа не такъ казиста, чернѣе—можетъ оттого, что это въ самомъ дѣлѣ работа. Донъ-Кихоты реакціи пропоролі много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, какъ духъ Божій, надъ водами съ цѣвницей и пророческимъ пѣснопѣніемъ, а цѣпляемся за деревья, крыши и за мать-сыру-землю.

Гдѣ эти времена, когда «юная Германія», въ своемъ «прекрасномъ-высоко», *теоретически* освобождала отечество и въ сферахъ чистаго разума и искусства покончивала съ міромъ преданій и предрасудковъ? Гейне было противно на ярко освѣщенной морозной высотѣ, на которой величественно дремалъ подъ старость Гёте, грезя не совсѣмъ складные, но умные сны второй части Фауста,—однако и онъ ниже книжнаго магазина не опустился, это все еще академическая aula, литературные кружки, журнальные приходы, съ ихъ сплетнями и дразгами, съ ихъ книжными Шейлоками въ видѣ Коты или Гофмана и Кампе, съ ихъ геттингенскими архіереями филологіи и епископами юриспруденціи въ Галле или Боннѣ. Ни Гейне, ни его кругъ народа не знали, и народъ ихъ не зналъ. Ни скорбь, ни радость низменныхъ полей не подымалась на эти вершины; для того, чтобъ понять стонъ современныхъ человѣческихъ трясины, имъ надобно было переложить его на латинскіе нравы и черезъ Гракховъ и пролетаріевъ добраться до ихъ мысли.

Баккалавры міра *сублимированнаго*, они выходили иногда въ

жизнь, начиная, какъ Фаустъ, съ полпивной, и всегда, какъ онъ, съ какимъ-нибудь духомъ школьнаго отрицанья, который имъ, какъ Фаусту, мѣшалъ своей рефлексіей просто глядѣть и видѣть. Оттого-то они тотчасъ возвращались отъ живыхъ источниковъ къ источникамъ историческимъ, тутъ они чувствовали себя больше дома. Занятія ихъ, это особенно замѣчательно, не только не были *дѣломъ*, но и не были *наукой*, а, такъ сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчасъ бунтовалъ противъ архивнаго воздуха и аналитическаго наслажденія, хотѣлъ чего-то другого, а письма его совершенно *нѣмецкія письма*, того нѣмецкаго періода, на первой страницѣ котораго Беттина-дитя, а на послѣдней Рахиль еврейка. Мы свѣжѣ дышемъ, встрѣчая въ его письмахъ страстные порывы юдаизма; тутъ Гейне въ самомъ дѣлѣ увлекающійся человекъ, но онъ тотчасъ стынетъ, холодѣетъ къ юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не безкорыстную измѣну.

Революція 1830 и потомъ переѣздъ Гейне въ Парижъ сильно двинули его. *Der Pan ist gestorben!* говоритъ онъ съ восторгомъ и торопится *туда*—туда, куда и я нѣкогда торопился такъ болѣзненно-страстно,—въ Парижъ; онъ хочетъ видѣть «великій народъ» и «сѣдого Лафайета, развѣзжающаго на сѣрой лошади». Но литература вскорѣ беретъ верхъ, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями въ пересыпочку съ жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположеніе духа, сквозь котораго просвѣчиваетъ безмѣрное, оскорбительное самолюбіе. И тутъ же Гейне беретъ фальшивую ноту. Холодно вздутый риторическій бонапартизмъ его становится такъ же противенъ, какъ брезгливый ужасъ гамбургскаго хорошо вымытаго жида передъ народными трибунами не въ книгахъ, а на самомъ дѣлѣ. Онъ не могъ переварить, что рабочія сходки не представлялись въ чопорной обстановкѣ кабинета и салона Варнгагена, «фарфороваго» Варнгагена фонъ Энзе, какъ онъ его самъ называлъ.

Чистотой рукъ и отсутствіемъ табачнаго запаха, впрочемъ, и ограничивается чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не нѣмецкое, не еврейское и, по несчастію, тоже не русское.

Гейне кокетничаетъ съ прусскимъ правительствомъ, заискиваетъ въ немъ черезъ посла, черезъ Варнгагена, и ругаетъ его ¹⁾.

¹⁾ Не то же ли дѣлалъ и геній на *содержаніи* прусскаго короля? Его двупшостасность навлекла на него колкое слово. Послѣ 1848, король ганноверскій, ультра-консерваторъ и феодалъ, пріѣхалъ въ Потсдамъ. На лѣстницѣ дворца его встрѣтили разные придворные и Гумбольтъ въ ливрейномъ фракѣ. Злой король остановился и, улыбаясь, сказалъ ему: „Immer derselbe, immer Republicaner und immer im Vorzimmer des Palastes“.

Кокетничаетъ съ баварскимъ королемъ и осыпаетъ его сарказмами, больше чѣмъ кокетничаетъ съ «высокой» германской діэтой и выкупаетъ свое дрянное поведеніе передъ ней ѣдкими насмѣшками.

Все это не объясняетъ ли отчего учено-революціонная вспышка въ Германіи такъ быстро лопнула въ 1848 году? Она тоже принадлежала литературѣ и исчезла какъ ракета, пущенная въ Крольгарденѣ; она имѣла своихъ вождей-профессоровъ и своихъ генераловъ отъ филологіи, она имѣла свой народъ въ ботфортахъ и беретяхъ, народъ студентовъ, измѣнившихъ революціонному дѣлу, какъ только оно перешло изъ метафизической отваги и литературной удалы на площадь.

Кромѣ нѣскольکو забѣжавшихъ или завлеченныхъ работниковъ, народъ не шелъ за этими блѣдными *фюрерами*, они ему такъ и остались посторонними.

— Какъ вы можете выносить всѣ обиды Бисмарка, спросилъ я, за годъ до войны, у одного лѣваго депутата изъ Берлина, въ самое то время, когда графъ набивалъ себѣ руку для того, чтобъ повышибать зубы по крѣпче Грабова и К^о.

— Мы все сдѣлали, что могли *innerhalb* конституціи.

— Ну, такъ вы бы, по примѣру правительства, попробовали *ausserhalb*.

— То есть, что-же? сдѣлать воззваніе къ народу, остановить платежи налоговъ?.. Это мечта... *ни одинъ человекъ не двинулся бы за насъ*, не поддержалъ бы насъ... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидѣтельствуя сами нашу слабость.

— Ну, такъ и я скажу, какъ вашъ президентъ при всякомъ заушеніи: «Воскликните троекратно *Es lebe der Koenig!* и разоидитесь съ миромъ!»

V.

Съ того и этого свѣта.

I.

Съ того.

...Villa Adolphina... Адольфина?.. что бишь такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...

Вхожу, все чисто, хорошо, деревья, цвѣты, англійскія дѣти на дворѣ, толстыя, мягкія, румяныя, которымъ отъ души желаю никогда не встрѣчаться съ антропофагами... Выходитъ старушка и, спросивъ о причинѣ прихода, начинаетъ разговоръ съ того, что

она не *служанка*, «а больше по дружбѣ», что m-me Adolphine поѣхала въ больницу или въ богадѣльню, въ которой она патронесса. Потомъ ведетъ меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый разъ еще не занята во время сезона и которую сегодня утромъ приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, въ силу чего служащая «больше по дружбѣ» старушка искренно совѣтовала мнѣ не терять времени. Поблагодаривъ ее за такое внезапное сочувствіе и предпочтеніе, я обратился къ ней съ вопросомъ:

— Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten, und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg. Признаться сказать, такого города, кажется, нѣтъ и не будетъ.

— Очень пріятно слышать. Вы давно оставили Петербургъ?

— Да, не вчера-таки, мы вотъ ужъ здѣсь живемъ на худой конецъ лѣтъ двадцать. Я съ дѣтства была подругой съ m-me Adolphine и потомъ никогда не хотѣла ее покинуть. Она мало хозяйствомъ занимается, все у нея идетъ такъ, некому присмотрѣть. Когда meine Gönnerin купила этотъ маленькій *парадизъ*, она меня тотчасъ выписала изъ Брауншвейга...

— А гдѣ вы жили въ Петербургѣ? спросилъ я вдругъ.

— О, мы жили въ самой лучшей части города, гдѣ *lauter Herrschaften und Generäle* живутъ. Сколько разъ я видѣла покойнаго государя, какъ онъ въ коляскѣ и въ саняхъ на одной лошади проѣзжалъ *so ernst...* можно сказать, настоящій потентатъ былъ.

— Вы жили на Невскомъ, на Морской?

— Да, т. е., не совѣмъ на Нефскомъ, а тутъ возлѣ, у Полицей-брюкѣ.

Довольно... довольно, какъ не знать, думаю я, и прошу старушку, чтобъ она сказала, что я приду къ самой m-me Adolphine переговорить о квартирѣ.

Я никогда не могъ безъ особаго умиленія встрѣчаться съ развалинами давнишняго времени, съ полуразрушенными памятниками храма ли Весты, или другого бога, все равно... Старушка «по дружбѣ» пошла меня провожать черезъ садъ къ воротамъ.

— Вотъ нашъ сосѣдъ, тоже долго жилъ въ Петербургѣ... она указала мнѣ большой, кокетливо убранный домъ, на этотъ разъ съ англійской надписью: *Large and small app. (furnished or unfurnished)*... Вы, вѣрно, помните Флоріани? *Coiffeur de la cour* былъ возлѣ Милліонной; онъ имѣлъ одну непріятную исторію...

быть преслѣдованъ, чуть не попалъ въ Сибирь... знаете, за излишнее снисхожденіе, тогда были такія строгости.

Ну, думаю, она непременно произведетъ Флоріани въ мои «товарищи несчастья».

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту исторію, въ ней были замѣшаны синодскій оберъ-прокуроръ и другіе богословы и гвардейцы...

— Вотъ онъ самъ.

... Высохшій, беззубый старичишка, въ маленькой соломенной шляпѣ, морской или дѣтской, съ голубой лентой около талии, въ коротенькомъ, свѣтло-гороховомъ полупальто и въ полосатыхъ штанишкахъ... вышелъ за ворота. Онъ поднималъ скупосухіе, безжизненные глаза и, пожевывая тонкими губами, кивнулъ головой старушкѣ «по дружбѣ».

— Хотите я его позову?

— Нѣтъ, покорно благодарю... *я не по этой части*—видите бороду не брею... Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нѣтъ, у monsieur Floriani красная ленточка.

— Да, да, онъ очень много жертвовалъ!

— Прекрасное сердце.

Въ классическія времена писатели любили сводить на томъ свѣтѣ давно и недавно умершихъ за тѣмъ, чтобъ они покаялись о томъ и о семъ. Въ нашъ реальный вѣкъ все на землѣ и даже часть *того свѣта на этомъ свѣтѣ*. Елисейскія поля растянулись въ Елисейскіе берега, Елисейскія взморья и рассыпались тамъ-сямъ по сѣрнымъ и теплымъ водамъ, у подножія горъ, на рамкахъ озеръ, они продаются акрами, обрабатываются подъ виноградъ... Часть умершаго въ тревожной жизни отправляетъ здѣсь первый курсъ переселенія душъ и гимназическій классъ Чистилища.

Всякій человѣкъ, прожившій лѣтъ пятьдесятъ, схоронилъ цѣлый міръ, даже два; съ его исчезновеніемъ онъ свылся и привыкъ къ новымъ декораціямъ другого акта; вдругъ имена и лица давно умершаго времени являются чаще и чаще на его дорогѣ, вызывая ряды тѣней и картинъ, гдѣ-то хранившихся, на всякій случай, въ безконечныхъ катакомбахъ памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной разъ чуть не расплакаться...

Желающимъ, какъ Фаустъ, повидаться «съ матерями» и даже «съ отцами», ненужно никакихъ Мефистофелей, достаточно взять билетъ на желѣзной дорогѣ и ѣхать къ югу. Съ Канна и Грасса начиная, бродятъ грѣющіяся тѣни давно утекшаго времени; прижатыя къ морю, онѣ, покойно сгорбившись, ждутъ Харона и свой чередъ.

На дорогѣ этой Citta, не то чтобъ очень dolente, стоитъ при-

вратникомъ высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. Послѣ долгой, честной и исполненной безплоднаго труда жизни, онъ всѣмъ существомъ и одной сѣдой бровью ниже другой выражаетъ часть Дантовской надписи: «Voi ch'entrate, съ мыслью домашними средствами поправить застарѣлое, историческое зло lasciate ogni speranza». Старикъ Брумъ, лучший изъ ветхихъ деньми защитникъ несчастной королевы Каролины, другъ Роберта Оуэна, современникъ Каннинга и Байрона, послѣдній, ненаписанный томъ Маколея, поставилъ свою виллу между Грассомъ и Канномъ и очень хорошо сдѣлалъ. Кого было бы, какъ не его, поставить примиряющей вывѣской въ преддверіи временнаго Чистилища, чтобъ не отстрацать живыхъ?

За тѣмъ мы en plein въ мірѣ умолкшихъ теноровъ, потрясавшихъ наши восемнадцатилѣтнія груди лѣтъ *тридцать* тому назадъ, ножекъ, отъ которыхъ таяло и замирало наше сердце вмѣстѣ съ сердцемъ цѣлаго партера, ножекъ, оканчивающихъ теперь свою карьеру въ стоптанныхъ, собственноручно вязанныхъ изъ шерсти туфляхъ, пошлепывающихъ за горничной изъ безцѣльной ревности и по хозяйству изъ очень цѣлесообразной скупости...

... И все-то это съ разными промежутками продолжается до самой Адриатики, до береговъ Комскаго озера и даже нѣкоторыхъ нѣмецкихъ водяныхъ *пятенъ* (Flecken). Здѣсь villa Taglioni, тамъ Palazzo Rubini, тутъ Campagne Fanny Elsner и другихъ *мицъ*... du prétérît défini et du plus que parfait.

Возлѣ актеровъ, сошедшихъ со сцены маленькаго театра, актеры самыхъ большихъ подмостковъ въ мірѣ, давно исключенные изъ афишъ и забытые,—они въ тиши доживаютъ вѣкъ Цинцинатами и философами противъ воли. Рядомъ съ артистами, нѣкогда отлично представлявшими царей, встрѣчаются цари, скверно разыгравшіе свою роль. Цари эти захватили съ собой, какъ индійскіе покойники, берущіе на тотъ свѣтъ своихъ женъ, дружъ-трехъ преданныхъ министровъ, которые такъ усердно помогли имъ пасть и сами свалились съ ними. Въ ихъ числѣ есть вѣнценосцы, освищенные при дебютѣ и все еще ожидающіе, что публика придетъ къ больше справедливой оцѣнкѣ и опять позоветъ ихъ. Есть и такіе, которымъ impressario историческаго театра не позволилъ и дебютировать—мертворожденные, имѣющіе *вчера*, но не имѣющіе *сегодня*; ихъ біографія оканчивается до ихъ появленія на свѣтъ; аѣтеки давно испровергнутаго закона престолонаслѣдія, они остаются шевелящимися памятниками угасшихъ династій.

Далѣе идутъ генералы, знаменитые побѣдами, одержанными надъ ними, тонкіе дипломаты, погубившіе свои страны, игроки,

погубившіе свое состояніе и сморщенные, сѣдые старухи, погубившія во время оно сердца этихъ дипломатовъ и этихъ игроковъ. Государственные фоссилии, все еще понюхивающіе табакъ, такъ, какъ его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминаютъ съ «ископаемыми» красавицами время м-ше Resamieg залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибранъ и дивятся, что Патти смѣетъ послѣ этого пѣть... И въ то же время люди зеленого сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные параличомъ, полузатопленные водяной, толкуютъ съ другими старушками о другихъ салонахъ и другихъ знаменитостяхъ, о смѣлыхъ ставкахъ, о графинѣ Киселевой, о Гамбургской и Баденской рулеткѣ, объ игрѣ покойнаго Сухозанета, о тѣхъ патриархальныхъ временахъ, когда владѣтельные принцы нѣмецкихъ водъ были въ долѣ съ содержателями игръ и опасный, средневѣковый грабежъ путешественниковъ перекладывали на мирное поприще банка и *rouge ou noir*...

... И все это еще дышетъ, еще движется, кто не на ногахъ, въ перамбулаторѣ, въ коляскѣ, укрытой мѣхомъ, кто опираясь вмѣсто клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимѣніемъ слуги. «Списки иностранцевъ» похожи на старинные адресъ-календари, на клочья изорванныхъ газетъ «временъ наваринскихъ и покоренія Алжира».

Возлѣ гаснущихъ звѣздъ трехъ первыхъ классовъ сохраняются другія кометы и свѣтила, занимавшія собою лѣтъ тридцать тому назадъ праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, съ которымъ люди слѣдятъ за процессами, ведущими отъ труповъ къ гильотинѣ и отъ кучей золота на каторгу. Въ ихъ числѣ разные освобожденные отъ суда за «неимѣніемъ доказательствъ», отравители, фальшивые монетчики, люди, кончившіе курсъ нравственнаго леченія гдѣ-нибудь въ центральной тюрьмѣ или колоніяхъ, «контюмасы» и проч.

Всего меньше встрѣчаются въ этихъ теплыхъ чистилищахъ тѣни людей, всплывшихъ среди революціонныхъ бурь и неудавшихся народныхъ движеній. Мрачные и озлобленные горцы *якобинскихъ* вершинъ предпочитаютъ суровую бизу, угрюмые лакедемоняне, они скрываются за лондонскими туманами...

II. Съ этого.

I.

Живые цвѣты—Послѣдняя могиканка.

— Поѣдьте на *bal de l'Opera*, теперь самая пора, половина

второго,—сказалъ я, вставая изъ-за стола въ небольшомъ кабинетѣ Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполнѣ не протрезвлявшемуся. Мнѣ хотѣлось на воздухъ, на шумъ и къ тому же я побаивался длиннаго tête à tête съ моимъ невскимъ Клодъ Лорреномъ.

— Поѣдемте, сказалъ онъ, и налилъ себѣ еще рюмку коньяку.

Это было въ началѣ 1849 года, въ минуту ложнаго выздоровленія между двухъ болѣзней, когда еще хотѣлось, или казалось, что хотѣлось, иногда дурачества и веселья.

... Побродивши по оперной залѣ, мы остановились передъ особенно красивой кадрилию напудренныхъ дебардеровъ съ намазанными мѣломъ Пьерро. Всѣ четыре дѣвушки очень молодыя, лѣтъ 18-19, были милы и граціозны, плясали и тѣпились отъ всей души, незамѣтно переходя отъ кадрили въ канканъ. Не успѣли мы довольно налюбоваться, какъ вдругъ кадрили разстроился «по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ танцовавшихъ», какъ выражались у насъ журналисты въ счастливыя времена цензуры. Одна изъ танцовщицъ, и, увы, самая красивая, такъ ловко, или такъ неловко, опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди и часть спины, немного больше того, какъ дѣлаютъ англичанки, особенно пожилыя, которымъ нечѣмъ взять кромѣ плечей, на самыхъ чопорныхъ раутахъ и въ самыхъ видныхъ ложахъ Ковенгардена (вслѣдствіе чего во второмъ ярусѣ рѣшительно нѣтъ возможности съ достодоленнымъ цѣломудріемъ слушать *Casta diva* или *Sul salice*).

Едва я успѣлъ сказать простуженному художнику: «давайте-ка сюда Буонаротти, Тиціана, берите вашу кисть, а то она поправится», какъ огромная черная рука, не Буонаротти и не Тиціана, а *gardien de Paris* схватила ее за воротъ, рванула вонъ изъ кадрили и потащила съ собой. Дѣвушка упиралась, не шла, какъ дѣлаютъ дѣти, когда ихъ собираются мыть въ холодной водѣ, но человѣческая справедливость и порядокъ взяли верхъ и были удовлетворены. Другія танцовщицы и ихъ Пьерро переглянулись, нашли свѣжаго дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрядывать другъ отъ друга для того, чтобъ еще яростнѣе наступать, не обративъ почти никакого вниманія на помященіе Прозерпины.

— Пойдемте посмотрѣть, что полицейскій сдѣлаетъ съ ней, сказалъ я моему товарищу.—Я замѣтилъ дверь, въ которую онъ ее повелъ.

Мы спустились по боковой лѣстницѣ внизъ. Кто видѣлъ и помнить бронзовую собаку, внимательно и съ нѣкоторымъ волненіемъ смотрящую на черепаху, тотъ легко представитъ себѣ сцену, которую мы нашли. Несчастная дѣвушка въ своемъ лег-

комъ костюмѣ сидѣла на каменной ступенькѣ и на сквозномъ вѣтрѣ, заливаясь слезами; передъ ней сухопарый, высокій муниципаль, съ хищнымъ и серьезно глупымъ видомъ, съ запятой изъ волосъ на подбородкѣ, съ полусѣдыми усами и во всей формѣ. Онъ съ достоинствомъ стоялъ, сложивъ руки, и пристально смотрѣлъ, чѣмъ кончится этотъ плачь, приговаривая:

— Allons, allons!

Для довершенія удара, дѣвушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— ... Et... et on dit... on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danser comme l'on veut!..

Все это было такъ смѣшно и такъ въ самомъ дѣлѣ жалко, что я рѣшился идти на выручку военноплѣнной и на спасеніе въ ея глазахъ чести республиканской формы правленія.

— Mon brave, сказалъ я съ разчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, что вы сдѣлаете съ mademoiselle?

— Посажу au violon до завтрашняго дня, отвѣчалъ онъ сурово.

Стенанья увеличиваются.

— Научится, какъ рубашку скидывать,—прибавилъ блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, Brigadier, вы бы ее простили.

— Нельзя. La consigne.

— Дѣло праздничное...

— Да вамъ что за забота; Etes-vous son réciproque?

— Первый разъ отроду вижу, parole d'honneur! имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы и насъ удивило, что въ Парижѣ такъ строго поступаютъ съ слабой дѣвушкой, avec un être frêle. У насъ думаютъ, что здѣсь полиція такая добрая... И зачѣмъ позволяютъ вообще канканировать, а если позволяютъ, г. бригадиръ, тутъ иной разъ по неволѣ, или нога поднимется слишкомъ высоко, или воротъ опустится слишкомъ низко.

— Это-то, пожалуй, и такъ, замѣтилъ пораженный моимъ краснорѣчіемъ муниципаль, а главное задѣтый моимъ замѣчаніемъ, что иностранцы имѣютъ такое лестное мнѣніе о парижской полиціи.

— Къ тому-же, сказалъ я, посмотрите, что вы дѣлаете. Вы ее простудите,—какъ же изъ душной залы полутолое дитя посадить на сквозной вѣтеръ.

— Она сама не идетъ. Ну, да вотъ что: если вы дадите мнѣ честное слово, что она въ залу сегодня не взойдетъ, я ее отпущу.

— Bravo! впрочемъ, я меньше и не ожидалъ отъ г. бригадира; я васъ благодарю отъ всей души.

Пришлось пуститься въ переговоры съ освобожденной жертвой.

— Извините, что, не имѣя удовольствія быть съ вами знакомымъ лично, вступился за васъ.

Она протянула мнѣ горячую мокрую рученку и смотрѣла на меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, въ чемъ дѣло? Я не могу за васъ поручиться, если вы мнѣ не дадите слова, или, лучше, если вы не уѣдете сейчасъ. Въ сущности жертва не велика, я полагаю теперь часа три съ половиной.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нѣтъ—сказаль неумолимый блюститель порядка—отсюда ни шагу.

— Гдѣ ваша мантилья и шляпка?

— Въ ложѣ—такой-то, №—въ такомъ-то ряду.

Артистъ бросился было, но остановился съ вопросомъ: «да какъ-же мнѣ отдаютуть?»

— Скажите только, что было, и то, что вы отъ *Леонтины-маленькой*... Вотъ и балъ!—прибавила она съ тѣмъ видомъ, съ которымъ на кладбищѣ говорятъ: «Спи спокойно».

— Хотите, чтобъ я привелъ фіакръ?

— Я не одна.

— Съ кѣмъ-же?

— Съ однимъ другомъ.

Артистъ возвратился окончательно распростуженный съ шляпой, мантильей и какимъ-то молодымъ лавочникомъ или commis-voyageur.

— Очень обязанъ, сказалъ онъ мнѣ, потрогивая шляпу, потомъ ей:—всегда надѣлаешь исторій! Онъ почти также грубо схватилъ ее подъ руку, какъ полицейскій за воротъ, и исчезъ въ большихъ сѣняхъ оперы... Бѣдная... достанется ей... и что за вкусъ... она... и онъ!

Даже досадно стало. Я предложилъ художнику выпить,—онъ не отказался.

Прошелъ мѣсяць. Мы сговорились человекъ пять: Вѣнскій агитаторъ Таузенау, генераль Г., Миллеръ С. и еще одинъ господинъ ѣхать другой разъ на балъ. Ни Г., ни Миллеръ ни разу не были. Мы стояли въ кучкѣ. Вдругъ какая-то маска продирается, продирается и прямо ко мнѣ, чуть не бросается на шею и говорить:

— Я васъ не успѣла тогда поблагодарить...

— Ah, mademoiselle Léontine... очень, очень радъ, что васъ встрѣтилъ, я такъ и вижу передъ собой ваше заплаканное личико, ваши надутыя губки,—вы были ужасно милы; это не значить, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрѣла на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Ни мало.

— Въ воспоминанье вашего плѣна, вы должны были бы... если бы вы были очень, очень любезны...

— Ну что-же? *Soyez bref.*

— Должны бы отужинать съ нами.

— Съ удовольствіемъ, *ma parole*, но только не теперь.

— Гдѣ же я васъ сыщу?

— Не безпокойтесь, я васъ сама сыщу, ровно въ четыре. Да вотъ что, я здѣсь не одна...

— Опять съ вашимъ другомъ,—и мурашки пробѣжали у меня по спинѣ.

Она расхохоталась.

— Онъ не очень опасенъ — и она подвела ко мнѣ дѣвочку лѣтъ семнадцати, свѣтло-бѣлокурую, съ голубыми глазами.

— Вотъ мой другъ.

Я пригласилъ и ее.

Въ четыре Леонтина подбѣжала ко мнѣ, подала руку и мы отправились въ *Café Riche*. Какъ ни близко это отъ Оперы, но по дорогѣ Г. успѣлъ влюбиться въ Мадонну Андрея *Del Sarto*, то есть, въ блондинку. И за первымъ блюдомъ, послѣ длинныхъ и курьезныхъ фразъ о тинторетовской прелести ея волосъ и глазъ, Г., только что мы усѣлись за столъ, началъ проповѣдь о томъ, какъ съ лицомъ Мадонны и выраженіемъ чистаго ангела не эстетично танцовать канканъ.

— *Agnes, holdes Kind!* добавилъ онъ, обращаясь ко всѣмъ.

— Зачѣмъ вашъ другъ, сказала мнѣ Леонтина на ухо, говорить такой скучный *fatras*?—да и зачѣмъ вообще онъ ѣздитъ на оперные балы,—ему бы ходить въ Мадлену.

— Онъ *нѣмецъ*, у нихъ ужъ такая болѣзнь,—шепнулъ я ей.

— *Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son mal de sermont. Mon petit saint finira-tu donc bientôt?*

И въ ожиданіи конца проповѣди, усталая Леонтина бросилась на кушетку. Противъ нея было большое зеркало, она безпрестанно смотрѣлась и не выдержала, она указала мнѣ пальцемъ на себя въ зеркалѣ и сказала:

— А что, въ этой растрепавшейся прическѣ, въ этомъ смятомъ костюмѣ, въ этой позѣ я и въ самомъ дѣлѣ будто не дурна.

Сказавши это, она вдругъ опустила глаза и покраснѣла, покраснѣла откровенно, до ушей. Чтобъ скрыть, она запѣла известную пѣсню, которую Гейне изуродовалъ въ своемъ переводѣ и которая страшна въ своей безыскусственной простотѣ:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu.

Странное существо, неуловимое, живое. «Ладерта» гётевских элегий, дитя въ какомъ-то безсознательномъ чаду. Она дѣйствительно, какъ ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидѣть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пѣла, дѣлала гримасы передъ зеркаломъ, и все съ непринужденностью ребенка и съ граціей женщины. Ея frivolité была наивна. Случайно завертѣвшись, она еще кружилась... неслась... того толчка, который бы остановилъ на краю или окончательно толкнулъ ее въ пропасть, еще не было. Она довольно сдѣлала дороги, но воротиться могла. Ее въ силахъ были спасти свѣтлый умъ и врожденная грація.

Этотъ типъ, этотъ кругъ, эта среда не существуютъ больше. Это la petite femme студента былыхъ временъ, гризетка, переѣхавшая изъ латинскаго квартала по сю сторону Сены, равно не дѣлающая несчастнаго тротуара и не имѣющая прочнаго общественнаго положенія камелии. Этотъ типъ не существуетъ, такъ, какъ не существуетъ конвѣрсаций около камина, чтеній за круглымъ столомъ, болтанья за чаемъ. Другія формы, другіе звуки, другіе люди, другія слова... Тутъ своя скала, свое crescendo. Шаловливый, нѣсколько распущенный элементъ тридцатыхъ годовъ—du leste, de l'espièglerie—перешелъ въ шикъ, въ немъ былъ каенскій перецъ, но еще оставалась кипучая, растрепанная грація, оставались остроты и умъ. Съ увеличеніемъ дѣль, коммерція отбросила все излишнее и всѣмъ внутреннимъ пожертвовала выставѣ, эталажу. Типъ Леонтины—разбитной парижской gamine, подвижной, умной, избалованной, искрящейся, вольной и въ случаѣ надобности гордой—не требуется, а шикъ перешелъ въ собаку. Для бульварнаго Ловласа нужна женщина-собака и пуще всего собака, имѣющая своего хозяина. Оно экономнѣе и безкорыстнѣе,—съ ней онъ можетъ охотиться на чужой счетъ, уплачивая одни extra. «Parbleu, говорилъ мнѣ старикъ, котораго лучшіе годы совпадали съ началомъ царствованія Людовика Филиппа, je ne me retrouve plus—où est le fion, le chique, où est l'esprit?... Tout cela, monsieur... ne parle pas, monsieur,—c'est bon, c'est beau welbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens».

Это мнѣ напоминаетъ, какъ въ пятидесятыхъ годахъ добрый, милый Тальянде, съ досадой влюбленнаго на свою Францію, объяснялъ мнѣ съ музыкальной иллюстраціей ея паденіе. «Когда, говорилъ онъ, мы были велики, въ первые дни послѣ февральской революціи, гремѣла одна марсельеза—въ кафе, на улицахъ,

въ процессіяхъ—все марсельеза. Во всякомъ театрѣ была своя марсельеза, гдѣ съ пушками, гдѣ съ Рашелью, Когда пошло плеше и тише... монотонные звуки Mourir pour la patrie замѣнили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din... эту дрянъ пѣлъ весь городъ, столица міра, вся Франція. Это не конецъ, вслѣдъ за тѣмъ мы заиграли и запѣли Partant pour la Syrie—вверху и Qu'aime donc Margot... Margoë—внизу, т. е., бессмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя».

Можно! Тальяндье не предвидѣлъ ни Je suis la femme à barbe, ни Сапера,—онъ еще остался въ *шикъ* и до *собаки* не доходилъ.

Недосужій, мясной развратъ взялъ верхъ надъ всѣми фіюритурами. Тѣло побѣдило духъ и, какъ я сказалъ еще десять лѣтъ тому назадъ, Марго, la fille de marbre, вытѣснила Лизетту Беранже и всѣхъ Леонтинъ въ мірѣ. У нихъ была своя гуманность, своя поэзія, свои понятія чести. Онѣ любили шумъ и зрѣлища больше вина и ужина, и ужинъ любили больше изъ за постановки, свѣчей, конфетъ, цвѣтовъ. Безъ танца и бала, безъ хохота и болтовни онѣ не могли существовать. Въ самомъ пышномъ гаремѣ онѣ заглохли бы, завяли бы въ годъ. Ихъ высшая представительница была Дежазе—на большой сценѣ свѣта и на маленькой théâtre des Variétés: живая пѣсня Беранже, притча Вольтера, молодая въ сорокъ лѣтъ, Дежазе, мѣнявшая поклонниковъ какъ почетный караулъ, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встрѣчному, чтобъ выручить свою пріятельницу изъ бѣды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе къ цѣли*, какъ говорили встарь помѣщики, предпочитавшіе водку вину. Женщина съ *фіономъ* интриговала, занимала; женщина съ *шикомъ* жалила, смѣшила,—и обѣ, сверхъ денегъ, брали время. *Собака* сразу бросается на свою жертву, кусаетъ своей красотой и тащитъ за полу sans phrase. Тутъ нѣтъ предисловія,—тутъ въ началѣ эпизодъ. Даже благодаря попечительному начальству и факультету, нѣтъ двухъ прежнихъ опасностей. Полиція и медицина сдѣлали большіе успѣхи въ послѣднее время.

... А что будетъ послѣ *собаки*? Ріевуте Гюго рѣшительно не удалась, можетъ оттого, что слишкомъ похожа на plentre,—не остановится же на собакѣ. Впрочемъ, оставимъ пророчества. Судьбы Провидѣнія неисповѣдимы.

Меня занимаетъ другое.

Которое-то изъ двухъ будущихъ Касандриной пѣсни исполнись надъ Леонтиной? Что, ея нѣкогда граціозная головка покоится ли на подушкѣ, обшитой кружевами, въ *своемъ* отелѣ, или она склонилась на жесткій, больничный валежъ, для того, чтобъ

уснуть на вѣки, или проснуться на горе и бѣдность. А, можетъ, не случилось ни того, ни другого и она хлопочетъ, чтобъ дочь выдать замужъ, копить деньги, чтобъ купить подставного сыну... Вѣдь, она ужъ не молода теперь, и не бось давно перегнула за тридцать.

II.

Махровые цвѣты.

Въ нашей Европѣ повторялось въ уменьшенномъ по количеству и въ увеличенномъ или искаженномъ по качеству видѣ все, что дѣлалось въ Европѣ европейской. У насъ были ультракатолики изъ православныхъ, либеральные буржуа изъ графовъ, императорскіе роялисты, канцелярскіе демократы и лейбъ-гвардіи преображенскіе или конногвардейскіе бонапартисты. Мудрено-ли, что и по дамской части не обошлось безъ своихъ *chique* и *chien*. Съ той разницей, что нашъ *demi monde* былъ *одинъ съ четвертью*.

Наши Травіаты и Камеліи большей частью титулярныя, т. е., почетныя, растутъ совсѣмъ на другой почвѣ и цвѣтутъ въ другихъ сферахъ, чѣмъ ихъ парижскіе первообразы. Ихъ надобно искать не внизу, не долу, а на вершинахъ. Онѣ не поднимаются какъ туманъ, а опускаются какъ роса. Княгиня-Камелія и Травіата съ тамбовскимъ или воронежскимъ имѣніемъ—явленіе чисто русское и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ея нравы много были спасены крѣпостнымъ правомъ, на которое теперь такъ много клеветаютъ. Любовь была печальна въ деревнѣ, она своего кровнаго называла «болѣзнымъ», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и онъ можетъ всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господскій дворъ дрова, сѣно, барановъ и своихъ дочерей по обязанности. Это былъ долгъ, служба, отъ которой отказываться нельзя было, не дѣлая преступленія противъ нравственности и не навлекая на себя розогъ помѣщика. Тутъ было не до *шику*, а иногда до топора, чаще до рѣки, въ которой гибла никѣмъ не замѣченная Палашка или Лушка.

Что сталося послѣ освобожденія, мы мало знаемъ, и потому больше держимся барынь. Онѣ дѣйствительно за границей мастерски усваиваютъ себѣ и съ чрезвычайной быстротой и ловкостью всѣ ухватки, весь *habitus* лоретокъ. Только при тщатель-

номъ разсматриваніи замѣчается, что чего-то не достаетъ. А не достаетъ самой простой вещи—*быть лореткой*. Это все Петръ I, работающій молотомъ и долотомъ въ Саардамѣ, воображая, что дѣлаетъ дѣло. Наши барыни изъ ума и праздности, отъ избытка и скуки, *шутятъ въ ремесло*, такъ, какъ ихъ мужья играютъ въ токарный станокъ.

Этотъ характеръ ненужности, махровости мѣняетъ дѣло. Съ русской стороны чувствуется превосходная декорация, съ французской—правда и необходимость. Отсюда громадныя разницы. Гравіату tout de bon бываетъ часто душевно жаль, «*damе aux regrets*» почти никогда; надъ одной подчасъ хочется плакать, надъ другой всегда смѣяться. Имѣя наслѣдственныхъ двѣ, три тысячи гушъ, сперва вѣчно, нынѣ временно раззоряемыхъ крестьянъ, многое можно—интриговать на игорныхъ водахъ, эксцентрически дѣлаться, лежа сидѣть въ коляскѣ, свистать, шумѣть, дѣлать скандалы въ ресторанахъ, заставлять краснѣть мужчинъ, мѣнять побовниковъ, ѣздить съ ними на *parties fines*, на разныя «калли-теническія упражненія и конверсаціи», пить шампанское, курить аванскія сигары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной,—но, какъ мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то, что лоретки не рождаются, какъ поэты, а дѣлаются. У каждой лоретки своя исторія, свое посвященіе, втѣсенное обстоятельствами. Обыкновенно бѣдная дѣвушка идетъ, не зная куда, и наталкивается на грубый обманъ, за грубую обиду. Отъ сломленной любви, отъ сломленного стыда у нея являются *dépit*, досада, своего рода жажда мести и съ тѣмъ вмѣстѣ жажда опьяненья, шума, нарядовъ... кругомъ нужда... деньги только *однимъ* путемъ и можно достать, а потому,—*vogue la galère*. Обманутый ребенокъ безъ воспитанія вступаетъ въ бой, поѣды ея балуютъ, увлекаютъ (тѣхъ, которыхъ не побѣдили, мы не знаемъ, тѣ пропадаютъ безъ вѣсти), у ней въ памяти свои Маренго и Арколи—привычка владычества и пышности входитъ въ кровь. Она же всему обязана одной себѣ. Начавъ съ одного своего тѣла, она тоже приобретаетъ души и также раззоряетъ временно привязанныхъ къ ней богачей, какъ наша барыня своихъ нищихъ мужиковъ.

Но въ этомъ *также* и лежитъ вся непереходимая даль между лореткой по положенію и камеліей по дилетантизму. Та даль и та противоположность, которая такъ ярко выражается въ томъ, что лоретка, ужинающая въ какомъ-нибудь душномъ кабинетѣ *Maison d'or*, мечтаетъ о своемъ будущемъ салонѣ,—а русская дама, сидя въ своемъ богатомъ салонѣ, мечтаетъ о трактирѣ.

Серьезная сторона вопроса состоитъ въ томъ, чтобъ опредѣлить, откуда у насъ взялась въ дамскомъ обществѣ эта потреб-

ность разгула и кутежа, потребность похвастаться своимъ освобожденіемъ, дерзко, капризно пренебречь общественнымъ мнѣніемъ и сбросить съ себя всѣ вуали и маски? И это въ то время, когда бабушки и матушки нашихъ львицъ, цѣломудренныя и патриархальныя, красѣли до сорока лѣтъ отъ нескромнаго слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневскимъ нахлѣбникомъ, а за неимѣніемъ его—кучеромъ или буфетчикомъ.

Замѣтите, что аристократическій камелизмъ у насъ не идетъ дальше начала сороковыхъ годовъ.

И все новое движеніе, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идетъ отъ того же времени.

Тутъ-то и раскрывается человѣческая и историческая сторона аристократическаго камелизма. Это своего рода полусознанный протестъ противъ старинной, давящей какъ свинецъ, семьи, противъ безобразнаго разврата мужчинъ. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, былъ досугъ читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идетъ съ Ж. Зандъ, и когда она наслушалась восторженныхъ разсказовъ о Бланшакъ и Селестинахъ,—у нея терпѣнье лопнуло и она закусила удила. Ея протестъ былъ дикъ, но, вѣдь, и положеніе было дико. Ея оппозиція не была формулирована, а бродила въ крови,—она была обижена. Она чувствовала униженье, подавленность, но самолюбивой воли въ кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеніемъ, ея возмущеніе было полно избалованности и дурныхъ привычекъ, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась, не освобождаясь. Въ ней оставался внутренній страхъ и неувѣренность, но ей хотѣлось дѣлать на зло и попробовать *этой другой* жизни. Противъ узкаго своеволья притѣснителей она ставила узкое своеволье лопнувшего терпѣнья, безъ твердой направляющей мысли, но съ заносчивой отроческой бравадой. Какъ ракета, она мерцала, искрилась и падала съ шумомъ и трескомъ, но очень не глубоко. Вотъ вамъ исторія нашихъ Камелій съ гербомъ, нашихъ Травіатъ съ жемчугомъ.

Конечно, и тутъ можно вспомнить желчеваго Ростопчина, порывшаго на смертномъ одрѣ о 14 декабря: «У насъ все въ изнанку, во Франціи la roture хотѣла подняться до дворянства, ну, оно и понятно; у насъ дворяне хотятъ сдѣлаться чернью, вѣ- чепуха!»

Но намъ именно этотъ характеръ вовсе не кажется чепухой. Онъ идетъ очень послѣдовательно изъ двухъ началъ: изъ чуждости образованія, которое вовсе для насъ не обязательно, и изъ основного тона другого общественнаго порядка, къ которому мы сознательно или бессознательно стремимся.

Впрочемъ, это принадлежитъ къ нашему катехизису, — и я боюсь увлечься въ повтореніи.

Травіаты наши въ исторіи нашего развитія не пропадутъ; онѣ имѣютъ свой смыслъ и значеніе и представляютъ удалую и разгульную шеренгу авангардныхъ охотниковъ и пѣсельниковъ, которые, съ присвистомъ и бубнами, куражась и подплясывая, идутъ въ первый огонь, покрывая собой болѣе серьезную фалангу, у которой нѣтъ недостатка ни въ мысли, ни въ отвагѣ, ни въ оружіи съ «иголкой».

III.

Цвѣты Минервы.

Эта фаланга—сама революція, суровая въ семнадцать лѣтъ... Огонь глазъ смягченъ очками, чтобъ дать волю одному свѣту ума... Sans crinolines идущія на замѣну Sans culot'амъ.

Дѣвушка-студентъ, барышня-буршъ ничего не имѣютъ общаго съ барынями-Травіатами. Вакханки посѣдѣли, оплѣшивѣли, состарѣлись и отступили, а студенты заняли ихъ мѣсто, еще не вступивши въ совершеннolѣтіе. Камеліи и Травіаты салоновъ принадлежали николаевскому времени, такъ, какъ выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, побѣдители своихъ собственныхъ солдатъ, знавшіе всю туалетную часть военного дѣла, все кокетство вахтпарадовъ, и не замаравшіе мундира непріятельской кровью. Публичныхъ генераловъ, рысисто «дѣлавшихъ тротуаръ» на Невскомъ, разомъ прихлопнула Крымская война. А «блескъ упоительный бала», будуарная любовь и шумныя оргіи *генеральшъ* круто смѣнились академической аудиторіей, анатомической залой, въ которой подстриженный студентъ въ очкахъ изучалъ тайны природы.

Тутъ надобно забыть всѣ камеліи и магноліи, забыть, что существуютъ два пола. Передъ истиной науки, im Reiche der Wahrheit различія половъ стираются.

Камеліи наши—жиронда, оттого онѣ такъ и смахиваютъ на Фобласа.

Студенты-барышни—якобинцы, Сень-Жюсть въ амазонкѣ,—все рѣзко, чисто, безпощадно.

У Камелій маска *loup* изъ теплой Венеціи.

У студентовъ маска же, но маска изъ невакаго льда. Первая можетъ прилипнуть, вторая непременно растаетъ... но это впереди.

Тутъ настоящій, сознательный протестъ, протестъ и переломъ

Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Разгулъ, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьемъ-четвертомъ планѣ. Афродита съ своимъ голымъ оруженосцемъ надулась и ушла; на ея мѣсто Паллада съ кошемъ и совой. Камели шли отъ неопредѣленнаго волненія, отъ негодованія, отъ несытаго и томнаго желанія... и доходили до пресыщенія. Здѣсь идутъ отъ идеи, въ которую вѣрятъ, отъ объявленія «правъ женщины», и исполняютъ обязанности, налагаемыя вѣрой. Однѣ отдаются по принципу, другія невѣрны по долгу. Иногда *студенты* уходятъ слишкомъ далеко, но все же остаются дѣтьми — непокорными, заносчивыми, но дѣтьми. Серьезность ихъ *радикализма* показываетъ, что дѣло въ головѣ, въ теоріи, а не въ сердцѣ.

Онѣ страстны въ общемъ и въ частную встрѣчу вносятъ не больше «патоса» (какъ говаривали встарь), какъ всякія Леонтины. Можетъ меньше. Леонтины играютъ, играютъ огнемъ и, очень часто вспыхнувъ съ ногъ до головы, спасаются отъ пожара въ Сенѣ; утянутыя жизнью, прежде всякихъ разсужденій, имъ иной разъ трудно побѣдить свое сердце. Наши бурши начинаютъ съ анализа, съ разбора; съ ними тоже многое можетъ случиться, но сюрпризовъ не будетъ, и паденій не будетъ; онѣ падаютъ съ теоретическимъ парашютомъ. Онѣ бросаются въ потокъ съ руководствомъ о плаваніи и намѣренно плывутъ противъ теченія.

Долго ли проплывутъ онѣ à livre ouvert, я не знаю, но мѣсто въ исторіи займутъ по всей справедливости.

Самые недогадливѣйшіе въ мірѣ люди догадались объ этомъ.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дѣдушки отечества съ улыбкой снисхожденья и даже поощренья смотрѣли на столбовыхъ камелій (если только онѣ не были супругами или сыновей)... но *студенты* имъ не понравились... ничего не походили на «милыхъ шалуній», съ которыми они иногда любили языкомъ отогрѣть старое сердце.

Давно гнѣвались старички на суровыхъ нигилистокъ и искали случая ихъ подвести подъ сюркушъ.

Дѣло не шуточное, принялись дружно. Совѣтъ, сенатъ, синодъ, министры, архіереи, военначальники, градоначальники и другія полиціи совѣщались, думали, толковали и рѣшили, во первыхъ, изгнать студентовъ женскаго пола изъ университетовъ.

Затѣмъ совѣтъ, синодъ, сенатъ приказали въ 24 часа отростить стриженные волосы, отобрать очки и обязать подпиской имѣть здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то, что въ Кормчей книгѣ ничего не сказано о «обручеюбіи» и «подолоразверстіи», а волосы плести просто въ ней запрещено, черное духовенство согласилось.

Чрезвычайныя мѣры эти принесли огромную пользу, и это я говорю безъ малѣйшей ироніи. Кому?

Нашимъ *нигилисткамъ*.

Имъ недоставало одного: сбросить мундиръ, формализмъ и развиваться съ той широкой свободой, на которую онѣ имѣютъ большія права. Самому ужасно трудно, привыкнувъ къ формѣ, ее отбросить. Платье прирастаетъ.

Студенты наши и бурши долго не отдѣлались бы отъ очковъ и прочихъ кокардъ. Ихъ раздѣли на казенный счетъ, прибавляя къ этой услугѣ ореоль туалетнаго мученичества.

Затѣмъ ихъ дѣло плыть *au large*.

P. S. Однѣ уже возвращаются съ блестящимъ дипломомъ доктора медицины, и слава имъ!

Ницца, лѣтомъ 1867.

Venezia la bella.

(Февраль, 1867).

Великолѣпнѣе нелѣпости, какъ Венеція, нѣтъ. Построить городъ тамъ, гдѣ городъ построить нельзя, само по себѣ безуміе; но построить такъ одинъ изъ изящнѣйшихъ, грандіознѣйшихъ городовъ—геніальное безуміе. Вода, море, ихъ блескъ и мерцанье обязываютъ къ особой пышности. Моллюски отдѣлываютъ перламутромъ и жемчугомъ свои каюты.

Одинъ поверхностный взглядъ на Венецію показываетъ, что это городъ крѣпкой волей, сильный умомъ, республиканскій, торговый, олигархическій, что это—узелъ, которымъ привязано что-то за водами,—торговый складъ подъ военнымъ флагомъ; городъ шумнаго вѣча и беззвучный городъ тайныхъ совѣщаній и мѣръ: на его площади толчется съ утра до ночи все населеніе, и, молча, текутъ изъ него рѣки улицъ въ море. Пока толпа шумитъ и кричитъ на площади св. Марка, никѣмъ не замѣченная лодка скользитъ и пропадаетъ; кто знаетъ, что подъ ея чернымъ пологомъ? Какъ тутъ было не топить людей возлѣ любовныхъ свиданій?

Люди, чувствовавшіе себя дома въ Palazzo ducale, должны были имѣть своеобразный закалъ. Они не останавливались ни передъ чѣмъ. Земли нѣтъ, деревьевъ нѣтъ, что за бѣда! давайте еще больше рѣзныхъ каменьевъ, больше орнаментовъ, золота, мозаики, ваянья, картинъ, фресокъ. Тутъ остался пустой уголъ—худого бога морей съ длинной, мокрой бородой въ уголъ! Тутъ порожній уступъ—еще льва съ крыльями и съ Евангеліемъ св. Марка! Тамъ голо, пусто—коверь изъ мрамора и мозаики туда! Кружева изъ порфира туда! Побѣда ли надъ турками или Генгей-пана ли ищете дружбы города,—еще мрамору, цѣлую стѣну покрыть изсѣченной занавѣсью и, главное, еще картинъ. Павелъ Веронезе, Тинторетто, Тиціанъ—за кисть, на помостъ: каждый шагъ торжественнаго шествія морской красавицы долженъ быть записанъ потомству кистью и рѣзцомъ.

И такъ былъ живучъ духъ, обитавшій эти камни, что мало было новыхъ путей и новыхъ приморскихъ городовъ, Колумба и Васко-де-Гама, чтобъ сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтобъ на развалинахъ французскаго трона явилась «единая и

нераздельная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдатъ, бросившій въ льва, по корсикански, стилеть, отравленный Австріей. Но Венеція переработала ядъ и снова оказывается живою черезъ полстолѣтіе.

Да живою-ли? Трудно сказать, что уцѣлѣло, кромѣ великой раковины, и есть ли новая будущность Венеціи... Да и въ чемъ будущность Италии вообще? Для Венеціи, можетъ, она въ Константинополь, въ томъ вырѣзывающемся смутными очерками изъ-за восточнаго тумана свободномъ союзничествѣ воскресающихъ славяно-эллинскихъ народностей.

А для Италиі?.. Объ этомъ послѣ. Теперь въ Венеціи карнавалъ, первый карнавалъ на волѣ, послѣ семидесятилѣтняго плѣненія. Площадь превратилась въ залу парижской оперы. Старый св. Маркъ весело участвуетъ въ праздникѣ съ своей иконописью и позолотой, съ патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющіеся всякій день въ два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетаютъ съ карниза на карнизъ, чтобъ убѣдиться, точно ли ихъ столовая въ такомъ безпорядкѣ.

Толпа все растетъ, *le peuple s'amuse*, дурачится отъ души, изъ всѣхъ силъ, съ большимъ комическимъ талантомъ въ декламации и словахъ, въ выговорѣ и жестахъ, но безъ кантаридности парижскихъ Пьерро, безъ вульгарной шутки нѣмца, безъ нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличнаго удивляетъ, хотя смыслъ его ясенъ. Это—шалость, отдыхъ, забава цѣлаго народа, а не вахтпарадъ публичныхъ домовъ, ихъ сукурсалей, жительницамъ которыхъ, снимая многое другое, прибавляютъ маску, въ родѣ бисмарковой иголки, чтобъ усилить и сдѣлать неотразимѣе выстрѣлы. Здѣсь онѣ были бы неумѣстны; здѣсь тѣшитса народъ, здѣсь тѣшитса сестра, жена, дочь, и горе тому, кто оскорбитъ маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чѣмъ былъ Станиславъ въ петлицѣ для станціоннаго зрителя ¹⁾.

Сначала карнавалъ оставлялъ меня въ покоѣ, но онъ все росъ и, при своей стихійной силѣ, долженъ былъ утянуть всякаго.

Мало ли какой вздоръ можетъ случиться, когда пляска св. Витта овладѣваетъ цѣлымъ населеніемъ въ шутовскихъ костюмахъ. Въ большой залѣ ресторана сидятъ сотни, можетъ больше,

¹⁾ Годъ спустя я видѣлъ карнавалъ въ Ниццѣ. Какая страшная разница, не говоря о солдатахъ въ полномъ боевомъ вооруженіи, ни жандармахъ, ни комиссарахъ полиціи съ шарфами... сама масса народа, не туристовъ, дивила меня. Пьяныя маски ругались и дрались съ людьми, стоявшими въ воротахъ, сильные туманы сшибали въ грязь бѣлыхъ Пьерро.

лилово-бѣлыхъ масокъ; онѣ проѣхали по площади на раззолоченномъ кораблѣ, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое въ Венеціи рѣдкость и роскошь), теперь онѣ пьютъ и ѣдятъ. Одинъ изъ гостей предлагаетъ курьезность и берется ее достать, *курьезность эта*—я.

Господинъ, едва знакомый со мной, бѣжитъ ко мнѣ въ Albergo Danieri, умоляетъ, проситъ явиться съ нимъ на минуту къ маскамъ. Глупо идти, глупо ломаться, я иду. Меня встрѣчаютъ *evviva* и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздоръ, *evviva* сильнѣе: одни кричатъ *evviva l'amico di Garibaldi*, другіе—*poeta russo!* Боясь, что лилово-бѣлые будутъ пить за меня, какъ за *pittore Slavo, scultore e maestro*, я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стѣна людей; я прислонился къ пилястрѣ, гордый титуломъ поэта; возлѣ меня стоялъ мой проводникъ, исполнившій *mandat d'ameper* лилово-бѣлыхъ. «Боже мой, какъ она хороша!» сорвалось у меня съ языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватилъ меня и разомъ поставилъ передъ ней. «Это тотъ *русскій*», началъ мой польскій графъ. «Хотите вы мнѣ дать руку послѣ этого слова?» перебилъ я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотѣла меня видѣть, и такъ симпатически взглянула на меня, что я еще разъ пожалъ ея руку и проводилъ глазами, пока было видно.

Цвѣтокъ, сорванный ураганомъ, смытый кровью съ своихъ литовскихъ полей, думалъ я, глядя ей вслѣдъ, не своимъ теперь свѣтитъ твоя красота.

Я сошелъ съ площади и поѣхалъ встрѣчать Гарибальди. На водѣ все было тихо... нестройно доносился шумъ карнавала. Строгія, насупившіяся массы домовъ тѣснятся все ближе и ближе къ лодкѣ, глядятъ на нее фонарями, у подѣзда всплескиваетъ правило, блеснетъ стальной крючекъ, прокричитъ лодочникъ *argi—sia stale...* и опять тихо вода утягиваетъ въ переулокъ. И вдругъ дома опять раздвигаются; мы въ *Gran Canal*ѣ... *Fejovia Signoie*, говоритъ гондольеръ, картава, какъ картавить весь городъ. Гарибальди остался въ Болоньи и не приѣзжалъ. Машинка, ѣхавшая во Флоренцію, стонала въ ожиданіи свистка. Уѣхать бы и мнѣ, завтра маски надоѣдятъ, завтра не увижу я славянскои красавицы...

... Городъ принялъ Гарибальди блестящимъ образомъ. *Gran Canal* представлялъ почти сплошной мостъ; для того, чтобъ попасть въ нашу лодку, уѣзжая, намъ надобно было перейти черезъ десятки другихъ. Правительство и его кліенты сдѣлали все возможное, чтобъ показать, что дуютъ на Гарибальди. Если

принцу Амедео были приказаны его отцомъ всѣ мелкія неделикатности, вся подленькая пикировка, то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего онъ не примирилъ на минуту городъ съ королемъ и королевскаго сына съ совѣстью? Вѣдь, Гарибальди имъ подарилъ двѣ короны двухъ Сицилій!

Я нашелъ Гарибальди и не состарѣвшимся, и не больнымъ, послѣ лондонскаго свиданія въ 1864. Но онъ былъ невеселъ, озабоченъ и не разговорчивъ съ венеціанцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящій хоръ—народныя массы; онъ ожилъ въ Кюджи, гдѣ его ждали лодочники и рыбаки; мѣшаясь въ толпу, онъ говорилъ этимъ простымъ бѣднякамъ: «Какъ мнѣ съ вами хорошо и дома, какъ я чувствую, что родился отъ работниковъ и былъ работникомъ; несчастья нашей родины оторвали меня отъ мирныхъ занятій. Я также выросъ на берегу моря и знаю каждую работу вашу...» Стоя въ восторга покрылъ слова бывшаго лодочника, народъ ринулся къ нему... «Дай имя моему новорожденному», кричала женщина; «благослови моего, и моего», кричали другія. Храбрый генералъ Ламармора и неутѣшный вдовецъ Риказоли, со всѣми вашими Шіаолами, Депретизами, вы ужъ отложите попеченіе разрушить эту связь, она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вамъ не перетереть со всѣми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всѣми вашими грошевыми Макиавелли.

Теперь воротимтесь къ вопросу: что ждетъ Италію впереди, такую будущность имѣетъ она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповѣдывалъ Маццини, ту ли, къ которой ведетъ Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществлялъ Кавуръ?

Вопросъ этотъ отбрасываетъ насъ разомъ въ страшную даль, во всѣ тяжкія—самыхъ скорбныхъ и самыхъ спорныхъ предметовъ. Онъ прямо касается тѣхъ внутреннихъ убѣжденій, которыя легли въ основу нашей жизни и той борьбы, которая такъ часто раздвояетъ насъ съ друзьями, а иной разъ ставитъ на одну сторону съ противниками.

Я сомнѣваюсь въ *будущности латинскихъ народовъ*, сомнѣваюсь въ ихъ *будущей* плодотворности, имъ нравится процессъ переворотовъ, но тягостенъ добытый прогрессъ. Они любятъ рваться къ нему, не достигая.

Идеаль итальянскаго освобожденія—бѣденъ; въ немъ опущенъ, съ одной стороны, существенный, животворный элементъ, и какъ на зло, съ другой, оставленъ элементъ старый, тлетворный, умирающій и мертвящій. Итальянская революція была до сихъ поръ боемъ за независимость.

Конечно, если земной шаръ не дастъ трещины, или комета

не пройдет слишком близко и не накалит нашей атмосферы, Италия и въ будущемъ *будетъ* Италией, страной сянга неба и сянга моря, изящныхъ очертаній, прекрасной, симпатической породы людей, людей музыкальныхъ, художниковъ отъ природы. Конечно, и то, что весь этотъ военный и штатскій *genre ménagé* и слава и позоръ, и падшія границы и возникающія камеры, все это отразится въ ея жизни,—она изъ клерикально-деспотической сдѣлается (и дѣлается) буржуазно-парламентской, изъ дешевой—дорогой, изъ неудобной—удобной и пр., и пр. Но этого мало и съ этимъ еще далеко не уйдешь. Не дурень и другой берегъ, который омываетъ то же синее море, не дурна и та доблестная и угрюмая порода людей, которая живетъ за Пиренеями; внѣшняго врага у нея нѣтъ, камера есть, наружное единство есть... ну, что же при всемъ этомъ Испанія?

Народы живучи, вѣка могутъ они лежать *подъ паромъ* и снова, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, оказываются исполненными силъ и соковъ. Но тѣми ли они возстаютъ, какъ были?

Сколько вѣковъ, я чуть не сказалъ тысячелѣтій, греческій народъ былъ стертъ съ лица земли, какъ государство, и все же онъ остался живъ и въ ту самую минуту, когда вся Европа угорала въ чаду реставрацій, Греція проснулась и встревожила весь міръ. Но греки Каподистрії были ли похожи на грековъ Перикла или на грековъ Византіи? Осталось одно имя и натянутое воспоминаніе. Обновиться можетъ и Италия, но тогда ей придется начать другую исторію. Ея освобожденіе только *право на существованіе*.

Примѣръ Греція очень идетъ; онъ такъ далекъ отъ насъ, что меньше возбуждаетъ страстей. Греція Афинская, Македонская, лишенная независимости Римомъ, является снова государственно-самобытной въ Византійскій періодъ. Что же она дѣлаетъ въ немъ? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты *par anticipation*. Турки помогаютъ застрялой природѣ и придаютъ блескъ зарева ея насильственной смерти. Древняя Греція *изжила свою жизнь*, когда римское владычество накрыло ее и спасло, какъ лава и пепель спасли Помпею и Геркуланумъ. Византійскій періодъ поднялъ гробовую крышу и мертвый остался мертвымъ, имъ завладѣли попы и монахи, имъ распоряжались евнухи, совершенно на мѣстѣ, какъ представители бесплодности. Кто не знаетъ рассказовъ о томъ, какъ крестоносцы были въ Византіи: въ образованіи, въ утонченности нравовъ не было сравненія, но эти дикіе латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремленій, они шли впередъ, съ ними былъ *Богъ исторіи*. Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой силѣ и по своевременности ихъ à propos. Оттого-то читая скуч-

ныя лѣтописи, мы радуемся, когда съ сѣверныхъ снѣговъ скатываются варяги, плывутъ на какихъ-то скорлупахъ славяне, и клеймятъ своими щитами гордые стѣны Византіи. Я ученикомъ не могъ нарадоваться на дикаря, въ рубахѣ, одиноко гребущаго свою комягу, отправляясь съ золотой серьгой въ ухахъ на свиданье съ изнѣженнымъ, пышнымъ, книжнымъ императоромъ Цимхскимъ.

Подумайте объ Византіи; пока наши славянофилы не пустили еще въ свѣтъ новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснить изъ того, что такъ тяжело сказать.

Византія могла *жить*, но *дѣлать* ей было нечего; а исторію вообще только народы и занимаютъ, пока они на сценѣ, т. е., пока они что-нибудь дѣлаютъ.

... Помнится, я упоминалъ объ отвѣтѣ Томаса Карлейля мнѣ, когда я ему говорилъ о строгостяхъ парижской цензуры: «Да что вы такъ на нее сердитесь», замѣтилъ онъ, «заставляя французъ молчать, Наполеонъ сдѣлалъ имъ величайшее одолженіе, *имъ нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеонъ далъ имъ вѣдшее оправданіе...» Я не говорю, насколько я согласенъ съ Карлейлемъ или нѣтъ, но спрашиваю себя: *будетъ ли что* Италіи сказать и сдѣлать на другой день послѣ занятія Рима? И иной разъ, не пріискавъ отвѣта, я начинаю желать, чтобъ Римъ остался еще надолго оживляющимъ *desideratum*'омъ.

До Рима все пойдетъ не дурно, хватить и энергіи, и силы, лишь бы хватило денегъ... До Рима Италія многое вынесетъ: и налоги, и піемонтское мѣстничество, и грабящую администрацію, и сварливую и докучную бюрократію; въ ожиданіи Рима все кажется неважнымъ; для того, чтобы имѣть его, можно стѣсниться, надобно стоять дружно. Римъ—черта границы, знамя, онъ передъ глазами, онъ мѣшаетъ спать, мѣшаетъ торговать, онъ поддерживаетъ лихорадку. Въ Римѣ все перемѣнится, все оборвется... тамъ кажется заключеніе, вѣнецъ; совсѣмъ нѣтъ, тамъ *начало*.

Народы, искупающіе свою независимость, никогда не знаютъ, и это превосходно, что независимость сама по себѣ ничего не даетъ, кромѣ правъ совершеннolѣтія, кромѣ мѣста между пѣрами, кромѣ признанія гражданской способности *совершать акты*, и только.

Какой-же *актъ* возвѣстится намъ съ высоты Капитолія п Квиринала, что провозгласится міру на Римскомъ Форумѣ, или на томъ балконѣ, съ котораго папа вѣка благословлялъ «вселенную и городъ»?

Провозгласить «независимость» *sans phrase*—мало. А другого ничего нѣтъ... И мнѣ подъ часъ кажется, что въ тотъ день, когда

Гарибальди бросить свой ненужный больше мечъ и надѣнетъ тогу virilis на плечи Италіи, ему останется всенародно обняться на берегахъ Тибра съ своимъ maestro Маццини и сказать съ нимъ вмѣстѣ: «Нынѣ отпускаеши!»

Я это говорю за нихъ, а не противъ нихъ.

Будущность ихъ обезпечена, ихъ два имени станутъ высоко и свѣтло во всей Италіи отъ Фіуме до Мессины и будутъ подыматься выше и выше во всей печальной Европѣ, по мѣрѣ историческаго пониженія и измельчанія ея людей.

Но врядъ пойдетъ ли Италія по программѣ великаго карбонаро и великаго война; ихъ религія совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла мечъ, это труба, разбудившая спящихъ, знамя, съ которымъ Италія завоевала себя... Половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что другая часть далеко перехватывала черезъ возможное. Что Маццини теперь ужъ сталъ слабѣе, въ этомъ его успѣхъ и величіе; онъ сталъ *бѣднѣе* той частію своего идеала, которая перешла въ дѣйствительность, это слабость послѣ родовъ. Въ виду берега, Колумбу стояло плыть, и нечего было употреблять всѣ силы своего неукротимаго духа. Мы въ нашемъ кругу испытали подобное... Гдѣ сила, которую придавала нашему слову борьба противъ крѣпостного права, противъ отсутствія всякаго суда, всякой гласности?

Римъ—Америка Маццини... Дальнѣйшихъ зародышей *viables* въ его программѣ нѣтъ, она была рассчитана на борьбу за единство и Римъ.

— «А демократическая республика?»

Это та великая *награда за гробомъ*, которой напутствовались люди на дѣянія и подвиги и въ которую горячо и искренно вѣрили и проповѣдники, и мученики...

Къ ней идетъ и теперь часть твердыхъ стариковъ, закаленныхъ сподвижниковъ Маццини, непреклонныхъ, не сдающихся, неподкупныхъ, неумолимыхъ каменщиковъ, которые вывели фундаменты новой Италіи и, когда недоставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли ихъ? И кто пойдетъ за ними?

Пока тройное ярмо нѣмца, бурбона и папы давило шею Италіи, эти энергическіе монахи-воины ордена Маццини находили вездѣ сочувствіе. Принчипессы и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все образованное въ мѣщанствѣ, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно было съ ними, работало для нихъ. Республики хотѣли немногіе, независимости и единства—всѣ. Независимости они добились, единство на французскій манеръ имъ опротивѣло, республики они не хотятъ. Современный порядокъ дѣлтъ во многомъ итальянцамъ по плечу, имъ туда же хочется представ-

лять «сильную и величественную» фигуру въ сонмѣ европейских государствъ и, найдя эту *bella e grande figura* въ Викторѣ Эмануилѣ, они держатся за него ¹⁾.

Представительная система въ ея континентальномъ развитіи дѣйствительно всего лучше идетъ, когда нѣтъ ничего яснаго въ головѣ, или ничего возможнаго на дѣлѣ. Это великое *покаместъ*, которое перетираетъ углы и крайности обѣихъ сторонъ въ муку и выигрываетъ время. Этимъ жерновомъ часть Европы прошла, другая пройдетъ. Чего Египеть? и тотъ въбхалъ на верблюдахъ въ представительную мельницу, подгоняемый арапникомъ.

Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, такъ долго оставленныя на воспитаніи клерикаловъ, я не виню даже правительство: да и какъ же его винить за ограниченность, за неумѣнье, за недостатокъ порыва, поэзіи, такта. Оно родилось въ Кариньянскомъ дворцѣ, среди ржавыхъ готическихъ мечей, пудренныхъ старинныхъ париковъ и накрахмаленнаго этикета маленькихъ дворовъ съ огромными притязаніями.

Любви оно не вселило къ себѣ, совсѣмъ напротивъ, но отъ этого оно не слабже стало. Я былъ удивленъ въ 1863 общей нелюбовью въ Неаполѣ къ правительству. Въ 1867 въ Венеціи я видѣлъ безъ малѣйшаго удивленія, что, черезъ три мѣсяца послѣ освобожденія, его терпѣть не могли. Но при этомъ я еще яснѣе увидѣлъ, *что бояться ему нечего*, если оно само не надѣлаетъ ряда колоссальныхъ глупостей, хотя и онѣ ему сходятъ съ рукъ необыкновенно легко.

Примѣръ того и другого передъ глазами, я его приведу въ нѣсколькихъ строкахъ.

Къ разнымъ каламбурамъ, которыми правительства иногда удостоиваютъ отводить народамъ глаза, въ родѣ: «*Prisonniers de la paix*» Людовика Филиппа, «*Имперія—миръ*» Людовика Наполеона, Риказоли прибавилъ свой,—и законъ, которымъ *закрѣплялъ большую часть* достоянія духовенству, наввалъ закономъ «*о свободѣ* (или независимости) *церкви въ свободномъ государствѣ*». Всѣ недоросли либерализма, всѣ люди, не идущіе дальше заглавія,

¹⁾ Одинъ милѣйшій венгерецъ, графъ С. Т., служившій потомъ въ Италіи кавалерійскимъ полковникомъ, смѣясь какъ-то надъ мишурной роскошью флорентійскихъ щеголей, сказалъ мнѣ: „Помните бѣгъ въ Москвѣ или гулянье... глупо, но имѣетъ характеръ: кучеръ налить виномъ, шапка на бекрень, лошади въ нѣсколько тысячъ рублей, и баринъ замираетъ въ блаженствѣ и соболѣяхъ. А тутъ тощій графъ какой-нибудь заложитъ чалыхъ влячь, съ тивомъ въ ногахъ, прядущихъ головой, и тотъ же неуклюжій, худенькой Жакопо, который у него садовникъ и поварь, сидитъ на козлахъ, дергаетъ вожжи, одѣтый въ ливрею не по мѣркѣ, а графъ проситъ его: Жакопо, Жакопо, *fate una grande e bella figura*. Я прошу у графа Т. ссудить меня этимъ выраженіемъ.

обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало побѣду; сдѣлка была явнымъ образомъ выгодна духовенству. Явился бельгійскій грѣшникъ и мытарь, за котораго спрятались отцы іезуиты. Онъ привезъ съ собой груды золота, цвѣтъ котораго въ Италіи давно не видали, и предлагалъ большую сумму правительству съ тѣмъ, чтобъ обезпечить духовенству законное владѣніе имѣніями, испытанными на духу, набранными у умирающихъ преступниковъ и всякихъ нищихъ духомъ.

Правительство видѣло одно—деньги; дураки—другое: *американскую* свободу церкви въ свободномъ государствѣ. Теперь же въ модѣ прикидывать европейскія учрежденія на американскій ярдъ. Герцогъ Персиньи находитъ неумѣренное сходство между второй имперіей и первой республикой нашего времени.

Однако какъ ни хитрили Риказоли и Шаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована и подтасована безъ нея. Банкиръ прикидывался импрессариемъ и старался скупать итальянскіе голоса, но на этотъ разъ дѣло было въ февралѣ, камера охрипла. Въ Неаполѣ подняли ропотъ, въ Венеціи созвали сходку въ театръ Малибранъ для протеста. Риказоли велѣлъ запретить театръ и поставить часовыхъ. Безъ сомнѣнія, изъ всѣхъ промаховъ, которые можно было сдѣлать, нельзя было ничего придумать глупѣе. Венеція, только что освобожденная, хотѣла воспользоваться оппозиционнымъ правомъ и была полицейски подрѣзана. Собираться для празднованія короля и подносить букеты *al gran comendatore* Ламармора ничего не значить. Если-бъ венеціанцы хотѣли дѣлать сходки для празднованія австрійскихъ архидюковъ, имъ, конечно, позволили бы. Опасности сходка въ театрѣ Малибранъ не представляла никакой.

Камера встрепенулась и спросила отчета. Риказоли отвѣчалъ дерзко, высокомерно, какъ подобаетъ послѣднему представителю Рауля-Синей бороды, средневѣковому графу и феодалу. Камера, «увѣренная, что министерство не желаетъ уменьшить право сходокъ», хотѣла перейти къ очереди. Рауль, взбѣшенный уже тѣмъ, что его законъ «о свободѣ церкви», въ которомъ онъ не сомнѣвался, сталъ проваливаться въ комитетахъ, объявилъ, что онъ не можетъ принять *ordre du jour motivé*. Обиженная камера вотировала противъ него. За такую продерзость онъ на другой день отсрочилъ камеру, на третій распустилъ, на четвертый думалъ еще о какой-то крутой мѣрѣ, но, говорятъ, Чальдини сказалъ королю, что на войско рассчитывать трудно.

Бывали примѣры, что правительства, зарпортовавшись, приискивали дѣльный предлогъ, чтобъ сдѣлать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелѣпый предлогъ, чтобъ засви-

дѣлать свое пораженіе. Если правительство будетъ дальше и рѣше идти этимъ путемъ, можетъ, оно и сломитъ себѣ шею; рассчитывать, предвидѣть можно только то, что сколько-нибудь покорно разуму; всемогущество безумія не имѣетъ границъ, хотя и имѣетъ почти всегда возлѣ какого-нибудь Чальдини, который въ опасную минуту выльетъ шайку холодной воды на голову.

А если Италія вживется въ этотъ порядокъ, сложится въ немъ, она его не вынесетъ безнаказанно. Такого призрачнаго міра жи и пустыхъ словъ, фразъ безъ содержанія трудно переработать народу *меньше бывалому*, чѣмъ французы. У Франціи все *не въ самомъ дѣлѣ*, но все есть, хоть для вида и показа; она какъ старики, впавшіе въ дѣтство, увлекается игрушками; подъ часть и догадывается, что ея лошади деревянные, но хочетъ обманываться. Италія не совладаетъ съ этими тѣнями китайскаго фонаря, съ лунной независимостью, освѣщаемой въ три четверти тюльерійскимъ солнцемъ, съ церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживаютъ, какъ за безумной бабушкой въ ожиданіи ея скорой смерти. Картофельное тѣсто парламентаризма и риторика камеръ не дасть итальянцу здоровья. Его забьетъ, сведетъ съ ума эта мнимая пища и не въ самомъ дѣлѣ борьба. А другого ничего не готовится. Что же дѣлать? гдѣ выходъ? Не знаю, развѣ въ томъ, что, провозгласивши въ Римѣ единство Италіи, вслѣдъ за тѣмъ провозгласить ея распаденіе на самобытныя, самозаконныя части, едва связанныя между собой. Въ десяти живыхъ узлахъ можетъ больше выработаться, если есть чему выработываться, оно же и совершенно въ духѣ Италіи.

...Середь этихъ разсужденій мнѣ попалась брошюра Кине: «Франція и Германія»; я ей ужасно обрадовался, не то чтобъ я особенно зависѣлъ отъ сужденій знаменитаго историка-мыслителя, котораго лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

Въ старые годы въ Петербургѣ одинъ пріятель, извѣстный своимъ юморомъ, найдя у меня на столѣ книгу берлинскаго Мишле «о безсмертіи духа», оставилъ мнѣ записочку слѣдующаго содержанія: «Любезный другъ, когда ты прочтешь эту книгу, потрудишься сообщить мнѣ вкратцѣ, есть безсмертіе души или нѣтъ. Мнѣ все равно, но желалъ бы знать для *«успокоенія родственниковъ»*. Вотъ для *родственниковъ*-то и я радъ тому, что встрѣтился съ Кине. Наши друзья до сихъ поръ, несмотря на заносчивую позу, которую многіе изъ нихъ приняли относительно европейскихъ авторитетовъ, ихъ больше слушаютъ, чѣмъ своего брата. Оттого-то я и старался, когда могъ, ставить свою мысль подъ покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорилъ, что у дверей Франціи не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Милля, я твердилъ объ англійскомъ китаизмѣ и

очень доволенъ, что могу взять за руку Кине и сказать: «Вотъ и почтенный другъ мой Кине говорить въ 1867 о латинской Европѣ то, что я говорилъ обо всей въ 1847 и во всё послѣдующіе».

Кине съ ужасомъ и грустью видитъ пониженіе Франціи, смягченіе ея мозга, ея омелъчаніе. Причины онъ не понимаетъ, ищетъ ее въ отклоненіи Франціи отъ началъ 1789 года, въ потерѣ политической свободы и потому въ его словахъ изъ-за печали сквозитъ скрытая надежда на выздоровленіе возвращеніемъ къ серьезному парламентскому режиму, къ великимъ принципамъ революціи.

Кине не замѣчаетъ, что великія начала, о которыхъ онъ говоритъ, и вообще политическія идеи латинскаго міра потеряли свое значеніе, ихъ пружина доиграла и чуть-ли не лопнула. *Les principes de 1789* не были фразой, но теперь стали фразой. Заслуга ихъ огромна, *ими, черезъ нихъ* Франція совершила свою революцію, она приподняла завѣсу будущаго и испуганная отпрянула.

Явилась дилемма.

Или свободныя учрежденія снова коснутся завѣтной завѣсы. или правительственная опека, внѣшній порядокъ и внутреннее рабство.

Если-бъ въ европейской народной жизни была одна цѣль, одно стремленіе, та или другая сторона взяла бы давно верхъ. Но такъ какъ сложилась западная исторія, она привела къ вѣчной борьбѣ. Въ основномъ бытовомъ фактѣ двойного образованія лежитъ органическое препятствіе послѣдовательному развитію. Жить въ двѣ цивилизаціи, въ два пласта, въ два свѣта, въ два возраста, жить не цѣлымъ организмомъ, а одной частью его, употреблять на топливо и кормъ другую и повторять о свободѣ и равенствѣ становится труднѣе и труднѣе.

Опыты выйти къ болѣе гармоническому, уравновѣшенному строю не имѣли успѣха. Но если они не имѣли успѣха въ данномъ мѣстѣ, это больше доказываетъ неспособность мѣста, чѣмъ ложность начала.

Въ этомъ-то и лежитъ вся сущность дѣла.

Сѣверо-американскіе штаты съ своимъ единствомъ цивилизаціи легко опередаютъ Европу, ихъ положеніе проще. Уровень ихъ цивилизаціи ниже западно-европейскаго, *но онъ одинъ* и до него достигаютъ *все*, и въ этомъ ихъ страшная сила.

Двадцать лѣтъ тому назадъ Франція рванулась титанически къ другой жизни, борясь въ потьмахъ, бессмысленно, безъ плана и другого знанія, кромѣ знанія нестерпимой боли; она была побита «порядкомъ и цивилизаціей», а отступилъ побѣдитель. Буржуазія пришлось за печальную побѣду свою заплатить всѣмъ.

что она выработала вѣками усилій, жертвъ, войнъ и революцій, лучшими плодами своего образованія.

Центры силъ, пути развитія, все измѣнилось, скрывшаяся дѣятельность, подавленная работа общественнаго пересозданія бросились въ другія части, за французскую границу.

Какъ только нѣмцы убѣдились, что французскій берегъ понизился, что страшныя революціонныя идеи ея поветшали, что бояться ея нечего,—изъ-за крѣпостныхъ стѣнъ прирейнскихъ показалась прусская каска.

Франція все пятилась, каска все выдвигалась. Своихъ Бисмаркъ никогда не уважалъ, онъ наострилъ оба уха въ сторону Франціи, онъ нюхалъ воздухъ оттуда и, убѣдившись въ прочномъ пониженіи страны, онъ понялъ, что время Пруссіи настало. Понявши, онъ заказалъ планъ Мольтке, заказалъ иголки оружейникамъ и систематически, съ нѣмецкой, безцеремонной грубостью забралъ силъ нѣмецкія груши и ссыпалъ смѣшному Фридриху Вильгельму въ фартукъ, увѣривъ его, что онъ герой.

Я не вѣрю, чтобъ судьбы міра оставались надолго въ рукахъ нѣмцевъ и Гогенцоллерновъ. Это невозможно, это противно чело-вѣческому смыслу, противно исторической эстетикѣ. Я скажу, какъ Кентъ Лиру, только обратно: «Въ тебѣ, Боруссія, нѣтъ ничего, что бы я могъ назвать царемъ». Но всеже Пруссія отодвинула Францію на второй планъ и сама сѣла на первое мѣсто. Но всеже, окрасивъ въ одинъ цвѣтъ пестрые лоскутья нѣмецкаго отечества, она будетъ предписывать законы Европы до тѣхъ поръ, пока законы ея будутъ предписывать штыкомъ и исполнять картечью, по самой простой причинѣ, потому что у нея больше штыковъ и больше картечей.

За прусской волной подыметъ уже *другая*, не очень заботясь, нравится это или нѣтъ классическимъ старикамъ.

Англія хитро хранитъ *видъ силы*, отошедши въ сторону, будто гордая въ своемъ мнимомъ неучастіи... Она почувствовала въ глубинѣ своихъ внутренностей ту же социальную боль, которую она такъ легко вылечила въ 1848 полицейскими палками... Но потути посильнѣй... и она втягиваетъ далеко хватающіе щупальцы свои на домашнюю борьбу.

Франція, удивленная, сконфуженная переменной положенія, грозитъ не Пруссіи войной, а Италіи, если она дотронется до временныхъ владѣній *отца*, и собираетъ деньги на памятникъ Вольтеру.

Воскреситъ ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *послѣдняго* военнаго суда, разбудитъ ли ее приближеніе *ученыхъ* варваровъ?

Chi lo sa?

... Я прѣхалъ въ Геную съ американцами, только что переплывшими океанъ. Генуя ихъ поразила. Все читанное ими въ книгахъ о старомъ свѣтѣ они увидѣли очью и не могли насмотрѣться на средневѣковыя улицы, гористыя, узкія, черныя, на необычайной вышины дома, на полуразрушенные переходы, укрѣпленія и проч.

Мы вошли въ сѣни какого-то дворца. Крикъ восторга вырвался у одного изъ американцевъ: «Какъ эти люди жили, повторялъ онъ, какъ они жили! Что за размѣры, что за изящество! Нѣтъ, ничего подобнаго вы не найдете у насъ». И онъ готовъ былъ покраснѣть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева ихъ въ портретахъ, картины, картины, стѣны, сдавшія цвѣтъ, старая мебель, старые гербы, нежилой воздухъ, пустота и старикъ кустодъ въ черной вязаной скуфьѣ въ черномъ потертомъ скортукѣ, съ связкой ключей... все такъ и говорило, что это ужъ не домъ, а рѣдкость, саркофагъ, *пыльный слѣдъ прошедшей жизни.*

— Да, сказалъ я, выходя, американцамъ, вы совершенно правы, люди эти хорошо жили.

(Мартъ, 1867).

La belle France.

Ah! que j'ai douce souvenance
De ce beau pays de France!

I.

Ante portas.

Франція была для меня заперта. Годъ спустя послѣ моего прїѣзда въ Ниццу, лѣтомъ 1851, я написалъ письмо Леону Фоме, тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ, и просилъ его дозволенія прїѣхать на нѣсколько дней въ Парижъ. «У меня въ Парижѣ домъ и я долженъ имъ заняться»; истый экономистъ не могъ не сдаться на это доказательство и я получилъ разрѣшеніе прїѣхать «на самое короткое время».

Въ 1852 я просилъ право проѣхать Франціей въ Англію, — *отказъ*. Въ 1856 я хотѣлъ возвратиться изъ Англіи въ Швейцарію и снова просилъ визы, — *отказъ*. Я написалъ въ фрибургскій Conseil d'Etat, что я отрѣзанъ отъ Швейцаріи и долженъ или ѣхать тайкомъ, или черезъ Гибралтарскій проливъ, или, наконецъ, черезъ Германію. Въ силу чего я просилъ Conseil d'Etat вступить въ сношеніе съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, требуя для меня проѣзда черезъ Францію. Совѣтъ отвѣчалъ мнѣ, 19 октября 1856 года, слѣдующимъ письмомъ:

М. Г.

Вслѣдствіе вашего желанія, мы поручили швейцарскому министру въ Парижѣ сдѣлать необходимыя шаги для полученія вамъ авторизаціи проѣхать Франціей, возвращаясь въ Швейцарію. Мы передаемъ вамъ текстуально отвѣтъ, полученный швейцарскимъ министромъ: „Г. Валевскій долженъ былъ совѣщаться по этому предмету съ своимъ товарищемъ внутреннихъ дѣлъ; *соображенія особенной важности*, сообщилъ ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену въ правѣ проѣзда Франціей въ прошломъ августѣ, что онъ не можетъ измѣнить своего рѣшенія“, и пр.

Я не имѣлъ ничего общаго съ французами, кромѣ простого знакомства; не былъ ни въ какой конспираціи, ни въ какомъ обществѣ, и занимался тогда уже исключительно русской пропа-

гандой. Все это французская полиція, единая всезнающая, единая національная, и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гнѣвались* за мои статьи и связи.

Про этотъ гнѣвъ нельзя не сказать, что онъ вышелъ изъ *границы*. Въ 1859 году я поѣхалъ на нѣсколько дней въ Брюссель съ моимъ сыномъ. Ни въ Остенде, ни въ Брюсселѣ паспорта не спрашивали. Дней черезъ шесть, когда я возвратился вечеромъ въ отель, слуга, подавая свѣчу, сказалъ мнѣ, что изъ полиціи требуютъ моего паспорта. «Во время хватились», замѣтилъ я. Слуга проводилъ меня до номера и паспортъ взялъ. Только что я легъ, часу въ первомъ, стучать въ дверь; явился опять тотъ же слуга съ большимъ пакетомъ. «Министръ юстиціи покорно проситъ такого-то явиться завтра въ 11 часовъ утра въ департаментъ de la sureté publique».

— И это вы изъ-за этого ходите ночью будить людей?

— Ждутъ отвѣта.

— Кто?

— Кто-то изъ полиціи.

— Ну, скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашенія послѣ полуночи.

Затѣмъ я, какъ Нулинъ, «свѣчку погасилъ».

На другое утро, въ 8 часовъ, снова стукъ въ дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгійская юстиція.

— Entrez!

Вошелъ господинъ излишне чисто одѣтый, въ очень новой шляпѣ, съ длинной цѣпочкой, толстой и на видъ золотой, въ свѣжемъ черномъ сюртукѣ и пр.

Я едва, и то отчасти, одѣтый, представлялъ самый странный контрастъ человѣку, который *долженъ* одѣваться такъ тщательно съ семи часовъ утра для того, чтобъ его хоть ошибкой приняли за честнаго человѣка. Авантажъ былъ съ его стороны.

— Я имѣю честь говорить аверс М. Herzen père?

— C'est selon; какъ возьмемъ дѣло. Съ одной стороны, я отецъ, съ другой, сынъ.

Это развеселило шпіона.

— Я пришелъ къ вамъ...

— Позвольте, чтобъ сказать, что министръ юстиціи меня зоветъ въ 11 часовъ въ департаментъ?

— Точно такъ.

— Зачѣмъ же министръ васъ беспокоитъ и притомъ такъ рано? Довольно того, что онъ меня такъ поздно беспокоилъ вчера ночью, приславши этотъ пакетъ.

— Такъ вы будете?

— Непременно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же, вамъ вѣдно меня провожать?

— Помилуйте, quelle idée!

— И такъ...

— Желая вамъ добраго дня.

— Будьте здоровы.

Въ 11 часовъ я сидѣлъ у начальника бельгійской общественной безопасности.

Онъ держалъ какую-то тетрадку и мой паспортъ.

— Извините меня, что мы васъ побеспокоили, но видите, тутъ два небольшихъ обстоятельства: во-первыхъ, у васъ паспортъ швейцарскій, а...—онъ, съ полицейской пронизательностью, испытывая меня, остановилъ на мнѣ свой взглядъ.

— *А я русскій*, добавилъ я.

— Да, признаюсь, это показалось намъ странно.

— Отчего же, развѣ въ Бельгii нѣтъ закона о натурализаціи?

— Да вы?...

— Натурализованъ десять лѣтъ тому назадъ въ Моратѣ, фрибургскаго кантона, въ деревнѣ Шатель.

— Конечно, *если такъ*, въ такомъ случаѣ я не смѣю сомнѣваться... Мы перейдемъ ко второму затрудненію. Года три тому назадъ вы спрашивали дозволенія пріѣхать въ Брюссель и получили отказъ...

— Этого, mille raisons, не было и быть не могло. Какое же я имѣлъ бы мнѣніе о *свободной* Бельгii, если-бъ я, никогда не высланный изъ нея, усомнился въ правѣ моемъ пріѣхать въ Брюссель?

Начальникъ общественной безопасности нѣсколько смутился.

— Однако, вотъ тутъ... и онъ развернулъ тетрадь.

— Видно, не все въ ней вѣрно. Вотъ, вѣдь, вы не знали же, что я натурализованъ въ Швейцарii.

— Такъ-съ. Консулъ е. в. Дельпьеръ...

— Не безпокойтесь, остальное я вамъ расскажу. Я спрашивалъ вашего консула въ Лондонѣ, могу ли я перевести въ Брюссель русскую типографію, т. е., оставить ли типографію въ покоѣ, если я не буду мѣшаться въ бельгійскія дѣла, на что у меня не было никогда никакой охоты, *какъ вы легко повторите*. Г. Дельпьеръ спросилъ министра. Министръ просилъ его отклонить меня отъ моего намѣренія перевести типографію. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерскій отвѣтъ и онъ просилъ передать мнѣ эту вѣсть, какъ общаго знакомаго, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просилъ его успокоить г. Дельпера и увѣ-

рить его, что я съ большей твердостью духа узналъ, что *типографію* не пустять въ Брюссель, «если-бъ, прибавилъ я, консулу пришлось мнѣ сообщить обратное, т. е., что меня и типографію во вѣкъ вѣковъ *не выпустятъ изъ Брюсселя*, можетъ, я не нашель бы столько геройства». Видите, я очень помню всѣ обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистилъ голосъ и, читая тетрадку, замѣтилъ:

— Дѣйствительно, такъ, я о типографіи и не замѣтилъ. Впрочемъ, я полагаю, вамъ все-таки необходимо разрѣшеніе отъ министра; иначе, какъ это ни неприятно будетъ для насъ, но мы будемъ вынуждены просить васъ...

— Я завтра ѣду.

— Помилуйте, никто не требуетъ такой поспѣшности; оставьтесь недѣлю, двѣ. Мы говоримъ насчетъ осѣдлой жизни... Я почти увѣренъ, что министръ разрѣшитъ.

— Я могу его просить для будущихъ временъ, но теперь я не имѣю ни малѣйшаго желанія дольше оставаться въ Брюссель.

Тѣмъ исторія и кончилась.

— Я забылъ одно, запутавшись въ объясненіи,—сказать мнѣ опасливый хранитель безопасности,—мы малы, мы малы, вотъ наша бѣда; *il y a des égards...*—ему было стыдно.

Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая въ Парижѣ, занемогла. Я опять потребовалъ визы и Персиныи опять отказалъ. Въ это время графъ Ксаверій Браницкій былъ въ Лондонѣ. Обѣдая у него, я рассказалъ объ отказѣ.

— Напишите къ принцу Наполеону письмо, сказалъ Браницкій, я ему доставлю.

— Съ какой же стати буду я писать принцу?

— Это правда, пишите къ императору. Завтра я ѣду и послѣ завтра ваше письмо будетъ въ его рукахъ.

— Это скорѣе, дайте подумать.

Пріѣхавъ домой, я написалъ слѣдующее письмо:

Sire,

Больше десяти лѣтъ тому назадъ, я былъ вынужденъ оставить Францію по министерскому распоряженію. Съ тѣхъ поръ мнѣ два раза былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ ¹⁾. Впослѣдствіи мнѣ постоянно отказывали въ правѣ вѣзжать въ

¹⁾ Второй разъ мнѣ былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ въ 1853. по случаю болѣзни М. К. Рейхель. Этотъ пропускъ я получилъ по просьбѣ Ротшильда. Болѣзнь М. К. прошла и я имъ не воспользовался. Года черезъ два мнѣ объявили въ французскомъ консульствѣ, что такъ какъ я тогда не ѣздилъ, то пропускъ не имѣетъ больше значенія.

Францію; между тѣмъ въ Парижѣ воспитывается одна изъ моихъ дочерей и я имѣю тамъ собственный домъ.

Я беру смѣлость отнести прямо къ в. в. съ просьбой о разрѣшеніи мнѣ въѣзда во Францію и пребыванія въ Парижѣ, насколько потребуютъ дѣла, и буду съ довѣріемъ и уваженіемъ ждать вашего рѣшенія.

Во всякомъ случаѣ, Sire, я даю слово, что желаніе мое имѣть право ѣздить во Францію не имѣетъ никакой политической цѣли.

Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемъ
вашего величества
покорѣйшимъ слугой

А. Г.

31 мая, 1861.

Лондонъ, Орсетъ Гаусъ, Уэстборнъ Террасъ.

Браницкій нашелъ, что письмо *сухо*, потому, вѣроятно, и не достигнетъ цѣли. Я сказалъ ему, что другого письма не напишу, и что, если онъ хочетъ сдѣлать мнѣ услугу, пусть его передастъ, а возьметъ раздумье, пусть броситъ въ каминъ. Разговоръ этотъ былъ на желѣзной дорогѣ. Онъ уѣхалъ.

А. черезъ четыре дня я получилъ слѣдующее письмо изъ французскаго посольства:

Парижъ, 3 іюня, 1861.

Кабинетъ
Префекта полиціи.
I бюро

М. Г.

По приказанію императора имѣю честь сообщить вамъ, что е. в. разрѣшаетъ вамъ въѣздъ во Францію и пребываніе въ Парижѣ всякій разъ, когда дѣла ваши этого потребуютъ такъ, какъ вы просили вашимъ письмомъ отъ 31 мая.

Вы можете, слѣдственно, свободно путешествовать во всей имперіи, соображаясь съ общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префектъ полиціи.

Загѣмъ подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на все, но не на фамилію *Voitelle*.

Въ тотъ же день пришло письмо отъ Браницкаго. Принцъ Наполеонъ сообщалъ ему слѣдующую записку императора: «Любезный Наполеонъ, сообщаю тебѣ, что я сейчасъ разрѣшилъ въѣздъ *господину* ¹⁾ Герцену во Францію и приказалъ ему выдать паспортъ.

Послѣ этого «подвысь!» Шлагбаумъ, опущенный въ продолженіи одиннадцати лѣтъ, поднялся, и я отправился черезъ мѣсяцъ въ Парижъ.

¹⁾ Я отмѣтилъ слово *господинъ*, потому что при моей высылкѣ префектура постоянно писала *sieur*, а Наполеонъ въ запискѣ написалъ слово *monsieur* всѣми буквами.

II.

Intra muros.

— Maame Erstin! кричалъ мрачный съ огромными усами жандармъ въ Кале, возлѣ рогатки, черезъ которую должны были проходить во Францію одинъ за однимъ путешественники, только-что сошедшіе на берегъ съ дуврскаго парохода и загнанные въ каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандармъ отдавалъ пачки, комиссаръ полиціи допрашивалъ глазами, а гдѣ находилъ нужнымъ, языкомъ, и одобренный и найденный безопаснымъ для имперіи терялся за рогаткой.

На крикъ жандарма въ этотъ разъ никто изъ путешественниковъ не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! кричалъ, прибавляя голоса и махая паспортомъ, жандармъ. Никто не откликался.

— Да что же, никого что ли нѣтъ съ этимъ именемъ, кричалъ жандармъ и, посмотрѣвъ въ бумагу, прибавилъ:—Mamselle Ogle Erstin!

Тутъ только дѣвочка лѣтъ десяти, т. е., моя дочь Ольга, догадалась, что защитникъ порядка вызывалъ ее съ такимъ неистовствомъ.

— Avancez donc, prenez vos papiers! свирѣпо командовалъ жандармъ.

— Ольга взяла пачку и, прижавшись къ М., потихоньку спросила ее:—Est-ce que c'est l'empereur?

Это было съ ней въ 1860 году, а со мной случилось черезъ годъ еще хуже, и не у рогатки въ Кале (уже не существующей теперь), а *ездѣ*: въ вагонѣ, на улицѣ, въ Парижѣ, въ провинціи, въ домѣ, во снѣ, на-яву, вездѣ стоялъ передо мной самъ императоръ съ длинными усами, засмоленными въ ниточку, съ глазами безъ взгляда, съ ртомъ безъ словъ. Не только жандармы мерещились мнѣ Наполеонами, но солдаты, сидѣльцы, гарсоны и особенно кондукторы желѣзныхъ дорогъ и омнибусовъ. Шелъ ли я обѣдать въ Maison d'or, Наполеонъ, въ одной изъ своихъ ипостасей, обѣдалъ черезъ столъ и спрашивалъ трюфли въ сифеткѣ; отправлялся ли я въ театръ, онъ сидѣлъ въ томъ же ряду, да еще другой ходилъ на сценѣ. Бѣжалъ ли я отъ него за городъ, онъ шелъ по пятамъ дальше булонскаго лѣса, въ скюртукѣ плотно застегнутомъ, въ усахъ съ круто нафабранными кончиками. Гдѣ же его нѣтъ? На балѣ въ Мабиль? На обѣднѣ въ Мадленъ? Непремѣнно тамъ и тутъ.

La révolution s'est fait homme. «Революція воплотилась въ человѣкѣ» была—одна изъ любимыхъ фразъ доктринерскаго жаргона

временъ Тьера и либеральныхъ историковъ луи-филипповскихъ временъ; а тутъ похитрѣе: «революція и реакція», порядокъ и безпорядокъ, *впередъ* и *назадъ* воплотились въ одномъ человѣкѣ и этотъ человѣкъ, въ свою очередь, перевоплотился во всю администрацію, отъ министровъ до сельскихъ сторожей, отъ сенаторовъ до деревенскихъ меровъ... разсыпался пѣхотой, поплылъ флотомъ.

Человѣкъ этотъ не поэтъ, не пророкъ, не побѣдитель, не эксцентричность, не гений, не талантъ; а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, разсчетливый, настойчивый, прозаическій, господинъ «среднихъ лѣтъ, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франціи, l'homme du destin, le neveu du grand homme, плебея. Онъ уничтожаетъ, осредотворяетъ въ себѣ всѣ рѣзкія стороны національнаго характера и всѣ стремленія народа, какъ вершинная точка горы или пирамиды оканчиваетъ цѣлую гору *ничѣмъ*.

Въ 49, въ 50 годахъ я не угадалъ Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оцѣнилъ. 1861 годъ былъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ для имперіи, все обстояло благополучно, все уравнилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозицій и смѣлыхъ мыслей было ровно на столько, на сколько надобно для тѣни и слегка прянаго вкуса. Лабуле очень умно хвалилъ Нью-Йоркъ въ пику Парижу, Прево Парадоль Австрію въ пику Франціи. По дѣлу Миреса дѣлали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движенію слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшіеся пофрондировать, какъ, бывало, мы собирались въ Москвѣ въ сороковыхъ годахъ у кого-нибудь изъ старыхъ пріятелей. Были даже свои недовольныя знаменитости, въ родѣ статскихъ Ермоловыхъ, какъ Гизо. Остальное все было прибито градомъ. И никто не жаловался, отдыхъ еще нравился такъ, какъ нравится первая недѣля поста съ своимъ хрѣномъ да капустой послѣ семидневнаго масла и пьянства на масленицѣ. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видѣть: онъ исчезалъ на короткое или долгое время и возвращался съ исправленнымъ вкусомъ изъ Ламбессы или изъ Мазаса. Полиція, la grande police, замѣнившая la grande armée, была вездѣ во всякое время. Въ литературѣ—плоскій штиль; плохіе лодочники плавали спокойно на плохихъ лодкахъ по нѣкогда бурному морю. Пошлость пьесъ, даваемыхъ на всѣхъ сценахъ, наводила къ ночи тяжелую сонливость, которая утромъ поддерживалась бессмысленными журналами. Журналистика въ прежнемъ смыслѣ не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. Послѣ leading article лондонскихъ газетъ, писанныхъ сжатымъ, дѣловымъ слогомъ, съ

«нервомъ», какъ говорятъ французы, и «мышцами», premiers Paris нельзя было читать. Риторическія декораціи, полинялыя и и потертыя, и тѣ же возгласы, сдѣлавшіеся больше чѣмъ смѣшными, гадкими по явному противорѣчію съ фактами, замѣняли содержаніе. Страждущія народности постоянно приглашались по прежнему надѣяться на Францію, она все-таки оставалась «во главѣ великаго движенія» и все еще несла міру революцію, свободу и великіе принципы 1789 года. Оппозиція дѣлалась подъ знаменемъ бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвѣта, но ихъ можно было означать въ томъ родѣ, какъ моряки означаютъ промежуточные вѣтры: N. N. W., N. W. N., N'W. W., W. N. W... Бонапартизмъ отчаянный, бѣснующійся, умѣренный; бонапартизмъ монархическій, бонапартизмъ республиканскій, демократическій и социальный; бонапартизмъ мирный, военный, революціонный, консервативный, наконецъ, палерояльскій и тюльерійскій... Вечеромъ поздно бѣгали по редакціямъ какіе-то господа, ставившіе на мѣсто стрѣлку газетъ, если она гдѣ уходила далеко за N. къ W. или E. Они повѣряли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились въ слѣдующую редакцію.

... Въ café, читая вечерній журналъ, въ которомъ было написано, что адвокатъ Миреса отказался указать какое-то употребленіе суммъ, говоря, что тутъ замѣшаны «слишкомъ высоко поставленныя лица», я сказалъ кому-то изъ знакомыхъ: «Да какъ же прокуроръ не заставилъ его назвать и какъ же не требуютъ этого журналы?» Знакомый дернулъ меня за пальто, оглядѣлся, сдѣлалъ знакъ глазами, руками, тростью. Я не даромъ жилъ въ Петербургѣ, понялъ его и сталъ разсуждать объ абсентѣ съ зельтерской водой.

Выходя изъ кафе, я увидѣлъ крошечнаго человѣка, бѣгущаго на меня съ крошечными объятіями. На близкомъ разстояніи я разглядѣлъ Даримона.

— Какъ вы должны быть счастливы, говорилъ лѣвый депутатъ, возвратившись въ Парижъ! Ah! je m' imagine!

— Не то чтобъ особенно!

Даримонъ остолбенѣлъ.

— Ну, что madame Darimon и вашъ маленький, который вѣрно теперь вашъ большой, особенно если онъ не беретъ въ ростъ при мѣра съ отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très-bien—и мы разстались.

Тяжело мнѣ было въ Парижѣ и я только свободно вздохнулъ, когда черезъ мѣсяць, сквозь дождь и туманъ, опять увидѣлъ грязно-бѣлые, мѣловые берега Англіи. Все, что жало, какъ узкіе башмаки, при Людовикѣ Филиппѣ, жало теперь какъ колодка.

Промежуточныхъ явленій, которыми упрочивался и прилаживался новый порядокъ, я не видалъ, а нашелъ его черезъ десять лѣтъ совершенно *готовымъ и сложившимся*... Къ тому же я Парижъ не узнавалъ, мнѣ были чужды его перестроенныя улицы, недостроенные дворцы и пуще всего встрѣчавшіеся люди. Это не тотъ Парижъ, который я любилъ и ненавидѣлъ, не тотъ, въ который я стремился съ дѣтства, не тотъ, который покидалъ съ проклятьемъ на губахъ. Это Парижъ, утратившій свою личность, равнодушный, откинувшій. Сильная рука давила его вездѣ и всякую минуту готова была притянуть вожжи, — но это было ненужно; Парижъ *принялъ tout de bon* вторую имперію, у него едва оставались наружныя привычки прежняго времени. У «недовольныхъ» ничего не было серьезнаго и сильнаго, что бы они могли противопоставить имперіи. Воспоминанія тацитовскихъ республиканцевъ и неопредѣленные идеалы социалистовъ не могли потрясти цезарскій тронъ. Съ «фантазіями» *надзоръ полиціи* боролся не серьезно, онъ его сдѣлили не какъ опасность, а какъ безпорядокъ и безчинство. «Воспоминанія» досаждали больше «надеждъ», орлеанистовъ держали строже. Иногда самодержавная полиція нежданно разражалась ударомъ, несправедливымъ и грубымъ, грозно напоминала себѣ; она нарочно распространяла ужасъ на два квартала и на два мѣсяца, и снова уходила въ щели префектуры и коридоры министерскихъ домовъ.

Въ сущности все было тихо. Два самыхъ сильныхъ протеста были не французскіе: покушеніями ПIANORI и Орсини мстила Италія, мстилъ Римъ. Дѣло Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлогъ, чтобъ нанести послѣдній ударъ—*coup de grâse*. Онъ удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительныхъ людяхъ Эспинаса, дала свой залогъ. Надобно было испугать, показать, что полиція ни передъ чѣмъ не остановится, надобно было сломить всякое понятіе о правѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, надобно было несправедливостью поразить умы, приучить къ ней и ею доказать свою власть. Очистивъ Парижъ отъ *подозрительныхъ* людей, Эспинасъ приказалъ префектамъ въ *каждомъ* департаментѣ открыть заговоръ, замѣшать въ него не меньше десяти человѣкъ заявленныхъ враговъ имперіи, арестовать ихъ и представить на распоряженіе министра. Министръ имѣлъ право ссылатъ въ Кайенну, Ламбессу, безъ слѣдствія, безъ отчета и отвѣтственности. Человѣкъ сосланный погибалъ, ни оправданья, ни протеста не могло и быть; онъ не былъ судимъ, могла быть одна монаршая милость. «Получаю это приказаніе», рассказывалъ префектъ Н. нашему поэту Т. Т., «что тутъ дѣлать? Ломалъ себѣ голову, ломалъ... положеніе затруднительное и непріятное; наконецъ, мнѣ пришла счастливая

мысль, какъ вывернуться. Я посылаю за комиссаромъ полиціи и говорю ему: можете вы въ самомъ скоромъ времени найти мнѣ десятокъ отчаянныхъ негодяевъ, воровъ, неучинныхъ по суду и т. п. Комиссаръ говоритъ, что ничего нѣтъ легче. Ну, такъ составьте списокъ, мы ихъ нынче ночью арестуемъ и потомъ представимъ министру, какъ возмутителей».—Ну, что же? спросилъ Т. «Мы ихъ представили, министръ ихъ отправилъ въ Каенну и весь департаментъ былъ доволенъ, благодарилъ меня, что такъ легко отдѣлался отъ мошенниковъ»,—прибавилъ добрый префектъ, смѣясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилія, чѣмъ публика и общественное мнѣніе. Времена тишины, покоя, de la sécurité наступали не по днямъ, а по часамъ. Мало-помалу разгладились морщины на челѣ полиціи; дерзкій, вызывающій взглядъ шпиона, свирѣпый видъ sergent de ville стали смягчаться; императоръ мечталъ о разныхъ умныхъ и кроткихъ свободахъ и децентрализаціяхъ. Неподкупные въ усердіи министры удерживали его либеральную горячность.

... Съ 1861, двери были отворены и я проѣзжалъ нѣсколько разъ Парижемъ. Сначала я торопился поскорѣе уѣхать, потомъ и это прошло, я привыкъ къ новому Парижу. Онъ меньше сердилъ. Это былъ другой городъ, огромный, незнакомый. Умственное движеніе, наука, отодвинутыя за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свой «расширенныя свободы» Наполеонъ далъ; беззубая оппозиція подняла свою лысую голову и затынула старую фразеологию сороковыхъ годовъ; работники не вѣрили имъ, молчали и слабо пробовали ассоціаціи и коопераціи. Парижъ становился больше и больше общимъ европейскимъ рынкомъ, въ которомъ толпилось, толкалось все на свѣтѣ: купцы, цѣвцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всѣхъ странъ и, невиданная въ прежнія времена, масса нѣмцевъ. Вкусъ, тонъ, выраженія, все измѣнилось. Блестящая, тяжелая роскошь, металлическая, золотая, цѣнная, замѣнила прежнее эстетическое чувство; въ мелочахъ и одеждѣ хвастались не выборомъ, не умѣньемъ, а дороговизной, возможностью тратъ, и непрерывно толковали о наживѣ, объ игрѣ въ карты, мѣста, фонды. Лоретки давали тонъ дамамъ. Женское образованіе пало на степень прежняго итальянскаго.

— L'empire, l'empire... вотъ гдѣ зло, вотъ гдѣ бѣда... Нѣтъ, причина глубже. Sire, vous avez un cancer rentré, говоритъ Антомарки;—un Waterloo rentré, отвѣчаетъ Наполеонъ. А тутъ двѣ, три революціи rentrées, avortées, внутрь взошедшія, недоношенныя и выкинутыя.

Оттого ли Франція не донашивается, что она слишкомъ рано,

слишкомъ поспѣшно попала въ интересное положеніе и хотѣла отдѣлаться отъ него кесаревымъ сѣченіемъ; оттого ли, что духа хватило на рубку головъ, а на рубку идей не достало; оттого ли, что изъ революціи сдѣлали армію и права человѣка покропили святой водой; оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революція дѣлалась не для крестьянъ?

III.

Alpendrucken.

Да здравствуетъ свѣтъ!
Да здравствуетъ разумъ!

Русскіе, не имѣя вблизи горъ, просто говорятъ, что «домовой душилъ». Оно, пожалуй, вѣрнѣе. Дѣйствительно, словно кто-то душилъ, сонъ не ясенъ, но очень страшенъ, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульсъ поднять, сердце ударяетъ тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятамъ, не то люди, не то привидѣнія, передъ вами мелькаютъ забытые образы, напоминающіе другіе годы и возрасты... тутъ какія-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нѣтъ, вы летите въ темную пустоту, крикъ вырывается невольно,—и вы проснулись... проснулись въ лихорадкѣ, потъ на лбу, дыханье сперто—вы торопитесь къ окну... Свѣжій свѣтлый разсвѣтъ на дворѣ, вѣтеръ осаживаетъ въ одну сторону туманъ, запахъ травы, лѣса, звуки и крики... все *наше* земное... и вы, успокоенные, пьете всѣми легкими утренній воздухъ.

... Меня на дняхъ душилъ домовой, не во снѣ, а на яву, не въ постели, а въ книгѣ, и когда я вырвался изъ нея на свѣтъ, я чуть не вскрикнулъ: «Да здравствуетъ разумъ! нашъ простой, земной разумъ!»

Старикъ Пьеръ Леру, котораго я привыкъ любить и уважать лѣтъ тридцать, принесъ мнѣ свое послѣднее сочиненіе и просилъ непременно прочесть его, «хоть текстъ, а примѣчанія послѣ, когда-нибудь».

«*Книга Иова*, трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, *сочиненная* Исаиємъ и переведенная Пьеромъ Леру». И не только переведенная, но приложенная къ современнымъ вопросамъ.

Я прочелъ *весь* текстъ и, подавленный печалью, ужасомъ, искалъ окна.

Что же это такое?

Какіе антецеденты могли развити такой мозгъ, такую книгу? Гдѣ отечество этого человѣка и что за судьбы и страны и лица? Такъ сойти можно только съ *большого ума*; это заключеніе длиннаго и сломленнаго развитія.

Книга эта—бредъ поэта лунатика, у котораго въ памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у котораго сохранились чувства, воспоминанія, формы, но *разумъ* не сохранился, или если и уцѣлѣлъ, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя изъ мыслей въ фантазіи, изъ истинъ въ мистеріи, изъ выводовъ въ мнѣи, изъ знанія въ откровеніе.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояніе, опьянѣніе Пинои, шамана, дурь вертящагося дервиша, дурь вертящихся столовъ...

Революція и чародѣйство, социализмъ и талмудъ, Іовъ и Ж. Зандъ, Исаія и Сень-Симонъ, 1789 годъ до Р. X. и 1789 послѣ Р. X., все брошено зря въ кабалистическій горнъ. Что же могло выйти изъ этихъ натянутыхъ, враждебныхъ совокупленій? Человѣкъ захворалъ отъ этой неперевариваемой пищи, онъ потерялъ здоровое чувство истины, любовь и уваженіе къ разуму. Гдѣ же причина, отбросившая такъ далеко отъ русла этого старика, нѣкогда стоявшаго въ числѣ главъ социальнаго движенія, полнаго энергіи и любви, человѣка, котораго рѣчь, проникнутая негодованіемъ и сочувствіемъ къ меньшей братіи, потрясала сердца? Я это время помню. И вотъ этотъ-то учитель, этотъ живой, будящій голосъ, послѣ пятнадцатилѣтняго удаленія въ Жерсеѣ, является съ *grève de Samarez* и съ книгой Іова, проповѣдуетъ какое-то переселеніе душъ, ищетъ развязки на томъ свѣтѣ, въ *этомъ не въпритъ* больше. Франція, революція обманули его; онъ скинѣи свои разбиваетъ въ другомъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ обмана, да и ничего нѣтъ, въ силу чего большой просторъ для фантазіи.

Можетъ, это личная болѣзнь—идіосинкразія? Ньютонъ имѣлъ свою книгу Іова, Августъ Контъ свое помѣшательство.

Можетъ... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу—все книга Іова, все мутитъ умъ и давитъ грудь, все заставляетъ искать свѣта и воздуха, все носить слѣды душевной тревоги и недуга, чего-то сбивающаго съ пути. Врядъ можно ли въ этомъ случаѣ многое объяснить личнымъ безуміемъ; напротивъ, надобно искать въ общемъ расстройствѣ причину частнаго явленія. Я именно въ полнѣйшихъ представителяхъ французскаго генія вижу слѣды недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелымъ сномъ, въ долгомъ лихорадочномъ ожиданіи, усталые отъ горечи дня и отъ

жгучаго нетерпѣнія, они бредятъ въ какомъ-то полуснѣ и хотятъ насъ и самихъ себя увѣрить, что ихъ видѣнія—дѣйствительность и что настоящая жизнь—дурной сонъ, который сейчасъ пройдетъ, особенно для Франціи.

Невстоимое богатство ихъ длинной цивилизаціи, колоссальныя запасы *словъ* и образовъ мерцаютъ въ ихъ мозгу, какъ фосфоресценція моря, не освѣщая ничего. Какой-то вихрь, подметающій передъ начинающимся катаклизмомъ осколки двухъ, трехъ міровъ, снесъ ихъ въ эти исполинскія памяти безъ цемента, безъ связи, безъ *науки*. Процессъ, которымъ развивается ихъ мысль, для насъ непонятенъ, они идутъ отъ словъ къ словамъ, отъ антиномій къ антиноміямъ, отъ антитезисовъ къ синтезисамъ, не разрѣшающимъ ихъ; іероглифъ принимается за дѣло и желанье за фактъ. Громадныя стремленія безъ возможныхъ средствъ и ясныхъ цѣлей, недоконченныя очертанія, недодуманныя мысли, намеки, сближенія, прорицанія, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франція, у нихъ нѣтъ, истины они не ищутъ, она такъ страшна на дѣлѣ, что они отворачиваются отъ нея. Романтизмъ ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкусъ отъ всего простого и здороваго.

Размѣры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дѣло идетъ о путешествіяхъ душъ по планетамъ, объ ангельскихъ хуторахъ Жана Рено, о разговорѣ Іова съ Прудономъ и Прудона съ мертвой женщиной; хорошо еще, когда изъ цѣлой тысячи и одной ночи человѣчества дѣлается одна сказка, и Шекспиръ изъ любви и уваженія заваливается пирамидами и обелисками, Олимпомъ и Библией, Ассиріей и Нивевіей; но что сказать, когда все это врывается въ жизнь, отводить глаза и мѣшаетъ карты для того, чтобъ ими ворожить о «близкомъ счастьи и исполненіи желаній» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блескомъ прошедшей славы заштукатуриваютъ гнилыя раны, и сифилитическія пятна на повислыхъ щекахъ выдаютъ за румянецъ юноши?

Передъ падшимъ Парижемъ, въ самую нежалкую минуту его паденья, когда онъ, довольный богатой ливреей и щедростью постороннихъ помѣщиковъ, бражничаетъ на всемірномъ толкунѣ, поверженъ въ прахъ старикъ поэтъ. Онъ привѣтствуетъ Парижъ, путеводной звѣздой человѣчества, сердцемъ міра, мозгомъ исторіи, онъ увѣряетъ его, что базаръ на Champ de Mars—починъ братства народовъ и примиренія вселенной.

Пьянитъ похвалами поколѣніе, измельчавшее, ничтожное, самодовольное и вичливое, падкое на лесть и избалованное, подерживать гордость пустыхъ и выродившихся сыновей и вну-

чать, покрывая одобреніемъ генія ихъ жалкое, бессмысленное существованіе,—великій грѣхъ.

Дѣлать изъ современнаго Парижа *спасителя и освободителя міра*, увѣрять его, что онъ великъ въ своемъ паденіи, что онъ въ сущности вовсе не падалъ, сбиваетъ на апотеозу *божественнаго* Нерона и *божественнаго* Калигулы или Каракаллы.

Разница въ томъ, что Сенеки и Ульпіаны были въ силѣ и власти, а В. Гюго въ ссылкѣ.

Рядомъ съ лестью васъ поражаетъ неопредѣленность понятій, смутность стремленій, незрѣлость идеаловъ. Люди, идущіе впередъ, ведущіе другихъ, остаются въ полумракѣ, безъ тоски о свѣтѣ. Толки о преобразеніи человѣчества, о пересозданіи существующаго... но о какомъ, но во что?

Это равно не ясно, ни *на томъ свѣтѣ* Пьера Леру, ни *на этомъ* Виктора Гюго.

„Въ ХХ столѣтіи будетъ чрезвычайная страна. Она будетъ велика и это не помѣшаетъ ей быть свободной. Она будетъ знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человѣчеству. Она будетъ имѣть кроткую доблесть старшей сестры.

„Эта центральная страна, изъ которой все лучится. эта образцовая ферма человѣчества, по которой все крится, имѣетъ свое сердце, свой мозгъ, называемый *Парижъ*..

„Городъ этотъ имѣетъ одно неудобство: кто имъ владѣетъ, тому принадлежитъ міръ. Человѣчество идетъ за нимъ. Парижъ работаетъ для общности земной. Кто бы ты ни былъ, Парижъ твой господинъ... онъ иногда ошибается, имѣетъ свои оптическіе обманы, свой дурной вкусъ... *тѣмъ хуже* для всемірнаго смысла, компасъ потерявъ и прогрессъ идетъ ошупью.

„Но Парижъ настоящій *кажется* не таковъ. Я не вѣрю въ этотъ Парижъ—это призракъ, а, впрочемъ, небольшая проходящая тѣнь не идетъ въ счетъ, когда дѣло идетъ объ огромной утренней зарѣ.

„Одни дикіе боятся за солнце во время затменій.

„Парижъ—зажженный факель; зажженный факель имѣетъ *волю*... Парижъ изгоняетъ изъ себя все нечистое, онъ *уничтожилъ* смертную казнь, насколько это было въ его волѣ, и перенесъ гильотину въ la Roquette. Въ Лондонѣ вѣшаютъ, гильотинировать въ Парижѣ нельзя больше; если-бъ вздумали снова поставить гильотину передъ ратушей, камни возстали бы. Убивать въ этой средѣ невозможно. Остается поставить внѣ закона, что поставлено внѣ города!

„1866 былъ годомъ столкновенія народовъ, 1867 будетъ годомъ ихъ встрѣчей. Выставка въ Парижѣ — великій соборъ мира, всѣ препятствія, тормазы, палки въ колесахъ прогресса сломятся въ куски, разлетятся въ прахъ... Война невозможна... зачѣмъ выставили страшныя пушки и другіе военные снаряды... Гавѣ мы не знаемъ, что война умерла? Она умерла въ тотъ день, когда Іисусъ сказалъ: „Любите другъ друга!“ — и бродила только, какъ привидѣніе; Вольтеръ и революція убили ее еще разъ. Мы не вѣримъ въ войну. Всѣ народы побратались на выставкѣ, всѣ народы, притекши въ Парижъ, побывали Франціей (ils viennent être France); они узнали, что есть городъ-солнце... и должны любить его, желать его, выносить его!“

И въ полномъ умиленіи передъ народомъ, который *испаряется братствомъ*, котораго свобода—свидѣтельство совершеннolѣтія

человѣческаго рода, Гюго восклицаетъ: «О, Франція! прощай! Ты слишкомъ велика, чтобъ быть отечествомъ; съ матерью, сдѣлавшейся богиней, слѣдуетъ разстаться. Еще шагъ во времени, и ты исчезнешь преображенная; ты такъ велика, что скоро тебя не будетъ. Ты не будешь Франціей, ты будешь человѣчествомъ. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами... Рѣшись принять бремя твоей безконечности и, какъ Аѳины сдѣлались Греціей, Римъ—христіанствомъ, сдѣлайся ты, Франція, міромъ...»

Когда я читалъ эти строки, передо мной лежала газета и въ ней какой-то простодушный корреспондентъ писалъ слѣдующее: «То, что теперь творится въ Парижѣ, необыкновенно занимательно, и не только для современниковъ, но и для будущихъ поколѣній. Толпы, собравшіяся на выставку, кутятъ... всѣ границы перейдены, оргія вездѣ, въ трактирахъ и домахъ, пуще всего на самой выставкѣ. Прїѣздъ царей окончательно опьянилъ всѣхъ. Парижъ представляетъ какую-то колоссальную *descente de la courtille*.

„Вчера (10 іюня) это опьянѣніе дошло до своего апогея. Пока вѣнценосцы пировали во дворцѣ, выдавшемъ такъ много на своемъ вѣку, толпы наполнили окольные улицы и мѣста. По набережной, на улицахъ Риволи, Кастиліоне, Сентъ-Оноре пировали на свой манеръ до трехъ сотъ тысячъ человѣкъ. Отъ Маделены до *théâtre des Variétés* шла самая растрепанная и нецеремонная оргія; большія открытыя линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложеныя изнуренными, измученными клячами, едва-едва двигались по бульварамъ въ сплошномъ множествѣ головъ и головъ. Линейки эти, въ свою очередь, были биткомъ набиты, въ нихъ стояли, сидѣли, больше всего лежали растянувшіеся мужчины и женщины во всевозможныхъ позахъ съ бутылками въ рукахъ; они съ хохотомъ и пѣснями переговаривались съ пѣшей толпой; шумъ и крикъ несся имъ навстрѣчу изъ кафе и ресторановъ совершенно полныхъ; иногда крикъ и пѣсни смѣнялись дикимъ ругательствомъ фіакрнаго извозчика или дружеской ссорой подпившихъ... На углахъ, въ переулкахъ валялись мертво-пьяные, сама полиція, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сдѣлать.—Никогда, пишетъ корреспондентъ, я не видалъ ничего подобнаго въ Парижѣ, а живу въ немъ лѣтъ двадцать“.

Это на улицѣ, «въ канавѣ», какъ выражаются французы, а что внутри дворцовъ, освѣщенныхъ болѣе, чѣмъ десятью тысячами свѣчей... что дѣлалось на праздникахъ, на которые тратилось по милліону франковъ?

„Съ бала, давнаго городомъ въ *Hôtel de ville*, государи уѣхали около двухъ часовъ, это повѣствуетъ офиціальныи исторіографъ императорскихъ увеселеній; кареты не могли во время ни прїѣхать, ни отвезти восемь тысячъ человѣкъ. Часы шли за часами, усталъ овладѣла гостями, дамы сѣли на ступеняхъ лѣстницы, другія просто легли въ залахъ на ковры и заснули у ногъ лакеевъ и *huissiers*, кавалеры шагали за нихъ, цѣпляясь за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось мѣсто, ковровъ было не видно, все было покрыто завальными цвѣтами, раздавленными бусами, лоскутками блондъ и кружевъ, тюля, кисей оторванныхъ ефесами, саблями, штyleмъ, царапавшими плечи“ и пр.

Я нарочно помянулъ однѣ *мелочи*: микроскопическая анатомія легче дастъ понятіе о разложеніи ткани, чѣмъ отрѣзанный ломоть трупъ...

IV.

Д а н и и л ы .

Въ июльскіе дни 1848 года, послѣ перваго террора и ошеломленья побѣдителей и побѣжденныхъ, явился представителемъ *угрызения совѣсти* угрюмый и худой старикъ. Мрачными словами заклеилъ онъ и проклялъ людей «порядка», разстрѣливавшихъ сотнями, не спрося имени, ссылавшихъ тысячами безъ суда и державшихъ Парижъ въ осадномъ положеніи. Окончивъ анаэму, онъ обернулся къ народу и сказалъ ему: «А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобъ тебѣ имѣть рѣчь».

Это былъ Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его сѣдинъ, его морщинъ, его глазъ, на которыхъ дрожала старая слеза и на которыхъ скоро ничего дрожать не будетъ.

Слова Ламенне прошли безслѣдно.

Черезъ двадцать лѣтъ другіе угрюмые старики явились съ своимъ суровымъ словомъ и ихъ голосъ погибъ въ пустынѣ.

Они не вѣрили въ силу своихъ словъ, но сердце не выдержало. Не сговариваясь въ своихъ ссылкахъ и удаленіяхъ, эти вемическіе судьи и Даніилы произнесли свой приговоръ, зная, что онъ не будетъ исполненъ.

Они, на горе себѣ, поняли, что это «ничтожное облако, мѣшающее величественному разсвѣту», не такъ ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье послѣ революціи не такъ-то скоро пройдутъ, и сказали это.

„Въ худшія времена древняго цезаризма, говорилъ Эдгаръ Кине на конгрессѣ въ Женевѣ, когда все было нѣмо, за исключеніемъ владыки, находились люди, оставлявшіе свои пустыни для того, чтобъ произнести нѣсколько словъ правды въ глаза падшимъ народамъ.

„Шестнадцать лѣтъ живу я въ пустынѣ и хотѣлъ бы, въ свою очередь, прервать мертвое молчаніе, къ которому привыкли въ наше время“.

Какую же вѣсть принесъ онъ съ своихъ горъ и во имя чего поднялъ рѣчь? Онъ ее поднялъ для того, чтобъ сказать своимъ соотечественникамъ (французъ, о чемъ бы ни говорилъ, говорить всегда о Франціи): «У васъ нѣтъ совѣсти... она умерла, раздавленная пятою сильнаго, она отреклась отъ себя. Шестнадцать лѣтъ искалъ я слѣдовъ ея и не нашелъ!»

„То же было при Цезаряхъ въ древнемъ мірѣ. Душа человѣческая исчезла.

Народы помогали своему порабощенію, рукоплескали ему, не показывая ни сожалѣнія, ни раскаянія. Совѣсть человѣческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всемъ, какъ теперь, и для того, чтобъ ее наполнить, надобно было *новаго бога*.

„Кто же наполнить въ наше время пропасти, вырытыя новымъ цезаризмомъ?“

„На мѣсто стертой, упраздненной совѣсти настала ночь, мы бродимъ въ потьмахъ, не зная, откуда искать помощи, къ кому обратиться. Все соучастникъ паденья: церковь и судъ, народы и общество... Глуха земля, глуха совѣсть, глухи народы; право погибло съ совѣстью; одна сила царить...“

„Зачѣмъ вы пришли, что вы ищете въ этихъ развалинахъ? Развалинъ? Вы отвѣчаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились въ обломкахъ напашаго аданія права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь, его здѣсь нѣтъ. Здѣсь война. Въ этой ночи безъ разсвѣта должны сталкиваться народы и племена и уничтожать другъ друга зря, исполняя волю властителей.“

Старикъ бросилъ для дѣтей нѣсколько цвѣтовъ, чтобъ уменьшить ужасъ картины. Ему рукоплескали. Они и тутъ не вѣдали, что творили. Черезъ нѣсколько дней отреклись отъ своихъ рукоплесканій.

Мѣсяца два передъ тѣмъ, какъ эти мрачныя слова раздались на женевскомъ сходѣ, въ другомъ швейцарскомъ городѣ другой изгнанный прежняго времени писалъ слѣдующія строки:

„Я не имѣю больше вѣры во Францію.“

„Если когда-нибудь она воскреснетъ къ новой жизни и оправится отъ страха самой себя, это будетъ чудо; изъ такого глубокаго паденья не подымалась ни одна больная нація. Я не жду чудесъ. Забытыя учрежденія могутъ возродиться, — потухнувшій духъ народа не оживаетъ. Несправедливое провидѣніе не дало мнѣ и того утѣшенья, которымъ оно такъ щедро надѣляетъ, въ замѣну бѣдности, всѣхъ изгнанниковъ: всегдашней надежды и вѣры въ мечты. Отъ всего прозягаго мною остались только уроки опытности, горькое разочарованіе и неизлечимая усталъ (épuisement). Мнѣ *холодно* на сердцѣ. Я не вѣрю больше ни въ право, ни въ человѣческую справедливость, ни въ здравый смыслъ. Я отошелъ въ равнодушіе, какъ въ могилу.“

Жирондистъ Мерсье, одной ногой уже въ гробу, говорилъ во время паденья первой имперіи: «Я живу еще только для того, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится!» «Я и этого не могу сказать, прибавилъ Маркъ Дюфрессъ, у меня нѣтъ особаго любопытства узнать, чѣмъ развяжется императорская эпопея».

И старикъ повернулся къ прошедшему и съ глубокой печалью показалъ его исхудалымъ потомкамъ. Настоящее ему не знакомо, чуждо, противно. Изъ его кельи вѣетъ могилой, отъ его словъ дрожь пробираетъ посторонняго.

Слова одного, строки другого, все скользнуло безслѣдно. Слушая ихъ, читая ихъ, у французовъ не сдѣлалось «холодно въ груди». Многие открыто негодовали: «Эти люди лишаютъ насъ силъ, повергаютъ въ отчаяніе... гдѣ въ ихъ словахъ *выходъ*, утѣшенье?».

Судъ не обязанъ утѣшать; онъ долженъ обличать, уличать.

тамъ, гдѣ нѣтъ сознанія и раскаянія. Его дѣло вызвать *сознательность*. Судъ и не пророчество, у него нѣтъ Мессіи для утѣшенія въ будущемъ. Онъ такъ же, какъ и подсудимый, принадлежитъ старой религіи. Судъ представляетъ чистую и идеальную сторону ея, а масса ея практическое, уклонившееся, истощенное приложеніе. Осуждающій служить поневолѣ практическимъ обвинителемъ идеала; защищая его, онъ указываетъ его односторонность.

Ни Эдгаръ Кине, ни Маркъ Дюфрессъ дѣйствительно не знаютъ *выхода*, и зовутъ вспять. Немудрено, что они его не видятъ, они къ нему стоятъ спиной. Они принадлежатъ къ прошедшему. Возмущенные безчестной кончиной своего міра, они схватили клюку и явились незванными гостями на оргію высокомернаго, самодовольнаго народа и сказали ему: «Ты все утратилъ, все продалъ, тебя ничто не оскорбляетъ, кромѣ правды, у тебя нѣтъ ни прежняго ума, у тебя нѣтъ прежняго достоинства. у тебя нѣтъ совѣсти, ты на днѣ паденья и, не только не чувствуешь твоего рабства, но туда же имѣешь притязаніе освободить народы и народности, украшаясь лаврами войны,—хочешь надѣть на себя оливковые вѣнки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающіе, пришли тебя звать къ раскаянію и если не пойдешь, сломимъ жезлъ нашъ надъ тобою».

Они видятъ свое войско отступающимъ, бѣгущимъ отъ своего знамени, и карой своихъ словъ хотятъ его возвратить въ прежній станъ *и не могутъ*. Для того, чтобъ ихъ собрать, надобно новое знамя, а его нѣтъ у нихъ. Они, какъ языческіе первосвященники, раздираютъ ризы свои, защищая падавшую святыню свою. Не они, а гонимые назареи возвѣщали воскресеніе и жизнь будущаго вѣка.

Кине и Маркъ Дюфрессъ скорбятъ объ оскверненіи храма своего, храма народнаго представительства. Они скорбятъ не только объ утратѣ во Франціи свободы человѣческаго достоинства, они скорбятъ *о потерѣ передового мѣста*, они не могутъ примириться съ тѣмъ, что имперія не предупредила единства Германіи, они ужасаются тому, что Франція сошла *на второй планъ*.

Вопросъ о томъ, *зачѣмъ* Франція, въ которую они сами не вѣрятъ, быть *на первомъ мѣстѣ*, не представлялся ни разу ихъ уму...

Маркъ Дюфрессъ съ раздраженнымъ смиреніемъ говоритъ, что онъ не понимаетъ *новыхъ вопросовъ*, т. е., экономическихъ; а Кине ищетъ того бога, который сойдетъ, чтобъ наполнить пустоту, оставленную потерей совѣсти... Онъ прошелъ мимо ихъ, они его не узнали и допустили его распятіе.

Р. S. Какъ комментарий къ нашему очерку, идетъ и странная книга Ренана о «современныхъ вопросахъ». Его тоже пугаетъ настоящее. Онъ понялъ, что дѣло идетъ плохо. Но что за жалкая терапия! Онъ видитъ больного по горло въ сифилисѣ и совѣтуетъ ему хорошо учиться и по классическимъ источникамъ. Онъ видитъ внутреннее равнодушіе ко всему, кромѣ матеріальныхъ выгодъ, и сплетаетъ на выручку изъ своего раціонализма нѣкую религію, католицизмъ безъ настоящаго Христа и безъ папы, но съ плотоумерщвленіемъ. Уму ставитъ онъ дисциплинарныя перегородки или, лучше, гигиеническія.

Можетъ, самое важное и смѣлое въ его книгѣ—это отзывъ о революціи: «Французская революція была великимъ опытомъ, но *опытомъ неудавшимся*».

И затѣмъ онъ представляетъ картину ниспроверженія всѣхъ прежнихъ институтовъ, стѣснительныхъ, съ одной стороны, но служившихъ отпоромъ противъ поглощающей централизаціи, и на мѣстѣ ихъ—слабого, беззащитнаго человѣка передъ давящимъ, всемогущимъ государствомъ и уцѣлѣвшей церковью.

Поневолю съ ужасомъ думаешь о союзѣ этого государства съ церковью, который совершается наглазно, который идетъ до того, что церковь тѣснитъ медицину, отбираетъ докторскіе дипломы у матеріалистовъ и старается рѣшать вопросы о разумѣ и откровеніи—сенатскимъ рѣшеніемъ, декретировать *libre arbitre*, какъ Робеспьеръ декретировалъ *l'être suprême*.

Не нынче, завтра церковь захватитъ воспитаніе—тогда что?

Французы, уцѣлѣвшіе отъ реакціи, это видятъ, и положеніе ихъ относительно иностранцевъ становится невыгоднѣе и невыгоднѣе. Никогда они не выносили столько, какъ теперь, и отъ кого же? Въ особенности отъ нѣмцевъ. Недавно при мнѣ былъ споръ одного нѣмецкаго ex-réfugié съ однимъ изъ замѣчательныхъ литераторовъ. Нѣмецъ былъ безпощаденъ. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость къ англичанамъ, которымъ всегда позволяли говорить нелѣпости изъ уваженія и увѣренности, что они нѣсколько поврежденные, и къ французамъ—изъ любви къ нимъ и изъ благодарности за революцію. Льготы эти остались только для англичанъ,—французы очутились въ положеніи старѣвшихъ и подурнѣвшихъ красавицъ, которыя долго не замѣчали, что средства ихъ уменьшились, что на обаяніе красотой надѣяться больше нечего.

Прежде имъ спускалось невѣжество всего находящагося за границами Франціи, употребленіе битыхъ фразъ, позолоченный стеклярусъ, слезливая сентиментальность, рѣзкій, вершающій тонъ и *les grands mots*,—все это утратилось.

Нѣмецъ, поправляя очки, трепалъ француза по плечу, приговаривая:

— Mais, mon cher et très-cher ami, эти готовые фразы, замѣняющія разборъ дѣла, вниманье, пониманье, мы знаемъ наизусть: вы намъ ихъ повторяли лѣтъ тридцать; онѣ-то вамъ и мѣшактъ видѣть ясно настоящее положеніе дѣлъ.

— Но какъ бы то ни было, все-же,—говорилъ литераторъ, видимо желая заключить разговоръ,—однако же, мой милый философъ, вы всѣ склонили голову подъ прусскій деспотизмъ; я очень понимаю, что для васъ это средство, что прусское владычество—ступень...

— Тѣмъ-то мы и отличаемся отъ васъ, перебилъ его нѣмецъ, что мы идемъ этимъ тяжелымъ путемъ, ненавидя его и покоряясь необходимости, имѣя цѣль передъ глазами, а вы *пришли* въ такое же положеніе, какъ въ гавань спасенья; для васъ это не ступень, а заключеніе,—къ тому же большинство его любить.

— C'est une impasse, une impasse, замѣтилъ печально литераторъ и перемѣнилъ разговоръ.

По несчастью, онъ заговорилъ о рѣчи Жюль Фавра въ Академіи. Тутъ окрысился другой нѣмецъ:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословіе можетъ вамъ нравиться? Лицемерье, неправда о наукѣ, неправда во всемъ; нельзя же два часа читать панегирикъ блѣдному Кузеню. И что ему было за дѣло защищать казенный спиритуализмъ? И вы думаете, что эта оппозиція спасетъ васъ? Это—риторы и софисты, да и какъ смѣшна вся эта процедура рѣчи и отвѣта. обязательная похвала предшественнику—весь этотъ средневѣковый бой пустословья.

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes...

Мнѣ было жаль литератора...

V.

С В Ѣ Т Л Ы Я Т О Ч К И .

Но за Данилами видны же и свѣтлыя точки, слабыя, дальнія, и въ томъ же Парижѣ. Мы говоримъ о Латинскомъ кварталѣ, объ этой Авентинской горѣ, на которую отступили учащіяся и ихъ учителя, то есть, тѣ изъ нихъ, которые остались вѣрны преданію 1789 года, энциклопедистамъ, горѣ, соціальному движенію.

Изъ переулковъ этого Лаціума, изъ четвертыхъ этажей невзрачныхъ домовъ его, постоянно идутъ ставленники и миссіонеры на борьбу и проповѣдь и гибнуть большею частью мо-

рально, а иногда физически, in partibus infidelium, т. е., по другую сторону Сены.

Объективная истина—съ ихъ стороны, всяческая правота и дѣльность пониманія—съ ихъ стороны, но и только. «Рано или поздно истина всегда побѣждаетъ». А мы думаемъ, *очень поздно и очень рѣдко*. Разумъ споконъ вѣка былъ недоступенъ или противенъ большинству. Для того, чтобъ *разумъ* могъ понравиться, Анахарсисъ Клоотсъ долженъ былъ одѣть его въ хорошенькую актрису, а ее раздѣть донага. Дѣйствовать на людей можно только, грезя ихъ сны яснѣе, чѣмъ они сами грезятъ, а не доказывая имъ свои мысли такъ, какъ доказываютъ геометрическія теоремы.

Латинскій кварталъ напоминаетъ средневѣковые чертозы или камалдолы, отступившія на шагъ отъ людского шума, съ своей вѣрой въ братство, милосердіе и, главное, въ скорое пришествіе царства божія. И это въ самое то время, когда за ихъ стѣнами рыцари и рейтеры жгли и рѣзали, лили кровь, грабили, засѣкали вилановъ, насиловали ихъ дочерей... Потомъ наступили другія времена, также безъ братства и второго пришествія, и это прошло—а камалдолы и чертозы остались при своей вѣрѣ. Правы еще смягчились, измѣнилась манера грабить, насиловать стали съ платой, обирать по принятымъ уставамъ; но царство божіе не приходило, а все неминуемо *наступало* (такъ казалось въ чертозахъ), знаменія становились все яснѣе, прямѣе; вѣра спасала иноковъ отъ отчаянія.

Съ каждымъ ударомъ, отъ котораго разлетаются въ прахъ послѣднія убогія свободы; съ каждымъ паденіемъ общества, съ каждымъ наглымъ шагомъ назадъ, Латинскій кварталъ приподнимаетъ голову, mezza voce, у себя дома поетъ марсельезу и, направляя фуражку, говоритъ: «Этого-то и надобно было. Они дойдутъ до предѣла... чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше». Латинскій кварталъ вѣрить *въ свой курсъ* и храбро чертитъ планъ своей «веси истины», идя въ разрѣзъ съ «весью дѣйствительности».

А Пьеръ Леру вѣрить въ Юва!

А В. Гюго—въ выставку братства!

VI.

П о с л ѣ н а б ѣ г а .

„Святой отецъ—теперь ваше дѣло!“
(Филиппъ II великому инквизитору). *Донъ-Карлосъ*.

Эти слова мнѣ такъ и хочется повторить Бисмарку. Груша зрѣла, и безъ его сіятельства дѣло не обойдется. Не церемоньтесь, графъ!

Я не дивлюсь тому, что дѣлается, и не имѣю права дивиться— я давно кричалъ свое: «берегись, берегись!..» Я просто *про-щаюсь*, и это тяжело. Тутъ нѣтъ ни противорѣчія, ни слабости. Человѣкъ можетъ очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будетъ очень больно; онъ можетъ, сверхъ того, предчувствовать, что она подымется, что ее ничѣмъ не остановишь; тѣмъ не меньше ему все-же будетъ *больно*, когда она подымется.

Мнѣ жаль личностей, которыхъ люблю.

Мнѣ жаль страны, которой первое пробужденіе я видѣлъ своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обезчещенную.

Мнѣ жаль этого Мазепу, котораго отвязали отъ хвоста одной имперіи, чтобъ привязать къ хвосту другой.

Мнѣ жаль, что я правъ, я словно соприкосновенный къ дѣлу, тѣмъ, что въ общихъ чертахъ его предвидѣлъ. Я досадую на себя, какъ досадуетъ дитя на барометръ, предсказавшій бурю и испортившій прогулку.

Италія похожа на семью, въ которой недавно совершилось какое-нибудь черное преступленіе, обрушилось какое-нибудь страшное несчастье, обличившее дурныя тайны,—на семью, по которой прошла рука палача, изъ которой кто-нибудь выбылъ на галеры... всѣ въ раздраженіи, невинные стыдятся и готовы на дерзкій отпоръ. Всѣхъ мучить безсильное желаніе мести, страдательная ненависть отравляетъ, разслабляетъ.

Можетъ, и *есть* близкіе выходы, но разумомъ ихъ не видать; они лежатъ въ случайностяхъ, во внѣшнихъ обстоятельствахъ, они лежатъ *внѣ границъ*. Судьба Италіи, *не въ ней*. Это само по себѣ одно изъ невыносимѣйшихъ оскорбленій; оно такъ грубо напоминаетъ недавній плѣнъ и чувство собственной несостоятельности и слабости, которое начало было стираться.

И только *двадцать лѣтъ!*

Двадцать лѣтъ тому назадъ, въ концѣ декабря, я въ Римѣ оканчивалъ первую статью «Съ того берега» и *измѣнилъ* ей, увлеченный сорокъ восьмымъ годомъ. Я былъ тогда въ полной силѣ развитія и съ жадностью слѣдилъ за развертывающимися событіями. Въ моей жизни не было еще ни одного несчастья, которое оставило бы сильный, ноющій рубецъ, ни одного упрека совѣсти внутри, ни одного оскорбительнаго слова снаружи. Я неся, слегка ударяя въ волны, съ безумнымъ легкомысліемъ, съ безграничной самонадѣянностью, на всѣхъ парусахъ. И всѣ ихъ одни за одними пришлось подвязать!

Во время перваго ареста Гарибальди, я былъ въ Парижѣ. Французы не вѣрили въ вторженіе ихъ войскъ. Мнѣ случалось

встрѣчаться съ людьми разныхъ слоевъ общества. Заявлятые ретрограды и клерикалы желали вмѣшательства, кричали о немъ, но сомнѣвались. На желѣзной дорогѣ, одинъ извѣстный французскій ученый, прощаясь со мной, говорилъ мнѣ: «У васъ, мой милый, сѣверный Гамлетъ, такъ фантазія настроена, вы видите одно черное, оттого вамъ и не очевидна невозможность войны съ Италіей; правительство слишкомъ хорошо знаетъ, что война за папу поставить противъ него все мыслящее, вѣдь, все-же мы Франція 1789 года». Первая новость, которую я не прочелъ, а *увидѣлъ*—былъ флотъ, отправлявшійся изъ Тулона въ Чивиту. «Это военная прогулка», говорилъ мнѣ другой французъ. «On ne viendra jamais aux mains, да и ненужно намъ мараться въ итальянской крови».

Оказалось *нужнымъ*. Нѣсколько юношей изъ «Лаціума» протестовали, ихъ посадили на съѣзжую, со стороны Франціи тѣмъ и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италія, благодаря нерѣшительности короля, шулерству министерства, дѣлала всѣ уступки. Но разсвирѣпѣлаго француза, упивающагося всякой побѣдой, нельзя было остановить,—къ крови, къ дѣлу ему надобно было прибавить крѣпкое слово.

И на этомъ крѣпкомъ словѣ, покрытомъ рукоплесканіями имперіи, подали руку ея злѣйшіе враги: легитимисты, въ видѣ стараго стряпчаго бурбоновъ—Беррье, и орлеанисты, въ видѣ стараго Фигаро временъ Людовика-Филиппа—Тьера.

Я считаю слово Руэра историческимъ откровеніемъ. Кто послѣ этого не понялъ Франціи, тотъ слѣпорожденный.

Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дѣло!

А вы, Мадцини, Гарибальди, послѣдніе Могикине, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь васъ ненужно. Вы свое сдѣлали. Теперь дайте мѣсто безумію, бѣшенству крови, которыми или Европа себя убьетъ, или реакція. Ну, что же вы сдѣлаете съ вашими ста республиканцами и вашими волонтерами, съ двумя-тремя ящиками контрабандныхъ ружей? Теперь миллионъ отсюда, миллионъ оттуда, съ иголками и другими пружинами. Теперь пойдутъ озера крови, моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотѣли даже и такой блѣдной республики, какъ февральская, не хотѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подносилъ кондитеръ Ламартинъ. Вы не хотѣли ни Мадцини стойка, ни Гарибальди героя. Вы хотѣли *порядка*.

Будетъ вамъ за то война, семилѣтняя, тридцатилѣтняя...

Вы боялись социальных реформъ, вотъ вамъ феніане съ боч-
кой пороха и зажженнымъ фителемъ.

Кто въ дуракахъ?

Генуя, 31 декабря, 1867 года.

Примѣчанія.

Стр. 5. „Maria E.“ — Марья Каспаровна Эрнъ; „Maria K.“ — Марья Федоровна Коршъ; „Frau H.“ — мать Герцена Луиза Ивановна Гаагъ. Всѣ онѣ вмѣстѣ съ Герценомъ и его женой вѣхали за границу.

Стр. 6. Иоганнъ-Фридрихъ Диффенбахъ (1794—1847), знаменитый въ свое время нѣмецкій хирургъ, профессоръ берлинскаго университета и директоръ хирургической клиники. Особенно славился искусственными образованиями носовъ, губъ, вѣкъ, исправленіемъ косоглазія и проч.

Стр. 11. Графъ Викторъ Никит. Панинъ (1801—1874). При Николаѣ I и Александрѣ II былъ министромъ юстиціи, занимая это мѣсто почти 30 лѣтъ (1832—61). Съ февраля по сентябрь 1860 г. былъ предѣвателемъ редакціонной комиссіи по освобожденію крестьянъ, причемъ старался насколько возможно затормозить и извратить эту реформу, стремясь освободить крестьянъ безъ земли, а помѣщикамъ предоставить надъ ними право вотчинной полиціи.

— Шарль Филиппонъ (1800—1857), знаменитый карикатуристъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Въ 1830 г. основалъ ежедневный сатирическій журналъ „La Caricature“, а съ 1 декабря ежедневную сатирическую газету съ карикатурами „Шаривари“, которая считалась въ 30—40-хъ годахъ лучшимъ сатирическимъ изданіемъ. „Шаривари“ существуетъ и доньятъ, хотя блестящій періодъ ея былъ во время редакторства Филиппона.

Стр. 12. Романья. итальянская про-

винція, до 1860 г. составлявшая сѣверную часть Папской области.

Стр. 13. Въ Поръ-Роялѣ (Port Royal) во Франціи, въ XVII вѣкѣ собиралось общество ученыхъ и литераторовъ, занимавшееся изученіемъ и усовершенствованіемъ французской литературы. Подробную исторію этого общества написалъ извѣстный французскій критикъ Сентъ-Бевъ въ нѣсколькихъ томахъ (1840—48).

Стр. 15. „Ближайшимъ изъ близкихъ“ Герценъ называетъ своего ближайшаго друга Н. П. Огарева.

Стр. 17. Карлъ-Альбертъ (1798—1849), король Сардинскій, прадѣдъ нынѣшняго итальянскаго короля Виктора-Эмануила III. Царствовалъ въ Пиемонтѣ съ 1831 г. Въ 1849 г., послѣ вторичной неудачной войны съ Австріей, отрекся отъ престола въ пользу своего сына Виктора-Эмануила II.

Стр. 18. Буквою А. означенъ Пав. Вас. Анненковъ (1812—1887), извѣстный критикъ, біографъ и издатель Пушкина. Онъ находился въ это время въ Парижѣ и былъ очень близокъ съ Герценомъ.

Стр. 22. Эженъ-Луи Кавеньякъ, французскій генералъ (1802—1857). Въ 1848 г., во время 2-ой французской республики, былъ военнымъ министромъ и жестоко подавилъ въ Парижѣ возстаніе рабочихъ въ такъ называемые „іюньскіе дни“.

Стр. 24. Буквами означены: М. Ѳ. — Марья Федоровна Коршъ, А. — Пав. Вас. Анненковъ, И. Т. — Ив. Серг. Тургеньевъ.

Стр. 25. Тома Кутюръ (1815—1879), французскій живописецъ, лучшая картина котораго „Римляне время упадка“ произвела большое впечатлѣніе въ парижскомъ Салонѣ 1847. Очевидно, что на эту картину Герценъ здѣсь и ссылается.

Стр. 27. „Nel mezzo del camin di nostra vita“ (посреди дороги нашей жизни)—выраженіе, взятое изъ начала „Божественной Комедіи“ Данте.

Стр. 30. Рамонъ де-ла-Сагра (1788—1871), испанскій политическій дѣятель и писатель. Главный его трудъ—„Исторія острова Кубы“ (10 т.). Кроме того, написалъ „Чтенія о социальній экономіи“ (1840), книгу о Сѣверо-Америк. Соед. Штатахъ (1836) и проч.

Стр. 32. „Тошій французскій литераторъ“, о которомъ здѣсь упоминается какъ о приставленномъ къ журналу „La Tribune des Peuples“, былъ Жюль Лешевалье.

— Давидъ д'Анже или Анжерскій (1788—1856), названный такъ по имени своей родины, гор. Анжера, былъ извѣстный французскій скульпторъ, создавшій много статуй, бюстовъ и медальоновъ знаменитыхъ людей.

Стр. 35. Иосифъ Вронскій (1778—1853), польскій философъ. Въ молодости участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ въ Польшѣ подъ начальствомъ Костюшки, затѣмъ русскимъ офицеромъ. Переселясь во Францію занялся философіей и математикой и издалъ на франц. языкѣ рядъ книгъ о философій Банта, математикѣ и техникѣ. Затѣмъ онъ создалъ такъ называемое ученіе мессіанизма, въ которомъ польскому народу предназначается быть мессіей-освободителемъ всѣхъ угнетенныхъ странъ. Его книга „Мессіаниззмъ“ появилась въ 1831—33 гг. (2 т.). Мицкевичъ, въ 40-хъ годахъ увѣровалъ въ это ученіе.

— Андрей Товянскій (1799—1878), польскій мистикъ. Слѣпой отъ рожденія, онъ былъ подверженъ различнымъ галлюцинаціямъ и видѣніямъ. За возбужденное имъ волненіе и эксцентрическая проповѣди въ 1842 г. онъ былъ удаленъ изъ Франціи. Проповѣдуя мессіанизмъ, какъ и Вронскій (см. предыдущее прим.), Товянскій пошелъ еще далѣе Вронскаго и провозгласилъ себя самого мессіей. Въ числѣ его учениковъ („товянчиковъ“) былъ и знаменитый Мицкевичъ.

— Этьенъ Кабе (1788—1856), франц.

коммунистъ, изложившій свою систему въ утопическомъ романѣ „Путешествіе въ Икарію“ и неудачно пробовавшій основать коммунистическую общину въ Техасѣ съ общностью имущества и труда, но съ сохраненіемъ брака и семьи.

Стр. 42. Этьенъ Араго (1802—1892), писатель и политическій дѣятель, послѣ февральской революціи 1848 г. былъ назначенъ управляющимъ почтовымъ вѣдомствомъ, а послѣ демонстраціи 1 (13) іюня 1849 г. бѣжалъ въ Бельгію.

— Жюль Бастидъ (1800—1879), былъ сперва адвокатомъ, затѣмъ участвовалъ въ тайныхъ обществахъ, въ 1832 г. былъ приговоренъ къ смерти, но бѣжалъ въ Англию. Въ 40-хъ годахъ сотрудничалъ въ „National“, а съ 10 мая по 26 декабря 1848 г. былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Написалъ рядъ историческихъ сочиненій.

Стр. 43. Мюллеръ-Стрюбингъ — нѣмецкій журналистъ 40-хъ годовъ. Онъ въ 1834—39 гг. просидѣлъ 5 лѣтъ въ тюрьмѣ за участіе въ тайныхъ обществахъ. Въ 40-хъ и 50-хъ годахъ онъ былъ очень близокъ съ Герценомъ, Бакуниннымъ, Тургеневымъ и другими русскими, находившимися за границей.

Стр. 46. Феликсъ Пиа (1810—1889), французскій революционеръ и драматическій писатель. Изъ его драмъ особенной популярностью пользовалась „Парижскій Ветогшикъ“ (содержаніе которой подробно изложено въ V томѣ, стр. 28—34), представленная на Парижѣ въ 1847 г. и переведенная на русскій языкъ М. П. Федоровымъ въ 1862 г. Принималъ дѣятельное участіе въ революціи 1848 г. и въ парижской коммунѣ 1871 года.

Стр. 47. Графъ Феличе Орсини (1819—1858), итальянскій революционеръ. Участвовалъ въ 1844 г. въ заговорѣ братьевъ Бандьера, за что былъ осужденъ на пожизненную каторгу. Помилованный въ 1846 г., онъ участвовалъ въ 1854 г. въ революціонномъ движеніи въ Италіи, послѣ чего бѣжалъ въ Англию. 14 января 1858 г. онъ совершилъ посредствомъ разрывныхъ бомбъ покушеніе на жизнь Наполеона III, какъ измѣнника дѣлу освобожденія Италіи, за что и былъ казненъ.

— Жанъ - Иньясъ - Исидоръ-Жераръ Гранвилъ (1803—47), извѣстный французскій рисовальщикъ и карикатуристъ, прославившійся своими мѣтками

и ядовитыми политическими карикатурами в 30-х и 40-х годах.

Стр. 48. Артуръ Гергей (род. в 1818 г.). Во время венгерской революции 1848—49 г., одержавъ рядъ побѣдъ надъ австрийцами, сталъ венгерскимъ военнымъ министромъ, а затѣмъ, по отреченіи Кошута, и диктаторомъ. Вынужденный при Виллагошѣ сдаться русской арміи Паскевича, подвергся неосновательнымъ обвиненіямъ въ изменѣ. Удалившись затѣмъ въ частную жизнь, занимался химіей. (Въ текстѣ ошибочно названъ Гервей.)

Стр. 51. Францъ-Іосифъ Галль (1758—1828), нѣмецкій физиологъ и френологъ, создавшій собственную систему френологіи и утверждавшій, что по формѣ и выпуклостямъ черепа, можно судить о способностяхъ и наклонностяхъ каждого человѣка.

Стр. 54. Чиро Менотти (1798—1831) в 1831 г. составилъ заговоръ съ цѣлью объединенія Италіи въ одно королевство съ тѣмъ, чтобы королемъ Италіи былъ моденскій герцогъ Францискъ IV. Заговоръ не удался и Менотти былъ повѣшенъ. Въ 1879 г. ему воздвигнута въ Моденѣ статуя.

— Братья Атилио (род. 1817) и Эмилио (род. 1819) Вандіера служили сперва въ австрийскомъ флотѣ; стремясь освободить Италію, вошли въ сношенія съ Маццини и хотѣли поднять восстаніе въ Калабріи, но были схвачены и разстрѣляны въ Ковенцѣ 25 июля 1844 г. съ семьёю изъ своихъ товарищей.

— Франсуа-Нозль (онъ называлъ себя Кай-Гракхъ) Вабёфъ (1760—1797), казненный за предпринятый имъ, но неудавшійся коммунистическій заговоръ.

Стр. 55. Подъ „дикимъ вопремъ“ подразумевается неаполитанскій король Фердинандъ II (1810—1859), а подъ „траурнымъ кучеромъ“ императоръ Наполеонъ III.

Стр. 56. Даніэль Манинъ (1804—1857) составилъ въ 1847 г. въ Венеціи, съ цѣлью ея освобожденія отъ австрийскаго владычества, заговоръ, за что былъ заключенъ въ тюрьму. Освобожденный народомъ, Манинъ былъ въ теченіи 1½ года президентомъ венеціанской республики, мужественно отражая съ марта 1848 до конца августа 1849 г. нападенія австрийскихъ войскъ, а затѣмъ, уда-

лившись во Францію, какъ журналистъ работалъ для объединенія Италіи. Ему воздвигнуты памятники въ Венеціи и Туринѣ, какъ неизбежному итальянскому патриоту.

Стр. 58. Франческо Гвиччардини (1483—1540) и Лунджи-Антоніо Муратори (1672—1750), итальянскіе историки, изъ которыхъ первый прославился своей „Исторіей Италіи“ (за время 1492—1534 гг.), выдержавшей въ 50 лѣтъ 10 изданій и переведенной почти на всѣ европейскіе языки; а второй, Муратори, издалъ многолетнюю коллекцію источниковъ по исторіи Италіи („Regum italicarum scriptores“). Далѣе у Герцена идетъ перечисленіе древнихъ итальянскихъ фамилій (Литта, Боромей и др.), встрѣчающихся у этихъ двухъ историковъ.

— Генералъ Козенцъ, Энрико (р. 1820 г.) былъ всегдашнимъ сподвижникомъ Гарибальди, начиная съ защиты Рима въ 1849 г. и до завоеванія Сициліи и Неаполя въ 1860 г. Такимъ же сподвижникомъ Гарибальди былъ въ 1860 г. и Сиртори, защищавшій ранѣе (въ 1848—49 гг.) Венецію.

Стр. 60. Кола ди-Ріензи или Никола-Лаврентій Габрини (1813—1854) хотѣлъ возстановить въ Римѣ древній республиканскій строй, провозгласилъ себя въ 1847 г. народнымъ трибуномъ и изгналъ дворянство, но черезъ 7 мѣсяцевъ принужденъ былъ покинуть Римъ. Прибывъ въ Авиньонъ (гдѣ тогда пребывали папы), онъ примирился съ папой. Въ 1854, въ званіи сенатора, по порученію папы Иннокентія VI, Ріензи отправился въ Римъ для борьбы съ дворянствомъ, но возбудилъ противъ себя народъ и былъ убитъ.

— Теверино—герой романа Жоржъ-Занда „Теверино“.

Стр. 61. Іоаннъ (Джованни) Прочида (1225—1302), владѣлецъ острова Прочиды въ Неаполитанскомъ заливѣ, взбунтовавшій въ 1282 г. Сицилію противъ французовъ, что произвело такъ назыв. сицилійскую вечерню, когда были избиты всѣ французы и послѣдовало отпаденіе Сициліи отъ Неаполя.

Стр. 66. Тальма, Франсуа-Жозефъ (1763—1826), знаменитый французскій актеръ-трагикъ. Первый изъ актеровъ вмѣсто камзолловъ сталъ надѣвать, соотвѣтствовавшіе исполняемымъ ролямъ, костюмы. Во время революціи былъ ея

приверженцем, затѣмъ сталъ любимцемъ Наполеона I.

— Жанъ-Батистъ Клеберъ (1753 — 1800), даровитый французскій генералъ, отличавшійся во время войнъ 1-ой республики и въ 1798 г. одержавшій въ Египтѣ побѣду при Геліополисѣ. Былъ убитъ турецкимъ фанатикомъ.

Стр. 68. Карлъ-Теодоръ Кернеръ (1791—1813), нѣм. поэтъ, авторъ патристической трагедіи „Прини“ и лирическихъ пьесъ, возбуждавшихъ нѣмцевъ къ борьбѣ съ французами: убитъ въ сраженіи съ послѣдними.

Стр. 69. Австрійскій фельдмаршалъ гр. Иосифъ Радецкій (1766—1860), вытѣсненный въ 1848 г. изъ Милана восставшими его жителями, отличился въ 1848 и 1849 гг., разбивъ пьемонтскаго короля Карла-Альберта и покоривъ Венецію.

Стр. 70. Фридрихъ Каппъ (1824—1884), нѣмецкій писатель, оставившій нѣсколько цѣнныхъ сочиненій по исторіи Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ („Исторія рабства въ Соед. Штатахъ“, „Исторія нѣмецкой эмиграціи въ Америку“, „Торговля солдатами нѣмецкихъ государей для Америки“ и др.).

— „Vom Andern Ufer“ („Съ того берега“) помѣщено въ V томѣ настоящаго изданія.

Стр. 76. Зондербундъ — союзъ семи клерикальных швейцарскихъ кантоновъ, образовавшійся въ 1843 г. для противодѣйствія радикальной политикѣ остальныхъ кантоновъ. Послѣ пораженія его войскъ государственными войсками остальныхъ кантоновъ Швейцаріи Зондербундъ въ 1847 г. прекратилъ свое существованіе.

Стр. 77. Нѣмецкій коммунистъ Вильгельмъ Вейтлингъ (1808—1871), по профессіи портной, въ началѣ 40-хъ годовъ проповѣдовалъ коммунизмъ въ Швейцаріи, въ 1844—46 гг. жилъ въ Англии, въ 1848 г. агитировалъ въ Германіи, гдѣ устроилъ „Союзъ освобожденія“, но въ 1849 г., спасаясь отъ ареста, эмигрировалъ въ Нью-Йоркъ, гдѣ и жилъ до своей смерти, издавая (въ 1851—54 гг.) газету „Republik der Arbeiter“. Ему принадлежитъ рядъ книгъ, гдѣ онъ излагалъ свою систему.

Стр. 79. Джемсъ Фази (1796—1878), швейцарскій государственный дѣятель

и писатель; 5—8 октября 1846 г. организовалъ въ Женевѣ восстаніе и сталъ во главѣ временнаго, а затѣмъ преобразованнаго правительства, какъ президентъ Женевского кантона.

Стр. 81. Банкиръ Жакъ Лафитъ (1767—1844) при реставраціи былъ либеральнымъ депутатомъ, много способствовалъ къ осуществленію июльской революціи 1830 г., послѣ которой нѣсколько мѣсяцевъ былъ министромъ финансовъ, но съ 1831 г. перешелъ въ оппозицію.

— Казиміръ Перье (1777—1832) въ 1831 г. былъ президентомъ палаты депутатовъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ. Былъ типичнымъ представителемъ буржуазнаго правительства Луи-Филиппа и отличался деспотическими приемами и безучастіемъ къ рабочему классу.

— Генералъ отъ инфантеріи графъ Александръ Ив. Остерманъ-Толстой (1770—1857), участвовалъ въ войнѣ съ Турціей подъ начальствомъ Потемкина, въ 1812 г. командовалъ пѣх. корпусомъ, а въ 1813 г. особенно отличился при Кульмѣ, гдѣ ему оторвало ядромъ руку. Впослѣдствіи командовалъ гренадерскимъ корпусомъ.

Стр. 89. „Близокъ я былъ только съ однимъ человѣкомъ... и затѣмъ я былъ близокъ съ нимъ!..“ Здѣсь подразумѣвается нѣмецкій поэтъ и революціонеръ Георгъ Гервегъ (1817—1875), съ которымъ связана семейная драма въ жизни Герцена.

Стр. 98. Эммануэль-Жозефъ Сіеъ, французскій политическій дѣятель (1748—1836). Сперва былъ аббатомъ, а при Наполеонѣ I графомъ. Соудѣствовалъ выработкѣ нѣсколькихъ французскихъ конституцій и первый предсказывалъ господствующую роль третьяго сословія (буржуазіи) (или, какъ ее называютъ здѣсь Герценъ, „мѣщанства“).

Стр. 99. „The Dream“ (Сонъ)—извѣстное стихотвореніе Байрона, который и подразумѣвается здѣсь подъ „оранжерейнымъ юношей“.

— Генри-Джонъ-Темъ Пальмерстонъ (1784—1865), извѣстный англійскій политическій дѣятель, неоднократно бывшій министромъ; принадлежалъ къ либеральной партіи.

— Лордъ Джонъ Россель (1792—1878) въ 1832 г. провелъ избирательную реформу въ Англии; дважды былъ премьеромъ; былъ защитникомъ представительства меньшинства и реформы

палаты пэрэвъ. Подобно Пальмерстону принадлежалъ къ либераламъ.

Стр. 100. „The Darkness“ (Тьма)—извѣстное стихотвореніе Байрона.

Стр. 101. Въ концѣ этой главы Герценъ вспоминаетъ о смерти своей жены Натальи Александровны, происшедшей за три года передъ тѣмъ, какъ онъ писалъ эти строки.

Стр. 102. Orbis pictus („Миръ въ картинкахъ“)—заглавіе книги для дѣтей, составленной знаменитымъ чешскимъ педагогомъ XVII в. Амосомъ Коменскимъ. Затѣмъ этими двумя словами озаглавливались и другія книги для дѣтскаго чтенія.

Стр. 113. Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде (1780—1862) былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ и государст. канцлеромъ, въ царствованіе Николая I. Самостоятельныхъ мнѣній въ политикѣ не имѣлъ, а всегда подчинялся влиянію Меттерниха и всегда относился съ ненавистью къ освободительнымъ идеямъ.

Стр. 114. Пьеръ-Жюль Барошъ (1802—1870) въ 1850—51 гг. министръ внутреннихъ дѣлъ, извѣстенъ, какъ ревностный бонапартистъ и реакціонеръ.

Стр. 115. Марія-Анна Ленорманъ (1772—1843), знаменитая французская гадалка, нажившая большое состояніе благодаря покровительству императрицы Жозефины. Изгнанная въ 1809 г. изъ Франціи, она въ отищеніе написала „Пророческія воспоминанія одной Сивиллы“ (гдѣ она предсказывала надежныя Наполеона I) и „Историческіе и секретныя мемуары императрицы Жозефины“.

— Въ улицѣ Jerusalem (Иерусалимской) съ давнихъ временъ помѣщается полицейская парижская префектура.

Стр. 120. Жозефъ Фуше (1763—1820). Въ 1790-хъ годахъ былъ крайнимъ революціонеромъ, а при Наполеонѣ I, который сдѣлалъ его герцогомъ Отрантскимъ, сталъ министромъ полиціи и имѣлъ громадное влияніе на внутреннія дѣла.

Стр. 121. Графъ Альфредъ Фаллу (1811—1886), легитимистъ и клерикалъ, во время президентства Луи-Наполеона былъ министромъ нар. просвѣщенія. Въ своихъ сочиненіяхъ пропагандировалъ обскурантизмъ.

— Огюсть-Адольфъ Бильо (1805—1863) въ 1848 г. былъ демократомъ, но затѣмъ сдѣлался рьянымъ бонапарти-

стомъ и былъ при Наполеонѣ III министромъ внутреннихъ дѣлъ.

— Маркизъ Анри-Огюсть Ларошъ-Жакленъ (1805—1867) въ 1848 г., состоя депутатомъ, былъ первымъ изъ роялистовъ, признавшихъ республику.

Стр. 124. „Proscrit“ и „Nouveau Monde“—революціонные журналы, издававшіеся въ Англіи въ то время французскими и др. эмигрантами изъ континентальной Европы.

Стр. 126. „Отцомъ Леонтиемъ“ здѣсь Герценъ называетъ тогдашняго начальника штаба корпуса жандармовъ, управлявшаго III отдѣленіемъ, ген. Леонтія Васильева Дуббельта.

Стр. 128. Французскій филантропъ, аббатъ Шарль-Мишель Лепе (1712—1789) изобрѣлъ для глухонѣмыхъ азбуку въ видѣ жестовъ и на свои средства основалъ въ 1771 г. институтъ для глухонѣмыхъ.

Стр. 132. Вартбургскій праздникъ—торжество, происходившее 18 октября 1817 г. въ Вартбургѣ по поводу трехсотлѣтія реформациі, причемъ былъ основанъ общій союзъ нѣмецкихъ студентовъ.

Стр. 136. Общегерманскій парламентъ засѣдалъ въ 1848 г. въ церкви св. Павла, во Франкфуртѣ.

Стр. 137. Сальпы—классъ оболочниковъ, свободно плавающихъ, одиночныхъ или колоніальныхъ, морскихъ животныхъ.

Стр. 139. Массимо д'Азеліо (1798—1866), итальянскій писатель и политическій дѣятель. Его романъ „Гекторъ Фірамоска или Барлеттскій поединокъ“ („La Disfida di Barletta), о которомъ здѣсь говоритъ Герценъ) былъ дважды переведенъ на русскій языкъ (1847 и 1878). Азеліо въ 30-хъ и 40-хъ годахъ много способствовалъ пробужденію національнаго самосознанія Італіи. Съ 1849 г. былъ премьеръ-министромъ.

Стр. 140. Даніэль О'Коннель (1775—1847), знаменитый ирландскій агитаторъ, всю свою жизнь дѣятельно агитировавшій противъ уніи Ирландіи съ Англіей; съ 1830 г. былъ депутатомъ парламента, а съ 1842 г. лордъ-мэромъ Дублина.

Стр. 146. Эмиль Жирарденъ (1806—1881), извѣстный журналистъ, основавшій въ 1835 г. дешевую большую ежедневную газету „Presse“, гдѣ первый во Франціи ввелъ систему безмѣрной рекламы. Постоянно мѣнялъ убѣжденія

и приставалъ къ той партии, которая давала больше выгоды.

Стр. 147. Викторъ Консидеранъ (1808—1893), французскій социалпстъ, придерживавшійся школы Фурье. Главный его трудъ „Destinée sociale“ (1836 г., 3 тома).

Стр. 156. Буржуазный экономистъ Леонъ Фопё (1803—1854), былъ съ 1846 г. оппозиционнымъ членомъ палаты депутатовъ, а во время президентства Луи-Наполеона занималъ мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, но незадолго до переворота 2 декабря 1851 г. оставилъ политическую дѣятельность.

Стр. 161. Статья „По поводу одной драмы“ помѣщена въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 31—51).

Стр. 164. Жанъ-Жакъ Камбасересъ, герцогъ Пармскій (1753—1824), искусный юристъ, дѣятель французской революціи и первой имперіи, много способствовавшій упроченію Наполеоновскаго вліянія. Онъ главнымъ образомъ выработалъ французскій существующій нынѣ Наполеоновскій кодексъ. Былъ министромъ юстиціи во время консульства и имперіи.

Стр. 166. Леоне-Леони—герой романа Жоржа-Занда подъ этимъ-же названіемъ (перев. на русскій языкъ).

Стр. 175. Та часть „Былого и Думъ“, о которой упоминаетъ здѣсь Герценъ въ примѣчаніи, не падана до сихъ поръ; отрывокъ изъ нея (котораго нѣтъ въ заграничномъ изданіи) помѣщенъ ниже, см. стр. 184—191.

Стр. 179. Буквами М. К. обозначена Марья Каспаровна Эрнъ (въ замужествѣ Рейхель).

Стр. 184. Отдѣлъ III, стр. 184—191, въ которомъ разсказывается о смерти Нат. Алекс. Герценъ, относится къ не напечатанной до сихъ поръ части „Былого и Думъ“. Отрывокъ этотъ въ первый разъ былъ напечатанъ въ сборникѣ „Памяти В. Г. Вѣлинскаго“ Москва, 1899 г., стр. 241—245. Затѣмъ съ другой (повидимому) рукописи напечатанъ въ первой книжкѣ „Освобожденія“, 1903 г., стр. 16 в. — 16 н. Здѣсь перепечатано изъ „Освобожденія“.

Стр. 185. Энгельсонъ—русскій эмигрантъ, см. о немъ статью у Герцена, т. III, стр. 205—233.

Стр. 186. Саша—сынъ Герцена, Александръ Александровичъ Герценъ (р.

1839) фивіологъ, профессоръ въ Лозаннѣ.

Стр. 187. Тата—дочь Герцена Наталія Александровна.

Стр. 188. Оленька — дочь Герцена Ольга Александровна, за мужемъ за франц. историкомъ Габріелемъ Моно.

Стр. 196. Польскій генералъ Иосифъ Высоцкій (1809—1874) принималъ дѣятельное участіе въ восстаніи 1830—31 гг., а послѣ штурма Варшавы эмигрировалъ. Въ 1843, во главѣ сформированнаго имъ польскаго легіона, принималъ участіе въ венгерской войнѣ; по окончаніи ея бѣжалъ въ Турцію. Во время Крымской войны хотѣлъ сформировать польскій легіонъ, но не получилъ разрѣшенія на это со стороны Франціи. Во время восстанія 1863 г. командовалъ отрядомъ около Ломжи, а затѣмъ вернулся въ Парижъ.

Стр. 199. Подъ историкомъ „десяти лѣтъ“ подразумевается Луи-Бланъ, издавшій въ 1840—44 гг. свою „Histoire des dix ans: 1830—1840“, въ 5 томахъ (последнее, 14-е изданіе 1879—81 гг. вышло въ 2 томахъ).

Стр. 201. Графъ Станиславъ Ворцель (1800—1858) участвовалъ въ польскомъ восстаніи 1830—31 гг., послѣ чего эмигрировалъ въ Парижъ, а съ 1849 г. жилъ въ Лондонѣ, гдѣ былъ членомъ революціоннаго европейскаго комитета и былъ близкимъ другомъ Герцена.

Стр. 217. „Коля“—второй сынъ Герцена, утонувшій въ морѣ въ 1851 г.

Стр. 222 — 223. Буквою Т., судя по связи съ предыдущимъ, обозначенъ Тесле дю-Моте.

Стр. 224. Рукописей, присланныхъ въ 1854 г. Энгельсономъ Герцену и напечатанныхъ послѣднимъ тогда-же, было двѣ: 1) „Емельянъ Пугачевъ честному казначеству и всему люду русскому шлетъ низкій поклонъ“ и 2) „Душе моя, душе моя! Восстанн, что слышишь?“ (см. „Всемирный Вѣстникъ“ 1906 г., № 1, стр. 17). Въроятно, о второй изъ этихъ рукописей упоминаетъ Герценъ далѣе (на стр. 227).

Стр. 231. Томасъ Мильнеръ-Гибсонъ (1806—1884), англійскій радикальный политическій дѣятель. Былъ членомъ парламента съ 1837 г., участвовалъ въ отмианіи хлѣбныхъ законовъ и защищалъ эмансипацію евреевъ. Въ 1859—1866 гг. былъ министромъ торговли и послѣ того не участвовалъ въ политической дѣятельности.

Стр. 234. „Англія“ и послѣдующіе отрывки, собранные въ этой части „Вылого и Думъ“, не были обработаны самимъ Герценомъ, какъ цѣлое, и подготовлены къ печати; появились они отдѣльными статьями въ „Полярной Звѣздѣ“ и „Колоколѣ“ и затѣмъ были напечатаны въ „Собраніи сочиненій“ (т. IX и X) и въ „Сборникѣ посмертныхъ статей“. Насколько возможно было безъ предварительныхъ критическихъ изслѣдованій связать и установить порядокъ статей,—это сдѣлано; такъ, напримѣръ, статья „Ледрю-Ролленъ и Кошутъ“ въ „Сборникѣ посмертныхъ статей“ представляетъ очевидное продолженіе главы II „Англіи“ (съ повтореніемъ даже нѣсколькихъ страницъ), поэтому она присоединена къ этой послѣдней. Точно также статья „Ф. Ша, В. Гюго“ и т. д. „Сборника посмертныхъ произведеній“ присоединена въ настоящемъ изданіи въ III главѣ „Англіи“. „Статья Нѣмцы въ эмиграціи“ („Сборникъ посмерт. произведеній“) повидимому, представляетъ V главу „Англіи“, она и помѣщена на этомъ мѣстѣ. Но только нахожденіе подлинныхъ рукописей и критико-библиографическое изученіе сочиненій Герцена, для котораго открывается свободная возможность съ выходомъ настоящаго изданія, могутъ опредѣлить надлежащимъ образомъ мѣсто и связь этихъ membra disiecta послѣдней части „Вылого и Думъ“.

Стр. 235. Лола Монтесъ (1820—1861), авантюристка-танцовщица, ставшая фавориткой баварскаго короля Людовика I и вызвавшая народное возстаніе въ Мюнхенѣ (1848), вслѣдствіе чего и была изгнана изъ Баваріи.

Стр. 238. Агостино Вергани (1812—1886), итальянскій политическій дѣятель. Принималъ участіе въ революціи 1848 г., а въ 1860 г. содѣйствовалъ экспедиціи Гарибальди въ Сицилію и управлялъ Неаполемъ. Съ 1860 г. былъ членомъ парламента, состоя однимъ изъ вожаковъ радикально-республиканской партіи.

— Гудельмо Пепе (1782—1855), вождь неаполитанской революціи 1820—21 гг., а въ 1848 г. командовавшій въ осажденной австріяцами Венеціи.

Стр. 241. Джироламо Ромарино (1792—1849), итальян. генералъ. Участвовалъ въ наполеоновскомъ походѣ въ Россію въ 1812 г., въ 1821 г.—въ возстаніи въ Пьемонтѣ, въ 1831 г.—въ польскомъ

возстаніи, затѣмъ въ испанскихъ междоусобныхъ войнахъ. Въ 1834 г. пытался поднять возстаніе въ Пьемонтѣ, а въ 1849 г., принятый въ сардинскую армию, за неудачныя дѣйствія противъ австрийцевъ, былъ разстрѣлянъ по приговору военнаго суда.

Стр. 259. Судукъ (1782—1867), — негрятинскій императоръ царствовавшій въ Гаити, на островѣ Санъ-Доминго съ 1850 до 1858 г. подъ именемъ Фаустина I. Ранѣе (съ 1847 г.) былъ президентомъ республики. Негромотный Судукъ отличался необыкновенной глупостью, кровожадностью и трусостью. Въ 1858 г. былъ низвергнутъ народными возстаніемъ и высланъ въ Ямайку, а въ Гаити была вновь восстановлена республика.

Стр. 261. Джулія Грива (1811—1869), славившаяся въ свое время итальянская оперная пѣвица.

— Луиджи Лаблазъ (1794—1858), знаменитый итальянскій оперный пѣвецъ (басъ).

Стр. 267. „Марьяна“—тайное революціонное общество, существовавшее во Франціи въ 1850-хъ годахъ.

— Графъ Александръ Валевскій (1810—1868), сынъ Наполеонъ I и польки Валевской. Принималъ участіе въ возстаніи 1831, послѣ чего эмигрировалъ. При Наполеонѣ III былъ посланникомъ при разныхъ дворахъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ, сенаторомъ и государственнымъ министромъ.

— Джозефъ Меллордъ Вильямъ Турнеръ (1776—1851) занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди англійскихъ художниковъ.

Стр. 271. Шарль Бланъ (1813—1882), братъ Луи Влана, извѣстный историкъ искусства, имѣвшій большое вліяніе на развитіе во Франціи художественнаго пониманія и написавшій рядъ цѣнныхъ трудовъ по исторіи искусства.

— Клодія Тансенъ (1681—1749), мать знаменитаго Да Аламбера, франц. писательница. Писала романы, а салонъ ея посѣщался избраннымъ образованнымъ обществомъ.

Стр. 282. Подъ „краковскимъ дѣломъ“ подразумѣвается народное возстаніе въ Краковѣ въ 1846 г., послѣ чего Краковъ, съ 1815 г. существовавшій въ видѣ самостоятельной республики, окончательно былъ присоединенъ къ Австріи.

— Людовикъ Мирославскій (1813—1878), польскій революціонеръ, участво-

вазій въ востаніи 1831 г., затѣмъ эмигрировавшій. Приговоренный по процессу 1845 г. къ пожизненной тюрьмѣ за попытку востанія въ Повнани, онъ былъ освобожденъ при революціи 1848 г. Въ 1849 г. Мирославскій принималъ участіе въ сицилійскомъ востаніи и въ баденской революціи. Въ 1863 г. провозглашенный радикальной партіей диктаторомъ, Мирославскій, потерпѣвъ неудачу, удалился изъ русской Польши. Онъ написалъ рядъ военныхъ сочиненій на польскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

— Дмитрій Братіано (1818 — 1892), румынскій политическій дѣятель. Послѣ неудачи румынской революціи 1848 г., бѣжалъ въ Лондонъ, гдѣ былъ членомъ европейскаго революц. комитета. Въ 1859 г. вернулся въ Румынію.

Стр 285. „Невшательскимъ вопросомъ“ здѣсь называются притязанія, которыя возымѣла въ 1858 г. Пруссія на суверенную власть надъ Невшательскимъ кантономъ, что однако было отклонено Швейцаріей.

Стр. 287. Фердинадъ Фрейлигратъ (1810 — 1876), нѣмецкій политическій поэтъ. Въ 1848 г. былъ, какъ глава демократовъ въ Дюссельдорфѣ, принужденъ эмигрировать въ Англію, откуда вернулся на родину только въ 1868 г. Его стихотворенія доставили ему громкую извѣстность.

Стр. 288—290. Буквою К. обозначенъ нѣмецкій революціонеръ и эмигрантъ Готфридъ Кинкель.

Стр. 289. Робертъ Влюмъ (1807—1848), нѣмецкій агитаторъ, руководившій демократическимъ движеніемъ въ Саксоніи и въ германскомъ парламентѣ. Принявъ участіе въ вѣнскомъ востаніи, былъ схваченъ и разстрѣлянъ въ 1848. Открытая въ пользу его семьи національная подписка дала 120.000 марокъ.

Стр. 291. Эдгардъ Бауэръ (1820—1886), нѣм. философъ, братъ и единомышленникъ извѣстнаго богослова Бруно Бауэра. Писалъ по богословію, философіи и политикѣ, причемъ неоднократно выдерживалъ судебные процессы и тюремныя заключенія за свои книги. Принималъ участіе въ событіяхъ 1848 г., почему нѣкоторое время принужденъ былъ жить за границей.

Стр. 293. Лордъ Эдвардъ-Джоффрей Дерби (1799 — 1869) нѣсколько разъ былъ министромъ, dokonчилъ уничтоженіе невольничества въ англ. колоні-

яхъ, былъ яркимъ тори и противникомъ расширенія избирательныхъ правъ.

— Испанскій герцогъ Бальдомеро Эспартеро (1792 — 1879) игралъ крупную роль въ испанской политикѣ XIX в., былъ дважды министромъ-президентомъ и регентомъ королевства.

— Ричардъ Кобденъ (1804 — 1865), англ. политич. дѣятель, прославившійся въ особенности защитой принциповъ свободной торговли и уничтоженіемъ хлѣбныхъ законовъ. Онъ былъ главой такъ называемой манчестерской партіи (англ. буржуазныхъ экономистовъ).

— Ив. Гаврил. Головинъ (род. въ 1816 г.), служилъ въ министерствѣ иностран. дѣлъ, но, ухъавъ за границу, издалъ въ 1845 г. книгу „La Russie sous Nicolas I“, которая надолго закрыла ему возвращеніе на родину. Прощенный Александромъ II, Головинъ не захотѣлъ вернуться въ Россію. Онъ издалъ цѣлый рядъ книгъ на англ., франц. и нѣм. языкахъ о времени Николая I, Александра II, о Польшѣ, Франціи, „Моя отношенія къ Герцену и Бакунину“ (1880, на нѣм. яз.) и др.

Стр 295. Францъ-Аврелій Пульскій (род. въ 1814 г.), венгерскій писатель. Принявъ участіе въ революціи 1848 г., онъ убѣжалъ затѣмъ въ Парижъ и заочно былъ приговоренъ къ смерти. Онъ со продолжалъ Кошута въ путешествіи въ Америку, издалъ много книгъ разнообразнаго содержанія, въ концѣ 60-хъ гг. былъ помилованъ.

— Джемсъ Бюхананъ (1791 — 1868) былъ членомъ сѣв.-америк. конгресса, америк. посланникомъ въ Россіи (1831—33), сенаторомъ, госуд. секретаремъ (съ 1845), посланникомъ въ Англіи (съ 1853) и президентомъ Соед. Штатовъ (1856—1860), причемъ стоялъ за рабство негровъ. Съ 1861 г. его смѣнилъ освободитель негровъ А. Линкольнъ.

Стр. 296. Андре Массена, герцогъ Риволійскій (1758—1817), одинъ изъ наполеоновскихъ маршаловъ, отличившійся во время войнъ конвента, директоріи и первой имперіи; особенно успѣшно дѣйствовалъ въ Италіи.

Стр. 299. „Началась итальянская война“. Здѣсь говорится о войнѣ 1859 г. между Франціей и Пьемонтомъ, съ одной стороны, и Австріей, съ другой.

Стр. 300—307. Буквами М.—С. обозначенъ на этихъ страницахъ малоизвѣстный нѣмецкій писатель Мюллеръ-Стрюбингъ, избравшій себѣ специаль-

ностью въ 40-хъ и 50-хъ годахъ знакомиться и сближаться съ русскими, какъ эмигрантами, такъ и вообще выѣзжавшими за границу.

Стр. 300. Побѣды при Маджентѣ и Сольферинѣ, одержанныя французами и сардинцами надъ австрійскими войсками, положили конецъ войнѣ 1859 г., результатомъ которой явилось присоединеніе Ломбардіи къ Пиемонту и начавшееся съ того времени объединеніе Италіи.

— „Квадрилатерь“ — четырехугольникъ, который составляли 4 крѣпости: Мантуя, Верона, Пескьера и Леньяго на р. Минчио, отдѣляющей Ломбардію отъ Венеціанской области.

— Лотаръ Бухеръ (1817—1892) въ 1848—49 г. г. былъ членомъ прусскаго парламента, въ 1850 г., будучи осужденъ, бѣжалъ въ Лондонъ, откуда въ теченіе 10 лѣтъ писалъ въ нѣм. газеты противъ англ. парламентаризма. Послѣ амнистіи вернулся въ Пруссію. Написалъ рядъ книгъ о политикѣ.

— „Ротбартусъ“ — такъ Герценъ называетъ Карла Родбертуса-Ягцова (1805—1875), известнаго нѣм. экономиста и политич. дѣятеля, который протестовалъ въ 1859 г. вмѣстѣ съ Лотаромъ Бухеромъ противъ присоединенія Венеціи къ Италіи.

Стр. 302. Вильгельмъ Каульбахъ (1805 — 1874) и Петръ Корнелиусъ (1783—1867) — два знаменитыхъ нѣмецкихъ историческихъ живописца.

Стр. 304. Гамбахскій праздникъ былъ устроенъ 27 мая 1832 г. близъ замка Гамбахъ, въ Баваріи, приверженцами германскаго объединенія для протеста противъ реакціонныхъ мѣръ германскаго сейма. Участвовало въ праздникѣ 20.000 человекъ.

Стр. 305. Буквами И. Т. означенъ Яв. Серг. Тургеневъ.

Стр. 309. Графомъ Монтемолиномъ сталъ называться послѣ своего отреченія въ 1860 г. отъ правъ на испанскій престолъ внукъ испанскаго короля Карла IV. принцъ астурийскій Людовикъ-Марія-Фердинандъ (1818 — 1861), ранѣе испанскими карлистами названный Карломъ VI.

— Въ Клермонѣ (замкъ въ Англии) поселилась семья изгнаннаго въ 1848 г. изъ Франціи короля Луи-Филиппа.

Стр. 312. Сэръ-Генри Гевлокъ (Гавелокъ), англійскій генералъ (1795—1857), прославившійся во время возстанія си-

паевъ въ Остѣ-Индіи побѣдами надъ вождемъ мятежниковъ Нена-Сайбомъ.

Стр. 317. „Самъ старикъ“ — подразумевается бывший диктаторъ Венгрии Людвигъ Кошутъ.

— Лордъ Джемсъ-Генри Рагланъ (1788 — 1855) былъ главнокомандующимъ англ. арміи подъ Севастополемъ.

— Франц. маршалъ Жакъ Леруа Сентъ-Арно (1796—1854), будучи военнымъ министромъ, подготовилъ госуд. переворотъ 2 декабря, а затѣмъ былъ главнокомандующимъ франц. арміей въ Крыму въ 1854—55 гг.

— Омеръ-паша (1806—1871) командовалъ турецкими войсками въ 1853—55 гг.

Стр. 323. „Ш—ра“ обозначаетъ французскаго республиканца-эмигранта Виктора Шельшера, о которомъ говорилось ранѣе (стр. 311).

Стр. 324. Ирѣ — бѣдный нищій на островѣ Итатѣ, побѣжденный Одисеемъ въ кулачномъ бою. Его имя сдѣлалось нарицательнымъ словомъ, обозначающимъ крайне бѣднаго человѣка.

— Альберъ, собственно Александръ Мартини (1815—1895), былъ парижскимъ рабочимъ и издавалъ народную газету „Atelier“. Въ 1848 г. былъ членомъ французскаго временнаго правительства, какъ представитель рабочихъ классовъ. За попытку къ возстанію 15 мая (1848) былъ приговоренъ къ продолжительному тюремному заключенію. Въ 1871 г. принималъ участіе въ возстаніи парижской коммуны.

Стр. 325. Луп-Шарль Делеклюзъ (1809—1871), франц. революціонеръ и журналистъ. Участвовалъ въ революціи 1848 г. Въ 1852—59 гг. былъ въ ссылкѣ, въ Капеннѣ. Былъ однимъ изъ вождей парижской коммуны 1871 г. и убитъ при взятіи Парижа правительственными войсками.

Стр. 326—327 и 329. Буквою Р. здѣсь обозначенъ музыкантъ и композиторъ А. Рейхель, женатый на Маріи Каспаровнѣ Эрнѣ, близкой подругѣ жены Герцена, пріѣхавшей изъ Россіи за границу въ 1847 г. вмѣстѣ съ семьей Герцена. Послѣ смерти жены Герцена, Нат. Александр., дочери его нѣкоторое время проживали въ домѣ Рейхелей.

Стр. 327. Австрійскій генералъ, графъ-Теодоръ Латуръ (1780—1848), назначенный въ іюль 1848 г. военнымъ министромъ, 6 октября того-же года былъ

повѣшенъ въ Вѣнѣ возставшимъ народомъ.

Стр. 330. Люсьенъ-Анатоль Прво-Парадолъ (1829—1870), сперва республиканскій, затѣмъ банапартистскій публицистъ.

— Графъ Шарль Монта-Ламберъ (1810—1870), франц. писатель, защищавшій всегда интересы католиковъ и клерикализма.

Стр. 340. Триссотинъ и Вадіусъ—двое комическихъ напыщенныхъ глупцовъ, считающихъ себя учеными (у Молъера).

Стр. 342. Буквою Ч. обозначенъ польскій эмигрантъ Чернецкій.

Стр. 344. Князь Адамъ Чарторижскій (1770—1861) участвовалъ въ возстаніи Костюшки, былъ другомъ Александра I и былъ имъ назначенъ русскимъ министромъ иностр. дѣлъ. Въ 1830 г. былъ главою временнаго правительства Польши, а въ 1831 г. президентомъ национ. собранія. Удался за границу, стоялъ во главѣ „бѣлой“ (аристократической) польской эмиграціи.

Стр. 345. „Панъ Тадеушъ“ — известная поэма Мицкевича.

— „Мурделио“—повѣсть Сигизмунда Качковского (1826—1896), мастерски изображающая старинъ польскій бытъ (русскій переводъ: Спб., 1864).

Стр. 354. Греческій сатирикъ и философъ-софистъ Лувіанъ (125—190) въ своихъ сочиненіяхъ рѣзко рисуетъ картину упадка древняго міра.

Стр. 356. Мишель Шевалье (1806—1879), буржуазный франц. экономистъ, написавшій „Курсъ полит. экономіи“ и рядъ другихъ сочиненій.

Стр. 360. Іоахимъ Лелевель (1786—1861), талантливый польскій историкъ. Былъ профессоромъ варшавскаго и вилнскаго университетовъ, но, принявъ дѣятельное участіе въ польскомъ возстаніи 1830—31 гг., какъ членъ временнаго правительства, принужденъ былъ затѣмъ эмигрировать и жилъ въ Бельгіи и во Франціи.

Стр. 361. Нью-Ланаркъ—мѣсто, гдѣ Р. Оуэнъ стремился примѣнить къ фабричнымъ рабочимъ свои социалистическіе планы.

Стр. 362. Лордъ Генри Брумъ (1779—1868), англ. государств. дѣятель, писатель и ораторъ, пользовавшійся большимъ авторитетомъ въ Англіи.

Стр. 365. Джемсъ Фоксъ (1749—1806), англ. государств. чловѣкъ, прославившійся защитой свободы и во главѣ оп-

позиціи стоявшій за освобожденіе Съв.-американскихъ колоній. Ему поставленъ въ Лондонѣ памятникъ.

Стр. 368. Ауцилио Ванини (1585—1619), итальянскій философъ и свободный мыслитель, сожженный за критическое отношеніе къ религіи.

— Врачъ Франсуа-Ксаве Биша (1771—1802), знаменитый въ свое время франц. физиологъ; творецъ общей анатоміи.

— Пьеръ-Жанъ Кабанисъ (1759—1808), франц. врачъ и философъ-материалистъ.

Стр. 369. Джорджъ Голіокъ (род. въ 1817 г.). англ. философъ, социологъ и публицистъ. Съ 40-хъ гг. посвятилъ свою дѣятельность развитію рабочаго класса въ умственномъ отношеніи и освобожденію его отъ клерикальныхъ идей, для чего издавалъ книги и брошюры, а съ 1846 г. журналъ „The Reasoner“.

Стр. 379. Сэръ-Мозесъ Монтефіоре (1784—1885), англ. баронетъ, прославившійся своей широкой филантропіей.

Стр. 381. Джозефъ Аддисонъ (1672—1719), англ. поэтъ и сатирикъ. Особенно славилась его „Опыты“ и трагедія „Катонъ“.

Стр. 389. Франц. генералъ маркизъ Эммануэль Груши (1766—1847) опоздалъ прійти на помощь къ Наполеону I въ день сраженія при Ватерлоо (1815), что многими приписывалось измѣнѣ, но проще объясняется несообразительностью Груши.

Стр. 394. Итальянскій графъ Герардеско Уголино въ концѣ XIII в. за жестокое управленіе Пизой былъ заключенъ съ своей семьей въ тюрьму, гдѣ они всѣ умерли съ голоду (1288 г.).

Стр. 398. Кремье, Исаакъ-Адольфъ (1796—1880), политическій дѣятель, бывший членомъ французскаго временнаго правительства 1848 г., причѣмъ занималъ постъ министра юстиціи.

Стр. 399. Генералъ-майоръ Ів. Григор. Бурцовъ (1794—1829), сослуживецъ партизана Д. В. Давыдова въ 1812—14 гг., впоследствии особенно отличился въ турецкой войнѣ 1828—29 гг., какъ сподвижникъ Паскевича, и былъ убитъ въ этой войнѣ.

Стр. 422. Іоаннъ Лейденскій (собственно Іоаннъ Боккольдъ), портной (1510—1536), ставшій пророкомъ анабаптистовъ и основавшій въ Мюнстерѣ демократическа-духовное царство Сіона.

— Объ „обѣдѣ у американскаго кон-

сула“, о которомъ здѣсь упоминается разсказано въ статьѣ „Нѣмцы въ эмиграціи“, см. въ этомъ же томѣ, стр. 295—298.

Стр. 425. Лордъ Альфредъ Тенисонъ (1809—1892), талантливый англ. поэтъ (съ 1850 г. поэтъ-лауреатъ), поэмы и элегіи котораго отличаются необыкновенной красотой формы и изяществомъ стилия.

Стр. 426. Лордъ Александръ-Вильямъ Линдсей (1812—1880), англ. писатель и покровитель научныхъ стремленій въ Англии. Написалъ рядъ разнообразныхъ сочиненій.

Стр. 430. Жанъ-Жакъ Пелисье (1794—1864), франц. маршалъ, былъ главнокомандующимъ въ Крымскую войну и за взятіе Малахова кургана, а съ нимъ и Севастополя, получилъ титулъ герцога Малаховскаго. Затѣмъ былъ посломъ въ Лондонъ и генералъ-губернаторомъ Алжира.

Стр. 437. Рудольфъ Гнейсть (1816—1895), ученый нѣм. юристъ, проф. берлинскаго университета, изъ многочисленныхъ сочиненій котораго приобрѣли классическую цѣнность его труды о самоуправленіи, парламентаризмѣ и государственномъ устройствѣ Англіи.

Стр. 438. Эмилио Висконти-Веноста (род. въ 1830 г.) итальянскій дипломатъ, многократно бывшій министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Стр. 439. Князь Петръ Владим. Долгоруковъ (1816—1868), генеалогистъ. Съ 1859 г. сталъ эмигрантомъ и издалъ за границей рядъ книгъ и брошюръ на русскомъ и французскомъ языкахъ по генеалогіи и политикѣ, а также издавалъ журналы: „Будущность“ (1862) и „Листокъ“ (1862—64) и др. и свои „Мемуары“ (на франц. яз.).

Стр. 442. Лордъ Джорджъ Кларендонъ (1800—1870), англ. политич. дѣятель. Съ 1856 г. былъ статсъ-секретаремъ, а въ 1865—66 гг. министромъ иностранныхъ дѣлъ.

— Эдуардъ Друэнъ-де-Люисъ (1806—1881), франц. дипломатъ, бывшій въ 1849—55 и 1862—1866 гг. министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Стр. 443. Сэръ-Вильямъ Фергюсонъ (1803—1877), англ. хирургъ и анатомъ, съ 1840 г. состоявшій профессоромъ хирургіи въ лондонской королевской коллегіи (King's College).

Стр. 449. Князь Юрій Никол. Голи-

цынъ (1823—1872), извѣстный дирижеръ, руководитель собственнаго оркестра и композиторъ. Былъ предводителемъ Усманскаго уѣзда и камергеромъ, но, несмотря на эти званія, исключительно занялся музыкальной дѣятельностью; какъ композиторъ, далъ рядъ мелкихъ и крупныхъ произведеній. Образовавъ свой хоръ, путешествовалъ съ нимъ по Европѣ и Америкѣ. Записки о своей жизни (подъ названіемъ „Прошедшее и настоящее“) онъ напечаталъ въ „Отеч. Запискахъ“ 1869 г.

Стр. 455. Феликсъ Ронкони (1812—1875), итальянскій пѣвецъ-баритонъ и музыкальный педагогъ. Въ 1852—57 гг. пѣлъ въ итальянской Спб. оперѣ, а также преподавалъ нѣсколько лѣтъ пѣніе въ петербургскомъ театральномъ училищѣ.

Стр. 457. Карлъ-Юсифъ Миттермайеръ (1787—1867), извѣстный ученый нѣм. юристъ, написавшій рядъ цѣнныхъ юридическихъ сочиненій, главныя изъ которыхъ переведены по-русски.

Стр. 461. Вас. Ив. Кельсиевъ (1835—1872), писатель, эмигрировавшій въ 1859 г. изъ Россіи въ Лондонъ, ведшій затѣмъ пропаганду среди заграничныхъ старообрядцевъ, но въ 1867 г. попросившій у правительства прощенія и затѣмъ издавшій въ Россіи свои воспоминанія: „Пережитое и передуманное“ и „Галичина и Молдавія“ и нѣсколько беллетристическихъ сочиненій.

Стр. 469. Графъ Андрей Замоискій (1800—1874), польскій патриотъ, принимавшій участіе въ польскомъ революціонномъ правительствѣ 1830 г., но затѣмъ ему было позволено жить въ Польшѣ и лишь возстаніе 1863 г. заставило его вновь эмигрировать въ Парижъ.

Стр. 483. Буквами М. Б. здѣсь и на послѣдующихъ страницахъ обозначенъ Мих. Александр. Бакунинъ.

Стр. 484. Ив. Кузъм. Кайдановъ (1782—1843), авторъ пустыхъ историческихъ учебниковъ, отличающихся риторическимъ слогомъ и казеннымъ патриотизмомъ.

Стр. 483—499 и 503—504. Буквами М. Б. и Б. обозначенъ М. А. Бакунинъ.

Стр. 485 Князь Альфредъ-Фердинандъ Виндиггрецъ, австрійскій фельдмаршалъ (1787—1862), въ 1848 г. бомбардировавшій Прагу и подавившій тамъ возстаніе чеховъ.

Стр. 508. „Хорошій морякъ, графъ С.“, повидямому, тотъ графъ Сбышевскій, о которомъ говорится далѣе (стр. 510).

Стр. 514. Ричардъ Бринсли Шериданъ (1751—1816), англ. драматургъ и политическій дѣятель, авторъ извѣстной пьесы „Школа злословія“.

Стр. 523. Карлъ Иммерманъ (1796—1840), нѣм. поэтъ, писавшій поэмы, сказки, повѣсти, драмы и романы.

Стр. 532. Миллеръ С.—Миллеръ-Стрюбингъ.

Стр. 548. Подъ „венгерцемъ графомъ С. Т.“ (въ выноскѣ) подразумѣвается, вѣроятно, венгерскій эмигрантъ графъ Сандоръ Телеки, о которомъ неодно-

кратно упоминалось ранѣе (стр. 269 299 и 317—318).

Стр. 560. Буквою М. обозначена Матильда Мейзенбургъ, воспитательница дочерей Герцена.

Стр. 563. Подъ „нашимъ поэтомъ Ѳ. Т.“ подразумѣвается поэтъ Ѳедоръ Ив. Тютчевъ (1803—1873), служившій сперва по дипломатической части, а затѣмъ бывший председателемъ комитета иностранной цензуры.

Стр. 575. Чертозы—Чертоза монастырь близъ Павія, основанный въ 1396 г.

Стр. 575. Камалдолы—монастыри въ Италіи, называемые по монашескому ордену Камалдоловъ.



Прогрессъ, какъ эволюція жестокости. М. Энгельгардта. Ц. 75 к.
 Вырожденіе. Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. Макса Нордау. 585 стр. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
 Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Пер. съ нѣм. Эл. Зауэръ. 4-е изд. Ц. 1 р.
 Этика. Ученіе о нравственности. Сост. проф. Максвелли. Переводъ съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Прогрессивная нравственность. Фаулера. Съ англ. подъ ред. Вл. Соловьева. Ц. 40 к.
 Нравственный инстинктъ. Сутерлянда. Съ англ. Ц. 1 р. 50 к.
 Счастье и трудъ. Мантегацца. 3 изд. Ц. 60 к.
 Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Д-ра Рапппорта. Ц. 75 к.
 Политическая исторія современной Европы. (1814 — 1896). Сенюбоса. Переводъ подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 1 р. 50 к.
 Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Герои и героическое въ исторіи. Публичныя бесѣды Томаса Карлейля. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Путь къ счастью. Сост. Ф. Кирхнеръ. Ц. 60 к.
 Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками. Ц. 1 р. 50 к.
 Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политикоса. Съ 16 портретами. Ц. 1 р.
 Іезуиты, ихъ исторія, организація и практическая дѣятельность. Ж. Губера. Съ нѣм. Ц. 1 р.
 Очерки самоуправленія (земскаго, городского, сельскаго). С. Привлонскаго. Ц. 2 р.
 Роль общественнаго мнѣнія въ государственн. жизни. Проф. Гольцендорфа. Ц. 75 к.

Популярно-научныя книги.

Нерѣшенные проблемы биологіи. Съ приложеніемъ статей о Р. Вирховѣ и Л. Бюхнерѣ. В. В. Лункевича. Съ 81 рис., 4 таблицами и 8 портретами. Ц. 2 р.
 Основы жизни. Популярная биологія. В. В. Лункевича. Съ 465 рис. и 7 хромолюмографіями. 2-е изданіе. Ц. 4 р.
 Научныя и социальныя изслѣдованія. А. Р. Уоллеса. Томъ I-й. Съ 89 рис. и картой. Ц. 1 р. 75 к.
 Соціальныя этюды. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Соціальная жизнь животныхъ. Эспинаса. Пер. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Мужчина и женщина. Этюдъ о вторичныхъ половыхъ призваніяхъ у человѣка. Г. Эллиса. Ц. 1 р.
 Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигела. 116 стр. 2 изд. Ц. 30 к.
 Преступленія и проституція, какъ социальныя болѣзни. Гирша. Ц. 30 к.
 Очерки психологіи. Тиченера. Съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Психологія чувствъ. Рибо. Ц. 80 к.
 Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 30 к.

Психологія характера. Ф. Полана. Ц. 75 к.
 Психологія великихъ людей. Проф. Жоли. Переводъ съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 Эволюція общихъ идей. Т. Рибо. Переводъ М. Гольдсмита. Ц. 60 к.
 Физиологія страстей. Летурно. Ц. 1 р.
 Физиологическія бесѣды. А. Герцога. Проф. Лозанскаго университета. Ц. 1 р.
 Патологія души. Популярныя бесѣды. Д-ра М. Флёрш. Ц. 1 р.
 Гениальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ рисунками. 3-е изд. Ц. 1 р.
 Чудесный вѣкъ. Естествен.-философскій обзоръ XIX ст. проф. Уоллеса. Ц. 1 р. 50 к.
 Душевные движенія. Д-ра Ланге. Ц. 40 к.
 Привычка и инстинктъ. Л. Моргана. Съ англ. Ц. 1 р.
 Мръ грѣзъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинація, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. 1 р.
 Экстазы человѣка. П. Мантегацца. Переводъ съ 5-го итальян. изданія. Ц. 1 р. 50 к.
 Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 Характеръ и нравственное воспитаніе. Кейра. Съ франц. Ц. 40 к.
 Воспитаніе воли. Ж. Пэйю. 4-е изд. Ц. 60 к.
 Воспитаніе чувствъ. Тома. Съ франц. Ц. 60 к.
 Духовный прогрессъ и счастье. П. Лоскутова. Ц. 1 р.
 Пессимизмъ. Соч. Джамса Сэдла. Обзоръ пессимист. ученій. Съ англ. Ц. 1. 50 к.
 Вѣрить или не вѣрить? Эскурсія въ области таинственнаго. Д-ра Битнера. Ц. 1 р. 50 к.
 Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Д-ра Шаррона. Съ франц. Ц. 75 к.
 Исторія міра. Гюйяра. Съ 101 рис. Съ фр. Ц. 1 р.
 Эволюціонная этика и психологія животныхъ. Э. П. Эванса. Пер. съ англ. Ц. 75 к.
 Положительная философія Огюста Конта въ популярномъ изложеніи д-ра Робинэ. Ц. 50 к.
 Философія Герберта Спенсера въ сокр. изд. Коллиаса. Перев. съ англ. 2-е изд. Ц. 2 р.
 Философія Шопенгауэра. Т. Рибо. Переводъ Э. К. Ватсона. Ц. 50 к.
 Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
 Исторія религіи. Проф. Мензиса. Ц. 1 р.
 О вѣрованіи. Ж. Пэйю. Перев. съ франц. Ц. 50 к.
 Безсмертіе съ точки зрѣнія эволюціоннаго натурализма. Докція А. Сабатье. 2-е изд. Ц. 50 к.
 Живописная астрономія. К. Фламмаріона. Съ 382 рисунк. 2-е изд. Ц. 3 р.
 Основы политической экономіи. Шарля Жюда. Перев. съ 4 франц. изданія. Ц. 1 р. 25 к.
 Итоги XIX вѣка. Д. Нордена. Ц. 40 к.
 Жизнь и смерть. Пуб. лек. А. Сабатье. Ц. 75 к.
 Развѣтліе народнаго хозяйства въ Западной Европѣ. М. Ковалевскаго. Ц. 75 к.
 Письма о земледѣліи. М. Энгельгардта. Ц. 50 к.
 Современная женщина.—Ея положеніе въ Европѣ и Америкѣ. Б. Ф. Брандта. Ц. 60 к.

А. И. Герценъ. Его жизнь и литературная дѣятельность (изъ серіи «Жизнь замѣчательныхъ людей»). Ц. 25 н.

Цѣна за 7 томовъ 12 рублей.

Изданіе Ф. Павленкова.

350296

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА⁷

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ IV.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи Ю. Н. Эрлиха, Садовая, № 9.

1905.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лештуковъ пер., № 2).

Литература, исторія, публицистика.

- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 письмами. Полное собраніе въ 1-й томъ и въ 10 томахъ. 5-е изд. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: 1 р. 50 к. За переплеты для 1-томнаго изданія — 60 к. Для 10-томнаго (5 переплетовъ) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Н. В. Гоголя. Съ биографіей, портретами и 184 рис. Полное собраніе въ 1-й томъ. Ц. 1 р. 25 к. Въ переплетъ 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Съ портретами, биографіей и 115 рисунк. Полное собраніе въ одномъ томъ. Ц. 1 р. Въ переплетъ 1 р. 50 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 4 изд. Ц. за два тома—3 р.
- Повѣсти и рассказы Н. В. Яковлевой. Автора «Обрусителей». Болѣе 400 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Съ 188 рис. Ц. 60 к. Въ пактѣ 75 к. Въ перепл. 1 р.
- Сочиненія Чарьза Диккенса. Полное собраніе въ 10 томахъ. Цѣна каждого тома 1 р. 50 к.
- 1) Давидъ Кошпорфильдъ. 2) Домби и сынъ. 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ. 4) Крошка Дорритъ и Большая ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ. 6) Записки Пиввикскаго клуба и Тяжелыя времена. 7) Николай Нипльби и три «Святоточныхъ» рассказа. 8) Мартинъ Чезльвитъ. Гимнъ Рождеству. Затравленъ. 9) Барнси Реджъ. Тайна Эдвина Друда и Колокола. 10) Лавка древностей. Записки путешественника не по торговымъ дѣламъ. Станція Мегби. Мѣдфогскія записки. Рецепты д-ра Мерпголда. Безъ выхода. Портретъ и биографія автора.
- Сочиненія Виктора Гюго. Съ портр. автора и статей А. Скабичевскаго. Два тома. Ц. 2 р. 50 к.
- Сочиненія Эркмана-Шатриана. Въ двухъ томахъ. Ц. 3 р.
- Одинъ въ полѣ — не воинъ. Соціолог. романъ Шпильгагена. Пер. съ нѣм. Ц. 1 р. 25 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульвера. Перев. съ англ. Ц. 50 к.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціалистическій романъ. Э. Бэзлами. 4-е изд. Ц. 75 к.
- Голодъ. Романъ Гамсуна. Ц. 60 к.
- Забота. Романъ Г. Зудермана. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Антивоенный романъ. Б. Зутнеръ. Цѣна 80 к.
- Будущее человечество. Соціалистическая фантазія. Мантегацца. Съ 20 рис. Ц. 40 к.
- Большая любовь. Гигиеническій романъ. П. Мантегацца. 2-е изд. Ц. 50 к.
- Конецъ міра. Астроном. романъ К. Фламмаріона. Съ 80 рисунками. Ц. 60 к.
- Стелла. Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Ц. 80 к.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Г. Брандеса. I. Французская литература. Съ 13 портр. Ц. 2 р.—II. Английская литература. Ц. 75 к.—III. Нѣмецкая литература Ц. 1 р.
- Исторія новѣйшей русской литературы (1848—1903) А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.
- Литература различныхъ племенъ и народовъ. Ш. Летурано. Ц. 1 р. 50 к.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретами И. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. 2 тома. Съ портретами автора, 3 изд. Ц. 3 р.
- Исторія русской цензуры. Его-же. Ц. 2 р.
- Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. Полное собр. въ 4 томахъ. Съ портр., факсимиле и снимкомъ съ карт. Наумова «Бѣлинскій передъ смертью». Ц. 1, 2 и 3-го том. по 1 р., 4-го тома 1 р. 25 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томахъ. Цѣна каждого тома 1 рубль.
- Исторія культуры. Ю. Липперта. Переводъ съ нѣм. Съ 83 рис. 6-е изд. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія семьи. Ю. Липперта. Ц. 60 к.
- Исторія первобытныхъ людей. Э. Клодта. Перев. М. Энгельгардта. Съ 88 рис. Ц. 40 к.
- Первобытные люди. Дебьера. Съ 84 р. Ц. 75 к.
- Исторія девятнадцатаго вѣка (1789—1899). Профессора Маршала. Ц. 3 р.
- Исторія французской революціи. Лависса и Рамбо. Перев. М. Юлшина. Ц. 1 р. 50 к.
- Общественный организмъ. Р. Воржса. Переводъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 75 к.
- Общественный прогрессъ и регрессъ. Проф. Греефа. Перев. Паперна. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціальное развитіе. В. Кудда. Ц. 75 к.
- Психологія народовъ и массъ. Г. Лебона. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психологія французскаго народа. Фульве. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психическіе факторы цивилизаціи. Л. Уорда. Переводъ Л. Давыдовой. Ц. 80 к.
- Современное народовѣдѣніе. Ателнса. Съ нѣмец. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціологическія основы исторіи. Лакomba. Ц. 1 р. 50 к.
- Исторія цивилизаціи въ Англіи. Боула. Перев. А. Н. Буйницкаго. Съ портр. автора. Ц. 2 р.
- Исторія рабочаго движенія въ Англіи. Уэбба. Съ англійскаго Ц. 1 р. 50 к.
- Организація свободы и общественный долгъ. А. Прэнса. Ц. 80 к.
- Представительное правленіе. Дж. Стюарта Милла. Ц. 60 к.
- Въ трущобахъ Англіи. Бутса. Ц. 1 р.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.



А. И. Герценъ.

(Съ портрета Н. Ге, 1867 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

ТОМЪ IV.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

и

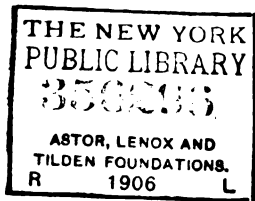
Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

—
Т о м ъ I V .

—
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.



Книгопечатня Ш м и д т ь, Звенигородская, 20.

Оглавление IV-го тома.

Публицистическія и критическія статьи.

	СТР.
замѣны современники. Гоффманъ	1
Вѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 6-го декабря 1837 г.	16
отдельныя мысли	19
отдельныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ	22
рассказы о временахъ Меровингскихъ	26
о поводу одной драмы.	31
Москва и Петербургъ.	52
Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ	60
Дилетантизмъ въ наукѣ:	67
Глава I.	67
Глава II. Дилетанты-романтики	81
Глава III. Дилетанты и цехъ ученыхъ	97
Глава IV. Буддизмъ въ наукѣ.	115
Публичныя чтенія г. Грановскаго.	
Письмо первое.	186
Письмо второе.	140
Письмо первое о «Москвитянинѣ» 1845 г.	146
«Москвитянинъ» и вселенная.	147
Одно хорошо, а два лучше.	153
Путевыя записки г. Ведрина	157
Письма объ изученіи природы:	
Письмо первое. Эмпирія и идеализмъ	163
Письмо второе. Наука и природа—феноменологія мышленія.	190
Письмо третье. Греческая философія	203

	стр.
Письмо четвертое. Последняя эпоха древней науки	243
Письмо пятое. Схоластика	269
Письмо шестое. Декартъ и Бэконъ	290
Письмо седьмое. Бэконъ и его школа въ Англіи	301
Письмо восьмое. Реализмъ	317
Публичныя чтенія г-на профессора Рулье	337
† Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣй- шихъ враговъ его	347
Δ Капризы и раздумье:	
По разнымъ поводамъ	351
— Cogitata et visa	352
Новыя варіаціи на старыя темы	362
× Станція Едрово	376
✓ Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести	391
«Москвитянинъ» о Коперникѣ	413
→ Оба лучше	417
× Изъ писемъ путешественника. Во внутренности Англіи	423
→ Изъ воспоминаній объ Англіи	430
Русская колонія въ Парижѣ	436
Опытъ бесѣды съ молодыми людьми	440
Разговоры съ дѣтьми. Пустые страхи. Вымыслы	452
Примѣчанія	459

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЯ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Знаменитые современники ¹⁾).

ГОФФМАННЪ.

Родился 24 января 1776.

Умеръ 25 июня 1822.

(Н. П. О—у).

I.

. . . . Die Künstler und die Räuber, das
Ist eine Art der Leuten. Beide meiden
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens;
Oehlenschläger, Correggio.

Всякой Божій день являлся поздно вечеромъ какой-то чело-
вѣкъ въ одинъ винный погребъ въ Берлинѣ; пилъ одну бутылку
за другой и сидѣлъ до разсвѣта. Но не воображайте обыкновен-
наго пьяницу; нѣтъ! Чѣмъ болѣе онъ пилъ, тѣмъ выше парила
его фантазія, тѣмъ ярче, тѣмъ пламеннѣе изливался юморъ на
все окружающее, тѣмъ обильнѣе вспыхивали остроты. Его стран-
ности, постоянство посѣщеній, его литературная и музыкальная
слава привлекали цѣлый кругъ обожателей въ питейный домъ,
и когда иностранецъ пріѣзжалъ въ Берлинъ, его вели къ Лют-
теру и Вегнеру, показывали непремѣннаго члена и говорили:
вотъ нашъ сумасбродный Гоффманъ. Посмотримъ на эту жизнь,
оканчивающуюся питейнымъ домомъ. Жизнь сочинителя есть
драгоценный комментарий къ его сочиненіямъ, но не жизнь гер-
манскаго автора; для нихъ злой Гейне выдумалъ алгебраическую
формулу: «родился отъ бѣдныхъ родителей, учился теологін, но
почувствовалъ другое призваніе, тщательно занимался древними
языками, писалъ, былъ бѣденъ, жилъ уроками и передъ смертью
получилъ мѣсто въ такой-то гимназій или въ такомъ-то универ-
ситетѣ». Но «есть люди, подобные деньгамъ, на которыхъ чека-
нится одно и тоже изображеніе; другіе похожи на медали, выби-
ваемые для частнаго случая» ²⁾; и къ послѣднимъ-то принадле-
жалъ сказавшій эти слова Гоффманнъ. Его жизнь нисколько не

¹⁾ *Телескопъ XXXIII.*

²⁾ *Hoffmann's Lebensansichten des Kater Murr.*

была похожа на прозябаніе, она самая странная, самая разнообразная изъ всѣхъ его повѣстей; или лучше въ ней-то зародышъ всѣхъ его фантастическихъ сочиненій.

Одинокѣ воспитывался Гоффманнъ въ чинномъ, чопорномъ домѣ своего дяди. Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество; оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости и любви, а болѣе всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: блѣдный, тонкій, едва живой, онъ такъ похожъ на растеніе, выросшее въ парникѣ, такъ нѣжно, такъ застѣнчиво, такъ близко жметъ къ отцу, такъ краснѣетъ отъ каждаго слова и при каждомъ словѣ такъ сосредоточенъ самъ въ себѣ, что если онъ только не лишентъ способностей, то изъ него необходимо выйдетъ человѣкъ, не принадлежащій толпѣ; ибо онъ не въ ней воспитанъ, ибо онъ не былъ въ передѣлкѣ у толпы какого-нибудь пансіона, которая бы научила его завидовать чужимъ успѣхамъ, унизила бы его чувства, развратила бы его воображеніе. Вотъ такое-то дитя былъ Гоффманнъ ¹⁾. Главная отличительная черта подобнымъ образомъ воспитанныхъ дѣтей состоитъ въ томъ, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зрѣютъ чувствами и умомъ, для того чтобъ никогда не созрѣть вполне; теряютъ прежде времени почти все дѣтское, для того чтобъ послѣ на всю жизнь остаться дѣтмя. Ребенокъ Гоффманнъ—большой человѣкъ, мечтатель, страстный другъ Гиппеля и рѣшительный музыкантъ; но онъ скверно учится и это слѣдствіе воспитанія, въ которомъ человѣкъ долженъ развиваться самъ изъ себя: надо непремѣнно побывать въ публичномъ заведеніи, чтобъ получить утиную способность пожирать равнымъ образомъ десять разныхъ наукъ, не любя ни которой изъ одного благороднаго соревнованія. Гоффманнъ находилъ скучнымъ Цицерона и не читалъ его; призваніе его было чисто художническое; не форумъ,—консерваторія была ему нужна. Въ томъ же домѣ, гдѣ воспитывался Гоффманнъ, жила сумасшедшая женщина, пророчившая въ изступленіи высокую судьбу своему сыну. Захаріи Вернеру! Какія странныя впечатлѣнія должна была онъ сдѣлать на младенческую душу сосѣда!

Гоффманна юношу отправили въ университетъ *um die Rechte zu studiren*, назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостенъ университетъ съ своими пандектами и Брандербургскимъ правомъ, съ своей латинью и профессорами; его пламенная душа начинаетъ развиваться, его фантазія жаждетъ восторговъ, жизни; а что можетъ быть наиболѣе удалено отъ всего фантастическаго, всего живого, какъ не школьныя занятія!

¹⁾ И онъ очень хорошо зналъ огромное вліяніе своего воспитанія между четырьмя стѣнами, какъ видно изъ писемъ его къ Гиппелю.

Da wird der Geist noch wohl dressirt,
In Spanische Stiefeln eingeschnürt ¹⁾.

Онъ становится мраченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ; это простуда отъ міра реального, это холодъ и ужасъ, навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши. И тутъ-то рождается въ немъ потребность сорваться съ пути бѣлаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ. Онъ все, что вамъ угодно: живописецъ, музыкантъ, поэтъ... только, ради-Бога, не юристъ, не буднишный, вседневный человѣкъ. И эта борьба между симпатією и необходимостью заставляетъ его дѣлать пресмѣшныя вещи. Получивъ хорошее мѣсто въ Позенѣ, знаете ли, чѣмъ онъ дебютировалъ? Карриатурами на всѣхъ своихъ начальниковъ; тѣ отвѣчали на нихъ доносомъ, и Гоффманнъ не успѣлъ привыкнуть къ Позену, какъ его оставили. Спустя нѣсколько времени, мы видимъ его важнымъ совѣтникомъ правленія въ Варшавѣ. Но онъ не перемѣнился; это все тотъ же музыкантъ: хлопочетъ, трудится, собираетъ деньги, чтобъ завести филармоническую залу; успѣлъ, и Regierungs-Rath Hoffmann, въ засаленной курткѣ, цѣлые дни на стропилахъ разрисовываетъ плафонъ залы; окончивъ, онъ же является капельмейстеромъ, бьетъ тактъ, дирижируетъ, сочиняетъ такъ усердно, что нисколько не замѣчаетъ, что вся Европа въ крови и огнѣ. Между тѣмъ война, видя его невнимательность, рѣшается сама посѣтить его въ Варшавѣ; онъ бы и тутъ ее не замѣтилъ, но надо было на время прекратить концерты. Гоффманнъ въ горѣ; но черезъ нѣсколько дней пишетъ къ Гитцигу, что концерты снова продолжаютъ, что онъ побранился съ Наполеоновымъ капельмейстеромъ; «что-жъ касается до политическихъ обстоятельствъ, онъ меня не очень занимаютъ;.. искусство, воть моя покровительница, моя защитница, моя святая, которой я весь преданъ!»... Должно-ли послѣ того удивляться, что Шлегель и Вильменъ розно понимаютъ литературу, что одинъ далъ ей самобытный полетъ, чтобъ не заставить ее дѣлать скучный покой своей родины, а другой приковалъ ее къ обществу, чтобы ускорить развитіе литературы, сообщивъ ей быстрое движеніе гражданственности. Шлегель и Вильменъ, это—Германія и Франція: Германія, мирно живущая въ кабинетахъ и библіотекахъ, и Франція, толпящаяся въ кофейныхъ и Пале-Ройялѣ; Германія, внимательно перечитывающая свои книги, и Франція, два раза въ день пожирающая журналы. Гоффманнъ, занятый до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона, есть тишь прошедшаго,

¹⁾ Göthe, Faust. 1 Th.

сверхъ-земного направленія литературы германской. По большей части сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Теперь, когда Германія проснулась при громѣ Лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Теперь Гейне бичуетъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налево старое поколѣніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22 марта 1832 года. Впрочемъ Гёте страшно причислять къ этому направленію; Гёте былъ слишкомъ высокъ, чтобъ имѣть какое-либо направленіе, слишкомъ высокъ, чтобъ участвовать въ этихъ гомеопатическихъ переворотахъ... Какъ бы то ни было, Гофманнъ самъ очень чувствовалъ и очень хорошо представилъ односторонность германскихъ ученыхъ, окопавшихъ себя валомъ отъ всего человѣчества, въ превосходной повѣсти своей «*Datura Tastuosa*». Но обратимся къ его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственноручную* залу, онъ отправился въ Берлинъ съ шестью луидорами, которые у него на дорогѣ украли; пристроился какъ-то къ Бамбергскому театру, и съ того-то времени (1809) собственно начинается литературное его поприще: тогда написалъ онъ дивный разборъ Бетховена и Крейслера. Впрочемъ, это еще не тотъ Крейслеръ, изъ жизни котораго макулатурные листы попались въ когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образование, основа этого лица, котóрому Гофманнъ подарилъ всѣ свои свойства, который нѣсколько разъ является въ разныхъ его сочиненіяхъ, и который занималъ его до самой кончины. Вскорѣ узнала его вся Германія, и Гофманнъ является формальнымъ литераторомъ. Этому дивиться нечего: Германія страна писанія и чтенія. «Что бы мы ни дѣлали одной рукой, въ другой непременно книга, говорить Менцель. Германія нарочно для себя изобрѣла книгопечатаніе, и безъ усталы все печатаетъ и все читаетъ» ¹⁾. Въ то же время Гофманнъ пишетъ музыкальныя произведенія, даетъ уроки, рисуетъ, снимаетъ портреты и *par dessus le marché* острить, просить, чтобъ ему платили не только за уроки, но и за пріятное препровожденіе времени; сверхъ всего того, онъ при театрѣ компонистъ, декораторъ, архитекторъ и капельмейстеръ. Впрочемъ, финансовыя его обстоятельства все не блестящи: 26 ноября 1810 г. въ дневникѣ его написана печальная фраза: «*den alten Rock verkauft um nur essen zu können*» ²⁾. Эта пестрая жизнь служить до-

1) Die deutsche Litteratur, von W. Menzel.
 2) Проданъ старый сюртукъ, чтобъ ѣсть.

казательствомъ, что беспорядочная фантазія Гоффманна не могла удовлетворяться *нѣмецкой болѣзью*—литературой. Ему надобно было дѣятельности живой, дѣятельности въ самомъ дѣлѣ; и вы можете прочесть въ его журналѣ того времени, какъ онъ страстно былъ влюбленъ въ свою ученицу—«онъ, женатый человѣкъ!» (какъ будто женатымъ людямъ отрѣзывается всякая возможность любить!)

Съ 1814 года настаеъ послѣдняя эпоха жизни Гоффманна, обильная сочиненіями и дурачествами. Онъ поселился въ Берлинѣ, въ этомъ первомъ городѣ Брандербургскаго курфиршества, который сдѣлался первымъ городомъ Германіи, *sauf le respect que je dois Вѣнѣ* съ ея аристократической улыбкой, готическими правами и церковью Св. Стефана. Берлинъ не Бамбергъ, Берлинъ живетъ жизнью, ежели не полной, то свѣжей, юной; онъ увлекъ, завертѣлъ Гоффманна, и Гоффманнъ попалъ въ аристократическій кругъ, въ черномъ фракѣ, въ башмакахъ, читаетъ статейки, слушаетъ пѣнье, аккомпанируетъ. Но аристократы скучны; сначала ихъ тонъ, ихъ пышность, ихъ освѣщенные залы нравятся; но все одно и тожъ надобсть до нельзя. Гоффманнъ бросилъ аристократовъ, и съ паркета, изъ душныхъ залъ бѣжалъ все внизъ, внизъ, и остановился въ питейномъ домѣ. «Отъ восьми до десяти», пишетъ онъ, «сѣжу я съ добрыми людьми и пью чай съ ромомъ; отъ десяти до двѣнадцати также съ добрыми людьми, и пью ромъ съ чаемъ». Но это еще не конецъ; послѣ двѣнадцати онъ отирается въ винный погребъ, сохраняя въ питьѣ тоже *escendo*. Тутъ-то странныя, уродливыя, мрачныя, смѣшныя, ужасныя тѣни наполняли Гоффманна, и онъ въ состояніи сильнѣйшаго раздраженія схватывалъ перо и писалъ свои судорожныя, сумасшедшія повѣсти. Въ это время онъ сочинилъ ужасно много, и наконецъ торжественно заключилъ свою карьеру автобіографіей Кота Мурра. Въ Котѣ и Крейслерѣ Гоффманнъ описывалъ самъ себя; но, впрочемъ, у него въ самомъ дѣлѣ былъ котъ, котораго называли Мурромъ и въ котораго онъ имѣлъ какую-то мистическую вѣру. Странно, что Гоффманнъ совершенно здоровый говаривалъ, что онъ не переживетъ Мурра, и дѣйствительно умеръ вскорѣ послѣ смерти кота. Страдая мучительною болѣзью (*tabes dorsalis*), онъ былъ все тотъ же, фантазія не охладѣла. Лишившись ногъ и рукъ, онъ находилъ, что это прекрасное состояніе; его сажали противъ угольнаго окна, и онъ нѣсколько часовъ сидѣлъ, смотря на рынокъ и придумывая, за чѣмъ кто идетъ ¹⁾, а когда ему прижигали каленымъ желѣзомъ спину, воображалъ себя товаромъ, который клеймятъ по приказу таможеннаго пристава! Теперь, доведши его жизнь до похоронъ, обратимся къ его сочиненіямъ.

1) Meines Beters Eckfenster.

II.

Wie heisst des Sängers Vaterland?

. . . . das Land der Eichen.

Das freie Land, das Deutsche Land.

So hiess mein Vaterland!

Körner.

Въ Англіи скучно жить: вѣчный парламентъ съ своими готическими затѣями, вѣчныя новости изъ Остѣ-Индіи, вѣчный голодъ въ Ирландіи, вѣчная сырая погода, вѣчный запахъ каменнаго угля, и вѣчныя обвиненія во всемъ этомъ перваго министра. Вотъ, чтобъ этой скукѣ помочь, и вздумалъ одинъ англійскій сирь-тори, ужасный болтунъ, рассказывать старыя преданія своей Шотландіи, такъ мило, что, слушая его, совсѣмъ переносишься въ блаженной памяти феодальныя вѣка. Въ послѣднее время сомнѣвались въ исторической вѣрности его картинъ,—въ чемъ не сомнѣвались въ послѣднее время? Не могу рѣшить, справедливо-ли это сомнѣніе; но знаю, что одинъ великій историкъ ¹⁾ совѣтуетъ изучать исторію Англіи въ романахъ Вальтеръ-Скотта. По моему, въ Вальтеръ-Скоттѣ другой недостатокъ: онъ аристократъ, а общій недостатокъ аристократическихъ расказней есть какая-то апатія. Онъ иногда ходитъ на секретаря уголовной палаты, который съ величайшимъ хладнокровіемъ докладываетъ самыя нехладнокровныя происшествія; вездѣ въ романѣ его видите лорда-тори съ аристократической улыбкой, важно повѣствующаго. Его дѣло описывать, и какъ онъ, описывая природу, не углубляется въ растительную физиологію и геологическія изслѣдованія, такъ поступаетъ онъ и съ человѣкомъ: его психологія слаба и все вниманіе сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытаго земляною корою, по которой нельзя судить о кристаллахъ, въ его внутренности находящихся. Не ищите у Вальтеръ-Скотта поэтическаго провидѣнія характера великаго человѣка, не ищите у него этихъ дивныхъ созданій пламенной фантазіи, этихъ Schwankende Gestalten, которые на вѣки остаются въ памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода-Фролло; ищите расказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Вальтеръ-Скотта есть двойникъ, такъ, какъ и у Гофманнова Медардуса: это Куперъ, это его alter ego, романистъ Соединенныхъ Штатовъ, этого alter ego Англіи. Американское повтореніе Вальтеръ-Скотта совершенно ему подобно; иногда оно интереснѣе Шотландіи. Если романы Вальтеръ-Скотта историческіе, то Куперовы

¹⁾ Lettres sur l'histoire de la France. par Aug. Thierry.

надобно назвать статистическими; ибо Америка страна безъ исторіи, безъ аристократическаго происхожденія, страна *parvenue*, имѣющая одну статистику. Направленіе Вальтеръ-Скотта было господствующее въ началѣ нашего вѣка; но оно никогда не должно было выходить изъ Англіи, ибо оно несообразно съ духомъ другихъ европейскихъ народовъ.

Во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, некогда было писать и читать романы; тамъ занимались эпопеею. Но когда она успокоилась въ объятіяхъ Бурбоновъ, тогда ей былъ полной досугъ писать всякую всячину. Знаете-ли вы, что за состояніе называется *sploх.мел.ья*. Это состояніе, когда въ головѣ пусто, въ груди пусто, и между тѣмъ насилу подымается голова и дышать тяжело. Точно въ такомъ положеніи была Франція послѣ 1815 года; это было пробужденіе въ своей горницѣ, послѣ шумной вакханаліи, послѣ банка и дуэли. Тогда должна была развиться эта огромная потребность *far niente*, которая нисколько не похожа на квіетизмъ Востока,—квіетизмъ, основанный на мистической вѣрѣ въ себя; ибо на двѣ души было разочарованіе, раскаяніе. Начали было писать романы по подобію Вальтеръ-Скотта; не удались. Юная Франція столь же мало могла симпатизировать съ Вальтеръ-Скоттомъ, сколько съ Велингтономъ и со всѣмъ торизмомъ. И вотъ французы замѣнили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ; и тутъ-то явились эти анатомическія разъятія души человѣческой, тутъ-то стали раскрывать всѣ смердящія раны тѣла общественнаго, и романы сдѣлались психологическими разсужденіями¹⁾. Но не воображайте, чтобъ этотъ родъ родился во Франціи; нѣтъ! психологія дѣла въ Германіи: французы перенесли его къ себѣ цѣликомъ, прибавивъ свое разочарованіе и свой слогъ.

Психологическое направленіе романа несравненно прежде явилось въ Германіи; но не въ такой судорожной формѣ, не съ такимъ страшнымъ опытомъ въ задаткѣ, какъ у за-рейнскихъ сосѣдей. Нѣмца не скоро расшевелишь: привыкнувшій съ юности къ огню Шиллера, къ глубинѣ Гёте, онъ никогда не могъ высоко цѣнить чуждую теплую прозу Вальтеръ-Скотта²⁾; ему надобно бурю и громъ, чтобъ восхищаться природою, ему надобно, чтобъ революція выплеснула Наполеона съ легіонами республики, для того, чтобъ оставить отеческій кровь, закрыть книгу и подумать о себѣ. Сообразно духу народному, на нѣмецкихъ романахъ лежитъ особая печать глубины фантазіи и чувствъ. Однажды романъ и драма

¹⁾ Бальзакъ, Сю. Ж.-Жаненъ, А. де Виньи.

²⁾ Когда Гитцинъ далъ Гофманну читать Вальтеръ-Скотта, онъ возвратилъ, не читавши; наоборотъ Вальтеръ-Скоттъ въ Гофманнѣ находилъ только сумасшедшаго!

приняли было ложное направлѣніе, затерялись въ скучныхъ подробностяхъ всѣхъ пошлостей частной жизни обыкновенныхъ людей и, будучи еще пошлѣе самой жизни, впади въ приторную, паточную сантиментальность: это Лафонтенъ, Иффландъ, Коцебу. Ихъ читаютъ теперь die Stubenmädchen по субботамъ, набирая оттуда цѣлый арсеналъ нѣжностей для воскресенья. Но это отклоненіе романа было обильно вознаграждено прелестными сочиненіями таинственнаго Жанъ-Поля, наивнаго Новалиса, готическаго Тика. Гёте, этотъ Зевсъ искусства, поэтъ Буонаротти, Наполеонъ литературы, бросилъ Германію своего «Вертера», пѣснь чистую, высокую, пламенную, пѣснь любви, начинающуюся съ самаго тихаго *adagio* и кончающуюся бѣшенымъ крикомъ смерти, раздирающимъ душу *addio!* За «Вертеромъ» поетъ Гёте другую дивную пѣснь, пѣснь юности, въ которой все дышетъ свѣжимъ дыханіемъ юноши, гдѣ всѣ предметы видны сквозь призму юности, эти вырванные сцены, рапсодіи безъ соотношенія внѣшняго, тѣсно связанные общей жизнью и поэзіей. И что за созданія наполняютъ его «Вильгельма Мейстера!» Миньона, баядерка, едва умѣющая говорить, изломанная для гастретва, мечтающая о странѣ лимонныхъ деревьевъ, померанца, о ея свѣтломъ небѣ, о ея тепломъ дыханіи, Миньона, чистая, непорочная какъ голубь: и, съ другой стороны, сладострастная, огненная Филена, роскошная какъ страна юга, пламенная, бѣшенная какъ юношеская вакханалія, Филена, ненавидящая дневной свѣтъ и вполне живущая при тайномъ, неопредѣленномъ мерцаніи лампы, пылая въ объятіяхъ *его*; и тутъ же величественный барельефъ старца, лишеннаго зрѣнія, арфиста, которому хлѣбъ былъ горекъ и котораго слезы струились въ тиши ночной!

III.

Die Kunst ist meine Beschützerin. meine Heilige.
Hoffmann's Brief an Hitzig. 1812.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка явился въ нѣмецкой литературѣ писатель самобытный, Теодоръ-Амедей Гоффманнъ: покоренный необузданной фантазіей, съ душою сильной и глубокой, художникъ въ полномъ значеніи слова, онъ смѣлымъ перомъ чертилъ какія-то тѣни, какіе-то призраки, то страшные, то смѣшные, но всегда изящные; и эти-то неопредѣленные, набросанные тѣни—его повѣсти. Обыкновенный, скучный порядокъ вещей слишкомъ тѣснилъ Гоффманна; онъ пренебрегъ жалкимъ пластическимъ правдоподо-

біемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ; онъ пишеть въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій предъ своими вымыслами, съ всклокоченными волосами; онъ самъ отъ чистаго сердца вѣрить во все: и въ «песочнаго человѣка», и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрой подчиняеть читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и надолго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основою бѣльшей части сочиненій Гоффманна, и эти же элементы составляютъ душу самаго автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя психическія явленія, и дѣйствія сверхъ-естественныя. Все это, съ одной стороны, погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой, растворено юморомъ живымъ, острымъ, жгучимъ. Юморъ Гоффманна весьма отличенъ и отъ страшнаго, разрушающаго юмора Байрона, подобнаго смѣху ангела, низвергающагося въ преисподнюю, и отъ ядовитой, адской, змѣиной насмѣшки Вольтера, этой улыбки самодовольствія, съ сжатыми губами. У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатей кусокъ камня,—артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена просить денегъ дѣтямъ на башмаки. Этимъ-то юморомъ растворилъ Гоффманнъ всѣ свои сочиненія и безпрестанно перебѣгаетъ отъ самаго пылкаго паэоса къ самой злой ироніи. Этотъ юморъ натураленъ Гоффманну; ибо онъ больше всего художникъ истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи объ музыкѣ; назову двѣ: «разборъ Бетховена» и «разборъ Донъ-Жуана». ¹⁾ Тамъ вы увидите, что для него звуки, увидите, какъ они облекаются въ формы, оставаясь безтѣлесными.

«Музыка есть искусство наиболѣе *романтическое*, ибо характеръ ея безконечность. Лира Орфея растворила врата Орка. Музыка открываетъ человѣку невѣдомое царство, новый міръ, не имѣющій ничего общаго съ міромъ чувственнымъ, въ которомъ пропадаютъ всѣ опредѣленные чувства, оставляя мѣсто невыразимому страстному увлеченію.

«Въ сочиненіяхъ Гайдна выражается дѣтская, свѣтлая душа. Его симфоніи ведутъ насъ на необозримые, зеленые луга, въ пестрыя толпы счастливыхъ людей. Мелькаютъ юноши и дѣвы; смѣющіяся дѣти прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цвѣтами. Жизнь, исполненная любви, блаженства, жизнь до грѣхопаденія, вѣчно юная; нѣтъ страданья, нѣтъ мученій, одно томное, сладкое стремленіе къ милому образу, несущемуся въ блескѣ вечерней зари; онъ и не приближается, и не улетаетъ, и, пока не исчезнетъ, не настанетъ ночь.

¹⁾ Phantasiestücke in Gallotsmanier.

«Въ глубины царства духовъ ведетъ Моцартъ. Страхъ объемлетъ насъ, но безъ мученія; это предчувствіе безконечнаго. Любовь и нѣга дышатъ въ прелестныхъ голосахъ существъ неземныхъ; ночь настаеъ при яркомъ пурпурномъ свѣтѣ, и съ невыразимымъ восторгомъ стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ въ свои ряды, летая въ облакахъ.

«Музыка Бетховена раскрываетъ намъ царство безконечнаго и необъятнаго. Огненные лучи мелькаютъ въ этомъ царствѣ ночи, и мы видимъ тѣни великановъ, которые все болѣе и болѣе приближаются, окружаютъ насъ, подавляютъ, уничтожаютъ; но не уничтожаютъ безконечной страсти, въ которую переливается всякій восторгъ, въ которомъ сплавлена любовь, надежда, удовольствіе, и въ которой тогда мы только продолжаемъ жить.

«Гайднъ беретъ человѣческое въ жизни романтически; онъ соизмѣримъ, понятнѣе для толпы.

«Моцартъ беретъ сверхъ-естественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

«Музыка Бетховена дѣйствуетъ страхомъ, ужасомъ, изступленіемъ, болью, и раскрываетъ именно то безконечное влеченіе, которое составляетъ собственно сущность романтизма. Посему-то онъ компонируетъ чисто романтически; и не оттого-ли происходитъ плохой успѣхъ его въ вокальной музыкѣ, уничтожающей словами этотъ характеръ непредѣленности и безконечности?..»

Не правда-ли, въ этомъ небольшомъ отрывкѣ видна непомерная глубина артистическаго чувства! Какъ полны, многозначущи нѣсколько словъ, мелькомъ брошенные о романтизмѣ!

Хотите-ли вы знать, что такое душа художника, насколько она отдѣлена отъ души обыкновеннаго человѣка, души съ запахомъ земли, души, въ которой запачкано божественное начало? Хотите-ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите-ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ въ буйную вакханалію и въ объятія дѣвы? Читайте Гофманновы повѣсти: онѣ вамъ представляютъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея. Возьмемъ его Глюкка, наприимѣръ: развѣ это не типъ художника, кто бы онъ ни былъ—Буонаротти или Бетховенъ, Дантъ или Шиллеръ? Послушайте, вотъ Глюккъ рассказываетъ о минутахъ восторга и вдохновенія:

«Можетъ быть, полузабытая тема какой-нибудь пѣсни, которую мы поемъ на другой манеръ, есть первая мысль, намъ принадлежащая, зародышъ великана, который все пожретъ около себя и все превратитъ въ свою кровь, въ свое тѣло! Путь широкій, на немъ толпится народъ, и всѣ кричатъ: мы посвящен-

ные! мы достигли цѣли! Черезъ врата изъ слоновой кости входятъ въ царство видѣній, малое число замѣчаютъ эти врата, еще меньшее проходятъ въ нихъ! Здѣсь все страшно: безумные образы летаютъ тамъ и сямъ, и эти образы имѣютъ свои характеры, болѣе или менѣе опредѣленные. Все вертится, кружится; многіе засыпаютъ, и таютъ, уничтожаются въ своемъ снѣ, и нѣтъ тѣни отъ нихъ,—тѣни, которая бы сказала имъ о дивномъ свѣтѣ, которымъ озарено это царство. Нѣкоторые, проснувшись, идутъ далѣе и достигаютъ истины. Высокое мгновение! минута соприкосновенія съ вѣчнымъ невыразимымъ! Посмотрите на солнце: это троезвучіе (Dreiklang), изъ котораго сыплются аккорды подобно звѣздамъ и обвиваютъ васъ нитями свѣта.

«Когда я былъ въ томъ дивномъ царствѣ, меня терзали и страхъ и боль! Это было ночью; я боялся безобразныхъ чудовищъ, которыя то повергали меня на дно океана, то подымали на воздухъ. Внезапно лучи свѣта прорѣяли въ мракѣ, эти лучи были звуки, освѣтившіе меня какой-то ясностью, исполненною нѣги. Я проснулся: большое, свѣтлое око было обращено на органы, и доколѣ оно было обращено, лилися тоны изъ него, мерцали, сливались въ прелестныхъ аккордахъ, недоступныхъ прежде для меня. Волны мелодій неслись; я погрузился въ этотъ потопъ, уже тонувъ въ немъ, какъ око обратилось на меня, и я остался на поверхности волнъ. Снова мракъ, и явились два гиганта въ блестящихъ доспѣхахъ: основной тонъ (Grund-Ton) и квинта! Они устремились на меня, увлекли. Но око улыбалось: я знаю, что твою грудь наполняетъ страсть; придетъ кроткій, нѣжный юноша—терца; онъ пріобщится къ великанамъ, ты услышишь его сладкій голосъ, и мои мелодіи будутъ твоими».

Возьмемъ Крейсlera, капельмейстера Иогана Крейсlera, котораго нѣмецкій принцъ Ириней называлъ Mr. Krösel; этотъ Mr. Krösel есть лучшее произведеніе Гоффманна, самое стройное, исполненное высокой поэзіи. Тутъ болѣе, нежели гдѣ либо, Гоффманнъ высказалъ все, что могъ, чѣмъ душа его была такъ полна, о любимомъ предметѣ своемъ, о музыкѣ. Крейслеръ—пламенный художникъ, съ дѣтскихъ лѣтъ мучимый внутреннимъ огнемъ творчества, живущій въ звукахъ, дышащій ими, и между тѣмъ неутомонный, гордый, бросающій направо и налево презрительные взгляды. Ему придалъ Гоффманнъ свой собственный характеръ, или, лучше, въ немъ описалъ онъ самого себя, и быстрые, внезапные переливы Крейсlera отъ высокихъ ощущеній къ сардоническому смѣху придаютъ ему какую-то неуловимую фізіономію. И этотъ Крейслеръ поставленъ между двумя существами дивнаго изящества. Одна—дочь Сѣвера, дочь туманной Германіи, что-то томное, неопредѣленное, таинственное, неразгаданное—Гедвига. Другая ды-

шетъ югомъ, Италией—пѣснь Россини, пѣснь пламенная, яркая, влюбленная—Юлія. А тутъ для тѣни принцъ Ириней, предобрѣйшій God save the King. Но въ Крейслерѣ еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазія Гоффманна. Она сошла въ тѣ заповѣдныя изгибы страстей, которые ведутъ къ преступленіямъ; и вотъ его «*Jesuiten-Kirche*». Художникъ живетъ только идеаломъ, любовью къ нему, онъ не дома на землѣ, не между своими съ людьми; для него вся земля огромная собачья пещера, въ которой онъ задыхается. Художникъ въ пылу мечтанья создалъ идеалъ, хранилъ его, лелѣялъ; его идеалъ святъ, чистъ, высокъ, небесенъ; и вдругъ онъ нашелъ его въ женщинѣ, и это женщина матеріальная, и ѣсть и пьетъ, словомъ, женщина изъ костей и мяса, земная жена его! Идеалъ затмился, унизился; порывы творчества исчезли; виновата жена, и онъ убійца ея! Но и тутъ, въ самомъ преступленіи, Гоффманнъ умѣлъ столько разлить изящнаго въ своемъ живописцѣ, и тутъ можно отыскать опять божественное начало художника, такъ что вы не можете ненавидѣть его. Во многихъ другихъ повѣстяхъ представлены прочіе элементы жизни художника; мы не станемъ разбирать ихъ.

Два другіе элемента его повѣстей, явленія психическія и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здѣсь надо сдѣлать яркое раздѣленіе. Однѣ повѣсти дышатъ чѣмъ-то мрачнымъ, глубокимъ, таинственнымъ; другія—шалости необузданной фантазіи, писанныя въ чадѣ вакханалій. Сперва нѣсколько словъ о первыхъ.

Идіосинкразія, судорожно обвивающая всю жизнь человѣка около какой-нибудь мысли, сумасшествіе, ниспровергающее полюсы умственной жизни, магнитизмъ, чародѣйная сила, мощно подчиняющая одного человѣка волѣ другого, открываетъ огромное поприще пламенной фантазіи Гоффманна. Но тутъ еще не все: есть люди, одаренные какою-то невѣдомою силой, заставляющей трепетать передъ ними. Не случалось ли вамъ когда встрѣчать взоръ незнакомца, взоръ удушливый и страшный, отъ котораго вы съ ужасомъ должны отворотиться, и доселѣ помните его? Не случалось-ли встрѣтить цѣлаго человѣка, похожаго на этотъ взоръ, человѣка съ блѣднымъ лицомъ, съ тусклыми глазами, съ судорожной улыбкой, который васъ отталкиваетъ, и въ то же время привлекаетъ? Вотъ въ эти-то темныя, недоступныя области психическихъ дѣйствій не побоялся спуститься Гоффманнъ, и вышелъ—смѣло скажу—торжествующимъ. Это ужъ не Жюль-Жанена натянутыя, вытянутыя, раскрашенныя повѣсти,—дѣти страннаго соединенія философіи XVIII вѣка съ германскою поэзіей. Нѣтъ! Это волчья долина «Фрейшюца» со всѣми ея ужасами, съ заколдованными пулями, съ блѣднымъ мерцающимъ свѣтомъ, съ

неистойвой музыкой, съ дьявольскимъ аккомпаниментомъ, съ запахомъ ада. Въ этихъ повѣстяхъ вы уже расстаётесь съ обыкновенными людьми, то есть съ людьми, которые во время ѣдятъ, во время спать, во время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьи, съ людьми, которые по донесенію Парижской академіи имѣютъ столь счастливую комплексію, что *не могутъ быть магнетизированы*. Нѣтъ, тутъ являются другіе люди,—люди съ душою сильной, обманомъ заключенною въ эту тюрьму ¹⁾, съ ея маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпями, съ ея сырымъ воздухомъ. Такая душа не-дома въ тѣлѣ, она безпрестанно ломаетъ его и кончить тѣмъ, что сломаешь самое-себя; она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ: великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ—это все равно. У такихъ людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающія однообразнымъ эллипсисомъ планетныхъ орбитъ, не боясь раздробиться на пути своемъ. Для того, чтобъ ихъ узнать, рассмотрите у Гоффманна ихъ странныя, исковерканныя черты, ихъ огромныя отклоненія отъ обычнаго прозябанія людей. Вообразите себѣ несчастнаго юношу, котораго разстроенная фантазія облекла въ какой-то страшный образъ, дѣтскую сказку о «песочномъ человѣкѣ», и этотъ «песочной человѣкъ» преслѣдуетъ его вездѣ, и въ отеческомъ домѣ, и въ университетѣ, и ночью, и днемъ, то въ видѣ алхимика, то въ видѣ итальянскаго кіарлатано. Вообразите послѣднюю минуту его изступленія, когда онъ съ неистовымъ восторгомъ бросаетъ свою невѣсту съ колокольни и съ безумнымъ хохотомъ кричитъ: *Feueruriel dreh' dich! Feueruriel dreh' dich!!* У Гоффманна цѣлый рядъ этихъ страшныхъ людей: «*Der unheimliche Gast*» ²⁾, «*Der Magnetiseur*». Наконецъ, онъ собралъ всѣ отдѣльные лучи этого направленія и слилъ ихъ въ одинъ адскій, сѣрный огонь: это «*Die Elixire des Teufels*», монахъ Медардусъ. Гоффманну мало было одной жизни, онъ взялъ четыре поколѣнія, наслѣдовавшія другъ отъ друга злодѣйства, и собралъ ихъ всѣ на главѣ Медардуса. Гоффманну мало было одной жизни: онъ представилъ цѣлую семью, рожденную въ гнусныхъ кровосмѣшеніяхъ, и поразилъ ее слѣпымъ мечемъ рока, который вручилъ Медардусу. Этотъ рокъ влечетъ Медардуса отъ преступленія къ преступленію, и никому нѣтъ пощады; у этого рока чистая кровь Авреліи въ свою очередь брызнула на алтарь Божій, какъ кровь невинной жертвы искупленія. Гоффманну все еще было мало: онъ раздвоилъ, разсѣкъ самого

1) Du weisst dass der Leib ein Kerker ist,
Die Seele hat man hinein betrogen.

Goethe W.-O. Diwan Saki-Nameh.

2) „Недобрый Гость“, переводъ въ *Телеск.* 1836, кн. 1 и 2.

Медардуса на-двое; и какъ страшень его двойникъ, съ своей всклокоченной бородою, съ своимъ изодраннымъ рубищемъ, съ своимъ окровавленнымъ лицомъ: верхъ ужаса! Я трепеталъ всѣми членами, читая, какъ лже-Медардусъ гнался въ лѣсу за настоящимъ; мнѣ казалось, я слышалъ его пронзительный, скрипящій какъ ржавое желѣзо голосъ, которымъ онъ звалъ его на бой съ безумнымъ хохотомъ. Этотъ двойникъ Медардуса, братъ его, котораго Медардусъ не знаетъ; онъ сошелъ съ ума на мысли, что онъ Медардусъ, и вотъ онъ преслѣдуетъ Медардуса, который, терзаясь угрызениями совѣсти, думаетъ, что его существо раздвоилось!—Какая смѣлость фантазій, и посмотрите, какъ выдержалъ Гоффманнъ всѣ сцены ихъ встрѣчъ, какъ онъ переплелъ эти двѣ жизни, такъ что онѣ и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ розныя!— Это самое сильное произведеніе его фантазій!

Перейдемъ теперь къ шалостямъ, дурачествамъ его сильнаго воображенія.

Опомнилась—глядитъ Татьяна...
И что же видить... За столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ:
Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой,
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ шевелится хоботь гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ
Полу-журавль и полу-котъ...

Кому не случалось видать подобныхъ сновъ? Хотите-ли ихъ видѣть на-яву? Вотъ вамъ «Meister Floh», Принцесса Брамбилла, Цинноберъ, Золотой Горшокъ... Это все сны, одинъ безсвязнѣе другого. Тутъ нѣтъ ни мыслей, ни завязокъ, ни развязокъ, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто бы велѣлъ человѣку спать ежедневно? Да и какъ не быть имъ занимательными? живи до ста лѣтъ, никогда не встрѣтитя ничего мудренѣе. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ пѣявки; иногда задумается, вспомнить жизнь былую, и вытянется до потолка и съезжится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣнчикѣ прекраснаго цвѣтка, мила до крайности; но что проку: *oculis non manibus....* и вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ, и дѣлаютъ изъ ней препорядочную барышню. Но пуще всего прошу васъ ненавидѣть Циннобера: онъ, право, злодѣй, мой личный врагъ, и если бы онъ не утонулъ въ рукомойникѣ, я убилъ бы его. Вообразите: уродъ въ нѣсколько вершковъ, съ тремя рыжими волосами на головѣ, попалъ въ фаворъ къ колдуньѣ; и что-же? Что кто ни сдѣлай хорошаго, *klein Zaches Ziunober genannt* получаетъ похвалу. Од-

нажды кто-то даетъ концертъ на контръ-басѣ, а публика аплодируетъ, благодарить Циннобера. Взойдите въ это положеніе: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякой постъ съ 1700 года ѣздите въ Москву съ контръ-басомъ, и вдругъ вмѣсто васъ хвалятъ Циннобера, а можетъ быть — я не отвѣчаю за него — что всего хуже, ему отдадутъ и деньги за билеты. О horrible! О horrible! Право, я съ робостью узналъ, что Алоизій чернокнижникъ вступилъ съ нимъ въ бой. Алоизій человѣкъ хорошій, живетъ аристократомъ, страусъ въ ливреѣ швейцаромъ, двѣ лягушки у воротъ дворниками, жукъ ѣздитъ за каретой. За то рекомендую вамъ Ансельма; онъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, нужды нѣтъ: съ чужими женами не надобно знакомиться; но онъ васъ познакомитъ съ своимъ свекромъ, архивариусомъ Линдгорстомъ; чудака преестественный, былъ когда-то саламандромъ, въ юности напроказилъ, его прямо изъ Индіи, за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ наказаніе и сослали архивариусомъ въ Дрезденъ. Гоффманнъ самъ былъ у него въ гостяхъ; онъ ему далъ санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся, и давай купаться въ стаканѣ. Вѣдь я говорилъ вамъ, что чудака. Словомъ, вообразите себѣ отдѣльныя сцены Гётевой «Вальпургиснахтъ»: это вѣрный образъ, типъ Гоффманновыхъ сказокъ. Еще къ вамъ просьба — забылъ было совсѣмъ — сходите поклониться праху Кота Мурра. Во-первыхъ, былъ онъ человѣкъ ученый, не смотря на то, не былъ никогда человѣкомъ; но я увѣренъ, что со временемъ ясно докажутъ, что прилагательное «ученый» уничтожаетъ существительное «человѣкъ». Далѣе, этотъ котъ самъ Гоффманнъ, котораго, я надѣюсь, вы любите, хоть *par courtoisie* ко мнѣ. Сходите же, какъ будете въ той сторонѣ, къ нему на могилу.

Теперь, слегка начертавши характеръ Гоффманна, мы окончимъ. Можетъ быть, на досугъ поговоримъ и о другихъ прозаикахъ Германіи. Въ заключеніе скажу, что Гоффманнъ превосходно переведенъ Леве-Веймаромъ на французскій языкъ и былъ принятъ въ Парижѣ съ восторгомъ. *Когда-нибудь* и у насъ его переведутъ съ французскаго.

1834, апрѣля 12.

Р Ъ Ч Ь,
сказанная при открытіи Вятской
Публичной Библіотеки 6 декабря 1837 г.

Милостивые Государя!

Съ тѣхъ поръ, какъ Россія въ лицѣ Великаго Петра совѣщалась съ Лейбницомъ о своемъ просвѣщеніи, съ тѣхъ поръ, какъ она царю передала дѣло своего воспитанія,—правительство подобно солнцу ниспослало лучи свѣта тому великому народу, которому только не доставало просвѣщенія, чтобъ сдѣлаться первымъ народомъ въ мірѣ. Оно продолжало жизнь Петра выполненіемъ его мысли, постоянно, неумоимо прививая Россіи науку. Цари, какъ Великій Петръ, стали впереди своего народа и повели его къ образованію. Ими были заведены академіи и университеты, ими были призваны люди знаменитые на ученомъ поприщѣ; а они намъ передали европейскую науку, и мы вступили во владѣніе ея, не дѣлая тѣхъ жертвъ, которыхъ она стоила нашимъ сосѣдямъ; они намъ передали изобрѣтенія, найденныя по тернистому пути, который сами прокладывали, а мы ими воспользовались и пошли далѣе; они передали прошедшее Европы, а мы открыли безконечный иподромъ въ будущемъ. Свѣтъ распространяется быстро, потребность вѣдѣнія обнаружилась рѣшительно во всѣхъ частяхъ этой вселенной, называемой Россія. Чтобъ удовлетворить ей, учебныхъ заведеній оказалось недостаточно; аудиторія открыта для нѣкоторыхъ избранныхъ, массамъ надобно другое. Сфинксы, охраняющіе храмъ наукъ, не каждаго пропускаютъ и не каждый имѣетъ средство войти въ него. Для того, чтобъ просвѣщеніе сдѣлать народнымъ, надобно было избрать болѣе общее средство и размѣнять, такъ сказать, на мелкія деньги. И вотъ нашъ великій царь предупреждаетъ потребность народную заведеніемъ публичныхъ библіотекъ въ губернскихъ городахъ.

Публичная библіотека—это открытый столъ идей, за который приглашенъ каждый, за которымъ каждый найдетъ ту пищу, которую ищетъ; это запасной магазинъ, куда одни положили свои мысли и открытія, а другіе берутъ ихъ вроссть. Въ той странѣ, гдѣ просвѣщеніе считается необходимымъ, какъ хлѣбъ насущный,—въ Германіи, это средство давно уже извѣстно; тамъ нѣтъ маленькаго городка, гдѣ бы не было библіотеки для чтенія; тамъ всѣ читаютъ: работникъ, положивъ молотъ, беретъ книгу, торговка ожидаетъ покупателя съ книгою въ рукѣ, и послѣ этого обратитѣ вниманіе ваше на образованность народа германскаго и вы увидите пользу чтенія. Это-то вліяніе вмѣстѣ съ положительной пользой распространенія открытій поселило великую мысль учредить публичныя библіотеки на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ связываются узлы гражданской жизни нашей обширной родины. Августѣйшимъ утвержденіемъ своимъ, государь императоръ далъ жизнь этой мысли и въ большей части значительныхъ городовъ имперіи открыты библіотеки. Пожертвованія ваши, милостивые государи, доказываютъ, что здѣшнее общество оправдало попеченія правительства. Нѣтъ мѣста сомнѣнію, что святое начинаніе наше благословится Богомъ.

Теперь позволѣте мнѣ, милостивые государи, обратиться исключительно къ будущимъ читателямъ; не новое хочу я имъ сказать, а повторить извѣстныя всѣмъ вамъ мысли о томъ, что такое книга.

Отецъ передаетъ сыну опытъ, пріобрѣтенный дорогими трудами, какъ даръ для того, чтобъ избавить его отъ труда уже совершеннаго. Точно такъ поступали цѣлыя племена, такъ составились на Востокѣ эти преданія, имѣющія силу закона: одно поколѣніе передавало свой опытъ другому; это другое, уходя, прибавляло къ нему результатъ своей жизни, и вотъ составила система правилъ, истинъ, замѣчаній, на которую новое поколѣніе опирается, какъ на предыдущій фактъ, и который хранить твердо въ душѣ своей, какъ драгоценное отцовское наслѣдіе. Этотъ предыдущій фактъ, этотъ-то опытъ, написанный и брошенный въ употребленіе,—*есть книга*. Книга, это духовное завѣщаніе одного поколѣнія другому, совѣтъ умирающаго старца юношѣ, начинающему жить, приказъ, передаваемый часовымъ, отправляющимся на отдыхъ, часовому, заступающему его мѣсто. Вся жизнь человѣчества послѣдовательно осѣдала въ книгѣ: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вмѣстѣ съ чело-вѣчествомъ, въ нее кристаллизовались всѣ ученія, потрясавшія умы, и всѣ страсти, потрясавшія сердца; въ нее записана та огромная исповѣдь бурной жизни чело-вѣчества, та огромная аутографія, которая называется Всемирной исторіей. Но въ книгѣ

не одно прошедшее, она составляет документъ, по которому мы вводимся во владѣніе настоящаго, во владѣніе всей суммы истинъ и усилій, найденныхъ страданіями, облитыхъ иногда кровавымъ потомъ; она программа будущаго. Итакъ, будемъ уважать *книгу!* Это мысль человѣка, получившая относительную самобытность, это слѣдъ, который онъ оставилъ при переходѣ въ другую жизнь.

Было время, когда и букву и книгу хранили тайной, именно потому, что массы не умѣли оцѣнить того, что онѣ выражали. Жрецы Египта, желая пламенно высказать свою теодицею, исписали всѣ храмы, всѣ обелиски, но исписали іероглифами, для того, чтобъ одни избранные могли понимать ихъ. Левиты хранили въ святой скинїи, небомъ вдохновенныя, книги Моисея. Настали другія времена. Христіанство научило людей уважать слово человѣческое, народы сбѣгались слушать учителей и съ благоговѣніемъ читали писанія св. отцовъ и легенды. Слово было оцѣнено, а между тѣмъ мысль окрѣпла, наука двинулась впередъ, ей стало тѣсно въ школѣ, народы почувствовали жажду познаній, не доставало токмо средствъ распространять мысль быстро, мгновенно, подобно лучамъ свѣта. Германія подарила роду человѣческому книгопечатаніе и мысль написанная разнеслась во всѣ четыре конца міра и отзывалась, тысячу разъ повторенная, въ тысячи сердцахъ.

Вспомнивъ это, не грустно ли будетъ думать, что праздность можетъ иного заставить приходить сюда, вялой рукой оборачивать страницы, какъ будто книга назначена токмо для препровожденія времени. Нѣтъ, будемъ съ почтеніемъ входить въ этотъ храмъ мысли, утомленные заботами вседневной жизни; придемъ сюда отдохнуть душою и, укрѣпленные на новый трудъ, всякій разъ благословимъ нынѣшній день, столь близкій русскому сердцу, столь торжественный и съ памятью котораго соединяется *день рожденія* нашей библіотеки.

Отдѣльныя мысли.

Произведеніе человѣка имѣеть цѣлью пребываемость, существованіе, но не всякое: иное производится для гибели другихъ и собственной. Таковъ брандеръ. Его дѣло жечь, губить и самому погибнуть въ пожарѣ; даже болѣе—самому горѣть прежде корабля. Такъ и провидѣніе: ему нужны всякія орудія и нуженъ брандеръ, который жжетъ. Но легко ли быть имъ? Правда, подобно конгревовой ракетѣ, онъ блеститъ, шумитъ, жжетъ. Но внутри его ядъ, долженствующій разрушить его самого.

Но, вѣдь, не всякій огонь на морѣ—брандеръ. Есть и маяки, фаросы, указующіе путь кораблямъ, ведущіе ихъ въ безопасную пристань, показующіе имъ мели. Брандеръ нуженъ въ войну, фаросъ—всегда.

Вотъ апостолы и революціонеры. Аттила, Аларихъ, Дантонъ, Мирабо были эти brulots, пущенные провидѣніемъ въ станъ непріятельскій; Св. Павель, Златоустъ, Иоаннъ — фаросы для веси Господней.

Бенедиктины—якобинцы. Та же противоположность.

Человѣкъ, назначенный жечь, давшій мѣсто въ своей груди огню разрушенія, будетъ все жечь. Пожаръ сжигаетъ и икону, и хартію, и стѣну, и пыль на стѣнѣ. Я увѣренъ, что Аттила, Аларихъ, ежели-бъ не они были призваны вести разрушителей Рима, то они были бы простыми воинами этой брани, отъ или по душѣ. Даже ежели-бъ остались дома, то они въ своемъ семейномъ кругу сдѣлали-бы этотъ пожаръ. Примѣръ жизни Мирабо подтверждаетъ это.

14 октября, 1836 года. Еще весьма важный примѣръ—Марать. Прежде чѣмъ онъ являлся въ [не разобрано] камерѣ на трибуну конвента требовать казни поколѣній, онъ былъ докторомъ медицины. Есть его сочиненіе «Полемика о теоріи свѣта», гдѣ онъ

съ такою же яростью ниспровергаетъ опыты и теоріи предшественниковъ. Кинэ очень остроумно сравнилъ Робеспьера и Фихте, Наполеона и Шеллинга!

Представьте себѣ медаль, на одной сторонѣ которой будетъ изображено преображеніе, на другой — Иуда Искариотъ!!—Человѣкъ.

Римская исторія имѣетъ то же вліяніе на душу юноши, какъ романы на душу дѣвушки.

Откуда сила этихъ типовъ историческихъ?

Греція выразила полную идею изящнаго. Ея архитектура всегда будетъ поражать самой простотой. Римъ сдѣлалъ то же съ своимъ политическимъ бытомъ. Простыми, рѣзкими, гениальными чертами набросалъ онъ жизнь свою. Но въ изящномъ Греціи и въ гражданственности Рима одинъ недостатокъ — нѣтъ религіи. Отсюда этотъ характеръ конечности, соизмѣримость.

Ноября 6, 1836 г. Весь вечеръ, занимаясь развитіемъ мысли религіозной въ жизни человѣчества и открывъ нѣкоторые весьма важные результаты, — я радовался. Уже ложась спать безъ всякаго дѣла развернулъ Эккартсгаузена и попалъ на слѣдующій текстъ св. Писанія: «И бѣси вѣрують и трепещуть!» Да, вѣра безъ любви — мечта! Мышленіе безъ дѣйствованія — мечта!

У египтянъ болѣе гордости, болѣе тайны, болѣе касты; въ готизмѣ — болѣе молитвы, болѣе святаго.

Готизмъ или тевтонизмъ имѣетъ какое-то сродство съ духомъ мавританскимъ. Но въ одномъ мысль аскетическая и религіозная; въ другомъ — жизнь разгульная, роскошная. Тамъ — поэзія молитвы, тутъ — поэзія жизни восточной, Дантъ и Аріостъ.

Италія, кажется, нигдѣ во всей чистотѣ не выразила готизма, — она не могла забыть своего прошедшаго.

Искаженные зданія XVII и XVIII вѣка тѣмъ же дурны, какъ и тогдашняя литература. Вездѣ эффекты, поза, натяжка, пастораль на паркетѣ, театральная декорация, а не самосущность.

Ежели стиль тевтонскій во всей чистотѣ своей выражаетъ христіанство, стиль греческій — политеизмъ, стиль египетскій — религію того края; и ежели мы откроемъ, чѣмъ каждый изъ нихъ выражаетъ свою религію и какъ, тогда не въ правѣ ли мы будемъ дѣлать по тому же закону прямыя заключенія отъ стиля храмовъ къ религіи? Напримѣръ, находя въ Нубіи стиль египетскій, заключимъ, что ихъ религія сходна; напротивъ, разсматривая развалины индусскихъ храмовъ, этихъ пещеръ, изсѣченныхъ въ скалѣ, этихъ пилоновъ четверогранныхъ, или массы, скалы. перенесенныя кельтами, или овальные своды персовъ, — мы ихъ равно отдѣлимъ отъ всего предыдущаго.

Не будемъ дивиться средству дальнему индѣйскихъ разва-

линъ и тевтонскаго стиля. Вспомнимъ сходство религіи христіанской и Вишну.

Открытие развалинъ Мерое въ Эфіопіи французомъ Caillioud еще далѣе на югъ отталкиваетъ колыбель греческой цивилизаціи. Вѣроятно, изъ Эфіопіи заселился Египетъ. Храмы того же характера; тамъ встрѣчается уже форма периптеральная храмовъ. Итакъ, и эта форма не есть изобрѣтеніе грековъ. Можетъ, Пиранизи очень правъ, говоря, что всѣ ордена только усовершенствованы греками.

Сами египтяне говорятъ, что Изида пришла изъ Эфіопіи и научила ихъ обрабатывать поля.

Храмъ египетскій (вообще) есть храмъ чисто земной, тѣлесный, изсѣченный въ скалѣ, углубленный, такъ сказать, въ землю, мрачный со своими стройными пилонами. Они выражали свое поклоненіе Озирису, давая ему ужасную человѣческую форму (50 фут., напр., въ Эбсимбулѣ).

Идея тайны грозной, страшной выражалась въ мрачномъ фасадѣ.

Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ.

Въ гражданскомъ обществѣ (*dans le fait social*) прогрессивное начало есть правительство, а не народъ. Правительство есть формула движенія (*du progrès*), выраженіе идеи общества, форма его историческая, фактъ непреложный. Нигдѣ правительство не становилось настолько передъ народомъ, какъ въ Россіи; можетъ отъ этого оно не всегда было исторически справедливо, не всегда послѣдовательно. Прежде юрисконсультовъ у насъ явились учрежденія съ самыми дробными приложеніями, но зато не всѣ они своевременны и умѣстны.

Сводъ императора Николая—огромнѣйшій юридическій фактъ, онъ остановилъ жизнь юридическую Россіи и, показавъ все совершенное ею, все, что сдѣлало правительство, показалъ, [что] труды индивидуальныя должны теперь облегчить труды правительства.

Возраженія Савиньи противъ германской кодификаціи не идутъ. Сводъ не токмо не ограничилъ, но далъ правильную форму прогрессивному началу законодательства.

Есть ли естественный переходъ отъ «Уложенія» къ законамъ Петра Великаго?

Есть ли и насколько національная сторона [во] вновь вышедшихъ узаконеніяхъ отъ Петра до Свода?

Какіе національные элементы перешли изъ Судебника, Уложенія черезъ все царствованіе дома Романовыхъ до Свода? Какіе исключились?

Глубокія изысканія токмо могутъ разрѣшить эти вопросы.

Характеръ законодательства императрицы Екатерины II—философскій, въ смыслѣ филантропіи XVIII вѣка, проникнутъ

важнѣйшими идеями для быта гражданскаго. Характеръ законодательства Павла—рыцарскій и, можетъ, не вовсе своевременный. Характеръ законодательства Александра [Павловича] сбивается во многомъ на начальный характеръ постановлений de l'Assemblée nationale и вообще политическаго ученія des garanties.

Въ законахъ Екатерины есть что-то женское, исполненное любви, что-то напоминающее патриархальную Германію. У Александра много Франціи (учрежденіе министерствъ).

Въ законахъ императора Николая виденъ характеръ положительности, котораго не доставало прежде, характеръ внутренней силы государства, чувствующаго всю мощность свою.

У насъ не было системы, послѣдовательности принятія европеизма. Россія воспитана такъ же, какъ мы. Ибо революція Петра была матеріальная.

Въ европейскую эпоху нашего законодательства при самыхъ начальныхъ трудахъ являются два элемента, блестящимъ образомъ развитые императрицей Екатериной II. Эти два элемента лучшее доказательство, насколько правительство стояло выше народа и насколько оно хотѣло поднять его. Я говорю о коллегіальномъ началѣ и о выборахъ. Одна власть исполнительная ввѣрялась лицу; власть судебная и законодательная (въ назначенныхъ предѣлахъ) всегда ввѣрялись мѣсту, а не лицу. Совѣтникъ всегда имѣлъ право подать голосъ, перенести дѣло въ высшую инстанцію; эта высшая опять составляется изъ нѣсколькихъ лицъ, и ежели снова возникнетъ разногласіе, то рѣшеніе вопроса можетъ быть или большинствомъ голосовъ, или же восходить на высочайшее разсмотрѣніе, т. е. къ источнику законодательной власти. Его рѣшеніе не имѣетъ и апелляціи. Такъ и быть должно. Изъ уваженія къ самому народу такъ быть должно; воля царя самодержавнаго—есть воля самого народа, его рѣшеніе имѣетъ святость; эту мысль очень хорошо развили въ восточныхъ законодательствахъ.

Итакъ, съ одной стороны коллегіальное начало и, слѣдственно, большинство голосовъ, съ другой—выборы и, слѣдственно, прямое вліяніе массы, или, лучше сказать, дворянства въ дѣлахъ судебныхъ, ибо представители [его]—во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ. Довѣренность правительства была такъ велика, что не токмо судебную власть, но и исполнительную вручило оно отчасти людямъ выбраннымъ, а не назначеннымъ, оставя себѣ главный надзоръ, т. е. губернаторъ, губернское правленіе, городничій, ... а, такъ сказать, прямые исполнители, земскій засѣдатель, исправникъ и др.,—избранные. Еще больше. Устройство муниципальное само въ себѣ весьма хорошо: не говоря уже о купцахъ,—мѣщане и цеховые имѣютъ всѣ нужныя гарантіи. Они сами дѣлаютъ

раскладку городскихъ сборовъ, сами распоряжаются суммами, судятъ своимъ судомъ свои дѣла (магистраты, ратуши, словесный, сиротскій судъ, наконецъ, коммерческій судъ). Но и въ тѣхъ дѣлахъ, когда они судимы гражданскимъ судомъ или уголовнымъ, голосъ остается въ засѣдателѣ, въ депутатѣ.

Основанія муниципальнаго права, выборовъ, и коллегіальныя учрежденія такъ обширны, что другія страны долгой юридической жизнью своей не достигли ихъ. Можетъ быть, всего менѣе обращено было вниманіе до сихъ поръ на казенныхъ крестьянъ. Но элементъ выбора и большинства голосовъ уже есть въ волостномъ правленіи; уже сверхъ полицейскаго надзора и нѣкотораго участія въ раскладкѣ земскихъ и натуральныхъ повинностей, право составленія приговоровъ довольно велико. Но недостатокъ учреждений по этой части—уже въ виду правительства и отъ министерства государственныхъ имуществъ надлежитъ ждать ихъ. Удѣльное имѣніе въ маломъ видѣ показываетъ планы правительства. Впрочемъ, крестьяне въ другихъ странахъ точно такъ же hors la loi, какъ выходящіе изъ электоральнаго ценза (кроме Швеціи). Замѣтитъ необходимо, у насъ ценза нѣтъ: право, данное сословію, независимо отъ его состоянія, и въ нѣкоторомъ смыслѣ цензъ имѣетъ жизнь въ нашемъ законодательствѣ только въ переходѣ изъ мѣщанъ въ купцы, изъ гильдіи въ гильдію и, наконецъ, въ почетное гражданство.

Наше законодательство принимаетъ владѣніе за фактъ и только въ этомъ смыслѣ охраняетъ его; лучшее доказательство—это десятилѣтняя давность, безспорное межеваніе ¹⁾).

Взгляните, какая обширная база лежитъ подъ «Сводомъ». Россія и Америка—двѣ страны, которыя поведутъ далѣе юридическую жизнь человѣчества. Россія—какъ высшее развитіе самодержавія на народныхъ основаніяхъ, и Америка—какъ высшее развитіе демократіи на монархическихъ основаніяхъ.

Вотъ что, кажется мнѣ, останавливаетъ болѣе правильное и полное развитіе законодательства.

1) Доселѣ массы не умѣютъ понять своихъ правъ. Говорятъ: «да какой голосъ имѣетъ засѣдатель отъ градскаго общества въ уголовной палатѣ?» Кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не законодательство. Такъ, какъ оно не виновато въ томъ, что совѣтники не подаютъ голоса, боясь предсѣдателя или губернатора, въ томъ, что журналъ составленъ весь секретаремъ, котораго дѣло—только изложеніе и справка. Такъ, какъ оно не виновато въ томъ, что дворянинъ богатый и чиновный пренебрегаетъ службой обще-

¹⁾ Главнѣйшее — это раздѣленіе полей по тягламъ. Это Lex agraria юбилейный годъ.

ственной, въ то самое время, какъ въ Остзейскихъ провинціяхъ отставные генералы, аристократы не стыдятся служить нѣсколько трехлѣтій на самыхъ низшихъ мѣстахъ. Виногато ли оно въ томъ, что дворяне не считаютъ своихъ суммъ, не требуютъ отчета въ земскихъ повинностяхъ у губернатора?

А причина этому — недостатокъ просвѣщенія, недостатокъ гражданственности, эгоистическая лѣнь, но болѣе всего недостатокъ просвѣщенія.

2) Нѣкоторыя учрежденія основаны совсѣмъ на другихъ началахъ и часто противоположныхъ,—они останавливаютъ другъ друга.

3) Перевѣсь, данный дворянству.

4) Помѣщичье право, исключющее изъ общаго круга людей крѣпостныхъ.

Разказы о временахъ Мервингскихъ.

(Предисловіе къ первому разказу).

Извѣстность Огюстина Тьерри, столь справедливо заслуженная новымъ его взглядомъ на событія французской исторіи и увлекательнымъ разказомъ самихъ событій, давно дошла до насъ; но на этомъ поверхностномъ знакомствѣ мы и остановились; ни одно сочиненіе Огюстина Тьерри не переведено еще на русскій языкъ. Положимъ, что его «Письма объ исторіи Франціи», его «Десятилѣтніе историческіе труды» для нашей публики слишкомъ спеціальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживаютъ и разрѣшаютъ вопросы, не возникавшіе въ ней и къ которымъ она равнодушна; но его «Завоеваніе Англій норманнами» и «Разказы о временахъ Мервингскихъ», изданные въ прошломъ году, — великія, обширныя эпопеи, въ которыхъ событія и индивидуальности возсоздаются съ какой-то художественной рельефностью, въ которыхъ давнопрошедшіе вѣка выходятъ изъ могилы, стряхаютъ съ себя пыль и прахъ, обростають плотію и снова живутъ передъ вашими глазами; эти эпопеи имѣютъ интересъ всеобщій, какъ художественныя реставраціи Вальтера Скотта, какъ мрачныя портреты Тацита. Желая передать въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣсколько разказовъ о Мервингахъ, мы обращаемъ вниманіе читателей на *чисто повѣствовательный* характеръ историческихъ сочиненій Огюстина Тьерри; въ этомъ тайна его чрезвычайнаго успѣха, въ этомъ свидѣтельство его яснаго сознанія французскаго духа и его симпатія съ нимъ; онъ остался вѣренъ ему, не смотря на общее увлеченіе молодой школы къ теоретическимъ мудрованіямъ въ исторіи, онъ писалъ *разказы*, а не философствованія по поводу исторіи (какъ, на примѣръ, Мишлѣ). Истинная, единая философія, философія-наука не дается еще французамъ, и эклектизмъ Кузена — такъ же мало философія, какъ пространное опроверженіе его, написанное, можетъ быть, сильнѣй-

шей спекулятивной головой, какая теперь есть налицо во Франціи, Пьеромъ Леру 1). Гдѣ нѣтъ философіи какъ науки, тамъ не можетъ быть и твердой, послѣдовательной философіи исторіи, какъ бы ярки и блестящи ни были отдѣльныя мнѣнія, высказанныя тѣмъ или другимъ 2). Тьерри, повторяемъ, остался вѣренъ французскому духу: онъ *разсказываетъ* былое прошедшихъ вѣковъ, внося въ разсказъ свой всю живость и увлекательность француза и, не смотря на то, что каждая строка его повѣствованій твердо опирается на множество цитатъ и ссылокъ, разсказы его существуютъ самобытно и независимо отъ нихъ; всѣ матеріалы сплавилась въ нѣчто органически живое, въ свободное художественное произведеніе въ мощномъ горнилѣ таланта, и нигдѣ не осталось «запаха лампы» не смотря на то, что много масла было сожжено имъ въ продолженіи двадцатилѣтнихъ глубочайшихъ изысканій и трудовъ. Для того, чтобъ оцѣнить всю прелесть его разсказа, поставьте рядомъ съ нимъ какогонибудь Капфига: онъ, въ сравненіи съ Тьерри, вамъ покажется несчастной каріатидой, раздавленной множествомъ матеріаловъ, актовъ, жалкимъ труженикомъ, выписывающимъ тамъ и сямъ по страницѣ; и какъ бы выписки его ни были занимательны сами въ себѣ, весь трудъ мертвъ, все вмѣстѣ—сухая компиляція. Не говоря уже о томъ, что одно глубочайшее изученіе своего предмета, жизнь въ немъ могла сообщить разсказу Тьерри его одушевленіе и вѣрность, надобно припомнить, что для него изученіе исторіи имѣло современный, живой, общественный интересъ: онъ принялся за древнюю Францію, чтобъ уяснить себѣ тяжкіе вопросы о новой Франціи, въ которой онъ жилъ и для которой жилъ 3). Такое направленіе общило еще болѣе энергіи его труду, и въ самомъ направленіи этомъ онъ опять находится въ той области, гдѣ французъ дѣла и полонъ поэзіи. Но не думайте, чтобъ онъ внесъ какуюнибудь агіеге репсée, какуюнибудь свою задушевную теорію въ свои изслѣдованія (какъ нѣкогда Буленвилье, Мабли и проч.),—для этого онъ слишкомъ ученъ, слишкомъ талантливъ, слишкомъ добросовѣстенъ.

Самая личность Тьерри занимательна. Страдалецъ науки, онъ потерялъ зрѣніе въ 1826 году отъ непрерывныхъ занятій; рушились всѣ его предпріятія, всѣ замыслы; горестъ начинала

1) *Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie etc.* par P. Leroux 1839. Paris.

2) Напримѣръ, множество чрезвычайно вѣрныхъ и глубокихъ мыслей у Бюше; въ статьяхъ „Новой Энциклопедіи,“ издаваемой Леру, въ прежнемъ *Revue Encyclopédique* и въ многихъ другихъ сочиненіяхъ.

3) См. въ *Dix ans d'études, historiques*, par A. Thierry, предисловіе и въ особености статьи, написанныя отъ 1819 до 1821 года.

овладѣвать имъ, какъ вдругъ явился юный, тогда еще безвѣстный помощникъ, замѣнившій ему съ теплою симпатіей глаза и руку; посредствомъ его слѣпецъ *помирился съ мракомъ* ¹⁾; имя этого юноши впоследствии сдѣлалось довольно громко, и бѣдному Тьерри пришлось плакать на его могилѣ: то былъ извѣстный Арманъ Каррель. Когда историкъ возобновилъ свои занятія, болѣзненный организмъ его еще разъ объявилъ войну духу: совершенно больной и изнеможенный, онъ долженъ былъ оставить Парижъ; но болѣзни не побѣдили его. Вотъ что писалъ онъ въ мѣстечкѣ Везуль 10 ноября 1834: «Если интересы науки считать на ряду съ великими національными интересами, то я даль родинѣ все, что можетъ дать ей солдатъ, изувѣченный на полѣ битвы. Какова бы ни была участь моихъ трудовъ, примѣръ этотъ не долженъ погибнуть; пусть онъ будетъ уликой противъ нравственнаго изнеможенія, этой язвы новаго поколѣнія; пусть укажетъ онъ на прямую дорогу жизни кому нибудь изъ этихъ разслабленныхъ, жалующихся на недостатокъ вѣрованій, не знающихъ, куда дѣться, гдѣ найти любовь и убѣжденія... Развѣ въ наукѣ нѣтъ убѣжища, пристани, надежды? Съ нею не такъ тягостно идутъ дурные дни, съ нею жизнь употреблена благородно... Слѣпой и страждущій безнадежно, я могу свидѣтельствовать, и моему свидѣтельству должно дать вѣру: есть въ мѣрѣ нѣчто драгоцѣннѣе матеріальныхъ наслажденій, богатства, самаго здоровья—*любовь къ наукѣ*». И эта благородная любовь настолько восторжествовала надъ мракомъ и недугами, что въ 1840 году вышли двѣ изящныя книжки «Разказовъ о временахъ Меровингскихъ», которые Тьерри твердо намѣренъ продолжать. Единодушныя рукоплесканія цѣлой Франціи встрѣтили новый трудъ историка; Франція щедро наградила страждущаго инвалида науки,—объ этомъ писали во всѣхъ газетахъ. Отрывки изъ «Разказовъ» были напечатаны въ его «Dix Ans» и въ «Revue des Deux Mondes» ²⁾. На этотъ разъ мы предлагаемъ *«первый разказъ»* по исправленному и дополненному тексту вновь вышедшей книги. Сверхъ того, намъ казалось необходимымъ присоединить къ разказу письмо Тьерри къ издателю «Revue des Deux Mondes», чтобъ разомъ поставить читателя на ту точку зрѣнія относительно временъ меровингскихъ, съ которой всего правильнѣе долженъ освѣтиться рядъ слѣдующихъ картинъ. Вотъ это письмо ³⁾:

1) «J'avais fait amitié avec les ténèbres», говоритъ Тьерри. Какое умялительное, кроткое выраженіе! (Dix Ans. Préface).

2) N° du 15 Décembre 1833 et du 15 Juillet 1834.

3) N° du 15 Août 1833. Оно не перепечатано въ его «Récits» и не было въ томъ нужды, послѣ его пространной и прекрасной диссертаціи «Considérations sur l'histoire de France», служащей какъ бы введеніемъ къ нимъ.

«М. Г. Съ давняго времени утвердилось и распространилось до пошлости мнѣніе, что нѣтъ періода въ нашей исторіи бесплоднѣе и запутаннѣе періода меровингскаго. О немъ говорятъ наскоро, сокращаютъ его, скользятъ по немъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти. Мнѣ кажется, въ этомъ пренебреженіи больше лѣни, нежели истины, и если отчасти справедливо, что исторія Меровинговъ запутана, но ужъ вовсе несправедливо, что она бесплодна. Напротивъ, это время исполнено происшествій рѣзкихъ, личностей выразительныхъ, случаевъ драматическихъ, такъ что затрудненіе собственно сводится на приведеніе въ порядокъ огромнаго количества матеріаловъ. Вторая половина шестого столѣтія въ особенности богата интересами для современныхъ историковъ и читателей,—потому ли, что то было время начального смѣшенія между туземцами и побѣдителями, запечатлѣвшаго ее поэтическимъ характеромъ, или она такъ оживлена для насъ простосердечнымъ лѣтописцемъ своимъ, Георгіемъ-Флоренціемъ-Григоріемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Григорія Турскаго. Въ самомъ дѣлѣ, надобно спуститься до временъ Фруасара, чтобъ найти повѣствователя, который могъ бы равняться ему въ искусствѣ драматически выводить людей на сцену. Въ его разказахъ, иногда забавныхъ, иногда печальныхъ, но всегда истинныхъ и оживленныхъ, выступаютъ перепутанными и смѣшанными всѣ борьбы, всѣ противоположности племенъ, сословія, состоянія, вызванныхъ въ Галлію франкскимъ завоеваніемъ. Это галлерей картинъ и изваяній, въ безпорядкѣ расположенныхъ; это древнія народныя пѣснопѣнія, случайно собранныя вмѣстѣ, и слѣдующія другъ за другомъ безъ всякаго порядка; но изъ нихъ рука искусная можетъ образовать великую поэму. Григорій Турскій и его современники, однимъ словомъ, прекрасный предметъ для художественнаго и историческаго произведенія.

«Если я не осмѣливаюсь предпринять этого труда во всей его обширности, если вся поэма выше силъ моихъ, я могу, по крайней мѣрѣ, обѣщать вамъ нѣсколько эпизодовъ, нѣсколько отрывковъ, которые дадутъ истинное понятіе о странномъ смѣшеніи людей и фактовъ, наполняющемъ періодъ меровингскій. Мое дѣло будетъ—собрать разсѣянные, несвязанные между собою случаи и подробности и составить изъ нихъ *массы* повѣствованій. Быть королевскій, внутренняя жизнь ихъ дворцовъ, буйство вельможъ и насилія, междоусобныя войны и войны частныя, коварная мятежность галло-римлянъ и дикая необузданность варваровъ, духъ возмущенія и самоуправства, распространенный даже за стѣны женскихъ монастырей,—вотъ картины, которыя я хочу набросать по современнымъ памятникамъ и которыхъ совокупность должна возстановить Галлію шестого вѣка. Я изучу до малѣйшихъ под-

робностей судьбу исторических лицъ, буду слѣдовать за ними черезъ всѣ фазы ихъ существованія и постараюсь дать реальность и жизнь тѣмъ, которыя были наиболѣе оставлены въ тѣни новѣйшею исторіей. Наконецъ, надъ всѣми ими будутъ господствовать три индивидуальности, типически выражающія свой вѣкъ: Фредегонда, Еоній Муммоль и самъ Григорій Турскій; Фредегонда — идеаль первоначального варварства безъ всякаго сознанія добра и зла; Муммоль — образованный человѣкъ, который по доброй волѣ *развращается* въ варварство для того, чтобъ быть своевременнымъ; Григорій Турскій — человѣкъ прошедшаго, но прошедшаго лучшаго, нежели тягостное настоящее, вѣрное эхо скорбныхъ звуковъ, исторгавшихся у благородныхъ сердецъ при видѣ гибнущей цивилизаціи!»

По поводу одной драмы.

Сердце жертвуетъ родъ лицу.
разумъ—лицо роду. Человѣкъ безъ
сердца не имѣетъ своего очага;
семейная жизнь зиждется на серд-
цѣ: разумъ—res publica человѣка.
Изъ какой-то нѣмецкой книги.

Отличительная черта нашей эпохи есть *grübeln*. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ... Нѣкогда дѣйствовать: мы переживаемъ непрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими,—ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя были опредѣлены—справедливо ли, нѣтъ ли,—но опредѣлены. Оттого много думать было нечего: стѣило сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, какъ кровообращеніе, пищевареніе, которыхъ причина и развитіе спрятаны за спиною сознанія, но дѣйствуютъ своимъ порядкомъ, безъ того, чтобъ мы объ нихъ заботились, безъ того, чтобъ мы ихъ понимали. На всѣ случаи были разрѣшенія; оставалось жить по писанному. А если и являлись когда сомнѣнія, ихъ легко было разрѣшить; стоило спросить папу, напимѣрь, или обмакнуть руку въ кипятокъ,—и истина открывалась. На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и въ голову не приходило, откуда взялись эти привидѣнія, и по какому праву распоряжаются они. Ихъ принимали за фактъ, имѣющій самъ въ себѣ узаконеніе и котораго признанное

бытіе—непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ, уничтожая все, что попадалось подъ руку, добрался, наконецъ, до преданій предковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, преданія исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ не достается; мы узнали, что вся отвѣтственность, падавшая внѣ ихъ, падаетъ на насъ; самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и занять мѣста привидѣній, которыя стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно: пришлось проводить сквозъ горнило сознанія статью за статью прежняго кодекса, пока этого не сдѣлано, начали grübeln. Ясное, какъ дважды-два—четыре, нашимъ дѣдамъ исполнилось мучительной трудности для насъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнью, мы мучимся. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отказаться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ планетъ, а изъ собственной груди человѣка, и ему нѣкуда исчезнуть. Куда бы человѣкъ ни отвернулся отъ этого духа, первое, что попадетъ на глаза, это онъ съ своими вопросами. Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu!

Безотходный духъ критики овладѣлъ и театромъ; мы его приносимъ съ собою въ партеръ. Сочинитель пишетъ пьесу для того, чтобъ пояснить свое сомнѣніе,—и, вмѣсто того, чтобъ отдохнуть отъ дѣйствительной жизни, глядя на воспроизведенную искусствомъ,—мы выходимъ изъ театра, задавленные мыслями тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театръ—высшая инстанція для рѣшенія жизненныхъ вопросовъ. Кто-то сказалъ, что сцена—представительная камера поэзіи. Все тяготящее, занимающее извѣстную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событій и дѣйствій, развертывающихся и свертывающихся передъ глазами зрителей. Это обсуживаніе приводитъ къ заключеніямъ не отвлеченнымъ, но трепещущимъ жизнью, неотразимымъ и многостороннимъ. Тутъ не лекція, не поученіе, поднимающее слушателей въ сферу отвлеченныхъ всеобщностей, въ безстрастную алгебру, мало относящуюся къ каждому, потому именно, что она относится ко всѣмъ. На сценѣ жизнь схвачена во всей ея полнотѣ, схвачена въ дѣйствительномъ осуществленіи лицами, на самомъ дѣлѣ, flagrant délitъ съ ея общечеловѣческими началами и частно-личными случайностями, съ ея ежедневною пошлостью и съ ея грязной, всепожирающей страстью, скрытой подъ пыльной плевою мелочей, какъ огонь подъ золой Везувія. Жизнь схвачена и, между тѣмъ, не остановлена; напротивъ, стремительное движеніе продолжается, увлекаетъ зрителя съ собой,

и онъ съ прерывающимся дыханіемъ, боясь и надѣясь, несется вмѣстѣ съ развертывающимся событіемъ до крайнихъ слѣдствій его,—и вдругъ остается одинъ. Лица исчезли, погибли; онъ переживаетъ ихъ жизнь, успѣлъ полюбить ихъ, взойти въ ихъ интересы. Ударъ, разразившійся надъ ними, рикошетомъ былъ ударъ въ него. Такая страстная близость зрителя и сцены дѣлаетъ сильную, органическую связь между ними; по сценѣ можно судить о партерѣ, по партеру о сценѣ. Партеръ не чужой сценѣ: онъ въ родѣ хора греческой трагедіи; онъ не внѣ драмы, а обнимаетъ ее волнами жизни, атмосферой сочувствія, которая оживляетъ актѣра; и сцена, съ своей стороны, не чужая зрителю: она переноситъ его не дальше, какъ въ его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражаетъ ту сторону жизни, которую хочетъ видѣть партеръ. Нынче она участвуетъ въ трупораззятіи жизненныхъ событій, стремится привести въ сознаніе всѣ проявленія жизни человѣческой и разбираетъ ихъ, какъ мы, судорожной и трепетной рукой, потому что не видитъ, какъ мы, ни выхода, ни всего результата этихъ изслѣдованій. Она дѣлаетъ это, относясь къ намъ, такъ, какъ нѣкогда эсхилловъ «Прометей» относился къ внутренней жизни народа аѳинскаго, или «Свадьба Фигаро» къ внутренней жизни Франціи передъ революціей. Мы умѣемъ восхищаться, понимать и «Прометея», и «Свадьбу Фигаро», но мы понимаемъ (лучше ли, хуже ли—другой вопросъ), мы понимаемъ *иначе*, нежели рукоплескавшіе аѳиняне, нежели рукоплескавшіе парижане 1785 года,—и того тѣсно жизненнаго сочлененія нѣтъ болѣе. Французъ XIX вѣка оцѣнить и пойметъ Бомаршѣ, но «Фигаро» не есть уже *необходимость* для него съ тѣхъ поръ, какъ его лицо воплотилось во множество лицъ палаты, а графъ Альмавива скончался въ бѣдности отъ преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишкомъ разгульной юности. Самый воздухъ, окружающій его, не тотъ; густая, знойная атмосфера, пропитанная нѣгой, сладострастіемъ и тяжелая отъ предчувствія бури, такъ очистилась и разъяснилась отъ громовыхъ ударовъ кроваваго террора, что чохоточные бояться чрезвычайной изрѣженности ея. Въ Германіи въ одно и то же время были принимаемы громомъ рукоплесканій Коцебу и Шиллеръ, потому что въ Германіи сентиментальность и шпизбургерлихейтъ, по странному стеченію обстоятельствъ, были корою, за которою шевелился мощный и здоровый зародышъ. Шиллеръ и Коцебу—полные и достойные представители: одинъ всего святаго человѣчественнаго, возникавшаго въ эту эпоху, другой всего грязнаго и отвратительнаго, загнивавшаго тогда же. У насъ даютъ все на свѣтѣ—оттого, что нашъ партеръ все на свѣтѣ. Мы не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отноше-

ни всеѣдны. Какъ послѣдніе пришельцы и наслѣдники, мы перебираемъ унаслѣдованное изъ всѣхъ странъ и вѣковъ, смотримъ на это, какъ на чужое и постороннее, смотримъ не потому, чтобъ оно было нужно намъ или доставляло много удовольствія, а для того, чтобъ заявить наше право и не отставать отъ другихъ,— на томъ же основаніи, какъ нѣкогда мы ѣздили въ ассамблеи не для удовольствія, а по наряду и по нуждѣ. А *force de forger* многое принялось—однимъ то, другимъ другое; никто ни съ кѣмъ не сговаривался, всякій молодецъ на свой образецъ; оттого потребности нашего партера, съ одной стороны, очень сложны, а, съ другой стороны, имъ очень легко удовлетворить. У насъ, въ одномъ ряду креселъ встрѣчаются полюсы человѣчества—отъ *небритой* бороды патриархальной, бороды *an sich*, до отрощенной бороды, сознательной, бороды *tür sich*; а между двумя бородами можно найти представителей главныхъ моментовъ развитія человѣчества, да еще нѣкоторыхъ оригинальныхъ, не достававшихъ человѣчеству. Каждый говоритъ своимъ языкомъ; каждый имѣетъ свои потребности. Счастливіе вавилонянь, мы начинаемъ съ того, чѣмъ они кончили свое столпотвореніе, то есть, не понимаемъ другъ друга; они таскали камни, и долго работая, дошли до того, что у насъ впередъ идетъ. Каждая пьеса имѣетъ свою публику; къ ней присоединяется постоянно балластъ, то есть, люди, которые послѣ 7 часовъ бываютъ въ театрѣ единственно потому, что они не внѣ театра бываютъ послѣ 7 часовъ. Разомъ для всей публики у насъ пьесъ не дается, развѣ за исключеніемъ «Горе отъ Ума» и «Ревизора»: для бельэтажа—безъ *словъ*, но съ танцами и богатой постановкой; для райка—пьесы, въ которыхъ ктонибудь когонибудь бьетъ; для статскихъ чиновниковъ—пьесы съ пушечной пальбой, превращеніями, нравственными сентенціями: для купцовъ—тоже съ превращеніями, но и съ цыганскими плясками; другіе все смотрятъ, но особенно же любятъ водевили съ двусмысленными куплетами и танцы съ двусмысленными движеніями.

Все это безсвязно, такъ, какъ я рассказалъ, пришло мнѣ въ голову при выходѣ изъ театра, когда я думалъ о пьесѣ, которую видѣлъ; а содержаніе этой пьесы въ самыхъ короткихъ словахъ вотъ какое.

Драма самая простая; если вы не видали подобной у себя въ домѣ, то навѣрное могли видѣть у которагонибудь изъ сосѣдей. Дѣвица 28 лѣтъ, по имени Генриетта, болѣзненная и печальная, влюблена до безумія въ юношу 20 лѣтъ, а тотъ, беззаботный и веселый, живетъ себѣ, не думая о ней, да сверхъ того, кажется, и ни о чемъ другомъ. Докторъ,—другъ отца Генриетты, понявъ дѣло, захотѣлъ съ патологическимъ благоразуміемъ помочь и, само

собою разумѣется, страшно повредилъ. Онъ торжественно и таинственно разсказалъ юношѣ о любви къ нему Генриетты, требуя отъ него, чтобъ онъ уѣхалъ, скрылся. Вѣсть о любви сильно отозвалась въ сердцѣ юноши; сознание быть любимымъ, и притомъ въ 20 лѣтъ, обняло огнемъ всю грудь его и съ той минуты онъ самъ ее любить. Она, никогда не смѣвшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ея сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Онъ просить ея руки и, не смотря на предостереженія доктора, или именно подстрекаемый имъ, женится. Проходитъ пять лѣтъ въ антрактѣ. Мы застаемъ нашу чету въ замкѣ. Люди богатые, они ведутъ пустую и праздную жизнь; дѣтей нѣтъ. Скоро открывается, что подъ этой праздностью кроются развѣдающія страсти. Онъ не любитъ больше Генриетты и страстно влюбленъ въ Полину. Молодой человѣкъ благороденъ и честенъ; онъ понимаетъ святость своихъ обязанностей и болѣе—онъ исполненъ безпредѣльнаго уваженія къ любящей, кроткой, доброй Генриеттѣ. Но онъ ея не любитъ,— онъ любитъ другую, это фактъ его сердца: любить потому, что любить, не любить потому, что не любить,— логика чувствъ и страстей коротка. Сгнетенная страсть растетъ; онъ ей не дастъ шага; онъ уничтожается, разлагается въ этой борьбѣ, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекутъ другъ друга къ гибели во имя любви. Генриетта въ отчаяніи: она ничего не имѣетъ внѣ мужа, ея жизнь только любовь къ нему; а онъ еще больше въ отчаяніи: онъ безчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ клятвопреступникъ, онъ подлый обманщикъ — тутъ, притворяясь, что любитъ, тамъ, притворяясь, что не любитъ. Такое натянутое положеніе долго не можетъ продолжаться. Генриетта рѣшается выдать Полину за какого-то шута; та не хочетъ. Въ порывѣ ревности, Генриетта упрекаетъ ее въ разрушеніи семейнаго счастья, въ любви къ ней мужа, въ ея любви къ нему. Молодая дѣвица, любившая въ тиши, не признаваясь себѣ, Эмиля, не подозрѣвая его любви, этими словами вовлечена въ страшную борьбу страстей. Чувство ея названо; тайна ея обличена. Въ первомъ порывѣ отчаянія, она соглашается идти замужъ. Спрашиваютъ согласія Эмиля: Полина живетъ у нихъ въ домѣ и родственница. Онъ согласенъ. Долгъ побѣдилъ; но и Эмиль получилъ рану въ грудь, вся сила его истощена на эту побѣду. Онъ рѣшается—и это, можетъ, благоразумнѣйшая мысль во всю его жизнь—онъ рѣшается уѣхать... Даль, занятія разсѣютъ, отвлекутъ, исцѣлятъ; но жена, узнавъ это, намѣревается лишитъ себя жизни, отказываетъ ему имѣніе и исчезаетъ. Эмиль въ отчаяніи. Проходитъ годъ. Полина въ монастырѣ; вдовецъ ѣдетъ за ней, женится и на обратномъ пути встрѣчается съ Генриеттой, которая

вовсе не утонула, а жила съ убійственной грустью въ душѣ и съ злою чахоткой въ груди у доктора; бѣдная женщина питала на днѣ оскорбленнаго, истерзаннаго сердца надежду, что Эмиль любить ее изъ сожалѣнія, а между тѣмъ, она не знала, что смерть ея была доказана трупомъ всплывшей женщины въ день ея побѣга. Эмиль, отыскивая въ маленькомъ городкѣ врача, приходитъ къ доктору и застаётъ Генриетту; она бросается къ нему; но онъ, окаменѣлый, полумертвый, потерянный, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о своемъ бракѣ. Слабой, едва живой Генриеттѣ нельзя было вынести такого удара. Глухо закапляла она и бросилась изъ комнаты. Онъ ринулся было за нею,—дверь заперта... Страшная минута тишины, невыносимая минута бездѣйствія,—онъ сломился подъ ея гнетомъ, онъ съ бѣшенствомъ и безуміемъ бросился на полъ, вырывая себѣ волосы и стеная. Дверь отворилась; докторъ вошелъ спокойный и величественно-коротко возвѣстивъ, что она умерла, прощая его и совѣтуя беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызениями совѣсти, которыя, вѣроятно, проводятъ его черезъ всю жизнь. Вотъ и пьеса!

Когда опустился занавѣсъ, мнѣ было невыразимо тяжело. Точно я присутствовалъ при инквизиторской пыткѣ невинныхъ. Всѣ люди въ этой драмѣ—люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе долгъ свой; а между тѣмъ одинъ изъ нихъ казненъ смертью, двое другихъ—участіемъ въ этой казни.

«Какъ вамъ нравится драма?» спросилъ меня сосѣдъ, протирая очки...

У меня есть примѣта не вступать въ разговоръ съ незнакомымъ въ публичномъ мѣстѣ, если онъ самъ его не начнетъ: мнѣ все кажется, что такой человѣкъ или большой говорунъ, или большой слушатель. А потому, вмѣсто отвѣта, я посмотрѣлъ на моего сосѣда, желая узнать, чтó онъ, говорунъ или слушатель; но онъ такъ добродушно, и такъ наивно, и такъ щуря глаза протиралъ очки, что я преступилъ правило дипломатической гигиены и отвѣчалъ:

— «Драма, кажется, обыкновенная, а между тѣмъ она глубоко задѣваетъ».

«Я даже было прослезился... стыдно признаться. Этакая славная женщина, идеаль»... продолжалъ человѣкъ кресель подъ № 39: «и досталась же такому мерзавцу мужу!»

— «Не лучше ли сказать—такому несчастному человѣку?»

«Какой онъ несчастный! Безхарактерный эгоистъ, не умѣлъ ни отказаться въ-время отъ нея, ни любить ее послѣ, ни побѣдить новой страсти. Неужели онъ правъ по вашему?»

— «По моему, отвѣчалъ я улыбаясь:— во-первыхъ, всѣ они

правы, а во-вторыхъ, всѣ они виноваты, но вѣроятно не такъ, какъ вы полагаете».

«Очень хорошо, но... главный виновникъ?»

— «Да на что вамъ онъ? Главный виновникъ, какъ всегда, спрятался: онъ стоялъ за кулисами».

Въ это время къ № 39 подошелъ какой-то знакомый,—и нашъ разговоръ кончился, но продолжался во мнѣ рядомъ грустныхъ Grübeleien.

...Ничѣмъ люди не оскорбляются такъ, какъ неотысканіемъ виновныхъ; какой бы случай ни представился, люди считаютъ себя обиженными, если нѣ кого обвинить—и, слѣдственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, нежели понять. Понять событіе, преступленіе, несчастіе—чрезвычайно важно и совершенно противоположно рѣшительнымъ сентенціямъ строгихъ судей; понять значитъ, въ широкомъ смыслѣ слова, оправдать, возстановить: дѣло глубоко человѣческое, но трудное и неказистое. Оправдать надшаго то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дѣло съ высоты своего нравственнаго величія упрекать и позорить его, указывая на себя, хотя въ положеніи и нѣтъ никакого сходства, и проповѣдникъ по большей части—извѣстная мышъ въ голландскомъ сырѣ! Оставляя эту суетность, спрашиваемъ, для чего намъ судить? Для суда и осужденія есть положительное законодательство, имѣющее на это болѣе права—силу, власть. Наше *партикулярное* дѣло—проникать мыслью въ событіе, освѣщать его не для того, чтобъ наказывать и награждать, не для того, чтобъ прощать,—тутъ столько же гордости и еще больше оскорбленія,—а для того, что, внося свѣтъ въ тайники, въ подземельные ходы жизни, изъ которыхъ вырываются иногда чудовищныя событія, мы изъ тайныхъ дѣлаемъ ихъ явными и открытыми. Зло—темнота; оно не имѣетъ никакой внутренней силы, чтобъ противостоять свѣту. Оно только сильно, пока не взошло солнце разума, и мы, не видя его, придаемъ ему фантастическіе, чудовищные образы. Къ этой страсти искать виновныхъ для того, чтобъ ихъ ругать и клеймить позоромъ, присовокупляется у добрыхъ людей наивное требованіе, чтобъ каждый человѣкъ былъ мелодрамнымъ, романически-безукоризненнымъ героемъ, исполнялъ бы съ полнымъ самоотверженіемъ свои обязанности, или, лучше, не свои обязанности, а тѣ, которыя заставляютъ его исполнять. И кто же эти взыскательные? Люди, которые для общей пользы не пожертвуютъ рюмкой водки, люди, къ которымъ въ семейную жизнь оборони Богъ заглянуть, милые невѣжды въ страстяхъ и увлеченіяхъ, потому что любили только себя и употребляли всю жизнь для успокоенія и холенья себя. Кто бывалъ искушаемъ, падалъ и воскресалъ, найдя себѣ силу хранительную, кто одолѣлъ хоть

разъ истинно распахнувшуюся страсть, тотъ не будетъ жестокъ въ приговорѣ: онъ помнитъ, чего ему стдила побѣда, какъ онъ, изнеможенный, сломанный, съ изорваннымъ и окровавленнымъ сердцемъ, вышелъ изъ борьбы; онъ знаетъ цѣну, которою покупаются побѣды надъ увлеченіями и страстями. Жестоки ненападашіе, вѣчно трезвые, вѣчно побѣждающіе, то есть, такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются. Они не понимаютъ, что такое страсть. Они благоразумны, какъ ньюфаундлэндскія собаки, и хладнокровны, какъ рыбы. Они рѣдко падаютъ и никогда не поднимаются; въ добрѣ они такъ же воздержны, какъ въ злѣ. Остановимся лучше съ горестью передъ лицами нашей драмы, пожалѣемъ объ нихъ, протянемъ имъ руку, не осуждая, не браня; мы не члены уголовного суда; они довольно пострадали, — поговоримъ объ нихъ съ участіемъ, а не съ укоромъ, будемъ на нихъ смотрѣть какъ на больныхъ, а не такъ, какъ на преступниковъ.

Герой нашей драмы—человѣкъ увлекающійся и безъ всякаго направленія; его жизнью управляетъ внѣшняя власть; онъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будутъ дѣлать, пойдутъ ли на охоту или будутъ читать, или играть въ карты. Онъ сначала любилъ свою жену откровенно, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и, какъ все люди, не имѣющіе, такъ сказать, *задней мысли*, дающей тонъ всей ихъ жизни, онъ не могъ быть остановленъ ничѣмъ въ свѣтѣ передъ бракомъ. Когда люди такого рода получаютъ какое-нибудь опредѣленное чувство, имъ становится хорошо; состояніе безцѣльнаго существованія тягостно... Мало-по-малу онъ охладѣлъ къ женѣ; къ этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его отъ впечатлѣній, разница лѣтъ, насмѣшки; потомъ—бездѣтный бракъ всегда ближе къ тому, чтобъ распасться. Не смотря на охлажденіе мужа, жизнь ихъ могла бъ идти довольно хорошо: форма безъ содержанія можетъ долго простоять въ покоѣ, но первый толчокъ,—и она падетъ. Въ молодой душѣ Эмиля была бездна силъ неупотребленныхъ; ихъ нѣкуда было ему дѣть; у домашняго очага, въ пустой жизни, блага неупотребленные, празднаыя силы всегда грозятъ бѣдой: онъ бродятъ, требуютъ занятія, истока. Взоръ его, искавшій спасенія отъ скуки, встрѣтилъ живой, милый взоръ дѣвицы, только что вышедшей изъ дѣтской хризолиты. «Тутъ онъ долженъ былъ остановить себя!...» Да неужели, вы думаете, онъ полюбилъ ее намѣренно? Эти привязанности дѣлаются безсознательно. Можетъ, мѣсяцы прошли прежде, нежели онъ догадался, отчего ему пріятно смотрѣть на ея улыбку, слушать ея пѣсню; а когда онъ узналъ, назвалъ свое чувство, страсть глубоко вкоренилась: и когда онъ хотѣлъ себя остановить, его бытіе раскололось на двое, гдѣ, съ одной стороны, долгъ и умъ, а, съ другой, сердце, кипящее

страстями; у него не достало силы найти выходъ. Онъ остался, какъ былъ, человѣкъ подчиненный сердцу, да сверхъ того, какъ слабый человѣкъ и въ страсти, не умѣлъ идти до крайнихъ послѣдствій, а остановился въ страшной и мучительной борьбѣ, не имѣя силы ни сердца принесть въ жертву долгу, ни долга принесть въ жертву сердцу. Мы его видимъ во второмъ дѣйствіи съ потеряннѣмъ видомъ, жалкимъ до слезъ; онъ твердъ въ натянутой роли; но подземный хоръ дьяволовъ, какъ въ «Робертѣ», слышится глухо въ его груди, и эта страшная пѣсня раздастся вопреки ему,—и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генриетта сама ускоряетъ взрывъ. Она точно также покорна одному сердцу, болѣе, можетъ, нежели Эмиль; по счастью ея сердце не въ разладѣ съ долгомъ; ея любовь къ мужу—безумная страсть; уязвленная, она обвивается гремучей змѣей около трехъ лицъ и должна или ихъ задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?... Посмотрите, какъ все странно въ этой тѣсной сферѣ личныхъ отношеній. Кроткая, благородная, добрая женщина въ своекорыстномъ опьяненіи ревности жертвуетъ жизнью Полины, отдавая ее замужъ за какого-то уroda. Дѣвица готова погубить себя,—юность всегда самоотверженна и безразсчетна,—готова предать себя позору брачнаго ложа безъ любви, какъ будто Эмиль отъ этого снова полюбитъ свою жену. Не знаю цѣли, съ какой авторы ¹⁾ прибавили третье дѣйствіе, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (въ смыслѣ наказанія Эмиля), что превосходно вѣнчаетъ всю драму. Только въ этомъ мірѣ могутъ развиваться такія катастрофы, гдѣ внутренняя случайность чувствъ учреждаетъ жизнь вмѣстѣ съ внѣшней случайностью обстоятельствъ.

Виновныхъ тутъ нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ хотятъ виноватыхъ (какъ сознательныхъ преступниковъ); есть одна вина, за которую ихъ нельзя отдать подъ судъ, но которая была причиною всѣхъ бѣдствій, причиною скрытой, неизвѣстной имъ.

Нѣтъ ничего легче, послѣ сужденій обвиняющей толпы, какъ стоическимъ формализмомъ разрѣшать жизненные вопросы. Формализмъ, какъ всякая отвлеченность, беретъ одну сторону, и правъ съ этой стороны, а другихъ онъ знать не хочетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пытались, особенно въ Германіи, всѣ вопросы и всѣ сомнѣнія разрѣшать путемъ отвлеченнымъ, отрѣшая отъ вопроса усложняющія стороны его и дѣлая его, слѣдовательно, вовсе не тѣмъ вопросомъ, какимъ онъ есть; на широкихъ и крѣпкихъ основаніяхъ выростили тощіе и бѣдные плоды, искусственно и

¹⁾ Arnould et Fournier.

насильственно вытянутые. Рѣшенія такого формализма безжизненны; онъ идетъ отъ умерщвленнаго даннаго къ мертвому послѣдствію; отъ его холоднаго дыханія все коченеетъ, вытягивается въ угловатыя формы, въ которыхъ содержанію мочи нѣтъ мѣста; въ немъ нѣтъ ни пощады, ни милосердія—одни категоріи и пренебреженія. Вездѣ, гдѣ гордый формализмъ касается жизни, онъ стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, всѣ личныя требованія—разуму, какъ бы чувствуя, что онъ не совладаетъ съ ними, пока онѣ на волѣ. Толкуя безпрестанно о тождествѣ противоположностей, о примиреніи ихъ въ высшемъ единствѣ, объ ихъ соприисусущности и взаимной необходимости, формалисты только *на словахъ* принимаютъ тождество и примиреніе, а на дѣлѣ хотятъ подавить всю естественную сторону, хотятъ отбросить ее, какъ калоши, служившія только, чтобъ пройти по грязи. Кто-то прекрасно замѣтилъ, что природа для идеалистовъ—*развратившаяся идея* (so eine liederliche Idee). Все временное, частное, само собою приносится въ жертву идеѣ и всеобщему; это цѣль его; но хотятъ у него отнять и минутное владѣніе, единственное благо его; вмѣсто свободной жертвы, хотятъ вынудить насиліемъ рабское признаніе своей ничтожности; *не даютъ себѣ труда устремить сердце къ разумной цѣли*, а требуютъ, чтобъ оно отрелось отъ себя, потому что оно ближе къ природѣ. Такихъ требованій не признаетъ гордое сердце человѣка; оно сильно своими страстями и знаетъ свою силу: оно знаетъ, если пламя страстныхъ увлеченій подниметъ голову, какъ бессильно, какъ несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ; за что оно имъ пожертвуетъ,—формализму до этого дѣла нѣтъ. Держась на ледяной высотѣ своихъ всеобщностей, онъ пренебрегаетъ сердцемъ, онъ его не хочетъ знать. Такъ принялся было онъ защищать бракъ, но никогда не могъ дойти до христіанскаго ученія о бракѣ, именно по недостатку любви и сердца ¹⁾. Онъ допускаетъ, что *основаніе* браку любовь: это его естественная непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна,—вы перешли за границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ ужъ нѣтъ ни плача, ни воздыханія, никакой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутренняя психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороной бытія для нравственной идеи брака,—вогъ награда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого

¹⁾ Наприм., диссертация Рётшера о гётевомъ Wahlverwandtschaft.

брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ех *officio* супружескія обязанности. Тутъ торжество брака для брака гораздо полнѣйшее, нежели въ случаѣ равнодушія. Люди равнодушныя другъ къ другу могутъ по расчету жить вмѣстѣ; они не мѣшаютъ другъ другу.

Религія *устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также улетучиваются страсти земныя; этотъ другой міръ не чуждъ сердцу; напротивъ, въ немъ сердце находитъ покой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а распускается въ него; во имя его религія могла требовать жертвованія естественными влеченіями; въ высшемъ мірѣ религія личность признана, всеобщее нисходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицомъ; религія имѣетъ собственно двѣ категоріи: всемірная личность божественная и единичная личность человѣческая. Формализмъ убиваетъ живыя личности въ пользу промежуточныхъ отвлеченныхъ всеобщностей. Религія не становится выше любви въ отношеніи брака; религія говоритъ: люби твою жену, потому что она Богомъ тебѣ данная подруга. Религія связываетъ лица связью неразрушимой; здѣсь бракъ есть таинство, совершающееся подъ благословеніемъ Божиимъ. Формализмъ рассуждаетъ не такъ: «Ты, какъ свободно разумная воля, вступилъ въ бракъ съ сознаніемъ его обязанностей въ нравственномъ и специальномъ смыслѣ,—пади же жертвой этой обязанности, запутайся въ цѣпь, которую добровольно надѣлъ на себя; плати всѣми годами твоей жизни за прошедшій фактъ, быть можетъ, основанный на минутномъ увлеченіи. Никакой взглядъ на міръ, ни развитіе, ни опытность ничего не помогутъ, потому что принесеніемъ тебя въ жертву идея брака укрѣпляется и поднимается. Тебѣ, какъ личности, выхода нѣтъ; да и гини себѣ, ты, случайность. Необходимъ человѣкъ, а не ты». Формализмъ топчетъ ногами всю сторону естественной непосредственности; религія и тутъ его побѣждаетъ, ибо она, признавая семейную жизнь, считаетъ ее естественною непосредственностью, въ свою очередь, передъ жизнью въ высшемъ мірѣ. Да, религія снимаетъ семейную жизнь, какъ и частную, во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: «кто любитъ отца своего и мать свою болѣе Меня, тотъ недостойнъ Меня». Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отрицанія естественныхъ влеченій и сухого исполненія долга: она имѣетъ свою положительную сферу во всеобщихъ интересахъ своихъ; поднимаясь въ нее, личныя страсти сами собою теряютъ важность и силу,—и это единственный путь обузданія страстей,—свободный и достойный человѣка. Сдѣлаемъ опытъ оглянуться на нашу драму съ этой точки зрѣнія.

Жизнь лицъ, печально прошедшихъ передъ нашими глазами,

была жизнь односторонняго сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной нѣжности. Небосклонъ ея тѣсенъ; намъ въ немъ неловко дышать, человѣкъ требуетъ больше; комнатный воздухъ для него нездоровъ. Мы чувствуемъ себя чужими между этими людьми и личностями, другъ въ другѣ живущими, сосредоточенными на себѣ и довлѣющими другъ другу во имя своихъ личностей. При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, тихаго семейнаго счастья лежали въ нихъ; они могли бы быть счастливы, даже нѣкоторое время были,—и ихъ счастье было бы дѣломъ *случая*, такъ же, какъ и ихъ несчастіе. Міръ, въ которомъ они жили,—міръ случайности. Частная жизнь, не знающая ничего за порогомъ своего дома, какъ бы она ни устроилась, бѣдна; она похожа на обработанный садъ, благоухающій цвѣтами, вычищенный и прибранный. Садъ этотъ можетъ долго утѣшать хозяйевъ, особенно если заборъ его перестанетъ колоть ихъ глаза; но случись ураганъ,—онъ вырветъ деревья съ корнями и затопитъ цвѣты, и садъ будетъ хуже всякаго дикаго мѣста. Такимъ хрупкимъ счастьемъ человѣкъ не можетъ быть счастливъ; ему надобенъ безконечный океанъ, который волнуется ураганами, но чрезъ нѣсколько мгновеній бываетъ гладокъ и свѣтелъ, какъ прежде. Судьба всего исключительно личнаго, не выступающаго изъ себя, незавидна; отрицать личныя несчастія нелѣпо; вся индивидуальная сторона человѣка погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, влетающихъ другъ въ друга; дикія физическія силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ двигать и раздирающіе душу диссонансы. Въ эту темную кузницу судебъ свѣтъ никогда не проникаетъ; слѣпые работники бьютъ зря молотомъ налѣво и направо, не отвѣчая за слѣдствія. Чѣмъ болѣе человѣкъ сосредоточивается на частномъ, тѣмъ болѣе голыхъ сторонъ онъ представляетъ ударамъ случайности. Пенять нѣ на кого: личность человѣка не замкнута; она имѣетъ широкія ворота для выхода. Вся вина людей, живущихъ въ однихъ сердечныхъ, семейныхъ и частныхъ интересахъ, въ томъ, что они не знаютъ этихъ воротъ, а остальное, въ чемъ ихъ винять,—обыкновенно дѣло случая.

Случайность имѣетъ въ себѣ нѣчто невыносимо противное для свободнаго духа. Ему такъ оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумываетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, чтобъ бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т. е. состояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или въ ропотѣ; одна случайность для

него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не может вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремление выйти из-под ярма указывают довольно ясно на необходимость другой области, *иного міра*, въ которомъ врагъ погранъ, духъ свободенъ и дома. Еслибъ человѣкъ не имѣлъ никакого выхода, въ немъ не было бы и потребности выйти изъ міра случайности, какъ у животнаго, напримѣръ. Поднимаясь, развиваясь въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго, мы стяжаемъ возможность и крѣпость переносить удары случайности: они бьютъ тогда въ одну долю бытія, они не такъ обидны. Надобно было большое совершеннѣе, большое развитіе своей индивидуальности въ родовое, чтобъ съ яснымъ челомъ сказать: «*есть нѣтъ*; въ немъ мы развиваемся; какая судьба насъ постигнетъ, все равно (да и судьбы вовсе нѣтъ); дѣло въ томъ, чтобъ мы *пришли въ себя*, остальное безразлично». Хвала великой еврейкѣ, сказавшей это! ¹⁾

Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, не раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать только же для рода, сколько для себя, словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всеогрѣвающаго и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преобразается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами—личности и всеобщаго—есть непреодолима прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ сказать, въ свѣтломъ эфирѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами, и восторгами, и всею страстностью другаго. Человѣческая жизнь—трудная статистическая задача; безчисленныя противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, за то и жизнь его состоитъ въ одномъ мертвомъ, косномъ

¹⁾ Рахель—Briefwechsel.

покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ разившійся равно не можетъ ни исключительно жить семейною жизнью, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ. Было время для каждаго народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всѣмъ требованіямъ; для насъ, европейцевъ, это время миновало; мы живемъ шире, богаче. Въ патриархальный вѣкъ дѣтская простота, односложность отношеній, физическій трудъ и психическая неразвитость отстраняла всякую возможность скорбныхъ катастрофъ, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя существованія развитыхъ странъ. Удары случайности были тѣ же; грудь, на которую они падаютъ, измѣнилась.

† Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, потому что они слишкомъ близко подошли другъ къ другу, и, занятыя единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не имѣя другого выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, строящій домъ свой на одномъ сердцѣ, строитъ его на огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на пескѣ. Быть можетъ, онъ простоятъ до ихъ смерти, но обезпеченія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ дома на дачахъ, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастье не раздробится смертью одного изъ лицъ: Мнѣ отвѣтятъ: а утѣшеніе религіи? Но религія есть по преимуществу выходъ въ иной міръ. А тамъ, гдѣ религіозная и гуманическая сторона бытія слаба, гдѣ она подчинена чувствамъ, подчинена частному и личному, тамъ ждите бѣдъ и горестей... Въ этомъ положеніи наши герои. Они сводятъ насъ въ преисподнюю, въ міръ сердца, разорваннаго съ разумомъ, въ подземный міръ обезумѣвшихъ естественныхъ влеченій, готовыхъ пожрать все вокругъ себя. Это страшная изнанка жизни человѣческой. Тутъ опредѣляются личныя гибели, дробятся однимъ ударомъ песчинками собранныя достоянія; тутъ раздаются глухіе стоны отчаянія, яростные крики боли; тутъ индивидуальное доведено до послѣдней крайности, до нелѣпости, и царитъ объ руку съ безумнымъ самоотверженіемъ и съ наглымъ эгоизмомъ. Тутъ люди сражаются съ призраками, порожденными ихъ болѣзненной фантазіей, рвутъ въ ключья свою грудь и грудь ближняго, бѣснуются, ненавидятъ, ревнуютъ, лишаютъ себя жизни, влюбляются,—все это, ни разу не давши себѣ отчета въ томъ, чего хотятъ...

Не засмѣяться ль имъ, пока
Не обагрилась ихъ рука?

Если человекъ, попавши во власть адскимъ силамъ, найдеть твердость приостановиться, подумать, — онъ, безъ сомнѣнія, засмѣется и, еще вѣрнѣе, покраснѣетъ. Главное сумасшествіе состоитъ въ какой-то чудовищной важности, которую приписываютъ событіямъ, именно потому, что они не знаютъ, что въ самомъ дѣлѣ важно. Не факты отдѣльные—смертные грѣхи, а грѣхи противъ духа и въ духѣ. Возьмемъ, на примѣръ, драму Бомарше «La mère coupable». Человекъ, годы цѣлые съ злою ревностью отыскивавшій улики противъ своей жены, наконецъ, находитъ ихъ. Теперь-то онъ отомститъ, теперь-то онъ бросится со всею жестокостію невинности, со всею свирѣпостію судіи на преступную, которая двадцать лѣтъ, не осушая слезъ, оплакиваетъ свое паденіе. Онъ точно пользуется первымъ случаемъ, чтобъ положить на благородное чело ея печать позора; при этомъ онъ ждетъ увертокъ, ждетъ горькихъ словъ,—и встрѣчаетъ кроткое сознаніе вины, и его жесткая душа мягчится, онъ *протрезвляется*, изъ мужа-мстителя дѣлается мужемъ-человѣкомъ. Сердце, полное желчи и злобы, раскрывается снова любви. А между тѣмъ доказательства найдены, и то, что въ подозрѣніи онъ не могъ вынести, онъ забываетъ при достовѣрности. Почти всѣ злодѣйства въ мірѣ происходятъ отъ нетрезваго пониманія. Бентамъ говорить, что всякій преступникъ дурной счетчикъ. Если обобщить эту мысль и взять ее не въ тѣхъ матеріальныхъ границахъ, въ которыхъ она высказана имъ, то это будетъ одна изъ величайшихъ истинъ.

Но возвратимся къ нашей драмѣ. Закулисная вина несчастія этихъ людей—тѣснота и неестественная для человекъ жизнь праздности, преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ большое мѣсто! Если-бъ въ нихъ было развито *живое* религіозное чувство, если-бъ *человѣчность* ихъ не ограничилась первой ступенію, т. е. семейной жизнью, — катастрофы этой, конечно, не было бы. Если-бъ Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ, сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви? Можетъ быть, эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостыя, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женой, потому что онъ былъ бы сильнѣе всего той стороною бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула. Словомъ, *любовь* оправдываетъ все. Но нынче, когда нѣтъ авторитета, подъ который духъ кри-

тики не дѣлалъ бы опыта подкопаться, можно и самую златовласую Афродиту потребовать къ трибуналу, если судья только не боится ея красоты. Я, съ своей стороны, готовъ быть лучше Антоніемъ, нежели Октавіаномъ, и навѣрное не велю покрыться Клеопатрѣ, лишь бы встрѣтиться съ нею; однакожь, осмѣливаюсь звать на правезъ ее, изъ пѣны морской рожденную!

Существовать—величайшее благо; любовь раздвигаетъ предѣлы индивидуальнаго существованія и приводитъ въ сознаніе все блаженство бытія; любовью жизнь восхищается собою; любовь—апогеоза жизни. Лукрецій всю природу называетъ торжественнымъ празднествомъ любви, брачнымъ пиромъ, для котораго цвѣты развертываютъ свои прекрасныя вѣнчики, наполняютъ благоуханіемъ воздухъ, птицы покрываются красивыми перьями, и проч. Любовь человѣческая—еще болѣе апогеоза самой любви, такъ какъ вообще человѣческое есть апогеоза естественнаго. Природа оканчивается взоромъ юноши и дѣвы, любящихъ другъ друга. Этимъ взоромъ она страстно понимаетъ всю безконечную красоту свою, имъ она *оцѣнила себя*; далѣе она идти не можетъ,—далѣе другое царство; она совершила свое, подняла форму до соотвѣтствія духу, раздвоилась, и, взглянувъ высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, въ нѣмомъ восторгѣ другъ отъ друга, въ торжественномъ упоеніи взаимнаго созерцанія, отрѣшились отъ себя. Они сняли противоположность свою любовью и между тѣмъ не совпадаютъ для того, чтобъ наслаждаться другъ другомъ, для того, чтобъ жить другъ въ другѣ. И съ этимъ мгновеніемъ восторга и поклоненія бытію соединена великая тайна возникновенія, обновленія юнымъ отжившаго. Любовь—пышный, изящный цвѣтокъ, вѣнчающій и оканчивающій индивидуальную жизнь: но онъ, какъ всѣ цвѣты, долженъ быть раскрытъ одною стороною, лучшей стороною своей къ небу всеобщаго. Цвѣтокъ питается изъ земли и изъ солнца; отъ этого,—въ немъ земное такъ чудно хорошо. Любовь—одинъ моментъ, а не вся жизнь человѣка; любовь вѣнчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи; но за исключительною личностью есть великія области, также принадлежащія человѣку или, лучше, которымъ принадлежитъ человѣкъ и въ которыхъ его личность, не переставая быть личностью, теряетъ свою исключительность. Монополию любви надобно подорвать вмѣстѣ съ прочими монополіями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажемъ прямо: человѣкъ не для того только существуетъ, чтобъ *любить*ся; неужели *вся* цѣль мужчины—обладаніе такою-то женщиной, *вся* цѣль женщины—обладаніе такимъ-то мужчиною?—Никогда! Какъ неестественна такая жизнь, всего лучше доказываютъ герои почти всѣхъ романовъ. Что за

жалкое, потерянное существованіе какого нибудь Вертера,—чтобъ указать на знаменитость; сколько сумасшедшаго и эгоистическаго въ немъ, при всей блестящей сторонѣ, которую всегда придаетъ человѣку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блескъ очей лихорадочнаго; онъ имѣетъ въ себѣ магнетическое, притягивающее, а между тѣмъ онъ выражаетъ не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всѣхъ поэтическихъ выходкахъ Вертера, вы видите, что эта нѣжная, добрая душа не можетъ выступать изъ себя; что, кромѣ маленькаго міра его сердечныхъ отношеній, ничто не входитъ въ его лиризмъ; у него ничего нѣтъ ни внутри, ни внѣ, кромѣ любви къ Шарлоттѣ, не смотря на то, что онъ почитываетъ Гомера и Оссіана. Жаль его! Я горькими слезами плакалъ надъ его послѣдними письмами, надъ подробностями его кончины. Жаль его,—а вѣдь пустой малый былъ Вертеръ! Сравните его, или Эдуарда, и всѣхъ этихъ страдателей съ широко-развернутыми людьми, у которыхъ субъективному кесарю отдана богатая доля, но и доля обще-человѣческая не забыта: сравните ихъ съ Карломъ Мооромъ, съ Максомъ Пикколомини, съ Теллемъ, наконецъ, съ этимъ добрымъ патриархальнымъ отцомъ семейства, съ этимъ энергическимъ освободителемъ своего отечества. И, чтобъ не обидѣть Гёте, сравните съ архитекторомъ въ «Wahlverwandtschaft» и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила, не всосала въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отрѣзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ, они внесли все одушевленіе ея, весь пламень ея въ эти области, и, наоборотъ, ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Оттого любовь ихъ, счастлива или нѣтъ, но не вырождается въ помѣшательство. Помните, Тиссѳ, въ извѣстной книгѣ своей о нѣкотораго рода самоудовлетвореніи, сказалъ: «Природа жестоко мститъ оскорбляющимъ ея законы; эта месть лежитъ въ самомъ отступленіи отъ бытія, въ которое долженъ развиваться организмъ, и есть физическое послѣдствіе его». Великая истина! Человѣкъ долженъ развиваться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ, частномъ мірѣ, онъ надѣваетъ китайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на ногахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цѣли, ведетъ къ страданіямъ? Самыя эти страданія—громкій голосъ, напоминающій, что человекъ сбился съ дороги.

Но я предвижу возраженіе: этотъ міръ всеобщихъ интересовъ, эта жизнь общественная, художественная, сціентифическая,—все это для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея

міръ ограниченъ спальней и кухней... Странное дѣло! Девятнадцать столѣтій христіанства не могли научить людей понимать въ женщинѣ человѣка. Кажется, гораздо мудренѣе понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили, да и согласились; а что женщина человѣкъ, въ голову не помѣщается! Однакожь участіе женщины въ высшемъ мірѣ было признано религією. «Марѳа, Марѳа, ты печешься о многомъ, а *одно* потребно. Марія избрала *благую часть*». На женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа—тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ къ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ-то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина больше мать, нежели мужчина отецъ; дѣло начальнаго воспитаніе есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ?.. Во-вторыхъ, ея семейное призваніе никоимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго—точно такъ же раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ тою разницей, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Італіи не совершилась ли подъ безпрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали-ль онѣ мощь геніальности своей и на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще видятъ исполинскій талантъ геніальной женщины?.. Но въ сторону эти исключительныя явленія: обращаю вниманіе на фактъ, извѣстный всѣмъ, находящійся у каждого передъ глазами. Откуда дѣвицы имѣютъ необыкновенный тактъ поведенія, умѣнье себя держать, вѣрный смыслъ въ дѣлахъ жизни? Воспитаніе ихъ ограничено гаремнымъ заключеніемъ, и между тѣмъ ихъ быстро понимающей натурѣ достаточно нѣсколько шаговъ по полю жизни, чтобъ выразумѣть ее, чтобъ приобрести *esprit de conduite*, до котораго мужчина вырабатывается полжизни самымъ скорбнымъ путемъ паденій, разврата, разореній, обидъ, униженій и Богъ-знаетъ чего. Этотъ фактъ, совершенно всеобщій, доказываетъ ли подчиненность женщины мужчинамъ въ отношеніи ума, или напротивъ? Какое же мы имѣемъ право отчуждать ихъ отъ міра всеобщихъ интересовъ? Я скажу какъ Розина, когда ей Бартоло доказывалъ, что мужъ можетъ распечатывать письма жены: «*Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?*» («Севильскій Цирюльникъ»). Въ дикія времена феодализма (которыя представляются такими поэтическими, чистыми у нашихъ романтиковъ), рыцари имѣли обыкновеніе въ

своихъ помѣстяхъ выбирать маленькихъ дѣвочекъ, обѣщавшихъ красоту, и заирать въ особое отдѣленіе, гдѣ за ихъ *нравственностью* былъ строгій надзоръ; изъ этихъ разсадниковъ брали они себѣ, по мѣрѣ надобности, любовницъ. Такъ рассказываетъ очевидецъ Брантомъ. Нынче такого грубаго и отвратительнаго уничтоженія женщины нѣтъ. А не правда ли, что-то родственное этимъ хозяйственнымъ запасамъ осталось въ воспитаніи дѣвицъ исключительно въ невѣсты? Мысль, что она сама въ себѣ никакой цѣли не имѣетъ, кромѣ замужества, право, не нравственна и не пристройна.

Я почти все сказалъ, что хотѣлъ сказать по поводу одной драмы. Слѣдовало бы остановиться, но характеръ Grübeleien именно таковъ, что они до тѣхъ поръ тянутся, пока виѣшняя причина натолкнетъ на чтонибудь другое, или напомнить, что пора кончить. Теперь, когда слѣдовало положить перо, мнѣ пришло въ голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда постами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантиею, замѣнившюю алое покрывало. Вмѣсто радостной улыбки, у нихъ скрежетъ зубовъ; вмѣсто юнаго румянца—блѣдныя щеки. Откуда взялся въ любви, въ этомъ торжественномъ, радостномъ чувствѣ, мучительно грустный, раздрающій душу характеръ? Это наслѣдіе мечтательности среднихъ вѣковъ и германизма; для романтизма нѣтъ счастья выше несчастья, нѣтъ радости выше скорби и грусти; все человѣческое получило тогда судорожно болѣзненное направленіе: такъ простыя южныя болѣзни получаютъ на сѣверѣ чрезвычайно сложное нервичное, желчевое свойство. То было время убіенія всего естественнаго и развитія всего противоестественнаго, время вѣчнаго противорѣчія словъ и дѣла; оно, мрачное, сосредоточенное, вѣчно обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло въ струи адскаго огня кроткій пламень любви. Міръ дѣйствительный былъ въ пренебреженіи: жили въ мечтахъ, отреклись отъ естественныхъ влеченій и воцарили вмѣсто ихъ новыя, порожденные отъ беззаконной смѣси крови и духа: таково понятіе чести, доведенное до безумнаго себя обоготворенія; такова платоническая любовь—натянутое одухотвореніе истинной любви. Словомъ, романическое воззрѣніе представляетъ, какъ телескопъ, весь міръ вверхъ ногами; внутреннее у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. Съ такимъ настроеніемъ души, при вѣчномъ разрывѣ съ истинною жизнью, страсти получили тѣмъ ужаснѣйшее развитіе, что онѣ были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекательность романтизма; туманность его, бѣгущая ясности и разума, стремленіе, не знающее предѣла и цѣли, искусственная чистота, восторженная нѣжность, рѣчь, ко-

торая, какъ музыка, больше намекаетъ, нежели высказываетъ,— все вмѣстѣ захватываетъ душу особенно юную, дѣвственную. Романтизму пла такъ же хорошо платоническая, несчастная любовь, какъ романтизмъ шель среднимъ вѣкамъ. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотятъ. А между тѣмъ, представьте вы себѣ вмѣсто изящнаго образа рыцаря Тогенбурга, закованнаго въ желѣзо, съ крестомъ на груди,—представьте г. Тогенбурга, въ пальто и резиновыхъ калошахъ, проводящаго жизнь гдѣ-нибудь въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ, на улицѣ, дожидаясь «какъ стукнетъ окно»,—и вамъ сдѣлается ужасно смѣшно...

Мечтательность, романтизмъ, платоническая любовь,—все это въ наше время очень хорошо при переходѣ изъ отрочества въ юношество. Душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ фантастическомъ морѣ, въ этомъ упойтельномъ полумракѣ. Но остаться на вѣкъ мечтательно вздыхающимъ, страдающимъ безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся,—не видя, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ!... Какъ люди, вѣчно занятые суетою ежедневности, бессознательно влекомые общимъ движеніемъ, совершенно внѣшніе и ограниченные, вышли съ одной стороны изъ жизни истинно человѣческой, такъ мечтатели, исполненные неопредѣленной тоски, сердечныхъ страданій, боящіеся грубыхъ прикосновеній дѣйствительности, въ другую сторону вышли изъ жизни. Первые возвратились въ состояніе животныхъ или не дошли еще до человѣческаго; они довольны своею жизнью на скотномъ дворѣ. Вторые вышли изъ человѣческой жизни въ какую-то степь, по которой сколько ни пройдеши, столько же остается. Тѣ не могутъ прійти въ себя, эти выйти изъ себя не могутъ. Жизнь не для нихъ; это два берега ея: она величественно течетъ между ними. На мечтателей часто клепятъ глубину души, неизвѣстную намъ, профанамъ: тамъ «покоится не одна прекрасная жемчужина», да они ее выковырять не могутъ, и словъ нѣтъ высказать и звуковъ нѣтъ спѣть... Знаете ли, что мнѣ подъ часъ приходится въ голову? Глубина эта похожа на то, что если-бъ выкопать колодезь до центра земли и все продолжать копать, каждый шагъ глубже былъ бы шагомъ ближе къ поверхности. Центр тяжести — граница глубины; еще разъ, жизнь — статистическая задача—ни *торро*, ни *торро* *росо*. *Торро* *росо*—человѣкъ въ толпѣ съ низкими желаніями безгласенъ; *торро* —человѣкъ внѣ дѣйствительности въ сферѣ празднои и бесполезной... Возвращаюсь къ любви. Мучительная любовь не есть истинная, а... «Знаешь ли ты», сказалъ мнѣ одинъ ученый другъ, которому я читалъ эту тетрадь, «знаешь ли ты условіе, чтобъ не дурную, да и не хорошую статью прочли?» Я наострилъ уши. «Надобно», продолжалъ онъ съ важною ученаго и съ участіемъ друга, точно въ статистической

задачи жизни человѣческой: «чтобъ было сказано ни troppo, ни troppo poco. Въ послѣднемъ ты предостерегся, я первой отдаю полную справедливость; подумай о второмъ; вспомни историческую воздержность Сципіона».

Подумавъ и вспомнивъ историческую воздержность Сципіона, я остановился; тѣмъ болѣе не осмѣлюсь заставить благосклоннаго читателя (если Богъ пошлетъ его) читать продолженія безсвязныхъ Grübeleien.

10 октября. 1842.

Москва и Петербургъ ¹⁾).

Печатаю въ первый разъ небольшую статейку о «Москвѣ и Петербургѣ», писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лѣтъ тому назадъ, я исполняю желаніе моихъ друзей, между прочимъ того, который мнѣ прислалъ ее изъ Россіи. Статья эта нравилась многимъ и обошла всю Россію въ рукописныхъ копіяхъ. Впослѣдствіи (въ 1846) я напечаталъ отрывки изъ нея въ небольшомъ разсказѣ—«Станція Едрово», но само собою разумѣется, что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила рѣзкія мѣста, а они-то и составляютъ все достоинство этой шутки. Я во многомъ теперь не согласенъ, но оставилъ статью такъ, какъ она была, по какому-то чувству добросовѣстности къ прошедшему.

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усѣвшись на берегѣ Волхова, говорю объ одномъ прошедшемъ, какъ будто у насъ нѣтъ настоящаго, какъ будто намъ положенъ тайный рубежъ въ исторіи—не вести изслѣдованій позже происхожденія Руси, какъ будто важнѣйшее дѣло и событіе въ нашей исторіи—метрическое свидѣтельство о рожденіи, послѣ котораго такъ скромно жили, что нечего и разсказать... Тутъ я васъ остановлю. Я потому именно сталъ говорить о прошедшемъ, что, мнѣ кажется, мы и въ немъ не жили, а только кой-какъ существовали. Но, пожалуйста, въ сторону прошедшее!

Говорить о настоящемъ Россіи значитъ говорить о Петербургѣ, объ этомъ городѣ безъ исторіи въ ту и другую сторону, о городѣ настоящаго, о городѣ, который одинъ живетъ и дѣйствуетъ

¹⁾ Въ «Колоколѣ» 1 августа. 1857.

въ уровень современнымъ и своеземнымъ потребностямъ на огромной части планеты, называемой Россіей. Москва, напротивъ, имѣетъ притязанія на прошедшій бытъ, на мнимую связь съ нимъ; она хранитъ воспоминанія какой-то прошедшей славы, всегда глядитъ назадъ, увлеченная петербургскимъ движеніемъ, идетъ задомъ напередъ и не видитъ европейскихъ началъ оттого, что касается ихъ затылкомъ. Жизнь Петербурга только въ настоящемъ; ему не о чемъ вспоминать, кромѣ о Петрѣ I, его прошедшее сколочено въ одинъ вѣкъ, у него нѣтъ исторіи, да нѣтъ и будущаго; онъ всякую осень можетъ ждать шквала, который его потопитъ. Петербургъ—ходячая монета, безъ которой обойтись нельзя; Москва—рѣдкая, положимъ, замѣчательная для охотника нумизма, но не имѣющая хода. Итакъ, о городѣ настоящаго, о Петербургѣ.

Петербургъ—удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался къ нему и въ академіяхъ, и въ канцеляріяхъ, и въ казармахъ, и въ гостиныхъ, — а мало понялъ. Живши безъ занятій, не втянутый въ омутъ гражданскихъ дѣлъ, ни въ фронты и разводы *мирныхъ военныхъ занятій*, я имѣлъ досугъ, отступя, такъ сказать въ сторону, разсматривать Петербургъ; видѣлъ разные слои людей, людей, которые олимпийскимъ движеніемъ пера могутъ дать Станислава или отнять мѣсто; людей непрерывно пишущихъ, т. е. чиновниковъ; людей почти никогда не пишущихъ, т. е. русскихъ литераторовъ; людей не только никогда не пишущихъ, но и никогда не читающихъ, т. е. лейбъ-гвардіи штабъ и оберъ-офицеровъ; видѣлъ львовъ и львицъ, тигровъ и тигрицъ; видѣлъ такихъ людей, которые ни на какого звѣря, ни даже на человѣка не похожи, а въ Петербургѣ дома, какъ рыба въ водѣ; наконецъ, видѣлъ поэтовъ въ III отдѣленіи собственной канцеляріи—и III отдѣленіе собственной канцеляріи, занимающееся поэтами; но Петербургъ остался загадкой, какъ прежде. И теперь, когда онъ началъ для меня исчезать въ туманѣ, которымъ Богъ завѣшиваетъ его круглый годъ, чтобъ издали не видно было, что тамъ дѣлается, я не нахожу средствъ разгадать загадочное существованіе города, основаннаго на всякихъ противоположностяхъ и противорѣчій физическихъ и нравственныхъ..... Это, впрочемъ, новое доказательство его современности: весь періодъ нашей исторіи отъ Петра I — загадка, нашъ настоящій бытъ — загадка..... этотъ разноначальный хаосъ взаимногложущихъ силъ, противоположныхъ направленій, гдѣ, иной разъ всплываетъ что-то европейское, прорѣзывается что-то широкое и человѣческое, и потомъ тонетъ или въ болотѣ косно-страдательнаго славянскаго характера, все принимающаго съ апатіей—кнутъ и книги, права и лишеніе ихъ, татаръ и Петра—и потому въ сущности ничего не

принимающаго; или въ волнахъ дикихъ понятій о народности исключительной, понятій недавно выползшихъ изъ могилъ и не поумнѣвшихъ подъ сырой землей.

Съ того дня, какъ Петръ увидѣлъ, что для Россіи одно спасеніе—перестать быть русской, съ того дня, какъ онъ рѣшился двинуть насъ во всемірную исторію, необходимость Петербурга и ненужность Москвы опредѣлились. Первый, неизбежный шагъ для Петра было перенесеніе столицы изъ Москвы. Съ основанія Петербурга, Москва сдѣлалась второстепенной, потеряла для Россіи прежній смыслъ свой и прозябала въ ничтожествѣ и пустотѣ до 1812 года. Быть можетъ, въ будущую эпоху.... Мало-ли что можетъ быть, и навѣрно много хорошаго будетъ въ будущую эпоху; мы говоримъ о прошедшемъ и о настоящемъ. Москва ничего не значила для человѣчества, а для Россіи имѣла значеніе омота, втянувшаго въ себя всѣ лучшія силы ея и ничего не умѣвшаго сдѣлать изъ нихъ. Москву забыли послѣ Петра и окружили тѣмъ уваженіемъ, тѣми знаками благосклонности, которыми окружаютъ старуху-бабушку, отнимая у нея всякое участіе въ управленіи имѣніемъ. Москва служила станціей между Петербургомъ и тѣмъ свѣтомъ для отслужившаго барства, какъ предвкушеніе могильной тишины. Къ Петербургу она не питала негодованія, напротивъ, тянулась всегда за нимъ, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколѣніе служило тогда въ гвардіи; все талантливое, появлявшееся въ Москвѣ, отправлялось въ Петербургъ писать, служить, дѣйствовать. И вдругъ эта Москва, о существованіи которой забыли, замѣшалась съ своимъ Кремлемъ въ исторію Европы, кстати сгорѣла, кстати обстроилась; ея имя попало въ бюллетени великой арміи, Наполеонъ ѣздилъ по ея улицамъ. Европа вспомнила объ ней. Фантастическія сказки о томъ, какъ обстроилась она, обошли свѣтъ. Кому не прокричали уши о прелести, въ которой этотъ фениксъ воспрянулъ изъ огня. А надобно признаться, плохо обстроилась Москва: архитектура домовъ ея уродлива, съ ужасными претензіями; дома или лучше хутора ея малы, облѣплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчекъ разбудить жизнь Москвы; думали, что въ ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорокъ верстъ отъ Троицы въ Голенищевѣ до Бутырокъ, да и поживаетъ опять. А ужъ Наполеона не предвидится!

Въ Петербургѣ всѣ люди вообще и каждый въ особенности прескверные. Петербургъ любить нельзя, а я чувствую, что не сталъ бы жить ни въ какомъ другомъ городѣ Россіи. Въ Москвѣ,

напротивъ, всѣ люди предобрые, только съ ними скука смертельная: въ Москвѣ есть своего рода полудикій, полуобразованный барекій бытъ, стирающійся въ тѣснотѣ петербургской; на него хорошо взглянуть, какъ на всякую особенность, но онъ тотчасъ надоѣсть. Русское барство не знаетъ комфорта, оно богато, но грязно; оно провинціально и напыщено въ Москвѣ, и оттого безпрерывно на иголкахъ, тянется, догоняетъ нравы Петербурга, а Петербургъ и нравовъ своихъ не имѣть. Оригинальнаго, самобытнаго въ Петербургѣ ничего нѣтъ, не такъ, какъ въ Москвѣ, гдѣ все оригинально—отъ нелѣпой архитектуры Василя-Блаженнаго до вкуса калачей. Петербургъ — воплощеніе общаго, отвлеченнаго понятія столичнаго города; Петербургъ тѣмъ и отличается отъ всѣхъ городовъ европейскихъ, что онъ на всѣ похожъ; Москва тѣмъ, что она вовсе не похожа ни на какой европейскій городъ, а есть гигантское развитіе русскаго богатаго села. Петербургъ—рагуени; у него нѣтъ вѣками освященныхъ воспоминаній, нѣтъ сердечной связи съ страной, которую представлять его вызвали изъ болотъ; у него есть полиція, присутственныя мѣста, купечество, рѣка, дворъ, семиэтажные дома, гвардія, тротуары, по которымъ ходить можно, газовые фонари, дѣйствительно освѣщающіе улицы, и онъ доволенъ своимъ удобнымъ бытомъ, не имѣющимъ корней и стоящимъ, какъ онъ самъ, на сваяхъ, вбивая которыя умерли сотни тысячъ работниковъ.

Въ Москвѣ мертвая тишина; люди систематически ничего не дѣлаютъ, а только живутъ и отдыхаютъ передъ трудомъ; въ Москвѣ послѣ 10 часовъ не найдешь извозчика, не встрѣтишь человека на иной улицѣ; разъединенный бытъ славяно-восточный напоминаетъ на каждомъ шагу. Въ Петербургѣ вѣчный стукъ *суеты суетствій*, и всѣ до такой степени заняты, что даже не живутъ. Дѣятельность Петербурга безсмысленна, но привычка дѣятельности вещь великая. Летагическій сонъ Москвы придаетъ москвичамъ ихъ некино-хухунорскій характеръ стоячести, который навелъ бы уныніе на самаго отца Іакинѳа. У петербуржца цѣли ограниченныя или подлыя; но онъ ихъ достигаетъ, онъ доволенъ настоящимъ, онъ работаетъ. Москвичъ, преблагороднѣйшій въ душѣ, никакой цѣли не имѣетъ, большею частью доволенъ собою, а когда не доволенъ, то не умѣетъ изъ всеобщихъ мыслей, неопредѣленныхъ и неотчетливыхъ, дойти до указанія большого мѣста. Въ Петербургѣ всѣ литераторы торгаши; тамъ нѣтъ ни одного круга литературнаго, который бы имѣлъ не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургскіе литераторы вдвое менѣе образованы московскихъ; они удивляются, пріѣзжая въ Москву, умнымъ вечерамъ и бесѣдамъ въ ней. А между тѣмъ вся книжная дѣятельность только и существуетъ въ Петербургѣ.

Тамъ издаются журналы, тамъ цензура умнѣе, тамъ писалъ и жилъ Пушкинъ, Карамзинъ, даже Гоголь принадлежалъ болѣе къ Петербургу, чѣмъ къ Москвѣ. Въ Москвѣ есть люди глубокихъ убѣжденій, но они сидятъ сложа руки; въ Москвѣ есть круги литературные, безкорыстно проводящіе время въ томъ, чтобы всякій день доказывать другъ другу какую нибудь полезную мысль, напр., что Западъ гниетъ, а Русь цвѣтетъ. Въ Москвѣ издается одинъ журналъ, да и тотъ «Москвитянинъ».

Москвичъ любить кресты и церемоніи, петербуржецъ—мѣста и деньги; москвичъ любитъ аристократическія связи, петербуржецъ—связи съ должностными людьми. Москвичу дадутъ Станислава на шею, а онъ его носитъ на брюхѣ; у петербуржца Владиміръ надѣтъ, какъ ошейникъ съ замочкомъ у собаки. Въ Петербургѣ можно прожить года два, не догадываясь какой религіи онъ держится; въ немъ даже русскія церкви приняли что-то католическое. Въ Москвѣ на другой день пріѣзда вы узнаете и услышите православіе и его мѣдный голосъ. Въ Москвѣ множество людей ходятъ каждый воскресный и праздничный день къ обѣднѣ; есть даже такіе, которые ходятъ и къ заутрени; въ Петербургѣ мужскаго пола никто не ходитъ къ заутрени, а къ обѣднѣ ходятъ одни нѣмцы въ кирку, да пріѣзжіе крестьяне. Въ Петербургѣ одни и есть мощи: это домикъ Петра; въ Москвѣ покоятся мощи всѣхъ святыхъ изъ русскихъ, которыя не помѣстились въ Кіевѣ, даже такихъ, о смерти которыхъ доселѣ идетъ споръ, напримѣръ, Дмитрій-царевичъ. Вся эта святыня бережется стѣнами Кремля; стѣны Петропавловской крѣпости берегутъ казематы и монетный дворъ.

Удаленная отъ политическаго движенія, питаюсь старыми новостями, не имѣя ключа къ дѣйствіямъ правительства, ни инстинкта отгадывать ихъ, Москва резонерствуетъ, многимъ недовольна, обо многомъ отзывается вольно..... Вдругъ является Иванъ Александровичъ Хлестаковъ большого размѣра,—Москва кланяется въ поясъ, рада посѣщенію, даетъ балы и обѣды и пересказываетъ бон-мо. Петербургъ, въ центрѣ котораго все дѣлается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если-бъ порохомъ подорвали весь Васильевскій Островъ, это сдѣлало бы меньше волненія, чѣмъ пріѣздъ Хозрева-Мирзы въ Москву. Иванъ Александровичъ въ Петербургѣ ничего не значитъ, тамъ никого не надуешь ни силой, ни властью, тамъ знаютъ, гдѣ сила и въ комъ. Въ Москвѣ до сихъ поръ принимаютъ всякаго иностранца за великаго человѣка, въ Петербургѣ cadaго великаго человѣка за иностранца. Во всю свою жизнь Петербургъ разъ только обрадовался: онъ очень боялся француза, и когда Витгенштейнъ его спасъ, онъ бѣгалъ къ нему навстрѣчу. Въ добрѣйшей

Москвѣ можно черезъ газеты объявить, чтобъ она въ такой-то день умилилась, въ такой-то обрадовалась: стоитъ генераль-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ходъ. Зато москвичи плачутъ о томъ, что въ Рязани голодъ, а петербуржцы не плачутъ объ этомъ, потому что они и не подозрѣваютъ о существованіи Рязани, а если и имѣютъ темное понятіе о внутреннихъ губерніяхъ, то навѣрное не знаютъ, что тамъ хлѣбъ ѣдятъ.

Молодой москвичъ не подчиняется формамъ, либеральничаетъ, и именно въ этихъ либеральныхъ выходкахъ виднѣется законный скнеъ. Этотъ либерализмъ проходитъ у москвичей тотчасъ, какъ побываютъ въ тайной полиціи. Молодой петербуржецъ формаленъ, какъ дѣловая бумага, въ шестнадцать лѣтъ корчитъ дипломата и даже немного шпіона, и остается твердъ въ этой роли на всю жизнь. Въ Петербургѣ все дѣлается ужасно скоро. Полевой въ пятый день по пріѣздѣ въ Петербургъ сдѣлался вѣрноподаннымъ; въ Москвѣ онъ лѣтъ пять вольнодумствовалъ бы еще. Вообще московскіе жиденькіе либералы начинаютъ въ Петербургѣ искать мѣсть, проклинать просвѣщеніе и благословлять разводы. Петербургъ, какъ египетская печь, только скорѣе развертываетъ скорлупу, а каковъ выйдетъ цыпленокъ,—не его вина. Бѣлинскій, проповѣдывавшій въ Москвѣ народность и самодержавіе, черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Петербургъ заткнулъ за поясъ самого Анахариса Клоотса. Петербургъ, какъ всѣ положительные люди, не слушаетъ болтовни, а требуетъ дѣйствій, оттого часто благородные московскіе говорители становятся подлѣйшими дѣйствителями. Въ Петербургѣ вообще либераловъ нѣтъ, а коли заведется, такъ въ Москву не попадаетъ.

Въ судьбѣ Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя сѣвернаго великана, гиганта, въ которомъ сосредоточена была энергія и жестокость конвента 93 года и революціонная сила его, любимое дитя царя, отрекшагося отъ своей страны для ея пользы и угнетавшаго ее во имя европеизма и цивилизаціи. Небо Петербурга вѣчно сѣро; солнце, свѣтящее на добрыхъ и злыхъ, не свѣтитъ на одинъ Петербургъ: болотистая почва испаряетъ влагу; сырой вѣтеръ приморскій свищетъ по улицамъ. Повторяю, каждую осень онъ можетъ ждать шквала, который его затопитъ. Въ судьбѣ Москвы есть что-то мѣщанское, пошлое; климатъ не дуренъ, да и не хорошъ; дома не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей подъ Новинскимъ, или въ Сокольникахъ 1 мая: имъ и не жарко, и не холодно, имъ очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните послѣ того въ хорошій день на Петербургъ. Торопливо бѣгутъ несчастные жители изъ своихъ норъ и бросаются

въ экипажи, скачуть на дачи, острова; они уиваются зеленою и солнцемъ, какъ арестанты въ *Fidelio*; но привычка заботы не оставляетъ ихъ, они знаютъ, что черезъ часъ пойдетъ дождь, что завтра труженики канцеляріи, поденщики бюрократіи, они утрьомъ должны быть по мѣстамъ. Человѣкъ, дрожащій отъ стужи и сырости, человѣкъ, живущій въ вѣчномъ туманѣ и инеѣ, иначе смотреть на міръ; это доказываетъ правительство, сосредоточенное въ этомъ инеѣ и принявшее отъ него свой утрьомый характеръ. Художникъ, развившійся въ Петербургѣ, избралъ для кисти своей страшный образъ дикой, неразумной силы, губящей людей въ Помнѣ,—это вдохновеніе Петербурга! Въ Москвѣ на каждой верстѣ прекрасный видъ; плоскій Петербургъ можно исходить съ конца въ конецъ и не найти ни одного даже посредственнаго вида; но исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что всѣ виды Москвы ничего передъ этимъ. Въ Петербургѣ любятъ роскошь, но не любятъ ничего лишняго; въ Москвѣ именно одно лишнее считается роскошью; оттого у каждаго московскаго дома колонны, а въ Петербургѣ нѣтъ; у каждаго московскаго жителя нѣсколько лакеевъ, скверно одѣтыхъ и ничего не дѣлающихъ, а у петербургскаго одинъ, чистый и ловкій.

Нигдѣ я не предавался такъ часто, такъ много скорбнымъ мыслямъ, какъ въ Петербургѣ. Задавленный тяжкими сомнѣніями, бродилъ я бывало по граниту его и былъ близокъ къ отчаянію. Этими минутами я обязанъ Петербургу, и за нихъ я полюбить его такъ, какъ разлюбилъ Москву за то, что она даже мучить, терзать не умѣетъ. Петербургъ тысячу разъ заставитъ всякаго честнаго человѣка проклясть этотъ Вавилонъ; въ Москвѣ можно прожить годы и кромѣ Успенскаго Собора нигдѣ не услышать проклятія. Вотъ чѣмъ она хуже Петербурга. Петербургъ поддерживаетъ физически и морально лихорадочное состояніе. Въ Москвѣ до такой степени здоровье усиливается, что органическая пластика замѣняетъ всѣ жизненныя дѣйствія. Въ Петербургѣ, кромѣ коменданта Захаржевскаго, нѣтъ ни одного толстаго человѣка, да и тотъ толстъ отъ контузіи. Изъ этого ясно, что кто хочетъ жить тѣломъ и духомъ, тотъ не избереетъ ни Москвы, ни Петербурга. Въ Петербургѣ онъ умретъ на полдорогѣ, а въ Москвѣ изъ ума выживетъ.

Да что, чортъ возьми, скажете вы: говорилъ, говорилъ, а я даже не понялъ, кому вы отдаете преимущество. Будьте увѣрены, что и я не понялъ. Во-первыхъ, для житья нельзя избрать въ сію минуту ни Петербурга, ни Москвы; но такъ какъ есть фатумъ, который за насъ избираетъ мѣсто жительства, то это дѣло конченное; во-вторыхъ, все живое имѣетъ такое множество сторонъ,

такъ удивительно спаянныхъ въ одну ткань, что всякое рѣзкое сужденіе—односторонняя нелѣпость. Есть стороны въ московской жизни, которыя можно любить, есть онѣ и въ Петербургѣ; но гораздо болѣе такихъ, которыя заставляютъ Москву не любить, а Петербургъ ненавидѣть. Впрочемъ, хорошія стороны найдутся вездѣ, даже въ Пекинѣ и Вѣнѣ; это тѣ три человѣка добрыхъ, за которыхъ Богъ прощалъ нѣсколько разъ грѣхи Содома и Гоморры, но не болѣе какъ прощалъ. Увлекаться этимъ не надобно: вездѣ, гдѣ много живетъ людей, гдѣ давно живутъ люди, найдется что-нибудь человѣческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжественъ звонъ московскихъ колоколовъ и процессій въ Кремлѣ; торжественны большіе парады въ Петербургѣ, торжественны сходбища буддистовъ на Востокѣ, при свѣтѣ ста двѣнадцати факеловъ, читающихъ свои святыя книги. Намъ мало этой поэтической стороны, намъ хочется..... Мало ли чего хочется!

Пророчать теперь желѣзную дорогу между Москвой и Петербургомъ. Давай Богъ! Черезъ этотъ каналъ Петербургъ и Москва взойдутъ подъ одинъ уровень, и навѣрно въ Петербургѣ будетъ дешевле икра, а въ Москвѣ двумя днями раньше будутъ узнавать, какіе нумера иностранныхъ журналовъ запрещены. И то дѣло!

Новгородъ, 1842.

Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ ¹⁾).

Недостаточно знать Петербургъ и Москву; для того чтобъ знать Петербургъ и Москву,—надобно еще заглянуть на то, что дѣлается вокругъ нихъ. Около Москвы мирный вѣнокъ шести или восьми губерній великороссійскихъ до конца ногтей. Москва среди ихъ покоится, какъ старшая въ семействѣ; изъ нея берутъ ея племянницы и сестрицы образованіе, моду, умъ и глупость. Довольное спокойствіе овладѣло этой полосой и она находится въ полудремотѣ, предпочитая сонъ отцу и матери, какъ говоритъ пословица. Старые губернаторы любятъ назначеніе въ эти губерніи. Въ нихъ никогда не бываетъ ни чрезвычайныхъ преступленій, ни безпримѣрной добродѣтели, ни вулканическихъ изверженій, ни опасныхъ разливовъ; хлѣбъ всегда рождается довольно плохо, за то рѣдко совсѣмъ не рождается; крестьяне благочестивы, жалуются на Бога за бѣдность, на казенную плату за рекрутскіе наборы, а на помѣщиковъ никогда не жалуются вслухъ. Каждая изъ этихъ губерній имѣетъ свой талантъ, стало, завидовать другъ другу нечего, и онѣ также мирно и родственно стоятъ на одномъ мѣстѣ около Москвы, какъ планеты ни минуты не постоятъ на мѣстѣ около солнца. Калуга производитъ тѣсто, Владиміръ вишни. Тула пистолеты и самовары, Тверь извозничаетъ, Ярославль чело-вѣкъ торговый.

Климатъ Москвы съ ея присными принадлежитъ къ тѣмъ вещамъ, которыхъ вся характеристика состоитъ изъ отрицательныхъ качествъ: не холодный, не теплый; кукуруза не растетъ, яблони не мерзнутъ. Послѣ того какъ Петръ I открылъ возможность жить въ сыромъ болотѣ, прилежащемъ къ Балтійскому морю, нечего и доказывать обитаемость московской полосы. Я

¹⁾ Полярная Звѣзда на 1855 г.

признаюсь откровенно въ моей ограниченности: не понимаю, какъ можно по доброй волѣ жить въ климатѣ восьми-девяти мѣсячной зимы. Аскольдъ и Диръ были единственные порядочные люди изъ всей норманской сволочи, пришедшей съ Рюрикомъ: они взяли свои лодки, да и пошли съ ними пѣшкомъ въ Кіевъ. Игорь, Олегъ и tutti quanti, жившіе на югѣ Россіи, были люди со вкусомъ, оттого единственный періодъ въ русской исторіи, который читать не страшно и не скучно, это кіевскій періодъ.

Но какъ волка не корми, онъ къ лѣсу глядитъ; истинные патриоты убѣжали опять на сѣверъ, на сѣверъ Владиміра на Клязьмѣ и Москвы. Впослѣдствіе и эта полоса оказалась радикаламъ недостаточно сѣверной. Петръ нашель сѣверъ почище.

Когда ѣдешь изъ Москвы въ Петербургъ, сначала, по дорогѣ, деревни напоминаютъ близость къ сердцу государства; Тверь дальній кварталъ Москвы и притомъ хорошій кварталъ, Тверь на Волгѣ и на шоссе, городъ съ будущностью, съ карьерой. Но въ Новгородской губерніи путника обдаетъ тоской и ужасомъ; это предисловіе къ Петербургу: другая земля, другая природа, бесплодные пажити, болота съ болѣзненными испареніями, бѣдные деревни, бѣдные города, голодные жители и, что шагъ, станвится страшнѣе, сердце сжимается; тутъ природа съ величайшимъ усиленіемъ, какъ сказалъ Грибоѣдовъ, производитъ одни вѣники; чувствуешь, что подѣзжаешь къ той полосѣ земного шара, которая только сдѣлана Богомъ для бѣлыхъ медвѣдей, да для равновѣсія, чтобъ шаръ не свалился съ орбиты. Деревья, какъ-то сгорбившіе, болѣзненно стоятъ на сырой и тощей землѣ, какъ волосы на головѣ у полуплѣшиваго. Такъ, вы достигаете Новгорода. Отъ Новгорода начинаются стеариновые свѣчи, гвардейскіе и всяческіе солдаты, видно, что Петербургъ близко. Остальные 180 верстъ тотъ же пустырь ужасный, отвратительный, посыпанный кое-гдѣ солдатами. До Ижоръ, до Померанья можете присягнуть, что остается верстъ 1.000 до большого города. И въ углу этой-то неблагоприятной полосы земли, на трясинѣ между двухъ водъ—Петербургъ, Петербургъ блестящій, удивительный, одинъ изъ самыхъ красивыхъ городовъ въ мірѣ. Петръ I по русской пословицѣ на обухѣ рожь малотилъ. Лишь бы мнѣ уѣхать на югъ, я всегда буду восхвалять какъ дивную побѣду надъ природой—Петербургъ. Три градуса вверхъ начинается здоровый сѣверъ, три градуса внизъ начинается умѣренно дурная полоса, въ которой Москва; промежуточные шесть градусовъ при пріятномъ сосѣдствѣ моря и всякихъ водъ рѣчныхъ, озерныхъ, болотныхъ, лечебныхъ и ядовитыхъ, при восточности положенія, составляютъ полосу вѣчной сырости, нравственной и физической изморози, душевнаго и тѣлеснаго тумана. Петербургъ, вбитый

сваями не въ русскую, а въ финскую землю, находится между Олонецкой и Новгородской губерніями. Олонецкая губернія отстала отъ Иркутской, Иркутская не отстала отъ Новгородской. Въ Олонецкой губерніи разбросанныя по скалистой землѣ и между лѣсами деревни совершенно разобщены; есть села, къ которымъ никакихъ нѣтъ дорогъ, кромѣ тропинокъ. Новое изобрѣтеніе колесъ не вездѣ извѣстно въ Олонецкой губерніи, и они таскаютъ тяжести волокомъ. Петрозаводскъ—мѣсто въ родѣ Березова, ему дали сибирскія права, чтобъ заманить служащихъ. И все это возлѣ Петербурга. До границы Олонецкой губерніи отъ Петербурга верстъ 200, не больше. Новгородская губернія дальними уѣздами не далеко ушла отъ Олонецкой. Объ ней еще нельзя судить по большой дорогѣ. Дикость, бѣдность земли, которая никогда не родитъ достаточно хлѣба для прокормленія и къ тому еще военныя поселенія.

Въ Новгородской губерніи есть деревни, разобщенныя лужами и болотами съ цѣлымъ шаромъ земнымъ, къ нимъ ѣздятъ только зимой. Этими болотами и этой грязью защищались новгородцы нѣкогда отъ великокняжескаго и великоханскаго ига, теперь защищаются отъ великополицейскаго. Въ эти деревни погѣздить раза три въ годъ, и за цѣлую треть накрещиваетъ, навѣнчиваетъ, хоронить... При зимней дизлокаціи солдатъ по уѣздамъ, какая-то рота попалась въ одну изъ этихъ моченыхъ деревень; пришла весна, нѣтъ роты, да и деревни не могутъ найти,—хлопоты, переписка, съемка плановъ; по счастью лѣто продолжается мѣсяца три, въ октябрскіе утренники является рота, она была за непроходимыми топями.

Да, нечего сказать, Петербургъ не разлилъ жизни около себя; и не могъ, наоборотъ, почерпнуть жизненныхъ соковъ изъ сосѣдства; и въ этомъ опять его трагическій характеръ. Петербургъ все сжимается, лѣпится, сосредоточивается около Зимняго Дворца, даже въ самомъ городѣ такъ. Много толковали о томъ, что въ Москвѣ огромный домъ, а возлѣ него хижины; но надобно вспомнить, что эти дома разбросаны на сорока верстахъ вездѣ. Не угодно ли въ Петербургѣ мѣрою двѣ версты отойти отъ Зимняго Дворца по петербургской сторонѣ—какая пустота, нечистота. Все дѣйствіе Петербурга на окружающія мѣста ограничилось тѣмъ, что онъ развратилъ Новгородъ и, начавши собою новую непонятную Русь, придавилъ все древнее въ самомъ мѣстѣ зародыша.

Владиміръ относится къ Москвѣ такъ, какъ Новгородъ къ Петербургу. Владиміръ былъ столицей, великъ и славенъ,—какъ можно было быть великимъ и славнымъ на Руси. Задушенный татарами, онъ уступилъ Москвѣ, пошелъ къ ней въ подмастерья, когда она сѣла хозяйкой всякимъ пронырствомъ и искательствомъ:

но онъ сохранилъ въ своихъ воспоминаніяхъ былую славу, помнитъ Андрея Боголюбскаго и древность своей епархіи. Что-то тихое, кроткое въ его чертахъ, осыпанныхъ вишнями. Москва любила такихъ не слишкомъ удалыхъ сосѣдей и помощниковъ и между ними завязалась искренняя, дружеская связь; что было лишней крови, Москва высосала и отставной столичный городъ, какъ истинный философъ или какъ грузинскій царевичъ, довольный тѣмъ, что осталось—хотя и ничего не осталось кромѣ того, чего взять нельзя—ничего не хочетъ, ничего не усовершенствуетъ, строго держится православія и не заслуживаетъ брани, можетъ, потому, что и похвалить не за что. И Новгородъ былъ столицей и поважнѣе, онъ былъ республикой, насколько можно было быть республикой на Руси. Душить его принялись мастера не татарамъ чета; два Ивана Васильевича, да одинъ Алексѣй Андреевичъ. Татары народъ кочевой, ни въ чемъ нѣтъ выдержки; придутъ, сожгутъ, оберутъ, разобидятъ, научатъ считать на счетахъ, бить кнутомъ, а потомъ и уйдутъ себѣ чортъ знаетъ куда. Нехристи и варвары. Православные Иваны Васильевичи, особенно послѣдній, принялись за дѣло основательнѣе. Память вышибъ своей *долбнею* царь Иванъ Васильевичъ изъ новгородцевъ, а долбня эта осталась и хранится въ соборѣ; Вельманъ писалъ книгу о «Господинѣ нашемъ Новгородѣ великомъ» и плакалъ отъ умиленія, встрѣтившись нечаянно на улицѣ съ Ярославовой башней. Я не плакалъ о господинѣ-слугѣ, а не разъ содрогался. Зданія, пережившія смыслъ свой, наводятъ ужасъ, когда вы спросите объ нихъ новгородца, выросшаго и состарѣвшагося здѣсь, и онъ вамъ отвѣтитъ: «говорятъ, еще до Петра строено». Софійскій соборъ стоитъ на томъ же мѣстѣ, а противъ него губернское правленіе съ какой-то подъячески-осунувшейся фасадой. Въ соборѣ хранится, какъ я сказалъ, долбня, а въ губернскомъ правленіи въ золотомъ ковчегѣ записка Аракчеева къ губернатору о убійствѣ его любовницы.

Какъ Новгородъ жилъ отъ Ивана Васильевича до Петербурга,—никто не знаетъ: вѣроятно, корни гражданственности были и не глубоки и не живучи, вѣроятно, самъ Новгородъ ужаснулся грѣху торговать съ Ганзою и не слушаться указовъ. Грязный, дряхлый и ненужный стоялъ онъ, пока Петербургъ подросталъ, обстроился; но въ немъ не осталось ничего стариннаго русскаго, и не привилось ни одной капли европейскаго; нравы Новгорода представляютъ уродливую и отвратительную пародію на петербургскіе. Нравы Петербурга могутъ быть сносны только въ этомъ вѣчномъ вихрѣ, шумѣ, стукѣ, трескѣ, при новостяхъ, театрахъ, пароходахъ, кофейныхъ и иныхъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Бѣдный и лишенный всякихъ удобствъ Новгородъ невыносимо

скучень. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярія, набитая чиновниками. Нѣтъ обществности, подъячїе по петербургски держать дверь на ключъ и не сходятся. Немного смѣшное гостепрїимство подмосковныхъ губерній имѣеть всегда какую-то бономію; циническій эгоизмъ новгородцевъ поселяеть отвращеніе. Тутъ въ первый разъ прїѣзжающій изъ внутреннихъ губерній можетъ узнать, что такое петербургскій чиновникъ, *species petropolina, ministerialis*, это—махровый чиновникъ, далеко оставляющій за собою мелкихъ плутовъ уѣздныхъ и губернскихъ.

Въ Новгородѣ каждое неосторожное слово можетъ навлечь бѣдствїя; Петербургъ научилъ *сі-devant* республику наушничать. Въ губерніяхъ подмосковныхъ говорите, что хотите; разумѣтся, не поймутъ, коли дѣло скажете, но и не донесутъ, «мы де дворяне».

Иваны Васильевичи долбили собственно городъ; но какъ нашъ вѣкъ желаетъ прїобщить къ муниципальнымъ выгодамъ и земледѣльцевъ,—графъ Аракчеевъ рѣшилъ распространить благодѣянія Ивановъ Васильевичей на всю губернію. Средство, имъ избранное, было геніально—военныя поселенія. Заставить пахать землю по темпамъ, увѣрить мирнаго мужика, что онъ грозный воинъ, разрушить семью и деревню и водворить казармы въ цѣлую волость и все это легкимъ и простымъ средствомъ, заставляя десятаго мужика до смерти, и всѣхъ остальныхъ степенью меньше. Жаль, что смерть Анастасїи помѣшала графу очень много, а потомъ немножко смерть императора Александра, окончить богоугодное дѣло.

Странная судьба Новгорода—въ его исторїи два имени не забыты, оба женскія: Марѳа посадница и Настасья наложница; обѣ обрушили на Новгородъ невыразимыя бѣдствїя. Первая жизнью, вторая смертью. Москва радовалась смерти первой, Петербургъ плакалъ о второй!

Новгородъ. 1842 года.

ДИЛЕТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКЪ.

А. И. Герцель, т. IV.

5

I.

Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ,—оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плода; первые листы, почки пророчать могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другого и погрузились въ печальные сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ; люди созерцательные страдаютъ, во что-бъ ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, человѣкъ не можетъ жить. Между тѣмъ, всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія провозгласилось міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились. *Одни* не вѣрятъ наукѣ, не хотятъ ею заняться, не хотятъ обслѣдовать, почему она такъ говорить, не хотятъ идти ея труднымъ путемъ; «наболѣвшія души наши», говорятъ они, «требуютъ утѣшеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ подаетъ камни, на вопль и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачь, молящій объ участіи, предлагаетъ холодный разумъ и общія формулы; въ логической неприступности своей она равно не удовлетворяетъ ни практическихъ людей, ни мистиковъ. Она намѣренно говоритъ языкомъ неудобопонятнымъ, чтобъ за лѣсомъ схоластики скрыть сухость основныхъ мыслей—elle n'a pas d'entrailles». *Другіе*, совсѣмъ напротивъ, нашли внѣшнее примиреніе и отвѣтъ всему какимъ-то незаконнымъ процессомъ, усвоивая себѣ букву науки и не касаясь до живого духа ея. Они до того поверхностны, что имъ кажется все ужасно лег-

кимъ, на всякій вопросъ они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ, то кажется, что наукѣ больше ничего не осталось дѣлать. У нихъ свой алькоранъ, они вѣрятъ въ него и цитируютъ мѣста, какъ послѣднее доказательство. Эти мухаммедане въ наукѣ чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV говаривалъ: «лишь бы Провидѣніе меня защитило отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь»; такіе друзья науки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправдываютъ ненависть враговъ ея;—и наука остается въ маломъ числѣ избранныхъ.

Но хотя бы она была въ одномъ человѣкѣ,—она фактъ, великое событіе не въ возможности, а въ дѣйствительности; отрицать событіе нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не въ свое время; время для науки настало, она достигла до истиннаго понятія своего; духу человѣческому, искусившемуся на всѣхъ ступеняхъ лѣстницы самопознанія, начала раскрываться истина въ стройномъ наукообразномъ организмѣ и притомъ въ живомъ организмѣ. За будущность науки нечего бояться. Но жаль поколѣнія, которое, имѣя, если не совершенное освѣщеніе дня, то навѣрное утреннюю зарю, страдаетъ во тьмѣ или тѣшится пустяками, оттого что стоитъ спиною къ востоку. За что изъяты стремящіеся отъ блага обоихъ міровъ: прошедшаго умершаго, вызываемого ими иногда, но являющагося въ саванѣ, и настоящаго, для нихъ не родившагося?

Массами философія теперь принята быть не можетъ. Философія, *какъ наука*, предполагаетъ извѣстную степень развитія самомышленія, безъ котораго нельзя подняться въ ея сферу. Массамъ вовсе недоступны безтѣлесныя умозрѣнія; ими принимается имѣющее плоть. А для того, чтобъ перейти во всеобщее сознаніе, потерявъ свой искусственный языкъ и сдѣлаться достояніемъ площади и семьи, живоначальнымъ источникомъ дѣйствования и воззрѣнія всѣхъ и каждаго,—она слишкомъ юна, она не могла еще имѣть такого развитія въ жизни, ей много дѣла дома, въ сферѣ абстрактной; кромѣ философовъ-мухаммеданъ, никто не думаетъ, что въ наукѣ все совершенно, не смотря ни на выработанность формы, ни на полноту развертывающагося въ ней содержанія, ни на діалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массамъ недоступна наука, то до нихъ не дошли и страданія душнаго состоянія пустоты и натянутаго бѣснующагося шіэтизма. Массы не видѣ истины; онѣ знаютъ ее божественнымъ откровеніемъ. Въ несчастномъ и безотрадномъ положеніи находятся люди, попавшіе въ промежутокъ между *естественною* простотою массъ и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будетъ позволено намъ не разрушать на нѣкоторое время спокойствія и квіэтизма, въ которомъ почи-

вають формалисты, и заняться исключительно врагами современной науки; ихъ мы понимаемъ подъ общимъ именемъ дилетантовъ и романтиковъ. Формалисты не страдаютъ, а эти больны,—имъ жить тошно.

Враговъ собственно наука въ Европѣ не имѣеть, развѣ за исключеніемъ какихъ-нибудь кастъ, доживающихъ въ безсмысліи свой вѣкъ, да и тѣ такъ нелѣпы, что съ ними никто не говоритъ. Дилетанты вообще тоже друзья науки, *nos amis les ennemis*, какъ говоритъ Беранжѣ, но непріатели современному состоянію ея. Всѣ они чувствуютъ потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочимъ, легко и пріятно, въ извѣстныхъ границахъ; сюда принадлежатъ нѣжныя мечтательныя души, оскорбленныя положительною нашего вѣка; онѣ, жаждавшія вездѣ осуществленія своихъ милыхъ, но не сбыточныхъ фантазій, не находятъ ихъ и въ наукѣ, отворачиваются отъ нея, и сосредоточенныя въ тѣсныхъ сферахъ личныхъ упованій и надеждъ, бесплодно выдыхаются въ какую-то туманную даль. И, съ другой стороны, сюда принадлежатъ истые поклонники позитивизма, потерявшіе духъ за подробностями и упорно остающіеся при разсудочныхъ теоріяхъ и аналитическихъ трупоразъятіяхъ. Наконецъ, толпа этого направленія составляется изъ людей, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и вообразившихъ, что наука легка (въ ихъ смыслѣ), что стѣбитъ захотѣть знать — и узнаешь, а между тѣмъ наука имъ не далась, за это они и разсердились на нее; они не вынесли съ собою ни укрѣпленныхъ дарованій, ни постоянного труда, ни желанія чѣмъ бы то ни было пожертвовать для истины. Они попробовали плодъ древа познанія и грустно повѣдали о кислотѣ и гнилости его, похожіе на тѣхъ добрыхъ людей, которые со слезами разсказываютъ о порокахъ друга,—и имъ вѣрятъ добрые люди, потому что они друзья.

Возлѣ дилетантовъ доживаютъ свой вѣкъ романтики, запоздалые представители прошедшаго, глубоко скорбящіе объ умершемъ мірѣ, который имъ казался вѣчнымъ; они не хотятъ съ новымъ имѣть дѣла, иначе какъ съ копьемъ въ рукѣ; вѣрные преданію среднихъ вѣковъ, они похожи на Донъ-Кихота и скорбятъ о глубокомъ паденіи людей, завернувшись въ одежды печали и сѣтованія. Они, впрочемъ, готовы признать науку; но для этого требуютъ, чтобы наука признала за абсолютное, что Дульцинея Тобозская—первая красавица. Пришло время, въ которое должно безъ увлеченія и предразсудковъ смотрѣть на людей; начинается совершеннолѣтіе, и потому не одно сладкое должно высказываться, но и горькое. Надобно для того начать рѣчь противъ дилетантовъ науки, что они клеветаютъ на нее, и для того, что ихъ жаль; наконецъ, всего болѣе необходимо говорить о нихъ *у насъ*.

Одно изъ существеннѣйшихъ достоинствъ русскаго характера—чрезвычайная легкость принимать и усваивать себѣ плоть чужого труда. И не только легко, но и ловко: въ этомъ состоитъ одна изъ гуманнѣйшихъ сторонъ нашего характера. Но это достоинство вмѣстѣ съ тѣмъ и значительный недостатокъ: мы рѣдко имѣемъ способность выдержаннаго, глубокаго труда. Намъ понравилось загребать жаръ чужими руками, намъ показалось, что это въ порядкѣ вещей, чтобъ Европа кровью и потомъ вырабатывала каждую истину и открытіе: ей всѣ мученія тяжелой беременности, трудныхъ родовъ, изнурительнаго кормленія грудью,—а дѣтя намъ. Мы проглядѣли, что ребенокъ будетъ у насъ — приемышь, что органической связи между нами и имъ нѣтъ..... Все шло хорошо. Но когда мы приблизились къ современной наукѣ, ея упорство должно было удивить насъ. Эта наука вездѣ дома, но только она нигдѣ не даетъ жатвы, гдѣ не посеяна, она должна не только въ каждомъ принимающемъ народѣ, но въ каждой личности прорастать и возрасти. Намъ хотѣлось бы взять результатъ, поймать его, какъ ловятъ мухъ, и, раскрывая руку, мы или обманываемъ себя, думая, что абсолютное тутъ, или съ досадой видимъ, что рука пуста. Дѣло въ томъ, что эта наука существуетъ, какъ наука, и тогда она имѣетъ великій результатъ; а результатъ отдѣльно вовсе не существуетъ; такъ голова живого человѣка кипитъ мыслями, пока шей прикрѣплена къ туловищу, а безъ него она—пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить нашихъ дилетантовъ гораздо болѣе, нежели иностранныхъ, ибо у насъ гораздо менѣе развито понятіе науки и путей ея. Наши дилетанты съ плачемъ засвидѣтельствовали, что они обманулись въ коварной наукѣ Запада, что ея результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочныя мысли, принадлежащія «такому-то и такому-то». Такія рѣчи у насъ вредны, потому что нѣтъ нелѣпости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилетантами съ увѣренностью, приводящею въ изумленіе; а слушающіе готовы вѣрить, оттого что у насъ не установились самыя общія понятія о наукѣ; есть предварительныя истины, которыя въ Германіи, напримѣръ, впередъ идутъ, а у насъ нѣтъ. О нихъ тамъ уже никто не говоритъ, а у насъ никто *еще* не говорилъ о нихъ. На Западѣ война противъ современной науки представляетъ извѣстные элементы духа народнаго, развившіеся вѣками и окрепнувшіе въ упрямой самобытности; имъ вспять идти не позволяютъ воспоминанія: таковы, напримѣръ, піэтисты въ Германіи, порожденные односторонностью протестантизма. Какъ ни жалко ихъ положеніе—быть изъятами изъ жизни современной, но нельзя отрицать въ нихъ особый характеръ упругости и послѣдовательности, съ которой они ведутъ отчаянный бой. Наши дилетанты.

если и принимаютъ эти чужеземныя болѣзни, то, не имѣя предшествующихъ фактовъ, они дивятъ поверхностностью и неразуміемъ. Имъ не стыдно отступить, потому что они еще не сдѣлали ни одного шага впередъ. Они были всегда праздношатающимися въ сѣняхъ храма науки, у нихъ нѣтъ своего дома. И если-бъ они могли побѣдить восточную лѣнь и въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе на науку, они помирились бы съ нею. Но тутъ-то и бѣда. Мы сердимся на науку въ совершенныхъ годахъ такъ, какъ сердились на грамматику, будучи восьми лѣтъ. Трудность, темнота—главное обвиненіе; къ нему присовокупляются, какъ къ существенному, другія возраженія, піэтическия, моральныя, патріотическія, сентиментальныя. Гёте давнымъ-давно сказалъ: «когда толкують о темнотѣ книги, слѣдуетъ спросить, въ книгѣ ли темнота, или въ головѣ». Вообще ссылаться вѣчно на трудность—это что-то неблагопрістойное, лѣнливое и незаслуживающее возраженія ¹⁾. Наука не достается безъ труда—правда; въ наукѣ нѣтъ другого способа пріобрѣтенія, какъ въ потѣ лица; ни прывы, ни фантазіи, ни стремленіе всѣмъ сердцемъ не замѣняютъ труда. Но трудиться не хотятъ, а утѣшаются мыслью, что современная наука есть разработка матеріаловъ, что надобно не чловѣчьи усилія для того, чтобъ понять ее, и что скоро упадетъ съ неба или выйдетъ изъ-подъ земли другая *легкая* наука.

«Трудность, непонятность!» А почему они знаютъ это? Развѣ внѣ науки можно знать степень ея трудности? развѣ наука не имѣетъ формальнаго начала, которое легко именно по тому, что оно начало, какая нибудь неразвитая всеобщность? Съ другой стороны, они правы, ссылаясь на непониманіе, больше правы, нежели думаютъ. Если мы вникнемъ, почему, при всемъ желаніи, стремленіи къ истинѣ, многимъ наука не дается, то увидимъ, что существенная, главная, всеобщая причина одна: всѣ они *не понимаютъ* науки и не понимаютъ, чего хотятъ отъ нея. Скажутъ: для кого же наука, если люди, ее любящіе, стремящіеся къ ней, не понимаютъ ея? Стало-быть, она, какъ алхимія, существуетъ только для адептовъ, имѣющихъ ключъ къ ея іероглифическому языку? Нѣтъ; современная наука можетъ быть понятна всякому, кто имѣетъ живую душу, самоотверженіе и подходитъ къ ней *просто*. Въ томъ-то и дѣло, что всѣ эти господа подходятъ къ ней *замысловато*, съ «задними мыслями», испытывая ее, дѣлая ей требованія и ничѣмъ не жертвуя для нея; и она для нихъ остается—хотя бы они были мудры, какъ змѣи—безсмысленнымъ формализмомъ, логическимъ *casse-tête*, не заключающимъ въ себѣ никакой сущности.

¹⁾ У насъ, пожалуй, есть и еще нелѣпѣе обвиненіе науки,—зачѣмъ она употребляетъ *незнакомыя слова*. Кому незнакомыя? . . .

Отречение отъ личныхъ убѣжденій значитъ признаніе истины: доколѣ моя личность соперничаетъ съ нею, она ее ограничиваетъ, она ее гнетъ, выгибаетъ, подчиняетъ себѣ, повинуюсь одному своеволю. Сохраняющимъ личныя убѣжденія дорога не *истина*, а то, что они *называютъ* истиной. Они любятъ не науку, а именно туманное, неопредѣленное стремленіе къ ней, въ которомъ раздолье имъ мечтать и льстить себѣ. Эти искатели премудрости, каждый по своей тропинкѣ, такъ высоко оцѣнили свой подвигъ, такъ полюбили свою умную личность, что не могутъ поступиться ею. Было время, когда многое прощалось за одно стремленіе, за одну любовь къ наукѣ; это время миновало; нынче мало одной платонической любви: мы—реалисты, намъ надобно, чтобъ любовь становилась дѣйствіемъ. А что заставляетъ такъ упорно держаться личныхъ убѣжденій? Эгоизмъ. Эгоизмъ ненавидитъ всеобщее, онъ отрываетъ человѣка отъ человѣчества, ставитъ его въ исключительное положеніе; для него все чуждо, кромѣ своей личности. Онъ вездѣ носитъ съ собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проникаетъ свѣтлый лучъ, не изуродовавшись. Съ эгоизмомъ объ-руку идетъ гордая надменность; книгу науки развертываютъ съ дерзкимъ легкомысліемъ. Уваженіе къ истинѣ—начало премудрости.

Положеніе философіи въ отношеніи къ ея любownikамъ не лучше положенія Пенелопы безъ Одиссея: ее никто не охраняетъ—ни формулы, ни фигуры, какъ математику, ни частоколы, воздвигаемые спеціальными науками около своихъ огородовъ. Чрезвычайная всеобъемлемость философіи даетъ ей видъ доступности извнѣ. Чѣмъ всеобъемлемѣе мысль и чѣмъ болѣе она держится во всеобщности, тѣмъ легче она для поверхностнаго разумѣнія, потому что частности содержанія не развиты въ ней и ихъ не подозрѣваютъ. Смотри съ берега на зеркальную поверхность моря, можно дивиться робости пловцовъ; спокойствіе волнъ заставляетъ забывать ихъ глубину и жадность,—онѣ кажутся хрусталемъ или льдомъ. Но пловецъ знаетъ, можно ли положиться на эту холодность и покой. Въ философіи, какъ въ морѣ, нѣтъ ни льда, ни хрустала: все движется, течетъ, живетъ, подъ каждой точкой одинакая глубина; въ ней, какъ въ горнилѣ, расплавляется все твердое, окаменѣлое, попавшееся въ ея безначальный и безконечный круговоротъ, и, какъ въ морѣ, поверхность гладка, спокойна, свѣтла, беспредѣльна и отражаетъ небо. Благодаря этому оптическому обману, дилетанты подходятъ храбро, безъ страха истины, безъ уваженія къ преемственному труду человѣчества, работавшаго около трехъ тысячъ лѣтъ, чтобы дойти до настоящаго развитія. Не спрашиваютъ дороги, скользятъ съ пренебреженіемъ по началу, полагая, что знаютъ его, не спрашиваютъ, что такое наука, что

она должна дать, а требуютъ, чтобъ она дала имъ то, что имъ вздумается спросить. Темное предчувствіе говорить, что философія должна разрѣшить все, примирить, успокоить; въ силу этого отъ нея требуютъ доказательствъ на свои убѣжденія, на всякія гипотезы, утѣшенія въ неудачахъ и Богъ-вѣсть чего не требуютъ. Строгий, удаленный отъ пагуба и личностей, характеръ науки поражаетъ ихъ, они удивлены, обмануты въ ожиданіяхъ, ихъ заставляютъ трудиться тамъ, гдѣ они искали отдыха, и трудиться въ самомъ дѣлѣ. Наука перестаетъ имъ нравиться: они берутъ отдѣльные результаты, не имѣющие никакого смысла въ той формѣ, въ которой они берутъ, привязываютъ ихъ къ позорному столбу и бичуютъ въ нихъ науку. Замѣтите, каждый считаетъ себя состоятельнымъ судьей, потому что каждый увѣренъ въ своемъ умѣ и въ превосходствѣ его надъ наукою, хотя бы онъ прочелъ одно введеніе. «Нѣтъ въ мірѣ человѣка», говоритъ одинъ великій мыслитель, «который бы думалъ, что можно, не учась башмачному мастерству, шить башмаки, хотя у каждого есть нога—мѣра башмаку. Философія не дѣлитъ даже этого права». Личныя убѣжденія — окончательное, безапелляціонное судилище. А они откуда взяты? Отъ родителей, нянекъ, школы, отъ добрыхъ и недобрыхъ людей, и отъ своего сильнаго ума. «У всякаго свой умъ,—что за дѣло, какъ думаютъ другіе». Чтобъ сказать это, когда рѣчь идетъ не о пустыхъ случайностяхъ ежедневной жизни, а о наукѣ, надобно быть или гениемъ, или безумнымъ. Гениевъ мало, а сентенція эта повторяется часто. Впрочемъ, хоть я понимаю возможность гения, предупреждающаго умъ современниковъ (напр. Коперникъ) такимъ образомъ, что истина съ его стороны въ противность общепринятому мнѣнію, но я не знаю ни одного великаго человѣка, который сказалъ бы, что у всѣхъ людей умъ самъ по себѣ, а у него самъ по себѣ. Все дѣло философіи и гражданственности—раскрыть во всѣхъ головахъ одинъ умъ. На единеніи умовъ зиждется все зданіе человѣчества; только въ низшихъ, мелкихъ и чисто животныхъ желаніяхъ люди распадаются. При этомъ надобно замѣтить, что сентенціи такого рода признаются только, когда рѣчь идетъ о философіи и эстетикѣ. Объективное значеніе другихъ наукъ, даже башмачнаго ремесла, давно признано. У всякаго своя философія, свой вкусъ. Добрымъ людямъ въ голову не приходитъ, что это значитъ самымъ положительнымъ образомъ отрицать философію и эстетику. Ибо что же за существованіе ихъ, если онѣ зависятъ и мѣняются отъ всякаго встрѣчнаго и поперечнаго? Причина одна: предметъ науки и искусства ни око не видитъ, ни зубъ не ѣметъ. Духъ—Протей; онъ для человѣка то, что человѣкъ понимаетъ подъ нимъ и насколько понимаетъ; совѣмъ не понимаетъ—его нѣтъ, но нѣтъ для *человѣка*.

а не для человѣчества, не для себя. Юмъ, съ наивностью *sui generis*, своего вѣка, говоритъ, читая какую-то гипотезу Бюффона: «Удивительно, я почти убѣжденъ въ достовѣрности его словъ, а онъ говоритъ о предметахъ, которыхъ глазъ *человѣческой* не видитъ». Для Юма, слѣдственно, духъ существовалъ только въ своемъ воплощеніи; критериумъ истины для него—носъ, уши, глаза и ротъ. Мудрено ли послѣ этого, что онъ отрицалъ каузальность (причинность)?

Другія науки гораздо счастливѣе философіи: у нихъ есть предметъ, непроницаемый въ пространствѣ и суціи во времени. Въ естествовѣденіи, напр., нельзя такъ играть, какъ въ философіи. Природа—царство видимаго закона; она не даетъ себя насиловать; она представляетъ улики и возраженія, которыя отрицать невозможно: ихъ глазъ видитъ и ухо слышитъ. Занимающіеся безуслвно покоряются, личность подавлена и является только въ гипозетахъ, обыкновенно не идущихъ къ дѣлу. Въ этомъ отношеніи, матеріалисты стоятъ выше и могутъ служить примѣромъ мечтателямъ-дилетантамъ: матеріалисты поняли духъ въ природѣ и только какъ природу,—но передъ объективностью ея, не смотря на то, что въ ней нѣтъ истиннаго примиренія, склонились; оттого между ними являлись такіе мощные люди, какъ Бюффонъ, Кювье, Лапласъ и др. Какую теорію ни бросить, какимъ личнымъ убѣжденіемъ ни пожертвуетъ химикъ, если опытъ покажетъ другое: ему не прійдетъ въ голову, что цинкъ ошибочно дѣйствуетъ, что селитряная кислота—нелѣпость. А между тѣмъ опытъ—бѣднѣйшее средство познанія. Онъ покоряется физическому факту; фактамъ духа и разума никто не считаетъ себя обязаннымъ покоряться; не даютъ себѣ труда уразумѣть его, не признаютъ фактомъ. Къ философіи приступаютъ съ своей маленькой философіей: въ этой маленькой, домашней, ручной философіи удовлетворены всѣ мечты, всѣ прихоти эгоистическаго воображенія. Какъ же не разсердиться, когда въ философіи-наукѣ всѣ эти мечты блѣднѣютъ передъ разумнымъ реализмомъ ея! Личность исчезаетъ въ царствѣ идеи въ то время, какъ жажда насладиться, упитаться себялюбіемъ заставляеть искать вездѣ себя и себя, какъ единичнаго, какъ этого. Въ наукѣ дилетанты находятъ одно всеобщее,—разумъ, мысль, по превосходству, всеобщее: наука перешагнула за индивидуальности, за случайныя и временныя личности; она далеко оставила ихъ за собою, такъ что онѣ незамѣтны изъ нея. Въ наукѣ царство совершеннлѣтія и свободы; слабые люди, предчувствуя эту свободу, трепещутъ; они боятся ступить безъ пѣстуна, безъ внѣшняго велѣнія; въ наукѣ нѣкому оцѣнить ихъ подвига, похвалить, наградить; имъ кажется это ужасной пустотою, голова кружится, и они удаляются. Распадаясь съ наукой, они

начинають ссылатся на темное чувство свое, которое хоть и никогда не приходит въ ясность, но не можетъ ошибиться. Чувство индивидуально: я чувствую, другой нѣтъ, — оба правы; доказательствъ не нужно, да они и невозможны; если-бъ была искра любви къ истинѣ въ самомъ дѣлѣ, разумѣтся, ее не рѣшились бы провести подъ каудинскія фурукулы чувствъ, фантазій и капризовъ. Не сердце, а разумъ судья истины. А разуму кто судья? Онъ самъ. Это одна изъ непреодолимѣйшихъ трудностей для дилетантовъ; оттого они, приступая къ наукѣ, и ищутъ внѣ науки аршина, на который мѣрять ее; сюда принадлежитъ извѣстное нелѣпное правило: прежде, нежели начать мыслить, изслѣдовать орудія мышленія какимъ-то внѣшнимъ анализомъ.

При первомъ шагѣ, дилетанты предъявляютъ допросные пункты, труднѣйшіе вопросы науки хотятъ впередъ узнать, чтобъ имѣть залогъ, что такое духъ, абсолютное... Да такъ, чтобъ опредѣленіе было коротко и ясно, т. е., дайте содержаніе всей науки въ нѣсколькихъ сентенціяхъ, — это была бы легкая наука! Что сказали бы о томъ человѣкѣ, который, собираясь заняться математикой, потребовалъ бы впередъ яснаго изложенія дифференцірованія и интегрированія, и притомъ на его собственномъ языкѣ? Въ специальныхъ наукахъ рѣдко услышите такіе вопросы: страхъ показаться невѣждой держитъ въ уздѣ. Въ философіи дѣло другое: тутъ никто не женируется! Предметы все знакомые—умъ, разумъ, идея и проч. У всякаго есть палата ума, разума и *не одна*, а *много* идей. Я еще здѣсь предположилъ темную наслышку о результатахъ философіи, хотя и нельзя угадать, что именно допрашивающіе разумѣютъ подъ абсолютнымъ, духомъ и проч.; но болѣе отважные дилетанты идутъ дальше; они дѣлаютъ вопросы, на которые рѣшительно нечего сказать, потому что вопросъ заключаетъ въ себѣ нелѣпость. Для того, чтобъ сдѣлать дѣльный вопросъ, надобно непременно быть сколько-нибудь знакомому съ предметомъ, надобно обладать своего рода предугадывающею пронизательностью. Между тѣмъ, когда наука молчитъ изъ снисхожденія, или старается, вмѣсто отвѣта, показать невозможность требованія, ее обвиняютъ въ несостоятельности и въ употребленіи уловокъ.

Приведу, для примѣра, одинъ вопросъ, разнымъ образомъ, но чрезвычайно часто предлагаемый дилетантами: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое, внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?» Наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобъ одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣтся, мы можемъ отдѣлать причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но имъ не того хочется:

имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее—такъ, чтобъ можно было посмотреть на него; они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, не имѣющее внѣшняго, просто—безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen:
Denn was innen, das ist aussen.

Goethe.

Словомъ, внѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣетъ свое внѣшнее. Внутреннее безъ внѣшняго какая-то дурная возможность, потому что нѣтъ ему проявленія; внѣшнее безъ внутренняго—безсмысленная форма не имѣющая содержанія. Такимъ объясненіемъ дилетанты недовольны: у нихъ кроется мысль, что во внутреннемъ спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между тѣмъ вся сущность его въ томъ только и состоитъ, чтобъ *обнаружиться*,—и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна*? Безконечное, безначальное отношеніе двухъ моментовъ, другъ друга опредѣляющихъ, другъ въ друга *утягивающихъ*, такъ сказать, составляютъ жизнь истинны: въ этихъ вѣчныхъ переливахъ, въ этомъ вѣчномъ движеніи, въ которое увлечено все сущее, живетъ истина: это ея вдыханіе и выдыханіе, ея систола и діастола. Но истина жива, какъ все органически живое, только какъ цѣлостность; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвые абстракціи съ запахомъ трупъ. Но живое движеніе, это всемірное диалектическое біеніе пульса, находитъ чрезвычайное сопротивленіе со стороны дилетантовъ. Они не могутъ допустить, чтобъ *порядочная* истина не сдѣлавшись нелѣпостью, могла перейти въ противоположное. Разумѣется, что внѣ науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вѣчнаго, неуловимаго перехода внутренняго въ внѣшнее, такъ что наружное есть внутреннее, а внутреннее наружное. Но причина, почему именно такіе выводы философіи возмущаютъ,—очевидна. Разсудочныя теоріи приучили людей до такой степени къ анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. неистинное, они считаютъ за истину, заставляютъ мысль оледениться, застыть въ какомъ-нибудь одностороннемъ опредѣленіи, полагая, что въ этомъ омертвѣломъ состояніи легче разобрать ее. Встарь учились физиологін въ анатомическомъ театрѣ: оттого наука о жизни такъ далеко отстоитъ отъ наукъ о трупѣ. Какъ только взять одинъ моментъ,—невидимая сила влечетъ въ противоположный; это первое жизненное сотрясеніе мысли: субстанція влечетъ въ проявленію, безконечное къ конечному; они такъ необходимы другъ другу, какъ полюсы магнита.

Но недвѣрчивые и осторожные пыталели хотятъ раздѣлить полюсы: безъ полюсовъ магнита нѣтъ; какъ только они вонзаютъ скальпель, требуя *того* или *другого*,—дѣлается разгъятіе нераздѣльнаго, и остаются двѣ мертвыя абстракціи, кровь застываетъ, движеніе остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдѣльно—абстракціи, такъ, какъ математикъ, отвлекая линію отъ площади и площадь отъ тѣла, знаетъ, что реально одно тѣло, а линія и площади абстракціи ¹⁾). Нѣтъ, эти люди, не понимающіе объективности разума, отрицающіе ее, именно тутъ требуютъ незаконной объективности, дѣйствительности своимъ отвлеченностямъ.

Здѣсь время напомнить третье условіе пониманія науки, о которомъ было сказано, *живую душу*. Только живой душой понимаются живыя истины; у нея нѣтъ ни пустого внутри формализма, на который она растягиваетъ истину, какъ на прокустовомъ ложѣ, ни твердыхъ застылыхъ мыслей, отъ которыхъ отступить не можетъ. Эти застылыя мысли составляютъ массу аксіомъ и теоремъ, которая впредь идетъ, когда приступаютъ къ философіи; съ ихъ помощью составляются готовые понятія, опредѣленія, Богъ-вѣсть на чемъ основанныя, безъ всякой связи между собою. Начать знаніе надобно съ того, чтобъ забыть всѣ эти сбивчивыя, невѣрныя понятія; они вводятъ въ обманъ; извѣстнымъ полагается именно то, что неизвѣстно; надобно смерти и уничтоженію предоставить мертвыхъ, отказаться отъ всѣхъ неподвижныхъ привидѣній. Живая душа имѣетъ симпатію къ живому, какое-то ясновидѣніе облегчаетъ ей путь, она трепещетъ, вступая въ область родную ей, и скоро знакомится съ нею. Конечно, наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропелей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ, повидимому, бесплодной степью; это отталкиваетъ нѣкоторыхъ. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ; поднимаемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплотныхъ абстракцій, важная торжественность кажется суровою холодностью; съ каждымъ шагомъ уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море; становится *страшно просторно*, тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезаютъ,—съ ними ис-

¹⁾ Вообще, математика, не смотря на то, что предметъ ея, по превосходству, мертвъ и формаленъ, отдѣлилась отъ сухого *то или другое*. Что такое дифференціалъ?—безконечно-малая величина; стало-быть, или онъ имѣетъ величину, и въ такомъ случаѣ это величина конечная, или не имѣетъ никакой величины, въ такомъ случаѣ онъ нуль. Но Лейбницъ и Ньютонъ постигли шире и признали сосуществованіе бытія и небытія, начальное движеніе возникновенія, переливъ отъ ничего къ чему-нибудь. Результаты теоріи безконечно-малыхъ извѣстны. Далѣе, математика не испугалась ни отрицательныхъ величинъ, ни несоизмѣрности, ни безконечно-великаго, ни мнимыхъ корней. А разумѣется, все это падаетъ въ прахъ передъ узенькимъ рассудочнымъ «то или другое».

чезаютъ всѣ образы, навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце; ужасъ объемлетъ душу: *Lasciate ogni speranza voi che entrate!* Гдѣ бросить якорь? Все разрѣшается, теряетъ твердость, улетучивается. Но вскорѣ раздается громкій голосъ, говорящій подобно Юлію Цезарю: «чего боишься? ты *меня* везешь!» Этотъ Цезарь—безконечный духъ, живущій въ груди человѣка; въ ту минуту, какъ отчаяніе готово вступить въ права свои, онъ встрепенулся; духъ найдетъ въ этомъ мірѣ: это его родина, та, къ которой онъ стремился и звуками, и статуями, и пѣснопѣніями, по которой страдалъ, это *Jenseits*, къ которому онъ рвался изъ тѣсной груди; еще шагъ—и міръ начинаетъ возвращаться; но онъ не чужой уже: наука даетъ на него инвеституру. Поблекли мечты, основанныя на раздраженной фантазіи, чрезъ посредство которой духъ прорывался къ знанію; но зато дѣйствительность просвѣтлѣла, взоръ проникаетъ глубоко и видитъ, что нѣтъ тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держатся всего болѣе дилетанты. Они не могутъ найти силъ перенести съ самоотверженіемъ начала и дойти до той оборотной точки, съ которой боль скептицизма и лишений замѣняется предчувствіемъ знанія успокоеннаго. Они знаютъ, что боготворимыя мечты, всѣ идеалы ихъ какъ-то не истинны, чувствуютъ неловкость, несвязность, и остаются при этой неловкости, *могутъ* остаться. Но человѣкъ, поднявшійся до современности съ живой душой не можетъ удовлетвориться внѣ науки. Глубоко протрадавъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во всѣ двери, чтобъ утолить жгучую жажду возбужденнаго духа, и нигдѣ ни находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій, и бросается въ науку.

«Неужели онъ страдательно склонится подъ ярмо чужого авторитета?» Наука не требуетъ ничего впередъ, не даетъ никакихъ началъ на вѣру, и какія начала у нея, которыя впередъ можно было бы передать? Ея начала — это конецъ ея, это послѣднее слово, итогъ всего движенія, до нихъ она достигаетъ; самое развитіе ихъ есть неопровержимое доказательство. Если же подъ началомъ разумѣть первую страницу, то въ ней истины науки потому не можетъ быть, что она первая страница, и все развитіе еще впереди. Наука начинается съ какого-нибудь общаго мѣста, а не съ изложенія своего *profession de foi*. Она не говоритъ «допусти то и то», а «я тебѣ дамъ истину, спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинуюсь»; въ отношеніи къ лицу, она только направляетъ внутренній процессъ развитія, прививаетъ индивидуальности совершенное родомъ, приобщаетъ ее къ

современности; она сама есть процесс углубленія въ себя природы, и развитіе полного сознанія космоса о себѣ; ея вселенная *приходитъ въ себя* послѣ бореній матеріальнаго бытія, жизни, погруженной въ непосредственность. Его фантастическое упоеніе *образнаго вѣдѣнія* становится, по выраженію Аристотеля, *трезвымъ знаніемъ*. Но для того, чтобъ достигнуть дѣйствительно до трезвости, надобенъ былъ трудъ 3.000 лѣтъ. Сколько прожилъ скорбнаго, страдалъ, унывалъ, лилъ слезъ и крови духъ человѣчества, пока отрѣшилъ мышленіе отъ всего временнаго и одно-сторонняго, и началъ понимать себя сознательной сущностью міра! Величественную и огромную эпопею исторіи надобно было прожить человѣчеству, чтобъ великій поэтъ, опередившій свою эпоху и предузнавшій нашу, могъ спросить:

Ist nicht der Kern der Natur
Menschen im Herzen?

О какомъ чужомъ авторитетѣ говорятъ дилетанты, гдѣ возможность его въ наукѣ? Дѣло въ томъ, что они науку принимаютъ не за послѣдовательное развитіе разума и самопознанія, а за разные опыты, выдуманные разными особами въ разные времена, безъ связи и отношенія между собою. Они не могутъ понять, что истина не зависитъ отъ личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могутъ никакъ постигнуть ея высокое объективное достоинство; имъ все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имѣетъ свою автономію и свой генезисъ; свободная, она не зависитъ отъ авторитетовъ; освобождающая, она не подчиняетъ авторитетамъ. Но въ самомъ дѣлѣ, она имѣетъ право требовать впередъ настолько довѣрія и уваженія, чтобъ къ ней не приступали съ заготовленными скептическими и мистическими возраженіями, потому что и они—добровольныя принятія на вѣру. Гдѣ? по какому праву? на чемъ основываясь? заготавливаютъ возраженія на науку внѣ ея. Откуда эта твердая масса, отталкивающая свѣтъ? Въ душѣ чистой отъ предразсудковъ наука можетъ опереться на свидѣтельство духа о своемъ достоинствѣ, о своей возможности развить въ себѣ истину; отъ этого зависитъ смѣлость знать, святая дерзость сорвать завѣсу съ Изиды и вперить горящій взоръ на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучшихъ упованій.

Но какая эта истина, которую намъ обѣщаютъ за покрываломъ?... Въ самомъ дѣлѣ, *какая?* Тѣ, которые желали ея пламенно, скорбѣли и лили слезы по ней, тайкомъ заглянули, и были поражены,—кто страхомъ, кто негодованіемъ. Бѣдная истина! Хорошо, что древніе ваяли покрывало изъ мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрѣпли, чтобъ вынести

ея черты. Или *не той* истины хотѣли они? А сколько же истинъ? Люди добрые, разсудочные знаютъ *много*, очень много истинъ,— но *одна* истина имъ недоступна; какой-то оптическій обманъ представляетъ имъ истину въ уродливомъ видѣ и притомъ каждому на свой ладъ. Если собрать обвиненія, непрерывно слышимая, когда рѣчь идетъ о наукѣ, т. е. о истинѣ, раскрывающейся въ правильномъ организмѣ, то можно, употребляя известное средство астрономіи для полученія истиннаго мѣста свѣтила, наблюдаемаго съ разныхъ точекъ, т. е. вычитывая противоположные углы (теорія параллаксавъ), вывести справедливое заключеніе. Одни говорятъ — атеизмъ, другіе — пантеизмъ; одни говорятъ — трудность, ужасная трудность, другіе — пустота, просто ничего нѣтъ. Матеріалисты улыбаются надъ мечтательнымъ идеализмомъ науки; идеалисты находятъ въ анализѣ науки хитро-скрытый матеріализмъ. Піетисты убѣждены, что современная наука безрелигіознѣ Эразма, Вольтера и Гольбаха съ компаніей, и считаютъ ее вреднѣе волтеріанизма. Люди нерелигіозные упрекаютъ науку въ ортодоксіи. И, главное, всѣ недовольны,—требуютъ опять завѣсы. Кого поразилъ свѣтъ, кого простота, кому стыдно стало наготы истины, кому черты ея не понравились, потому что въ нихъ много земного. Всѣ обманулись, — а обманулись отъ того, что хотѣли не истины.

Но дѣло сдѣлано. Событіе всякъ не пойдетъ; однажды начавъ разоблачаться и показавъ намъ торсъ поразительной прелести, истина не надѣнетъ снова покрывала изъ ложнаго стыда; она знаетъ силу, славу и красоту наготы своей.

1842, апрѣля 25.

II.

Дилетанты-романтики.

Оставимъ мертвымъ погребать мертвыхъ.

Есть вопросы, до которыхъ никто болѣе не касается не потому, чтобъ они были рѣшены, а потому, что надоѣли; не стоваясь, соглашаются ихъ считать непонятными, прошедшими, лишними интереса и молчать объ нихъ. Но время отъ времени полезно заглядывать въ эти архивы мнимо-рѣшенныхъ дѣлъ: по-лѣдовательно оглядываясь, мы смотримъ на прошедшее всякій разъ иначе; всякій разъ разглядываемъ въ немъ новую сторону, всякій разъ прибавляемъ къ уразумѣнiю его весь опытъ вновь пройденнаго пути. Полнѣе сознавая прошедшее, мы уясняемъ временное; глубже опускаясь въ смыслъ былого, раскрываемъ мысль будущаго; глядя назадъ, шагаемъ впередъ; наконецъ, и для того полезно перетрясти ветошь, чтобъ узнать, сколько ея стлѣло и сколько осталось на костяхъ.

Одно изъ такихъ дѣлъ, которое, выражаясь судейскимъ слогомъ, ачислено рѣшеннымъ впредь до востребованiя, дѣло, недавно оступившее въ архивъ,—тяжба романтизма и классицизма, такъ олновавшая умы и сердца въ первую четверть нашего вѣка (аже и ближе); тяжба этихъ возставшихъ изъ гроба сошла съ ними вмѣстѣ второй разъ въ могилу, и нынче говорятъ всего енѣе о правахъ романтизма и его боѣ съ классиками, хотя и стались въ живыхъ многіе изъ закоснѣлыхъ поклонниковъ и епримиримыхъ враговъ его.

А давно ли этотъ бой, шумно начавшійся, блисталъ во всей расѣ? Много было талантовъ на аренѣ; общественный голосъ частвовалъ живо, дѣятельно; нынче избитыя имена «классикъ, романтикъ» были многозначительны,—и вдругъ все замолкло: интересъ, окружавшій сражавшихся, исчезъ; зрители догадались, го и тѣ, и другіе сражаются за мертвыхъ; мертвецы вполнѣ аслужили тризны и мавзолеи,—они оставили намъ богатыя на-лѣдiя, которые стяжали въ кровавомъ потѣ, страданiяхъ, тяжкомъ рудѣ,—но бороться за нихъ безцѣльно. Нѣтъ въ мірѣ неблаго-арнѣе занятiя, какъ сражаться за покойниковъ: завоевываютъ ронъ, забывая, что нѣкого посадить на него, потому что царь меръ. Когда бойцы увидѣли, что они лишились участiя,—ихъ аръ простыль. Одни упорные и ограниченные люди остались на

полѣ битвы въ полномъ вооруженіи, похожіе на теперешнихъ бонапартистовъ, отстаивающихъ права великой тѣни, но все же тѣни.

Борьба эта, будто, явилась съ того свѣта, чтобъ присутствовать при вступленіи въ отрочество новаго міра, передать ему владычество отъ имени двухъ предшествовавшихъ, отъ имени отца и дѣда, и увидѣть, что для мертвыхъ нѣтъ больше владѣній въ мірѣ жизни. Фактическое явленіе романтизма и классицизма въ видѣ двухъ исключительныхъ школъ было слѣдствіемъ страннаго состоянія умовъ лѣтъ за тридцать тому назадъ. Когда народы успокоились послѣ пятнадцати первыхъ лѣтъ нашего вѣка и жизнь потекла обычнымъ русломъ, тогда лишь увидѣли, сколько изъ существовавшаго порядка вещей, незамѣннаго новымъ, потеряно и сломано. Въ разгромѣ революціи и императорства нѣкогда было прійти въ себя. Сердца и умы наполнились скукой и пустотой, раскаяніемъ и отчаяніемъ, обманутыми надеждами и разочарованіемъ, жаждой вѣры и скептицизмомъ. Пѣвецъ этой эпохи — Байронъ, мрачный, скептический, поэтъ отрицанья и глубокаго разрыва съ современностью, падшій ангель, какъ называлъ его Гёте. Франція, главный театръ событій переворота, всего болѣе страдала. Религія была въ упадкѣ, политическія вѣрованія исчезли, всѣ направленія самыя противоположныя были оскорблены эклектизмомъ первыхъ годовъ реставраціи. Спасаясь отъ тяжести настоящаго, отыскивая вездѣ выхода, Франція впервые иными глазами взглянула на прошедшее. Воспоминаніе человечества — своего рода небесное чистилище; бывшее воскресаетъ въ немъ просвѣтленнымъ духомъ, отъ котораго отпало все темное, дурное. Когда Франція увидѣла великую тѣнь преображенныхъ среднихъ вѣковъ съ ихъ увлекательнымъ характеромъ единства, вѣрованія, рыцарской доблести и удали, и увидѣла очищенную отъ дерзкаго своеволия и наглої несправедливости, отъ всестороннихъ противорѣчій, кое-какъ формально примиренныхъ, тогдашней жизни, она, пренебрегавшая дотолѣ всѣмъ феодальнымъ, предалась неоромантизму. Шатобрианъ, романы Вальтеръ-Скотта, знакомство съ Германіей и съ Англіей — способствовали къ распространенію готическаго возрѣнія на искусство и жизнь. Франція увлеклась готизмомъ, такъ, какъ увлеклась античнымъ міромъ, по чрезвычайной восприимчивости и живости, не опускаясь во всю глубину. Однако не все покорилось романтизму: умы положительные, умы, сосавшіе всѣ соки свои изъ великихъ произведеній Греціи и Рима, прямые наслѣдники литературы Людовика XIV, Вольтера и Энциклопедіи, участники революціи и императорскихъ войнъ, односторонніе и упрямые въ своихъ началахъ, съ презрѣніемъ смотрѣли на юное поколѣніе, отрицающее ихъ въ пользу понятій,

ими казненныхъ, какъ полагали, на вѣки. Романтизмъ, бродившій въ умахъ юнаго поколѣнія Франціи, братски встрѣтился съ зарейнскимъ романтизмомъ, разразившимся тогда же до высшаго предѣла. Въ характерѣ германскомъ было всегда что-то мистическое, натянуто-восторженное, склонное къ спекуляціи и не менѣе склонное къ кабалистикѣ,—это лучшая почва для романтизма, и онъ не замедлилъ явиться въ полнѣйшемъ развитіи въ Германіи. Реформація, освободивъ преждевременно и односторонне умы германскіе, двинула ихъ въ поэтико-схоластическомъ, въ разсудочно-мистическомъ направленіи. Отклоненіе важное отъ истиннаго пути. Лейбницъ въ свое время замѣтилъ, что Германіи трудно будетъ отдѣлаться отъ этого направленія, которое, прибавимъ мы, оставило слѣды въ твореніяхъ самого Лейбница. Эпоха неестественнаго классицизма и галломаніи, на время прикрывшая національные элементы, не могла произвести важнаго вліянія: эта литература не имѣла отголоска въ народѣ. Богъ знаетъ, для кого она говорила и чью мысль высказывала. Болѣе истинное, несравненно глубочайшее вліяніе произвела литературная эпоха, начавшаяся съ Лессинга: космо-политическая и совершеннолѣтняя, она старалась развить національные элементы въ общечеловѣческіе; это была великая задача и Гердера, и Канта, и Шиллера, и Гёте. Но задача эта разрѣшалась на полѣ искусства и науки, отдѣляя китайскою стѣною общественную и семейную жизнь отъ интеллектуальной. Внутри Германіи была другая Германія — міръ ученыхъ и художниковъ; они не имѣли никакого истиннаго отношенія между собою. Народъ не понималъ своихъ учителей. Онъ по большей части остался на томъ мѣстѣ, на которомъ сѣлъ отдыхать послѣ Тридцатилѣтней войны. Исторія Германіи отъ Вестфальскаго мира до Наполеона имѣетъ одну страницу, именно ту, на которой писаны дѣянія Фридриха II. Наконецъ, Наполеонъ, тяжело ударяя, добился практическихъ сторонъ духа германскаго, забытаго ея образователями, и тогда только бродившія внутри и усыпленные страсти подняли голову, и раздались какіе-то страшные голоса, полные фанатизма и мрачной любви къ отечеству. Феодалное воззрѣніе среднихъ вѣковъ, приложенное нѣсколько къ нашимъ правамъ и одѣтое въ рыцарски-театральные костюмы, овладѣло умами. Мистицизмъ снова вошелъ въ моду; дикій огонь преслѣдованія блеснулъ въ глазахъ мирныхъ германцевъ и фактически-реформаціонный міръ возвратился въ идеѣ къ католическому міросозерцанію. Величайшій романтикъ, Шлегель, потому что онъ лютеранинъ, перекрестился въ католицизмъ, — тутъ видна логика.

Ватерлоо рѣшило на первый случай, кому владѣть полемъ: Наполеону-классику, или романтикамъ—Веллингтону и Блюхеру.

*

Въ лицѣ Наполеона, императора французовъ и корсиканца, представителя классической цивилизаци и романской Европы, германцы снова побѣдили Римъ и снова провозгласили торжество готическихъ идей. Романтизмъ торжествовалъ; классицизмъ былъ гонимъ: съ классицизмомъ сопрягались воспоминанія, которыя хотѣли забыть, а романтизмъ выкопалъ забытое, которое хотѣли вспомнить. Романтизмъ говорилъ безпрестанно, классицизмъ молчалъ; романтизмъ сражался со всѣмъ на свѣтѣ, какъ Донъ-Кихоть, — классицизмъ сидѣлъ съ спокойною важною римскаго сенатора. Но онъ не былъ мертвъ, какъ тѣ римскіе сенаторы, которыхъ галлы приняли за мертвецовъ: въ его рядахъ были не дюжинные люди, — всѣ эти Бенгамы, Ливингстоны, Тенары, Декандоли, Берцелли, Лапласы, Сэй, не были похожи на побѣжденныхъ, и веселыя пѣсни Беранже раздавались въ стану классиковъ. Осыпаемые проклятіями романтиковъ, они молча отвѣчали громко — то пароходами, то желѣзными дорогами, то цѣлыми отраслями науки, вновь разработанными, какъ геогнозія, политическая экономія, сравнительная анатомія, то рядомъ машинъ, которыми они отрѣшались человѣка отъ тяжкихъ работъ. Романтики смотрѣли съ пренебреженіемъ на эти труды, унижали всѣми средствами всякое практическое занятіе, находили печать проклятія въ матеріальномъ направленіи вѣка и проглядѣли, смотря съ своей колокольни, всю поэзію индустриальной дѣятельности, такъ грандіозно развертывавшейся, напримѣръ, въ Сѣверной Америкѣ.

Пока классицизмъ и романтизмъ воевали, одинъ, обращая міръ въ античную форму, другой въ рыцарство, возрастало болѣе и болѣе *ничто* сильное, могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось однимъ локтемъ на классиковъ, другимъ на романтиковъ, и стало выше ихъ — какъ «власть имущее»; признало тѣхъ и другихъ и отреклось отъ нихъ обоихъ: — это была внутренняя мысль, живая психея современнаго намъ міра. Ей, рожденной среди молній и громовыхъ ударовъ отчаяннаго боя католицизма и реформація, ей, вступившей въ отрочество среди молній и громовыхъ ударовъ другой борьбы, не годились чужія платья: у ней были выработаны свои. Ни классицизмъ, ни романтизмъ долгое время не подозревали существованія этой третьей власти. Сперва и тотъ, и другой приняли его за своего сообщника (такъ, напримѣръ, романтизмъ мечталъ, не говоря уже о Вальтеръ-Скоттѣ, что въ его рядахъ Гёте, Шиллеръ, Байронъ). Наконецъ и классицизмъ, и романтизмъ признали, что между ними есть что-то другое, далекое отъ того, чтобъ помогать имъ; не мирясь между собой, они опрокинулись на новое направленіе. Тогда была рѣшена ихъ участь.

Мечтательный романтизмъ сталъ *ненавидѣть* новое направле-
ніе за его *реализмъ*!

Щупающій пальцами классицизмъ сталъ *презирать* его за
идеализмъ!

Классики, вѣрные преданіямъ древняго міра, съ гордой вѣро-
терпимостью и съ сардонической улыбкой посматривали на идеа-
логовъ и чрезвычайно занятые опытами, спеціальными предме-
тами, рѣдко являлись на арену. По справедливости, ихъ не должно
считать врагами нашего вѣка. Это большею частью люди прак-
тическихъ интересовъ жизни, утилитаризма. Новое направле-
ніе такъ недавно стало выступать изъ школы, его занятія казались
неприлагаемы, неразвиваемы въ жизнь,—они отвергали его, какъ
ненужное. Романтики, столь же вѣрные преданіямъ феодализма,
съ дикой нетерпимостью не сходили съ арены; то былъ бой на
смерть, отчаянный и злой; они готовы были воздвигнуть костры
и завестъ инквизицію для окончанія спора; горькое сознаніе, что
ихъ не слушаютъ; что ихъ игра потеряна, раздувало закоснѣлый
духъ преслѣдованія, и доселѣ они не смирились. А при всемъ
томъ, каждый день, каждый часъ яснѣе и яснѣе показываетъ,
что человечество не хочетъ больше ни классиковъ, ни романти-
ковъ,—хочетъ людей, и людей современныхъ, а на другихъ смо-
трить, какъ на гостей въ маскарадѣ, зная, что когда пойдутъ
ужинать, маски снимутъ, и подъ уродливыми чужими чертами
откроются знакомыя, родственныя черты. Хотя и есть люди, ко-
торые не ужинаютъ, для того, чтобъ не снимать масокъ, но ужъ
нѣтъ больше дѣтей, которыя бы боялись замаскированныхъ. Воз-
никшій бой былъ гибеленъ для обѣихъ сторонъ; несостоятель-
ность классицизма, невозможность романтизма обличались; по
мѣрѣ ближайшаго знакомства съ ними, раскрылось ихъ неесте-
ственное, анахронистическое появленіе, и лучшіе умы той эпохи
остались не причастны войнѣ оборотней, не смотря на весь шумъ,
поднятый ими. А было время когда классицизмъ и романтизмъ
были живы, истинны и прекрасны, необходимы и глубоко-чело-
вѣчественны. Было... «Пользу или вредъ принесло папство»?
спросилъ наивный Ласъ-Казъ у Наполеона. «Я не знаю, что ска-
зать», отвѣчалъ отставной императоръ: «оно было полезно и не-
обходимо въ свое время, оно было вредно въ другое». Такова
судьба всего являющагося во времени. Классицизмъ и романтизмъ
принадлежать двумъ великимъ прошедшимъ; съ каки-
мъ бы уси-
ліемъ ихъ ни воскрешали, они останутся тѣнями усопшихъ, ко-
торымъ нѣтъ мѣста въ современномъ мірѣ. Классицизмъ принад-
лежитъ міру древнему, такъ, какъ романтизмъ среднимъ вѣкамъ.
Исключительнаго владѣнія въ настоящемъ они имѣть не могутъ,
потому что настоящее нисколько не похоже ни на древній міръ,

ни на средній. Для доказательства достаточно бросить самый бѣглый взглядъ на нихъ.

Греко-римскій міръ былъ, по превосходству, реалистическій; онъ любилъ и уважалъ природу, онъ жилъ съ нею за одно, онъ считалъ высшимъ благомъ существовать; космосъ былъ для него истина, за предѣлами которой онъ ничего не видалъ, и космосъ ему довлѣлъ именно потому, что требованія были ограничены. Отъ природы и чрезъ нее достигалъ древній міръ до духа, и оттого не достигъ до единого духа. Природа есть именно существованіе идеи въ многообразіи; единство, понятое древними, была необходимость, фатумъ, тайная, міродержавная сила, неотразимая для земли и для Олимпа; такъ природа подчинена законамъ необходимымъ, которыхъ ключъ *въ ней, но не для нея*. Космогонія грековъ начинается хаосомъ и развивается въ олимпійскую федерацію боговъ, подъ диктатурою Зевса; не дойдя до единства, они, республиканцы, охотно остановились на этомъ республиканскомъ управленіи вселенной. Антропоморфизмъ поставилъ боговъ очень близко къ людямъ. Грекъ, одаренный высокимъ эстетическимъ чувствомъ, прекрасно постигнулъ *выразительность внѣшняго*, тайну формы; божественное для него существовало облеченнымъ въ человѣческую красоту; въ ней обоготворялась ему природа, и далѣе этой красоты онъ не шелъ. Въ этой жизни за одно съ природой была увлекательная прелесть и легкость существованія. Люди были довольны жизнью. Ни въ какое время не были такъ художественно уравновѣшены элементы души человѣческой. Дальнѣйшее развитіе духа было необходимымъ шагомъ впередъ, но оно не могло иначе быть, какъ на счетъ плоти, тѣла, формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античной граціей. Жизнь людей въ цвѣтущую эпоху древняго міра была безопасно ясна, какъ жизнь природы. Неопредѣленная тоска, мучительныя углубленія въ себя, болѣзненный эгоизмъ— для нихъ не существовали. Они страдали отъ реальныхъ причинъ, лили слезы отъ истинныхъ потерь. Личность индивидуума терялась въ гражданѣ, а гражданинъ былъ органъ, атомъ другой, священной, обоготворяемой личности—личности города. Трепетали не за свое «я», а за «я» Аѳинъ, Спарты, Рима: таково было широкое, вольное возрѣніе греко-римскаго міра, человѣчески прекрасное *въ своихъ границахъ*. Оно должно было уступить иному возрѣнію, потому что оно было ограничено. Древній міръ поставилъ внѣшнее на одну доску съ внутреннимъ; такъ оно и есть въ природѣ, но не такъ въ истинѣ,—духъ господствуетъ надъ формой. Греки думали, что они *выявля*ли все, что находится въ душѣ человѣческой; но въ ней осталась бездна требованій, усыпленныхъ, неразвитыхъ еще, для которыхъ рѣзецъ не состоятеленъ;

они поглотили всеобщимъ личность, городомъ—гражданина, гражданиномъ—человѣка; но личность имѣла свои неотъемлемыя права, и, по закону возмездія, кончилось тѣмъ, что индивидуальная, случайная личность императоровъ римскихъ поглотила городъ городовъ. Апотеоза Нероновъ, Клавдіевъ и деспотизмъ ихъ были проницескимъ отрицаніемъ одного изъ главѣйшихъ началъ эллинскаго міра въ немъ самомъ. Тогда наступило время смерти для него и время рожденія иного міра. Но плодъ жизни эллино-римской не могъ и не долженъ былъ погибнуть для человѣчества. Онъ прозябалъ пятнадцать столѣтій для того, чтобъ германскій міръ имѣлъ время укрѣпить свою мысль и проіобрѣсти умѣние воспользоваться имъ. Въ этотъ промежутокъ расцвѣлъ и поблекъ романтизмъ съ своей великой истиной и съ своей великой односторонностью.

Романтическое воззрѣніе не должно принимать ни за всеобщехристіанское, ни за чисто-христіанское: оно почти исключительная принадлежность католицизма. Въ немъ, какъ во всемъ католическомъ, спаялись два начала: одно, почерпнутое изъ Евангелія, другое—народное, временное, болѣе всего германическое. Туманная, наклонная къ созерцанію и мистицизму фантазія германскихъ народовъ развернулась во всемъ своемъ безконечномъ характерѣ, принявъ въ себя и переработавъ христіанство; но съ тѣмъ вмѣстѣ она придала религіи національный цвѣтъ, и христіанство могло болѣе дать, нежели романтизмъ могъ взять, даже то, что было взято ею, взято односторонне, и, развившись—развилось насчетъ остальныхъ сторонъ. Духъ, раввшійся на небо изъ подъ стрѣлокъ готическихъ соборовъ, былъ совершенно противоположенъ античному. Основа романтизма—спиритуализмъ, трансцендентность. Духъ и матерія для него не въ гармоническомъ развитіи, а въ борьбѣ, въ диссонансѣ. Природа—ложь, не истинное; все естественное отринуто. Духовная субстанція человѣка «краснѣла оттого, что тѣло бросаетъ тѣнь» ¹⁾. Жизнь, постигнувъ себя двойственностію, стала мучиться отъ внутренняго раздора и искала примиренія въ отреченіи одного изъ началъ. Постигнувъ свою безконечность, свое превосходство надъ природою, человѣкъ хотѣлъ пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная въ древнемъ мірѣ, получила безпредѣльныя права; раскрылись богатства души, о которыхъ тотъ міръ и не подозрѣвалъ. Цѣлью искусства сдѣлалась не красота, а одухотвореніе. Громкій смѣхъ пирующаго Олимпа прекратился; ждали со дня на день представленія свѣта, вѣчность котораго была догматъ классическаго воззрѣнія. Все вмѣстѣ разливало что-то величе-

¹⁾ Данте: восходъ въ рай.

ственно-грустное на дѣйствія и мысли; но въ этой грусти была неодолима прелесть темныхъ, неопредѣленныхъ, музыкальныхъ стремлений и упований, потрясающихъ заповѣданнѣйшія струны души человѣческой. Романтизмъ былъ прелестная роза, выросшая у подножія распятія, обвившаяся около него, но корни ея, какъ всякаго растенія, питались изъ земли. Этого романтизмъ знать не хотѣлъ; въ этомъ было для него свидѣтельство его низости, недостойнства,—онъ стремился отречься отъ корней своихъ. Романтизмъ безпрестанно плакалъ о тѣснотѣ груди человѣческой и никогда не могъ отрѣшиться отъ своихъ чувствъ, отъ своего сердца; онъ безпрестанно приносилъ себя въ жертву и требовалъ безконечнаго вознагражденія за свою жертву; романтизмъ обоготворялъ субъективность, предавая ее анаемѣ, и эта самая борьба мнимопримиренныхъ началъ придавала ему порывистый и мощно-увлекательный характеръ его.

Если мы забудемъ блестящій образъ среднихъ вѣковъ, какъ намъ втѣснила его романтическая школа, мы увидимъ въ нихъ противорѣчія самыя страшныя, примиренныя формально и свирѣпо раздирающія другъ друга на дѣлѣ. Вѣря въ божественное искупленіе, въ то же время принимали, что современный міръ и человѣкъ—подъ непосредственнымъ гнѣвомъ Божіимъ. Приписывая своей личности права безконечной свободы, отнимали всѣ человѣческія условія бытія у цѣлыхъ сословій; ихъ самоотверженіе—было эгоизмомъ, ихъ молитва была корыстная просьба, ихъ воины были монахи, ихъ архіереи были военачальники; обоготворяемыя ими женщины содержались, какъ узники,—воздержанность отъ наслажденій невинныхъ и преданность буйному разврату, слѣпая покорность и безпредѣльное своеволие. Только и рѣчи было что о духѣ; о пограніи плоти, о пренебреженіи всѣмъ земнымъ, и—ни въ какую эпоху страсти не бушевали необузданнѣе и жизнь не была противоположнѣе убѣжденію и рѣчамъ, формализмомъ, уловками, себяобольщеніемъ примиряясь съ совѣстью (напр. покупая индугенціи). То было время лжи явной, безстыдной. Свѣтская власть, признавая папу за пастыря, Богомъ установленнаго, унижаясь передъ нимъ формально, вредила ему всѣми силами, безпрестанно повторяя о своемъ повиновеніи. Папа, рабъ рабовъ Божіихъ, смиренный пастырь, отецъ духовный, стяжалъ богатства и матеріальныя силы. Въ такой жизни было что-то безумное и горячее. Долго человѣчество не могло оставаться въ этомъ неестественно-напряженномъ состояніи.

Истинная жизнь, непризнанная, отринутая, стала предъявлять свои права; сколько ни отворачивались отъ нея, устремляясь въ безконечную даль,—голосъ жизни былъ громокъ и родствененъ человѣку, сердце и разумъ откликнулись на него. Вскорѣ къ нему

присоединился другой сильный голос: классическій міръ возсталъ изъ мертвыхъ. Романскіе народы, въ которыхъ никогда и не погибала закваска римская, бросились съ восторгомъ на дѣдовское наслѣдіе. Движеніе совершенно-противоположное духу среднихъ вѣковъ стало заявлять свое бытіе во всѣхъ областяхъ дѣятельности человѣческой. Стремленіе отречься отъ прошедшаго, во что бы то ни стало, обнаружилось: захотѣли подышать на волѣ, пожить. Германія стала въ главѣ реформы и, гордо поставивъ на знамени «право изслѣдованія», далеко была отъ того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ признать это право. Германія устремила всѣ силы свои на борьбу съ католицизмомъ; сознательно-положительной цѣли въ этой борьбѣ не было. Она опередила классицизмъ романскихъ народовъ несвоевременно, и именно оттого впоследствии была обойдена. Отрекаясь отъ католицизма, Германія отвязывала послѣднюю нить, прикрѣплявшую ее къ землѣ. Католическій ритуальъ сводилъ небо на землю, а протестантская пустая церковь только указывала на небо. Стоитъ вспомнить склонный къ таинственному характеръ германцевъ, чтобъ понять сильное вліяніе реформаціи на нихъ. Мистицизмъ схоластическій, отрѣзающій человѣка отъ всякаго реализма, мистицизмъ, основанный на буквальномъ жетолкованіи текстовъ въ десяти разныхъ смыслахъ, холодное безуміе у однихъ, разработанное съ страшной послѣдовательностью, фанатическій бредъ у другихъ, необузданный и тяжелый,—вотъ направленіе, въ которое впали германцы послѣ реформаціи.

Среди всего этого движенія, новый міръ «нарождался»; его дыханіе стало замѣтно вездѣ. Храмомъ Петра въ Римѣ чело-вѣчество торжественно отреклось отъ готической архитектуры. Браманте и Буонаротти лучше хотѣли нечистый стиль de la renaissance, нежели суровый—оживы. Это очень понятно. Готизмъ, безъ сомнѣнія, въ эстетическомъ смыслѣ, отвлеченномъ отъ исторіи, несравненно выше стилиа возстановленія, рококо и другихъ, служившихъ переходомъ отъ готизма къ истинной реставраціи древняго зодчества. Но готизмъ, тѣсно связанный съ католицизмомъ среднихъ вѣковъ, съ католицизмомъ Григорія VI, рыцарства и феодальныхъ учреждений, не могъ удовлетворить вновь развившимся потребностямъ жизни. Новый міръ требовалъ иной плоти; ему нужна была форма болѣе свѣтлая, не только *стремящаяся*, но и *наслаждающаяся*, не только подавляющая величіемъ, но и успокоивающая гармоніей. Обратились къ древнему міру; къ его искусству чувствовалась симпатія; хотѣли усвоить его зодчество, ясное, открытое, какъ чело юноши, гармоничное, «какъ остывшая музыка». Но много было прожито послѣ Рима и Греціи, и опытъ, глубоко запавшій въ душу, го-

вориль въ то же время, что ни перинтеръ Грековъ, ни римская ротонда не выражаютъ всей идеи новаго вѣка. Тогда построили «Пантеонъ на Парѣнонѣ» ¹⁾, и неопытные, боясь прямой линіи, исказили пилястрами, уступами и выступами античную простоту: перевероть этотъ въ зодчествѣ былъ шагомъ назадъ искусства и шагомъ впередъ человѣчества. Своевременность его доказала вся Европа: всѣ богатые города построили свои храмы Петра. Готическія церкви оставили недостроенными для того, чтобъ воздвигать церкви въ стилѣ возстановленія. Одна Германія, по превосходству готическая, оставалась долѣе вѣрною своему зодчеству, но она мало воздвигала въ эту эпоху: глубокія раны и истощеніе не позволяли ей много строить. Противъ такихъ всеобщихъ фактовъ возражать нечего; надо стараться ихъ понять; человѣчество грубо не ошибается цѣлыми эпохами. Храмъ новаго стиля свидѣтельствуемъ объ окончаніи среднихъ вѣковъ и ихъ воззрѣнія. Готическая архитектура сдѣлалась невозможною послѣ храма Петра: она сдѣлалась прошедшею, анахронизмомъ.

Пластическія искусства освобождались въ свою очередь. Готическая церковь дѣлала инныя требованія на живопись, нежели храмъ Петра. Византизмъ выражаетъ одинъ изъ существенныхъ моментовъ готической живописи. Неестественность положенія и колорита, суровое величіе, отрѣшающее отъ земли и отъ земного, намѣренное пренебреженіе красотою и изяществомъ — составляетъ аскетическое отрицаніе земной красоты; образъ не картина: это слабый очеркъ, намекъ. Но художественная натура итальянцевъ не могла долго удержаться въ предѣлахъ символическаго искусства и, развивая его далѣе и далѣе, ко времени Льва X, съ своей стороны, вышло изъ преобразовательнаго искусства въ область чисто-художественную. Великіе, вѣчные типы *dei divini maestri* облекли во всю красоту земной плоти небесное, и идеаль ихъ—идеаль челоуѣка преображеннаго, но челоуѣка. Рафаэлевы мадонны представляютъ апотеозу дѣвственно-женской формы; но его мадонны не супранатуральныя, отвлеченныя существа,—это преображенныя дѣвы. Живопись, поднявшись до высочайшаго идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ея. Византійская кисть отреклась отъ идеала земной челоуѣческой красоты древняго міра. Итальянская живопись, развивая византійскую, въ высшемъ моментѣ своего развитія отреклась отъ византизма и, повидимому, возвратилась къ тому же античному идеалу красоты; но шагъ былъ совершенъ огромный: въ очахъ новаго идеала свѣтилась иная глубина, иная мысль, нежели въ *открытыхъ глазахъ безъ зрѣнія* греческихъ статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь

¹⁾ Выраженіе о музыкѣ принадлежитъ Шеллингу: «Пантеонъ на Парѣнонѣ» сказалъ о храмѣ Петра В. Гюго.

искусству, придала ему всю глубину духа, развитого словомъ божіимъ.

Въ поэзіи совершался свой переворотъ. Рыцарство въ поэзіи теряетъ свою созерцательную важность и феодальную гордость. Аріосто, играя, улыбаясь, рассказываетъ о своемъ Орландѣ; Сервантесъ со злой ироніей объявляетъ міру безсиліе и несвоевременность его; Боккаччіо раскрываетъ жизнь католическаго монаха; Рабле идетъ еще дальше, съ отважной дерзостью француза. Протестантскій міръ даетъ Шекспира. Шекспиръ—это человѣкъ двухъ міровъ. Онъ затворяетъ романтическую эпоху искусства и растворяетъ новую. Гениальное раскрытіе субъективности человѣческой во всей глубинѣ, во всей полнотѣ, во всей страстности и безконечности, смѣлое преслѣдованіе жизни до заповѣднѣйшихъ тайниковъ ея и обличеніе найденнаго, не составляетъ романтизма, а *переходитъ его*. Главный характеръ романтизма выражается сердечнымъ стремленіемъ куда-то, непременно грустнымъ, потому что «тамъ никогда не будетъ здѣсь». Онъ вѣчно стремится оставить грудь; ему нѣтъ примиренія въ ней. Для Шекспира грудь человѣка — вселенная, которой космологію онъ широко набрасываетъ мощной и гениальной кистью. Во Франціи и въ Италіи въ это время возрасталъ и усиливался ложный классицизмъ. Палладій, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ, съ презрѣніемъ говоритъ о готизмѣ; слабыя и безцвѣтныя подражанія древнимъ писателямъ цѣнились выше исполненныхъ поэзіи и глубины пѣсней и легендъ среднихъ вѣковъ. Античное увлекало своею человѣчностью, своимъ примиреніемъ въ жизни, въ красотѣ. Черезъ античное вырабатывалось новое. Въ наукѣ ¹⁾, въ политикѣ даже проявляется тотъ же духъ.

Между тѣмъ, борьба католицизма и протестантизма продолжалась. Католицизмъ обновился, поюнѣлъ въ этомъ бою, протестантизмъ мужалъ и окрѣпалъ; но новый міръ не принадлежалъ исключительно ни тому, ни другому. Въ началѣ этой перепутанной борьбы былъ одинъ ученый, отказывавшійся прямо пристать къ той или другой сторонѣ. Онъ говорилъ, что, занимаясь *гуманіоромъ*, не хочетъ мѣшаться въ войну папы съ Лютеромъ. Этотъ ученый гуманистъ былъ Эразмъ Роттердамскій, тотъ самый, который, улыбаясь, написалъ что-то такое *de libero et seruo arbitrio*, отъ чего Лютеръ дрожа отъ гнѣва сказалъ: «если кто-нибудь меня ранилъ въ самое сердце, такъ это Эразмъ, а не защитники папы». Съ легкой руки Эразма, мысль новаго гуманическаго міра то являлась въ мірѣ классиче-

¹⁾ О переворотѣ въ наукѣ предполагаемъ поговорить въ особой статьѣ, а потому не говоримъ здѣсь. Впрочемъ, достаточно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу.

скомъ, то въ романтическомъ; реформація принесла ей бездну силу, но она при первомъ случаѣ перешла къ классикамъ. Изъ этого ясно можно было понять—однако не поняли—что для новой мысли опредѣленія: классики, романтики, несвойственны, несущественны, что она ни то, ни другое, или лучше и то и другое, но не какъ механическая смѣсь, а какъ химическій продуктъ, уничтожившій въ себѣ свойства составныхъ частей, какъ результатъ уничтожаетъ причины, *одъѣствотворяя* ихъ, какъ силлогизмъ уничтожаетъ въ себѣ посылки. Кто не видалъ дѣтей чудно схожихъ на отца и на мать—вовсе непохожихъ другъ на друга? Такое дитя былъ новый вѣкъ: въ немъ были и есть элементы романтической мечтательности и классическаго пластицизма; но они въ немъ не отдѣльны, а неразъемлемо слиты въ его организмъ, въ его чертахъ.

Романтизмъ и классицизмъ должны были найти гробъ свой въ новомъ мѣрѣ, и не одинъ гробъ,—въ немъ они должны были найти свое безсмертіе. Умираетъ только одностороннее, ложное, временное; но въ нихъ была и истина—вѣчная, всеобщечеловѣческая: она не можетъ умереть, она поступаетъ въ майоратъ старшимъ рода человѣческаго. Вѣчные элементы классическіе и романтическіе безъ всякихъ насильственныхъ средствъ живы; они принадлежатъ двумъ истиннымъ и необходимымъ моментамъ развитія духа человѣческаго во времени; они составляютъ двѣ фазы, два возрѣнія разнолѣтнія и относительно-истинныя. Каждый изъ насъ, сознательно или безсознательно, классикъ или романтикъ, по крайней мѣрѣ, былъ тѣмъ или другимъ. Юношество, время первой любви, невѣдѣнія жизни, располагаютъ къ романтизму; романтизмъ благотворенъ въ это время: онъ очищаетъ, облагораживаетъ душу, выжигаетъ изъ нея животность и грубая желанія; душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ морѣ свѣтлыхъ и непорочныхъ мечтаній, въ этихъ возношеніяхъ себя въ мѣръ горній, поправшій въ себѣ случайное, временное, ежедневность. Люди, одаренные свѣтлымъ умомъ болѣе, нежели чувствительнымъ сердцемъ—классики по внутреннему строенію духа, такъ, какъ люди созерцательные, вѣжные, томные болѣе, нежели мыслящіе,—скорѣе романтики, нежели классики. Но отъ этого до существованія исключительныхъ школъ — безконечное разстояніе.

Шиллеръ и Гёте представляютъ великій образъ, какъ должны быть приемлемы романтическіе и классическіе элементы въ нашемъ вѣкѣ. Конечно, Шиллеръ болѣе Гёте имѣлъ симпатіи къ романтическому; но главная его симпатія была къ современности, и послѣднія, самыя зрѣлыя его произведенія чисто *гуманическія* (если допустите это названіе), а не романтическія. И развѣ для Шиллера было что-нибудь чуждое въ классическомъ мѣрѣ,—для него,

переводившаго Расина, Софокла, Виргилія? А для Гёте развѣ было что-нибудь недоступное въ глубочайшихъ тайникахъ романтизма? Въ этихъ гигантахъ борющіяся и противоположныя направленія соединились огнемъ гения въ возрѣніе изумляющей полноты. Но люди партій остались при своемъ. Человѣчество вошло въ такую эпоху совершеннлѣтія, что просто смѣшно сдѣлалось притязаніе обратить его въ классицизмъ или романтизмъ. И между тѣмъ, мы были свидѣтелями, какъ послѣ Наполеона явилась сильная школа нео-романтизма. Явленіе это не было лишено причинъ достаточныхъ, чтобъ узаконить его. Направленіе германской науки и германскаго искусства становилось болѣе и болѣе всеобщимъ, космополитическимъ. Всеобщность эта покупалась цѣною жизненности. Вялая народность германцевъ не напоминала о себѣ до-наполеоновской эпохи; тутъ Германія воспрянула, одушевленная національными чувствами; всемірныя пѣсни Гёте худо согласовались съ огнемъ, горѣвшимъ въ крови. Что сдѣлалъ патриотизмъ въ Германіи, то совершила апатія во Франціи, и ихъ руками растворились обѣ половинки дверей романтизму. Удушающее чувство равнодушія и сомнѣнія и пылкое чувство народной гордости располагали особенно душу къ искусству, полному вѣры и національныхъ сочувствій. Но такъ какъ чувства, вызвавшія нео-романтизмъ, были чисто-временныя, то судьбу его можно было легко предвидѣть,—стоило взглядѣться въ характеръ XIX вѣка, чтобъ понять невозможность продолжительнаго очарованія романтизмомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, самобытный характеръ XIX вѣка обозначился съ первыхъ лѣтъ его. Онъ начался полнымъ развитіемъ наполеоновской эпохи; его встрѣтили пѣснопѣнія Гёте и Шиллера, могучая мысль Канта и Фихте. Полный памяти о событіяхъ десяти послѣднихъ лѣтъ, полный предчувствій и вопросовъ, онъ не могъ шутить, какъ его предшественникъ. Шиллеръ въ колыбельной пѣсни ему напоминалъ трагическую судьбу его.

Das Jahrhundert ist in Sturm geschieden,
Und das neue öffnet sich mit Mord.

Окаменѣлыя зданія вѣковъ рушились; усомнились въ прочности былого, въ дѣйствительности и незыблемости существующаго, глядя на поля Іены, Ваграма. Въ парижскомъ «*Монитеръ*» было однажды объявлено, что Германскій союзъ пересталъ существовать. Гёте узналъ объ этомъ изъ французской газеты. Сколько скептическихъ мыслей, сколько критики навѣвали развалины храминъ, считавшихся вѣчными! И неужели весь этотъ *gemue-ménage* имѣлъ цѣлью возвратити къ романтизму? Нѣтъ! Люди мысли присутствовали при великой драмѣ, переходя изъ одной эры въ другую;

не даромъ они важно разошлись съ глубокой и торжественной думой: плодъ этой думы развился на деревѣ всего прошедшаго мышленія. Первое имя, загремѣвшее въ Европѣ, произносимое возлѣ имени Наполеона, было имя великаго мыслителя. Въ эпоху судорожнаго боя началъ, кровавой распри, дикаго расторженія, вдохновенный мыслитель провозгласилъ основою философіи примиреніе противоположностей; онъ не отталкивалъ враждующихъ: онъ въ борьбѣ ихъ постигнулъ процессъ жизни и развитія. Онъ въ борьбѣ видѣлъ высшее тождество, снимающее борьбу. Мысль эта, заключающая въ себѣ глубокой смыслъ нашей эпохи, едва пришла въ сознание и высказалась поэтому-мыслителемъ, какъ уже развилась въ стройной, строгой, наукообразной формѣ спекулятивнымъ, діалектическимъ мыслителемъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1812 года, въ то время, какъ у Наполеона въ Дрезденѣ толпились короли и вѣнценосцы, печаталась въ какой-то нюрнбергской типографіи «*Логика*» Гегеля; на нее не обратили вниманія, потому что всѣ читали тогда же напечатанное «объявленіе о второй польской войнѣ». Но она прозябала. Въ этихъ нѣсколькихъ печатныхъ листахъ, писанныхъ труднымъ языкомъ и назначенныхъ, кажется, исключительно для школы, лежалъ плодъ всего прошедшаго мышленія, сѣмя огромнаго, могучаго дуба. Условія для его развитія не могли не найтись, стоило понять и развернуть скобки—какъ говорятъ математики—и древо познанія и жизни развертывалось съ зелеными шумящими листьями, съ прохладною тѣнью, съ плодами сочными и питательными. То, что носилось въ изящныхъ образахъ шиллеровыхъ драмъ, что прорывалось сквозь пѣснощія Гёте, было понято, обличалось. Истина, будто изъ какого-то чувства цѣломудренности и стыда, задернулась мантией схоластики и держалась въ одной отвлеченной сферѣ науки; но мантия эта, изношенная и протертая еще въ средніе вѣка, не можетъ нынче прикрывать; истина лучезарна: ей достаточно одной щели, чтобъ освѣтить цѣлое поле.

Лучшіе умы сочувствовали новой наукѣ; но большинство не понимало ея, и псевдоромантизмъ, развиваясь, въ то же самое время заманивалъ въ ряды свои юношей и дилетантовъ. Старикъ Гёте скорбѣлъ, глядя на отклонившееся поколѣніе. Онъ видѣлъ, какъ въ немъ цѣнять не то, что достойно, какъ въ немъ понимаютъ не то, что онъ говоритъ. Гёте былъ, по превосходству, реалистъ, какъ Наполеонъ, какъ вся наша эпоха; романтики не имѣютъ органа понимать реальное. Байронъ осыпалъ ругательствами мнимыхъ товарищей. Но большинство было въ пользу романтизма: въ украшенияхъ, въ одеждахъ воскресъ вкусъ среднихъ вѣковъ, столь діаметрально-противоположный положительному характеру нашей современности и ея требованіямъ. Рукава женскаго платья, прическа мужчинъ,—все

подверглось романтическому влиянію. Такъ, какъ у классиковъ трагедія была не трагедія, если въ ней не было греческихъ или римскихъ героевъ, такъ, какъ классики безпрестанно воспѣвали дрянное фалернское вино, употребляя прекрасное бургонское,— такъ поэзія романтизма поставила необходимымъ условіемъ рыцарскую одежду, и нѣтъ у нихъ поэмы, гдѣ не льется кровь, гдѣ нѣтъ наивныхъ пажей и мечтательныхъ графинь, гдѣ нѣтъ череповъ и труповъ, восторженности и бреда. Мѣсто фалернскаго вина заняла платоническая любовь; поэты-романтики, любя реально, человѣчески, поютъ одну платоническую страсть. Германія и Франція наперерывъ дарили человѣчество романтическими произведеніями: Гюго и Вернеръ,—поэтъ, прикинувшійся безумнымъ, и безумный, прикинувшійся поэтомъ,—стоятъ на вершинѣ романтическаго Брокена, какъ два сильные представителя. Между ними являлись истинно-увлекательные таланты, какъ Новалисъ, Тикъ, Уландъ, и др.; но ихъ побивала когорта послѣдователей. Эти портретисты такъ исказили черты романтической поэзіи, такъ вагѣли о своемъ стремленіи и о своей любви, что и хорошихъ романтиковъ стало скучно и невозможно читать. Особенно примѣчательно, что одинъ изъ главныхъ распространителей романтизма вовсе не былъ романтикъ,—я говорю о Вальтеръ-Скоттѣ: жизненно-практическій взоръ его родины есть его взоръ. Возсоздать жизнь эпохи—не значить принять односторонность ея.

Такъ или иначе романтизмъ торжествовалъ, воображая, что его станетъ на вѣка. Онъ гордо начиналъ переговаривать съ новой наукой, и она часто поддѣлывалась подъ его языкъ; романтизмъ, снисходя къ ней, начиналъ какую-то романтическую философію, но никогда не доходилъ до того, чтобъ съ ясностью изложить, въ чемъ дѣло. Философы и романтики подъ одними и тѣми же словами разумѣли разное—и безпрестанно говорили! Комизмъ былъ совершеннѣйшій, когда послѣ долгихъ трудовъ догадались тѣ и другіе, что они не понимаютъ другъ друга. За этимъ невиннымъ занятіемъ, за сочиненіемъ пѣсенъ на трубадурный ладъ, за откапываніемъ преданій и хроникъ о рыцаряхъ для балладъ, за томнымъ стремленіемъ, за мучительной любовью къ неизвѣстной дѣвѣ... шло время и прошло нѣсколько лѣтъ. Гёте умеръ, Байронъ умеръ, Гегель умеръ, Шеллингъ *состарѣлся*. Казалось бы, тутъ-то бы и царствовать романтизму. Вѣрный тактъ массъ рѣшилъ иначе: массы въ послѣднее пятнадцатилѣтіе перестали сочувствовать романтикамъ, и они остались, какъ спартанцы съ Леонидомъ, обойденными и обрекли себя, по ихъ примѣру, на геройскую, но бесполезную смерть. Что заняло общее вниманіе, что отвлекло отъ нихъ,—это другой вопросъ, на который мы не имѣемъ намѣренія теперь отвѣчать. Ограничимся фактомъ. Кто нынче говорить о

романтикахъ, кто занимается ими, кто знаетъ ихъ? Они поняли ужасный холодъ безучастья и стоятъ теперь со словами чернаго проклятiя вѣку на устахъ, печальные и блѣдные; видятъ, какъ рушатся замки, гдѣ обитало ихъ милое воззрѣнiе, видятъ, какъ новое поколѣнiе попираетъ мимоходомъ эти развалины, какъ не обращаетъ вниманiя на нихъ, проливающихъ слезы; слышатъ съ содроганiемъ веселую пѣсню жизни современной, которая стала не ихъ пѣснью, и съ скрежетомъ зубовъ смотрятъ на вѣкъ суетный, занимающiйся матеріальными улучшенiями, общественными вопросами, наукой. И страшно подчасъ становится встрѣтить среди кипящей, благоухающей жизни этихъ мертвецовъ, укоряющихъ, озлобленныхъ и не вѣдающихъ, что они умерли! Дай имъ, Богъ, покой могилы; не хорошо мертвымъ мѣшаться съ живыми.

Werden sie nicht schaden
So werden sie schrecken.

1842, мая 9.

III.

Дилетанты и цехъ ученыхъ.

Такихъ... welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die *Harmonie dieser Töne* nicht gekommen ist... какъ сказалъ Герцель. (Gesch. der Phil.).

Во всѣ времена долгой жизни человѣчества замѣтны два противоположныя движенія: развитіе одного обуславливаетъ возникновеніе другого, съ тѣмъ вмѣстѣ борьбу и разрушеніе перваго. Въ какую обитель исторической жизни мы ни всмотримся,—увидимъ этотъ процессъ, и притомъ повторяющійся рядомъ метаспихозъ. Вслѣдствіе одного начала, лица, имѣющія какую-нибудь общую связь между собою, стремятся отойти въ сторону, стать въ исключительное положеніе, захватить монополію. Вслѣдствіе другого начала, массы стремятся поглотить выгородившихъ себя, взять себѣ плодъ ихъ труда, растворить ихъ въ себѣ, уничтожить монополію. Въ каждой странѣ, въ каждой эпохѣ, въ каждой области борьба монополіи и массъ выражается иначе, но цехи и касты непрерывно образуются, массы непрерывно ихъ подрываютъ, и что всего страннѣе, масса, судившая вчера цехъ, сегодня сама оказывается цехомъ, и завтра масса степенью общѣе поглотитъ и побьетъ ее въ свою очередь. Эта полярность—одно изъ явленій жизненнаго развитія человѣчества, явленіе въ родѣ пульса, съ той разницей, что съ каждымъ біеніемъ пульса человѣчество дѣлаетъ шагъ впередъ. Отвлеченная мысль осуществляется въ цехѣ; группа людей, собравшихся около нея, во имя ея,—необходимый организмъ ея развитія; но какъ скоро она достигла своей возмужалости въ цехѣ, цехъ дѣлается ей вреденъ, ей надобно дохнуть воздухомъ и взглянуть на свѣтъ, какъ зародышу послѣ девяти-мѣсячнаго прозябанія въ матери; ей надобна среда болѣе широкая; между тѣмъ, и люди касты, столь полезные своей мысли при начальномъ развитіи ея, теряютъ свое значеніе, застываютъ, останавливаются, не идутъ впередъ, ревниво отталкиваютъ новое, страшатся упустить руно свое, хотятъ для себя, за собою удержатъ мысль. Это невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща: она жаждетъ обобщенія, она вырывается во всѣ щели, утекаетъ между пальцами. Истинное осуществленіе мысли не въ кастѣ, а въ человѣчествѣ; она не можетъ ограничиться тѣснымъ кругомъ цеха; мысль не знаетъ супружеской вѣрности,—ея объятія всѣмъ:

она только для того не существует, кто хочет эгоистически владѣть ею. Цехъ падаетъ по мѣрѣ того, какъ массы постигаютъ мысль и симпатизируютъ съ нею; жалѣть нечего,—онъ сдѣлалъ свое. Цѣль отторженія непремѣнно единеніе, общеніе. Люди выходятъ изъ дому, чтобъ возвратиться съ новыми приобрѣтеніями: навсегда домъ оставляютъ одни бродяги. Таковъ путь касты. Можно предположить, что pour la bonne bouche цехъ человѣчества обвинить всѣ прочіе. Это еще не скоро. Пока—человѣкъ готовъ принять всякое званіе, но къ званію человѣка не привыкъ.

Современная наука начинаетъ входить въ ту пору зрѣлости, въ которой обнаруженіе, отданіе себя всѣмъ становится потребностью. Ей скучно и тѣсно въ аудиторіяхъ и конференцъ-залахъ: она рвется на волю, она хочетъ имѣть дѣйствительный голосъ въ дѣйствительныхъ областяхъ жизни. Не смотря на такое направленіе, наука остается при одномъ желаніи и не можетъ войти живымъ элементомъ въ стремительный потокъ практическихъ сферъ, пока она въ рукахъ касты ученыхъ; одни люди жизни могутъ внѣдрить ее въ жизнь. Великое дѣло началось; оно идетъ тихо; наука дорабатываетъ кое-что въ области отвлеченностей, столь же необходимой для науки, какъ и выходъ изъ нея. Для массъ наука должна родиться не ребенкомъ, а въ полномъ вооруженіи, какъ Паллада. Прежде, нежели она предложитъ плодъ свой, она должна совершить въ себѣ и сознать, что совершила все, къ чему была призвана въ своей сферѣ: она близка къ этому. Но люди смотрятъ доселѣ на науку съ недоумѣніемъ, и недоумѣіе это прекрасно: вѣрное, но темное чувство убѣждаетъ ихъ, что въ ней должно быть разрѣшеніе величайшихъ вопросовъ, а между тѣмъ передъ ихъ глазами ученые, по большей части, занимаются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачиваются отъ общечеловѣческихъ интересовъ; предчувствуютъ, что наука—общее достояніе всѣхъ, и между тѣмъ видятъ, что къ ней приступа нѣтъ, что она говоритъ страннымъ и труднопонятнымъ языкомъ. Люди отворачиваются отъ науки, такъ, какъ ученые отъ людей. Вина, конечно, не въ наукѣ и не въ людяхъ, а между ними. Лучъ науки, чтобъ достигнуть обыкновенныхъ людей, долженъ пройти сквозь такіе густые туманы и болотистыя испаренія, что достигаетъ ихъ подкрашенный, непохожій самъ на себя,—а по немъ-то и судятъ. Первый шагъ къ освобожденію науки есть сознаніе препятствій, обличеніе ложныхъ друзей, воображающихся, что ее доселѣ можно пеленать схоластическимъ свивальникомъ и что она, живая, будетъ лежать, какъ египетская мумія. Туманная среда, окружающая науку, вся наполнена ея друзьями; но эти друзья ея опаснѣйшіе враги. Они живутъ, какъ совы подъ кровомъ храма Паллады, и выдаютъ себя за хозяевъ

въ то время, какъ они работники или праздношатающіеся. Они заслужили всѣ нареканія, всѣ упреки, дѣлаемые наукѣ. Поверхностный дилетантизмъ и ремесленническая специальность ученыхъ ех officio—два берега науки, удерживающіе этотъ Ниль отъ плодороднаго разлива. О дилетантизмѣ мы недавно говорили, но считаемъ не вовсе излишнимъ упомянуть объ немъ здѣсь, какъ о совершеннѣйшей противоположности специализму. Противоположность объясняетъ иногда лучше сходства.

Дилетантизмъ—любовь къ наукѣ, сопряженная съ совершеннымъ отсутствіемъ пониманія ея; онъ расплывается въ своей любви по морю вѣдѣнія и не можетъ сосредоточиться; онъ доволенъ тѣмъ, что любить и не достигаетъ ничего, не печется ни о чемъ, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть къ наукѣ, такая любовь къ ней, отъ которой дѣтей не бываетъ. Дилетанты съ восторгомъ говорятъ о слабости и высотѣ науки, пренебрегаютъ иными рѣчами, предоставляя ихъ толпѣ, но смертельно боятся вопросовъ и измѣнически продаютъ науку, какъ только ихъ начнутъ тѣснить логикой. Дилетанты—это люди предисловія, заглавнаго листа, люди, ходящіе около горшка въ то время, какъ другіе ѣдятъ. Жарновикъ училъ, помнится, англійскаго короля играть на скрипкѣ. Король былъ дилетантъ, т. е. любилъ музыку и не умѣлъ играть. Однажды онъ спросилъ Жарновика, къ какому разряду скрипачей онъ его относитъ? «Ко второму», отвѣчалъ артистъ. «Кого же вы еще причисляете къ этому разряду?»—«Многихъ, государь; я вообще дѣлю родъ человѣческій относительно скрипичной игры на три разряда: первый, самый большой, люди не умѣющіе играть на скрипкѣ; второй, также довольно многочисленный, люди—не то, чтобъ умѣющіе играть, но любящіе безпрестанно играть на скрипкѣ; третій очень бѣденъ: къ нему причисляются нѣсколько человѣкъ, знающихъ музыку и иногда прекрасно играющихъ на скрипкѣ. Ваше величество, конечно, ужъ перешли изъ перваго разряда во второй». Не знаю, былъ ли доволенъ этимъ отвѣтомъ король, но лучше о дилетантизмѣ ничего нельзя сказать, и Жарновикъ превосходно замѣтилъ, что именно второй разрядъ *безпрерывно* играетъ; у дилетантовъ дѣлается болѣзнь, помѣшательство отъ избытка любовной страсти. Дилетантизмъ дѣло не новое. Неронъ былъ дилетантъ музыки, Генрихъ VIII—дилетантъ теологіи. Дилетанты принимаютъ наружный видъ своей эпохи. Въ XVIII вѣкѣ, они были веселы, шумѣли и назывались *esprits forts*; въ XIX вѣкѣ дилетантъ имѣетъ грустную и неразгаданную думу; онъ любитъ науку, но *знаетъ* ея коварность; онъ немного мистикъ и читаетъ Сведенборга, но также немного скептикъ и заглядываетъ въ Байрона; онъ часто говоритъ съ Гамлетомъ: «нѣтъ, другъ Го-

356296

рацію, есть много вещей, которыхъ не понимаютъ ученые»,—а про себя думаетъ, что понимаетъ все на свѣтѣ. Наконецъ, дилетантъ безвреднѣйшій и бесполезнѣйшій изъ смертныхъ; онъ кротко проводитъ жизнь свою въ бесѣдахъ съ мудрецами всѣхъ вѣковъ, пренебрегая матеріальными занятіями; о чемъ они бесѣдуютъ,—кто ихъ знаетъ! Самимъ дилетантамъ это еще не ясно, но какъ-то хорошо въ своемъ полумракѣ.

Каста ученыхъ (die Fachgelehrten), ученыхъ по званію, по диплому, по чувству собственнаго достоинства, составляетъ совершенную противоположность дилетантовъ. Главнѣйшій недостатокъ этой касты состоитъ въ томъ, что она каста; второй недостатокъ—спеціализмъ, въ которомъ обыкновенно затеряны ученые. Чтобы разомъ выразить отношеніе касты ученыхъ къ наукѣ, вспомнимъ, что она развилась болѣе, нежели гдѣ-нибудь, въ Китаѣ. Китай считается многими очень благоденствующимъ патриархальнымъ царствомъ; это можетъ быть; ученыхъ тамъ бездна. Преимущества ученыхъ въ службѣ у нихъ покоя въ вѣка, но науки слѣда нѣтъ... «Да у нихъ своя наука!» И противъ этого не будемъ спорить; но мы говоримъ о наукѣ, человѣчеству принадлежащей, а не Китаю, не Японіи и другимъ ученымъ государствамъ. У насъ мальчишекъ отдають въ науку къ кузнецамъ, етолярамъ: думать надобно, что и у нихъ есть своя наука. Впрочемъ, и для истинной науки былъ возрастъ, въ который каста ученыхъ, какъ каста, была необходима,—въ періодъ неразвитости, когда наука была отринута, ея права непризнаны, она сама подчинена авторитетамъ. Но это время прошло. Такъ, у касты ученыхъ, у людей знанія въ среднихъ вѣкахъ, даже до XVII столѣтія, окруженныхъ грубыми и дикими понятіями, хранилось святое наслѣдіе древняго міра, и воспоминаніе прошедшихъ дѣланій, и мысль эпохи; они въ тиши работали, боясь гоненій, преслѣдованій,—и слава послѣ озаряла скрытый трудъ ихъ. Ученые хранили тогда науку, какъ тайну, и говорили объ ней языкомъ недоступнымъ толпѣ, намѣренно скрывая свою мысль, боясь грѣба непониманья. Тогда было доблестно принадлежать къ левѣтамъ науки; тогда званіе ученаго чаще вело на костеръ, нежели въ академію. И они шли, вдохновенные истиной. Джордано Бруно былъ ученый, и Галилей былъ ученый. Тогда ученые, какъ слово, были своевременны; тогда въ аудиторіяхъ обсуживались величайшіе вопросы того вѣка; кругъ занятій ихъ былъ пространенъ, и ученые озарялись первые восходящими лучами разума, какъ нагорные дубы—гордые и мощные. Съ тѣхъ поръ все перемѣнилось; науки никто не гонитъ, общественное сознаніе доросло до уваженія къ наукѣ, до желанія ея, и справедливо стало протестовать противъ монополіи ученыхъ; но ревнивая каста уч-

четь удержать свѣтъ за собою, окружаетъ науку лѣсомъ схоластики, варварской терминологіи, тяжелымъ и отталкивающимъ языкомъ. Такъ огородники сажаютъ около грядъ своихъ колючее растеніе, чтобъ дерзкій, намѣревающийся перелѣзть, сперва десять разъ укололся и изорвалъ платье въ клочки. Все тщетно! Время аристократіи знанія миновало. Изобрѣтеніе книгопечатанія, безъ всѣхъ остальныхъ содѣйствовавшихъ причинъ, должно было нанести рѣшительный ударъ спрятанности вѣдѣнія, пріобщая къ нему всѣхъ желающихъ. Наконецъ, послѣдняя возможность удержать науку въ цехѣ была основана на разработываніи чисто теоретическихъ сторонъ, не вездѣ недоступныхъ профанамъ. Но современная наука, сверхъ теоретическихъ отвлеченностей, имѣетъ инныя притязанія: она, будто забывая свое достоинство, хочетъ съ своего трона сойти въ жизнь. Ученымъ ея не удержать; это не подвержено сомнѣнію.

Каста ученыхъ нашего времени образовалась послѣ реформаціи и всего болѣе въ мірѣ реформаціонномъ. Объ ученыхъ корпораціяхъ въ среднихъ вѣкахъ и въ католическомъ мірѣ мы упомянули; ихъ не надо смѣшивать съ новой кастой ученыхъ, вырощенной въ Германіи въ послѣдніе вѣка. Правда, старая каста ученыхъ налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во-первыхъ, состояніе умовъ того времени, во-вторыхъ, что и ихъ шея была стерта отъ ярма, тяжело лежавшаго на ней. Во всемъ реформаціонномъ образованіи была какая-то недодѣлка; не доставало геройства идти до послѣдняго слѣдствія, не доставало геройства логики: часто ставили громогласно начало и робко отрекались отъ естественныхъ послѣдствій; часто разрушали зданіе, и берегли мусоръ и битый кирпичъ; часто не умѣли ни благочестиво уважить существующее, ни смѣло отречься отъ него. Мысль реформаціи пришла въ дѣйствіе какъ-то преждевременно, и оттого она отстала и была обойдена. Каста ученыхъ, образовавшаяся въ мірѣ реформаціонномъ, никогда не имѣла силы ни составить точно замкнутую въ себѣ твердую и вѣдающую свои предѣлы корпорацію, ни распуститься въ массы. Она никогда не имѣла энергіи ни пристать къ положительному порядку дѣлъ, ни стать противъ него: оттого на нее со всѣхъ сторонъ стали смотрѣть косо, какъ на что-то постороннее; оттого она сама стала убѣгать живыхъ вопросовъ и сосредоточиваться на мертвыхъ. Нить, связующая касту съ обществомъ, должна была ослабнуть, а прямымъ слѣдствіемъ этого — взаимное непониманіе, взаимное равнодушіе. Какое-то поэтическое провидѣніе указало на слово *гуманіора*, — слово прекрасное, пророческое; но въ гуманіорахъ ученыхъ не было ничего человѣческаго. Слово это было отнесено исключительно къ филологіи, какъ будто тутъ участвовала иронія, какъ будто они понимали, что

древній міръ челоуѣчественнѣ ихъ. Педантизмъ, распаденіе съ жизнью, ничтожныя занятія, типъ которыхъ меледа — какой-то призрачный трудъ, трудъ занимающій, а въ сущности пустой: далѣе, искусственныя построенія, неприлагаемая теорія, невѣдніе практики и надменное самодовольство — вотъ условія, подъ которыми развилось блѣднолистое дерево цеховой учености. Ученые принесли свою пользу наукѣ, которую не признать было бы неблагородно; но совѣмъ не потому, что они стремились составить касту: напротивъ, одни индивидуальныя труды были истинно-полезны. Послѣ католической науки, новая наука, рожденная среди отрицанья и борьбы, требовала иныхъ основаній, болѣе положительныхъ, фактическихъ; но не было у нея матеріаловъ, запасовъ, обслѣдованныхъ событій и наблюденій; войско фактовъ было недостаточно. Ученые разобрали по клочку поле науки и разсыпались по нему; имъ досталась тягостная доля *de défricher le terrain*, и въ этой-то работѣ, составляющей важнѣйшую услугу ихъ, они утратили широкій взглядъ и сдѣлались ремесленниками, оставаясь при мысли, что они пророки. На ихъ потѣ, на ихъ утомительномъ трудѣ цѣлыхъ поколѣній возрасла истинная наука,—и работники, какъ всегда бываетъ, всего менѣе воспользовались результатомъ своего труда.

Противоположность романскаго характера и германскаго не могла не отразиться въ вновь образовавшемся сословіи ученыхъ. Французскіе ученые сдѣлались больше наблюдатели и матеріалисты, германскіе больше схоласты и формалисты; одни больше занимаются естествовѣдѣніемъ, прикладными частями, и притомъ они славные математики; вторые занимаются филологіей, всѣми неприлагаемыми отраслями науки, и притомъ они тонкіе теологи. Одни въ наукѣ видятъ практическую пользу, другіе поэтическую безпольность. Французы больше спеціалисты, но меньше каста; германцы наоборотъ. Ученые въ Германіи похожи на касту жрецовъ въ Египтѣ: они составляютъ особый народъ, въ рукахъ котораго лежитъ дѣло общественнаго воспитанія, общественнаго мышленія, леченья, ученья и пр. Добрымъ германцамъ оставалось пить, ѣсть и *subig* леченье, ученье, мышленіе имущихъ право на то по диплому. Во Франціи ученые не стоятъ на первомъ планѣ и слѣдственно, не имѣютъ такого вліянія, какъ ученые въ Германіи. Во Франціи они всѣ болѣе или менѣе устремлены на практическія улучшенія,—это огромный выходъ въ жизнь. Если ихъ по справедливости можно упрекнуть въ спеціальности больше, нежели германцевъ, то навѣрное нельзя упрекнуть въ безпольности. Франція именно стоитъ въ главѣ популяризаціи науки. Какъ ловко она умѣла, вѣкъ тому назадъ, свое воззрѣніе (каково бы оно ни было) облечь въ современно-народную, всѣмъ доступную, провик

нутую жизнь, форму! Французъ не можетъ удовлетвориться въ одной отвлеченной сферѣ; ему нужна и гостиная, и площадь, и пѣсни Беранже, и листъ газеты, за него нѣчего бояться, онъ долго въ кастѣ не останется.

Совсѣмъ не таковы цеховые ученые германскіе. Главный, отличительный признакъ ихъ—быть валомъ отдѣлену отъ жизни; это отшельники среднихъ вѣковъ, имѣющіе свой міръ, свои интересы, свои обычаи. Теологія, древніе писатели, еврейскій языкъ, объясненія темныхъ фразъ какой-нибудь рукописи, опыты безъ связи, наблюденія безъ общей цѣли,—вотъ ихъ предметъ; когда же имъ случится имѣть дѣло съ дѣйствительностью, они хотяятъ подчинить ее своимъ категоріямъ, и изъ этого выходятъ пресмѣшныя уродства. Академическій, ученый міръ въ Германіи составляетъ особое государство, которому дѣла нѣтъ до Германіи. По правдѣ, послѣ Тридцатилѣтней войны, немного можно было заимствовать школъ изъ жизни. Вина обоюдная. Прозабая въ вѣчномъ занятіи схоластическими предметами, ученые приняли слой, рѣзко отдѣляющій ихъ отъ прочихъ людей. Жизнь, медленно и скучно процвѣтавшая за стѣнами академіи, не манила къ себѣ; она въ своемъ филистерствѣ была столько же невыносимо скучна, какъ ученость въ своемъ. Не смотря на это распаденіе съ жизнью, ученые, памятуя, какой могучій голосъ имѣли университеты и доктора въ средніе вѣка, когда къ нимъ относились съ вопросами глубочайшей важности, захотѣли вершить безапелляціоннымъ судомъ всѣ сціентифическіе и художественные споры; они, подрывшіе во имя всеобщаго права изслѣдованія касту католическихъ духовныхъ пастырей, показывали поползновеніе составить свой цехъ пастырей свѣтскихъ. Не удалось имъ. лишеннымъ, съ одной стороны, энергіи католическихъ пропагандистовъ, съ другой—невѣжества массъ. Новая каста людопасовъ не состоялась; пасти людей стало труднѣе; люди смотрятъ на ученыхъ дѣлъ мастеровъ, какъ на равныхъ, какъ на людей, да еще какъ на людей, не дошедшихъ до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью изъ многихъ.

Наука—открытый столъ для всѣхъ и каждаго, лишь бы былъ голодъ, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремленіе къ истинѣ, къ знанію не исключаетъ никакимъ образомъ частнаго употребленія жизни; можно равно быть при этомъ химикомъ, медикомъ, артистомъ, купцомъ. Никакъ не можно думать, чтобъ специально-ученый имѣлъ большія права на истину; онъ имѣетъ только большія притязанія на нее. Отчего человѣку, проводящему жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи какимъ-нибудь исключительнымъ предметомъ, имѣть болѣе ясный взглядъ, болѣе глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событіями, встрѣ-

тившемуся въ тысячѣ разныхъ столкновеній съ людьми? Напротивъ, цеховой ученый внѣ своего предмета за что ни примется, примется лѣвой рукой. Онъ не нуженъ во всякомъ живомъ вопросѣ. Онъ всѣхъ менѣе подозрѣваетъ великую важность науки: онъ ея не знаетъ изъ-за своего частнаго предмета, онъ свой предметъ считаетъ наукой. Ученые, въ крайнемъ развитіи своемъ, заняли въ обществѣ мѣсто втораго желудка животныхъ, жующихъ жвачку; въ него никогда не попадаетъ свѣжая пища,—одна пережеванная, такая, которую жуютъ изъ удовольствія жевать. Массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ, а ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи. Поэты, художники творятъ, массы восхищаются ихъ твореніями,—ученые пишутъ комментаріи, грамматическіе и всяческіе разборы. Все это имѣетъ свою пользу; но несправедливость въ томъ, что они себя считаютъ по праву головою выше насъ, жрецами Паллады, ея любовниками, хуже-мужьями ея. Съ другой стороны, было бы еще страннѣе, если-бы мы сказали, что ученые не могутъ знать истины, что они внѣ ея. Духъ, стремящій человѣка къ истинѣ, не исключаетъ никого. Не всѣ ученые принадлежатъ къ *цеховымъ* ученымъ: многіе *истинно-ученые* дѣлаются, подавляя въ себѣ школьность, *образованными* ¹⁾ людьми, выходятъ изъ цеха въ человѣчество. *Безнужные* цеховые,—это рѣшительные и отчаянные специалисты и схоластики, тѣ, на которыхъ намекалъ Жанъ-Поль, говоря: «скорѣе поваренное искусство разовьется до того, что жарящій форели не будетъ умѣть жарить карпа». Вотъ эти-то повара карповъ и форелей составляютъ массу ученой касты, въ которой творятся всякаго рода лексиконы, таблицы, наблюденія и все то, что требуетъ долготерпѣнія и душу мертву. Ихъ въ людей развитъ трудок: они крайность односторонняго направленія учености; мало того, что они умрутъ въ своей односторонности,—они бревнами лежатъ на дорогѣ всякаго великаго усовершенія, не потому, чтобъ не хотѣли улучшенія науки, а потому, что они только то усовершеніе признаютъ, которое вытекло съ соблюденіемъ ихъ ритуала и формы, или которое они сами обработали. У нихъ метода одна-анатомическая: для того, чтобъ понять организмъ, они дѣлаютъ аутопсію. Кто убилъ ученіе Лейбница и далъ ему труповой видъ школьности, какъ не ученые прозекторы? Кто изъ живого, всеобъемлющаго ученія Гегеля стремился сдѣлать схоластическій, безжизненный, страшный скелетъ?—Берлинскіе профессора.

Греція, умѣвшая развивать индивидуальности до какой-то

¹⁾ Разумѣется, слово *образованный* принято въ истинномъ смыслѣ его, а не въ томъ, въ которомъ его употребляетъ, напримѣръ, жена городничаго въ «Ревизорѣ».

художественной оконченности и высоко-человѣческой полноты, мало знала въ цвѣтуція времена свои ученыхъ въ нашемъ смыслѣ: ея мыслители, ея историки, ея поэты были прежде всего граждане, люди жизни, люди общественнаго совѣта, площади, военнаго стана: оттого это гармонически уравновѣшенное, прекрасное своимъ аккордомъ, многостороннее развитіе великихъ личностей ихъ науки и искусства—Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и другихъ. А наши ученые? Сколько профессоровъ въ Германіи спокойно читали свой схоластическій бредъ во время наполеоновской драмы и спокойно справлялись на картѣ, гдѣ Ауэрштетъ, Ваграмъ, съ тѣмъ любознательнымъ бездушіемъ, съ которымъ на другой картѣ отмѣчали они путь Одиссея, читая Гомера! Одинъ Фихте, вдохновенный и глубокій, громко сказалъ, что отечество въ опасности, и бросилъ на время книгу. А Гёте... прочтите его переписку того времени! Конечно, Гёте недотягаемо выше школьной односторонности: мы доселѣ стоимъ передъ его грозной и величественной тѣнью съ глубокимъ удивленіемъ, съ тѣмъ удивленіемъ, съ которымъ останавливаемся передъ Луксорскимъ обелискомъ—великимъ памятникомъ какой-то иной эпохи, великой, но прошлой ¹⁾, не нашей! Ученый ²⁾ до такой степени разобщился съ современностью, до такой степени завялъ, вымеръ съ трехъ сторонъ, что надобно почти нечеловѣческія усилія, чтобъ ему войти живымъ звеномъ въ живую цѣпь. Образованный человѣкъ не считаетъ ничего человѣческаго чуждымъ себѣ: онъ сочувствуетъ всему окружающему; для ученаго—наоборотъ: ему все человѣческое чуждо, кромѣ избраннаго имъ предмета, какъ бы этотъ предметъ самъ въ себѣ ни былъ ограниченъ. Образованный человѣкъ мыслить по свободному побужденію, по благородству человѣческой природы, и мысль его открыта, свободна; ученый мыслить по обязанности, по возложенному на себя обѣту, и оттого въ его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подъ-авторитетна. Ученый имѣетъ часть и въ ней; онъ долженъ быть умнѣе: образованный человѣкъ не имѣетъ права быть глупымъ ни въ чемъ. Образованный человѣкъ можетъ знать и не знать по латинѣ, ученый долженъ знать по-латинѣ... Не смѣйтесь надъ этимъ замѣчаніемъ: я и здѣсь вижу слѣдъ окостенѣлаго духа касты. Есть великія поэмы, великія творенія, имѣющія всемірное

¹⁾ Не помню въ какой-то, недавно вышедшей въ Германіи, брошюрѣ было сказано: «Въ 1832 году, въ томъ замѣчательномъ году, когда умеръ послѣдній могикианинъ нашей великой литературы.»—Да!

²⁾ Считаю необходимымъ еще разъ сказать, что дѣло идетъ единственно и исключительно о *цеховыхъ ученыхъ* и что все сказанное только справедливо въ антитетическомъ смыслѣ; *истинный* ученый всегда будетъ просто человѣкъ, — и человѣчество всегда съ уваженіемъ поклонится ему.

значеніе, — вѣчныя пѣсни, завѣщаваемыя изъ вѣка въ вѣкъ; нѣтъ сколько-нибудь образованнаго человѣка, который бы не зналъ ихъ, не читалъ ихъ, не прожилъ ихъ: цеховой ученый навѣрное не читалъ ихъ, если онѣ не относятся прямо къ его предмету. На что химику «Гамлетъ»? На что физику «Донъ-Жуанъ»? Есть еще болѣе странное явленіе, особенно часто встрѣчающееся между германскими учеными: нѣкоторые изъ нихъ все читали и все читаютъ, — но понимаютъ только по одной своей части; во всѣхъ же другихъ они изумляютъ сочетаніемъ огромныхъ свѣдѣній съ всесовершеннѣйшею тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческаго возраста: «они прослушали всѣ звуки, но гармоніи не слышали», какъ сказано въ эниграфѣ. Степень цеховой учености опредѣляется рѣшительно памятью и трудолюбіемъ: кто помнитъ наибольшій запасъ вовсе ненужныхъ свѣдѣній объ одномъ предметѣ, у кого въ груди не бьется сердце, не кипятъ страсти, требующія не книжнаго удовольствія, а подѣйствительнѣе; кто имѣлъ терпѣніе лѣтъ двадцать твердить частности и случайности, относящіяся къ одному предмету, — тотъ и ученѣе. Безъ сомнѣнія, господинъ, котораго привозили къ князю Потемкину и который зналъ на память мѣсяцесловъ, былъ ученый — и еще болѣе: самъ изобрѣлъ *свою* науку. Ученые трудятся, пишутъ только для ученыхъ; для общества, для массъ пишутъ образованные люди; большая часть писателей, произведшихъ огромное вліяніе, потрясавшихъ, двигавшихъ массы, не принадлежатъ къ ученымъ: Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Руссо. Если же изъ среды ученыхъ какой-нибудь гигантъ пробьется и вырвется въ жизнь, они отрекаются отъ него, какъ отъ блуднаго сына, какъ отъ ренегата. Копернику не могли простить геніальность, надъ Колумбомъ смѣялись, Гегеля обвиняли въ невѣжествѣ. Ученые пишутъ съ ужаснымъ трудомъ: одинъ трудъ только тягостнѣе и есть: это чтеніе ихъ *doctes écrits* ¹⁾. Впрочемъ, такого труда никто и не предпринимаетъ: ученія общества, академіи, бібліотеки покупаютъ ихъ фоліанты; иногда нуждающіеся въ нихъ справляются, — но никогда никто не читаетъ ихъ отъ доски до доски. Собраніе ученыхъ какой-нибудь академіи было бы похоже на нашу роговую музыку, гдѣ каждый музыкантъ всю жизнь дудитъ одну и ту же ноту, если-бъ у нихъ былъ капельмейстеръ и ensemble (а въ ensemble и состоитъ наука). Они похожи на роговыхъ музыкантовъ, спорящихъ между собою каждый о превосходствѣ своей ноты и дудящій, для доказательства, во всю силу легкихъ. Имъ въ голову не приходитъ,

¹⁾ Гегель, говоря гдѣ-то объ гигантскомъ трудѣ читать какую-то ученую немецкую книгу, присовокупилъ, что ее вѣрно было легче писать.

что музыка будетъ только тогда, когда всѣ звуки поглотятся, уничтожатся въ одной ихъ объемлющей гармоніи.

Различіе ученыхъ съ дилетантами весьма ярко. Дилетанты любятъ науку, но не занимаются ею; они разсѣваются по лазури, носящейся надъ наукой, которая точно такъ же ничего, какъ лазурь земной атмосферы. Для ученыхъ наука—барщина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они рѣшительно не имѣютъ досуга бросить взглядъ на все поле. Дилетанты смотрятъ въ телескопъ: оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки какъ луна отъ земли,—а земного и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большого; для того, чтобъ быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ глазу человѣческому; для нихъ существуетъ не кристалльный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любятъ науку, такъ, какъ мы любимъ Сатурномъ, на благородной дистанціи, и ограничиваясь знаніемъ, что онъ свѣтится и что на немъ обручъ. Ученые такъ близко подошли къ храму науки, что не видятъ храма и ничего не видятъ кромѣ кирпича, къ которому пришелся ихъ носъ. Дилетанты—туристы въ областяхъ науки и, какъ вообще туристы, знаютъ о странахъ, въ которыхъ они были, общія замѣчанія, да всякій вздоръ, газетную клевету, свѣтскія сплетни, придворныя интриги. Ученые—фабричные работники и, какъ вообще работники, лишены умственной развязности, что не мѣшаетъ имъ быть отличными мастерами своего дѣла, внѣ котораго они никуда не годны. Каждый дилетантъ занимается всѣмъ scibile, да еще, сверхъ того, тѣмъ, чего знать нельзя, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физиогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ, отдѣльной вѣтви какой-нибудь специальной науки и, кромѣ ея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Такія занятія имѣютъ иногда свою пользу, доставляя факты для истинной науки. Отъ дилетантовъ, само собою разумѣется, никому и ничему нѣтъ пользы. Многіе думаютъ, что самоотверженіе, съ которымъ ученые обрекаютъ себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживаетъ великой благодарности со стороны общества. Мнѣ кажется, награда всякому труду въ самомъ трудѣ, въ дѣятельности. Но не подымаясь въ эту сферу, расскажу одинъ старый анекдотъ.

Какой-то добрый французъ сдѣлалъ модель парижскаго квартала изъ воска, съ удивительною отчетливостью. Окончивъ долготлѣтній трудъ свой, онъ поднесъ его конвенту единой и нераздѣльной республики. Конвентъ, какъ извѣстно, былъ права кру-

того и оригинальнаго. Сначала онъ промолчалъ: ему и безъ восковыхъ кварталиковъ было довольно дѣла,—образовать нѣсколько армій, прокормить голодныхъ парижанъ, оборониться отъ коалицій..... Наконецъ, онъ добрался до модели и рѣшилъ: «гражданина такого-то, котораго произведенія нельзя не признать окончательно-выполненнымъ, посадить на шесть мѣсяцевъ въ тюрьму за то, что онъ занимался бесполезнымъ дѣломъ, когда отечество было въ опасности». Съ одной стороны, конвентъ правъ; но вся бѣда конвента состояла въ томъ, что онъ во всѣхъ дѣлахъ смотрѣлъ съ одной стороны, да и то не съ самой пріятной. Ему не пришло въ голову, что человѣкъ, который *могъ* съ охотой заниматься годы цѣлые тѣпленіемъ изъ воска, и притомъ такіе годы, — *не могъ* никуда быть иначе употребленъ. Миѣ кажется, подобныхъ людей не слѣдуетъ ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся въ этомъ положеніи: имъ ни брани, ни похвалы; ихъ занятія, безъ сомнѣнія, не хуже, да и конечно не лучше всѣхъ будничныхъ занятій человѣческихъ. Странная несправедливость состоитъ въ томъ, что ученыхъ считаютъ повыше простыхъ гражданъ, освобождаютъ отъ всякихъ общественныхъ тягостей потому, что они ученые,—а они рады сидѣть въ халатѣ и предоставлять другимъ всѣ заботы и труды. За то, что человекъ имѣетъ мономанію къ камнямъ или къ медалямъ, къ раковинамъ или къ греческому языку, за это его ставятъ въ исключительное положеніе—нѣтъ достаточной причины. Между тѣмъ, избалованные обществомъ ученые дошли было до троглодитовски дикаго состоянія. И теперь, всякій знаетъ, что нѣтъ ни одного дѣла, которое можно поручить ученому: это вѣчный недоросль между людьми; онъ только не смѣшонъ въ своей лабораторіи, музеумѣ. Ученый теряетъ даже первый признакъ, отличающій человека отъ животнаго—общественность: онъ конфузится, боится людей; онъ отвыкъ отъ живого слова; онъ трепещетъ передъ опасностью; онъ не умѣетъ одѣться; въ немъ что-то жалкое и дикое. Ученый—это готтентотъ съ другой стороны, такъ, какъ Хлестаковъ былъ генераль съ другой стороны. Таково клеймо, которымъ отмѣчаетъ Немезида людей, думающихъ выйти изъ человѣчества и не имѣющихъ на то права. А они требуютъ, чтобъ мы признали ихъ превосходство надъ нами; требуютъ какого-то спасіа отъ человѣчества, воображаютъ себя въ авангардѣ его! Никогда! Ученые—это чиновники, служащіе идеѣ, это бюрократія науки, ея писцы, столоначальники, регистраторы. Чиновники не принадлежатъ къ аристократіи, и ученые не могутъ считать себя въ передовой фалангѣ человѣчества, которая первая освѣщается восходящей идеей и первая побивается грозой. Въ этой фалангѣ можетъ быть и ученый, такъ, какъ можетъ быть и воинъ, и ар-

тисть, и женщина, и купецъ. Но они избираются не по званіямъ, а потому, что на челѣ ихъ увидѣли слѣдъ божественной искры; они принадлежатъ не къ ученому сословію, а просто къ тому кругу образованныхъ людей, который развился до живого уразумѣнія понятія челоѣчества и современности. Этотъ кругъ, болѣе или менѣе просторный, смотря по степени просвѣщенія страны, есть живая, полная силъ среда, пышный цвѣтъ, въ который втекаютъ разными жилами всѣ соки, трудно разработанные, и преобразуются въ пышный вѣнчикъ. Въ немъ настоящее, переходя въ будущее, развертывается во всей красѣ и благоуханіи для того, чтобъ насладиться настоящимъ. Но предупредимъ недоразумѣніе — эта аристократія далеко незамкнута: она, какъ Өивы, имѣетъ сто широкихъ вратъ, вѣчно открытыхъ, вѣчно зовущихъ.

Каждый можетъ войти въ ворота, но труднѣе въ нихъ пройти ученому, нежели всякому другому. Ученому мѣшаетъ его дипломъ: дипломъ—чрезвычайное препятствіе развитію; дипломъ свидѣтельствуетъ, что дѣло кончено, *consumatum est*; носитель его совершилъ въ себѣ науку, знаетъ ее. Жанъ-Поль говоритъ въ Леванѣ: «Когда ребенокъ сказалъ неправду, скажите ему, что онъ сдѣлалъ дурно, скажите, что онъ *солгалъ*, но не называйте *лгуномъ*; онъ наконецъ, повѣритъ, что онъ лгунъ». Это замѣчаніе очень идетъ сюда: получивъ дипломъ, челоѣкъ въ самомъ дѣлѣ воображаетъ, что онъ знаетъ науку, въ то время, когда дипломъ имѣетъ собственно одно гражданское значеніе; но носитель его чувствуетъ себя отдѣленнымъ отъ рода челоѣческаго: онъ на людей безъ диплома смотритъ, какъ на профановъ. Дипломъ, точно іудейское обрѣзаніе, дѣлитъ людей на два челоѣчества. Юноша, получившій дипломъ, или принимаетъ его за актъ освобожденія отъ школы, за подорожную въ жизнь,—и тогда дипломъ не сдѣлаетъ ни вреда, ни пользы; или онъ въ гордомъ сознаніи отдѣляется отъ людей и принимаетъ дипломъ за право гражданства въ республикѣ *litterarum*, и идетъ подвизаться на схоластическомъ форумѣ ея. Республика ученыхъ—худшая республика изъ всѣхъ когда-нибудь бывшихъ, не исключая Парагвайской во время управленія ею *ученымъ докторомъ* Франціа. Юношу вступившаго встрѣчаютъ нравы и обычаи окостенѣлые и выросшіе поколѣніями; его вталкиваютъ въ споры безконечные и совершенно бесполезные; бѣдный истощаетъ свои силы, втягивается въ искусственную жизнь касты и забываетъ мало по малу всѣ живые интересы, разстается съ людьми и съ современностью; съ тѣмъ вмѣстѣ начинаетъ чувствовать высоту жизни въ области схоластики, привыкаетъ говорить и писать напыщеннымъ и тяжелымъ языкомъ касты, считаетъ достойными вниманія только тѣ событія, которыя случились за 800 лѣтъ и были отвергаемы по латинѣ и признаваемы по

гречески. Но это еще не все: это медовый мѣсяць; вскорѣ им овладѣваетъ односторонняя исключительность (въ родѣ *idée fixe* у поврежденныхъ). Онъ предается специальности, дѣлается ремесленникомъ; наука теряетъ для него свою торжественность: для слуги нѣтъ великаго человѣка, — и цеховой ученый готовъ!

Но можетъ ли существовать наука безъ специальныхъ занятій? Развѣ энциклопедическая поверхностность, за все хватающаяся, не есть именно недостатокъ дилетантизма? Конечно, не можетъ; но вотъ въ чемъ дѣло.

+ Наука — живой организмъ, которымъ развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процессъ ея органической пластичности; форма, система — предопредѣлены въ самой сущности ея понятія и развиваются по мѣрѣ стеченія условій и возможностей осуществленія ихъ. Полная система есть расчлененіе и развитіе души науки до того, чтобъ душа стала тѣломъ и тѣло стало душою. Единство ихъ одѣйствовворяется въ методѣ. Никакая сумма свѣдѣній не составитъ науки до тѣхъ поръ, пока сумма эта не обростетъ живымъ мясомъ, около одного живого центра, то есть не дойдетъ до пониманія себя тѣломъ его. Никакая блестящая всеобщность, съ своей стороны, не составитъ полного, наукообразнаго знанія, если, заключенная въ ледяную область отвлеченій, она не имѣетъ силы воплотиться, раскрыться изъ рода въ видѣ, изъ всеобщаго въ личное, если необходимость индивидуализація, если переходъ въ міръ событій и дѣйствій не заключенъ во внутренней потребности ея, съ которой она не можетъ *совладѣти*. Все живое живо и истинно только какъ цѣлое, какъ внутреннее и внѣшнее, какъ всеобщее и единичное — сосуществующія. Жизнь связуетъ эти моменты; жизнь — процессъ ихъ вѣчнаго перехода другъ въ другъ. Одностороннее пониманіе науки разрушаетъ неразрывное, то есть убиваетъ живое. Дилетантизмъ и формализмъ держатся въ отвлеченной всеобщности; оттого у нихъ нѣтъ дѣйствительныхъ знаній, а есть только тѣни. Они легко расплываються оттого, что кругомъ пустота; они для легкости ноши хотѣли отдѣлить жизнь отъ живущаго; ноша стала, въ самомъ дѣлѣ, легка, потому что такое отвлечение — *ничего*. А это ничто есть любимая среда дилетантовъ всѣхъ степеней; они въ немъ видятъ безпредѣльный океанъ и довольны просторомъ для мечтаній и фантазій. +

Но если очевидно нѣчто безумное въ мысли отдѣлить жизнь отъ живого организма и между тѣмъ сохранить ее, то ошибка спеціализма, конечно, не лучше. Онъ всеобщаго знать не хочетъ, онъ до него никогда не поднимается; онъ за самобытность принимаетъ всякую дробность и частность, удерживая ихъ самобытность; спеціализмъ можетъ дойти до каталога, до

всякихъ субсумаций, но никогда не дойдетъ до ихъ внутренняго смысла, до ихъ понятія—до истины, наконецъ, потому что въ ней надобно погубить всѣ частности; путь этотъ похожъ на опредѣленіе внутреннихъ свойствъ человѣка по калошамъ и пуговицамъ. Все вниманіе спеціалиста обращено на частности; онъ съ каждымъ шагомъ болѣе и болѣе запутывается; частности дѣлаются дробнѣе, ничтожнѣе; дѣленіе не имѣетъ границъ; темный хаосъ случайностей стережетъ его возлѣ и увлекаетъ въ болотистую тину той *закрайны* бытія, которую свѣтъ не объемлетъ: это его безконечное море въ противоположность дилетантскому. Всеобщее, мысль, идея — начало, изъ котораго текутъ всѣ частности, единственная нить Ариадны, теряется у спеціалистовъ, упущена изъ вида за подробностями; они видятъ страшную опасность: факты, явленія, видоизмѣненія, случаи давятъ со всѣхъ сторонъ; они чувствуютъ природный человѣку ужасъ заблудиться въ много-различіи всякой всячины, ничѣмъ не сшитой; они такъ положительно, что не могутъ утѣшаться, какъ дилетанты, какимъ-нибудь общимъ мѣстомъ, и въ отчаяніи, теряя единую, великую цѣль науки, ставятъ границей стремленія *Orientierung*. *Лишь бы найтися*, лишь бы не быть засыпану съ головою пескомъ фактовъ, сыплющихся отовсюду. Желаніе найтися наводитъ на искусственные системы и теоріи, на искусственныя классификаціи и всякія построенія, о которыхъ *впередъ знаютъ*, что они не истинны. Такія теоріи трудны для изученія, потому что онѣ противоестественны, и онѣ-то составляютъ непреоборимыя укрѣпленія, за стѣнами которыхъ сидятъ ученые себѣ на умѣ. Эти теоріи—на-росты, бѣлмы на наукѣ; ихъ должно въ свое время срѣзать, чтобъ раскрыть зрѣніе; но они составляютъ гордость и славу ученыхъ. Въ послѣднее время не было извѣстнаго медика, физика, химика, который не выдумалъ бы своей теоріи: Бруссе и Гей-Люссакъ. Тенаръ и Распайль, и *tutti quanti*. Но чѣмъ добросовѣстнѣе ученый, тѣмъ меньше онъ самъ можетъ удовлетвориться подобными теоріями: лишь только онъ принялъ *какую-нибудь*, чтобъ скрѣпить связку фактовъ, онъ наталкивается на фактъ, очевидно не идущій въ мѣру; надобно для него сдѣлать отдѣлъ, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противорѣчитъ старой,—и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Ученый долженъ *по своей части* знать всѣ теоріи и при этомъ не забывать, что всѣ онѣ вздоръ (какъ оговариваются во всѣхъ французскихъ курсахъ физики и химіи). Посвящая время на полезныя изученія прошедшихъ ошибокъ, онъ не можетъ найти мгновений, чтобъ заняться *не по своей части*, еще менѣе, чтобъ подняться въ сферу истинной науки, обнимающей всѣ частныя предметы, какъ свои вѣтви. Впрочемъ, ученые не вѣрятъ въ нее; они на мыслителей посма-

тривають, іронічески улыбаясь, якъ Наполеонъ смотрѣлъ на идеологовъ. Они люди положительнаго опыта, наблюденія. А между тѣмъ, ни положительность, ни матеріалізмъ не мѣшають имъ быть, по превосходству, идеалистами. Искусственныя методы, системы, субъективныя теоріи развѣ не крайность идеализма? Какъ бы человекъ ни считалъ себя занимающимся одними фактами, внутрѣнная необходимость ума увлекаетъ его въ сферу мысли, къ идеѣ, къ всеобщему; специалисты выигрываютъ упорнымъ непослушаніемъ только то, что, вмѣсто правильнаго пути поднятія, они блуждаютъ въ странной средѣ, которой дно—факты безъ связи, а верхъ—теоретическія мечтанія безъ связи. Поднимаясь по-своему во всеобщее, они не хотятъ упустить ни одной частности, а въ той сферѣ не принимается ничего точимаго молью: одно вѣчное, родовое, необходимое призвано въ науку и освѣщено ею. Міръ фактичeskій служитъ, безъ сомнѣнія, основой науки: наука, опертая не на природѣ, не на фактахъ, есть именно туманная наука дилетантовъ. Но, съ другой стороны, факты *in crudo*, взятые во всей случайности бытія, несостоятельны противъ разума, свѣтлѣщаго въ наукѣ. Въ наукѣ природа возстановляется, освобожденная отъ власти случайности и внѣшнихъ вліяній, которая притѣсняетъ ее въ бытія; въ наукѣ природа просвѣтляется въ чистотѣ своей логической необходимости; подавляя случайность, наука примиряетъ бытіе съ идеей, возстановляетъ естественное во всей чистотѣ, понимаетъ недостатокъ существованія (*des Daseins*) и поправляетъ его, какъ власть имущая. Природа, такъ сказать, жаждала своего освобожденія отъ узъ случайнаго бытія, и разумъ совершилъ это въ наукѣ. Люди отвлеченной метафизики должны опуститься изъ своего поднебесья именно въ *физику* (въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова), и въ нее же должны подняться роющіеся въ землѣ специалисты. Въ наукѣ, принимаемой такимъ образомъ, нѣтъ ни теоретическихъ мечтаній, ни фактичeskихъ случайностей: въ ней—себя и природу созерцающій разумъ.

Главное, что дѣлаетъ науку *ученыхъ* трудною и запутанною, это—метафизическія бредни и тьма тьмушая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого *просто понятный*. Наука достигаетъ теперь, передъ нашими глазами, до понятія себя въ истинномъ значеніи. Если-бъ не было такъ, и намъ не пришлось бы въ голову говорить объ этомъ. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ специалистовъ,—но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ

смыслъ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи. Буало правъ:

Tout ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement
Et les mots pour le dire, arrive aisément.

Мы, улыбаясь, предвидимъ теперь смѣшное положеніе ученыхъ, когда они хорошенько поймутъ современную науку; ея истинные результаты до такой степени просты и ясны, что они будутъ скандализованы. «Какъ! неужели мы бились и мучились цѣлую жизнь, а ларчикъ такъ просто открывался?» Теперь еще они сколько-нибудь могутъ уважать науку, потому что надобно имѣть нѣкоторую силу, чтобъ понять, какъ она проста и нѣкоторую сноровку, чтобъ узнавать ясную истину подъ плевою схоластическихъ выраженій, а они не догадываются объ ея простотѣ. Но если, въ самомъ дѣлѣ, истинная наука такъ проста, зачѣмъ же высшіе представители ея, напр. Гегель, говорили тоже труднымъ языкомъ? Гегель, не смотря на всю мощь и величіе своего генія, былъ тоже человѣкъ; онъ испыталъ панической страхъ просто выговориться въ эпоху, выражавшуюся ломаннымъ языкомъ, такъ, какъ боялся идти до послѣдняго слѣдствія своихъ началъ; у него не достало геройства послѣдовательности, самоотверженія въ принятіи истины во всю ширину ея и чего бы она ни стоила. Величайшіе люди останавливались передъ очевиднымъ результатомъ своихъ началъ; иные, испугавшись, шли вспять, и, вмѣсто того, чтобъ искать ясности, затемняли себя. Гегель видѣлъ, что многимъ изъ общепринятаго надобно пожертвовать: ему жаль было разить; но, съ другой стороны, онъ не могъ не высказать того, что былъ призванъ высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всѣхъ слѣдствіяхъ его и ищетъ *не простого*, естественнаго, само собою вытекающаго результата, но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ; развитіе дѣлается сложнѣе, ясность затемняется. Присовокупимъ къ этому дурную привычку говорить языкомъ школы, которую онъ по неволѣ долженъ былъ пріобрѣсти, говоря всю жизнь съ нѣмецкими учеными. Но мощный геній его и тутъ прорывается во всемъ колоссальномъ своемъ величіи. Возлѣ запутанныхъ періодовъ, вдругъ одно слово, какъ молнія, освѣщаетъ безконечное пространство вокругъ, и душа ваша долго еще трепещетъ отъ громовыхъ раскатовъ этого слова и благоговѣетъ передъ высказавшимъ его. Нѣтъ укора отъ насъ великому мыслителю! Никто не можетъ стать настолько выше своего вѣка, чтобъ совершенно выйти изъ него, и, если современное поколѣніе начинаетъ проще говорить и рука его смѣлѣе

открываетъ послѣднія завѣсы Изиды, то это именно потому, что Гегелева точка зрѣнія у него впередъ шла, была побѣждена для него. Человѣкъ настоящаго времени стоитъ на горѣ и разомъ обнимаетъ обширный видъ; но проложившему дорогу на гору видъ этотъ раскрывался мало-по-малу. Когда Гегель взошелъ первымъ, ширина вида его подавила; онъ сталъ искать своей горы; ее не было видно на вершинѣ; онъ испугался; она слишкомъ тѣсно связалась со всѣми испытаніями его, со всѣми воспоминаніями, со всѣми судьбами, которыя онъ пережилъ; онъ хотѣлъ сохранить ее. Юное поколѣніе, легко взнесшее на мощныхъ раменахъ гениальнаго мыслителя, не имѣетъ уже къ горѣ ни той любви, ни того уваженія: для него она *прошедшее*.

Когда юное возмужаетъ, когда оно привыкнетъ къ высотѣ, оглядится, почувствуетъ себя тамъ дома, перестанетъ дивиться широкому, безконечному виду и своей волѣ, — словомъ, сживется съ вершиной горы, тогда его истина, его наука выскажется просто всякому доступно. *И это будетъ!*

1842 г., ноябрь.

IV.

Буддизмъ въ наукѣ.

— Погубящій свою душу найдетъ ее.

— Вѣра безъ дѣлъ мертва.

Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія, и жаждавшіе примиренія раздвоились: одни отвергли примиреніе науки, не обсудивъ его, другіе приняли поверхностно и буквально; были и есть, само собою разумѣется, истинно понявшіе науку,—они составляютъ македонскую фалангу ея, о которой мы не предположили себѣ говорить въ рядѣ этихъ статей. Потомъ, мы сдѣлали опытъ взглянуть на *непримиримыхъ* и видѣли, что по большей части имъ не позволяетъ больное и испорченное зрѣніе туда смотрѣть, куда слѣдуетъ, такъ видѣть, какъ совершается, такъ понимать, какъ сказано; личный недостатокъ въ огранахъ зрѣнія переносится ими на зримое. Болѣзненность глаза не всегда свидѣтельствуетъ о слабости его; иногда съ нею вмѣстѣ соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная отъ естественнаго отправленія своего. Теперь, обратимся къ *примиреннымъ*. Въ ихъ числѣ есть люди ненадежные, положившіе оружіе при первомъ выстрѣлѣ, принявшіе всѣ условія съ самоотверженіемъ, приводящимъ въ отчаяніе, съ подозрительною безпрекословностью. Мы ихъ назвали мухаммеданами въ наукѣ, но не оставимъ при нихъ этого названія, напоминающаго пестрыя и яркія картины Халифата и Алгамбры; ихъ несравненно вѣрнѣе можно назвать буддистами въ наукѣ¹⁾. Постараемся высказать нашу мысль о нихъ какъ можно яснѣе, безъ притязаній, простыми средствами разговорной рѣчи.

Наука не только провозгласила, но и сдержала слово; она дѣйствительно достигла примиренія *въ своей сферѣ*. Она явилась тѣмъ вѣчнымъ посредствомъ, которое сознаниемъ, мыслью снимаетъ противоположное, примиряетъ ихъ обличеніемъ ихъ единства, примиряетъ ихъ въ себѣ и собою, сознаниемъ себя правдой борющихся началъ. Требованіе было бы безумно, если-бъ вмѣнили

¹⁾ Буддисты принимаютъ существованіе за истинное зло, ибо все существующее — призракъ. Верховное бытіе для нихъ — пустота безконечнаго пространства. Переходя изъ степени въ степень, они достигаютъ высшаго конечнаго блаженства несуществованія, въ которомъ находятъ полную свободу (Клапротъ). Какое родственное сходство!

ей въ обязанность совершить что-нибудь внѣ своей сферы. Сфера науки—всеобщее, мысль, разумъ, *какъ самопознающій духъ*, и въ ней она исполнила главную часть своего призванія; за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума, какъ *предлежащей дѣйствительности*; она освободила мысль міра изъ событія міра, освободила все сущее отъ случайности, распустила все твердое и недвижимое, прозрачнымъ сдѣлала темное, свѣтъ внесла въ мракъ, раскрыла вѣчное во временномъ, безконечное въ конечномъ и признала ихъ необходимое существованіе; наконецъ, она разрушила китайскую стѣну, дѣлившую безусловное, истину отъ человѣка, и на развалинахъ ея водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человѣка на простомъ событіи чувственной достовѣрности, начавъ съ нимъ личныя умствованія, она развиваетъ въ немъ родовую идею, всеобщій разумъ, освобожденный отъ личности. Она требуетъ съ самаго начала жертвоприношенія личностью, закланія сердца,—это ея *conditio sine qua non*. И какъ бы это ужасно ни казалось, она права; у науки одна сфера всеобщаго, мысли. Разумъ не знаетъ личности *этой*; онъ знаетъ одну необходимость личностей вообще: разумъ, какъ высшая справедливость, нелицепріятенъ. Оглашенный наукой долженъ пожертвовать своей личностью, долженъ ее понять не истиннымъ, а случайнымъ, и, свергая ее со всѣхъ частными убѣжденіями, взойти въ храмъ науки. Этотъ искусъ для однихъ слишкомъ труденъ, для другихъ слишкомъ легокъ. Мы видѣли, какъ дилетантамъ наука недоступна, оттого что между ими и наукой стоитъ ихъ личность; они ее удерживаютъ трепетной рукой и не подходятъ близко къ стремительному потоку ей, боясь, что быстрое движеніе волнъ унесетъ и утопитъ; а если и подходятъ, то забота самосохраненія не дозволяетъ ничего видѣть. Такимъ людямъ наука не можетъ раскрыться, оттого что они ей не раскрываются. Наука требуетъ всего человѣка, безъ заднихъ мыслей, съ готовностью все отдать и въ награду получить тяжелый крестъ *трезваго знанія*. Человѣкъ, который ничему не можетъ распахнуть груди своей, жалокъ; ему не одна наука затворяетъ свою храмину; онъ не можетъ быть ни глубоко-религіознымъ, ни истиннымъ художникомъ, ни доблестнымъ гражданиномъ; ему не встрѣтить ни глубокой симпатіи друга, ни пламеннаго взгляда взаимной любви. Любовь и дружба — взаимное эхо; онѣ даютъ столько, сколько берутъ. Въ противоположность этимъ купцамъ и эгоистамъ нравственнаго міра, есть моты и расточители, вставящіе ни во что ни себя, ни свое достоиніе; радостно бѣгутъ они къ самоуничтоженію во всеобщемъ и при первомъ словѣ бросаютъ и убѣжденія свои, и свою личность, какъ черное бѣлье. Но невѣста, которой они искали, своенравна: она потому не хочети

брать душу этихъ людей, что они легко отдають ее и не требуютъ назадъ, напротивъ, довольны, что отдѣлались отъ нея. Она права: хороша личность, которую бросаютъ въ окошко! Но какъ же быть? Погуби свою личность, а тамъ удерживай свою личность—логомахія новой кабалистики!

Личность погибла въ наукѣ; но не имѣетъ ли личность, сверхъ призванія въ сферу всеобщаго, иного призванія, и если то призваніе лично, то оно не можетъ поглотиться наукой, именно потому, что она улечиваетъ личное, обобщая его. Процессъ погубленія личности въ наукѣ есть процессъ становленія въ сознательную, свободно-разумную личность изъ непосредственно-естественной; она приостановлена для того, чтобъ вновь родиться. Вѣдь, и парабола погибла въ уравненіи параболы, и цифра погибла въ формулѣ. Алгебра—логика математики; алгоритмъ ея представляетъ всеобщіе законы, результатъ и самое движеніе въ родовомъ, вѣчномъ, безличномъ видѣ. Но парабола только *притаилась* въ уравненіи, не умерла въ немъ, такъ, какъ и цифра въ формулѣ. Для полученія дѣйствительно сущаго результата, буква замѣняется цифрой, формула получаетъ живую особность, уносится въ міръ событій, изъ котораго вышла, движется и оканчивается практическимъ результатомъ, не уничтожая, съ своей стороны, формулу. Выкладка исполнила ее практическимъ одѣйствовореніемъ и попрежнему, спокойная, царитъ въ сферѣ всеобщаго. Примѣры изъ формальной науки всегда способствуютъ къ уразумѣнію, если только мы не будемъ забывать, что спекулятивная наука *не только* формальная, что ея формула исчерпываетъ и самое содержаніе.

Итакъ, личность, разрѣшающаяся въ наукѣ, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрезъ эту гибель, чтобъ убѣдиться въ невозможности ея. Личности надобно отречься отъ себя для того, чтобъ сдѣлаться сосудомъ истины; забыть себя, чтобъ не стѣснять ея собою, принять истину со всѣми послѣдствіями и въ числѣ ихъ раскрыть непреложное право свое на возвращеніе самобытности. Умереть въ естественной непосредственности значитъ воскреснуть въ духѣ, а не погибнуть въ безконечномъ ничемъ, какъ погибають буддисты. Эта побѣда надъ собою возможна и дѣйствительна, когда есть борьба; ростъ духа труденъ, какъ ростъ тѣла. То дѣлается нашимъ, что выстрадано, выработано; что даромъ свалилось, тому мы дѣны не знаемъ. Игроки бросаютъ деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, если-бъ ему ничего не стоило убить Исаака?

Здоровая, сильная личность не отдается наукѣ безъ боя; она даромъ не уступитъ шагу; ей ненавистно требованіе пожертвовать собою; но непреодолимая власть влечетъ ее къ истинѣ; съ каждымъ ударомъ человѣкъ чувствуетъ, что съ нимъ борется

мощный, противъ котораго силъ не долѣтъ: стена, рыдая, отдаетъ онъ по клочку все свое, и сердце, и душу. Такъ Одиссей, погибая въ волнахъ и цѣпляясь за скалы, прежде нежели спасся, орумянилъ ихъ своею кровью и оставилъ на нихъ куски своего мяса. Побѣдитель безпощаденъ, требуетъ всего,—и побѣжденный отдаетъ все; но побѣдитель въ самомъ дѣлѣ не возьметъ: на что ему человѣческое? Человѣку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистамъ, вѣчно находящимся въ мирѣ отвлеченномъ, уступка личностью ничего не значитъ, и потому они черезъ такую уступку ничего не приобретаютъ; они забываютъ жизнь и дѣятельность: лиризмъ и страстность ихъ удовлетворяются отвлеченнымъ пониманіемъ, оттого имъ не стоитъ ни труда, ни страданій пожертвовать личнымъ благомъ своимъ. Имъ убитъ Исаака ничего не стоитъ. Формалисты науку *изучаютъ*, какъ нѣчто внѣшнее: до нѣкоторой степени они могутъ усваивать себѣ ея остовъ, ея выраженія, полагая, что они приняли въ себя ея животворящую душу. Науку надобно прожить, чтобъ не формально усвоить ее себѣ. Переломившій ногу полнѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Прострадать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ,—такова лирическая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ глубь и силъ нѣтъ противостоятъ чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочной опасностью своей. Зима мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро развѣртывается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святые, нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему, все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ ироніи и участія, повторяетъ холодными устами: «убита». Что еще поставить? Все проиграно; остается поставить себя; понтеръ ставить, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней талии, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестью мучительнаго сомнѣнія, свѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или приметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится съ своимъ

увѣчемъ; первое—путь къ нравственному самоубійству, второе—къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже поглотить такой личности, да и она сама по себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ—слишкомъ просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*.

Кто такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствование можетъ исполнѣ удовлетворить человѣка. Дѣйствование сама личность. Когда Данте вступилъ въ свѣтлую область, въ которой нѣтъ ни плача, ни воздыханія; когда онъ увидѣлъ безплотныхъ жителей рая, ему стало стыдно тѣни, бросаемой его тѣломъ. Ему, земному, не товарищи были эти свѣтлые, зѣирные, и онъ пошелъ опять въ нашу юдоль, опираясь на свой посохъ бездомнаго изгнанника: но теперь ужъ онъ не потеряетъ тропинки, не упадетъ середь дороги отъ усталости и изнеможенія. Онъ пережилъ свое становленіе, выстрадалъ его; онъ блуждалъ по жизни и прошелъ мученіями ада; онъ лишился чувствъ отъ вопля и стона и раскрывалъ мутный, испуганный взоръ, вымаливая каплю утѣшенія, вмѣсто котораго снова стоны, e povi tormenti, e nuovi tormentati. Но онъ *дошелъ* до Люцифера, и тогда поднялся черезъ свѣтлое чистилище въ сферу вѣчнаго блаженства безплотной жизни, узналъ, что есть міръ, въ которомъ человѣкъ счастливъ, отрѣшенный отъ земли,—и воротился въ жизнь и понесъ ее крестъ.

Буддисты науки, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго, изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обипирную храмину, въ которой дѣлать нечего, а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Одни тѣла, имѣющія удѣльный вѣсъ, тяжеле воды и тонуть; щепы и солома важно плаваютъ по поверхности. Формалисты нашли примиреніе въ наукѣ, но примиреніе ложное: они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли, *какъ* совершенно примиреніе въ наукѣ; вошедши съ слабымъ зрѣніемъ, съ бѣдными желаніями, они были поражены свѣтомъ и богатствомъ удовлетворенія. Имъ понравилась наука такъ же неосновательно, какъ дилетантамъ не понравилась. Они вообразили, что достаточно *знать* примиреніе, а одѣйствоворять его не нужно. Отступивъ отъ міра и разсматривая его съ отри-

цательной точки, имъ не захотѣлось снова взойти въ міръ; имъ показалось достаточно знать, что хина лечитъ отъ лихорадки, для того, чтобъ вылечиться; имъ не пришло въ голову, что для человѣка наука — моментъ, по обѣимъ сторонамъ котораго жизни: съ одной стороны, стремящаяся къ нему — естественно-непосредственная, съ другой, вытекающая изъ него — сознательно-свободная; они не поняли, что наука — сердце, въ которое втекаетъ темная венозная кровь не для того, чтобъ остаться въ немъ, а чтобъ, сочетавшись съ огненнымъ началомъ воздуха, разлиться алой артеріальной кровью. Формалисты подумали, что пріѣхали въ пристань въ то время, какъ въ самомъ дѣлѣ имъ слѣдовало отчаливать; они сложили руки, узнавъ, въ чемъ дѣло, т. е. когда послѣдовательность заставляла ихъ раскрыть руки. Для нихъ знаніе заплатило за жизнь и имъ ея больше не нужно: они узнали, что наука цѣль самой себѣ, и вообразили, что наука исключительная цѣль человѣка. Примиреніе науки — снова начатая борьба, достигающая примиренія въ практическихъ областяхъ; примиреніе науки — въ мышленіи, но «человѣкъ не токмо мыслящее, но и дѣйствующее существо» ¹⁾. Примиреніе науки всеобщее и отрицательное, — оттого ей личность не нужна; положительное примиреніе можетъ только быть въ дѣяніи свободномъ, разумномъ, сознательномъ. Въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ личность сохранила необходимость проявленія ея въ дѣяніяхъ очевидца, въ религіи, напримѣръ, не одно возношеніе лицъ, но и нисхождение къ лицамъ, сохраненіе ихъ; въ ней вѣра признана мертвою безъ дѣлъ, любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть непрерывное произношеніе смертнаго приговора всему временному, казнь неправаго, ветхаго во имя вѣчнаго и непреходящаго, — оттого наука ежеминутно отрицаетъ воображаемую неизблемость существующаго. Дѣяніе сознательной любви творчески создательно. Любовь есть всеобщее прощеніе, снисходительное, прижимающее къ груди своей самое временное за слѣдъ вѣчнаго, отпечатлѣннаго на немъ. Но чистыя отвлеченія не имѣютъ возможности существовать, противоположное находитъ мѣсто, вкрадывается и развивается въ домъ врага своего; отрицаніе науки чревато съ перваго появленія положительнымъ. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во всѣ стороны какъ теплотворъ, непрерывно стремясь найти условія осуществленія и выхода изъ области всеобщаго отрицанія въ область свободнаго дѣянія; когда наука достигаетъ высшей точки, она естественно переходитъ самое себя. Въ наукѣ мышленіе и бытіе примирены:

¹⁾ Это сказалъ Гете; Гегель въ „Пропедевтикѣ“ (томъ XVIII, § 63) говоритъ: „слово не есть еще *тѣяніе*, которое *выше рѣчи*“. И германцы, стало, понимали это.

но условія мира дѣланы мыслию,—полный миръ въ дѣяніи. «Дѣяніе есть живое единство теоріи и практики», сказали слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ величайшій мыслитель древняго міра ¹⁾. Въ дѣяніи разумъ и сердце поглотились одѣйствованіемъ, исполнили въ мірѣ событій находившееся въ возможности. Мірозданіе, исторія—не вѣчныя ли дѣянія? Дѣяніе отвлеченнаго разума—мышленіе, уничтожающее личность; человекъ безконеченъ въ немъ, но теряетъ себя; онъ вѣченъ въ мысли—*но онъ не онъ*: дѣяніе отвлеченнаго сердца—частный поступокъ, не имѣющій возможности раскрыться во всеобщее; въ сердцѣ человекъ у себя,—но преходящъ. Въ разумномъ, нравственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣяніи, человекъ достигаетъ дѣйствительности своей личности и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ дѣяніи человекъ вѣченъ во временности, безконеченъ въ конечности, представитель рода и самого себя ²⁾, живой и сознательный органъ своей эпохи.

Истина, высказанная нами, далека отъ того, чтобъ быть сознательною. Могуществѣннѣйшіе и величайшіе представители современнаго человечества поняли мысль и дѣяніе разное и односторонне. Степенная, глубоко чувствующая и созерцающая Германія опредѣлила себѣ человека какъ мышленіе, науку признала цѣлью и нравственную свободу поняла только какъ внутреннее начало. Она никогда не имѣла вполнѣ развитаго смысла практической дѣятельности; обобщая каждый вопросъ, она выходила изъ жизни въ отвлеченія и оканчивала одностороннимъ разрѣшеніемъ. Саванарола, слѣдуя инстинкту жизни романскихъ народовъ, сдѣлался главою политической партіи ³⁾. Германскіе реформаторы, уничтоживъ въ половинѣ Германіи католицизмъ, не выступили изъ области теологіи и схоластическихъ споровъ; фазы новой французской исторіи повторялись въ Германіи въ области науки и отчасти искусства. Германическій міръ имѣетъ самъ въ себѣ и противоположное направленіе, также отвлеченное и одностороннее. Англія одарена величайшимъ смысломъ жизни и дѣятельности: но всякое дѣяніе ея есть частное; общечеловѣческое у британца превращается въ національное; всеобъемлющій вопросъ сводится на мѣстный. Англія моремъ отдѣлена отъ человечества и, гордая своей замкнутостью, не раскрываетъ своей груди интересамъ ма-

¹⁾ Аристотель.

²⁾ Надъ этими выраженіями посмѣются наши люстихи; не будемъ такъ робки. Пусть люстихи посмѣются, на то они люстихи. Смѣхъ для нихъ вознагражденіе непониманью: изъ человѣколюбія надобно имъ предоставить такой дешевый *реваншизмъ*.

³⁾ Романскіе народы имѣютъ характеристику рѣзче германцевъ, они опредѣленные цѣли свои исполняютъ съ чрезвычайной твердостью, обдуманностью и ловкостью. Philosophie der Geschichte. p. 422, tome IX.

терика. Британецъ никогда не отступится отъ своей личности: онъ знаетъ великую заслугу свою, то неприкосновенное величіе, тотъ нимбъ уваженія, которымъ онъ окружилъ именно идею личности. Заснувшіе народы Италіи и вновь выступающіе испанцы не заявили никакихъ правъ на поприще, о которомъ мы говоримъ.

Остаются два народа, на которые невольно обращается взглядъ. Съ одной стороны, Франція — самымъ счастливымъ образомъ поставленная относительно европейскаго міра, сбѣгающаго въ ней, опираясь на край романизма, и соприкасающагося со всѣми видами германизма, отъ Англіи, Бельгіи до странъ, прилегающихъ Рейну; романо-германская сама, она какъ будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземныхъ народовъ съ отвлеченной умозрительностью за-рейнской, поэтическую нѣгу солнечной Италіи съ индустриальной хлопотливостью туманнаго острова. Доселѣ Франція и Германія не понимали другъ друга вполне; разное волновало ихъ, разное влекло ихъ, одни и тѣ же предметы выражались иными языками; весьма недавно, они узнали другъ друга: ихъ познакомилъ Наполеонъ; и, послѣ взаимныхъ посѣщеній, когда улеглись страсти вмѣстѣ съ пороховымъ дымомъ, онѣ съ уваженіемъ склонились другъ передъ другомъ и признали другъ друга. Но истиннаго единенія нѣтъ. Наука Германіи упорно не переплываетъ Рейна; бѣглый умъ француза предупреждаетъ діалектическое развитіе, хватается изъ середины какую-нибудь мысль и торопится осуществить ее. Гражданину предлежитъ разрѣшить, насколько Франція можетъ быть органомъ примиренія науки и жизни; впрочемъ, не надобно ошибаться, принимая слишкомъ рѣзко противоположность Франціи и Германіи; она часто совершенно вѣшняя. Франція своимъ путемъ дошла до заключеній очень близкихъ къ заключеніямъ науки германской, но не умѣетъ перенести ихъ на всеобщій языкъ науки, такъ, какъ Германія не умѣетъ языкомъ жизни повторять логику. И сверхъ того, наука германская искони пользовалась Франціей. Не говоря о Декартѣ, вліяніе энциклопедистовъ было очень сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрѣлости безъ фактическаго обилія разработаннаго по всѣмъ отраслямъ во Франціи. Съ другой стороны, можетъ, тутъ раскроется великое призваніе бросить нашу сѣверную гривну въ хранилищницу человѣческаго разумѣнія; можетъ, мы, маложившіе въ быломъ, являясь представителями дѣйствительнаго единства науки и жизни, слова и дѣла. Въ исторіи поздно приходящимъ — не кости, а сочные плоды. Въ самомъ дѣлѣ, въ нашемъ характерѣ есть нѣчто, соединяющее лучшую сторону французовъ съ лучшей стороною германцевъ. Мы несравненно способнѣе къ наукообразному мышле-

нію, нежели французы, и намъ рѣшительно невозможна мѣщански-филистерская жизнь нѣмцевъ; въ насъ есть что-то gentlemanlike, чего именно нѣтъ у нѣмцевъ, и на челѣ нашемъ проступаетъ слѣдъ величавой мысли, какъ-то не сосредоточивающейся на челѣ француза.

Но не будемъ забѣгать въ будущее и возвратимся. Философы Германіи какъ-то провидѣли, что дѣяніе, а не наука—цѣль человека. Это была часто гениальная пророческая непослѣдовательность, насильно врывающаяся въ безстрастныя и суровыя логическія построения. Самъ Гегель болѣе намекнулъ, нежели развилъ мысль о дѣяніи. Это дѣло не его эпохи, — дѣло эпохи, имъ порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говоритъ о искусствѣ, наукѣ и забываетъ практическую дѣятельность, вплетенную во всѣ событія исторіи. Но рядъ мыслителей Германіи, замыкающийся Гегелемъ, не должно ставить на одну доску съ настоящими формалистами. Они не имѣли иныхъ требованій, кромѣ потребности вѣдѣнія, но это было своевременно; они труженически работали для человечества путь науки; для нихъ примиреніе въ наукѣ было наградой; они имѣли право, по историческому мѣсту своему, удовлетвориться во всеобщемъ; они были призваны свидѣтельствовать міру о совершившемся самопознаніи и указать путь къ нему: въ этомъ состояло *ихъ дѣяніе*. Мы совѣмъ не въ томъ положеніи; для насъ жизнь въ отвлеченно-всеобщихъ сферахъ—несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имѣетъ притязаніе на исключительное господство и безусловное значеніе: вѣра въ него—главнѣйшее условіе успѣха; но дальнѣйшее развитіе во времени необходимо переходитъ мнимо-безусловную сферу и эта необходимость перехода гораздо съ большей справедливостью можетъ казаться безусловной. Гегель чрезвычайно глубокомысленно сказалъ: «понять *то, что есть*—задача философіи, ибо *то, что есть* — разумъ. Какъ всякая личность *произведеніе своего времени*, такъ философія есть въ *мысляхъ свѣдѣнная эпоха*; нелѣпо предположить, что какая-нибудь философія переходила свой современный міръ» ¹⁾. Задача реформаціоннаго міра была понять, но понятіемъ не замыкается воля. Философы забыли о положительной дѣятельности. Бѣды въ этомъ не было. Практическія сферы вовсе не лишены языка; онѣ заявили свой голосъ, когда время пришло. Оно пришло быстро; человечество несется теперь какъ по желѣзной дорогѣ. Годы—вѣка. Едва прошло десять лѣтъ послѣ смерти Гёте и Гегеля, величайшихъ представителей искусства и науки, какъ самый

¹⁾ Philosophie des Rechts, Vorrede. Курсивомъ напечатанное подчеркнуто въ текстѣ.

Шеллингъ, увлеченный новымъ направлениемъ, сталъ дѣлать совершенно инныя требованія, нежели съ которыми явился проповѣдывать науку въ началѣ XIX вѣка. Ранегатство Шеллинга во всякомъ случаѣ событіе важное и многозначительное. Шеллингъ болѣе обладаетъ поэтическимъ созерцаніемъ, чѣмъ діалектикой, и именно какъ Vates онъ испугался океана всеобщаго, готовившагося поглотить весь потокъ умственной дѣятельности; онъ пошелъ вспять, не сладивши съ послѣдствіями своихъ началъ, и вышелъ изъ современности, указывая на больное мѣсто. Во всей германской атмосферѣ носятя новые вопросы о жизни и наукѣ,—это очевидный фактъ въ журналистикѣ, въ изящныхъ произведеніяхъ, въ книгахъ. Забытая въ наукѣ личность потребовала своихъ правъ, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся однимъ творческимъ, свободнымъ дѣяніемъ. Послѣ отрицанія, совершеннаго въ сферѣ мышленія, она захотѣла отрицаній въ другихъ сферахъ: необходимость личности обличилась. Человѣкъ требуетъ ее, а наука, взявшая все, признаетъ это право; она не удерживаетъ, она благословляетъ въ жизнь личную, въ жизнь свободнаго дѣянія во имя абсолютной безличности.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное отъ страстей, почившее въ величайшемъ самопознаніи, озаренное всепроникающимъ свѣтомъ разума,—царство идеи. Не мертвое, не остылое, какъ трупъ, но покойное въ самомъ движеніи своемъ, какъ океанъ. Въ наукѣ—сонмъ Олимпійцевъ, а не люди; *матери*, къ которымъ ходилъ Фаустъ. Въ наукѣ—истина, облеченная не въ вещественное тѣло, а въ логическій организмъ, живая архитектурной діалектическаго развитія, а не эпопеей временнаго бытія: въ ней законъ—мысль исторгнутая, спасенная отъ бурь существованія, отъ возмущеній вѣбшнихъ и случайныхъ; въ ней раздается симфонія сферъ небесныхъ и каждый звукъ ея имѣетъ въ себѣ вѣчность, потому что въ немъ была необходимость, потому что случайный стонъ временнаго не достигаетъ такъ высоко. Мы согласны съ формалистами, наука *выше* жизни, но въ этой высотѣ свидѣтельство ея односторонности; конкретно истинное не можетъ быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть въ самомъ средоточіи ея, какъ сердце въ срединѣ организма. Отъ того, что наука выше жизни, ея область отвлеченна, *ея полнота не полна*. Живая цѣлость состоитъ не изъ всеобщаго, снявшаго частное, но изъ всеобщаго и частнаго, взаимно другъ въ друга стремящихся и другъ отъ друга отторгающихся; ея нѣтъ ни въ какомъ моментѣ, ибо всѣ моменты ея; какъ бы ни казались самобытны и исчерпывающіи инныя опредѣленія, они таютъ отъ огня жизни и вливаются, теряя односторонность свою, въ широкій, всепоглощающій потокъ. Разумъ сущій прояснилъ для

себя въ наукѣ, свелъ свои счета съ прошедшимъ и настоящимъ,—но осуществиться будущему надобно не въ одной всеобщей сферѣ. Въ ней будущности собственно нѣтъ, потому что она предузнана, какъ неминуемое логическое послѣдствіе, но такое осуществленіе бѣдно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временнаго бытія, безъ котораго нѣтъ животрепещущаго, страстнаго, увлекательнаго дѣянія.

Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.
Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön.

G e t h e.

Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала, закономъ міра; переводя его въ мысль, она отеклась отъ него, какъ отъ сущаго, улетучила его своимъ отрицаніемъ, противъ дыханія котораго ничто фактическое несостоятельно. Наука разрушаетъ въ области положительно-сущаго и созидаетъ въ области логики,—таково ея призваніе. Но человѣкъ призванъ не въ одну логику,—а еще въ міръ социальнo-историческій, нравственнo-свободный и положительно-дѣятельный; у него не одна способность отрѣшающагося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумомъ положительнымъ, разумомъ творящимъ; человѣкъ не можетъ отказаться отъ участія въ человѣческомъ дѣянїи, совершающемся около него; онъ долженъ дѣйствовать въ своемъ мѣстѣ, въ своемъ времени,—въ этомъ его всемірное призваніе, это *ego conditio sine qua non*. Личность, выходящая изъ науки, не принадлежитъ болѣе ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщимъ сферамъ; въ ней сочетались частное и общее въ единичности гражданскаго лица. Примирившись въ наукѣ,—онъ жаждетъ примиренія въ жизни; но для этого надобно творчески одѣйствоворить нравственную волю во всѣхъ практическихъ сферахъ.

Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь—дѣйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за *всяческо*е примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не рости за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности. Буддисты индійскіе стремятся *цѣлью бытія* купить свободу въ Буддѣ. Будда для нихъ именно отвлеченная безконечность, ничего. Наука покорила человѣку міръ, больше—покорила исторію не для того, чтобъ онъ могъ отдыхать. Всеобщность, удерживаемая въ своей отвлеченности, всегда ведетъ къ сонному уничтоженію дѣятельности, таковъ индійскій квіетизмъ. Гранитный міръ событий,

подвергаясь огненной струѣ отрицанія, не имѣетъ силы противостоять и низвергается растопленной каскадой въ океанъ науки. Но человѣкъ долженъ переплыть океанъ для того, чтобъ снова начать дѣйствование въ иномъ свѣтѣ, въ обѣтованной Атлантидѣ. Начать не инстинктомъ, не по внѣшнимъ наталкиваніямъ, не съ скорбнымъ метаньемъ во всѣ стороны, не съ темнымъ предчувствіемъ, а съ полной нравственной свободой. Человѣкъ не можетъ примириться, пока все окружающее не приведено въ согласіе съ нимъ. Формалисты довольствуются тѣмъ, что выплыли въ море, качаются на поверхности его, не плывутъ никуда и оканчиваютъ тѣмъ, что обхватываются льдомъ, не замѣчая того; наружно для нихъ тѣ же стремящіяся прозрачныя волны, но въ самомъ дѣлѣ это мертвый ледъ, укравшій очертанія движенія, живая струна замерла сталактитомъ, все окоченѣло. Формалисты сами приняли характеръ льда и нанесли ужасный вредъ наукѣ, говоря ея языкомъ и высказывая безжалостные приговоры свои, отъ которыхъ вѣетъ полярной стужей; весь блескъ ихъ рѣчи—блескъ льда, водяной, мертвой, по которому лучъ солнца скользитъ, но не грѣетъ, который скорѣе уничтожится, нежели приметъ теплоту.

Слушавшіе содрогнулись, замѣтивъ отсутствіе любви у большей части берлинскихъ и иныхъ корифеевъ формализма, этихъ *талмудистовъ* новой науки. Взявъ однѣ буквы, одни слова, они ими заглушили всякое состраданіе, всякое теплое сочувствіе. Они намѣренно, съ усиліями поднялись на точку равнодушія ко всему человѣческому, считая ея за истинную высоту: имъ не всегда надобно вѣрить, что они безъ сердца,—они часто прикидываются такими (новаго рода *captatio benevolentiae*). Формальные разрѣшенія принимаются ими всегда и вездѣ за дѣйствительныя. Имъ казалось, что личность—дурная привычка, отъ которой пора отстать; они проповѣдывали примиреніе со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словомъ все, что ни встрѣтится на улицѣ, *дѣйствительнымъ* и слѣдственно, имѣющимъ право на признаніе. Такъ поняли они великую мысль, «что все дѣйствительное разумно»; они всякій благородный порывъ клеймили названіемъ *Schönseeligkeit*, не усвоивъ себѣ смысла, въ которомъ слово это употреблено ихъ учителемъ¹⁾. Если присовокупимъ къ этимъ результатамъ напыщенный и нелѣпый языкъ, надменность ограниченности, то отдадимъ справедливость вѣрному такту общества, смотрѣвшаго съ недоумѣніемъ на этихъ фиגлярровъ науки. Гегель гдѣ только могъ

¹⁾ «Есть болѣе полный миръ съ дѣйствительностью, доставляемый познаніемъ ея, нежели отчаянное сознаніе, что временное дурно или неудовлетворительно, но что съ нимъ слѣдуетъ примириться, потому что оно лучше не можетъ быть». *Philosophie des Rechts*.

просиль, умоляль опасаться формализма ¹⁾, доказываль, что самое истинное опредѣленіе, взятое въ его завинченности, буквальности, доведеть до бѣдъ, бранился, наконецъ,—ничего не помогало. Они его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могутъ привыкнуть къ вѣчному движенію истины, не могутъ разъ навсегда признать, что всякое положеніе отрицается въ пользу высшаго, и что только въ преемственной послѣдовательности этихъ положеній, бореній и снятій проторгается живая истина, что это ея змѣнная шкура, изъ которыхъ она выходитъ свободнѣе и свободнѣе. Они (не смотря на то, что толкують о чемъ-то подобномъ) не могутъ привыкнуть, что въ развитіи науки нѣ на что опереться, что одно спасеніе въ быстромъ, стремительномъ движеніи. Они цѣпляются за каждый моментъ, какъ за истину; какое-нибудь одностороннее опредѣленіе принимаютъ за всѣ опредѣленія предмета, имъ надобны сентенціи, готовые правила; пробравшись до станціи, они, смѣшно-довѣрчивые, полагають всякій разъ, что достигли абсолютной цѣли и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста, и оттого не могутъ усвоить себѣ его. Мало понимать то, что сказано, что написано: надобно понимать то, что свѣтится въ глазахъ, что вѣетъ между строкъ, надобно такъ усвоить себѣ книгу, чтобъ выйти изъ нея. Такъ понимаетъ *живущій* науку; пониманіе есть обличеніе однородности, которая предсуществуетъ. Наука живому передается жизненно, формалисту—формально. Посмотрите на Фауста и его фамулуса: Фаусту наука—жизненный вопросъ «быть или не быть»; онъ можетъ глубоко падать, унывать, впадать въ ошибки, искать всякихъ наслажденій, но его натура глубоко проникаетъ за кору внѣшности, его ложь имѣетъ болѣе истины въ себѣ, нежели плоская, непогрѣшительная правда Вагнера. Трудное Фаусту легко Вагнеру. Вагнеръ удивляется, какъ Фаустъ не понимаетъ простыхъ вещей. Надо имѣть много ума, чтобъ не понять иного. Вагнера наука не мучить, напротивъ, утѣшаетъ, успокоиваетъ, отраду въ скорби подаетъ. Онъ покой свой купилъ на мѣдные гроши, оттого что онъ не беспокоился собственно никогда. Гдѣ онъ видѣлъ единство, примиреніе, разрѣшеніе и улыбался, тамъ Фаустъ видѣлъ расторженіе, ненависть, усложнившійся вопросъ — и страдалъ.

Каждый занимающійся *проходитъ* черезъ формализмъ, это одинъ изъ моментовъ становленья; но имѣющій живую душу проходитъ, а формалистъ остается; для одного формализмъ ступень, для другого цѣль. Такъ, природа, достигая совершенія своего въ человѣкѣ, останавливается на каждой попыткѣ, увѣковѣчивая ее

¹⁾ Напримѣръ, во всемъ предисловіи въ „Феноменологія“.

родомъ, вѣчно свидѣтельствующимъ о пройденномъ моментѣ, который для него высшая, единая форма бытія. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться, не дойдя до послѣднихъ слѣдствій, заключенныхъ въ ихъ понятіи. Природа перешла себя въ чело-вѣкъ, или наступила себѣ на грудь. Наука нынче представляетъ то же зрѣлище: она достигла высшаго призванія своего; она явилась солнцемъ всеосвѣщающимъ, разумомъ факта и, слѣдственно, оправданіемъ его. Но она не остановилась, не сѣла отдыхать на тронѣ своего величія; она перешла свою высшую точку и указываетъ путь изъ себя въ жизнь практическую, сознаваясь, что въ ней не весь духъ человѣческой исчерпанъ, хотя и весь понятъ. Она этимъ погруженіемъ въ жизнь не потеряетъ своего трона: однажды побѣжденное въ этихъ сферахъ—побѣждено на вѣки; но и чело-вѣкъ не потеряетъ въ ней остальныхъ обитателей жизни. Правовѣрные буддисты больше самой науки за науку, они рѣшились умереть, защищая единодержавное владычество ея надъ жизнью. «Наука есть наука и единый путь ея абстракція»—это стихъ ихъ Корана. Они на все отвѣчаютъ громкими словами и вмѣсто того, чтобъ наполнить въ самомъ дѣлѣ пропасти, дѣляція сферы отвлеченныя отъ дѣйствительныхъ, противорѣчія въ жизни и мышленіи, прикрываютъ ихъ легкими тканями искусственной діалектической *фіоритурь*. Растягивать все сущее на одрѣ формализма не трудно для тѣхъ, кто не внемлетъ никакому протесту со стороны сущаго. Профаны дивятся иногда, какъ самые странные факты, чрезвычайныя явленія легко покоряются у формалистовъ общимъ законамъ, дивятся,—а между тѣмъ чувствуютъ, что при этомъ сдѣланъ какой-то фокусъ—изумительный, но непріятный для того, кто ищетъ добросовѣстнаго и дѣльнаго отвѣта. Формалистовъ, съ грѣхомъ пополамъ, можно оправдать только тѣмъ, что они себя первыхъ обманываютъ своими фокусами. Вольтеръ рассказываетъ, какъ докторъ увѣрялъ зрячаго, что онъ слѣпъ, доказывая ему, что неразумный фактъ его зрѣнія нисколько не противорѣчитъ его выводу, и что онъ все-таки принимаетъ его за слѣпного. Такъ новые буддисты разговаривали съ германцами до тѣхъ поръ, пока, не смотря на всю тихую и добрую натуру свою, пѣмцы догадались, въ чемъ дѣло. А дѣло въ томъ, что факты имъ и не покоряются вовсе. Они, какъ китайскій императоръ, считаютъ себя владѣтелями всего земного шара, что однакожъ не мѣшаетъ всему земному шару, за исключеніемъ Китая, вовсе не зависѣть отъ него.

Дилетанты, находящіеся внѣ науки, могутъ иногда образумиться и въ самомъ дѣлѣ заняться наукой, по крайней мѣрѣ, могутъ *оставаться въ подозрѣніи*, что съ ними случится такой переворотъ. Формалистовъ въ этомъ никакъ заподозрить нельзя,

они удовлетворились, покойны, дальше идти не могут; они не знают и не могут себя представить, что есть дальше. Неизлечимо отчаянное положение их состоитъ въ этомъ чрезвычайномъ довольствѣ; они совсѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое изнутри; имъ осталось поживать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочуть, когда все объяснено, сознано, и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія ¹⁾,—что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ, но какъ ея результатъ, т. е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутишь, они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду или прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобъ они не потеряли силъ. Они скажутъ, что это случайность. Спросите ихъ, какъ они слово абсолютное привязываютъ къ развивающимся событіямъ, къ сферамъ, которыя своимъ движеніемъ впередъ доказываютъ свою неабсолютность. «Да такъ сказано въ такомъ-то и такомъ-то параграфѣ». Для нихъ и это доказательство, а въ какомъ смыслѣ принято слово въ этихъ параграфахъ,—объ этомъ нечего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистовъ трудно; они рѣшительно, какъ буддисты, мертвое уничтоженіе въ безконечномъ считаютъ свободой и цѣлью, и чѣмъ выше поднимаются въ морозныя сферы отвлеченій, отрываясь отъ всего живого, тѣмъ покойнѣе себя чувствуютъ. Такъ эгоисты доставляютъ себѣ своего рода спокойное счастье, заглушая всѣ человѣческія чувства, удаляя отъ себя все непріятное, огорчительное. Но для эгоизма, какъ для формализма, надобно родиться. Всякій можетъ отвернуться отъ картины страданій, но не всякій перестаетъ стонать отъ этого. Гегель (подъ фирмою котораго идутъ всѣ нелѣпости формалистовъ нашего времени, такъ, какъ подъ фирмой Фарина продается одеколонъ, дѣлаемый на всѣхъ точкахъ нашей планеты) вотъ какъ говорить о формализмѣ ²⁾: «Нынче главный трудъ состоитъ не въ томъ, чтобъ очистить отъ чувственной непосредственности лицо и развить его въ мыслящую сущность, но болѣе въ противоположномъ, въ одѣйствованіи всеобщаго чрезъ снятіе отвердѣлыхъ, опредѣленныхъ мыслей. Но гораздо труднѣе сдѣлать текучими твердыя мысли, нежели чувственную вещественность.....»

¹⁾ Это не выдумка, а сказано въ Байергоферовой «Исторіи философіи» (*Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer. Leipzig. 1838. Послѣдняя глава*).

²⁾ *Phenomenologie. Vorrede.*

Формализмъ принимаетъ отвлеченную всеобщность за безусловное; онъ увѣряетъ, что быть неудовлетвореннымъ ею—доказываетъ неспособность подняться на безусловную точку зрѣнія и держаться на высотѣ ея. Онъ все приписываетъ всеобщей идеѣ въ ея недѣйствительной формѣ и принимаетъ за спекулятивность бросанье и низверженье всего въ пропасть этой страшной пустоты. Разсужденіе чего-либо сущаго въ безусловномъ сводится на то, что въ немъ все одинаково, и безусловное дѣлается, такимъ образомъ, ночью, въ которой всѣ коровы черныя. Если нѣкогда людямъ показалось возмутительно принять безусловное за субстанцію, то долею основа этого отвращенія лежала въ инстинктуальномъ прозрѣніи, что самопознаніе потеряно, а не сохранено въ субстанціи: обратное воззрѣніе, останавливающее мышленіе, какъ мышленіе, всеобщее, какъ таковое, есть опять безразличная неподвижная субстанціальность. Даже, если мышленіе соединяетъ бытіе субстанціи съ собою и непосредственное воззрѣніе (*das Anschauen*) постигаетъ, какъ мышленіе, то и тутъ все зависитъ отъ того, не впадаетъ ли это умозрѣніе въ лѣнивое однообразіе, и не представится ли дѣйствительность недѣйствительнымъ образомъ. Въ философіи права Гегель говоритъ: «между самопознаніемъ и дѣйствительностью всего чаще становится отвлеченность, не освободившаяся въ понятіе». Читая эти и подобныя мѣста, съ изумленіемъ спрашиваешь, какъ добрые люди всю жизнь читаютъ Гегеля и не понимаютъ. Человѣкъ читаетъ книгу, но понимаетъ собственно то, что въ его головѣ. Это зналъ тотъ китайскій императоръ, который, учившись у миссіонера математикѣ, послѣ всякаго урока благодарилъ, что онъ *напомнилъ* ему забытыя истины, которыя онъ не могъ не знать, будучи раг *métier* всезнающимъ сыномъ неба. Въ самомъ дѣлѣ такъ. Читая Гегеля, только то понимаютъ, что онъ напоминаетъ, то, что неразвито предсуществовало чтенію. Дѣло книги собственно акушерское дѣло—способствовать, облегчить рожденіе, но что родится, за это акушеръ не отвѣчаетъ.

Не надобно, впрочемъ, думать, чтобъ Гегель самъ не впадалъ много разъ въ *нѣмецкую* болѣзнь, состоящую въ признаніи вѣдѣнія послѣдней цѣлью всемірной исторіи. Онъ это гдѣ-то прямо сказалъ ¹⁾. Мы говорили въ третьей статьѣ о томъ, что Гегель часто непослѣдователенъ своимъ началамъ. Никто не можетъ стать выше своего времени. Въ немъ наука имѣла величайшаго представителя; доведя ее до крайней точки, онъ нанесъ ея могуществу, какъ исключительному, можетъ нехоты, сильный ударъ, ибо каждый шагъ, впередъ долженствовалъ быть шагомъ въ практическія сферы. Ему лично довѣло знаніе, и потому онъ не сдѣлалъ этого шага.

1) Помнится въ «Исторіи философіи».

Наука была для германо-реформаціоннаго міра то, что искусство для эллинскаго. Но ни искусство, ни наука въ своей исключительности не могли служить полнымъ успокоеніемъ и отвѣтомъ на все требованія. Искусство представило, наука поняла. Новый вѣкъ требуетъ совершить понятое въ дѣйствительномъ мірѣ событій. Геніальная натура Гегеля непрерывно порывала путы, накладываемыя духомъ времени, воспитаніемъ, привычкой, образомъ жизни, званіемъ профессора. Посмотрите, какъ торжественно развертывается у него философія права; не фразу, не выраженіе намѣрены мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги.

Области отвлеченнаго права разрѣшаются, снимаются міромъ нравственности, царствомъ нормъ, правомъ, просвѣтленнымъ для себя. Но Гегель этимъ не оканчиваетъ, а устремляется съ высоты идеи права въ потокъ всемірной исторіи, въ океанъ исторіи. Наука права совершается, вѣнчается, выходитъ изъ себя. Процессъ развитія личности тотъ же самый. Мутныя индивидуальности, вырабатываясь изъ естественной непосредственности, туманомъ поднимаются въ сферу всеобщаго и просвѣтленныя солнцемъ идеи разрѣшаются въ безконечной лазури всеобщаго; но онѣ не уничтожаются въ ней, принявъ въ себя всеобщее, онѣ низвергаются благодатнымъ дождемъ, чистыми кристалльными каплями на прежнюю землю. Все величіе возвращенной личности состоитъ въ томъ, что она сохранила оба міра, что она родъ и недѣлимое вмѣстѣ, что она *стала* тѣмъ, чѣмъ родилась или, лучше, къ чему родилась—сознательной связью обоихъ міровъ; что она постигла свою всеобщность и сохранила единичность. Развитая такимъ образомъ, личность самое вѣдѣніе принимаетъ за непосредственность *высшаго порядка*, а не за совершеніе судеб. Возвращеніе есть діалектическое движеніе столь же необходимое, какъ восхожденіе. Пребываніе во всеобщемъ—покой, то есть смерть; жизнь идеи есть «вакхическое опьяненіе, въ которое все увлечено, непрерывное возникновеніе и уничтоженіе, никогда не останавливающееся и спокойное только въ этомъ движеніи». Еще разъ, всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ея, въ которой частное распустилось, а процессъ перехода уже совершился. Всеобщее представляетъ довременный или послѣвременный покой, но идея не можетъ пребывать въ покоѣ, она сама собою выходитъ изъ области всеобщаго въ жизнь.

Полное *trio*, согласное и величественное, звучитъ только во всемірной исторіи, только въ ней живетъ идея полною жизнью; внѣ—ея отвлеченности, стремящіяся къ полнотѣ, алкающія другъ друга. Непосредственность и мысль—два отрицанія, разрѣшающіяся въ дѣяніи исторіи. Единое для того расторгнулось въ противоположное, чтобъ соединиться въ исторіи. Природа и логика сняты и осуществлены ею. Въ природѣ все частно, индивиду-

*

ально, врозь суще, едва обнято вещественною связью; въ природѣ идея существуетъ тѣлесно, безсознательно, подчиненная закону необходимости и влеченіямъ темнымъ, не снятымъ свободнымъ разумѣніемъ. Въ наукѣ, совсѣмъ напротивъ: идея существуетъ въ логическомъ организмѣ, все частное заморено, все проникнуто свѣтомъ сознанія, *скрытая* мысль, волнуемая и приводящая въ движеніе природу, освобождаясь отъ физическаго бытія развитіемъ его, становится *открытой* мыслью науки. Какъ бы полна ни была наука, ея полнота отвлеченна, ея положеніе относительно природы отрицательно; она это знала со времени Декарта, ясно противопоставившаго мышленіе факту, духъ—природѣ. Природа и наука, два выгнутыя зеркала, вѣчно отражающія другъ друга; фокусъ, точку пересѣченія и сосредоточенности между оконченными мірами природы и логики, составляетъ личность человѣка. Природа, собираясь на каждой точкѣ, углубляясь болѣе и болѣе, оканчиваетъ человѣческимъ я; въ немъ она достигла своей цѣли. Личность человѣка, противопоставляя себя природѣ, борясь съ естественною непосредственностью, развертываетъ въ себѣ родовое, вѣчное, всеобщее, разумъ. Совершеніе этого развитія — цѣль науки.

Вся прошедшая жизнь человѣчества, сознательно и безсознательно, имѣла идеаломъ стремленіе достигнуть разумнаго самопознанія и поднятія воли человѣческой къ волѣ божественной; во всѣ времена человѣчество стремилось къ нравственно-благому, свободному дѣянію. Такого дѣянія въ исторіи не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука; безъ вѣдѣнія, безъ полнаго сознанія нѣтъ истинно свободного дѣянія; но полнаго сознанія въ прошедшей жизни человѣческой не было. Наука, приводя къ нему, оправдываетъ исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ отрекается отъ нея; истинное дѣяніе не требуетъ для своего оправданія предыдущаго событія, исторія для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо въ генетическомъ смыслѣ, но самобытность и самоозаконеніе грядущее столько же будетъ имѣть въ себѣ, какъ въ исторіи. Грядущее отнесется къ былому, какъ совершеннолѣтній сынъ къ отцу; для того, чтобъ родиться, для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, ему нуженъ воспитатель, ему нуженъ отецъ; но ставши человѣкомъ, связь съ отцомъ мѣняется, — дѣлается выше, полнѣе любовью, свободнѣе. Лессингъ назвалъ развитіе человѣчества воспитаніемъ — выраженіе невѣрное, если взять его безусловно, но въ извѣстныхъ предѣлахъ оно удачно. Въ самомъ дѣлѣ, человѣчество доселѣ имѣетъ ясные признаки несовершеннолѣтія; оно мало-по-малу воспитывается въ сознаніе. Единство этой педагогіи теряется для неглубокаго взгляда за пышностью и много-

образемъ, за роскошью творчества, за избыткомъ формъ и силъ, повидимому, ненужныхъ и противоборствующихъ. Но таковъ инстинктуальный путь развитія естественнаго, безсознательнаго къ сознанию, къ себяобладанію. Обратимся къ природѣ: не ясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь къ цѣли ей неизвѣстной, но которая, съ тѣмъ вмѣстѣ, есть причина ея волненія,—она тысячею формами домогается до сознанія, одѣйствоворяетъ всѣ возможности, бросается во всѣ стороны, толкается во всѣ ворота, творя безчисленные варіаціи на одну тему. Въ этомъ поэзія жизни, въ этомъ свидѣтельство внутренняго богатства. Каждая степень развитія въ природѣ есть вмѣстѣ и цѣль, относительная истина; она звено въ цѣпи, но кольцо для себя. Влекумая непонятной, великой тоской, природа возвышается отъ формы въ форму; но переходя въ высшее, она упорно держится въ прежней формѣ и развиваетъ ее до послѣдней крайности, какъ будто все спасеніе въ этой формѣ. И въ самомъ дѣлѣ, достигнутая форма великая побѣда, торжество и радость: она всякій разъ высшее, *что есть*. Природа выступаетъ изъ нея во всѣ стороны ¹⁾. Оттого такъ тщетно искали вытянуть всѣ произведенія ея въ мертвую прямолинейность; у ней нѣтъ правильной табели о рангахъ. Произведенія природы не составляютъ одну лѣстницу; нѣтъ, они представляютъ лѣстницу и то, что идетъ по лѣстницѣ; каждая ступень вмѣстѣ и средство, и цѣль, и причина. *Idemque rerum naturæ opus et rerum ipsa natura*, какъ сказалъ Плиніи.

Исторія человѣчества продолженіе исторіи природы; многообразіе, разнородность, встрѣчаемая въ исторіи, поразительны: область стала шире, вопросъ выше, средства богаче, задняя мысль яснѣе,—какъ же не усложниться путямъ? Развитіе съ каждымъ шагомъ становится глубже и съ тѣмъ вмѣстѣ сложнѣе: всего проще камень, спокойно отдыхающій на начальныхъ ступеняхъ. Гдѣ начинается сознаніе, тамъ начинается нравственная свобода; каждая личность одѣйствоворяетъ *по-своему* призваніе, оставляя печать своей индивидуальности на событіяхъ. Народы—эти колоссальные дѣйствующія лица всемірной драмы—исполняютъ дѣло всего человѣчества, какъ *свое дѣло*, придавая тѣмъ художественную оконченность и жизненную полноту дѣяніямъ. Народы представляли бы нѣчто жалкое, если-бъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему; они были бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути, а руно несомое другимъ. Природа не посту-

¹⁾ Великая мысль Бюффона: «La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tout sens».

паетъ такъ съ своими безсознательными дѣтьми, — какъ мы замѣтили; тѣмъ болѣе въ мірѣ сознанія не можетъ быть степени, которая не имѣла бы собственнаго удовлетворенія. Но духъ человѣчества, нося въ глубинѣ своей непреложную цѣль, вѣчное домогательство полнаго развитія, не могъ успокоиться ни въ одной изъ бывшихъ формъ; въ этомъ тайна его трансценденціи, его перехватывающей личности (*übergreifende Subjectivität*). Не забудемъ однако, что каждая изъ бывшихъ формъ имѣла содержаніемъ его, и не было духу иной формы, какъ той, за грани которой онъ перешелъ, только потому, что онъ доросъ до нея, былъ ею и переросъ ее. Исторія дѣянія духа, такъ сказать, личность его, ибо «онъ есть то, что дѣлаетъ»¹⁾ — стремленіе безусловнаго примиренія, осуществленіе всего, что есть за душою, освобожденіе отъ естественныхъ и искусственныхъ путей. Каждый шагъ въ исторіи, поглощая и осуществляя *весь* духъ своего времени, имѣетъ свою полноту, однимъ словомъ, личность, кипящую жизнью.

Народы, ощущая призваніе выступить на всемірно-историческое поприще, услышавъ гласъ, возвѣщавшій, что часъ ихъ насталъ, проникались огнемъ вдохновенія, оживали двойною жизнью, являли силы, которыми никто не смѣлъ бы предполагать въ нихъ и которые они сами не подозрѣвали; степи и лѣса обстроивались всеями, науки и искусства расцвѣтали, гигантскіе труды совершались для того, чтобъ приготовить караванъ-сарай грядущей идеѣ, а она — величественный потокъ — текла далѣе и далѣе, захватывая болѣе и болѣе пространства. Но эти караванъ-сарай не внѣшнія гостиницы идеи, а ея плоть, безъ которой она не могла бы осуществиться, — чрево матери, принявшее прошедшее для будущаго, но и живое своею жизнью; каждая фаза историческаго развитія имѣла сама въ себѣ цѣль и, слѣдственно, награду и удовлетвореніе. Для греческаго міра, его призваніе было безусловно; за предѣлами своего міра, онъ ничего не видалъ и не могъ видѣть, ибо тогда *не было* еще будущаго. Будущее возможность, а не дѣйствительность: его собственно нѣтъ. Идеаль для всякой эпохи — она сама, очищенная отъ случайности, преображенное созерцаніе настоящаго. Разумѣется, чѣмъ всеобъемлемѣе и полнѣе настоящее, тѣмъ всемірнѣе и истиннѣе его идеаль. Такова наша эпоха. Народы, глядя на совершеніе судебъ человѣчества, не знали аккорда, связывавшаго ихъ звуки въ единую симфонію; Августинъ на развалинахъ древняго міра возвѣстилъ высокую мысль о веси Господней, къ построенію которой идетъ человѣчество, и указалъ вдали торжественную субботу успокоенія. Это было поэтико-религіозное начало

¹⁾ Philosophie des Rechts.

философіи історіи; оно очевидно лежало въ христіанствѣ, но долго не понимали его; не болѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, чело-вѣчество подумало и въ самомъ дѣлѣ стало спрашивать отчета въ своей жизни, провидя, что оно не даромъ идетъ и что біографія его имѣетъ глубокой и единый всесвязывающей смыслъ. Этимъ совершеннолѣтнимъ вопросомъ оно указало, что воспитаніе оканчивается. Наука взялась отвѣчать на него; едва она высказала отвѣтъ, явилась у людей потребность выхода изъ науки, — второй признакъ совершеннолѣтія. Но для того, чтобы своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полнотѣ свое призваніе; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознаніемъ, — внѣшнее будетъ противо-дѣйствовать. Число неподвижныхъ звѣздъ становится менѣе и менѣе, но онѣ еще есть. Воспитаніе предполагаетъ внѣ-сущую, готовую истину; съ того мгновенія, какъ чело-вѣкъ пойметъ истину, она будетъ у него въ груди, и тогда дѣло воспитанія исчерпано, — дѣло сознательнаго дѣянія начнется. Изъ вратъ храма науки чело-вѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ чело-мъ, вдохновенное сознаніемъ: *omnia sua secum portans* — на творческое соз-даніе вѣси Божіей. Примиреніе науки вѣдѣніемъ сняло противо-рѣчія. Примиреніе въ жизни сниметъ ихъ блаженствомъ ¹⁾. При-миреніе въ жизни есть плодъ другого древа эдемскаго, его надобно было заслужить Адаму въ кровавомъ потѣ, въ тяжкихъ трудахъ, — и онъ заслужилъ его.

Но какъ будетъ это? Какъ именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы — послышки, на которыхъ оснуется его силлогизмъ, но только общимъ, отвлечен-нымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженія. Но вѣра въ будущее наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему.

И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣя-ніями.

23 марта. 1843.

¹⁾ При этомъ невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: «*Beatitudo non est virtutis præmium. sed ipsa virtus.*»

Публичныя чтенія г. Грановскаго.

(Письмо въ Петербургъ).

Письмо первое.

Новаго въ нашемъ литературно-ученомъ мѣрѣ немного. Предвижу вашу улыбку при этомъ словѣ. «Въ Москвѣ лѣнятся, въ Москвѣ отдыхаютъ передъ трудомъ». Такъ и нѣтъ. Правда, въ Москвѣ говорятъ больше, нежели пишутъ, думаютъ больше, нежели работаютъ, въ Москвѣ иногда лучше любятъ ничего не дѣлать, нежели дѣлать *ничего*. Правда и то, что иной разъ сквозь видимую апатію прорывается вдругъ какое-нибудь явленіе прекрасное и глубоко-знаменательное, трудъ разумный и отчетливый, не механической продуктъ фабрично-искусственной дѣятельности, а дѣяніе поэтическое и свободное. Къ такимъ явленіямъ отношу и публичный курсъ исторіи среднихъ вѣковъ г. Грановскаго. Въ самомъ событіи этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: въ то время, когда трудный вопросъ объ истинномъ отношеніи западной цивилизаціи къ нашему историческому развитію занимаетъ всѣхъ мыслящихъ и разрѣшается противоположно, является одинъ изъ молодыхъ преподавателей нашего университета на кафедрѣ, чтобы передать живымъ словомъ исторію того оконченнаго отдѣла судебъ міра германо-католическаго, котораго самобытно-развивающаяся Россія не имѣла. Г. Грановскій, года три тому назадъ оставившій скамьи лучшихъ германскихъ университетовъ, посвятившій жизнь свою глубокому изученію европейской исторіи, выходитъ передъ московскимъ обществомъ не какъ адвокатъ среднихъ вѣковъ, а какъ заявитель великаго ряда событій, въ ихъ органической связи съ судьбами всего человѣчества; его чтенія не могутъ быть разрѣшеніемъ вопроса, но должны внести въ него новыя данныя; онъ въ правѣ требовать, чтобы, желая осуждать и отталкивать цѣлую фазу жизни

человѣчества, выслушали, но крайней мѣрѣ, симпатическій разсказъ о ней. Благородную симпатію къ своему предмету мы видѣли, глубоко-тронутые, въ первыхъ прекрасныхъ словахъ, которыми открылъ г. Грановскій курсъ свой. Эта симпатія—великое дѣло: въ наше время глубокое уваженіе къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрятъ на европейское, какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловѣческомъ утратить русское. Генезисъ такого воззрѣнія понятенъ,—но и неправда его очевидна. Человѣкъ, любящій другого, не перестаетъ быть самимъ собою, а расширяется всеѣмъ бытіемъ другого; человѣкъ, уважающій и признающій права ближняго, не лишается своихъ правъ, а неизбежно укрѣпляетъ ихъ. Мы должны уважить и оцѣнить скорбное и трудное развитіе Европы, которая такъ много даетъ намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человѣческаго, которое раскрываетъ въ мнимомъ врагѣ—брата, въ расторженіи—миръ: одно сознаніе этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный, потомъ и кровью, Западомъ; это сознаніе, съ нашей стороны, есть вмѣстѣ мысль и любовь, —оттого оно такъ легко; логика и симпатія всего менѣе тѣснятъ человѣка: человѣкъ созданъ, чтобъ думать и любить. Первые слова Грановскаго, проникнутыя любовью, проникнутыя мыслию, заставили меня ожидать многого отъ его чтеній!

И какою блестящей аудиторіей наградила Москва человѣка, обѣщавшаго ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка,—этихъ каменныхъ представителей замкнутой въ себѣ и оконченной эпохи. Да, московское общество самымъ лестнымъ образомъ оцѣнило приглашеніе доцента: благороднѣйшіе представители этого общества (мы говоримъ о дамахъ образованнѣйшаго круга) сѣли на скамьяхъ студентовъ и слушали,—и слушали въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли это. И послѣ этого говорите, что всеобщіе интересы не имѣютъ глубокихъ корней въ публикѣ: она съ необыкновеннымъ тактомъ оцѣнила всю современность живой, всенародной рѣчи объ исторіи. Въ наше время исторія поглотила вниманіе всего человѣчества, и тѣмъ сильнѣе развивается жадное пытаніе прошедшаго, чѣмъ яснѣе видятъ, что бывшее пророчествуетъ, что, устремляя взглядъ назадъ, мы, какъ Янусъ, смотримъ впередъ. Духъ, понимая свое достоинство, хочетъ оправдать свою біографію, освѣтить ее восходящимъ солнцемъ мысли, освободить отъ могильнаго тлѣна бессмертную душу прошедшаго, какъ то наслѣдіе его, которое не точится молью. Исторія, если не страшный судъ человѣчества, то страшное оправданіе, всеѣхъ-скорбящее прощеніе его. Исторія — чистилище, въ которомъ мало-по-малу временное и случайное воскре-

саетъ вѣчнымъ и необходимымъ, тѣло смертное преобразуется въ тѣло безсмертное. Память человѣчества есть память поэта и мыслителя, въ которой прошедшее живетъ какъ художественное произведеніе.

Но что же новаго скажетъ г. Грановскій? Развѣ мало писано объ исторіи среднихъ вѣковъ, начиная съ французовъ XVIII столѣтія, не понимавшихъ прошедшаго, и до Лео, который не понимаетъ настоящаго? Человѣчество, въ разные эпохи, въ разныхъ странахъ, оглядываясь назадъ, видитъ прошедшее, но самымъ образомъ восприниманія и отраженія его раскрываетъ само себя. Чтобъ привести первый примѣръ, попавшій въ голову, вспомните, какимъ рядомъ метемпсихозъ гомерическіе и софокловскіе герои перешли сквозь душу Сенеки, Расина, Альфиера, Гёте. Самъ Грановскій сказалъ, что ни въ чемъ такъ ярко не выражается характеръ народа, какъ въ пониманіи исторіи. Я совершенно согласенъ съ нимъ и потому именно придаю такое значеніе его чтеніямъ. Для насъ вѣка готическіе не имѣютъ того смысла, какъ для западнаго европейца: архитектура *оживы* не напоминаетъ намъ ни отчаго дома, ни храма Божьяго; рыцарскія поэмы и западныя легенды не похожи на наши колыбельныя пѣсни; для насъ средніе вѣка имѣютъ иной интересъ, чисто-человѣческой, безкорыстной, отрѣщенный отъ всякой непосредственности. Мы породнились съ Европой, когда феодализмъ, послѣдовательный и неумолимый въ консеквентности, своими ногами сталъ себѣ на грудь, своимъ языкомъ громкогласно отрекся отъ своихъ родителей, и, забывъ свое сердце, положилъ краеугольнымъ камнемъ новаго зданія свою голову, посядѣвшую отъ мысли. Мы сначала узнали новую Европу, а потомъ справились о ея происхожденіи. Оттого нашъ взглядъ на прошедшее Европы—не можетъ быть взглядомъ старшихъ европейцевъ. Западно-европейскій историкъ—судья и тяжущійся вмѣстѣ, въ немъ не умерли семейныя ненависти и распри, онъ человѣкъ какой-нибудь стороны,—иначе онъ апатическій эгоистъ; онъ слишкомъ вросъ въ послѣднюю страницу исторіи европейской, чтобъ не имѣть непосредственнаго сочувствія съ первою страницей и со всеми остальными. Нѣтъ положенія объективнѣе относительно западной исторіи, какъ положеніе русскаго. Насколько Грановскій въ своихъ чтеніяхъ удовлетворитъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя я предъявляю, — увидимъ впоследствии; но первая лекція — ключъ къ курсу; онъ благородно и прямо указалъ основанія, на которыхъ будетъ читать: они широки, современны и проникнуты любовью.

Первая лекція была посвящена изложенію развитія науки исторіи; г. Грановскій остановился, кажется, на Фихте. Два частныя замѣчанія я сдѣлалъ бы ему: онъ слишкомъ скудно опредѣ-

лилъ вліяніе Канта на исторію и все еще, по старой привычкѣ, слишкомъ много приписываетъ Гердеру. Гердеръ былъ прекрасное явленіе въ германской беллетристикѣ; симпатической чело-вѣкъ, открытый всѣмъ интересамъ искусства и науки, всему сочувствовавшій и ничего не знавшій основательно; окруженный толпою нѣмецкихъ педантовъ и цеховыхъ ученыхъ того времени, онъ могъ сосредоточить на себѣ любовь современниковъ и даже заставить ихъ повѣрить въ свое глубокомысліе,—но онъ мыслить фантазіей, онъ былъ поэтъ и дилетантъ въ наукѣ, и оттого не былъ двигателемъ. Что же касается до Канта, то дѣло совѣмъ не въ томъ, что онъ писалъ объ исторіи, но какой онъ далъ мощный толчекъ всему разумѣнію человѣческому; кантіанизмъ отразился во всѣхъ сферахъ мысли—и во всѣхъ сдѣлалъ пере-воротъ. Исторія не могла быть изъята, и дѣйствительно Шиллеръ пошелъ отъ кантіанизма—и развилъ его до своихъ писемъ объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества. А эта диссертація въ письмахъ—колоссальный шагъ въ развитіи идеи исторіи.

Но на сей разъ довольно. Если что-нибудь не воспрепят-ствуетъ, я доставлю вамъ общій обзоръ лекцій и нѣсколько част-ныхъ замѣчаній. Надѣюсь, что г. Грановскій не подастъ на меня въ судъ челобитную, какъ Шеллингъ на Паулуса. Мы, русскіе, какъ-то не привыкли свою мысль, свое слово считать товаромъ, личной собственностью.—Г. Грановскій читаетъ довольно тихо, органъ его бѣденъ, но какъ богато искушается этотъ физическій недостатокъ прекраснымъ языкомъ, огнемъ связующимъ его рѣчь, полнотою мысли и полнотою любви, которые очевидны не только въ словахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. Въ слабомъ голосѣ его есть нѣчто, проникающее въ душу, вызываю-щее вниманіе. Въ его рѣчи много поэзіи и ни малѣйшей изыскан-ности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ лицѣ видна вну-тренняя добросовѣстная работа. Вотъ все, что я могу вамъ сооб-щить.

Рама, назначенная г. Гр., обширна: онъ хочетъ прочесть исторію среднихъ вѣковъ до конца, то есть, до того времени, какъ католицизмъ развился въ Лютера, феодалная раздроблен-ность въ самодержавную централизацію, и Европа стала до того тѣсна вновь развивающемуся міру, что великій генуэзец отпра-вился искать Новый Свѣтъ. Прощайте!—жду извѣстія о вашихъ университетскихъ и литературныхъ событіяхъ.

Письмо второе.

Публичныя чтенія Грановскаго кончились: въ ухахъ моихъ еще раздается дрожащій отъ внутренняго волненія, глубоко потрясенный отъ сильнаго чувства, голосъ, которымъ онъ благодарилъ слушателей, и дружный, громкій, продолжительный отвѣтъ, которымъ аудиторія прогремѣла ему свою благодарность.—«Благодарю еще разъ, благодарю тѣхъ, которые, сочувствуя мнѣ, раздѣлили добросовѣтность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность!» Этими прекрасными словами заключилъ Грановскій свой курсъ. Вы помните, что, послѣ перваго чтенія, я рѣшился назвать событіемъ замѣчательнымъ этотъ курсъ, — теперь я имѣю нѣкоторое право сказать, что не ошибся. Участіе къ чтеніямъ г-на Грановскаго безпрерывно возрастало, его катедра была постоянно окружена тройнымъ вѣнкомъ дамъ, и замѣтите, доцентъ читалъ свой предметъ со всею важною наукой, не разсыпая ненужныхъ цвѣтовъ, не жертвуя глубиною для пріятной легкости. Мнѣ кажется, ничѣмъ не могъ онъ болѣе выразить своего уваженія и благодарности слушательницамъ, посѣщавшимъ его чтенія,—и онѣ были ему признательны. Слава Богу, проходитъ время того оскорбительнаго вниманія къ женщинѣ, когда для нея, рядомъ съ дѣльнымъ изложеніемъ науки, излагали предметъ намѣренно-искаженнымъ образомъ, считая одинъ мужской умъ способнымъ къ глубокомыслию.

Московское общество узнало, сидя на университетскихъ скамьяхъ, новое увлекательное и сильно-занимающее наслажденіе; преподавателямъ открылась очевидная возможность новаго дѣйствования и указанъ путь, по которому достигается сочувствіе. Я увѣренъ, что, съ легкой руки Грановскаго, начнутся въ нашемъ университетѣ публичныя чтенія о предметахъ, равно исполненныхъ общаго интереса,—новое сближеніе города съ университетомъ. У насъ не можетъ быть науки, разъединенной съ жизнью: это противно нашему характеру: потому всякое сближеніе университета съ обществомъ имѣетъ значеніе и важно для обоихъ. Преподаваніе, для пріобрѣтенія сочувствія, должно очиститься отъ школьнаго формализма; оно должно изъ холодной замкнутости сухихъ односторонностей выйти въ жизнь дѣйствительности, взволноваться ея вопросами, устремиться къ ея стремленіямъ. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться въ среду

общихъ интересовъ для того, чтобъ слушать преподаваніе. Оно готово это сдѣлать. Тактъ общества вѣренъ: все живое и сочувствующее ему находитъ въ немъ неминуемое признаніе,—курсъ Грановскаго лучшее доказательство. У насъ публичныя чтенія въ такомъ родѣ—новость. Весьма можетъ быть, что часть публики сначала явилась послушнѣе, ради новости; но послѣ первыхъ трехъ, четырехъ чтеній аудиторія была совершенно симпатично настроена, вниманіе дѣятельное, напряженное видѣлось на всѣхъ лицахъ; это сочувствіе сильно отразилось на преподаваніи. Между слушателями и преподавателемъ (если въ самомъ дѣлѣ одни слушаютъ, а другой преподастъ) образуется необходимо магнитическая связь, съ обѣихъ сторонъ дѣятельная; сначала они будто чужіе другъ другу, но мало-по-малу между ними устанавливается уровень, и когда онъ приходитъ въ сознаніе обоихъ, тогда взаимодѣйствіе растетъ быстро, слова увлекаютъ слушателей, и аудиторія, срастающаяся въ одно нравственное лицо, увлекается говорящаго. Скажу прямо и знаю, что Грановскій не обидится этимъ: онъ видимо развивался, читая, онъ росъ, крѣпнулъ на кафедрѣ. Слушатели не отстали отъ него: аудиторія и доцентъ разстались друзьями, глубоко-тронутые, глубоко-уважающіе другъ друга, они разстались со слезами на глазахъ.

Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ, онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ, но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества далека была отъ его научно-образнаго взгляда, онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть, сквозь туманныя испаренія временнаго, просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли,—великое дѣло для историка. Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго, живо представлялся мнѣ Горацио, съ стѣсненнымъ сердцемъ повѣстующій повѣсть о Гамлетѣ, возлѣ помоста, на которомъ покоится тѣло его. Въ Горацио и мысли нѣтъ воскресить принца, смерть Гамлета для него событіе, онъ самъ сквозь слезы указываетъ на

юнаго Фортинбраса, которому завѣщана кровавая порфира, но онъ не можетъ отказать въ грусти падшему. Такъ и въ сочувствіи Грановскаго къ среднимъ вѣкамъ не было ничего вспять текущаго, обращающаго назадъ. Любовь и сочувствіе къ побѣжденному — верхъ побѣды. Неподвижныя тѣни, забытыя отшедшимъ міромъ на почвѣ новаго, всего менѣе могутъ устоять противъ теплаго дыханія любви; онѣ распускаются въ свѣтлую влагу, отдавая себя на утоленіе жажды новыхъ поколѣній. Но эта любовь не легко достигается.

Русскій историкъ стоитъ на почвѣ, которая ему чрезвычайно облегчаетъ объективное симпатическое воззрѣніе на западную исторію. Незакупленная мысль наша можетъ, освѣщая средневѣковыя событія, сохранить высокій характеръ кротости и милосердія, явиться примиряющей и вселюбящей: мы были чужды феодальной жизни Европы, мы ни наслѣдій не стяжали отъ этого времени, ни родовыхъ болѣзней. Мы цѣловальники, взятые изъ другого края, у которыхъ не можетъ быть личностей ни противъ кого, ни за кого. Не такъ для германца: онъ въ борьбѣ съ своимъ воспоминаніемъ, онъ чувствуетъ родственную любовь и родственную ненависть къ нему, онъ или падетъ подъ бременемъ богатаго наслѣдія, или долженъ отречься отъ отца съ матерью. Былое Европы для него еще живо: онъ, выходя на арену, не можетъ сохранить спокойствія судьи; вмѣсто благотворной теплоты, въ душѣ его является пристрастіе или пожирающій пламень критики, безпощадный и неотступный. Ошибаться не надобно: этотъ гнѣвъ, эта критика — тоже любовь, но любовь, доведенная до крайности, ревнивая, карающая, оскорбленная. Страстная односторонность въ исторіи Запада прощительна западному человѣку, и была бы странна въ русскомъ. Откуда взять увлеченному въ омутъ событій, въ самомъ круговоротѣ ихъ, равное и мудрое безпристрастіе зрителя? не будетъ ли это ниже или выше достоинства человѣческаго, не надобно ли для этого сдѣлаться Талейраномъ или Гѣте. — *Sine ira et studio!* Неужели вы вѣрите, что Тацитъ писалъ *sine ira*? Повторяю сказанное въ первомъ письмѣ: нѣтъ положенія объективнѣе относительно прошедшаго Европы, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобъ воспользоваться имъ, недостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть общечеловѣческаго развитія; надобно именно не быть исключительно русскимъ, т. е. понимать себя не противоположнымъ западной Европѣ, а братственнымъ. Понятіе братства не поглощаетъ самобытности братій, но и самобытность ихъ, какъ лицъ, не противопоставляетъ ихъ другъ другу врагами, что уничтожило бы братство. Отталкивающее противоположеніе себя чему-нибудь не можетъ достигнуть объяснительной точки; вражда въ основѣ своей субъ-

ективна; быть въ противоположности значить отказаться отъ пониманія противоположнаго, потому что пониманіе есть именно снятіе противоположности. Доколѣ мысль ревниво отталкиваетъ противоположное, она ограничена имъ, какъ чуждымъ, и это чуждое дѣлается камнемъ преткновенія, брошеннымъ на всѣхъ путяхъ ея. Въ Уложеніи сказано: «А буде который судья истцу будетъ недругъ, а отвѣтчику другъ, и тѣхъ истца и отвѣтчика тому судья не судить». Намъ чрезвычайно легко достигнуть этой юридической состоятельности: стоитъ хотѣть и умѣть воспользоваться нашимъ положеніемъ. Прошедшее Европы не тревожитъ насъ ни какъ утрата, ни какъ угрызеніе совѣсти: оно имѣетъ для насъ явной великой интересъ.

Das stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Грановскій (не смотря на упреки, дѣланные ему въ началѣ курса) прекрасно понималъ, каковъ долженъ быть русскій языкъ о западномъ дѣлѣ. Онъ ни разу не внесъ въ катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, ни одного намека изъ сегодняшнихъ споровъ ихъ наслѣдниковъ; не для того была взята имъ въ руки запыленная хартия среднихъ вѣковъ, чтобы въ ней сыскать опору себѣ, своему образу мыслей: ему не нужна средневѣковая инвеститура, онъ стоитъ на иной почвѣ. Отъ этого его преподаваніе получило тотъ характеръ искренности и добросовѣстности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая такъ рѣдко встрѣчается въ исторіи; событія, не сгнетаемыя никакой личной теоріей, являлись въ его разсказѣ совершенно ожившими. Мнѣ случалось много разъ слышать нелѣпые вопросы, почему онъ не высказывается яснѣе, что онъ хочетъ доказать, какая цѣль его? онъ и любить феодализмъ, и радъ его паденію, и пр. Всѣ эти вопросы, впрочемъ, послѣдовательнѣе, нежели думаютъ: все живое чрезвычайно трудно условимо, именно потому, что въ немъ скипѣлось безчисленное множество элементовъ и сторонъ въ одинъ движущійся процессъ: живое приводится въ сознаніе только спекуляціей или созерцаніемъ, а благоразумная разсудочность видитъ въ немъ одинъ беспорядокъ, жизнь ускользаетъ отъ ея грубыхъ рукъ. Многосторонность живого наводитъ страхъ и уныніе на одностороннихъ людей, они требуютъ *du positif!* Такъ полицы, лишенные собственнаго движенія, липнуть всю жизнь на одной сторонѣ камня и гложутъ мохъ, его покрывающій. Этимъ безпозвоночнымъ умамъ легче было бы въ десять разъ понять исторію, подтасованную съ какой бы то ни было точки зрѣнія; но Грановскій — слишкомъ

историкъ въ душѣ, чтобы власть въ ненужную односторонность и не воспользоваться прекраснымъ положеніемъ. Исторія очень легко дѣлается орудіемъ партіи. Событія бывшія нѣмы и темны, люди настоящаго освѣщаютъ ихъ, какъ хотятъ; прошедшее, чтобы получить гласность, переходитъ черезъ гортань настоящаго поколѣнія, а оно часто хочетъ быть не просто органомъ чужой рѣчи, а суфлеромъ; оно заставляетъ прошедшее лжесвидѣтельство-вать въ пользу своихъ интересовъ. Такое вызываніе прошедшаго изъ могилы унижительно, но есть возможность извинить эти чернокнижныя пошутки при извѣстныхъ обстоятельствахъ: феодализмъ, папская власть, аристократія, среднее состояніе и проч. не просто предметы изученія науки для Запада, а знамена партій, вопросы на жизнь и смерть. Умершій порядокъ дѣлъ имѣетъ въ Европѣ своихъ повѣренныхъ, продолжающихъ тяжбу; но къ этой тяжбѣ мы менѣе, гораздо менѣе прикосновенны, нежели даже Сѣверо-Американскіе Штаты. Это не наши споры и не наша вражда: мы вступаемъ въ общеніе съ Европой не во имя ея частныхъ и прошедшихъ интересовъ, а во имя великой, общечеловѣческой среды, къ которой стремится она и мы; наше сочувствіе есть собственно предчувствіе грядущаго, которое равно распустить въ себѣ все исключительное,—романо-германское-ли, или славянское оно.

Грановскій миновать другой подводный камень, опаснѣйшій, нежели пристрастіе въ воззрѣніи на феодальныя событія. Знакомый съ писаніями великихъ германскихъ мыслителей, онъ остался независимъ. Онъ прекрасно опредѣлилъ современное состояніе философіи исторіи во 2-мъ чтеніи, но не подчинилъ живого развитія никакой оцѣняющей формулѣ; Грановскій смотритъ на современное состояніе жизни, какъ на великій историческій моментъ, котораго не знать, котораго миновать безнаказанно нельзя, такъ какъ нельзя и остаться въ немъ на вѣки, не окоченѣвши. Чтобы очевидно указать глубокой исторической смыслъ нашего доцента, достаточно сказать, что, принимая исторію за правильно развивающійся организмъ, онъ нигдѣ не подчинилъ событій формальному закону необходимости и искусственнымъ гранямъ. Необходимость являлась въ его разсказѣ какою-то сокровенной мыслью эпохи; она ощущалась издали, какъ нѣкій *Deus implicitus*, предоставляющій полную волю и полный разгулъ жизни. Величайшіе мыслители Германіи не миновали соблазна насильственнаго построенія исторіи, основаннаго на недостаточныхъ документахъ и одностороннихъ теоріяхъ,—это понятно: сторона спекулятивнаго мышленія была ближе ихъ душѣ, нежели живое историческое воззрѣніе. Ихъ теоретическая и тягостная необходимость являлась доведенной до нелѣпности въ сочиненіяхъ нѣкогда очень

извѣстнаго Кузена. Въ Кузенѣ я вижу Немезиду, мстящую нѣмцамъ за ихъ любовь къ отвлеченности, къ сухому формализму. Нѣмцы должны были сами расхохотаться, читая, куда они завели добраго и безхитростнаго галла, ввѣрившагося имъ. Онъ такимъ внѣшнимъ образомъ понялъ необходимость, что чуть не выводилъ изъ общей формулы развитія человѣчества кривую шею Александра Македонскаго. Это была реакція вольтеровскому воззрѣнiю, которое, наоборотъ, приводило судьбы міра въ зависимость отъ очертанія носа у Клеопатры.

Грановскій общается напечатать свои чтенія; тогда, посылая вамъ книгу, я попытаюсь разобрать самый курсъ, поговорить о немъ подробно. Теперь позвольте кончить, надѣюсь, что вы противъ этого ничего не имѣете.

Письмо первое о „Москвитянинѣ“ 1845 г.

Еще не выходилъ. *Chi va piano, va sano.*

20 января, 1845 г.

Москва.

Письмо это, напечатанное въ февральской книгѣ „Отечественныя Записки“ за 1845 г. (смѣсь, стр. 133), сопровождалось слѣдующимъ замѣчаніемъ отъ редакціи:

„Одинъ изъ нашихъ московскихъ корреспондентовъ взялъ на себя обязанность доставлять въ „*Отеч. Записки*“ ежемѣсячно свѣдѣнія о новостяхъ московской журналистики, вообще мало извѣстной въ Петербургѣ. Такъ какъ до сихъ поръ въ Москвѣ издается только одинъ литературный журналъ—„Москвитянинъ“ то извѣстія нашего корреспондента должны ограничиться имъ однимъ. На-дняхъ получили мы отъ него слѣдующее письмо, которое, для полноты его отчетовъ, считаемъ нужнымъ также напечатать“.

Москвитянинъ и вселенная.

Западное государство можно выразить такою дробью $\frac{10}{10}$, а наше десятичною. (Погодинъ. № 1 „Москвитянина“ за 1845).

Въ то время, какъ солнечная система, ничего не предчувствуя, спокойно продолжала свои однообразныя занятія, а народы Запада, увлеченные со временъ Фалеса въ пути не хорошіе, еще менѣе что-либо подозрѣвая, продолжали свои разнообразныя дѣла,— совершилось въ тиши событіе рѣшительное: редакція «Москвитянина» сообщила публикѣ, что на слѣдующій годъ она будетъ выписывать иностранныя журналы, прибрѣтаетъ *важнѣйшія* книги, что у ней будутъ новые сотрудники, которые не токмо будутъ участвовать, но и примутъ «мѣры» . . . Изъ этого можно было бы подумать, что до реформы журналы не выписывались, книги прибрѣтались неважныя и мѣры брались не сотрудниками, а подписчиками. . . . Спустя нѣсколько времени редакція успокоила умы на счетъ своего направленія, удостовѣряя, что оно останется то же, которое прибрѣло ея журналу такое значительное количество почитателей. . . . Впрочемъ арифметическая сумма читателей никогда не занимала «Москвитянина»; цѣль его была совсѣмъ не та: онъ имѣлъ высшую, вселенскую цѣль,—онъ собою заложилъ магазинъ обновительныхъ мыслей и оживительныхъ идей для будущихъ поколѣній Европы, Азіи, Америки и Австраліи, онъ приготовилъ въ тиши якорь спасенія погибающему Западу. Гибнущая Европа, нося въ груди своей черныя пророчества А. С. Хомякова, утопая въ безстыдствѣ знанія, въ личномъ себялюбіи, заставляющемъ европейцевъ жертвовать собою наукѣ, идеямъ, человѣчеству,—ищетъ помощи, совѣта. . . . И нѣтъ его внутри ея нѣмецкаго сердца, въ немъ одни слова — аутономія, соціальныя интересы—и слова, какъ видите, все иностранныя. Но придетъ время, кто-нибудь укажетъ на дальнемъ финскомъ берегу луче-

*

зарный «Маякъ». . . . Тогда народы всего земного шара побѣгутъ къ «Маяку», и онъ имъ скажетъ: «Идите на Тверскую, въ домъ Попова, противъ дома военнаго генераль-губернатора: тамъ готово для васъ исцѣленіе, тамъ лежатъ дѣвственные непочатые запасы въ конторѣ «Москвитянина»,—и народы прійдутъ на Тверскую и увидятъ, что противъ дома военнаго генераль-губернатора никакой конторы нѣтъ, а что она съ боку, подпишутся на «Москвитянина», узнаютъ много, оживутъ и потолстѣютъ.

Когда я получилъ новую книжку «Москвитянина» и увидѣлъ другую обертку съ изящнымъ видомъ Кремля, понялъ я, что редакція не шутя говорила о перемѣнѣ. . . И, какъ слабъ человѣкъ! мнѣ смерть стало жаль стараго «Москвитянина». Что будетъ въ новомъ, думалось мнѣ, кто знаетъ? Сотрудники не токмо будутъ участвовать, но и возьмутъ мѣры. . . А, бывало, ждешь съ нетерпѣніемъ какъ-нибудь въ февралѣ декабрьской книжки, и знаешь напередъ: будетъ чѣмъ душу отвести; вѣрно будетъ отрывокъ изъ «путевого дневника» г. Погодина. . . энергическія фразы, изрубленные въ куски: читаешь и, кажется, будто самъ ѣдешь осенью по фасиннику. Дѣтски-милое, наивное воззрѣніе г. Погодина на Европу казалось намъ иногда страннымъ, но, не надобно забывать, онъ, какъ кажется, имѣлъ въ виду дикія племена Африки и Австраліи: для нихъ нельзя писать другимъ языкомъ. Ну вотъ, напримѣръ, шлегелевски-глубокомысленныя, основанныя на глубокомъ изученіи Данта, критики г. Шевырева не имѣли въ тѣхъ странахъ далеко такого успѣха, въ нихъ и Западу доставалось. . . а все не то! Бывало, королева Помара (какъ ее называютъ «Сѣверная Пчела» ¹⁾) какъ получить вселенскую книжку, только и спрашиваетъ: «Есть ли дневникъ»? — Есть! Она, моя голубушка, такъ и катается по полу (въ Отаити это значить восторгъ) и посылаетъ къ Причарду за коньякомъ выпить за здоровье редакція. Оно, кажется, бездѣлица, а, вѣдь, это главная причина раздора между Причардомъ и капитаномъ Брюа. Брюа—морякъ и думалъ, что еще болѣе вселенскій журналъ «Маякъ», а Причардъ наклоненъ къ пузеизму, — словомъ симпатизируетъ во многомъ съ «Москвитяниномъ». . . . Впрочемъ, все это было въ газетахъ и Гизо насчетъ этого успокоилъ Пили: Помаре согласилась кататься по полу и отъ «Маяка». Въ сторону политику—Богъ съ ней! Обратимся къ «Москвитянину».

Всѣ ли прежніе сотрудники останутся? продолжалъ я думать, глядя на обертку съ изящнымъ видомъ Кремля. Останется ли г. Лихонинъ, переводившій шиллерова «Дона-Карлоса», кажется, прямо съ испанскаго и переводившій прекрасные стихи графини

¹⁾ Въмѣсто Помаре.

Сарры Толстой на вовсе несуществующій языкъ, по крайней мѣрѣ, въ земной юдоли? Останется ли главный сотрудникъ, духъ праведнаго негодованія противъ европейской цивилизаціи и индустріи? ¹⁾ А, вѣдь, одному «Маяку» не справиться со всѣмъ этимъ. «Москвитянинъ-рёге», что ни говорите, журналъ былъ хорошій: если-бъ былъ кто-нибудь, кто его читалъ не въ Отаити, а на Руси, тотъ согласился бы съ нами. Чья вина? Кто жъ не велитъ читать? Издатель «Маяка» математически доказалъ въ своемъ несравненномъ отчетѣ за пятилѣтнее управленіе современнымъ просвѣщеніемъ, во-первыхъ, что со всякимъ годомъ у него подписчиковъ меньше и меньше, такъ что за 1844 годъ языкъ не повернулся признаться въ цифрѣ; во-вторыхъ, что это очень стыдно читателямъ, а не журналу. Еще разъ, жаль прежняго «Москвитянина». Господа! помните, какъ онъ вдохновенно объявилъ, что мы спимъ, а онъ не спитъ за насъ (иные думали, что мы именно потому и спимъ, что онъ не спитъ!). Разумѣется, въ этомъ сторожевомъ положеніи иногда говорилъ онъ что попало, чтобъ разогнать дремоту,—человѣкъ слабъ есть! Теперь его чередъ; пожелаемъ ему доброй ночи; пусть онъ спитъ легкимъ сномъ: его не потревожатъ частыя воспоминанія. Воздавъ должную честь покойному «Москвитянину-рёге», обратимся къ новорожденному «Москвитянину-fils» (живой о живомъ и думаетъ) ²⁾.

Свѣтская часть начинается стихами: тутъ вы встрѣчаете имена Жуковскаго, М. Дмитріева, Языкова (какое-то предчувствіе говорить намъ, что въ слѣдующей книжкѣ будутъ стихи Ѳ. Глинки и г. А. Хомякова). Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ—трогателенъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суеть муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства, пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionnelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того-же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати, это громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указываетъ негодующимъ перстомъ *лицу*—при полномъ изданіи можно приложить адресы!... Исправлять нравы! ³⁾ Что можетъ быть выше этой цѣли? Развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ «Выжигиныхъ» и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?

1) Съ чувствомъ увидѣли мы потомъ въ оглавленіи именно двухъ прежнихъ сподвижниковъ «Москвитянина»: поэта М. Дмитріева и философа Стурдзу.

2) Мы считаемъ обязанностью отдѣлить отъ прочихъ частей «Москвитянина» теологическую его часть,—она не входитъ въ обзоръ нашъ.

3) Объ этомъ стихотвореніи говорится въ V части *Былое и Думы*.

Замѣчательнѣйшія статьи принадлежать г. Погодину и Кирѣвскому. Статья г. Погодина «Параллель Русской исторіи съ исторіей западныхъ государствъ» написана ясно, рѣзко и довольно вѣрно, даже въ ней было бы много новаго, если-бъ она была напечатана лѣтъ двадцать-пять назадъ. Все же она не лишена большого интереса. Если бы г. Погодинъ чаще писалъ такія статьи, его литературные труды цѣнились бы больше. Главная мысль г. Погодина состоитъ въ томъ, что основанія государственнаго быта въ Европѣ съ самаго начала были иныя, нежели у насъ; исторія развила эти различія; онъ показываетъ, въ чемъ они состоятъ, и ведетъ къ тому результату, что Западу (т. е. одностороннему европеизму) на Востокѣ (т. е. въ славянскомъ мірѣ) не бывать. Но въ томъ-то и дѣло, что и на Западѣ этой односторонности больше не бывать: самъ г. Погодинъ очень вѣрно изложилъ, какъ новая жизнь побѣждала въ Европѣ феодальную форму, и даже заглянулъ въ будущее. Если-бъ авторъ не затемнилъ своей статьи поясняющими сравненіями, большею частію математическими, своими $10/10$ и $0,00001$, примѣромъ о шарахъ, свидѣтельствующимъ какое-то оригинальное понятіе о механикѣ, о линіи и о бильярдной игрѣ вообще,— то она была бы очень недурна. Несмотря на славянизмъ, истина пробивается у г. Погодина сквозь личныя мнѣнія, и сторона, которую ему хочется понять, не то, чтобъ въ авантажъ была..... Это — надобно согласиться—дѣлаетъ большую честь автору: «шелъ въ комнату—попалъ въ другую», но попалъ, увлекаемый истиною. Честь тому, кто можетъ быть ею увлеченъ за предѣлы личныхъ предразсудковъ.

Другая статья принадлежитъ г. Кирѣвскому: «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности». Даровитость автора никому не нова. Мы узнали бы его статью безъ подписи по благородной рѣчи, по поэтическому складу ея; конечно, во всемъ «Москвитининѣ» не было подобной статьи. Согласиться съ ней, однакожь, невозможно: ея результатъ почти противоположенъ выводу г. Погодина. Г. Погодинъ доказываетъ, что два государства, развивающіяся на разныхъ началахъ, не привьютъ другъ къ другу основаній своей жизни: г. Кирѣвскій стремится доказать, напротивъ, что славянскій міръ можетъ обновить Европу своими началами. Послѣ живого, энергическаго разказа современнаго состоянія умовъ въ Европѣ, послѣ картины, набросанной смѣлой кистью таланта, мѣстами страшно-вѣрной, мѣстами слишкомъ отражающей личныя мнѣнія,—выводъ бѣдный, странный и ни откуда не слѣдующій! Европа поняла, что она далѣе идти не можетъ, сохраняя германороманскій бытъ; слѣдовательно, она не имѣетъ другого выхода, какъ принятіе въ себя основъ жизни славено-русской? Это въ

самомъ дѣлѣ такъ по исторической ариѳметикѣ г. Погодина, что $\frac{10}{10}$ не помѣстятся въ 0,000001, а 0,000001 въ $\frac{10}{10}$, въ случаѣ нужды, всегда помѣстятся. Надобно быть слѣпымъ, чтобъ не понимать великаго значенія славянскаго міра, и не столько его, какъ Россіи. Но отчего-же Европа должна посылать къ намъ за какими-то неизвѣстными основаніями нашего быта,—такъ, какъ мы нѣкогда посылали къ ней за варяжскими князьями? Петръ I, обращаясь къ Европѣ, зналъ, видѣлъ, за чѣмъ обращается; но съ чего же Европа, оживившая насъ своею богатой, полной жизнью, пойдетъ къ намъ искать для себя строящую идею, и какая это идея, принадлежащая намъ національно и съ тѣмъ вмѣстѣ всеобще-человѣческая? Г. Кирѣевскій говоритъ, что теперь вопросъ объ отношеніи Европы къ славянскому міру обратилъ на себя вниманіе Запада. Да гдѣ же все это? Правда, что нѣсколько брошюръ появилось въ Австріи и индѣ, но онѣ такъ же мало занимаютъ Европу, какъ піэтистическіе контроверсы протестантскихъ теологовъ, о которыхъ съ подробностью говоритъ авторъ. Самое сильное вліяніе славянскаго міра на Европу состоитъ въ распространеніи польки: танцуютъ-то они по-словенски, да ходятъ-то по-европейски. Такого патріотизма я не понимаю, и особенно въ томъ человѣкѣ, который за нѣсколько страницъ высказалъ эту превосходную мысль: «Общее стремленіе умовъ къ событіямъ дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣетъ источникомъ своимъ не одні личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. По большей части это просто интересъ сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человѣка срслась съ мыслью о человѣчествѣ, *это—стремленіе любви, а не выгоды*», и проч. Какое глубокое пониманье! Вотъ когда бы истые славяне умѣли подобнымъ образомъ понимать явленія, тогда хульныя слова на Европу не такъ легко произносились бы ими! Славянизмъ — мода, которая скоро надоѣстъ; перенесенный изъ Европы и переложенный на наши нравы, онъ не имѣетъ въ себѣ ничего національнаго; это явленіе отвлеченное, книжное, литературное,—оно такъ-же изсякнетъ, какъ отвлеченныя школы націоналистовъ въ Германіи, разбудившія словенизмъ.

Скажу вкратцѣ о содержаніи остальной части журнала. Цѣлый отдѣлъ посвященъ апологическимъ разборамъ публичныхъ чтеній г. Шевырева въ видѣ писемъ къ иногороднымъ, къ г. Шевыреву, къ самому себѣ, подписанныхъ фамиліями, буквами, цифрами; инныя изъ нихъ напечатаны въ первый разъ, другія (именно, лирическое письмо, подписанное цифрами) мы уже имѣли удовольствіе читать въ *Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* (№ 2, января 13). Вообще во всѣхъ статьяхъ доказывается, что чтенія г. Шевырева имѣютъ космическое значеніе, что это зубъ мудрости,

прорѣзавшійся въ челюстяхъ нашего историческаго самопознанія. За этимъ отдѣломъ все идетъ по порядку, какъ можно было ждать а priori: статья о «Словѣ о полку Игоревѣ», догадка о происхожденіи Кіева, путешествіе по Черногоріи и тому подобныя живые, современные интересы; статья о сельскомъ хозяйствѣ, можетъ быть, и хороша, но что-то очень длинна для чтенія. Изъ западныхъ пришлецовъ, составляющихъ *нѣмецкую слободу* «Москвитянина», статья о Стефенѣ (онъ родился ужъ очень въ холодной полосѣ, и потому роднѣ намъ) и интересная хроника Русскаго въ Парижѣ. Историческая новость о томъ, какъ пытали и сожгли какую-то колдунью въ Германіи въ 1670 году (ужъ этотъ инквизиціонный, аутодафежный Западъ!), точно будто взята изъ Кошихина или Желябужскаго.

Не ограничиваясь настоящимъ, «Москвитянинъ» пророчить намъ двѣ новости: изъ нихъ одна очень утѣшительна... Первая состоитъ въ томъ, что профессоръ Гейманъ *скоро* издастъ химію, а вторая—что пасторъ Зедегольмъ очень *долго* не издастъ второй части своей «Исторіи философіи».

Кажется, довольно. Журналъ будетъ выходить около 20 чиселъ мѣсяца. Я пишу теперь въ археографическихъ актахъ ключа къ этому и такъ занятъ, что кладу перо.

Дрополкъ Водяскій.

Умъ хорошо, а два лучше ¹⁾).

Въ особенности лучше для изданія журнала. Наиболе читаемые и уважаемые журналы издавались у насъ всегда парою литераторовъ: «Сѣверная Пчела», «Маякъ», «Москвитянинъ». Г. Сенковскій зналъ это и, за немѣнѣмъ alter ego, онъ самъ раздвоился, какъ Гофмановъ Медардусъ, и издавалъ «Библиотеку для чтенія» съ барономъ Брамбеусомъ,—время славы и величія этого журнала было временемъ товарищества съ Брамбеусомъ. «Маякъ» явнымъ образомъ сталъ тускнеть съ тѣхъ поръ, какъ издается однимъ г. Бурачкомъ; даже признаки бѣшенства, прорывавшіеся въ его литературныхъ обзорахъ, мнѣ кажется, происходятъ отъ одиночества. Но на верху литературной славы теперь, какъ и прежде, два журнальные брака: Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ, въ Петербургѣ, С. П. Шевыревъ и М. П. Погодинъ, въ Москвѣ. Московская чета, впрочемъ, еще не такъ извѣстна, какъ наши добрые и любимые Филемонъ и Бавкида петербургской журналистики и потому подробное разсмотрѣніе той и другой пары не лишено занимательности. Плутархъ любитъ сравнивать одинъ на одинъ великихъ людей; мы, во всемъ опередившіе древній міръ, можемъ сравнивать ихъ попарно. Конечно, наши пары, при всемъ авторскомъ пристрастіи къ предмету, не совсѣмъ плутарховскіе герои. Одинъ изъ четырехъ уважаемыхъ нами литераторовъ можетъ имѣть на это притязаніе и даже неотъемлемое право—это Ѳаддей Венедиктовичъ. Въ его жизни есть что-то античное: онъ, какъ Сократъ, знакомъ не токмо съ нравственною философіею, но и съ мечемъ,—не токмо съ однимъ, но и съ двумя. . . но и это выходитъ изъ круга нашей параллели.

Начнемъ съ главнаго. Четырегероя, составляющіе двѣ пары, люди вселенской извѣстности: г. Булгарина переводить: г. Меццофанти,

¹⁾ Не была напечатана (*Примѣч. загранич. изданія*).

Гёте упоминаетъ о г. Шевыревѣ, г. Шеллингъ спрашиваетъ о философскихъ статьяхъ г. Погодина, г. Гречъ усердно кланяется г. Гизо. Но въ ихъ отношеніяхъ къ Европѣ найдутся отгѣнки, которые необходимо уловить. Гречъ и Погодинъ обтекаютъ часто разныя страны, Булгаринъ и Шевыревъ обтекли ихъ и успокоились. Гречъ, по прекрасному выраженію «Москвитянина», разсматриваетъ Европу въ полицейскомъ отношеніи, обращая всего болѣе вниманія на чистоту и порядокъ. Погодинъ ее же разсматриваетъ съ экономической точки зрѣнія, въ отношеніи дешевизны и дороговизны предметовъ, нужныхъ путешественнику. Булгаринъ любитъ вспоминать (точно маршалъ Сультъ), какъ онъ былъ въ Испаніи, а Шевыревъ никогда не забываетъ, какъ онъ былъ въ Италіи. Европу всѣ четверо не любятъ, но каждый по своему; въ этихъ точкахъ пересѣченія легко измѣрить всю необъятную противоположность ихъ; самыя средства, которыми они хотятъ отвлечь добрыхъ людей отъ Запада, разны: такъ г. Гречъ оставливаетъ васъ, обращая вниманіе на слабое полицейское устройство, на нечистоту улицъ; г. Погодинъ стремится застраховать дороговизной и издержками; г. Шевыревъ съ ужасомъ указываетъ на развратъ мышленія, на порокъ логики, овладѣвшей Европою; г. Булгаринъ своимъ собственнымъ примѣромъ, патриотизмомъ «Сѣверной Пчелы», заставляетъ любить и предпочитать Петербургъ всему міру.

При этомъ каждый изъ нихъ милуетъ на Западѣ какую-нибудь страну. Степанъ Петровичъ любитъ Италію, поющую октавы, Фаддей Венедиктовичъ и Николай Ивановичъ *нравственную* семейную Германію, Михайлъ Петровичъ — *западныхъ* славянъ, потому что онъ ихъ считаетъ *восточными*.

Такъ же, какъ Европу, они не любятъ и современную науку и не токмо не любятъ, но и не знаютъ ея, — да и зачѣмъ-же знать то, чего не любишь. Гречъ и Погодинъ не бранятъ науку, потому что они считаютъ себя выше ея; они на нее смотрятъ, какъ мы смотримъ на азбуку — нѣсколько съ улыбкой, и въ этой улыбкѣ видно гордое сознаніе: «мы-де знаемъ, что тамъ написано, насъ не проведешь», — они развили въ себѣ высшіе взгляды, передъ которыми интересы науки — ребячество. Гречъ иногда даже защищаетъ науку: отдавать справедливость врагамъ — свидѣтельство сердца полного благородствомъ, откровенностью и прямотушемъ, — качества, всегда отличавшія Греческую Исторію и Исторію Н. И. Греча. Степанъ Петровичъ не таковъ: онъ хорошаго слова о западной наукѣ не скажетъ; у него есть своя «словенская» наука, неписанная, несуществующая, а словенская. Въ ея-то пользу онъ готовъ выдать за общество фальшивыхъ монетчиковъ и зажига-телей всѣхъ послѣдователей презрѣнной писанной науки. Гнѣвъ

Шевырева какой-то католическій, онъ обучался ему въ Италиі. Ѡаддей Венедиктовичъ — это петербургскій Скворода, невскій Коцебу, его наука — практическая мораль; о теоріи, методѣ, системѣ — не надобно и спрашивать, онъ рѣдко говорить о наукѣ, она слишкомъ безлична, чтобы сердить его, а когда ругнетъ ее, то наскоро, имѣя въ виду нравственную цѣль.

Гречъ и Шевыревъ — филологи и грамматики; Шевыревъ первый профессоръ *еложенціи* послѣ Тредьяковскаго; онъ читалъ въ Москвѣ публичныя лекціи о русской словесности, преимущественно того времени, когда ничего не писали, и его лекціи были какою-то дѣтскою пѣснею, пѣтой чистымъ *soprano*, напоминающимъ папскіе дисканты въ Римѣ. Гречъ публично читалъ въ Петербургѣ поэзію грамматики и тронулъ всѣхъ, доказывая, какъ счастливъ долженъ быть тотъ языкъ, который такъ хорошо, какъ мы, спрягаемъ глаголы.

Погодинъ и Булгаринъ — историки, но съ разныхъ концовъ: одинъ идетъ отъ происхожденія Руси до X вѣка, другой — отъ нашего благодатнаго времени до 1810 г. и даже до Аустерлицкой битвы. Погодинъ, впрочемъ, не токмо не участвовалъ въ рюриковскую эпоху, но издавалъ, больше *общинно*, историческіе труды; а Ѡ. В. участвовалъ самъ въ важнѣйшихъ событіяхъ нашего вѣка, онъ сперва *сдѣлалъ* современную исторію и потомъ началъ писать объ ней.

Главная цѣль знаменитыхъ литераторовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, ознакомить міръ съ Россіей, если имъ и не удастся, то намѣреніе похвально. Съ этою цѣлью Гречъ издалъ формулярные списки всѣхъ русскихъ авторовъ; Булгаринъ составилъ книгу о Россіи, которую врядъ-ли читалъ самъ Гречъ; Погодинъ приобрѣлъ извѣстность своими неизданными трудами; Шевыревъ возстановляетъ Русь, которой не было и, слава Богу, не будетъ.

Союзъ г. Погодина съ г. Шевыревымъ *matrimonium secretum*; союзъ г. Булгарина съ г. Гречемъ открытый конкубинатъ. Нѣтъ ни одного человѣка въ Москвѣ, который бы умѣлъ врознь понять Минина и Пожарскаго, такъ, какъ нѣтъ ни одного человѣка въ Петербургѣ, который бы умѣлъ понять врознь Булгарина и Греча, — хотя бы одинъ жилъ для удовольствія и нравственныхъ *наблюдений* въ Парижѣ, а другой для нравственныхъ *наблюдений* и для удовольствія въ Дерптѣ. Г. Шевыревъ какъ-то было охладѣлъ къ брачному ложу, т. е. къ «Москвитянину», — сейчасъ начали выходить уроды, двойни, но новая программа утѣшила всѣхъ. Степанъ Петровичъ оттого не занимался, что увлекся своимъ краснорѣчіемъ и сталъ записывать свои слова (собою восхищаться запрещаетъ Тиссо), теперь онъ опять готовъ исполнять свои брачно-литературныя обязанности.

Гречъ и Булгаринъ издають съ примѣрнымъ мужествомъ и самоотверженіемъ «Сѣверную Пчелу», для того только, чтобы въ ней высказывать тѣ сильныя убѣжденія, которыя легли краеугольнымъ камнемъ ихъ нравственно-сатирическаго существованія. Степанъ и Михайль Петровичи съ еще болѣе примѣрнымъ упорствомъ и безкорыстіемъ издають «Москвитянинъ», не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что читатели подписываются на другіе жуналы; въ этомъ «Москвитянинъ» такъ же, какъ и во всемъ прочемъ, похожъ на «Маяка», какъ на родного брата. Что дѣлать, любовь къ истинѣ и ненависть къ «Отечественнымъ Запискамъ»—страсть сихъ четырехъ сердець и одного «Маяка». Страсть къ истинѣ доводитъ ихъ до неблагоразумія.

Я всякій разъ со слезами читаю, какъ иногда *Θ. В.*, другъ Платона, другъ Аристотеля, другъ Греча, а еще болѣе другъ правды, всенародно журить Николая Ивановича. Онъ забываетъ тутъ узы, связующія его съ Гречемъ, дѣлается страшенъ, дѣлается отрывистъ: и ты, братецъ,—говорить,—стыдно, братецъ, говорить, что ты мальчикъ, что-ли? не слыхалъ, что-ли? говорить... и поидеть, и поидеть. Николай Ивановичъ дѣйствительно иногда заслуживаетъ порицанія: то за радикальный образъ мыслей, то за либерализмъ. Зачѣмъ, говорить, Бонапарте сдѣлался Наполеономъ, зачѣмъ во Франціи пишутъ объ алжирской войнѣ, зачѣмъ не заведутъ тамъ цензуры, зачѣмъ во Франціи нѣтъ тѣлесныхъ наказаній; такъ, кажется, и сдѣлать бы революцію во всей Европѣ. А главное—Наполеонъ. *Θ. В.* за Наполеона всегда горой; онъ считаетъ Наполеона своимъ товарищемъ по службѣ и никогда не выдаетъ Черта прекрасная! Искренность *Θ. В.*-ча развѣ можетъ быть побѣждена только правдивостью Мих. П-ча.—Погодинъ до того откровененъ, что напечаталъ такую исповѣдь о себѣ самомъ (подъ вымышленнымъ именемъ «Путевыхъ Записокъ»), что исповѣди Руссо и Кардана ничего не значатъ въ сравненія съ его исповѣдью; все рассказалъ: и какъ платье покупалъ на бульварѣ, и какъ... и все это безъ всякой нужды, по одному благородному побужденію сердца. Гречъ скрываетъ напротивъ, онъ въ сердцѣ *доноситъ* до поры до времени и зло и добро и не станетъ попусту болтать.

Вообще у гг. Булгарина и Погодина осталось бездна дѣтскаго, наивнаго; люблю я радушное привѣтствіе *Θ. В.*-ча пирожнику, открывающему лавочку, портному, начинающему шить платье,—точно онъ въ первый разъ кушаетъ пирожокъ и въ первый разъ затягиваетъ подтяжку. Люблю ребячій взглядъ Михаила Петровича на Европу, взглядъ милаго ребенка,—хорошъ онъ у 50-лѣтняго старика; имъ всегда отличались—авторъ Марѳы Посадницы и авторъ Димитрія Самозванца.

1843.

Путевыя записки г. Вёдрина ¹⁾).

Одинъ неизвѣстный литераторъ, впрочемъ очень почтенный человекъ, г. Вёдринъ, объѣхавшій съ большою пользою многія страны, намѣренъ издать въ весьма непродолжительномъ времени свои *путевыя записки*, какъ для покрытія издержекъ, неминуемыхъ при путешествіяхъ, такъ отчасти для пользы и удовольствія читателей. Спѣшимъ познакомить публику съ этими записками небольшимъ отрывкомъ, въ которомъ живо описываетъ г. Вёдринъ выѣздъ изъ Москвы. Къ путешествію присовокупится особо напечатанная на веленовой бумагѣ расходная книжка, въ которой можно будетъ ясно видѣть и всю воздержность почтеннаго Вёдрина и все пренебреженіе его къ благамъ міра сего. Но вотъ отрывокъ, отдаемъ его на судъ читателей.

«28. Клѣпы не дали спать всю ночь. Скверное насѣкомое! Говорятъ, на Дербеновкѣ грузинъ продаетъ кавказскій порошокъ, уничтожающій клѣповъ; да страшно дорого, рубль серебромъ фунтъ,—а тамъ выдохнется, перестанетъ дѣйствовать. Но все къ лучшему. Вскочилъ въ 5, умылся и въ Рогожскую искать товарища. Долго толкался. Что за лихой народъ извозчики! Борода, кушакъ... Размечтался и вспомнилъ Кеппена брошюру о курганахъ. Товарищъ попался, купецъ изъ Нижняго, съ брюшкомъ, говоритъ на о. Потолковали—сладили, черезъ часъ ѣдемъ. Домой за чемоданомъ—даль страшная, хотѣлъ взять извозчика,—очень стали дороги, 25 сер., меньше ни одинъ взять не хотѣлъ... Идучи, проголодался, перехватилъ. Нельзя не отдать справедливости цивилизаціи, когда дѣло идетъ объ удобствахъ,—кабы не вредъ нравамъ! Только не завязывай туго кошелька: цивилизація требуетъ за все деньги, но за этотъ презрѣнный металлъ окружаешь

¹⁾ *Отечественныя Записки*, 1843 г., № 11, отд. VIII, стр. 58—60.

человѣка такими предупредительными удобствами, что менѣ жаль денегъ. Я бѣгу домой... версть пять — проголодался, въ животѣ ворчить: а цивилизація тутъ; такъ аштитно бросила въ открытыя лавки печенку; вынулъ грошъ; отляпали кусокъ въ двѣ ладони, соль даромъ — разумѣется, у нихъ свой расчетъ. Замѣтилъ, что жевавши дорога кажется короче. Гастрическій обманъ! Встрѣтился мальчишка обтерханный, продаетъ голенища: стянулъ гдѣ-нибудь; посмотрѣлъ, нѣмецкая работа, поторговаль было—дорого про- сить—мимо!

«Выѣхали въ 11 часовъ.

«На заставѣ солдатъ съ медалью и съ усами. Люблю медаль и усы у воина; молодець! нынче на заставахъ даютъ контрмарку съ №. Получилъ, отдалъ, шлагбаумъ вверхъ—тррр... ѣдемъ. Товарищъ человѣкъ тихой, занимаетъ три-четверти повозки, платитъ половину. Онъ дома поѣлъ пирога съ лукомъ. Странно: запахъ сивухи—ничего, лука—даже хорошъ, а эти два запаха вмѣстѣ—препротивные. Пусть объясняютъ химики—не наше дѣло.

«Мѣста болѣе плоски, нежели гористы; справа виднѣется рѣка—волны смалтово-серебристо-латинистыя. Чудный видъ! что передъ нимъ хваленная Италія! Деревни и села и притомъ все русскія деревни и села... Мужички работаютъ такъ усердно. Люблю земледѣльческіе классы: не они намъ, мы имъ должны завидовать; въ простотѣ душевной они работаютъ, не зная бурь и тревогъ, напиханныхъ въ нашу душу,—ни роскоши, вытягивающей мнимые избытки.

«Село—церковь, довольно большая, византійской архитектуры.

«Станція. Ёхали на вольныхъ. Постоялый дворъ съ рѣзными украшеніями... У воротъ хозяинъ съ рыжей бородой, на лицѣ написано корыстолобіе; не пойду: слухить чортъ знаетъ что! Остался въ повозкѣ. Пока лошадей—наблюдать нравы. На улицѣ мужикъ тузитъ какую-то бабу, вѣроятно жену, это развеселило меня, хохоталъ; нищѣ помѣшали досмотрѣть. Отвратительная при- вычка у нищихъ,—просить у проѣзжаго: проѣзжему мелкія деньги нужны, не крупныхъ-же дать. Надоѣли, притворился соннымъ, помѣшали и тутъ: ямщикъ разбудилъ, требуя на водку,—еще скверный обычай! что у нихъ за служенія мамону. Далъ 3 коп. сер. (что составляетъ на асс. десять съ половиной). Жалѣлъ. Пошелъ дождь—промочилъ до костей. Скучно.

«Поскакали. До второй станціи ничего особеннаго. Купецъ вылѣзалъ изъ повозки, такъ, не на долго; это было къ сумеркамъ. Я дрожалъ, сидя одинъ съ ямщикомъ; я родился не воиномъ—признаюсь. Пріѣхали, вышелъ на постоялый дворъ, закатилъ сивухи съ перцомъ, славно! а всего стоитъ 17 коп. съ половиной асс. Сапоги долой, все долой—растянулся.

«29. Чѣмъ свѣтъ разбудилъ товарищъ и предложилъ выпить чаю (онъ возить свой чай, маюконъ, не цвѣточный, но хорошій; это умно, гораздо дешевле: платишь только за самоваръ). Я не отказался: я люблю пить чай съ кѣмъ-нибудь. Да и ему почти все равно, я-же пью сквозь кусочекъ».

Очень сожалѣемъ, что на первый разъ г. Вѣдринъ не могъ дать намъ болѣе отрывковъ изъ своихъ «путевыхъ записокъ»; но въ скоромъ времени надѣмся получить отъ него еще нѣсколько отрывковъ, и тотчасъ же подѣлимся ими съ нашими читателями.

ПИСЬМА ОБЪ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ.

Природа—бадера, являющаяся передъ
очами духа. Онъ упрекаетъ ее въ безстыд-
ствѣ, съ которымъ она обнажаетъ себя и
отдается очамъ зрителей; но, выказавъ се-
бя, она удаляется, потому что ее видѣли, и
зритель удаляется, потому что видѣлъ ее.
Colebrook. *Sank-hia, Philos. of the Hindous.*

...Doch der Götter Jüngling hebet
Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.

G ö t h e. Bayadere.



ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Эмпирія и Идеализмъ.

Слава Церерѣ, Помонѣ и ихъ родственникамъ! Я, наконецъ, не съ вами, любезные друзья!—Я одинъ въ деревнѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось отдохнуть поодаль отъ всѣхъ... Нельзя сказать, чтобъ почтенныя особы, которыхъ я сейчасъ славословилъ, очень изубытчились для моего приѣма: дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и, странное дѣло! при всемъ этомъ, я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнулъ,—нашелъ то, за чѣмъ ѣхалъ. Выйдешь подъ-вечеръ на балконъ, ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму,—и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе; какая-то благочестивая тишина кругомъ успокоиваетъ, примиряетъ... Вотъ такъ и кажется, что годы бы не выѣхалъ отсюда... Предвижу, что моя идиллическая выходка вамъ не понравится: «человѣкъ не долженъ жить особнякомъ, это—эгоизмъ, бѣгство, это—битыя фразы безумнаго Женевца, который считалъ современную ему городскую жизнь искусственною, какъ будто формы міра историческаго не такъ же естественны, какъ формы физическаго міра». Во-первыхъ, что касается до побѣга,—позорно бѣжать воину во время войны; а когда благоденственно царить прочный міръ, отчего не пожить въ отпуску? Во-вторыхъ, что касается до Руссо, я не могу безусловно принять за вранье того, что онъ говоритъ объ искусственности въ жизни современнаго ему общества: искусственнымъ кажется неловкое, натянутое, обветшалое. Руссо понялъ, что міръ, его окружавшій, не ладенъ; но нетерпѣливый, негодующій и оскорбленный, онъ не понялъ, что храмина устарѣвшей цивилизаціи о двухъ дверяхъ. Боясь задохнуться, онъ бросился въ тѣ двери, въ которыя входятъ, и изнемогъ, борясь съ потокомъ, стремившимся прямо противъ него. Онъ не

сообразилъ, что возстановленіе первобытной дикости болѣе искусственно, нежели выжившая изъ ума цивилизація. Мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что нашъ образъ жизни, особенно въ большихъ городахъ, въ Лондонѣ или Берлинѣ, все-равно, не очень естественъ; вѣроятно, онъ во многомъ измѣнится, — человѣчество не давало подписки жить всегда, какъ теперь; у развивающейся жизни ничего нѣтъ завѣтнаго. Знаю я, что формы историческаго міра такъ же естественны, какъ формы міра физическаго! Но знаете ли вы, что въ самой природѣ, въ этомъ вѣчномъ настоящемъ безъ раскаянія и надежды, живое, развиваясь, безпрестанно отрывается отъ миновавшей формы, обличаетъ неестественнымъ тотъ организмъ, который вчера вполне удовлетворялъ? Вспомните превращеніе насѣкомыхъ, вѣчный примѣръ бабочки и куколки. Когда настоящее оперто *только* на прошедшее, оно дурно оперто. Петръ Великій торжественно доказалъ, что прошедшее, выражаемое цѣлой страной, несостоятельно противъ воли одного человѣка, дѣйствующаго во имя настоящаго и будущаго. Юридическая протія многолѣтней давности не признается жизнью; совсѣмъ напротивъ, давность съ точки зрѣнія природы даетъ только одно право, право смерти.

Видите ли, я въ ударѣ резонерствовать? Это дѣйствіе деревенскаго *farniente*. Но Богъ съ ней, съ городской жизнью! Я и не думалъ объ ней говорить; лучше, благо есть время, начну нѣкогда обѣщанныя письма о современномъ состояніи естествовѣдѣнія.

Помните ли вы наши безконечные споры студенческой эпохи, въ которыхъ обыкновенно съ двухъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія мы стремились понять явленіе жизни и не могли никогда дойти не только до дѣльнаго результата, но даже до того, чтобъ вполне понять другъ друга? Такъ относятся къ природѣ философія, съ своей стороны, и естествовѣдѣніе, съ своей, — обѣ съ страннымъ притязаніемъ на обладаніе если не всею истиною, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недосыгаемой высоты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу онѣ питали ненависть; онѣ выросли въ взаимномъ недоуверіи; много предразсудковъ укоренилось съ той и другой стороны; столько горькихъ словъ пало, что, при всемъ желаніи, онѣ не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстрачиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими, въ самомъ дѣлѣ, страхъ и уныніе. Давно ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинаніями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія: всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имѣютъ свои ма-

ленькія привидѣнница: это силы, отвлеченныя отъ дѣйствій, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: *exempli gratia*—жизненная сила, эфиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобъ не понять другъ друга, и они вполне достигли этого. Между тѣмъ, стало уясняться, что философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи. Для того, чтобъ убѣдиться въ послѣднемъ, взглянемъ на современное состояніе физическихъ наукъ. Оно представляется самымъ блестящимъ; о чемъ едва смѣли мечтать въ концѣ прошлаго столѣтія, то совершенно, или совершается передъ нашими глазами. Органическая химія, геологія, палеонтологія, сравнительная анатомія распустились въ нашъ вѣкъ изъ небольшихъ почекъ въ огромныя вѣтви, принесли плоды, превзошедшіе самыя смѣлыя надежды. Міръ прошедшій, покорный мощному голосу науки, поднимается изъ могилы свидѣтельствовать о переворотахъ, сопровождавшихъ развитіе поверхности земного шара; почва, на которой мы живемъ, эта надгробная доска жизни миновавшей, становится какъ бы прозрачною; каменные склепы раскрылись; внутренности скаль не спасли хранимаго ими. Мало того, что полуистлѣвшіе, полуокаменѣлые остовы обрастаютъ снова плотью, палеонтологія стремится 1) раскрыть законъ соотношенія между геологическими эпохами и полнымъ органическимъ населеніемъ ихъ. Тогда все нѣкогда-живое воскреснетъ въ человѣческомъ разумѣніи, все исторгнется отъ печальной участи безслѣднаго забвенія, и то, чего кость истлѣла, чего феноменальное бытіе совершенно изгладилось, возстановится въ свѣтлой обители науки, въ этой обители успокоенія и увѣковѣченія временнаго. Съ другой стороны, наука открыла за видимымъ предѣломъ цѣлыя міры невидимыхъ подробностей; ей раскрылся тотъ *monde des détails*, о возможности котораго генералъ Бонапарте мечталъ, бесѣдуя въ Каирѣ съ Монжемъ и Жоффруа Сентъ-Илеромъ²⁾. Естествоиспытатель, вооруженный микроскопомъ, преслѣдуетъ жизнь до послѣдняго предѣла, слѣдитъ за ея закулисною работой. Физиологъ на этомъ порогѣ жизни встрѣтился съ химикомъ, вопросъ о жизни сталъ опредѣленнѣе, лучше поставленъ, химія заставила смотрѣть не на однѣ формы и ихъ видоизмѣненія; она въ лабораторіи научила допрашивать органическія тѣла о ихъ тайнахъ. Сверхъ теоретическихъ успѣховъ, успѣхи физическихъ наукъ имѣютъ громкія доказательства внѣ

1) Вспомните труды Агассиса надъ ископаемыми рыбами и труды Орбиньи надъ слизняками и другими началами.

2) *Notions de Philos. naturele par Jeoffroy St-Hilaire. Paris. 1838.*

кабинетовъ и академій; онѣ окружили, вмѣстѣ съ механикой, каждый шагъ нашей жизни открытіями и удобствами. Онѣ машинами, призваніемъ въ дѣло силъ брошенныхъ и теряющихся, упрощеніемъ сложныхъ и трудныхъ производствъ, указаніемъ возможности тратить не *болѣе* усилій, какъ сколько нужно для достиженія цѣли,—участвуютъ въ разрѣшеніи важнѣйшаго общественнаго вопроса: онѣ подаютъ средства отрѣшиться руки человѣческаго отъ непрерывной тяжелой работы.

Казалось бы, послѣ этого, естественнѣйшую остается торжествовать свои побѣды и, въ справедливомъ сознаніи великаго совершеннаго, трудиться, спокойно ожидая будущихъ успѣховъ; на дѣлѣ не совсѣмъ такъ. Внимательный взглядъ безъ большого напряженія увидитъ во всѣхъ областяхъ естественнѣйшаго какую-то неловкость; имъ *чего-то* не достаетъ, чего-то, незамѣняемаго обиліемъ фактовъ; въ истинахъ, ими раскрытыхъ, есть недомолвка. Каждая отрасль естественныхъ наукъ приводитъ постоянно къ тяжелому сознанію, что есть нѣчто неуловимое, непонятное въ природѣ; что онѣ, не смотря на многостороннее изученіе своего предмета, узнали его *почти, но не совсѣмъ*, и именно въ этомъ, недостающемъ чемъ-то, постоянно ускользающемъ, предвидится та отгадка, которая должна превратиться въ мысль и, слѣдственно, усвоить человѣку непокорную чуждость природы. Сознаніе сказаннаго вкралось въ самое изложеніе естественныхъ наукъ; вы часто встрѣтите среди удачъ и открытій грустную жалобу; увеличеніе знаній, не имѣющее никакихъ предѣловъ, обуславливаемое извнѣ случайными открытіями, счастливыми опытами, иногда не столько радуется, сколько тѣснить умъ. Пребывающая и по-неволѣ признанная чуждость предмета, упорно не поддающаяся, сердить человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ влечетъ его къ себѣ на непрерывную борьбу, на покореніе, котораго онъ сдѣлать не въ состояніи и оставить не можетъ. Это голосъ вопіющаго разума, не умѣющаго останавливаться на полдорогѣ,—голосъ самой *natura regum*, стремящейся вполне просвѣтлѣть въ мышленіи человѣческомъ. Вѣроятно, вы замѣчали, съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего воззрѣнія, какъ-бы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣчать не могутъ; но такого рода границы несостоятельны; поставленныя личной волей, онѣ столько же внѣшни предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорятъ, что имъ дѣла нѣтъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить ¹⁾.

1) Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ?—Наполеонъ считалъ пароходы невозможностью...

Большей частью смѣлость эта подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни; у иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ,—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею—бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ; они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полного успѣха, что предметъ не побѣжденъ....

Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подь-силу, какъ скупому стяжателю знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его. Ни одинъ изъ великихъ естествоиспытателей не могъ спокойно пренебрегать этой неполнотою своей науки; таинственное *ignotum* мучило ихъ; они относили къ одному недостатку фактическихъ свѣдѣній неуловимость его. Мы думаемъ, что, сверхъ этого недостатка, имъ мѣшаетъ всего болѣе робкое и безсознательное употребленіе логическихъ формъ. Естествоиспытатели никакъ не хотѣли разобрать отношеніе знанія къ предмету, мышленія къ бытію, человѣка къ природѣ; они подь мышленіемъ разумѣютъ способность разлагать данное явленіе и потомъ сличать, наводить, располагать въ порядкѣ найденное и данное для нихъ; критеріумъ истины—вовсе не разумъ, а одна чувственная достовѣрность, въ которую они вѣрятъ; имъ мышленіе представляется дѣйствиемъ чисто личнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету. Они пренебрегаютъ формою, методою, потому что знаютъ ихъ по схоластическимъ опредѣленіямъ. Они до того боятся систематики ученія, что даже матеріализма не хотятъ, *какъ ученія*; имъ бы хотѣлось относиться къ своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумѣется, что для мыслящаго существа это такъ же невозможно, какъ организму принимать пищу, не претворяя ея. Ихъ мнимый эмпиризмъ все же приводитъ къ мышленію, но къ мышленію, въ которомъ метода произвольна и лична. Странное дѣло! каждый физиологъ очень хорошо знаетъ важность формы и ея развитія, знаетъ, что содержаніе только при извѣстной формѣ оживаетъ стройнымъ организмомъ,—и ни одному не пришло въ голову, что метода въ наукѣ вовсе не есть дѣло личного вкуса, или какого-нибудь внѣшняго удобства, что она, сверхъ своихъ формальныхъ значеній, есть самое развитіе содержанія, эмбриологія истины, если хотите.

Этотъ странный силлогизмъ естественныхъ наукъ не прошелъ имъ даромъ. Идеалисты непрерывно ругали эмпириковъ, топтали

ихъ ученіе своими безтѣлесными ногами и не подвинули вопроса ни на одинъ шагъ впередъ. Идеализмъ—собственно для естествовѣдѣнія ничего не сдѣлалъ... Позвольте обговориться! Онъ работалъ, онъ приготовилъ безконечную форму для безконечнаго содержанія фактической науки; но она еще не воспользовалась ею: это дѣло будущаго... Мы на сію минуту говоримъ, если не о совершенно-прошедшемъ, то о проходящемъ моментѣ. Идеализмъ всегда имѣлъ въ себѣ нѣчто невыносимо-дерзкое: человѣкъ, увѣрившійся въ томъ, что природа вздоръ, что все временное не заслуживаетъ его вниманія, дѣлается гордъ, безпощаденъ въ своей односторонности и совершенно-недоступенъ истинѣ. Идеализмъ высококомѣрно думалъ, что ему стоитъ сказать какую-нибудь презрительную фразу объ эмпириі, — и она разсѣется, какъ прахъ. Вышнія натуры метафизиковъ ошиблись: они не поняли, что въ основѣ эмпириі положено широкое начало, которое трудно пошатнуть идеализмомъ. Эмпирики поняли, что *существованіе* предмета не шутка; что взаимодѣйствіе чувствъ и предмета не есть обманъ; что предметы, насъ окружающіе, не могутъ не быть истинными, потому уже, что они существуютъ; они обернулись съ довѣріемъ къ тому, *что есть*, вмѣсто отысканія *того, что должно быть*, но чего, странная вещь, нигдѣ нѣтъ! Они приняли міръ и чувства съ дѣтской простотою и звали людей сойти съ туманныхъ облаковъ, гдѣ метафизики возились съ схоластическими бреднями; они звали ихъ въ настоящее и дѣйствительное; они вспомнили, что у человѣка есть пять чувствъ, на которыхъ основано начальное отношеніе его къ природѣ, и выразили своимъ возрѣніемъ первые моменты чувственнаго созерцанія—необходимаго, единственно-истиннаго предшественника мысли. Безъ эмпириі нѣтъ науки, такъ, какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ.

Опытъ и умозрѣніе—двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того же знанія; спекуляція—больше ничего, какъ высшая, развитая эмпириі; взятая въ противоположности исключительно и отвлеченно, онѣ такъ же не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпириі непременно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически-первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадьми не разорвешь. Несмотря на то, что правда сказаннаго нами довольно проста, она далека отъ того, чтобъ быть познанныю; антагонизмъ между эмпирией и спекуляціей, между естествовѣдѣніемъ и философией продолжается.

Чтобъ понять это, надобно вспомнить время, когда естествовѣдѣніе отторглось отъ философіи: то было въ торжественную и великую эпоху возрожденія наукъ, когда поюнѣвшій человѣкъ снова почувствовалъ горячую кровь въ жилахъ и началъ своею мыслью обсуживать и изучать все, окружавшее его. Съ негодованіемъ взглянули тогда всѣ положительные, практическіе умы на схоластику; они, какъ всегда бываетъ при переворотахъ, забыли всѣ ея заслуги и помнили одинъ тяжкій яремъ, который она накладывала на мысль,—помнили, какъ она, уничиженная, покорная, подѣлаторитетная, занималась пустыми формальными интересами, и съ ненавистью отвергли ее. Возстаніе противъ Аристотеля было началомъ самобытности новаго мышленія. Не надобно забывать, что Аристотель среднихъ вѣковъ не былъ настоящій Аристотель, а переложенный на католическіе нравы; это былъ Аристотель съ тонзурой. Отъ него, канонизированнаго язычника, равно отреклись Декартъ и Бэконъ. Посмотрите, съ какимъ запальчивымъ пренебреженіемъ химики XVIII вѣка говорятъ о школьныхъ метафизикахъ и какъ радостно провозглашаютъ права опыта, наблюденій, эмпіріи, какъ они ничего знать не хотятъ внѣ чувственной достовѣрности, какъ они трепещутъ всего, напоминающаго схоластическіе кандалы. Имъ стало легко и привольно, потому-что они стали на землю, на которой человѣку суждено стоять; у нихъ была отыскана точка внѣшней опоры, точка отправленія; они ревниво ее отстаивали и пошли своей дорогой, дорогой трудной, песчаной; они не боялись труда—непреложная реальность ихъ занятій увлекала ихъ; природа, неистощимо-богатая явленіями, довѣла надолго жадному любознанію; но, само собою разумѣется, натуралисты должны были неминуемо прійти къ предѣламъ своего возрѣнія, потому-что ихъ возрѣнія были узки, и въ самомъ дѣлѣ пришли къ нимъ; но страхъ схоластики превозмогъ, они не выступаютъ изъ круга, добровольно ими самими замкнутаго. Философіи было легче дойти до истинныхъ и дѣйствительныхъ основаній логики, нежели поправить свою репутацію. Впрочемъ, это возстановленіе репутаціи она вполнѣ можетъ сдѣлать только въ наше время,—закваска схоластическая только теперь начинаетъ выдыхаться изъ нея. Идеализмъ не что иное, какъ *схоластика протестантскаго міра*. Онъ никогда не уступалъ въ односторонности эмпіріи; онъ никогда не хотѣлъ понять ее, и когда понималъ по-неволѣ, съ важностью протянулъ ей руку, прощаль ее, диктовалъ условія мира—въ то время, какъ эмпірія вовсе не думала у него просить помилованія.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что умозрѣніе и эмпірія равно виноваты во взаимномъ непониманіи, и дѣло теперь вовсе не въ томъ, чтобъ оправдать одну сторону на счетъ другой, но въ томъ,

чтобъ, объяснивъ, какъ они попали въ борьбу извѣстной притчи Мененія Агриппы, показать, что это фактъ прошедшій, принадлежащій грубу и исторіи, что продолжать эту борьбу обѣимъ сторонамъ вредно и нелѣпо. И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имѣютъ всѣ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состояла его историческая необходимость,— одно только унаслѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать обветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно *объясниться* во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе, и освободиться отъ антагонизма: всякая исключительность тягостна; она не даетъ мѣста свободному развитію. Но для этого объясненія необходимо, чтобъ философія оставила свои грубыя притязанія на безусловную власть и на всегдашнюю непогрѣшительность. Ей, по праву, дѣйствительно принадлежитъ центральное мѣсто въ наукѣ, которымъ она вполне можетъ воспользоваться, когда перестанетъ требовать его, когда откровенно побѣдитъ въ себѣ дуализмъ, идеализмъ, метафизическую отвлеченность, когда ея совершеннѣйшій языкъ отучится отъ робости передъ словами, отъ трепета передъ умозаключеніемъ; ея власть будетъ признана тогда болѣе, нежели признана она будетъ дѣйствительно; иначе, объявляя себя, сколько хочешь, абсолютной, никто не повѣритъ, и частныя науки останутся при своихъ федеральныхъ понятіяхъ¹⁾. Философія развиваеетъ природу и сознаніе а priori, и въ этомъ ея творческая власть; но природа и исторія тѣмъ и велики, что онѣ не нуждаются въ этомъ а priori: онѣ сами представляютъ живой организмъ, развивающій логику а posteriori. Что тутъ за мѣстничество? Наука одна; двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; спокойнѣе-вѣка сравнивали науки съ вѣтвящимся деревомъ—сходство чрезвычайно вѣрное; каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особыя растенія; но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому *растенію этихъ растеній*—дереву; отнимите вѣтви—останется мертвый пенъ, отнимите стволъ—вѣтви упадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непременно вошло нѣчто данное, впередъ-идушее, не ими узаконенное; онѣ собственно органы, принадлежащіе одному существу; отдѣлите органъ отъ организма, и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью: и организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ труномъ, кучею частицъ. Жизнь есть сохраняющееся единство много-

¹⁾ Въ исторіи все *относительно* абсолютно; безотносительно-абсолютное—логическое отвлеченіе, которое за предѣлами логики тотчасъ дѣлается относительнымъ.

различія, единство цѣлаго и частей; когда нарушена связь между ними, когда единство, связующее и хранящее, нарушено, тогда каждая точка начинает свой процессъ; смерть и гніеніе тупа— полное освобожденіе частей.

Еще сравненіе: Частныя науки составляютъ планетный міръ, имѣющій средоточіе, къ которому онъ отнесенъ и отъ котораго получаетъ свѣтъ; но, говоря такъ, мы не забудемъ, что свѣтъ дѣло двухъ моментовъ, а не одного; безъ планетъ не было бы солнца. Вотъ этого-то органическаго соотношенія между фактическими науками и философіей нѣтъ въ сознаніи нѣкоторыхъ эпохъ, и тогда философія погрязаетъ въ абстракціяхъ, а положительныя науки теряются въ безднѣ фактовъ. Такая ограниченность рано или поздно должна найти выходъ: эмпірія перестанетъ бояться мысли, мысль, въ свою очередь, не будетъ пятиться отъ неподвижной чуждости міра явленій; тогда только вполне побѣдится внѣ-сущій предметъ, ибо ни отвлеченная метафизика, ни частныя науки не могутъ съ нимъ совладѣть: одна спекулятивная философія, выращенная на эмпірії, — страшный горнъ, передъ огнемъ котораго ничто не устоитъ. Частныя науки конечно, онѣ ограничены двумя впередь-идущими: предметомъ, твердо стоящимъ внѣ наблюдателя, и личностью наблюдателя, прямо-противоположною предмету. Философія снимаетъ логикой личность и предметъ, но, снимая, она сохраняетъ ихъ. Философія есть единство частныхъ наукъ; онѣ втекаютъ въ нее, онѣ ея питаніе; новому времени принадлежитъ возрѣніе, считающее философію отдѣльною отъ наукъ; это послѣднее убійственное произведеніе дуализма; это одинъ изъ самыхъ глубокихъ разрѣзовъ его скальпеля. Въ древнемъ мірѣ, беззаконной борьбы между философіей и частными науками вовсе не было; она вышла рука-объ-руку изъ Іоніи и достигла своей апоѳеозы въ Аристотелѣ ¹⁾. Дуализмъ, составлявшій славу схоластики, носилъ въ себѣ необходимымъ послѣдствіемъ расторженіе на отвлеченный идеализмъ и отвлеченную эмпірію; онъ проводилъ свой безошадный ножъ между самымъ неразрывнѣйшимъ, между родомъ и недѣлимимъ, между жизнію и живымъ, между мышленіемъ и тѣми, которые мыслятъ; и у него по той и другой сторонѣ ничего не оставалось, или, хуже, оставались призраки, принимаемые за дѣйствительность, философія, не опертая на частныхъ наукахъ, на эмпірії,—призракъ, метафизика, идеализмъ. Эмпірія, довлѣющая себѣ внѣ философіи,—сборникъ, лексиконъ, инвентарій—или, если это не такъ, она невѣрна себѣ. Мы сейчасъ увидимъ это.

¹⁾ Сократъ смотрѣлъ на физическія науки какъ-то въ родѣ нашихъ филологовъ; но это была временная размолвка.

Фактъ, бросающійся съ перваго взгляда въ физическихъ наукахъ, состоитъ въ томъ, что естествоиспытатели только говорятъ, что они не выходятъ изъ эмпири; а въ сущности они почти никогда не остаются въ ней; они выходятъ изъ предѣловъ опытнаго вѣдѣнія, не давая себѣ отчета, что дѣлаютъ; бессознательно идти въ дѣлѣ наукъ невозможно, не сбившись съ дороги; для того, чтобъ дѣйствительно перейти предѣлы какого-либо логическаго момента, надобно, по крайней мѣрѣ, понять, въ чемъ именно ограниченность исчерпанной формы: ничто въ свѣтѣ не путаетъ такъ понятій, какъ бессознательный выходъ изъ одного момента въ другой. Пока естествовѣдѣніе въ самомъ дѣлѣ остается въ предѣлахъ эмпири, оно превосходно дагерротипируетъ природу, оно переводитъ сущее, частное, феноменальное на всеобщій языкъ; это подробный и необходимый кадастръ недвижимаго имѣнія науки, это матеріаль, способный на дальнѣйшее развитіе, которое, однако, можетъ очень долго не быть: оставаться въ предѣлахъ такой эмпири въ самомъ дѣлѣ трудно, почти невозможно; на это надобно бездну воздержности, бездну самоотверженія, гениальность Кювье, или тупость какого-нибудь недалняго спеціалиста. Естествоиспытателямъ, такъ громко и непрерывно превозносящимъ опытъ, въ сущности описательная часть скоро надобѣдаетъ. Имъ явнымъ образомъ не хочется оставаться при одномъ добросовѣстномъ перечнѣ; они чувствуютъ, что это не наука, стремятся замѣшать мышленіе въ дѣло опыта, освѣтить мыслію то, что въ немъ темно, и тутъ обыкновенно они запутываются и теряются въ худопонятыхъ категоріяхъ, идутъ зря, не даютъ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, боятся выпустить изъ рукъ предметъ, данный чувственной достовѣрностью, не замѣчая, что онъ давно уже измѣнился; боятся довѣриться мышленію, и, невольно увлекаемые въ потокъ діалектическаго движенія, разлагаютъ предметъ на его противоположныя опредѣленія, утрачивая возможность соединить разъединенныя начала.

Стремленіе выйти изъ эмпири совершенно-естественно, — исключительность противна духу человѣческому. Чисто-эмпирическое отношеніе къ природѣ имѣетъ животное, но зато животное относится только практически къ окружающему міру; оно не довольствуется страдательнымъ разсматриваніемъ естественныхъ произведеній, и ѣсть ихъ, или идетъ прочь. Человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность всходить отъ опыта къ совершенному усвоенію даннаго знаніемъ; иначе это данное его тѣснить, его надобно *переносить* (subir), что несовмѣстно съ свободой духа. Оттого-то законнѣйшіе враги логики и философіи не могли уберечь себя отъ теоретическихъ мечтаній, иногда не уступающихъ въ нелѣпости самому трансцендентальному идеализму. Развѣ химикъ не имѣлъ своей «quinta essentia», своего «всемирнаго газа», своихъ теорій

происхожденія, своей теоріи металловъ, своей теоріи флогистона и пр.? Дѣло въ томъ, что человѣкъ больше у себя въ мірѣ теологическихъ мечтаній, нежели въ многообразіи фактовъ. Собраніе матеріаловъ, разборъ, изученіе ихъ чрезвычайно важны; но масса свѣдѣній, не пережженныхъ мыслію, не удовлетворяетъ разуму. Факты и свѣдѣнія представляютъ необходимые документы производимаго слѣдствія,—но судъ и приговоръ впереди; онъ оснуется на документахъ, но произнесетъ *свое*. Факты—это только скопленіе однороднаго матеріала, а не живой ростъ, какъ бы сумма частей ни была полна. Эмпирики, понимая это инстинктуально, переходятъ къ разсудочнымъ отвлеченіямъ, думая ими уловить цѣлое по частямъ; такимъ образомъ, они теряютъ предметъ, сущій на самомъ дѣлѣ, замѣняя его отвлеченіями, сущими только въ умѣ. Если-бъ они откровенно довѣрялись мышленію, оно ихъ вывело бы изъ односторонности той же діалектической необходимостью, которая заставила ихъ отъ непосредственнаго бытія перейти къ разсудочнымъ посредствамъ; оно привело бы ихъ къ сознанію конечности такого знанія, къ сознанію нелѣпости — остановиться въ безвыходномъ круговоротѣ причинъ и дѣйствій, въ которомъ каждая причина дѣйствіе и каждое дѣйствіе причина, въ странномъ разединеніи формы и содержанія, силы и проявленія, сущности и бытія. Но они не довѣряются мышленію; еще болѣе: видя неудачныя попытки добратся до истины путемъ разсудочнаго движенія, они сильнѣе предубѣждаются противъ всякаго мышленія; они раскаиваются въ томъ, что потеряли время внѣ эмпирической сферы. Но зачѣмъ же они употребляютъ логическія дѣйствія, не давая себѣ отчета въ ихъ смыслѣ? Они воображаютъ, что если они переходятъ изъ эмпиріи къ объясненіямъ, то весь предметъ у нихъ цѣль и сохраненъ; въ то время, какъ отвлеченныя категоріи не имѣютъ силы зачерпнуть его такъ, какъ онъ есть, разсудокъ, какъ гальванической снарядъ, или вовсе не дѣйствуетъ, или дѣйствуетъ разлагая на двѣ противоположности,—который бы результатъ его ни взяли. Онъ одностороненъ, онъ — составная часть. Въ эту туманную среду разсудочнаго движенія поднимаются эмпирики и не идутъ дальше,—между тѣмъ эта среда истинна только какъ переходъ, какъ путь, цѣль котораго — быть пройденнымъ; если-бъ поняли смыслъ разсудочной науки, тогда призрачная преграда между опытомъ и умозрѣніемъ уничтожилась бы сама собою; теперь же эмпирія на философію и философія на эмпирію смотрятъ именно сквозь эту среду и видятъ другъ друга съ искаженными чертами: эмпирія, встрѣчая усѣченную, недѣйствительную разсудочную истину, думаетъ, что это вина самаго мышленія; — философія ее же принимаетъ за результатъ опытнаго вѣдѣнія. Остановиться на рефлексіи—хуже, нежели остановиться на эмпиріи: все нелѣ-

ное, все смѣшное, что вы встрѣтите въ физическихъ наукахъ, происходитъ именно отъ внѣшнихъ размышленій и объяснительныхъ теорій ¹⁾).

Натуралисты, дошедшіе до разсудочнаго движенія, воображаютъ, что анализъ, аналогія и, наконецъ, наведеніе, какъ дальнѣйшее развитіе обоихъ, — единственныя средства узнать предметъ, оставляя его неприкосновеннымъ, какъ онъ былъ; а этого-то именно и не нужно и невозможно. Во-первыхъ, анализъ не оставляетъ камня на камнѣ въ данномъ предметѣ и кончитъ всякій разъ тѣмъ, что сведетъ данное эмпиріей на отвлеченныя всеобщности; онъ правъ: онъ дѣлаетъ свое дѣло; не правы употребляющіе его безъ отчета о его дѣйствіи и останавливающіеся на немъ. Во-вторыхъ, желаніе оставить предметъ, какъ онъ есть, и понять его, не разрѣшая въ мыслѣ, не только иллюлизмъ, но просто нелѣпость: частный предметъ, явленіе, остается неприкосновеннымъ, если человѣкъ, не думая о немъ, смотритъ на него, когда онъ къ нему равнодушенъ; если онъ его назоветъ, то уже онъ не оставилъ его въ сферѣ частныхъ, а поднялъ во всеобщее. Какъ же понять

1) Предоставляю себѣ впоследствии показать нѣсколько разительныхъ примѣровъ теоретическихъ нелѣпостей наукъ положительныхъ; теперь укажу вамъ только на всѣ существующіе курсы физики Біо, Ламе, Гей-Люссака, Дебре, Пулье, и пр., и пр. Химія занимается больше дѣломъ; ея предметъ конкретнѣе эмпиричнѣе; но физика отвлеченнѣе по своимъ вопросамъ, и потому она представляетъ торжество гипотетическихъ объяснительныхъ теорій (т. е. такихъ, о которыхъ знаютъ, что онѣ вздоръ). Съ самаго начала въ физикѣ гибнетъ эмпирический предметъ; являются одни общія свойства, матерія, силы, потомъ вводятся какіе-то внѣшніе агенты; электричество, магнетизмъ и проч., даже бѣдную теплоту попоробовали олицетворить—въ теплотворѣ; греческій антропоморфизмъ природы—только сухой, неизящный. А теорія свѣта? Двѣ противоположныя теоріи свѣта, обѣ опровергаемыя, обѣ признанныя, потому что есть явленія, которыя объясняются по одной, а другія по другой! И какъ его не опредѣляютъ: и жидкостью, и силой, и невѣсомымъ! Почему онъ жидкость, когда невѣсомой, — да такая легкая жидкость? Отчего же гранитъ не считать претяжелой жидкостью? И что за жалкое опредѣленіе невѣсомости! Свѣтъ—сверхъ того и не пахучее? *Сила*—тоже не лучше! Почему не сказать: свѣтъ—*дѣйствіе*? На силу все можно свести, какъ на достаточную причину явленія. Отчего звука никто не называетъ ни жидкостью, ни силой (хотя Гассенди и толговалъ объ атомахъ звука)? Отчего никто не называетъ очертанія тѣла невѣсомой формой его? На это возражать, что форма присуща тѣлу, звукъ—сотрясеніе воздуха. А развѣ кто-нибудь видѣлъ все общество *imponderabilium* внѣ тѣлъ, такъ, самихъ по себѣ?—«Да это все одни временныя опредѣленія для того, чтобъ какъ-нибудь не растеряться; мы сами этимъ теоріямъ не придаемъ важности». Очень хорошо; но, вѣдь, когда-нибудь надобно же и серьезно заняться смысломъ явленій; нельзя все шутить; принимая для практической пользы неосновательныя гипотезы, наконецъ, совершенно собьемся съ толку. Эта метода дѣлаетъ страшный вредъ учащимся, давая имъ *слова* вмѣсто понятій, убивая въ нихъ вопросъ должнымъ удовлетвореніемъ. «Что есть электричество»?—«Невѣсомая жидкость». Не правда ли, что лучше было бы, если-бъ ученикъ отвѣчалъ: «не знаю»?...

смыслъ явленія, не вовлекая его въ логическій процессъ (не прибавляя ничего отъ себя, какъ обыкновенно выражаются)? Логическій процессъ есть единственное всеобщее средство человѣческаго пониманія; природа не заключаетъ въ себѣ всего смысла своего,— въ этомъ ея отличительный характеръ; именно мышленіе и дополняетъ, развиваетъ его; природа только существованіе, и отдѣляется, такъ сказать, отъ себя въ сознаніи человѣческомъ, для того, чтобъ понять свое бытіе: мышленіе дѣлаетъ не чуждую добавку, а продолжаетъ необходимое развитіе, безъ котораго вселенная не полна,—то самое развитіе, которое начинается со стихійной борьбы, съ химическаго сродства, и оканчивается самопознающимъ мозгомъ человѣческой головы. Хотя умъ сдѣлать страдательнымъ пріемникомъ, особаго рода зеркаломъ, которое отражало бы данное, не измѣняя его, то есть, во всей его случайности, не усвоивая тупо, безсмысленно; а данное, сущее во времени и пространствѣ, хотя сдѣлать дѣятельнымъ началомъ,—это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно, въ самомъ дѣлѣ, никогда и не удается: воображая ходить на головѣ, ходятъ на ногахъ.

Объяснять внѣшнимъ образомъ предметъ — значитъ сознаваться, что нельзя его понять; объяснять предметъ подобіемъ — средство иногда полезное, но большей частью бѣдное: никто не прибѣгаетъ къ аналогіи, если можетъ ясно и просто высказать свою мысль. Не даромъ французы говорятъ: *comparaison n'est pas raison*. Въ самомъ дѣлѣ, строго-логически, ни предмету, ни его понятію дѣла нѣтъ, похожи ли они на что-нибудь, или нѣтъ; изъ того, что двѣ вещи похожи другъ на друга извѣстными сторонами, нѣтъ еще достаточнаго права заключать о сходствѣ неизвѣстныхъ сторонъ. Въ какія грубыя ошибки, напримѣръ, впадала геологія, желая обобщать факты, выведенные изученіемъ Альпійскихъ горъ, къ другимъ полосамъ! Когда извѣстенъ общій законъ, то вы ищите его въ частномъ случаѣ не по одной аналогіи съ другими явленіями, но по логической необходимости. Часто аналогія вытѣсняетъ одно эмпирическое представленіе другимъ; это попросту называется отводить глаза. Вы ждете, напримѣръ, объясненія, какимъ образомъ общее чувствилище передаетъ нерву, нервъ мышцамъ движеніе вашей души, а вамъ вмѣсто понятія подсовываютъ образъ музыканта, натянутыхъ струнъ, передающихъ фантазію художника; простой вопросъ усложняется; это подобное можно опять свести на что-нибудь подобное, и первоначальный предметъ совершенно затеряется въ сходствѣ: это та самая метода, по которой человѣческій портретъ рядомъ подобныхъ копій сводится на изображеніе фрукта.

Сюда же принадлежатъ насильно стѣсняемая представленія, будто бы для вѣщей понятности: «Если мы представимъ себѣ,

что лучъ свѣта состоятъ изъ безконечно-малыхъ шариковъ эѳира, касающихся другъ друга».... Зачѣмъ же я стану себѣ представлять, что свѣтъ солнца падаетъ на меня такъ, какъ дѣти яйца катаютъ, когда я увѣренъ, что это не такъ? Въ физическихъ наукахъ принято за обыкновеніе допускать подобнаго рода гипотезы, то есть, условную ложь для объясненія; но ложь не остается внѣ объясненія (иначе она была бы вовсе ненужна), а проникаетъ въ него, и вмѣсто истины получается странная смѣсь изъ эмпирической правды съ логической ложью; эта ложь рано или поздно обличается и по справедливости заставляетъ сомнѣваться въ истинѣ, спаянной съ нею. Химія и физика принимаютъ атомы,—лѣтъ двадцать тому назадъ атомы составляли основаніе всѣхъ химическихъ изслѣдованій. Принимая ихъ, вась предупреждаютъ обыкновенно на первой страницѣ, что естествоиспытателямъ собственно дѣла нѣтъ, въ самомъ ли дѣлѣ тѣла состоятъ изъ крупинокъ чрезвычайно - недѣлимыхъ, невидимыхъ, но имѣющихъ свойства, объемъ и вѣсъ, или нѣтъ,—что ихъ принимаютъ такъ для удобства. Такимъ лѣнливымъ приниманіемъ они сами уронили свою теорію; они виноваты въ томъ, что прошедшая философія напала на атомизмъ съ злымъ ожесточеніемъ; она разсматривала его въ томъ бѣдномъ видѣ, въ которомъ атомизмъ излагался въ введеніяхъ къ курсамъ физики и химіи. Древніе атомисты вовсе не шутили атомами; управляясь отъ точки зрѣнія, хотя односторонней, но необходимой въ общемъ развитіи, стройно и послѣдовательно, дошли до атомизма; атомъ былъ ими противопоставленъ элеатическому воззрѣнію, распускавшему въ отвлеченіяхъ все сущее; въ атомахъ они видѣли повсюдную средоточность вещества безконечную индивидуализацію его, *для себя бытіе, такъ сказать, каждой точки*. Это одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ, существенныхъ моментовъ пониманія природы: въ ея понятіи необходимо лежатъ эта разсыпчатость и цѣлость каждой части, такъ же, какъ непрерывность и единство; само собою разумѣется, что атомизмъ въ исчерпываетъ понятія природы (и въ этомъ онъ похожъ на динамизмъ); въ немъ пропадаетъ всеобщее единство; въ динамизмѣ части стираются и гибнутъ; задача въ томъ, чтобъ всѣ эти, для себя сущія, искры слить въ одно пламя, не лишая ихъ относительной самобытности. Динамизмъ и атомизмъ явились, при входѣ въ нашу эру, торжественно, громдно, во всепоглощающей сущности Спинозы и въ монадологіи Лейбница. Это двѣ величавыя грани, это двѣ геркулесова столба возродившейся мысли, воздвигнутыя не для того, чтобъ дальше нельзя было идти, а для того, чтобъ нельзя было возвратиться назадъ. Мы будемъ имѣть случай поговорить въ слѣдующихъ письмахъ о монадологіи, объ атомахъ Гассенди,—вы ужъ изъ этого видите, что атомизмъ для мыслителей не былъ

шуткой, что атомы представляли для нихъ мысль, истину; атомизмъ составлялъ убѣжденіе, вѣрованіе Левкиппа, Демокрита и др. Физики же съ перваго слова согласны, что ихъ теорія, можетъ быть, вздоръ, но вздоръ облегчительный. А почему же они предають атомы и соглашаются, что можетъ быть вещество не изъ атомовъ? На томъ же прекрасномъ основаніи лѣни и равнодушія, на которомъ принимаютъ всякаго рода предположенія! Если откровенно выразиться, то это можно назвать цинизмомъ въ наукѣ. Пулье говоритъ: «можетъ быть, вулканы выбросятъ когда-нибудь такія тѣла, у которыхъ атомы будутъ видимы». Какое же понятіе послѣ этого сопрягаетъ Пулье съ словомъ «атомъ»?

А между тѣмъ, рядомъ съ ними покровительница и благодѣтельница физики—математика такъ логически, такъ ясно показываетъ сознательное, рациональное пониманіе подобныхъ отвлеченій. Математика говоритъ, что линія—безконечное количество точекъ, въ известномъ порядкѣ расположенныхъ; она признаетъ возможность безконечной дѣлимости пространства; но она понимаетъ то, что говорить, она понимаетъ не *дѣйствительность*, а *отвлеченную возможность* дѣлимости; еще болѣе, она вмѣстѣ съ тѣмъ понимаетъ и непремѣнное протяженіе, и то, что дѣйствительная форма есть форма стереометрическая; она съ мыслью беретъ точку, линію, площадь и въ сознанныхъ ею предѣлахъ. Оттого ни одинъ математикъ не ждетъ аэролита, у котораго точки были бы замѣтны, или у котораго бы поверхность отваливалась отъ тѣла. Оттого математикъ никогда не станетъ дѣлать опытовъ *безконечнаго дѣленія*, не станетъ ни драть слюды, ни капать чернилъ въ бочку воды и послѣ пугать дѣтей расчетомъ, какая доля чернилъ въ одной этой каплѣ воды. Онъ знаетъ, если-бъ безконечная дѣлимость была *фактически-возможною*, то она не была бы *безконечною*. Безъ всякаго сомнѣнія, математика ушла несравненно дальше въ мышленіи противъ физики; одна теорія безконечно-малыхъ доказываетъ это; она не могла стереть съ себя близость съ логикой, несмотря на всѣ старанія; впрочемъ, не надобно забывать (такъ, какъ это дѣлають математики), что она, отъ Пифагора начиная, была преимущественно развиваема философами; Декартъ, Лейбницъ, даже Кантъ оживили ее, и, конечно, Лейбницъ не случайно дошелъ отъ монадологіи до дифференціаловъ... Но возвратимся къ нашему предмету.

Натуралисты готовы дѣлать опыты, трудиться, путешествовать, подвергать жизнь свою опасности, но не хотятъ дать себѣ труда подумать, поразсудить о своей наукѣ. Мы уже видѣли причину этой мыслелюбви; отвлеченность философіи и всегдашняя готовность перейти въ схоластическій мистицизмъ или въ пустую метафизику, ея мнимая замкнутость въ себѣ, ея довольство, не-

нуждающееся ни природой, ни опытом, ни исторіей, должно было оттолкнуть людей, посвятивших себя естествовѣдѣнію. Но такъ какъ всякая односторонность вмѣстѣ съ плодами производить и плевелы, то и естественныя науки должны были поплатиться за узкость своего воззрѣнія, несмотря на то, что оно было втѣснено узкостью противоположной стороны. Боязнь ввѣриться мышленію и невозможность знать безъ мышленія — отразилась въ ихъ теоріяхъ: онѣ личны, шатки, неудовлетворительны; каждое новое открытіе грозитъ разрушить ихъ; онѣ не могутъ развиваться, а замѣняются новыми. Принимая всякую теорію за личное дѣло, внѣшнее предмету, за удобное размѣщеніе частныхъ, натуралисты отворяютъ дверь убійственному скептицизму, а иногда и паразитическимъ нелѣпостямъ. Явленіе гомеопатіи, напимѣръ, само по себѣ неувидительно: во всѣ времена и во всѣхъ отрасляхъ вѣдѣнія были странныя попытки новыхъ ученій, въ которыхъ неперемѣнно гнѣздится маленькая истина въ огромной лжи; еще неувидительно, что дамамъ и парадоксальнымъ умамъ понравилось лечить зернышками: они потому и повѣрили въ гомеопатію, что она совершенно невѣроятна. Но какъ объяснить расколъ, овладѣвшій, лѣтъ десять тому назадъ, учеными врачами? Гомеопатическія лечебницы устраивались, издавались журналы, въ каталогахъ книгъ была особая рубрика *Homeopatische Arzneikunde*? Причина одна: медицина, какъ и всѣ естественныя науки, при всемъ богатствѣ матеріаловъ наблюденій, дойдетъ до того конца развитія, котораго жаждетъ человѣкъ, какъ животворнаго начала истины и которое одно можетъ удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на то, что имъ еще не до теоріи, что у нихъ еще не всѣ факты собраны, не всѣ опыты сдѣланы, и т. д. Можетъ быть, собранные матеріалы въ самомъ дѣлѣ недостаточны, даже навѣрное такъ; но не говоря о томъ, что фактовъ безконечное множество, и что сколько ихъ ни собирай, до конца все не дойдешь, это не мѣшаетъ поставить надлежащимъ образомъ вопросъ, развиты дѣйствительныя требованія, истинныя понятія объ отношеніи мышленія къ бытію ¹⁾).

Нарощеніе фактовъ и углубленіе въ смыслъ нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Все живое, развиваясь, растетъ по двумъ направленіямъ: оно увеличивается въ объемѣ и въ то же время сосредоточивается; развитіе наружу есть развитіе внутрь: дитя растетъ тѣломъ и умнѣетъ; оба развитія необходимы другъ для

¹⁾ Хотя Александръ Македонскій и посылалъ Аристотелю всякихъ животныхъ, но онъ навѣрное зналъ ихъ меньше, нежели Ламаркъ, что ему не помѣшало раздѣлить животныхъ на *Schizophora* и *Namatophora*, а это совпадаетъ съ *Vertebrata* и *Avertebrata* Ламарка.

друга и подавляютъ другъ друга только при одностороннемъ перевѣсѣ. Наука—живой организмъ, посредствомъ котораго отдѣляющаяся въ человѣкѣ сущность вещей развивается до совершеннаго самопознанія; у нея тѣ же два роста; нарощеніе извнѣ наблюдениями, фактами, опытами—это ея питаніе, безъ котораго она не могла бы жить; но внѣшнее пріобрѣтеніе должно *переработаться* внутреннимъ началомъ, которое одно даетъ жизнь и смыслъ кристаллизующейся массѣ свѣдѣній. Приращеніе фактическое, подобно осаждающемуся раствору, непрерывно растетъ, тихо по песчинкѣ набираетъ слои, не теряетъ ничего попавшаго прежде, всегда готово принять новое, не дѣлая, впрочемъ, для него ничего болѣе пріема; это развитіе безконечнаго успѣха, движеніе прямолинейное, безпредѣльное, апатическое, утоляющее и усиливающее жажду въ одно и то же время, потому что за рядами подробностей открываются новые ряды, и т. д.; *только* этимъ путемъ нельзя достигнуть полнаго и истиннаго знанія,—а это есть исключительный путь фактическихъ наукъ. Разумъ, дѣйствуя нормально, развиваетъ самопознаніе; обогащаясь свѣдѣніями, онъ открываетъ въ себѣ то идеальное средоточіе, къ которому все отнесено, ту безконечную форму, которая все пріобрѣтенное употребить на пластическое самовыполненіе, ту животворную монаду, которая своей мощью огибаетъ около себя прямолинейный и безконечный путь безцѣльнаго эмпирическаго развитія и даетъ ему мѣту не внѣ, а внутри себя; тамъ, и только тамъ открывается человѣку истина сущаго, и эта истина—онъ самъ, какъ разумъ, какъ развивающееся мышленіе, въ которое со всѣхъ сторонъ втекаютъ эмпирическія свѣдѣнія для того, чтобъ найти свое начало и свое послѣднее слово. Этотъ разумъ, эта сущая истина, это развивающееся самопознаніе,—назовите его философіей, логикой, наукой, или просто *человѣческимъ мышленіемъ*, спекулятивной эмпиріей, или какъ хотите,—непрерывно превращаетъ данное эмпирическое въ ясную, свѣтлую мысль, усваиваетъ себѣ все сущее, раскрывая идею его. У человѣка для пониманія нѣтъ иныхъ категорій, кромѣ категорій разума; частныя науки, враждуя противъ логики, дерутся ея орудіями, даже переносятъ ошибки формальной логики къ себѣ ¹⁾).

Странное положеніе естественныхъ наукъ относительно мышленія долго продолжиться не можетъ: онѣ до того богатѣютъ фактами, что нѣхотя взгляды ихъ дѣлаются яснѣе и яснѣе. Онѣ неминуемо должны, наконецъ, будутъ откровенно и не шутя рѣшить вопросъ объ отношеніи мышленія къ бытію, естествовѣдѣнія къ философіи и

¹⁾ Такъ отвлеченныя силы, причины, поляризація, оттолкноненіе и притяженіе,—все это въ физику перешло изъ логики, изъ математики, и, разумѣется, ваяютъ безъ критики, безъ связи, утратило настоящей смыслъ свой.

громко высказать возможность или невозможность вѣдѣнія истины, признать, что голова человѣка такъ устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не можетъ вполне знать или знаетъ только субъективно, что, слѣдственно, знаніе человѣческое—какое-то родовое безуміе, и тогда съ Секстомъ-эмпирикомъ должно сложить руки и, хладнокровно улыбаясь, сказать: «какой вздоръ все это!» или понять все отталкивающее такого взгляда, понять, что разумѣніе человѣка не внѣ природы, а есть разумѣніе природы о себѣ, что его разумъ есть разумъ въ самомъ дѣлѣ единый, истинный, такъ какъ все въ природѣ истинно и дѣйствительно въ разныхъ степеняхъ, и что, наконецъ, законы мышленія—сознанные законы бытія, что, слѣдственно, мысль нисколько не тѣснитъ бытія, а освобождаетъ его; что человѣкъ не, потому раскрываетъ во всемъ свой разумъ, что онъ уменъ и вносить свой умъ всюду, а напротивъ, уменъ оттого, что все умно; сознавъ это, придется отбросить нелѣпый антагонизмъ съ философией. Мы сказали, что фактическія науки имѣли полное право отворачиваться отъ прежней философіи; но эта односторонняя фаза, которой историческій смыслъ весьма важенъ, если не совсемъ миновала, то явно «агонизируетъ». Философія, неумѣвшая признать и понять эмпирію, хуже того—умѣвшая обойтись безъ нея, была холодна, какъ ледъ, безчеловѣчно строга; законы, открытые ею, были такъ широки, что все частное выпадало изъ нихъ; она не могла вышутаться изъ дуализма, и, наконецъ, пришла къ своему выходу: сама пошла на встрѣчу эмпиріи, а реализмъ смиренно сходитъ со сцены, въ видѣ романтическаго идеализма—явленія жалкаго, бѣднаго, безжизненнаго, питающагося чужою кровью. Эта школа—последняя представительница реформаціонной схоластики; она тщетно рвется къ чему-то иному, недосягаемому, несуществующему, къ прекраснымъ дѣвамъ безъ тѣла, къ горячимъ объятіямъ безъ рукъ, къ чувствамъ безъ груди... и о ней скоро скажутъ, какъ о безумной Козлова:

Ждала, ждала,
Не дождалась и умерла!

Мыслители и натуралисты начинаютъ понимать, что имъ другъ безъ друга нѣтъ выхода. Они часто, не зная того, встрѣчаются въ главныхъ основаніяхъ своихъ, останавливаются на тѣхъ же вопросахъ: что же мѣшаетъ имъ вполне объясниться? Лѣнь, готовые понятія, предразсудки, идущіе изъ рода въ родъ и равно сильные съ обѣихъ сторонъ. Предразсудки—великая цѣпь, удерживающая человѣка въ опредѣленномъ, ограниченномъ кружку окостенѣлыхъ понятій; ухо къ нимъ привыкло, глазъ присмотрѣлся, и нелѣпость, пользуясь правами давности, становится обще-при-

нятою истиной. Стоит ли разбирать ее? Покойнѣ безъ думы, безъ обсуживанія, повторять унаслѣдованныя сужденія, можетъ быть, въ свое время относительно справедливыя, но пережившія свою истину. Цеховые ученые и философы пріобрѣтаютъ извѣстный кругъ понятій, извѣстную рутину, изъ которой не могутъ выйти. Учениками еще принимаютъ они на вѣру основныя начала и никогда не думаютъ болѣе объ нихъ: они увѣрены, что покончили съ ними, что это азбука, на которую смѣшно и не нужно обращать вниманія. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передаются схоластическія опредѣленія, раздѣленія, термины и сбиваютъ чистый и прямой смыслъ начинающаго, закрывая ему надолго, часто навсегда возможность отдѣлаться отъ нихъ.

Не думайте, что одни ограниченныя умы платятъ дань предрассудкамъ своей касты, — совсѣмъ нѣтъ! Когда Гёте открылъ, описалъ, нарисовалъ человѣческую между челюстную кость, знаменитый Камперъ сказалъ ему: «Все это прекрасно, но, вѣдь, *os intermaxillare* не существуетъ въ человѣческой челюсти». Рассказывая это, Гёте не вытерпѣлъ, чтобъ не присовокупить ¹⁾: «Можетъ быть, назовутъ юношеской заносчивостью, когда непосвященный ученикъ осмѣливается противорѣчить записному мастеру своего дѣла и старается доказать, что онъ вопреки ему правъ; но многолѣтніе опыты научили меня иначе понимать. Вѣчно повторяемыя фразы костенѣютъ въ умѣ, наконецъ, дѣлаются неподвижными убѣжденіями, и *органы воззрѣнія становятся тупы*.... Бывали примѣры, что отличные люди въ своемъ ремеслѣ (*Handwerk*) иной разъ сворачивали нѣсколько съ торной колеи, но главной дороги они никогда не покидаютъ; они боятся новыхъ путей; имъ все-таки кажется вѣрнѣе держаться стараго». «Свѣжій человѣкъ», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «не закупленъ; его здоровый глазъ сразу можетъ увидѣть то, чего приглядѣвшійся не видитъ болѣе». Сверхъ этого подчиненія себя привычкѣ и давнопринятому, натуралистовъ останавливаетъ, задерживаетъ странное понятіе о личномъ правѣ въ наукѣ: они истину изобрѣтаютъ такъ, какъ снаряды. Жоффруа Сентъ-Илеръ, гениальный человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, чувствовалъ яснѣе другихъ потребность опереть естествовѣдѣніе на болѣе твердыхъ основаніяхъ; онъ добирался до построющей идеи, до всеобщаго типа, до единства въ многообразіи естественныхъ произведеній, и проч. Но, замѣьте, онъ все это хотѣлъ сдѣлать помимо родового мышленія человѣчества; онъ воображалъ, что онъ самъ лично выдумаетъ все это, требовалъ привилегіи на открытіе. Подобно ему, каждый мыслящій естествоиспытатель придумываетъ отъ себя начало, беретъ въ основу нѣсколько

¹⁾ Göthe's Werke. T. xxxvi. zur Osteologie etc.

мыслей, ему особенно нравящихся, проводить их через всю книгу,—и теорія готова. Совершенная отрѣзанность естествовѣдѣнія и философія часто заставляють цѣлые годы трудиться для того, чтобъ приблизительно открыть законъ, давно извѣстный въ другой сферѣ, разрѣшить сомнѣніе, давно разрѣшенное: трудъ и усиліе тратятся для того, чтобъ во второй разъ открыть Америку, для того, чтобъ проложить тропинку—тамъ, гдѣ есть желѣзная дорога. Вотъ плодъ раздробленія наукъ, этого феодализма, окапывающаго каждую полосу земли валомъ и чеканящаго свою монету за нимъ. Философъ знать не хочетъ факты, кичится невѣдѣніемъ практическихъ интересовъ и какъ только начнетъ изъ своихъ всеобщихъ законовъ снисходить къ частности, т. е. къ дѣйствительности,—теряется; эмпирикъ—наоборотъ.

Однакоже, съ начала нашего вѣка начало раздаваться слово *примиреніе*; оно раздавалось не даромъ: туманъ начинаетъ падать. Разсказъ главныхъ событій этого замиренія будетъ предметомъ будущихъ писемъ; теперь только нѣсколько словъ вообще.

Къ концу XVIII вѣка, въ тиши кабинетовъ, въ головахъ мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворотъ, какъ въ мірѣ политическомъ. Состояніе умовъ было страшно; все кругомъ рушилось—общественный бытъ, понятія о добрѣ и злѣ, довѣріе къ природѣ, къ человѣку, къ вѣрѣ, и, вмѣсто утѣшенія, критическая философія и скептическій эмпиризмъ. Два невѣрія, два скептицизма—и развалины кругомъ. Критическая философія нанесла страшный ударъ идеализму; сколько ни боролся противъ него эмпиризмъ, идеализмъ устоялъ; но вышелъ человѣкъ изъ среды его и тяжелымъ ударомъ поставилъ его на краю гроба. Великъ былъ этотъ человѣкъ въ своей безопадной, неподкупной логикѣ; распаденіе его съ догматизмомъ было глубоко, обдуманно; онъ искалъ одной истины и не останавливался ни передъ чѣмъ: онъ поставилъ эти страшные каудинскіе фурукулы, называемые антиноміями, и хладнокровно прогналъ подъ нихъ святѣйшія достоянія мысли человѣческой. Вполнѣ воскреснуть идеализму послѣ Канта было невозможно, развѣ въ какихъ-нибудь частныхъ, абнормальныхъ явленіяхъ; все склонилось передъ геніальной мощью его. Но возрѣніе это тяжко; была сильна стойческая грудь Фихте, но и та не могла его вынести; невозможность безусловнаго знанія клала непереходимую грань между человѣкомъ и истиной. Отъ такого возрѣнія можно сойти съ ума, впасть въ отчаяніе. Гердеръ, Якоби старались спасти отъ кантовскаго кораблекрушенія идеи имъ милыя и дорогія, но чувство—дурной оплотъ въ логическомъ бою; наконецъ, нашлась адамантовая грудь, спокойно и безшумно противопоставившая критической философіи свой глубокой реализмъ — это былъ Гёте. Онъ былъ одаренъ въ высшей

степеней прямымъ взглядомъ на вещи; онъ зналъ это и на все *смотреть самъ*; онъ не былъ школьный философъ, цеховой ученый,—онъ былъ мыслящій художникъ; въ немъ первомъ возстановилось дѣйствительно-истинное отношеніе человѣка къ міру, его окружающему; онъ собою далъ естествоиспытателямъ великій примѣръ. Безъ всякихъ дальнихъ приготовленій, онъ сразу бросается *in medias res*; тутъ онъ эмпирикъ, наблюдатель; но смотрите, какъ растетъ, развивается изъ его наглядки понятіе даннаго предмета, какъ оно развертывается, опертое на свое бытіе, и какъ въ концѣ раскрыта мысль всеобъемлющая, глубокая. Прочитайте его «*Metamorphose der Pflanzen*», прочитайте его остеологическія статьи, и вы разомъ увидите, что такое реальное, истинное пониманіе природы, что такое спекулятивная эмпирія. Для него мысль и природа—*aus einem Guss* «*Oben die Geister und unten der Stein*», для него природа — жизнь, та же жизнь, которая въ немъ, и потому она ему понятна, и болѣе того: она звучна въ немъ и сама повѣствуетъ намъ свою тайну. Вслѣдъ за нимъ, изъ среды отвлеченной науки раздался голосъ, опредѣлявшій истину единствомъ бытія и мышленія; онъ обращалъ философію къ природѣ, какъ къ необходимому дополненію, какъ къ своему зеркалу. Торжественно было зрѣлище возвращающагося на землю человѣчества въ лицѣ передовыхъ людей своихъ,—въ лицѣ поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихся на родную грудь общей матери. Это было разомъ возвращеніе блуднаго сына и спасеніе метафизика изъ змы.

Шеллингъ, какъ *Виргилій Данту*, только указалъ дорогу, но такъ указываетъ и такимъ перстомъ — одинъ геній. Шеллингъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ и художественнымъ натурамъ, которыя непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладѣваютъ истиной. Въ немъ всегда что-то было родное Платону и Якову Бему. Этотъ процессъ вѣдѣнія—тайна генія, а не науки; тайны этой онъ передать не можетъ, такъ, какъ художникъ не можетъ передать акта творчества; но вдохновенный языкъ его вызываетъ къ истинѣ и къ пониманію, основываясь на предсуществующемъ сочувствіи человѣка къ истинѣ. Шеллингъ — *vates* науки. Гёте сознавалъ себя такимъ, какимъ онъ былъ; онъ въ письмахъ къ Шиллеру говоритъ, что у него нѣтъ никакой способности наукообразно развить свои мысли; онъ учитъ на дѣлѣ, онъ до высочайшей степени практиченъ, онъ умѣетъ спускаться въ подробности, не теряя общаго. Шеллингъ, напротивъ, считалъ себя, по превосходству, философскою, спекулятивною натурою, и потому живое свое сочувствіе и предвѣдніе старался заморить схоластическою формою; онъ побѣдилъ въ себѣ идеализмъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Его непрактическая, нереальная натура

всего яснѣе видна изъ того, что онъ, занимаясь по преимуществу философіей природы, никогда не занялся положительнымъ изученіемъ какой-либо отрасли естественныхъ наукъ. Его эрудиція огромна, но онъ знаетъ энциклопедію естествовѣдѣнія,— онъ гениальный дилетантъ. Гёте, напримѣръ, специалистъ, когда это нужно; ученикъ въ анатомическомъ театрѣ, наблюдатель, рисовальщикъ: онъ работалъ, дѣлалъ опыты, изучалъ практически цѣлые годы остеологію; онъ зналъ, что безъ специальности общая теорія все будетъ отзываться идеализмомъ; что собственный взглядъ въ естествовѣдѣніи то же, что чтеніе источниковъ въ исторіи; оттого онъ вдругъ, внезапно открываетъ цѣлый міръ, совершенно новую сторону своего предмета. Эмпірики никогда не отрекались отъ Гёте; всѣ великія мысли его приняты ими, оцѣнены ¹⁾; а Шеллинга, протягивавшаго имъ руку философіи, они не поняли и не признали. Натуралисты, послѣдователи Шеллинга, взяли формальную сторону его ученія; духъ, вѣющій въ его писаніяхъ, не былъ ими схваченъ; они не умѣли раздуть искры глубокаго созерцанія, разсѣяныя у него вездѣ, въ свѣтлую струю пламени. Нѣтъ, они соорудили изъ его воззрѣнія какое-то странное зданіе метафизико-сентиментальное; схоластическая сухость сочеталась у нихъ съ чисто-нѣмецкой гемютлихкейтъ. Не то, чтобъ они наукообразно или систематически изложили по началамъ Шеллинга философію природы: они взяли двѣ-три общія формулы, сухія и отвлеченныя, и на нихъ прикидывали всѣ явленія, всю вселенную. Эти формулы точно мѣра въ рекрутскихъ присутствіяхъ: кто бы ни взошелъ въ нее, выйдетъ солдатомъ. Даже тѣ изъ натурфилософовъ, которые принесли много пользы фактической части своей науки, не избѣгли ни формализма, ни сентиментальности. Возьмите, напримѣръ, Каруса: онъ сдѣлалъ бездну пользы физиологія, но что онъ пишетъ въ своихъ общихъ взглядахъ, въ введеніяхъ? Что за разглагольствованіе, что за мысли! Жалѣешь, что дѣльный челоуѣкъ такъ компрометируется. Выше ихъ всѣхъ стоитъ Окенъ; но и его нельзя совершенно изъять. Въ природѣ Окена неловко и тѣсно и, сверхъ того, не менѣе догматизма, какъ у другихъ; видна широкая и многообъемлющая мысль; но въ томъ-то и вина Окена, что она видна, какъ мысль: природа какъ будто употреблена имъ для того, чтобъ подтвердить ее. Естествовѣдѣніе Окена явилось съ нѣмецкимъ притязаніемъ на безусловное значеніе, на оконченную архитектуру. Вспомните замѣчаніе, сдѣланное нами выше, что идеализмъ

¹⁾ Напримѣръ, его мысль о томъ, что черепъ есть развитіе позвонковъ; его превращеніе частей растенія, *os intermaxillare* и сотни замѣтокъ остеологическихъ. См. у Жоффруа Сентъ-Илера, Декандоля, и проч.

дѣлается недоступенъ ничему, кромѣ своей *idée fixe*; онъ не уважаетъ настолько фактическій міръ, чтобъ покоряться его возраженіямъ.

Не помню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинё о нѣмецкой философіи; статья не очень важная, но въ ней было прेमилое сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ—Мирабо, Фихте—Робеспьеръ, а Шеллингъ—Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности; я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинё. Ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то, ни другое не было вполне организовано и не имѣло въ себѣ твердости ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились міру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятія ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ; пушечный дымъ не помѣшалъ, наконецъ, разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ *à la Charlemagne*, въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженный своими герцогами-солдатами,—была *intermedia buffa*, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступалъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщаль примиреніе мышленія и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направленій въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ 'въ то время, какъ Окенъ учреждалъ шеллинговское управленіе надъ всей природой и «Изида»—«Мониторъ» натурфилософіи—громко возвѣщала свои побѣды. Шеллингъ одѣвался въ Якова Бема и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобъ не сознаться, что онъ ободенъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ-ногами поставленный Бемъ, такъ, какъ Наполеонъ вверхъ-ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно смѣшно. Яковъ Бемъ, полный мистическаго созерцанія, выходитъ во всѣ стороны къ глубокому философскому воззрѣнію, и если его языкъ труденъ и заключенъ въ схоластико-мистической терминологіи, тѣмъ удивительнѣе геніальность его, что онъ умѣлъ этимъ неловкимъ языкомъ высказать великое содержаніе своей мысли: живъ въ началѣ XVI столѣтія, онъ имѣлъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать консеквенціи страшныя для боязливой совѣсти того вѣка; мистицизмъ не только не подавлялъ его мощнаго разума, но окрылялъ его. Шеллингъ, совсѣмъ напротивъ, сдѣлалъ опытъ отъ глубокаго наукообразнаго воззрѣнія спуститься къ мистическому сомнамбулизму, мысль за-

дѣлать въ іероглифъ. Слѣдствіе этого было очень печальное: люди истинно-религіозные и люди не религіозные отреклись отъ него и уступили ему маленькую Эльбу въ Берлинскомъ университетѣ. Окенъ остался одинъ съ «Изидой». Неудачная борьба съ естествоиспытателями, ихъ непріятная манера возражать фактами, сдѣлали его капризнымъ, ожесточили. Онъ неохотно говорить съ иностранцами о своей системѣ; онъ пережилъ эпоху полной славы ея, и развѣ втиши готовить что-нибудь... Надобно надѣяться, по крайней мѣрѣ, что онъ не попробуетъ писать зоологію стихами, какъ было придумалъ Шеллингъ для своей теоріи. Всѣ успѣхи въ естествовѣдѣніи совершались вѣ натурфилософіи. Эмпирики не довѣряли ей, боялись ея труднаго языка, ея общихъ взглядовъ, ея практическаго настроенія, ея восторженной сентиментальности. Кювье предостерегалъ Парижскую академію наукъ отъ зарейскихъ теорій; Кузенъ еще радикальнѣе предостерегалъ своими лекціями отъ распространенія во Франціи идеализма. Впрочемъ, французы одарены такимъ вѣрнымъ взглядомъ на вещи, что ихъ нельзя сбить съ толку. Они скоро поймутъ германскую науку. Будьте увѣрены, не тупость французовъ причиною, что германская наука не переплывала Рейна.

Первый примѣръ наукообразнаго изложенія естествовѣдѣнія представляетъ Гегелева энциклопедія. Его строгое, твердо-проведенное воззрѣніе почти-современно Шеллингу (онъ читалъ въ первый разъ философію природы—въ 1804 году, въ Іенѣ); имъ замыкается блестящій рядъ мыслителей, начавшійся Декартомъ и Спинозою. Гегель показалъ предѣлъ, далѣе котораго германская наука не пойдетъ; въ его ученія явнымъ образомъ содержится выходъ не токмо изъ него, но вообще изъ дуализма и метафизики. Это было послѣднее, самое мощное усиліе чистаго мышленія, до того вѣрное истинѣ и полное реализма, что, вопреки себѣ, оно безпрестанно и вездѣ перегибалось въ дѣйствительное мышленіе. Строгія очертанія, гранитныя ступени энциклопедіи не стѣсняють содержанія, такъ, какъ бортъ корабля не мѣшаеть взору погружаться въ безконечность моря. Правда, логика у Гегеля хранитъ свое притязаніе на неприкосновенную власть надъ другими сферами, на единую, всему-довлѣющую полноту; онъ какъ-будто забываетъ, что логика потому именно не жизненная полнота, что она ее побѣдила въ себѣ, что она *отвлелась* отъ временнаго: она отвлеченна, потому что въ нее вошло одно вѣчное, она отвлеченна, потому что абсолютна, она знаніе бытія, но не бытіе: она выше его—и въ этомъ ея односторонность. Если-бъ природѣ достаточно было знать,—какъ подъ-часъ вырывается у Гегеля,—то, дойдя до самопознанія, она сняла бы свое бытіе, небрегла бы имъ; но ей бытіе такъ же дорого, какъ знаніе: она

любить жить, а жить можно только въ вакхическомъ круженіи временнаго; въ сферѣ всеобщаго шумъ и плескъ жизни умолкъ; геній человѣчества колеблется между этими противоположностями; онъ, какъ Харонъ, безпрестанно перевозитъ изъ временной юдоли въ вѣчную, эта переправа, это колебаніе—исторія, и въ ней собственно все дѣло, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ перѣхать на ту сторону и жить въ отвлеченныхъ и всеобщихъ областяхъ чистаго мышленія. Не только самъ Гегель понималъ это, но Лейбницъ, полтора вѣка назадъ, говорилъ, что монада безвременнаго, конечнаго бытія расплывается въ безконечность при полной невозможности опредѣлиться, удержать себя; Гегель всею логикою достигаетъ до раскрытія, что безусловное есть подтвержденіе единства бытія и мышленія. Но какъ дойдетъ до дѣла, тотъ же Гегель, какъ и Лейбницъ, приноситъ все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализмъ, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, который онъ всосалъ съ молокомъ, срываетъ его въ односторонность, казенную имъ самимъ,—и онъ старается подавить духомъ, логикою—природу; всякое частное произведеніе ея готовъ считать призракомъ, на всякое явленіе смотритъ свысока.

Гегель начинаетъ съ отвлеченныхъ сферъ для того, чтобъ дойти до конкретныхъ; но отвлеченныя сферы предполагаютъ конкретное, отъ котораго онѣ отвлечены. Онъ развиваетъ безусловную идею и, развивъ ее до самопознанія, заставляетъ ее раскрыться временнымъ бытіемъ; но оно уже сдѣлалось ненужнымъ, ибо помимо его совершенъ тотъ подвигъ, къ которому временное назначалось. Онъ раскрылъ, что природа, что жизнь развивается по законамъ логики; онъ фаза въ фазу прослѣдилъ этотъ параллелизмъ,—и это ужъ не шеллинговы общія замѣчанія, рапсодическія, несвязанныя, а цѣлая система стройная, глубокомысленная, рѣзанная на мѣди, гдѣ въ каждомъ ударѣ отпечатлѣлась гигантская сила. Но Гегель хотѣлъ природу и исторію, какъ *прикладную логику*,—а не логику, какъ отвлеченную разумность природы и исторіи. Вотъ причины, почему эмпирическая наука осталась такъ же хладнокровно-глуха къ энциклопедіи Гегеля, какъ къ диссертациямъ Шеллинга. Нельзя отрицать глубокаго смысла и вѣрнаго взгляда этихъ жалкихъ эмпириковъ, надъ которыми такъ заносчиво издѣвался идеализмъ. Эмпирія была открытой протестаціей, громкимъ возраженіемъ противъ идеализма,—такую она и осталась: что ни дѣлалъ идеализмъ,—эмпирія отражала его. Она не уступила шагу ¹⁾). Когда Шеллингъ проповѣдо-

¹⁾ Нужно ли повторять, что эмпиризмъ въ крайностяхъ своихъ нелѣпъ, что его ползанье на-четверенькахъ такъ же смѣшно, какъ нетопыри полеты идеализма: одна крайность вызываетъ всегда такую же крайность съ противоположной стороны.

валъ свою философію, большая часть философовъ думала, что время сочетанія науки мышленія съ положительными науками настало:—эмпирики молчали. Философія Гегеля совершила это примиреніе въ логикѣ, приняла его въ основу и развила черезъ всѣ обитатели духа и природы, покоряя ихъ логикѣ,—эмпиризмъ продолжалъ молчать. Онъ видѣлъ, что прародительскій грѣхъ сколастики не совершенно стертъ еще. Безъ сомнѣнія, Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за собою идеализма;—но шагъ этотъ не сдѣланъ, и эмпиризмъ хладнокровно ждетъ его; зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всѣмъ отвлеченнымъ сферамъ человѣческаго вѣдѣнія! Эмпиризмъ, какъ слонъ, тихо ступаетъ впередъ, зато уже ступить хорошо.

Смѣшно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они сдѣлавъ такъ много, не сдѣлали еще больше; это была бы историческая неблагодарность. Однако нельзя же не сознаться, что какъ Шеллингъ не дошелъ ни до одного вѣрнаго послѣдствія своего воззрѣнія, такъ Гегель не дошелъ до всѣхъ откровенныхъ и прямыхъ результатовъ своихъ началъ; *impliciter* въ немъ всѣ они предсуществуютъ,—все сдѣланное послѣ Гегеля состоитъ только въ развитіи того, что не развито у него. Гегель понималъ дѣйствительное отношеніе мышленія къ бытію; но понимать не значить вполне отречься отъ стараго: оно остается въ нравахъ, въ языкѣ, въ привычкѣ. Путиами отвлеченій онъ понялъ свою отвлеченность и удовлетворился этимъ пониманіемъ. Никто изъ рожденных въ плѣну египетскомъ не вошелъ въ обѣтованную землю, потому что въ ихъ крови оставалось нѣчто невольническое: Гегель своимъ гениемъ, мощью своей мысли, подавлялъ египетскій элементъ, и онъ остался у него больше дурною привычкою; Шеллингъ же былъ подавленъ имъ. Гёте не подавлялъ и не былъ подавленъ!

Но пора заключить мое длинное посланіе.

Признаюсь откровенно, что, принимаясь писать къ вамъ, я и сообразилъ всей трудности вопроса, всей бѣдности силъ и знаній, всей отвѣтственности приняться за него. Начавъ, я увидѣлъ ясно, что не въ состояніи исполнить задуманнаго; однако не бросаю пера. Если я не могу сдѣлать то, что хотѣлъ,—буду довольнѣе тѣмъ, если сумѣю возбудить любопытство узнать ясно и въ связи то, о чемъ расскажу рапсодически и бѣдно. Польза отъ такого рода *Vorstudien*, какъ эти письма, только приуготовительная; она знакомитъ общимъ образомъ съ главными вопросами современной науки, устраняя ложныя и невѣрныя мнѣнія, общешалые предразсудки, и дѣлаетъ доступнѣе науку. Наука кажется

трудною не потому, чтобъ она была, въ самомъ дѣлѣ, трудна, а потому, что иначе не дойдешь до ея простоты, какъ пробившись сквозь тьму-темъ готовыхъ понятій, мѣшающихъ прямо видѣть. Пусть входящіе впередъ знаютъ, что весь арсеналъ ржавыхъ и негодныхъ орудій, доставшихся намъ по наслѣдству отъ схоластики, негоденъ, что надобно пожертвовать внѣ науки составленными воззрѣніями, что, не отбросивъ всѣ *полу-лжи*, которыми для понятности облакаютъ *полу-истины*, нельзя войти въ науку, нельзя дойти до цѣлой истины.

Что касается до главныхъ основаній, они не мои: они принадлежатъ современному воззрѣнію на науку и тѣмъ сильнымъ органамъ, которыми оно оглашается. Мое только изложеніе и добрая воля. Одинъ принцъ-эмигрантъ, раздавая, помнится въ Митавѣ, табакерки и перстни, присланные ему императрицей Екатериной, присовокуплялъ: «*De ma part ce n'est que le mouvement du bras et la bonne volonté*»—я повторяю вамъ его слова ¹⁾.

¹⁾ Можетъ быть, не вовсе излишнимъ будетъ обратить вниманіе читателей, что слова: «идеализмъ», «метафизика», «отвлеченіе», «теорія» принимаемы были въ томъ крайнемъ значеніи, гдѣ они ложны, исключительны. Если эти слова принять въ смыслъ болѣе общемъ, вьзятъ не изъ историческаго опредѣленія, если имъ подсунуть опредѣленія идеальныя, выйдетъ не то; но я прошу тогда вспомнить, что я ихъ не въ томъ смыслѣ принимаю; для меня эти слова—лозунги, знамена односторонняго направленія, указывающія сразу больное мѣсто. Разумѣется, Аристотель не въ этомъ смыслѣ употреблялъ слово «метафизика»; всякаго человѣка, разсматривающаго природу, не какъ съѣстной припасъ, а какъ нѣчто познаваемое, можно назвать метафизикомъ, такъ, какъ всякаго мыслящаго—идеалистомъ. Я счелъ обязанностію сказать, въ какихъ предѣлахъ приняты мною эти слова. Если они не нравятся, пусть читатель замѣнитъ ихъ другими—le fond de la chose остается то же, а мнѣ только въ немъ и дѣло. Еще одно замѣчаніе: Гегелево воззрѣніе не принято и неизвѣстно въ положительныхъ наукахъ; о методѣ его едва знаютъ во Франціи, но тѣмъ не менѣе гегелизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе,—вліяніе, котораго источникъ натуралисты не могутъ узнать, но которое очевидно и въ Либихѣ, и въ Бурдахѣ, и въ Распайлѣ, и во многихъ другихъ, хотя большая часть ихъ отречется навѣрное отъ сказаннаго нами. Они сами не знаютъ, какъ приняли въ себя изъ окружающей среды то направленіе, въ которомъ ведутъ науку. Постараюсь въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ доказать сказанное здѣсь.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Наука и природа — феноменологія мышленія.

Начнемъ ab ovo. На это есть причины очень достаточныя; позвольте указать ихъ. Для того, чтобъ понять, съ какимъ логическимъ моментомъ развитія науки встрѣчается естественнѣдніе въ современности, недостаточно упомянуть коротко нѣсколько положеній самыхъ рѣзкихъ, самыхъ крайнихъ, нѣсколько началъ, до которыхъ выработалась современная наука, нѣсколько выводовъ, въ которыхъ она сосредоточилась. Ничто не сдѣлало и не дѣлаетъ болѣе вреда философіи, какъ выкраденные результаты безъ связи, формально принимаемые, лишенные смысла и повторяемые съ произвольнымъ толкованіемъ. Слова не до такой степени вбираютъ въ себя все содержаніе мысли, весь ходъ достиженія, чтобъ въ сжатомъ состояніи конечнаго вывода навязывать каждому истинный и вѣрный смыслъ свой; до него надобно дойти; процессъ развитія снять, скрыть въ конечномъ выводѣ; въ немъ высказывается только, въ чемъ главное дѣло; это своего рода заглавіе, поставленное въ концѣ: оно въ своемъ отчужденіи отъ цѣлаго организма бесполезно или вредно. Что пользы человѣку, не знающему алгебры, въ уравненіи какой-нибудь линіи, несмотря на то, что въ этомъ уравненіи все есть: и ея законъ, и построеніе, и всѣ возможные случаи; но они есть только для того, кто знаетъ, какъ вообще составляются уравненія, — словомъ, для человѣка, которому скрытый въ формулѣ путь извѣстенъ, которому каждый знакъ напоминаетъ извѣстный порядокъ понятій: въ общей формулѣ заключена вся истина; но общая формула не есть та органика, въ которой истина свободно развивается; совсѣмъ напротивъ, она сжимается въ ней, сосредоточивается. Зерно представляетъ такого рода сосредоточеніе растенія; никто зерна не принимаетъ за растеніе, никто не садится подъ тѣнь дубоваго жолудя, хотя онъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели цѣлый дубъ — рядъ прошедшихъ дубовъ, да рядъ будущихъ. Есть случай, въ которомъ можно допустить употребленіе результатовъ безъ поясненія ихъ смысла, именно, когда предшествуетъ достовѣрность, что подъ одними и тѣми же словами разумѣются одни и тѣ же понятія, что есть общепринятое, впередъ-идущее, которое связуетъ говорящаго и слушающаго; въ переходныя эпохи такую достовѣрность можно имѣть только говоря съ близкими друзьями. Всего чаще говорящій во имя науки мечтаетъ, что весь процессъ, ко-

торый для него явно скрывается за формальнымъ выраженіемъ, извѣстенъ слушающему, и идетъ далѣе, въ то время, какъ у каждаго идутъ впередъ или личныя мнѣнія, или повѣрья, и высказанное слово будить въ немъ не умственную самодѣятельность, а именно эти косые и обветшалые предразсудки. Поэтому прошу не сѣтовать за то, что начинаю съ опредѣленія науки и съ общаго обзора ея развитія.

Дѣло науки — возведеніе всего сущаго въ мысль. Мышленіе стремится понять, усвоить внѣ-сущій предметъ и съ перваго приступа начинаетъ отрицать то, что его дѣлаетъ внѣшнимъ, другимъ, противоположнымъ мысли, то-есть, отрицаетъ непосредственность предмета, обобщаетъ его и имѣетъ уже съ нимъ дѣло, какъ съ всеобщимъ: такимъ оно старается его понять. Понять предметъ — значитъ раскрыть необходимость его содержанія, оправдать его бытіе, его развитіе; понятое необходимымъ и разумнымъ не есть чуждое намъ: оно сдѣлалось ясною мыслью предмета; мысль созданная и понятая принадлежитъ намъ и сознается нами, потому что она разумна и человѣкъ разуменъ,—а разумъ одинъ ¹⁾. Неразумное непонятно для насъ, но его и понимать не стоитъ труда: оно необходимо оказывается несущественнымъ, неистиннымъ; оно обнаруживается такимъ (говоря школьнымъ языкомъ), чего доказать нельзя, ибо доказательство только и состоитъ въ раскрытіи необходимости предмета, указывающей на разумность его; что разумно, то признано человѣкомъ; другого критериума человѣкъ не ищетъ; оправданіе разумомъ — послѣдняя безапелляціонная инстанція. Само собою разумѣется, что мысль предмета не есть исключительно личное достояніе мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета, какъ его во времени и пространствѣ *обличенное* право существованія, какъ на дѣлѣ, фактически исполненный законъ, свидѣтельствующій о своемъ неразрывномъ единствѣ съ бытіемъ. Мышленіе освобождаетъ существующую во времени и пространствѣ мысль въ болѣе соответствующую ей среду сознанія; оно,

¹⁾ *Нѣсколько разумовъ* такое безсмысліе, которое человеческое воображеніе не только понять, но и представить не можетъ. Если мы примемъ, напр., два разума, то истинное для одного будетъ ложью для другого—иначе они не равны; съ тѣмъ виѣствѣ, оба разума имѣютъ право считать каждый свою истину истинной, и это право признано нами въ признаніи двухъ разумовъ; если мы скажемъ, что одинъ только понимаетъ истину, тогда другой разумъ будетъ безуміе, а не разумъ. Два различные разума, обладающіе различными истинами, напоминаютъ тѣ унизительные случаи, когда двое присягаютъ, одинъ противоположно другому. Газное пониманіе предмета не значить, что разумы равны, а, во-первыхъ, что люди равны, и, во-вторыхъ, что въ разныхъ степеняхъ развитія разума истина опредѣляется различно, съ разныхъ сторонъ однимъ и тѣмъ же разумомъ.

такъ сказать, будить ее отъ усыпленія, въ которое она *еще* погружена, облеченная плотью, существуя однимъ бытіемъ; мысль предмета освобождается не въ немъ: она освобождается безтѣлесною, обобщенною, побѣдившею частность своего явленія, въ сферѣ сознанія, разума, всеобщаго. Предметное существованіе мысли, воскреснувшей въ области разума и самопознанія, продолжается по-прежнему во времени и пространствѣ; мысль получила двоякую жизнь: одна — ся прежнее существованіе частное, положительное, опредѣленное бытіемъ; другая — всеобщая, опредѣленная сознаніемъ и отрицаніемъ себя какъ частнаго. Сначала, предметъ совершенно внѣ мышленія; личная умственная дѣятельность человѣка приступаетъ къ нему, выпытывая, въ чемъ его истина, въ чемъ его разумъ; по мѣрѣ того, какъ мысль отрѣшаетъ его (и себя) отъ всего частнаго, случайнаго, углубляется въ его разумъ, — она находитъ, что это и ся разумъ; отыскивая истину его, она находитъ себя этой истиной; чѣмъ болѣе мысль развивается, тѣмъ независимѣе, самобытнѣе становится она и отъ лица мыслителя и отъ предмета; она связуетъ ихъ, снимаетъ ихъ различіе высшимъ единствомъ, опирается на нихъ и, свободная, самобытная, самозаконная, царитъ надъ ними, сочетая въ себѣ два односторонніе момента свои въ гармоническое цѣлое ¹⁾). Весь процессъ развитія мысли предмета мышленіемъ рода человѣческаго, отъ грубаго и непримиреннаго противорѣчія, въ которомъ встрѣчаются лицо и предметъ, до снятія противорѣчія сознаніемъ высшаго единства, въ которомъ они являются необходимыми другъ для друга сторонами, — весь этотъ рядъ формъ, освобождающихъ истину, заключенную въ двухъ исключительныхъ крайностяхъ (лица и предмета), отъ взаимнаго органиченія раскрытіемъ и сознаніемъ единства ихъ въ разумѣ, въ идеѣ — составляетъ организмъ науки.

Многіе принимаютъ науку за нѣчто внѣшнее предмету, за дѣло произвола и вымысла людскаго, на чемъ они основываютъ недѣйствительность знанія, даже невозможность его. Конечно, наука не въ вещественномъ бытіи предмета и, конечно, она свободное дѣяніе мысли и именно мысли человѣческой; но изъ этого не слѣдуетъ, что она произвольное созданіе случайныхъ личностей, внѣшнее предмету, въ какомъ случаѣ она была бы, какъ мы сказали, родовымъ безуміемъ. Ограниченная категорія внѣ бытія не прилаживается къ мысли; она ей несущественна, мысль не имѣетъ замкнутой, непреходимой опредѣленности *тамъ или тутъ*, для нея нѣтъ *alibi*; если же хотятъ употребить эту кате-

¹⁾ То есть существованіе, какъ одно *по себѣ бытіе*, и сознаніе, какъ одно *для себя бытіе*.

горю, то надобно обернуть выраженіе и сказать, что непосредственный предметъ внѣ мысли, внѣ ея, потому что онъ составляетъ собственно ея внѣшность; природа не только внѣшность для насъ,—она сама по себѣ *только* внѣшность; ея мысль сознательная, пришедшая въ себя—не въ ней, а *въ другомъ* (т. е. въ человѣкѣ); напротивъ, родовое значеніе человѣка—быть истинною *себя и другого* (т. е. природы); сознание есть самопознание; оно начинается съ познанія себя, какъ другого, и достигаетъ познанія себя, какъ себя,—сознание вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ея развитія, переходъ отъ положительнаго, нераздѣльнаго существованія во времени и пространствѣ, черезъ отрицательное, расторгенное опредѣленіе человѣка въ противоположность природѣ, къ раскрытію ихъ истиннаго единства. Откуда и какъ могло бы явиться сознание внѣшнее природѣ и, слѣдственно, чуждое предмету? Человѣкъ не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; если бы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было бы нелѣпо, нецѣлесообразно. Мы привыкли человѣческой міръ отдѣлять каменной стѣною отъ міра природы,—это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ, сверхъ того, опускаютъ изъ вида, что человѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны, такъ, какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ юноша ребенку. Все то, что неразвито, чего не достаетъ природѣ, то есть, то развивается въ человѣкѣ: на чемъ же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? Это былъ бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслию, а мысль есть сила человѣка; природа, какъ греческая статуя: вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность; все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя человѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (*Voraussetzung*); человѣкъ относится къ ней, какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (*Schluss*). Жизнь природы—безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простаго, неполнаго, стихійнаго—въ конкретное полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятіи, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соответствія формы содержанію,—это діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются человѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ. Что можетъ быть смѣлѣе предположенія, что послѣдній выводъ,

вѣнчающій все развитіе природы — человѣческое сознание — въ разногласіи съ нею? Все въ мірѣ стройно, согласно, цѣлебноразно,—одна мысль наша сама по себѣ, какая-то блуждающая комета, ни къ чему не отнесенная, болѣзнь мозга!

Для того, чтобъ мышленіе представилось чѣмъ-то неестественнымъ, совершенно-внѣшнимъ предмету, частнымъ и личнымъ достояніемъ человѣка,—его надобно отторгнуть отъ его родословной. Можно ли понять связь и значеніе чего бы то ни было, когда мы произвольно возьмемъ крайнія звенья? Можно ли понять соотношеніе камня и птицы? Слѣдя шагъ за шагомъ, легко сбиться съ дороги; если же взять на удачу два момента и противопоставить ихъ для раскрытія ихъ связи,—выйдетъ трудная, неблагодарная и почти-неразрѣшимая задача: въ родѣ этого разсматриваютъ природу и ея связь съ человѣкомъ, съ мышленіемъ. Обыкновенно, приступая къ природѣ, ее свинчиваютъ въ ея матеріальности, ей говорятъ, какъ нѣкогда Иисусъ Навинъ сказалъ солнцу: «стой! будь мертвымъ субстратомъ, пока я разберу тебя»; но природу остановить нельзя: она процессъ, она теченіе, переливъ, движеніе, она уйдетъ между пальцами, она въ чревѣ женщины сдѣлается человѣкомъ и прососетъ вашу плотину прежде, нежели вы успеете найти возможнымъ переходъ отъ нея къ міру человѣческому:

Ewig natürlich bewegende Kraft
Cöttlich gesetzlich entbindet und schafft.
Trennendes Leben, im Leben Verein,
Oben die Geister und unten der Stein.

Если вы на одно мгновеніе остановили природу, какъ нѣчто мертвое,—вы не токмо не дойдете до возможности мышленія, но не дойдете до возможности наливчатыхъ животныхъ, до возможности поростовъ и мховъ; смотрите на нее, какъ она есть, а она есть въ движеніи; дайте ей просторъ, смотрите на ея біографію, на исторію ея развитія,—тогда только раскроется она въ связи. Исторія мышленія—продолженіе исторія природы: ни человѣчества, ни природы нельзя понять мимо историческаго развитія. Различіе этихъ исторій состоитъ въ томъ, что природа ничего не помнитъ, что для нея былого нѣтъ, а человѣкъ носить въ себѣ все бывшее свое: оттого человѣкъ представляетъ не только себя какъ частнаго, но и какъ родового. Исторія связуетъ природу съ логикой: безъ нея они распадаются; разумъ природы только въ ея существованіи,—существованіе логики только въ разумѣ; ни природа, ни логика не страдаютъ, не раздираются сомнѣніями; ихъ не волнуетъ никакое противорѣчіе; одна не дошла до нихъ, другая сняла ихъ въ себѣ: въ этомъ ихъ противоположная неполнота. Исторія — эпопея восхожденія отъ одной къ другой,

полная страсти, драмы; въ ней непосредственное дѣлается сознательнымъ, и вѣчная мысль низвергается въ временное бытіе; носители ея—не всеобщія категоріи, не отвлеченныя нормы, какъ въ логикѣ, и не безотвѣтныя рабы, какъ естественныя произведенія, а личности, воплотившія въ себя эти вѣчныя нормы и борющіяся противъ судьбы, спокойно парящей надъ природой. Историческое мышленіе—родовая дѣятельность человѣка, живая и истинная наука, то всемірное мышленіе, которое само перешло всю морфологію природы и, мало-по-малу, поднялось къ сознанию своей самозаконности: во всякую эпоху осаждается правильными кристаллами знаніе ея, мысль ея въ видѣ отвлеченной теоріи, независимой и безусловной,—это формальная наука. Она всякій разъ считаетъ себя завершеніемъ вѣдѣнія человѣческаго, но она представляетъ отчетъ, выводъ мышленія данной эпохи—она себя только считаетъ абсолютной, а абсолютно то движеніе, которое въ то же время увлекаетъ историческое сознаніе далѣе и далѣе. Логическое развитіе идеи идетъ тѣми же фазами, какъ развитіе природы и исторіи; оно, какъ аберація звѣздъ на небѣ, повторяетъ движеніе земной планеты.

Изъ этого вы видите, что въ сущности все равно, рассказать ли логическій процессъ самопознанія, или историческій. Мы выберемъ послѣдній. Строгий, свѣтлый, примиренный съ собою шагъ логики менѣе сочувствующъ съ нами; исторія—вдохновенная борьба, торжественное шествіе изъ египетскаго плѣненія въ обѣтованную землю; въ логикѣ побѣда извѣстна, она знаетъ свою власть, свою неотразимость,—въ исторіи нѣтъ, и оттого ликующій гимнъ радости раздается, когда предъ грядущимъ человечествомъ разступается Черное море, и оно же топить ветхое и неправое притязаніе фараона. Логика—разумнѣе, исторія—человѣчественнѣе. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе, какъ отбрасывать прошедшее, служившее для достиженія настоящаго, будто это развитіе—внѣшняя подмостка, лишенная всякаго внутренняго достоинства. Тогда исторія была бы оскорбительна, вѣчное закланіе живого въ пользу будущаго; настоящее духа человѣческаго обнимаетъ и хранитъ все прошедшее, оно не прошло для него, а развилось въ него; бывшее не утратилось въ настоящемъ, не замѣнилось имъ, а исполнилось въ немъ; проходитъ одно ложное, призрачное, несущественное; оно собственно никогда и не имѣло дѣйствительнаго бытія, оно мертворожденное,—для истиннаго смерти нѣтъ. Не даромъ духъ человѣческой поэты сравниваютъ съ моремъ: онъ въ глубинѣ своей бережетъ всѣ богатства, однажды упавшія въ него; одно слабое, не переносящее тяжести соленой волны его, распускается безслѣдно.

Итакъ, для того, чтобъ понять современное состояніе мысли,—

вѣрнѣйшій путь вспомнить, какъ человѣчество дошло до него, вспомнить всю морфологию мышленія: отъ непосредственнаго, безсознательнаго мира съ природой, предшествовавшаго мышленію, до раскрывающейся возможности полнаго и сознательнаго мира съ собою. Съ самаго начала, намъ придется возстановить тѣ шаги, которыхъ слѣды почти утратились, ибо человѣчество не умѣетъ беречь того, что дѣлало безъ мысли: инстинктуальное остается у него въ памяти, какъ смутный сонъ дѣтства! Не думайте, что я васъ хочу угостить геснеровскимъ Авелемъ или дикимъ человѣкомъ энциклопедистовъ, — мое намѣреніе гораздо проще: я хочу опредѣлить необходимую точку отправленія историческаго сознанія.

Внѣ человѣка существуетъ до безконечности многообразное множество частныхъ, смутно переплетенныхъ между собою; внѣшняя зависимость ихъ, намекающая на внутреннее единство, ихъ опредѣленное взаимодействіе почти теряется отъ случайностей разбрасывающихъ, сбрасывающихъ, хранящихъ и уничтожающихъ эту «кучу частей, идущихъ въ безконечность», по превосходному выраженію Лейбница. Онѣ носятъ въ себѣ характеръ независимой самобытности отъ человѣка; онѣ были, когда его не было; имъ нѣтъ до него дѣла, когда онъ явился; онѣ безъ конца, безъ предѣловъ; онѣ безпрестанно и вездѣ возникаютъ, появляются, пропадають. Съ точки зрѣнія разсудка, этотъ вихрь, круговоротъ, беспорядокъ, эта непокорность окружающей среды, должны бы ужасомъ и уныніемъ исполнить человѣка, подавить его и поселить отчаяніе въ душѣ; но человѣкъ, при первой встрѣчѣ съ природой, смотрѣлъ на нее съ простотою ребенка: онъ ничего не понималъ отчетливо, онъ *не отступалъ* еще отъ міра жизни, въ которомъ очутился, негачія мысли не просыпалась въ немъ, и оттого онъ чувствовалъ себя дома и взглядъ его поднятаго чела не могъ быть пораженъ ничѣмъ окружающимъ. Животное имѣетъ это эмпирическое довѣріе, но оно на немъ и останавливается; человѣкъ тотчасъ начинаетъ обнаруживать, что ему мало этого довѣрія, что онъ чувствуетъ себя властью надъ окружающимъ міромъ. Этимъ частностямъ, врозь-сущимъ, чего-то не достаетъ: онѣ распадаются, переходящи, безслѣдны; человѣкъ даетъ имъ средоточіе, и это средоточіе онъ самъ; *словомъ* своимъ исторгаетъ онъ ихъ изъ круговорота, въ которомъ онѣ мелькають и гибнуть; именемъ даетъ онъ имъ свое признаніе, возрождаетъ въ себѣ, удваиваетъ и сразу вводитъ въ сферу всеобщаго. Мы такъ привыкли къ слову, что забываемъ величіе этого торжественнаго акта вступленія человѣка на царство вселенной. Природа безъ человѣка, именующаго ее, — что-то нѣмое, неконченое, неудачное, *avorté*; человѣкъ благословилъ ее существо-

вать для кого-нибудь, возсоздалъ ее, далъ ей гласность. Не даромъ Платонъ такъ восторженно выразился объ очахъ человѣка, устремленнаго на твердь небесную, и нашелъ ихъ прекраснѣе самой тверди. И звѣрь видитъ, и звѣрь издаетъ звуки, и то и другое—великія побѣды жизни; но человѣкъ смотритъ и говоритъ, и когда онъ смотритъ и говоритъ,—неустроенная куча частныхъ перестаетъ быть громадой случайностей, а обнаруживается гармоническимъ цѣлымъ, организмомъ, имѣющимъ единство. Замѣчательно, что и въ этотъ періодъ естественнаго согласія съ природой, когда еще разсудокъ не отсѣкъ человѣка мечомъ отрицанія отъ почвы, на которой онъ выросъ,—онъ не признавалъ самобытности частныхъ явленій, онъ вездѣ распоряжался, какъ хозяинъ, онъ считалъ возможнымъ усвоить себѣ все окружающее и заставить исполнять свои цѣли, онъ вещь считалъ своимъ рабомъ, органомъ, внѣ его тѣла находящимся, собственностью. Мы можемъ втѣснять нашу волю только тому, что своей воли не имѣетъ, или въ чемъ мы отрицаемъ волю; поставить свою цѣль другому, значить его цѣль не считать существенною, или себя считать его цѣлью.

Человѣкъ такъ мало признавалъ права природы, что безъ малѣйшихъ упрековъ совѣсти уничтожалъ то, что ему мѣшало, пользовался, чѣмъ хотѣлъ; онъ, подобно Геслеру, заставлявшему самихъ швейцарцевъ строить для себя Цвингъ-Ури, обуздывалъ силы природы, противопоставляя одну другой. Природа не только не ужасала человѣка своей величиною и безконечностью, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, предоставляя вполнѣ риторамъ всѣхъ вѣковъ страшать себя и другихъ мірадами міровъ и всѣми количественными безмѣрностями, — но даже бѣдствіями, которыя она невольно обрушивала на голову людей: мы нигдѣ не видимъ, чтобъ онъ склонился передъ тупою и внѣшней силою міра; совсѣмъ напротивъ, онъ отворачивается отъ его стихійнаго неустройства и съ молитвою, колѣнопреклоненный, одушевленный горячею вѣрою, обращается къ Божеству. Какъ бы грубо человѣкъ ни представлялъ себѣ верховное начало, божественный духъ,—онъ непремѣнно видитъ въ немъ истину, премудрость, разумъ, справедливость, царящіе и побѣждающіе матеріальную сторону существованія. Вѣра въ міродержавство Провидѣнія устраниваетъ возможность вѣрять въ неустройство и случайность.

Долго остаться въ начальномъ согласія съ природою, съ міромъ феноменальнымъ человѣкъ не могъ; онъ носилъ въ себѣ зародышъ, который, развиваясь, долженъ былъ, какъ химическая реагенція, разложить его дѣтски-гармоническое существованіе съ природою; природа, какъ внѣшній міръ, не могла быть для него

цѣлью: въ каждомъ религіозномъ порывѣ, человѣкъ стремился выйти отъ феноменальнаго міра къ міру, царящему надъ всеми явленіями. Животное никогда не распадается съ природой: это послѣднее невозмущаемое сочетаніе развитія жизни индивидуальной съ общей жизнью природы; двойственная натура человѣка именно въ томъ, что онъ, сверхъ своего положительнаго бытія, не можетъ не стать отрицательно къ бытію; онъ распадается не только съ внѣшней природой, но даже съ самимъ собою; эта расторженность мучитъ его; это мученіе гонитъ его впередъ. Бываютъ минуты слабости и изнуренія, когда тоска и что-то страшное въ этомъ противорѣчій съ природой подавляютъ человѣка, и онъ, вмѣсто того, чтобъ идти по святымъ указаніямъ перста истины, садится усталый на полдорогѣ, отираетъ кровавый потъ и ставитъ золотого тельца—близкую мѣту, но ложную. Онъ обманываетъ себя,—темно самъ чувствуетъ это; но, какъ бѣшенный Отелло, онъ, снѣдаемый жаждой истины, умоляетъ солгать ему. Чтобъ убѣжать отъ чего-то непокойнаго, страшнаго въ разъединенія съ физическимъ міромъ, человѣкъ готовъ погрузиться въ грубѣйшій фетишизмъ, лишь - бы найти всеобщую сферу, съ которою сочетать свою индивидуальную жизнь, только не быть чуждымъ въ мірѣ и оставленнымъ на себя. Такъ всякаго рода отдѣльность и эгоизмъ противны всемірному порядку.

Какъ только человѣкъ распался съ природою, у него должна была явиться потребность *знанія*, потребность второго усвоенія и покоренія внѣшности. Разумѣется, нельзя себя представить, чтобъ теоретическая потребность вѣдѣнія отчетливо явилась уму людей; нѣтъ, они и до нея дошли естественнымъ *тактомъ*. Темное сочувствіе и чисто-практическое отношеніе—недостаточны мыслящей натурѣ человѣка; онъ, какъ растеніе, куда его ни посади, все обернется къ свѣту и потянется къ нему; но онъ тѣмъ не похожъ на растеніе, что оно тянется и никогда не можетъ достигнуть до желанной цѣли, потому что солнце внѣ его, а разумъ человѣка, освѣщающій его,—внутри, и ему собственно не тянуться надобно, а сосредоточиться. Сначала человѣкъ не подозреваетъ этого, и если разумность его провидитъ возможность истины, то онъ далекъ отъ сознанія путей; онъ не свободенъ для пониманія; густыя тучи животной непосредственности еще не разсѣялись, фантастическіе образы сверкаютъ въ нихъ, но не свѣтомъ: путь до сознанія длиненъ; чтобъ дойти до него, человѣкъ долженъ отречься отъ себя, какъ частности, и понять себя родомъ. Ему надобно сдѣлать съ собою то, что онъ словомъ своимъ совершилъ надъ природою, т. е. обобщить себя. Мало того, что человѣкъ идетъ далѣе животныхъ, понимая самобытную замкнутость своего *я*; *я* есть подтвержденіе, сознаніе своего тождества

съ собою, святіе души и тѣла, какъ противоположныхъ, единствомъ личности,—на этомъ остановиться нельзя: надобно понять высшее единство рода съ собою. Это единство начинается поглощеніемъ лица, какъ частности, и испуганный человѣкъ стремится, напуганный ложнымъ чувствомъ самоохраненія, удержать себя, и истинною ставитъ свое лицо; подтверждая только свое тождество съ собою, человѣкъ непременно распадается со всей вселенной, со всѣмъ тѣмъ, что онъ чувствуетъ непринадлежащимъ своему я. Это неминуемое, мучительное послѣдствіе логическаго эгоизма. И съ него собственно начинается логическое движеніе, стремящееся выйти изъ скорбнаго распадешя; оно возвращаетъ человѣка изъ этой антиноміи къ гармоніи, но уже не тѣмъ, какимъ онъ вышелъ. Человѣкъ начинаетъ съ непосредственнаго признанія единства бытія съ *воззрѣніемъ* и оканчиваетъ вѣдѣніемъ единства бытія и мышленіемъ. Распаденіе человѣка съ природой, какъ вбиваемый клинъ, разбиваетъ мало-по-малу все на противоположныя части, даже самую душу человѣка,—это *divida et impregna* логики, путь къ истинному и вѣчному сочетанію раздвоеннаго.

Мы видѣли, что человѣкъ все, встрѣченное имъ, все, данное чувственной достовѣрностью, опытомъ, отвлекъ отъ переходимости, отъ ускользящей односторонности своимъ словомъ. Человѣкъ называетъ только всеобщее,—частность единичную, случайную, *эту* онъ не можетъ назвать: для нея онъ долженъ употребить высшее средство—указать пальцемъ. Предметъ знанія съ самаго начала, такимъ образомъ, отрѣшенъ отъ непосредственнаго бытія и сохраняетъ свою внѣсущность относительно мышленія уже какъ обобщенный. Этотъ обобщенный предметъ составляетъ непосредственность *второго порядка*; человѣкъ понимаетъ чуждость его и стремится распуснуть возродившійся предметъ, втѣсенный ему опытомъ; онъ хочетъ узнать его, совлечь съ него вторую непосредственность и равно не сомнѣвается ни въ его чуждости, ни въ своей возможности понять его, какъ онъ есть. Когда явилась потребность *узнать* предметъ, то очевидно, что разумніе уже считало его чуждымъ себѣ: это предположеніе незнанія; на чемъ же основывается достовѣрность знанія, возможность его, когда предметъ совершенно намъ чуждъ? Это два предположенія несовмѣстныхъ, по крайней мѣрѣ, не обуславливающихъ другъ друга. Вы можете назвать даже иллогизмомъ эту врожденную вѣру въ возможность истиннаго вѣдѣнія, идущаго рядомъ съ вѣрою въ чуждость природы; но не забудьте, что въ этомъ иллогизмѣ лежалъ протестъ противъ отчужденія природы, свидѣтельство, что оно не въ самомъ дѣлѣ такъ, залогъ будущаго примиренія. Исторія философіи—повѣсть, какъ этотъ иллогизмъ разрѣшился въ высшей истинѣ. При началѣ логическаго процесса,

предметъ остается страдательнымъ и выступаетъ лицо, трудящееся надъ нимъ, посредствующее его бытіе съ своимъ умомъ, озабоченное удержать предметъ, какимъ онъ есть, не вовлекая его въ процессъ знанія; но конкретный, живой предметъ его уже оставилъ, у него передъ глазами отвлеченія, тѣла, а не живыя существа, онъ старается мало-по-малу придать все недостающее абстракціями, но онѣ долго остаются такими, непрерывно указывая ему своими недостатками дальнѣйшій путь. Этотъ путь намъ легко уже прослѣдить въ исторіи философіи.

Сдѣлать ли говорить что-нибудь въ опроверженіе плоскаго и нелѣпаго мнѣнія о безсвязности и шаткости философскихъ системъ, изъ которыхъ одна вытѣсняетъ другую, всѣ всѣмъ противорѣчать, и каждая зависитъ отъ личнаго произвола? — Нѣтъ. У кого глаза такъ слабы, что за наружной формой явленія они не могутъ разглядѣть просвѣчивающее внутреннее содержаніе, не могутъ разглядѣть за видимымъ многообразіемъ — невидимое единство, тому, что ни говори, исторія науки будетъ казаться сбродомъ мнѣній разныхъ мудрецовъ, разсуждающихъ каждый на свой салтыкъ о разныхъ поучительныхъ и наставительныхъ предметахъ и имѣвшихъ скверную привычку непремѣнно противорѣчить учителю и браниться съ предшественниками: это атомизмъ, матеріализмъ въ исторіи. Съ этой точки зрѣнія не одно развитіе науки, а вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго сплетенія случайностей, — взглядъ анти-религіозный, принадлежавшій нѣкоторымъ изъ скептиковъ и недоученой толпѣ. Все сущее во времени имѣетъ случайную, произвольную закраину, выпадающую за предѣлы необходимаго развитія, не вытекающую изъ понятія предмета, а изъ обстоятельствъ, при которыхъ оно одѣйстворяется; только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умѣютъ разглядѣть нѣкоторые люди, и рады, что во вселенной такой же безпорядокъ, какъ въ ихъ головѣ. Ни одинъ маятникъ не удовлетворяетъ общей формулѣ, которая выражаетъ законъ его размаховъ, ибо въ формулу не вводится случайный вѣсъ пластинки, на которой онъ виситъ, ни случайное треніе; ни одинъ механикъ, однако, не усомнился въ истинѣ общаго закона, снявшаго въ себѣ случайныя возмущенія и представляющаго вѣчную норму размаховъ. Развитіе науки во времени сходно съ практическимъ маятникомъ: оптомъ оно совершаетъ нормальный законъ (который здѣсь во всей алгебраической всеобщности дается логикой), но въ частностяхъ вездѣ видны видоизмѣненія временныя и случайныя. Часовщикъ-механикъ можетъ, съ своей точки зрѣнія, не забывая о треніи, имѣть въ виду общій законъ, а часовщикъ-работникъ только и видитъ беззаконное отступленіе частныхъ маятниковъ.

Разумѣтся, что историческое развитіе философіи не могло имѣти ни строгой хронологической послѣдовательности, ни сознанія, что каждое вновь являющееся воззрѣніе—дальнѣйшее развитіе прежняго. Нѣтъ, тутъ было широкое мѣсто свободѣ духа, даже свободѣ личностей, увлеченныхъ страстями; каждое воззрѣніе являлось съ притязаніемъ на безусловную, конечную истину, — оно отчасти и было такъ въ отношеніи къ данному времени; для него не было высшей истины, какъ та, до которой онъ достигъ; если-бъ мыслители не считали своего понятія безусловнымъ, они не могли бы остановиться на немъ, а искали бы иное; наконецъ, не надобно забывать, что всѣ системы подразумѣвали, провидѣли гораздо болѣе, нежели высказали; неловкій языкъ ихъ измѣнялъ имъ. Сверхъ сказаннаго, каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окруженъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій проростаютъ, такъ сказать, во всѣ стороны; одинъ избранный стебель влечетъ соки далѣе и выше, — но современное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который выработываетъ себѣ чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ нѣчему возмутить стройнаго развитія,—значитъ вовсе не знать характера исторіи и природы. Съ такой точки зрѣнія, разные возрасты одного лица могутъ быть приняты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ разнообразіемъ, съ какою разметанностью во всѣ стороны животное царство восходитъ по единому первообразу, въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой-нибудь формы, родъ разсыпается во всѣ стороны едва-исчислимыми варіаціями на основную тему, иные виды забѣгаютъ, другіе отлетаютъ, третьи составляютъ переходы и промежуточные звенья, и весь этотъ беспорядокъ не скрываетъ внутренняго своего единства для Гёте, для Жоффруа Сентъ-Илера: онъ только непонятенъ для неопытнаго и поверхностнаго взгляда.

Впрочемъ, даже и поверхностный взглядъ въ развитіи мышленія найдетъ собственно одинъ рѣзкій и трудно понятный переломъ: мы говоримъ о переходѣ древней философіи въ новую; ихъ сочлененіе схоластикой, ихъ необходимое соотношеніе не бросается въ глаза,—въ этомъ сознаться надобно; но если мы допустимъ (чего вовсе не было), что тутъ было обратное шествіе, можно ли отрицать, что вся древняя философія — одно замкнутое, художественное произведеніе цѣлости и стройности поразительной? можно ли отрицать, что, въ своемъ отношеніи, философія новѣйшихъ временъ, рожденная изъ расторженной и двуна-

чальной жизни средних вѣковъ и повторившая въ себѣ эту расторженность при самомъ появленіи своемъ (Декартъ и Бэконъ), правильно устремилась на развитіе до послѣдней крайности обоихъ началъ, и, дойдя до конечнаго слова ихъ, до грубѣйшаго матеріализма и отвлеченнѣйшаго идеализма,—прямо и величественно пошла на снятіе двуначалія высшимъ единствомъ? Древняя философія пала оттого, что рѣзко и глубоко она никогда не распадалась съ міромъ, оттого, что она не извѣдала всей сладости и всей горечи отрицанія, не знала всей мощи духа чело-вѣческаго, сосредоточеннаго въ себѣ, въ одномъ себѣ. Новая философія, съ своей стороны, была лишена того реальнаго, жизненнаго, слитно-обнимающаго форму и содержаніе античнаго характера; она теперь начинаетъ приобрѣтать его,—и въ этомъ сближеніи ихъ раскрывается на самомъ дѣлѣ ихъ единство, оно обличается въ самой недостаточности ихъ другъ безъ друга. *Одна истина занимала всѣ философіи, во всѣ времена; ее видѣли съ разныхъ сторонъ, выражали розно, и каждое созерцаніе сдѣлалось школой, системой. Истина, проходя рядомъ одностороннихъ опредѣленій, многосторонно опредѣляется, выражается яснѣе и яснѣе; при каждомъ столкновеніи двухъ возрѣвнѣй, отпадаетъ плева за плевою, скрывающія ее. Фантазіи, образы, представленія, которыми старается чело-вѣкъ выразить свою заповѣдную мысль, улетучиваются, и мысль мало-по-малу находитъ тотъ глаголь, который ей принадлежитъ. Нѣтъ философской системы, которая имѣла бы началомъ чистую ложь или нелѣпость; начало каждой — дѣйствительный моментъ истины, сама безусловная истина, но обусловленная, ограниченная одностороннимъ опредѣленіемъ, не исчерпывающимъ ея. Когда вамъ представляется система, имѣвшая корни и развитіе, имѣвшая свою школу съ нелѣпостью въ основаніи,—будьте настолько полны благочестія и уваженія къ разуму, чтобъ, прежде осужденія, посмотрѣть не на формальное выраженіе, а на смыслъ, въ которомъ сама школа принимаетъ свое начало, и вы непременно найдете—одностороннюю истину, а не совершенную ложь. Оттого каждый моментъ развитія науки, проходя, какъ односторонній и временной, непременно оставляетъ и вѣчное наслѣдіе. Частное, одностороннее волнуется и умираетъ у подножія науки, испуская въ нее вѣчный духъ свой, вдыхая въ нее свою истину. Призваніе мышленія въ томъ и состоитъ, чтобъ развивать вѣчное изъ временнаго!*

Въ слѣдующемъ письмѣ поговоримъ о Греціи. Эпиграфомъ къ греческому мышленію прекрасно служить извѣстное изреченіе Протагора: «Чело-вѣкъ — мѣрило всѣмъ вещамъ: въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ».

Село Покровское.—Августъ 1844 г.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Греческая философія.

Востокъ не имѣлъ науки; онъ жилъ фантазіей и никогда не устанавливался настолько, чтобъ привести въ ясность свою мысль, тѣмъ менѣе развилъ ее наукообразно; онъ такъ расплывался въ безконечную ширь, что не могъ дойти до какого-нибудь самоопредѣленія. Востокъ блеститъ ярко, особенно издали; но человѣкъ тонетъ и пропадаетъ въ этомъ блескѣ. Азія—страна дисгармоніи, противорѣчій; она нигдѣ, ни въ чемъ не знаетъ мѣры,— а мѣра есть главное условіе согласнаго развитія. Жизнь восточныхъ народовъ проходила или въ броженіи страшныхъ переворотовъ, или въ косномъ покоѣ однообразнаго повторенія. Восточный человѣкъ не понималъ своего достоинства; оттого онъ былъ или въ прахѣ валяющійся рабъ, или необузданный деспотъ; такъ и мысль его была или слишкомъ скромна, или слишкомъ высокомерна; она—то перехватывала за предѣлы себя и природы, то, отрекаясь отъ человѣческаго достоинства, погружалась въ животность. Религіозная и гностическая жизнь азіатцевъ полна безпкойнымъ метаньемъ и мертвою тишиной; она колоссальна и ничтожна, бросаетъ взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношеніе личности къ предмету провидится, но неопредѣленно; содержаніе восточной мысли состоитъ изъ представленій, образовъ, аллегорій, изъ самаго щепетильнаго раціонализма (какъ у китайцевъ) и самой громадной поэзіи, въ которой фантазія не знаетъ никакихъ предѣловъ (какъ у индійцевъ). Истинной формы Востокъ никогда не умѣлъ дать своей мысли и не могъ, потому что онъ никогда не уразумѣвалъ содержанія, а только различными образами мечталъ о немъ. Объ естествовѣдѣніи и думать нечего: его взглядъ на природу приводилъ къ грубѣйшему пантеизму, или къ совершеннѣйшему презрѣнію природы. Среди хаоса яносказаній, мѣтовъ, чудовищныхъ фантазій, блестятъ по временамъ яркія мысли, захватывающія душу, и образы чуднаго изящества; они искупаютъ многое и надолго держатъ душу подъ своими чарами. Къ числу ихъ принадлежитъ превосходное мѣсто, избранное нами эпиграфомъ ¹⁾. Его приводитъ Колебрукъ изъ индусскихъ философскихъ книгъ. Что можетъ быть граціознѣе этого образа пестрой, страстной баядеры,

¹⁾ Въ началѣ всѣхъ писемъ.

отдающейся очамъ зрителя? Она невольно напоминаетъ иную баядеру, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами изъ Гёте, будто замыкаютъ первый образъ; но индійское воззрѣніе до этого не дошло бы: оно остановилось въ своемъ мнѣніи на томъ, что опредѣленное, сущее только назначено *минувать*; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого-нибудь,—баядера показалась и ушла; у Гёте она исторгнута во всей блестящей красотѣ своей отъ гибели: въ вѣчной мысли есть мѣсто и временному—

Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor!

Первый свободный шагъ въ элементъ мышленія совершился, когда человѣкъ сталъ на благородную европейскую почву, когда онъ выдвинулся изъ Азіи: Іонія—начало Греціи и конецъ Азіи. Лишь только люди устроились на этой новой землѣ, какъ начали порывать пеленки, связывавшія ихъ на Востокъ; мысль стала сосредоточиваться изъ фантастической распушенности, искать выхода изъ смутнаго стремленія самоопредѣленіемъ, самообузданіемъ. Въ Греціи человѣкъ ограничивается для того, чтобъ развить всю безграничность своего духа, дѣлается опредѣленнымъ для того, чтобъ выйти изъ неопредѣленнаго состоянія дремоты, въ которое повергаетъ человѣка безхарактерная многосторонность. Вступая въ міръ Греціи, мы чувствуемъ, что на насъ вѣетъ роднымъ воздухомъ,—это Западъ, это Европа. Греки первые начали протрезвляться отъ азіатскаго опьянѣнія и первые ясно посмотрѣли на жизнь, нашлись въ ней; они совершенно дома на землѣ—покойны, свѣтлы, люди. Въ «Иліадѣ», въ «Одиссеѣ» мы можемъ узнать знакомое, родственное, а не въ «Магабгаратѣ», не въ «Саконталѣ». Мнѣ всякій разъ становится тяжело и неловко, когда читаю восточныя поэмы: это не та среда, въ которой свободно дышетъ человѣкъ; она слишкомъ просторна и въ то же время слишкомъ узка; ихъ поэмы — давящія сновидѣнія, послѣ которыхъ человѣкъ просыпается, задыхаясь въ лихорадочномъ состояніи, и все еще ему кажется, что онъ ходитъ по косому полу, около котораго вертятся стѣны и мелькаютъ чудовищные образы, не несущіе ничего утѣшительнаго, ничего роднаго. Чудовищныя фантазіи восточныхъ произведеній были такъ же противны грекамъ, какъ чудовищные размѣры какихъ-нибудь мемноновъ въ семьдесятъ метровъ ростомъ: греки никогда не смѣшивали высокаго съ огромнымъ, изящнаго съ подавляющимъ; греки вездѣ побѣждали отвлеченную категорію количества—на поляхъ марафонскихъ, въ статуяхъ Праксителя, въ герояхъ поэмъ и въ свѣтлыхъ образахъ Олимпійцевъ. Они постигли, что тайна изящнаго — въ вы-

сокой соразмѣрности формы и содержанія внутренняго и внѣшняго; они поняли, что въ природѣ все развитое блеститъ не огромностью чрева, а, совсѣмъ напротивъ, сосредоточивается до крайне-необходимаго соотвѣтствія наружнаго внутреннему; гдѣ наружное слишкомъ велико—внутреннее бѣдно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной, и именно потому безконечной, соразмѣрности—чуть ли не главная мысль Греціи, руководившая ее во всемъ; она-то проявилась въ томъ изящномъ созвучіи всѣхъ сторонъ аѳинской жизни, которое поражаетъ насъ своею художественною прелестью. Идея красоты была для грековъ безусловною идеею; она снимала въ самомъ дѣлѣ противоположность духа и тѣла, формы и содержанія; изсѣкая свои статуи, грекъ всякій разъ изсѣкалъ примирительное сочетаніе тѣхъ началъ, которыя необузданно подавались распаленной фантазіи на Востокѣ.

Міръ греческій, въ извѣстномъ очертаніи, изъ котораго онъ не могъ выйти, не перейдя себя, былъ чрезвычайно полонъ; у него въ жизни была какая-то *слитность*, то неуловимое сочетаніе частей, та гармонія ихъ, предъ которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности въ жизни, наукѣ, учрежденіяхъ новый міръ не дошелъ: это тайна, которую онъ не умѣлъ похитить изъ греческихъ саркофаговъ. Есть люди, которымъ греческая жизнь кажется, именно по соразмѣрности своей, по родству съ природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимаютъ плечами, говоря о веселомъ Олимпѣ и его разгульныхъ жителяхъ; они презираютъ грековъ за то, что греки наслаждались жизнью въ то время, когда надобно было млѣть и мучить себя мнимыми страданіями; они не могутъ забыть, что греки равно поклонялись свѣтлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, тѣлесной ловкости атлета и діалектикѣ софиста: они ставятъ гораздо выше ихъ мрачныхъ египтянъ, даже персовъ; объ Индіи и говорить нечего: съ Шлегелевой легкой руки, лѣтъ двадцать не знали границъ индопочитанію. Это ничего не доказываетъ; вы можете еще такихъ людей найти, которымъ вообще все здоровое противно,—такія искаженные организаціи, которыя только неестественное наслажденіе считаютъ за истинное; это дѣло психической патологии. Для насъ, напротивъ, все величіе греческой жизни—въ ея простотѣ, скрывающей глубокое пониманіе жизни; она спокойно у нихъ течетъ между двумя крайностями—между погруженіемъ въ чувственную непосредственность, въ которой теряется личность, и потерю дѣйствительности во всеобщихъ отвлеченіяхъ. Воззрѣніе грековъ намъ кажется матеріальнымъ въ сравненіи съ

схоластическимъ дуализмомъ и съ трансцендентальнымъ идеализмомъ нѣмцевъ; въ сущности его скорѣе должно назвать реализмомъ (въ широкомъ смыслѣ слова), и этотъ реализмъ у нихъ является прежде всѣхъ мудрецовъ и учений. Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу есть вѣра эмпирии, реализма; она основана на безусловномъ признаніи дѣйствительности міра, природы, жизни: «то, что есть, не случайно; оно предопредѣлено, оно неминуемо, оно должно быть». Такая вѣра въ судьбу есть, съ тѣмъ вмѣстѣ, вѣра въ событіе, въ *разумъ внѣшняго*. Мысль (легко освободившаяся отъ мѣховъ политеизма) съ первыхъ шаговъ должна была дойти до созерцанія судьбы закономъ животворящимъ, началомъ (нусъ) всего сущаго; а на этомъ началѣ легко воздвигалась вся великая наука ихъ.

Мышленіе грековъ, никогда недоходившее до послѣдней крайности распадѣнія съ природой или существующимъ, до непримиримаго противорѣчія безусловнаго съ условнымъ, не имѣло зато въ себѣ ничего судорожнаго; оно не считало своего дѣла святотатственнымъ обличеніемъ тайны, преступнымъ попытаниемъ заповѣднаго, чернокнижіемъ, нечистой связью съ темной силою; напротивъ, оно походило на ясный взглядъ проснувшася человѣка, который радостно приводитъ въ сознаніе окружающій міръ и съ перваго шага понимаетъ, что онъ для того и призванъ, чтобъ понять и возвести въ мысль; интересъ его безкорыстенъ, чистъ, и потому онъ смѣлъ, гордъ; онъ не трепещетъ, какъ адептъ среднихъ вѣковъ,—этотъ тать, подсматривающій тайну природы; самая цѣли ихъ розны: одинъ хочетъ знать, хочетъ истины; другой власти надъ естествомъ; для одного, природа имѣетъ объективное значеніе, а другой только того и добивается, чтобъ предѣлать ее, чтобъ изъ камня было золото, чтобъ земля была прозрачна. Разумѣется, въ этомъ себялюбивомъ притязаніи видно свое величіе эпохи, и въ уродливой формѣ средне-вѣковой алхиміи есть сторона, по которой адептъ выше грека. Духъ не сталъ еще самъ предметомъ для грека; онъ еще не довлѣлъ себѣ безъ природы и, стало-быть, онъ ее не ставилъ, а принималъ ее, какъ роковое событіе; ключъ къ истинѣ не лежалъ внутри человѣка; этимъ-то ключомъ и считалъ себя алхимикъ. Грекъ не могъ отдѣлаться отъ внѣшней необходимости; онъ нашелъ средство быть нравственно-свободнымъ, признавая ее; этого мало: надобно было самую судьбу превратить въ свободу, надобно было все побѣдить разуму; надобно было выстрадать эту побѣду; но греки не умѣли страдать; они принимали легко самые тяжелые вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего не доставало греческому возрѣвію, сдѣлалось началомъ и точкою отправленія,—но ужъ было поздно. Съ неоплато-

никовъ начался идеализмъ, какъ господствующее направление, какъ единое истинное мышление; мысль стала иначе, утратила дѣйствительность и реализмъ истинно-греческой философіи. Соединеніе этихъ сторонъ, быть можетъ, важнѣйшая задача грядущей науки ¹⁾.

Начало знанія есть сознательное противоположеніе себя предмету и стремленіе снять эту противоположность мыслью. Іонійская философія представляетъ намъ въ богатомъ и широкомъ развитіи этотъ моментъ. Пробужденное сознаніе останавливается предъ природой и ищетъ подчинить ея многообразіе единству, чему-нибудь всеобщему, царящему надъ частнымъ. Это первая потребность человѣка, когда онъ просыпается отъ неопредѣленныхъ сновидѣній чувственно-непосредственнаго воззрѣнія, когда онъ перестаетъ удовлетворяться фантазіями и, недовольный, жаждетъ не образовъ, а пониманія; но этого всеобщаго единства человѣкъ не ищетъ сначала ни въ себѣ, ни въ духовномъ элементѣ вообще, а въ самомъ предметѣ, и притомъ какъ сущаго,— онъ еще такъ привыкъ къ непосредственности, что не можетъ разомъ оторваться отъ нея. Предметъ его знанія также непосредственный, данный эмпиріей — природа. Для того, чтобъ себя поставить предметомъ, надобно много прожить мыслью, надобно, между прочимъ, усомниться въ полной дѣйствительности природы. Практически, бессознательно человѣкъ поступалъ, какъ власть имущій надъ окружающимъ міромъ или, лучше, надъ окружающими его частностями,—отрицалъ ихъ самобытность; но теоретически, общимъ образомъ, сознательно онъ не совершилъ еще этого шага. Напротивъ, у человѣка есть врожденная вѣра въ эмпиризмъ и въ природу, такъ, какъ врожденная вѣра въ мысль; отдаваясь этой вѣрѣ въ физическій міръ, человѣкъ въ немъ ищетъ «начала всѣхъ вещей», т. е. единства, изъ котораго все происходитъ, къ которому все стремится,—всеобщее, обнимающее всѣ частности. Откуда было іонійцамъ взять такую дерзость, чтобъ обратиться къ груди своей и въ ней искать этого начала? Вспомните, что едва Гёте чрезъ тысячелѣтіе осмѣлился

¹⁾ Излагая главные моменты греческой философіи, я слѣдовалъ «Лекціямъ Гегеля объ исторіи древней философіи». Всѣ мѣста, цитованныя мною изъ Платона, Аристотеля, взяты оттуда. Исторія древней философіи у него отдѣлана до высокаго художественнаго совершенства; кажется, нельзя того же сказать объ его исторіи новой философіи: она бѣдна и мѣстами одностороння, даже пристрастна (напр., какъ мало оцѣненъ подвигъ Канта!) Знакомые съ германской философіей увидятъ въ самомъ изложеніи древней философіи нѣкоторыя довольно важныя отступленія отъ «Лекцій объ исторіи философіи». Я во многихъ случаяхъ не хотѣлъ повторять чисто абстрактныхъ и пропитанныхъ идеализмомъ мнѣній германскаго философа, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ онъ былъ невѣренъ себѣ и платилъ дань своему вѣку.

сдѣлать вопросъ: «зерно природы не лежитъ ли въ сердцѣ чело-
вѣка?»—и его не поняли современники! Ионійцы съ отроческою
простотою въ самой природѣ искали *начала*; они его искали, какъ
сущее между существующимъ, какъ высшую вещественность,
составляющую основу прочихъ вещей; ихъ непривыкнувшій къ
отвлеченіямъ умъ не могъ иначе удовлетворяться, какъ естест-
венною видимостью начала. Ни знаніе, ни мышленіе никогда не
начинаются съ полной истины,—она ихъ цѣль; мышленіе было
бы ненужно, если-бъ были готовые истины,—ихъ нѣтъ; но раз-
витіе истины составляетъ ея организмъ, безъ котораго она не-
дѣйствительна. Мышленіемъ истина развивается изъ бѣднаго,
отвлеченнаго, односторонняго опредѣленія до самаго полнаго, кон-
кретнаго, многосторонняго, достигая этой полноты рядомъ само-
опредѣленій, непрерывно углубляющихся въ разумъ предмета.
Первое, начальное опредѣленіе, самое внѣшнее, самое неразвитое—
зерно, возможность, тѣсная сосредоточенность, въ которой потеряны
различія; но съ каждымъ шагомъ дальнѣйшаго самоопредѣленія,
истина находитъ болѣе и болѣе органовъ для своего идеальнаго
бытія: такъ, разумъ въ новорожденномъ становится дѣйствитель-
ностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовь-
ются, окрѣпнутъ, возмужаютъ, когда его мозгъ сдѣлается спо-
собенъ вынести разумъ. Но гдѣ же въ природѣ, въ этомъ непре-
рывномъ круговоротѣ измѣненій, въ которомъ двухъ разъ не
встрѣтимъ однѣхъ и тѣхъ же черты, гдѣ въ ней найти всеобщее на-
чало, по крайней мѣрѣ такую сторону ея, которая всего ближе
выражала бы мысль единства и покоя въ безпокойномъ много-
различіи физическаго міра? Ничего не могло быть естественнѣе,
какъ принятіе *воды* за это начало: она не имѣетъ опредѣлен-
ной, стоячей формы; она вездѣ, гдѣ есть жизнь, она вѣчное дви-
женіе и вѣчное спокойствіе—

Wasser umfanget
Ruhig das All!

Безъ сомнѣнія, Фалесъ, признавая началомъ всему воду, ве-
дѣлъ въ ней болѣе, нежели *эту* воду, текущую въ ручьяхъ. Для
него, вода не только вещество, отличное отъ другихъ веществъ
земли, воздуха, но вообще текучій растворъ, въ которомъ все
распускается, изъ котораго все образуется; въ водѣ оседаетъ
твердое; изъ нея испаряется легкое; для Фалеса она, вѣроятно,
была и образъ мысли, въ которой снято и хранится все сущее:
только въ этомъ значеніи—широкомъ, полномъ мысли—эмпири-
ческая вода, какъ начало, получаетъ истинно-философскій смыслъ.
Вода Фалеса—существующая стихія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль—
представляетъ первое мерцаніе и просвѣчиваніе идеи сквозь гру-

бую физическую кору, отъ которой она еще не освободилась. Это дѣтское провидѣніе единства бытія и мышленія, это фетишизмъ въ сферѣ логики и фетишизмъ превосходный. Вода—спокойная, глубокая среда, вѣчно дѣятельная раздвоеніемъ (сгущаясь, испаряясь),—вѣрнѣйшій образъ понятія, расторгающагося на противоположныя опредѣленія и служащаго связью имъ. Само собою разумѣется, что вода не соотвѣтствуетъ тому понятію всеобщей сущности, которое съ нею сопрягаль Фалесъ; но здѣсь не такъ важно истинное понятіе воды, какъ именно *его* понятіе о водѣ: изъ *его* понятія о водѣ мы узнаемъ *его* понятіе о началѣ.

Во время неразвитости мышленія, методы, языка, подъ односторонними опредѣленіями кроется несравненно болѣе, нежели сколько лежитъ въ строгомъ прозаическомъ смыслѣ высказанныхъ словъ. Мы часто будемъ видѣть, какъ изъ-за неловкаго выраженія проглядываетъ глубокое созерцаніе, и потому весьма важно усвоить себѣ смыслъ, въ которомъ сама система понимала свои начала. Сказать просто: Фалесъ считаетъ всему началомъ воду, а Пифагоръ число, не заботясь о томъ, что для одного представляла вода, а для другого число, значить выдать ихъ за полусумасшедшихъ или за тупоумныхъ. Выраженіе «глоссология» измѣняетъ имъ; они *болѣе* мысли хотятъ втѣснить въ образъ, ими избранный, нежели онъ можетъ впитать въ себя; но отъ этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною ихъ мысли, которая, если не нашла достодолжнаго выраженія, то навѣрное оставила мощный слѣдъ. Такъ, въ животныхъ низшей организаціи замѣчаемъ мы указанія, намеки, такъ сказать, на тѣ части и органы, которые вполне развиваются только въ высшихъ животныхъ; ненужная, повидимому, неразвитость есть непреложное условіе будущаго совершенства. Каждая школа подъ своимъ началомъ разумѣла болѣе формально-высказаннаго, и потому считала свое начало безусловнымъ, себя въ обладаніи всею истиною,—и была отчасти права; напротивъ, слѣдующее за ней возрѣніе видитъ обыкновенно только-формально-высказанное и стремится снять односторонность, изъявляющую притязаніе на всеобщность, какой-нибудь новой односторонностью съ тѣмъ же притязаніемъ; завязывается беспощадная борьба, и нападающій тупо не догадывается, что въ самомъ дѣлѣ проходящій моментъ обладалъ истиною, но въ несоответственной формѣ; недостатки же формы замѣнялъ живымъ духомъ своимъ. Съ своей стороны, проходящій моментъ также мало понимаетъ, что выталкивающій его имѣетъ права на то во имя той стороны истины, которою онъ обладаетъ. Эмпирическимъ носителемъ іонійской мысли о единствѣ не была одна вода; она такъ рѣзко индивидуальна, что не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ все-

общаго начала. Воздухъ, какъ по превосходству безвидный, разрѣженный, былъ также принимаемъ нѣкоторыми изъ іонійцевъ за начало. Наконецъ, они сдѣлали попытку совсѣмъ оторваться отъ естественной сущности и перейти въ сферу тѣхъ отвлеченій, которыя составляютъ пропилеи логики; они отрицали прямо конечное въ пользу безконечной основы въ родѣ матеріи, вещества нынѣшнихъ физиковъ; безконечнос Анаксимандра было именно вещество, лишенное всякаго качественного опредѣленія: таковъ былъ первый, полудѣтскій, но твердый шагъ науки. Расходящіяся гометрическія представленія приводятся къ единству, единство это ищется въ природѣ, самобытность частнаго не признается состоятельной предъ всеобщимъ началомъ, какъ бы это начало ни было опредѣлено; такое подчиненіе единству и всеобщему—настоящій элементъ мышленія. Немного дальновидности надобно было имѣть, чтобъ понять, что противъ этого единства политеизмъ не устоитъ. Судьба Олимпа была рѣшена въ ту минуту, какъ Фалесъ обратился къ природѣ; отыскивая въ ней истину, онъ, какъ и другіе іонійцы, выразилъ свое воззрѣніе независимо отъ языческихъ представленій. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора и Сократа; въ элементѣ, въ которомъ двигались іонійцы, лежалъ зародышъ смерти элевзинскихъ и всѣхъ языческихъ таинствъ. Кто упрекнетъ іонійцевъ въ томъ, что они, принимая за начало эмпирическую стихію, показали недостаточное понятіе объ элементѣ мысли,—будетъ правъ; но, съ другой стороны, пусть онъ оцѣнитъ чисто реальный греческій тактъ, заставившій ихъ искать свое начало въ самой природѣ, а не внѣ ея, искать безконечное въ конечномъ, мысль въ бытіи, вѣчное во временномъ. Почва наукообразная была пріобрѣтена ими, *сущее начало* не могло на ней удержаться; но она была способна къ развитію; это была начальная ступень: ступившему на нее раскрылась цѣлая лѣстница.

Прежде, нежели мышленіе перешло отъ чувственныхъ и сущихъ опредѣленій безусловнаго къ опредѣленіямъ отвлеченно-логическимъ, оно естественнымъ образомъ должно было попытаться выразить безусловное промежуточнымъ моментомъ, найти истину между крайностями сущаго и отвлеченнаго. Эта готовность осуществитъ всякую возможность принадлежитъ безпокойному и вѣчно дѣятельному характеру жизни, какъ въ историческомъ мірѣ, такъ и въ физическомъ; органическое развитіе вещества не оставляетъ втуне ни одной возможности, не призывая ее къ жизни. Между чувственными опредѣленіями и опредѣленіями чисто логическими, Пифагоръ нашелъ нѣчто постоянное, связующее ихъ, принадлежащее имъ обоимъ, не чувственное и не мысль,—число. Смѣлость и, слѣдственно, крѣпость мысли пифагорейской очевидна; все

сущее, принимаемое обыкновенно за действительность, опрокинуто, и на мѣсто эмпирическаго существованія поднято и признано за истину нѣчто невещественное, мыслимое, но притомъ далеко не субъективное, а, такъ сказать, мыслимое, снимаемое съ вещественнаго. «Пифагорейцы, говоритъ Аристотель, принимали устройство вселенной за согласную систему чиселъ и ихъ отношеній». Они исторгли *постоянное отношеніе* изъ вѣчной переменности феноменальнаго бытія, и оно въ самомъ дѣлѣ царить надъ всѣмъ сущимъ. Математическое міросозерцаніе, основанное пифагорейцами и получившее богатое развитіе въ новѣйшія времена, потому и сохранилось черезъ всѣ вѣка, что въ немъ есть сторона глубоко-истинная; математика стоитъ между логикой и эмпиріей, въ ней уже признана объективность мысли и логичность событія; ея враждебное отношеніе къ философіи формально не имѣетъ никакого основанія. Само собою разумѣется, что отношеніе предметовъ, моментовъ, фазъ, гармоническіе законы, ихъ связующіе, ряды, которыми они развиваются, не исчерпываютъ *всего* содержанія ни природы, ни мысли. Пифагорейцы не замѣчали, что подъ числомъ разумѣли несравненно болѣе, нежели сколько лежало въ понятіи числа; они не замѣчали, что въ числѣ остается нѣчто мертвое, безстрастное, пренебрегающее конкретнымъ содержаніемъ, равнодушная мѣра. Для нихъ порядокъ, согласіе, гармоническое числовое сочетаніе удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, но удовлетворяли потому, что они собственно не останавливались на чисто-математическихъ опредѣленіяхъ; геніальность учителя и пламенная фантазія учениковъ приносили всю полноту содержанія, недостававшего началамъ. Это иллогическое дополненіе мы постоянно будемъ встрѣчать во всей греческой философіи; это, такъ сказать, перехватывающая субъективность генія грековъ, а съ другой стороны—неспособность ихъ къ чистымъ отвлеченіямъ. На этой неотрѣшимости грековъ отъ реализма и на провидѣннй истины болѣе, нежели на сознанія, основана полнота распадѣнія личности съ природой въ древнемъ мірѣ. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высотѣ, на которую его поставили пифагорейцы: «оно не носило въ себѣ начала самодвиженія», какъ замѣтилъ Аристотель. Но для нихъ единица была не только ариѳметическая единица, первый членъ, ключъ, рядъ, мѣра,—для нихъ она была, вмѣстѣ съ тѣмъ, безусловнымъ единствомъ, могуществомъ и возможностью самораздвоенія, животворящей монадой, гермафродитомъ, въ себѣ хранящимъ свое раздвоеніе и не теряющимъ своего единства при развитіи въ многообразіе. Они были такъ проникнуты порядкомъ, согласіемъ, гармонією, числовымъ сочетаніемъ, вездѣсущимъ ритмомъ, что для нихъ вселенная представлялась статико-музыкальнымъ цѣ-

лымъ. И кто откажетъ въ величїи ихъ представленію десяти небесныхъ сферъ, расположенныхъ по строгому порядку, не только въ извѣстномъ отношеніи къ величинѣ и скорости, но и въ музыкальномъ отношеніи; ринутыя въ свое вѣчное движеніе, обтекаая орбиты свои, онѣ издають согласные звуки, сливающиміся въ одинъ величественный, вселенскій хораль. Повидному, удаленное отъ всего поэтическаго, возрѣніе математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнѣйшіе мистики всѣхъ вѣковъ опирались на Пифагора и создавали свою науку чиселъ; въ математическомъ возрѣніи есть что-то сумрачно-величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то, вмѣсто реальныхъ страстей, и располагаетъ фантазію къ астрологїи, кабалистикѣ, и проч.

Еще шагъ мысли по этому пути обобщенія,—и она должна была порвать послѣднія путы и явиться въ своей области, то есть оторваться не токмо отъ чувственнаго, отъ числового, но и вообще отъ всякаго дѣйствительнаго опредѣленія,—пожертвовать полнотою многообразія отвлеченному единству всеобщаго. Такой шагъ, съ одной стороны, освобождаетъ мысль отъ всего, ограничивающаго ее, съ другой—ведетъ къ величайшимъ отвлеченностямъ, въ которыхъ все пропадаетъ, въ которыхъ потому и свободно, что пусто. Отрѣзать предметъ отъ односторонности реальныхъ опредѣленій значитъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, дѣлать его неопредѣленнымъ; тѣмъ общѣ сфера, тѣмъ она кажется ближе къ истинѣ, тѣмъ болѣе устранено усложняющихъ односторонностей. На самомъ дѣлѣ не такъ; сдирая плеску за плевой, человекъ думаетъ дойти до зерна, а между тѣмъ, снявъ послѣднюю, онъ видитъ, что предметъ совсѣмъ исчезъ; у него ничего не остается, кромѣ сознанія, что это не ничего, а результатъ снятія опредѣленій. Очевидно, что такимъ путемъ до истины не дойдешь. По несчастію, этой очевидности не хотѣли видѣть; напротивъ, обобщая категорїи, очищая предметъ отъ всѣхъ его опредѣленій, качественныхъ и количественныхъ, съ торжествомъ останавливаются на отвлеченнѣйшемъ признаніи тождества его съ собою, и *призракъ* чистаго бытія принимаютъ за истину дѣйствительносущаго; чистое бытіе становится въ родѣ духа, улетѣвшаго изъ усопшаго и витающаго надъ трупомъ, безъ силы его оживить. Для логическаго процесса, для феноменологическаго движенія мысли не можетъ быть лучшаго предположенія, лучшей точки отправленія, какъ чистое бытіе,—начало не можетъ быть ни опредѣленнымъ, ни имѣющимъ посредства: чистое бытіе именно неопредѣленная непосредственность,—наконецъ, въ началѣ не можетъ быть дѣйствительной истины, а одна возможность ея. Дайте, какое хотите, опредѣленіе, какое хотите, развитіе чистому бытію,—оно сдѣлается бытіемъ опредѣленнымъ, дѣйствительнымъ, и измѣнитъ

характеру начала, возможности. Чистое бытіе—пропасть, въ которой потонули всѣ опредѣленія дѣйствительнаго бытія (а между тѣмъ они-то одни и существуютъ), не что иное, какъ логическая абстракція, такъ, какъ точка, линія—математическія абстракціи; въ началѣ логическаго процесса, оно столько же бытіе, сколько небытіе. Но не надобно думать, что бытіе опредѣленное возникаетъ въ самомъ дѣлѣ изъ чистаго бытія,—развѣ изъ понятія рода возникаетъ существующій индивидъ? Мысль начинается съ этихъ абстракцій, и движеніе ея необходимо обличаетъ отвлеченность ихъ и отказывается отъ нихъ всѣмъ дальнѣйшимъ движеніемъ. Мысль въ началѣ логическаго процесса—именно способность отвлеченнаго обобщенія; конечное и опредѣленное достигаетъ въ мысли безконечности, неопредѣленной сначала, но опредѣляющейся цѣлымъ рядомъ формъ, которыя, наконецъ, получаютъ полную опредѣлительность и такимъ образомъ замыкаютъ безконечное и конечное сознательнымъ единствомъ.

Чистое бытіе было принято за истину, за безусловное элеатики: они абстракцію чистаго бытія приняли за дѣйствительность *болѣе дѣйствительную*, нежели *бытіе опредѣленное*, за верховное единство, царящее надъ многообразіемъ. Такое логическое, холодное, отвлеченное единство безотраднo; въ немъ гибнетъ всякое различіе, всякое движеніе; это вѣчный покой, нѣмая безграничность, штиль на морѣ, летаргическій сонъ, наконецъ смерть, небытіе. Въ самомъ дѣлѣ, элеатики отрицали всякое движеніе, не признавали истины многообразія,—это индійскій квіетизмъ въ философіи. Бытіе свидѣлствуетъ только о томъ, что *она есть*; меньше, бѣднѣе ничего нельзя сказать о предметѣ, какъ то, что онъ есть,—это повтореніе слова «омъ! омъ!» браминомъ, достигшимъ желанной близости къ Вишну, ставшимъ на краю пропасти, къ которой онъ стремился, чтобъ освободиться отъ своей индивидуальности. Бытію, для того только, чтобъ быть, нѣтъ нужды въ движеніи: для дѣятельности надобно, чтобъ бытію чего-нибудь не доставало, чтобъ оно стремилось къ чему-нибудь, боролось съ чѣмъ-нибудь, чего-нибудь достигало бы. Но то, къ чему можетъ бытіе стремиться, было бы внѣ его,—стало-быть, его не было бы. Элеатики очень послѣдовательно отрицали движеніе и небытіе. «Бытіе, говорилъ Парменидъ, есть, а небытія вовсе нѣтъ». Вѣрные реальному такту грековъ, элеатики не смѣли идти до послѣдняго логическаго вывода; ихъ языкъ не повернулся бы признаться, что чистое бытіе тождественно небытію; какой-то инстинктъ шепталъ имъ, что, какъ хочешь, абстрагируй, но субстрата, но вещества не уничтожишь, что бытіе самобѣднѣйшее его свойство, но зато и самонепотъемлемѣйшее, что его на самомъ дѣлѣ уничтожить нельзя, *некуда дѣтъ*: отвергнуться только можно отъ него, или не узнать его въ видоизмѣненіяхъ.

Въ XVIII столѣтїи, на эту мысль неизмѣняемости вещественнаго бытія попалъ знаменитый Лавуазье. «Вѣсъ вещества, сказалъ онъ, не можетъ никогда утратиться, количество матерїи постоянно: отвлекаясь отъ качественныхъ измѣненій, мы остаемся при неизмѣнномъ вѣсѣ». На этой элеатико-левикипповской мысли основываясь, онъ взялъ химическіе вѣсы въ руки,—и вы знаете великіе результаты, до которыхъ онъ и его послѣдователи достигли. Долго удержаться на страшной всеобщности чистаго бытія мысль человѣческая не могла. Успокоившись въ отвлеченномъ просторѣ чистаго бытія, нельзя не понять, наконецъ, что этотъ просторъ—совершеннѣйшее безразличіе, безразличіе сходное съ предположеніемъ силы расширительной, дѣйствующей на свободѣ въ шеллинговомъ построенїи физическаго міра: она до того расширяется, не встрѣчая препятствїя, что ея нѣтъ: тутъ ужъ поздно ее спасать силой сжимательной. Но дѣло въ томъ, что чистое бытіе, такъ же, какъ и безусловное расширеніе, вовсе недѣйствительны; это координаты, употребляемыя геометромъ для опредѣленія точки,—координаты, нужныя ему, а не точкѣ; проще: чистое бытіе—подмостка, по которой отвлеченное мышленіе поднимается къ конкретному. Не только небытія вовсе нѣтъ, но и чистаго бытія вовсе нѣтъ,—а есть бытіе, опредѣляющееся, совершающееся въ вѣчно дѣятельномъ процессѣ, котораго отвлеченные и противоположные моменты (бытіе и небытіе), врознь, другъ безъ друга, существуютъ только въ феноменологїи сознанія, а не въ мірѣ эмпирико-дѣйствительномъ: эти моменты, отвлеченные отъ процесса, связующаго ихъ, разъяты,—призрачны, невозможны и истинны, только какъ переходныя ступени логическаго движенія: въ существованїи своемъ, напротивъ, они дѣйствительны, и потому нерасторгаемо-присущи другъ другу. Бытіе дѣйствительное не есть мертвая кость, а непрерывное возникновеніе, борьба бытія и небытія, непрерывное стремленіе къ опредѣленности, съ одной стороны, и такое же стремленіе отречься отъ всякой задерживающей положительности.

Геніальное: «все течетъ!» произнеслось Гераклитомъ,—и расплавленный кристаллъ элеатическаго бытія устремился вѣчнымъ потокомъ. Гераклитъ подчинилъ и бытіе и небытіе—перемѣнѣ, движенію: *все течетъ!* ничто не остается неподвижно, одинаково; все—быстро ли, тихо ли—движется, видоизмѣняясь, превращаясь, колеблясь между бытіемъ и небытіемъ. «Предметы, говоритъ Гераклитъ, похожи на стремящійся потокъ: два раза нельзя наступить въ одну и ту же воду» ¹⁾. Для

¹⁾ Тѣла, говоритъ Лейбницъ, только кажутся постоянными; они похожи на потокъ, ежеминутно приносящій новую воду,—на тезевъ корабль, который афиняне безпрестанно чинили.

него безусловное—самый процесс восхожденія естественнаго многоразличія къ единству; для него дѣйствительное—не страдательная покорность отвлеченной вещественности, не субстратъ движенія, не бытіе движимаго, а то, что *необходимо* движеть его, то, что его измѣняетъ. Бытіе у Гераклита имѣеть само въ себѣ свое отрицаніе, оно неотъемлемо, присуще ему; это его демоническое начало, сопровождающее его всегда и вездѣ, непрерывно противодѣйствующее ему, снимающее сотворенное имъ, мѣшающее уснуть, окрѣпить въ неподвижности. Бытіе живо движеніемъ съ одной стороны, жизнь есть не что иное, какъ движеніе непрерывное, не останавливающееся, дѣятельная борьба и, если хотите, дѣятельное примиреніе бытія съ небытіемъ, и чѣмъ упорнѣе, злѣе эта борьба, тѣмъ ближе они другъ къ другу, тѣмъ выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вѣчно у конца и вѣчно у начала,—непрерывное взаимодействіе, изъ котораго они выйти не могутъ. Это—бѣличье колесо жизни. Животный организмъ представляетъ постоянную борьбу съ смертью, которая всякій разъ восторжествуетъ; но торжество это опять въ пользу опредѣленнаго бытія, а не небытія. Многоначальныя ткани, изъ которыхъ составлено живое тѣло, безпрестанно разлагаются на двучальныя (т. е. на неорудныя, минеральныя) и безпрестанно вновь образуются; голодъ возобновляетъ требованія свои, потому что непрерывно утрачивается матеріаль; дыханіе поддерживаетъ жизнь и сожигаетъ организмъ; организмъ непрерывно вырабатываетъ сожигаемое. Не кормите животнаго,—у него кровь и мозгъ сгорятъ... Чѣмъ болѣе развита жизнь, чѣмъ въ высшую сферу перешла она, тѣмъ отчаяннѣе борьба бытія и небытія, тѣмъ ближе они другъ къ другу. Камень гораздо прочнѣе звѣря; въ немъ бытіе преобладаетъ надъ небытіемъ, онъ мало нуждается въ средѣ, его окружающей, онъ безъ большихъ усилій, извнѣ на него дѣйствующихъ, не измѣнить ни формы, ни состава, онъ почти не носитъ въ себѣ самомъ причину своего разложенія,—и оттого онъ упоренъ. Малѣйшее прикосновеніе къ мозгу животнаго въ этой сложной, рыхлой, нетвердѣющей массѣ повергаетъ его мертвымъ; малѣйшее неравновѣсіе въ сложномъ химизмѣ крови—и животное страдаетъ по своему нормальному состоянію, мучится и умираетъ, если не можетъ побѣдить, то есть возстановить норму. Страдательное, тяжелое бытіе тѣснить своей грубой опредѣленностью жизнь: жизнь камня—постоянный обморокъ; она тамъ свободнѣе, гдѣ ближе къ небытію; она слаба въ высшихъ проявленіяхъ, она тратитъ, такъ сказать, вещественность на достиженіе той высоты, на которой бытіе и небытіе примиряются, подчиняются высшему единству. Все прекрасное нѣжно, едва существуетъ; это цвѣты, умирающіе отъ холоднаго вѣтра въ то время, какъ суровый стебель крѣпнетъ

отъ него, но зато онъ и не благоухаетъ и не имѣетъ пестрыхъ лепестковъ; мгновенія блаженства едва мелькаютъ,—но въ нихъ заключается цѣлая вѣчность... Возникновеніе, дѣятельный процессъ себяопредѣленія, его противоположные моменты (бытіе и небытіе) утрачиваютъ въ немъ свою мертвую кость, принадлежащую отвлеченному мышленію, а не дѣйствительному; какъ смерть не ведетъ къ чистому небытію, такъ и возникновеніе не берется изъ чистаго небытія,—возникаетъ бытіе опредѣленное изъ бытія опредѣленнаго, которое становится субстратомъ въ отношенія къ высшему моменту. Возникнувшее не кичится тѣмъ, что оно есть: это слишкомъ бѣдно, это подразумѣвается; оно не представляетъ истиной своей своего тождества съ собою, свое бытіе, а напротивъ, раскрываетъ себя процессомъ, низводящимъ свое бытіе на значеніе момента.

Гераклитъ понялъ, что истина есть именно существованіе двухъ противоположныхъ моментовъ; онъ понялъ, что они сами по себѣ не истинны и невозможны, что въ нихъ истинно одно стремленіе тотчасъ перейти въ противоположное. Для него, жившаго за 500 лѣтъ до Р. Х., мысль эта была такъ ясна, что онъ не могъ въ существованіи, въ бытіи видѣть что-нибудь постоянное, кромѣ того начала, которое переходитъ въ многообразіе и, съ другой стороны, стремится изъ многообразія къ единству; онъ понялъ это, несмотря на то, что движеніе собственно было для него событіе неотразимое, событіе роковое: признавая его, онъ покорялся необходимости, отъ которой ключа у него не было. Отчего же *ученые* мужи нашего времени такъ удивились, такъ тупо не поняли, когда мысль Гераклита явилась не какъ гениальная догадка, а какъ послѣднее слово метода, проведенной строго, отчетливо, наукообразно? Выраженіе, что ли, крутое и отвлеченное: «бытіе есть небытіе» — поразило? или, можетъ быть, ихъ близость въ возникновеніи напугала? Но выраженіе, вырѣзанное изъ живого развитія, понять нельзя, особенно когда не хотятъ ни знать путей, ни сосредоточить на немъ всего вниманія. Безъ вниманія все неясно,—ни логики не поймешь, ни въ вистъ не выучишься играть. Практически мы именно гераклитовски смотримъ на вещи; только во всеобщей сферѣ мышленія не можемъ понять того, что дѣлаемъ. Не споконъ ли вѣка сознавали люди, что не мертвая кость сущаго предмета, не его тождество съ собою — полная истина его? Во всемъ живомъ, наприм., развѣ мы видимъ что-нибудь, кромѣ процесса вѣчнаго преобразженія, живущаго, повидимому, въ одной перемѣнѣ? Кости — самое твердое бытіе организма, а мы ихъ даже живыми не считаемъ.

Мы замѣтили, что элеатика, принявъ за основаніе чистое бытіе, не имѣли смѣлости признаться, что оно тождественно небы-

тию. Такъ и Гераклитъ, поставившій истинною сущаго начало движущее (сущность), не дошелъ до уничтоженія бытія въ силѣ, въ причинѣ движенія, въ субстанціи. Греки не распадались такъ глубоко съ эмпирическимъ воззрѣніемъ: когда ихъ мысль приходитъ къ крайнимъ абстракціямъ, тотчасъ являются у нихъ изящные образы, фантастическія представленія, поддерживающія ихъ на берегу пропасти. Такъ у Гераклита, вмѣсто послѣднихъ безжалостныхъ выводовъ субстанціального отношенія, вы встрѣчаете *время* и *огонь* наглядными представителями процесса движенія. Въ самомъ дѣлѣ, время—образъ безусловнаго возникновенія; сущность его состоитъ только въ томъ, чтобъ быть и вмѣстѣ съ тѣмъ не быть; во времени не прошедшее и будущее, а настоящее дѣйствительно; но оно существуетъ только для того, чтобъ не существовать, оно тотчасъ прошло, оно сейчасъ наступитъ,— оно есть въ этомъ движеніи, какъ единство двухъ противоположныхъ моментовъ. Огонь въ природѣ соотвѣтствуетъ также превосходно его мысли: огонь сожигаетъ противоположное собою, безусловное безпокойство, безусловное распушеніе существующаго, переходимость другого и самого себя. Гераклитъ вездѣ видитъ огонь; для него вода—потухшій огонь, земля—окрѣпнувшая вода; но земля снова распускается въ моряхъ, испаряется ими въ воздухъ, гдѣ воспламеняется и творитъ воду. Итакъ, вся природа—метаморфоза огня. Самыя звѣзды для Гераклита не однажды-конченныя мертвыя массы: «вода испаряется и осаждается темнымъ процессомъ и свѣтлымъ; темный даетъ землю, свѣтлый поднимается въ воздухъ, загорается въ солнечной атмосферѣ и производитъ метеоры, планеты и звѣзды»; итакъ, онѣ возникаютъ слѣдствіемъ того же живого взаимодействія, движенія, «все расторгается внутреннею враждою и стремленіемъ къ высшему единству дружбы и гармоніи». «Вселенная—вѣчно живой огонь, душа ея—пламень, загорающійся и тухнущій по своему закону». Итакъ, мало того, что онъ понялъ природу процессомъ: онъ понялъ ее самодѣятельнымъ процессомъ. Однако, изъ этого движенія ничего не исторгается, нѣтъ единства, которое ставилось бы временнымъ круженіемъ и обличалось бы результатомъ его и его началомъ. Начало движенія у Гераклита—роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя въ многообразіи, неизвѣстно для чего втѣсняющая себя, какъ неотразимая сила, какъ событіе, но не какъ свободная, сознательная цѣль. Цѣли движенію вообще Гераклитъ не далъ; его движеніе конкретнѣе элеатическаго бытія, но оно абстрактно; оно громко требуетъ цѣли, постояннаго.

Прежде нежели мы скажемъ, какое начало и какую цѣль движенію далъ Анаксагоръ, мы должны показать другой выходъ изъ чистаго бытія, прямо противоположный Геракли-

ту, по крайней мѣрѣ по формальному выраженію; ибо, съ общей точки зрѣнія, атомизмъ, о которомъ мы говоримъ, представляетъ только дополняющій моментъ, необходимый и неминуемый динамизму. Атомизмъ и динамизмъ повторяютъ полярную борьбу бытія и небытія на болѣе опредѣленномъ и сжатомъ полѣ. Главная мысль атомизма состоитъ въ отрицаніи чистаго бытія въ пользу бытія опредѣленнаго; здѣсь не отвлеченное бытіе принимается за истину частныхъ, а частное, сама въ себѣ замкнутая, за истину бытія: это возвращеніе изъ сферы отвлеченной въ сферу конкретную, возвращеніе къ дѣйствительному, эмпирическому, существующему. Дѣйствительнымъ признается единичность, не отдающаяся на распушеніе въ абстрактныхъ категоріяхъ, протестующая противъ элеатическаго чистаго бытія во имя автономіи опредѣленнаго бытія; частное существуетъ для себя и само есть подтвержденіе своей качественной и количественной дѣйствительности. Левкиппъ и Демокритъ положили начало этому ученію; съ тѣхъ поръ оно шло постоянно по параллельной линіи съ главнымъ потокомъ науки, никогда не сближаясь съ нимъ ¹⁾; оно твердо оперлось на вѣрное, хотя одностороннее пониманіе природы, и принесло большую пользу естествовѣдѣнію. Атомизмъ, основанный на признаніи частности, противопоставляетъ неоспоримую недѣлимость, личность, такъ сказать, каждой сущей точки единству бытія и движенія, объемлющему ихъ. Въ мысли все обобщается, въ природѣ все молекулярно, даже то, что намъ кажется совершенно не имѣющимъ частей и различія. Движеніе Гераклита покорено необходимости, т. е. фатализму; атомъ имѣетъ цѣль самъ въ себѣ, въ своемъ существованіи; онъ существуетъ для себя и достигаетъ своей сосредоточенности; атомизмъ выражаетъ повсюдный эгоизмъ природы; для него одно стремленіе существуетъ и истинно — это стремленіе природы къ индивидуализаціи; она представляется ему безусловной разсыпчатостью, какъ она и есть; но онъ не видитъ, что высшая, сосредоточеннѣйшая личность (человѣкъ) и есть, несмотря на атомизмъ свой, всеобщая, родовая личность, что ея эгоизмъ, ея сосредоточенность есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучезарная любовь. Идеализмъ, съ своей стороны, не видитъ, что родъ, всеобщее, идея, дѣйствительно не могутъ быть безъ индивида, атома; пока идеализмъ не пойметъ этого, атомизмъ не сдастся ему; пока тотъ или другой будутъ хотѣть исключительнаго признанія, до тѣхъ поръ они останутся въ борьбѣ. Динамизмъ и атомизмъ принадлежатъ къ тѣмъ безвыходнымъ антиноміямъ не вполне развитой науки, которыя намъ встрѣчаются на

¹⁾ Развѣ только въ монадологіи Лейбница?

каждомъ шагу. Очевидно, что истина съ той и съ другой стороны; очевидно даже, что противоположныя воззрѣнія почти одно и то же говорятъ,—у однихъ только истина поставлена на головѣ, а у другихъ на ногахъ; противорѣчіе выходитъ видимо непримимое, а между тѣмъ такъ и тянетъ изъ одного момента въ другую; но истину, какъ единство односторонностей, какъ снятіе противорѣчія, не любятъ умы, хвастающіеся ясностью. Конечно, односторонность проще: чѣмъ бѣднѣйшую сторону предмета мы возьмемъ, тѣмъ она очевиднѣе, яснѣе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ненужнѣе и бесполезнѣе: что можетъ быть очевиднѣе формулы $A=A$, и что можетъ быть пошлѣе? Возьмите простѣйшую формулу уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ, — она будетъ гораздо сложнѣе, но зато въ ней заключается мысль, средство опредѣленія искомага. Принимать ту или другую сторону въ антиноміяхъ совершенно ни на чемъ не основано; природа на каждомъ шагу учитъ насъ понимать противоположное въ сочетаніи; развѣ у ней безконечное отдѣлено отъ конечнаго, вѣчное отъ временнаго, единство отъ разнообразія? Строгое требованіе «того или другого» очень похоже на требованіе: «кошелекъ или жизнь»! Храбрый человекъ смѣло отвѣтитъ: «ни того, ни другого, потому что нѣтъ необходимости для вашего каприза жертвовать тѣмъ или другимъ». Возвращаясь къ Левкиппу, замѣтимъ, что для него атомъ не былъ безразличною, мертвою точкой: онъ принималъ полярность недѣлимаго и пустоты (опять бытіе и небытіе) и взаимодѣйствіе атомовъ; тутъ онъ и его послѣдователи теряются во вѣдшихъ объясненіяхъ, принимаютъ случайность, соединявшую и расторгавшую атомы,—случайность дѣлается какой-то сокровенной силой, неудовлетворяющей требованіямъ ума.

Анаксагоръ поставилъ началомъ мысль. Разумъ, всеобщее дѣлается сущностью, дѣятельнымъ двигателемъ; *нусъ*—та дѣятельность, которая въ несовершенствѣ и безсознательно является природою, и которая во всей чистотѣ раскрывается въ сознаніи, въ мышленіи. Въ природѣ *нусъ* воплощается частностями, сущими во времени и пространствѣ; въ сознаніи онъ достигаетъ своей всеобщности и вѣчности. Анаксагоръ — «первый трезвый мыслитель» по выраженію Аристотеля — если не прямо высказалъ, что вселенная есть умъ, одѣйствующійся вѣчнымъ процессомъ, то онъ понялъ его самодвижущейся душою. Цѣль движенія: «исполнить все благое, заключенное въ душѣ». Замѣтимъ, такая цѣль не есть что-либо постороннее мысли; мы привыкли обыкновенно ставить цѣль съ одной стороны, а достигающаго съ другой; но цѣль, взятая во всеобщности, сама заключена въ достигающемъ, имъ одѣйствовывается, — существованіе предмета находится подъ влияніемъ его цѣлесообразности: то ис-

полнилось, что было; то развивается, что содержится. Живое сохраняется потому, что оно само по себѣ цѣль; оно и не знаетъ о своихъ цѣляхъ, оно имѣетъ земныя стремленія и желанія; эти желанія его—твердыя цѣлесообразныя опредѣленія; какъ бы животное ни относилось къ окружающей средѣ,—результатомъ ихъ столкновенія и взаимодѣйствія будетъ животный организмъ: оно только себя производитъ. Въ цѣлесообразномъ движеніи результатъ есть начало, исполненіе предшествующаго. Такимъ началомъ принялъ Анаксагоръ разумъ, законъ, и его положилъ въ основу бытію и движенію. Хотя онъ и не развилъ всего спекулятивнаго содержанія своего начала, но тѣмъ не менѣе шагъ, сдѣланный имъ для развитія мышленія, необъятенъ; его нусъ, заключающій въ возможности все благое, умъ, самосохраняющійся въ своемъ развитіи, имѣющій *въ себѣ мѣру* (опредѣленіе), торжественно воцаряется надъ бытіемъ и управляетъ движеніемъ. У іонійцевъ мы видѣли безусловнымъ началомъ сущее—эмпирическое бытіе, поставленное абсолютнымъ; потомъ оно опредѣлилось, какъ чистое бытіе, отвлеченное отъ сущаго, не эмпирическое, не реальное, а логическое, отвлеченное; далѣе, оно представляется, какъ движеніе, какъ полярный процессъ. Но такое движеніе могло быть безвыходнымъ круговоротомъ, безцѣльнымъ движеніемъ и болѣе ничего, безотраднымъ рядомъ возникновеній, перемѣнъ, перемѣнъ этихъ перемѣнъ,—и такъ въ безконечность. Анаксагоръ, ставя началомъ всеобщее, умъ внутри самаго существованія, бытія, движенія, находитъ міродержавную цѣль, какъ скрытую мысль всемірнаго процесса. Эта скрытая мысль бытія — та закваска, то начало броженія, движенія, безпокойства, возмущающаго и волнующаго бытіе для того, чтобъ сдѣлаться *открытою* мыслью. Въ сознаніи, мы опять встрѣчаемъ демоническое начало, присущее косной вещественности, которое дѣлается уже не демоническимъ, а разумнымъ, и это разумное обличается истинною, совершеніемъ бытія, небытія, движенія, возникновенія. Не надобно думать, что чрезъ это пожертвовано бытіе, и что наука перешла въ сознаніе, какъ въ противоположный ему элементъ,—тогда всеобщее потеряло бы свое спекулятивное значеніе, сдѣлалось бы сухою абстракціею; такого рода идеалистическая односторонность принадлежитъ болѣе новой философіи, нежели древней. Гераклитъ и Анаксагоръ коснулись того предѣла, далѣе котораго греческая мысль не шла; они бѣдно и неполно усвоили мысли ту почву, тѣ основанія, на которыхъ гиганты греческой науки возростили свое воззрѣніе. Почва осталась; движеніе Гераклита и нусъ Анаксагора не исчерпали всего содержанія; но отъ нихъ не отречется Аристотель; совсѣмъ напротивъ, они у него пойдутъ краугольными камнями колоссальнаго зданія, воз-

двинутого имъ. Нельзя не замѣтить строго-логической стройности историческаго мышленія у грековъ, у этихъ избранныхъ дѣтей человѣчества. Элеатическое воззрѣніе неминуемо вело къ гераклитову движенію; его движеніе также неминуемо вело къ разумной субстанціи, къ цѣли; оно ставило вопросъ,—и Анаксагоръ не замедлилъ дать отвѣтъ; вотъ это-то преемственное развитіе, идущее отъ одного самоопредѣленія истины къ другому въ органической связи и живомъ сочлененіи, называютъ безпорядочнымъ и произвольнымъ замѣненіемъ одного философскаго воззрѣнія другимъ!

Когда мысль человѣческая достигла до этой степени сознанія и силы, когда она окрѣпла въ ней, узнала свою несокрушимую мощь, открылось въ греческомъ мірѣ зрѣлище блестящее, увлекательное, торжество юношескаго упоенія въ наукѣ. Я говорю объ оклеветанныхъ и непонятыхъ софистахъ. Софисты — пышные, великолѣпные цвѣты богатаго греческаго духа, выразили собою періодъ юношеской самонадѣянности и удалства; въ нихъ видите человѣка, только что освободившагося изъ — подъ опеки и не получившаго еще опредѣленнаго назначенія; онъ предается всѣмъ сердцемъ чувству своей воли, своего совершеннолѣтія, и въ этомъ увлеченіи свидѣтельствуетъ, что онъ еще несовершеннолѣтній; юноша созналъ ужасную власть, находящуюся въ его распоряженіяхъ, ничто не связываетъ его гордаго сознанія, онъ играетъ своимъ достояніемъ, всѣмъ на свѣтъ, т. е. всѣмъ важнымъ для обыкновеннаго собственника, и въ то время, какъ тотъ печально качаетъ головой, глядя на его расточительность, юноша презрительно смотритъ на него, держащагося за свои точимыя молвою богатства; онъ понялъ шаткость и несостоятельность всего окружающаго; онъ опирается на одно—на свою мысль; это его копье, его щитъ: таковы софисты. Что за роскошь въ ихъ діалектикѣ! что за безошадность! что за развязность! какая симпатія со всѣмъ человѣческимъ! Что за мастерское владѣніе мыслью и формальной логикой! Ихъ безконечные споры — эти безкровные турниры, гдѣ столько же граціи, сколько силы—были молодецкимъ гарцованьемъ на строгой аренѣ философіи; это удалая юность науки, ея майское утро. Сократъ и Платонъ были врагами софистовъ по праву; они, *съ ихъ точки зрѣнія*, отреклись отъ нихъ и повели мысль къ болѣе глубокому сознанію. Но порицатели софистовъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторяющіе плоскія обвиненія, свидѣтельствуютъ только свою ограниченность и сухой прозаизмъ своего разсудка; они стоятъ на той узенькой точкѣ зрѣнія жанлисовской, не очень *нравственной* морали, которую такъ любили добрые аббаты-деисты начала прошлаго вѣка,—тѣ самые, которые безошадно журили Александра Вели-

каго за пристрастіе къ горячительнымъ напиткамъ и Юлія Цезаря за пристрастіе къ властолюбивымъ мечтамъ. Съ этой точки зрѣнія, ни софистовъ, ни Александра Македонскаго оправдать нельзя,—но зачѣмъ же не предоставить ея исключительно псправительнымъ судамъ, занимающимся мелкими проступками и уличными беспорядками? зачѣмъ ее употреблять при обсуживаніи всемірно-историческихъ событій?.. Вмѣсто того, чтобъ останавливаться на опроверженіи обветшалыхъ и жалкихъ мнѣній, представимъ себѣ лучше эпоху появленія софистовъ въ Греціи.

Сущее оказалось нестрашнымъ для мысли: оно уже двинулось и потекло по волѣ какой-то необъяснимой необходимости: раскрывается, что эта необходимость (цѣль ли, причина ли—все равно)—разумъ. Яркая мысль эта брошена отвлеченно, безъ содержанія, какъ безконечная форма, какъ личная догадка; но между тѣмъ за разумомъ признана власть безмѣрная. Все сущее, отдѣльное, частное для Анаксагора—моментъ; въ его нусѣ теряется все опредѣленное, его сущность — сама негация, какъ и быть должно; бытіе отразилось въ себѣ, отреклось отъ видоизмѣняющейся внѣшности и остановилось на сущности, какъ на истинѣ; сущность же опредѣлилась мыслью, и, слѣдственно, ей принадлежитъ безусловная власть отрицанія, власть развѣдающей кислоты, которая все разложитъ, со всемъ соединится, чтобъ все улечуть; словомъ, мысль сознала себя могуществомъ, предъ которымъ исчезаетъ всякая состоятельность, не ею представленная. Все твердое въ бытіи, въ понятіяхъ, въ правахъ, въ законахъ, въ повѣрьяхъ—все начинаетъ колебаться и измѣнять себѣ; все, до чего касается горячая струя вѣющей мысли, обличается шаткимъ и несамобытнымъ, и мысль, какъ геній смерти, какъ ангелъ истребленія, весело губить и ликуеть на развалинахъ, не давъ себѣ времени подумать, чѣмъ ихъ замѣнить. Это то раздолье негации, эту-то мысль, сокрушающую твердое, казнящую мнимое, выразили собою софисты. У нихъ была страшная откровенность и страшная многосторонность; они популярны, ринуты въ жизнь, не чужды всехъ вопросовъ площади и науки: они ораторы, политическіе люди, народные учителя, метафизики: ихъ умъ былъ глубокъ и ловокъ, ихъ языкъ неустрашимъ и дерзокъ. Оттого смѣло и открыто высказали они то, что греки тайкомъ дѣлали въ практической жизни, тайкомъ даже отъ себя, боясь изслѣдовать, хорошо или нѣтъ такъ поступать, и не имѣя силы не поступать противно положительному закону. Софистовъ обвинили въ безнравственности, потому что они дали гласность сокрытому во тѣмѣ, потому что они высказали семейную тайну греческой жизни. Въ практическихъ сферахъ, въ своихъ дѣйствіяхъ, человекъ рѣдко такъ отвлечененъ, какъ въ образѣ мы-

слей, — тутъ онъ безсознательно многосторонень, ибо онъ весь тутъ.

Грекъ временъ Перикла не могъ привольно жить въ тѣхъ нормахъ жизни, которыя ему были завѣщаны, какъ святое преданіе предковъ, какъ неизмѣнный бытъ для него; завѣщанная жизнь эта была, въ самомъ дѣлѣ, прелестна въ «Иліадѣ», въ софокловыхъ трагедіяхъ,—но они ее переросли и головой и грудью: они чувствовали это, но по какому-то тайному соглашенію не признавались въ этомъ: нарушая всякій день завѣщанный бытъ, они готовы были камнями побить того дерзновеннаго, который сказалъ бы слово противъ него, который назвалъ бы ихъ поступокъ и призналъ бы его не преступленіемъ. Это одна изъ тѣхъ притворныхъ двуличностей, которыя человѣкъ дѣлаетъ безпрестанно, воображая, что это очень нравственно. Грекъ, признавая святость преданія на словахъ, освобождался отъ исполненія обязанностей на каждомъ шагу, но онъ дѣлалъ это какъ преступникъ, какъ возмутившійся рабъ, украдкой. Вся вина софистовъ, и впослѣдствіи Сократа, состояла въ томъ, что они подняли въ сферу всеобщаго сознанія то, что каждый представлялъ себѣ, какъ частный случай и отступленіе, что они мыслью подтвердили фактъ нравственной свободы, что они трусость передъ гомерическимъ преданіемъ признали трусостью; они смѣло направили свою мысль противъ всего существовавшаго и все подвергли разбору; ими наука, съ той высоты, на которую достигла, оборотилась вдругъ назадъ ко всей ходячей суммѣ истинъ, принимаемыхъ и передаваемыхъ общественнымъ мнѣніемъ. Случилось то, чего можно было ожидать; язычество и все древне-эллинское воззрѣніе не вынесли ея медузина взгляда: они сгорѣли отъ него; не громкій олимпійскій смѣхъ раздался тогда, а звонкій смѣхъ человѣка, упоеннаго побѣдой. На первую минуту, софисты, можетъ быть, и увлеклись суетно сознаніемъ этой страшной мощи разума; они забылись за своей веселой сатурналіей, они тѣшились своей мощью,—это былъ моментъ поэтического наслажденія мышленіемъ; въ избыткѣ силъ они метали искры во всѣ стороны и радостно видѣли всю несостоятельность положительнаго, и не было препонъ ихъ игрѣ. Не будемъ сѣтовать на нихъ; скоро явится грагическое лицо въ исторіи разума и иное призванье мысли: онъ ¹⁾ обуздаетъ нравственнымъ началомъ разгульную мысль и обречетъ себя на великую жертву для великой побѣды... Софисты приготовили къ этому моменту своихъ согражданъ; они бросили свѣтъ мысли на всѣ отношенія людскія; ими наука открыто перешла въ жизнь, они научили человѣка во всемъ опираться на

1) Сократъ.

одного себя, все относить къ себѣ, себя понимать самобытною точкою, около которой крутится, въ вихрѣ видоизмѣненій, все на свѣтѣ. Но во имя чего считать себя этимъ средоточіемъ? Вопросъ существенный и неминуемый; этого вопроса, прямо текущаго изъ ихъ началъ, софисты не рѣшили, т. е. не рѣшили тѣ софисты, которыхъ угодно исторіи такъ называть; ибо его-то и задалъ себѣ великій софистъ—Сократъ, стоявшій на одной точкѣ съ ними, но ушедшій далѣе, нежели всѣ они, объемомъ мысли и величіемъ характера. Это не юноша въ разгулѣ: это мужъ, остановившійся и ищущій опоры на всю жизнь,—мужъ твердаго шага и удивительной мощи. Сократъ нанесъ существующему порядку въ Греціи тяжелѣйшій ударъ, нежели всѣ софисты; онъ дальше пошелъ, нежели они, и потому-то онъ и былъ ихъ врагомъ. Софисты—блестящая жиронда, а Сократъ—монтаньяръ, но монтаньяръ нравственный и чистый; софисты имѣли бездну личнаго, разсудочнаго въ своемъ возрѣніи; у нихъ мысль не нашла еще себѣ твердой опоры (какъ всегда въ рефлексіи); они испытывали, такъ сказать, формальную власть мысли, они брались все доказывать, все оправдывать. Это ничего не значитъ: въ самомъ дурномъ поступкѣ есть возможность найти одну хорошую сторону, — но это недостаточно для оправданія и наводитъ только на то, что чисто-отвлеченныхъ поступковъ такъ же не бываетъ, какъ чисто-одностороннихъ событий. Истинно-твердая основа лежитъ въ томъ объективномъ началѣ мышленія, которое софистамъ до Сократа не раскрывалось. Сократъ засталъ логическое развитіе на сознаниі несостоятельности внѣшняго противъ мысли и на признаниі чловѣка (какъ мыслящей личности) истиною. Но чловѣкъ, какъ частная индивидуальность, гибнетъ, увлекая съ собою мысль; Сократъ спасъ мысль и ея объективное значеніе отъ личнаго и, слѣдственно, случайнаго элемента. Онъ высказалъ сущностью не частное я, а всеобщее, какъ благое, въ себѣ почившее сознание, независимое отъ сущей дѣйствительности. Мысль Сократа точно такъ же ѣдка и точно такъ же разлагаетъ, какъ мысль Протагора, сказавшаго, что чловѣкъ есть мѣрило всему, что въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ; но Сократъ сознаетъ въ общемъ движеніи и покойное начало; это начало, сущность вѣчно хранящаяся и опредѣляющаяся цѣлю, есть *истинное* и *благое*. Это благое, эта существенная цѣль не существуетъ, какъ нѣчто готовое; чловѣкъ долженъ создать себѣ свое вѣчное и непреходящее содержаніе, долженъ развить его сознаниемъ, для того, чтобъ быть свободному въ немъ. Итакъ, истина объективнаго развивается у Сократа мышлениемъ. Это чиноположеніе безконечной субъективности чловѣка и совершенной свободы самопознанія—тотъ великій камень, который Со-

кратъ положилъ при закладкѣ великаго зданія, доселѣ недостроеннаго; камень этотъ вмѣстѣ съ тѣмъ пограничный столбъ: одна половина его уже лежитъ не на эллинской почвѣ, принадлежитъ уже не древнему міру.

У Сократа нѣтъ системы, а есть метода; это какой-то живой, вѣчно дѣятельный органъ мышленія человѣческаго; его метода состоитъ въ развитіи самомышленія; съ какой стороны ни попался бы ему предметъ, онъ, начиная со всей односторонности общаго мѣста, дойдетъ до многостороннѣйшей истины и нигдѣ не теряетъ своихъ основныхъ мыслей, которыя проводитъ по всѣмъ областямъ, практическимъ и теоретическимъ. Человѣкъ долженъ изъ себя развить, въ себѣ найти, понять то, что составляетъ его назначеніе, его цѣль, конечную цѣль міра, онъ долженъ собою дойти до истины—вотъ мѣта, къ которой Сократъ достигаетъ во всемъ. При этомъ по дорогѣ само собою обличается, что по мѣрѣ того, какъ мышленіе достигаетъ внутренней объективности, случайное, личное гибнетъ и теряется; истина дѣлается вѣчно-числополагаемымъ мышленіемъ. Всѣ его разговоры — непрерывная борьба съ существующимъ; онъ возсталъ противъ святохранимыхъ аѳинскихъ преданій во имя другаго святого права—права вѣчной нравственности, автономіи мышленія; онъ научилъ опасаться готовыхъ мнѣній, истинъ, полагаемыхъ за извѣстное, о которыхъ и не говорятъ, какъ о давнознаемомъ, и на которыя каждый смотритъ по-своему, воображая, что его мнѣніе и есть всеобщее; онъ осмѣлился поставить истину выше Аѳинъ, разумъ выше узкой національности; онъ относительно Аѳинъ сталъ такъ, какъ Петръ I относительно Руси. Торжественнѣйшая сторона Сократа—онъ самъ, его величавое, трагическое лицо, его практическая дѣятельность, его смерть; онъ типъ и представитель той слитности въ древней жизни, о которой мы упоминали нѣсколько разъ,—человѣкъ, живущій безпрестанно въ общественномъ разговорѣ, художникъ, воинъ, судья, участникъ во всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ своего вѣка и вездѣ ясный, равный себѣ, вездѣ жаждущій блага и все покоряющій разуму, т. е. все освобождающій въ нравственномъ сознаніи

Тогда наука черпалась изъ жизни и тотчасъ погружалась въ нее. Дѣятельность философа въ Греціи не ограничивалась школой, въ стѣнахъ которой могутъ цѣлые вѣка длиться споры, прежде нежели кто-нибудь услышитъ ихъ за стѣною,—тамъ философъ былъ, по превосходству, учитель народа, совѣтдатель его. Эмпедоклу и Гераклиту предлагали корону; Зенонъ погибъ въ геройской борьбѣ; уваженіе къ Пиеагору доходило до поклоненія; Периклъ ходилъ по площади аѳинской съ своей же-

ною, вымаливая прощенье Анаксагору; Филиппъ Македонскій благословлялъ судьбу, что сынъ его родился во время Аристотеля; Платона аѳиняне называли божественнымъ. Философы древняго міра тогда стали отходить отъ дѣлъ площади, когда съ скорбнымъ взглядомъ разглядѣли смертельную болѣзнь, пожиравшую древній порядокъ вещей. И потому Сократъ былъ столько же государственное лицо, сколько мыслитель, и судился какъ гражданинъ, имѣвшій огромное вліяніе и отрицавшій неприкосновенную основу аѳинской жизни, на основаніи права изслѣдованія; въ этомъ вся трагическая судьба Сократа (и онъ самъ ее понималъ превосходно, какъ доказываютъ его разговоры въ тюрьмѣ, изъ которой онъ *не хотѣлъ бѣжать*), что онъ вмѣстѣ праведникъ въ глазахъ человѣчества и преступникъ въ глазахъ Аѳинъ. Изъ этого противорѣчія, столь рѣзкаго и громкаго, ясно виднѣется, что греческая жизнь начинала тогда разлагаться подъ бременемъ своей односторонности, національное не было уже современно, если судъ народный могъ быть прямо противоположенъ суду разума. Оттого-то Сократъ и вышелъ противъ Аѳинъ, оттого-то и спасти нельзя было ихъ казнью его; напротивъ, ею признали его побѣду. Аѳиняне вскорѣ сами увидѣли это; слѣпые гонители всегда догадываются на другой день казни, что она вредна.

Переворотъ, сдѣланный Сократомъ въ мышленіи, состоялъ именно въ томъ, что мысль стала сама по себѣ предметомъ; съ него начинается сознаніе, что истина не есть сущность *такъ, какъ она есть сама по себѣ, а такъ, какъ она въ сознаніи; истина есть узнанная сущность*. Обратите все вниманіе ваше на это: *c'est le mot de l'enigme* всей философіи. Мысль послѣ Сократа болѣе сосредоточивается, углубляется въ себя для того, чтобъ сознательно развить единство себя и своего предмета, природа перестаетъ быть *независимой* отъ мысли. Такъ далеко, впрочемъ, взглядъ самого Сократа не простирался: одна изъ односторонностей его, особенно бросающихся въ глаза въ эллинскомъ мірѣ, состояла въ пренебреженіи ко всему внѣ философіи и особенно къ естествовѣдѣнію. Сократъ повторялъ часто, а за нимъ выраженіе это обратилось въ пословицу, что все его знаніе состоитъ въ томъ, что онъ ничего не знаетъ, — и былъ правъ: мощной діалектикой онъ распустилъ все достояніе преемственно-образовавшихся мнѣній, слывшихъ за знаніе,—это отрицательное освобожденіе мысли отъ сущаго содержанія, а еще не истинное содержаніе ея; онъ узналъ въ сознаніи и мысли живую форму истины, но она не имѣла еще у него дѣйствительнаго наполненія. Прошедшее было имъ побѣждено, но на свѣжей могилѣ его не успѣло развиться новое, хотя колыбель его и была готова. Отъ этого-то и непонятное появленіе *демона*

у Сократа; онъ является, вызываемый неполнотою его воззрѣнія; при дѣйствительной полнотѣ содержанія, демона было бы ненужно,—ему не было бы мѣста ¹⁾).

Односторонность Сократа не восполнилась его первыми послѣдователями; не мегарскую школу, не киренаиковъ звала его великая тѣнь: она вызывала изящный, свѣтлый образъ Платона,—и онъ явился, наконецъ, совершителемъ сократовыхъ начинаній.

Сократъ, провозглашая право самосознательнаго разума, понималъ его сущностью и цѣлью самосознающей воли; Платонъ съ самаго начала полагаетъ мысль сущностью вселенной и стремится покорить ей все сущее, можетъ быть, болѣе, чѣмъ нужно... Я сказалъ выше, что камень, положенный Сократомъ, выходилъ одной стороной изъ древняго міра; еще болѣе должно разумѣть это о Платоновомъ воззрѣніи: въ немъ является впервые то, что мы называемъ *романтическимъ* элементомъ; онъ былъ поэтъ-идеалистъ, въ немъ видна та струя, которая, при извѣстныхъ условіяхъ, неминуемо должна была развиться въ неоплатонизмъ александрійскій. Платонъ считалъ духовный міръ науки единственно-истиннымъ, въ противоположность призрачному міру сущаго; міръ этотъ раскрывается человѣку мышленіемъ, которое рядомъ *вспоминаній* будитъ и развиваетъ истину, уснувшую и забытую въ душѣ, преданной тѣлесному бытію. Однажды приведенный въ сознаніе, проснувшійся идеальный міръ оказывается истинною міра реальнаго, его совершеніемъ, и пребываетъ въ величавомъ покоѣ, отрѣшившись отъ суега временнаго бытія и сохраняя его въ себѣ снятымъ; такъ, родъ — истина недѣлимыхъ, всеобщее — истина частнаго, такъ, идея—истина вселенной. Платонъ находитъ временное, тѣлесное бытіе *преградю* безусловному знанію; говоря это, онъ, кажется, забываетъ, что съ тѣмъ вмѣстѣ, оно есть и неминуемое условіе бытія и знанія. Но не подумайте, что этотъ романтическій элементъ или, лучше выразиться, элементъ, имѣющій въ себѣ нѣчто романтическое, есть исчерпывающее опредѣленіе Платоновой мысли,—далеко нѣтъ! Вспомните лучше, что древніе называли его творцомъ діалектики: вотъ гдѣ его сила и мощь,

¹⁾ Аристотель съ удивительною проницательностью указалъ на абстрактность Сократа: «Сократъ лучше Пинеагора говорить о добродѣтели, но не правъ: онъ считаетъ добродѣтель знаніемъ. Всякое знаніе имѣетъ логосъ (разумное основаніе), логосъ же только въ мышленіи; онъ всѣ добродѣтели полагаетъ въ вѣдѣніи и снимаетъ *алогическую сторону души*: именно—страстность, чувства, характеръ; добродѣтель не есть наука; Сократъ сдѣлалъ изъ добродѣтели логосъ, мы же говоримъ: она съ логосомъ! Она не вѣдѣніе, но и не можетъ быть безъ вѣдѣнія». Аристотель опредѣлилъ добродѣтель «единствомъ разума съ неразумностью».

вотъ чѣмъ дошелъ онъ до глубокомысленной спекуляціи своей, которая во всемъ сохранила долю идеализма, какъ печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стѣснила имъ мощной, свободной мысли. Платона многіе сравниваютъ съ Шеллингомъ; мы сами это сдѣлали въ первомъ письмѣ,—и точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться въ роскошныя ризы аллегорій и мѣровъ, имѣетъ наибольше сродства въ новомъ мірѣ съ шеллинговымъ поэтическимъ провидѣніемъ истины и его страстнымъ придыханіемъ къ ней; но у Платона передъ нимъ необъятный шагъ: это его изумительная, всепокоряющая діалектика, еще болѣе, сознание полное, отчетливое діалектической методы и вообще логическаго движенія. Шеллингъ готовое содержаніе своей мысли излагаетъ въ схоластической формѣ,—Платонъ въ разговорахъ своихъ діалектикой достигаетъ до истины: у него истина неотъемлема отъ методы.

Онъ самъ превосходно изложилъ въ своей книгѣ «О Республикѣ» развитіе знанія. Начальная степень, или точка отправленія логическаго движенія, составляетъ у него непосредственное возрѣніе, чувственная сознательность, переходящая въ чувственное представленіе, въ то, что называется *мнѣніемъ*: вторая степень знанія между мнѣніемъ и наукой—это сфера разсуждающаго познаванія, разсудка, рефлексія, достиженіе общихъ и отвлеченныхъ началъ, принятіе гипотезъ, произвольныхъ объясненій (въ этомъ моментѣ находятся всѣ физическія и вообще положительныя науки въ наше время). Отсюда начинается собственно наукообразное знаніе; но тутъ оно еще не можетъ быть достигнуто: разсудочныя науки *никогда не достигаютъ* діалектической ясности, ибо—говоритъ Платонъ—онѣ идутъ отъ гипотезъ и не восходятъ въ своемъ разсматриваніи до безусловнаго начала, но разсуждаютъ, основываясь на предположеніяхъ: у нихъ, кажется, мысль не въ предметѣ ихъ, а то бы ихъ предметы сами были мысли. Способъ геометріи и близкихъ ей наукъ называетъ онъ разсудочнымъ и полагаетъ, что разсужденіе находится между разумнымъ и чувственнымъ созерцаніемъ. Наконецъ, третья степень у него—мышленіе само въ себѣ, понимающее мышленіе; оно принимаетъ предположенія не за начало, а за точку отправленія, отъ которыхъ идутъ пути къ началу, не имѣющему никакихъ предположеній. Платонъ эту степень называетъ діалектикой. Въ обыкновенномъ сознаніи нашемъ, непосредственно дѣйствительнымъ считается данное чувственнымъ созерцаніемъ и разсудочныя опредѣленія этого даннаго; Платонъ вездѣ, во всѣхъ разговорахъ стремится раскрыть недѣйствительность и несущественность одного чувственнаго и разсудочнаго, несостоятельность ихъ противъ умозрительнаго и идеальнаго. Въ этихъ борьбахъ вы видите,

что огонь негация обращался и въ его жилахъ, что наслѣдіе софистовъ оставалось и въ его душѣ, и не только оставалось, а выросло въ гигантскую силу; но характеръ его генія не былъ отвлеченно-разрушающій, — совсѣмъ напротивъ, примиряющій. Онъ исторгаетъ изъ преходящаго—непреходящее, изъ частнаго—всеобщее, изъ недѣлимыхъ—родъ, не для того только, чтобъ, указавъ дѣйствительность и истину всеобщаго надъ частнымъ, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное: нѣтъ, онъ исторгаетъ родовое для того, чтобъ спасти его отъ круговорота временнаго существованія, еще болѣе, сдѣлать то, чего природа не можетъ сдѣлать безъ мысли человѣческой,—примирить ихъ. Здѣсь Платонъ—спекулятивный философъ, а не романтикъ. Всеобщее, родовое, схваченное въ мысли, Платонъ называетъ идеей; достигая до нея, онъ стремится ей дать опредѣленіе. И здѣсь его діалектика дѣлается примирительницей, въ самой себѣ снимаетъ противорѣчія, указанные ею. Опредѣленность идеи состоитъ въ томъ, что единое остается самимъ собою въ многообразіи; чувственное, многообразное, конечное, относительно-существующее для другихъ не есть истинное: оно—неразрѣшенное противорѣчіе, разрѣшающееся только въ идеѣ; но идея не внѣ предмета: она—то, что стремится къ себя-опредѣленію различіями, и то, что пребываетъ свободнымъ и единымъ въ этомъ различіи. «Трудное и истинное, говоритъ Платонъ, состоитъ въ томъ, чтобъ показать въ другомъ то же самое и въ томъ же самомъ—другое, и при томъ такъ, чтобъ оно въ отношеніи къ другому было то же самое». Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы въ наше время съ такою странною рѣчью для обыкновеннаго сознанія...

Уваженіе, хранящееся изъ вѣка въ вѣкъ къ древнимъ философамъ, основано на томъ, что ихъ ни-кто не читаетъ; если-бъ добрые люди когда-нибудь ихъ развернули, они убѣдились бы, что Платонъ и Аристотель точно такіе же были поврежденные, какъ Спиноза и Гегель, говорили темнымъ языкомъ и притомъ нелѣпости. Большинство нашего времени (я разумѣю сознающихъ себя грамотѣями) такъ отвыкло или такъ не привыкло къ опредѣленіямъ мысли, что оно, только безсознательно употребляя ихъ,—не возмущается. Намъ не удивляетъ, напримѣръ, что человекъ въ физиологическомъ отношеніи недѣлимое, цѣлостъ, атомъ, а въ анатомическомъ—многочисленная куча самыхъ разнообразныхъ частей; что тѣло наше—вмѣстѣ и наше «я» и наше другое: никого не удивляетъ процессъ возникновенія, непрерывно совершающійся около насъ, эта глухая борьба бытія съ небытіемъ, безъ которой было бы одно безразличіе; никого не удивляетъ эта вѣчность мимолетнаго, которою мы окружены. Назовите то, что

добрые люди видятъ и чувствуютъ ежедневно, словами,—они не поймутъ васъ и никогда не узнаютъ въ вашихъ словахъ близкихъ знакомыхъ. Я увѣренъ, что многіе были бы глубоко скандализованы, узнавъ послѣдніе выводы, до которыхъ Платонъ вездѣ пробивается, вооруженный своей безошадной діалектикой и своимъ гениемъ, глубоко-раскрывающимъ сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разомъ конечно и безконечно, мощное, полное силы и духа, то, что *можетъ вынести въ себѣ* противоположное; тѣло (само по себѣ) гибнетъ, встрѣчая противодѣйствіе, но духъ можетъ сдержатъ всякое противорѣчіе; онъ живетъ въ немъ, онъ безъ него отвлечененъ; одно безконечное, само по себѣ, (и это прямо высказалъ Платонъ) ниже ограниченнаго и конечнаго, потому что оно неопредѣленно. Конечное имѣетъ цѣль и мѣру, а безконечно-отвлеченное бытіе, опредѣленное—не есть *только* внѣшнее, но именно единое въ многообразіи; оно одно дѣйствительно, и, приходя въ сознаніе, оно возвышается надъ конечнымъ и даетъ среду вѣчнаго успокоенія и созерцанія, далѣе котораго Платонова мысль не идетъ, или изъ котораго она не хочетъ выйти. Въ этомъ послѣднемъ словѣ Платона, въ этомъ царствѣ почившей и себя созерцающей идеи—все прекрасное и все одностороннее его воззрѣнія. Онъ и въ историческомъ отношеніи къ своимъ предшественникамъ представляетъ свѣтлое и покойное море, въ которое всѣ они влекутъ воды свои; онъ исполняетъ, такъ сказать, ихъ судьбу, успокоиваетъ ихъ въ обширныхъ объятіяхъ своихъ. Парменидъ, Гераклитъ, Пифагоръ, Анаксагоръ, софисты, Сократъ равно нашли мѣсто въ Платоновой мысли, и между тѣмъ его мысль была *его* мысль. Рѣки потерялись въ морѣ, хотя онъ въ немъ и хотя его не было бы безъ нихъ. Но, продолжимъ сравненіе, море это безконечно широко, берега исчезаютъ,—въ этомъ-то вся бѣда; вода и воздухъ—такія стихіи, въ которыхъ для человѣка чего-то не достаетъ: онъ любитъ землю, разнообразіе жизни, а не стихійную безконечность, которая поражаетъ, долго поражаетъ,—но при которой остаться нельзя. Въ этой ширинѣ, терпящей берега, сила Платона, но онъ успокоился въ блаженствѣ созерцанія и думалъ забыть ихъ... Думалъ! А фантастическіе образы и представленія, втѣсняющіеся въ душу его, врывающіеся въ его діалектику, выказывающіе страстныя черты свои въ покойныхъ волнахъ чистаго мышленія—зачѣмъ они? Какая діалектическая необходимость въ нихъ? Не по логической необходимости всплывали они въ душѣ Платона, такъ, какъ не по ней являлся демонъ Сократа; они являлись въ замѣну утраченнаго временнаго, они носили тотъ ликъ красоты, котораго не имѣетъ отвлеченная мысль и который дорогъ человѣку; они ими нарушили величавое спокойствіе чистаго мышленія, и Платонъ

радовался этому нарушенію—такъ, какъ облака веселятъ мореходца, прерывая спокойную и вѣчно нѣмую лазурь.

Возрѣніе Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно-научнообразное. Онъ начинаетъ съ представленій (въ «Тимеѣ»); деміургъ приводитъ въ порядокъ и устройство хаотическое вещество, онъ оживляетъ его, даетъ ему мировую душу: «желая сдѣлать міръ подобнымъ себѣ, деміургъ въ средоточіи міра постановилъ душу міра, проникнувшую всюду» ¹⁾. Вселенная для Платона—единое, одушевленное и умное животное: «животное это одно; если-бъ ихъ было два или нѣсколько, то они имѣли бы между собою соотношеніе, были бы части и составили бы опять одно». Первоначальными стихіями Платонъ принимаетъ огонь и землю: «между ними (какъ совершенными противоположностями) должна быть связь, ихъ соединяющая, но изящнѣйшая изъ всѣхъ связей,—та, которая себя и то, что ею соединяется, связуетъ въ одно высшее единство (какъ напримѣръ, умозаключеніе)». Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключаетъ въ себѣ уже возможность развиться въ понятіе, въ идею, и субъективность. Эта мысль Платона (какъ и многія другія его мысли и мысли его сподвижниковъ) до нашего времени повторилась бесплодно и не была, кажется, никѣмъ оцѣнена. Физическій міръ имѣетъ своими крайними опредѣленіями твердое и живое (землю и огонь): «твердому нужны двѣ среды, ибо оно имѣетъ не только ширину, но и глубину; потому

¹⁾ Кстати упомянуть здѣсь о богопознаніи древняго міра: это слабѣйшая сторона его философіи; недаромъ нео-платоники бросили всѣ прежніе вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Язычскій міръ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно непослѣдователенъ; при представленіяхъ политеизма мыслящему человеку остановиться было невозможно; нельзя было, въ самомъ дѣлѣ, удовлетвориться Олимпомъ и добрыми греками, жившими на немъ. Ксенофанъ элеатикъ говоритъ: «если-бъ быки и львы имѣли руки, они непремѣнно ваяли бы своихъ боговъ такъ, какъ мы, бравъ образецъ съ себя». Но отставъ отъ традиціонныхъ представленій, греки не могли сладить философскаго пониманія съ религиознымъ, ни разомъ пожертвовать язычествомъ; они могли жить, оставаясь при неопредѣленномъ, шаткомъ, колеблющемся приниманіи язычества суррогатомъ мысли; оттого ни нусъ, ни душа міра, ни деміургъ, ни самая энтелехія Аристотеля не удовлетворяютъ ихъ вполне. У нихъ религія является всякій разъ случайно, *deus ex machina*; они вдругъ дѣлаютъ скачекъ отъ чистаго мышленія въ религиозное представленіе, оставляя ихъ во всемъ непримиримомъ противорѣчьи. Тутъ одинъ изъ предѣловъ греческаго возрѣнія; не ждите полнаго отвѣта о божественномъ отъ язычника: признаетъ ли онъ, отвергаетъ ли,—онъ въ обоихъ случаяхъ неправъ. Цицерону приходила въ голову мысль формально примирить древнюю религію съ философіей; интересы его были и не религиозные и не философскіе,—онъ былъ государственнй человекъ, и для общественной пользы писалъ прованческіе трактаты *de natura deorum*, и безъ всякой пользы излагалъ въ диосиковскомъ переводѣ великую науку грековъ.

деміургъ постановилъ между землею и огнемъ воздухъ и воду, и притомъ такъ, что огонь относится къ воздуху такъ, какъ воздухъ къ водѣ, а вода къ землѣ». Эта двойственность среды даетъ Платону основнымъ числомъ всего естественнаго *четыре*,—то самое число, которое у пифагорейцевъ считалось дѣйствительно-полнымъ. Разумное заключеніе, силлогизмъ, имѣетъ въ себѣ три момента, именно потому, что среда, расходящаяся въ природѣ, сливается въ разумномъ единствѣ; примирительная среда въ природѣ двойственна; она представляетъ противорѣчіе такъ, какъ оно есть въ природѣ, непримиреннымъ. «Вселенная шарообразна: элементы, ее составляющіе, даны ей богами въ такой соразмѣрности, что она никогда не можетъ выйти изъ своего равновѣсія. Сферoidalность ея заключаетъ въ себѣ всѣ формы; она гладка, ибо ничѣмъ не выходитъ изъ себя, не имѣетъ *отличія отъ другого*». Имѣтъ внѣшнее различіе—характеръ конечнаго: внѣшность не для себя, а для другого предмета; вселенная же—всѣ предметы; такъ въ идеѣ есть опредѣлительность, разчлененіе, ограниченіе и инобытіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ, все это въ ней распушено. снято единствомъ, и потому остается такимъ различіемъ, которое не выходитъ изъ себя. «Богъ сочеталъ взятое отъ сущности вѣчно-тождественной съ собою, недѣлимой, со взятымъ отъ сущности тѣлесной и дѣлимой; въ этомъ сочетаніи соединилась природа себѣ тождественная съ *другимъ*, съ природой себя-различной, и это сочетаніе—живую душу—поставилъ онъ соединяющей средою между расторгеннымъ». Обратите вниманіе на выраженіе Платона: съ *другимъ*; онъ не называетъ, чему оно другое, и въ этомъ-то глубокой спекулятивный смыслъ его выраженія; это другое не по сравненію, а *само по себѣ*. Эти три сущности обнялъ онъ еще высшимъ единствомъ, въ которомъ онѣ сохранили свое различіе, пребывая тождественными въ идеѣ. Царство идеи стоитъ въ своей вѣчности недосыгаемымъ идеаломъ стремящемуся міру: оно имѣетъ образъ или отпечатокъ свой въ мірѣ конечномъ и отданномъ времени; но этотъ исторгающійся чрезъ временное къ вѣчности міръ въ свою очередь имѣетъ, въ противоположность себѣ, еще другой, которому переходимость и измѣняемость—сущность. Итакъ, вѣчный міръ, постановленный во времени, осуществляется двумя формами въ мірѣ примиренія съ собою и въ мірѣ блуждающаго себя-различія.

Мы имѣемъ изъ всего этого три опредѣленные момента: во-первыхъ, аморфизмъ, безвидность, готовая принять всякій видъ, вещество, матерія, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытнаго бытія; ею одѣйствовворяется форма, она сама переходитъ въ нее,—это страдательная матерія, всему дающая

состоятельность. При ея помощи возникаютъ явленія внѣшняго бытія, единичности, въ которыхъ двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто-матеріальное, а всеобщее, идеальное... Разсматривая природу, Платонъ не смѣшиваетъ въ ней двухъ началъ: «необходимаго и божественнаго», соподчиненнаго и царящаго, основаннаго на взаимодѣйствіи и на себѣ самомъ; безъ необходимаго нельзя подняться къ божественному—въ этомъ его видимое значеніе,—но автономія божественнаго въ немъ самомъ. Такъ, онъ и въ человѣкѣ различаетъ принадлежащее (божественное) его безсмертной душѣ отъ принадлежащаго его смертной душѣ (необходимое): всѣ страсти принадлежатъ душѣ смертной, и для того, «чтобъ она не возмутила ими душу божественную, Богъ отдѣлилъ ее выеи отъ безсмертной души, этимъ дѣлителемъ груди и головы. Сердцу онъ приобщилъ легкія, безкровныя, мягкія, чтобъ облегчить его, когда оно обнимается пламенемъ ярости; легкія ноздреваты какъ губка, такъ устроены, чтобъ вбирать въ себя воздухъ и влагу и охлаждать ими жгучій зной сердца. Распространяясь далѣе объ устройствѣ тѣла, Платонъ говоритъ о печени ¹⁾: «Неразумная сторона души—разума не слушаетъ, для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вмѣсто первообразовъ призраки и страшныя тѣни; дѣль этихъ видѣній та, чтобъ неразумную сторону человѣка сдѣлать чрезъ посредство сна соучастницей вѣдѣнія. Подобно сему боги дали душѣ возможность волхованія и прорицаній; что волхованіе и предсказываніе дано именно неразумной сторонѣ души, ясно видно изъ того, что ни одинъ человѣкъ, обладающій совершенно умомъ, не предсказываетъ, а дѣлаютъ это люди или въ состояніи сна, или когда болѣзнями и восторженностію человѣкъ выводится изъ обыкновеннаго состоянія. При прорицаніяхъ надобенъ сознательный умъ другого, чтобъ понять высказанное; ибо бредящій не понимаетъ своего бреда. Прежніе мыслители справедливо говорили, что дѣяніе и сознаніе принадлежатъ только разсуждающему человѣку». И не могъ удержаться, чтобъ не выписать этого мѣста. Какой глубокой тактъ истины руководилъ мысль древнихъ философовъ! Вы видите здѣсь, что Платонъ ясно и отчетливо понималъ, что нормальное состояніе тѣлесно и духовно здороваго человѣка несравненно выше, нежели всякое аномальное, каталептическое, магнетическое сознаніе. Въ наше время вы встрѣтите множество людей, придающихъ себѣ видъ глубокомыслія и притомъ убѣж-

¹⁾ Древніе придавали печени довольно-странное фізіологическое значеніе: они ее считали источникомъ сновъ, вѣроятно основываясь на изобиліи крови въ этомъ органѣ. Здѣсь дѣло идетъ вовсе не о мнѣніи Платона о печени, а о томъ, что онъ говорилъ по сему поводу.

денныхъ, что ясновидѣніе выше, чище, духовнѣе простаго и обыкновеннаго обладанія своими умственными способностями, такъ, какъ найдете мудрецовъ, считающихъ высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, слѣдовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщеніи словомъ.

Воззрѣніе Платона на природу не можетъ, впрочемъ, быть общимъ представителемъ древняго воззрѣнія на естествовѣдѣніе; его стремленіе къ покоющейся идеѣ, въ которой временное потухло, романическая струна, звучавшая въ его душѣ, его близость къ Сократу,—все это вмѣстѣ препятствовало ему остановиться долго на природѣ. Поэтому, опредѣливъ самымъ общимъ образомъ моментъ, выраженный Платономъ, мы перейдемъ къ послѣднему и полнѣйшему представителю эллинской науки.

Аристотель—въ высшемъ смыслѣ слова эмпирикъ; онъ все беретъ изъ подлежащей, окружающей его среды, беретъ какъ частное, беретъ такъ, какъ оно есть; но однажды взятое изъ опыта не ускользаетъ изъ мощной десницы его, взятое имъ не сохранить своей самобытности, какъ противорѣчіе мысли; онъ не оставляетъ предмета до тѣхъ поръ, пока не выпытаетъ всѣ его опредѣленія, пока сокровенная сущность его не раскроется свѣтлой, ясной мыслью, а посему эмпирикъ Аристотель съ тѣмъ вмѣстѣ въ высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель замѣтилъ, что *эмпирическое, взятое въ своемъ синтезѣ, есть само спекулятивное понятіе*: вотъ до этого пониманья и добивается современная наука. Но понятіе не прежде раскрывается, какъ перейдя весь путь мысли, и Аристотель всѣ предметы, подвергавшіеся страшной разлагательной силѣ его, прогналъ по немъ, или, говоря языкомъ старой химіи, сублимировалъ ихъ въ мысль. Аристотель начинаетъ съ эмпирическаго даннаго, съ неотразимаго фактическаго событія,—это его точка отправленія; не причина, а начало (initium), первое, предшествующее, и, какъ первое,—оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое онъ увлекаетъ въ процессъ мышленія, расплавляетъ его огнемъ своего анализа и возводитъ съ собою на вершину самосознанія; для него нѣтъ косныхъ опредѣленій, нѣтъ ничего неподвижнаго, твердаго, почившаго, нѣтъ мертвыхъ философемъ; онъ бѣжитъ покоя, а не жаждетъ его,—въ этомъ-то и состоитъ его шагъ впередъ отъ Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся отъ тревоженій временнаго, созерцаніемъ, находящимъ свое блаженство въ отсутствіи или нѣмотѣ всего частнаго. Несмотря на свой квіетическій характеръ у Платона, она въ сущности готова была раскрыться дальнѣйшими самоопредѣленіями,—но еще покоилась; Аристотель ринулъ ее въ дѣятельный процессъ, и все твердое, или казавшееся твердымъ, увле-

клось міровымъ движеніемъ, ожило, снова возвратилось къ временному, не утративъ вѣчнаго. Идея *по себѣ*, въ своей всеобщности, еще недѣйствительна, она *только* всеобщность, предположеніе дѣйствительности, заключеніе ея, если хотите,—но не сама дѣйствительность. Идея, исторгнувшаяся изъ круговорота дѣятельности, помимо его, представляетъ нѣчто недостаточное, косное и лѣнивое: одна дѣятельность даетъ полную жизнь; но она не легко уловима; понимать всеобщее отвлеченнымъ несравненно легче; движеніе сложно само по себѣ, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента, оно понятно одному сильному, быстрому вниманію, его надобно ловить на-лету; отвлеченное покойно, покорно разсудку, оно не торопитъ, какъ все мертвое. Гамлетъ справедливо увѣрялъ короля, что нѣкуда торопиться къ трупѣ Полонія, что онъ подождетъ; мертвая абстракція существуетъ только въ умѣ человѣка; самодвиженія въ ней нѣтъ (если мы отдѣлимъ отъ нея неумолкаемую діалектическую потребность ума выйти изъ абстракціи).

Аристотель ищетъ истину предмета въ его цѣли; по цѣли стремится онъ опредѣлить причину; цѣль предполагаетъ движеніе; цѣлеобразное движеніе—развитіе, развитіе—осуществленіе себя найсовершеннѣйшимъ образомъ, «одѣйствованіе благого, насколько можно». «Всякая вещь и вся природа имѣетъ цѣлью благое». Эта цѣль—дѣятельное начало, логосъ, безпокоящій всеобщую почву (субстанціальность); оно пробуждаетъ ее къ стремленію, оно достигаетъ ея и въ ней совершенія себя, оно ринулось съ ней вмѣстѣ въ движеніе, но владѣетъ имъ для того, чтобъ спасти всеобщее въ потокѣ перемѣнъ; такое движеніе—не просто видоизмѣненіе, а дѣятельность; дѣятельность—тоже непрерывная перемѣна, но сохраняющаяся въ ней; въ простой перемѣнѣ ничего не сохраняется; тамъ нечего беречь. Движеніе, перемѣна, дѣятельность предполагаютъ поприще, страдательность, на которой онѣ совершаются; зтотъ субстратъ—косное, отвлеченное вещество; все сущее непремѣнно одною стороною вещественно; но вещество само по себѣ—только возможность, расположеніе, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно даетъ дѣятельности опредѣленную возможность, практическую состоятельность; вещество—условіе, *conditio sine qua non* развитія. Отсюда два аристотелевскіе момента: *динамиа* и *энергія*, возможность и дѣйствительность, субстратъ и форма, сливающаяся въ томъ высшемъ единствѣ, гдѣ цѣль есть съ тѣмъ вмѣстѣ и осуществленіе (энтелехія). Динамиа и энергія—тезисъ и антитезисъ процесса дѣйствительности; онѣ неразрывны, онѣ только истинны въ своемъ существованіи; другъ безъ друга онѣ абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубѣйшія ошибки проистекаютъ

именно отъ удерживанія въ несвойственномъ разъединеніи матеріи и формы); вещество безъ формы, косное, отвлеченное отъ дѣятельности — не истина, а логическій моментъ, одна сторона истины; форма, съ своей стороны, невозможна безъ вещества; нѣтъ дѣятельности безъ возможности,—иначе она была бы чистѣйшій *non sens*. Въ дѣятельности они всегда неразрывны, ихъ нѣтъ врознь, процессъ жизни состоитъ изъ взаимодѣйствія ихъ и изъ ихъ присущности:—вотъ въ этомъ-то дѣятельномъ, стремящемся къ самосовершенію процессѣ и старается Аристотель уловить идею во всемъ ея разгарѣ. Идея Платона, какъ-бы совершившаяся, окончившая въ себѣ отрицаніе, примиренная, пребываетъ въ величавомъ покоѣ; Платонъ собственно держится сущности, но сущность сама по себѣ, отвлеченная отъ бытія, не есть еще ни дѣятельность, ни дѣятельность; она точно такъ же влечетъ къ проявленію, какъ проявленіе къ сущности. У Аристотеля сущность неразрывна съ бытіемъ: оттого она и не покойна; у него идея, не совершившаяся въ отвлеченной безусловности, а такъ, какъ она совершается въ природѣ, въ исторіи, т. е. въ дѣятельности. Послѣдуемъ за его развитіемъ.

Полное и истинное единство дѣятельности и возможности—въ идеѣ; въ низшихъ сферахъ онѣ разъединены, противоположны и только стремятся къ своему примиренію. Все осязаемое представляетъ конечную сущность, въ которой вещество и образъ раздѣлены, внѣшни другъ другу,—въ этомъ весь смыслъ конечнаго и вся ограниченность его; здѣсь сущность подавлена дѣятельностью, носить ее, но не становится ею: она переходитъ изъ одной формы въ другую и постояннымъ остается одно вещество—почва перемѣнъ, страдательное долготерпѣніе; опредѣленность и форма находятся въ отрицательномъ отношеніи къ веществу, моменты распадаются, и нѣтъ мѣста полной гармоніи въ этомъ чувственномъ сочетаніи. Когда же дѣятельность содержитъ въ себѣ то, что должно быть, имѣетъ *въ себѣ* цѣль стремленія, тогда движеніе становится дѣяніемъ—энергія является какъ умъ; вещество дѣлается субъектомъ, живымъ носителемъ перемѣны; форма становится сочетаніемъ и единствомъ двухъ крайностей: матеріи и мысли, всеобщаго страдательнаго и всеобщаго дѣятельнаго. Въ чувственной сущности дѣятельное начало еще отдѣлено отъ вещества, нусъ побѣждаетъ эту отдѣльность, но ему (уму) нужно вещество, онъ предполагаетъ его, иначе у него нѣтъ земли подъ ногами; умъ, или нусъ, здѣсь—понятіе животворящее и разчленяющееся въ своемъ воплощеніи. (Аристотель называетъ нусъ въ этомъ моментѣ душою, логосомъ, самодвижущимся и самостоящимся). Наконецъ, полное, совершеннѣйшее развитіе — слитіе динаміи, энергіи и энтелехіи: въ немъ все примирено, возмож-

ность вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительность, неподвижность — вѣчное движеніе, вѣчная непреходимость временнаго, разумъ самосознающій, *actus purus!* Можетъ быть, замѣтите вы, Аристотель ставить всему началомъ *страдательное* вещество. Нѣтъ! Ибо страдательное вещество — призракъ, отвлеченіе, имѣющее только маску дѣйствительнаго, матеріальнаго; могъ ли взять началомъ такой спекулятивный геній, какъ Аристотель, неисполненную возможность, школьную абстракцію. Вотъ что онъ говоритъ: «многое возможное не достигаетъ дѣйствительности, стало быть, возможное — начало (*πρῶτον*); но если принять началомъ одну возможность, то надобно допустить случай не одѣйствованія ея, вслѣдствіе котораго могло ничего не быть». Такая спекулятивная нелѣпность опровергала вполне, въ глазахъ его реализма, нелѣпное предположеніе. Далѣе онъ говоритъ: «Нѣтъ, не съ одного хаоса, не съ ночи, продолжавшейся безконечное время, какъ объясняютъ наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бы что-нибудь, если-бъ въ самой дѣйствительности не было причины? Энергія есть высшее и первое (вспомните, какъ прекрасно Августинъ дѣлитъ хронологическое первенство и первенство достоинства, *prioritas dignitatis*). Вещественность страдательна; чистая дѣятельность предупреждаетъ возможность не по времени, а по сущности». Цѣлесообразность выставляетъ, обличаетъ это первенство.

Вѣрный себѣ, Аристотель начинаетъ физику съ движенія и его моментовъ (пространство и время) и переходитъ отъ всеобщаго къ обособленіямъ и частностямъ вещественнаго міра, не теряя нигдѣ изъ вида главную мысль — живого теченія, процесса. Мало того, что онъ природу схватываетъ, какъ жизнь — въ этомъ основа его естествовѣдѣнія, — но эту жизнь принимаетъ за единую, имѣющую цѣль въ себѣ, тождественную съ собою; движеніемъ она *не въ другое переходитъ*, но развиваетъ перемены изъ своего содержанія, пребывая въ нихъ и сохраняя себя. «Все находится во взаимномъ соотношеніи; плавающее, летающее, прозибающее, — все это не чуждо другъ другу; они сами представляютъ свои отношенія, сводящіяся къ одному единству». Систематическаго порядка въ аристотелевой физикѣ нѣтъ: онъ выводитъ одну сторону предмета за другою, одно опредѣленіе за другимъ, безъ внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивнаго понятія, но не связуя ихъ. У него одна связь — та, которая въ самой природѣ — жизнь и движеніе; но для науки этого мало: жизнь еще не вся полнота самосознательной идеи.

Приступая къ идеѣ природы, Аристотель сначала разсматриваетъ природу, какъ причину, для чего-нибудь дѣйствующую, имѣющую цѣлесообразное стремленіе, потомъ уже переходитъ

къ необходимости и ея отношеніямъ. Обыкновенно дѣлають на оборотъ; обращаются сначала къ необходимому и существеннымъ считаютъ не то, что опредѣлено цѣлью, а что вышло изъ внѣшней необходимости; долгое время все пониманіе природы сводили на одно раскрытіе необходимости. Аристотель начинаетъ съ идеального момента природы; для него цѣль—«внутренняя опредѣленность самаго предмета». «Въ ней заключена дѣятельность природы, ея самосохраненіе, постоянное, непрерывное, и, слѣдовательно, зависящее не отъ случая и удачи». Цѣль равно становится предъидущее и послѣдующее, причину и произведеніе; сообразно ей всѣ частныя дѣйствія отнесены къ единству, такъ что производимое есть именно природа вещи. «Нѣчто становится, какимъ оно предсуществовало». «Кто принимаетъ случайное образованіе, тотъ снимаетъ природу, ибо начало ея состоитъ въ томъ, что она себя приводитъ въ движеніе; природа есть то, что достигаетъ своей цѣли». Природа вещи — всеобщее, само съ собою тождественное, которое само себя, такъ сказать, отгалкиваетъ, т. е. осуществляетъ; но то, что осуществляется, что возникаетъ,—то было въ основѣ: это цѣль, родъ, предсуществовавшіе, какъ возможность. Отъ цѣли переходитъ Аристотель къ средѣ, къ средству. «Ласточка, говоритъ онъ, вьетъ гнѣздо, паукъ плететъ паутину, дерево вращается въ землю,—въ нихъ самихъ находится причина такого дѣйствования». Инстинктъ заставляетъ ихъ искать сочетанія среды съ самосохраненіемъ; средство—не что иное, какъ особенное представленіе цѣли, жизнь—цѣль самой себѣ, она достигаетъ, воспроизводитъ и хранитъ вызванный организмъ свой. Растеніе, животное становится *такимъ*, потому что оно въ водѣ или на воздухѣ,—тутъ кругъ. Эта способность видоизмѣняться, принадлежащая живому,—не просто случайность и слѣдствіе одной внѣшней среды: она возбуждается внѣшнимъ условіемъ, но одѣйствовворяется настолько, насколько соотвѣтствуетъ внутреннему понятію животнаго. «Иногда природа не достигаетъ того, чего хочетъ; ея ошибки—уроды; но ошибаться можетъ тотъ, кто дѣлаеть съ цѣлью». Природа имѣетъ при себѣ свои средства и эти средства—сама цѣль; она похожа на человѣка, который самъ себя лечитъ. Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побѣждаетъ мысль внѣшней необходимости въ развитіи природы слѣдующимъ примѣромъ: «Можно предположить, что домъ необходимо возникъ, потому что тяжелѣйшія части его внизу, а легкія вверху, такъ что, слѣдуя своей природѣ, фундаментъ опустился ниже земли, а сверхъ земли улеглись бревна... Конечно, и это отношеніе было въ расчетѣ, однако не вслѣдствіе его воздвигнули домъ. Такъ и во всемъ, для чего-нибудь существующемъ: оно, т. е. существующее, не безъ того, что необходимо его природѣ,

но и не потому. Такая необходимость относится къ предмету, какъ вещественность вообще; въ матеріи необходимость, а въ основѣ—цѣль, и то и другое начало, но цѣль—высшее». Она двигающее, которому необходимое—необходимо, но она не покоряется ему, а совѣмъ напротивъ, держать его въ своей власти, не даетъ ему вырваться изъ цѣлесообразности и удерживаетъ внѣшнюю силу необходимости.

Я оставляю прекрасные выводы Аристотеля пространства и времени единственно изъ боязни, что они вамъ покажутся слишкомъ абстрактными, и перейду къ его психологіи (которую, впрочемъ, можно назвать и физиологіей). Не думайте, что тутъ пойдетъ собственно метафизика души, что онъ, какъ схоластики, поставитъ передъ собой душу и пресерьезно начнетъ разбирать, что она за вещь такая, простая или сложная, духовная или вещественная,—нѣтъ, такими абстрактными игрушками спекулятивный духъ Аристотеля не могъ заниматься: его психологія разсматриваетъ дѣятельность въ живомъ организмѣ—не болѣе. Съ самаго приступа онъ проводитъ яркую черту между своимъ зрѣніемъ и дуализмомъ метафизики; онъ говоритъ, что душу разсматриваютъ, какъ отдѣляемое отъ тѣла въ мышленіи съ логической стороны ея, и какъ нераздѣльное съ тѣломъ въ чувствахъ—физиологически, и тотчасъ присовокупляетъ, въ видѣ объясненія: «Съ одной стороны, гнѣвъ, напримѣръ, разсматривается, какъ порывъ и кипѣніе крови, съ другой стороны—какъ желаніе справедливаго вознагражденія: это похоже на то, если-бъ одинъ домъ разсматривать со стороны представляемой имъ защиты отъ дождя и вѣтра, другой, со стороны матеріала, изъ котораго онъ построенъ, одинъ со стороны формы, другой—со стороны вещества и необходимости». Душа есть энергія перехода изъ возможности въ дѣйствительность, сущность органическаго тѣла, его *είδος* чрезъ посредство котораго она по возможности становится тѣломъ одушевленнымъ; душа достигаетъ формы, наиболѣе соответствующей себѣ: для того она и дѣятельна. «Нельзя спрашивать», говоритъ Аристотель, «тѣло и душа одно ли, или разное, такъ какъ нельзя спросить: воскъ и его форма одно ли». Совѣмъ не въ томъ интересъ отношенія души къ тѣлу, что они тождественны или нѣтъ; главный вопросъ, по Аристотелю, состоитъ въ томъ, *тождественна ли дѣятельность съ органомъ*. Вещественная сторона представляетъ только возможность, не реальность души; субстанція глаза—видѣніе: лишите его способности зрѣнія,—вещество можетъ остаться то же, но смыслъ утраченъ; глазъ, его составныя части, актъ видѣнія принадлежитъ единой цѣлости, и въ ней полная истина ихъ, а не врознь: такъ, душа и тѣло составляютъ живую неразрывность. Душу Аристо-

тель опредѣляетъ тройко: какъ питающуюся, какъ чувствующую и какъ разумную, соотвѣтственно тремъ главнѣйшимъ функціямъ души и имъ соотвѣтствующимъ царствамъ жизни: растительному, животному и человѣческому; въ человѣкѣ соединяется растительная и животная натура въ высшемъ единствѣ. Переходя къ взаимному отношенію трехъ душъ, Аристотель говоритъ: «растительная и чувственная душа находятся въ мыслящей, питающаяся душа составляетъ природу растений; растительная душа—первая степень дѣятельности, находится и въ чувствующей душѣ, но такъ, какъ возможность ея». Она въ ней непосредственное по себѣ бытіе; всеобщее, существенное не ей принадлежитъ, но безъ нея быть не можетъ; она изъ подлежащаго дѣлается сказуемымъ, изъ высшей дѣятельности нисходитъ на значеніе субстрата, носителя. То же отношеніе животной-растительной души къ мыслящей: высшее бытіе животного нисходитъ въ мыслящемъ существѣ *въ одно изъ его естественныхъ опредѣленій*, въ его всеобщую возможность, но то и другое покорено ею для себя бытіемъ (т. е. энтелехіей). Какая изумительная вѣрность и какая глубина въ этомъ взглядѣ на природу! Аристотель не только далеко оставилъ за собою грековъ, но и почти всѣхъ новыхъ философовъ. Последуемъ за нимъ далѣе въ разборѣ функцій души.

«Чувствованіе—вообще возможность, но эта возможность съ тѣмъ вмѣстѣ дѣятельность. Первая переменна чувствующаго происходитъ отъ производящаго впечатлѣніе; но когда оно произведено, тогда мы обладаемъ впечатлѣніемъ, какъ знаніемъ», и въ этой страдательной сторонѣ чувствованія, возбуждаемой внѣшнимъ, находитъ Аристотель его различіе съ сознаніемъ. Причина этого различія состоитъ въ томъ, что чувствующая дѣятельность имѣетъ предметомъ частное, а знаніе—всеобщее, которое само нѣкоторымъ образомъ составляетъ сущность души. Оттого всякій можетъ думать, когда хочетъ, и мышленіе свободно; чувствовать же—не въ волѣ человѣка: для чувствованія необходимъ производитель. Чувство въ возможности—то, что ощущаемое въ дѣйствительности: оно страдательно, пока не приведетъ себя въ уровень съ впечатлѣніемъ; но, выстрадавъ, оно готово и дѣлается тождественно по ощущаемому. «*Какъ сущіе*, звукъ и слухъ разны, но въ основѣ своей они одинаковы»; дѣятельность слуха—ихъ единство, чувствованіе есть форма ихъ тождественности, снятіе противоположности предмета и органа; чувство воспринимаетъ ощущаемыя формы безъ матеріи: такъ, воскъ принимаетъ печать, захватывая не металлъ, а только его форму. Это сравненіе Аристотеля подало поводъ къ безконечнымъ толкамъ о душѣ, какъ о пустомъ пространствѣ (*tabula rasa*), наполняемомъ одними внѣшними впечатлѣніями; но такъ далеко сказанное сравненіе нейдетъ; воскъ въ самомъ дѣлѣ отъ печати

ничего не принимает; выдвленная форма, какъ внѣшнее очертаніе его, нисколько ему не существенно; въ душѣ, напротивъ, форма принимается самой сущностью ея, претворяется ею, такъ что душа представляетъ живую и усвоенную себѣ совокупность всего ощущаемаго. Приниманіе души дѣятельно; принявъ, она снимаетъ страдательность, освобождается отъ нея¹⁾; рефлексія сознанія снова поставляетъ различіе; но различіе, имѣющее оба момента внутри сознанія, ощущаемое въ отношеніи къ мышленію, представляетъ его непосредственность, его вещественную, матеріальную часть, безъ которой оно невозможно, внѣшнюю искру, зажигающую мышленіе. Однажды вызванная мысль остановиться не можетъ, она не можетъ относиться къ своему предмету бездѣятельно, ибо она только и есть дѣятельность; предметъ мысли самъ является въ формѣ мысли, лишенной объективности ощущаемаго, и оба термина движенія въ ней самой. Для мысли нѣтъ другого бытія, какъ дѣятельное для себя бытіе, *она вовсе не имѣетъ по себѣ бытія*, ея по себѣ бытіе, матеріальное существованіе, есть именно *ея другое*. «Разумъ во всемъ у себя, онъ все мыслить; но онъ не имѣетъ дѣйствительности безъ мышленія; онъ ничего прежде, нежели мыслить», онъ живъ въ дѣятельности. «Разумъ—книга съ бѣлыми листами, *на которыхъ, въ самомъ*

1) Здѣсь, по неволѣ, вспоминается споръ, долго тянувшійся между идеалистами и эмпириками о началѣ вѣдѣнія. Одни началомъ ставили сознаніе, другіе—опытъ. Спорили, писали томы и были очевидно неправы, потому что обѣ стороны принимали отвлеченіе за истину. Лейбницъ, своими гениальными «*nisi intellectus*», указалъ на разрѣшеніе спора; но его не поняли, находили, что это діалектическая уловка, искаженіе вопроса, и требовали лаконически то или другое: первенство опыта или сознанія, *la bourse ou la vie!* Теперь этотъ вопросъ никого не занимаетъ; очевидность истины съ той и другой стороны и невозможность удержаться въ одномъ опредѣленіи, не перейдя въ другое, прямо ведетъ къ заключенію, что истина состоитъ въ единствѣ односторонностей, не исчерпывающихъ ея вразъ, необходимыхъ другъ для друга. И чего добивались спорившіе? для чего имъ хотѣлось утвердить ничтожное хронологическое первенство за опытомъ, или за сознаніемъ? Вѣроятно, они думали на этомъ первенствѣ основать майоратъ, не замѣчая, что въ чью бы пользу ни разрѣшили вопроса, — побѣда досталась бы противникамъ. Если начало знанія—опытъ, то знаніе дѣйствительное должно доказать, что предположеніе, предупреждающее его, не есть знаніе, что отъ него должно отречься, потому что оно незнаніе; начало, въ самомъ дѣлѣ, тотъ моментъ знанія, въ которомъ оно равно незнанію, — одна возможность знанія, снимаемая развитіемъ. Знаніе равно невозможно безъ опыта и безъ смысла. Если феноменально опытъ предшествуетъ сознанію, то это не больше значитъ, какъ то, что онъ служитъ внѣшнимъ условіемъ для обличенія предсущствующаго ему разумѣнія, которое осталось бы одною возможностью, не возбужденное опытомъ. Подобныя абстракціи, удерживаемыя въ противорѣчащей полярности, ведутъ къ антиноміямъ, въ которыхъ беззаконно повторяется противорѣчіе, съ монотонностью, приводящей въ отчаяніе и указующей на какую-то неладность въ самомъ вопросѣ. Въ этихъ антиноміяхъ безпрерывно вращается разсудочная наука. Мы съ ними еще разъ встрѣтимся.

дѣль, ничего не написано». Этого примѣра такъ же не поняли, какъ примѣра о воскѣ; дѣятельность тутъ принадлежитъ самой книгѣ, а внѣшнее только поводъ; разумѣется, разумъ—бѣлый листъ прежде мышленія; разумъ—динамія всего мыслимаго, но онъ ничего безъ мышленія; мыслить же опять онъ самъ,—внѣшность не умѣетъ писать на бѣломъ листѣ, она будитъ только писаря. «Разумъ страдателенъ, говоритъ Аристотель, въ чувствѣ и въ представленіи, но въ этомъ по себѣ бытіи его онъ еще не развитъ; нусъ себя думаетъ чрезъ воспріятіе мыслимаго, это мыслимое становится, съ тѣмъ вмѣстѣ, возбуждающее (касающееся), оно создается въ то время, *какъ касается*. Разумъ—дѣятельность: то движется, то дѣятельно, что ищетъ, что проситъ; цѣль, искомое, напротивъ, пребываютъ въ покоѣ, но въ мышленіи предметъ самъ мыслимый, самъ произведеніе мышленія, къ себѣ стремится, оттого онъ безконеченъ и свободенъ и тождествененъ съ своею дѣятельностью, оттого онъ не имѣетъ другой дѣйствительности, кромѣ для себя бытія». Если мы нусъ возьмемъ за способность внѣшняго знанія, а не за дѣятельность, и мышленіе подчинимъ результатамъ такого знанія, то мышленіе будетъ хуже того, чего достигаетъ,—бѣдною и скучною воспроизводящею способностью. Свой разборъ мышленія Аристотель заключаетъ слѣдующими чисто эллинскими словами: «Въ системѣ міра намъ данъ короткій срокъ пребыванія—жизнь, даръ этотъ прекрасенъ и высокъ. Бодрствованіе, чувствованіе, мышленіе—высшія блага, исполненныя наслажденія. Мышленіе, имѣющее предметомъ себя, претворило предметъ въ себя, такъ что мышленіе и мыслимое сливаются, и предметъ становится ея дѣятельностью и энергіей. Такое мышленіе—верхъ блаженства и радость въ жизни доблестнѣйшее занятіе человѣка». Энергію мышленія онъ ставитъ выше мыслимаго; для него живое мышленіе—высшее состояніе великаго процесса всемірной жизни. Вотъ вамъ грекъ во всей мощи и красѣ своего развитія! Это послѣднее торжественное слово *пластическаго* мышленія древнихъ; это рубежъ, далѣе котораго эллинскій міръ не могъ идти, оставаясь самимъ собою.

Осень, 1844 г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Послѣдняя эпоха древней науки.

Возрѣніе Аристотеля не достигло такой наукообразной формы, которая бы, находя все въ себѣ и въ методѣ, поставила бы его независимо отъ самого Аристотеля; оно не достигло той зрѣлой самобытности, чтобъ совсѣмъ оторваться отъ лица, и, слѣдственно, не могло перейти во всей полнотѣ къ его пресмникамъ,—перейти, какъ такое наслѣдіе, которое стоило бы только развивать и вести стройно впередъ. Въ наукѣ Аристотеля, какъ въ царствѣ ученика его, Александра Македонскаго, единство животворящее, средоточіе, къ которому все относилось, не было полной принадлежностью ни науки, ни царства; имъ не доставало всего того, что въ нихъ привносила геніальность исполина мысли и исполина воли. Возможность имперіи Александра лежала въ современныхъ ему обстоятельствахъ, но дѣйствительность ея была въ немъ; со смертью его она распалась; послѣдствія ея были вѣрны и обстоятельствамъ и лицу, но царство, какъ органическое цѣлое, какъ социальная индивидуальность, не могло удержаться. Также точно ученіе Платона и его предшественниковъ представляло Аристотелю возможность подняться на ту высоту, на которую его возвелъ его геній; но геніальность дѣло личное; нельзя требовать, чтобъ каждый перипатетикъ, наприм., имѣлъ бы такой талантъ, который поднялъ бы его на тотъ пьедесталъ, на которомъ стоялъ Аристотель, потому что онъ былъ геній. Слѣдствіемъ всего этого было формальное, подѣавторитетное изученіе самого Аристотеля, вмѣсто усвоенія духа, животворящаго его науку. Ученики его тогда только могли бы понять, усвоить себѣ возрѣніе Аристотеля, когда бы они такъ стали на его почвѣ, чтобъ вовсе не заботились о его словахъ, а вели бы далѣе самое дѣло; но для этого надобно было, чтобъ доля, принадлежавшая геніальной личности, перешла въ безличность методы, т. е. людямъ надобно было прожить еще двѣ тысячи лѣтъ. Въ наше время, подвигъ Гегеля состоитъ именно въ томъ, что онъ науку такъ воплотилъ въ методу, что стоитъ понять его методу, чтобъ почти вовсе забыть его личность, которая часто безъ всякой нужды выказываетъ свою германскую физиономію и профессорскій мундиръ Берлинскаго университета, не замѣчая противорѣчія такого рода личныхъ выходовъ съ средою, въ которой это дѣлается. Но это появленіе личныхъ мнѣній у Гегеля до такой степени неважно и неумѣстно, что никто (изъ

порядочныхъ людей) не останавливается передъ ними, а его же методою бьютъ на голову тѣ выводы, въ которыхъ онъ является не органомъ науки, а человѣкомъ, не умѣющимъ освободиться отъ паутины ничтожныхъ и временныхъ отношеній; изъ его начать смѣло идти противъ его непослѣдовательности—съ твердымъ сознаниемъ, что идти за него, а не противъ него. Чѣмъ болѣе вліяніе лица, чѣмъ болѣе вырѣзывается печать индивидуальности частной, тѣмъ труднѣе разобрать въ ней черты родовой индивидуальности, а наука-то и есть родовое мышленіе; потому она и принадлежитъ каждому, что она не принадлежитъ никому.

Эирное начало, тонкое вѣяніе духа глубокаго и полнаго живымъ пониманьемъ, носившееся надъ твореніями Аристотеля, тотчасъ низверглось, попавшись въ холодильникъ разсудочнаго пониманія его послѣдователей. Слова его повторялись съ грамматическою вѣрностью,—но это была маска, снятая съ мертваго, представившая каждую черту, каждую морщину трупа и утратившая теплыя, колеблющіяся формы жизни. Аристотель не могъ привить свою философію такъ въ кровь своихъ современниковъ, чтобъ сдѣлать ее ихъ плотью и кровью; ни его послѣдователи не были готовы на это, ни его метода: онъ изъ простой эмпириіи поднимаетъ предметъ свой до многосторонней спекуляціи и, истощивъ его, идетъ за другимъ; онъ, какъ рыболовъ, безпрестанно погружаетъ голову въ воду, чтобъ исторгнуть оттуда что-нибудь, вывести на свѣжій воздухъ и усвоить себѣ; совокупность этихъ усвоеній даетъ тѣло его наукѣ, но средство этого претворенія—опять его личность, добавляющая своей мощью недостатокъ методы, ибо *открытая* метода его просто формальная логика; скрытое начало, связующее всѣ творенія Аристотеля, если и просвѣчивается, то, навѣрное можно сказать, нигдѣ не выражено въ наукообразной формѣ;—оттого-то ближайшіе послѣдователи, усвоивъ себѣ то, что передавалось наукообразно, утратили все, что принадлежало орлиному взгляду генія. Неполнота или недостатокъ великаго мыслителя обличаются не въ немъ, а въ послѣдователяхъ, потому что они держатся въ неотступной и строгой вѣрности буквальному смыслу словъ, тогда какъ геніальная натура, по внутреннему устройству души своей, переходитъ во всѣ стороны за формальные предѣлы. хотя бы они были поставлены ея собственной рукой; это перехватываніе за предѣлы односторонности, даже современности, и составляетъ яркое величіе генія. Аристотель такъ же, какъ и Платонъ, потускли въ философскихъ школахъ, слѣдовавшихъ за ними; они остаются какими-то осѣняющими свѣше тѣнямъ, недосягаемыми, высокими, отъ которыхъ всѣ ведутъ свое начало, къ которымъ всѣ хотятъ прикрѣпиться, но которыхъ никто не понимаетъ въ самомъ дѣлѣ. Послѣ многихъ вѣтвящихся школъ аза-

демическихъ и перипатетическихъ, не сдѣлавшихъ ничего важнаго, является неоплатонизмъ наслѣдникомъ всей древней мысли, исполненіемъ Платона и Аристотеля. Неоплатонизмомъ перешла древняя мысль въ новый міръ,—но это было болѣе переселеніе душъ, нежели развитіе: мы увидимъ это сейчасъ. Какъ лицо, какъ самъ онъ, Аристотель былъ скороненъ подъ развалинами древняго міра до тѣхъ поръ, пока аравитянинъ не воскресилъ его и не привелъ въ Европу, погрязавшую во мракѣ навѣжества,—средневѣковой міръ, съ какой-то любовью накладывавшій на себя всякія цѣпи, съ подобострастіемъ склонился подъ авторитетъ рѣшительно непонятаго Аристотеля. При всемъ этомъ, *doctores seraphici et angelici*, унижаясь передъ Аристотелемъ, сдѣлали изъ него схоластическаго, скучнаго, иезуитическаго патера-формалиста. И бѣдный стагиритъ долженъ былъ раздѣлить всю ненависть воскреснувшей мысли, съ лютеровскимъ яримъ гнѣвомъ возставшей противъ схоластики и романтическихъ оковъ ¹⁾. Собственно отъ Аристотеля до «великаго возстановленія» наукъ въ XVI столѣтіи (*instauratio magna*), наукообразнаго движенія не было, несмотря на то, что человѣчество въ этотъ промежутокъ сдѣлало колоссальные шаги, которые привели его къ новому міру мышленія и дѣянія. Для нашей цѣли, мы, ничего не теряя, могли бы перешагнуть отъ Аристотеля къ Бэкону,—но позвольте самымъ сжатымъ образомъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ времени, промежуточномъ между эллинской наукой, окончившейся Аристотелемъ, и новой, начавшейся съ Бэкона и Декарта и возмужавшей въ лицѣ Спинозы.

Наука грековъ, вступая въ послѣднюю фазу свою, ищетъ

¹⁾ Предупреждая возраженіе какого-нибудь филолога, считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы разумѣемъ судьбу Аристотеля на Западѣ. Въ Восточной имперіи, вѣроятно, до самыхъ турковъ, водились люди, читавшіе древнихъ философовъ, въ томъ числѣ Аристотеля, и смотрѣвшіе на него съ своей точки зрѣнія,—исторія науки, собственно, до этого дѣла нѣтъ; исторія вообще не обязана заниматься всѣмъ, что дѣлаютъ люди и что они вездѣ дѣлаютъ. Все, что выпадаетъ изъ общаго русла или не втекаетъ въ него, что замираетъ въ стойчести или, усталое, падаетъ на полдорогѣ, что случайно, частно,—тогда только имѣетъ право на историческое значеніе, когда оно не безслѣдно; въ противномъ случаѣ, исторія забываетъ—и въ этомъ великое милосердіе ея! Исторія Китая обыкновенно преподается короче, нежели исторія каждаго города Италіи: неужели вы думаете, причина этому пристрастіе, даль или близость? Въ такомъ случаѣ, Плутархъ до высочайшей степени пристрастный человѣкъ: почему онъ писалъ біографіи Перикла, Алкивиада и проч., а не каждаго афинскаго гражданина? или почему въ своихъ біографіяхъ онъ не рассказываетъ, какъ у его героевъ рѣзались зубы, какъ ихъ отнимали отъ груди, или какъ въ болѣанномъ и старческомъ бреду они капризничали, охали и проч.? Исторія, какъ Французская академія, никому сама не предлагаетъ мѣста въ себѣ, а разбираетъ права тѣхъ, которые сами стучались въ дверь ея.

очевиднаго, одно очевидное принимаетъ за истину. Требования ея становятся яснѣе и, съ тѣмъ вмѣстѣ, площе; она цѣлью своихъ изысканій ставитъ внѣшній *критеріумъ* истины, ищетъ его въ личномъ мышленіи:—конечно, критеріумъ только и можно найти въ мышленіи, но въ мышленіи, освобожденномъ отъ личнаго характера. Отыскиваніе критеріума, т. е. повѣрки, съ разсудочной точки зрѣнія, неразрѣшимая задача; умъ, отрѣшившійся отъ предмета и опредѣлившій себя отрицательно, можетъ понять истину, какъ свой законъ, но никогда не пойметъ этого закона истинною предмета. И именно, въ этомъ отчужденномъ, сосредоточенномъ въ себѣ состояніи мысли, когда у ней теряется земля подъ ногами и чувствуется какая-то пустота внутри, возникаетъ потребность строгаго догматизма, мышленіе хочетъ въ немъ оконпаться, укрѣпиться противъ всякаго нападенія, не зная, что худшій врагъ уже въ груди ея. Да и какъ было не искать людямъ неприкосновенной твердыни внутри себя и въ теоретическомъ мірѣ, когда все окружающее начало ломиться и оказываться ложнымъ или дряхлымъ. Свѣтлая эпоха греческой жизни приходила тогда къ концу; година, исполненная тяжкихъ страданій и униженій, наступала для Греціи; побѣдители Востока не имѣли силы защищаться противъ суроваго Запада. Въ жизни греческой такъ тѣсно соединялись всѣ элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не измѣнившись, пережить гражданское устройство; для ихъ науки нужны были Аѣины, Аѣины, вѣрующія въ себя... Ну, просто, нужна была юношеская беззаботность, позволяющая предаваться мысли,—а могла ли она остаться около того времени, какъ послѣдній царь македонскій съ поникнувшимъ челомъ шель по римскимъ улицамъ, прикованный къ торжественной колесницѣ побѣдителя? Когда это случилось, разлагающій ядъ давно разѣдалъ Элладу; ни въ науку, ни въ государство, ни въ людей не было вѣры; объ Олимпѣ и говорить нечего—его не отвергали изъ какой-то учтивости, да стращали имъ толпу. Вотъ въ это время, а не во время софистовъ, въ самомъ дѣлѣ, явилось безобразное зрѣлище риторовъ—діалектиковъ, говорившихъ и проповѣдовавшихъ безъ всякихъ убѣжденій: это было какое-то холодное адвокатство въ наукѣ, двуличное и коварное, мгновенное и пустое; едва изрѣдка появлялись искры, напоминавшія острый, поэтический, легкій и глубокий аѣинскій умъ. Явленіе это болѣе принадлежитъ общественной жизни, нежели наукѣ, оно было—отраженіемъ гражданскаго растлѣнія въ сферѣ мышленія. Но въ той же самой сферѣ явилось и самое энергическое противодѣйствіе общественной безнравственности—стойцизмъ.

Ученіе стойковъ, по преимуществу, нравственное; оно прямо идетъ къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совѣтъ,

укрѣпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознание долга и заставить всѣмъ жертвовать ему. Что другое могли проповѣдывать люди мысли, передъ глазами которыхъ разыгрывался послѣдній замыкающій актъ трагедіи, гдѣ гибнулъ цѣлый міръ и изъ-за видимыхъ развалинъ этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся, передъ этимъ страшнымъ зрѣлищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенія, гадкой въ своемъ циническомъ раболѣпнѣи?—Философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно [стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеить общество, громко обличить его позоръ, и, когда нѣтъ надежды спасти его, употребить всѣ силы, чтобъ спасти *нѣсколько лицъ*, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стойки обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, утрумо, «не жертвуетъ граціямъ»,—оно учитъ умирать, учитъ цѣною головы подтверждать истину, быть непреклонно-твердымъ въ несчастіяхъ, побѣждать страданія, пренебрегать наслажденіями:—все это добродѣтели, но добродѣтели челоуѣка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобъ быть нормальнымъ. Рука стойка, всегда готовая прервать нить собственной жизни, была безстрашно-жестка: она до всего касалась перстами грубыми,—и нѣжное, едва уловимое благоуханіе, въ которомъ, какъ въ своей атмосферѣ, является все аѳинское, исчезаетъ отъ ихъ прикосновенія, или не существуетъ для него. Римскій духъ, практической, опредѣленный, рѣзкій и холодный, началъ тогда проникать всюду, началъ становиться всемірнымъ, господствующимъ дыханіемъ; на римской почвѣ стойки развились вполне; въ Греціи они были болѣе теоретики; здѣсь они отворяли себѣ жилы и приготавливали въ собственномъ саду костры; въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболѣвшія, люди практическіе, но чрезвычайно односторонніе и формальные; правила ихъ просты, чисты,—но въ своей абстрактной чистотѣ онѣ, какъ кислородъ, не составляютъ здоровой среды дыханія именно потому, что нѣтъ примѣси, которая бы смягчала рѣзкую чистоту. Правоученія стойковъ имѣли цѣлью образовать *мудраго*; они вѣрили только въ возможность добродѣтели частнаго лица; они искали развитіе нравственное только въ лицѣ мудраго, а не въ республикѣ, какъ Платонъ; они первые высказали колоссальную мысль, что мудрый не связанъ внѣшнимъ закономъ, ибо онъ въ себѣ носитъ живой источникъ закона и не повиненъ давать отчетъ кому-либо, кромѣ своей совѣсти,—мысль глубокая и многозначительная, но такая, которая высказывается только въ тѣ эпохи, когда мыслящіе люди разгля-

дываютъ обличившуюся во всемъ безобразіи лжи несоотвѣтственность существующаго порядка съ сознаниемъ; такая мысль есть полнѣйшее отрицаніе положительнаго права; между тѣмъ, освобождая такимъ образомъ мудраго, стойки излагали свою нравственность сентенціями, т. е. готовыми статьями своего кодекса. Сентенціи въ философіи нравственности безобразны; онѣ унижаютъ человѣка, выражая верховное недовѣріе къ нему, считая его несовершеннѣйшимъ, или глупымъ; сверхъ того, онѣ бесполезны, потому что всегда слишкомъ общи, никогда не могутъ объять всѣхъ обстоятельствъ, видоизмѣняющихся въ данномъ случаѣ, а внѣ данныхъ случаевъ—онѣ не нужны; наконецъ, сентенція—мертвая буква; она не даетъ выхода изъ себя для исключительныхъ обстоятельствъ, и, когда являются эти обстоятельства, сила вещей отбрасываетъ отвлеченное правило, ломаетъ его, какъ раму, не имѣющую мощи сдержать содержаніе. Человѣкъ нравственный долженъ носить въ себѣ глубокое сознание, какъ слѣдуетъ поступить во всякомъ случаѣ, и вовсе не какъ рядъ сентенцій, а какъ всеобщую идею, изъ которой всегда можно вывести данный случай; онъ импровизируетъ свое поведеніе. Но стойки—формалисты и недовѣрчивые, съ юридической точки зрѣнія смотрѣли на нравственный вопросъ и составляли моральныя сентенціи; ихъ ученіе стремилось явнымъ образомъ окрѣпить, одѣлать въ окованной догматикѣ.

И въ то же самое время, какъ мрачный, аскетическій стоицизмъ съ своими самоубійствами и суровыми правилами овладѣлъ умами, распространялось съ такой же быстротою другое ученіе, явно противоположное стоицизму (по выраженію): эпикуреизмъ—последняя попытка, чисто греческая, свѣтло и отчасти дешево примирить мысль съ жизнью, себя съ окружающимъ. «Цѣль жизни, ея истина—сознательное, проникнутое мыслью наслажденіе собою, блаженство; въ немъ добро, въ немъ прекрасное, къ нему должно стремиться, снимая все мѣшающее, какъ зло». Итакъ, блаженство—вотъ критеріумъ Эпикура. Ничто не можетъ быть нелѣпнѣе, какъ вѣчные рассказы добрыхъ людей о томъ, что Эпикуръ проповѣдывалъ цѣлью жизни грубое и животное удовлетвореніе страстей: это такъ же ограничено и плоско, какъ воображать, что Гераклитъ только плакалъ, а Демокритъ—только хохоталъ, что софисты были шарлатаны и мошенники... Все это принадлежитъ особому воззрѣнію на философію, очень похожему на то воззрѣніе, которымъ изъ передней разсматриваютъ балъ. Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія, цѣль жизни: все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнью; но вопросъ: въ чемъ состоитъ блаженство человѣка? Для звѣря оно—въ сытости и въ слѣдованіи естественнымъ побужденіямъ; для звѣря-человѣка точно

также; но не надобно забывать, что человѣкъ-звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства; потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ хочется непременно понуждать человѣка къ добру, заставляя его поступать нравственно, такъ, какъ врачъ заставляетъ принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности; имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? не приходитъ въ голову требованіе—примирить сердце и разумъ такъ, чтобъ человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую пошу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія, наиболѣе естественномъ ему и пріятномъ его разумомъ. Если добродѣтель только понудительная обязанность, вѣднѣе велѣніе, то ее нельзя любить; можно ей жертвовать, можно покориться ей, но не болѣе; можно, наконецъ, быть по расчету добродѣтельнымъ, ожидая возмездія: здѣсь опять цѣль—блаженство, но ниже, корыстнѣе понятое; возмездіе соприисущно самой добродѣтели, нравственное дѣяніе есть уже награда совершившаяся, блаженство само по себѣ. Иначе мы впадемъ въ то сомнѣніе, которое такъ мило выражено Шиллеромъ:

Gewissensscrupel.

Gerne dien'ich den Freunden, doch thu'ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

Entscheidung.

Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebaut ¹⁾.

Тотъ, кто находитъ въ добродѣтели наслажденіе, можетъ сказать, какъ Эпикуръ: «должно предпочитать разумное несчастіе безумному счастью»,—и это очень просто, потому что безумное счастье—нелѣпость для человѣка: для того, чтобъ имъ наслаждаться, онъ долженъ отречься отъ верховной сущности своей—

¹⁾ Сомнѣніе.

Охотно служу я друзьямъ моимъ, но по несчастью мнѣ это пріятно: меня часто упрекаетъ совѣсть въ безнравственности за это.

Рѣшеніе.

Дѣлать тутъ нечего, старайся ихъ ненавидѣть, и дѣлай съ отвращеніемъ то, что тебѣ повелѣваетъ долгъ.

разума. Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его, утрызение совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ какъ рабъ, какъ животное, и нѣтъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ. Стоицизмъ больше формально противоположенъ эпикуреизму, нежели въ самомъ дѣлѣ; развѣ онъ не потому хотѣлъ быть самоотверженнымъ, что въ самоотверженіи видѣлъ болѣе человѣческое удовлетвореніе, нежели въ слабодушномъ потворствѣ и распущенности характера; стоицизмъ выразилъ только свое воззрѣніе иначе, освѣтилъ его съ противоположной стороны; вызванный, какъ реакція, какъ протестъ, онъ круто и аскетически принялся исправлять нравы, онъ былъ похожъ на строгій и суровый католицизмъ, явившійся послѣ Лютера. Эпикуреизмъ, совсѣмъ напротивъ, вѣрный греческому генію, понялъ роскошно, человѣчески-просто вопросъ стоицизма и не разбѣкъ души человѣческой на страшную противоположность долга и влеченія, натравливая ихъ другъ на друга, а стремился ихъ примирить въ блаженствѣ, удовлетворяющемъ и долгу и страстямъ; для него исполненіе долга неразрывно съ наслажденіемъ, то есть, естественно и разумно. Состояніе нравственного дуализма противрѣчить значенію самопознающаго существа,—нелѣпость, похожая на то, если-бъ звѣрь, чувствуя потребность насыщенія, раздиралъ собственную грудь; простая, органическая цѣлесообразность громко вопіетъ противъ стоическаго унынія, скрежета зубовъ; такой аскетизмъ и гоненіе всего естественнаго ведетъ прямо къ оригеновскимъ поправкамъ физическаго. Забудьте, что чистота нравовъ эпикуровыхъ учениковъ вошла въ пословицу, и она очень понятна: человѣку, признающему свои права на наслажденіе, легко понимать права наслажденій надъ собою; ему не страшны страсти; онѣ не врагами, не ночными татями пробираются въ его сердце: онъ знакомъ съ ними и знаетъ ихъ мѣсто. Тотъ, кто дѣлаетъ цѣлью одно обузданіе страстей, тотъ даетъ страстямъ силу и высоту, которыхъ онѣ не имѣютъ вовсе,—онъ ихъ ставитъ соперникомъ разуму. Страсти крѣпнютъ и растутъ именно оттого, что имъ придають огромную важность. Лукрецію говоритъ, что иногда надобно уступать потребности наслажденія для того, чтобъ она не безпрестанно насъ занимала. Эпикуръ, столь противоположный стоикамъ, послѣдними словами своего ученія сталъ рядомъ съ ними: «свобода отъ боязни и желаній, говоритъ онъ, есть высшее блаженство». При этомъ, забудьте, обѣ школы даютъ личности человѣка несравненно важнѣйшее значеніе, нежели всѣ предшествовавшія имъ философскія ученія,—это преддверіе признанія безконечности человѣческаго духа, которое должно было развиваться въ новомъ мірѣ. Вы можете мнѣ возразить, что эпи-

куреизмъ, однако, способствовалъ къ распространенію чувственности и матеріализма въ Римѣ. Да. Но въ какую эпоху? Въ ту, въ которую Римъ былъ развращенъ до обоготворенія Клавдіевъ, Калигулы, и проч. Люди искали забыться, отвернуться отъ гражданскаго міра, отъ предчувствій и воспоминаній и толковали эпикуреизмъ по своему.

Эпикуреизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе; Эпикуръ былъ атомистъ и эмпирикъ—почти такъ же, какъ естествоиспытатели прошлаго вѣка и отчасти нашего. Несмотря на большую смѣлость его, онъ такъ же не выдержалъ своего воззрѣнія до конца, какъ всѣ греки, какъ самые стойки, которые, ставъ въ противоположность съ вѣрованіями языческаго міра, принимали какой-то фатализмъ и какія-то мистическія вліянія. Эпикуръ принимаетъ нелѣпость случайнаго соединенія атомовъ, какъ причину возникновенія сущаго, и прекрасно говоритъ о высшемъ существѣ, «которому ничего не достааетъ, неразрушимомъ, непреходящемъ, и котораго надобно чтить не по внѣшнимъ причинамъ, а потому, что оно по сущности своей достойно», и проч. Это свидѣтельствовало бы только, что онъ чувствовалъ предѣлы своего воззрѣнія, онъ провидѣлъ верховное начало, царящее надъ физическимъ многообразіемъ; но, сверхъ этого, онъ толкуетъ о какихъ-то соподчиненныхъ богахъ, типахъ, служащихъ вѣчными идеалами людямъ. Какъ онъ мирилъ съ этимъ сонмомъ боговъ случайность возникновенія—непонятно, да, вѣроятно, онъ и самъ не понималъ какъ. Философы-деисты XVIII вѣка, вообще натуралисты, на всякомъ шагу представляютъ примѣры всеовершеннѣйшей противоположности своихъ физическихъ теорій съ какими-то попытками *d'une religion raisonnée, naturelle, philosophique*. Несмотря на эту непослѣдовательность, вліяніе эпикуреизма было значительно. Эпикурейцы принимали фактъ и опытъ не только за точку отправленія, но и за непреложный критеріумъ. Они были эмпирики и шли къ истинѣ инымъ путемъ: обыкновенно мыслители только одной ногой упирались въ фактъ и тотчасъ переходили къ всеобщему и отвлеченному, низводя потомъ логическое многообразіе, — эпикурейцы оставались при эмпирическомъ; этотъ путь въ односторонности своей не можетъ выпутаться изъ эмпириі и дойти до всеобъемлющихъ синтетическихъ мыслей, но онъ имѣетъ въ себѣ такую неотразимость, такую непреложную очевидность и осязаемость, что тотчасъ дѣлается доступенъ, популяренъ, практиченъ. Несмотря на типы и идеалы, эпикуреизмъ былъ послѣдній ударъ на смерть язычеству. Стоицизмъ могъ перейти въ мистицизмъ, — платонизмъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ въ него. Аристотеля можно было перетолковать, — эпикуреизма ни подъ какимъ видомъ: онъ простъ, положителенъ.

Вотъ за что и бранили его такъ злобно; онъ вовсе не былъ ни развратнѣе, ни богоотступнѣе всѣхъ прочихъ философскихъ учений въ Греціи; да и что намъ за дѣло заступаться за языческую правотѣрность? Всѣ философы очень подозрительны со стороны политеизма, хотя въ нихъ во всѣхъ, и въ Эпикурѣ точно также, есть остатки его. Проклятая положительность и опытный путь— вотъ что озлобило людей въ родѣ Цицерона.

Противъ догматизма эпикурейскаго и стоическаго вскорѣ повѣялъ ѣдкій воздухъ скептицизма,—и послѣднія мысли древней философіи, становившіяся старчески упрямыми въ своей догматикѣ, рушились передъ его мощью и разсѣялись въ вечернемъ туманѣ, павшемъ на греко-римскій міръ. Скептицизмъ—естественное послѣдствіе догматизма: догматизмъ вызываетъ его на себя; скептицизмъ—реакція. Философскій догматизмъ, какъ все косное, твердое, успокоившееся въ довольствѣ собою, противенъ вѣчнодѣятельной, стремящейся натурѣ человѣка; догматизмъ въ наукѣ не прогрессивенъ; совсѣмъ напротивъ, онъ заставляетъ живое мышленіе осѣсть каменной корой около своихъ началъ; онъ похожъ на твердое тѣло, бросаемое въ растворъ для того, чтобъ заставить кристаллы низвергнуться на него;—но мышленіе человѣческое вовсе не хочетъ кристаллизоваться, оно бѣжитъ косности и покоя, оно видитъ въ догматическомъ успокоеніи отдыхъ, усталъ, наконецъ ограниченность. Въ самомъ дѣлѣ, догматизмъ необходимо имѣетъ *готовое абсолютное*, впередъ идущее и удерживаемое въ односторонности какого-нибудь логическаго опредѣленія; онъ удовлетворяется своимъ достояніемъ, онъ не вовлекаетъ началъ своихъ въ движеніе, напротивъ, это неподвижный центръ, около котораго онъ ходитъ по цѣпи. Какъ только мысль начинаетъ разглядывать эту гранитную неподвижность, — духъ человѣческій, этотъ *actus purus*, это движеніе по превосходству, возмущается и устремляетъ всѣ усилія свои, чтобъ смыть, разбить этотъ подводный камень, оскорбляющій ее,—и не было еще примѣра, чтобъ упорно стоящій въ наукѣ догматизмъ вынесъ такой напоръ. Скептицизмъ, какъ мы сказали,—противодѣйствіе, вызываемое полузаконной догматикой философіи; онъ самъ по себѣ невозможенъ тамъ, гдѣ невозможны твердыя мысли, принятіе на авторитетъ, стремленіе сдѣлать изъ науки, вмѣсто текущаго живого мышленія, сухія нормы въ родѣ XII таблицъ. Но до тѣхъ поръ, пока наука не пойметъ себя именно этимъ живымъ, текучимъ сознаниемъ и мышленіемъ рода человѣческаго, которое, какъ Протей, облекается во всѣ формы, но не остается ни при одной, до тѣхъ поръ, пока въ науку будутъ врываться готовыя истины, которыхъ принятіе ничѣмъ не оправдано, которыя взяты съ улицы, а не изъ разума, не только врываться, но

и находить мѣсто и право гражданства въ ней, — до тѣхъ поръ, время отъ времени, злой и рѣзкій скептицизмъ будетъ поднимать свою голову Секста-эмпирика или Юма и убивать своей ироніей, своей негацией *всю науку*, за то, что она *не вся наука*. Сомнѣніе — вѣчно припадный элементъ ко всѣмъ моментамъ развивающагося наукообразнаго мышленія; мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ наукой въ Греціи и, послѣдовательно, будемъ встрѣчаться съ нимъ при всякой попыткѣ философскаго догматизма; онъ провозжааетъ науку черезъ всѣ вѣка.

Характеръ скептицизма, которымъ заключилось мышленіе древняго міра, весьма замѣчателенъ; направленный противъ догматизма въ его двухъ формахъ, онъ совершилъ *de facto* то, чего домогался догматизмъ: онъ отрѣшилъ личность отъ всего сущаго, освободилъ ее отъ всего положительнаго и такимъ образомъ отрицательно призналъ безконечное ея достоинство. Скептицизмъ освобождалъ разумъ отъ древней науки, которая воспитала его; но это освобожденіе отнюдь не было гармоническое, сознательное провозглашеніе его правъ, его автономіи: это было освобожденіе реакціонное, освобожденіе 93 года, освобожденіе отъ древняго міра, расчищавшее мѣсто міру грядущему. Скептицизмъ отправился отъ самаго страшнаго сознанія, какое только можетъ посѣтить человѣческую душу; онъ не только сомнѣвался въ возможности знать истину, но просто и не сомнѣвался въ невозможности знать ее; онъ былъ увѣренъ, что бытіе и мышленіе равно не имѣютъ повѣрки, что это несоизмѣримыя данныя, можетъ быть, даже мнимыя. Вмѣсто критериума онъ поставилъ *кажется* и, горько улыбаясь, успокоился на немъ; однажды убѣдившись въ неспособности разума подняться до истины, скептики не хотѣли и пытаться, а только доказывали, что попытки другихъ нелѣпы. Но не вѣрьте этому равнодушію: это — то отчаянное равнодушіе безпомощности, съ которымъ вы смотрите на тѣло усоншаго друга; вы должны примириться съ тѣмъ, что его нѣтъ; что хочешь дѣлай — не поможешь; скрѣпивъ сердце, вы идете къ своимъ дѣламъ. Какъ ни храбрись Секстъ-эмпирикъ ¹⁾, человѣку не легко

¹⁾ Секстъ-эмпирикъ жилъ во II вѣкѣ послѣ Р. Х. Человѣкъ ума необъятнаго, но чисто-отрицательнаго, онъ не только все отрицалъ, но еще хуже, онъ принималъ все; въ его діалектикѣ есть какая-то иронія, повергающая въ отчаяніе; онъ отвергаетъ каузальность, напр., но потомъ говоритъ: стало-быть, есть достаточная причина отвергать причину какъ причину, — но если такъ, то и причина отвергать каузальность несостоятельна. Онъ, какъ Кантъ, выставилъ ряды антиномій — и всѣ ихъ оставилъ антиноміями. Послѣднимъ словомъ своимъ онъ сказалъ: «Тогда только тревожность духа успокоится и водворится счастливая жизнь, когда бѣгущему отъ зла или стремящемуся къ добру укажутъ, что нѣтъ ни добра, ни зла». Послѣ такихъ словъ, міръ, который привелъ къ нимъ, долженъ пересоздаться.

примириться съ невѣріемъ въ себя, съ достовѣрностью неабсолютности своего разума; самый смѣхъ скептиковъ, иронія ихъ показываютъ, что на душѣ ихъ не такъ-то было легко. Не все смѣются отъ веселья.

Противъ скептицизма древній міръ рѣшительно не имѣлъ орудія, потому что скептицизмъ былъ вѣрнѣе себя, нежели всѣ философскія системы древняго міра. Одинъ скептицизмъ не запятналъ себя въ древнемъ мірѣ безхарактернымъ и легкомысленнымъ потворствомъ язычеству; онъ не отворялъ съ такою легкостью дверей своихъ всякаго рода представленіямъ, которыя на время облегчаютъ неразрѣшимый вопросъ и пускаютъ нездоровые соки во весь организмъ. Дѣйствительная наука могла бы снять скептицизмъ, отречься отъ самаго отрицанія; для нея скептицизмъ—моментъ: но древняя наука не имѣла этой силы; она чувствовала грѣхи свои и не смѣла прямо выступить противъ скептицизма, уличавшаго ее въ несостоятельности. Онъ освободилъ разумъ отъ нея и повергъ его въ какую-то пустоту, въ которой вовсе не было содержанія: все поглотилось разверзшеюся пропастью отрицательнаго мышленія. Скептицизмъ раскрывалъ безконечную субъективность безъ всякой объективности. Вѣрный себѣ, онъ не высказалъ своего послѣдняго слова—и хорошо сдѣлалъ: его бы не поняли. Скептики искали успокоенія въ своей собственной личности; сомнѣваясь во вселенной, сомнѣваясь въ разумѣ, въ истинѣ, они указывали каждому, какъ на послѣднее убѣжище, какъ на якорь спасенія—на свою личность; но не прямо ли это вело къ положенію самопознанія, какъ сущности? не показываетъ ли это, что въ концѣ древняго міра духъ чело-вѣчeskій, утративъ довѣріе къ міру, къ праву, къ политеизму, къ наукѣ, провидѣлъ, что въ одномъ углубленія въ себя можно найти замѣну всѣмъ утратамъ? Это пророческое предсознаніе безконечнаго достоинства чело-вѣка, едва мерцающее въ скептицизмѣ, явившемся убить пластическую, художественную науку Греціи, далеко перехватывало за предѣлы тогдашняго состоянія мысли. Чело-вѣку надобно было почти двумя тысячелѣтіями приготовиться, чтобъ вынести сознаніе своего величія и достоинства.

Послѣ горячешнаго и безумнаго времени первыхъ цезарей, настало для Рима время нѣсколько спокойное; старикъ, вставшій съ одра смерти, почувствовалъ, что онъ въ болѣзни не только не утратилъ всѣхъ силъ, а приобрѣлъ новыя: онъ не замѣчалъ, что это послѣднее упрямство жизни, напряженіе, за которымъ неминуемо слѣдуетъ гробъ. Все пришло въ порядокъ, и жизнь имперіи развертывалась величаво, могущественно; прокладывая свои каменные дороги и воздвигая вѣчные дворцы, она могла

еще плѣнить поддѣльной красотой своей Гиббона. Правда, что-то предчувствовалось, какой-то лихорадочный трепетъ время отъ времени пробѣгалъ по членамъ всей имперіи; на границахъ собирались какія-то дикія, долговолосыя и бѣлокурыя толпы; рабы смотрѣли на своихъ господъ съ большей ненавистью, нежели на этихъ варваровъ; люди, одаренные зоркими глазами, видѣли неотразимость грозы,—но такихъ людей бываетъ немного. Официально, Римъ стоялъ сильно и тяготѣлъ надъ всѣмъ древнимъ міромъ; официально, онъ былъ еще *вѣчный городъ*; тупое довѣріе къ незыблемости существующаго порядка еще владѣло большинствомъ умовъ. Весь древній міръ собрался въ Римъ, какъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ; оттого именно Римъ и утрачиваетъ свою особность и дѣлается представителемъ не себя, а цѣлой вселенной; всѣ жизненные силы покоренныхъ имъ народовъ текли въ него; онъ какъ бы для того совлекалъ ихъ, чтобъ можно было, по извѣстному поэтическому выраженію Каллигулы, однимъ ударомъ снести голову древнему міру. Суровый Римъ могъ покорить вселенную, приладить свой умъ къ чужой мысли, свою душу къ чужому искусству,—но продолжать греческой жизни не могъ; въ его душѣ какъ-то печально сочеталась отвлеченность и практической смыслъ, въ его душѣ была безконечная мощь и вмѣстѣ съ нею пустота, ничѣмъ ненаполняемая: ни побѣдами, ни юридической казуистикой, ни утонченной нѣгой, ни развратомъ тираніи и кровавыхъ зрѣлищъ. Жизнь Греціи не перешла въ Италію. *Des Lebens May blüht einmal und nicht wider!*

Въ противоположность граждански политическому центру въ Римѣ, въ Александріи сосредоточились полнѣйшіе и послѣдніе представители древней мысли; тамъ матеріально, здѣсь интеллектуально собирались дружины древняго міра подъ ветхія свои знамена—не для того, чтобъ побѣдить, а для того, чтобъ склонить ихъ, наконецъ, передъ новымъ знаменіемъ. Вопросъ, поглотившій всѣ вопросы въ неоплатонизмѣ, состоялъ въ опредѣленіи отношеній частнаго къ всеобщему, міра явленій къ началу являющемуся, челоуѣка къ Богу.

Вы видѣли изъ прошлаго письма, что греческая мысль, какъ только становилась лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, оказывалась несостоятельною; какъ только она поднималась на эту высоту, у ней всякій разъ кружилось въ головѣ, и она начинала бредить и поддаваться языческимъ представленіямъ. Неоплатонизмъ серьезнѣе и шире взялся за эти вопросы: онъ принялъ въ себя много юдаическаго, вообще восточнаго, и сочеталъ эти элементы, неизвѣстные греческой наукѣ, съ глубокимъ изученіемъ Пифагора, Платона и Аристотеля; онъ съ самаго начала

почти не стоит на языческой почвѣ, несмотря на то, что высшій представитель его, Проклъ, съ упрямствомъ удерживаетъ греческое многобожіе. Политеизмъ обоготворялъ, оличалъ разныя силы природы, давалъ имъ образъ человѣческой, и этимъ образомъ давалъ характеръ той естественной силы, которой живымъ представителемъ являлся образъ. Неоплатоники отвлеченные моменты логическаго процесса, моменты мірового развитія представляли фазами безусловнаго духа, безтѣлеснаго, соприносущаго міру, замкнутаго въ себѣ; они понимали его «живымъ въ движеніи вещества», по превосходному державинскому выраженію; грубо понятый неоплатонизмъ—своего рода язычество, своего рода антропоморфизмъ, но не художественный, а мистическій. Они собственно не хотятъ кумира, но, принявъ іероглифическій языкъ, они такъ затемняютъ смыслъ своей рѣчи, что трудно догадаться, что у нихъ символъ, и что представляемое,—тѣмъ болѣе трудно, что они всѣми силами стараются показать свою преданность язычеству и, понимая разныя отвлеченныя истины подъ именами боговъ и богинь, сбиваютъ съ толку ¹⁾. Неоплатоники дѣлали опыты рационально оправдать язычество, наукой доказать абсолютность его—и, разумѣется, только нанесли новый ударъ древней религіи; если ужъ однажды замѣшаны были разумъ и наука въ дѣло фантастическихъ представлений, то можно было ждать, что они обличатъ ихъ недѣйствительность. Философія, что бы ни принялась оправдывать, оправдываетъ только разумъ, т. е. себя. Точка отправленія Прокла—восторженная созерцательность; человѣкъ жизнью, настроеніемъ духа долженъ готовить себя къ восторженности, возводящей его на высоту созерцательности, которой только возможно вѣдѣніе безусловнаго. Безусловное, какъ оно есть само по себѣ, отвлеченное отъ условнаго, знать нельзя; оно въ себѣ остающееся, отвлеченное единство,—но оно дѣлается понятнымъ, обнаруживаясь, происходя, развиваясь. Но развитіе единаго не есть необузданное себяистрачиваніе, теряющееся въ арифметической безконечности, нѣтъ—оно, развиваясь, остается самимъ собою. Взаимодѣйствіе этой полярности, предѣлъ, мѣра—перегибъ къ средоточію. Отсюда Проклъ выводитъ свои три момента: *Единство*, *Безконечность*, *Мѣра*. Нельзя не замѣтить, что при всей силѣ и высотѣ этого воззрѣнія, оно отправляется не отъ логическаго предшествующаго, а отъ непосредственнаго вѣдѣнія, даннаго восторженностью; его мысль вѣрна, но метода не научнообразна, не оправдана. Религія идетъ отъ безусловной истины: ей не нужно такого оправданія; но

¹⁾ У Прокла это всего яснѣе; онъ былъ посвященъ во всѣ таинства и удивлялъ жрецовъ своими теологическими тонкостями.

неоплатоники хотѣли науки—и, какъ наука, ихъ воззрѣніе, при всей высотѣ своей, не совсѣмъ состоятельно.

Неоплатонизмъ всѣми сторонами души своей, всѣми симпатіями, положеніемъ мысли относительно временнаго, выходитъ изъ древней мысли и вступаетъ въ міръ христіанскій; но, несмотря на это, неоплатоники не хотѣли принять христіанства: они мечтали новое вино налить въ старые мѣха. Неоплатонизмъ—отчаянный опытъ древняго разума спастись своими средствами, опытъ величественный, но неудачный. Неужели неоплатоническимъ отвлеченнымъ, труднымъ, запутаннымъ языкомъ, ихъ философскимъ эклектизмомъ, ихъ теургической гностикой и любовью къ сверхъестественному можно было остановить паденіе Рима, остановить эпикуреизмъ, остановить скептицизмъ, и, наконецъ, неужели ихъ языкомъ можно было говорить съ народомъ? Неоплатонизмъ блѣднѣетъ передъ христіанствомъ, какъ все отвлеченное блѣднѣетъ передъ полнымъ жизни. Во всѣхъ этихъ ученіяхъ вѣетъ грядущее, но во всѣхъ *чего-то* не достаетъ,—того властнаго глагола, той молніи, которая сплавляетъ изъ отрывчатыхъ и полувысказанныхъ начинаній единое цѣлое. У неоплатониковъ—почти какъ у нынѣшнихъ мечтателей социалистовъ—пробиваются великія слова: примиреніе, обновленіе, *καληγένης ἀποκατάστασις πάντων*, но они остаются отвлеченными, неудобопонятными—такъ, какъ ихъ теодицея; неоплатонизмъ былъ для ученыхъ, для немногихъ. «У насъ (т. е. у христіанъ) дѣти теперь, говоритъ Тертуллианъ, больше знаютъ о Богѣ, нежели ваши мудрецы». Бороться съ христіанствомъ было безумно; но гордая философія, точно такъ же, какъ гордый Римъ, не обратила сначала вниманія на это. Странное дѣло: Римъ какъ будто утратилъ, въ гнусную эпоху лихихъ цезарей, весь свой умъ и впадалъ въ жалкое старчество людей, которые дѣлаются ничтожными и суетными на краю могилы; проповѣдываніе Евангелія уже раздавалось на площадяхъ его, а римская аристократія и умники съ улыбкой смотрѣли на бѣдную ересь назарейскую и писали подлые панегирики, пошлые мадригалы, не замѣчая, что рабы, бѣдняки, всѣ труждающіеся и обремененные, слушали новую вѣсть искупленія. Тацитъ не понялъ сначала и Плиній не понялъ потомъ, что совершалось передъ ихъ глазами. Неоплатоники видѣли такъ же, какъ стоики и скептики, странное состояніе гражданскаго порядка и нравственнаго быта, но увлеченные созерцательностью, они не могли съ отчаянія удариться въ невѣріе, въ чувственность; несостоятельность міра положительнаго привела ихъ къ презрѣнію всего временнаго, естественнаго, къ отысканію другого міра внутри себя—независимаго и безусловнаго. Этотъ міръ, при глубокомъ и страстномъ вниканіи въ него,

вель къ признанію одного отвлеченнаго и духовнаго за истину¹⁾; но это духовное было и шире и выше понято ими, нежели всей предшествующей мыслью; одно оно исполняло то, къ чему они стремились, одно христіанство соотвѣтствовало неоплатонизму; а между тѣмъ, неоплатоники не только были язычниками по привычкѣ, или потому что, родившись язычниками, изъ ложнаго стыда хотѣли остаться ими,—нѣтъ, они въ самомъ дѣлѣ воображали, что миѣны язычества лучшая плоть для истины. Люди, склонные все матеріальное считать призракомъ, въ самомъ началѣ сдѣлали такую грубую ошибку, что потомъ имъ легко было принимать послѣдствія, вовсе не идущія изъ ихъ началъ, и мириться со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ не хотѣли мириться. Но что же мѣшало имъ отречься отъ стараго, умершаго возрѣнія? То, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется.

Побѣжденное и старое не тотчасъ сходить въ могилу; долговѣчность и упорность отходящаго основаны на внутренней хранительной силѣ всего сущаго: ею защищается до-нельзя все однажды призванное къ жизни; всемірная экономія не позволяетъ ничему сущему сойти въ могилу прежде истощенія всѣхъ силъ. Консервативность въ историческомъ мірѣ такъ же вѣрна жизни, какъ вѣчное движеніе и обновленіе; въ ней громко высказывается мощное одобреніе существующаго, признаніе его правъ; стремленіе впередъ, напротивъ, выражаетъ неудовлетворительность существующаго, исканіе формы, болѣе соотвѣтствующей новой степени развитія разума; оно ничѣмъ не довольно, негодуетъ; ему тѣсно въ существующемъ порядкѣ; а историческое движеніе тѣмъ временемъ идетъ діагонально, повинуваясь обѣимъ силамъ, противопоставляя ихъ другъ другу, и тѣмъ самымъ спасаясь отъ односторонности. Воспоминаніе и надежда, status quo и прогрессъ—антиномія исторіи, два ея берега; status quo основанъ на фактическомъ признаніи, что каждая осуществившаяся форма—дѣйствительный сосудъ жизни, побѣда одержанная, истина, доказанная непреложно бытіемъ; онъ основанъ на вѣрной мысли, что человѣчество въ каждый историческій моментъ обладаетъ всею полнотою жизни, что ему нѣчего ждать будущаго, чтобъ пользоваться своими правами. Консервативное направленіе будить въ

¹⁾ Вотъ что говорятъ Порфирій о своемъ учителѣ: „Плотинъ намъ казался существомъ высшимъ, онъ стыдился своего тѣла, не любилъ говорить ни о своей семьѣ, ни о родителяхъ, ни объ отчизнѣ. Никогда не дозволялъ онъ, чтобъ его тѣло было повторено живописцемъ или ваятелемъ; когда Аврелій просилъ его позволенія срисовать его, онъ отвѣтилъ ему: Не довольно ли, что мы принуждены таскать съ собою тѣло, въ которомъ заключены природою, неужели намъ еще оставлять изображеніе тюрмы, какъ будто видъ ея имѣетъ въ себѣ что-либо величественное“? Это чисто-романтическое направленіе!

душѣ святыя воспоминанія, близкія и родныя, зоветъ возвратиться въ родительскій домъ, гдѣ такъ юно, такъ беззаботно текла жизнь, забывая, что домъ этотъ сдѣлался тѣсенъ и полуразвалился; оно отправляется отъ золотого вѣка. Совершенствованіе идетъ къ золотому вѣку, протестуетъ противъ признанія опредѣленнаго за безусловное; видитъ въ истинѣ благо и сущаго истину относительную, не имѣющую права на вѣчное существованіе, и свидѣтельствующую о своей ограниченности именно своей переходимостью; оно хранитъ также въ себѣ бывшее, но не хочетъ его сдѣлать мѣтой его мечты—въ будущемъ, въ святомъ упованіи. Міръ языческій, исключительно національный, непосредственный, былъ всегда подъ обаятельной властью воспоминанія; христіанство поставило надежду въ число краугольныхъ добродѣтелей. Хотя надежда всякій разъ побѣдитъ воспоминаніе, тѣмъ не менѣе борьба ихъ бываетъ зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: какъ жизни не держаться ревниво за достигнутыя формы? Она новыхъ еще не знаетъ, она сама эти формы; сознать себя прошедшимъ—самоотверженіе, почти невозможное живому: это самоубійство Катона. Отходящій порядокъ вещей обладаетъ полнымъ развитіемъ, всестороннимъ приложеніемъ, прочными корнями въ сердцѣ; юное, напротивъ, только возникаетъ; оно сначала является всеобщимъ и отвлеченнымъ, оно бѣдно и наго; а старое богато и сильно. Новое надобно созидать въ потѣ лица, а старое само продолжаетъ существовать и твердо держится на костыляхъ привычки. Новое надобно изслѣдовать; оно требуетъ внутренней работы, пожертвованій; старое принимается безъ анализа, оно готово—великое право въ глазахъ людей; на новое смотрятъ съ недоумѣніемъ, потому что черты его юны; а къ дряхлымъ чертамъ стараго такъ привыкли, что онѣ кажутся вѣчными. Сила, чары воспоминанія могутъ иногда пересилить увлеченія манящей надежды; хотя въ прошедшаго во что бы то ни стало, въ немъ видятъ будущее.

Таковъ, на примѣръ, Юліанъ-Отступникъ. Въ его время вопросъ о бытіи и небытіи древняго міра уже страшно постановился; не знать его было нельзя. Три возможныя рѣшенія представлялись: язычество, т. е. бывшее, воспоминаніе; отчаяніе, т. е. скептицизмъ—ни былого, ни будущаго, и, наконецъ, принятіе христіанства и съ тѣмъ вмѣстѣ выходъ въ новый грядущій міръ, съ оставленіемъ мертвымъ хоронитъ мертвыхъ. Юліанъ былъ горячій мечтатель, человѣкъ съ энергической душой, сначала безъ дѣла, весь отдававший греческой наукѣ, потомъ въ дальней Лютеціи занятый рѣшеніемъ тяжкаго вопроса о современности,—онъ рѣшилъ его въ пользу прошедшаго. Замѣтимъ, между прочимъ, что ни средоточіе неоплатонизма, ни Юліанъ, не жили въ Византіи: они могли мечтать о мино-

*

вавшихъ нравахъ, о возстановленіи древняго порядка дѣль въ новой столицѣ, въ города, которымъ Константинъ отрекся отъ язычества и отъ неразрывнаго съ язычествомъ быта древней столицы. Теоретически казалось возможнымъ не токмо воскресить былое, но, воскрешая, просвѣтлить его. Юліанъ былъ человѣкъ нравовъ строгихъ и высокихъ доблестей. Въ лицѣ его древній міръ очистился, просіялъ, какъ будто сознательно приготавлиаясь къ честной и безпостыдной кончинѣ. Воля его была тверда, благородна, умъ гениальный. Все тщетно! Воскресить прошедшее было просто невозможно. Мало зрѣлицъ болѣе торжественныхъ и успокоительныхъ, какъ безсиліе такихъ гигантовъ, какъ Юліанъ, противъ духа времени; по ихъ силѣ и по безсилію дѣйствія, можно легко измѣрить всю несостоятельность несхороненнаго прошедшаго противъ нарождающагося будущаго. Конечно, воспомнанія Аѳинъ и Рима, грустныя и упрекающія, являлись на опустѣвшихъ стѣнахъ и мощно звали къ себѣ; конечно, жаль было прекрасный міръ, уходившій въ гробъ,—намъ вчуже жаль его до слезъ, но что же дѣлать противъ совершившагося событія? Его смерть была трагическій фактъ, котораго не принять нельзя было людямъ, присутствовавшимъ при похоронахъ. Не споримъ, своего рода мрачная поэзія окружаетъ людей прошедшаго; есть что-то трогательное въ ихъ погребальной процессіи, идущей вспять, въ ихъ вѣчно неудачныхъ опытахъ воскресить покойника. Вспомните о евреяхъ, ожидающихъ до сего дня возстановленія царства израильскаго, борющихся до сихъ поръ противъ христіанства... Что можетъ быть печальнѣе положенія еврея въ Европѣ,—этого человѣка, отрицающаго всю широкую жизнь около себя на основаніи неподвижныхъ преданій! Грудь его некому распахнуться, потому что все сочувствовавшее съ нимъ умерло, вѣка тому назадъ; онъ съ ненавистью и съ завистью смотритъ на все европейское, зная, что не имѣетъ законнаго права ни на какой плодъ этой жизни и въ то же время не умѣетъ обойтись безъ удобства европеизма...

Всякій рѣзкій переворотъ долго послѣ себя оставляетъ представителей враждующихъ сторонъ. Вы найдете жидовскую неподвижность и въ Сенъ-Жерменскомъ предмѣстьи, въ нашихъ старыхъ и новыхъ раскольникахъ... Неоплатоники были въ томъ же самомъ положеніи; они, какъ мы сказали, всѣмъ слоємъ своего ума, всѣмъ ученіемъ своимъ вышли изъ древняго міра и натягивали какое-то близкое сродство съ нимъ, котораго вовсе не было въ ихъ душѣ; они своего рода націонализмомъ дошли до аллегорическаго оправданія язычества, и воображали, что они вѣрятъ въ него. Они хотѣли какимъ-то философски-литературнымъ образомъ воскресить умершій порядокъ вещей. Они об-

манывали себя болѣе, нежели другихъ. Они въ прошедшемъ видѣли собственно будущій идеаль, но облеченный въ ризы прошедшаго. Если-бъ, въ самомъ дѣлѣ, давно прошедшій бытъ могъ воскреснуть на мигъ, во время полного разгара неоплатонизма, поклонники его содрогнулись бы передъ нимъ, не потому, что онъ былъ дуренъ въ *свое* время, а потому, что *его* время уже миновало; потому что онъ представлялъ вовсе не ту среду, которая была нужна для современнаго человѣка,—что сдѣлали бы Прокль и Плотинъ въ суровомъ времени пуническихъ войнъ? Но тѣмъ не менѣе люди, предавшіеся былому, глубоко страдаютъ; они столько же вышли изъ окружающаго, какъ и тѣ, которые живутъ въ одномъ будущемъ. Страданія эти необходимо сопровождаютъ всякій переворотъ: послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго; всѣ вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успокоиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ-руку съ отчаяніемъ, предчувствіе томить, хочется событій, а, повидимому, ничего не совершается ¹⁾...

Это—глубая, подземная работа, пробивающаяся на свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и страданій; оно похоже на переходъ по стени, безотрадный, изнуряющій—ни тѣни для отдыха, ни источника для оживленія; плоды, взятые съ собою, гнилы, плоды встрѣчающіеся кислы. Бѣдныя промежуточныя поколѣнія—они погибаютъ на полу-дорогѣ обыкновенно, изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія выморочныя, не принадлежація ни къ тому, ни къ другому міру—они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго. Новый міръ забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ все достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые закрыли глаза, видя хоть издали деревья обѣтованнаго края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жесткомъ, каленомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти могло одно христіанство; а оно такъ рѣзко становилось въ противоположность съ міромъ

¹⁾ Посмотрите, какія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у Лукана, у Сенеки. Вы въ нихъ найдете и апотеозу самоубійству, и горькіе упреки жизни, и желаніе смерти, да какой смерти—„смерти съ упованіемъ уничтоженія“!—„Смерть единственное вознагражденіе за несчастіе рожденія, и что намъ въ ней, если она ведетъ къ безсмертію? Лишенные счастья не родиться, ужаслимы лишены счастья уничтожиться“? (Hist. Nat.). Это говорятъ Плиній. Какая усталъ пала на душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!

языческимъ, ниспровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, что трудно было людямъ разомъ оторваться отъ прошедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ и правилъ, — это чрезвычайно трудно; практическая, обыденная мудрость несравненно глубже пускаетъ корни, нежели само положительное законодательство. А между тѣмъ новый міръ только и могъ начаться съ такого разрыва; неоплатоники были реформаторы, они хотѣли побѣлить да подновить новое зданіе; они хотѣли, не жертвуя старымъ, воспользоваться новымъ,—и имъ не удалось. «Кто отца своего любить болѣе меня, тотъ недостоинъ меня». Древняя мысль сначала аристократически не знала христіанства; когда же она поняла его,—испуганная, вступила съ нимъ въ борьбу; она истощала всѣ средства, чтобъ безуспѣшно противоудѣйствовать ему: она была умна, но безсильна и несовременна. Пять столѣтій выдержала она себя; наконецъ въ 529 году, Юстиніанъ изгналъ всѣхъ языческихъ философовъ изъ предѣловъ имперіи и закрылъ послѣднюю неоплатоническую школу; *семь* послѣднихъ представителей древней науки бѣжали въ Персію; Персъ Хозрой выпросилъ имъ позволеніе возвратиться на родину, и они потерялись безвѣстными скитальцами, они не нашли уже аудиторій своихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, распространился страшный моръ; казалось, физическіе элементы, самъ шаръ земной участвуютъ въ послѣднемъ актѣ этой трагедіи; люди умирали сотнями, города пустѣли, судорожно и болѣзненно сжималось сердце оставшихся,—въ этихъ судорогахъ умиралъ древній міръ. Императоръ Левъ Исавръ попробовалъ уничтожить его духовное завѣщаніе: онъ сжегъ огромную бібліотеку въ Византіи и запретилъ преподавать въ школахъ что-либо, кромѣ религіи.

Новый міръ, торжественно и глубокознаменательно встрѣтившійся съ старымъ Римомъ въ лицѣ апостола Павла, представшаго передъ цезаремъ Нерономъ,—побѣдилъ.

Вы можете меня упрекнуть, что, обѣщая писать объ изученіи природы, я доселѣ всего менѣе говорилъ о естествовѣдѣніи,—но упрекъ вашъ врядъ ли будетъ справедливъ. Цѣль моихъ писемъ вовсе не та, чтобъ знакомить васъ съ фактической частью естественныхъ наукъ; мнѣ хотѣлось одного: по мѣрѣ возможности показать, что антагонизмъ между философіей и естествовѣдѣніемъ становится со всякимъ днемъ нелѣпѣе и невозможнѣе; что онъ держится на взаимномъ непониманіи, что эмпирія такъ же истинна и дѣйствительна, какъ идеализмъ, что спекуляція есть ихъ единство, ихъ соединеніе. Для достиженія предположенной цѣли мнѣ

казалось ¹⁾ необходимымъ раскрыть, откуда развился антагонизмъ естествовѣдѣнія съ философіей, а это само собою вело къ опредѣленію науки вообще и къ историческому очерку ея. Въ логикѣ, наука выходитъ готовой, какъ вооруженная Паллада изъ головы Юпитера; ей не достаесть рожденія и ребячества; въ исторіи, она вырастаетъ изъ едва замѣтнаго зародыша. Не зная эмбриологіи науки, не зная судебъ ея, трудно понять ея современное состояніе; логическое развитіе не передаетъ съ тою жизненностью и очевидностью положенія науки, какъ исторія. Логика на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности,—оттого все относительное и историческое теряется въ ней. Логика, раскрывая нелѣпость, думаетъ, что она сняла ее; исторія знаетъ, какими крѣпкими корнями нелѣпость прирастаетъ къ землѣ, и она одна можетъ ясно раскрыть состояніе современной борьбы.

Но упрекъ былъ бы и съ другой стороны несправедливъ; мы говорили только о древнемъ мірѣ, а въ древнемъ мірѣ все наукообразное развитіе сосредоточивалось въ философіи. Въ строгомъ смыслѣ слова, древній міръ не имѣлъ науки о природѣ; въ немъ было благородное стремленіе все узнать, объяснить явленія, понять окружающее; Плинію говоритъ, что незнаніе природы—гнусная неблагодарность; но древніе естествоиспытатели чаще всего ограничивались этимъ благороднымъ стремленіемъ и поверхностными теоріями. Древній міръ не умѣлъ наблюдать, не умѣлъ пытаться явленія и ихъ допрашивать; оттого естествовѣдѣніе его состояло изъ общихъ взглядовъ вѣрности поразительной и изъ частныхъ фактовъ, большею частью, отрывочныхъ и худо обработанных ²⁾; для него наука была дилетантизмомъ, художественной потребностью, а не жгучей жаждой истины; оттого Плинію, какъ и Лукрецію, довлѣетъ сочувствіе съ природой и поэтическое созерцаніе ея. *Historia Naturalis* Плинія даетъ примѣры на каждомъ шагу; начнетъ ли онъ описывать небо,—онъ останавливается съ итальянскимъ пристрастіемъ къ солнцу и называетъ его божествомъ *всевиждающимъ и всеслышающимъ*, божествомъ всеоживляющимъ, божествомъ, удаляющимъ грустные помыслы; обратится ли онъ къ землѣ,—опять вдохновеніе (и нѣсколько риторики): онъ ее называетъ матерью кроткой, милосердой, которая кормитъ насъ, даетъ защиту, опору, и послѣ смерти скрываетъ въ своихъ пѣдрахъ бранные остатки. «Воздухъ реветъ бурей и сгущается въ тучи, вода льется дождями, цѣпенѣтъ градомъ,

¹⁾ См. начало второго письма.

²⁾ Одна отрасль естествовѣдѣнія, тѣсно связанная съ математикой и заставлявшая по неволѣ наблюдать, астрономія, развилась въ наиболѣе наукообразную форму при Ипархѣ и Птоломеяхъ; оттого „Алмагеста“ и устояла до самого Коперника.

несется потоками, а земля—*at hæc benigna mitis, indulgens usuique mortalium semper ancilla, quæ coacta generat!* Она на всѣ наши нужды имѣетъ отвѣтъ; она произвела даже ядовитыя растенія для того, чтобъ человѣкъ, наскучившій жизнью, могъ легко прекратить ее, не бросаясь со скаль» (*Historia Naturalis, Lib. II, LXIII*).

Не изучать природу, а наслаждаться поэтическимъ пониманіемъ ея,—вотъ чего хотѣлось древнимъ. Впрочемъ, обращаясь назадъ, мы встрѣчаемъ, какъ великое исключеніе, того же колоссальнаго человѣка, который по всему великій представитель древняго міра—Аристотеля. Его общій взглядъ на природу мы знаемъ; но онъ великъ и какъ наблюдатель,—онъ оставилъ превосходныя монографіи. Извѣстно, что Александръ Македонскій на походахъ своихъ не забывалъ высылать цѣлыя отряды воиновъ на ловлю звѣрей и отправлялъ ихъ къ Аристотелю; такимъ образомъ онъ первый занимался сравнительной анатоміей: онъ помышлялъ уже о стройномъ рядѣ развитія животнаго царства; его раздѣленіе, какъ мы имѣли случай замѣтить, осталось до сихъ поръ. Взглядъ Аристотеля въ естествовѣдѣніи, какъ и вездѣ, спекулятивенъ и до чрезвычайности реалентъ; принимая природу за процессъ, за дѣятельность, одѣйствоворящую возможность, заключенную въ ней, Аристотель равно далекъ отъ идеальности Платона и отъ матеріализма Эпикура, хотя въ немъ есть оба эти элемента. Въ послѣдователяхъ его, особенно занимавшихся естествовѣдѣніемъ, начинается замѣтно преобладать матеріализмъ; такъ, напримѣръ, Стратонъ стремился все сущее объяснить одними физическими средствами; онъ отвергалъ всякую за-природную причину; цѣлесообразность мірозданія казалась ему вымысломъ или, по крайней мѣрѣ, предположеніемъ, не имѣющимъ доказательствъ. Всѣ явленія и ихъ связь принималъ онъ за слѣдствіе случайнаго взаимодействія основныхъ свойствъ природы, заключенныхъ въ вѣчной матеріи. Міръ чувствованій — точно также проявленіе естественной силы, особымъ образомъ опредѣленной въ организмъ, котораго вещественные элементы сочетались первоначально безъ цѣли, а потомъ воспользовались представившимися условіями, чтобъ развиться до возможнаго предѣла; достигнувъ его, организмъ не развивается, а повторяетъ себя для сохраненія рода ¹⁾).

Самыми полными представителями этого возрѣнія, сдѣлавшагося подъ конецъ общимъ возрѣніемъ древнихъ натуралистовъ, могутъ быть Лукрецій и Плиніи-Младшій. Греческая мысль

¹⁾ Buhle. Geschichte der Phil. seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. 1800. T. I.

сдѣлалась въ нѣкоторыхъ областяхъ общѣе и яснѣе, перейдя на римскую почву. Лукрецій, въ началѣ своей знаменитой поэмы «De rerum natura», говоритъ съ той же ироніей о темнотѣ греческихъ философовъ, съ какой нынѣ говорятъ французы о германской наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Лукрецій ясенъ и увлекателенъ; въ немъ эпикурейское воззрѣніе созрѣло, согрѣтое огненной кровью поэта, и пышно расцвѣло. Съ перваго взгляда кажется страннымъ сочетаніе поэзіи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ; но вспомнимъ, что этому человѣку съ горячимъ сердцемъ и съ реальными страстями предстоялъ выборъ между падающимъ язычествомъ, темнымъ аскетизмомъ неоплатониковъ и свободнымъ взглядомъ тогдашняго матеріализма. Сказки мифологіи граціозны и милы, особенно для насъ, знающихъ, что это сказки; во время Лукреція онѣ становились противны; противодѣйствіе язычеству было въ модѣ, въ хорошемъ тонѣ; напрасно Цицеронъ краснорѣчиво хотѣлъ талейрановски пройти между философіей и язычествомъ, примирить ихъ внѣшнимъ образомъ и сочетать въ насильственный и невозможный бракъ; Юлій Цезарь въ засѣданіи сената открыто сказалъ, что не вѣритъ въ безсмертіе души, а потомъ Сенека повторилъ это со сцены. Извѣстно, какъ строго былъ въ отношеніи къ мнѣніямъ древній греко-римскій міръ, особенно во время Лукреція; спустя полвѣка послѣ него, цезари догадались, что имъ надобно поддерживать всею властью своей язычество. Калигула въ томъ же сенатѣ разсказывалъ о таинственныхъ видѣніяхъ и былъ горячій поклонникъ кумировъ, о rendez-vous, назначенныхъ ему луною, и проч.; Гелиогабалъ еще болѣе.

Лукрецій начинаеть à la Hegel съ бытія и небытія, какъ съ дѣятельныхъ началъ взаимодействующихъ и сосуществующихъ; эти логическія абстракціи выражены у него языкомъ атомистовъ: атомы и пустота—вотъ полюсы, вотъ крайности, стремящіяся къ равновѣсію. Атомы несутся въ безконечной пустотѣ, встрѣчаются, летятъ вмѣстѣ, проникаютъ другъ въ друга, сочетаются въ тѣла въ то время, какъ другіе теряются въ неизмѣримой пустотѣ ¹⁾. Возникаютъ цѣлые міры тамъ, гдѣ встрѣчаются условія возникновенія, и гибнутъ міры тамъ, гдѣ эти условія нарушены; но эта гибель и это возникновеніе относятся только къ частямъ; совокупность же всего сущаго, все обнимаемая въ себѣ, вѣчна и безконечна: «стрѣла пущенная можетъ

¹⁾ Кстати замѣтить здѣсь, что древніе были самые плохіе химики (въ теоретическомъ смыслѣ); однако они предвидѣли и догадывались о химическомъ сродствѣ; они понимали, что извѣстныя вещества съ одними соединяются, имѣютъ къ нимъ симпатію, съ другими нѣтъ (гомеомерія).

летѣть цѣлыя вѣка и все такъ же быть далекою отъ конца все-ленной, какъ въ первую минуту, когда она пущена»; вселенная живетъ въ этихъ видоизмѣненіяхъ, это ея жизнь, ея развитіе, которыя и составляютъ ея цѣль. Милое физическое невѣжество иногда невольно срываетъ улыбку, когда читаешь Лукреція, котораго доля лжи и истины уже очевидна изъ сказаннаго; но чаще онъ увлекаетъ пламенемъ, струящимся черезъ всю поэму; такого сочувствія съ жизнью отъ Лукреція до Гёте вы не встрѣтите. Да и только въ древнемъ мірѣ могла прійти въ голову и такъ исполниться мысль—изложить космологію и физику въ поэмѣ, стихами! Это потому, что они именно съ пластической стороны смотрѣли на все, тѣмъ болѣе на природу. Любовь къ жизни, любовь къ наслажденію и мудрая мѣра въ нихъ, пренебреженіе смерти ¹⁾ и какой-то братски-родственной взглядъ на все живое,—вотъ философія Лукреція. Онъ бросился въ физику, потому что язычество съ своимъ фатумомъ и съ своими олимпійцами подозрительнаго поведенія не удовлетворяли; онъ торжественно въ каждой пѣсни провозглашаетъ, что Эпикуръ величайшій изъ грековъ, что съ него началась нравственность, нравственность сознательная, человѣческая, которой мѣшали всякія привидѣнія языческой религіи ²⁾; что съ тѣхъ поръ нравственность имѣетъ мѣрило въ самомъ человѣкѣ, и проч. Ставъ на эту точку, гонимый своимъ огненнымъ сердцемъ, разумѣется, онъ пошелъ до всякихъ крайностей, но по дорогѣ встрѣтилъ и высказалъ бездну прекраснаго. Одно изъ лучшихъ мѣстъ въ его поэмѣ—это его геогонія; онъ рассказываетъ развитіе планеты отъ стихійной борьбы до того уравновѣшеннаго состоянія, когда показались растенія; потомъ заставляетъ *особенно* разившіяся растенія скучать своей привязанностью къ землѣ и оторваться отъ стебля,—это животное; и, наконецъ, человѣкъ, родившійся прямо изъ земли на стеблѣ. Хотя все это нѣсколько смѣшно, но поэтичѣе мудроно себя представить переходъ отъ растеній къ животнымъ, какъ представляя цвѣтокъ, оторвавшійся отъ стебля и полетѣвшій бабочкой; замѣтите, что Лукрецій при этомъ упоминаетъ, что необходимыя условія возникновенія органической жизни—теплота и влага. Отвергая безсмертіе души, онъ принимаетъ какую-то эфирную душу, которая такъ легка и жидка, что какъ вылетитъ, такъ и пропадетъ въ безконечной пустотѣ; составныя части ея бываютъ разны: такъ, у льва душа захватила въ себя огню, а у оленя холоднаго

¹⁾ Лукрецій, между прочимъ, въ утѣшеніе умирающихъ, говоритъ, что всѣ мертвые—ровесники, ибо для нихъ нѣтъ времени.

²⁾ Вспомните краснорѣчивыя страницы августиновой *de Civitate Dei* и его обличенія всей суежности и непослѣдовательности языческой религіи, всей уродливости ея нравственности.

вѣтра! Теперь земной шаръ старѣется, и оттого онъ утратилъ способность производить новые роды, а только поддерживаетъ прежніе. Онъ произвелъ ихъ въ свою юность, когда внутри его кипѣли въ преизбыткѣ силы; тогда даже являлись уродливыя существа, которымъ впоследствии природа отказала въ правѣ на жизнь (итакъ, Лукрецій предполагалъ ископаемыя животныя?).

Historia Naturalis Плинія—энциклопедія, задуманная и выполненная колоссально—представляетъ общій сводъ знаній космологическихъ, физическихъ, географическихъ и проч. Это сочиненіе показало бы рубежъ, далѣе котораго знаніе природы не шло въ римскомъ мірѣ, если-бъ слѣдомъ за нимъ не явился Галенъ; но Галенъ занимался исключительно медициной, и потому его открытія, сверхъ собственно-патологическихъ, всѣ относятся къ физиологіи и анатоміи; о нервной системѣ до Галена имѣли очень сбивчивое понятіе, называли часто нервами связки, сухія жилы; наконецъ, и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ узнавали ихъ, имъ приписывали невѣрно и смутно ихъ отправленія. Галенъ первый показалъ, что нервы идутъ изъ мозга, что въ нихъ и въ мозгу вся причина сочувствованія, что нервъ заставляетъ по волѣ сжиматься мышцы и, слѣдовательно, есть органъ, управляющій движеніемъ. Онъ доказалъ это тѣмъ, что мышцы лишаются свойствъ движенія, если перерѣзать управляющій нервъ, и именно лишаются ниже перерѣза, т. е. въ части, разобщенной съ мозгомъ. Съ тѣхъ поръ стали душу, т. е. ея мѣсто, искать исключительно въ головномъ мозгу ¹⁾).

Воззрѣніе Плинія вообще идетъ изъ тѣхъ же началъ, какъ воззрѣніе Лукреція, но онъ богаче свѣдѣніями и болѣе послѣдователенъ своему взгляду; его взглядъ опредѣленъ исчерпывающимъ образомъ имъ самимъ. «Вселенная, говоритъ онъ, вмѣстѣ съ небомъ, покрывающимъ ее со всѣхъ сторонъ, представляется вѣчнымъ, безпредѣльнымъ существомъ, непроисшедшимъ, непреходящимъ. Исслѣдованіе того, что внѣ вселенной, людямъ бесполезно, да и, сверхъ того, оно неудобопонятно для ума человѣческаго; вселенная свята, вѣчна, неизмѣрима, вся во всемъ, сама все. Она конечна и похожа на безконечное, правильна во всѣхъ явленіяхъ своихъ и похожа на лишенную пра-

¹⁾ Галенъ первый замѣтилъ, что артеріи наполнены кровью, а не воздухомъ; при разсѣченіи труповъ, разумѣется, артеріи всякой разъ представлялись пустыми, и до Галена полагали, что въ нихъ обращается воздухъ. Между прочимъ, Галенъ говоритъ: если-бъ людямъ удалось узнать составъ воздуха, объяснилась бы животная теплота: „горніе поддерживается тѣмъ же, чѣмъ жизнь“. Это предвѣдніе кислорода! Въ XVI вѣкѣ Цивалпинъ вѣдумалъ доказывать, что центръ нервной системы въ сердцѣ, а Цивалпинъ былъ очень и очень ученый докторъ. Вотъ каковы были средніе вѣка для естествовѣдѣнія!

вильности (необходима и, повидному, случайна); она все обнимает видимое на свѣтѣ и во тьмѣ спрятанное; она произведеніе сущности вещей и въ то же время сама сущность вещей». Не надобно однако думать, что Плиній очень глубокомысленно понималъ то, что высказалось такъ поэтически. Онъ далеко отстаеетъ отъ Аристотеля,—мысль потеряла свою свѣжесть и ясность, она слишкомъ облеклась въ риторическія формы, была слишкомъ внѣшня. Плиній, напр., не могъ уразумѣть намека пифагорейцевъ и Аристотеля о тяготѣніи, а говоритъ, что легкія тѣла стремятся вверхъ, тяжелыя внизъ, мѣшаютъ другъ другу и на взаимномъ противодействіи остаются въ равновѣсіи: такъ, земной шаръ не падаетъ оттого, что атмосфера его поддерживаетъ. Какъ могъ обширный умъ его удовлетвориться такими жалкими объясненіями,—это столько же непонятно, какъ разные анекдоты, приводимые имъ среди дѣльныхъ зоологическихъ описаній, наприм., о рыбѣ *ehineis*, которая останавливаетъ корабли дѣйствіемъ своихъ мышцъ, объ андрогинахъ, переходящихъ изъ пола въ полъ, о женщинахъ, родившихъ слона, объ астомахъ, питающихся воздухомъ. Древніе съ дѣтской довѣрчивостью вѣрили и опыту и преданію, принимая фактическій міръ за такую же дѣйствительность, какъ міръ мысли, какъ міръ традиціонный, и ставя легенды въ число фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, единство бытія и мышленія, факта и понятія, составляло непосредственное вѣрованіе ихъ, мѣшавшее рефлексіи и анализу, не позволявшее возникнуть истинной наукѣ и совершенно свойственное артистическому дилетантизму; оттого они такъ часто путаютъ эмпирію съ діалектикой, опытъ съ преданіемъ, ставя ихъ на одну доску, переходя прозвольно отъ одного къ другому.

Декабрь, 1844 г.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

С х о л а с т и к а.

Греко-римская жизнь, дряхлѣя, отрицала, мало по малу, то тотъ основной элементъ свой, то другой; но все это были полумѣры, событія болѣе, нежели убѣжденія, или убѣжденія, не переходившія въ событія. Философія съ Сократа, и даже до него, стремилась снять односторонность эллинскаго воззрѣнія и во многомъ отрицала его, — но отрицала внутри извѣстнаго круга, за предѣлы котораго, несмотря на всю жизненность свою, она рѣдко переходила. Историческія событія вводили обычаи, прямо противоположные религіознымъ нормамъ древней жизни; но они прививались тайкомъ и безсознательно; напр., обоготвореніе цезарей фактически снимало язычество, перенося боговъ совѣмъ на иную почву; статуя представляла мистическое сочетаніе камня съ самою всеобщей человѣческой или божественной сущностью; поклоненіе Клавдію или Нерону смѣшивало божественное съ существующимъ человѣкомъ,—это своего рода атеизмъ. Основы гражданскаго устройства древнихъ республикъ считались единими истинными, и были поруганы какой-то нелѣпой пародіей на нихъ во время имперіи. Всѣ эти отрицанія, вы видите, недобросовѣстны, лукавы, отрывочны. Образованные люди видѣли нелѣпость язычества, были вольнодумцы и кощуны, но язычество оставалось, какъ официальная религія, и на улицѣ они поклонялись тому, надъ чѣмъ ругались дома, потому что чернь стояла за него; иначе и быть не могло: у ней только и оставалось. Ни у кого не было храбрости открыто, громогласно отрицать основанія древней жизни,—да и во имя чего могла возникнуть такая высокая дерзость? Внутри римской жизни могло явиться мрачное, печальное отрицаніе Секста-эмпирика, глумливое, злое Лукіана, холодно-образованное Плинія, или, наконецъ, отрицаніе разврата и безучастія, того душевнаго холода и чувственнаго огня, которому нѣтъ дѣла до религіознаго и гражданскаго порядка, но который плачетъ объ умершей Муренѣ и рукоплещетъ умирающему гладиатору, поднося къ губамъ изображеніе *божественнаго*, т. е. царствующаго на сію минуту цезаря. Отрицанія обновляющаго, созидающаго не было въ римской жизни, или оно было только въ возможности принять христіанство.

Христіанство является совершенно противоположнымъ древнему порядку вещей; это не то половинное и безсильное отрицаніе, о

которомъ мы говорили ¹⁾, а отрицаніе, полное мощи, надежды, откровенное, безопадное и увѣренное въ себя. Возьмите «De Civitate Dei» Августина и полемическія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей,—вотъ какъ надобно отрекаться отъ стараго и ветхаго; но такъ можно отрекаться, имѣя новое, имѣя святую вѣру. Добродѣтели языческаго міра—блестящіе пороки въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотой которой склонялся грекъ, онъ видитъ чувственную наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь бы не служить Богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ служили богамъ ложнымъ. вмѣсто гордости—христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія, онъ обрекаетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чувственностью—онъ наслаждается лишеніями ²⁾. Христіанство было прямымъ, рѣзкимъ антитезисомъ тезису древняго міра. Многіе воображаютъ, что послѣднія три столѣтія такъ же отдѣлены отъ среднихъ вѣковъ, какъ средніе вѣка отъ древняго міра,—это несправедливо: вѣка реформаціи и образованности представляютъ послѣднюю фазу развитія католи-

¹⁾ Сравните *созидающее* разрушеніе блаженнаго Августина съ *esprits forts* древняго міра, или съ ихъ отчаяннымъ скрежетомъ зубовъ. Плиній, наприм., говоритъ, что единственное утѣшеніе людямъ состоитъ въ томъ, что боги также не всемогущи, не могутъ себя сдѣлать смертными, людей безсмертными, ни того, чтобъ прошедшее не было, или, чтобъ два раза десять не было двадцать. Онъ съ горькимъ упрекомъ замѣчаетъ, что люди, не довольствуясь Олимпомъ и не имѣя силъ отречься отъ него, выдумали себѣ новыя дѣянія, склонились передъ отвлеченными страшилищами—передъ *случаемъ* и *счастіемъ*, и трепещутъ безумно передъ собственными вымыслами. Лукіанъ—Вольтеръ той эпохи. Возьмите, напримѣръ, его *трагическую Юпитера*, это—комедія-буффа на Олимпѣ. Онъ представляетъ Юпитера, растерявшагося отъ спора эпикурейца, отвергающаго боговъ, съ стоикомъ; не зная, что дѣлать, Юпитеръ собираетъ совѣтъ. Начинается споръ, кому гдѣ сидѣть. Юпитеръ приказываетъ сперва усадить золотыхъ боговъ, потомъ мраморныхъ, и притомъ сперва праксителевой работы, потомъ другихъ мастеровъ. Нептунъ тутъ же объявляетъ, что онъ не сядетъ ниже какого-нибудь египетскаго урода изъ золота съ собачьей мордой. Велѣно быть безъ чиновъ. Вдругъ съ топотомъ и трескомъ переваливается Колоссъ родосскій и говоритъ, что онъ хотя и мѣдный, но мѣди въ него пошло больше, нежели золота въ иного золотого бога. Пока они вадорятъ и пока Юпитеръ собираетъ велѣныя мнѣнія, между которыми отличается мнѣніе олимпійскаго Скалозуба—Геркулеса, который проситъ позволенія покачать колонны портика, подъ которыми идетъ споръ, эпикуреецъ побѣждаетъ стоика, и Олимпъ въ дуракахъ. Можно было потрясти язычество, особенно въ извѣстномъ кругу людей, такими ѣдкими насмѣшками, но такое отрицаніе оставляло пустоту въ душѣ. И потомъ, порицающае язычество, тѣ же люди видѣли въ социализмѣ древняго міра идеаль; они хотѣли сохранить Римъ и Грецію съ ихъ гражданскимъ устройствомъ, одностороннимъ и тѣсно связаннымъ съ религіей.

²⁾ Выраженіе, принадлежащее Григорію-Назіанзину въ письмѣ къ Василію Великому: «Помнишь ли, говорить онъ, какъ мы наслаждались лишеніями и постомъ?»

дизма и феодальности; можетъ быть, они во многомъ перешли кругъ, котораго очертаніе сдѣлано было изъ Ватикана,—но тѣмъ не менѣе они представляютъ органическое продолженіе предъидущаго; всѣ основы социализма западно-европейскаго остались неприкосновенными, христіанство осталось нравственной основой жизни; новое понятіе о правѣ выросло на той же почвѣ римскаго, каноническаго и варварскаго права; различіе его состояло не въ различіи основаній, а въ иномъ (часто произвольномъ) толкованіи ихъ, болѣе сообразномъ съ новой степенью образованности. Ни Лютеръ, ни Вольтеръ не провели огненной черты между былымъ и новымъ, какъ Августинъ; у нихъ такая черта не имѣла бы смысла, точно такъ, какъ у Сократа, у Платона, переходившихъ во многомъ циклъ аѳинской жизни, но принадлежавшихъ къ ней.

Противоположность христіанскаго воззрѣнія съ древнимъ требовала не *передѣлки*, а пересозданія. Древній міръ—чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью и съ юношескою улыбкою, вездѣ пробивался къ мысли, и нигдѣ не могъ отрѣшиться отъ непосредственности, нигдѣ не умѣлъ идти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его художество было религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно задавленной каріатидой невольничества, его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей¹⁾, онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, а не человѣческую личность его. Юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонуть въ колодкахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декораціи, ограничивавшія горизонтъ древняго міра, исчезли,—открылась безконечная даль, которой и не подозрѣвалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы его показались мелки въ этомъ безбрежіи, а лицо человѣка, потерянное въ гражданскихъ отношеніяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосыгаемой высоты, искупленное Словомъ Божиимъ. Непосредственныя и гражданскія опредѣленія оказались второстепенными: личность христіанина стала выше сборной личности го-

1) Если нѣкоторые мыслители стояли выше общественнаго мнѣнія о нравственности, то это только значить, что они уже перешли предѣлы древняго воззрѣнія. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, Сенека всѣхъ выше: потому-то онъ и стоитъ на самомъ краю древняго міра.

рода; ей раскрылось все безконечное достоинство ея,—Евангеліе торжественно огласило права человѣка, и люди впервые услышали, *что они такое*. Какъ было не перемѣниться всему! Древняя любовь къ отечеству, высокая и прекрасная, но ограниченная и несправедливая, замѣняется любовью къ ближнему, узкая національность единствомъ въ вѣрѣ; Римъ съ гордостью удостоивалъ избранныхъ правомъ своего гражданства,—христіанство предлагало всѣмъ крещеніе водою. Древній міръ вѣрилъ безотчетно въ природу, въ ея дѣйствительность, принималъ ее какъ фактъ, принималъ потому, что видѣлъ своими глазами; для него природа была все, за ея предѣлами ничего; онъ видѣлъ во временномъ естественномъ вѣчное и духовное, онъ видѣлъ въ красотѣ высшее выраженіе вышшаго, никогда не могъ оторваться отъ природы,—п оттого никогда не зналъ ея. Новый міръ пменно въ матеріальную природу, въ явленія и не вѣрилъ; онъ отвергалъ дѣйствительность преходящаго, вѣрилъ событію духовному, принималъ красоту за низшее выраженіе вышшаго, не былъ пластиченъ, чувствовалъ свой разрывъ съ природой и стремился къ духовному примиренію съ ней въ мысленіи, къ искупленію природы въ себѣ. Древній міръ жилъ въ настоящемъ, вспоминалъ часто бывшее, но о будущемъ не думалъ; а если и являлась страшная мысль рока, преслѣдовавшая его безпрестанно, то это для того, чтобъ толкнуть человѣка къ наслажденіямъ, совѣтомъ въ родѣ *non curiamo l'incerto domani* застольной пѣсни изъ «Тукреція»: оттого—этотъ упоительный, чувственный *bien être* въ жизни, эта роскошь въ наслажденіяхъ, эта страстная нѣга, доходящая до поэтической увлекательности и до отвратительной животности, въ сравненіи съ которой нашъ комфортъ жалокъ и нашъ развратъ смѣшонъ. Для древняго міра, какъ будто, не было жизни за гробомъ; Ахиллъ сказалъ Улиссу въ преисподней, что онъ пошелъ бы въ рабы, лишь бы на землю; мысль о смерти пногда страшила ихъ, мысль о будущей жизни почти вовсе не занимала никого. Вѣра въ безсмертіе сдѣлалась, напротивъ, одной изъ красугольныхъ основъ христіанства; признавая вѣчность свою и преходимость естественнаго, человѣкъ совсѣмъ иначе взглянулъ на все окружающее его. «Два града сдѣлали двѣ любви: земной градъ любовь къ себѣ до пренебреженія Богомъ; градъ небесный—любовь къ Богу до пренебреженія собою» (*De Civ. Dei*).

Въ то время, какъ проповѣдованіе Евангелія измѣняло внутренняго человѣка, дряхлое устройство государственное оставалось въ явномъ противорѣчій съ догматами религіи. Христіане приняли римское государство и римское право; побѣжденный п отходящій міръ нашелъ средство проникнуть въ станъ побѣдителей. Восточная имперія, принявъ во всей чистотѣ евангельское

ученіе, осталась при той формѣ цезарскаго управленія, которое Діоклетіанъ—злѣйшій гонитель христіанства—развилъ до нелѣпости. Въ Западной имперіи, съ своей стороны, явился новый элементъ, также не христіанскій, элементъ тевтонизма, народнаго духа дикихъ полчищъ, страшныхъ въ невинной кровожадности своей, въ своей скитающейся неутомимости, въ своемъ дружинномъ братствѣ и любви къ необузданной волѣ. Надобно было усмирить, укротить дикарей; надобно было сломить ихъ желѣзную и задорную волю волей еще болѣе желѣзной и настойчивой. Эту великую задачу задали себѣ первосвященники римскіе; разрѣшая ее, они утратили свой характеръ чуждости всему мірскому; католицизмъ сорвалъ германца съ его почвы и пересади́лъ на другую, но самъ, между тѣмъ, пустилъ корни въ землю, которую стремился вытолкнуть изъ-подъ ногъ мірянъ; желая управлять жизнью, онъ долженъ былъ сдѣлаться практическимъ, печься о мнозѣ; отвергая эти заботы, онъ принялъ ихъ. Началась непрерывная борьба духовнаго порядка со свѣтскимъ; католицизмъ мало-по-малу побѣждалъ, побѣждалъ для того, чтобъ, наконецъ, спокойно насладиться плодомъ своихъ трудовъ въ лицѣ, наприм., Льва X, который больше похожъ на доблестнаго цезаря, нежели на намѣстника св. Петра. Въ эту борьбу послѣдовательно вовлеклись всѣ стороны тогдашней жизни; самыя странныя противорѣчія безпрестанно встрѣчаются въ одной и той же груди. Эта борьба Гвельфовъ и Гибелиновъ, повторявшаяся въ разныхъ видахъ, похожа на бой змѣи съ человѣкомъ, представленный Дантомъ,—бой, въ которомъ то человѣкъ дѣлается змѣей, то змѣя человѣкомъ; въ этой борьбѣ одного нѣтъ—эгоизма и холода, все увлечено, несется, крутится, и во всемъ элементъ безконечности и элементъ безумія.

Научный интересъ того времени сосредоточивался въ схоластикѣ. Схоластика—неловкій, жесткій и сухой амфибіи—замѣняла истинную науку до самыхъ временъ негодующаго безпокойства и освобожденія теоретической дѣятельности въ XVI вѣкѣ. Отношеніе свое къ истинѣ и къ предмету схоластика опредѣляла странно, чисто формально и совершенно несамостоятельно. Не думайте, чтобъ схоластика была вообще христіанской мудростью,—нѣтъ, ее ищите въ отцахъ церкви первыхъ вѣковъ, особенно восточныхъ. Схоластика была и не вполне религіозна и не вполне наукообразна; отъ шаткости въ вѣрѣ, она искала силлогизмы, отъ шаткости въ логикѣ—она искала вѣрованія; она предавала свой догматъ самому щепетильному умствованію, и предавала умствованіе самому буквальному приниманію догмата. Она одного боялась, какъ огня: самобытности мысли; ей лишь бы чувствовать помочи Аристотеля или другаго признаннаго ру-

ководителя. О естествовѣдѣніи не можетъ быть и рѣчи: схоластика такъ презирала природу, что не могла заниматься ею; природа страшно противорѣчила ихъ дуализму; природа не брала участія въ безконечныхъ спорахъ схоластиковъ: какого же она могла ожидать участія отъ нихъ, убѣжденныхъ, что высшая мудрость только и существуетъ въ ихъ опредѣленіяхъ, раздѣленіяхъ и проч.? Вообще они считали природу подлой работой, готовой исполнять своевольную прихоть человѣка, потворствовать всѣмъ нечистымъ побужденіямъ, отрывать отъ высшей жизни, и въ то же время они боялись ея тайнаго, демоническаго вліянія, увѣренные, что вся вселенная находится въ личныхъ отношеніяхъ съ каждымъ человѣкомъ—непріязненныхъ или мирволящихъ. Ясно, что, вмѣсто естествовѣдѣнія, явились астрологія, алхимія, чародѣйство. Съ ограниченной точки зрѣнія схоластическаго дуализма, значеніе всего естественнаго опредѣлялось превратно; все хорошее отнимали у природы и ставили внѣ ея, хотя никто и не спрашивалъ, гдѣ собственно ея предѣлы; все естественное, физическое покрывали завѣсой, стыдились тѣла,—въ немъ видѣли распутную наложницу духа и скорбѣли объ этой связи. Люди того времени представляли себѣ внутри земнаго шара Люцифера, жующаго Іуду и Брута, къ которымъ тяготитъ все тяжелое міра вещественнаго и все злое міра нравственнаго. Они хотѣли попать ногами, уничтожить временное, хотѣли не знать его; дуализмъ схоластики не имѣетъ въ себѣ ничего всѣхскорбящаго, примиряющаго, исполненнаго любви, хотя говорить объ ней очень много; это апотеоза отвлеченнаго, формальнаго мышленія, апотеоза личности эгоистической, сознавшей достоинство свое, но недостойной еще понять его, не правомъ пренебреженія природою, а правомъ освобожденія себя и природы въ дѣйствительномъ, вселюбящемъ мышленіи. Схоластики не уразумѣли настолько христіанства, чтобъ понять искупленіе *не отрицаніемъ конечнаго, а спасеніемъ его*. Христіанство снимаетъ собственно дуализмъ,—суровое воззрѣніе католическихъ теологовъ не могло постигнуть этого ¹⁾. Замѣтите, это одна изъ существеннѣйшихъ ошибокъ западнаго воззрѣнія, вызвавшая впоследствии только сильное противодѣйствіе. Оно придавало среднимъ вѣкамъ ихъ угрюмый, натянутый, темный характеръ. Міръ схоластическій печаленъ; это міръ искуса, міръ уничтоженія всего непосредственнаго, міръ скучнаго формализма и мертвеннаго взгляда на жизнь; мысль перестала быть «доблестною потребностью», какъ называлъ ее Аристотель; она мучитъ, терзаетъ средневѣковаго человѣка; она

¹⁾ Апостоль Павелъ къ коринтянамъ говоритъ: „Вся тварь ждетъ искупленія“. Этого не хотѣли понять схоластики.

сознала всю мощь раздвоения и прошла между сердцемъ и умомъ, между подлежащимъ и сказуемымъ, между духомъ и матеріей, желая все торжество предоставить внутреннему и имъ посрамить все внѣшнее. Единство бытія и мышленія шло такъ же впередъ у древнихъ, какъ ихъ противорѣчіе у схоластикомъ; иначе не возникли бы и знаменитые споры номиналистовъ и реалистовъ. Примѣръ какого-нибудь Рожера Бэкона, не презирающаго опыта, какого-нибудь Раймунда Луллія, бросающагося между тысячею фантастическими и поэтическими затѣями на химию, ничего не доказываетъ; такія отрывочныя явленія не имѣютъ связи со всѣмъ окружающимъ; разсудочный, сухой спиритуализмъ, буквальныя толкованія, логическія уловки, діалектическія дерзости и раболѣпіе передъ авторитетомъ—таковъ характеръ схоластики до реформаціи, до XVI вѣка. Въ концѣ этого вѣка погибъ Петръ Рамусъ за то, что смѣлъ возстать противъ Аристотеля; Джордано Бруно и Ваніни были казнены за ихъ ученія убѣжденія,—одинъ въ 1600, другой въ 1619 году. Какая же дѣйствительная наука могла развиться въ этой душной и узкой атмосферѣ? Одна формалистика—блѣдный плющъ, выросшій на тюремной оградѣ,—прозябала въ ней; ея томный, лунный свѣтъ былъ безъ теплоты и самобытности; ея вопросы ¹⁾ были такъ далеки отъ жизни и такъ мелочны, что ревнивая цензура папская выносила ее. Ученныя занятія въ это время получили характеръ чисто книжный, котораго они въ древнемъ мірѣ не имѣли; кто хотѣлъ знать, развертывалъ книгу, отъ жизни же и отъ природы отворачивался. Схоластики искали истину позади себя, они хотѣли ей *выучиться*, они думали, что она цѣликомъ написана, и, разумѣется, не двигались впередъ. Характеръ этотъ частію перешелъ въ кровь нѣмецкихъ ученыхъ.

Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго безпокойнаго сна, человечество собрало новыя силы на новый подвигъ мысли; въ XV вѣкѣ пробуждаются иныя требованія, тянетъ утреннимъ воздухомъ. Настала эпоха передѣлыванія. Вниманіе людей обращалось болѣе и болѣе на реальные предметы, на морскія путешествія, совершенныя тогда, на новую часть земного шара, на странную и отчасти обидную для схоластикомъ мысль Коперника, на то тихое, незамѣтное открытіе, сдѣланное въ душной мастерской, передъ горномъ, за станкомъ литейщика, о которомъ алхимикъ Клодъ Фролло сказалъ смиренному аббату *beati Martini*: «*seci tuera cetera*»; но оно убило не зодчество, а темноту. Въ Италіи всего ранѣе раз-

¹⁾ Предметы споровъ у схоластикомъ иногда паразительны; напр.: „Адамъ въ первобытномъ состояніи зналъ ли *Liber sententiarum* Петра Ломбардскаго, или нѣтъ?“

дались новыя требованія: мечтатель Ріензи вспомнилъ древній Римъ и хотѣлъ возстановить его; ему рукоплескалъ Петрарка, возстановитель классическаго искусства и поэтъ на *вулгарномъ* нарѣчїи. Греки набѣжали изъ Византіи и привозили съ собою руно, схороненное у нихъ въ продолженіи десяти вѣковъ. Другъ Козьмы Медичи, Марзилій Фицинъ, превосходно переводилъ Платона, Прокла и Плотина. Самое изученіе Аристотеля получило новый характеръ; доселѣ Аристотель былъ какимъ-то подавляющимъ гнетомъ, его изучали формально, механически, по уродливымъ переводамъ; теперь взяли подлинникъ. Правда, умы были до того развращены схоластикой, что ничего не умѣли понимать просто; чувственное воззрѣніе на предметы было притуплено, ясное сознаніе казалось пошлымъ, а пошлая логомахія безъ содержанія, опертая на авторитеты, была принимаема за истину; чѣмъ узорчатѣе, щеголеватѣе, непонятнѣе были формы, тѣмъ выше ставили писателя. Томы вздорныхъ комментарїевъ писались объ Аристотелѣ; таланты, энергіи, цѣлыя жизни трагались на самую бесполезнѣйшую логомахію; но, между тѣмъ, горизонтъ расширялся; собственное изученіе древнихъ писателей поневолѣ заносило мысли свѣжія и живыя; вліяніе ихъ было неизмѣримо. Слабая, непривычная къ самомышленію, лѣнивая и формальная способность средневѣковыхъ умовъ не могла сама собою отрѣшиться отъ безжизненной формалистики своей; у нея не было человѣческаго языка, на которомъ можно было бы говорить дѣло; наконецъ, ей было стыдно говорить о *дѣлѣ*, потому что она считала его вздоромъ.

Вдругъ найдена чужая рѣчь, готовая, стройная, выражавшая превосходно то, чего схоластическіе доктора и не умѣли и не смѣли высказать; мало этого — чужая рѣчь опиралась на славныя имена. Чувствующие свое несовершеннѣе нашли новые авторитеты и возстали противъ старыхъ. Все заговорило цитатами изъ Виргилія, Цицерона, а отъ Аристотеля, напротивъ, стали отрекаться. Патрицій представилъ, въ половинѣ XVI вѣка, папѣ Григорію XIV сочиненіе, въ которомъ обращалъ его вниманіе на противорѣчіе аристотелевскаго ученія съ церковью; этого противорѣчія не замѣтили лѣтъ пятьсотъ къ ряду добрые схоластики и доказывали догматы Аристотелемъ, Аристотеля — догматами. Наконецъ, въ одномъ изъ древнѣйшихъ средоточій схоластики и чуть ли не въ самомъ главномъ, въ Парижѣ, явился Гуссъ перипатетизма — Пьеръ la Ramée, и объявилъ, что онъ противъ всѣхъ готовъ защищать тезисъ: «Все ученіе Аристотеля ложно». Крикъ негодованія раздался между учеными, онъ дошелъ до дворца Франциска I; король назначилъ надъ нимъ судъ, для того, чтобъ *осудить* его. Рамусъ

защищался, какъ левъ, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и онъ послѣ этого пошелъ скитаться по всей Европѣ, изгнанный и преслѣдуемый, бранясь, переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Пятьдесятъ лѣтъ боролся этотъ человекъ съ Аристотелемъ и, наконецъ, погибъ въ борьбѣ. Онъ проповѣдовалъ противъ стагирита, точно такъ же, какъ гугеноты проповѣдали противъ папы. Сходство его съ протестантами очень велико; онъ былъ прозаичнѣе, можетъ быть, пошлѣе, плоче своихъ враговъ, плоче многихъ комментаторовъ Аристотеля (Помпонація, наприм.), но у него были практическія и своевременныя требованія; онъ гнушался формализмомъ и словопреніемъ; ему хотѣлось приложенія, пользы; онъ былъ ниже Аристотеля, такъ, какъ многіе протестанты ниже католическаго воззрѣнія; но онъ боролся съ Аристотелемъ схоластики такъ, какъ протестанты съ католицизмомъ XVI вѣка. Около того же времени является торжественная и непрерывающаяся процессія людей мощныхъ и сильныхъ, приготовившихъ пропилю новой наукѣ; во главѣ ихъ (не по времени, а по мощи) Джордано Бруно, потомъ Ванини, Карданъ, Кампанелла, Тилезій, Парацельсъ ¹⁾ и др. Главный характеръ этихъ великихъ дѣятелей состоитъ въ живомъ, вѣрномъ чувствѣ тѣсноты, неудовлетворительности въ замкнутомъ кругѣ современной имъ науки, во всепоглощающемъ стремленіи къ истинѣ, въ какомъ-то дарѣ провидѣнія ея.

Время возстанія противъ схоластики исполнено драматическаго интереса. Читая біографіи, развертывая писанія энергическихъ людей, рвавшихъ цѣпи, которыя опутывали науку, вы увидите разомъ двойную борьбу, въ которую они были вовлечены. Одна совершается въ ихъ душѣ—борьба психическая, трудная, волнующаяся ихъ непрерывно, придающая многимъ изъ нихъ эксцентрической, почти судорожный видъ. Другая борьба наружная, оканчивающаяся на кострѣ, въ темницѣ; ибо схоластика, уstraшенная нападками, спряталась за инквизицію, смертными приговорами возражала на смѣлые тезисы противниковъ и, вырывая ихъ языкъ клещами палача, заставляла умолкать. Многихъ удивляетъ шаткая непослѣдовательность ихъ и мужественная воля, неполнота, такъ сказать, ихъ мысли, и полнота самоотверженія; но развѣ можно сразу отдѣлится отъ историческихъ предразсудковъ? Не отъ непониманія зависитъ эта шаткость. Истина всегда бываетъ проще нелѣпости, но умъ человека вовсе не одна возможность пониманія, не *tabula rasa*: онъ засоренъ со дня рожденія историческими предразсудками, повѣрьями и проч.; ему трудно возстановить нормальное отношеніе свое къ простому пониманію,

¹⁾ Первый профессоръ химіи отъ сотворенія міра.

особенно въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Что удивительнаго, что Парацельсъ вѣрилъ въ алхімію, Карданъ называлъ себя магомъ ¹⁾? Имъ трудно было вырвать изъ груди мнѣнія, освященныя вѣками, трудно было примирить ихъ съ восходящимъ свѣтомъ сознанія. Они, впрочемъ, и не сдѣлали этого. Они были такъ восторженны, что не могли порядкомъ установиться; это эпоха первой любви, упоенія, не знающаго мѣры, эпоха новости поражающей; не ищите у нихъ строгой, наукообразной формы; ими только открыта почва науки, ими только освобождена мысль, содержаніе ея понято больше сердцемъ и фантазіей, нежели разумомъ.

Вѣка должны были пройти прежде, нежели наука могла развить методой тѣ истины, которыя Джордано Бруно высказалъ восторженно, пророчески, вдохновенно. Это принятіе въ кровь и плоть своихъ убѣжденій придавало имъ ихъ личную мощь, поддерживало ихъ въ борьбѣ внѣшней: гонимые, скитальцы изъ страны въ страну, окруженные опасностями, они не зарыли изъ благоразумнаго страха истины, о которой были призваны свидѣтельствовать; они высказывали ее вездѣ; гдѣ не могли высказывать прямо,—одѣвали ее въ маскарадное платье, облекали аллегоріями, прятали подъ условными знаками, прикрывали тонкимъ флѣромъ, который для зоркаго, для желающаго, ничего не скрывалъ, но скрывалъ отъ врага: любовь догадливѣе и проникательнѣе ненависти. Иногда они это дѣлали, чтобъ не испугать робкія души современниковъ; иногда, чтобъ не тотчасъ попасть на костеръ. Легко въ наше время человѣку развивать свое убѣжденіе, когда онъ только и думаетъ о болѣе ясной формѣ изложенія; въ ту эпоху это было невозможно. Коперникъ скрывалъ свое открытіе авторитетами, взятыми изъ древнихъ философовъ, и, можетъ быть, одно это спасло его лично отъ гоненій, впоследствии обрушившихся на Галилея и на всѣхъ послѣдователей его. Надобно было хитрить... «Хитрость, говоритъ одинъ мыслитель, женственность воли, иронія дикой силы». Макиавелли зналъ кой-что объ этой хитрости. Все вмѣстѣ придавало тогдашнимъ дѣятелямъ характеръ трепетнаго безпокойства и волненія. Они не были въ полномъ миру ни съ собою, ни съ окружающимъ. Истинно спокойнѣе или человѣкъ, принадлежащій зоологіи, или тотъ, кто, однажды кончивъ съ собою, видитъ согласіе своихъ внутреннихъ убѣжденій съ наружнымъ міромъ. Они были безпокойны, потому что окружающій ихъ порядокъ становился пошлымъ и нелѣпымъ, а внутренній былъ потрясенъ; разглядѣвъ то и другое, они не могли

¹⁾ Даже Бэконъ Веруламскій не могъ совершенно отдѣлаться отъ астрологіи и магіи.

скрыть своего распадёнія, не могли не быть безпокойными. Такимъ людямъ, какъ Бруно, не дается великій талантъ счастливо и спокойно жить въ средѣ, прямо противоположной ихъ убѣжденіямъ.

Для живого примѣра одушевленнаго, юношескаго мышленія этой эпохи, передамъ вамъ нѣсколько главныхъ мыслей Джордано Бруно, который, безъ сомнѣнія, оставляетъ далеко за собою всѣхъ товарищей своихъ ¹⁾. Главная цѣль Бруно—развить и понять жизнь, какъ единое, всемірное, безконечное начало и исполненіе всего сущаго, понять вселенную, какъ эту единую жизнь, понять самое единство это безконечнымъ единствомъ разума и бытія, единствомъ, побѣдоносно проторгающимся черезъ ряды многообразія. Вотъ краеугольные камни всего ученія Бруно, прямо противоположнаго дуализму схоластики. Такъ какъ жизнь одна, умъ одинъ и одно единство ихъ связуетъ, слѣдовательно, заключаетъ Бруно, если мы возьмемъ умъ въ цѣлости всѣхъ его моментовъ, мы все сущее подведемъ подъ него; не есть ли это прямое предвѣдѣніе логической философіи нашего времени? «Природа, говорить онъ, внутри своихъ предѣловъ можетъ все сдѣлать изъ всего, а умъ можетъ все узнать изъ всего»; природу и умъ онъ понимаетъ двумя моментами одного развитія. «Одна и та же матерія проходитъ всѣми формами: то, что было зерномъ, дѣлается травой, колосомъ, хлѣбомъ, питательнымъ сокомъ, зародышемъ, человѣкомъ, труномъ, землею... Но есть нѣчто, остающееся самимъ собою отъ этого развитія,—матерія; она безусловна, ея проявленія условны; матерія *все*, потому что она ничего въ особенности; дѣятельная возможность формы присуща ей; она развивается жизнью до своего перегиба въ умъ; въ природѣ слѣды идеи (*vestigium*); за ея физическимъ бытіемъ (*postnaturalia*) начинается понятіе, тѣнь идеи (*umbra*). Ни произведенія природы, отдѣльно взятыя, ни понятія никогда не достигаютъ полноты. Такъ, наприм., каждый человѣкъ въ каждую минуту все то, что онъ можетъ быть въ эту минуту, но не все то, что онъ вообще можетъ быть по своей сущности... Вселенная же, напротивъ, дѣйствительно все, что можетъ быть на самомъ дѣлѣ и разомъ, ибо она обнимаетъ всю вещественность вмѣстѣ съ вѣчными и неизмѣнными формамп ея измѣняющихся произведеній; въ этомъ состоитъ ея великое единство, себѣ равенство. Во вселенной вездѣ средоточіе; въ ней средоточіе и окружность не раздѣлены, такъ, какъ наибольшее не отдѣлено отъ наименьшаго,—на всякомъ мѣстѣ владыче-

¹⁾ Самое подробное изложеніе Бруно, со множествомъ выписокъ, у Буле въ «*Gesch. der neueren Philosophie*», II Band, отъ 703 до 856. Въ геттингенской библіотекѣ Буле нашель много неизвѣстныхъ сочиненій Бруно и ими пользовался.

ство Божіе. «Но, прибавляетъ Бруно, недостаточно для истины понять единство только какъ точку соединенія различій: надобно такъ понять его, чтобъ умѣть снова вывести и всѣ противорѣчія». Представьте себѣ, какъ должны были раскрыться рты докторовъ *sublissimorum, dialecticorum*, когда они услышали эту глубокую, вдохновенную рѣчь! Прибавлю еще выписку, чтобъ показать, какой поразительно вѣрный взглядъ имѣлъ онъ о злѣ. «Между *тѣнями идеи* нѣтъ дѣйствительнаго противорѣчія; одно понятіе соединяетъ прекрасное и уродливое, доброе и злое. Несовершенное, злое не имѣютъ собственной идеи, на которой бы они покоились, по которой бы опредѣлялись (какъ по своему идеалу); между тѣмъ, все дѣйствительное предполагаетъ идею и понятіе; но въ томъ и дѣло, что понятіе злого въ другомъ (въ противоположномъ); своего понятія у зла нѣтъ; напротивъ, понятіе, отъ котораго оно зависитъ, отрицаетъ дѣйствительность его, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ зло представляетъ какое-то существующее небытіе, нѣчто отрицательное (*non ens in ente, vel, ut apertius dicam, defectus in effecto*). Гегель, мнѣ кажется, не отдалъ всей справедливости Бруно, не потому ли уже, что Шеллингъ поставилъ его такъ высоко? Последнее очень понятно. Бруно — живая, прекрасная связь между неоплатонизмомъ, котораго вліяніе на немъ весьма замѣтно, и натурфилософіей Шеллинга, на которую онъ, въ свою очередь, имѣлъ большое вліяніе. Гегель не хотѣлъ узнать въ Бруно человѣка новаго міра такъ, какъ не хотѣлъ видѣть въ Бемѣ человѣка средневѣковаго; или, можетъ быть, въ груди величайшаго германскаго мыслителя лежала народная связь съ *theosopho teutonico*, а романская горячая и реальная кровь итальянца не была ему такъ родственна. Бемъ — великій человѣкъ; но это не мѣшаетъ Джордано Бруно стоять подлѣ него, потому что и онъ великій человѣкъ¹⁾. Оставляя Италію, замѣтимъ, что романскому племени былъ предоставленъ блестящій починъ новой науки. Но собственно въ *новой философіи* оно мало участвовало, какъ будто оно истощило всю умозрительную способность свою на это начало, — оно, такъ богатое способностями на все другое! Какъ будто *новая философія*, философія реформаціи, дуализмъ выше схоластическаго, но все же дуализма, обманула ожиданія живой и реальной мысли романской, которая уже въ концѣ XVI столѣтія стояла выше дуализма. Если это такъ, мысль романская можетъ явиться завершительницею начатаго?

Въ это время возбужденности, энергіи, люди со всѣхъ сторонъ протестовали противъ средневѣковой жизни, вездѣ отрекались

¹⁾ Мы не минуемъ Бема, хотя, надобно сказать, въ исторіи науки онъ мало имѣлъ вліянія; его наукообразно поняли только въ нашемъ вѣкѣ.

отъ нея, во всемъ требовали переменъ: церковь римская оканчивала борьбу съ лютеранизмомъ страдательнымъ принятіемъ протестантовъ за совершенное событіе; схоластика рѣшительно видѣла несостоятельность свою противъ напора новыхъ идей, т. е. идей древняго міра. Наука, искусство, литература—все переменялось на античный лады, такъ, какъ готическая церковь снова уступила мѣсто греческому периптеру и римской ротондѣ. Классическое возрѣніе заставило людей ясно смотрѣть на вещи; латинскій языкъ Рима приучилъ къ мужественной рѣчи, къ энергическому обороту; до этого времени употреблялась латынь школы, блѣдная, искаженная, неловкая и потерявшая свою душу, такъ сказать; древніе писатели очеловѣчили неестественныхъ людей средневѣковыхъ, разбудили ихъ отъ эгоизма романтической сосредоточенности и психическихъ раздраженій. Помните, какъ Гёте рассказываетъ въ «Римскихъ Элегіяхъ» вліяніе итальянскаго неба на него, выросшаго въ сѣренькомъ климатѣ Германіи,—таково было дѣйствіе классической литературы на ученыхъ XVI столѣтія. Въ сторону пошлые споры схоластическіе! воскликнулъ средневѣковый челоуѣкъ: дайте упитись одами Горация, дайте подышать подъ этимъ свѣтлымъ лазоревымъ небомъ, посмотрѣться на роскошныя деревья, подъ тѣнью которыхъ и кубки съ сокомъ виноградныхъ гроздій дозволены, и страстные объятія любви перестаютъ быть преступленіемъ! Humanitas, humanitas ¹⁾ раздавалось со всѣхъ сторонъ, и челоуѣкъ чувствовалъ, что въ этихъ словахъ, взятыхъ отъ *земли*, звучитъ vivere memento, идущее на замѣну memento mori, что ими онъ новыми узами соединяется съ природой; humanitas напоминало не то, что люди едѣлаются землей, а то, что они вышли изъ земли, и имъ было радостно найти ее подъ ногами, стоять на ней; католическая строгость и германская народная наклонность къ грустной мечтѣ приготовили къ этому крутому перегибу! Конечно, если мы пристально всмотримся въ дѣйствительную жизнь среднихъ вѣковъ, то увидимъ, что она болѣе наружно покорялась велѣніямъ Ватикана и романтическому настроенію; жизнь вездѣ восполняла полутайкомъ недостаточныя и узкія основанія средневѣковаго быта, довольствуясь періодическими раскаяніями, наружными формами, и потомъ, для большаго удобства, покупкою индульгенцій. Тѣмъ не менѣе тогдашняя жизнь была сумрачна, натянута; соедѣ скрывалъ отъ сосѣда подъ условными формами и простую мысль и мелькнувшее чувство; онъ стыдился ихъ, онъ боялся ихъ. Романтизмъ имѣлъ въ себѣ много задушевнаго, трогательнаго, но мало свѣтлаго, простаго, откровеннаго; конечно, челоуѣкъ

¹⁾ Homo отъ humus.

и тогда предавался радости, наслажденіямъ,—но онъ это дѣлалъ съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ мусульманинъ пьетъ вино; онъ дѣлалъ уступку, отъ которой самъ отрекался; уступая сердцу, онъ былъ униженъ, потому что не могъ противостоять влеченію, котораго не признавалъ справедливымъ. Грудь человѣческая, изъ которой невозможно было изгнать реальныхъ потребностей, тяжело подымалась, рвалась къ жизни болѣе ровной; всегдашняя натянутость такъ же надоѣла человѣку, какъ всегдашнее вооруженіе рыцарю; хотѣлось мира внутренняго,—этого романтизмъ дать не могъ: онъ весь основанъ на не согласіи, на противорѣчіяхъ; его любовь—платонизмъ и ревность; его надежда въ могилѣ; безвыходная тоска—основа его внутренней жизни: вся его поэзія—въ этой роющей тоскѣ, вѣчно сосредоточенной на своей личности, вѣчно растрavляющей мнимыя раны, изъ которыхъ текутъ слезы, а не кровь; въ этихъ мученіяхъ вся нѣга эгоистическаго романтика, добродушно считающаго себя самоотверженнымъ мученикомъ; искомый *миръ*, искомый покой представляли на первый случай искусство древняго міра, его философія. Къ суровому готическому воззрѣнію начали прививаться мягкіе, человѣческіе элементы древней цивилизаціи; романтикъ сталъ догадываться, что первое условіе наслажденія—забыть себя; онъ сталъ на колѣни передъ художественными произведеніями древняго міра; онъ научился поклоняться изящному безкорыстно; мысль греко-римская воскресена для него въ блестящихъ ризахъ; въ тысячелѣтнемъ гробѣ успѣло предаться тлѣнію то, что должно было истлѣть: очищенная, вѣчно юная, какъ Ахиллъ, вѣчно страстная, какъ Афродита, явилась она людямъ,—и люди, всегда готовые увлечься, оскорбительно забыли романтическое искусство, отворачивались отъ его дѣвственныхъ красотъ и стыдливой закутанности. Поклоненіе древнему искусству—не временная прихоть; оно ему подобаешь; это единственное право, оставшееся за нимъ на вѣчную жизнь; это его истина, которая преждти не можетъ: это безсмертіе Греціи и Рима;—но и готическое искусство имѣло свою истину, которую уничтожить нельзя было; въ эпоху противодѣйствія некогда дѣлать такой разборъ.

Европа приняла древнюю образованность такъ, какъ Россія, во время Петра I, приняла въ свою очередь образованность европейскую. Нельзя не замѣтить, впрочемъ, что классическое образованіе, распространившееся по всей Европѣ, было образованіемъ аристократическимъ; оно принадлежало *неопредѣленному*. но тѣмъ не менѣе дѣйствительному сословію *образованныхъ* людей *proprie sic dictum*, легистамъ, духовнымъ, ученымъ, рыцарямъ,—по мѣрѣ того, какъ они изъ вооруженной аристократіи переходили въ придворную; наконецъ, всѣмъ матеріально обезше-

ченнымъ и празднымъ. Крестьяне, городская *чернь*, т. е. бѣдные мѣщане, работники, пролетаріи, не только не участвовали въ этой перемѣнѣ, но рѣзче и глубже распались съ искусственно-образованною средою, нежели прежде. Новые языки, вошедшіе около того же времени въ употребленіе, не сблизили ихъ; на *вульгарныхъ* нарѣчіяхъ писались и говорились латинскія и греческія мысли, такъ, какъ въ среднихъ вѣкахъ по-латынѣ говорились, конечно, вовсе не римскія вещи. Массы отъ этого переворота пали въ грубѣйшее невѣжество; прежде для нихъ были трубадуры, легенды; проповѣдники говорили для нихъ, монахи посѣщали ихъ, была между высшимъ образованіемъ и ими связь; теперь все талантливое, образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящіе его сердцу; и замѣьте при этомъ, что новая цивилизація не успѣла такъ переработаться въ сущность принявшихъ ее, чтобъ позволить имъ свободно, т. е. по своему, выражаться. Поэты, воспѣвая греческихъ боговъ и римскихъ героев, цѣликомъ брали свои восторги у Виргилія; прозаики писали и говорили цicerоновски,—печальная и безучастная толпа не слушала ихъ: она лишилась своихъ пѣвцовъ съ сказками и сагами, потрясавшими такъ сильно сердца ея знакомыми звуками и родными образами. Это распаденіе съ массами, вырощенное не на феодальныхъ предразсудкахъ, а вышедшее полусознательно изъ самой образованности, усложнило, запутало развитие истинной гражданственности въ Европѣ. Аристократія образованности, знанія несравненно оскорбительнѣе аристократіи крови: она не основана на непосредственности, на темной вѣрѣ, а на сознательномъ превосходствѣ, на гордомъ пренебреженіи массъ; искусственная образованность, которая шла на замѣну феодальному готизму, была надменна и смотрѣла свысока; вы можете найти эту надменность во всѣхъ ея представителяхъ, въ Вольтерѣ и Боленброкѣ, точно такъ, какъ въ доктринерахъ революціи 30 года и въ берлинскихъ катедральныхъ философахъ. Но геній Европы не потерялся отъ этого раздвоенія, не сталъ ходить съ понурой головой, оплакивая бывшее и приходя въ отчаяніе, что не умѣетъ переварить въ себѣ совершившагося событія. Мало ли временнаго зла проходитъ рядомъ съ вѣчнымъ благомъ, даже въ частной жизни одного семейства, не только въ сложной многоначальной жизни цѣлаго народа; зло—несчастное, но иногда необходимое условіе добра—проходитъ; добро остается; сильная натура перерабатываетъ въ себѣ зло, борется съ нимъ, побѣждаетъ; сильная натура умѣетъ выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, умѣетъ похоронить милое себѣ и, оставаясь вѣрною ему, идти на новое дѣйствіе и на новые труды; а слабыя натуры теряются въ своемъ плачѣ объ утратѣ, хотятъ невозможнаго, хотятъ прошед-

шаго, не умѣють найтись въ дѣйствительности и, какъ этрурійскіе жрецы, поють однѣ похоронныя пѣсни, не имѣя смысла разглядѣть новой жизни и брачныхъ гимновъ ея.

Если классическое образованіе миновало массы и отрѣзало отъ нихъ высшія сословія, то, напротивъ, реформація съ своими расколами не миновала ихъ. Мистицизмъ и ученія, возбужденныя протестантизмомъ, его таинственная простота, явившаяся замѣнить величественный ритуаль католицизма, его догматическіе вопросы дотронулись до совѣсти каждаго человѣка. Даже британская натура забыла свое практическое настроеніе и бросилась въ лабиринтъ теологическихъ тонкостей; про Германію и говорить нечего. Слѣдствія этихъ споровъ, распрей, были сообразны духу народному: для Англій—Кромвель, Пенсильванія; для Германіи—Яковъ Бемъ; скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Самопознаніе раскрывается не въ одной наукѣ; логическая форма—послѣдняя, завершающая, далѣе которой собственно вѣдѣніе не идетъ. Наука не только не исключительный органъ самопознанія, но она весьма долго неудобный, неготовый органъ для него; конечно, наука, въ абсолютномъ смыслѣ, вѣчная органика истины; но пора согласиться, что въ дѣйствительности, т. е. во времени, въ исторіи все обусловлено, и что только объ исторической наукѣ и можетъ идти рѣчь, когда говорится о дѣйствительномъ развитіи. Въ логикѣ все совершенно *sub specie aeternitatis*; потому-то временное и не нашло еще въ ней своего тождества съ вѣчнымъ. Пока разумъ и истина раздвоены, пока форма и содержаніе противопоставлены другъ другу, до тѣхъ поръ наука не въ состояніи вывести полную истину самопознанія или полное самопознаніе истины,—что все равно. Человѣкъ сознаетъ себя, пока разрабатывается высшая форма, болѣе и болѣе въ другихъ сферахъ дѣятельности, путями опытности, событій и своего взаимодѣйствія съ внѣшнимъ міромъ, путями восторженнаго поэтическаго предвѣдѣнія. Сначала, самопознаніе человѣка—его *инстинктъ*, несознательная разумность животнаго, темныя, непреодолимыя влеченія, удовлетвореніе которыхъ, успокоивая животную сторону, возбуждаетъ сторону человѣческую; возникающій разумъ развертываетъ свое содержаніе въ два направленія. Въ практической области онъ является какъ слагающееся общинное житіе, какъ житейская мудрость поведенія, дѣйствованія, какъ многосторонняя связь трудовъ, работъ съ окружающей средою, какъ развитіе нравственной воли; мысль, вырабатывающаяся въ этихъ сферахъ, имѣетъ всю полноту и жизненность конкретнаго и всю неуловимость его въ отвлеченную форму; все практическое является частнымъ, условнымъ, единовременнымъ удовлетвореніемъ физической или нравственной потребности; вы-

сокій смыслъ ея творческой совокупности теряется отъ стука молотовъ, отъ пыли, отъ раздробленности. Между тѣмъ, какъ только человѣкъ отеръ потъ послѣ тяжкаго труда устройства, у него явилось уже требованіе на иное удовлетвореніе, его ужъ что-то беспокоитъ, и дѣтскій разумъ его, нераздѣльный съ чувствами, не понимающій всѣхъ средствъ своихъ, начинаетъ облекать природу и мысли въ пеструю, яркую одежду дѣтскаго воображенія. Необузданныя сначала фантазіи, уравниваясь, принимаютъ стройный и изящный видъ художественнаго произведенія; въ художественномъ произведеніи дѣйствительно сочеталось содержаніе съ содержимымъ; въ немъ мысль непосредственна и непосредственность одухотворена; въ статуѣ человѣкъ видитъ внѣ себя примиреніе, которое онъ ищетъ, поклоняется ему и называетъ его Аполлономъ или Палладой. Но это ненадолго; беспокойная мысль раздѣдаетъ художественное произведеніе, подчиняетъ себѣ форму, низводитъ ее на степень символики, а сама восходитъ на высоту вдохновеннаго, таинственнаго созерцанія. Самопознаніе находитъ въ этой символикѣ образъ; глаголь, облегчающій ему уразумѣніе невыразимой, но носящейся въ сознаніи истины; здѣсь образъ не есть уже живое и единственное тѣло идеи, какъ въ художественномъ произведеніи; символическій образъ готовъ, передавъ вамъ смыслъ свой, послуживъ сосудомъ истины, исчезнуть, распутиться въ свѣтѣ самосознающей мысли; этотъ мерцающій полупрозрачный образъ отражаетъ человѣку его черты, но черты преображенныя, просвѣтленныя; человѣкъ узнаетъ себя въ нихъ, и боится узнать себя. Символика—языкъ, вдохновенный іероглифъ мистическаго самопознанія. Языкъ Пивагора и Прокла, языкъ Якова Бема, принимаемые ими образы всегда могутъ быть понимаемы разнo: они, какъ зеркало, разуму отражаютъ разумъ, а чувственности—чувственность. Легкіе и одухотворенные іероглифы въ грубыхъ рукахъ чувственныхъ мистиковъ, возвращающихся къ матеріализму изувѣрствомъ, дѣлаются дивящими призраками; духъ, ихъ одушевлявшій, религиозная мысль ихъ отлетаетъ, кружевное покрывало, едва колебавшееся между человѣкомъ и истиной, превращается въ сырой, могильный саванъ, и яркая мысль, свѣтившаяся въ очахъ вдохновеннаго созерцанія, замѣняется мрачно безумнымъ взглядомъ мага и кабаллиста. Я считалъ необходимымъ напомнить вамъ все это, приближаясь къ странному лицу Якова Бема. Его вдохновенное, мистическое созерцаніе, истекавшее изъ святаго источника, привело его къ возрѣнію такой необъятной ширины, о которой наука его времени не смѣла мечтать,—къ такимъ истинамъ, которыя человѣчество узнало вчера, а Бемъ жилъ слишкомъ двѣсти лѣтъ тому назадъ. И то же высокое ученіе Бема, облекаясь въ странныя мистическія и алхи-

мическія одежды, дало основу самымъ эксцентрическимъ, самымъ безумнымъ отклоненіямъ отъ простосердечнаго принятія истины: сведенборгіанцы, Экартсгаузенъ, Штиллингъ и ихъ послѣдователи, Гоэнло и нынѣшніе германскіе духовидцы, заклинатели, прокаженные, испорченные, всѣ эти кликуши разныхъ нечитаемыхъ журналовъ и разныхъ сумасшедшихъ домовъ большую долю своего мракобѣсія почерпнули изъ Якова Бема.

Полнаго очерка Бемова ученія я не имѣю возможности передать вамъ; мы ограничимся нѣсколькими чертами; впрочемъ, ex ungue leonem!

Языкъ Бема теменъ, безграмотенъ; но его рѣзкая и оригинальная рѣчь—полна сильной, огненной поэзіи. Вотъ основныя мысли его философіи природы. «Все возникаетъ отъ *да* и *нѣтъ*. *Да*, взятое помимо отрицанія, помимо *нѣтъ*,—вѣчный покой, все и ничего, вѣчное молчаніе, свобода отъ всякаго мученія и, слѣдственно, отъ всякой радости, безразличіе, невозмущаемая тишина. Но *да* и не можетъ существовать безъ *нѣтъ*; оно необходимо присуще его выходу изъ безразличія. *Нѣтъ*, само по себѣ, ничего, а ничего—стремленіе къ чему-нибудь (eine Sucht nach Etwas). *Да* и *нѣтъ*—не разное, но различенное; безъ различенія не было бы ни образа, ни сознанія, жизнь была бы вѣчнымъ безстрастнымъ, равнодушнымъ истеченіемъ; желаніе предполагаетъ, что чего-либо *нѣтъ*, къ чему мы стремимся. *Нѣтъ* останавливаетъ безконечную лучезарность положительнаго и на точкѣ ихъ встрѣчи закипаетъ жизнь; это перегибъ, удерживающій безконечное развитіе для конечной опредѣленности. Единство, выступая въ многообразіе, непремѣнно расчленяется и, развиваясь въ этомъ расчлененіи, возвращается сознаніемъ къ новому духовному единству... Свѣта не было бы, если-бъ не было тьмы, или если-бъ онъ и былъ, то, безпрепятственно разсѣиваясь, что освѣщаль бы онъ? Но свѣтъ самъ собою ставитъ тьму, тоска безразличности стремится къ различенію; на этомъ основана вѣчная потребность *быть чѣмъ-нибудь* (Etwasseinwollen); въ этой потребности раздвоенія проявляется *я* (т. е. субъективность) природы... Открывая собою божественную и вѣчную волю, природа—произведеніе тихой вѣчности; она образуетъ, производитъ и расчленяетъ для того, чтобъ радостно сознать себя;... что сознаніе выражаетъ словомъ, то образуетъ природа въ свойства. Первое свойство вѣчной природы (Бемъ отдѣляетъ вѣчныя свойства отъ временнаго проявленія ихъ: первая онъ называетъ вѣчной природою, вторая физической природой)—безусловное *желаніе* сдѣлаться чѣмъ-нибудь; второе—*противодѣйствіе*, останавливающее желаніе, перегибъ, причина страданій и жизни; третье—*чувствительность*, самосознаніе свойствъ; четвертое—*огонь*, блескъ, до котораго поднялось есте-

ственное и мучительное разрушеніе предыдущихъ свойствъ; пятое—*любовь*; шестое—*звукъ*, гласность и пониманіе свойствъ между собою; седьмое—*сущность*, какъ носящая личность, какъ субъектъ шести предыдущихъ свойствъ, какъ ихъ душа... Все въ природѣ открываетъ себя; природа всему даетъ языкъ; самоочертаніе— глаголъ, которымъ вещь проявляетъ свое внутреннее. Быть только внутреннимъ невыносимо; внутреннее стремится быть наружнымъ. Вся природа звучитъ о своихъ свойствахъ и показываетъ себя... Въ сосредоточенной жизни природы открывается *сущность* (какъ мысль человѣка), а въ желаніи (человѣка) лежитъ стремленіе одѣйствоваться (по Бему, обнаружиться природой). Наружная природа образуется изъ шести вѣчныхъ свойствъ; въ седьмомъ она успокоивается, какъ въ субботѣ своей... Вода, воздухъ ближе къ безразличному единству, какъ все мягкое, лишенное рѣзкости; напротивъ, твердыя тѣла выше своею сложностью расчлененіями, снятыми уже въ нихъ. По видимому міру, по солнцу, звѣздамъ, элементамъ, тварямъ можно опредѣлять ихъ причину; ибо ни одна вещь не имѣетъ основы индѣ, а основа и причина ея необходимо тамъ, гдѣ она возникла. Истинная причина всему, послѣдняя основа—божественный духъ вездѣ сущій... Онъ не далекъ, онъ близокъ, умѣй только видѣть его», говоритъ восторженный Бемъ: «человѣкъ тупой, скажу я невѣрующему,—если ты думаешь, что нѣтъ въ тебѣ самомъ божественнаго, то ты не образъ и не подобіе Божіе; если ты разрозненъ съ Нимъ, то какъ ты сдѣлаешься однимъ изъ сыновъ Его?»

Изъ того же начала необходимаго расчлененія стремится Бемъ вывести зло и все дурное. Зло онъ принимаетъ за одно изъ условій феноменальнаго бытія; начало его общее съ добромъ, качество есть уже зло, какъ ограниченность, какъ эгоистическое отторженіе отъ единства, какъ обособленіе и исключеніе всѣхъ другихъ свойствъ. Латинское слово *qualitas* Бемъ поэтически (хотя нельзя сказать, что тутъ поэзія заодно съ грамматикой) производитъ отъ нѣмецкихъ словъ *Qual*—мученіе и *Quellen*—истекать, качество мучиться (*die Qualität quält sich ab*); чтобъ освободиться во всеобщемъ единствѣ, оно чувствуетъ недостатокъ, потому что оно *ничто* физическое, алчное все усвоить себѣ, себялюбивое; но это отчужденіе побѣждается просвѣтленіемъ, и то, что было страданіемъ во тьмѣ, расцвѣтаетъ наслажденіемъ въ свѣтѣ; все, что было страхомъ, ужасомъ, трепетомъ, станетъ крикомъ радости, звономъ и пѣніемъ... Зло—необходимый моментъ въ жизни и необходимо переходимый... Безъ зла все было бы такъ же безцвѣтно, какъ безцвѣтенъ былъ бы человѣкъ, лишенный страстей; страсть, становясь самобытною,—зло, но она же источникъ энергіи, огненный двигатель... Доброта, не имѣющая въ себѣ зла, эгоистиче-

скаго начала,—пустая сонная доброта. Зло врагъ самого себя, начало безпокойства, непрерывно стремящееся къ успокоенію, т. е. къ снятію самого себя...

Довольно съ васъ. Если вы желаете подъ этими странными словами понять широкія мысли, отвсюду просвѣчивающія у Бема, вы ихъ увидите даже въ бѣдныхъ выпискахъ, сдѣланныхъ мною. Если же его слова вамъ (какъ прежде васъ многимъ) покажутся бредомъ,—я не берусь васъ разувѣрить...

Основанія реформаціоннаго возрѣнія столько же способствовали наукообразному развитію мышленія, сколько феодализмъ мѣшалъ ему; пытлиное изслѣдованіе получило законное право; вглядываясь пристально въ споры того времени и манеру ихъ, чувствуешь отраду и грусть; вы видите, что мысль побѣждаетъ, что ей даютъ вездѣ мѣсто, что она признана, но съ тѣмъ вмѣстѣ видите, что она суха, холодна, формальна, что она убила бы жизнь, если-бъ жизнь можно было убить. Въ наукѣ, побѣда надъ средневѣковымъ возрѣніемъ не была такъ торжественна, такъ полна, какъ въ области искусства: Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо сдѣлали невозможнымъ дуализмъ въ эстетикѣ; въ наукѣ, католическій идеализмъ, называвшійся схоластикой, былъ побѣжденъ протестантской схоластикой, называемою идеализмомъ. Какъ художественность составляетъ управляющій характеръ греческой эпохи, такъ точно отвлеченное мышленіе является главной чертой эпохи реформаціонной, дуализмъ школьный и до чрезвычайности прозаической; съ развитіемъ его жизнь мелѣетъ, становится безцвѣтнѣе ¹⁾. Въ лѣтописяхъ этой науки, мы не будемъ болѣе встрѣчать ни величественно пластическія личности гражданъ-мудрецовъ древняго міра, ни строгія, мрачныя лица средневѣковыхъ докторовъ, ни энергическія, огненные черты людей переворота въ XVI столѣтіи. Философы, какъ люди, стираются болѣе и болѣе; ихъ отвлеченныя занятія, ихъ ученые интересы дѣлаютъ ихъ чуждыми жизни; послѣ Бруно философія имѣетъ одну великую біографію *del gran Ebreo* науки (Спинозы) ²⁾. Гегель довольно странно объясняетъ это; онъ говоритъ, что въ новое время гражданское достигло того разумнаго совершенства, при которомъ индивидуальностямъ нѣчего болѣе заботиться о внѣшнемъ, и каждому указано свое мѣсто. Внутреннее и внѣшнее, думаетъ онъ, стоятъ самобытно и такъ, что внѣшній порядокъ идетъ самъ собою и че-

¹⁾ Странное дѣло: въ протестантизмѣ, какъ и въ дѣлѣ науки, романскіе народы являются только на заглавномъ листѣ съ своимъ Брешианскимъ Ариолдомъ и Жироламомъ Саванаролой, съ своими гугенотами; потомъ они представляютъ міру германическому собрать первые плоды, какъ будто выжидая чего-либо.

²⁾ Развѣ прибавить Лейбница и Фихте?

ловѣкъ можетъ, не думая о немъ, учредить свой внутренній міръ самъ собой. Я думаю, несовсѣмъ легко доказать это германской исторіей отъ Вестфальскаго мира до нашего вѣка; но какъ бы то ни было, Гегель высказалъ совершенно нѣмецкую мысль—*non vitia hominis* ¹⁾!..

¹⁾ *Gesch. der Phil., Th. III, p., 276 и 277.* Всего лучше доказываетъ эту мысль длинная біографія Гегеля, написанная Розенкранцомъ и вышедшая съ годъ тому назадъ; въ ней есть высокаго интереса отрывки изъ гегелевыхъ бумагъ и почти безъ всякаго интереса жизнеописаніе: нѣмецкая жизнь безъ событий, съ перемѣною кафедръ, *mit Sparrbüchsen für die Kinder, Geburts-Feiertagen, etc.*

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Декартъ и Бэконъ.

Hier können wir sagen sind wir zu Hause, und können wie die Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See «Land!» rufen ¹⁾. Такъ привѣтствуетъ Гегель Декарта. «Съ Декарта, продолжается онъ, начинается *настоящее отвлеченное мышление*: вотъ начала, изъ которыхъ разовьется *чистое умозрѣніе*, новая наука—наша наука».

И мы скажемъ: берегъ,—но въ противоположномъ смыслѣ; для Гегеля это берегъ, къ которому приплываетъ мысль, какъ къ спокойной гавани своей, къ гавани, съ которой начинается ея царство. Мы, напротивъ, видимъ въ *новой* философіи берегъ, на которомъ мы стоимъ, готовые покинуть его при первомъ попутномъ вѣтрѣ, готовые сказать спасибо за гостепрѣимство и, оттолкнувъ его, плыть къ инымъ пристанямъ. Судьба новой философіи совершенно сходна съ судьбою всего реформаціоннаго: ничего стараго не оставлено въ покоѣ, ничего новаго съ основанія не воздвигнуто; на сооруженіе новыхъ зданій шелъ старый кирпичъ, и они вышли не новыя и не старыя; все реформаціонное сдѣлало огромные шаги впередъ; все было необходимо и все оставилось на полдорогѣ. Странно было бы, если бы наука этой эпохи начинаній совершила одна свое дѣло. Наука не имѣетъ силы отрѣшиться отъ прочихъ элементовъ исторической эпохи: напротивъ, она есть сознательная, развитая мысль своего времени; она дѣлитъ судьбы всего окружающаго. Она, съ своей стороны, громко протестуя противъ схоластики, всосала въ свои жилы схоластику. Чистое мышленіе—схоластика новой науки, такъ, какъ чистый протестантизмъ есть возрожденный католицизмъ. Феодализмъ пережилъ реформацію; онъ проникъ во всѣ явленія новой жизни европейской; духъ его видѣлся въ ополчавшихся противъ него; правда, онъ измѣнился, еще болѣе правда, что рядомъ съ нимъ возрастаетъ нѣчто дѣйствительно новое и мощное; но это новое, въ ожиданіи совершеннѣйшаго, находится подъ опекой феодализма, живого, несмотря ни на реформацію Лютера, ни на реформацію послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка.

¹⁾ Теперь мы можемъ сказать, что мы *дома*; подобно мореплавателямъ, долго носившимся по бурному морю, мы можемъ воскликнуть «земля!» (Gesch. der Phil. Т. III., стр. 328. и еще тамъ же, стр. 275).

Да и какъ ему быть не живымъ? Съ чѣмъ онъ боролся до сихъ поръ? Вспомните,—съ незрѣлыми начинаніями, съ неразвитыми всеобщностями, съ частными нападками, съ поправками, дѣлаемыми внутри его собственныхъ предѣловъ. Феодализмъ грубый, прямой, замѣнился феодализмомъ рациональнымъ, смягченнымъ; феодализмъ, вѣровавшій въ себя,—феодализмомъ, защищающимъ себя, феодализмъ крови—феодализмомъ денегъ. Схоластика занимаетъ мѣсто феодализма науки: могла ли она послѣ этого быть вполнѣ наукой, берегомъ? можно ли ждать, что человѣкъ въ ней будетъ дома?—Нѣтъ!

Дуализмъ схоластическій не погибъ, а только оставилъ обветшалый мистико-кабалистическій нарядъ и явился чистымъ мышленіемъ, идеализмомъ, логическими абстракціями; тутъ великій прогрессъ, этимъ путемъ, т. е. возводя дуализмъ во всеобщую сферу мысли, философія поставила его на лезвіе ножа, привела прямо къ выходу изъ него. Новая наука начинается съ той задачи, на которой остановилась древняя наука, съ той точки, такъ сказать, на которую древній міръ возвелъ мышленіе. Она подняла задачу древняго міра, но не рѣшила ея; она привела только къ рѣшенію ея—и остановилась, чувствуя, можетъ быть, что рѣшеніе это будетъ съ тѣмъ вмѣстѣ ея смертный приговоръ, т. е., что она изъ существующихъ дѣятельныхъ властей перейдетъ въ исторію. Гегель поступилъ, можетъ быть, откровеннѣе, нежели хотѣлъ; можетъ быть, радостныя слова «берегъ», «дома» у него вырвались невольно; этимъ восклицаніемъ онъ неразрывно сочталь свою судьбу съ реформаціонной наукой. Впрочемъ, стоять на одномъ берегу съ Спинозой не стыдно!

Все сказанное нами никакъ не должно закрыть всю величину переворота въ мышленіи и весь прогрессъ, прибрѣтенный наукой чрезъ него. Со времени Декарта, наука не теряетъ своей почвы; она твердо стоитъ на самопознающемъ мышленіи, на самозаконности разума.

Философія древняя и новая философія составляютъ два великія основанія будущей науки; обѣ онѣ неполны, обѣ носили въ себѣ элементы не научные, обѣ были великими приуготовительными моментами, безъ которыхъ, дѣйствительно, полная наука не могла бы развиться,—обѣ прошли. Вы помните, древняя философія всегда имѣла въ себѣ одинъ элементъ непосредственности, фактъ, событіе, упавшее, какъ аэролитъ, и принимаемое за истину по чувству, по довѣрію къ жизни, къ міру. Такъ она принимала самое единство бытія и мышленія; она была права въ сущности дѣла, но не права въ образѣ принятія: это было вѣрованіе, инстинктъ, тактъ истины, если хотите, но не сознателная мысль. Такой непосредственный элементъ прямо проти-

воположенъ понятію науки. Средневѣковое возрѣніе было противодѣйствіемъ противъ непосредственности; но это его не спасло отъ того же недостатка: оно отрѣзало послѣднюю нить пуповины, прикрѣплявшей человѣка къ природѣ, и человѣкъ, совершенно обращенный внутрь міра рефлексіи, въ немъ одномъ искалъ рѣшенія вопросовъ; но этотъ міръ духовный былъ чисто личный, онъ не имѣлъ предмета. «Дѣйствительность существа, превосходно замѣтилъ Джордано Бруно, обусловлена дѣйствительнымъ предметомъ». Предметъ средневѣковаго человѣка былъ онъ самъ, какъ отвлеченная сущность; отрицать непосредственность такъ же мало наукообразно, какъ принимать ее безъ мысли. Умъ, сосредоточенный въ себѣ, занимаясь только собою, «впалъ въ сухую, жалкую схоластику и плелъ изъ себя паутину очень тонкую и узорчатую, но совершенно ненужную», какъ говоритъ Бэконъ. Довѣріе человѣка къ уму привело схоластику къ признанію дѣйствительнымъ всякой логически построенной нелѣпости, и такъ какъ у нихъ содержанія не было, то они его брали изъ фантазіи, изъ психологической непосредственности, опираясь на него точно такъ, какъ эмпирикъ опирается на опытъ. Итакъ, съ одной стороны, тяжелый камень, съ другой — ужасная пустота, населенная призраками. Люди переворота увидѣли невозможность дойти до чего-либо схоластикой и возненавидѣли ее; но отрицаніе схоластики не есть еще чиноположеніе новой науки; поэтическое провидѣніе Джордано Бруно — такъ же мало наука, какъ дерзкія отрицанія Ванینی. Первая необходимая задача, вопросъ, отъ котораго мыслящей головѣ нельзя было отвернуться, состоялъ въ разрѣшеніи мышленіемъ отношенія самого мышленія къ бытію, къ предмету, къ истинѣ вообще. И дѣйствительно, съ этимъ вопросомъ на устахъ является новая наука въ мірѣ. Отецъ ея, безъ сомнѣнія, Декартъ. Значеніе Бэкона совсѣмъ иное: о немъ послѣ.

Декартъ долго занимался науками такъ, какъ онѣ преподавались въ его время; потомъ бросилъ книги: онѣ ему не разрѣшили ни одного сомнѣнія, не удовлетворили его ни въ чемъ. Онъ такъ же ясно, какъ Бэконъ, увидѣлъ, что старый корабль средневѣковой жизни тонетъ и разрушается, не спорилъ съ его лоцманами, какъ дѣлали его предшественники, а бросался въ море, чтобъ достигнуть новаго берега. И такъ же, какъ Бэконъ, онъ рѣшился *начать съ начала*, начать совершенно свободно въ средѣ мышленія. Много надобно было твердости, чтобъ дерзнуть и на этотъ разрывъ съ былымъ, и на это воздвиженіе новаго. Декартъ, мучимый неувѣренностью, а, можетъ быть, и совѣстью, съ посохомъ паломника въ рукѣ, ходилъ къ лоретской Божіей Матери просить ея помощи въ начатомъ трудѣ, и тамъ, распростертый

передъ нею, молился примирить его сомнѣнія. Приступъ Декарта къ дѣлу—величайшая заслуга его; дѣйствительное и вѣчное начало наукообразнаго развитія онъ начинаетъ съ безусловнаго сомнѣнія—вовсе не для того, чтобъ все истинное отвергнуть, а для того, чтобъ все истинное оправдать, но оправдать, освободивъ себя. Когда онъ поднялся въ страшно изрѣженную среду, въ которую не впустилъ ничего впередъ идущаго, когда въ этомъ мракѣ, въ которомъ все исчезло, кромѣ его самого, онъ сосредотчился въ глубинѣ духа своего, сошелъ внутрь своего мышленія, повѣрялъ свое сознание,—у него вырвалось изъ груди знаменитое подтвержденіе своего бытія: *cogito, ergo sum* (я мышлю, слѣдовательно существую). Отсюда неминуемо должно развиваться единство бытія и мышленія; мышленіе дѣлается аподиктическимъ доказательствомъ бытія; сознание сознаетъ себя неразрывнымъ съ бытіемъ,—оно невозможно безъ бытія. Вотъ программа всей будущей науки; вотъ первое слово возрѣнія, котораго послѣднее слово скажетъ Спиноза; вотъ тема, которую наукообразно разовьетъ Гегель. *Nosce te ipsum* и *Cogito, ergo sum*—два знаменитые лозунга двухъ наукъ, древней и новой. Новая исполнила совѣтъ древней, и *Cogito, ergo sum* отвѣтъ на *Nosce te ipsum*. Мышленіе—дѣйствительное опредѣленіе моего я. Но всѣ силы Декарта были потрачены на этотъ силлогизмъ, кажется, такъ простой, и который даже совсѣмъ не силлогизмъ. Устрашенный величіемъ своего начала, глубиной своего разрыва съ былымъ и настоящимъ, онъ качается, хватается за ключья стараго; прошедшее проникаетъ въ его душу; въ немъ схоластика, уже ослабѣвающая, падающая, снова воскресаетъ сильною и преображенною. Онъ подобенъ квакерамъ, пріѣхавшимъ въ Пенсильванію и перевезшимъ въ груди своей чрезъ океанъ старый бытъ, который и развился въ новомъ государствѣ. Признавъ сущностью своей одно мышленіе, неразрывно связанное имъ съ бытіемъ, Декартъ растолкнулъ мышленіе и бытіе, онъ принялъ ихъ за двѣ разныя сущности (мышленіе и протяженіе). Вотъ и дуализмъ, вотъ и схоластика, возведенная въ логическую форму. Чувствуя неловкость, онъ бросается въ формальную логику. Для него доказательство раціональное (въ мышленіи)—полное право на дѣйствительность, на истину; а истина должна доказываться не однимъ мышленіемъ, а мышленіемъ и бытіемъ. Эрдманъ ¹⁾, добросовѣстный нѣмецкій ученый, совершенно справедливо замѣтилъ, что Декартъ не могъ миновать такого развитія, иначе онъ не жилъ бы въ то время, въ которое жилъ. Его дѣло было—поднять знамя протестантизма въ наукѣ, провозгласить новый путь, провозгласить мышленіе исчер-

¹⁾ *Erdmann. Versuch einer Geschichte der neuern Philosophie. 1840—42. 1 Th. Descartes.*

пывающимъ опредѣленіемъ человѣка. Подвигъ, достаточный для одной личности! Отъ пронизательности Декарта не ускользнуло, что мышленіе и бытіе совершенно распадаются у него, что нѣтъ моста отъ одного къ другому, что это—равнодушныя, самодовлѣющія два; онъ понялъ и то, что, доколѣ они останутся сущностями, помочь нѣчѣмъ, ибо сущность потому и сущность, что она сама себѣ довлѣтъ. Декартъ принимаетъ (но не выводитъ) высшее единство, связующее противопоставленные моменты; мышленіе и протяженіе въ отношеніи къ верховному существу представляютъ атрибуты его, его разныя проявленія. Какъ дошелъ онъ до этого единства? *Врожденными идеями*. Стало-быть, его протестация противъ всякаго содержанія была неглубока! Психическая, неподлежащая логикѣ непосредственность проторгается, съ принятіемъ врожденныхъ идей, въ его науку. Декартъ, такимъ образомъ, сдѣлался въ одно и то же время величайшимъ и послѣднимъ оплотомъ схоластики; въ немъ схоластика преобразилась въ идеализмъ, въ трансцендентный дуализмъ, отъ котораго гораздо труднѣе было отдѣлаться, нежели отъ католической схоластики. Мы увидимъ живучесть схоластическаго элемента во всю эпоху новой философіи до сегодняшняго дня. Наука протестантизма могла только быть такая; если были иныя требованія, иныя симпатіи, болѣе дѣйствительныя — они не были наукообразны; она, начиная отъ Декарта, выработала методу, проложила дорогу, по которой изъ нея выйдутъ, дорогу, по которой она сама потому не пробѣжала, что ей нѣчего было везти.

Декартъ, умъ чисто математическій и отвлеченный, исключительно механически разсматривалъ природу; что-то суровое и аскетическое мѣшало ему понимать все живое. Строгая, геометрическая діалектика его безопадна; онъ былъ идеалистъ по внутреннему строенію души. Бытіе, матерію онъ понялъ какъ *протяженіе*. «Отъ всѣхъ другихъ свойствъ, говоритъ онъ, матерію можно отвлечь, но не отъ протяженія: оно одно ей существенно». Качество уступило мѣсто болѣе внѣшнему опредѣленію предмета—количеству; для математики растворялись всѣ двери въ естествовѣдѣніе, все подчинялось механическимъ законамъ, и вселенная сдѣлалась снарядомъ движущагося протяженія ¹⁾. Надобно замѣтить, впрочемъ, что, въ началѣ XVII вѣка, интересъ естествовѣдательнаго мышленія былъ вообще поглощенъ астрономіей и механикой; величайшія открытія совершались тогда въ обѣихъ отрасляхъ; это механическое возрѣніе, начинающееся съ Галилея и достигнувшее полноты своей въ Ньютонѣ, почти ничего не при-

¹⁾ Объ этомъ болѣе въ слѣдующемъ письмѣ.

несло конкретнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія; вліяніе его было благотворно (разумѣется, сверхъ астрономіи и механики)—только въ физикѣ. Декартовы понятія о природѣ, которыя, по закону возмездія, до того были идеалистически спиритуальны, что перегибались въ грубѣйшій механизмъ и матеріализмъ (что тогда же замѣтили особенно англійскіе и итальянскіе физики), почти не имѣли никакого вліянія на естественныя науки.

«Внимательно разсматривая, говоритъ Декартъ, мы увидимъ, что сущность вещества и тѣлъ состоитъ только въ томъ, что они имѣютъ протяженіе въ длину, ширину и глубину. Можетъ быть, тѣла не таковы, какъ намъ кажутся, можетъ, они обманываютъ наши чувства; но въ нихъ несомнѣнно истинно то, что я ясно, отчетливо понимаю и могу вывести умомъ; потому-то я признаюсь, что другой сущности тѣлесныхъ вещей, кромѣ геометрической величины, всячески дѣлимой, движимой и способной имѣть форму, я не принимаю, и ничего не разсматриваю въ матеріи, кромѣ дѣлимости, очертанія и движенія. Изъ математическихъ законовъ, опредѣляющихъ неотъемлемыя свойства бытія, все физическое объясняется и выводится съ величайшей строгостію; не думаю, чтобъ физикѣ нужны были иныя основанія». Въ матеріи, лишенной качествъ своихъ, понимаемой такимъ образомъ, нѣтъ внутренней силы; матерія Декарта — виртуальная пустота, нѣчто мертво-косное,—ему всегда надобно будетъ прибѣгать къ внѣшней силѣ. «Матерія во всей вселенной одна; всѣ перемѣны формъ имѣютъ свое основаніе въ движеніи. Движеніе есть дѣятельность, вслѣдствіе которой вещество изъ одного мѣста переходитъ въ другое,—перемѣщеніе частей тѣла относительно близъ лежащихъ. Движеніе и покой представляютъ разныя состоянія вещества: для движенія не болѣе силы надобно, какъ и для покоя. Надобно равно усиліе, чтобъ двинуть тѣло и чтобъ остановить его. Надобно усиліе для того, чтобъ остаться въ покоѣ. Отдаленіе тѣла есть обоюдное дѣйствіе; оба тѣла дѣятельны—одно, оставаясь на своемъ мѣстѣ, другое, отдаляясь (сила инерціи). Движеніе зависитъ отъ двигаемаго, а не отъ движущаго; нельзя сообщить движеніе одному тѣлу, не разрушивъ равновѣсія другихъ тѣлъ; отсюда цѣлыя системы движенія и сложность ихъ. Причина движенія—Богъ. За симъ идутъ общія механическія основанія динамики. Все сущее состоитъ изъ маленькихъ тѣлъ (*corpuscula*) и ихъ измѣненій въ величинѣ, мѣстѣ, сочетаніяхъ и переложеніяхъ. Жизнь органическая — одинъ ростъ, т. е. приращеніе чрезъ полученіе постороннихъ частицъ. Декартъ далъ физикамъ опасный примѣръ прибѣгать къ личнымъ гипотезамъ тамъ, гдѣ не достаетъ пониманья; такъ напримѣръ, движеніе небесныхъ тѣлъ онъ объяснялъ вихремъ, крутящимъ ихъ около солнца; стараясь математически

вывести всѣ явленія планетной жизни, онъ дѣлаетъ гипотезы, въ которыхъ самъ не увѣренъ *quamvis ipsa nunquam sic orta esse* ¹⁾; принимая тѣло совершенно постороннимъ духу, Декартъ никогда не могъ возвыситься до понятія жизни; свои физиологическія изысканія начинаетъ разсматриваніемъ тѣла, «какъ будто духа въ немъ нѣтъ». Но что же это за живое тѣло? кто ему далъ право такъ разсматривать его? Отсюда совершенно естественно предположеніе его, что тѣло—статуя или машина, сдѣланная изъ земли. «Если часы имѣютъ способность идти, то нѣтъ ничего труднаго понять, что и человѣкъ двигается, будучи такъ устроенъ». За симъ анатомическій и физиологическій разборъ тѣла, натянутый и наводящій какое-то уныніе. Декартъ, должно быть, самъ чувствовалъ, что всего не выведешь механически въ животномъ тѣлѣ, усердно занимался зоотоміей, но, какъ всѣ систематики, былъ глухъ къ голосу истины и гнулъ факты, какъ хотѣлъ; наприм., онъ объясняетъ крикъ собаки, какъ простую реакцію *этой машины* противъ дѣйствія палки. Если-бъ была машина, говорить онъ, устроенная внутри и снаружи, какъ обезьяна или другой звѣрь, то не было бы возможности понять различіе между ними. Одинъ человѣкъ не машина, потому что онъ имѣетъ языкъ, разумъ—душу. Разумная душа хотя и тѣсно связана съ тѣломъ, но насильственно, ибо она совершенно ему противоположна. Хотя душа собственно соединена со всѣмъ тѣломъ, однако главное жилище ея въ мозгу, и именно въ *одной железкѣ* (*Glandula Conapion*), въ срединѣ большого мозга (между прочимъ потому, что остальныхъ частей въ мозгу по парѣ; слѣдовательно, недѣлимая душа въ нихъ не иначе могла бы быть, какъ преимущественно въ одной части предъ другою). Могъ ли бы этотъ пустой вопросъ возникнуть, если-бъ Декартъ сколько-нибудь понималъ жизнь организма? Онъ органы животного считаетъ *только* механическимъ снарядомъ, приводимымъ въ движеніе непонятной силой. Движеніе невозможно, если вещественность только нѣмое, недѣятельное, страдательное наполненіе пространства; но это совершенно ложно: вещество носить само въ себѣ отвращеніе отъ тупого, бессмысленнаго, страдательнаго покоя; оно раздѣдаетъ себя, такъ сказать, *бродитъ* ²⁾, и это броженіе, развиваясь изъ формы въ форму, само отрицаетъ свое протяженіе, стремится освободиться отъ него,—освобождается, наконецъ, въ сознаниі, сохраняя бытіе.

¹⁾ Впрочемъ, можетъ быть, такіа фразы—официальная оговорка въ родѣ тѣхъ, которыя употреблялись Коперникомъ и даже Ньютономъ.

²⁾ Современники Декарта замѣтили мертвенность его вещества. Генрихъ Морусъ писалъ ему письмо, въ которомъ называетъ вещество *темной жизнью*, *materia utique vitam esse quandam obscuram, nec in sola extensione partium consistere, sed in aliquali semper actione*. R. Des. Epist. I. Ep. 4. XX.

Понятіе вещества не исчерпывается протяженіемъ; протяженіе недѣятельное, недвижимое взаимодействіемъ своимъ, — такое же отвлеченіе, какъ мышленіе безъ тѣла: это противоположные, крайніе моменты жизни.

Декарту было одно великое призваніе—*начать* науку и дать ей *начало*; онъ только для постановленія начала и могъ на минуту удержать напоръ схоластики и дуализма; какъ только онъ произнесъ свое *Cogito, ergo sum*—плотины были прорваны. Онъ началъ съ протестаціи противъ средневѣковой науки, но она была уже въ его жилахъ,—онъ далъ ей сильнѣйшую опору, онъ оправдалъ ее наукообразно. Но не всѣ требованія ума того времени выразились чисто наукообразно; мы видѣли это очень ясно по Бему. Во Франціи, на примѣръ, гораздо ранѣе Декарта образовалось особое, практически философское воззрѣніе на вещи, не наукообразное, не имѣющее произнесенной теоріи, не покоренное ни одному абстрактному ученію, ни чьему авторитету,—воззрѣніе свободное, основанное на жизни, на самомышленіи и на отчетѣ о прожитыхъ событіяхъ, отчасти на усвоеніи, на долгомъ, живомъ изученіи древнихъ писателей; воззрѣніе это стало просто и прямо смотрѣть на жизнь, изъ нея брало матеріалы и совѣтъ; оно казалось поверхностнымъ, потому что оно ясно, человѣчно и свѣтло. Германскіе историки отзываются о немъ съ пренебреженіемъ, съ *Vornehmthuerei*, можетъ быть, потому, что это воззрѣніе захватило отъ жизни ея неуловимость въ одну формулу; можетъ быть, потому, что оно говорило довольно понятнымъ языкомъ и часто занималось вопросами обыденной жизни. Воззрѣніе Монтеня, между тѣмъ, имѣло огромное вліяніе; впоследствии, оно развилось въ Вольтера и энциклопедистовъ; Монтень былъ въ нѣкоторомъ отношеніи предшественникъ Бэкона, а Бэконъ — геній этого воззрѣнія.

Противоположность Бэкона съ Декартомъ рѣзка; у Декарта была метода, но не было дѣйствительнаго содержанія, кромѣ формальной способности мышленія; у Бэкона было эмпирическое содержаніе *in studo*, но не было науки, т. е. оно не было вполне усвоено ему, именно потому что не пришло то время, въ которое дѣйствительно содержаніе могло быть такъ понято мышленіемъ, чтобъ развернуться въ наукообразной формѣ. Протестъ Декарта былъ сдѣланъ отъ теоріи, отъ чистаго мышленія; протестъ Бэкона—отъ того непокорнаго элемента жизни, который, улыбаясь, смотритъ на всѣ односторонности и идетъ своей дорогой. Результатъ средневѣковой жизни—этого міра ненавидящихъ исключительностей и насильственнаго расторгненія—долженъ былъ явиться раздвоеннымъ, двуглавымъ. Каждая сторона, выходя изъ односторонняго и прямо противо-

положнаго опредѣленія идеи, была далека отъ пониманья, что для истины равно нужны оба опредѣленія; каждая шла отъ своихъ началъ: начало Декарта—отвлеченное мышленіе, онъ хочетъ науку а priori; начало Бэкона—опытъ, для него истина только та, которая получена а posteriori. Вопросъ о мышленіи и бытіи Декартъ хочетъ рѣшить отвлеченно, трансцендентально, логически; Бэконъ—въ живыхъ областяхъ опыта и наблюдений. У обоихъ мысль совершенно освобождена въ началѣ; но одинъ не можетъ оторваться отъ абстракцій, а другой отъ природы: Декартъ все основываетъ на силлогизмѣ, принявъ за начало не силлогизмъ; Бэконъ не хочетъ силлогизмовъ, онъ хочетъ одного наведенія, какъ будто наведеніе не силлогизмъ. Одинъ все уничтожилъ, кромѣ мышленія, все отвергнулъ и съ одной вѣрою въ мысль шелъ на созданіе науки. Другой отправился отъ чувственной достовѣрности, отъ вѣры въ фактъ, отъ довѣрія къ великому посредству между природой и умозрѣніемъ, то есть къ наблюдению. Одинъ потерялъ и землю и небо при самомъ началѣ; другой обѣими ногами стоялъ на землѣ, уцѣпился за явление, и по вѣрности, по корѣ дошелъ до великихъ и многообъемлющихъ мыслей. Одинъ хочетъ физику подчинить математикѣ; другой математику называетъ служанкой физики. Одинъ видитъ въ матеріи только количественное опредѣленіе и думаетъ, что вещество можно отвлечь отъ качества; другой занимается однимъ качественнымъ опредѣленіемъ предмета, хотъ и зналъ мѣсто количественнаго опредѣленія. Оба, наконецъ, соединенные гучей ненавистью къ схоластикѣ, не понимаютъ и бранятъ Аристотеля и всѣхъ древнихъ; они обернули умы современниковъ, обращенные назадъ, и указали имъ впередъ; схоластика достигала прошедшаго, Бэконъ заговорилъ о прогрессѣ и будущемъ; оба имѣли свои односторонности.

Впрочемъ, Бэкона обвинить въ односторонности трудно. Бэконъ хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, науки дѣятельной, живой, науки о природѣ и изъ природы. Онъ хотѣлъ такой науки, которая была бы переиграна наблюдениемъ и обдумываніемъ изъ фактовъ во всеобщую мысль. Имѣя это въ предметѣ, онъ на все обращалъ взглядъ прямой и свѣтлый съ цѣлью узнать, разобрать, а не для того, чтобъ поймать въ силки систематики и затянуть узелъ. Онъ очень часто начинаетъ съ односторонности и достигаетъ результатовъ самыхъ многостороннихъ. Онъ чрезвычайно добросовѣстенъ, не дѣлаетъ изъ вопроса науки личнаго вопроса; онъ покоряется объективности истины; у него огромная ученость; онъ безпрестанно подъ влияніемъ своей памяти все предшествующее историческое развитіе ему присуще. Ненавидя греческую науку и Аристотеля, онъ мастерски ссылается

на нихъ и пользуется ими. Вовсе не поэтъ, онъ превосходно толкуетъ греческіе мѣны. Нельзя себѣ представить странное ощущение, когда, перечитывая или перелистывая средневѣковыхъ схоластиковъ, потомъ философовъ теоретической эмансипаціи, вдругъ доходишь до Бэкона. Помните ли вы, напримѣръ, какъ въ эпоху мечтательной юности, когда теорія смѣняется теоріей, когда вѣра въ себя и друзей безгранична, когда въ мечтахъ перестраивается наука и міръ и когда восторженные рѣчи поддерживаютъ поэтическое опьанѣніе,—вдругъ является откуда-нибудь человѣкъ практическій, дѣйствительно знающій жизнь, знающій, что на отвлеченіяхъ далеко не уѣдешь, что перевороты въ наукѣ и въ исторіи дѣлаются не такъ-то легко? Помните ли вы, какъ сильно дѣйствовало появленіе такого человѣка, какъ сначала вы отталкивали скептическую и холодную мысль его, уstraшенные ею, а потомъ начинали краснѣть своихъ мечтаній, подчинялись пришельцу, ловили его слова, выдавали ему заповѣднѣйшія упованія за наторѣлый, изъ жизни выстроенный взглядъ его, который вамъ казался непогрѣшающимъ. Этотъ практическій пришлецъ—Бэконъ, и, вѣроятно, случилось съ вами и то, что когда мало по малу вы найдете въ новомъ воззрѣніи, рассмотрите ближе, то вспомнете и о своихъ мечтахъ; онѣ, конечно, мечты, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ была такая ширина, которую жаль отдать за практическую мудрость; все это повторяется, переходя отъ энергическихъ реформаторовъ къ спокойному Бэкону. Это не тревожная, не огненная натура Джордано, не бѣснующійся Карданъ, не эти скитальцы, томимые мыслию, бездомные бродяги, разносившіе съ собою по всѣмъ большимъ дорогамъ Европы восходящее сознаніе и умственную дѣятельность, не эти гонимые труженики, падавшіе часто на полпути отъ внутренняго разлада и виѣшнихъ страданій,—нѣтъ, это пишетъ человѣкъ спокойный, человѣкъ огромнаго ума и огромнаго опыта, канцлеръ, привыкнувшій къ государственнымъ дѣламъ, пэръ, не имѣющій занятія, потому что вычеркнуть изъ списка пэровъ... Въ душѣ этого человѣка, послѣ разрушительнаго огня самолюбія, честолюбія, власти, почести, богатства, неудачъ, тюрьмы, униженій—все выгорѣло; но гениальный умъ остался, да осталось еще воображеніе настолько охлажденное, подвластное разуму, что оно смѣло призывалось имъ бросать пышные цвѣты поэтической рѣчи по царственному пути его ясной, широкой мысли.

Въ сочиненіяхъ Бэкона, съ самаго начала поражаетъ необычайная смѣтливость, дѣльность, практическая рѣзкость и удивительная многосторонность. Бэконъ изошрилъ свой умъ общественными дѣлами; онъ на людяхъ выучился мыслить. Декартъ прятался отъ людей то въ парижскія предмѣстья, то въ Голлан-

дію; ему люди мѣшали заниматься. Оттого съ Декарта начинается чистое мышленіе, а съ Бэкона—физическія науки; идеализмъ Декарта остался при дуализмѣ; въ мышленіи Бэкона находилось демоническое начало, съ которымъ схоластика часу ужиться не могла. Бэконъ начинаетъ такъ же, какъ и Декартъ, съ отрицанія существующей, готовой догматики, но у него это отрицаніе не *логическій маневръ*, а практическая поправка; отрицаніе Бэкона поставило человѣка, освободивъ его отъ схоластики, передъ природой; ея самозаконность онъ призналъ съ самаго начала; еще болѣе, онъ хотѣлъ ея *очевидной* объективности покорить своевольную мысль, поврежденную схоластическимъ высокоуміемъ (Декартъ, совсѣмъ напротивъ, поставилъ природу hors la loi своимъ а priori). Бэконъ скромно указалъ на эмпирію какъ на начальную степень знанія, какъ на средство по явленію, по факту добраться до той всесвязующей сущности, изъ которой Декартъ стремился вывести явленія. Они работали другъ другу въ руки, и если ни они, ни ихъ послѣдователи не встрѣтились, то это не отъ внутренней непримиримости, а оттого, что ни идеализмъ, ни эмпирія не были развиты ни до истинной методы, ни до дѣйствительнаго содержанія. Лейбницъ называетъ картезіанизмъ «сѣнями истины»; мы можемъ по всей справедливости назвать бэконовскую эмпирію—ея кладовою.

О богатствѣ и недостаткахъ этой кладовой мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ ¹⁾.

Село Соколово.—Іюнь 1845 г.

¹⁾ Бэкона необходимо читать самому; у него вездѣ неожиданно, *незаметно* встрѣчаются мысли поразительной вѣрности и ширины.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Бэконъ и его школа въ Англии.

Основная мысль Бэкона до того проста для насъ, что съ перваго взгляда мудро понявъ всю ея важность. Мы не разъ имѣли случай замѣчать, что чѣмъ глубже проникаетъ наука въ дѣйствительность, тѣмъ простѣйшія истины открываются ею, — тутъ открываются ей такія истины, которыя *сами собою развиваются*; ихъ простота, какъ простота естественныхъ произведеній, понятна или безыскусственному, *прямо* возрѣнію человѣка, не распадаясь съ природой, или много трудившемуся разуму, который, въ награду за свой трудъ, освобождается отъ готовыхъ понятій, отъ предварительныхъ полуистинъ; человѣчество вырабатывается до простыхъ истинъ тысячелѣтіями, усиліями величайшихъ геніевъ; истины замысловатыя были во всякое время. Для того, чтобъ возвратиться къ простотѣ пониманья, надобно совершить весь феноменологическій процессъ и снова стать въ естественное отношеніе къ предмету. Практическая, обыденная истина кажется пошлою; все видимое *нами* *вблизи* и *часто* представляется не заслуживающимъ вниманія; намъ надобно далекое *il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre*. Чѣмъ меньше знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше презрѣнія къ обыкновенному, къ окружающему его. Разверните исторію всѣхъ наукъ, — онѣ непременно начинаются не наблюденіями, а магіей, уродливыми, искаженными фактами, выраженными іероглифически, и оканчиваются тѣмъ, что обличаютъ сущностью этихъ тайнъ, этихъ мудреныхъ истинъ, истины самыя простыя, до того извѣстныя и обыкновенныя, что объ нихъ вначалѣ никто и думать не хотѣлъ. Въ наше время еще не совсѣмъ искоренился предрасудокъ, заставляющій ожидать въ истинахъ науки чего-то необыкновеннаго, *недоступнаго толпѣ*, неприлагаемаго къ жалкой юдоли нашей жизни. До Бэкона такъ думали всѣ, и онъ смѣло возсталъ противъ этого. Дуализмъ, истощенный въ предшествовавшую эпоху, перешелъ въ какое-то тихое и безнадежное безуміе въ мірѣ протестантскомъ, — Бэконъ указалъ на пустоту кумировъ и идоловъ, которыми была биткомъ набита наука его времени, и требовалъ, чтобъ люди отрелись отъ нихъ, чтобъ они возвратились къ дѣтски простому отношенію, къ природѣ.

Нелегко было возвратиться къ естественному пониманію умамъ, искаженнымъ схоластикой. Сжатый, подавленный умъ средне-

вѣковыхъ мыслителей питаль подѣ скромной власяницею своей формалистики безумно гордое притязаніе на власть; не истинное, не святое право разума и нераздѣльная съ нимъ мощь мысли нравились имъ, — нѣтъ, они стремились къ покоренію естественныхъ явленій своевольному капризу, къ произвольному ниспроверженію законовъ природы. Люди отвлеченные, книжные, затворники, они не знали ни природы, ни жизни, и между тѣмъ, и природа и жизнь ихъ страшили чѣмъ-то невѣдомымъ, полнымъ мощи, увлекающимъ; повидимому, они презирали и ту и другую, но это была одна изъ безчисленныхъ лжей того времени; они понимали, что нелегко совладѣть съ природой и со всѣмъ безграничнымъ властолюбіемъ скованнаго невольника стремились покорить ее своему духу. Благородный интересъ знанія превращался, въ ихъ душѣ, въ нечистое упоеніе своею властью, такъ, какъ кроткое чувство любви въ душѣ Клода Фролло превращалось въ ядовитый порокъ. Посмотрите на алхимика передъ его горномъ, — на этого человѣка, окруженнаго магическими знаками и страшными снарядами: отчего эта блѣдность щекъ, этотъ судорожный видъ, это трепетное дыханіе? Оттого, что въ этомъ человѣкѣ не цѣломудренная любовь къ истинѣ, а сладострастное пытаніе, насиліе; оттого, что онъ *дѣлаетъ* золото, гомункула въ ретортѣ. Объективность предмета ничего не значила для высокобѣрнаго эгоизма среднихъ вѣковъ; въ себѣ, въ сосредоточенной мысли, въ распаленной фантазіи находилъ человѣкъ весь предметъ, а природа, а событія призывались какъ слуги, *помочь въ случать нужды и выйти вонъ*. Реформація не могла исторгнуть людей изъ этого направленія; она еще болѣе толкнула умы въ отвлеченныя сферы; она придала католической наукѣ, подчасъ страстной и энергической, какую-то холодную и мертвую обдуманность; протестантизмъ, вмѣсто сердца, развилъ свой томный и слезливый Gemüth. Самый эксцентрическій, самый уродливый мистицизмъ быстро распространялся въ Швеціи, Англіи и Германіи, рядомъ съ совершенно формальнымъ теологическимъ направленіемъ пуританизма, пресвитеріанизма, образцы которыхъ вы пмѣете въ «Вудстокѣ» и въ «Шотландскихъ Пуританахъ».

Среди всего этого явился человѣкъ, который сказалъ своимъ современникамъ: «Посмотрите внизъ; посмотрите на эту природу, отъ которой вы силитесь улетѣть куда-то; сойдите съ башни, на которую взобрались и откуда ничего не видать; подойдите поближе къ міру явленій,—изучите его. Вы, вѣдь, не убѣжите изъ природы: она со всѣхъ сторонъ, и ваша мнимая власть надъ ней—самообольщеніе; природу можно покорять только ея собственными орудіями, а вы ихъ не знаете; обуздайте же избалованный

легкой и бесплодной логомахіей умъ вашъ настолькоъ, чтобъ онъ занялся дѣломъ, чтобъ онъ призналъ несомнѣнное событіе васъ окружающей среды, чтобъ онъ склонился предъ повсюднымъ вліяніемъ природы,—и начинайте, проникнутые уваженіемъ и любовью, трудъ добросовѣстный». Многіе, услышавъ слова эти, отложили бесполезное блужданіе по схоластическимъ тонямъ словъ и дѣйствительно принялись за работу самоотверженно; съ легкой руки Бэкона началось движеніе въ физическихъ наукахъ, движеніе, разившееся потомъ до Ньютона, Линнея, Бюффона, Кювье... Другіе съ негодованіемъ услышали странную рѣчь веруламскаго лорда, и злоба ихъ была такъ сильна, что черезъ двѣсти лѣтъ графъ Местръ счелъ еще нужнымъ *уничтожить* Бэкона и показать, что ненависть къ нему еще жива въ *любящихъ* сердцахъ обскурантовъ. Но въ чемъ же существенная мысль бэконова ученія?

До Бэкона наука начиналась общими мѣстами; откуда брались эти общія мѣста,—никто не зналъ: схоластическая наука думала, что Кай смертенъ, *потому*, что человекъ смертенъ. Бэконъ сталъ доказывать совсѣмъ напротивъ, что мы въ правѣ сказать: человекъ смертенъ, потому что Кай смертенъ. Тутъ не перестановка словъ, а нѣчто побольше. Событіе, эмпирическое событіе, получило право первой посылки, логическое *anterioritatis*. Вы видите тутъ главный приѣмъ Бэкона: онъ состоитъ въ томъ, чтобъ идти отъ частнаго, отъ опыта, отъ наблюдаемаго событія къ обобщенію, взаимнымъ сличеніемъ между собою всего полученнаго сознаниемъ. Опытъ у Бэкона не есть страдательное восприниманіе внѣшняго во всей случайности его; напротивъ, онъ сознательное взаимодействіе мысли и внѣшняго, ихъ совокупная дѣятельность, при развитіи которой Бэконъ не позволяетъ ни мысли забѣгать, дѣлая заключенія, на которыя она не имѣетъ еще права, ни опыта оставаться механической грудой свѣдѣній, «не пережженныхъ мыслию». Чѣмъ обширнѣе и богаче сумма наблюдений, тѣмъ незыблемѣе право раскрывать общія нормы наведеніемъ; но, раскрывая ихъ, недовѣрчивый, осторожный Бэконъ требуетъ снова погруженія въ потокъ явленій, на поискъ или обобщающаго подтвржденія, или ограничивающаго опроверженія.

До Бэкона опытъ былъ случайностью; на немъ основывались даже меньше, чѣмъ на преданіи, не говоря уже объ умозрѣніи. Онъ возвелъ его и въ необходимый, начальный моментъ вѣдѣнія, и въ моментъ, сопутствующій потомъ всему развитію знанія,—въ моментъ, предлагающій на каждомъ шагу повѣрку, останавливающій своей опредѣленной непреложностью, своей конкретной многосторонностью, наклонность отвлеченнаго ума подниматься въ из-

рѣженную среду метафизическихъ всеобщностей. Бэконъ столько же вѣрилъ разуму, сколько природѣ, но онъ болѣе всего вѣрилъ, когда они заодно, потому что провидѣлъ ихъ единство. Онъ требовалъ, чтобъ разумъ выходилъ на дорогу, опираясь на опытъ, рука въ руку съ природой; чтобъ природа вела его, какъ своего питомца, до тѣхъ поръ, пока онъ въ состояніи вести ее къ полному просвѣтленію въ мысли.

Это было ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно велико; это было воскресеніе реальной науки, *instauratio magna*. Бэконъ имѣлъ полное право дать это заглавіе своей книгѣ: его книгой началось великое возрожденіе науки. Хотя онъ и говоритъ: «мое твореніе принадлежитъ не столько моему духу, сколько духу времени», но честь и хвала тому первому, въ которомъ воплощается духъ времени и которымъ онъ передается; двойная хвала, если онъ сознаетъ себя только органомъ духа времени, а не личностью, стремящейся подавить собою современниковъ! Эта скромность не мѣшала, однако-жъ, Бэкону чувствовать мощь свою. Когда онъ началъ свой трудъ, наука, по всѣмъ отраслямъ ея, была въ самомъ жалкомъ положеніи; Бэконъ безобязанно потребовалъ передъ свой судъ всю современную систему свѣдѣній, въ ея готическомъ нарядѣ, и осудилъ ее. Помнится, кто-то сравнилъ его съ полководцемъ, дѣлающимъ смотръ войскамъ; да, именно, это спокойный вождь, осматривающій передъ боемъ полки свои. Всѣ отрасли вѣдѣній человѣческаго прошли мимо его, и онъ осмотрѣлъ каждую, каждой указалъ ея недостатки, каждой далъ совѣтъ, и все это съ той простотой гениа, которому такое самоуправство потому естественно, что онъ довлѣетъ своею мощью исполнить то, что хочетъ. Не думайте, что Бэконъ ограничился однимъ общимъ указаніемъ на опытъ и наведеніе; онъ развертываетъ свою методу до малѣйшихъ подробностей, учитъ примѣрами, толкуетъ, объясняетъ, повторяетъ свои слова, чтобъ только достигнуть ясности, и тутъ на каждомъ шагу вы поражены богатыми средствами этого ума, страшной по тому времени ученостью и совершенной противоположностью средневѣковой манерѣ. Даже въ веселомъ тонѣ его, въ улыбка, которая иногда пробивается сквозь самую серьезную матерію, вы видите что-то наше, безъ ходуль, безъ докторской шапки, безъ натянутой важности схоластиковъ.

Метода Бэкона не болѣе, какъ личное (субъективное) и внѣшнее предмету средство пониманія. Онъ самъ разомъ выразилъ и глубоко практической характеръ своего воззрѣнія и субъективность своей методы слѣдующими словами: «Достоинство хорошей методы состоитъ въ томъ, что она *уравниваетъ способности*; она вручаетъ всѣмъ средство легкое и вѣрное. Дѣлать кругъ отъ руки трудно, надобно навѣкъ и проч.; циркуль стираетъ разли-

чіе способности и даетъ каждому возможность дѣлать кругъ самый правильный». Съ логической точки, это глубоко человѣческое воззрѣніе, конечно, не оправдано, но тѣмъ не менѣе его метода имѣеть огромный, исторически объективный смыслъ; впрочемъ, и въ ней, какъ вообще въ реализмѣ, философскаго значенія все-таки болѣе, чѣмъ высказано словами. Бэконъ приковалъ своей методой науку къ природѣ, такъ что философія и естествовѣдѣніе должны или вмѣстѣ стоять, или вмѣстѣ идти; это было фактическое признаніе единства мысли и бытія. Эмпирія Бэкона проникнута, оживлена мыслию,—это всего менѣе оцѣнили въ немъ. Не изъ ограниченности держится онъ одного опыта, а потому что онъ считаетъ его началомъ, первой ступенью, которую миновать нельзя; для него опытъ—средство раскрытія «вѣчныхъ и неизмѣнныхъ формъ природы», а форму онъ опредѣляетъ всеобщимъ, родомъ, идеей, но не отвлеченной идеей, а какъ *fons emanationis*, какъ *natura naturans*, какъ животворящее начало, исполняющееся частными опредѣленіями предмета, какъ источникъ, изъ котораго истекають его различія, его свойства, источникъ, нерасторгаемый съ самою вещью. Субъективный эмпиризмъ у Бэкона больше на словахъ, въ неловкости языка, въ реакціонномъ страхѣ сближенія съ схоластикой; но не надобно забывать, что такой челоѣкъ не могъ не выработаться не только до того, что лежитъ въ его методѣ, но и до многого, чего строго вывести по его методѣ нельзя. Декартъ далеко выше Бэкона методою, и далеко ниже результатомъ, потому что Декартъ абстрактный челоѣкъ. Конечно, на Бэкона падеть доля односторонности, въ которую впала большая часть его послѣдователей; но онъ самъ былъ далекъ отъ грубой эмпирии. Вотъ его слова:

«Эмпиріики безпрерывно роются, ищутъ, и если найдутъ, чего искали, выдумываютъ что-нибудь новое и опять ищутъ; ихъ трудъ дробится, не обобщаясь; они ходятъ въ потемкахъ, ощушью: лучше было бы съ самаго начала входить съ зажженной свѣчей разума». «Въ естественныхъ наукахъ преобладаетъ желаніе дѣлать, находить различія, различія различій, и т. д. Этимъ путемъ невозможно изучать природу; аналогія, общія воззрѣнія, раскрывающія единство, — необходимы». «Есть умы, болѣе способные наблюдать, дѣлать опыты, изучать частности, отгѣнки; другіе, напротивъ, стремятся проникнуть въ сокровеннѣйшія сходства, обобщить полученные понятія. Первые, теряясь въ частностяхъ, ничего не видятъ, кромѣ атомовъ; другіе, расплываясь во всеобщностяхъ, теряють все отдѣльное, замѣщая его призраками... Ни атомы, ни отвлеченная матерія, лишенная всякаго опредѣленія, не дѣйствительны; дѣйствительны *тѣла, такъ, какъ они существуютъ въ природѣ*... Не надобно увле-

кается ни въ ту, ни въ другую сторону; для того, чтобъ сознаніе углублялось и расширялось, надобно, чтобъ эти два воззрѣнія *преемственно переходили другъ въ друга*. Понимая это, Бэконъ устремлялъ, однако, всю умственную дѣятельность на опытъ, на изслѣдованія и наблюденія, потому что онъ считалъ опытъ началомъ науки, потому что онъ ясно видѣлъ губительное вліяніе силлогистической распушенности и метафизической неосновательности, при недостаткѣ фактическихъ свѣдѣній. Онъ очень хорошо понималъ, что собраніе и сличеніе однихъ опытовъ не есть наука, но онъ понималъ и то, что нѣтъ науки безъ фактическихъ свѣдѣній. «Мы торопимся, говоритъ онъ, придать наукообразную форму бѣдной системѣ истинъ, узнанныхъ нами, и тѣмъ самымъ останавливаемъ ходъ открытій, приращеній. Молодые люди, сложившіеся и получившіе видъ совершеннолѣтія, перестаютъ расти. Пока наука составляетъ массу открываемыхъ свѣдѣній, все вниманіе обращено на новыя открытія». Онъ не хотѣлъ замкнутой цѣлости прежде полноты содержанія; онъ хотѣлъ лучше трудную работу, нежели незрѣлый плодъ. Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уваженіемъ къ предмету, она приступаетъ къ нему съ тѣмъ, чтобъ научиться, а не съ тѣмъ, чтобъ вынудить изъ предмета насильственное оправданіе впередъ заготовленной мысли; она стремится все привести къ сознанію: «то, говоритъ Бэконъ, что достойно существовать, — достойно быть знаемо». Онъ умѣлъ найти дѣйствительное и истинное даже тамъ, гдѣ мы обыкновенно видимъ суетную призрачность ¹⁾.

Геній Бэкона, положительный, чисто англійскій, не имѣлъ органа для схоластической метафизики; вопросы тогдашней философіи его вовсе не занимали. Онъ, какъ Декартъ, началъ съ отрицанія, но съ отрицанія практическаго; онъ отбросилъ старую догматику, потому что она была негодна; онъ возмущался противъ авторитетовъ, потому что они тѣснили самобытность ума. «Наше понятіе, говоритъ онъ, о древнихъ авторитетахъ поверхностно: старѣе нѣтъ эпохи, какъ та, въ которой мы живемъ. Когда жили предки наши, міръ былъ моложе; они жили въ юномъ времени, мы зрѣлѣе ихъ. Совершеннолѣтній судить основательнѣе отрока». Подрывая авторитеты прошедшаго, Бэконъ указывалъ людямъ впередъ; тамъ, въ будущемъ, цѣною ихъ усилій должна раскрыться истина; онъ доказывалъ, что, оборачиваясь назадъ, по совѣту схоластиковъ, ея не найдешь, что истина искомое, а не потерянное; отрицаніе авторитетовъ у него неразрывно съ вѣрою въ прогрессъ. Отринувъ безплодную догматику, онъ очутился ли-

¹⁾ Напримѣръ, въ его «Новомъ Органонѣ» нашли себѣ мѣсто не только глч-настика, но и косметика, даже теорія роскоши.

цомъ къ лицу съ природой и тотчасъ началъ изучать ее, изслѣдовать какъ фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію; отрицать природу ему и въ голову не приходило; для него отрицать природу было все равно, что отрицать свое собственное тѣло; въ такомъ отрицаніи для человѣка, какъ Бэконъ, очевидное безуміе, безвыходный, тяжелый мракъ; Бэконъ знаетъ, наприм., что чувства обманчивы, но такое знаніе ведетъ его къ практической истинѣ дѣлать много опытовъ, многими лицами повѣрять другъ друга. Вѣра Бэкона въ разумъ и въ природу непоколебимы; онъ съ такимъ же отвращеніемъ говоритъ о скептицизмѣ, какъ объ метафизикѣ; это совершенно послѣдовательно въ немъ; ему надобны знанія, свѣдѣнія, а не мучительные стоны о безсиліи ума и неуловимости истины; ему надобно дѣятельное развитіе, ему надобна истина и ея практическое приложеніе, онъ считаетъ *ничтожною* философію, не ведущую къ дѣлу; для него знаніе и дѣяніе — двѣ стороны одной энергіи. Человѣкъ, такъ думающій, всего менѣе способенъ къ романтизму, къ мистицизму и къ схоластикѣ.

Теперь вы видите, что Бэконъ и Декартъ были въ наукѣ представителями двухъ враждебныхъ основаній средневѣковой жизни; въ нихъ и ими противорѣчіе дуализма выразилось самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ. Оба направленія, идеализмъ и эмпирія, при послѣдователяхъ Декарта и Бэкона, до того дошли въ формальномъ противорѣчій, что, по діалектической необходимости, перегибались другъ въ друга, и противоположная сторона, непосредственно заключенная въ одностороннемъ воззрѣніи, получала голосъ. Вы помните, что мысль человѣческая, при возрожденіи ея дѣятельности въ началѣ XVI вѣка, являлась совсѣмъ не такъ исключительно, что, напротивъ, она снимала восторженнымъ предузнаніемъ дуализмъ схоластическаго воззрѣнія. Таковъ былъ взглядъ Джордано Бруно и его послѣдователей: они видѣли во всей природѣ, во всей вселенной одну всеобщую жизнь; все, казалось имъ, оживлено ею: былинка и планета, человѣкъ и трупъ — равно носители ея, и все она стремится къ сознательному единству мысли, свободно пребывая и повторяясь въ многообразіи сущаго. Но ни наука не имѣла силъ развить это воззрѣніе, ни умъ средневѣковой перейти отъ своихъ романтическихъ, мрачныхъ грезъ къ такому свѣтлому пониманію. То было пророческое указаніе, цѣль будущаго наукообразнаго развитія, явившаяся въ началѣ шестивія; удержаться на этой высотѣ не было еще возможности. Въ исторіи часто бываютъ такіе примѣры; при самомъ началѣ переворота, идея его проявляется во всемъ блескѣ, но въ неперевожимой всеобщности; вскорѣ, къ ужасу и отчаянію дѣятелей, это обличается, свѣтлая идея тускнеть отъ

*

обстоятельствъ, пропадаетъ, гибнетъ, и современники не понимаютъ, что она гибнетъ, какъ зерно, для того, чтобъ потомъ, искусившись всѣми противорѣчiями и вооружившись всѣмъ, что могла дать среда, явиться побѣдоносною и торжествующею.

Ни Бэконъ, ни Декартъ не могли остановиться на одномъ провидѣнiи, какъ Бруно; они хотѣли большаго и сдѣлали большее; но основная идея Бруно выше ихъ идеи. Бэконъ не былъ противъ науки *людей предчувствiя*: онъ самъ, какъ мы уже говорили, былъ полонъ предугадыванiя; но англичанинъ, дѣлецъ, онъ хотѣлъ опростить вопросъ, сдѣлать его какъ можно болѣе положительнымъ; онъ намѣренно отворачивался отъ нѣкоторыхъ сторонъ, чтобъ хорошенько высмотрѣть одну—именно эмпирическую. Послѣдователи его доказали, *что они лучше ничего не просятъ*, какъ сидѣть въ односторонности. Недоставало только ученiя прямо противоположнаго Бэкону, чтобъ старый вопросъ дуализма *переродился* въ новую борьбу, чтобъ отринутая жизнь, практическiе интересы, физическiя событiя стали съ одной стороны, а разумъ, какъ сущность, какъ мышленiе и самопознанiе съ пренебреженiемъ къ бытiю, съ вѣрою въ свои начала — съ другой. Это направленiе явилось, какъ вы знаете, въ Декартѣ. Единство мысли и жизни, начинавшее просвѣчивать со всею прелестью отрочества у Бруно, снова расторглось; дуализмъ нашелъ новый языкъ, но такой языкъ, который непременно велъ къ отчаяннѣйшей крайности идеализма и къ таковой же материализма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ выходу изъ всякаго дуализма. Вопросъ дуализма рѣшался тутъ не въ *жизни*, не Гвельфами и Гибелинами, а въ теоретической сферѣ отвлеченнаго мышленiя, — и къ этому средневѣковая мысль не могла не придти; иначе она не была бы вѣрна своему историческому происхожденiю.

Никогда въ древнемъ мiрѣ мысль не приходила къ полному сознанию своей противоположности съ бытiемъ; въ новой наукѣ она является въ зломъ междуособiи: такой бой не могъ остаться безслѣденъ. Скажемъ просто—и это нисколько не будетъ преувеличено,—идеализмъ стремился уничтожить вещественное бытiе, принять его за мертвое, за призракъ, за ложь, за ничто, пожалуй, потому что быть одной случайностью сущности—*весьма немного*. Идеализмъ видѣлъ и признавалъ одно всеобщее, родовое, сущность, разумъ человѣческой, отрѣшенный отъ всего человѣческаго; материализмъ, точно также одностороннiй, шелъ прямо на уничтоженiе всего невещественнаго, отрицалъ всеобщее, видѣлъ въ мысли отдѣленiе мозга, въ эмпирии единый источникъ знанiя, а истину признавалъ въ однѣхъ частностяхъ, въ однѣхъ вещахъ, осязаемыхъ и зримыхъ; для него былъ разумный человѣкъ, но не было ни разума, ни человѣ-

чества. Словомъ, они были противоположны во всемъ, какъ правая и лѣвая рука; и никто не догадывался, что та и другая идутъ изъ одной груди и необходимы для цѣлости организма. Логически, обѣ стороны дѣлали ошибки поразительныя, обѣ не умѣли сдѣлать и шага изъ своихъ началъ, не захвативъ чего-либо изъ противоположнаго начала,—и по большей части дѣлали не то, чего хотѣли. Идеализмъ начинается съ *a priori*, онъ отвергаетъ опытъ, онъ хочетъ начать съ *Cogito ergo sum*, а на самомъ дѣлѣ начинается съ врожденныхъ идей, забывая, что врожденные идеи представляютъ эмпирическое событіе, которое онѣ принимаютъ, а не выводятъ, и разрушаютъ такимъ образомъ аргюги. Идеализмъ хочетъ всю дѣйствительность, весь разумъ предоставить духу и признаетъ въ то же время матерію за имѣющую въ себѣ независимое и самобытное начало существованія, вслѣдствіе котораго протяженіе гордо становится рядомъ съ мышленіемъ, какъ чуждое ему; у идеализма всегда являются всеобщими, впередъ идущими идеями именно тѣ истины, которыя надобно вывести.

Матеріализмъ имѣлъ у себя въ запасѣ точно такія же впередъ идущія истины, которыхъ вывести не могъ. Юмъ совершенно правъ, говоря, что матеріалисты *повѣрили* достовѣрности опыта. Матеріализмъ ставитъ непрерывно вопросъ: «знаніе наше истинно ли?»,—и отвѣчаетъ на него отвѣтомъ на совершенно другой вопросъ, на вопросъ: «откуда мы получаемъ наши знанія?» Онъ превосходно сдѣлалъ, что начиналъ всякій разъ съ феноменологіи знанія, но онъ не оставался вѣренъ своему началу отчетливаго наблюденія; иначе онъ не могъ бы не видѣть, что мысль, истина имѣетъ источникомъ дѣятельность разума, а не внѣшній предметъ, дѣятельность, возбуждаемую опытомъ—это совершенно справедливо, но самобытную и развивающуюся мысль по своимъ законамъ; помимо ихъ, всеобщее не могло бы развиваться, ибо частное вовсе неспособно само собою обобщаться. Матеріалисты не поняли, что эмпирическое событіе, попадая въ сознаніе, столько же психическое событіе. Матеріализмъ хотѣлъ создать чисто *эмпирическую науку*, не понимая, что тутъ *contradictio in adjecto*, что опытъ и наблюденіе, страдательно принимаемые и приводимые въ порядокъ внѣшнимъ разсужденіемъ, даютъ дѣйствительный матеріалъ, но не даютъ формы, а наука есть именно форма самосознанія сущаго. Всѣ хлопоты матеріализма, всѣ его тонкіе анализы умственныхъ способностей, происхожденія языка и сдѣпленія идей оканчиваются тѣмъ, что частныя явленія, событія—истинны и дѣйствительны. Безспорно, что событія внѣшняго міра истинны, и неумѣние признать этого со стороны идеализма—сильное доказательство его односторонности; внѣшній міръ

(какъ мы сказали въ одномъ изъ прежнихъ писемъ)—«обличенное доказательство своей дѣйствительности»; онъ потому и существуетъ, что онъ истиненъ; это такъ же безспорно, какъ и то, что внутренній міръ (т. е. мышление), что *actus purus* разума тоже истиненъ и тоже дѣйствительное событіе. Дѣло совсѣмъ не въ этомъ признаніи, а въ связи, въ переходѣ внѣшняго во внутреннее, въ пониманіи дѣйствительнаго единства ихъ; безъ этого мало поможетъ сознаніе, что предметъ истиненъ: человѣкъ не будетъ имѣть средствъ уловить его. Матеріализмъ со стороны сознанія, методы, стоитъ несравненно ниже идеализма. Если-бъ матеріализмъ былъ философски логиченъ, онъ перешелъ бы свои границы, пересталъ бы быть собою, а потому на видимой непоследовательности его возрѣнія останавливаться нечего,—мы ее впередъ должны предполагать. Онъ имѣлъ другое великое значеніе, *чисто практическое* ¹⁾, жизненное, прикладное; въ его рукахъ была вся масса свѣдѣній человѣческихъ, имъ она разработана, имъ обслѣдована, и онъ благородно употребилъ ее на улучшение матеріальнаго и общественнаго благосостоянія людей, на разсѣяніе предрассудковъ, на собраніе фактовъ. Нелѣпости его ученія проходятъ и пройдутъ, истинное и благое осталось и останется; этого забывать не надобно изъ-за логическихъ ошибокъ.

Мудрено, кажется, повѣрить,—а матеріализмъ и идеализмъ до нашего времени остаются при взаимномъ непониманіи. Очень хорошо знаю я, что нѣтъ брошюры, въ которой бы идеализмъ не говорилъ объ этомъ антагонизмѣ, какъ о прошедшемъ; что нѣтъ ни одного дѣльнаго эмпирика, который бы не сознался, что безъ всеобщаго взгляда, безъ умозрѣнія опыты не даютъ всей пользы,—но это вялое признаніе бѣдно и безплодно ²⁾. Того ли можно было ожидать послѣ плодотворныхъ, великихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ великимъ Гёте, потомъ Шеллингомъ и Гегелемъ! Порядочные люди нашего времени сознали необходимость сочетанія эмпириі съ спекуляціей, но на теоретической мысли этого соче-

¹⁾ Было время, когда идеализмъ въ Германіи ставилъ себя въ достоинство свою *ненужность, непрактичность*, и презрительно отзывался объ утилитаризмѣ филантропическихъ и моральныхъ ученій шотландскихъ, англійскихъ и французскихъ мыслителей; въ то же время идеалисты проповѣдывали противъ фактическихъ наукъ, выдавая себя за природы высшія, чуждыя міру практической дѣятельности. Имъ не приходило въ голову, что человѣкъ, считающій себя чуждымъ современности, непрактическій, по большей части не высшая натура, а пустой человѣкъ, мечтатель, романтикъ, жертва искусственной цивилизаціи. Греки не поняли бы этой мысли: такъ нелѣпа она. Мысль себя-отчужденія отъ жизни могла выработаться только въ мрачныхъ и запертыхъ кабинетахъ книжныхъ ученыхъ и притомъ въ Германіи, которой общественная жизнь, послѣ Вестфальскаго мира, была не изъ блестящихъ.

²⁾ Я исключачю нѣкоторыя попытки, сдѣланныя очень недавно въ Германіи и даже во Франціи.

танія и остановились. Одна изъ отличительныхъ характеристикъ нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы *все знаемъ и ничего не дѣлаемъ*; на науку пенять нельзя: она, какъ мы имѣли случай замѣтить, отражаетъ очищенными, приводитъ въ сознание обобщенными тѣ элементы, которые находятся въ жизни, ее окружающей. Жанъ Поль Рихтеръ говоритъ, что въ его время, чтобъ примирить противоположности, брали долю свѣта и долю тьмы и мѣшали въ банкѣ,—изъ этого выходили обыкновенно премилыя *сумерки*. Это-то неопредѣленное *entre chien et loup* и нравится нерѣшительному и апатическому большинству современнаго міра. Но возвратимся къ Бэкону.

Вліяніе Бэкона было огромно; мнѣ кажется, что и Гегель не вполне оцѣнилъ его. Бэконъ, какъ Колумбъ, открылъ въ наукѣ новый міръ, именно тотъ, на которомъ люди стояли споконъ вѣка, но который забыли, занятые высшими интересами схоластики; онъ потрясъ слѣпую вѣру въ догматизмъ, онъ уронилъ въ глазахъ мыслящихъ людей старую метафизику. Послѣ него начинается непрерывное противодѣйствіе схоластическимъ трансцендентальнымъ теоріямъ, во всѣхъ областяхъ вѣдѣнія, со всѣхъ сторонъ; послѣ него начинается трудъ, неутомимая, самоотверженная работа наблюдений, изысканій добросовѣстныхъ, посылныхъ; являются ученые общества испытателей природы въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи; дѣятельность натуралистовъ усугубилась, сумма событий и фактовъ росла пропорціонально съ уничтоженіемъ метафизическихъ призраковъ, «этихъ словъ, какъ говоритъ Бэконъ, безъ всякаго значенія, затемняющихъ простой, пытующій взглядъ, представляя ему превратное пониманіе природы». Многообъемлемость Бэкона не могла перейти къ его послѣдователямъ; ихъ односторонность очень понятна: свѣтлые и дѣльные умы, долго жившіе въ праздности, получили дѣло, предметъ живой, многосторонній, совершенно новый и притомъ платившій за трудъ вовсе неожиданными открытіями, разливавшими свѣтъ на цѣлые ряды явленій. Это не томное и сухое развитіе *hocceitatis* и *quiditatis*, выводимыхъ изъ-за лѣса логическихъ стропилъ, уродливыхъ, ненужныхъ и перемѣшанныхъ съ цитатами,—нѣтъ, это что-то такое, въ чемъ бьется сердце, теплое при прикосновеніи руки. Испытавъ магнетическую силу занятій по части естествовѣдѣнія и вообще практическими предметами, могли ли эти люди безъ ненависти говорить о метафизикѣ? Всѣ они смолода были пытаемы перипатетическими экзерциціями, всѣ они изучали искаженнаго Аристотеля: могли ли они не отдаться вполне, несправедливо, односторонне естествовѣдѣнію? Впрочемъ, въ ихъ отрицаніи нѣтъ той ограниченности, которая явилась впоследствии, когда матеріализмъ самъ вздумалъ

оставить роль инсургента и обзавестись своей метафизической управой, своей теоріей, съ притязаніемъ на философію, логику, объективную методу, то есть на все то, отсутствіе чего составляло его силу. Эта систематика матеріализма начинается гораздо позже, съ Локка; они во многомъ ошибались, но не впадали въ самую догматику.

Первые послѣдователи Бэкона были не таковы; въ числѣ ихъ Гоббесъ—человѣкъ страшный въ своей безобязанной послѣдовательности; ученіе этого мыслителя, о которомъ Бэконъ говорилъ, что онъ его понимаетъ лучше всѣхъ современниковъ, мрачно и сурово; онъ все духовное поставилъ внѣ своей науки; онъ отрицалъ всеобщее и видѣлъ одинъ непрерывный потокъ явлений и частныхъ,—потокъ въ себѣ начинающійся и въ себѣ оканчивающійся. Онъ въ законѣлой, свирѣпой мысли своей не нашелъ доказательствъ ничему божественному; печальный зритель страшныхъ переворотовъ, онъ понялъ только черную сторону событій; для него люди были врожденными врагами, изъ эгоистической пользы соединившіеся въ общества, и если-бъ ихъ не держала взаимная выгода, они бросились бы другъ на друга. На этомъ основаніи, его уста не дрогнули, съ мужествомъ цинизма, въ глаза своему отечеству, Англіи, высказать, что онъ въ одномъ деспотизмѣ находитъ условіе гражданскаго благоустройства. Гоббесъ испугалъ своихъ современниковъ, его имя навело ужасъ на нихъ. Не такимъ встрѣчается намъ южный матеріализмъ въ странѣ, гдѣ нѣкогда жилъ Лукрецій; онъ явился тамъ въ своемъ прежнемъ уборѣ: аббатъ Гассенди воскресилъ эпикуреизмъ и ученіе объ атомахъ; но его эпикуреизмъ былъ имъ приведенъ въ согласіе съ католической догматикой, и такъ хорошо, что іезуиты находили, что его *philosophia concupisularis* несравненно согласнѣе съ ученіемъ римской церкви о тайнствахъ, нежели картезіанизмъ. Атомы Гассенди очень просты: это тѣ же атомы, съ которыми мы встрѣтились у Демокрита, тѣ же *безконечно-малыя*, незримыя, *неуловимыя* и неуничтожаемыя частицы, служащая основою всѣмъ тѣламъ и всѣмъ явленіямъ; сочетаясь, дѣйствуя другъ на друга, двигаясь и двигая, эти атомы производятъ всѣ многоразличныя физическія явленія, пребывая неизмѣнными. Нельзя не замѣтить, что Гассенди говоритъ очень положительно о несокрушимости вещества; мысль эта, сколько мнѣ извѣстно, попадаетъ впервые мелькомъ у Тилезія; она есть и у Бэкона, но Гассенди превосходно выразилъ ее: «Вещественное бытіе, говоритъ онъ, имѣетъ великое право за собою; вся вселенная не можетъ уничтожить существующаго тѣла». Понятно, что рѣчь идетъ только о бытіи, а не о формѣ и качественномъ опредѣленіи. У Гассенди проглядываетъ замашка натуралистовъ позднѣй-

шихъ временъ ссылаться на ограниченность ума человѣческаго; онъ чувствуетъ самъ недостатокъ своихъ теорій и оставляетъ ихъ, какъ были. Эти недостатки выкупаются у него (опять точно такъ же, какъ у натуралистовъ) умнымъ и дѣльнымъ изложеніемъ своихъ свѣдѣній о природѣ. Гассенди, такъ, какъ потомъ Ньютона, не слѣдуетъ почти судить какъ философовъ: они великіе дѣятели науки, но не философы. Тутъ нѣтъ противорѣчій, если вы согласились, что дѣйствительное содержаніе выработалось внѣ философской методы. Англичане, называющіе Ньютона великимъ философомъ, не знаютъ, что говорятъ.

Назвавъ Ньютона, позвольте сказать объ немъ нѣсколько словъ. Его воззрѣніе на природу было чисто механическое. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что онъ былъ картезианецъ: онъ такъ мало имѣлъ симпатіи къ Декарту, что, прочитавъ 8 страницъ въ его сочиненіяхъ (по собственному признанію), онъ сложилъ книгу и больше никогда не раскрывалъ. Механическое воззрѣніе, впрочемъ, и помимо Декарта, царило тогда надъ умами. Страсть къ отвлеченнымъ теоріямъ была такъ сильна въ XVII вѣкѣ, что ни въ чемъ не соглашавшіеся между собою послѣдователи Декарта и Бэкона встрѣтились на механическомъ построеніи природы, на желаніи привести всѣ законы ея въ математическія выраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ подвергнуть ихъ математической методѣ. Ньютонъ продолжалъ дѣло, начатое Галилеемъ. Галилей стоялъ совершенно на той же почвѣ, на которой впоследствии сталъ Ньютонъ; для Галилея тѣло, вещество было нѣчто мертвое, дѣятельное одною косою, а сила — нѣчто иное, извнѣ приходящее. Математика необходимо должна входить во всѣ отрасли естествовѣдѣнія; количественныя опредѣленія чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны съ качественными; измѣненіе однихъ связано съ измѣненіемъ другихъ; однѣ и тѣ же составныя части въ разныхъ пропорціяхъ даютъ все многообразіе органическихъ тканей, все многообразіе формъ неорудной и орудной кристаллизаціи. Ясное дѣло, что математика имѣетъ огромное мѣсто въ физиологіи, не говоря уже о болѣе отвлеченныхъ наукахъ, какъ физика, или о исключительно количественныхъ, какъ астрономія и механика. Математика вноситъ въ естествовѣдѣніе логику аргюі, ея эмпірія признаетъ разумъ; выразивъ простымъ языкомъ ея законы, ряды явленій раскрываютъ неподозрѣваемыя соотношенія и послѣдствія, не сомнѣваясь въ дѣйствительности вывода.

Все это такъ; но *одно* математическое воззрѣніе (какъ бы оно ни довлѣло себѣ) не можетъ объять всего предмета естествовѣдѣнія; въ природѣ остается *нѣчто*, ей неподлежащее. Категория количества—одно изъ существеннѣйшихъ качествъ всего

сущаго, однако, она не исчерпываетъ всего качественного, и если держаться въ изученіи природы исключительно за нее, то дойдемъ до декартова опредѣленія животнаго гидравлико-огненной машиной, дѣйствующей рычагами и проч. Конечно, оконечности представляютъ рычаги и мышечная система представляетъ очень сложныя машины,—однакожь Декарту не удалось объяснить вліяніе воли, вліяніе мозга на управленіе частями машины чрезъ нервы. Понятіе живого непремѣнно заключаетъ въ себѣ механическія, физическія и химическія опредѣленія, какъ тѣ низкія степени, которыя долженствовали быть побѣждены или сняты для того, чтобъ явился сложный процессъ жизни; но именно единство, ихъ снимающее, составляетъ новый элементъ, не подчиняющійся ни одному изъ предыдущихъ, а подчиняющій ихъ себѣ. Внутренняя присущая дѣятельность всего живого организма и каждой клѣточки его доселѣ осталась неуловима для математики, для физики, для самой химіи, хотя форма ея дѣйствій и количественныя опредѣленія совершенно подлежатъ математикѣ, такъ, какъ взаимное дѣйствіе составныхъ началъ подлежитъ физико-химическимъ законамъ. Употребленіе математики, сверхъ того, гдѣ она необходима,—тамъ, гдѣ ея не нужно, весьма важный признакъ; математика поднимаетъ человѣка въ сферу хотя формальную и отвлеченную, но чисто наукообразную: это полнѣйшее внѣшнее примиреніе мышленія и бытія. Математика — одностороннее развитіе логики, одинъ изъ видовъ ея, или само логическое движеніе разума въ моментъ количественныхъ опредѣленій: она сохранила ту же независимость отъ сущаго, ту же непреложность чисто умозрительнаго вывода; къ этому присовокупляется ея увлекательная ясность, которая, впрочемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ односторонностію.

Бэконъ, очень хорошо понимавшій важность математики въ естествовѣдѣніи, замѣтилъ въ свое время уже опасность подавить математикою другія стороны (онъ, между прочимъ, говоритъ, что особенное вниманіе ученыхъ къ количественнымъ опредѣленіямъ основано на ихъ легкости и поверхностности, но что, держась на однихъ ихъ, теряется внутреннее) ¹⁾. Ньютонъ, совсѣмъ напротивъ, предался исключительно механическому воззрѣнію; нельзя себѣ представить ума менѣе философскаго, какъ Ньютонъ: это былъ великій механикъ, гениаль-

¹⁾ Бэконъ очень зло отоввался (De Aug. Scientiarum) объ астрономіи: «Наука о тѣлахъ небесныхъ очень несовершенна; она приноситъ людямъ нѣчто въ родѣ той жертвы, которую однажды Прометей принесъ Юпитеру: онъ пожертвовалъ бычачью кожу, набитую соломой, вмѣсто быка; такъ и астрономія толкуетъ о числѣ, положеніи, движеніи, періодахъ небесныхъ тѣлъ;... небесный сводъ для нихъ бычачья шкура; во внутренность явленій они не проникаютъ».

ный математикъ—и вовсе не мыслитель. Теорія тяготѣнія, при всемъ величїи своей простоты, при обширной прилагаемости, объемлемости,—не что иное, какъ *механическое представленіе* событія, представленіе, быть можетъ, вѣрное, но остающееся безъ логическаго оправданія, т. е., безъ полнаго пониманія, какъ предположеніе, сосредоточивающее на себѣ наиболѣе вѣроятія. Тѣламъ Ньютонъ приписываетъ свойства притяженія и отталкиванія; но въ понятіи тѣла, какъ его понималъ Ньютонъ, не видно необходимости этихъ полярныхъ проявленій; стало-быть, это фактъ гипотетическій или наглядный,—все равно, но не логическій; далѣе, путь небесныхъ тѣлъ таковъ, что механика должна его себѣ представить слѣдствіемъ двухъ силъ: одна изъ нихъ дѣлается понятною изъ предшествовавшаго предположенія, другая зато остается совершенно непонятна (сила, влекущая по тангенсу); эта сила (или толчекъ, производящій ее) не лежитъ ни въ понятіи тѣла, ни въ понятіи окружающей среды; она является à la deus ex machina, и такъ остается до сихъ поръ. И это не заботитъ строителей небесной механики; математика дѣлается обыкновенно равнодушна ко всемъ логическимъ требованіямъ, кромѣ своихъ собственныхъ. Нѣкогда Коперникъ, обдумывая гениальную мысль свою, имѣлъ въ виду дать болѣе легкій способъ вычислять планетные пути; теперь Ньютонъ говорить, что онъ предоставляетъ физикамъ рѣшить вопросъ о дѣйствительности предполагаемыхъ силъ, и выставляетъ на первый планъ удобство его теоріи для математическихъ выкладокъ.

Механическое разсматриваніе природы, несмотря на колоссальный успѣхъ ньютоновой теоріи, не могло удержаться; первый сильный протестъ противъ исключительно механическаго воззрѣнія раздался въ химическихъ лабораторіяхъ. Химія осталась вѣрнѣе настоящей бѣооновской методѣ, нежели всѣ отрасли естественныхъ наукъ; эмпирія царяла въ ней,—это правда, но она оставалась почти во всемъ свободною отъ разсудочныхъ теорій и насильственныхъ притѣсненій предмета; химія добросовѣстно и самоотверженно склонялась передъ признанною ею объективною веществу и его свойствъ.

Но протестъ болѣе мощный раздался съ другой стороны. Лейбницъ, тоже великій математикъ, но и великій мыслитель съ тѣмъ вмѣстѣ, поднялся противъ исключительнаго механико-материалистическаго воззрѣнія. Изложеніе главныхъ основаній его системы отведетъ насъ совсѣмъ въ другую сферу, а потому я попрошу позволенія окончить сперва повѣствованіе о бѣооновской школѣ, довести ее до Юма, т. е. до Канта, и потомъ снова возвратиться къ Декарту и прослѣдить исторію идеализма до Канта же. Въ этой исторіи мы увидимъ только два лица, но какія! Мы увидимъ, до какой

высоты можетъ дойти гениальная абстракція, до чего великое разумѣніе могло развить картезіанизмъ. Спиноза положилъ предѣлъ идеализму; чтобъ идти далѣе, надобно выдти изъ идеализма, оставаясь въ немъ, можно быть только комментаторомъ Спинозы; однимъ изъ нахлѣбниковъ его пышнаго стола. Опытъ шага впередъ сдѣлалъ Лейбницъ; въ Лейбницѣ мы встрѣчаемъ перваго идеалиста, въ которомъ что-то близкое, родственное, современное намъ. Суровость среднихъ вѣковъ и протестантское натянутое безстрастіе отражаются еще яркими чертами и на угрюмомъ Декартѣ и на неприступно-гордомъ въ нравственной чистотѣ своей Спинозѣ, въ которомъ осталось много еврейской исключительности и много католическаго аскетизма. Лейбницъ—человѣкъ, почти совсѣмъ очистившійся отъ среднихъ вѣковъ; все знаетъ, все любитъ, всему сочувствуетъ, на все раскрытъ, со всѣми знакомъ въ Европѣ, со всѣми переписывается; въ немъ нѣтъ сацердотальной важности схоластикомъ; читая его, чувствуете, что наступаетъ *день* съ своими дѣйствительными заботами, при которомъ забудутся грезы и сновидѣнія; чувствуете, что полно глядѣть въ телескопъ,—пора взять увеличительное стекло; полно толковать объ одной субстанціи, пора поговорить о многомъ множествѣ монадъ ¹⁾.

Село Соколово.—Іюнь, 1845.

¹⁾ Мы необходимо должны пропустить явленія чрезвычайно замѣчательныя и нѣкоторыя сильныя личности, явившіяся въ XVII столѣтіи, не въ главномъ руслѣ науки, а, такъ сказать, воулѣ. Сюда принадлежать англійскіе и французскіе мистики, протягивавшіе руку эмпириі и мирившіеся съ нею (въ родѣ того, какъ легитимисты мирятся съ радикалами) на общемъ признаніи безсилія разума; сюда принадлежитъ рядъ скептикомъ, сомнѣвавшихся, вмѣстѣ съ мистиками, несравненно болѣе въ разумѣ, нежели въ опытѣ (такъ сильна была реакція противъ схоластической догматики), и въ числѣ ихъ знаменитый Баль—защитникъ вѣротерпимости, признанной въ Россіи Великимъ Петромъ и гонимой во Франціи Великимъ Лудовикомъ. Баль былъ одинъ изъ неутомимѣйшихъ дѣателей XVII вѣка; онъ замѣшанъ во всѣ дѣла, причастенъ всѣмъ горячимъ вопросамъ и вездѣ гуманенъ и ѣдокъ, уклончивъ и дерзокъ; онъ дѣйствуетъ безъ имени и всѣмъ извѣстенъ: его гонятъ іезуиты, онъ отъ нихъ спасается въ Голландію; его гонятъ точно также протестанты, и отъ нихъ бѣжать некуда; католическій король Франціи его обогащаетъ преслѣдованіемъ его протестантскихъ брошюръ, и протестантскій король Англии чуть не лишаетъ куска хлѣба... Все это вмѣстѣ живо выражаетъ дѣятельный, кипящій и неустрашенный XVII вѣкъ.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Реализмъ.

Индуктивная метода Бэкона приобрѣтала болѣе и болѣе послѣдователей. Открытія, слѣдовавшія другъ за другомъ съ поразительной быстротою, въ медицинѣ, физикѣ, химіи, вовлекали умы болѣе и болѣе въ область естествовѣдѣнія, наблюдений, изысканій. Увлеченные эмпиріей, легкимъ анализомъ событій и видимой ясностью выводовъ, послѣдователи Бэкона хотѣли опытъ и наведеніе сдѣлать не только источникомъ, но и вѣнцомъ всякаго знанія; они грубый, непретворенный матеріаль, получаемый чрезъ непосредственное воззрѣніе, обобщаемый сравненіемъ и разлагаемый разсудочными категоріями, считали, если не за полнѣйшую истину, то за единственно возможную для человѣческаго разумѣнія. Воззрѣніе это долго оставалось мнѣніемъ, практикою, соглашеніемъ, болѣе подразумѣваемымъ, нежели высказаннымъ; долго не было въ немъ стремленія выразиться систематически, ни притязанія явиться логикой и метафизикой; ужасъ отъ всего метафизическаго еще царилъ надъ умами; воспоминаніе о схоластическомъ идеализмѣ было свѣжо; все вниманіе ученыхъ продолжало сосредоточиваться на увеличеніи фактическихъ свѣдѣній, на знакомствѣ съ природой. Природа стала соперницею тому гордому духу, который въ средніе вѣка не удостоивалъ ее никакого вниманія; роли перемѣнились: отъ ума требовали одной страдательной восприимлемости; самодѣятельность разума считали мечтою. Въ средніе вѣка, чтобъ сказать, что предметъ недѣйствителенъ, говорили: «это только грубая матерія»; теперь съ тою же цѣлью стали говорить: «это только мысль». Но когда переворотъ совершился, реализмъ бэконовской школы не удержался отъ искушенія систематизировать свое воззрѣніе,—искушеніе, впрочемъ, совершенно естественное и свойственное всякой умственной дѣятельности. Эмпирія захотѣла имѣть свою метафизику: Локкъ явился отвѣтомъ на эту потребность.

Человѣкъ долженъ (по Локку) начать обсуживаніе своего вѣдѣнія съ разбора орудій мышленія, съ разрѣшенія вопроса, способенъ ли умъ знать истину, насколько и какими средствами? Поверхностно разсуждая, кажется, что требованіе Локка справедливо, такъ какъ вообще всѣ разсудочныя требованія *на первый разъ* поразительно ясны; но стоитъ нѣсколько присмотрѣться къ нимъ, чтобъ увидѣть несостоятельность ихъ. Локкъ и его послѣдователи не догадались, что задача ихъ представляетъ логиче-

скій кругъ. Юмъ, какъ человѣкъ несравненно болѣе даровитый. спрашивалъ: чѣмъ же человѣкъ сдѣлаетъ разборъ своего разума?—Разумомъ. Да, вѣдь, онъ-то и подсудимый; оправданное имъ можетъ быть ложнымъ, именно потому что оно имъ оправдано. Юмъ попалъ въ шляпку гвоздя, какъ говорятъ; Юмомъ восхищались его современники, какъ острымъ скептикомъ, но глубины его отрицанья и великаго мѣста его въ развитіи новой философіи не постигли; первый понявшій его былъ Кантъ, отѣпенѣвшій отъ медузина взгляда юмовскаго воззрѣнія. Надобно (продолжаетъ Локкъ) *себѣ представить* человѣка такъ, чтобъ у него еще не было ни одной мысли, и посмотрѣть, какъ изъ взаимодействія его чувствъ и сознанія съ внѣшнимъ міромъ образуются *идеи* (подъ словомъ «идеи» они разумѣли всякую вещь—понятіе, всеобщее, мысль, образъ, форму, даже впечатлѣніе). Для этого возьмемъ ребенка, который еще не говоритъ, или человѣка *въ естественномъ состояніи*, и начнемъ наблюдать... А болѣе послѣдовательный Кондильякъ беретъ статую и даетъ ей обоняніе, потомъ слухъ... и такъ мало по малу доходитъ до законовъ мышленія *въ статуѣ*. Это называлось у нихъ наблюденіями, анализомъ,—и укоряющая тѣнь Бэкона не погрозила имъ пальцемъ съ своего кладбища!

Все XVIII столѣтіе безпрестанно прибѣгало къ дикому человѣку, къ ребенку; Жанъ-Жакъ, желая описать будущаго человѣка, ничего не нашелъ лучше, какъ представить его самымъ прошедшимъ, доисторическимъ. Не говоря уже объ нюхающей куклѣ, ни ребенокъ, ни предполагаемый идиотъ, ни каннибалъ—не нормальные люди; все, что вы въ нихъ замѣтите, будетъ тѣмъ ложнѣе, чѣмъ лучше подмѣчено. Положимъ, что мы могли бы возстановить забытое и безсознательное развитіе начальныхъ дѣйствій ума, впервые возбужденнаго чувствами,—что же изъ этого? Мы узнали бы историческую феноменологію сознанія, узнали бы физиологическое взаимодействіе энергій чувствъ и энергій мышленія—больше ничего. Зоологія, ботаника берутъ нормою экземпляры совершенно разившіеся; отчего же антропологія будетъ обращаться къ дикому человѣку? Оттого, что онъ ближе къ животному, т. е. дальше отъ человѣка? Человѣкъ не отошелъ, какъ думали мыслители XVIII вѣка, отъ своего естественнаго состоянія, *онъ идетъ къ нему*; дикое состояніе—для него самое неестественное; оттого, какъ только являются условія выхода изъ него, онъ и выходитъ; чѣмъ глубже въ старину, тѣмъ ближе къ дикому состоянію, тѣмъ неестественнѣе человѣкъ,—этого почти не приходило въ голову тогдашнимъ философамъ. Но что же за выводы изъ наблюденій надъ *предполагаемымъ нечеловѣкомъ*?

Локкъ находить, что простыя идеи (отчетъ въ впечатлѣніяхъ, воспоминаніе о нихъ) передаются прямо въ *пустое мѣсто* разума; разумъ, принимая чувственныя воззрѣнія, страдателенъ, не прибавляетъ отъ себя ничего, а, такъ сказать, задерживаетъ ихъ въ себѣ; поэтому, простыя идеи имѣютъ за себя большую достовѣрность. Но вотъ что худо: вмѣстѣ съ полученіемъ простыхъ идей, люди изобрѣтаютъ знаки для нихъ; Локкъ, поймавъ человѣка на этомъ изобрѣтеніи, очень справедливо замѣчаетъ, что человѣкъ словомъ нарицаетъ не дѣйствительную вещь, а всеобщее собирательное понятіе, родъ, или какой бы ни было порядокъ, къ которому принадлежитъ вещь, слѣдовательно, нѣчто несуществующее. Тутъ разборъ Локка долженъ бы былъ окончиться: если слово выражаетъ не истину, то и разумъ не имѣетъ средствъ сознать ее, ибо слово представитель того, какъ понимаетъ разумъ. Правда, вы можете спросить: почему Локкъ узналъ, что изъ двухъ предметовъ—изъ частной вещи и всеобщаго слова—дѣйствительность, а слѣдственно и истина, принадлежитъ вещи, а не слову; вѣдь, у него еще нѣтъ критериума, онъ ищетъ его. Дѣло очень просто: онъ матеріалистъ, и потому вѣритъ въ вещь и въ чувственную достовѣрность; будь онъ идеалистъ, онъ точно съ тою же неосновательностью принялъ бы за истину слово и всеобщее; онъ не въ самомъ дѣлѣ ищетъ критериумъ; онъ очень знаетъ, чего хочетъ,—онъ только прикидывается добросовѣстнымъ пытателемъ. Далѣе, всеобщее, названное словомъ, показываетъ отношеніе дѣйствительнаго предмета къ нашему разумѣнію; стало-быть, не одни внѣшнія впечатлѣнія—источникъ знанія, но и самая дѣятельность мышленія. Локкъ не только признаетъ это, но исключительно предоставляетъ разуму право раскрытія отношеній между предметами; онъ признаетъ раскрытое разумомъ (сложныя идеи) *необходимымъ*, однако *не такъ* (?) достовѣрнымъ, какъ простыя идеи. Вся разсудочная наука находится тутъ въ своемъ зародышѣ. Разумъ—пустое темное мѣсто, въ которое падаютъ образы внѣшнихъ предметовъ, возбуждая какую-то распорядительную, формальную дѣятельность въ немъ; чѣмъ онъ страдателнѣе, тѣмъ ближе къ истинѣ; чѣмъ дѣятелнѣе, тѣмъ подозрительнѣе его правдивость. Вотъ вамъ и знаменитое «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*», поставленное гордо рядомъ, или противъ «*cogito, ergo sum*»!

Что касается до самой феноменологіи Локка, то его «Опытъ» есть нѣчто въ родѣ логической исповѣди разсудочнаго движенія; онъ рассказываетъ въ немъ явленія своего сознанія, въ предположеніи, что у cadaго человѣка возникаютъ идеи и развиваются одинаковымъ образомъ. Локкъ раскрываетъ, между прочимъ, что при правильномъ употребленіи умственной дѣятельности, слож-

ныя понятія необходимо приводятъ къ идеямъ силы, *носителя свойства* (субстрата), наконецъ къ идеѣ сущности (субстанции) нами познаваемыхъ проявленій (атрибутовъ). Эти идеи существуютъ *не только въ нашемъ умѣ, но и на самомъ дѣлѣ*, хотя мы познаемъ чувствами одно видимое проявленіе ихъ. Замѣьте это. Очевидно, что Локкъ изъ своихъ началъ не имѣлъ никакого права дѣлать заключенія въ пользу объективности понятій силы, сущности и проч. Онъ стремился всѣми средствами доказать, что сознаніе — *tabula rasa*, наполняемая образами впечатлѣній и *имѣющая свойство* образы эти сочетавать такъ, чтобъ *подобное различнымъ* составляло родовое понятіе; но идея сущности и субстрата не выходитъ ни изъ сочетанія, ни изъ переложенія эмпирическаго матеріала; стало-быть, открывается новое свойство разумѣнія, да еще такое, которое имѣеть по признанію самого Локка, объективное значеніе. Какимъ образомъ исполнились бы послѣдователи Локка, если-бъ они узнали въ этомъ *свойствѣ* тѣ врожденные идеи идеализма, противъ которыхъ такъ неутомимо воевали всю жизнь.

Не всѣ идеалисты подъ врожденными идеями предполагали готовые сентенціи, привидѣніе, неотразимые бессмысленные факты, чуждые сознанію и втѣсенные ему, а неминуемыя формы, присущія дѣйствіямъ разума, и притомъ такія формы, которыя сами—аподиктическое доказательство своей дѣйствительности: то есть, то, что говоритъ Локкъ о понятіи сущности. Матеріалисты, соглашаясь съ Локкомъ, пренаивно спорили противъ слова *«врожденные идеи»* и доказывали неврожденность ихъ тѣмъ, что онѣ *могутъ* не развиваться. Чтожъ изъ этого? Органическій процессъ неминуемо долженъ развиться въ животномъ кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятію, но онъ *можетъ* и не развиваться; ему нужны для этого внѣшнія условія; не будь ихъ, не будетъ в организмѣ, а совершится какой-нибудь другой процессъ, до котораго нѣтъ дѣла органической нормѣ; если же соберутся условія, необходимыя для возникновенія организма, то неминуемо въ немъ разовьется кровеносная, нервная система по общему типу того плана, порядка и рода, къ которому принадлежитъ организмъ, и въ обоихъ случаяхъ родовое понятіе останется истиннымъ, а если угодно, врожденнымъ, присущимъ, предсуществующимъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что изъ этихъ формальныхъ противорѣчій, изъ этихъ непослѣдовательностей выдти, стоя на локковой точкѣ зрѣнія, невозможно; разумокъ (т. е. тотъ моментъ разума, которымъ эмпирическое содержаніе начинаетъ разлагаться на логическіе элементы свои) не имѣеть въ себѣ средствъ разрѣшить противорѣчіе, самимъ имъ поставленное и условно истинное только

въ отношеніи къ нему. Разумъ на этой разлагающей степени похожъ на химическій реактивъ: онъ можетъ разложить данное, но всякій разъ отдѣлить одну сторону, а съ другой соединиться; таковъ споръ о врожденныхъ идеяхъ, о сущности и проч. Во всѣхъ подобныхъ вопросахъ есть двѣ стороны; на закраинахъ своихъ онѣ односторонни, противорѣчатъ другъ другу, на срединѣ онѣ сливаются; взятая врозь,—онѣ просто ложны и даютъ безвыходные ряды антиномій, въ которыхъ обѣ стороны неправы, пока существуютъ въ отвлеченной отдаленности, и могутъ быть истинными только при сознаніи единства. Но сознаніе этого единства выходитъ за предѣлы того момента мышленія, съ котораго намѣренно не сходятъ люди рефлексіи; я говорю: намѣренно,—потому что надобно много трудиться и много приобрѣсти упорной косности, чтобъ не послѣдовать діалектическому влеченію, которое само собою выноситъ за предѣлы разсудочности. Умъ, свободный отъ принятой и возложенной на себя системы, останавливаясь на одностороннихъ опредѣленіяхъ предмета, невольно стремится къ восполняющей сторонѣ его; это—начало біенія діалектическаго сердца; повидимому, и это сердце только колыхается взадъ и впередъ, а на самомъ дѣлѣ это біеніе свидѣтельствуетъ о живомъ, горячемъ потокѣ, текущемъ съ непрерывнымъ ритмомъ своимъ; п въ діалектическихъ переходахъ, съ каждымъ разомъ, съ каждымъ біеніемъ, мысль становится чище, живѣе.

Возьмемъ для примѣра одностороннее воззрѣніе Локка на начало знаній и на сущность. Разумѣется, что опытъ возбуждаетъ сознаніе, но также разумѣется, что возбужденное сознаніе вовсе не имъ произведено, что опытъ одно условіе, толчекъ, такой толчекъ, который никакъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія, потому что они не въ его власти, потому что сознаніе не *tabula rasa*, а *actus purus*, дѣятельность, не внѣшняя предмету, а совсѣмъ напротивъ, внутреннѣйшая внутренность его, такъ какъ вообще мысль и предметъ составляютъ не два разные *предмета*, а два момента чего-то единаго. Примите незыблемо ту или другую сторону, и вы не выпутаетесь изъ противорѣчія. Безъ опыта нѣтъ сознанія, безъ сознанія нѣтъ опыта; ибо кто же свидѣтельствуетъ о немъ? Полагаютъ, что сознаніе имѣетъ *свойство* противодѣйствовать, такимъ-то образомъ, опыту, а между тѣмъ опытъ очевидно поводъ, *præus*, безъ котораго это свойство не обличилось бы. Не рѣшались принять мышленіе за самобытную дѣятельность, для развитія которой необходимы опытъ и сознаніе, поводъ и *свойство*, хотѣли того или другого и впадали въ бесплодное повтореніе. Въ этихъ тавтологіяхъ, непрерывно повторяющихся противоположное, есть нѣчто, до такой степени противное человѣку, ругающееся надъ нимъ, лишенное смысла, что

человѣкъ, не побѣдившій въ себѣ разсудочной точки зрѣнія, для спасенія себя отъ нихъ отрекается отъ лучшаго достоянія своего—отъ вѣры въ разумъ. Юмъ имѣлъ это мужество отрицанія, это геройское самоотверженіе, а Локкъ остановился на полдорогѣ; оттого-то Юмъ и стоитъ головою выше Локка; логическому уму легче отрицать, легче лишиться всего дорогого, нежели остановиться, не выводя послѣдняго заключенія изъ началъ своихъ. Вопросъ о сущности и атрибутѣ, или видимомъ существованіи сущности, приводитъ къ такой же антиноміи. Разумъ, всматриваясь въ бытіе, доходитъ вскорѣ, переходя рядомъ количественныхъ и качественныхъ опредѣленій, рядомъ отвлеченій, до понятія сущности, ставящей бытіе, вызывающей его возникнуть. Бытіе стремится отразиться въ себѣ, отречься отъ видоизмѣняющейся внѣшности и раскрыть свою сущность,—въ противоположность, такъ сказать, своему наружному проявленію. Но какъ только умъ захочетъ понять основу, причину, внутреннюю силу бытія помимо бытія,—онъ раскрываетъ, что сущность безъ своего проявленія такой же *non sens*, какъ бытіе безъ сущности; — чего же она сущность? Дайте ей проявленіе, тогда вы снова воротитесь въ сферу атрибутовъ, бытія; восполняющій моментъ является, какъ недостающій звукъ, который невольно напрашивается, чтобъ завершить аккордъ. Но что же значить эта діалектическая необходимость, которая указала на сущность, когда человѣкъ хотѣлъ остановиться на бытіи, и указала на бытіе, когда онъ хотѣлъ остановиться на сущности? Это, повидимому, логическій кругъ, а на самомъ дѣлѣ логическая *круговая порука*; это противорѣчіе ясно выражаетъ, что нельзя останавливаться на бѣдныхъ категоріяхъ разсудочнаго анализа, что ни бытіе, ни сущность, отдѣльно взятыя, не истинны. Разсудокъ, сказалъ я выше, похожъ на реагенцію; но еще ближе можно взять сравненіе: онъ похожъ на гальванической снарядъ, который все разлагаетъ въ извѣстномъ отношеніи на двѣ части и который не иначе отдѣляетъ одну составную часть, какъ отдѣливъ къ другому полюсу другую. Антиномія не свидѣтельствуетъ своей ложности,—совсѣмъ напротивъ, она мѣшаетъ только несправедливому дѣйствію ума, не позволяя ему принимать отвлеченіе за цѣлое; она вызываетъ противоположное у другого полюса, какъ улику, и показываетъ одинаковую правомѣрность его. Діалектическое движеніе сначала оскорбляетъ мыслящаго человѣка, даже исполняетъ печалью и отчаяніемъ,—своими скучными рядами и неожиданнымъ возвращеніемъ къ началу; оно оскорбляетъ его, какъ видъ домашней крыши оскорбляетъ путника, потерявшаго дорогу, и который, скитаясь цѣлые часы, видитъ, что онъ воротился назадъ; но вслѣдъ за негодованіемъ должно явиться желаніе дать

себѣ отчетъ, разобрать случившееся, а этотъ разборъ, рано или поздно, непременно приводитъ къ высшимъ областямъ мышленія.

Локкъ поступилъ нелогически, признавъ объективность сущности, и также нелогически рѣшилъ, что сущность знать нельзя, потому только, что она неотдѣлима отъ проявленій,—въ то время, какъ въ нихъ-то и можно узнать сущность; атрибуты — языкъ, которымъ высказывается внутреннее (вспомните Я. Бема). Локкъ поступилъ нелогически, признавъ разсужденіе за источникъ знанія въ то время, какъ все воззрѣніе его основано на томъ, что въ сознаніи ничего нѣтъ, кромѣ полученнаго изъ чувствъ. Онъ на каждомъ шагу бьетъ самого себя. Скажемъ просто: «Опытъ» Локка не выдерживаетъ никакой критики; огромный успѣхъ его основанъ на одной своевременности; метафизика матеріализма не могла развиваться, призваніе бэконовой школы вовсе не было метафизическое; великое, сдѣланное ею, сдѣлано внѣ систематики; систематика ея только хороша, какъ реакція схоластикъ и идеализму, и пока она себя понимала реакціей, она была полезна; но по мѣрѣ того, какъ она изъ протестаціи переходила къ чиноволоженію, къ теоріи,—она дѣлалась несостоятельною. Логически все воззрѣніе Локка—ошибка, такая же вопіющая ошибка, какъ всѣ построенія практическихъ областей, шедшія отъ идеализма. Вообще, Локкъ въ дѣлѣ мышленія представляетъ здравый смыслъ, начинающій имѣть притязанія на догматику, разсудительное благородіе, равно удаленное отъ высокаго разума, какъ и отъ пошлой глупости; его метода въ философіи то, что *esprit de conduite* въ дѣлѣ нравственности; по ней равно трудно спотыкнуться и сойти съ битой дороги. Изложеніе Локка умно, ровно, свѣтло, полно практическихъ замѣтокъ; выводы его очевидны, потому что онъ говоритъ объ одномъ очевидномъ; онъ вездѣ стремится удержаться въ золотой серединѣ, воздерживается отъ крайностей; но еще мало бояться прямыхъ слѣдствій изъ своихъ началъ въ ту и другую сторону, чтобъ возвыситься до разумнаго примиренія ихъ обѣихъ. Послѣдовательнѣе его, но изъ тѣхъ же началъ, вышелъ Кондильякъ. Кондильякъ отвергнулъ мысль, что разсужденіе можетъ быть источникомъ знанія, ибо оно не только предполагаетъ ощущеніе, но и есть не что иное, какъ ощущеніе. Онъ самое сочетаніе идей не принималъ за свободное дѣйствіе ума, но за необходимый результатъ ощущеній,—такимъ образомъ всѣ духовные процессы были сведены на ощущенія; съ другой стороны, тотъ же Кондильякъ доказывалъ, что «тѣлесные органы чувствъ составляютъ случайное начало знанія, чувственнаго ощущенія»; впрочемъ, это ему ни къ чему не послужило. Логика Кондильяка, какъ внѣшняя механика мышленія, не лишена до-

стоинствѣ, отчетлива, ясна, приучаетъ къ своего рода строгости и осмотрительности, — но пороха не выдумаетъ по его методѣ: это метода искусственныхъ классификацій, описанія признаковъ и проч.

Материалисты-метафизики совсѣмъ не то писали, о чемъ хотѣли; они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внѣшнемъ процессѣ; его они изображали довольно вѣрно, и никто съ ними не спорить; но они думали, что это все, и ошиблись: теорія чувственного мышленія была своего рода механическая психологія, какъ воззрѣніе Ньютона механическая космологія. Притомъ, никакъ не надобно терять изъ вида, что локкова школа разсматривала мышленіе только какъ частную, отдѣльную, личную способность одного типическаго человѣка; разумъ, какъ родовое мышленіе, пребывающее и развертывающееся въ исторіи и наукѣ, не заслужилъ ихъ вниманія; оттого у всѣхъ у нихъ недостаетъ историческаго пониманія прошлыхъ моментовъ мышленія. Ничто не можетъ быть страннѣе, какъ ихъ разборы древнихъ философовъ; даже рядомъ съ ними или почти рядомъ стоявшихъ мыслителей они никакъ не могли понять. Кондильякъ, напр., писалъ подробный разборъ Мальбранша, Лейбница и Спинозы; видно, что онъ много ихъ читалъ, но видно, что онъ ни разу не отдавался имъ, что онъ непріязненно началъ и искалъ только противопоставлять свое сказанному ими. Такъ разбирать философскихъ писателей невозможно ¹⁾. Вообще, материалисты никакъ не могли понять объективность разума и оттого, само собою разумѣется, они ложно опредѣляли не только историческое развитіе мышленія, но и вообще отношенія разума къ предмету, а съ тѣмъ вмѣстѣ и отношеніе человѣка къ природѣ. У нихъ бытіе и мышленіе или распадаются, или

¹⁾ Кстати, вѣроятно, многимъ казалось страннымъ, отчего большая часть мыслителей XVII и XVIII вѣка, читая Платона и Аристотеля, рѣшительно не понимали единства внутреннего и внѣшняго (платоновой идеи, аристотелевой энтелехія), которое довольно ясно въ воззрѣніи того и другого. Неужели это просто ограниченность?—Не думаю. Новый человѣкъ такъ распался съ природой, что не можетъ легко примириться съ нею; онъ сочетавалъ большой смыслъ съ этимъ распаденіемъ, нежели грекъ. Грекамъ легко было понимать неразрывность сущности и бытія потому, что они не понимали во всю ширину ихъ противоположности. Напротивъ, средніе вѣка именно развили до послѣдней крайности этотъ разрывъ, и мысль не токмо удовлетворилась уже греческимъ примиреніемъ, но потеряла возможность понимать его. Грекъ предавался сочувствію къ истинѣ; новому человѣку надобны были анализъ и критика; онъ убилъ въ себѣ сочувствіе рефлексіей и недоверіемъ. Грекъ никогда не отдѣлялъ ни человѣка, ни мысли отъ природы; для него сосуществованіе ихъ было событіе, не то, чтобы совершенно отчетливо понимаемое, но фактически очевидное; новая наука въ обоихъ проявленіяхъ своихъ (реализмъ и идеализмъ) разрушала эту гармонию.

дѣйствуютъ другъ на друга внѣшнимъ образомъ. *Природа помимо мышленія—часть, а не цѣлое*; мышленіе такъ же естественно, какъ протяженіе, такъ же степень развитія, какъ механизмъ, химизмъ, органика,—только высшая. Этой простой мысли не могли понять матеріалисты; они думали, что природа безъ человѣка полна, замкнута и довлѣетъ себѣ, что человѣкъ какой-то посторонній; конечно, отдѣльно взятая естественная произведенія не имѣютъ никакой нужды въ человѣкѣ; но если вы возьмете ихъ въ связи, вы увидите, что въ нихъ все неполно, что все ихъ счастье именно въ томъ, что они не могутъ сознать этой неполноты; организмы животные, наприм., при всей цѣлости, замкнутости, конкретности, *отвлеченны*; они, сверхъ собственнаго значенія, намекаютъ на какое-то развитіе, переходящее далѣе; они исполнены указаній на нѣчто болѣе полное и развитое; эти указанія стремятся къ человѣку; чтобъ доказать это, не нужно, пожалуй, философіи, достаточно сравнительной анатоміи.

Въ природѣ, разсматриваемой помимо человѣка, нѣтъ возможности сосредоточенія и углубленія въ себя, нѣтъ возможности сознанія, обобщенія себя въ логической формѣ,—потому нѣтъ помимо человѣка, что мы человѣкомъ именно называемъ это высшее развитіе. Никто не удивляется, что безъ глазъ не видать, потому что глазъ составляетъ единственное орудіе зрѣнія; мозгъ человѣка—орудіе сознанія природы. Природа, какъ вѣчное несовершеннолѣтіе, покорена закону необходимому, роковому, неясному для себя, именно по недостатку *этого* развитаго себя, т. е. человѣка; въ человѣкѣ законъ проясняется, становится сознаваемой разумностью; нравственный міръ настолько свободенъ отъ внѣшней необходимости, насколько совершеннолѣтенъ, т. е. сознательнъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности сознаніе не отдѣлено отъ бытія, не другое, а, напротивъ, есть его совершеніе, цѣль его домогательствъ, объясненіе его неясности, его истина и оправданіе, то и міръ физическій, освобожденный въ нравственномъ и оправданный въ немъ, оправданъ въ своихъ глазахъ. Природа, понимаемая помимо сознанія,—туловище, недоросль, ребенокъ, не дошедшій до обладанія всѣми органами, потому что они не всѣ готовы. Человѣческое сознаніе безъ природы, безъ тѣла,—мысль, не имѣющая мозга, который бы думалъ ее, ни предмета, который бы возбудилъ ее. Естественность мысли, логичность и ихъ круговая порука природы—камень преткновенія для идеализма и для матеріализма, только онъ попадался имъ подъ ноги съ разныхъ сторонъ ¹⁾. Шеллингъ засталъ борьбу разныхъ взглядовъ на разумъ

¹⁾ Позвольте мнѣ привести въ заключеніе сказаннаго о Локкѣ и его послѣдователяхъ слѣдующее мѣсто изъ элементарной анатоміи Генле, Генле—прозектора. вѣчно сидящаго за микроскопомъ и, слѣдовательно, не состоящаго въ по-

и на природу въ ея высшемъ и крайнемъ выраженіи,—когда, съ одной стороны, *не-я* пало подъ ударами Фихте и власть разума провозгласилась въ какихъ-то безконечныхъ пространствахъ холода и пустоты; съ другой, французы отрицали все нечувственное и, какъ черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углубленіями, а не бугорки мыслю, и онъ первый высказалъ, хотя и не вполне, высокое единство, о которомъ мы говорили. Но возвратимся къ Локку и его школѣ.

Локкъ былъ робокъ и болѣе добросовѣстенъ, нежели діалектикъ; онъ безъ логической необходимости съ своей точки зрѣнія отрекся отъ начала, изъ котораго пошелъ. Признаніемъ сущности за дѣйствительность онъ окончательно призналъ самозаконность разума, которая была уже отчасти признана въ принятіи разсужденія источникомъ сложныхъ идей; какъ скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо открывалась возможность—многообразіе сущаго привести къ единству; бытіе непосредственное находить въ сущности свое посредство, явленіе получаетъ причину, каузальность неразрывна съ понятіемъ сущности. Но такъ, какъ Спинозѣ (мы увидимъ это въ послѣдующихъ письмахъ), чтобъ примирить картезианскій дуализмъ съ требованіями своей глубокой логической природы, оставался одинъ выходъ—погубить дѣйствительность явленій въ пользу сущности, что составляло своего рода выходъ изъ дуализма, такъ точно

дозрѣніи идеализма. Подробно разобравъ нервную дѣятельность и энергію органа мышленія, онъ говоритъ: „Разбирая сложныя дѣйствія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи; но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски. Всѣ такого рода попытки ставятъ впередъ то, что должно объяснять; такъ поступала локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта. Положеніе: nihil in intellectu, quod non ante fuerat in sensu, до такой степени ложно, что, физиологически говоря, скорѣе можно утверждать, что ничего не можетъ перейти изъ чувствъ въ разумъ. Внѣшнее не можетъ даже произвести ощущеній, не предшествующихъ, какъ *возможность*; гдѣ же ему проникнуть въ органъ мышленія? внѣшнее развиваетъ только усыпленное въ немъ. Во взаимодействіи съ внѣшнимъ міромъ энергія чувствъ обособляется (дѣлается спеціальною) соответствующими раздраженіями, которыя, развиваясь, замѣняютъ собою первоначальныя ощущенія. Органы чувствъ составляютъ соответствующее раздраженіе органу мышленія. Пораженію чувствъ соответствуютъ извѣстныя чувственныя понятія; степень ихъ развитія находится въ соотношеніи съ прочувствованнымъ съ прожитымъ чувствами (von den Erlebnissen der Sinne). Мышленіе развито относится къ первымъ дѣйствіямъ ума почти такъ же, какъ фантазія образованнаго глаза къ мерцанію и къ цвѣтнымъ пятнамъ. Возвратиться къ первоначальнымъ понятіямъ невозможно. Исторія развитія и образъ чувствованій воспитали намъ формы, которыми мы думаемъ, и проч. См. Allgemeine Anatomie von Henle, p. 751—2; она составляетъ VI томъ превосходнаго изданія, въ которомъ современные германскіе врачи-натуралисты почтили память своего знаменитаго учителя, J. T. Sömmering v. Baue des menschlichen Körpers.

матеріализму надобно было послѣднимъ словомъ своимъ принять не робкое и шаткое полупризнаніе сущности, а полное отреченіе отъ нея. Сущность—та нить, которой разумъ все сдерживаетъ: перерѣжьте ее, и все разсыплется, распадется, будутъ существовать одни частныя явленія, однѣ индивидуальности, мерцающія мгновенно и мгновенно тухнущія; всеобщій порядокъ разрушится, будутъ атомы, явленія, груды фактовъ случайности, но не будетъ стройнаго, всецѣлаго космоса,—и все это прекрасно: когда одно-сторонность дойдетъ до такой крайности, тогда она всего ближе къ выходу изъ своей ограниченности. Нѣтъ сомнѣнія, что первый гениальный матеріалистъ бѣконо-локкова направленія долженъ былъ дойти до этого или отречься отъ матеріализма,—этотъ гений былъ Давидъ Юмъ.

Юмъ принадлежить къ небольшому числу мыслителей, которые покончили съ собою, которые, взявъ начала, имѣли мужество идти до послѣдствій, не блѣднѣя ни передъ чѣмъ и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остались вѣрными точкѣ отправленія и логическому пути. Такой человѣкъ можетъ, наконецъ, достигнуть успокоенія, примириться въ вѣрности своихъ выводовъ съ своими началами; пошлыхъ людей, дошедшихъ до этой невозмущаемой тишины, много; но Юмъ былъ одаренъ необычайнымъ умомъ и необычайной діалектикой,—въ томъ-то и важность. Началъ своихъ Юмъ не избиралъ: онъ ихъ нашелъ готовыми въ современномъ ему мірѣ, въ своемъ отечествѣ; онъ къ этимъ началамъ имѣлъ симпатію, какъ человѣкъ практической, какъ англичанинъ. Самый образъ жизни велъ его къ нимъ: Юмъ былъ дипломатъ, историкъ, а прежде купецъ, несмотря на аристократическое происхожденіе. Разумѣется, начала бѣконовской методы были ближе къ душѣ его, нежели Спиноза и Лейбницъ; но взявъ начала, мощный мыслитель вывелъ неумолимые послѣдствія; онъ выставилъ то, до чего не смѣли касаться его предшественники; тамъ, гдѣ они виляли, уступали, тамъ Юмъ кротко и благородно, но съ невѣроятной твердостью, шелъ прямымъ путемъ. Онъ спокоенъ, потому что правъ; его совѣсть чиста, онъ добросовѣстно сдѣлалъ то, за что взялся.

Видали ли вы портретъ Юма? — Его черты поражаютъ васъ своей невозмущаемой ясностью и кроткимъ покоемъ; весело сидитъ онъ въ щегольскомъ французскомъ кафтанѣ; лицо его полно, глаза блестятъ умомъ, всѣ черты одушевлены, благородны; онъ нѣсколько улыбается. Смотря на него, дѣлается отраднo, вспоминается, что въ жизни есть много хорошаго. Обернитесь къ портретамъ другихъ философовъ, близкихъ къ нему по времени,—совсѣмъ не то. Въ сухо-моральномъ лицѣ Локка соединяется выраженіе англиканскаго проповѣдника, съ строгостью матеріалиста-

законодателя; лицо Вольтера выражает одну злую иронию; въ немъ знаменіе геніальнаго разума какъ-то сочеталось съ чертами орангутанга; Кантъ съ своей маленькой головкой и огромнымъ лбомъ дѣлаетъ тягостное впечатлѣніе; въ лицѣ его, папоминающемъ Робеспьера, есть что-то болѣзненное; оно говоритъ о безпрерывной, тяжелой работѣ, потребляющей все тѣло; вы видите, что у него мозгъ всосалъ лицо, чтобъ довлѣть огромному труду мысли; Лейбницъ съ царственно величественнымъ лицомъ, какъ Гёте, говоритъ всѣми чертами: *procul estote!* А Юмъ зоветъ къ себѣ.

Это не только человѣкъ мысли, но человѣкъ жизни. Таковъ онъ и былъ; онъ умѣлъ съ высокой нравственностью и съ высокимъ умомъ сочетать качества, привязывавшія къ нему всѣхъ людей, близко къ нему подходившихъ. Онъ былъ душою небольшой кучки друзей; въ ихъ числѣ былъ и великій Адамъ Смитъ и нѣкогда Ж. Ж. Руссо, бѣжавшій изъ веселаго говарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юмъ остался вѣренъ себѣ до конца; онъ сдѣлалъ передъ смертью пиръ и весело расстался съ жизнію, сжимая замиравшей рукой своей дружескія руки, улыбаясь прощальному тосту ихъ. Это была цѣльная натура! Ни Локкъ, ни Кондильякъ не могли сладить своего реализма съ наукообразными требованіями. Юмъ съ перваго взгляда понималъ, что съ этой точки зрѣнія всѣ метафизическія требованія, всякая догматика будутъ нелѣпостью, и высказалъ это прямо и не обинуясь. Мы видѣли выше, что онъ опровергъ возможность опредѣлять достовѣрность знанія критикою ума; онъ достовѣрность считаетъ инстинктомъ, неподлежащимъ собственно умозаключенію, *предъ-разсудкомъ*. Мы приводимъ въ сознаніе не самыя предметы, а образы ихъ; эти образы мы *считаемъ* за дѣйствія вѣдшихъ предметовъ; доказательствъ на это нѣтъ, мы принимаемъ такое отношеніе впечатлѣній къ предметамъ до развитія обсуживанія: это впередъ идетъ, это дано инстинктомъ. Источникъ знанія—опытъ, впечатлѣнія; впечатлѣнія передаютъ намъ образы и вмѣстѣ съ тѣмъ *моральное убѣжденіе, вѣрованіе*, что они соотвѣтствуютъ предметамъ сущимъ, возбудившимъ ихъ въ нашемъ сознаніи; дѣйствіями ума вывести оправданіе инстинкта невозможно, у него на это нѣтъ средствъ; изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ инстинктъ былъ неправъ, а слѣдуетъ, что у насъ умъ ограниченъ. Чувственные впечатлѣнія, образы, собираясь въ памяти, повторяясь и сочетаясь ею различнымъ образомъ, составляютъ то, что мы называемъ идеями; всѣ идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону матеріаловъ, данныхъ впечатлѣніями, сличая ихъ, мы отвлекаемъ общее имъ, беремъ ихъ соотношенія, и этимъ путемъ

уравненій достигаемъ общихъ понятій; при этомъ обобщеніи, само собою разумѣется, впечатлѣнія теряютъ долю живости, силы и своего индивидуальнаго значенія. Вѣря въ свой инстинктъ, храня въ памяти ряды впечатлѣній, человѣкъ различныя обобщенія и слѣдствія своихъ сравненій приписываетъ предметамъ, не имѣя ни малѣйшаго права на то; опытъ даетъ одни частныя явленія, ощущенія и ничего всеобщаго. Видя нѣсколько разъ подобное послѣдующее отъ подобнаго предыдущаго, человѣкъ *привыкаетъ* связывать эти представленія и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое дѣйствиємъ; ни опытъ, ни умозрѣніе не оправдываютъ такого произвольнаго принятія. Опытъ даетъ преемственный порядокъ двухъ разныхъ явленій, слѣдующихъ во времени другъ за другомъ, не раскрывая иного соотношенія между ними. Умозаключеніе каузальности явнымъ образомъ не полно, — недостаетъ цѣлаго термина: В постоянно слѣдуетъ за А, слѣдственно, А причина В; заключеніе негодное, ибо я не вижу никакого соотношенія между двумя разными А и В, кромѣ разказа, что сперва явилось А, а потомъ В, и это случилось нѣсколько разъ; принимая А за причину, В за дѣйствіе, мы теряемъ послѣднюю возможность ихъ сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему-нибудь, а дѣйствіе и причина — до такой степени разнородныя понятія, что сравненіе здѣсь не имѣетъ мѣста. Дѣло въ томъ, что каузальность вовсе и не основана на умозаключеніи, или на прямомъ опытѣ, а *на привычкѣ*; человѣкъ привыкаетъ отъ подобныхъ причинъ ждать непременно подобныхъ дѣйствій; если-бъ эта необходимость была разумна, то разумъ и въ первый разъ долженъ былъ ждать того же дѣйствія; но онъ его не ждалъ, а ждалъ во второй разъ, потому что началъ привыкать. То, что здѣсь говорится о каузальности, прилагается очень легко и къ понятіямъ необходимости и сущности.

Опытъ не даетъ нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ необходимыхъ соотношеній, а даетъ совокупное и современное сосуществованіе, многообразіе. Слово «сущность» — собирательное имя многихъ простыхъ идей, совмѣщаемыхъ въ одно; мы никакого понятія не имѣемъ о сущности, кромѣ полученнаго изъ связи разныхъ явленій и свойствъ, схваченныхъ нами; идеи, повидимому, чрезъ соединеніе по сходству, совокупности, одновременности, каузальности, становятся крѣпче, общѣе; но если взглянуть, то всѣ эти обобщенія приводятъ къ повторенію одного и того же разными образами (дѣйствіе—раскрытая причина; причина закрытая — необнаруженное дѣйствіе). Напримѣръ, человѣческое я, т. е. понятіе самости, представляется въ родѣ сущности всѣхъ явленій, составляющихъ жизнь человѣка;

въ основѣ понятія о нашемъ я не лежитъ тоже ничего дѣйствительнаго. Понятіе я есть признаніе непрерывно продолжающейся самости, стало-быть, и впечатлѣніе, производящее его, должно быть непрерывно; но такого впечатлѣнія нѣтъ: самость наша состоитъ изъ совокупности многихъ другъ за другомъ слѣдующихъ впечатлѣній; мы придаемъ этой совокупности вымышленную связь, называемую я. Мысль эта возникаетъ отъ понятія непрерывности предмета съ одной стороны и отъ понятія послѣдовательности разныхъ предметовъ, другъ за другомъ находящихся въ соотношеніи; чѣмъ болѣе мы замѣчаемъ характеръ постепенной послѣдовательности, тѣмъ менѣе можемъ мы ихъ отличать другъ отъ друга, и чтобъ *скрыть* противорѣчіе, основанное на удержаніи непрерывности и послѣдовательности, человекъ выдумываетъ субстанцію или самость своего я, *какъ невѣдомое нѣчто, сохраняющее тождество съ собою въ перемѣнѣ*.

Consomatum est! Дѣло матеріализма, какъ логическаго момента, совершилось; далѣе идти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частныхъ явленій, наше я на бездну частныхъ ощущеній; если между явленіями и между ощущеніями раскрывается связь, то эта связь, во первыхъ, случайна, во вторыхъ, лишаетъ полноты и жизненности то, что связываетъ; наконецъ, тавтологически повторяетъ то же самое на другомъ языкѣ. Связь эта ни логической, ни эмпирической достовѣрности не имѣетъ; ея критеріумъ—инстинктъ и привычка. Умъ опровергаетъ инстинктъ, но очевидность за него; инстинктъ практически опровергаетъ умъ, хотя, съ своей стороны, доказательствъ ни на что не имѣетъ. Хотѣли одною чувственной достовѣрностью дойти до истины; Юмъ привелъ къ истинѣ *чувственной достовѣрности*, остановившейся на рефлексіи, и что же случилось? Дѣйствительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознание своего я—исчезли; Юмъ доказалъ, что этимъ путемъ только до этихъ слѣдствій и можно дойти. Но можно ли, по крайней мѣрѣ, схватиться, какъ за послѣдній якорь спасенія, за инстинктъ, за вѣру въ впечатлѣніе? Ни подъ какимъ видомъ. Вѣра въ дѣйствительность впечатлѣній—дѣло воображенія и отличается отъ прочихъ вымысловъ его только невольнымъ чувствомъ достовѣрности, основанной на большей живости впечатлѣній, происходящихъ болѣе отъ дѣйствительныхъ предметовъ, нежели отъ вымышленныхъ. Вѣра эта, прибавляетъ Юмъ, точно такъ же принадлежитъ звѣрямъ, какъ и человеку; она не подлежитъ никакому оправданію умомъ! Что Декартъ сдѣлалъ въ области чистаго мышленія своей методой, то сдѣлалъ практически въ сферѣ разсудочной науки Юмъ. Онъ очистилъ входъ въ науку отъ всего даннаго, впередъ идущаго; онъ заставилъ матеріализмъ сознаться въ невозможности

сти дѣйствительнаго мышленія съ его односторонней точки зрѣнія. Пустота, къ которой Юмъ привелъ, должна была сильно потрясти людское сознание, а выдти изъ нея нельзя было ни методомъ тогдашняго идеализма, ни робкимъ локковымъ материализмомъ. Требовалось иное рѣшеніе: голосъ Юма вызвалъ Канта.

Но прежде, нежели мы займемся имъ и его предшественниками со стороны идеализма, взглянемъ, что дѣлала бэконова школа по ту сторону Па-де-Калё.

Реализмъ явнымъ образомъ перешелъ во Францію изъ Англіи; даже ироническій тонъ, легкая литературная одежда мысли, теорія себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства— все это перешло изъ Англіи. Что же сдѣлали французы? За что въ памяти нашей слова: реализмъ, материализмъ, неразрывны съ именами французскихъ писателей XVIII вѣка? Если вы возьметесь за логическій остовъ, за теоретическую мысль въ ея всеобщности,—то увидите, что французы почти ничего не сдѣлали, да и не могли собственно ничего сдѣлать: съ точки зрѣнія реализма и эмпиріи одна метода— ее изложилъ Бэконъ; въ материализмъ далъ Гоббеса идти нѣкуда, развѣ броситься въ скептицизмъ, но и тутъ все было исчерпано Юмомъ. Между тѣмъ, французы сдѣлали дѣйствительно очень много, и въ исторіи они не даромъ остались представителями науки XVIII столѣтія. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай замѣтить, что отвлеченная логическая схематика всего менѣе способна уловить не наукообразную по формѣ, но богатую по содержанію философію эмпиріи. Здѣсь это очевидно; если вы взглянете не на нѣсколько бѣдныхъ теоретическихъ мыслей, отъ которыхъ равно отправлялись англичане и французы, но на развитіе, которое эти мысли получали у англичанъ и французовъ,—тогда увидите, что Франція несравненно болѣе совершила, нежели Англія. Британцамъ принадлежитъ только честь почина. Энциклопедисты въ области науки сдѣлали точно то же изъ Локка, что бретонскій клубъ, во время революціи, сдѣлалъ изъ англійской теоріи конституціонной монархіи: они вывели такія послѣдствія, которыя или не приходили англичанамъ въ голову, или отъ которыхъ они отворачивались. Это совершенно сообразно національному характеру двухъ великихъ народовъ.

Всякій общій вопросъ дѣлаютъ англичане мѣстнымъ, національнымъ; всякій мѣстный, частный вопросъ стновится общечеловѣческимъ у французовъ. Какой бы перемѣны англичанинъ ни хотѣлъ, онъ хочетъ сохранить и бывшее, въ то время, когда французъ прямо и открыто требуетъ новаго; доля души англичанина въ прошедшемъ: онъ челоуѣкъ по преимуществу историческій, онъ привыкъ съ дѣтства благоговѣть передъ бывшимъ своей ро-

дины, уважать ея законы, ея обычаи, ея повѣрья; и это очень понятно: прошедшее Англіи *достойно уваженія*; оно такъ величаво и стройно развивалось, оно такъ гордо становилось стражей челоуѣческаго достоинства еще во времена мрачнаго безправія, что нельзя британцу оторваться отъ святыхъ воспоминаній своихъ; это благочестіе къ прошедшему кладетъ узду на него. Англичанину кажется неделикатнымъ переходить нѣкоторые предѣлы, касаться нѣкоторыхъ вопросовъ, и онъ, до педантизма строгій читатель приличій, покоряется ихъ условнымъ законамъ. Бэконъ, Локкъ, моралисты, политическіе эконоы Англіи, парламентъ, пославшій Карла I на эшафотъ, Стафортъ, хотѣвшій испровергнуть власть парламента,—всѣ стремятся прежде всего показать себя консерваторами, всѣ двигаются спиною впередъ и не хотятъ сознаться, что идутъ по новой неразработанной почвѣ. Въ мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она опредѣленна, положительна, тверда, но съ тѣмъ вмѣстѣ видны берега, видны предѣлы. Англичанинъ перерываетъ нить своей мысли на томъ мѣстѣ, гдѣ она отклоняется отъ существующаго порядка, и порванная нить слабнетъ на всемъ протяженіи ¹⁾. Уваженія къ прошедшему, обуздывавшаго англичанина, не было у французовъ. Людовикъ XIV такъ же мало уважалъ прошедшее, какъ Мирабо; онъ открыто бросилъ перчатку преданію. Французы узнали свою исторію въ нашемъ вѣкѣ: въ прошломъ они дѣлали свою исторію, но не знали, что они продолжаютъ; они только знали исторію Рима и Греціи — переложенную на французскіе нравы, разрушенную, натянутую. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, французы хотѣли *все вывести изъ разума*: и гражданскій бытъ и нравственность, — хотѣли опереться на одно теоретическое сознаніе и пренебрегали завѣщаніемъ прошедшаго, потому что оно не согласовалось съ ихъ а priori, потому что оно мѣшало, какимъ-то непосредственнымъ, готовымъ бытомъ, ихъ отвлеченной работѣ умозрительнаго, сознательнаго построенія, и французы не только не знали своего прошедшаго, но были врагами его. При такомъ отсутствіи всякой узды, при пламенно-энергическомъ характерѣ, при быстромъ соображеніи, при непрерывной дѣятельности ума, при дарѣ блестящаго, увлекатель-

¹⁾ Только Шекспиръ и Гоббесъ не подойдутъ сюда; поэтическое созерцаніе жизни, глубина пониманія ея дѣйствительно безпредѣльна у Шекспира; Гоббесъ былъ до чрезвычайности смѣлъ и konsekventenъ, но объ немъ можно сказать то, что Мирабо сказалъ о Барнавѣ: „Твои глаза холодны, на тебѣ нѣтъ поманія“. Байронъ—Юмъ поэзіи—принадлежитъ уже къ *другой* Англіи, къ той, которая, долго не переводя духа, именно съ года рожденія Байрона (1788), съ судорожнымъ вниманіемъ смотрѣла на революцію, какъ Гаррикъ, одной частью лица улыбалась, а другою плакала,—къ той Англіи, которая, отправляя Беллефонъ, вскрикнула: «я побѣдила!» и сама покраснѣла отъ такой побѣды.

наго изложенія, само собою разумѣется, они должны были далеко оставить за собою англичанъ.

Умозрительное движеніе, сильно возбужденное Декартомъ и его послѣдователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французамъ; они охотнѣе читали и лучше понимали Рабле и Монтеня, нежели Мальбранша. Самъ Вольтеръ упрекаетъ Лейбница въ томъ, что онъ *слишкомъ* глубокомысленъ. При такомъ слоѣ ума, ничего не могло быть естественнѣе и своевременнѣе, какъ распространеніе во Франціи англійской философіи въ началѣ XVIII вѣка. Развитие и опрощеніе Бэкона и Локка, развитие и опрощеніе *самой* популярной, нравоучительной философіи англичанъ было сдѣлано во Франціи мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщихъ свѣдѣній не была приводима въ форму болѣе общедоступную; никакое философское ученіе не имѣло такого обширнаго круга примѣняемости, такого мощнаго практическаго вліянія; труды англичанъ совершенно затмились изложеніемъ французовъ. Франція воспользовалась всѣмъ засѣяннымъ въ Англіи: Англія имѣла Бэкона, Ньютона,—Франція рассказала всему міру ихъ мысли; Англія предложила робкій материализмъ Локка,—во Франціи онъ развился въ дерзость Гольбаха съ товарищами; Англія вѣка жила высокою юридическою жизнію,—французъ написалъ *De l'esprit des lois*; Англія вѣка жила въ гордомъ сознаніи, что нѣтъ полнѣе государственной формы какъ ея, а Франція достаточно было двухъ лѣтъ *de la Constituante*, чтобъ обличить несообразности этой формы.

Когда Гельведій издалъ свою извѣстную книгу *De l'esprit*, одна дама замѣтила: *c'est un homme qui a dit le secret de tout le monde*. Можетъ быть, женщина, съ чрезвычайной вѣрностью опредѣлившая не только Гельведія, но и всѣхъ французскихъ мыслителей XVIII столѣтія, говоря это, не вполне оцѣнила, что сказать то, о чемъ другіе молчатъ, несравненно труднѣе, нежели сказать то, о чемъ другимъ въ голову не приходило. Энциклопедисты дѣйствительно разболтали общую тайну, и за это ихъ обвинили въ безнравственности, а они собственно не были безнравственнѣе тогдашняго парижскаго общества,—они были только смѣлѣе его. Люди тогда начинаютъ имѣть *секреты*, когда нравственный бытъ ихъ распадается; они боятся замѣтить это распаденіе и судорожною рукою держатся за формы, утративъ сущность; изношеннымъ рубищемъ прикрываютъ они раны, какъ будто раны заживутъ оттого, что ихъ не видать. Въ такія эпохи всего злѣе и ревностнѣе вступаются за обличеніе тайнъ нравственнаго быта, и надобно имѣть большое мужество, чтобъ высказывать громко вещи, потихоньку извѣстныя каждому,—за подобную дерзость былъ казненъ Сократъ. Гласность и обобщеніе—злѣйшіе враги безнравственно-

сти; порокъ кроется въ мракѣ, развратъ боится свѣта: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиленія нечистыхъ упоеній, жаждущихъ запрещеннаго плода; порокъ, вызванный на свѣтъ, теряется; ему становится неловко при открытыхъ дверяхъ, и онъ или исчезаетъ, или очищается; та же самая гласность оправдываетъ многое, считавшееся порочнымъ по сбивчивымъ понятіямъ, по искаженнымъ преданіямъ, и радостно расширяетъ кругъ, скажемъ смѣло, самимъ страстямъ, когда онѣ не противорѣчатъ призванію нравственнаго существа. Философы XVIII столѣтія раскрыли двоедушіе и лицемеріе современнаго имъ міра; они указали ложь въ жизни, противорѣчіе официальной морали съ частнымъ поведеніемъ. Общество толковало о строгихъ нравахъ, гнушалось всѣмъ чувственнымъ—и предавалось самому нечистому распутству: философы сказали во всеуслышаніе, что чувства имѣютъ свои права, но что одно чувственное не можетъ удовлетворить развитого человѣка, что высшіе интересы жизни тоже имѣютъ свои права. Эгоизмъ доходилъ до безобразія въ обществѣ и скрывался подъ личиною самоотверженія, презрѣнія къ богатству: философы доказали, что эгоизмъ—одинъ изъ необходимыхъ элементовъ всего живого, сознательнаго и, оправдывая его, раскрыли, что человѣческой эгоизмъ—не только чувство личной любви къ самому себѣ, но, сверхъ того, чувство любви къ роду, къ человѣчеству, къ ближнему ¹⁾).

Обличеніе всеобщей тайны и отрицаніе прежней морали шло быстро впередъ. При Людовикѣ XIV фенелоновъ «Телемакъ» считался страшной книгой. Регентъ издалъ ее на свой счетъ; въ началѣ своего поприща, Вольтеръ поражаетъ дерзостью; черезъ двадцать лѣтъ Гриммъ пишетъ: «патріархъ нашъ отсталъ и упорно держится за дѣтскія вѣрованія свои». Вольтеръ и Руссо почти современники, а какое разстояніе дѣлитъ ихъ! Вольтеръ еще борется съ невѣжествомъ за цивилизацію,—Руссо клеймитъ уже позоромъ самую эту искусственную цивилизацію. Вольтеръ—дворянинъ стараго вѣка, отворяющій двери изъ раздушенной залы рококо въ новый вѣкъ; онъ въ галунахъ, онъ придворный, онъ разъ былъ на большомъ выходѣ, и, когда Людовикъ XV проходилъ, церемоніймейстеръ назвалъ по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоитъ плебей Руссо, и въ немъ ничего ужъ нѣтъ *du bon vieux temps*. Ёдкія шутки Вольтера напоминаютъ герцога Сенъ-Симона и герцога Ришелье; остроуміе Руссо ничего не напоминаетъ, а предсказываетъ острооты Комитета обществен-

¹⁾ Надобно видѣть, какъ живо или увлекательно дѣлаетъ именно этотъ переходъ отъ эгоизма къ любви глубокомысленнѣйшій изъ всѣхъ энциклопедистовъ, Дидро, если не ошибаюсь въ своемъ «*Essai sur le merite et la vertu*».

наго благосостоянія. Въ 1720 году вышли «Lettres Persanes» Монтескьё, и Парижъ былъ до того *скандализованъ* смѣлостью этой книги, что регентъ, смѣявшійся отъ души надъ письмами Рики, Узбека, долженъ былъ уступить общественному мнѣнію и, для приличія, немного потѣснить автора; лѣтъ черезъ пятьдесятъ, напечатана въ Лондонѣ «Système de la nature» Гольбаха et C^{ie} и не токмо не удивила никого, но общественное мнѣніе смѣялось надъ гоненіемъ подобныхъ книгъ. Впрочемъ, далѣе идти было некуда. Эта книга—заключеніе французскаго матеріализма, это лапласовское «j'ai dit tout!» Послѣ этой книги можно было дѣлать частныя приложенія, можно было комментировать *Système de la nature*—par le Culte de la Raison; но далѣе идти въ дерзости отрицанія невозможно. Съ ограниченной точки зрѣнія рассудочной дѣятельности, при безбоязненномъ и послѣдовательномъ умѣ, непремѣнно надобно было дойти до Юма или до Гольбаха, Гримма, Дидро, т. е. до скептицизма, оставляющаго васъ темной ночью на краю пропасти, или до матеріализма, ничего не понимающаго, кромѣ вещества и тѣла, и именно потому не понимающаго ни вещества, ни тѣла въ ихъ дѣйствительномъ значеніи. Дойдя до этихъ предѣловъ, мышленіе человѣческое стало искать иныхъ путей, но ужъ не англичане, не французы нашли и расчистили ихъ, а германцы, приготовившіеся къ подвигу науки постомъ двухвѣковаго бездѣйствія,—германцы, сосредоточившіеся въ думѣ, оставившіе жизнь, потому что жизнь для нихъ въ XVII и XVIII столѣтіи была невыносима ¹⁾, германцы, хранившіе свято книги Спинозы и книги Лейбница и приученные къ страшному умственному напряженію вольфіанизмомъ.

Энциклопедисты были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоско-поверхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному языку ихъ. Въ сказкахъ повѣствуютъ о какомъ-то скороходѣ, который, чтобъ не слишкомъ быстро бѣгать, привязывалъ себѣ ядра къ ногамъ; привыкнувъ ходить съ ядрами, я полагаю, онъ очень неловко ходилъ безъ нихъ. Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые философскіе трактаты. Когда имъ попадается въ руки книга, отъ которой не трещить лобъ, они думаютъ (или, правильнѣе, думали лѣтъ двадцать тому назадъ), что это пошлость.

Если вы сколько-нибудь припоминаете развитіе науки, изложенное нами въ письмахъ, то вамъ ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видѣли, что средневѣковой дуализмъ, переходя изъ бытоваго устройства въ сферу теоретическую и перенося въ нее двуначалье свое, пошелъ двумя путями—пу-

¹⁾ *Совѣтую* почитать, напр., Шлоссера «Исторію XVIII столѣтія».

темъ идеализма и путемъ реализма. Какъ скоро вы допустите необходимость Декарта и Бэкона, или, лучше, ихъ ученій,—то вы должны будете ждать, что и то и другое направленіе разовьется до послѣдней крайности, до нелѣпости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты; они такъ же дѣйствительно, такъ же вѣрно, такъ же полно представляютъ свою сторону духа человѣческаго, какъ идеалисты свою; и такъ же, какъ они, обусловлены временемъ, послѣ котораго и тѣ и другіе должны потерять свои исключительныя притязанія и соединиться въ одно стройное пониманіе истины. Къ этому примиренію, повторяемъ, стремился Шеллингъ и всѣ послѣдователи его; ему-то обширныя основанія воздвигнулъ Гегель,—остальное додѣлаетъ время. Языкъ двухъ противоположныхъ воззрѣній еще слишкомъ разенъ; недостаетъ взаимнаго уваженія, недостаетъ безпристрастія. Конечно, натуры сильныя становятся выше личныхъ мнѣній, или мнѣній своей партіи. Гегель, напр., началъ въ своей исторіи говорить о бэконовскомъ воззрѣніи и его школѣ свысока; но мало по малу, перелистывая сочиненія знаменитыхъ дѣятелей того времени, вживаясь въ нихъ, онъ воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голосъ его дрожитъ отъ глубокаго одушевленія, рѣчь становится восторженна, какой-то трепетъ пробѣгаетъ по груди, и эти люди ограниченной мысли начинаютъ ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутымъ знаменемъ разума!.. И Гегель съ горькой улыбкой обращается потомъ къ родному идеализму и говоритъ: «А въ Германіи въ это время возились съ лейбницевольфовскою философіей, съ ея опредѣленіями, аксіомами, доказательствами»¹⁾.

Село Соколово.—Сентябрь. 1845 г.

¹⁾ «Geschichte der Philosophie». Т. III, p. 529.

Публичныя чтенія г-на профессора Рулье.

Незнаніе природы—величай-
шая неблагодарность.

Плиній ст.

Одна изъ главныхъ потребностей нашего времени—обобщеніе истинныхъ, дѣльныхъ свѣдѣній объ естествознаніи. Ихъ много въ наукѣ—ихъ мало въ обществѣ, надобно втолкнуть ихъ въ потокъ общественнаго сознанія, надобно ихъ сдѣлать доступными, надобно дать имъ форму живую, какъ жива природа, надобно дать имъ языкъ откровенный, простой, какъ ея собственный языкъ, которымъ она развертываетъ безконечное богатство своей сущности въ величественной и стройной простотѣ. Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествовѣдѣнія воспитать дѣйствительное, мощное умственное развитіе; никакая отрасль знаній не пріучаетъ такъ ума къ твердому положительному шагу, къ смиренію передъ истиной, къ добросовѣстному труду и, что еще важнѣе, къ добросовѣстному принятію послѣдствій *такими, какими они выйдутъ*,—какъ изученіе природы; имъ бы мы начинали воспитаніе для того, чтобъ очистить отроческой умъ отъ предрасудковъ, дать ему возмужать на этой здоровой пищѣ и потомъ уже раскрыть для него, окрѣпнувшаго и вооруженнаго, міръ человѣческой, міръ исторіи, изъ котораго двери открываются прямо въ дѣятельность, въ собственное участіе въ современныхъ вопросахъ. Мысль эта, конечно, не нова. Рабле, очень живо понимавшій страшный вредъ схоластики на развитіе ума, положилъ въ основу воспитанія Гаргантюа естественныя науки. Бэконъ хотѣлъ ихъ положить въ основу воспитанія всего человѣчества: *Instauratio magna* основана на возвращеніи ума къ природѣ, къ наблюденію; исключительнымъ предпочтеніемъ естествовѣдѣнія стремился Бэконъ возстановить нормальное отправленіе мышленія, забытаго средневѣковой метафизикой,—онъ не

видалъ много средства для очищенія современныхъ умовъ отъ ложныхъ образовъ и предразсудковъ, наслоенныхъ вѣками, какъ обращая вниманіе на природу съ ея непреложными законами, съ ея непокорностью схоластическимъ приѣмамъ и съ ея готовностью раскрываться логическому мышленію. Ученый міръ—особенно въ Англіи и Франціи—понялъ вызовъ лорда Верулама, и съ него начинается непрерывный рядъ великихъ дѣятелей, разработавшихъ во всѣхъ направленіяхъ обширное поле естествовѣднія.

Но плоды этого изученія, результаты долгихъ и великихъ трудовъ, не перешли академическихъ стѣнъ, не принесли той *ортопедической* пользы свихнутому пониманію, которой можно было ожидать ¹⁾. Воспитаніе образованныхъ сословій во всей Европѣ мало захватило изъ естественныхъ наукъ; оно осталось по-прежнему подъ вліяніемъ какой-то риторико-филологической (въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова) выучки; оно осталось воспитаніемъ памяти болѣе, нежели разума, воспитаніемъ словъ, а не понятій, воспитаніемъ слога, а не мысли, воспитаніемъ авторитетами, а не самодѣятельностію; риторика и формализмъ по-прежнему вытѣсняють природу. Такое развитіе ведетъ почти всегда къ надменности ума, къ презрѣнію всего естественнаго, здороваго, и къ предпочтенію всего лихорадочнаго, натянутаго; мысли, сужденія, по-прежнему, прививаются, какъ оспа, во время духовной неразвитости; приходя въ сознаніе, человѣкъ находитъ слѣдъ раны на рукѣ, находитъ сумму готовыхъ истинъ и, отправляясь съ ними въ путь, добродушно принимаетъ и то, и другое за событіе, за дѣло конченное. Противъ этого-то ложнаго и вреднаго въ своей односторонности образованія нѣтъ средства сильнѣе всеобщаго распространенія естествовѣднія, съ той точки зрѣнія, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастію, великія истины, великія открытія, слѣдующія быстро другъ за другомъ въ естественныхъ наукахъ, не переходятъ въ общій потокъ крутообращающихся истинъ, а если доля ихъ и получаетъ гласность, то въ такой бѣдной и въ такой неправильной формѣ, что люди и эти выработанныя для нихъ истины принимаютъ такими же вѣсновенными въ память событіями, какъ и все остальное схоластическое достояніе. Французы сдѣлали больше всѣхъ для популяризаціи естественныхъ наукъ, но ихъ усилія постоянно разбивались объ толстую кору предразсудковъ; полнаго успѣха не было, между прочимъ потому, что большая часть опытовъ популярнаго изложенія исполнены уступокъ, риторики, фразъ и дурного языка.

¹⁾ Само собою разумѣется, что здѣсь вовсе нѣтъ рѣчи о техническихъ приложеніяхъ.

Предразсудки, съ которыми мы выросли, образъ выраженія, образъ пониманія, самыя слова подкладывають намъ представленія не токмо неточныя, но прямо противоположныя дѣлу. Наше воображеніе такъ развращено и такъ напitano метафизикой, что мы утратили возможность безхитростно и просто выражать событія міра физическаго, не вводя самымъ выраженіемъ и совершенно безсознательно ложныхъ представленій, — принимая метафору за самое дѣло, раздѣляя словами то, что соединено дѣйствительностію. Этотъ ложный языкъ приняла сама наука: отъ того такъ трудно и запутано все, что она рассказываетъ. Но наукѣ языкъ этотъ не такъ вреденъ, весь вредъ достается обществу; ученый принимаетъ глоссологию за знакъ, подъ которымъ онъ, какъ математикъ подъ условной буквой, сжимаетъ цѣлый рядъ явленій, вопросовъ. Общество имѣетъ слѣпую довѣренность къ слову, — и въ этомъ свидѣтельство прекраснаго довѣрія къ рѣчи, такъ что человѣкъ и при злоупотребленіи слова полонъ вѣры къ нему, — и полонъ вѣры къ наукѣ, принимая высказываемое ею не за косноязычный намекъ, а за выраженіе, вполне исчерпывающее событіе. Для примѣра вспомнимъ, что всякой порядокъ физическихъ явленій, которыхъ причина неизвѣстна, наука принимаетъ за проявленіе особой силы и, по схоластической діалектикѣ, олицетворяетъ ее до такой самобытности, что она совершенно распадается съ веществомъ (такова модная метаболическая сила, каталетическая). Математикъ поставилъ бы тутъ добросовѣстно x , и всякой зналъ бы, что это — искомое, а новая сила даетъ подозрѣвать, что оно *сыскано* — и, для полнаго смѣшенія понятій, къ этимъ ложнымъ выраженіямъ присоединяются еще ложныя сентенціи, повторяемыя изъ вѣка въ вѣкъ безъ анализа, безъ критики, и которыя представляютъ всѣ предметы подъ совершенно неправильнымъ освѣщеніемъ.

Позвольте для ясности прибѣгнуть къ примѣру. Линней, великій человѣкъ въ полномъ значеніи слова, но находившійся, какъ всѣ великіе и невеликіе люди, подъ вліяніемъ своего вѣка, сдѣлалъ двѣ противоположныя ошибки, увлекаемый двумя схоластическими предразсудками. Онъ опредѣлилъ человѣка, какъ видъ рода *обезьянъ*, и возлѣ него поставилъ нетопыря: послѣднее — непростительная зоогностическая ошибка, первое — еще болѣе непростительная логическая ошибка. Линней, какъ мы сейчасъ увидимъ, и не думалъ унижить человѣка родствомъ съ обезьяной; онъ, подъ вліяніемъ схоластики, до того отдѣлялъ человѣка отъ его тѣла, что ему казалось возможнымъ безопасно обращаться съ формою и наружностію человѣка; поставивъ человѣка по тѣлу на одну доску съ летучими мышами, Линней восклицаетъ: «Какъ презрителенъ былъ бы че-

ловѣкъ, если-бъ онъ не сталъ выше *всего человѣческаго*... Это уже не Эпиктетовъ: «я человѣкъ, и ничто человѣческое мнѣ не чуждо». Эта фраза Линнея, какъ всѣ фразы вообще, когда онъ *только* фразы, могла бы преспокойно быть забыта, задвинутая великими заслугами его, но, по несчастію, она совершенно сообразна съ схоластико-романтическимъ воззрѣніемъ: она и темна, и непонятна, и спиритуальна, а потому-то именно и повторяется изъ рода въ родъ, и не далѣе еще, какъ въ прошедшемъ году, одинъ изъ извѣстныхъ французскихъ профессоровъ, Флуранъ, приходилъ въ восторгъ отъ патетической выходки Линнея и говорилъ, что одной этой фразы достаточно, чтобы признать Линнея величайшимъ гениемъ. Мы признаемся откровенно, что видѣли въ этой фразѣ только угрызеніе совѣсти и желаніе загладить вину грубаго матеріализма грубымъ спиритуализмомъ; но два противоположныя заблужденія, оставленныя непримиренными, далеки отъ того, чтобы составить истину. Безъ всякаго сомнѣнія, человѣкъ долженъ отбросить все *человѣческое*, если человѣческое ничего другого не значитъ, какъ отличительную особенность обезьяны двурукой, безхвостой, называемой Кото; но кто же далъ Линнею право, человѣка сдѣлать животнымъ потому только, что у него *есть все, что у животнаго*? Зачѣмъ онъ, назвавши его *sapiens*, не отдѣлилъ его во имя *того, чего нѣтъ* у животнаго, а есть у человѣка? И что за ребячья логика! Если человѣкъ, чтобы быть тѣмъ, чѣмъ можетъ быть, долженъ оставить все *человѣческое*, что же человѣческаго въ этомъ оставляемомъ? — Тутъ или ошибка или невозможность: то, что должно оставить,—вѣроятно не человѣческое, а животное, и какъ подняться надъ самимъ собою? Это что-то въ родѣ того, какъ приподнять самого себя, чтобы быть выше ростомъ.

Сентенція Линнея взята нами случайно изъ тысячи подобныхъ и худшихъ; всѣ онѣ пробрались въ наукообразное изложеніе и повторяются какъ будто по обязанности или изъ учтивости,—мѣшая ясному и прямому пониманію исторической фантазмагоріей. Совокупность подобныхъ сужденій и предразсудковъ составляетъ цѣлую теорію нелѣпаго пониманія природы и ея явленій. Обыкновенные опыты популяризаціи вмѣсто того, чтобы на каждомъ шагу обличать нелѣпость этихъ понятій, поддаются къ нимъ, такъ, какъ необразованныя няньки говорятъ съ дѣтьми ломанымъ языкомъ. Но всему этому приближается конецъ: недаромъ А. Гумбольдтъ, какъ нѣкогда Плиній, издастъ оглавленіе къ оконченному тому, подъ названіемъ *Космосъ*.

Если мы хоть издали нѣсколько присмотримся къ тому, что дѣлается теперь въ естественныхъ наукахъ, насъ поразитъ вѣяніе какого-то новаго, отчетливаго, глубокомысленнаго духа, равно

далекаго отъ нелѣпаго матеріализма, какъ и отъ мечтательнаго спиритуализма. Разсказъ общедоступный новаго воззрѣнія на жизнь, на природу, чрезвычайно важенъ: вотъ почему намъ пришло желаніе поговорить о публичныхъ чтеніяхъ г. Рулье, къ которымъ теперь и обращаемся.

Г. Рулье избралъ предметомъ своихъ публичныхъ чтеній *образъ жизни и нравы животныхъ*, т. е., какъ онъ самъ выразился, *психологию животныхъ*. Зоологія въ высшемъ своемъ развитіи должна непременно перейти въ психологию. Главный, отличительный, существенный характеръ животнаго царства состоитъ въ развитіи психическихъ способностей, сознанія, произвола. Нужно ли говорить о высокой занимательности разсказа послѣдовательныхъ и разнообразныхъ проявленій внутренняго начала жизни, отъ грубаго, необходимаго инстинкта, отъ темнаго влеченія къ отыскиванію пищи и невольнаго чувства самосохраненія до низшей степени разсудка, до соображенія средствъ съ цѣлю, до нѣкотораго сознанія и наслажденія собою; при этомъ разсказъ сами собою отовсюду тѣсняются и просятся интереснѣйшіе вопросы, наблюденія, изслѣдованія, глубочайшія истины естествовѣдѣнія и даже философіи. Выборъ такого предмета свидѣтельствуемъ живое пониманіе науки и большую смѣлость: здѣсь надобно часто прокладывать новую дорогу; психологія животныхъ несравненно менѣе обращала на себя вниманіе ученыхъ естествоиспытателей нежели ихъ форма. Животная психологія должна завершить, увѣнчать сравнительную анатомію и физиологію; она должна представить до-человѣческую феноменологію развертывающагося сознанія; ея конецъ при началѣ психологіи человѣка, въ которую она вливается, какъ венозная кровь въ легкія для того, чтобы одухотвориться и сдѣлаться алою кровью, текущею въ артеріяхъ исторіи. Прогрессъ животнаго — прогрессъ его тѣла, его исторія — пластическое развитіе органовъ, отъ полипа до обезьяны; прогрессъ человѣка — прогрессъ содержанія мысли, а не тѣла: тѣло дальше идти не можетъ. Но врядъ возможно ли наукообразное изложеніе психологіи животныхъ при современномъ состояніи естествознанія; тѣмъ болѣе должно уважить всякую попытку, особенно если она такъ хорошо выполнена, какъ чтенія г. Рулье.

Зоологія преимущественно занималась системой, формой, вѣшностью, признаками, распределеніемъ животныхъ; классификація — дѣло важное, но далеко не главное. Соблазнительный примѣръ страшнаго успѣха Линнеевой ботанической классификація увлекъ зоологію и остановилъ, по превосходному замѣчанію Кювье ¹⁾, успѣхи ея, обращеніемъ всего вниманія, всѣхъ трудовъ на опи-

¹⁾ C. Cuvier. Hist. des Sc. Nat. T. I. page 301.

саніе признаковъ и на искусственныя системы. Противъ этого мертвого и чисто формальнаго направленія возсталъ Бюффонъ. Бюффонъ имѣлъ огромное преимущество передъ большею частію современныхъ ему натуралистовъ,—онъ вовсе не зналъ естественныхъ наукъ. Сдѣлавшись начальникомъ Jardin des plantes, онъ сперва страстно полюбилъ природу, а потомъ сталъ изучать ее *по-своему*, внося глубокую думу въ изслѣдованіе фактовъ, думу живую и совершенно независимую отъ школьныхъ предразсудковъ, притупляющихъ мысль и мѣшающихъ рутинной успѣху. Бюффонъ до излишества боялся классификаціи и систематики; предметомъ его изученія были животныя со всею полнотою жизненныхъ проявленій, съ ихъ анатоміей и образомъ жизни, съ ихъ наружностью и страстями; для такого изученія животныхъ мало было идти въ музей, сличать формы, смотрѣть на одни слѣды жизни, подмѣчать ихъ различія и сходства; надобно было идти въ звѣринецъ, въ конюшню, на птичій дворъ, надобно было идти въ лѣсъ, въ поле, сдѣлаться рыбакомъ,—словомъ надобно было сдѣлать то, что сдѣлалъ для американской орнитологіи Одюбонъ. Бюффону не представлялось никакой возможности свои изученія природы привести въ наукообразный видъ: матеріалъ былъ недостаточенъ, да и складъ его генія вовсе не былъ методологической; оттого, быть можетъ, послѣ него наука пошла не его дорогой, хотя пошла и по пути, имъ указанному. Бюффонъ натолкнулъ Добантона на анатомію животныхъ, и сравнительная анатомія поглотила все вниманіе.

Десяти лѣтъ не прошло послѣ смерти Бюффона, какъ зоологія простилась съ нимъ и съ Линнеемъ. Неизвѣстный, молодой естествоиспытатель напалъ 21 флореаля III года Республики на Линнееву систему въ засѣданіи института; что-то мощное, твердое, обдуманное и рѣзкое звучало въ словахъ молодого человѣка; мысль о четырехъ типахъ ¹⁾ животнаго царства и объ основаніи раздѣленія не на одномъ порядкѣ признаковъ, а на совокупномъ разсматриваніи всѣхъ системъ и всѣхъ органовъ, поразила слушавшихъ. Этому человѣку было суждено сильно двинуть впередъ зоологію. Онъ требовалъ анатоміи, сличенія частей, раскрытія ихъ соотвѣтственности; труды его были многочисленны, невѣроятная проницательность помогала ему, каждое замѣчаніе его было новая мысль, каждое сличеніе двухъ параллельныхъ органовъ открывало болѣе и болѣе возможность общей теоріи «правильнаго анализа», посредствомъ котораго можно по твердо опредѣленнымъ *условіямъ бытія* (такъ называетъ Кювье конечныя причины) доходить до формъ, до ихъ отпра-

¹⁾ Позвоночныя, моллюски, суставчатые и звѣздчатые.

лений. 1) Первый гениальный опытъ практическаго осуществленія этихъ началъ привелъ Кювье отъ возможности возстановленія цѣлаго животнаго по одной косточкѣ къ дѣйствительному возстановленію міра ископаемаго; воскрешеніе допотопныхъ животныхъ было верхомъ торжества сравнительной анатоміи. Мечты Кампера начали сбываться, сравнительная анатомія становилась наукой. Кювье говоритъ въ своей «Палеонтографіи» (стр. 90): «Органическое существо составляетъ цѣлую, замкнутую въ себѣ систему, которой части непремѣнно соотвѣтствуютъ другъ другу и содѣйствуютъ одна другой въ достиженіи общей цѣли; отсюда понятно, что каждая часть, отдѣльно взятая, служитъ представителемъ всѣхъ остальныхъ частей. Если пищеварительные органы такъ устроены, что они назначены переваривать исключительно свѣжее мясо, то и челюсти должны быть устроены особымъ образомъ, и длинные когти необходимы, чтобы уцѣпиться и разорвать свою жертву, и острые зубы, и сильное мышечное развитіе ногъ для бѣга, и чуткость обонянія и зрѣнія; даже самый мозгъ хищнаго звѣря долженъ быть особенно развитъ, потому что звѣрь способенъ на хитрость, и пр.» 2) Какая ширина взгляда и какое торжество Бэконовскаго наведенія!

Тѣмъ не менѣе исключительно-анатомическое направленіе принесло свои неудобства: гениальность Кювье сглаживала ихъ, у многихъ послѣдователей его они обличились. Анатомія приучаетъ насъ разсматривать несущійся потокъ, стремительный процессъ — остановившимся, приучаетъ смотрѣть не на живое существо, а на его тѣло, какъ на нѣчто страдательное, какъ на оконченный результатъ, — а оконченный результатъ значить на языкѣ жизни *умершій*: жизнь—дѣятельность, безпрерывная дѣятельность, «вихрь, круговоротъ», какъ назвалъ ее Кювье. Сверхъ того, анатомическое, т. е. описательное изученіе тѣла животнаго, не что иное, какъ болѣе развитое изученіе наружныхъ признаковъ: внутренность животнаго *другая сторона его наружности*—это не игра словъ. Наружность животнаго, лицевая сторона его 3)—обнаруженная внутренность; но

1) Règne animal. Introduction.

2) Аристотель занимался очень много сравнительной анатоміей, но отрывочно, цѣлаго не вышло изъ его трудовъ. Древніе, впрочемъ, очень хорошо понимали соотвѣтствіе формы съ содержаніемъ въ организмѣ. Ксенофонтъ въ своихъ *Апокріотическихъ* кн. I, гл. IV, говоритъ: „что человѣческое могъ бы сдѣлать духъ человѣческій въ тѣлѣ быка, и что сдѣлалъ бы быкъ, если бы у него были руки“.

3) Наружная физиономія животнаго (*habitus*) до того рѣзка, что при одномъ взглядѣ можно узнать характеръ и степень развитія *рода*, къ которому онъ принадлежитъ; вспомните. напр., выраженіе тигра и верблюда—такой рѣзкой

и всѣ внутреннія его части точно такія-же обнаруженія чего-то еще болѣе внутренняго, а это внутреннее начало и есть сама жизнь, сама дѣятельность, для которой части, внѣ и внутри находящіяся, равно органы. Дѣло въ томъ, что ни изученіе одной наружности, ни изученіе анатоміи не даетъ полнаго знанія животнаго.

Великій Гёте первый внесъ элементъ движенія въ сравнительную анатомію, — онъ показалъ возможность прослѣдить архитектуру организма въ его возникновеніи и постепенномъ развитіи; законы, раскрытые имъ, о превращеніи частей зерна въ сѣменные доли, стволь, почки, листья, и о видоизмѣненіи потомъ листа во всѣ части цвѣтка, прямо вели къ опыту генетическаго развитія частей животнаго тѣла. Гёте самъ много трудился надъ остеологіей; занятый этимъ предметомъ, онъ, гуляя въ Италіи по разрытому кладбищу и натолкнувшись на черепъ, лежавшій возлѣ своихъ позвонковъ,—былъ пораженъ мыслию, которая впослѣдствіи получила полное право гражданства въ остеологіи,—мыслию, что голова не что иное, какъ особое развитіе нѣсколькихъ позвонковъ. Но и Гётевское воззрѣніе оставалось *морфологіей*; разсуждая, такъ сказать, о геометрическомъ развитіи формъ, Гёте не думалъ о содержаніи, о матеріалѣ, развивающемся и непрерывно измѣняющемся съ перемѣною формы.

Если-бъ предѣлы этой статьи дозволили намъ, мы остановились бы передъ двумя другими великими попытками, оставившими длинный слѣдъ за собою: мы говоримъ о Жофруа Сентъ-Илеръ и объ Окенѣ. Ученіе объ единомъ типѣ, эмбриологіи и тератологіи перваго, опытъ глубокой классификаціи другою—приблизили зоологію къ тому, къ чему она стремилась, къ переходу изъ морфологіи въ физиологію,—въ это море, зовущее въ себя всѣ отдѣльныя вѣтви науки объ органическихъ тѣлахъ, для того, чтобъ свести ихъ на химію, физику и механику, или, проще, на физиологію неорудной природы. «Тому достанется пальма въ естествовѣдѣніи, говоритъ Бэръ, кто сведетъ на всеобщія міровыя силы всѣ явленія возникающаго животнаго организма. Но дерево, изъ котораго сдѣлають колыбель этого человѣка, не возшло еще» ¹⁾; мы полагаемъ, напротивъ, что не токмо дерево выросло, но что и колыбель ужъ сдѣлана. Сильная дѣятельность кипитъ во всѣхъ сферахъ естествовѣдѣнія: съ одной стороны Дюма, Ли-

характеристики внутреннія части не имѣютъ, по очень простой причинѣ: наружность животнаго—его вывѣска, природа стремится высказать какъ можно яснѣе все, что есть за душою, и именно тѣми частями, которыми предметъ обращенъ къ внѣшнему міру.

¹⁾ К. Е. Bär, Entwicklungsgeschichte der Thiero, p. XXII.

бихъ, Распайль ¹⁾, съ другой Валентинъ, Вагнеръ, Мажанди сообщили новый характеръ естественнымъ наукамъ, какой-то глубокой, реалистической, отчетливый, вѣрно ставящій вопросъ. Каждый журналъ, каждая брошюра свидѣтельствуетъ о кипящей работѣ; все это отрывочно, частно,—но уже само собой связуется единствомъ направленія, единствомъ духа, вѣющаго во всѣхъ дѣльныхъ трудахъ. Но если задача физиологій дѣйствительно состоитъ въ томъ, чтобъ узнать въ органическомъ процессѣ высшее развитіе химизма, а въ химизмѣ—низшую степень жизни,—если она не можетъ сойти съ химико-физической почвы, то верхними вѣтвями своими и она переходитъ въ совершенно иной міръ: мозгъ, какъ органъ вышихъ способностей, разсматриваемый при отпращиваніи своей дѣятельности,—прямо ведетъ къ изученію отношенія нравственной стороны съ физической, и такимъ образомъ къ психологіи. Здѣсь могутъ явиться вопросы, которыхъ не осилитъ ни физика, ни химія, которые могутъ *только* разрѣшиться при посредствѣ философскаго мышленія.

Г. Рулье, вполне понимая, что научнообразно изложить психологію животныхъ при современномъ состояніи естествовѣдѣнія невозможно, избралъ манеру Бюффонскаго разсказа; разсказъ его объ инстинктѣ и разсудкѣ, о смѣтливости животныхъ и ихъ нравахъ былъ живъ, новъ и опирался на богатые свѣдѣнія г. профессора, извѣстнаго своими важными заслугами по части Московской палеонтологіи; въ его словахъ, въ его постоянной защитѣ животнаго, намъ пріятно было видѣть какое-то возстановленіе достоинства существъ, оскорбляемыхъ гордостью чловѣка даже въ теоріи. Въ одной изъ слѣдующихъ статей мы просимъ дозволенія сказать наше мнѣніе о теоріяхъ и воззрѣніи г. Рулье, теперь ограничимся мы изложеніемъ одного желанія, приходившаго намъ въ голову нѣсколько разъ, когда мы слушали увлекательный разсказъ ученаго. Цѣлостъ всего сказаннаго ускользаетъ; намъ кажется, что это происходитъ отъ порядка, избраннаго г. профессоромъ. Если-бъ вмѣсто того, чтобъ послѣдовательно переходить отъ одной психической стороны животной жизни къ другой, г. профессоръ развертывалъ психическую дѣятельность животнаго царства въ генетическомъ порядкѣ, въ

¹⁾ Недавно въ одной петербургской газетѣ мы съ удивленіемъ прочли грубую брань противъ Распайля. Не можно думать, *чтобъ тутъ* была личность, однакожъ и не *химическое* было причиною разномыслія: судя по статьѣ, трудно заподозрить писавшаго въ знаніи химіи. Заслуги Распайля по части органической химіи, микроскопическихъ изслѣдованій, по части физиологій—извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ и уважаются даже тѣми, которые несогласны съ его гипотезами.

томъ порядкѣ, въ которомъ она развивается отъ низшихъ классовъ до млекопитающихъ,—было бы больше цѣлости, и сама собою складывалась бы въ умѣ слушателей исторія психическаго прогресса въ ея прямомъ соотношеніи съ формою. Къ тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своихъ слушателей съ этими формами, съ этими орудіями психической жизни, которыя, непрерывно развиваясь во всѣ стороны, тысячью путями стремятся къ одной цѣли, всегда сохраняя правильную соотвѣтственность между степенью развитія психической дѣятельности, органомъ и средою.

Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣйшихъ враговъ его.

Книгопечатаніе, открытіе новаго свѣта, желѣзныя дороги и пароходы сдѣлали все, что только можно было, для безпокойства рода человѣческаго. Пора что-нибудь сдѣлать для спокойствія людей, пора ихъ приблизить къ величавому отдохновенію на лаврахъ.

Но можно ли при современномъ состояніи цивилизаціи отдыхать на лаврахъ или на миртахъ—все равно?

Цѣлый міръ небольшихъ враговъ вездѣ ждетъ человѣка и дѣлаетъ ему большія непріятности, отравляетъ его существованіе, наводитъ на меланхоличныя мысли, мѣшаетъ философствовать и смотрѣть свидѣнія до конца; эти ожесточенные враги обрекли себя съ постоянствомъ, достойнымъ лучшей цѣли, на непрерывное, многостороннее огорченіе человѣка.

Доселѣ историки мало цѣнили важное вліяніе тайныхъ враговъ на событія; многое казалось необъяснимымъ въ біографіяхъ великихъ людей отъ опущенія такого важнаго элемента.

Цицеронъ, послѣ своего знаменитаго «они жили», сталъ жаловаться непрерывно на блохъ, которыя мѣшали ему спать, и бранился съ своей женой и дочерью, къ которымъ писалъ такіе скучныя письма изъ Брундузіума. Вотъ причина, отчего онъ такъ вяло разсуждалъ о натурѣ боговъ и такъ сквозь сонъ разбиралъ академикомъ.

Но оставимъ исторію и обратимся къ частной жизни нашей.

Сколько скрежета зубовъ, сколько взглядовъ отчаянія, сколько стону вызываютъ свирѣпыя враги! Этотъ скрежетъ, этотъ вошь никто не слыхалъ: они раздавались во тьмѣ ночной, и неизвѣстно было, отчего на другой день рушились браки, брались рѣшительныя стороны для другихъ,—словомъ, перемѣнялась жизнь.

Кто не былъ самъ униженъ среди гордыхъ помысловъ сильными, жгучими страданіями отъ сихъ враговъ? Гдѣ средство спасенія? «Коня мнѣ, коня—полцарства за коня!» Но гдѣ этотъ конь?

Осмѣлюсь ли я дерзкимъ перомъ дотронуться еще до свѣжихъ ранъ вашего сердца и напомнить грозное явленіе маленькихъ враговъ?

Вы, котораго я такъ уважаю, вы пишете стихи къ ней, восторгъ въ вашихъ очахъ, стихъ льется плавно, огонь и запахъ розы; но вотъ вамъ на носъ сѣла муха и прогуливается по немъ, вы ее согнали,—она опять на носу и сучить ногами, и вотъ вы бросаете перо, и у васъ завязывается упорный и отчаянный бой. можетъ быть, вы и побѣдите, но увы! гдѣ вашъ восторгъ, гдѣ вѣчное слово любви, о которомъ вы писали? Все вяло, не клеится, вы въ апатіи оттого, что всѣ силы души употребили на борьбу съ... мухой.

Вы смертельно устали съ дороги, вы десять верстъ мечтали подъ дождемъ о ночлегѣ, добрались, слава Богу, тепло и, кажется, довольно чисто, вы бросаетесь на постель, сонъ уже смыкаетъ глаза... А тутъ маленькая компанія черныхъ акробатовъ дѣлаетъ уже въ тиши *salti mortali* и торопится обидѣть васъ и, что хуже обиды, лишитъ покоя и, что хуже безпокойства и обиды, уничтожитъ ваше человѣческое достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вѣроятно, имѣете. Извините, эти акробаты принимаютъ васъ за съѣстной припасъ, для нихъ вы огромное блюдо, въ превосходствѣ котораго они не сомнѣваются, но все же блюдо. Счастье ваше, ежели въ это время ваша память такъ занята, что вы забыли микроскопическое изображеніе блохи, выставленное для поученія дѣтей въ книжной лавкѣ, этотъ страшный хоботъ, выходящій изъ-подъ чернаго шлема, лоснящагося какъ сапогъ. Можетъ быть, вы и поймаете одну, двѣ *et ils creverent comme des hérétiques*, но что значить двѣ, три, когда ихъ сотни... И вотъ вы, вмѣсто возстановительнаго сна, вертитесь со стороны на сторону, а на той сторонѣ встрѣчается смиренный и нескачущій товарищъ акробатовъ, съ задумчивымъ и благочестивымъ видомъ квакера и съ небольшой семьей, которую онъ любитъ отъ души и которую привелъ изъ-подъ подушки поподчивать вами; если вы прибавите духъ, въ которомъ воспитаны эти квакеры, то картина готова. Данте не зналъ этого мученія, а то не могъ бы пропустить его. Вы въ досадѣ, въ бѣшенствѣ зажигаете свѣчу... Только того и недоставало: тараканы вообразили, что вы имъ даете иллюминацію, и пошли изъ щелей по столу, а черезъ столъ къ вамъ на подушку; русскіе тараканы, капитальные, основательные, мирно и тихо идутъ, а за ними и жал-

кіе прусаки, рыженькіе, бѣгутъ со всѣхъ сторонъ. Конечно, они не такъ вредны, какъ *boa constrictor*, но та только практически вредна, а тараканы обижаютъ взглядъ, наводятъ уныніе. Наконецъ, разсвѣтъ подтверждаетъ вамъ горестную истину, что ночь прошла, что черезъ часъ придетъ вашъ слуга будить, на заспанные глаза котораго вы бросите взглядъ шакала. Но, можетъ быть, вы еще уснете, я, ей-Богу, буду очень радъ. При разсвѣтѣ тараканы пойдутъ по щелямъ, они, какъ ночные извозчики въ Петербургѣ, тогда только и видны, когда ничего не видать; будьте увѣрены, они уйдутъ въ самое то время, какъ батальонъ мухъ, отдохавшій всю ночь, отправится по всѣмъ направленіямъ, а между ними есть съ какими-то шилами между глазъ. Я не оканчиваю страшную картину.

А послѣ ваши друзья удивляются на досугѣ, отчего вы воротились грустны, исчезли свѣтлыя надежды, привѣтливость etc.

Но, утѣшьте, великое совершено:

На высотахъ Кавказа, возлѣ самой Персіи, растетъ одинъ цвѣтокъ, происхождение котораго никому неизвѣстно, кромѣ меня, а я вамъ расскажу его.

Однажды въ Персіи было очень много блохъ. Камбизъ не могъ спать, да и только; много переказнилъ онъ людей, призванныхъ въ совѣтъ о предохраненіи сына солнца отъ дочерей блохъ,—ничто не помогало. Онъ разсердился и пошелъ разорять Египетъ. Счастіе ему улыбалось; однажды онъ, довольный, наѣвшия крокодиловыхъ яицъ въ смятку, курилъ пахитосъ въ Мемфисскомъ храмѣ, вдругъ его укусила блоха.

— Какъ! вскричалъ уязвленный Камбизъ, — и здѣсь та же непокорность! Нѣтъ, этого не потерплю, клянусь Ормуздомъ и Зендавестой!

Онъ тутъ же отдалъ приказъ сломать до основанія храмъ, потому весь Мемфисъ; но, справедливо полагая, что этого будетъ недостаточно, онъ велѣлъ предать огню и мечу весь Египетъ по ту и по другую сторону Нила, даже, если найдется третья сторона, и ее разорить. Но передъ нимъ предсталъ мудрый жрецъ, его всѣ уважали; онъ до того былъ уменъ, что сорокъ лѣтъ молчалъ. Старикъ бросился къ ногамъ Камбиза и сказалъ:

«Сынъ солнца, гармонія міра, представитель Ормузда, братъ быка Аписа и близкій родственникъ фараоновой мыши, нарѣченный супругъ Ибиса etc., etc.». Коротко сказать, онъ ему открылъ тайну, плодъ всей его жизни, — растеніе, уничтожающее блохъ и всѣхъ ихъ пріятелей, и тутъ же поднесъ ему фунтъ порошка. Камбизъ сомнѣвался и велѣлъ при себѣ сдѣлать опытъ надъ тремя любимцами: собакой и двумя сатрапами. Сатрапы накрали поскорѣе у собаки блохъ, чтобъ оправдать довѣріе Ормуздова

представителя и, о восторгъ! опытъ удался. Камбизъ, пораженный, велѣлъ старика сковать и отослать въ Персію, чтобы онъ посѣялъ Рутетрумъ. Тогда въ Персидскихъ вѣдомостяхъ были помѣщены прекрасные стихи, воспѣвавшіе Ормуздову попечительность Камбиза.

Вся Персія плакала отъ умиленія и, освободившись отъ блохъ, никогда не хотѣла никакого другого освобожденія. Ей казалось этого довольно.

Вотъ какъ успокоительно дѣйствіе порошка!

Недавно второй Камбизъ изъ Ревеля, К. И. Зонненбергъ, нашелъ потерянное сокровище.

Лѣтъ десять онъ усиливался взойти на утесы Кавказа, нѣсколько разъ срывался, падалъ съ высоты 2.800 футовъ, тонуть, замерзаль, таялъ отъ жары, но любовь къ ближнему и высокая мысль эмансипаціи все превозмогли, онъ набралъ Рутетрумъ, и, когда онъ сорвалъ первый цвѣтокъ, тѣнь молчаливаго старца явилась на небѣ и благословила его.

Спѣшите къ кондитеру Перу, тамъ есть еще нѣсколько бартузовъ этой травы, посѣйте ее вездѣ и скажите: теперь я свободенъ и да поблѣднѣютъ враги мои!

NB. Нѣкоторыя предосторожности необходимы при употребленіи порошка. Одинъ нашъ знакомый насыпалъ его по стѣнамъ и окнамъ и заперъ комнату; на другой день, представьте его удивленіе: онъ не могъ найти № «Москвитянина», оставленный имъ по небрежности въ той комнатѣ.

Капризы и раздумье.

I.

По разнымъ поводамъ.

Года два тому назадъ, умеръ въ своей подмосковной одинъ очень странный человѣкъ. Я его нѣсколько знавалъ при жизни, и довольно коротко познакомился съ нимъ послѣ его смерти. Человѣкъ онъ былъ тяжелый; его не любили, онъ надоѣдалъ своимъ рефлектерствомъ, — рефлектерство развилось у него подъ конецъ жизни въ болѣзнь, чуть не въ помѣшательство. Не было того простого вопроса, надъ которымъ бы онъ не ломалъ головы. Онъ утратилъ ту врожденную сумму правилъ и истинъ, которая вперёдъ идетъ у каждого человѣка, которую мы находимъ въ своемъ сознаніи прежде, нежели начинаемъ разсуждать, такъ, какъ находимъ у себя носъ, глаза, — нисколько не трудившись приобрѣсти ихъ и не зная собственно, откуда они. Чудакъ называлъ ихъ *фуэросами* и искалъ иныхъ правилъ, до которыхъ не добился.

Странный человѣкъ былъ, сверхъ того, совершенно праздный человѣкъ. Не найдя никакой дѣятельности въ средѣ, въ которой родился, онъ сдѣлался туристомъ; потаскавшись лѣтъ десять по Европѣ, онъ воротился усталый, не совсѣмъ юный, и принялся читать. Читалъ днемъ, читалъ ночью, читалъ романы, читалъ ученые сочиненія, читалъ журналы и вскорѣ дочитался до отвращенія отъ книгъ; тогда онъ сложилъ руки и рѣшился ничего не дѣлать; вѣроятно для этого, онъ поселился въ Москвѣ. Мысль нельзя сложить какъ руки, она и во снѣ не совсѣмъ спитъ; дѣятельность мысли росла въ немъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе было всякой другой дѣятельности, и онъ дошелъ до своего вѣчнаго раздумья, до своего раздраженнаго, почти лихорадочнаго рефлектерства.

Послѣ его смерти попались мнѣ въ руки его бумаги; я нашелъ тамъ множество замѣтокъ, мыслей, *капризовъ*, брошенныхъ наскоро, но не лишенныхъ интереса, по крайней мѣрѣ патологическаго интереса. Посылаю два, три образчика въ вашъ альманахъ, — помѣстите ихъ, если найдете занимательнымъ для читателей.

Cogitata et visa.

I.

Легкое, повидимому только, легко, а трудное, повидимому только, трудно. Обыкновенно думают: чѣмъ мысль общѣе, тѣмъ она труднѣе; что надобно имѣть чрезвычайное глубокомысліе и смѣтливость, чтобъ понять, напримѣръ, философскую книгу. Такъ думаютъ не только нечитающіе такихъ книгъ, но и тѣ, которые ихъ пишутъ; они, единственно для облегченія мыслей само-собою понятныхъ, затемняютъ ихъ до того, что онѣ дѣлаются совершенно непонятными. А посмотришь прямо въ глаза этимъ головоломнымъ истинамъ, снявши съ нихъ ежовую шкуру школьнаго изложенія, — ребенокъ пойметъ; труднѣе не понять ихъ, нежели понять. Если мы мало видимъ дѣтей, понимающихъ истины, — это оттого, что со дня рожденія развращаютъ естественный смыслъ ребенка воспитаніемъ. Воспитаніе очень надолго лишаетъ ребенка возможности понять ясное тѣмъ самымъ, что оно ему передаетъ темное за ясное, подавляетъ авторитетомъ, систематически приучаетъ дѣтей къ сумашествію. Часть людей, свихнувши въ молодости свой умъ, такъ и остается на всю жизнь, въ родѣ тѣхъ индѣйцевъ, которымъ при рожденія сдавливали черепныя кости; многіе, потомъ, собственными трудами продолжаютъ развивать въ себѣ способность искаженного мышленія и достигаютъ нерѣдко нѣкоторой ловкости въ этомъ искусствѣ. Человѣку, понявшему ясно и основательно хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методѣ Жакото: типы нелѣпныхъ выводовъ остаются въ головѣ, какъ законы, отъ которыхъ отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшаго ила, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное.

Дѣйствительно трудное для пониманія не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его, — частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это. Кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ объ ней, тотъ — или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или заплачется до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли

къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка—великое дѣло, это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума. Къ чему нельзя привыкнуть? Итальянецъ, живущій на Везувіи, привыкъ спать возлѣ кратера такъ же спокойно, какъ въ свою очередь нашъ мужичекъ спокойно отдыхаетъ въ обществѣ нѣсколькихъ тысячъ таракановъ. Митридатъ привыкъ вмѣсто кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и былъ очень здоровъ; а Фридрихъ II привыкъ класть въ супъ ассафетиду и находилъ, что его супъ прекрасно пахнетъ. Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное — гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойною изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось подъ крышей каждаго дома, — и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, дозволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй оттого, что они подъ самымъ жерломъ.

Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь, во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и внѣшнихъ потребностяхъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ,—не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только лѣта юности обставлены по-художественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви—утомительное *sempre idem* закулисной жизни, ежедневной суеты, мелкихъ хлопотъ, булавочныхъ укуловъ и пр. Общія сферы похожи на вызолоченныя гостиныя и залы, на отдѣлку которыхъ употреблены капиталы; а частная жизнь — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдвіе три вѣка много пере мѣнилось въ образѣ жизни, впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ; мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ, — знамена остались тѣ-же; люди, какъ ис-

панцы, хотять только сохранить *фуэросы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивисься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то-же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически восторженныя выходки рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей еивайдскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно—мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда—не болѣе. У каждаго человѣка за этой официальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; официально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣденъ, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины,—*privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезцѣпить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго по тому, что никогда не добѣшься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Наполеонъ говаривалъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится *въ міръ подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ,—исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физиологіи, а волосныя сосуды, а клѣтчатка, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самыя сильныя

характеры, самыя огненныя энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о вариационныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ, и пр. пр., объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ-же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора-ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта, да и въ сущности это все равно: прячь не прячь — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen
Kommt—wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

Изрѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься..... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него».—Скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства».—Скверный отецъ!—Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Къ тому-же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть, какъ цари, герои, или, по крайней мѣрѣ,

полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемые слезы. Людямъ необходимы декорации, обстановка, надпись; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой,—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса,—и мы не плачемъ надъ ними.

Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствие было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ) — крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное,—въ этомъ никто не сомнѣвается; да что-же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ-же самомъ Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ-бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго—разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что даль, напри-мѣръ, мой сосѣдъ, богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣнахъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь — продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ? что даль ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено, ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши», — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ,—себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его; на томъ-же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. — Все такъ,—говорятъ умнѣйшіе—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу. А позвольте спросить: возможно-ли *троническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность. Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали, — это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносятъ себя на жертву,—да гдѣ-же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву—такая жертва, само-собою разумѣется, не приня-сится ни отцу, ни матери, потому-что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣро-

ятно, не остановился на куплѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви и, не найдя ея, началъ, *par d'érêt*, тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту *par force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ: одно для гостей, глупо-улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гѣны, сказалъ бы я, если-бъ гѣны улыбались; хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена, супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ оболетъ слезами ея гробъ и, для довершенія удара, слезами откровенными, онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

Людьми непремѣнно надобны видимые знаки, несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ, видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!» Ну, а какая-же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело,—я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннолѣтію, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ-будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнувшая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ: за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной видѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница притѣсенная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непремѣнно кому-нибудь да солоно жить.

Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ шесть тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее—дѣло дѣтское!

II.

Богатые люди по большей части или моты, или скупцы; на сотни выищется одинъ, который умѣетъ управлять своимъ состояніемъ, не впадая въ крайность расточительности или скупости. Совершенно случайное сосредоточеніе огромныхъ средствъ какъ-то кружить голову людямъ; они бросаютъ ихъ, или не употребляютъ, доказывая въ обоихъ случаяхъ ненужность ихъ. Впрочемъ, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточительность носить сама въ себѣ предѣлъ: она оканчивается съ послѣднимъ рублемъ и съ послѣднимъ кредитомъ; скупость безконечна и всегда при началѣ своего поприща; послѣ десяти милліоновъ, она съ тѣмъ-же оханьемъ начинаетъ откладывать одиннадцатый. Расточительность поправляетъ сдѣланное стяжаніемъ, она видитъ горсть золота въ своихъ рукахъ, неизвѣстно, какъ въ нихъ попавшуюся, не выработанную, свалившуюся съ неба,—и бросаетъ ее за наслажденія, пиры, за ушоеніе нѣгой, за удобства роскоши. Конечно, это дурно, т. е. то дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ суетное удовлетвореніе желаній, если и не порочныхъ, то пустыхъ; но вредъ расточительности больше отрицательный; мотъ могъ-бы лучше употребить себя и свои средства—безъ сомнѣнія; но онъ и не удерживаетъ эти средства въ своихъ рукахъ, а отдаетъ ихъ другимъ; собственно гнустнаго, преступнаго ничего нѣтъ въ расточительности; мотовство часто сопрягается съ художественной любовью изящнаго, съ благородными порывами. Избалованный мотъ иногда откажетъ въ участіи, но дастъ денегъ; скупой никогда не откажетъ въ участіи, но никогда денегъ не дастъ. Въ мотѣ есть что-то избалованное, прихотливое, распущенность характера гетеры; въ скупцѣ что-то преступное, анти-соціальное, онъ похожъ на шакала, онъ хуже его. Дидро говоритъ, что онъ знаетъ только одинъ порокъ, и этотъ порокъ—скупость.

Ревнивая привязанность къ имуществу безнравственна; богатство хранимое болѣе развращаетъ человѣка, нежели богатство расточаемое; оно, какъ тяжелая гиря, стягиваетъ къ землѣ всякой порывъ, всякую благородную мысль; не имущество принадлежитъ

скупому, а скупой имуществу. Слово—«недвижимое имѣніе» значить для скупца капканъ, въ который пойманъ подвижный духъ его. Деньги и богатство — страшный оселокъ для людей; кто на немъ попробовалъ себя и выдержалъ испытаніе, тотъ смѣло можетъ сказать, что онъ человѣкъ. Самоотверженіе на поприщѣ гражданственности, мужество на полѣ битвы, смѣлая рѣчь, патриотизмъ, готовность служить другу рукой, головой,—все это довольно часто встрѣчается на бѣломъ свѣтѣ; но..... но до кармана касаться не совѣтую тому, кто хочетъ сохранить юношескія вѣрованія. Гдѣ люди, которые не согнутся подъ бременемъ ожидаемаго милліона? А если есть такіе, которые не своротятъ съ прямой дороги для чужого милліона, то, конечно, нѣтъ такихъ, которые не своротятъ, чтобъ сохранить свой собственный.

Обвиняютъ мота въ неуваженіи къ деньгамъ; но онѣ и недостойны уваженія, такъ, какъ вообще всѣ вещи, кромѣ художественныхъ произведеній. Человѣкъ ими пользуется, употребляетъ ихъ,—и вещь вполне достигаетъ высшей цѣли, отдаваясь въ наслажденіе человѣку; другого уваженія она не заслуживаетъ, другімъ образомъ человѣкъ можетъ уважать только человѣка; уважать вещь — вообще безсмыслица, но уважать деньги — двойная безсмыслица: въ вещи я уважаю иногда ея красоту, воспоминанія, сопряженныя съ нею, но деньги—алгебраическая формула всякой вещи, не вещь, а представительница вещей.

Расточительность и скупость—двѣ болѣзни, текущія изъ одного источника и приводящія различными путями къ одному концу. Голодная бѣдность мота встрѣчается съ голоднымъ богатствомъ скупца, и тутъ они равны. Лучшаго доказательства нелѣпости богатства быть не можетъ.

Безнравственно быть мотомъ, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; придетъ время, будутъ удивляться нашему аппетиту и крѣпости нервъ, особенно дамскихъ; но... но есть нѣчто гораздо безнравственнѣйшее: беречь свои деньги, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду.

III.

Совершеннолѣтіе закономъ опредѣляется въ 21 годъ. Въ дѣйствительности, убѣгающей отъ ариѳметическихъ однообразныхъ опредѣленій, можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолѣтними, такъ, какъ есть люди, неспособные быть юными. Знаменитая Бетина оставалась ребенкомъ на всю жизнь—тѣмъ самымъ восторженнымъ ребенкомъ, котораго кудри ласкалъ олимпийской рукой Гёте, никогда не бывшій юношей въ жизни;

онъ отбылъ, какъ извѣстно, свою юность Вертеромъ. Биографы Ньютона удивляются, что ничего не извѣстно объ его ребячествѣ, а сами говорятъ, что онъ въ восемь лѣтъ былъ математикомъ, то есть, не имѣлъ ребячества. Напротивъ, Лафайетъ въ восемьдесятъ лѣтъ нуждался еще въ гувернерѣ,—это было самое благородное и самое старое дитя обоихъ полушарій. Для одного юность—эпоха, для другого—цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношескія грезы и романтическія затѣи очень жалки въ старикѣ и очень смѣшны въ старухѣ. Остановиться на юности потому скверно, что на всемъ останавливаться скверно,—надобно быстро нестись въ жизни; оси загорятся—пускай себѣ, лишь-бы не заржавѣли. Человѣкъ, способный на дѣйствительность, на совершеннолѣтіе, имѣетъ органъ претворенія всѣхъ событій, внутреннихъ и внѣшнихъ, въ такую ткань, которая, безпрестанно обновляясь, сама усугубляетъ силу и объемъ взгляда; изъ юношескаго романтизма онъ трюитъ практическій взглядъ; онъ подъ тѣми-же словами разумѣетъ несравненно ширшія понятія; старый юноша неподвижно остается при старыхъ понятіяхъ. Въ юности человѣкъ имѣетъ непременно какую-нибудь мономанію, какой-нибудь несправедливый перевѣсъ, какую-нибудь исключительность и бездну готовыхъ истинъ. Плоская натура при первой встрѣчѣ съ дѣйствительностію, при первомъ жесткомъ толчкѣ, плюетъ на прежнюю святыню души своей, ругается надъ своими заблужденіями и, по мѣрѣ надобности, беретъ взятки, женится изъ денегъ, строитъ домъ, два..... Благородная, но не реальная натура идетъ наперекоръ событіямъ, не стремится понять препятствія, а сломить ихъ, лишь бы спасти свои юношескія мечты, и обыкновенно, видя, что нѣтъ успѣха, останавливается и, остановившись, повторяетъ всю жизнь одну и ту-же ноту, какъ роговой музыкантъ. Натура дѣйствительная не такъ поступаетъ: она воспитываетъ свои убѣжденія по событіямъ, такъ, какъ Петръ I воспитывалъ своихъ воиновъ шведскими войнами; она не держится за старое въ его буквальномъ смыслѣ, она не съ юношескими сентенціями отправляется на борьбу, на жизнь, а съ юношеской энергіей; сентенціи, правила ей не нужны, у ней есть *тактъ*, т. е. органъ импровизаціи, творчества; она вступаетъ во взаимодѣйствіе съ окружающей средой; ничего не можетъ быть болѣе удалено отъ твердыхъ и законныхъ истинъ, какъ дѣйствительное возрѣніе; оно тягуче, тягуче, оно колеблется какъ вода въ морѣ,—но кто сдвинетъ подвижное море?

Всѣ нѣмецкіе филистеры по большей части бурши, не умѣвшіе примирить юное съ совершеннолѣтнимъ. Самая смѣшная сторона филистерства именно въ этомъ сожитіи въ одномъ и томъ-же человѣкѣ теоретической юности съ мѣщанскимъ совершеннолѣтіемъ.

Старѣться значитъ окостенѣть; неправда, что всякой долженъ старѣться; старѣется собственно остановившаяся натура, она тогда въ мертвенномъ покоѣ, осѣдаетъ кристаллами; въ нравственномъ мѣрѣ то-же, что въ физическомъ: мозгъ сохнетъ, хрящъ идетъ въ кость, зубы костенѣютъ до того, что выпадаютъ изо рта, какъ камешки. Но въ нравственномъ мѣрѣ это не непремѣнно, натура, безпрестанно обновляющаяся, безпрестанно развивающаяся—въ старости молода. Натура реальная почти не имѣетъ способности старѣться,—она по преимуществу душа живая. Сикстъ V распрямился, чтобъ достать головою тиару, старость не помѣшала ему.

Старый юноша имѣетъ свои приемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя. Вы его узнаете по ненависти къ Гёте и по пристрастію къ Шиллеру, по его презрѣнію къ практической дѣятельности, къ матеріальному интересу; онъ не любитъ желѣзныхъ дорогъ, положительности, индустріи, Сѣверной Америки, Англии; онъ любитъ средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза,—и замѣтьте, что у него эффектъ и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддѣльны, онъ за фразу пойдетъ и сядетъ на колѣ, если только онъ живетъ въ такой образованной странѣ, гдѣ за фразу сажаютъ на колѣ. Романтизмъ вообще ищетъ несчастій, онъ очищается ими, хотя мы не знаемъ, гдѣ онъ загрязнился; это особая медота леченія, Unglückskur, такъ, какъ есть Wasserkur, Hungerkur. Старый юноша—это Эгмонтъ; юный старецъ—это Вильгельмъ-Оранскій. Донъ-Карлосъ, маркизъ Поза, Максъ Пикколомини—должны были умереть въ юности, и образы ихъ остались у насъ неразрывны съ чертами отроческой красоты, и такъ они хороши. Исторія намъ много завѣщала вѣчно-юныхъ лицъ, начиная съ представителя Греціи Ахилла и до... ну хоть до Шарлотты Кордэ. Доживи Максъ Пикколомини до генераль-аншефовъ, Донъ-Карлосъ до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль, или должны были бы переработаться, но въ томъ-то и бѣда, что въ нихъ мало замѣтно переработывающей силы. Такъ, какъ они есть, они высоко художественны; но для того, чтобъ ихъ оставить такими, надобно было ихъ спасти смертной казнію. Таковъ нашъ соотечественникъ Владиміръ Ленскій,—и Пушкинъ разстрѣлялъ его. Не такова Татьяна,—и она осталась, слава Богу, здорова. Шекспиръ зналъ, что дѣлать, прерывая, такъ сказать, на первомъ поцѣлѣ нить жизни Ромео и Юліи.

II.

Новыя варіаціі на старыя темы ¹⁾.

Нѣкогда школа остановилась въ грустномъ недоумѣніи, пораженная страшными и, повидимому, безвыходными противорѣчіями, которыми Кантъ завершилъ свое ученіе и изъ-за которыхъ вдали виднѣлись улыбающіяся черты его учителя, Юма. Казалось, послѣдняя опора человѣка—разумъ подкосился, достоинство вѣдѣнія исчезла; робкіе умы, всегда предпочитающіе бѣгство труда и лѣнивый покой утомительному изслѣдованію, стали отступать въ свои всегдашнія зимнія квартиры—въ мистицизмъ; эмпирики иронически улыбались; а въ сущности антиноміи Канта были основаны на одномъ формальномъ противорѣчіи и на насильственномъ раздвоеніи истины; вскорѣ наука обличила это.

Но если мы сравнимъ противорѣчія, поставленныя Кантомъ, съ противорѣчіями, встрѣчающимися въ сознаніи современнаго человѣка, то увидимъ, что отъ послѣднихъ не такъ легко отдѣлаться: они прокрались во всѣ наши убѣжденія, исказили весь нравственный бытъ. Они упорны, какъ всѣ явленія полусознательныя и, слѣдовательно, полусостояція въ волѣ человѣка (человѣкъ дѣйствительно свободенъ только въ томъ, что вполне понимаетъ); они трудно-уловимы, безпрестанно мѣняють платья, форму, языкъ, по временамъ до того притихаютъ, что становятся незамѣтными; но преупорно остаются при своей задней или лучше дряхлой мысли. Тѣмъ опаснѣе эти противорѣчія, что они почти всегда скрыты за туманомъ внутреннихъ чувствъ, что они избѣгаютъ рѣзко высказаннаго имени, что, наконецъ, зная, выставленное ими съ величайшей добросовѣстностью, прикрываетъ совѣмъ иное содержаніе. Рядомъ такихъ противорѣчій, утомительныхъ, ироническихъ, оскорбительныхъ, проходитъ озабоченное человѣчество передъ нашими глазами, льетъ свои слезы, льетъ свою кровь, мучится, споритъ, становится съ той или другой стороны, думаетъ примирить, думаетъ побѣдить,—не можетъ, и вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнію, склоняетъ усталую голову подъ

¹⁾ Статья эта была напечатана въ „Современникѣ“ 1847 года. Случайно въ моихъ бумагахъ остались рукописи этой статьи и другой, также напечатанной въ „Современникѣ“, „Объ историческомъ развитіи чести“; сличая ихъ, можно вполне оцѣнить отеческое попеченіе цензуры того времени, при этомъ не слѣдуетъ забывать, что отъ 1843 до 1848 была самая либеральная эпоха николаевского царствованія.

то или другое ярмо предрасудковъ. Но кто же ставить, кто поддерживаетъ это ярмо? Его никто не ставить и никто не поддерживаетъ. Заблужденія развиваются сами собою, въ основѣ ихъ лежитъ всегда что-нибудь истинное, обросшее слоями ошибочнаго пониманія; какая-нибудь простая житейская правда—она мало по малу утрачивается, между прочимъ, потому, что выражена въ формѣ, несвойственной ей; а вѣками скопившаяся ложь, сбѣдая отъ старости, опираясь на воспоминанія, переходитъ изъ рода въ родъ. Баратынскій превосходно назвалъ предрасудокъ обломкомъ древней правды. Эти обломки составляютъ одно начало для противорѣчій, о которыхъ мы говоримъ, по другую сторону ихъ—отрицаніе, протестъ разума. Развалины эти поддерживаются привычкой, лѣнью, робостью и, наконецъ, младенчествомъ мысли, не умѣющей быть послѣдовательною и уже развращенной принятіемъ въ себя разныхъ понятій безъ корня, и безъ оправданія, рассказанныхъ добрыми людьми и принятыхъ на честное слово. Это совершенно противно духу мышленія, но оно очень легко: вмѣсто труда и пота—органъ слуха, вмѣсто логической наготы—готовое богатство, вмѣсто нравственной отвѣтственности передъ самимъ собою—младенческая зависимость отъ внѣшняго суда.

Но не должно забывать, что и сознаніе, что и трудъ мысли имѣетъ свою сильно-увлекательную прелесть; а потому, кромѣ несчастной, отстраненной нуждою и работою толпы, да кромѣ пресытившейся и утонувшей въ нѣгѣ другой толпы, почти никто не остается спокойно при готовыхъ понятіяхъ; это просто естественно человѣку, у котораго мысль сколько-нибудь возбуждена; но хотѣть мыслить, но любить и желать истины—еще не все, тутъ и открываются трагико-логическія столкновенія, скорбныя и мучительныя противорѣчія. Всмотритесь въ нравственный бытъ современнаго человѣка, вы будете поражены противорѣчіями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими въ основѣ всѣхъ его дѣлъ, мыслей, чувствъ: это одна изъ самыхъ рѣзкихъ, отличительныхъ чертъ нашего образованія. Отсюда желаніе сохранить разомъ науку со всѣми ея правами, съ ея притязаніемъ на самозаконность разума, на дѣйствительность вѣдѣній, и всѣ романтическія выходки противъ разума, основанныя на неопредѣленномъ чувствѣ, на темномъ голосѣ; отсюда желаніе воспользоваться всѣми благами современнаго и будущаго, не утрачивая ни одного блага прошедшаго, несмотря на то, что сознаніе несправедливости послѣдняго—единственное условіе водворенія первыхъ. Слѣдствія этой шаткости, этого колебанія—тѣ, которыхъ надобно было ожидать: поразительная смѣлость въ послылкахъ и поразительная робость въ силлогизмѣ, удалъ въ отвлеченіяхъ и

несостоятельность въ приложеніяхъ. Наконецъ, отсюда же истекаетъ потребность возстать всѣми силами противъ этого немужественнаго, ложнаго, стертаго направленія.

Наука, выросшая вдали отъ жизни, за стѣнами аудиторій, держалась большею частію въ отвлеченіяхъ, говорила свысока, языкомъ труднымъ и въ то-же время неопредѣленнымъ, которымъ она столько же высказывалась, сколько скрывалась; въ ея распушенные, незамкнутыя категоріи вносили все, что хотѣли, придавая грубому матеріалу, захваченному съ улицы, современный лоскъ и отливая его въ логическія формы. Такое неустройство продолжаться не можетъ; время такихъ себя-обольщеній прошло; теперь труднѣе безнаказанно и шутя плавать по поверхности науки, играть ея истинами; ея основы глубоки, а глубь тянетъ въ себя; надобно опуститься съ головою или выходить по добру, по здорову на берегъ и оставить науку и себя въ покоѣ; оно, можетъ быть, и лучше, кому это возможно. Блаженъ, говорить Пушкинъ:

Кто, хладный умъ утомивъ,
Поконится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на ночлегѣ.

Отойти еще легко; но дѣйствительно трудно становится долго продержаться Колоссомъ родосскимъ—одна нога на берегу, другая на другомъ: берега все болѣе и болѣе раздвигаются. Да и зачѣмъ эта двойственность? «Будь то или другое», какъ говорилъ Іоаннъ. Въ этомъ отношеніи скажемъ смѣло: хвала дерзкому языку, которымъ съ нѣкотораго времени заговорила наука нашего вѣка. Это кончить поскорѣе всѣ недоразумѣнія. Ей не нужно скрываться, у ней совѣсть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли непремѣнно отойдетъ,—что за бѣда? Кто отойдетъ, тотъ былъ чужой, тотъ былъ обмануть. Оставлять что-либо недоговореннымъ, значить оставлять возможность ложнаго пониманья; надобно, напротивъ, предупреждать всякое двусмысленное выраженіе,—этого требуетъ честность въ наукѣ. Таковъ языкъ Спинозы. Можно съ нимъ ни въ чемъ не соглашаться, но нельзя не остановиться съ уваженіемъ передъ этой мужественной и открытой рѣчью, и вотъ разгадка, почему его въдесятеро болѣе ненавидѣли, чѣмъ другихъ мыслителей, говорившихъ то же, что и онъ.

Говорить языкомъ откровеннымъ можетъ всякій благородный человѣкъ, имѣющій право говорить; но говорить языкомъ совершенно простымъ бываетъ, не скажу невозможно, но трудно при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Современна слагающееся возрѣніе

на жизнь сложно; взятое съ боя, выработанное въ мучительной борьбѣ, въ отрицаніяхъ и лишеніяхъ, неконченное, наконецъ, оно трудно уловляется въ какой-нибудь маленькій кодексъ, въ нѣсколько общихъ мѣстъ, громкихъ словами и скудныхъ содержаніемъ; можетъ быть, оно трудно уловляется оттого, что его требованія и выше и многостороннѣе требованій прежнихъ моралистовъ и юристовъ. Несмотря на это, новое возрѣніе имѣетъ не только свою опредѣленность, но и свой инстинктъ, который никогда не обманетъ того, кто совѣстливо выработалъ себѣ смыслъ его, и кто понятое оставилъ не въ отвлеченіи, а принялъ въ мозгъ и кровь. При всемъ этомъ, можно-бы было просто передавать многое, если-бъ просто понимали; но главное препятствіе въ томъ, что каждый является съ готовыми убѣжденіями, воспитавши въ себѣ возможность спокойно укладывать въ головѣ самыя крутыя противорѣчія; что дѣлать съ такими умами? Задача тутъ измѣняется, вопросъ становится не педагогическій, а патологическій. Кто *не все* исторгнулъ изъ груди неоправданное разумомъ, тотъ не свободенъ и можетъ дойти до того, что отвергнетъ *весь* разумъ. Беравже говорить, что его муза прекапризная: за малѣйшій кончикъ галуна начинаетъ бѣситься и кричать ¹⁾. Его муза права; дѣло не въ сажени и не въ вершкѣ галуновъ, а въ галунахъ вообще.

Обернитесь, куда хотите, въ психическомъ быту нашемъ, вы вездѣ найдете эту борьбу сознанія съ привычкой, мысли съ разсказомъ, логики съ преданіемъ, ума съ дѣломъ, философія съ исторіей. За примѣрами далеко ходить нечего.

I.

Люди испоконъ вѣка или, по крайней мѣрѣ, съ Троянской войны толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, о ея достоинствахъ и прелестяхъ, однако не вкушаютъ этихъ прелестей, потому что они несравненно болѣе привязаны (хоть и не хвастаются этимъ) къ авторитетамъ, къ внѣшнимъ велѣніямъ, къ указаніямъ, нежели къ нравственной свободѣ. Любовь къ нравственной свободѣ—чисто платоническая, идеальная; по ней вздыхаютъ, о ней говорятъ въ ученыхъ предисловіяхъ и въ академическихъ рѣчахъ, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанціи. Людямъ страшна отвѣтственность самобытности; любовь ихъ къ нравственной независимости удовлетворяется вѣчнымъ ожиданіемъ, вѣчнымъ стремленіемъ, они скромно рвутся, воздержно стремятся къ предмету желаній и чувствительно вѣрятъ, что ихъ желанія осуществляются, если не

¹⁾ Цензура пропустила: A bas la livrée!

въ настоящемъ, то въ будущемъ; такая вѣра утѣшаетъ и миритъ ихъ съ настоящимъ,—чего-же лучше? Вспомнимъ при этомъ грубыхъ и дикихъ средневѣковыхъ рыцарей, съ своимъ гордымъ и воинственнымъ видомъ слушающихъ благочестиваго капеллана и его поученія о смиреніи, о нищетѣ. Они слушаютъ и глубоко горюють о томъ, что все это не исполняется... а если-бъ?... не такъ бы пришлось горевать имъ. Милая наивная логика!

Съ своей стороны, любовь къ умственному авторитету вовсе не платоническая, а обыкновенная, супружеская *d' un mariage de raison*, такая любовь, въ которой мечтами и поэзіей пожертвовано для домашнихъ удобствъ, для экономіи, для порядка, для лѣни. Лѣнь и привычка—два несокрушимые столба, на которыхъ покоится авторитетъ. Авторитетъ представляетъ собственно опеку надъ недорослемъ; лѣнь у людей такъ велика, что они охотно сознаютъ себя несовершеннолѣтними или безумными, лишь бы ихъ взяли подъ опеку и дали бы имъ досугъ ѣсть или умирать съ голоду, а главное—не думать и заниматься вздоромъ. Правда, люди боятся умственной неволи, особенно, когда пиллюля не позолочена, когда она груба, нагла, но они вдвое больше боятся отсутствія авторитета, т. е. простоты, шири, которая тогда дѣлается; они знаютъ, что человѣкъ слабъ, того и смотри—избалуетъся.

Внѣшній авторитетъ несравненно удобнѣе: человѣкъ сдѣлать скверный поступокъ—его пожурили, наказали, и онъ квити, будто и не дѣлалъ своего поступка; онъ бросился на колѣни, онъ попросилъ прощенія, его, можетъ, и простятъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда человѣкъ оставленъ на самого себя: его мучитъ униженіе, что онъ отрекся отъ разума, что онъ сталъ ниже своего сознанія, ему предстоитъ трудъ примириться съ собою, не слезливымъ раскаяніемъ, а мужественною побѣдою надъ слабостью. Но побѣды эти не легки. Первое дѣло, за которое принимаются люди, отбросивъ одинъ умственный авторитетъ,—принятіе другого, положимъ лучшаго, но столько же притѣснительнаго, а если забыть его содержаніе, то и не лучшаго, по очень простой причинѣ, потому что и люди сдѣлались лучше, слѣдовательно, отношеніе осталось то же. Китаецъ, которому дадутъ пятьсотъ бамбуковъ за нарушеніе какой-нибудь изъ десяти тысячъ церемоній, столько же ими огорчится, сколько французъ, котораго драму запретятъ играть самымъ учтивѣйшимъ образомъ ¹⁾. Даже такіе привилегированные эмансипаторы, какъ Вольтеръ, умѣя кощунствовать

¹⁾ „Переходъ отъ авторитета къ авторитету похожъ на то, что дѣлали встарь наши крестьяне: они пользовались Юрьевымъ днемъ, только для того, чтобъ по собственному выбору избрать барина нѣсколько лучше“.

надъ религіей, оставались просто идолопоклонниками *своихъ вымысловъ и призраковъ* ¹⁾).

Моралисты часто умилительно говорятъ о гибельномъ пороѣ властолюбія; властолюбіе, какъ и всѣ прочія страсти, доведенное до крайности, можетъ быть смѣшнымъ, печальнымъ, вреднымъ, смотря по кругу дѣйствій; но властолюбіе само по себѣ вытекаетъ изъ хорошаго источника, изъ сознанія своего личнаго достоинства; основываясь на немъ, человѣкъ такъ бодро, такъ смѣло вступалъ вездѣ въ борьбу съ природою и развилъ въ себѣ ту гордую несгнетаемость, которая насъ поражаетъ въ англичанинѣ. Къ тому-же въ нѣсколько устроенномъ обществѣ, властолюбіе, какъ дикая страсть, является такъ рѣдко, что едва-ли стоитъ о немъ говорить. Совсѣмъ иное дѣло умалчиваемая моралистами любовь къ подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженіи своего достоинства,—она такъ обща, такъ эпидемически поражаетъ цѣлыя поколѣнія и цѣлыя народы, что о ней стоило бы поговорить; но они молчатъ! Считать себя глупымъ, неспособнымъ понять истины, слабымъ, презрѣннымъ, наконецъ, и получающимъ все свое значеніе отъ чего-нибудь внѣшняго,—неужели это добродѣтель? «Я теперь остался круглымъ сиротой, нѣтъ ни отца, ни матери», говорилъ мнѣ одинъ *чиновникъ* ²⁾ лѣтъ пятидесяти; онъ въ эти лѣта и совершивъ уже общественную тягу, понимаетъ себя безъ отца и матери *сиротою*, а не самобытнымъ, на своихъ ногахъ стоящимъ человѣкомъ. Не смѣйтесь надъ нимъ: также не самобытна большая часть самыхъ развитыхъ людей; вы у каждого найдете какое-нибудь карманное идолопоклонство, какое-нибудь дикое понятіе, унаслѣдованное отъ няньки и спокойно прожившее лѣтъ тридцать съ возрѣніемъ, вовсе несвойственнымъ нянькамъ, и, наконецъ, хоть какой-нибудь авторитетъ, безъ котораго онъ пропалъ, безъ котораго онъ круглая сирота. Вотъ какъ трепещутъ передъ палкой, къ которой привязана козлиная борода,—это ихъ шайтанъ. Нѣмцы трепещутъ передъ страшными призраками своей науки. Конечно, отъ грубаго вотяцкаго шайтана до шайтана нѣ-

¹⁾ „Какой-то естественной и пренелѣпой религіи. Вольтеръ, точно такъ, какъ впоследствии Робеспьеръ, испугался прямого результата своихъ проповѣдей. Они лучше хотѣли выдумать искусственный авторитетъ, нежели оставить людей неподвластными. Нужно-ли говорить о всей сухости, всей безнравственности всего неуваженія къ истинѣ и всего презрѣнія къ людямъ, проглядывающей сквозь такое возрѣніе. Тотъ, кто безъ вѣры хочетъ поработить другого чему-нибудь, тотъ самъ поработенъ, рабъ и плантаторъ вмѣстѣ. Кто далъ имъ право скрывать истину подъ спудомъ, если они были въ самомъ дѣлѣ призваны ее свидѣтельствовать, и что за самоуниженіе сказать, что человѣкъ не долженъ, не можетъ знать истины! Религія никогда не шла этимъ путемъ явнаго обмана“.

²⁾ Въ текстѣ: Безсрочно отпускной солдатъ.

мецкой философіи большой шагъ; но родственныя черты не мудро раскрыть между ними. «Я вижу на твоёмъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ тебя почитать царемъ», — сказалъ Кентъ безумному Лиру. А мы можемъ сказать многимъ, кичащимся своею умственною независимостію: «Я вижу на твоёмъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ назвать тебя рабомъ!»

II.

Нѣтъ той всеобщей, истинной мысли, изъ которой бы, вмѣсто расширенія круга дѣйствій, человекъ не сплелъ веревку для того, чтобъ ею-же потомъ перевязать себѣ ноги, а если можно, то и другимъ, такъ что свободное произведеніе его творчества дѣлается карательною властью надъ нимъ самимъ; нѣтъ того истиннаго, простаго отношенія между людьми, котораго бы они не превратили во взаимное порабощеніе: любовь, дружба, братство, соплеменность, наконецъ, самая *любовь къ волѣ* послужили неизсякаемыми источниками нравственныхъ притѣсненій и неволи. Мы здѣсь вовсе не говоримъ о внѣшнихъ стѣсненіяхъ, а о боязливой, теоретической совѣсти людей, о стѣсненіяхъ внутреннихъ, добровольныхъ, отогрѣваемыхъ въ собственной груди, о трепетѣ передъ послѣдствіемъ, о боязни передъ правдой. Человекъ стоитъ безпрестанно на колѣняхъ передъ тѣмъ или другимъ, — передъ золотымъ тельцомъ или передъ внѣшнимъ долгомъ; всего чаще, онъ, какъ извѣстный своей разсѣянностью графъ Остерманъ, склоняется передъ своимъ собственнымъ изображеніемъ въ зеркалѣ, передъ фатой-морганой, отражающей ему его самого. Потребность чтить, уважать такъ сильна у людей, что они безпрестанно что-нибудь уважаютъ внѣ себя — отца и мать, повѣрья своей семьи, нравы своей страны, науку и идеи, передъ которыми они совершенно стираются. Все это, допустимъ, и хорошо и необходимо, но дурно то, что имъ въ голову не приходитъ, что и внутри ихъ есть достойное уваженія, что они, не краснѣя, вынесутъ сравненіе со всѣмъ уважаемымъ; они не понимаютъ, что человекъ, презирающій себя, если уважаетъ что-либо, то ужъ онъ въ прахъ передъ уважаемымъ, его рабъ; что онъ уже преступилъ святую заповѣдь: «не сотвори себѣ кумира».

И между тѣмъ, дѣйствительно все превращается въ кумиръ; даже логическую истину, даже самую свойственную человекѣу форму жизни превращаетъ человекъ себѣ въ тяжкой долгъ, онъ заставляетъ себя насильственно повиноваться своему собственному побужденію, — такъ въ немъ искажены всѣ понятія ¹⁾. Если

¹⁾ Но этого мало; не одной покорности требуютъ моралисты, не одного ве-

долгъ мною признанъ, то онъ столько же силлогизмъ, выводъ, мысль, которая меня не тѣснитъ, какъ всякая истина, и котораго исполненіе мнѣ не жертва, не самоотверженіе, а мой естественный образъ дѣйствія; мнѣ никто не запрещалъ говорить, что $2 \times 2 = 5$, но я противъ себя не могу этого сказать. Дѣло все состоитъ въ томъ, что моралисты главнымъ основаніемъ своего ученія кладутъ глубокую истину, что человѣкъ отъ природы злодѣй и извергъ, изъ чего и выводятъ, что онъ долженъ быть добродѣтелемъ. Отчего-же ни одинъ звѣрь не имѣетъ отъ природы развратныхъ побужденій, т. е. такихъ, которыя были бы несвойственны и вредны его формѣ бытія? Странная была бы исключительная привилегія человѣка (*homo sapiens!*) быть въ противорѣчій съ своими опредѣленіями, съ своимъ родовымъ значеніемъ и притягиваться къ нему на арканѣ. Если-бъ это было въ самомъ дѣлѣ такъ, то надлежало бы заключить, что или человѣкъ нелѣпъ, или что долгъ нелѣпъ, т. е. не выражаетъ его назначенія. Быть *человѣкомъ* въ человѣческомъ обществѣ вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитіе внутренней потребности; никто не говоритъ, что на пчелѣ лежитъ священный долгъ дѣлать медъ; она его дѣлаетъ потому, что она пчела. Человѣкъ, дошедшій до сознанія своего достоинства, поступаетъ человѣчески потому, что ему такъ поступать естественнѣе, легче, свойственнѣе, пріятнѣе, разумнѣе; я его не похваляю даже за это, онъ дѣлаетъ свое дѣло, онъ не можетъ иначе поступать, такъ, какъ роза не можетъ иначе пахнуть.

«Поэтому всѣ сознательные люди будутъ героями добродѣтели, самоотверженія и проч.» Нисколько. Дѣлать героическіе подвиги принадлежитъ натурѣ героической, такъ, какъ творить художественныя произведенія принадлежитъ поэту. Но не дѣлать ничего противучеловѣческаго принадлежитъ всякой человѣческой натурѣ, для этого не требуется даже много ума; никому не даю я права требовать отъ меня героизма, лирическихъ поэмъ и пр., но всякому принадлежитъ право требовать, чтобъ я его не оскорбилъ и чтобъ я не оскорблялъ его—оскорбленіемъ другого. Человѣкъ, не дошедшій до сознанія, дитя, больной, неполный человѣкъ, недоросль; онъ внѣ закона нравственнаго, потому что онъ его не понимаетъ своимъ закономъ; за это хотя онъ и вѣренъ своей степени развитія, покоряясь страстямъ больше разума, его должно заставить покориться, на томъ основаніи, на которомъ приказываютъ дѣтямъ исполнять волю стар-

шественнаго исполненія *того*, что называютъ долгомъ (потому что содержаніе его до капризности многообразно), но еще чтобъ внутри души своей человѣкъ считалъ внѣшній долгъ, хотя и противъ своихъ убѣжденій, за безусловно-нравственную истину.

шихъ, или, если хотите, изъ тѣхъ началъ, по которымъ сажаютъ сумасшедшаго на цѣпь. Сомнительно, чтобъ внѣшнія мѣры исправили кого-нибудь, но онѣ держатъ въ страхѣ,—и цѣль достигнута. Уголовные законы составляются въ пользу общества, а не въ пользу преступника ¹⁾. Здѣсь дѣло въ томъ, чтобъ заставить лицо исполнить общую волю, и въ большей части случаевъ развитый человѣкъ ей уступить, если не по охотѣ, то по расчету, онъ долженъ покориться, потому что онъ слабѣйшій; имѣя онъ достаточно силы, онъ вышелъ бы на борьбу съ ложнымъ въ его глазахъ началомъ, такъ, какъ Сократъ. Лицо можетъ столько-же забѣжать противъ общества, сколько отстать; въ обоихъ случаяхъ можно обуздать, понудить лицо, по мѣрѣ его дѣяній и ихъ несоответственности съ общепринятымъ, но это вовсе не выгода и прелесть общественной жизни, а необходимость ея, ея невыгода,—жертва, которую лицо приноситъ ей, а жертва никогда не бываетъ наслажденіемъ, я, по крайней мѣрѣ, не знаю радостныхъ жертвъ, потому что радостная жертва вовсе не жертва. Но моралисты вздумали придать какой-то абсолютно высокій характеръ обыкновеннымъ полицейскимъ мѣрамъ, которыя не болѣе какъ справедливы въ юридическомъ смыслѣ и необходимы для столкновеній въ обществѣ. Представляя себѣ слишкомъ отвлеченно и односторонне идею долга, они захотѣли, чтобъ и въ политическомъ мѣрѣ человѣкъ предупредительно, добровольно жертвовалъ собою и всѣмъ своимъ...

III. ²⁾

Ничто въ свѣтѣ не поддерживаетъ такъ сильно людей въ искаженномъ пониманіи, какъ нашъ условный и до крайности невѣрный языкъ; мы нехотя безпрестанно лжемъ, мы говоримъ готовыми типами, и типы эти беремъ изъ двухъ совершенно прошедшихъ міросозерцаній—римскаго и феодальнаго; мы словами своими мѣшаемъ понимать просто и ясно свою-же мысль. Это и грустно, и досадно, и смѣшно!

Что такое эгоизмъ? сознаніе моей личности, ея замкнутости, ея правъ? Или что-нибудь другое? Гдѣ оканчивается эгоизмъ и гдѣ начинается любовь? Да и дѣйствительно ли эгоизмъ и любовь

¹⁾ О пользѣ преступнику толкуютъ изъ того-же лицемерія, о которомъ мы столько говорили. Разумѣется, что этимъ путемъ общество можетъ подавить и праваго, и всегда побѣтъ слабого; впрочемъ Гуссъ былъ казненъ, а Лютеръ самъ казнился.

²⁾ Въ текстѣ: „Кто для кого, личность для общества, или общество, государство для лица?“

— Безъ сомнѣнія лицо для государства, иначе что-же это будетъ—эгоизмъ, *sвоеволие!*

— Я совершенно, совершенно согласенъ съ вами.“

противоположны, могутъ-ли они быть другъ безъ друга? Могутъ ли я любить кого-нибудь не для себя, могутъ ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, пменно *мнѣ* удовольствія? Не есть ли эгоизмъ одно и то же съ индивидуализаціей, съ этимъ сосредоточиваніемъ и обособленіемъ, къ которому стремится все сущее, какъ къ послѣдней цѣли? Всего меньше эгоизма въ камнѣ; у звѣря эгоизмъ сверкаетъ въ глазахъ; онъ дикъ и исключителенъ у дикаго человѣка, не сливается ли онъ съ высшей гуманностью у образованаго?

Вы думаете, что моралисты разрѣшили эти вопросы; нѣтъ, они отдѣлываются доблестнымъ негодованіемъ противъ всего эгоистическаго; они знаютъ, что эгоизмъ значительный порокъ, имъ это довольно; ихъ безпорочная натура мечетъ громы на него и не унижается до пониманія. Странные люди! вмѣсто того, чтобъ именно на эгоизмъ, на этомъ въ глаза бросающемся грунтѣ всего человѣческаго, создать житейскую мудрость и разумныя отношенія людей, они стараются всѣми силами уничтожить, замарать эгоизмъ, т. е. срыть *die feste Burg* человѣческаго достоинства и сдѣлать изъ человѣка слезливаго, сентиментальнаго, прѣснаго добряка, напрашивающагося на добровольное рабство. Слово *эгоизмъ*, какъ слово *любовь*, слишкомъ общи: можетъ быть гнусная любовь, можетъ быть высокій эгоизмъ, и обратно. Эгоизмъ развитога, мыслящаго человѣка благороденъ, онъ-то и есть его любовь къ наукѣ, къ искусству, къ ближнему, къ широкой жизни, къ неприкосновенности и проч.; любовь ограниченнаго дикаря, даже любовь Отелло высшій эгоизмъ. Вырвать у человѣка изъ груди его эгоизмъ значитъ вырвать живое начало его, закваску, соль его личности; по счастью, это невозможно и напоминаетъ только того почтеннаго моралиста, который отучилъ свою лошадь отъ эгоистической привычки ѣсть и очень сердился, что она умерла, какъ только стала привыкать отъ пищи...

Что мы сказали объ эгоизмѣ, то же должно сказать о своеволіи. *Мининъ началъ своевольно великое дѣло возстанія противъ чужеземнаго порабощенія.* 1) Неужели его своеволіе похоже на своеволіе пьяницы, придирающагося къ прохожимъ? 2) Я полагаю, что *разумное признаніе своеволія есть высшее нравственное признаніе человеческого достоинства,* 3) что до него и домогаются всѣ. Отчего эти недоразумѣнія, этотъ смутный хаосъ понятій? Отъ дурной привычки брать и понятія и слова безъ анализа,

1) Въ текстѣ: „Вильберфорсъ началъ своевольно хлопотать объ освобожденіи негровъ и послѣ долгихъ, многолѣтнихъ трудовъ—достигъ желаемаго.“

2) „Да и потомъ, что же за нравственная обязанность быть подъ авторитетомъ *чужезолія*?“

3) „Я полагаю, что своеволіе есть высшая нравственная среда, что до нея и домогаются всѣ.“

благо мы унаслѣдовали ихъ отъ схоластики. Жизнію люди стали выше этой унижающей точки зрѣнія, но изъ учтивости и по скверной привычкѣ остаются при старомъ языкѣ, и таково странное право словъ: мы чувствуемъ, что неладно, что не такъ выражаемся,—но не языкъ отбрасываемъ, а принимаемъ превратный образъ. Мы перетащили изъ средневѣковаго міра натянутую, романтико-мистическую обстановку всѣхъ наипростѣйшихъ истинъ и затемнили ихъ. Обстановка эта всему придаетъ, какъ освѣщеніе бенгальскимъ огнемъ, странный и изуродованный видъ. Мораль наша еще въ феодальной одеждѣ, но уже въ полинялой и истасканной; ея оружія заржавѣли и притупились, утратили свою рѣзкость и сдѣлались площе. Слагающаяся новая жизнь, непризнанная въ сферѣ морали, почва совершенно неудобная для такихъ сѣмянъ. Она и не пустила корней. Возьмите обыкновенную свѣтскую мораль,—все это до такой степени неистинно, перемѣшано изъ разныхъ началъ, такъ нелѣпо, шатко, бѣдно, что жаль видѣть добросовѣстную преданность проповѣдующихъ ее. Когда для морали былъ одинъ источникъ—религія, тогда она была послѣдовательна; она стройно шла изъ одного начала. Новый человѣкъ, этотъ Криспинъ, слуга двухъ господъ, хочетъ сохранить выводы прежней морали, но источникомъ ей поставить отвлеченный долгъ. Можете себѣ представить плоды такой логики! Отшатнувшись отъ твердаго берега, люди испугались; имъ, привыкшимъ къ мрачнымъ сводамъ, къ освѣщенію свѣчами, къ сырому испаренію каменныхъ стѣнъ, сдѣлалось невыносимо тяжело на чистомъ полѣ, отъ воздуха, отъ солнца, отъ отсутствия стѣнъ, отъ безграничной дали и возможности идти во всѣ стороны. Со страху они построили на скорую руку досчатый балаганъ нашей морали и подумали, что это новый храмъ, въ то время, какъ въ сущности этотъ балаганъ ничто другое, какъ временной лазаретъ.

Желаніе выйти изъ романтизма ощутительно, но робко покидаемъ мы его; насъ гнететъ вліяніе пугающихъ мечтаній и привычныхъ грѣзъ, и мы равно не имѣемъ геройства ни воротиться къ средневѣковымъ воззрѣніямъ, ни пожертвовать ими; мы краснѣемъ еще при мысли, что у насъ есть тѣло, и не вѣримъ, что мы духи; у насъ въ памяти глубоко вкоренились клеветы, подъ вліяніемъ которыхъ мы думаемъ нашу думу, и готовые образы, отъ которыхъ мысль наша отстать не можетъ. Съ грустью говорилъ ужъ объ этомъ Гегель, вотъ слова его: «Мы всѣмъ нашимъ образованіемъ погружены въ фантастическія представленія, которыя трудно переступить. Древніе мыслители были совсѣмъ не въ томъ положеніи; обычные къ чувственному созерцанію, они не имѣли ничего впередъ идущаго, кромѣ небесъ сверху и земля

внизу. Мысль вольно ширилась и сосредоточивалась въ этомъ мірѣ, и сосредоточивалась свободная отъ всякаго даннаго содержанія: это было вольное выплываніе въ ширь, гдѣ ничего нѣтъ ни подъ нами, ни надъ нами, гдѣ мы остаемся наединѣ съ собою». (Encyclop. Tom. I)...

С. Соколово. Июль, 1846 года.

IV 1).

Есть слова, понятія, опозоренныя, не смѣющія явиться въ порядочное общество, такъ, какъ не смѣетъ въ него явиться палачъ, отвергаемый людьми за то, что исполняетъ ихъ волю. Что подумали бы о человѣкѣ, который поднялъ бы, на примѣръ, рѣчь въ защиту *пристрастія* и сказалъ бы, что *пристрастіе* настолько выше *справедливости*, насколько *любовь* выше *равнодушія*?

Здѣсь опять не можетъ быть и рѣчи о томъ, что всякое *пристрастіе* выше всякой *справедливости*,—главное дѣло въ томъ, во имя чего *человѣкъ* *пристрастенъ*.

— Нѣтъ, все равно,—для чего бы *человѣкъ* ни былъ *пристрастенъ*—онъ поступаетъ безчестно, слабодушно!

Хорошо, что такія вещи только говорятъ, а дѣлаютъ совсѣмъ иное.

Справедливость въ *человѣкѣ*, не увлеченномъ *страстью*, ничего не значить, довольно безразличное свойство лица, подтверждающаго, что днемъ—день, а ночью—ночь. Въ основѣ всѣхъ отвлеченныхъ, безличныхъ сужденій нашихъ (математическихъ, химическихъ, физическихъ) лежитъ *справедливость*; но въ основѣ всего личнаго, любви, дружбы лежитъ *пристрастіе*. Бракъ основанъ на *пристрастномъ* предпочтеніи одной женщины всѣмъ остальнымъ, одного мужчины—всѣмъ прочимъ. Предпочтеніе, которое мать оказываетъ своему ребенку, вопіющее *пристрастіе*; мать, которая была-бы только *справедлива* къ дѣтямъ, могла бы служить образцомъ сухого и бездушнаго существа. Семейная *любовь*—такое же *пристрастіе*, не выдерживающее критики, какъ *любовь* къ отечеству. Строго *справедливъ* космополитъ. *Справедливъ* *человѣкъ*, ничего не любящій особенно; мизантропъ очень недурно выразился, сказавши: «L'ami du genre humain ne peut pas être le sien». Разумѣется, что здѣсь рѣчь идетъ не о другѣ *человѣчества*, а о другѣ со всѣми на свѣтѣ, то есть ни съ кѣмъ въ особенности. Фанатическій мечтатель Сенъ-Жюсть пошелъ далѣе мизантропа (онъ вообще не останавливался передъ послѣдствіями, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось кому-нибудь, или ему самому потерять голову) и требовалъ, чтобъ *гражданина*, не имѣю-

1) Этого параграфа вовсе не было напечатано.

щаго друга въ тридцать лѣтъ, лишать правъ гражданства, какъ человѣка, не имѣющаго способности быть пристрастнымъ.

«Справедливость прежде всего»—говорять французы; съ этимъ можно согласиться, лишь бы любовь была въ концѣ всего. *Regeat mundus et fiat justitia*, говорятъ по-латыни нѣмцы, и съ этими нельзя согласиться, потому что антитезисъ дурно выбранъ. Нѣмцы странный народъ; мало того, что они имѣютъ Аѳины въ Берлинѣ, Аѳины въ Мюнхенѣ, они хотятъ еще на порожніе пьедесталы греческихъ боговъ поставить свои тощія метафизическія привидѣнія; греческіе боги—чего нѣтъ другого—были разбитные люди, любили весело пировать, пили безмѣрно амброзію, собой были красивы, да и не то, чтобы слишкомъ цѣломудренны,—самъ старикъ Зевсъ завертывался иногда съ волоокой Герой облакомъ (простодушный Гомеръ думаетъ, что это онъ отъ людей прятался, а мнѣ кажется просто отъ Ганимеда). На ихъ то вакансіи берлинскіе аѳиняне хотятъ помѣстить свои трансцендентальныя абстракціи безъ тѣла и жизни, а тоже со строгостями.

— «Идея все, человѣкъ—ничего» — «Всеобщему надобно жертвовать частнымъ». Если слушать и принимать все за чистыя деньги, то можно подумать, что нѣмцы худшіе террористы въ мірѣ, готовые жертвовать лицами, поколѣніями. На дѣлѣ нѣмецъ жертвуетъ всѣмъ міромъ и всѣми идеями въ пользу тихой, семейной жизни, съ подругою дней и ночей, которая останется ему вѣрна лѣтъ сорокъ при жизни, да лѣтъ двадцать послѣ его смерти; въ пользу вечеровъ въ полисадничкѣ, куда приходитъ ученый другъ, также занимающійся филологіей, читать вмѣстѣ Ѳукидида, или что-нибудь такое современное. У нихъ подобнаго рода выходки до того безвредны, что имъ позволено ихъ высказывать и печатать въ толстыхъ книгахъ; всѣ знаютъ, что нѣмецъ скорѣе переведетъ Ротека на санскритскій языкъ, нежели теоретическую мысль на практику; бѣда въ томъ, что вся Европа стала читать по-нѣмецки. Вотъ какъ французы примутся писать комментаріи къ такимъ идеямъ, того и смотри, что попадешь на фонарь,—французы народъ веселый, а шутить не любятъ. Нѣмцы вовсе не веселый народъ, а шутятъ шутки нехорошія, они и не подумали, что если *mundus* погибнетъ, а *justitia* останется, гдѣ будетъ мюнхенская пивакотека и гисенская лабораторія?

Люди любятъ декорацію, они и въ истинѣ видятъ одну эффектную сторону,—сади хоть трава не рости, а *истинныя* истины только кубическія, и всѣ три измѣренія имъ необходимы.

Разумѣется, есть отношенія, по которымъ всеобщее важнѣе частнаго; личность, противудѣйствующая всеобщему, попадаетъ на глупое положеніе человѣка, бѣгущаго съ лѣстницы въ то самое время, какъ густая колонна солдатъ подымается на нее; таковы

личности тирановъ, консерваторовъ, дураковъ и преступниковъ. Но голову мнѣ было бы жаль отрубить и злодѣю; расчетъ простой: если человѣку отрубить голову, она никогда не выростетъ, а всеобщее, какъ гидра лернская,—тутъ срубили голову, а тамъ двѣ выросли.

Апостолъ Павелъ не говоритъ, что любовь справедлива, а говоритъ, что она *милосерда, долготерпѣлива*. Когда въ тяжелую, въ горькую минуту раскаянія я бѣгу къ другу, я вовсе не справедливости хочу отъ него. Справедливость мнѣ обязанъ дать кварталный, ежели онъ порядочный человѣкъ; отъ друга я жду не осужденія, не ругательства, не казни, а теплаго участія и возстановленія меня любовью, отъ него я жду, что онъ половину моей ноши возьметъ на себя, что онъ скроетъ отъ меня свою чистоту.

Если я въ человѣкѣ люблю только его идею, я не люблю человѣка, а люблю идею. Такую теоретическую симпатію можно имѣть къ книгѣ, къ художественному произведенію; но съ человѣкомъ я мало соединенъ общимъ признаніемъ нѣсколькихъ истинъ, тѣмъ болѣе, что всякой не сумасшедшій долженъ признать истину. Если-бъ достаточно было одного отвлеченнаго согласія мыслей, то всѣ умные люди были бы друзья. Не только ума не достаточно для сближенія, но даже генія: я могу благоговѣть передъ Гёте; но, что бы мы съ нимъ стали дѣлать, если-бъ жизнь свела насъ? Не всякому данъ свыше талантъ быть Эккерманомъ или Ласъ-Казомъ.

Справедливость высшее достоинство судьи, но судья перестаетъ быть человѣкомъ, пока онъ сидитъ на судейскомъ стулѣ: онъ непогрѣшающій органъ законодательства, онъ языкъ, но не онъ разумъ, не онъ воля—разумъ законъ. Чѣмъ болѣе онъ вѣритъ, что онъ судья, что преступникъ подсудимый, что въ законѣ рѣшено трудное уравненіе прошедшихъ событій съ грядущими истязаніями, тѣмъ незыблемѣе должна быть его справедливость.

Когда люди не были такъ разборчивы, какъ теперь, и были полны наивной вѣры, они безъ малѣйшаго раздумья водили на казнь во имя всякой идеи и во имя всякаго убѣжденія. За что погибли тысячи и тысячи еретиковъ? За то, что одни увѣряли, что 2×2 три, а другіе твердо знали, что 2×2 пять, и жарили за это цѣлыми стадами честныхъ испанцевъ, нѣмцевъ, голландцевъ, и неумытные судьи, возвращаясь домой, говорили, «что дѣлать, справедливость выше всего, *pereat mundus et fiat iustitia*»,—и кротко засыпали съ чистой совѣстью на мягкихъ подушкахъ, забывая запахъ подожженаго мяса. ¹⁾

С. Соколово. Июль, 1846.

¹⁾ Конца нѣтъ въ тетради.

Станція Едрово.

Въ 1842 г. въ Новѣгородѣ я написалъ двѣ статьи, сильно ходившія по рукамъ: «Москва и Петербургъ» и «Владиміръ и Новгородъ». Ни та, ни другая не были напечатаны въ Россіи. Въ 1845—46 споры о Москвѣ и Петербургѣ повторялись ежедневно, или лучше еженочно. Даже въ театрѣ пѣли какіе-то петербургубійственныя куплеты *К. С. Аксакова* въ водевилѣ, въ которомъ была представлена встрѣча москвичей съ петербуржцами на большой дорогѣ.

В. Драшусовъ собирался въ 1846 издавать «Московской Городской Листокъ» и просилъ у насъ статей. У меня ничего не было, я предложилъ ему передѣлать, особенно въ *видахъ цензуры*. мою статью о «Москвѣ и Петербургѣ». «Я вамъ сдѣлаю изъ нея встрѣчу въ родѣ Аксаковской!» Редакторъ былъ доволенъ и торопилъ меня.

— Я такъ вдохновился вашимъ почтовымъ куплетомъ,—сказалъ я Константину Сергѣевичу—что самъ для «Листка» написалъ «станцію».

— Надѣюсь однако вы не за..

— Нѣтъ, нѣтъ, *противъ*.

— Я такъ и ждалъ, что вы противъ.

— Да, да, только, вѣдь, притомъ противъ *обоихъ!*

I.

Отъ С.-Петербурга 334³/₄ вер.

Отъ Москвы... 342³/₄ вер.

Nel mezzo del camin... Здѣсь Дантъ сбился съ дороги: Едрово именно mezzo del camin между Москвой и Петербургомъ. Конечно, въ XIII столѣтіи немудрено было сбиться съ дороги, и я очень вѣрю, что Дантъ обрадовался, встрѣтившись подальше съ Виргиліемъ. Въ одиночествѣ какъ-то невесело по такой дорогѣ, особенно за 500 лѣтъ прежде, нежели она была проложена. Совершенно безъ заботы насчетъ пути, я, съ своей стороны, сидѣлъ

нынѣшней осенью въ этой безразличной точкѣ между двухъ великихъ центровъ, изъ которыхъ одинъ въ серединѣ, а другой съ краю, и съ душевною кротостью ожидалъ, пока мнѣ сварятъ,—что вы думаете?

— Soupe à la tortue?

— Нѣтъ, не отгадали. Шину на колесѣ.

Дѣлать было нечего, я вспомнилъ шиллерову резигнацію, спросилъ себѣ порцію кофе, вынулъ изъ мѣшка сигары, томикъ Мартина Чазельвита и, какъ ожидать надобно было, не развертывалъ его. Порядочный человекъ можетъ читать только у себя въ комнатѣ, гдѣ всѣ предметы ему надобны; оттого добродѣтельные отцы семействъ читаютъ вслухъ многолѣтнимъ подругамъ жизни и малолѣтнимъ дѣтямъ своимъ. Есть ли какая-нибудь возможность не нѣмцу читать на станціи? Тутъ все развлекаетъ: картинная галлерей на стѣнѣ, ящики передъ окномъ, толстая трактирщица, худоцавая горничная... и, наконецъ, объявленіе о цѣнахъ кушаній, которыхъ нѣтъ, и «правила, какъ себя вести пріѣзжимъ». Не успѣлъ я обозрѣть всѣ эти интересные предметы, одни и тѣ же во всѣхъ гостиницахъ и притомъ совершенно различные, какъ подъѣхала съ петербургской стороны и съ гласомъ трубнымъ *почтовая карета*. На сей разъ она не подсвѣчники отвлеченныхъ мнѣнній, не милые куплеты, къ которымъ едва приклеены поющие ихъ люди, а просто живыхъ людей. Сначала явился человекъ лѣтъ 30-ти, въ пальто съ поднятымъ воротникомъ, повязанный пестрѣйшимъ въ мірѣ кашне, съ сигарой въ зубахъ и съ маленькимъ дорожнымъ сакомъ на ремнѣ. Онъ вошелъ въ шляпѣ, употребилъ большія усилія, чтобы не замѣтить меня, подошелъ къ зеркалу и тутъ снялъ шляпу, увидѣвши въ стеклѣ знакомыя и уважаемыя черты свои, потомъ досталъ лорнетъ, вставилъ его какъ двойную раму въ глазъ и началъ съ презрительной миной разсматривать всѣ вещи въ комнатѣ, въ томъ числѣ и меня. Я ему, должно быть, не понравился; бросивъ два-три взгляда какъ-то подозрительно изъ-подлобья, онъ почувствовалъ ко мнѣ такое отвращеніе, что сѣлъ въ обратныя три четверти. За нимъ явился въ тепломъ сюртукѣ оскорбительно-коричневаго цвѣта сѣденькой старичекъ, съ черными зубами и съ натуральными волосами, до того похожими на парикъ, что никто не купилъ бы себѣ парика изъ нихъ. Я тотчасъ заподозрѣлъ, что онъ лѣтъ десять... нѣтъ, лѣтъ двадцать столоничальникомъ и что въ отличномъ порядкѣ ведетъ дѣла своего стола, самъ черновыя пишетъ, раньше всѣхъ приходитъ и позже всѣхъ уходитъ; теперь онъ, должно быть, ѣдетъ осматривать имѣнье: директоръ хочетъ купить, просилъ сѣздить... отчего-же не сѣздить?.. Эта краткая біографія пришла мнѣ въ голову,

какъ только я увидѣлъ почтеннаго бюрократа. Столоначальникъ смотрѣлъ не съ тѣмъ презрѣніемъ, какъ господинъ въ пальто, однакожъ не безъ страха: я началъ думать, что трактирщикъ сдѣлалъ глупую шутку и увѣрилъ ихъ, что я имѣю привычку послѣ кофе кусаться. вмѣстѣ съ столоначальникомъ вошелъ купецъ съ бородой, перекрестился, поклонился мнѣ и началъ расчесывать густую окладистую бороду свою. Кондукторъ замѣтилъ, что «здѣсь слѣдуетъ пить чай»—и вышелъ.

— Мальчикъ! закричалъ господинъ въ пальто дѣвкѣ, которая стояла въ буфетѣ.

— Чего изволите?—спросила дѣвка въ должности мальчика.

— Рюмку коньяку и бутербротъ.

— Коньяку нѣтъ.

— Ну, рюмку джину.

— И такихъ напитковъ нѣтъ.

— Ну, рюмку кирша.

Дѣвка не отвѣчала, увѣренная въ томъ, что путешественникъ ее дурачить и что такого напитка нѣтъ во всей солнечной системѣ.

— Экая гостиница! да что-жъ у васъ есть?

— Есть горькая и есть анисовая.

— Ну, дай анисовой.

— И порцію чаю, голубушка, прибавилъ купецъ.

Столоначальникъ ничего не спрашивалъ: онъ вѣрилъ въ чай купца и вѣра его оправдалась. Купецъ велѣлъ дать два стакана, столоначальникъ отказался,—и сѣлъ пить.

— Да передъ чаемъ-то не выпить ли по рюмочкѣ? спросилъ купецъ, вынимая фляжку и серебряную чарку.

— Нѣтъ-съ, не беспокойтесь, отвѣчалъ столоначальникъ.

Купецъ налилъ, подаль своему сосѣду, тотъ выпилъ, онъ налилъ другую... и, нѣсколько колеблясь, обратился къ господину въ пальто съ вопросомъ:

— Не позволите ли васъ, государь мой, просить нашимъ православнымъ, т. е. практическимъ: оно здоровѣе-съ сладкой.

— А что это у васъ за практическое? сказалъ пальто, благоклонно улыбаясь и съ видомъ покровителя.

— Пѣнничекъ-съ—очищенный.

— Нѣтъ-съ, благодарю покорно. Я когда ноги мою себѣ протыгиваю виномъ, и то запахъ такъ противенъ, что душистой буажкой курю весь день.

— Была-бы-съ честь приложена-съ,—отвѣтилъ купецъ и такъ зло-лукаво улыбнулся, какъ будто онъ сомнѣвался въ томъ, можетъ ли тотъ ноги чѣмъ-нибудь, не только пѣннымъ виномъ.

Столоначальникъ въ благодарность за хлѣбъ и соль, состояв-

шіе изъ чаю и сивухи, началъ въ полголоса какой-то рассказъ купцу... Я не могъ слышать всего, но до меня долетали слѣдующія слова: «Я и говорю: ваше превосходительство! вы, примѣромъ будучи, отецъ чиновника... конечно, маленькій человѣкъ есть червь... нашъ-то генераль, вѣдь это умница..... вотъ-съ, прихожу въ канцелярію... только экзекуторъ... ну, и лисабонскаго какъ слѣдуетъ»...

На самомъ этомъ португальскомъ названіи, не торопясь и покачиваясь со стороны на сторону, подѣхалъ бѣлокурый дилижансъ первоначальнаго заведенія изъ Москвы; наверху торчали утесы поклажи, изъ оконъ высовывались подушки. Дилижансъ былъ крупнаго калибра, и черезъ минуту обѣ комнаты гостиницы наполнились народонаселеніемъ этого ковчега; тутъ были старики и дворовые люди, дѣти и комнатныя собаки. Впереди всѣхъ явился толстой господинъ въ енотовой шубѣ, съ огромными усами, съ крестомъ на шеѣ и въ огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ. Входя, онъ втащилъ съ собою 50 кубическихъ футовъ холоднаго воздуха. Онъ такъ сбросилъ свою шубу, что накрылъ ею полкомнаты и правую ногу господина въ пальто; господинъ въ пальто съ поспѣшностью спасъ свои сигары и съ чрезвычайно недовольнымъ видомъ вытащилъ свою ногу; въ то же время рукавъ шубы какъ-то коснулся затылка столоначальника, который въ ту же минуту привсталъ и извинился.

— Здравствуйте, господа! сказалъ новый гость, очутившійся въ черномъ бархатномъ архалукѣ.—Эй малый! приготовь гдѣ-нибудь умыться. Не могу ни чаю пить, ни трубки курить, не умывшись... Да и чаю живо!

Пока господинъ въ архалукѣ отдавалъ приказъ, тащился въ черной бархатной шапкѣ и въ синей медвѣжьей шубѣ, подпоясанный шарфомъ, въ валеныхъ сапогахъ сѣраго цвѣта, человѣкъ очень пожилой и съ нимъ юноша лѣтъ 20-ти, убитанный, краснощекій, съ дерзкимъ и смущеннымъ видомъ, который пріобрѣтаютъ баричи въ патриархальной жизни по селамъ своихъ родителей. Пока я разсматривалъ его, съ господиномъ въ синей шубѣ сдѣлалось престранное превращеніе: человѣкъ въ нагольномъ тулупѣ развязалъ ему шарфъ, стащилъ съ него шубу, и, представьте наше удивленіе, онъ очутился въ шелковомъ стеганомъ халатѣ, точно онъ не то что два дня въ дорогѣ, а года два не выходилъ изъ комнаты; въ этомъ костюмѣ видъ у него былъ до того московскій, что я былъ увѣренъ, что онъ ѣдетъ изъ Тулы или Рязани.

Господинъ въ архалукѣ отправился умываться. Дамы не вошли. Одна только старуха приходила въ буфетъ, требуя самовара, съ присовокупленіемъ, что чай и сахаръ возить свои.

— А что будетъ стоять самоваръ?

— Двадцать копеекъ серебромъ, отвѣчала горничная.

— Двадцать копеекъ серебромъ! повторила барыня, и никто еще не говорилъ съ такимъ нѣжно-дрожащимъ и въ то же время исполненнымъ негодованіемъ голосомъ о двугривенномъ.

— Точно такъ.

— Вы точно нехристи... двадцать копеекъ серебромъ!... за что? за простую воду... слыханое-ли это дѣло?... Вода даръ божій, для всѣхъ течеть—и двадцать копеекъ серебромъ!

Послѣ этого замѣчанія, зараженнаго коммунизмомъ, она пошла съ ворчаніемъ въ другія комнаты. Но потеря ея вознагради-лась московскимъ купцомъ, точно также перекрестившимся и раскланявшимся со всѣми, точно также спросившимъ себѣ чаю. Черезъ минуту оба бородача говорили между собою, какъ старые знакомые, въ то время какъ остальные проѣзжіе разсма-тривали другъ друга, какъ иностранцы.

— Что, батюшка, изъ Москвы или изъ Питера? спросилъ пе-тербургскій купецъ юношу съ патриархальнымъ видомъ.

— Да—отвѣчалъ молодой человѣкъ, которому смерть хотѣлось выдать себя за юнкера; онъ съ этой цѣлью безпрестанно кру-тилъ слабые и пушистые намеки на будущіе усы,—мы ѣдемъ въ Петербургъ.

— Изволили прежде въ Питерѣ бывать?

— Да, какъ-же! отвѣчалъ молодой человѣкъ, покраснѣвшій до ушей: юная совѣсть угрызала его за то, что онъ еще не былъ въ Петербургѣ, и за то, что солгалъ.

Господинъ въ архалукѣ возвратился съ лицомъ, украшеннымъ каплями воды, и съ полотенцемъ въ рукѣ:

— Трубку! да скажи моему человѣку, чтобъ мой чубукъ принесли, не могу курить изъ вашихъ. А гдѣ-же чай?

— Готовъ, сказалъ трактирщикъ, возымѣвшій особенное ува-женіе къ человѣку въ архалукѣ, и указалъ ему на столъ возлѣ господина въ пальто. Господинъ въ архалукѣ бросилъ сахаръ въ стаканъ и слѣдующій вопросъ въ сосѣда:

— Вы изъ Петербурга изволите?

— Изъ Петербурга, отвѣчалъ тотъ съ гордымъ видомъ.

— Что дорога?

— Очень хороша.

— Слава Богу! а то что-то кости сказываются, лѣта..... Бы-вало, я по этой дорогѣ на тройкѣ, на перекладной, для двухъ, трехъ баловъ московскихъ за какимъ-нибудь вздоромъ лечу... да еще хорошо зимой, а осенью, шоссе не было, по фашиннику дую, и горя мало. Шоссе-то не было, да здоровье было. Вотъ скоро восемь лѣтъ, какъ не былъ въ Петербургѣ, да и нынче-бы не по-

ѣхалъ. Семейная дѣла, племянница выходитъ замужъ, пишетъ: дядюшка, пріѣзжай, да, дядюшка, пріѣзжай,—хоть по правдѣ они бы и безъ меня обдѣлали это дѣло; ну, да какъ не потѣшить дѣвку; она же послѣ покойнаго отца своего воспитывалась у меня въ домѣ, своихъ дѣтей нѣтъ.—Поддай лимону. А позвольте спросить, изволите служить?

— Служу..... сказалъ петербуржець.

— При министрѣ? спросилъ дядюшка своей племянницы.

— При министрѣ, сказалъ петербуржець.

— По особымъ порученіямъ?

— Да, то есть при самой особѣ министра: знаете—при самой особѣ... У насъ есть эдакъ нѣсколько...

— Вы, можетъ, видали мою племянницу, коли живете постоянно въ Петербургѣ. Княжна Анна С.

— Какъ-же съ! кто же изъ бывавшихъ въ обществѣ не знаетъ княжны?.. отвѣчалъ петербуржець, нѣсколько сконфуженный и очень смягченный аристократической фамиліей княжны.

— Очень радъ! Такъ вы знакомы съ Алиной?

— То есть, извольте видѣть, я не смѣю такъ сказать: я никогда не имѣлъ чести быть представленъ княжнѣ; гдѣ-же ей вспомнить въ толпѣ черныхъ фраковъ..... Я ее только встрѣчалъ на вечерахъ у нашего министра, у графини Z.... имѣлъ случай сказать нѣсколько словъ, танцовать. Знакомство салона, знакомство паркета, забытое на слѣдующій день.

— Это для меня новость: я и не зналъ, что Алина знакома съ графиней Z...

Петербуржець молчалъ, но видно было, что внутри его совершается что-то не совсѣмъ пріятное; онъ раздавилъ сигару и прочистилъ голосъ, для того, чтобъ ничего не сказать, а сосѣдь его предобродушно посмотрѣлъ на него и сталъ наливать второй стаканъ чаю.

— Позвольте спросить вашу фамилію?

— Чандр—нъ, произнесъ скороговоркой господинъ въ пальто.

— Какъ-съ?

— Чандрыкинъ-съ, повторилъ господинъ въ пальто съ примѣтнымъ волненіемъ.

— Никогда не слыхалъ... никогда... не случилось.

Между тѣмъ помѣщикъ до того московскій, что ѣхалъ изъ Тулы, пришелъ въ себя и, сдѣлавши три, четыре вовсе излишнія исправительныя замѣчанія своему человѣку, возымѣлъ непреодолимое желаніе вступить въ разговоръ, и для этого вынулъ золотую табакерку въ родѣ аттестата и непреложнаго права на участіе въ обществѣ, понюхалъ изъ нея и обратился къ петербуржцу, который внутри проклиналъ отца и мать, что они пустили

его на свѣтъ съ такой немзыкальной фамильей, да еще съ такой, которую не случилось слышать дядѣ княжны Алины.

— А позволите спросить, спросилъ нѣсколько въ носъ помѣщикъ, каковъ у васъ хлѣбъ нынѣшній годъ?

— Превосходный, отвѣчалъ чиновникъ.

— Давай Богъ, давай Богъ, а у насъ червь много попортилъ.

— Надобно правду сказать, что хлѣбъ сталъ лучше и больше съ тѣхъ поръ, какъ учрежденъ порядокъ по этой части.

— У насъ, нечего грѣха таить, плохъ, вотъ ужъ который годъ, продолжалъ помѣщикъ, не замѣтившій, что г. Чандрыкинъ говоритъ о печеномъ хлѣбѣ. Доходы бѣдные, а расходы такъ-таки ежегодно и увеличиваются; а тутъ, какъ на смѣхъ, тащисъ полторы тысячи верстъ.... Тяжебное дѣло, да вотъ сынишку въ полкъ опредѣлить.

— А гдѣ у васъ дѣло?

— Въ—мъ департаментѣ.

— Въ—мъ? Я очень знаюмъ съ оберъ-прокуроромъ—прекраснѣйшій человекъ! замѣтилъ чиновникъ, начавшій забывать княжну Алину,—такъ натура бываетъ сильна.

Помѣщикъ глубоко вздохнулъ.

— Охъ! ужъ лучше-бъ вы не говорили; а то, ей Богу, такъ вотъ и подмываетъ попросить письмоце, такъ бы нѣсколько строгое, да не смѣю и просить; я, конечно, не имѣю никакихъ правъ на ваше благорасположеніе.... а знакомыхъ нѣтъ почти никого; безъ рекомендаціи куда сунешся, сами изволите знать...

При этомъ помѣщикъ придалъ невѣроятно жалкое и подобострастное выраженіе своему лицу—выраженіе, вѣроятно, рѣдко видѣнное на гумнѣ и въ усадьбѣ.

— Мнѣ очень жаль, но другое дѣло, если-бъ я былъ самъ въ Петербургѣ, я бы могъ переговорить; ну, а писать письмо,—это не водится между нами. Впрочемъ, г. Z. такой прекраснѣйшій человекъ, къ которому не нужны рекомендаціи; если ваше дѣло право,—ступайте смѣло, прямо... и вы увидите.

— Мое дѣло-съ.... ясно какъ день (пословица, выдуманная не въ Новгородской губерніи и вообще не въ этомъ краю: день въ тотъ день, какъ почти во всѣ прочіе, былъ туманный). Вотъ, извольте видѣть, въ 1818 году умеръ у меня дядя... человекъ былъ солидный, извѣстный.... Ну, а духовную написалъ такую, что вотъ до сихъ поръ процессъ длится у меня съ сестрами.... Я не умѣю ясно изложить вамъ обстоятельства дѣла... позволите мнѣ прочесть послѣднюю апелляціонную жалобу... Эй, Никитка, подай изъ кареты несессерь!

— Сдѣлайте одолженіе, сказалъ чиновникъ, нѣсколько успокоившійся отъ кондукторской трубы,—онъ очень хорошо предви-

дѣлъ, что Никитка не успѣеть принести несессера, какъ ихъ уже позовутъ... такъ и случилось.

— Господа почтовой кареты и брика! возвѣстилъ кондукторъ.

— Идемъ, идемъ! раздалось съ трехъ мѣстъ. Чиновникъ поспѣшно вскочилъ и, сказавши: «очень жаль!» помѣщику и «bon voyage, messieurs!» остающимся, побѣжалъ въ карету, напѣвая Карлушу изъ «Булочной». Вѣроятно разговоръ о хлѣбѣ напомнилъ ему эти куплеты, пѣніемъ которыхъ онъ засвидѣтельствовалъ о своихъ усердныхъ посѣщеніяхъ Александринскаго театра.

Не проѣхала почтовая карета версты, какъ Никитка подалъ помѣщику несессеръ.

— Ты-бы, дуракъ, завтра принесть, экой увалень. Вы не можете себѣ представить, сколько онъ во мнѣ крови портить: дома пойдеть размазня обѣдать... часъ жди, посылай другого въ людскую, чтобы гналъ оттуда осла. И, что у него на умѣ, не понимаю? Сытъ, одѣтъ, женилъ дурака въ прошломъ году, — все не помогаетъ. Ну, что ты надо мной сдѣлалъ? Два часа копался?... Долго-ли взять, да и принесть?... Неси назадъ несессеръ.

— А вы и повѣрили этому фертику? сказалъ господинъ въ архалукѣ; все вретъ!... Малый, спроси у моего человѣка рому къ чаю.

— Дилижансъ готовъ, доложилъ кондукторъ.

— Да мы-то, братецъ, не готовы, возразилъ господинъ въ архалукѣ.

— Помилуйте! на всякой станціи теряемъ время.

— Что ты ко мнѣ присталъ? Видишь, никто не допилъ чая. Я оттого и не побѣжалъ въ почтовой каретѣ: не дадутъ ногъ распрямить.

— И я еще не кончилъ чай, замѣтилъ помѣщикъ.

Купецъ, разумѣется, тоже не кончилъ; но такъ какъ его никто не спрашивалъ, онъ ничего и не сказалъ, а оберъ полотенцемъ ротъ, да и сталъ изъ большого чайника подливать кипятокъ въ маленькій.

Въ это время взошелъ ящикъ, спрашивая:

— Кому шину варили?

— Мнѣ, отвѣчалъ я.

— Пожалуй, что готова, и лошадей закладамъ... да ужъ на чаекъ-то, баринъ: отъ кузницы какъ бѣжалъ—уморился, чтобъ вашей-то милости поскорѣе сказать.

Я началъ собираться, собрался и уѣхалъ прежде, нежели москвичи кончили чай.

II.

Ръзкая противоположность пассажиров почтовой кареты съ жителями дилижанса, поневолѣ, настроила меня на рядъ летучихъ мыслей о Москвѣ и о Петербургѣ. Говорить о сходствахъ и несходствахъ Москвы и Петербурга сдѣлалось пошло, потому что объ этомъ чрезвычайно много говорили умнаго; оно, сверхъ того, сдѣлалось скучно, потому что еще болѣе объ этомъ говорили пошлаго. А я все-таки имѣю смѣлость передать нѣсколько замѣтокъ изъ цѣлой вереницы ихъ, занимавшей меня непрерывно отъ Едрова до Торжка, гдѣ я такъ занялся котлетами, что на время забылъ *la grande question*.

Какъ не быть различіямъ между Москвой и Петербургомъ? Разное происхожденіе, разное воспитаніе, разное значеніе, разное прохождение службы... Петербургъ родился въ 1703 году послѣ Р. Х. Конечно, человѣкъ такого возраста былъ бы очень не молодъ, ну а городъ 144 лѣтъ просто *jeune premier*. Москва скоро перейдетъ въ восьмую сотню, она такъ стара, что лѣта свои (какъ геологическіе перевороты) вела отъ сотворенія міра, что было очень давно. Москва цвѣла отъ татаръ до Кошихинскаго времени. Петръ I опустилъ паруса ея, видя, что по этому прекрасному пути далѣе идти некуда: Петербургу Петръ I поднялъ паруса и онъ идетъ впередъ до нынѣшняго дня. Москва лѣтъ пятьсотъ кряду отстроивалась и все ничего не вышло, кромѣ Кремля, а если что вышло, то послѣ французовъ; Петербургъ выстроился лѣтъ въ пятьдесятъ съ громадностію, о которой Москвѣ не снилось. Москва почти вся сгорѣла въ 1812 году; Петербургъ чуть не утонулъ въ 1824 году. Совершенно разный характеръ: въ Петербургѣ русское начало перерабатывается въ европейское, въ Москвѣ—европейское начало въ русское... Но, несмотря на это различіе, они не ссорятся; антагонизмъ между Москвой и Петербургомъ чистѣйшій вымыселъ; его нѣтъ: это болѣзнь нѣсколькихъ воображеній, фактъ исключительный. Я самъ видалъ людей, которые думаютъ, что всякое доброе слово о Петербургѣ—оскорбленіе Москвѣ. Они думаютъ, если вы похвалите калачъ московскій—это значить, что вы браните невскую воду. Просто страхъ беретъ что-нибудь сказать при нихъ; молвишь, что то-то не очень хорошо на Невскомъ, а тебя тотчасъ обвиняютъ, что ты находишь все прекраснымъ въ Москвѣ. Это напоминаетъ ту милую и наивную эпоху критики, когда доброе слово о Шиллерѣ сопровождалось проклятіями Гёте и наоборотъ. Гёте, возмущенный однажды глубокомысліемъ подобныхъ сужденій, скромно замѣтилъ Эккерману: «Вмѣсто того, чтобъ благодарить судьбу за

то, что она дала имъ насъ обоихъ, они хотятъ непременно пожертвовать одного другому». Что за необходимость порицать Москву? Будто нѣтъ тамъ и тутъ хорошаго, не говоря ужъ о дурномъ? Будто грудь человѣка такъ узка, что она не можетъ съ восторгомъ остановиться передъ удивительной панорамой Замо-скворѣчья, стелящагося у ногъ Кремля, если она когда-нибудь высоко поднималась, глядя на Неву, съ ея гранитными берегами, съ дворцами стоящими надъ водами ея?

Къ тому же, если съ точки зрѣнія различій легко указать рѣзкія противоположности, то не надобно забывать, что много Москвы въ Петербургѣ, и что много Петербурга въ Москвѣ. Петербургъ не оставилъ Москвы въ покоѣ послѣдніе сто лѣтъ; у нея, кромѣ нѣсколькихъ старыхъ зданій, кромѣ историческихъ воспоминаній, ничего не осталось прежняго. Съ своей стороны, Москва и околныя ея губерніи, переѣзжая въ Петербургъ, привезли съ собою *самихъ себя*, и отчего-же имъ было вдругъ утратить свою особенность? Странная была бы національность наша, если бы достаточно было проѣхать семьсотъ верстъ, чтобъ сдѣлаться другимъ человѣкомъ—иностранцемъ. Конечно, весь образъ современной жизни, всѣ удобства цивилизаціи, и великій московскій университетъ, и знаменитый англійскій клубъ, и дворянское собраніе, и Тверской бульваръ, и Кузнецкій Мостъ—все это принадлежитъ не Кошихинскимъ временамъ, а вліянію петербургской эпохи. «Можетъ быть, Москва безъ петербургскаго вліянія развилась бы еще лучше». Можетъ быть... такъ какъ не токмо можетъ быть, но весьма вѣроятно, если-бъ царь Иванъ Васильевичъ вмѣсто Казани взялъ Лиссабонъ, то въ Португаліи было бы теперь что-нибудь другое; только это ни къ чему не ведетъ. Не то важно въ исторіи чего не было, а то, что было. А было то, что въ послѣдній вѣкъ Москва состояла подъ вліяніемъ Петербурга и сама многое доставляла ему; онъ вызвалъ наружу ея сильную производительность; непрерывный обмѣнъ, непрерывное сношеніе поддерживали живую связь обоихъ городовъ. Въ иныхъ случаяхъ перевезенное совершенно усвоивалось, въ другихъ особенности еще сильнѣе развились на иной почвѣ, такъ что можно изучать Петербургъ въ Москвѣ и Москву въ Петербургѣ.

Отъ Петра I до Наполеона Москва жила тихо, незамѣтно; на Петербургъ она не косилась, особенно послѣ первыхъ непріятностей *genue-ménage* и негодующаго удивленія, что часть ея переехала на Неву-рѣку съ Москвы-рѣки, что другая часть, вмѣсто красивой бороды, показала голый подбородокъ, вмѣсто русыхъ волосъ—пудренныя пукли. Случалось ей хмурить брови, обижаться всѣми нововведеніями, но соперничать ей въ голову не прихо-

дило; она поняла, что время сильных преслѣдованій не только за употребленіе телятины, но даже табака, прошло...

И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфирородная вдова.

Москва помнила, быть можетъ, что и она въ свою очередь была Петербургомъ, что и она нѣкогда была новымъ городомъ, надменно поднявшимъ свою голову надъ старыми городами, опираясь на слабость ихъ и на ордынскую поддержку. Старые города обидѣлись: они хотѣли высокомерно не знать Москвы... Но она шла своимъ путемъ. «Посмотримъ, посмотримъ! говорили старые города: что-то она сдѣлаетъ съ Тверью, какъ-то совладаетъ съ Псковомъ, какъ-то сладитъ съ Новымъ-городомъ!» Посмотрѣли, увидѣли какъ, да и склонились. Между Москвой и Петербургомъ ничего подобнаго не было. Петербургъ, какъ едукваннѣйшій юноша, афишировалъ респектъ и атенцію Москвѣ, окружалъ ее знакомъ величайшаго вниманія; а она, какъ добрая русская помѣщица, готовая всѣхъ угостить и послать всякіе гостинцы, любила иногда пожурить Петербургъ, такъ, какъ бабушки журятъ внучатъ-юнкеровъ, пріѣзжающихъ въ отпускъ, за чѣмъ трубку курятъ и постныхъ дней не соблюдаютъ... Но пожуривши, Москва отправляла въ Петербургъ свое молодое поколѣніе служить въ гвардію, окружать дворъ, даже литераторы перебирались туда писать и вдохновляться; сердечная связь у этихъ переселенцевъ съ Москвою нисколько не перерывалась: при всякой невзгодѣ, при усталости и грусти вспоминалась родная столица. Маститые вельможи и государственные люди пріѣзжали въ Москву отдыхать, провести остатокъ дней своихъ въ величавомъ покоѣ, повѣствуя жизнь свою и прислушиваясь издали къ быстро несущимся событіямъ не-петербургской жизни.

Такъ вихорь дѣлъ забывъ для музъ и нѣги праздной.
Въ тѣни порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ,
Вельможи римскіе встрѣчали свой закатъ;
И къ нимъ издалика то воинъ, то ораторъ,
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.

Среди этихъ мирныхъ и дружныхъ отношеній, наступилъ 1812 годъ. Не знаю, былъ ли Наполеонъ ученикъ Пинетти или Калиостро, но онъ былъ величайшій фокусникъ въ мірѣ. Онъ сдѣлалъ сперва изъ г. Мортъе тревизскаго герцога, а потомъ сдѣлалъ тревизскаго герцога московскимъ военнымъ генераль-губер-

наторомъ, а маршала Нея просто московскимъ княземъ. Москва попала съ ореографической ошибкой въ бюллетени великой арміи. Наполеонъ переѣхалъ изъ Тюльери въ Кремлевскій дворецъ. Вся Русь, задерживая дыханіе, устремила свое вниманіе на Москву, вся Европа ее вспомнила въ первый разъ послѣ Маржерета, Поссевина, Флетчера и другихъ. Вліяніе ея, утраченное цѣлымъ вѣкомъ, вполнѣ возстановилось нѣсколькими днями великаго пожара. Въ добровольномъ несчастіи Москвы было что-то захватывающее душу; она сдѣлалась интересна съ своими обгорѣлыми домами, она взшла въ моду съ своими улицами, на которыхъ стояли однѣ черныя трубы, однѣ задымленные стѣны. Эта горестная година миновала Петербургъ; князь Витгенштейнъ не пустилъ къ нему непріятели; спокойствіе его не было возмущено ни на одинъ день. Все это прекрасно, все это славу Богу, но не имѣетъ интереса, моды всего болѣе интересуются несчастіями. Разказы о Москвѣ носились по всему свѣту. Нѣтъ человѣка не только въ Калифорніи и Полинезіи, но въ южной Италіи, гдѣ ничего не знаютъ, который бы не слыхалъ о томъ, какъ дивно, какъ громадно, какъ удивительно, какъ быстро обстроилась Москва. Келейно можно сказать, слухи эти не безъ увеличенія, не то, чтобъ въ самомъ дѣлѣ обстройка эта была такъ сказочно хороша, дома обклеены колоннами, фронтонами съ страшными претензіями, каждый стоитъ на свой салтыкъ, огороженный какимъ-то уродливымъ заборомъ. И что-же Москва была прежде, если была гораздо хуже? Это—тайна, которую она запечатлѣла великимъ пожаромъ. Оставимъ ее подъ историческими углями.

Послѣ 1812 г. уваженіе къ Москвѣ было безусловно: вся Русь, весь Петербургъ брали въ ней живѣйшее участіе; костеръ, зажженный собственными руками, поразилъ своей героической рѣшительностью всѣ уцѣлѣвшіе города. Войска возвращались, осыпанные крестами и медалями, офицеры лѣзли въ Москву отдохнуть съ родными, вспомнить семейную жизнь, которая также хороша послѣ лагеря, какъ лагерь хорошъ послѣ семейной жизни; нигдѣ не было и тѣни соперничества, вражды, никто не предполагалъ, не предвидѣлъ, что въ это время торжество и мира зарождалась въ тиши та высокая и мощная теорія, которой назначено было явиться грознымъ Маякомъ. Шагъ, сдѣланный ею для нашего развитія, необъятенъ. Что значитъ въ самомъ дѣлѣ передъ нею весь рядъ побѣдъ 1812 и 13 годовъ, переходъ по Европѣ, русскіе гвардейцы на бивакахъ передъ Тюльерійскимъ дворцомъ? Кѣмъ сдѣланы эти побѣды? Людьюми, любившими европейское образованіе, любившими Парижъ и французовъ, любившими говорить по-французски, людьюми, которые чрезвычайно удивились бы, услышавъ о томъ, что истинный русскій долженъ ненавидѣть

нѣмца, презирать француза, что патриотизмъ состоитъ не столько изъ любви къ отечеству, сколько изъ ненависти ко всѣму, внѣ отечества находящемуся, и тому подобныя правила любви и братства. Храбрые войны, актеры великой эпохи, думали, что достаточно грудью стать противъ непріятеля и мужественно отразить его; они не знали, что, сверхъ того, необходимо день и ночь у себя въ комнатѣ бранить нѣмцевъ и гніющую цивилизацію Европы; эти войны мечтали, что они съ пріобрѣтеніемъ образованія не утратили достоинства русскаго. Какой предрассудокъ! Оттого-то они и уменьшили славу своихъ побѣдъ кротостью, съ которой они обращались съ побѣжденными. Но извинимъ ихъ, тогда еще не были брошены въ судьбы всемірной исторіи изслѣдованія о происхожденіи Руси, тогда пѣлъ суетный Пушкинъ, который въ своей поэтической распушенности бросилъ по нѣскольку стиховъ Петербургу и Москвѣ, въ которыхъ оба города дивно отразились, но зачѣмъ-же не одинъ?

Довольно впрочемъ о важныхъ матеріалахъ; займитесь лучше маленькими различіями петербургскихъ и московскихъ нравовъ,—это гораздо веселѣе и не такъ сильно потрясаетъ нервы, какъ маячныя теоріи. Въ Москвѣ все шло медленно, въ Петербургѣ все шло черезъ пень колоду: оттого житель Петербурга привыкъ къ дѣятельности, онъ хлопочетъ, онъ домогается, ему некогда, онъ занятъ, онъ разсѣянъ, онъ озабоченъ, онъ опоздалъ, ему пора!... Житель Москвы привыкъ къ бездѣйствію: ему досужно, онъ еще погодить, ему еще хочется спать, онъ на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности; сегодня не поспѣетъ, завтра будетъ, а и завтра не послѣдній день.—Москвичъ только живетъ и насилу можетъ отдохнуть послѣ обѣда, петербуржецъ и не живетъ за суетой суетствій, и такъ мало обѣдаетъ, что даже ночью не стоитъ отдыхать. У петербуржца цѣли часто ограниченныя, не всегда безусловно чистыя; но онъ ихъ достигаетъ, онъ всѣ силы свои устремляетъ къ одной цѣли: это чрезвычайно воспитываетъ способность труда, гибкость ума, настойчивость; москвичъ—почти всегда благороднѣйшій въ душѣ, ничего не достигаетъ, потому что и цѣли не имѣетъ, а живетъ въ свое удовольствіе и въ горестъ лошадямъ, на которыхъ безъ нужды ѣздитъ съ Разгуляя на Дѣвичье поле. Москвичъ, какъ бы ни былъ занятъ, скроетъ это и будетъ отъ души радъ, что ему помѣшали; петербуржецъ, какъ бы ни былъ свободенъ отъ дѣлъ, никогда не признается въ этомъ. Въ Петербургѣ на каждомъ шагу встрѣтите представителей всѣхъ военныхъ чиновъ и четырнадцати соотвѣтствующихъ классовъ статской службы; въ Москвѣ—отставныхъ изъ всѣхъ чиновъ военной и статской службы; изъ военной—знаменитыхъ людей венгерокъ и усовъ, трубокъ и картъ; изъ статскихъ—вѣчныхъ обѣ-

дателей англійскаго клуба, людей золотыхъ табакерокъ и картъ. Ихъ почти совсѣмъ не найдешь въ Петербургѣ, зато я и въ Петербургѣ между львами, тиграми и прочими злокачественными знаменитостями встрѣчалъ такихъ людей, которые ни на какого звѣря, даже на человѣка, не похожи, а въ Петербургѣ дома какъ рыба въ водѣ. Московскіе писатели ничего не пишутъ, мало читаютъ и очень много говорятъ; петербургскіе ничего не читаютъ, мало говорятъ и очень много пишутъ. Московскіе чиновники заходятъ всякій день (кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней) на службу; петербургскіе заходятъ всякій день со службы домой; они даже въ праздничный день, хоть на минуту, а заглянуть въ департаментъ. Въ Петербургѣ того и смотри умрешь на полдорогѣ, въ Москвѣ изъ ума выживешь; въ Петербургѣ исхудашь, въ Москвѣ растолстѣешь: совершенно противоположное міросозерцаніе.

Москвичъ любить отъ души Москву, нигдѣ не можетъ жить какъ въ Москвѣ, ему неловко въ Петербургѣ, онъ всюду опаздываетъ, онъ чувствуетъ себя тамъ не дома: и квартиры тѣсны, и лѣстницы высоки, и обѣдаютъ поздно, и Кремля нѣтъ, и икра паюсная хуже..... Но, возвратясь въ Москву, онъ начинаетъ хвастать Петербургомъ, онъ показываетъ въ образецъ фракъ, сшитый на Невскомъ, подражаетъ петербургскимъ модамъ, приказываетъ людямъ изъ домашняго сукна шить штіблеты съ оловянными пуговками, привозитъ бездну ненужныхъ вещей, сдѣланныхъ въ Москвѣ, и увѣряетъ, что такихъ въ Москвѣ ни за какія деньги не найдешь. Петербуржецъ—не такъ сильно страдаетъ тоскою по родинѣ: онъ вообще привыкъ себя считать выше тоски; но въ Москвѣ на все смотритъ свысока; на низкіе дома, на тусклые фонари, на узкіе тротуары и ни за что въ свѣтѣ не сознается, что въ «Дрезденѣ» нумера лучше, нежели въ петербургскихъ гостиницахъ, и что у Шевалье можно обѣдать не хуже чѣмъ у Леграна и Сень-Жоржа. Ему смерть не хочется ѣхать въ Петербургъ, но онъ показываетъ видъ, что стремится вырваться изъ провинціального города, такъ, какъ москвичъ показываетъ изъ себя отчаяннѣйшаго петербуржца и большого любителя петербургскихъ нравовъ. Воротившись, петербуржецъ карабкается на свой четвертый этажъ и, отдыхая среди запаха кухни въ маленькой лагугѣ, смѣется надъ московскимъ просторомъ.

Вообще я слышалъ отъ многихъ, что Петербургу вмѣняютъ въ достоинство эти сплошные дома о пятистахъ окнахъ, а Москвѣ вмѣняютъ въ недостатокъ, что дома ея удобнѣе, что никто тамъ другъ другу не мѣшаетъ, что московская постройка способуетъ чистотѣ воздуха. Я ужасно люблю старинные московскіе

дома, окруженные полями, лѣсами, озерами, парками, скверами, саваннами, пустынями и степями, по которымъ едва протоптаны дорожки отъ дома къ погребу, и на которыхъ, если не найдете дворника, то зато встрѣтите стадо дикихъ собакъ. Замѣчательно, что въ Москвѣ домъ окруженъ дворомъ, а въ Петербургѣ дворъ—домомъ: это имѣетъ тоже свою прелесть. . . Мнѣ часто приходило въ голову, если-бъ въ Петербургѣ случилась теплая погода и свѣтило бы солнце, какую прекрасную тѣнь можно-бъ было находить на дворѣ!..... Но возвратимся отъ домовъ опять къ людямъ. Въ Петербургѣ ужасно любить роскошь, но терпѣть не могутъ ничего лишняго; въ Москвѣ только лишнее и считается роскошью; оттого въ Москвѣ почти у каждого дома колонны, а въ Петербургѣ ни у одного; оттого петербургское гостеприимство стремится изящнымъ образомъ насытить вашъ голодъ и вашу жажду и на этомъ останавливается, а московское только тутъ и начинается, оно молчитъ, пока вамъ хочется пить и ѣсть, и начинаетъ свое преслѣдованіе, когда видитъ, что вамъ невозможно ни пить, ни ѣсть. Потому же у каждого московскаго барина множество слугъ въ передней, дурно одѣтыхъ и болѣе приученныхъ къ отъѣзжему полю, нежели къ мирнымъ комнатамъ, а въ Петербургѣ одинъ слуга, много двое, чисто одѣтыхъ и ловкихъ, но не умѣющихъ травить гончими,—что и не очень нужно за порядочнымъ ужиномъ, гдѣ даже и жареныхъ зайцевъ не подаютъ. Москвичъ непременно закладываетъ четыре лошади въ карету—не для легкости и скорости, а изъ уваженія къ собственному достоинству; петербуржецъ катится въ маленькой колясочкѣ вдвое быстрѣе москвича. Москвичъ любитъ внѣшніе знаки отличія и церемоніи, петербуржецъ предпочитаетъ мѣста и матеріальныя выгоды; москвичъ любитъ аристократическія связи, петербуржецъ—связи съ должностными людьми. Въ Москвѣ до сихъ поръ всякаго иностранца принимаютъ за великаго человѣка, въ Петербургѣ каждого великаго человѣка за иностранца: тамъ долго никто не вѣрилъ, что Брюловъ русскій. Другихъ иностранцевъ собственно въ Петербургѣ и нѣтъ; тамъ такъ много иностранцевъ, что они сдѣлались туземцами. Одна изъ отличительныхъ чертъ Петербурга отъ прочихъ новыхъ городовъ всей Европы состоитъ въ томъ, что онъ на всѣ похожъ, тогда какъ Москва ни на какой не похожа—ни въ Европѣ, ни въ Азін...

— Неужели это Торжокъ? спросилъ я, перерывая глубоко-мысленныя разсужденія о Москвѣ и Петербургѣ.

— Пожалуй что и Торжокъ, отвѣчалъ ямщикъ.

— Ступай къ большой гостиницѣ—направо-то.

— Знаемъ, знаемъ! отвѣчалъ нѣсколько пикированный ямщикъ.

Ноябрь, 1846 года.

Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.

(„Современникъ“, 1847).

NOBLESSE OBLIGE!

Западная поговорка.

Il me serait bien difficile de te faire sentir ce que c'est (le point d'honneur), car nous n'en avons point précisément l'idée.

Usbeck à Ibben.

(Восточныя письма Монтескьё).

Часто споры бываютъ поводомъ къ поединку; недавно случилось противоположное: какой-то поединокъ подалъ поводъ къ безконечнымъ спорамъ. Одни горячо защищали поединки, другіе предавали ихъ проклятію. «Дерзкое самоуправство» — говорили одни. «Но кто-же лучше меня самого управится въ собственномъ дѣлѣ?» отвѣчали другіе. — «Убійство» — говорили одни. — «Война» — отвѣчали другіе. Между этими противоположными возрѣніями образовалась благоразумная середина, которая находила, что теоретически оправдать дуэль такъ же невозможно, какъ практически избѣжать ея, основываясь на премудромъ правилѣ, что «такъ должно быть» противоположно съ «тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ». Разумѣется, что всѣ эти споры кончились, какъ всегда, совершеннымъ затемнѣніемъ вопроса и ожесточенной упорностью каждаго въ своихъ мнѣніяхъ. Главный порицатель дуэлей до того разгорячился, что чуть не вызвалъ рыцарственного защитника ихъ.

Возвратившись домой послѣ горячаго пренія и вспоминая на досугѣ все слышанное и говоренное, я увидѣлъ, что вопросъ этотъ несравненно глубже и сложнѣе и что его не разрѣшишь ни панегирикомъ, ни порицаніемъ.

Новое законодательство всѣхъ европейскихъ государствъ осудило поединки, поставило ихъ почти рядомъ съ убійствомъ, но поединки не искоренились. Несмотря на запрещенія Густава Адольфа, дрались подъ висѣлицей; несмотря на мѣры Ришелье, дрались передъ плахой. Судьи, твердые и велицепріятные во всѣхъ случаяхъ, бываютъ снисходительны къ дуэлистамъ, общественное мнѣніе за нихъ; человѣкъ, защитившій честь свою поединкомъ, уважается. Всѣ мыслящіе люди отказываютъ не только отдѣльному лицу, но и цѣлому обществу въ правѣ убійства, и большая часть утверждаетъ, что дуэль—неизбѣжное зло, единое возможное огражденіе неприкосновенности лица отъ оскорбленія. Такое противорѣчіе законодательства съ общественнымъ мнѣніемъ, практическаго приложенія съ теоретическимъ понятіемъ, прямо ведетъ къ вопросу,—на какомъ основаніи держится поединокъ въ образованнѣйшихъ странахъ Европы?

Много было писано о поединкахъ, начиная съ Брантома, но ихъ разсматривали такъ, какъ наши милые спорщики, съ произвольныхъ точекъ зрѣнія и подъ вліяніемъ незыблемыхъ предразсудковъ или готовыхъ понятій. Бранили поединки на основаніи неприлагаемой, мечтательной морали и, вмѣсто обсуживанія дѣла, высказывали холодныя риторическія фразы о смиренномъ прощеніи, бранили ихъ на основаніи юридическомъ, которое требуетъ, чтобъ дѣло обиды было рѣшено не обиженнымъ, а судьей: осуждали ихъ съ точки зрѣнія римскаго права, не отстранивъ предварительно феодальнаго понятія о личности, твердо стоящей за свои права. Вопросъ о томъ, почему римское понятіе о государствѣ единственно истинно, и почему феодальное понятіе о личности, о ея наслѣдственныхъ, семейныхъ и политическихъ правахъ, развитое средними вѣками, неизмѣнно, не былъ рѣшаемъ даже въ такое время, которое, повидимому, отрекалось отъ всего феодальнаго, во время переворотовъ. Лучшее доказательство, что человѣкъ остался при своемъ прежнемъ понятіи о себѣ и о государствѣ. Современный человѣкъ думаетъ, что средніе вѣка далеко отъ него, а они въ немъ: онъ тотъ-же рыцарь, но переложенный на другіе нравы.

Не имѣя возможности, по многимъ причинамъ, предоставить историческую монографію о поединкахъ, я хотѣлъ сколько-нибудь способствовать уясненію вопроса, занимавшаго спорившихъ пріятелей, и съ этой цѣлью написалъ сжатый историческій очеркъ развитія чести, предоставляя имъ выводить послѣдствія, какія угодно. Я нигдѣ не защищаю дуэли и нигдѣ не браню ея.

Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщій историческій фактъ дѣло совершенно праздное, извиняемое только благороднымъ увлеченіемъ, въ силу котораго вырываются рѣчи негодо-

ванія или восторга. Довѣріе къ роду человѣческому требуетъ настолько уваженія къ вѣковымъ явленіямъ, чтобы, и отрѣшаясь отъ нихъ, не порицать ихъ: въ порицаніи много суетности и легкомыслія; дикіе съ честію хоронятъ умершихъ, а не ругаются надъ трупами. Кто бранится, тотъ не выше бранимаго: бранятся тамъ, гдѣ недостаетъ доказательствъ. И какая цѣль подобныхъ разглагольствованій? Исправленіе нравовъ развѣ? Я думаю, выросшаго человѣка мудро исправить педагогическими средствами и благороднымъ негодованіемъ, когда онъ плохо исправляется уголовными средствами и негодованіемъ палача. Достигайте, чтобы онъ понялъ истину: это будетъ вѣрнѣе; идти далѣе, хвалить или порицать показываетъ неуваженіе къ его смыслу. Сказать, что поединокъ зло, нелѣпость, преступленіе—легко и справедливо, но недостаточно; неужели же нѣтъ причинъ, почему это зло, эта нелѣпость сохранилась до сихъ поръ? Если же, вмѣсто порицанія и односторонняго сужденія, мы разберемъ и внутреннюю сторону предмета, тогда мы узнаемъ общія основанія, на которыхъ опирался поединокъ, и легко, можетъ быть, найдемъ связь его съ другими явленіями, ихъ круговую поруку; такой разборъ можетъ насъ привести, въ свою очередь, какъ бы въ вознагражденіе за то, что мы узнали историческое основаніе факта, отвергаемаго нами,—къ раскрытію неразумности фактовъ, незыблемо признаваемыхъ нами; *et c'est autant de pris sur le diable*, какъ говорятъ французы. Рѣзкость одностороннихъ сужденій на первую минуту ослѣпляетъ; въ нихъ больше характернаго, опредѣленнаго; но если взглянуть имъ прямо въ глаза, тощестъ ихъ тотчасъ открывается. «Всего рѣзче видятъ одну сторону, сказалъ Аристотель, тѣ, которые видятъ мало сторонъ».

I.

У человѣка, вмѣстѣ съ сознаніемъ, развивается потребность *ничто свое* спасти изъ вихря случайностей, поставить неприкосновеннымъ и святымъ, почтить себя уваженіемъ его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь въ длинный рядъ превращеній чтиваго, мы увидимъ, что основа ему ничто иное, какъ чувство собственнаго достоинства и стремленіе сохранить нравственную самобытность своей личности,—и то и другое сначала въ формахъ дѣтскихъ, потомъ отроческихъ, какъ во всякомъ человѣческомъ развитіи. Сначала это чувство выражается въ семейныхъ отношеніяхъ, въ фанатической привязанности къ роду, племени, обычаю, преданію, къ *своимъ* богамъ въ противоположность сосѣдскимъ. Потомъ оно является святоуважаемымъ *общимъ дѣломъ* (*res publica*); государство, городъ

поглощаетъ еще человѣка, но уже онъ силенъ своимъ гражданскимъ значеніемъ. Неудовлетворенный, однакожъ, общимъ дѣломъ, человѣкъ ищетъ свое дѣло, обращается внутрь себя, въ груди своей начинаетъ открывать нѣчто твердое и неизблемое, въ себѣ находитъ мѣрило своего достоинства и хладнокровно смотритъ на племя, на городъ, на государство: тогда быстро развивается въ немъ понятіе *чести и собственнаго достоинства*. Но это еще не все. Переносъ въ грудь свою свое чтимое, человѣкъ переноситъ его на истинную почву; но какова эта грудь? Можетъ быть, онъ понимаетъ себя не такимъ, какимъ онъ дѣйствительно есть,—ниже и выше, духовнѣе и животнѣе, затеряннымъ въ общинѣ или одинокимъ въ себѣ самомъ; наконецъ, можетъ быть, его грудь, въ которую онъ переноситъ кивотъ свой, не *его* грудь; можетъ быть, свободный отъ прежнихъ узъ, онъ перевязанъ новыми, а какимъ онъ себя понимаетъ, такъ понимаетъ онъ и свою честь. «Основа чести можетъ быть нравственна и необходима, можетъ быть случайна и бессмысленна», но всегда и вѣчно она есть «отраженіе человѣкомъ своей самобытности» ¹⁾, сообразно тому, какъ онъ ее понимаетъ, или, вѣрнѣе, какъ ее понимаетъ его эпоха.

Три великія эпохи жизни человѣчества представляютъ намъ тѣ три разныя пониманья человѣческаго достоинства, до которыхъ мы коснулись. Востокъ представляетъ низшую ступень древняго понятія о личности; она почти затеряна въ племени, въ царствѣ. Греко-римскій міръ съ своими гражданами—высшее его развитіе. Основа человѣческаго достоинства обоими была понята внѣ человѣка. Наконецъ, средніе вѣка обернули вопросъ: существеннымъ сдѣлалась личность, несущественнымъ — *res publica*. Самая эта исключительность указываетъ на необходимую односторонность послѣдствій. Жизнь общественная — такое-же естественное опредѣленіе человѣка, какъ достоинство его личности. Безъ сомнѣнія, личность—дѣйствительная вершина историческаго міра: къ ней все примыкаетъ, ею все живетъ. Все общее безъ личности—пустое отвлеченіе; но личность только и имѣетъ полную дѣйствительность по той мѣрѣ, по которой она въ обществѣ. Аристотель превосходно назвалъ человѣка — *«зоонъ политиконъ»*. Истинное понятіе о личности равно не можетъ опредѣлиться ни въ томъ случаѣ, когда личность будетъ пожертвована государству, какъ въ Римѣ, ни когда государство будетъ пожертвовано личности, какъ въ средніе вѣка. Одно разумное, сознательное сочетаніе личности и государства приведетъ къ истинному понятію о лицѣ вообще, а съ тѣмъ вмѣстѣ къ истинному понятію о чести. Сочетаніе это—труднѣйшая задача, поставленная современнымъ мы-

¹⁾ Hegel, Aesthetik. Т. II.

шлениемъ; передъ нею остановились, пораженные несостоятельностью разрѣшеній, самые смѣлые умы, самые отважные создатели общественного порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали. Мы не беремся дотрогиваться до нея, но думаемъ однако, что она не разрѣшена механическими опытами сочетать феодальную личность съ римскимъ понятіемъ государства; это одно перемирье, т. е. такое соединеніе враждебныхъ началъ, при которомъ каждый остается при своей неприязни, но, уступая вышнимъ обстоятельствамъ, не дерется, а протягиваетъ руку врагу. Конечно, жизнь, несмотря на всѣ ученія о политикѣ и о правѣ, дѣлаетъ свое дѣло, роется кротомъ и вездѣ прорывается къ свѣту; въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, иначе мы не дошли бы не только до рѣшеній, но и до положенія вопросовъ, а это дѣло важное; правильно понятый вопросъ — полъ-отвѣта. Однако нельзя не сознаться, что въ самой философіи права, въ самихъ утопіяхъ разныхъ толковъ господствуютъ одни отжившія или отживающія понятія о государствѣ и о личности. Впрочемъ, намъ не нужно разрѣшенія этой задачи, цѣль наша ограниченнѣе: мы имѣемъ только въ предметъ указать круговую поруку поединка съ пониманьемъ правъ личности, отъ восточной непосредственности до щепетильнаго *point d'honneur*'а французскаго дворянина.

II.

Людямъ надобно было все дѣтское довѣріе и всю беззаботность животнаго, всю настойчивость и упорность естественнаго побужденія, чтобы своими разрастающимися семьями обжить землю. Жизнь семьями обусловила возможность всего человѣческаго развитія. Конечно, семьи не оттого не расходились, что была при этомъ какая-нибудь мысль; разумъ еще дремалъ тогда у человѣка, и ему достаточно было той низшей степени разсудка, которая совпадаетъ съ самимъ органическимъ процессомъ, въ силу которой, напримѣръ, новорожденный ищетъ пищу ртомъ въ первый день своего рожденія. Люди жили семьями, руководствуясь тѣмъ-же инстинктомъ, которымъ руководствуются животныя породы, скитающіяся стадами, собирающіяся въ рои. Забытый и неизвѣстный трудъ дикаго человѣка былъ тягостенъ, онъ облегчался одною грубостью обреченнаго на этотъ трудъ. Вѣками и вѣками усилій приладился человѣкъ къ грозной, беспощадной средѣ и ее приладилъ къ себѣ: казалось, стихіи ежеминутно могутъ мощнымъ безстрастіемъ своимъ, непреодолимой силой уничтожить безслѣдно это слабое существо, и вѣроятно не одна тысяча легла, подавленная невнимательной природой, строго исполнявшей законы свои возлѣ нихъ; но это слабое су-

щество имѣло передъ окружавшей его природою большое преимущество—преимущество хитрости, уловокъ, которыми развитое животное достигаетъ своихъ цѣлей, а среда не имѣла ничего враждебнаго противъ его работы. Тысячи темныхъ и неизвѣстныхъ намъ поколѣній удобрили костями своими землю, прежде нежели сознание настолько развилось, что стало помнить свое бывшее, что это *бывшее* сдѣлалось достойно памяти, и тутъ, черезъ эти тысячелѣтїя, какимъ мы встрѣчаемъ человѣка? Онъ еще не можетъ придти въ себя, опомниться; онъ побѣдилъ, но съ робостью въ душѣ, но съ сознаниемъ силы природы и своего безсилїя; онъ еще съ ужасомъ смотрѣлъ на стихїи, подкладывая имъ злобныя мысли, повергался въ прахъ передъ ихъ грозной и враждебной мощью и просилъ пощады; дикая молитва его была воплемъ страха, въ которомъ еще не звучали титановскїя ноты Прометея.

Одинъ оплотъ, одинъ отдыхъ, одна надежда для человѣка была семья, племя, эта кучка, сросшаяся отъ единства интересовъ и единства опасностей, отстоявшая себя противъ стихїй, звѣрей и враговъ, начавшая хранить свое преданіе и свой обычай. Далекїй отъ сознанїя своей самобытности, человѣкъ поглощался племенемъ, семьею; все чтимое имъ было внѣ его. То были невѣдомыя силы природы, которымъ онъ началъ придавать человѣческія свойства въ уродливыхъ размѣрахъ, и патріархальныя отношенїя къ семьѣ, въ которой личность была ничтожна, а родъ неприкосновененъ, святъ. На этихъ-то началахъ развились колоссальныя азіатскїя монархіи. Въ самомъ высшемъ гражданскомъ развитїи своемъ, азіатецъ считалъ себя несовершеннолѣтнимъ сыномъ, рабомъ; понятїе раба его не унижало, скорѣе его унижило бы названїе *вольнаго* человѣка: ему бы показалось, что это слово значить — *бродяга, бездомовникъ, изгнанный* Измаиль, непринятый ни въ какое племя; и что-же онъ въ самомъ дѣлѣ одинъ? Но какъ бы то ни было, признавая себя рабомъ, несовершеннолѣтнимъ сыномъ, онъ не могъ развить въ себѣ понятїя о человѣческой личности; рабъ—вещь; истинная личность его въ господинѣ, котораго онъ членъ, органъ. Рабу трудно нанести оскорбленїе: онъ или не доросъ до того, чтобъ понять его, или перенесъ уже безусловное оскорбленїе утратою всѣхъ человѣческихъ правъ и примиренїемъ съ этой утратой. Однако могъ-ли восточный человѣкъ оставаться безъ всякаго понятїя о чести? Ни подъ какимъ видомъ. Это такъ же невозможно для человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ, какъ невозможно бы было себѣ представить дѣйствительное понятїе о достоинствѣ человѣка у азіатца. На Востокѣ не могли развиться поединки въ нашемъ смыслѣ; но тѣмъ страшнѣе и злобнѣе развилась месть, всего чаще не за собственную обиду, а за обиду семьи, обычая; въ Японїи оскорб-

ленный разрѣзываетъ свой животъ—новое доказательство, что у нихъ не развито ни тѣни истиннаго понятія о безконечномъ достоинствѣ человѣческомъ; японецъ не находитъ въ себѣ средства очищенія, онъ не находитъ того мѣста, которое выше обиды, которое примирится уничтоженіемъ оскорбителя: онъ можетъ смыть обиду только самоубійствомъ. Притомъ азіатцы мелочно раздражительны, у нихъ казуистика чести развилась не хуже средневѣковаго, новсеэтоодинъ пустой формализмъ, что-то условное; такъ, въ азіатскихъ царствахъ дошли до смѣшного внѣшніе знаки почести, учтивости, т. е. все негодное или, по крайней мѣрѣ, пустое, сопровождающее понятіе о личномъ достоинствѣ, безъ истиннаго смысла его. ¹⁾

Личность азіатскихъ властелиновъ ²⁾ была единая человѣческая личность на Востокѣ, и дѣйствительно одни они въ Азіи понимали честь и вступались за нее. Высоко поставленную личность ихъ было трудно оскорбить; рабами она обидѣться не могла: обида существуетъ собственно между личностями, признающими взаимныя права; цари могли оскорблять другъ друга, въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ царства дрались, опустошались: вотъ поединокъ Востока. Отсутствие сознанія личнаго достоинства, неотрѣшенность отъ физическихъ опредѣленій, несчастія, неразрывныя съ дѣтствомъ, погубили Азію. Взгляните на эти чудовищныя царства, возникающія съ притязаніемъ на покореніе вселенной и удивляющія сперва страшной силой, потомъ страшной слабостью: они сходятъ съ поприща исторіи, дряхлыя въ юности, или остаются въ жалкой дремотѣ: безъ нравственной личности нѣтъ движенія, прочности, развитія. Смутное понятіе чести выражалось у азіатца слѣпой преданностью семьѣ, племени, кастѣ. Помните-ли вы, какъ Ксерксъ подвергался опасности на морѣ, и кормчій объявилъ, что корабль грузенъ; царедворцы не задумались погибнуть для спасенія Ксеркса; медленно выходилъ каждый изъ рядовъ, приближался къ царю, склонялся передъ нимъ, потомъ твердыми шагами шелъ къ борту и кидался въ море. Это восточные Термопилы; царедворцы поступили совершенно послѣдовательно. Любимецъ Дарія Истаспа, видя, что онъ хочетъ снять осаду Вавилона, обрубилъ себѣ уши и носъ и въ этомъ жалкомъ видѣ передался вавилонянамъ, прося отпущенія и говоря, что его изуродовалъ Дарій. Вавилоняне сдѣлали его вое-

¹⁾ Къ подобнымъ явленіямъ принадлежало наше мѣстничество, основанное на патриархальной породистости, а вовсе не на понятіи своего достоинства. Замѣчательно, что, съ совершеннѣйшей потерей всѣхъ человѣческихъ понятій о достоинствѣ и о чести, въ Восточной имперіи точно также выросъ уродливый, вычурный и смѣшный формализмъ почестей, замѣнившій честь *дѣйствительную*.

²⁾ Въ текстѣ: *царей* (проп. цензурой).

начальникомъ, и онъ предательски отдалъ ихъ городъ Дарію Истасу. Сколько тутъ самоотверженія! Это восточный Баярдъ.

Понятіе о личности является сознаннымъ въ отношеніи къ государству въ мірѣ греко-римскомъ. Личность неразрывна съ понятіемъ гражданина, она не свободна еще въ отношеніи къ себѣ: восточное поглощеніе всѣхъ личностей одною повторяется и здѣсь, но мѣсто случайнаго лица занимаетъ нравственное, миѣическое лоцо города, каждый гражданинъ сознавалъ въ самомъ себѣ долю идеальной, царящей личности города или отечества, и эта доля была неприкосновенная, святая святыхъ его души. Патриотизмъ грека и римлянина былъ раздражителенъ и не выносилъ никакой обиды; въ немъ заключался древній *point d'honneur*.Themistocle, сказавшій: «бей, но дай высказать», тѣмъ ярче выражаетъ греческое понятіе о чести, что оно въ этомъ случаѣ прямо противоположно средневѣковому понятію. Но *общее*, чтимое, святое было понято опять подъ опредѣленіемъ непосредственности и внѣшности; личность челоуѣка и его достоинство поглощались достоинствомъ гражданина, а значеніе гражданина было основано на случайности мѣсторожденія, его права были права монополіи; свободы въ древнемъ мірѣ не было: свободенъ былъ Римъ, Аѣны, а не люди. Граждане древняго міра, сказали не помню какой-то историкъ, потому считали себя свободными, что всѣ участвовали въ правленіи, лишавшемъ ихъ свободы. Уваженіе къ себѣ, какъ къ гражданину, было недостаточно, оно не помѣшало ни кліентизму, ни обоготворенію цезарей. Римскій гражданинъ, глубоко развращенный невольничествомъ, привычкой считалъ, сверхъ невольниковъ, всѣхъ иностранцевъ полулюдьми, врагами, варварами, не нашель въ душѣ своей никакой нравственной опоры, когда Римъ сталъ падать, да и Римъ, съ своей стороны, на нашель опоры въ своихъ гражданахъ. Катонъ и множество другихъ республиканцевъ, консерваторовъ, увидавши, что Римъ падеть, лишили себя жизни и поступили совершенно послѣдовательно римскому понятію о чести. Что оставалось въ ихъ жизни? Развѣ она имѣла значеніе, независимое отъ Рима, значеніе не національное, челоуѣческое? Нѣтъ. Правда, Сенека сталъ поговаривать о неотъемлемомъ достоинствѣ челоуѣка, присущемъ ему потому, что онъ челоуѣкъ, но Сенека родился послѣ смерти республики и въ то время, какъ иной духъ началъ вѣять въ самомъ Римѣ.

Такъ какъ истинныя личности были въ греко-римскомъ мірѣ—города, то и поединки могли быть, въ нѣкоторомъ смыслѣ, только между городами или республиками; Аѣны и Спарта всю жизнь провели въ дуэляхъ. Между частными людьми въ Римѣ поединка не могло быть потому, что дѣла чести рѣшались цен-

зурой. Государство имѣло право отнять все нравственное значеніе гражданина. Если и случалось что-нибудь въ родѣ поединковъ, то основа ихъ была непременно патріотическая: такова дуэль между Гораціями и Куріаціями. Греческая философія и римская цивилизація приготовили переходъ къ тѣмъ понятіямъ о личности, которая возвѣстилась людямъ Евангеліемъ, и если Аристотель былъ настолько грекъ, что дѣлилъ натуру человѣческую на свободную и рабскую, то Юлій Цезарь былъ настолько человѣкъ новаго міра, что жалѣлъ рабовъ и гладіаторовъ; очень понятно, почему первый примѣръ гуманности представляетъ именно тотъ человѣкъ, который нанесъ смертельный ударъ республикѣ. Неблагопрістойныя ругательства Цицерона, въ полномъ засѣданіи сената, противъ Антонія, котораго онъ обвиняетъ, между прочимъ, въ томъ, что онъ пьяный бѣгалъ безъ всякой одежды по улицамъ, вызвали отвѣтъ одного сенатора, который также обругалъ Цицерона и заключилъ, что если Цицеронъ носитъ длинную тогу, то это для прикрытія своихъ отвратительныхъ ногъ. Примѣръ этотъ показываетъ, что уваженіе къ личности мало было развито въ Римѣ, что всего ярче выразилось въ отвратительномъ отношеніи патрона и кліентизма.

III.

Личность христіанина отрѣшается отъ древняго гражданскаго опредѣленія. Спаситель зоветъ мытарей и женщинъ, отвергаетъ царство Божіе разбойнику, безщадно казненному закономъ гражданскимъ. Слово: невольникъ, рабъ, становится богохульствомъ, нищета—достоинствомъ, національность теряетъ смыслъ въ отношеніи къ единственной паствѣ, къ единой церкви: любовь къ отечеству уступаетъ первенство любви къ ближнему. Личность христіанина не только освобождалась отъ своего гражданскаго и исключительно національнаго опредѣленія, она стремилась и отъ всего земного; она совлекла съ себя стараго Адама, т. е. всю сторону непосредственную, тѣлесную, земную любовь, земное семейство, земныя страсти, земную мудрость, земное богатство, даже земное тѣло. Но братственная община, о которой говоритъ евангелистъ Лука въ «Дѣянїяхъ», не знавшая права собственности, имѣвшая одну душу и одно сердце, распространяясь, встрѣтилась съ государствомъ. Ничего не могло быть противоположнѣе христіанскимъ началамъ, какъ понятіе о государствѣ, развившееся въ римской имперіи того времени. Діоклетіанъ, первый *восточный* царь римскій, замѣтилъ противорѣчіе азіатскаго римскаго понятія о государствѣ съ христіанскимъ, онъ съ свирѣпостью человѣка, не понимающаго духъ времени, гналъ огнемъ

и мечемъ юную церковь. Но дѣлать было нечего; имъ надобно было помириться. Государство было необходимо для христіанъ: это было доля кесаря, которую надобно было предоставить кесарю. При такомъ противорѣчii совѣсти съ гражданскимъ порядкомъ, частнаго съ общимъ, нельзя было развиваться,—можно было остановиться, потерять всякую силу и строеніе и держаться потому только, что еще паденіе не совершилось. Это доказываетъ та часть римской имперіи, которая осталась вѣрною древнему государству и которая разлагалась до XV столѣтія. Дѣйствительное примиреніе вышло индѣ.

Съ своей стороны, ничего не можетъ быть противоположнѣе не только восточному рабу, теряющемуся въ племени, но и римскому гражданину, поглощенному своимъ государственнымъ значеніемъ, какъ германецъ, боящійся всякой централизаціи и предпочитающій дикую независимость удобствамъ гражданской жизни. Германцы жили кучками, общинами, знаменами или дружинами: они почти не принадлежали землѣ, на которой родились, носили родину съ собой и вездѣ были дома. Когда хаотическое броженіе переселеній, завоеваній, перваго устройства успокоилось, когда германцы приняли христіанство, когда весь этотъ новый міръ началъ слагаться, принимая въ себя и остатки древней цивилизаціи и новую религію, развивая ими свою собственную сущность, тогда первымъ полнымъ и органическимъ слѣдствіемъ взаимнаго проникновенія этихъ элементовъ является *рыцарство*. Рыцарствомъ вооруженная ватага кондотьеровъ, наѣздниковъ, необузданныхъ воиновъ поднялась изъ міра грабежей и насилія въ феодальное благоустройство. Ключемъ свода этого готическаго братства, этихъ военныхъ гражданъ, единственныхъ правотѣрныхъ людей того времени, была безпредѣльная самоувѣренность въ достоинствѣ своей личности и личности ближняго, разумѣется, признаннаго равнымъ по феодальнымъ понятіямъ. Это было нѣчто совершенно новое. Не только каждый клочокъ земли заохотѣлъ самобытности, послѣ того, какъ весь міръ жилъ однимъ Римомъ, но каждый непобѣжденный человѣкъ понималъ себя независимымъ, своевольнымъ. Феодализмъ—апотеоза личности воина, монархолога въ гражданскомъ развитіи; въ немъ нѣтъ дѣйствительнаго центра.

Понятіе о государствѣ, о городѣ, какъ о единомъ дѣйствительномъ, къ которому отнесенъ человѣкъ, пало; человѣкъ, какъ воинъ-защитникъ, какъ рыцарь, началъ понимать себя собственнымъ средоточіемъ; понявши это, онъ долженъ былъ высокопоставить свою честь, свою самобытность—гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинствѣ личности: массы были побѣжденные, массы были отсталые горожане, люди римскихъ по-

нѣтъ, массы были несчастные земледѣльцы, для которыхъ часть сознанія еще не наставалъ; ее поняли доблестнѣйшіе изъ воиновъ, ее поняли духовные. Ничего не можеть быть пагубнѣе для исторіи, какъ вносить современные вопросы симпатій и антипатій въ разборъ былыхъ событій; если въ нѣкоторыхъ странахъ позволяютъ людямъ судиться *нэрами*, то какое же право мы имѣемъ судить прошедшее не по его понятіямъ, а по понятіямъ иного времени. Мы привыкли сопрягать съ словомъ рыцарство— понятіе угнетенія, несправедливости, касты; но съ тѣмъ самымъ словомъ мы въ правѣ сопрягать смыслъ совершенно противоположный. Мы теперь смотримъ на рыцарство, какъ на прошедшій институтъ; его слабыя стороны для насъ раскрыты: насъ оскорбляетъ его гордое чувство безконечнаго достоинства, основанное на безконечномъ униженіи привязаннаго къ землѣ; оно пало отъ своей односторонности, оно наказано; оно до того умерло, наконецъ, что пора ему отдать полную справедливость.

Взгляните на рыцарство, отступивши въ VII, VIII столѣтія,—и оно представится передовой фалангой человѣчества; оцѣните внутреннюю мысль его о достоинствѣ человѣческой личности, о святой неприкосновенности ея, о строгой чистотѣ,—и вы поймете великое начало, внесенное имъ въ исторію. Оттого мы рыцарей можемъ принять за высшихъ представителей среднихъ вѣковъ; истинные представители эпохи—не ариѳметическое большинство, не золотая посредственность, а тѣ, которые достигли полного развитія, энергическіе и сильные дѣятельностью; другіе были въ ребячествѣ или въ дряхлости. *Человѣкъ научился уважать человека* въ рыцарѣ: этого мы имъ не забудемъ. Гордое требованіе признанія рыцарскихъ правъ было почвою, на которой выросло сознаніе права и достоинства человѣка вообще. Рыцарь далеко не былъ ниже римскаго гражданина. Римскій гражданинъ имѣеть передъ нимъ то преимущество, что онъ *развилъ* свое понятіе; но то, чего домогался рыцарь, было выше того, чего достигнулъ римлянинъ. Сущность гражданина—въ его, случайность рожденія опредѣляетъ права его; сущность рыцаря—въ немъ самомъ, и онъ становится рыцаремъ, а не родится. Его право не принадлежитъ его личности, какъ случайной, а принадлежитъ ему по развитію въ случайной личности ея родового значенія (разумѣется такъ, какъ оно понималось въ тѣ времена). Никто не былъ признаваемъ христіаниномъ по одному физическому рожденію; никто не родился рыцаремъ; для перваго надобно было духовное рожденіе крещеніемъ, для втораго искусъ и торжественное признаніе посвященіемъ. Рыцари были единственные свободные люди въ среднихъ вѣкахъ; они составляли между собой братство, разбѣянное по всему католическому міру и сочув-

ствовавшее между собою; ихъ соединяло единство обычаевъ, единство понятій о своемъ достоинствѣ, единство предразсудковъ; каждый рыцарь сознавалъ неприкосновенное величіе своей личности и готовъ былъ доказывать его мечемъ. Но можно-ли назвать братствомъ учрежденіе, при которомъ массы были угнетены? А какъ-же древнія республики называются республиками, когда въ нихъ одни граждане имѣли права? Низшіе классы въ среднихъ вѣкахъ не только не были признаны высшими, но и собою не были признаны; ихъ признавала одна церковь и передъ алтаремъ они были равны; человѣкъ признается человѣкомъ настолько, насколько онъ самъ себя признаетъ человѣкомъ. Кровавыя событія временъ Жакри выразили иныя потребности со стороны народа и обнаружили иное сознаніе, и рыцари всѣми ужасами и свирѣпостями того времени не могли ничего сдѣлать. Тоже въ городахъ: по мѣрѣ того, какъ коммуны начинали сознавать свои права, рыцари со скрежетомъ зубовъ должны были уступать; сознаніе это росло, а рыцарство дряхлѣло. Въ 1614 году оно еще протестовало противъ смѣлости средняго состоянія, дерзнувшаго назваться братомъ рыцарства, а въ 1787 году Сіезъ издалъ свою брошюру *Du tiers-état* и увѣрялъ, что среднее состояніе—*все*, мнѣніе, въ которое теперь никто не вѣритъ.

Права личности у рыцарей доказывались и поддерживались оружіемъ; міръ феодальный былъ дикъ и грубъ; кромѣ оружія и матеріальной силы, человѣкъ не находилъ себѣ другого оплота. Рыцарь былъ прежде всего воинъ, побѣдитель; подозрѣніе въ трусости и неумѣнны владѣть мечомъ—было высшимъ оскорбленіемъ. Рыцарство и тутъ, въ міръ вѣчной войны и рѣзни, внесло свое благотворное вліяніе: свирѣпое и необузданное насиліе облагороживается; враги не бросаются другъ на друга какъ звѣри, а выходятъ торжественно на поединокъ, благородно, открыто, съ равнымъ оружіемъ. Поединокъ былъ совершенно на мѣстѣ у этого военнаго братства. Кто судья надъ рыцаремъ, какъ не онъ самъ, какъ не равный ему противникъ? Для горожанина, для простолюдина существуетъ судебное мѣсто; но развѣ рыцарь подсудимъ кому-нибудь въ дѣлѣ чести, и что государство и его законъ за мѣрило, за возмездникъ его оскорбленію? Онъ самъ себѣ достанетъ право—копьемъ, мечомъ. Онъ признавалъ *самоправство* естественнымъ, неотъемлемымъ правомъ. Зачѣмъ онъ, оскорбленный, пойдетъ искать юридической расправы, когда онъ не вѣритъ въ ея возможность возстановить честь; онъ ищетъ собственной опасностью, смертію свой судъ и въ немъ оправданія себя въ чужихъ глазахъ и своихъ, казнь виновнаго согласна съ рѣшеніемъ небеснымъ. Конечно, храбрость и ловкость въ управленіи оружіемъ—самый жалкій критеріумъ истины, хотя, замѣ-

тимъ мимоходомъ, трусость—вѣчный ошейникъ рабства. Въ наше время странно было бы доказывать истину тѣмъ, чтобъ проткнуть копьемъ того, кто вздумаетъ возражать или кто не согласенъ съ нами въ мнѣніи. Самое требованіе признанія моея личности такъ, какъ я *хочу*, несправедливо; но во время рыцарства, когда чувство чести и самобытности было такъ ново и одушевляло грубыя и съ тѣмъ вмѣстѣ полудѣтскія природы, понятно и деспотическое требованіе признанія и готовность оружіемъ дать вѣсь своему требованію. Не надобно забывать, сверхъ того, что тогда человѣкъ дѣтски вѣровалъ, что небо поможетъ правому; самые судьи не находили тогда лучшаго средства къ раскрытію истины, какъ судъ Божій, какъ поединокъ. Поединокъ имѣлъ религіозную основу и нравственную. Нравственный принципъ поединка состоитъ въ томъ, что *истина дороже жизни*, что за истину, мною сознанную, я готовъ умереть, и не признаю правъ на жизнь отвергающаго ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверхъ того, понимать, что съ утратою его бытіе становится ничтожно; надобно быть готовымъ испустить духъ за свою истину,—тогда ее уважать, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Человѣкъ, всегда готовый принести себя на жертву за свое убѣжденіе, человѣкъ, который не можетъ жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдетъ признаніе.

Гражданинъ древняго міра имѣлъ всю святую святыхъ въ объективномъ понятіи своего отечества, онъ трепеталъ за его честь. Рыцарь, безпрестанно сосредоточенный на самомъ себѣ, при всякомъ событіи, думалъ прежде всего о своемъ достоинствѣ; его ни во снѣ, ни на яву не оставляла мысль о его неприкосновенности; ревнивое и раздражительное чувство чести было безпрерывно, лихорадочно возбуждено. Жизнь, имѣющая такую основу, должна была принять характеръ угрюмый, восторженный, пренебрегающій суетами и въ то же время страстный, необузданный. Съ одной стороны, католицизмъ освобождалъ человѣка на томъ условіи, чтобъ онъ отрекся отъ всего человѣческаго; съ другой, рыцарство давало ему копье и ставило его вѣчнымъ стражемъ своей чести. И онъ былъ величественъ—этотъ стражъ! Да, этотъ человѣкъ съ поднятымъ челомъ, опертый на копье, величаво и гордо встрѣчающій всякаго, увѣренный въ своей самостоятельности по силѣ, которую ощущаетъ въ груди, ничего не боящійся, потому что презираетъ жизнь, былъ высокъ и полонъ поэзіи. Вся самобытность рыцаря въ немъ самомъ, это бедуинъ, окруженный степью; онъ едва принадлежитъ какой-нибудь странѣ, онъ воинъ всего міра католическаго, онъ почти чуждъ патріотизма,—гдѣ его отечество? Это монада, сознающая себя самобытнымъ средоточіемъ, сознающая все царственное величіе своей

личности; онъ безпредѣльно вѣренъ своей присягѣ, его честь—залогъ его вѣрности, его вѣрность—свободный даръ; онъ не можетъ измѣнить, потому что могъ не отдаваться; онъ не понимаетъ восточнаго, хвастливаго самоуниженія. Греки смѣялись надъ невѣжествомъ крестоносцевъ; быть человѣкомъ казалось грубостью для византійцевъ. Необразованные войны эти, покрытые желѣзомъ, готовы были за тѣнь оскорбленія лечь костями; греки считали это предразсудкомъ; они, въ случаѣ нужды, подмѣшивали яду, дѣлали доносы..... ихъ воспитанія были совершенно розны.

Но какъ ни было сильно развитіе рыцарства, какъ оно ни было ярко и поэтично,—оно носило въ себѣ причину быстрой дряхлости: она очевидна.

Мы упомянули, что христіане первыхъ вѣковъ приняли, какъ неотразимое событіе, римское государство; истиннаго сочувствія между древнимъ порядкомъ вообще и новой религіей не могло быть. Монастыри показывали разомъ внутреннюю, социальную мысль христіанъ того времени и ихъ отвращеніе отъ языческаго устройства. Мы видѣли такую же несвойственность германскаго характера съ римскимъ понятіемъ государства. Тацитъ въ свое время уже замѣтилъ, что германцы любятъ жизнь въ разбивку. Шлегель думалъ уколоть германцевъ, говоря: *Der Deutschen wahre Verfassung ist Anarchie*, и высказалъ невзначай мысль, которой глубины не предвидѣлъ. Рыцарь—германецъ и христіанинъ вмѣстѣ. Онъ осуществилъ этотъ протестъ личности противъ поглощающаго государственнаго единства, такъ, какъ другой протестъ, смиренный и безоружный, являлся въ католическомъ монахѣ, отвергавшемъ гражданскія опредѣленія. Мечта Карла Великаго о сильной имперіи не могла осуществиться: папа, рыцарство и монашескіе ордена составляли оппозицію. Церковь признавала одно единство—единство паствы подъ жезломъ одного пастыря; феодализмъ хотѣлъ жить на каждой точкѣ земли; высасываніе всѣхъ соковъ однимъ городомъ было для него противно, онъ былъ слишкомъ завистливъ, чтобъ помогать централизациі, у него вездѣ былъ свой центръ; кто-же бы его понудилъ уступить монополию одному городу? Польза, происходящая отъ сосредоточенія, отъ единства управления, мало согласовалась съ его понятіемъ самобытности cadaque мѣстечка и уваженія ко всѣмъ федеральнымъ обычаямъ его. Эту независимую личность германскую рыцарство выразило энергически. Но во имя чего же былъ этотъ протестъ? во имя чего освобождалась личность рыцаря? Зачѣмъ она такъ ревниво отстаивала себя противъ государства? По странному сочетанію противоположностей, составляющему чуть ли не отличительную черту всего средневѣковаго, рыцарь, человѣкъ, разившій въ себѣ чувство самобытности до высшей степени, оставался

нравственнымъ рабомъ; этотъ храбрый и непреклонный воинъ, отважный завоеватель, гордый защитникъ своей личности, былъ съ тѣмъ вмѣстѣ трусъ, и если короли и горожане боялись его, то онъ самъ боялся очень многого. Великій шагъ противъ древняго міра былъ тѣмъ сдѣланъ, что чтимое, неприкосновенное, святое поняли внутри своей груди, а не въ городѣ; но для полнаго развитія личности человѣческой не доставало нравственной самобытности: она была совершенно неизвѣстна въ среднихъ вѣкахъ. Тогда все было несвободно; даже *point d'honneur*, хранитель личныхъ правъ, былъ часто самымъ тяжкимъ игомъ; такъ, федерализмъ отстаивалъ самобытность частей государства для того, чтобъ доставить торжество своимъ провинціальнымъ обычаямъ, нерѣдко подавляющимъ личную волю вдвое больше.

Логика событій неумолима. Рыцарь, свободная личность въ отношеніи къ государству и рабъ внутри, развилъ односторонность свою до нелѣпости; онъ съ каждымъ днемъ дѣлался болѣе и болѣе Донъ-Кихотомъ; не имѣя дѣйствительнаго критеріума чести, онъ весь зависѣлъ отъ обычая и мнѣнія; онъ, вмѣсто живого и широкаго понятія человѣческаго достоинства, разработалъ жалкую и мелочную казуистику оскорбленій и поединковъ. Рыцарство пало жертвою своей односторонности, оно пало жертвою противорѣчія, только формально примиреннаго въ его умѣ. Но наслѣдіе, имъ завѣщанное, было велико; оно искупаетъ и его односторонность и весь временной вредъ, нанесенный имъ; лучшаго наслѣдія никто не завѣщалъ людямъ, ни Аѳины, ни Римъ—понятіе о неприкосновенности личности, о ея достоинствѣ, словомъ о *чести*. Честь скоро сдѣлалась неписанной хартіей германо-романскихъ народовъ. «Возлѣ гражданскаго суда учреждается свой трибуналъ, трибуналъ чести» ¹⁾, восполняющій недостатокъ юридической расправы. Съ человѣкомъ, который ставитъ свою честь выше жизни, съ человѣкомъ, идущимъ добровольно на смерть, нечего дѣлать: онъ *неисправимо человекъ*. Уваженіе къ личности, унаслѣдованное отъ рыцарей, мало-по-малу распространившееся по всѣмъ сословіямъ, трепеть за ея чистоту, спасли Европу во время революціоннаго противудѣйствія феодализму со стороны ожившей идеи государства и централизаціи; они помѣшали, по превосходному выраженію Монтескьё, «чиновнику сдѣлаться лакеемъ и солдату палачомъ». Людвигъ XI, Генрихъ VIII и самъ Филиппъ II знали очень хорошо, что снѣтаемость лица простирается до извѣстной степени, что его можно ограбить, убить, запутать въ сѣти, сжечь на *autodafe*, подавить общими мѣрами, но трудно и опасно оскорбить, нанести личную

¹⁾ Montesquieu «Esprit des Lois».

обиду; они знали, что горе дотрогивающемуся до чести; и то же самое вѣрованіе чести сдѣлалось опорой престола европейскихъ монархій. Ея нѣтъ во всѣхъ богдыханствахъ, деспотіяхъ и султанатахъ Востока ¹⁾.

По мѣрѣ паденія рыцарства и самого католицизма возникаютъ въ западной Европѣ и укрѣпляются монархіи съ своими горожанами, постоянными войсками, съ своими судами и придворными, съ своей религіей—протестантизмомъ, англиканской и галликанской церквами. Римская идея государства является снова, но уже не какъ *общее дѣло*, а какъ дѣло правительства, какъ общественная польза, какъ поземельная неприкосновенность. Непреклонная, независимая личность феодала приносится на жертву государству; напрасно прячется она въ своихъ замкахъ и лѣсахъ,—новый порядокъ бьетъ ее вездѣ. Понятіе политической государственной самостоятельности развивается въ этомъ мірѣ... но на какой-то холодной основѣ мелкаго эгоизма, личность жертвуется не отечеству, не государству, а спокойствію и матеріальнымъ удобствамъ. Настойчивый въ своихъ правахъ горожанинъ, хитрый легистъ не развили въ себѣ того благороднаго и открытаго характера, какъ рыцарь; гордость, съ которой феодалы смотрѣли на нихъ, понятна. Поле брани, привычка къ оружію, къ опасности, удивительно воспитываетъ человѣка; онъ привыкаетъ пренебрегать мелочами, къ которымъ привязываетъ осѣдлая и спокойная жизнь; у него складывается какой-то односторонній, но энергическій взглядъ на вещи, и въ то же время взглядъ наивно-дѣтскій; онъ будетъ грабить, но не будетъ хитрить; онъ будетъ насиловать, но не будетъ подыскиваться; онъ свирѣпо убьетъ, но не изъ-за угла. Совсѣмъ не такъ былъ воспитанъ горожанинъ: онъ былъ умнѣе, дѣльнѣе, ученѣе рыцаря; но онъ былъ рабомъ, привыкъ къ скрытности, къ проискамъ, къ уклончивости; онъ силенъ въ корпораціи — и ничтоженъ одинъ; онъ силенъ, опираясь на положительный законъ; опереться на себя ему и въ голову не приходило; словомъ, въ немъ не было той откровенности, которая присуща дѣйствительному сознанію личности. Этой откровенности вообще не было во всемъ переворотѣ противъ феодализма. Онъ сдѣлался исподволь; союзники, соеди-

¹⁾ Придется исключить одинъ Багдадскій халифатъ, во время его цвѣтенія и мавровъ вообще. Это составляетъ исключеніе, какое-то *mezzo-termine* между Востокомъ и Европой. Зачѣмъ Монтескье отдѣлилъ честь отъ добродѣтели?—Онъ расходится только въ крайностяхъ; напр. добродѣтель, доводящая смиреніе до позволенія бить себя палкой, распадается съ честью такъ, какъ казуистика бретера или *d'un raffiné* распадается съ добродѣтью.

Развѣ подъ добродѣтью Монтескье понимаетъ именно ту гражданскую *virtus*, которая была основою древнихъ республикъ?

нившіеся противъ феодализма, были заклѣтые враги (Людви́гъ XI и чернь). Главнѣйшіе дѣятели его скрывали свои противоборствующія идеи, не только идучи на бой, но и послѣ побѣды (напримѣръ, Ришельё). Наружно они сохраняли старыя формы, наружно они выдавали себя не только за консерваторовъ, но и за историческую всегдашность, призывали лжесвидѣтельствовать въ свою пользу исторію, обманывали, коварствомъ побѣждали врага и только наружно хранили видъ чести и доблести ¹⁾).

IV.

Стремительно развивающійся духъ европейскихъ народовъ быстро *изжилъ* романтико-феодалное содержаніе; онъ выросъ изъ средневѣковыхъ формъ, часъ феодальнаго міра наступалъ; онъ дѣлался тѣсенъ для мысли и дѣйствія; переворотъ за переворотомъ громятъ его съ XV столѣтія. Эта способность развитія, эта возможность покидать старое и усваивать новое—одно изъ главныхъ отличительныхъ свойствъ европейскаго характера; западные народы не коченѣютъ въ объятіяхъ труповъ, хотя бы это были трупы ихъ отцовъ, не вянутъ въ тоскѣ; они съ похоронъ возвращаются полными свѣжихъ силъ; обновляются смертью и, вѣчно-юные между могилъ, облитыхъ горячими слезами, они строятъ изъ ихъ развалинъ новые пріюты жизни. Держаться за однѣ и тѣ же формы, какъ за единственный якорь спасенія,—лучшее доказательство слабости и внутренней бѣдности; скучный Китай можетъ служить примѣромъ. Но, несмотря на эту внутреннюю готовность переходить къ новымъ формамъ, историческіе элементы имѣютъ свои права, хоть и не тѣ, которыя имъ приписываютъ—Нибуръ или Савиньи, и быть народный не снимается такъ легко, какъ черное бѣлье; *natura*, говорили древніе, *abhorret saltus*.

Иная жизнь, манившая лучшіе умы того времени, была вовсе не иная, а та же жизнь, нѣсколько исправленная. Не новый міръ водворялся, а старый передѣлывался. Обѣ стороны уступали, дѣлили грѣхъ пополамъ, закоснѣлыя привычки мирились съ неопредѣленными отвлеченіями; но что это за міръ? Грустный протестантъ, одѣтый въ трауръ, какъ-бы предвидѣль, что въ груди его лежитъ зародышъ страшныхъ столкновеній, онъ былъ печаленъ послѣ побѣды—очень дурной признакъ. Рѣзкій средне-

¹⁾ Людви́гъ XIV первый снялъ маску—*l'état c'est moi* сдѣлало бы честь откровенности Тимура или Чингисъ-Хана; глядя на него, и горожанинъ ее снялъ наконецъ, — въ залѣ *Jeu de Paume*. Тогда началось второе дѣйствіе великой драмы.

вѣковъй характеръ стирается съ Вестфальскаго мира, монархическая революція побѣдила, гонимая личность рыцаря прячется: вообще, личности человѣческой не видно болѣе на публичной сценѣ, она только не погибла въ кабинетѣ ученаго; наступило время, богатое внутренней работой, работой мысли; мыслящая личность явилась на смѣну военной, вооруженная анализомъ, отрицаніемъ, смѣлостью изслѣдованія. Если вы хотите узнать все величіе этого времени, отвернитесь отъ міра политическаго, т. е. отъ міра дипломатіи и несправедливыхъ войнъ: въ тиши кабинетовъ, въ мастерской артистовъ жила тогда новая мысль и росла новая мощь. Это гамлетовскій періодъ исторіи. Thatenarm und gedankenvoll, какъ сказалъ Гелдерлинъ о Германіи. Рыцарская личность, утратившая свое феодальное значеніе, едва подерживалась дворянствомъ: въ дворянствѣ сохранилось по преданію, по привычкѣ, по внушенію съ молодыхъ лѣтъ, понятіе личной чести, и несмотря на то, что, увлеченные обстоятельными видами, они домогались мѣстъ и придворнаго значенія, отдадимъ имъ справедливость, что въ отношеніи чести они стояли выше горожанъ и готовы были всегда своею кровью искупить оскорбленіе. Горожане долго были довольны неприкосновенностію правъ сословій, общинъ, торговля ихъ была защищена и гражданскія права признаны; ихъ воспитала зависть и униженіе въ хитрыхъ легистовъ. Что же касается до крестьянъ, до немощныхъ, объ нихъ никто не справлялся, ихъ всѣ забывали, даже революція забыла ихъ при сборѣ національнаго собранія, ихъ собственно никто не представлялъ. Народный голосъ, раздавшійся еще въ реформацію, совершенно умолкъ; изнуренная войнами грудь народа онѣмѣла, да и языкъ, которымъ стали теперь говорить правительства, былъ для него непонятенъ, все дѣлалось для общественной пользы, для общественнаго благосостоянія, для блага народа, а ему все становилось хуже; явились безнравственныя теоріи *du coup d'état*, дипломатическихъ уловокъ; обманъ и ложь были введены въ теорію. Совѣтъ республиканца Макиавелли былъ исполненъ; иронію его приняли за чистыя деньги.

Политика какого-нибудь Цезаре Борджія сдѣлалась всеобщей: стремились религію сдѣлать административнымъ средствомъ, постоянныя войска превращались въ полицейскія команды. Это былъ золотой вѣкъ искусственной дипломатіи, она рѣшала судьбы народовъ и государствъ... Тамъ, гдѣ-то, сѣзжались посвященные въ тайнства, писали длинныя бумаги тяжелымъ канцелярскимъ слогомъ, уступали, пріобрѣтали, оканчивали дѣло и для формы объявляли народу, стрѣляя въ него, еслп онъ не тотчасъ понималъ пользу и справедливость новыхъ мѣръ. И все это вовсе не сказка, а печальная былъ политической исторіи

Европы отъ Вестфальскаго мира до конца XVIII столѣтія; читая сказанія о томъ времени, наглазно мѣряемъ, насколько мы подвинулись впередъ въ сто лѣтъ. Читайте исторію великаго царствованія Людвига XIV, а всего лучше читайте исторію тогдашней Германіи и ея печальнаго настроенія,—и вамъ сдѣлается страшно, и вы съ радостнымъ трепетомъ сердца встрѣтите въ этомъ омутѣ пороковъ, гнусностей, безнравственности, среди слабодушныхъ развратниковъ, окруженныхъ грязными лакеями строгое и полное энергіи лицо сѣвернаго путешественника и его толстый преображенскій мундиръ, такъ непохожій на изнѣженные кафтаны тѣхъ господъ. Кажется, что онъ идетъ на смѣну дряхлому порядку вещей, что онъ идетъ утѣшить людей вѣстью о свѣжей почвѣ. Но тотъ худо знаетъ характеръ европейца, кто думаетъ, что ему нужно обновленіе извѣ... на краю гибели онъ всего ближе къ выходу. Людвигъ XIV былъ увѣренъ въ прочности зданія, завѣщаннаго имъ своимъ преемникамъ. Но когда послѣ его смерти потянуло изъ Англіи скептицизмомъ и ея политическими ученіями, поддѣльный мраморъ, изъ котораго строилъ великій король, сталъ быстро вывѣтриваться. Оргіи регентства не мѣшали слышать раскаты приближающагося грома, раскаты, которые раздавались какъ на Альпійскихъ горахъ... гдѣ-то подъ ногами. Франклинъ ввелъ въ моду скромный кафтанъ мѣщанина; требованія средняго состоянія во время революціи имѣли цѣлью не одни матеріальныя права и ихъ огражденіе, они требовали почета, какъ сословіе и какъ лицо, вѣрный признакъ совершеннолѣтія. Другой признакъ еще болѣе важный былъ высказанъ громкимъ требованіемъ подвергнуть суду разума весь непосредственный, привычный, обстоятельствомъ сложный быть свой—и отречься отъ всего, что онъ не оправдаетъ. Общественный договоръ и права чловѣка были двѣ оси, около которыхъ обращались всѣ вопросы того времени. Напрасно историческая школа въ Германіи, 20 лѣтъ спустя послѣ того, какъ мысль о договорѣ потрясла всю Европу, такъ кичилась своимъ открытіемъ, что *contrat social*—абстракція, что государство не устраивается по теоретическому плану, хотя бы онъ и былъ такъ геометрически правиленъ, какъ пирамида Сіеса. Само собою разумѣется, что мысль объ общественномъ договорѣ была отвлеченна, но именно въ то время нужна была такая абстракція; *Abstractionen in der Wirklichkeit gelten machen*, говоритъ Гегель, *heisst die Wirklichkeit zerstören*. Историческія школы никогда не умѣютъ вполне понять историческаго смысла логическихъ, отвлеченныхъ понятій, имъ они все сдаются какими-то тѣнями иного міра. Между тѣмъ всѣ перевороты начинаются съ идеала, съ мечты, съ утопіи, съ абстракціи. Консерватизмъ на-

зываетъ всякій прогрессъ, всякое нововведеніе отвлеченнымъ.—онъ правъ, они отвлечены, какъ все наступающее, какъ все юное, но для полноты разумѣнія онъ долженъ назвать отвлеченіемъ и свое охраняемое; несмотря ни на историческія, ни на практическія права его, оно отвлеченно какъ отходящее, какъ дряхлое. Само собою разумѣется, что не токмо Францію, но даже колонію нельзя устроить чисто а ргіогі—старая Англія и старая Европа умѣли перебраться и въ Пенсильванію и Колумбію. Жизнь народа, такъ, какъ жизнь человѣка, имѣетъ періодъ безсознательный, въ которомъ она подлежитъ вліяніямъ роковымъ, органическимъ, принимаемымъ безотчетно, слагающимся изъ обстоятельствъ и, вырванныхъ имъ, взаимодействій и реакцій; потребность отчета возникаетъ, когда организмъ настолько сложился а *posteriori*, что его не передѣлаешь а *priori*—онъ *есть*, онъ образованъ, у него мозгъ выработался и развился по-своему,—фактъ нравственный и фізіологическій вмѣстѣ. Дѣло холодной разсудительности состояло въ томъ, чтобъ, понявши свою историческую особность, идти впередъ, пользуясь обстоятельствами и стараясь исподволь приводить въ сознательную форму данныя начала. Исторія вообще далека отъ такого благоразумнаго пути. Начало сознанія является страстно, оно съ тѣмъ вмѣстѣ развѣдающее отрицаніе, злая борьба; религиозная сторона отрицанія состоитъ именно въ вѣрованіи искорененія стараго и водворенія новаго; отсюда источникъ энергіи и вдохновенія, которое охватываетъ огнемъ людей въ эти эпохи. Отрицаніе беретъ всѣ свои силы изъ того, что отрицаетъ, изъ прошедшаго; оно не можетъ ни пощадить его изъ благодарности, ни уничтожить изъ ненависти, оно какъ огонь сожигаетъ твердыни существующаго,—но само обусловлено именно существованіемъ сожигаемаго, и такъ, какъ въ физическомъ горѣніи сгораемое ничего не утрачиваетъ, такъ и въ дѣлѣ отрицанія прошедшее не утрачивается, несмотря на сильно произнесенное стремленіе до тла уничтожить его; оно дѣлается инымъ, сознаннымъ, превращается изъ ноши, положенной чужой рукой на плечи, въ свое бремя, которое не тяготитъ, но во всякомъ случаѣ оно остается, какъ основныя черты фізіологіи, какъ національность, сохранять которую столько стараются добрые люди, забывая, что ее утратить при жизни невозможно.

Революція впала во всѣ крайности своей точки зрѣнія, но не отдѣлалась отъ прошедшаго даже въ теоріи: въ рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ ея, исполненныхъ пророчествомъ, проникли воспоминанія и былое. Общественный договоръ имѣлъ основою права человѣка—отношеніе личности къ обществу; ея значеніе дѣлается существеннымъ и главнымъ вопросомъ, но вопросъ рѣшился подъ вліяніемъ прежняго міросозерцанія. Рево-

люція признаетъ своей точкой отправленія неприкосновенную святость лица и во всѣхъ случаяхъ ставитъ выше и святѣе лица республику; для блага и спасенія республики, для жертвы большинству она снимаетъ съ человѣка тѣ права, которыя такъ торжественно провозгласила неотъемлемыми. Достоинство человѣка измѣряется его участіемъ въ общемъ дѣлѣ, значеніе его — чисто гражданское въ древнемъ смыслѣ. Революція требовала самоотверженія, себя-пожертвованія одной и нераздѣльной республикѣ. Она хотѣла средневѣковаго аскетизма и античной преданности отечеству. Призракъ вѣчнаго города, гнетущаго другіе города, снова возсталъ изъ могилы, разумъ и свободу поставили на упраздненные пьедесталы,—такъ еще мало былъ разуменъ и свободенъ человѣкъ. Фанатизмъ этотъ спасъ отечество, но не могъ спасти личности, потому что въ немъ было много идолопоклонства. Понятія о цивизмѣ, объ обязанностяхъ гражданина, о равенствѣ, братствѣ, свободѣ, сдѣлались едиными спасающими догматами отечества, и *salus populi* замѣнило идеальную заприродность романтизма цивической *заприродностью* (*eine diesseitige Jenseitlichkeit*). Все покорялось новымъ идеаламъ до тѣхъ поръ, пока явилась личность настолько смѣлая, что не приняла внѣшняго опредѣленія, своевольно поставила себя рядомъ съ государствомъ и короновалась императоромъ. Цѣлость государства, его слава, его единство, его величіе, побѣда надъ врагомъ — все это ставилось выше личности; Наполеонъ поймалъ на словѣ французъ, и они увидѣли, что всего этого мало, что человѣкъ дѣйствительно успокоится, когда его личность будетъ чтима и признана, когда ей будетъ свободно и широко, когда ее сознаютъ совершеннолѣтней. Въ революцію такого признанія и быть не могло, революція была борьбою, это осадное положеніе, война, да и внутри ея совѣсти было сознаніе, что она не рѣшила вопросовъ, которыхъ рѣшеніе предпослала себѣ какъ программу,—отсюда доля ея тревожнаго озлобленія. За ея односторонность явился Наполеонъ, лучшее возраженіе со стороны личности противъ поглощающаго государства. Борьба послѣ Наполеона превратилась въ глухой бой оппозиціи, люди жили въ непрерывномъ спорѣ, въ отстаиваніи своихъ правъ, въ раздорѣ и раздраженіи, въ хлопотахъ объ устройствѣ... какъ будто человѣку только и занятій, что учреждаться, какъ будто удовлетворительно всю жизнь строить свой домъ. Байронъ задохнулся въ этомъ мірѣ.

Блестящее время оппозиціи, парламентскихъ дебатовъ миновало; современный человѣкъ является какимъ-то усталымъ и безучастнымъ... Его не увѣришь, что все счастье его около семейнаго очага, но не увѣришь и въ томъ, что оно исключительно на форумѣ; у него нѣтъ въ душѣ античной вѣры, что онъ—для

Рима; но онъ не смѣетъ сознаться, что Римъ — для него. Благо отечества ему дорого, потому что это его благо, но онъ не можетъ забыть свое нравственное достоинство для родины, ни онъ не уступить ни чести, ни истины для нея. Древній гражданинъ протягивалъ руку согражданину, гдѣ бы ни встрѣчалъ его; мы протягиваемъ ее сочувствующему челоуѣку, какой бы странѣ онъ ни принадлежалъ. Но мы все это дѣлаемъ больше, чѣмъ говоримъ, согласны болѣе, нежели высказываемъ. Робкая совѣсть наша боится признаться, что эгоизмъ и гуманность лишаютъ насъ половины цивическихъ добродѣтелей и дѣлаютъ насъ *вдвое больше людьми*.

Предчувствую, что здѣсь надобно остановиться и пояснить сказанное. Мы это сдѣлаемъ въ слѣдующемъ отдѣлѣ нашей статьи.

(Окончаніа нѣтъ).

С. Соколово, сентябрь, 1846 года.

Москвитянинъ о Коперникѣ.

Въ № 9 «Москвитянина» напечатанъ *Голосъ за правду*, голосъ благороднаго негодованія за помѣщеніе Коперника въ число Walhalla's Genossen. Гнѣвъ груди, изъ которой вырвался *голосъ за правду*, съ самаго начала обличаетъ волненіе, не позволяющее голосу оставаться въ предѣлахъ логики, хронологіи и даже приличія. Но самое это одушевленіе возбудило всю нашу симпатію: одни сильныя чувства ничѣмъ не вяжутся. Такіе голоса слушаются не умомъ, а сердцемъ: умомъ ихъ не токмо не оцѣнишь, но и не поймешь.

Предупреждая злые толки, мы поднимаемъ нашъ слабый голосъ, чтобъ объяснить нѣкоторые рѣзкіе звуки мощнаго *голоса за правду* въ № 9 «Москвитянина». *Голосъ*, мало-по-малу одушевляясь, возвѣщаетъ, въ лирическомъ пафосѣ, какъ въ Краковѣ Коперникъ духовно сочетался съ великими міровыми именами Галилея, Кеплера, Ньютона, *по слѣдамъ которыхъ шелъ и которыхъ оставилъ далеко за собою...* Холодные люди засмѣются, холодные люди скажутъ, что это изъ рукъ вонъ, и присовокупятъ, что Коперникъ умеръ въ 1543 году, Галилей въ 1642, Кеплеръ въ 1630, а Ньютонъ въ 1727! А у насъ слезы навернулись на глазахъ отъ этихъ строкъ: какъ чисто сохранился «Голосъ за правду» (ультра-славянскій) отъ грѣховной науки Запада, отъ нечестивой исторіи его! ¹⁾ Неужели Коперникъ не могъ идти по слѣдамъ и духовно сочетаться съ гениями, которые жили послѣ него, даже обогнать ихъ, только оттого, что умеръ прежде ихъ? Это матеріализмъ! Случайное время рожденія и жизни будто можетъ имѣть вліяніе на сочетаніе духовное? вѣдь, это не тѣлесное сочетаніе! Конечно холоднымъ разумомъ этого не поймешь; но будто человѣкъ понимаетъ однимъ разумомъ? это западный софизмъ. Какъ-же бы понимали люди, лишеныя разума? Нако-

¹⁾ «Голосъ» такъ твердо увѣренъ, что въ Европѣ XVII вѣкъ былъ прежде XVI, что, не ограничиваясь вышесказаннымъ мѣстомъ, говоритъ: „къ счастью, миновало то время, когда Галилей томился въ темницѣ за тѣ же самыя истины, которыя всенародно объявлялъ Коперникъ“.

нецъ, ненадобно забывать, что «Голосъ за правду»—голосъ трепещущій отъ гнѣва. До хронологіи-ли раздраженному человѣку? Онъ говоритъ какъ пиѳей на тренажникѣ, самъ не зная что. Итакъ, голоса винить нечего. Можно бы, конечно, замѣтить, что редакторы «Москвитянина» могли бы похладнокровнѣе слушать «Голосъ» и поправить ошибки; но, впрочемъ, въ условіяхъ, требуемыхъ закономъ, не сказано, чтобъ редакторы знали, когда тѣлѣсно жили великіе люди: какое-же право имѣемъ мы отъ нихъ требовать этого? Эти вздоры обыкновенно знаютъ люди холоднаго разума, жалкіе: имъ надобно чѣмъ-нибудь наполнить пустоту души; это знаютъ нечестивыя дѣти нашего вѣка—вѣка, который скоро заставитъ траву и камень поднять голосъ и заставить уже недавно вдохновеннаго юношу *молніеноснымъ* словомъ брякнуть на лирѣ:

О вѣкъ! Аравіи безплодная равнина,
Египта сладкихъ мясъ лишь алчная чета! ¹⁾

Знаніе—это *сладкое мясо* египетское, исторія и хронологія—это Тифономъ обглоданныя кости египетскаго мяса, и исторія европейской цивилизаціи—это просто «лишь алчная чета».

Что за дѣло, кто прежде кого жилъ! Дѣло въ корнесловіи фамилии. Тутъ «Голосъ» дома. Мы и прежде никогда не сомнѣвались, что Коперникъ былъ полякъ; но доказательства на это были бѣдны: родился въ Польшѣ отъ поляковъ, имѣвшихъ чисто славянскую фамилію. «Голосъ» идетъ гораздо далѣе; онъ доказываетъ филологически не только польское происхожденіе Коперника, но и выводитъ самое объясненіе его планетнаго движенія изъ корнесловія его фамилии. Не смѣйтесь, а слушайте. Коперникъ, Копырникъ, это трава, у этой травы корни — во-первыхъ, въ землѣ, во-вторыхъ, въ богемскихъ словахъ *korpnec, trpnut, strpnut* и въ польскихъ *rokorniec, sierpnac, scierpnac*. (Ну, гг. нѣмцы, родственны-ли вамъ эти звуки? Нѣтъ!). Мало-по-малу наша трава превращается въ добродѣтель, и изъ *жербжицы* дѣлается *Покорникъ*. Итакъ, Коперникъ *grornie sic dictum* Покорникъ. Слово, которое могло бы быть и русскимъ, замѣчаетъ «Голосъ», если-бъ было принято. Это совершенно справедливо! Но «Голосъ» не ограничивается этимъ, а тотчасъ же усваиваетъ его русскому языку, для того, чтобъ доказать милымъ каламбуромъ, что Коперникъ потому и былъ гениальный астрономъ, что онъ былъ Покорникъ. «Въ Коперникѣ, говоритъ «Голосъ», мы не столько удивляемся безпредѣльной мысли, сколько религіозной

¹⁾ № 9 „Москвитянина“. Прекрасное стихотвореніе г. Лихонина! Видно, что это еще первые опыты; языкъ какъ-то не поддается, но надежды большія.

покорѣ, которая дала ему средства и силы постигнуть тайну міровращенія». Странно, конечно, покажется многимъ, какъ Галилей, жившій послѣ Коперника, сидѣлъ (по «Голосу», прежде рожденія Коперника) въ тюрьмѣ именно за ту же *покору* и какъ ученіе Коперника было объявлено нерелигіознымъ, но вы опять забываете, что все это можно узнать изъ костей сладкаго египетскаго мяса. Странно и то, отчего-же никто изъ доминиканцевъ, базилианцевъ, напр. хоть Заремба, который принималъ Коперника въ духовное званіе, не дошелъ покорой до движенія земной планеты, всѣ они были люди препокорные и *прекопырные*. Странно только съ перваго взгляда; со второго вы усмотрите, что Коперникъ былъ покорникъ въ квадратѣ, разъ по жизни, да разъ по фамилии: какъ же ему было не добраться до объясненія солнечной системы? Это ясно, какъ дважды два четыре. Приобрѣтеніе русскому языку слова *покоры* очень важно и на немъ останавливаться нечего; мы знаемъ многихъ, рѣшившихся идти далѣе и подписываться *«копырнѣйшими слугами»*.

Филолого-мистическое изысканіе есть только пьедесталь, съ котораго «Голосъ» начинаетъ свой выговоръ Германіи вообще, Баваріи и Швабіи въ частности. Можно себя представить, какъ «Голосъ» послѣ всѣхъ *gtrpnt, ktrpet*, въ справедливомъ гнѣвѣ трактуетъ неумѣстную дерзость германцевъ поставить памятникъ славянину! Онъ называетъ современное состояніе Германіи (а можетъ, и всего Запада) «временемъ игрищъ безумныхъ». Подѣломъ! Что, у германцевъ мало, что-ли, великихъ людей? Три вѣка тому назадъ, завелся какъ-то у сосѣдей, и то чудомъ, *покорой* геній, опередившій самого Ньютона, умершаго сто съ чѣмъ-то лѣтъ тому назадъ, и того давай! Это ни на что не похоже! Вѣдь, мы не ставимъ памятниковъ Гёте или Шиллеру. Коперникъ писалъ не для нѣмцевъ, писалъ для соотечественниковъ: это ясно изъ того, что онъ писалъ по-латыни и посвѣщалъ папѣ римскому великія творенія свои. Развѣ не довольно Европѣ, что она унаслѣдовала, поняла, развила великую мысль, болѣе отгаданную геніемъ, нежели изложенную наукообразно? развѣ не довольно ей, что она же поставила генія въ возможность сдѣлать свое открытіе предшествовавшимъ развитіемъ астрономіи, подавъ ему «Альмагесту» Птолемея и всѣ послѣдующіе труды до XVI вѣка? Мало ей, памятники воздвигать... Нѣтъ, *копырнѣйшіе слуги*, много будетъ! Мы можемъ читать и не читать Коперника, можемъ думать, что онъ дальше повелъ науку Ньютона, основанную на Коперникѣ, мы можемъ ему ставить памятники и не ставить,— намъ онъ свой человѣкъ; съ своимъ человѣкомъ что за церемонія? А нѣмцы не приставай! Мы всегда съ негодованіемъ смотрѣли, какъ какіе-нибудь французы ставятъ памятники корси-

канцамъ, женевцамъ, швабамъ... А прогос, Баварія виновата; пусть несетъ кару; а бѣдные швабы — ни тѣломъ, ни душой, даже намъ стало немного жаль ихъ. Какой-то изъ редакторовъ «Conversation's Lexicon» написалъ, что Коперникъ происхожденія швабскаго: конечно, ошибка непростительная, хотя и менѣе грубая, нежели сдѣлалъ «Голосъ», считая Коперника послѣдователемъ Ньютона. Не звать, гдѣ и отъ кого родился Коперникъ, — не мѣшаетъ звать его *великое дѣяніе*, а думать, что Коперникъ открылъ движеніе земли, имѣя передъ собою *теорію тяготѣнія* Ньютона, показываетъ совершенное незнаніе предмета. По несчастію, «Голосъ за Правду» зналъ о жалкой ошибкѣ Conv. Lex. въ самое то время, когда гнѣвъ его достигъ высшей степени. «Какъ, говорилъ онъ, поляка Коперника производить отъ т... швабовъ». «Голосъ», задыхаясь отъ гнѣва, заикнулся на т... Жаль, что редакторы не доглядили этого т... Мы увѣрены, что крѣпкое слово, начинающееся съ т... вовсе не обидно; но поле толкованія широко: мало ли прилагательныхъ съ т? Тавричскій, темный, тупой, толстый, трогательный и проч. Швабъ Шиллеръ не былъ ни толстъ, ни тупъ. Фихте и Гегеля можетъ и считаютъ редакторы «Москвитянина» тупыми и толстыми, но за то навѣрное согласятся, что они не тавричскіе...

Послѣ этой выходки, «Голосъ» слабѣетъ, переломъ совершился, онъ становится нѣженъ, добродушенъ, близокъ къ милому лепету дѣтей. Онъ рассказываетъ намъ, что великій астрономъ Коперникъ зналъ механику. Каковъ былъ Коперникъ! Да не зналъ-ли онъ и геометріи? «Тихо-Браге написалъ стихи въ честь его инструмента; названному galacticum, искусство его въ живописи доказываетъ портретъ его, снятый имъ самимъ». Каковъ сюрпризъ послѣ точки съ запятой! Наконецъ, «Голосъ», утихая, говоритъ, какъ бы выводомъ и послѣднимъ словомъ своимъ, слѣдующія краснорѣчивыя строки: «Заклучимъ воспоминаніе о знаменитомъ Коперникѣ свидѣтельствомъ Мостлина, по мнѣнію котораго день кончины его былъ 19 января, а не 15 или 24 мая, не 19 февраля и 1 іюня».

Послѣ этого трогательнаго мѣста, «Голосъ» умолкаетъ. Послѣднія строки убѣдительны: конечно, если Коперникъ умеръ 19 января, то во всѣ прочіе дни и мѣсяцы того года онъ не умиралъ ¹⁾).

1) Хотя въ № 10 „Москвитянина“ и сдѣлана оговорка, что „въ статьѣ о Коперникѣ, Регенсбургъ переставленъ съ Дуная на Рейнь, а Коперникъ посланъ по слѣдамъ Галилея, Кеплера и Ньютона, между тѣмъ какъ онъ имъ предшествовалъ, благодаря излишнему усердію г. корректора“; но такая остроумная поправка показала такъ забавною моему корректору, что я никакъ не могъ отказать ему въ просьбѣ напечатать эту статью. Ред.

Оба лучше.

(Отрывокъ).

— Знаете вы этого господина... вотъ направо, читаетъ газеты?

— Нѣтъ.

— Мнѣ бы хотѣлось узнать, что онъ такое.

— Мудрено ли узнать; люди нынче выдѣлываются гуртовые, оригиналовъ въ Европѣ нѣтъ. Господинъ, васъ занимающій, или Орасъ Жоржа Занда...

— Не думаю.

— Ну, такъ, навѣрное, Барнумъ.

— Только будто и типовъ?

— Нѣтъ, есть еще средній: Барнумъ-Орасъ.

— Однако, я встрѣчалъ людей совершенно не похожихъ ни на Барнума, ни на Ораса.

— Гдѣ? Въ Кукунорѣ—въ Гон-го?..

— Нѣтъ, здѣсь въ Англіи.

— Это могло случиться; я больше думалъ о материкѣ; но развѣ вы не замѣтили, что всѣ эти чудаки, непохожіе ни на Барнума, ни на Ораса, что всѣ они... ну что же... развѣ—два—три...

— Не знаю.

— Подумайте...

— Поврежденные.

— Разумѣется.

I.

Когда я возвратился домой, мнѣ пришло въ голову полушутливое и совсѣмъ злое замѣчаніе моего пріятели. Въ самомъ дѣлѣ, Барнумъ и Орасъ такъ вполне созданы по образу и подобию вѣка мѣщанскаго и риторическаго, что они встрѣчаются вездѣ—внизу и наверху, направо и налѣво, на лавкѣ судей и на лавкѣ подсудимыхъ.

Барнумъ представляетъ дѣловую сторону, практическую на-

шого вѣка; это проза вѣка, его трудъ, его занятіе. Орасъ — поэзію, сторону артистическую. Барнумъ — это, такъ сказать, Сократъ мѣщанства; Орасъ—его Алкивиадъ.

Жоржъ Зандъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что въ наше время всѣ эти старые волокиты, вѣчные ловлазы, влюбленные маркизы, вовсе не существуютъ, что типъ молодого человѣка сороковыхъ годовъ совсѣмъ иной. Съ тѣхъ поръ, какъ она писала «Ораса», прошло лѣтъ пятнадцать; въ нихъ ничего не перемѣнилось; прежніе Орасы сдѣлались старше, новые подросли. Вся дѣйствующая, пишущая Франція состоитъ изъ Орасовъ. Нѣмцы тоже выработали себѣ, съ прибавкой глубокомысленнаго, но патриархально-простого разврата и основательно-тяжелой безнравственности, типъ Ораса (который они классически называли Го-раць).

Въ Англіи Орасовъ мало, въ Америкѣ совсѣмъ нѣтъ; но англо-американская порода произвела другой типъ, не меньше всеобщій, и это ужъ не лицо романа, а лицо въ лицахъ, живой человѣкъ, по днесъ здравствующій въ Нью-Йоркѣ,—Ф. Барнумъ.

Который изъ нихъ лучше, я не знаю, и принужденъ на это отвѣчать, какъ отвѣчаютъ дѣти: «Оба лучше». Хотя не могу скрыть, что для насъ Орасъ какъ-то интереснѣе,—это все литераторъ, словно свой братъ. Но хорошъ и Барнумъ въ своей античной простотѣ, мудрецъ жизни и поведенія, труженикъ и талантъ.

Съ дѣтства безъ средствъ, Барнумъ растетъ въ мелочной лавочкѣ, онъ окруженъ цѣлой атмосферой плутовства; передъ его глазами совершается мирная мародерская война мелкой торговли на своей низшей ступени, гдѣ лавочникъ покупаетъ у крестьянина земледѣльческія произведенія и продаетъ ему городскія. Малѣйшее разсѣяніе—и лавочникъ обмануть, обвѣшанъ; малѣйшая оплошность—и крестьянинъ надуть. Эта коммерческая игра въ мошенничество занимаетъ всѣхъ; каждый старается прежде сказать «шахъ и матъ» своему противнику. Въ слѣдующую игру, другой употребляетъ всѣ усилія, чтобъ отыгратъся, не скрывая совсѣмъ своихъ намѣреній.

Барнумъ смотритъ на это систематически-устроенное воровство глазами умнаго, расторопнаго мальчика, и первый результатъ, который онъ выводитъ, состоитъ въ томъ, что *работой* можно прокормить себя, но что *многого* не выработаешь, а ему съ дѣтскихъ лѣтъ хочется очень многого. Оборотами и уловками, напротивъ, можно все сдѣлать. Съ этимъ прекраснымъ началомъ, Барнумъ, присмотрѣвшись къ жизни, испытывъ грошевыя лотереи и копейчныя перепродажи пряниковъ и прохладительныхъ напитковъ, понялъ великую тайну вѣка риторическаго, вѣка

эффектовъ и фразъ, выставокъ и громкихъ объявленій, понялъ, что главнѣйшее для современныхъ номиналистовъ *афиша!*

Эффектъ и фраза—общія орудія у Барнума съ Орасомъ; но для Барнума это только средство наживы: обобравъ васъ, онъ васъ оставляетъ въ покоѣ. Орасъ проникаетъ въ сердце и душу—и тамъ еще что-то крадетъ и лжетъ. Оттого подъ конецъ Орасъ сдѣлался адвокатомъ, т. е. краснобаемъ по ремеслу, а Барнумъ составилъ себѣ огромное состояніе и сталъ филантропомъ.

Непоколебимая постоянная вѣра Барнума въ глупость людей оправдалась. Онъ не скрываетъ своихъ убѣжденій, напротивъ, наивно рассказываетъ о своихъ продѣлкахъ, такъ, какъ полководецъ повѣствуетъ о своихъ стратегическихъ хитростяхъ. Онъ всякаго человѣка и всѣхъ людей принималъ за средство обогащенія, такъ, какъ это дѣлаютъ и другіе, но съ большей нравственной силой, съ большей послѣдовательностью. Истощивъ всѣ средства наживаться, разбогатѣвъ, онъ еще нажился, продавъ людямъ рассказъ о томъ, какъ онъ ихъ надувалъ. Тутъ Барнумъ становится гениемъ своего дѣла.

Барнумъ случайно нашелъ какую-то полубезумную старуху, съ трудомъ разгибавшуюся и мямлившую всякій вздоръ. Тотчасъ въ его головѣ родилась мысль: «Что, если выдать ее за няньку Вашингтона»? Что долго думать! ...Афиши—и давай ее возить изъ города въ городъ. Куда ни привезетъ, всѣ кричатъ въ одинъ голосъ, что это ни на что не похоже, что это пустыки, что нянкѣ Вашингтона было бы лѣтъ полтора, и всѣ торопятся взглянуть изъ любопытства, что это такое. Толпа выходитъ изъ балагана съ хохотомъ, другая входитъ, обѣ увѣрены, что это вздоръ и обманъ, а Барнумъ откладываетъ себѣ одну тысячу долларовъ за другою.

Возивъ по міру Сирену и Томъ-Пуса, подложную няньку Вашингтона и истинную Джени Линдъ, Барнумъ доплутовался до высокой честности, предсѣдательствуетъ въ обществѣ благотворенія бѣднымъ, даетъ отеческіе совѣты начинающимъ карьеру. Прощедшее, по понятіямъ мѣщанъ, не имѣетъ дѣйствія на миллионъ въ кассѣ. Миллионъ все покрываетъ.

Впрочемъ, Барнумъ былъ и прежде всегда нравственнымъ человѣкомъ; онъ наивно останавливается среди книги, чтобъ сказать читателю, что несмотря на то, что онъ иногда былъ въ необходимости пользоваться обстоятельствами безъ особенно-щепетильнаго разбора средствъ, онъ постоянно перечитывалъ Библию и, гдѣ бы ни былъ, ходилъ всегда по воскресеньямъ въ церковь. Онъ даже не забылъ отмѣтить въ пользу своего чувствительнаго сердца, какъ, отправляясь изъ Нью-Йорка въ Лондонъ съ Томъ-Пусомъ, утеръ слезу, прощаясь на пароходѣ съ женою.

Орасъ слезнѣ, нервнѣ его. Орасъ самъ—афиша, живая декорация, воплощенная ложь. Вѣчный актеръ, онъ ежеминутно позируетъ; у него есть идеальный Орасъ, за котораго онъ хочетъ прослыть и котораго онъ представлялъ для всѣхъ знакомыхъ и незнакомыхъ, для мужчинъ и женщинъ, для старыхъ и молодыхъ.

Въ бѣдѣ и счастья онъ отыскиваетъ одну сценическую сторону, упивается дѣйствиємъ, которое производитъ на другихъ: его эпикуреизмъ не простой, а, такъ сказать, рикошетный; онъ вызываетъ сочувствіе, за которое, съ своей стороны, ничего не даетъ, да если-бъ и хотѣлъ, не можетъ ничего дать; у него совсѣмъ нѣтъ сердца къ чему-нибудь внѣ его самого, но есть поверхностное пониманіе страстей, ни къ чему его не обязывающее; ему нравится ихъ накожное раздраженіе, ихъ дѣйствіе на зрителей, онъ самъ себя увѣряетъ въ нихъ, т. е. жжетъ себѣ самому, но какъ только зыбъ становится непокойною, опасною, онъ выходитъ спокойно сухой на берегъ и идетъ себѣ домой. Если онъ привязывается иногда къ людямъ, то это на томъ основаніи, какъ мы привязываемся къ икрѣ или дичи. Въ немъ нѣтъ внутренняго предѣла, который бы остановилъ его въ чемъ-нибудь,—одного изъ тѣхъ инстинктивныхъ предѣловъ, заявляющихъ свое veto прежде всякаго разсужденія. Сверхъ собственной опасности, для Ораса существуетъ одна узда—партеръ, общественное мнѣніе; оставьте его одного,—онъ не будетъ себѣ мыть рукъ. Пуще всего боится смѣха. Чтобъ выправиться изъ смѣшного положенія, онъ опозоритъ сестру, предастъ друга.

Онъ падохъ на каждое наслажденіе, на каждое лакомство (что не мѣшаетъ ему представлять изъ себя давно потухшій кратеръ). Я увѣренъ, что онъ тайно покупаетъ себѣ конфеты и, запершись у себя въ комнатѣ, ѣстъ ихъ.

Между Барнумомъ и Орасомъ разстояніе не такъ велико, какъ кажется: вмѣсто вашингтоновской няньки онъ показываетъ священныя убѣжденія души, любовь, братство, отчаяніе. Все это у него до такой степени неистинно, что Орасъ даже и не развратенъ: разврату надобно отдаваться для того, чтобъ онъ нравился, развратъ требуетъ своего рода откровенности. Орасъ будетъ представлять какую-нибудь роль лоретки, падшаго духа, несчастную любовь, которая алчетъ утопить себя въ смертельныхъ волнахъ чувственности, а не то тотчасъ уснетъ.

По мнѣніямъ онъ непремѣнно радикаль, ненавидитъ аристократію и особенно банкировъ; но страстно желаетъ денегъ, и какъ только попадется въ богатую залу съ коврами, маркизами и канделябрами, у него начинается кружиться голова, онъ чувствуетъ, что *рожденъ* для этого міра. Его утѣшаетъ мысль, что онъ имъ *пожертвовалъ* (не имѣя на то никакого права) своимъ

убѣжденіямъ. Дайте ему сто тысячъ франковъ доходу и «monsieur le marquis» передъ фамиліей,—онъ не пуститъ васъ къ себѣ въ домъ.

Существо это, позолоченное снаружи и испорченное внутри, у котораго развиты всѣ страстныя поползновенія и ни одной страсти, вносить гибель и несчастье во всѣ круги людей простыхъ и искреннихъ, пока они не догадываются, съ кѣмъ имѣють дѣло. Занятый исключительно самимъ собою и своимъ эффектомъ, онъ, самъ того не замѣчая, оскорбляетъ нѣжнѣйшія струны чужого сердца.

Играя на фальшивыя деньги, онъ всегда въ выигрышѣ, потому, что съ другихъ беретъ золото, пока этого не замѣчаютъ. Орасъ силенъ, но, какъ привидѣніе, теряетъ свою силу при дневномъ свѣтѣ.

Минута, въ которую Мирта перешла отъ любви къ ненависти,—нѣтъ, къ презрѣнію, была та, въ которую Орасъ игралъ самоубійцу у ея ногъ и остался, слава Богу, здоровъ.

Орасъ—главный виновникъ бѣдствій, обрушившихся на Европу въ послѣднее время. Онъ увлекъ своими фразами массы—такъ, какъ увлекъ Мирту въ романъ—для того, чтобъ предать ихъ при первой опасности.

II.

Ж. Зандъ говоритъ, что романъ ея былъ принятъ съ ропотомъ,—это естественно. Развѣ у насъ не сердились на «Ревизора»? Сходство схвачено поразительно, обидно. Она сама испугалась; ей стало совѣстно передъ знакомыми и друзьями. Кисть дрогнула въ ея рукахъ и она къ концу смѣняетъ улыбку презрѣнія—улыбкой снисхожденія. Она дѣлаетъ Ораса адвокатомъ и даже намекаетъ на его исправленіе. Адвокатомъ-то онъ будетъ, и адвокатомъ отличнымъ, защитникомъ вдовъ и сиротъ, негодующимъ карателемъ человѣческихъ слабостей; но Орасомъ онъ останется, потому что онъ можетъ только удачно «представить» исправленіе—не больше.

Исправляются люди безъ заднихъ мыслей, люди увлеченные, безъ *premeditationi*, люди съ сердцемъ, напимѣръ, Фобласъ. Кстати пришелъ онъ на память. Фобласъ отчаянный шалунъ, Орасъ передъ нимъ отшельникъ: отчего же первому хочется погрозить пальцемъ, а второго толкнуть ногой?

.... Между жителями Новой Зеландіи и обитателями какого-нибудь квартала въ Парижѣ не больше различія, какъ между Фобласомъ и Орасомъ. А, вѣдь, между тѣмъ и другимъ не Богъ знаетъ сколько времени прошло. Фобласъ на старости лѣтъ могъ

еще встрѣтить Ораса у маркизы или поколотить его въ оперѣ, когда онъ такъ мѣщански хвастался своей побѣдой,—и поколотить той самой палкой, которую онъ оставилъ у актрисы, а сынъ нашель.

Фобласъ совершенно искренній человѣкъ, онъ ищетъ не побѣды, а наслажденія, онъ вѣтренъ, впечатлителенъ и такъ же откровенно раскаивается въ своихъ измѣнахъ Лодоискѣ (всякій разъ двадцатью часами позже, нежели слѣдовало), какъ и измѣняетъ ей. Останавливать Фобласа поздно, но бояться нечего: онъ современемъ остепенится и сдѣлается человѣкомъ; можетъ быть, по дорогѣ онъ потеряетъ состояніе, здоровье; но сердце у него останется.

Фобласъ жилъ въ испорченномъ воздухѣ будуаровъ; ударилъ громъ: Фобласъ сдѣлался Ларошжакленомъ. Орасъ не переродился землетрясеніемъ; въ немъ нѣтъ больше «нерва», какъ говорятъ французы.

Слабости Фобласа—мужскія, слабости Ораса—женскія: его настоящее призваніе—жить паразитною жизнью, мучить женщину, дѣлать изъ нея пьедесталь, скамейку, обирать ее, тянуться передъ ней, капризничать и, говоря съ нею, смотрѣть въ зеркало на самого себя.

Но отчего жъ все это... отчего?

А отчего, съ другой стороны, несмотря на то, что Фобласъ часто неприличнѣе романовъ Поль-де Кока, когда вы читаете послѣдніе, чувствуете, что грязь глубже и топче? Уровень понижился!

Между Луве и Поль-де-Кокомъ, между Фобласомъ и Орасомъ—что-то прошло и понизило людей. Съ тѣхъ поръ уровень все еще падаетъ. Фигаро Бомарше и Лизета Беранже сдѣлались теперь такими же идеалами, какъ Баярдъ и Женевьева; Фигаро, забавный, милый плутъ, замѣнился Робертъ Макеромъ, который уже крадетъ и грабитъ, дѣлаетъ фальшивые векселя, убиваетъ. Въмѣсто Манонъ Леско и Лизеты является Марго (въ les Filles de marbre), которая ничего не любитъ: «ни цвѣтовъ, ни соловья, ni le chant de Romeo», а любить только лудоры...

V-la se qu'aime Margot.

Марго—женщина за №, патентованная и гарантированная префектурой. Немногимъ лучше ея весь литературный парижскій Сенъ-Лазаръ, котораго двери растворилъ А. Дюма-сынъ.

Между Фобласомъ и Орасомъ, между Фигаро и Робертъ Макеромъ, между Манонъ и Марго *прошло мѣщанство, овладѣло людьми и образовало два поколѣнія...*

Изъ писемъ путешественника.

Во внутренности Англии.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Гровеноръ Скверъ, 1 марта, 1856.

... Скучные вопросы салонной болтовни, походившіе на допросъ, кончились. Допросъ на этотъ разъ былъ длиненъ, подробенъ, скученъ и тяжелъ; я сѣлъ на диванъ въ углу комнаты и съ волчьей злобой смотрѣлъ на разодѣтыхъ старухъ, на дурно одѣтыхъ молодыхъ и на накрахмаленныхъ мужчинъ, наполнявшихъ залу, въ которой угощали свѣчами и холоднымъ чаемъ съ кеками.

Новая жертва была поймана. Жестокость, съ которой меня пытали, была обращена на толстую женщину, которой полу-платье было обшито какими-то стеклами, точно будто она хранила себя такъ, какъ здѣсь берегутъ овощи въ огородѣ, посылая верхъ ограды битыми бутылками. Ее вели пѣть. Какой-то М. Р. ¹⁾ съ завитыми бакенбардами и съ проборомъ на затылкѣ сѣлъ за рояль, развернулъ ноты, закричалъ по-итальянски, и женщина закричала. Пошла музыка.

Я перебиралъ въ головѣ рядъ глупостей, о которыхъ меня спрашивали... о морозѣ, о казакахъ, о партіи Old-Boyards; тощій клержиманъ освѣдомлялся, правда ли, что официанты одѣваются у насъ дамъ, и есть ли у насъ литература, другой т. р. желалъ знать, истинно ли это, что каждый русскій крестьянинъ имѣетъ фанатическое желаніе завоевать Европу. Надо замѣтить, что одни и тѣ же вопросы предлагаются всякій разъ, и отвѣты постоянно приводятъ въ изумленіе честную публику.

Официантъ назвалъ одного литературнаго льва. Устрашенный голосомъ, который подавалъ М. Р., и увидя меня въ углу, левъ продрался къ дивану, помявъ немного свою гриву.

¹⁾ Member of Parliament, членъ парламента.

— Вы не будете спрашивать о Россіи? сказалъ я ему, подавая руку.

— А что?

— Пожалуйста, предупредите, я сейчасъ кончилъ свое пред- ставленіе, вѣдь и Альбертъ Смитъ не ходитъ два раза кряду на свой Монбланъ въ Пикадили. Если вы намѣрены сдѣлать хоть одинъ вопросъ, скажите, я уйду.

— Успокойтесь, я буду васъ спрашивать объ Англіи, сказалъ онъ, смѣясь.—Въ самомъ дѣлѣ, я васъ не видалъ сто лѣтъ; ну, что, какъ вы обжились у насъ, какъ привыкли?

— Такъ себѣ,—если-бъ можно было мѣсяцъ осенью провести безъ насморка и если-бъ не было трехъ осеней въ году.

— Какъ это старо жаловаться на климатъ!

— Мнѣ не легче оттого, что у цезаревыхъ солдатъ за девятнадцатъ столѣтій тоже былъ насморкъ во время британской кампаніи.

— Ну, а помимо климата, какъ вы сжились съ нашими нравами?

— Не могу привыкнуть обѣдать безъ салфетки.

Но спрашивающаго англичанина ничѣмъ нельзя остановить, кромѣ отвѣта, и потому мой храбрый левъ снова напалъ на меня. Я началъ раскаиваться въ томъ, что помѣшалъ ему говорить о Россіи, и замѣтилъ ему, наконецъ: «что Англію въ Европѣ меньше знаютъ, нежели древній Египетъ, несмотря на то, что изслѣдованія Байрона стоятъ Шампольоновскихъ».

— Это не заключеніе и относится къ Европѣ, а не къ Англіи.

— Какое же заключеніе? Я, право, не знаю; развѣ вотъ, что Англія...—ничего мнѣ не шло въ голову.

— Ну, что же?

— Англія—Голландія.

— Я не понимаю, сказалъ онъ, однако слегка покраснѣлъ.

— А развѣ вы думаете, что кто-нибудь понимаетъ Голландію? Впрочемъ тутъ обиднаго ничего нѣтъ. Я не знаю почтеннѣе памятника иныхъ вѣковъ и лучше сохранившагося: Голландія самобытно довольствуется, какъ Стурарты, своимъ *fuitus*.

— Вы хотите сказать, что мы такое же давно прошедшее?

— Помилуйте, я слишкомъ хорошо знаю грамматику: вы еще à l'imparfait, но нынче глаголы спрягаются ужасно скоро. Да что объ этомъ толковать, скажите мнѣ лучше, когда предложить *alien bill*?

— Его совсѣмъ не предлагать.

— Напрасно.

— Вы все шутите, *my dear Cossak*.

— Совсѣмъ не шучу; если бы ваши министры были патриоты,

они непременно предложили бы alien bill. Вы портите репутацію фирмы, вы подрываете свой кредит и дорого заплатите за ваше дорогое гостеприимство. На что же вы и островъ, если чужіе повадятся жить въ Лондонѣ? Лучше сдѣлать мостъ изъ Фонстона во Францію. Въ какомъ же торговомъ домѣ, особенно когда не везетъ, пускаютъ постороннихъ за прилавокъ или въ кассу?

— Мы такъ дорожимъ правомъ убѣжища, что готовы на всѣ неудобства его.

— Все это было бы хорошо во времена гугенотовъ да разныхъ національныхъ вопросовъ. Теперь другія времена. Прежнія эмиграція вамъ принесли страшную пользу. Вашъ тяжелый работникъ не скоро бы дошелъ до тѣхъ техническихъ усовершенствованій, которыя онѣ вамъ принесли. А теперь чему васъ научать иностранцы? Пускать ненужныхъ свидѣтелей за кулисы—бѣдовое дѣло въ наше время, если не хотите, чтобъ знали тайны дирекціи. Тронутый вашимъ гостеприимствомъ, я требую alien bill..

М. Р. пересталъ подавать голосъ, сдѣлалось движеніе, перемищеніе лицъ, и мой левъ, казалось, былъ доволенъ, когда къ намъ подошелъ одинъ французскій адвокат—орлеанистъ, седьмой годъ ожидающій съ часа на часъ важныхъ вѣстей изъ Франціи и ни въ одно утро не сомнѣвавшійся, что онѣ къ вечеру придутъ. Онъ сталъ намъ рассказывать, что теперь дѣло конечно, что ему писали изъ Лиможа и изъ Бери самыя положительныя свѣдѣнія. Успокоенный насчетъ судьбы адвоката и пожелавъ ему мѣста королевскаго прокурора, я уѣхалъ домой.

Открытіе Англіи и ея внутренней жизни, безъ сомнѣнія, одно изъ важнѣйшихъ событій послѣ открытія Америки и путешествій во внутренности Африки. Для этого были необходимы исключительныя условія, міровыя событія, вулканическіе взрывы, бросившіе на островъ десять осколковъ разныхъ народностей, десять разныхъ эмиграцій, противоположныхъ по духу, которыя были прибиты волненіями Европы къ мѣловымъ берегамъ Англіи, выброшены на нихъ и тамъ оставлены отливомъ.

Прежде, кромѣ англичанъ, никто не жилъ въ Англіи, иностраннаго круга въ Лондонѣ не существовало. Были однѣ специальности, поглощенные своимъ дѣломъ. Чиновники посольствъ, негоціанты, артисты, нѣсколько бѣдняковъ, выбившихся изъ силъ, чтобы заработать кусокъ хлѣба, нѣсколько шулеровъ, обиравшихъ глупыхъ туземцевъ и перелетная стая туристовъ. Но туристы ѣздили по Англіи, а не жили въ ней. Въ Англіи страшная скука, въ Англіи климатъ скверный, гостиницы отвратительныя, дороговизна чрезвычайная. Какой же туристъ по доброй волѣ станетъ жить въ ней, имѣя возможность жить въ другомъ мѣстѣ?

Пробыть въ Лондонѣ полсезона съ рекомендательными и кредитивными письмами, съѣздить къ кому-нибудь на дачу и объѣздить этотъ городъ-провинцію—такъ же поверхностно, какъ прокатиться по тонкой плевѣ льда въ Гайдъ-Паркъ: глубокое и опасное именно подъ ней.

Для изученія англичанъ надобно съ ними *пожить*, т. е. имѣть всякаго рода ежедневныя, будничныя сношенія, денежные дѣла, общіе интересы и личное знакомство.

До сихъ поръ Англію знали въ Европѣ такъ, какъ она себя выдавала, или, такъ сказать, въ противоположность матеріку, прикладывая къ ней цѣликомъ свои понятія. Такъ, напримѣръ, знали, что въ Англіи существуетъ свобода книгопечатанія, которой въ Европѣ нѣтъ; но что значить для Англіи книгопечатаніе, этого не знали. Франція, отдѣленная отъ Англіи своимъ одностороннимъ образованіемъ, своимъ просвѣщеннымъ невѣжествомъ, не знала ея изъ ненависти. Германія, одаренная сильнымъ бугромъ набожности—*der Venegation*, на знала ея изъ подобострастія. Даже въ Россіи питали такое уваженіе къ Англіи, что слово «англійскій» значило превосходное, прочное, совѣстливо оконченное.

Одна страна въ мірѣ знала Англію насквозь (и это очень извѣстно англичанамъ), она знала ее по воспоминаніямъ дѣтства, по молоку, которое сосала, по одной крови въ жилахъ: это Сѣверо-Американскіе Штаты. Дочь и мать, разлученные океаномъ, не спускаютъ другъ съ друга глазъ: это тотъ *одинъ* взглядъ ненависти, которымъ смотрѣли другъ на друга старый корсаръ и его дочь у Байрона.

Англія—страна иной формаціи, мѣстами скрытой наноснымъ слоемъ современнаго образованія. Лишь только вошли вы въ Англію,—равновѣсіе нарушено; человѣкъ нашего вѣка находится не въ своей средѣ. Европейское общество въ Парижѣ и въ Петербургѣ, въ Вѣнѣ и во Флоренціи—одно и то-же, при всѣхъ своихъ различіяхъ; но англійское общество—совсѣмъ иное, въ немъ человѣкъ отступаетъ на три вѣка. Европа много пережила бѣдствіями, войнами, переворотами, столкновеніемъ народностей, борьбою теорій; стѣсненная мысль ея работала внутри и пережигала ея грудь, британскія идеи, оставшіяся безплодными дома, потрясали въ ней поколѣнія; аристократическій эпикуреизмъ британскаго ума дѣлался Вольтеромъ и энциклопедистами, Юмъ—Кантомъ. Внутреннее развитіе Англіи шло послѣ Вильгельма Оранскаго бѣдной ариѳметической прогрессіей, въ то время какъ въ Европѣ оно несло быстрой геометрической. Англія усваивала себѣ одну техническую, прикладную, специальную часть общаго образованія. Это древній готическій соборъ, освѣщенный газомъ,

къ которому ведутъ желѣзныя дороги, это XVII столѣтіе, переѣхавшее на фабрику. Англія, сложившись прежде другихъ странъ изъ своихъ собственныхъ элементовъ и какъ случилось, т. е. оставляя половину на произволъ судьбы, удовлетворилась черезъ край своими учрежденіями. Неповоротливый умъ ея, довольный пріобрѣтеннымъ, продолжалъ одно и то же, повторяя поколѣніями условную и неловкую жизнь, храня обряды, боясь переменъ. Такимъ образомъ Англія осталась страной не перегорѣлой, не переплавившейся, страной «Флецовой» въ сравненіи съ третьезданной Европой.

Главный историческій характеръ Англіи—настойчивость, это тихое, неотвратимое, непрерывное осѣданіе, утягиванье всего на дно, храненіе захваченнаго, приращеніе безмысленнымъ повтореніемъ, вѣчнымъ *semper idem*. Такъ образуются подводные рифы, это жизнь дна морского, совершенно противоположная вулканической натурѣ романскихъ народовъ, мучимыхъ внутреннимъ огнемъ, взрывами, живущихъ катаклизмами и пожарами. Романскіе народы, раздираемые своими потрясеніями, стынуть на время съ лавой на губахъ, съ судорожнымъ выраженіемъ, оставляя тамъ кратеръ, тамъ разорванную скалу—въ память прошедшей бури. Въ Англіи все тихо какъ въ океанѣ, и все растетъ и множится въ страшныхъ количествахъ, т. е. все, что можетъ жить безъ воздуха.

Для осадка нуженъ покой, нуженъ порядокъ, и въ густой атмосферѣ острова все давно приняло мѣсто по удѣльному вѣсу, и если качается изъ стороны въ сторону, то все же не теряетъ баланса и своего слоя. Каждый атомъ въ немъ ищетъ самъ улечься или повиснуть на вѣки вѣковъ въ *своемъ* мѣстѣ.

Сэръ Жозуа Вомелей, извѣстный членъ парламента, рассказывалъ годъ тому назадъ слѣдующій анекдотъ, бывший въ его домѣ. Одинъ изъ «лидеровъ» радикальной партіи, онъ завелъ въ Лондонѣ большой домъ; человекъ добрый, онъ сдѣлалъ, что могъ, для удобства своихъ людей, но вскорѣ увидѣлъ, что они недовольны имъ. Однимъ утромъ камердинеръ объявилъ ему, что онъ отходитъ.—Что случилось?—Я вами очень доволенъ, но я не могу остаться, въ нашей дворнѣ нѣтъ никакого порядка. Я не привыкъ къ такой жизни.—Какой же беспорядокъ?—Это не мое дѣло докладывать, извольте спросить ключницу (гаускиперъ).—Съ Богомъ. Затѣмъ Сэръ Жозуа вышелъ въ залу; тамъ его ждали грумъ и футманъ (лакей) съ той же просьбой. Удивленный сэръ Жозуа послалъ за гаускипершей.—Что у насъ въ домѣ дѣлается, всѣ отходятъ? Чѣмъ они недовольны?—У васъ, сказала чувствительно старушка, никто не будетъ жить, я сама отошла бы, если бы не такъ была привязана къ вашему дому. У насъ внизу

такой содомъ, что еще не видывала, все перепутано, никто никого не уважаетъ.—Ничего не понимаю, и какъ же это сами дѣлаютъ безпорядокъ, и сами оставляютъ домъ себѣ въ наказаніе.

Гаускиперша сжалилась надъ нимъ и сказала ему: «пожалуйте въ людскую». Онъ пошелъ. Тамъ она трагически ему указала круглый столъ, купленный имъ для людского обѣда, и спросила, гдѣ первое мѣсто и гдѣ послѣднее. «Я сама не знаю, гдѣ мое мѣсто: футманъ, кучеръ, грумъ, садятся иногда возлѣ меня, я только для васъ выносила до сихъ поръ».—Ну, а если я вмѣсто круглаго велю поставить *четвероугольный* столъ?—Тогда всѣ останутся.—Футманъ, сію минуту ступайте къ мебельщику, чтобъ онъ прислалъ *четвероугольный* столъ. Съ тѣхъ поръ, какъ его принесли, до меня не доходило ни одной жалобы.

Въ этой исторіи, прибавилъ сэръ Жюзу, смѣясь, самое оригинальное лицо, это мой грумъ, отходящій за то, что слишкомъ почетно сидѣть за столомъ. Онъ обижался мыслію, что, когда онъ будетъ камердинеромъ, какой-нибудь грумъ сядетъ выше его.

Лакей, которому вы утромъ скажете «здравствуйте», будетъ васъ презирать. Лакей, съ которымъ вы будете говорить о чемъ-нибудь, кромѣ его дѣла, потеряетъ къ вамъ всякое уваженіе, сдѣлается дерзокъ. То же отношеніе между англійскимъ работникомъ и хозяиномъ, между earl или неогоціантомъ Сити, между пэромъ и представителемъ нижней палаты.

Никакой талантъ, никакая заслуга, никакой трудъ не отпираетъ человѣку безъ состоянія двери богатыхъ купеческихъ домовъ. Никакое богатство, никакое значеніе въ City не введетъ въ аристократическій кругъ. Два, три исключенія, которыя обыкновенно приводятъ, по этому самому ничего не доказываютъ. Чтобъ ввести Вальтеръ-Скотта въ высшее общество, надобно было его сдѣлать баронетомъ. Если-бъ Шекспиръ жилъ не при королевѣ Бессъ, а при королевѣ Викторіи, онъ равно не былъ бы принятъ ни герцогомъ Ньюкестль, ни мѣнялой Мастерманомъ. Для иностранцевъ, умѣющихъ *se faire valoir*, дѣлается исключеніе. Англичане теряются въ ихъ *de, von, Herr Baron, Mr. le marquis, Mr. le vicomte, Herr Freyherr* и, считая ихъ выше обыкновенныхъ *squire*, пускаютъ въ свои гостиныя безъ всякой геральдической критики. Зато надобно видѣть, какъ принимаютъ они артистовъ, пѣвицъ; есть дома, въ которыхъ ставится балюстрада, отдѣляющая работниковъ голоса и мастеровыхъ гармоніи отъ гостей: они входятъ особой дверью, поютъ, играютъ, получаютъ свои 20 гиней отъ дворецкаго и ѣдутъ домой. Оттого-то первоклассныя пѣвицы такъ неохотно принимаютъ приглашенія пѣть въ частныхъ домахъ, а Тамберликъ просто отказывается. Въ англійскихъ домахъ есть паріи, стоящіе на еще болѣе смиренной ступени, нежели

артисты: это учителя и гувернантки. Все, что вы слышали въ дѣтствѣ о прежнемъ уничижительномъ положеніи *des outchitels*, мамзелей и мадамъ въ степныхъ провинціяхъ нашихъ, все это совершается теперь со всей неотесанной англо-саксонской грубостью, совершалось вчера и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться эта Англія.

То, что я говорю,—и не преувеличеніе, и не новость; для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ взять два-три новыхъ романа Диккенса или Теккерея, стоитъ взять *Vanity fear*, и увидите, какъ Англія отражается въ англійскомъ умѣ.

При этомъ надобно сказать нѣсколько словъ въ похвалу англійской литературы; она несравненно мужественнѣе, нежели французская, въ обличеніи печальнаго состоянія внутренней жизни острова. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда англичанинъ, какъ Байронъ, отрывается отъ своей пошлой жизни, отъ лицемерія, и даетъ волю ироніи и скептицизму, онъ бываетъ беспощаденъ и не прибавляетъ на французскій манеръ для нравственнаго равновѣсія по ангелу на cadaго злодѣя. Вообще, иронія и скептицизмъ чужды нѣмцамъ и французамъ,—у нихъ въ жизни нѣтъ столько разорванности, грусти, тумана, у нихъ нѣтъ столько досуга сосредоточиваться въ себѣ самихъ: французу мѣшаетъ жизнь, нѣмцу—безличная мысль. Въ этомъ отношеніи русская литература всѣхъ ближе по духу къ англійской, и вотъ отчего Байронъ имѣлъ такое вліяніе у насъ на цѣлое поколѣніе, и больше того—на Пушкина и Лермонтова.

Когда французъ обличаетъ темныя стороны Франціи, вы сейчасъ видите, что это—семейная размолвка, преувеличеніе страсти, что онъ ничего лучше не проситъ, какъ примириться, *il boude*—и то въ извѣстныхъ границахъ.

Англичанинъ долго крѣпится, долго гордь Англіей, царицей океановъ, первымъ народомъ солнечной системы, но, когда онъ отчаливаетъ, наконецъ, отъ этой мели свою ладью, онъ покидаетъ ее безвозвратно, серьезно, въ самомъ дѣлѣ, и спокойно, печально сознавая силу своихъ словъ, говоритъ своему народу страшное:

You are an immoral people—and you know it (*Don Juan*).

На этомъ горькомъ, выстраданномъ стихѣ Байрона мы и остановимся, готовые продолжать наши сказанія о внутренностяхъ Англіи, если читатели того пожелаютъ.

Изъ воспоминаній объ Англии.

Межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ
И ананасомъ золотымъ.

Пушкинъ.

Вы меня простите, сказалъ я, а мнѣ кажется, что вы отчасти принадлежите къ людямъ, которые съ ужаснымъ трудомъ дѣлаютъ простыя вещи, потому что не просто за нихъ принимаются, при первомъ препятствіи теряются, рвутъ себѣ волосы на головѣ, принимаютъ крайнія мѣры или вовсе никакихъ. Иногда это очень хорошіе люди, даже превосходные люди,—но не дай Богъ такого генерала или оператора! По счастью, ваше занятіе не такъ кро-вополитно.

Я помню, какъ, лѣтъ двадцать тому назадъ, я спалъ рядомъ съ комнатою одного изъ моихъ друзей. Дѣло было въ деревнѣ и крыша рѣдко обитаемаго дома была съ течью. Съ вечера пошелъ проливной дождь, подъ дождь спитса крѣпко,—я уснулъ; но черезъ часъ времени, шумъ возлѣ разбудилъ меня. Что такое: буря, воры? Я сталъ прислушиваться: сосѣдъ возился, у него была зажженная свѣча; я вскочилъ и безъ всякаго перешлета бросился къ нему. Съ насупленными бровями, работалъ онъ надъ какой-то страшной задачей. Въ его горницѣ было двѣ кровати: на одной онъ спалъ, на другой былъ непокрытый, новый замшевый тюфякъ. Пріятель мой досталъ какія-то двѣ палки и ставилъ матрацъ какъ-то стоймя; пока онъ держалъ его, матрацъ держался дыбомъ; но какъ только онъ отходилъ,—палки падали и матрацъ снова лежалъ въ растяжку.

— Что это у тебя? бѣлая горячка? спросилъ я.

— Да, горячка, точно... съ проклятымъ тюфякомъ часъ во-жушь.

— Что съ нимъ?

— Да тутъ, братецъ, капель прямо на тюфякъ, совсѣмъ испортилъ. Я вотъ хочу его поставить вкось и, чортъ знаетъ что такое, какъ ни поставлю и ни укрѣплю, проклятыя палки упадутъ; досада,—не лягу же я, пока не устрою.

— Что-жъ ты кровать то не подвинешь, чтобъ на нее не текло!

— Тѣфу ты пропасть! просто не догадался.

Анекдотъ этотъ я разсказалъ на-дняхъ одному туристу-литератору вотъ по какому поводу: мы, двое, обѣдали въ Веллингтонѣ, т. е. мы и одинъ издатель журнала. Издатель, наливая туристу и себѣ не первую рюмку хересу, просилъ его прислать какого-нибудь вздору о Лондонѣ, Англіи, Шотландіи. Туристъ, положивъ тщательно нанизанныя на вилку полдюжины снѣтковъ ¹⁾ въ ротъ, отвѣчалъ:—Ей-Богу, нечего писать!

— Вы писали прежде письма изъ Кёнигсберга, изъ Штетина даже.

— Мало ли что прежде! Съ уменьшеніемъ цѣны на паспорта, всѣ на свѣтѣ ѣздятъ по Европѣ, все сами видятъ. Говорятъ, что опять поднимутъ цѣну,—давно пора! Теперь, батюшка, не отдѣлаешься какимъ-нибудь замѣчаніемъ о постройкѣ парламента или о скачкѣ въ Ипсомѣ; теперь давай все extra, давай примѣры, спаржу въ генварѣ,—гдѣ её возьмешь? Жизнь становится все поплѣе и поплѣе. Вкусъ у публики страшно притушился. И въ самомъ дѣлѣ, послѣ того какъ Блонденъ яйца печетъ на канатѣ, протянутомъ черезъ Ніагару, а левъ завтракаетъ конюхомъ въ Astley-театрѣ, я не знаю, о чемъ писать.

— Вы меня простите, сказалъ я, — а вы, мнѣ кажется, немного принадлежите къ людямъ... (см. выше).

— Очень хорошо, отвѣчалъ туристъ и литераторъ; но вы кровать-то научите меня отодвинуть. Вы думаете, что достаточно имѣть чернильницу,—такъ взялъ перо и пошелъ писать.

— Я думаю, что и безъ чернильницы даже можно писать, если есть карандашъ.

— Вотъ вамъ, сказалъ туристъ издателю, и корреспондентъ готовъ.

— Я другимъ дѣломъ занятъ; а вы, вотъ, хоть и смѣтаетесь падо мной, а я вамъ сейчасъ двадцать, тридцать сюжетовъ укажу, прежде чѣмъ мы дойдемъ отъ Реджентъ-стритъ до Лестеръ-сквера. Ваше дѣло ихъ разрисовать, прибавить общія разсужденія, пріятныя и непріятныя, обличающія нѣжное сердце и скрывающія незнаніе Англіи.

— Ваша бѣда, господа, въ томъ, что вы все въ одномъ ряду креселъ ищите и оригиналовъ и событій, забывая, что въ этомъ ряду даже фраки и панталоны одинакіе. Страсть къ казовому концу увлекаетъ васъ, да жиденское сибаритство. На желѣзной дорогѣ вы берете первыя мѣста; въ трактиръ идете — такъ въ

¹⁾ Whitebaid—самое гастрономическое кушанье англичанъ.

Wellington; даже гимнастикой занимаетесь на мѣщанскую ногу. Въ газетахъ читаете однѣ политическія новости,—гдѣ жъ изъ нихъ что-нибудь узнать? Словомъ, вы всѣ движетесь въ безцвѣтной алгебрѣ жизни, а такъ какъ ее то именно и узнаютъ всѣ праздношатающіеся соотчичи наши, помнящіе родство въ ожиданіи наслѣдства и тѣсно связанные съ родиной оброкомъ, вамъ и нечего писать. Я иначе дѣлаю: грѣшный человѣкъ, политикой не занимаюсь, а люблю, какъ черви въ сырѣ, поконаться, гдѣ поглубже да погнилѣе; одинъ полицейскій отдѣлъ въ «Таймсѣ» чего стоитъ! Ну, что вашъ Блонденъ и вашъ Левъ? Львы же всегда ѣли людей, только прежде люди были умнѣе и не подходили къ нимъ такъ близко. Чего стоитъ одна Ковентри-стритъ—въ ней всего шаговъ двѣсти—и ея Лестеръ-скверъ! Недаромъ на немъ глобусъ, *non squagus, sed orbis*; а въ «Пуншѣ» былъ представленъ Пій IX, спрашивающій, пріѣхавъ въ Лондонъ: «Какъ пройти въ Leicersera Squarra?» Чего тутъ нѣтъ? Начните хоть съ нищаго испанца, который усохъ до того, что оливковая кожа на немъ стала трескаться, и который такъ загорѣлъ, поражая крестиносовъ, что въ тридцать лѣтъ не могъ выбѣлиться на лондонскомъ отсутствіи солнца. Вы его вѣрно видѣли сто разъ; а я съ нимъ другъ, мы даже разъ съ нимъ поссорились и я заискивалъ его расположеніе—и заискалъ. Гверильясъ междуособныхъ войнъ, онъ остался на углу Лестеръ-сквера вѣрнѣе Кабреры и Цумалагеренъ своему законному королю. Отчаянный легитимистъ, онъ обидѣлся, что я дурно отозвался о послѣдней попыткѣ Монте-молино, и пересталъ у него просить милостыню, подергивая и щуря свои глаза стараго тигра, и говоря, на свободномъ романско-британскомъ нарѣчій, учтивости въ родѣ: «*Per us sed and intandos every sera, every matina at catholick church pre o*» и пальцемъ указывая на небо съ чрезвычайной точностью.

Вечеромъ вы, недалеко отъ испанца, непременно встрѣтите старика Селадона, разбитаго на ноги и зубы, съ цвѣточкомъ въ петлицѣ и съ цвѣтнымъ фуляромъ за пазухой. Онъ ходитъ почти всякій вечеръ наглазно наслаждаться цирцеями Геймаркета; часовъ въ 11 онъ заходитъ въ *Ag yle-goom*; ему всѣ дамы кланяются съ фамиллярной улыбкой, даже посылаютъ его за каретой; онъ имъ говоритъ любезности временъ Бромеля и Регента и провожаетъ до кареты, такъ, какъ провожалъ нѣкогда пріятельницу Нѣмоновой Гамилтъонши.

Это предметы для Рембрандта, для Гогарта, а не то чтобы фельетона, который забывается вмѣстѣ съ числомъ на другой день. Не ходитъ надобно, какъ Діогенъ, съ фонаремъ, а стоять на одномъ мѣстѣ, да, ежели можно, въ потемкахъ,—вы столько наглядитесь и научитесь «межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ»!

По моему мнѣнію, рядъ процессовъ разныхъ мертвыхъ, живыхъ и живыхъ мертвыхъ въ страховыхъ обществахъ интереснѣе всякаго романа. Вотъ вамъ примѣръ...

— Вы говорите о Палмерѣ?

— Совсѣмъ не о Палмерѣ. Что такое Палмеръ? Даль яду—человѣкъ умеръ, съ рукъ сошло; даль другому—тоже отравиль, съ рукъ сошло; отравиль жену—ну, это съ шеи не сошло; что тутъ новаго? Это и варвары умѣли отравлять; тутъ нѣтъ ни генія, ни поэзіи; нѣтъ, я вамъ расскажу получше исторію. Вотъ вы, любезный туристъ мой, взяли бы перышко да и записали бы.

— Что-съ? право не слышу...

— Да онъ просто всхрапнулъ, замѣтилъ, смѣясь, издатель.

— И хорошее дѣло! У него, видно, вино тихое, кроткое; мудрено-ли, что никогда не откроеть лимбургскую живую жилу подъ ногами?

— Можеть!—а вотъ у меня вино внимательное—расскажите-ка.

— Вотъ вамъ, на примѣръ: таскался тутъ одинъ дюжіи малый по кабакамъ, съ утра пьянъ, отекъ, руки дрожатъ, нечисто одѣтъ, совершенно опустился. Какой-то человѣкъ, видѣвшій его въ кабакѣ, принялъ въ немъ участіе; когда поднесетъ виски съ теплой водой, когда джину съ холодной,—словомъ они подружались. Только, какъ у того совсѣмъ денегъ не было, ему новый знакомый говоритъ: желаете вы пріобрѣсть честнымъ образомъ и безъ опасности 20 фунтовъ? Тотъ обомлѣлъ: онъ за пять фунтовъ готовъ бы былъ подвергнуться опасности и достать ихъ самымъ нечестнымъ средствомъ.

— Условіе у насъ такое: мѣсяцъ не пить ни капли. Не выдержите,—не будетъ денегъ.

— Извольте, говорить, только вы меня ужъ лучше заприте.

И вотъ незнакомецъ этотъ и другой еще благодѣтель приняли за моего пьяницу, вымыли его, вычистили, подстригли, купили превосходное платье,—только изъ комнатъ ни на шагъ. Кормятъ его на убой и вечеромъ, для разсѣянія, въ театръ возятъ. Отдохъ мой малый, узнать нельзя, кровь съ молокомъ. Тогда они его представили въ страховое общество; директоры улыбаются, докторъ смотритъ, видитъ: человѣкъ до ста лѣтъ проживетъ. Они его и застраховали въ большой суммѣ, и когда воротились домой, отсчитали ему его двадцать фунтовъ. Онъ ихъ и домой не приносилъ, и самъ не приходилъ; онъ съ того же дня пошелъ пить мертвую. Мѣсяца черезъ полтора онъ сдѣлался опасенъ, того и смотри параличъ. Вотъ его пріятели ѣдутъ въ страховое общество и говорятъ: «Дѣло худо! нашъ родственникъ

получилъ изъ семьи страшныя вѣсти и такъ пѣтъ, что спасенья нѣтъ!»!

Тѣ доктора; докторъ видитъ, что онъ непременно умретъ. Что жъ дѣлать?

Родственники говорятъ: «Мы не разбойники, не хотимъ васъ грабить; дайте намъ только половину денегъ, а мы у него возьмемъ всѣ документы». Такъ общество и сдѣлало. А родственники—новый контрактъ. Опять моютъ, чистятъ, брѣютъ, помазываютъ человѣка, опять кормятъ на убой и везутъ его въ другое страховое общество. Коротко—повторяютъ ту же продѣлку. Но слухъ объ первой разнесся и новая компанія не хотѣла сдѣлки, говоритъ: «мы всѣ подъ Богомъ ходимъ; умереть—наше несчастіе».—«Это ваше послѣднее слово?» говоритъ изобрѣтатель. «Послѣднее».—«Ну, треть—и по рукамъ». «Не хотимъ».

— «А, такъ, заплатите все; коли на то пошло, мы не пожалѣемъ денегъ. Любезнѣйшій другъ, говорятъ они пациенту, пейте сколько хотите spirits—мы платимъ. Вы увидите, господа, что онъ обопьется».

— Чѣмъ же это кончилось? спросилъ издатель.

— Разумѣется, онъ опился и общество заплатило мошенникамъ.

Вотъ вамъ и другое: какой-то ирландецъ Esq., несчастный человѣкъ, ему ничего не удавалось. Мучился онъ, мучился и, наконецъ, придумалъ фортель: измѣнилъ себѣ немного лицо и пошелъ страховать себя въ пользу брата, заплатилъ за полисъ послѣднія деньги и отправился ходить по больницамъ; тамъ прискивалъ онъ, не торопясь, подходящій трупъ, купилъ его и давалъ хоронить съ большимъ почетомъ, самъ сзади идетъ, весь въ траурѣ, плачетъ, и потомъ является въ общество съ свидѣтельствомъ о кончинѣ и похоронахъ родного брата; словомъ, уладилъ дѣло такъ хорошо и такъ хорошо его прежде подготовилъ, что деньги получилъ, да, на всякой случай, тотчасъ застраховался въ другомъ обществѣ. Пока онъ жилъ на деньги, полученныя послѣ своихъ собственныхъ похоронъ, и придумывалъ, какъ ему снова получить капиталъ, сама судьба помогла ему. Гуляетъ онъ въ Ричмондѣ, на берегу Темзы; глядь, суeta: полицейскіе, мальчишки—всплыло мертвое тѣло, никто не знаетъ, кто такой. Ирландецъ подошелъ и обомлѣлъ. «Господа, кричите онъ, это лучшій другъ мой, это... это... и называетъ мертваго своимъ именемъ. На слѣдствіи коронера онъ присягнулъ, никто ему не возражалъ; оказалось, что у него было завѣщаніе его друга, и именно онъ ему оставлялъ капиталъ страхового общества. По несчастію дѣло открылось, и его отдали подъ судъ.

Въ заключеніе, на закуску, я прибавлю одно маленькое собы-

тіе, но необычайно характеристическое и необычайно германское. Какой-то нѣмецъ, жившій въ Лондонѣ, застраховался и долженъ былъ въ извѣстные сроки вносить суммы при жизни. Денегъ у него не было, вносить онъ не могъ. Общество пристало къ нему; онъ просилъ отсрочку—ему отказали. Тогда онъ написалъ, что, если они еще разъ откажутъ и пришлютъ описывать его имѣніе, то онъ застрѣлится и лишитъ ихъ капитала.

Англичане приняли это за браваду и прислали брокеровъ.

Нѣмецъ не шутилъ—и застрѣлился.

— Расскажите еще что-нибудь; я велю переменить бутылку.

— Согласенъ—на бутылку; но рассказы позвольте до другого раза.

Русская колонія въ Парижѣ.

Любезный другъ, вы меня берете за воротъ очень безцеремонно, какъ жандармъ... Я нагорно прозябаю въ Швейцаріи, ничего дурного у меня нѣтъ на умѣ, и вдругъ вы меня останавливаете: ваши бумаги, милостивый государь?—Какія бумаги?—Эскизы, очерки карандашомъ, углемъ, перомъ?—Очерки чего?—Да *русскихъ въ Парижѣ*...

Но, любезный другъ, вы все забыли, за исключеніемъ меня самого. О чемъ же это вы думаете? Я не знаю ни современныхъ русскихъ, ни перестроеннаго Парижа. У меня есть только воспоминанія, засохшіе цвѣты, рисунки, на половину стершіеся, на половину лишеныя интереса.

Знаете ли вы, что вотъ уже *двадцать лѣтъ*, какъ я, благочестивый пилигримъ съвера, въ первый разъ входилъ въ Парижъ, и что вотъ уже *пятнадцать лѣтъ*, какъ его климатъ сталъ для меня вреденъ.

Да, это было въ мартѣ 1847 года; я открылъ старое и тяжелое окно отеля du Rhin и вздрогнулъ; передо мною на колоннѣ былъ бронзовый челоуѣкъ:

Подъ шляпой съ пасмурнымъ челоуѣмъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

Такъ это правда, это дѣйствительность—я въ Парижѣ—въ Парижѣ! И вся кровь бросилась мнѣ въ голову!

Существуетъ чувство, которое незнакомо парижскимъ абригенамъ, имъ, испытавшимъ все до утомленія, то чувство, которое мы испытывали, вступая въ первый разъ въ Парижъ. Съ самаго дѣтства, Парижъ былъ для насъ нашимъ Иерусалимомъ, великимъ городомъ революціи, Парижемъ «же-де-пома» 89 года, 93 года.

Берлинъ, Кельнъ, Брюссель—недурно ихъ посмотрѣть, но можно обойтись и безъ этого. Но какъ только мы были въ Парижѣ, мы чувствовали, что пріѣхали, и спокойно принимались развязывать чемоданы. Дальше уже ничего не было. Даже Лондона не знали въ эти блаженные времена. Лондонъ былъ открытъ только со времени выставки 1852 года.

Съ тѣхъ поръ, какъ Парижъ сталъ всемірнымъ городомъ, въ немъ меньше Франціи, *меньше Парижа*. Отношенія измѣнились. Онъ сталъ великимъ вселенскимъ трактиромъ, караванъ-сараемъ всей Европы и двухъ-трехъ Америкъ, и его собственная индивидуальность распустилась, потерялась въ этой иноземной толпѣ, которой онъ изъ вѣжливости даетъ дорогу, а та беретъ ее.

Союзники, расположась въ 1814 году биваками на Площади Революціи, очень хорошо знали, что они были въ чужомъ городѣ. Напротивъ, великая армія туристовъ, завоеватели желѣзныхъ дорогъ убѣждены, что Парижъ имъ принадлежитъ, какъ вагонъ, какъ каюта; они думаютъ, что они ему необходимы, что именно для нихъ онъ наряжается въ новые кирпичи, разрушаетъ свои историческія стѣны и изглаживаетъ свою исторію.

Теперь, проходя по Парижу, я не узнаю своихъ русскихъ; они гуляютъ съ надменной рѣчью на губахъ, съ поднятой головою, какъ будто они гдѣ-нибудь въ Казани или Рязани, они распространяютъ атмосферу русской кожи и турецкаго табака, запахъ Сибири и Татаріи, едва-едва заглушаемый тяжелымъ и наркотическимъ туманомъ Германіи, который, въ свою очередь, наполнилъ Парижъ. И, въ концѣ-концовъ, ихъ нельзя не извинить, этихъ бравыхъ *туранцевъ*; все имъ напоминаетъ ихъ любезное отечество: самовары, икра, вывѣски кирилловскими буквами, возвѣщающія французамъ достоинство китайскаго чая.

Ничего подобнаго въ мое время, въ 1847 году, не было. Парижъ былъ исключителенъ, одноязыченъ, нѣсколько гордъ, тѣмъ болѣе, что къ концу года у него уже начиналась лихорадка. За то нужно было видѣть почтеніе, благоговѣніе, низкопоклонство, удивленіе молодыхъ русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ. Вельможи, которые нисколько не стѣснялись въ Германіи, этой передней Парижа, какъ только переступали за черту города, начинали говорить *вы* своимъ лакеямъ, которыхъ колотили въ Москвѣ. На другой день неприступные бояре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе волхвовъ, ухаживали за всѣми знаменитостями, все-равно какого рода и какого пола, начиная отъ Де-зирабода, зубного врача, до Ма-па, пророка.

Самые ничтожные лаццарони литературной Кляйа, всякій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный кропатель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили предложить ему даже въ десять часовъ утра редерера или вдовы Клико, и были счастливы, если онъ принималъ приглашеніе.

Бѣдняги, они были жалки въ своей маніи удивленія. Дома имъ нечего было уважать, кромѣ грубой силы и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ поражаемъ острымъ идоло-

поклонствомъ. Онъ впадалъ въ экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми вещами, передъ швейцарами и философіею Гегеля, передъ картинами берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все больше и больше до самаго Парижа. Поиски за знаменитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ; человекъ, говорившій съ Пьеромъ Леру или съ Бальзакомъ, съ Викторомъ Гюго или съ Евгениемъ Сю, чувствовалъ, что онъ уже не равенъ себѣ равнымъ. Я зналъ одного достойнаго профессора, который провелъ разъ вечеръ у Жоржа-Занда; этотъ вечеръ, подобно какому-то геологическому перевороту, раздѣлилъ его существованіе на двѣ части; это была кульминаціонная точка его жизни, неприкосновенный капиталъ его воспоминаній, которымъ завершалась вся его прошлая жизнь и отъ котораго брала источникъ настоящая.

Счастливыя времена этой наивной религіи, этого Heroworship (поклоненія героямъ) и великаго города!

Русскій въ эти времена не просто жилъ въ Парижѣ: наряду съ положительнымъ удовольствіемъ, онъ имѣлъ отчетливое чувство, глубокое сознание того, что онъ въ Парижѣ, чувство нравственнаго благосостоянія, заставлявшее его каждое утро благодарить всеблагаго Бога и добрыхъ крестьянъ, исправно платившихъ свои оброки.

Все перемѣнилось съ тѣхъ поръ... даже расходы: русскій сталъ скупцомъ, скрягою; послѣ эмансипаціи явилась ариеметика.

И вотъ мнѣ приходитъ на умъ, что было время еще болѣе отдаленное и еще болѣе прекрасное, чѣмъ наше время 1847 года. Я съ горестію вижу, что славянскій міръ вырождается, мельчаетъ и становится, по выраженію мадамъ Фигаро, такимъ, какъ цѣлый свѣтъ.

Вотъ доказательство. Я беру свой примѣръ у Польши (Ахъ, если бы русскіе вообще брали у Польши одни лишь примѣры).

Знаете ли вы исторію проѣзда Радзивила? Вѣроятно, нѣтъ. Ну, такъ вотъ чтó случилось во времена регентства. Князь Радзивиль, самый колоссальный, самый дикій, самый грандіозный и великолѣпный типъ польскихъ магнатовъ, поспорившій съ польскимъ королемъ, который былъ вдвое его бѣднѣе, рѣшилъ на нѣсколько лѣтъ удалиться изъ Польши. Онъ выбралъ, само собою разумѣется, Парижъ мѣстомъ своего изгнанія и, чтобы скорѣе доѣхать въ него, употребилъ довольно странный способъ: онъ приказалъ купить столько домовъ, сколько было станцій (князь ѣздилъ на собственныхъ лошадяхъ, на сотнѣ, можетъ быть, на двухъ). Онъ рѣшилъ принять такую экономическую мѣру потому, что онъ не привыкъ спать подъ чужою кровлею. Какъ бы то ни было, домъ были куплены, подставы приготовлены,

Радзивиль прїѣзжаетъ въ Парижъ. Тутъ — большая дружба съ регентомъ. Герцогъ Орлеанскій не могъ досыта насмотрѣться, какъ Радзивиль поглощалъ непомѣрныя количества венгерскаго, а на смѣну, ради отдыха и успокоенія, водку стаканами. Регентъ страстно любилъ смотрѣть, какъ онъ играетъ въ карты; Радзивиль проигрывалъ огромныя суммы, нимало не задумываясь, и приказывалъ съ полнымъ хладнокровіемъ двумъ гигантамъ «гайдукамъ» привести мѣшки съ золотомъ.

Словомъ, изношенный регентъ и непочатой князь не могли обойтись одинъ безъ другого. Когда Радзивиль не являлся, регентъ посылалъ къ нему гонца за гонцомъ. Но однажды случилось, что не регенту, а князю Радзивилу нужно было написать къ своему другу. Онъ написалъ, сложилъ письмо и позвалъ одного изъ казаковъ своей свиты.

— Знаешь ты, спрашиваетъ онъ, гдѣ живетъ регентъ?

— Нѣтъ, князь.

— Ты знаешь Пале-Рояль?

— Нѣтъ, князь.

— Ну, все равно, ты спросишь, каждый тебѣ покажетъ; да притомъ это въ двухъ шагахъ.

Казакъ воротился печальный: онъ не могъ найти Пале-Рояля.

Князь велитъ его позвать:

— Смотри, бестія, въ это окно: видишь этотъ большой домъ?

— Вижу, князь.

— Въ немъ и живетъ регентъ; онъ тутъ, какъ у насъ король, понимаешь, и это его дворець. Ну, скорѣй.

Казакъ, какъ только выходилъ изъ дому, терялъ Пале-Рояль. Онъ вернулся, не нашедши регента, въ такомъ отчаяніи, что сдѣлалъ нѣкоторыя приготовленія повѣситься. Князь былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Онъ велѣлъ позвать своего управителя и приказалъ ему купить *нѣсколько домовъ* и устроить проходъ между своимъ домомъ и Пале-Роялемъ. Когда проходъ былъ готовъ, князь въ большомъ удовольствіи воскликнулъ: «теперь эта бестія, казакъ, сумѣетъ найти дорогу къ Пале-Роялю!»

Tempi passate! — И, что чрезвычайно странно, крестьяне—ни мало объ нихъ не сожалѣютъ. О! эти славянскіе крестьяне такіе «матеріалисты!»

Опытъ бесѣды съ молодыми людьми ¹⁾.

Вѣроятно, каждому молодому человѣку, сколько-нибудь привычному къ размышленію, приходило въ голову: отчего въ природѣ все такъ весело, ярко, живо, а въ книгѣ то же самое скучно, трудно, блѣдно и мертво? Неужели это—свойство рѣчи человѣческой? Я не думаю. Мнѣ кажется, что это—вина неяснаго пониманія и дурного изложенія.

Ни трудныхъ, ни скучныхъ наукъ вовсе нѣтъ, если ихъ начинать съ начала и идти въ какомъ-нибудь порядкѣ. Труднѣе всего и во всемъ—азбука и чтеніе, они требуютъ механическихъ усилій памяти и соображенія, чтобъ запомнить множество *условныхъ знаковъ*, но вы знаете, какъ это легко дѣлается. Всякая наука имѣетъ свою азбуку, далеко не такъ сложную, какъ настоящая, но которая издали дика и запутана; черезъ нее надобно пройти, и это ничего не значить. Разумѣется, нельзя читать химическое разсужденіе, не зная, что такое кислота, соль, основаніе, средство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и въ карты играть, не давши себѣ труда выучиться мастямъ и названіямъ.

Будьте увѣрены, что трудныхъ предметовъ нѣтъ, но есть бездна вещей, которыхъ мы просто не знаемъ, и еще больше такихъ, которыя знаемъ дурно, безсвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложныя свѣдѣнія еще больше насъ останавливаютъ и сбиваютъ, чѣмъ тѣ, которыхъ мы совсѣмъ не знаемъ.

Основываясь на ложномъ и неполномъ пониманіи, на произвольныхъ предположеніяхъ, какъ на рѣшенномъ дѣлѣ, мы быстро доходимъ до большихъ ошибокъ. Пустые отвѣты убиваютъ справедливые вопросы и отводятъ умъ отъ дѣла. Вотъ причина, почему, начиная говорить съ вами, я не только не требую отъ васъ знаній, но скорѣе былъ бы доволенъ, если бы вы забыли все, что знаете школьно, и имѣли бы тотъ простой взглядъ и тѣ неизбѣжныя понятія о вещахъ, которыя сами собой пріобрѣтаются

¹⁾ Я убѣдительно прошу принять эту статейку только за *опытъ*. Если я не умѣлъ его сдѣлать, пусть кто-нибудь другой напишетъ на тѣхъ же началахъ; я вполне убѣжденъ, что *съ низъ* я не ошибся.

въ жизни—иногда смутной и ошибочной, но не *преднамеренно* ложной.

Мнѣ хотѣлось бы не столько сообщить вамъ свѣдѣній, дать отвѣты на ваши вопросы, какъ научить васъ *спрашивать*, поставить васъ относительно предметовъ на точку зрѣнія *здравого смысла*. Овладевши ея несложными приемами, вамъ легко будетъ приобрести, сколько хотите, знаній изъ огромныхъ запасовъ наблюдений и фактовъ. Мнѣ хотѣлось бы указать вамъ тропинку въ ихъ дремучемъ лѣсу, чтобъ васъ не обошелъ, какъ говорятъ наши мужички, «лукавый», т. е. духъ лжи и неправды,—дать вамъ нить, которая довела бы васъ до другихъ, уже болѣе опытныхъ проводниковъ и, если вы того захотите, до собственнаго наблюденія.

Преданія, которыя насъ окружаютъ съ дѣтства, общепринятыя предрассудки, съ которыми мы выросли, которые мы повторяемъ по привычкѣ и къ которымъ привыкаемъ по повтореніямъ, страшнымъ образомъ затрудняютъ намъ простое изученіе окружающей насъ жизни. Желая что-нибудь понять изъ естественныхъ явленій, мы почти никогда не имѣемъ дѣла съ ними самими, а съ какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по ихъ поводу въ нашемъ воображеніи. Оттого мы почти всегда смотримъ на произведенія природы, какъ на фокусы или на колдовство, и, вмѣсто отысканія причинъ, законовъ, связи, мы думаемъ о фокусникѣ, который насъ обманываетъ, или о колдунѣ, который ворожить.

Большая часть людей, занимавшихся изученіемъ природы, знаютъ, что это не такъ, но сами принимаютъ невѣрный языкъ и лепетъ младенческаго развитія,—одни, воображая, что они этимъ сдѣлаютъ понятнѣе науку, такъ, какъ дурныя няньки, говоря съ маленькими дѣтьми, повторяютъ нарочно дѣтскія ошибки и дѣтское произношеніе; другіе изъ равнодушнаго неуваженія къ истинѣ или изъ жалкой боязни раздражить людей, вѣрующихъ въ историческіе предрассудки.

Я намѣренъ говорить съ вами, какъ съ совершеннолѣтними, и думаю, что мнѣ никогда не придется ни употреблять дѣтскій лепетъ, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопросъ о причинѣ какого-нибудь явленія отвѣчать вздоромъ, только для того, чтобъ отдѣлаться. А это-то мы и видимъ сплошь да рядомъ.

Отчего, спрашиваете вы, звѣрь глупѣе человѣка?—Оттого, говорятъ вамъ, что у звѣря *инстинктъ*, а у человѣка *умъ*. Неужели этотъ отвѣтъ дѣльнѣе того, который бы кто-нибудь сдѣлалъ на вопросъ,—отчего близорукій видитъ хуже другихъ?—Оттого, что онъ міопъ. Или, еще лучше, слабые глаза назвалъ бы однимъ

именемъ, а сильные глаза другимъ, и даль бы вамъ это за объясненіе.

Кому не хочется, глядя на природу, заглянуть за ея кулисы, въ ту мастерскую, изъ которой непрерывно идетъ, летитъ, стремится это множество всякой всячины: звѣзды, камни, деревья, вы, я... И всякій разъ на вопросъ вашъ о томъ, какъ все это дѣлается, вамъ отвѣчаютъ шалостью или обманомъ, чтобъ скрыть свое невѣдѣніе, а иногда, и это еще хуже, чтобъ скрыть свое знаніе.

Одинъ изъ обыкновенныхъ приемовъ—путать начинающихъ такими цифрами лѣтъ, милей, что ихъ и произнести нельзя. Сбивши ими съ толку, начинаютъ толковать о сотвореніи міра, прежде, нежели объясняютъ, что такое міръ, и какъ онъ можетъ быть сотворенъ; потомъ заставляютъ принять на вѣру три, четыре силы, и все это для того, чтобъ потомъ съ ихъ помощью труднымъ путемъ дойти до того, съ чего начинается катихизисъ.

Не лучше ли было бы начать съ перваго предмета, попавшаго на глаза, съ предмета знакомаго, который можно взять въ руки, посмотрѣть. Тѣмъ больше, что природа вездѣ одинакова, всѣ ея произведенія равны *передъ закономъ*, какого бы роста они ни были, какое бы значеніе они ни имѣли—близко ли, далеко ли, въ телескопъ ли на нихъ смотрятъ, простыми глазами, или въ микроскопъ. Капля воды и струйка дыма подлежатъ тѣмъ же общимъ правиламъ, какъ океанъ и вся атмосфера. Страхъ передъ количествомъ, длиной и долгой надобно побѣдить съ самаго начала, а потому и слѣдуетъ начинать съ величинъ соизмѣрныхъ: то, что мы въ нихъ найдемъ, навѣрно можно будетъ приложить ко всѣмъ прочимъ.

Въ каплѣ нечистой воды зарождается бездна маленькихъ животныхъ, въ междузвѣздныхъ пространствахъ бездна планетъ и кометъ, на сырой стѣнѣ плѣсень.

Объяснить образованіе плѣсени не легче, чѣмъ объяснить образованіе земного шара. Плѣсень насъ не удивляетъ только потому, что она не казиста, не велика. А, вѣдь, было время, что и земной шаръ былъ меньше тѣхъ животныхъ, которыя тысячами вертятся въ одной каплѣ воды.

Сдѣлаться большимъ не такъ трудно, какъ *начать расти*. Вы, вѣрно, слыхали о той дамѣ, которая на вопросъ—вѣрить ли она, что св. Діонисій прошелъ большое пространство безъ головы, отвѣчала, что не въ этомъ важность, что онъ далеко унесъ, но въ томъ, что онъ сдѣлалъ первый шагъ.

Дѣйствительно, въ опредѣленныхъ явленіяхъ все зависитъ отъ перваго шага, т. е. отъ начальной встрѣчи необходимыхъ условій; гдѣ они соберутся, тамъ и дѣлается *первый шагъ*, в,

если ничего не помѣшаетъ, развитіе пойдетъ длиннымъ ядромъ измѣненій, смотря по обстоятельствамъ—въ комету, въ цвѣтокъ, въ плѣсень. Эти встрѣчи дѣлаются непрерывно, вездѣ, на каждой точкѣ безграничнаго пространства. Міры возникаютъ непрерывно, такъ, какъ плѣсень и инфузоріи, они не сдѣланы, не готовы, а *дѣлаются*, одни существуютъ теперь, другіе едва образуются, третьи кончаютъ свою жизнь въ этой формѣ.

Мы имѣемъ одинъ фактъ, не подлежащій, такъ сказать, нашему суду, фактъ, втѣсняющій намъ себя, обязывающій насъ себя признать; это фактъ существованія чего-то непроницаемаго въ пространствѣ—вещества. Мы можемъ начинать только отъ него, онъ тутъ, онъ есть; такъ ли, иначе ли—все равно, но отрицать его нельзя. Пространствъ безъ веществъ мы не знаемъ, мы знаемъ только, что въ иныхъ пространствахъ вещества больше, т. е. что они гуще и плотнѣе, въ другихъ меньше, т. е. что они жиже и пустѣе.

Гдѣ бы вы ни начали изучать вещество, вы непременно дойдете до такихъ общихъ свойствъ его, до такихъ законовъ, которые принадлежать всякому веществу, и изъ этихъ законовъ можете вывести, измѣняя условія, что хотите: возникновеніе міровъ и ихъ движеніе, или движеніе пылинокъ, которыя колеблются и несутся на солнечномъ лучѣ.

Вотъ, напримѣръ, одно изъ этихъ общихъ свойствъ, самыхъ очевидныхъ и легкихъ для наблюденія. Стоитъ посмотрѣть на нѣсколько разныхъ веществъ, чтобъ увидѣть, что частицы одного вещества иногда соединяются съ частицами другого, однѣ льнутъ другъ къ другу, другія сближаются тѣснѣе, какъ бы просасываясь другъ въ друга.

Продолжая наблюденіе, мы можемъ изучить, замѣтить нѣкоторыя особенности, сопровождающія тѣсныя соединенія частицъ. Возьмемъ, напримѣръ, стаканъ воды и стаканъ спирту, смѣшаемъ ихъ такъ, чтобъ ничего не утратилось: мы получимъ *вѣсомъ* сумму вѣса воды и вѣса спирта, а *объемъ* ихъ будетъ немного *меньше* двухъ стакановъ. Новая жидкость сдѣлалась нѣсколько *плотнѣе*. Стало-быть, есть соединенія, при которыхъ разныя частицы соединяются тѣснѣе и въ силу этого занимаютъ, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взявъ въ основаніе эти два простѣйшія явленія, показать вамъ *возможность* объяснять ими возникновеніе всего на свѣтѣ.

Одного только я потребую отъ васъ, того, что требуетъ всякая старушка, рассказывающая сказки,—немного вниманія и немного воображенія.

Вмѣсто двухъ стакановъ, изъ которыхъ въ одномъ налить

спиртъ, а въ другомъ вода, вы себѣ представьте глухую ночь безконечнаго пространства, въ которомъ носится разжиженное до чрезвычайности вещество; разсѣяныя частицы непрерывно встрѣчаются, соединяются, просасываются другъ въ друга, снова разлагаются, опять соединяются,—и это повсюду, споконъ-вѣка и ежеминутно. Въ безконечномъ числѣ этихъ соединеній должны встрѣтиться и такія, которыя удержались и съ тѣмъ вмѣстѣ сдѣлались *плотнѣе*. Что можетъ выйти изъ этого? Первое послѣдствіе будетъ нарушеніе равновѣсія, въ которомъ около носившіяся частицы держали другъ друга въ балансѣ. Окружающія частицы, не встрѣчая прежняго препятствія, стали падать къ болѣе плотному соединенію, чтобъ наполнить изрѣженное мѣсто, отъ котораго вещество долею отступило, сдѣлавшись плотнѣе.

Зачѣмъ? На этотъ вопросъ, совершенно правильный, я буду отвѣчать *фактомъ*. Раздвигаемость частицъ и стремленіе занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного изъ трехъ намъ извѣстныхъ состояній вещества, мы его называемъ *воздухообразнымъ*.

Въ обыкновенной жизни мы почти не считаемъ воздухъ за вещество. Мы говоримъ: «стаканъ пустой», когда въ немъ нѣтъ ничего жидкаго и ничего твердаго, забывая, что онъ полонъ воздуха, и въ этомъ нѣтъ никакой ошибки, потому что стаканъ сдѣланъ для того, чтобъ содержать жидкость. Тѣмъ не меньше надобно остерегаться и отъ тѣхъ ложныхъ представленій, которыя вносить не книга, а практически-житейское отношеніе къ предметамъ. Воздухъ у насъ въ большомъ пренебреженіи. Вещь улетученную, воздухообразную мы считаемъ *уничтоженной* вещью. «Сколько мы истребили дровъ нынѣшней зимой!»—говоримъ мы относительно правильно, ибо дрова, какъ вещь цѣнная, какъ вещь полезная, даже какъ вещь осязательная, не существуютъ больше; но не слѣдуетъ забывать, что отъ сожженныхъ дровъ ничего не пропало и *не могло* пропасть. Нѣтъ того снаряда, того пресса, того паровика, того плавильнаго огня, которымъ бы можно уничтожить пылинку, носящуюся въ воздухѣ, малѣйшую скорлупу орѣха. Если собрать сажу, дымъ, уголь, золу и разныя воздушныя соединенія, вы бы увидѣли съ вѣсками въ рукахъ, что дрова ваши совершенно цѣлы, а только живутъ иначе. Дѣло въ томъ, что всякое самое твердое тѣло (такъ, какъ вы это видите на льду), свинецъ напримѣръ, можетъ сначала расплавиться, а потомъ при извѣстныхъ условіяхъ сдѣлается воздухообразнымъ, нисколько не переставая быть свинцомъ, и точно такъ-же можетъ изъ воздухообразнаго снова перейти въ свое твердое состояніе, такъ, какъ водяные пары превращаются въ ледъ. Это насъ приводитъ къ одному изъ величайшихъ законовъ природы: *ничего*

существующаго нельзя уничтожить, а можно только *измѣнить*. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лѣтъ тому назадъ, и такъ далѣе, т. е. что вещество вѣчно и только по обстоятельствамъ переходитъ въ разныя состоянія. Люди, толкующіе о преходимости всего вещественнаго, не знаютъ, что говорятъ; если льду нѣтъ, за то есть вода; если воды нѣтъ, за то есть пары; если и ихъ разложить, мы получимъ два воздухообразныя вещества, которыя можно на тысячу ладовъ соединить, но уничтожить ничѣмъ нельзя, ни даже человѣческимъ воображеніемъ; сдѣлайте опытъ представить себѣ что-нибудь существующее уничтоженнымъ, какъ же оно примется за то, чтобъ не быть?

Сочетанія и разложенія вещества, по собственному ли развитію или по волѣ человѣческой, могутъ только *передѣлывать*, *измѣнять* матеріалъ, приводить его въ другія соединенія и въ другія формы, но *материалу* отъ этого ни больше, ни меньше, онъ все тотъ же и въ томъ же количествѣ. Если въ одномъ мѣстѣ сдѣлается что-нибудь гуще, непремѣнно гдѣ-нибудь будетъ жиже. Передъ вами фунтъ говядины, вы ее съѣдаете и становитесь фунтомъ тяжеле, а черезъ часъ или два нѣсколько легче, но разница не пропала; говядина, превратившись въ кровь, потеряла разныя водяныя и воздушныя частицы, оставившія ваше тѣло испареніемъ, дыханіемъ. Эти освобожденные частицы пошли каждая своей дорогой: однѣ были всосаны растеніями, другія соединились съ землей, разсѣялись въ воздухъ.

Но если все, что дѣлается въ природѣ,—только перемѣна вѣчнаго, готоваго матеріала, то вы, нѣсколько подумавши, ясно увидите, что также нельзя въ природѣ ничего *овновь* сдѣлать, ничего прибавить, *ничего создать*. Можно пары охладить въ воду, воду заморозить въ ледъ, но водяныхъ паровъ нельзя составить, если нѣтъ ихъ составныхъ частей; съ чего же начать?

Мы остановились на томъ, что частицы вещества, окружавшія болѣе плотное соединеніе, устремились къ нему. При этомъ движеніи онѣ должны были увлекать съ собой слой за слоемъ и, слѣдственно, быть причиной новаго колебанія, продолжающагося до тѣхъ поръ, пока движеніе слоевъ не потеряется въ пространствѣ и не придетъ въ равновѣсіе.

Наши соединившіяся частички въ этомъ колебаніи уже играютъ роль средоточія, зерна; стремящіяся на нихъ воздуха (газы) наносятъ имъ новыя соединяющіяся частицы, движеніе отъ этого становится больше и больше. Вы знаете, что вѣтеръ—не что иное, какъ перемѣщеніе слоевъ воздуха, теплыхъ и холодныхъ, сухихъ и наполненныхъ парами, продолжающееся до тѣхъ поръ, пока слои придутъ въ равновѣсіе. Мы можемъ поэтому представить себѣ,

какъ мало-по-малу возрастали вьюги и вихри, колебавшіеся въ воздушномъ растворѣ, безъ всякой рамы, на просторѣ безконечнаго пространства, около сгущеннаго средоточія.

Если средоточіе выдержать напоръ, не потерявъ своей особености, не распустившись въ пространствѣ, не прильнувъ само къ *другому*, то оно съ волнующимся около него воздухомъ или туманомъ представится намъ особенной областью, вымежевавшейся отъ окружающаго пространства своимъ движеніемъ около ядра. Если же оно вступитъ въ *другія* соединенія, вовлечется въ *другое* движеніе, что вѣроятно повторялось миллионы и миллионы разъ, тогда оставимъ его своей судьбѣ и займемся тѣмъ *другимъ* средоточіемъ, въ которомъ развитіе продолжается. Въ той ли воздушной области или въ другой идетъ операція, мы не можемъ иначе себѣ представить ея форму, какъ шарообразной, потому что нѣтъ никакой причины частицамъ простираться больше или меньше въ одну сторону, нежели въ другую. А простираться равнымъ образомъ во всѣ стороны отъ одного средоточія, — значитъ быть шарообразнымъ.

Но отчего же развилась та область или другая, почему тутъ образовалось болѣе плотное соединеніе, а не тамъ? Какое вамъ до этого дѣло? Это одинъ изъ самыхъ пустыхъ вопросовъ, но такъ какъ его повторяютъ довольно часто, то надобно было о немъ упомянуть. Естественныя науки не даютъ никакого отвѣта на подобные вопросы, потому что имъ нечего сказать. Въ безконечномъ пространствѣ нѣтъ мѣстничества; тамъ, гдѣ случились необходимыя условія, и именно въ то время, когда они встрѣтились, тамъ и начало, тамъ и продолженіе; случись оно въ другомъ мѣстѣ, въ другое время, оно было бы тамъ, а не тутъ: можетъ, было бы въ обоихъ мѣстахъ. Ну что же изъ этого?

Природа представляетъ намъ фактъ, наше дѣло его изучать, приводить къ сознанію, раскрывать его законы. Ну, а если-бъ у нея были другіе законы, тогда, вѣроятно, и насъ бы не было, а было бы что-нибудь совсѣмъ другое... гдѣ тутъ предѣлъ?.. Мы изучаемъ тѣ факты, которые существуютъ, и смиренно принимаемъ ихъ, *какъ они есть*.

Говоря о *возникновеніи міровъ*, напимѣръ, само собою разумѣется, мы говоримъ о тѣхъ мірахъ, которые возникли, и объ общемъ законѣ возникновенія... Міры могли и *могутъ* возникать на всякой точкѣ, но не на всякой точкѣ нашлись условія, для нихъ необходимыя. На иныхъ могутъ быть условія годныя для начала, но которыя не въ силахъ поддержать развитіе. Мы ихъ не знаемъ, да если-бъ и знали, ихъ слѣдовало бы оставить. Описывая животныхъ, мы не останавливаемся на неудавшихся зародышахъ или на уродливыхъ недоноскахъ.

Естественныя науки занимаются только фактами и ихъ изученіемъ, не допуская фантастическаго созерцанія возможностей. Почему мы знаемъ, что теперь дѣлается въ мрачныхъ и холодныхъ пространствахъ между звѣздъ, какіе образуются тамъ новыя міры и подрастаютъ на замѣну солнечной системы или какой другой?... Во всемъ этомъ намъ не на что опереться, кромѣ на наведеніе, оно дѣйствительно подтверждаетъ, что *должно быть это такъ*; тѣмъ и оканчивается весь научный интересъ, и дальнѣйшее переходитъ въ область мечтаній.

Насъ ожидаютъ вопросы больше существенныя въ жизнеописаніи нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться въ послѣдовательное наслоеніе. Легкіе слои всплыли наверхъ, потяжеле повисли въ серединѣ, самыя тяжелыя потонули къ средоточію. Пока все не пришло въ равновѣсіе, въ шарѣ дѣлалось то, что дѣлается, когда кипятятъ воду: подогрѣтая вода подымается, въ то время какъ холодная низвергается на дно. Противуположныя потоки должны были стремиться одни лучеобразно отъ центра ко всѣмъ точкамъ поверхности, другіе отъ всѣхъ точекъ поверхности къ центру, но по мѣрѣ того какъ всѣ частицы повисли бы на своемъ мѣстѣ, онѣ успокоились бы, и общее движеніе мало-по-малу должно остановиться, а съ нимъ замереть и дальнѣйшее развитіе. Этотъ покой дѣйствительно и настаетъ въ кипяткѣ, если воду не будутъ *подогревать*. Но гдѣ же очагъ, который бы подогрѣвалъ нашъ воздушный шаръ?

Переходимъ опять къ ежедневнымъ, домашнимъ опытамъ: возьмите кусокъ холоднаго желѣза, положите его на холодную наковальню и начните его бить холоднымъ молотомъ, оно сначала сдѣлается теплымъ, потомъ горячимъ,—гдѣ очагъ? Если въ металлической трубкѣ съ однимъ отверстіемъ подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздухъ, то трутъ, прикрѣпленный на днѣ трубки, загорается. Кто его зажегъ? Дѣло состоитъ въ томъ, что *тѣла, сжимаясь, становятся теплѣе*. А, вѣдь, двѣ первыя частицы, соединившись, заняли *меньше пространства*—сжались, стало - быть, онѣ сдѣлались теплѣе. Притеченіе новыхъ частицъ и ихъ соединеніе развивало больше и больше тепла въ ядрѣ, отсюда движеніе частицъ, отдаляющихся отъ центра и притекающихъ къ нему, должно было становиться сильнѣе и сильнѣе, температура центральной части выше и выше.

Идемъ далѣе... Имѣемъ ли мы какое-нибудь право себѣ представить, что та *данная* воздушная «капля», при развитіи которой мы присутствуемъ, одна и есть во всей вселенной? Если-бъ это было такъ, то, стало-быть, было когда-нибудь время, въ которое ничего не было, т. е. въ которое нельзя было *возникнуть*

чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не тѣ, которые теперь, чего мы допустить не можемъ; совсѣмъ напротивъ, потому что эта область могла развиваться, стало-быть и другіе міры должны были развиваться прежде нея. Если же это такъ... то наша сфера гдѣ-нибудь, какъ-нибудь встрѣтится съ другими.

Какое же будетъ ихъ взаимодействіе? Верхніе слои, самые изрѣженные по свойству воздухообразнаго состоянія, проникнуть другъ друга, могутъ смѣшаться, если не будутъ удерживаемы потоками частицъ, летящихъ или низвергающихся къ средоточію. Мы не имѣемъ причины предполагать объ сферѣ одинакаго объема, одинаковой плотности, — это можетъ быть, но это одинъ изъ случаевъ; гораздо легче себѣ представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будетъ постоянно склоняться къ большой. Если частицы, стремящіяся къ зерну меньшей сферы, не въ состояніи противудѣйствовать удаляющимся отъ него, то она *упадетъ* на большую, распустится въ немъ, станетъ двигаться какъ одинъ изъ его слоевъ, или, какъ одна изъ его частныхъ областей.

Но если движеніе частицъ къ средоточію достаточно, чтобъ противудѣйствовать паденію, но недостаточно, чтобъ совсѣмъ пересилить стремленіе частицъ къ средоточію большой сферы, тогда, повинаясь двумъ движеніямъ, шаръ нашъ будетъ кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться съ пути или упасть къ его центру. И то, и другое можетъ случиться, но намъ для нашей цѣли слѣдуетъ взять такое отношеніе сферъ, въ которомъ онѣ уравниваются на постоянномъ движеніи одной около другой.

Но всѣ частицы вещества, составляющаго воздушный шаръ, несущійся около средоточія, внѣ его находящагося, одинаково ринуты въ движеніе. Слои ближе къ его зерну вертятся медленнѣе, у самаго центра все покойно, быстрота, разумѣется, возрастаетъ съ удаленіемъ отъ него и всего больше на поверхности. Простой опытъ мячика, привязаннаго на бечевкѣ, который вы станете кружить, даетъ наглядное представленіе.

Сверхъ того, и на самой поверхности не всѣ точки двигаются съ равной скоростью, потому что не всѣ подвергаются одинаковой близости къ большой сферѣ, около которой двигается меньшая. Наибольшее движеніе будетъ на томъ поясѣ, который всего ближе къ большой сферѣ, туда и будетъ притекать наибольшее частицъ. Въ силу этого разнаго движенія, мы можемъ опредѣлить такую линію, около которой шаръ будетъ обращаться, какъ около своей *оси*.

Съ своей стороны постоянное притеченіе частичекъ къ поясу наибольшаго движенія должно измѣнить шарообразную форму, —

она сплюснется у полюсовъ, т. е., у концовъ *оси*, и увеличится у пояса, ближайшаго къ внѣшнему средоточію.

Но чѣмъ далѣе частицы отъ зерна, тѣмъ слабѣе ихъ связь съ нимъ, а такъ какъ и движеніе тамъ всего сильнѣе, то подъ его вліяніемъ поясъ можетъ, наконецъ, сорваться или, лучше, расчлениваться съ общей массой, продолжая увлекаться ея движеніемъ, уже не какъ ея слоемъ, а въ видѣ обруча. За нимъ можетъ отдѣлиться другой, третій и т. д., тогда плотность всей сферы сдѣлается, такъ сказать, полосатой въ отношеніи къ густотѣ гораздо изрѣженнѣйшей между обручами, гораздо плотнѣйшей въ нихъ самихъ.

При крутомъ и стремительномъ движеніи обручей, они сами могутъ разорваться, и тогда,—одна часть дуги отставая, а другая напирая на нее, онѣ могутъ собраться, сжаться въ одинъ или нѣсколько комковъ, обращающихся около общаго центра своей сферы и увлекаемыхъ съ нею около средоточія большой сферы; въ каждомъ расчленившемся обручѣ или кольцѣ снова повторятся тѣ же явленія.

При этихъ отдѣленіяхъ обручей, при ихъ распаденіяхъ на шары должны были остаться свободныя частицы, уносимыя общимъ потокомъ и которыя, въ свою очередь, льнутъ къ тѣмъ или другимъ шарамъ, больше и больше сгущая ихъ. Самое образованіе обручей было сгущеніемъ, но сгущаться значитъ *разогрѣваться*; чѣмъ больше накаливались частныя центры, тѣмъ сильнѣе стремились отъ нихъ частицы, поднимаясь къ окружности. Такимъ образомъ зерно, вмѣсто того, чтобъ дѣлаться плотнѣе и плотнѣе, становилось все жиже и жиже, истощаясь своимъ лучезарнымъ разсѣяніемъ частицъ.

Такое средоточіе—наше солнце; его расчленившіеся обручи—планеты нашей системы, ихъ отдѣлившіеся обручи въ свою очередь составили ихъ спутниковъ, какъ луна, или остались обручами, какъ кольцо Сатурна.

Вся солнечная система имѣетъ свое общее движеніе около одного изъ своихъ созвѣздій. Представляетъ ли это созвѣздіе общее средоточіе, или само обращается около чего-нибудь? Наверно послѣднее. Мы слишкомъ бѣдны, чтобъ доказать это опытомъ, наши періоды наблюденій слишкомъ ограничены и слишкомъ малы, но нелѣпость средоточія чего-нибудь безконечнаго такъ же очевидна, какъ означеніе года, дѣлящаго на двѣ равныя эпохи вѣчность. Общаго средоточія движенія не можетъ быть, оно не въ духѣ природы... Все носится другъ около друга; одни центры исчезли, послуживши причиной движенія; другіе возникаютъ, приставая къ той или другой системѣ, или перетягивая къ себѣ.

Такъ это и наша солнечная система когда-нибудь перестанетъ существовать?—Непремѣнно. Одна изъ причинъ бросается въ глаза,—это постоянное истощеніе солнца; оно уже и теперь не можетъ производить новыхъ планетъ, обручи не отдѣляются отъ него, но оно продолжаетъ на огромное пространство до Сатурна грѣть и свѣтить, не получая топлива снаружи; силы солнца также сочтены, придетъ время, когда воздушный очагъ потухнетъ.

Что касается до возникновенія новыхъ небесныхъ тѣлъ, мы можемъ слѣдить за образованіемъ и ростомъ плотной части *туманныхъ пятенъ* и кометъ, такъ, какъ можемъ изучать по обитателямъ Новой Зеландіи начала стадной жизни людской.

На этомъ мы остановимся. Мнѣ хотѣлось въ этомъ опытѣ только показать, какъ изъ легкаго химическаго опыта и изъ самыхъ элементарныхъ понятій механики и физики, что тѣла, сжимаясь, нагрѣваются, что воздухообразныя частицы стремятся занимать больше пространства, что есть такія соединенія веществъ, при которыхъ соединенное тѣло становится плотнѣе соединяемыхъ,—*есть возможность* объяснить всемірныя явленія, не вводя никакихъ фокусовъ, никакихъ спрятанныхъ колдуновъ, не отводя глазъ. Цѣль моя будетъ совершенно достигнута, если мой опытъ возбудитъ умственную дѣятельность и желаніе ближе узнать то, что едва обозначено въ немъ. Одного желать бы я безмѣрно, чтобъ вы замѣтили коренную *разницу* этого приѣма съ обыкновеннымъ риторико-теологическимъ.

Въ этомъ сжатомъ очеркѣ я старался до того сберечь чистоту вашего воображенія, что не употреблялъ, какъ ни было мнѣ это трудно, такихъ словъ, какъ *притяженіе*, *тяготѣніе*, *центробѣжная* и *центростремительная* сила, которыми для краткости выражаютъ общія причины всѣхъ явленій, вслѣдствіе которыхъ частицы соединяются, влекутся къ другимъ, кружатся, и проч. Я боялся ихъ употреблять и предпочелъ передавать факты, не означая ихъ именемъ, потому что незнакомыя названія съ условнымъ собирательнымъ смысломъ замѣняютъ очень часто объясненіе, останавливаютъ вопросы; произнося слово, намъ кажется, что мы знаемъ его смыслъ, что мы опредѣляемъ самую причину, въ то время, какъ мы *только ее называемъ*.

Мы смѣемся съ Мольеромъ надъ шуткомъ, который объясняетъ свойство ревеня тѣмъ, что онъ имѣетъ *слабительную* силу, и въ то же время довольствуемся тѣмъ, что частицы веществъ соединяются вслѣдствіе *силы сцѣпленія*.

А что такое сила сцѣпленія? Опять колдовство, только въ другой формѣ, переведенное съ мистическаго языка на языкъ науки, переодѣтое изъ монашеской рясы въ докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы какъ знаки, это стропилы, вѣхи по дорогѣ къ истинѣ, а не сама истина «взаправду», какъ говорятъ дѣти.

Явленія, ожидающія насъ, если мы будемъ продолжать наши бесѣды, становятся опредѣленнѣе и вводятъ насъ въ сферы больше живыя. Мы видѣли, что съ сжатіемъ является теплота, съ теплотой свѣтъ, при ихъ посредствѣ разсѣяныя частицы вещества обнаруживаютъ больше и больше дѣйствій другъ на друга (химизмъ), съ теплотой и химизмомъ неразлучно электричество, а тутъ является и кристаллизація, и органическая клѣтчатка, а съ ними все животное царство и человѣкъ.

Разговоры съ дѣтьми.

I.

Пустые страхи.—Вымыслы.

Желаніе узнать причины, какъ что дѣлается возлѣ насъ, совершенно естественно человѣку въ каждый возрастъ. Это всякій испыталъ на себѣ. Кому не приходило въ голову въ ребячествѣ, отчего дождь идетъ, отчего трава растетъ, отчего иногда мѣсяць бываетъ полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба въ водѣ можетъ жить, а кошка не можетъ?.. Людямъ такъ свойственно добираться до причины всего, что дѣлается около нихъ, что они лучше любятъ выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знаютъ, чѣмъ оставить ее въ покоѣ и не заниматься ею.

Такого любопытства *знать*, что и какъ дѣлается, звѣри не имѣютъ. Звѣрь бѣгаетъ по полю, ѣстъ, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумаетъ, почему онъ бѣгаетъ, и отчего онъ можетъ бѣгать, откуда взялся съѣстной припасъ, который онъ ѣстъ. А люди всѣмъ этимъ заботятся.

Посмотрите, что изъ этого выходитъ. Чѣмъ больше вещей человѣкъ знаетъ и чѣмъ короче, подробнѣе онъ ихъ знаетъ, тѣмъ больше у него власти надъ ними. Звѣри съ ихъ умомъ несовершеннымъ и маленькіе дѣти съ ихъ незнаніемъ,—всею слабѣе и беспомощнѣе. Не думайте, что дѣти только потому слабы, что они малы: слонъ при всемъ своемъ ростѣ сдѣлаетъ не больше ребенка во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя взять ни массой, ни мышцами.

Когда человѣкъ хочетъ что-нибудь сдѣлать, онъ прежде долженъ знать свойство вещей, изъ которыхъ ему приходится что-нибудь сдѣлать. Вещи сами по себѣ очень послушны, но слушаются онъ человѣка и настолько исполняютъ его волю, насколько онъ умѣетъ приказывать имъ, то есть, насколько онъ ихъ *знаетъ*.

Вещи не *въ самомъ дѣлѣ* слушаются человѣка или противудѣйствуютъ ему. Это такъ говорится для краткости, вещамъ до человѣка дѣла нѣтъ, онѣ очень равнодушны къ своей судьбѣ и продолжаютъ существовать—рудю, слиткомъ, червонцемъ, кольцомъ на пальцѣ, какъ случится, у нихъ нѣтъ ни цѣли, ни намѣренія, ни воли. Рѣка течетъ,—течетъ потому, что земля поката, а не потому, что ей хочется течь. Человѣкъ ставитъ плотину,—такъ какъ водѣ все равно, то она перестаетъ течь и наливается. Насколько человѣкъ знаетъ силу воды, силу плотины, вышину береговъ и другія условія, настолько онъ можетъ заставлять воду, дѣлая *свое дѣло*,—исполнять *его волю*: вертѣть колеса, пилить бревна, орошать луга, подымать барки. Изъ этого вы ужъ видите, что мы настолько умѣемъ управлять природой или вещами, насъ окружающими,—*насколько ихъ знаемъ*, направляя однѣ противъ другихъ или соединяя ихъ по ихъ свойствамъ.

Вы хотите отрѣзать сучекъ отъ дерева и сдѣлать изъ него трость. Вы берете ножъ, т. е., кусокъ желѣза, такимъ образомъ сплавленной, выкованной, отточенной, что одна сторона его остра, и начинаете отрѣзывать, зная, что растительныя волокна не могутъ удержаться противъ желѣза.

Такимъ точно образомъ человѣкъ поступаетъ и въ самыхъ сложныхъ своихъ дѣлахъ, въ хлѣбопашествѣ и другихъ работахъ.

Совсѣмъ напротивъ, чего мы не знаемъ, то не только не въ нашей волѣ, но скорѣе мы въ его волѣ, *оно насъ тѣснитъ*. Люди по большей части боятся того, чего не знаютъ, потому что отъ него трудно защищаться.

Вотъ тутъ-то и случается, что люди лучше выдумываютъ ложную, мнимую причину, чѣмъ остаются въ безоружномъ невѣдѣніи. Принимая ложную причину за знаніе, за пониманіе, вѣря ей, они обманываютъ себя и думаютъ, что овладѣли страшнымъ явленіемъ.

Возьмите для примѣра *грозу* и посмотримъ, въ какомъ отношеніи къ грозѣ находились люди въ младенческомъ состояніи и въ какое перешли въ болѣе образованномъ.

Люди были поражены блескомъ молніи, раскатомъ грома, они видѣли зажженные деревья, убитый скотъ, убитыхъ людей, и потомъ снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разяснялось. Въместо того, чтобъ добираться до причины, слышать, обдумывать, они вотъ какъ рассуждали: «Мы слышали трескъ и громъ, стало-быть, *кто-нибудь гремитъ*», и они стали искать, (тутъ-то вся ошибка), не *что* гремитъ, а виноватаго. Гремитъ наверху, молнія падаетъ сверху, стало-быть, *громовержецъ* живетъ наверху. Черныя тучи, мрачное небо показываютъ, что онъ сер-

дится; на кого? Конечно, всего больше на тѣхъ, кого убиваетъ.

Что же дѣлать и какъ умиловать этого свирѣпаго громовержца? Униженіемъ, бросаясь на колѣни, моля о пощадѣ. Такъ люди дѣлали тысячелѣтія, и имъ въ голову не приходило, что громовержець бьетъ безсмысленно, скалы и деревья, которыя не могутъ быть виноватыми, барановъ и воловъ, мирно пасущихся, и изъ людей убиваетъ не худшихъ, а такъ—кто попадется; это объясняли тѣмъ, что громовержець дѣлаетъ это для острастки, чтобы виновные трепетали, а прочіе знали бы его мощь. И эдакого-то безсмысленнаго и безжалостнаго чудака хотятъ умолить красными словами, поклонами и взятками. А все это дѣлается только для того, чтобъ заглушить страхъ передъ неизвѣстной опасностью.

Помните вы греческое вѣроисповѣданіе,—у нихъ на все былъ свой Бука или своя Баба-яга, для моря и огня, для неба и земли. И серьезные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь въ море,—ходили перетолковать объ этомъ съ мѣдной куклой, дѣлали ей обѣщаніе принести въ жертву куръ и телятъ, повѣсить въ ея храмъ свое платье, если кукла пошлетъ хорошую погоду во время плаванія.

Мы смѣемся надъ ихъ морскимъ богомъ, развѣзжающимъ въ раковинѣ на четверкѣ дельфиновъ, съ трезубцемъ въ рукѣ, такъ, какъ вы смѣетесь надъ куклами, съ которыми вы, бывало, разговаривали какъ съ живыми, укладывали ихъ спать, давали имъ лекарства,—вѣдь, вамъ и тогда чувствовалось, что онѣ не живыя, да хотѣлось вѣрить, вы и вѣрили. Но мало-по-малу вашъ умъ крѣпнулъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ сталъ брать верхъ надъ дѣтскимъ воображеніемъ, вамъ меньше и меньше казалось вѣроятнымъ, что кукла больна или спитъ. Такъ жили цѣлыя народы—до тѣхъ поръ, пока знаніе природы не побѣдило ихъ мечтаніе объ ней.

Когда люди приобрѣли больше опытности и свѣдѣній о природѣ, они пошли и въ дѣлѣ грома и молніи инымъ путемъ; вмѣсто того, чтобъ спрашивать, кто гремитъ, стали наблюдать что гремитъ, и мало-по-малу, сличая разныя явленія, доискались до причины; а найдя ее, стали обороняться отъ нея, уже не молитвами и колѣнопреклоненіемъ, не курами и свѣчами, принесенными на жертву, а снарядами, называемыми *громоотводами*.

Точно такъ дѣйствуетъ знаніе во всѣхъ другихъ вещахъ и предметахъ: вездѣ освобождаетъ оно насъ отъ страха, а гдѣ не можетъ освободиться отъ зависимости,—тамъ учитъ насъ избѣгать вредныхъ дѣйствій.

Прежде, чѣмъ мы пойдѣмъ дальше, я вамъ расскажу, какъ въ дѣтствѣ я самъ освободилъ себя отъ одного изъ *пустыжъ страховъ*. У меня, по правдѣ сказать, ихъ было немного,—однако-жъ не былъ и я совсѣмъ свободенъ отъ нихъ. Нянюшки натолковали и мнѣ о всякихъ чудесахъ, о томъ, какъ домовый приходитъ по ночамъ въ конюшню и ѣздитъ верхомъ на лошадахъ, и какъ кучеръ противъ этого въ стойлѣ держитъ козла. Лѣтъ двѣнадцати я сталъ съ ними спорить и, разумѣется, разубѣдить ихъ не могъ.

Бѣдные люди эти обречены на темную жизнь невѣдѣнія и тяжкую работу, имъ недосугъ учиться, недосугъ думать, ихъ досугомъ пользуемся мы; и если свѣтъ до нихъ не доходитъ, то мы не должны забывать, что *мы* имъ застимъ его. А осуждать ихъ—большое преступленіе; къ тому же гораздо удивительнѣе, что люди ученые и образованные разсуждаютъ иной разъ не лучше ихъ и что большая часть ихъ вѣрить въ такого или другого домового и имѣть въ конюшнѣ или дома своего *козла* противъ него.

Мнѣ было лѣтъ двѣнадцать, жили мы лѣтомъ въ деревнѣ. За нашимъ домомъ былъ оврагъ, заросшій соснякомъ и ельникомъ; оврагъ этотъ шелъ, огибая поля, къ двумъ-тремъ курганамъ, тоже покрытымъ большимъ сосновымъ лѣсомъ. Курганы эти, вѣроятно, были насыпаны надъ могилами падшихъ воиновъ въ древнія времена.

Тамъ раза два отрывали совсѣмъ перержавшіе доспѣхи, въ преданіяхъ у крестьянъ осталось темное воспоминаніе какого-то сраженія. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщинъ и говорить нечего, ни одна, ни за что на свѣтѣ, не пошла бы туда послѣ сумерекъ—не оттого, чтобъ онѣ боялись волковъ, это было бы естественно, а оттого, что боялись какихъ-то *духовъ*.

Дворовые люди наши, разумѣется, не меньше ихъ вѣрили въ эти чудеса. Я спорилъ съ ними, смѣялся надъ ихъ трусостью.

— Да вы, вмѣсто того чтобъ говорить, сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ, сами бы ночью сходили.

— Я охотно пойду.

— Когда?

— Сегодня, когда у насъ всѣ улягутся...

— А какъ же знать, до которыхъ мѣстъ вы дойдете?

— У большой сосны возлѣ перваго кургана лежитъ лошадинъ черепъ.

— Помню.

— Ну, такъ я принесу его.

Пространство, которое мнѣ приходилось пройти, врядъ было ли всего больше полутора или двухъ верстъ, изъ которыхъ по-

ловина шла полемъ. Пока было видно освѣщенное окно нашего дома и я не покидалъ тропинки, я шелъ себѣ спокойно, пощѣвая пѣсни для большей храбрости, но когда взошелъ въ лѣсъ, мнѣ тоже стало очень страшно. Чего мнѣ было страшно, не знаю; но сердце билось и ноги такъ невѣрно ступали, когда я цѣплялся за сучья, что въ ту же пору хотъ бы и воротиться. Но я переломилъ свой страхъ, дошелъ до черепа, взялъ его на палку и побѣжалъ домой.

Человѣкъ нашъ хотя и похвалилъ меня, но все же не убѣдился, а говорилъ мнѣ, что «иногда и ничего не бываетъ, а иногда и бываетъ».

На другую, на третью ночь я уже ходилъ туда безъ всякаго посторонняго повода,—и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацѣпляясь за хвойныя вѣтви. Вотъ какъ проходятъ пустыя страхи.

Но чего же собственно наши люди и крестьяне боялись на курганахъ? Того, чего люди обыкновенно боятся въ присутствіи мертвѣго тѣла, на кладбищѣ. Они боятся, что покойникъ *не въ самомъ дѣлѣ умеръ*, а что онъ *раздвоился какъ-то*—тѣло само по себѣ, а жизнь этого тѣла *сама по себѣ*. Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что въ этомъ есть что-то *нелѣпное*. А то чего же бы бояться? Люди сами хотятъ жить послѣ смерти, скорбятъ и оплакиваютъ, когда кто-нибудь умретъ, стало-быть, слѣдовало бы радоваться, что души усопшихъ уцѣлѣли и являются къ намъ!

Духъ безъ тѣла страшенъ невообразимой нелѣпностью своей; до того страшенъ, что человѣкъ обыкновенно придумываетъ ему или чудовищное *тѣло*, или неестественно красивое.

Вы, вѣрно, видали изображеніе длинныхъ, исхудалыхъ, завернутыхъ въ бѣлые саваны мертвецовъ, съ дырами вмѣсто глазъ. Видали вы, вѣрно, также и маленькія кудрявыя головки, нарисованныя безъ туловища съ двумя-четырьмя крылышками, прикрѣпленными къ задней сторонѣ нижней челюсти или къ первому шейному позвонку. Само собою разумѣется, что ни скелетъ въ холстинѣ, ни голова безъ груди, необходимой для дыханія, и безъ живота, необходимаго для пищеваренія, не только не могутъ понимать и говорить, но просто не могутъ жить. Несмотря на то, людямъ легче воображать эти нелѣпости, чѣмъ живой *духъ*, т. е., живой *воздухъ*, газообразную личность, безъ всякихъ жидкихъ и густыхъ частей. Это до такой степени нелѣпо, что человѣкъ отпрядываетъ отъ безтѣлеснаго духа къ уродливымъ вымысламъ.

На это, пожалуй, вамъ скажутъ, что *духи* могутъ имѣть воз-

душное или эфирное тѣло, незримое нашими глазами, тонкое, легкое и прозрачное.

На земной планетѣ такихъ нѣтъ, а если-бъ они гдѣ-нибудь и были, то съ умершими людьми они ничего общаго не имѣютъ. Къ тому же не думайте, что въ самомъ дѣлѣ *прозрачность* и воздушность—что-нибудь высшее. Если-бъ человекъ могъ сдѣлаться жиже, еще жиже и, наконецъ, совсѣмъ прозрачнымъ, онъ отъ этого сталъ бы только хуже. Хорошая кровь густа и хорошій мозгъ густъ, хорошіе мускулы упруги, воздушные мускулы не могли бы служить; газовымъ мозгомъ нельзя было бы думать.

Невидимыхъ для простого глаза животныхъ бездна, всѣ наливчатая животныя; но они, хотя и малы, не состоятъ же изъ одного воздуха или изъ одной жидкости; у нихъ есть свои оболочки, очень тонкія, но которыя оставляютъ послѣ себя известку или мѣлъ. Ихъ прозрачность сопряжена съ самой бѣдной степенью жизни: для того, чтобъ жизнь мухи или осы была возможна, тѣлу животному надобно было очень много погустѣть, потерять своей прозрачности и мѣстами окрѣпнуть, какъ крылья жука или ноги кузнечика.

Тѣло всякаго животнаго—червя, слона, человекъ—дѣлается изъ окружающихъ припасовъ ѣдой и дыханіемъ. На это ему нужны части твердыя, жидкія и воздухообразныя. Пока онѣ вмѣстѣ работаютъ и ни одна не беретъ верха—*жизнь* продолжается. Если у животнаго отнять твердыя оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся въ его сосудахъ, прольется, газы, въ ней заключающіеся, испарятся, разсѣются, твердыя части вывѣтрятся, засохнутъ, сдѣлаются черноземомъ, известковой землей.

Общее дѣло (жизнь) твердыхъ, жидкихъ и воздухообразныхъ веществъ, пока они продолжаютъ пищевареніе, нельзя отдѣлить отъ этихъ частей (т. е., отъ тѣла); такъ, какъ нельзя линію—границу двухъ площадей—отдѣлить отъ площадей, не на чертежѣ, а въ самомъ дѣлѣ.

Объяснить это *общее дѣло*, задерживающее въ извѣстномъ видѣ и въ извѣстной дѣятельности части тѣла,—задача трудная; но путь къ ея разрѣшенію очевиденъ—*физиологія и химія*.

Неполное знаніе не даетъ права на произвольныя предположенія. Мы сейчасъ видѣли, до какихъ нелѣпостей люди доходили въ своемъ объясненіи грома; повторять такія ошибки непростительно.

Вымыслы не только отдаляютъ пониманіе, но забываютъ самую возможность правильно поставить вопросъ; въ манерѣ спрашивать видно, что сдѣланный вопросъ впередъ рѣшенъ.

Такъ, вопросъ: *можетъ ли душа существовать безъ тѣла?* заключаетъ въ себѣ цѣлое нелѣпое разсужденіе, предшествовавшее

ему и основанное на томъ, что душа и тѣло двѣ разныя вещи. Что сказали бы вы человѣку, который бы васъ спросилъ: можетъ ли черная кошка выйти изъ комнаты, а черный цвѣтъ остаться? Вы его сочли бы за сумасшедшаго,—а оба вопроса совершенно одинакіе. Само собою разумѣется, тотъ, кто можетъ себѣ представить черный цвѣтъ, оставленный кошкой, или ласточку, которая летаетъ безъ крыльевъ и легкихъ, тому легко представить себѣ *душу* безъ тѣла, такое *цѣлое*, котораго части *уничтожены*... А затѣмъ, почему ему и не бояться на кладбищѣ или на курганѣ встрѣчи съ давноумершими, ходящими безъ мускуловъ однѣми костями, говорящими безъ языка.

Есть люди, которые, безъ малѣйшаго основанія, говорятъ, что души умершихъ отправляются на *другія планеты*; это понятъ не легче.

Какъ же это онѣ поднимаются въ океанѣ кислорода и селитро-рода, не окислившись въ немъ или не соединяясь съ водородомъ, углеродомъ? Но душа не имѣетъ *химическихъ* свойствъ. Какія же? *Физическія?*—нѣтъ. *А двигается?*

Предметъ, не имѣющій ни физическихъ, ни химическихъ свойствъ, безъ формы, безъ качества и количества, мы называемъ несуществующимъ, т. е., *ничѣмъ*.

Тутъ прибѣгаютъ обыкновенно къ сравненію съ электрической искрой; но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, въ ней нельзя предположить сознанія, а, вѣдь, это—*главное*, чего хотятъ въ душѣ, отрѣшенной отъ тѣла. Чтобъ сознать себя, нельзя быть ни твердымъ какъ камень, ни жидкимъ какъ вода, ни изрѣженнымъ какъ воздухъ,—надобно быть *студенемъ или кашей, какъ мозгъ*.

На первой случай, я думаю, есть о чемъ вамъ подумать и поговорить съ вашими товарищами и учителями, если только они не бояться *домового* и не держать *козла*.



Примѣчанія.

Стр. 1. Посвященіе Н. П. О—у относится къ другу Герцена Николаю Платоновичу Огареву. Эпиграфъ взятъ изъ драмы „Корреджіо“ (переведенной на русскій языкъ въ журналѣ „Вѣкъ“ 1882 г.) знаменитаго датскаго поэта Адама Эленшлегера (род. 1778, ум. 1850).

— Лютеръ и Вегнеръ—хозяева виннаго погреба, гдѣ проводилъ вечера Гоффманъ.

Стр. 2. Захарія Вернеръ (1768—1823), извѣстный нѣмецкій романтический поэтъ и драматургъ. Его лучшія трагедіи „Аттила“ и „24-е февраля“ переведены на русскій языкъ.

Стр. 3. Абель-Франсуа Вильменъ (1790—1870), французскій историкъ литературы, былъ профессоромъ въ Сорбоннѣ, академикомъ и министромъ народнаго просвѣщенія.

Стр. 6. Огюстенъ Тьерри (1795—1856) считается основателемъ генетической и живописной школы въ исторіи. Главныя его сочиненія: „Письма объ исторіи Франціи“, „Исторія завоеванія Англіи норманнами“ и „Разказы о временахъ Меровинговъ“ переведены на русскій языкъ. Къ первому изъ русскихъ переводовъ „Разказовъ“ Герценъ написалъ предисловіе (см. стр. 26—30 этого тома).

Стр. 8. Августъ-Вильгельмъ Иффландъ (1759—1814), славившійся въ свое время нѣмецкій актеръ и драматическій писатель.

— Новалисъ, псевдонимъ Фридриха Гарденберга (1772—1801), нѣмецкаго поэта романтической школы.

— Людвигъ Тикъ (1773—1853), представитель и основатель романтической школы въ Германіи, поэтъ, беллетристъ и критикъ.

Стр. 15. Нѣкоторыя сочиненія Гоффмана по-русски переводились по нѣ-

сколько разъ; собраніе же сочиненій (неполное) издано въ 8 томахъ Пантелевымъ (Спб., 1896—99).

Стр. 16. Эта „Рѣчь“ была издана отдѣльной брошюрой (Вятка, 1837), а затѣмъ много лѣтъ спустя, была перепечатана въ „Вятскихъ Губ. Вѣд.“ (1862 г., 21 апрѣля, № 16), „Сѣверной Пчелѣ“ (1862 г., 9 мая, № 124), „Сынѣ Отечества“ (1862 г., 10 мая, № 112) и „Московскихъ Вѣд.“ (1862 г., № 102, 12 мая). Мнѣніе о ней самого Герцена см. VI т., стр. 332, „Личное объясненіе“.

Стр. 19 и 22. „Отдѣльныя мысли“ и „Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ“ писаны въ Вяткѣ; они собственноручно занесены Герценомъ въ ту тетрадь, въ которой находятся „Легенда“ и обѣ „Встрѣчи“, и которая теперь хранится въ рукописномъ отдѣленіи Румянцовскаго музея въ Москвѣ. Впервые они были напечатаны Е. С. Некрасовой въ „Рус. Стар.“ за 1889 г., январь, стр. 174 и сл.; здѣсь текстъ ихъ исправленъ по подлиннику.

Стр. 20. Эдгаръ Кинэ, французскій историкъ (1803—1875). Былъ дѣятельнымъ бойцомъ противъ ультрамонтанства; во время второй имперіи жилъ въ изгнаніи. Главныя его труды: „Духъ религій“, „Иезуиты“, „Исторія революціи“, „Кампанія 1815 г.“, „Твореніе“, „Новый духъ“ и др.

Стр. 21. Джамбатиста Пиранези (1720—1778), итальянскій художникъ, рисовавшій и гравировавшій преимущественно римскія развалины и древности.

Стр. 26. Это „Предисловіе“ было напечатано въ „Отеч. Запискахъ“ 1841 г., № 4 (томъ XIV, отдѣлъ II, стр. 45—48). Подписана была статья псевдонимомъ: *Искандеръ*.

— Викторъ Кузенъ (1792—1867), французскій философъ, сочиненія ко-

того отличаются эклектичным характером и не имѣют самостоятельнаго философскаго значенія.

Стр. 27. Баптистъ-Онорэ Капфигъ (1802—1872), плодовитый французскій писатель, историческіе труды котораго—плохія компіляціи, не имѣющія самостоятельнаго значенія.

— Графъ Анри Буленвиле (1658—1722) написалъ много историческихъ сочиненій, въ которыхъ восхвалялъ старую феодальную систему.

—Аббатъ Габріэль Мабли (1709—1785), французскій писатель-утопистъ, рѣзко отвергавшій современное ему социальное устройство общества. Главные, его труды: „Observations sur l'histoire de France“ и „Doutes proposés aux économistes“.

Стр. 29. Григорій Турскій (539—593), былъ епископомъ города Тура; написалъ исторію франковъ.

— Жанъ Фрусаръ (1333—1401), французскій историкъ, написавшій „Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Bretagne“, заключающія богатый матеріалъ для исторіи XIV столѣтія.

Стр. 30. Фредегонда (ум. 597), жена франкскаго короля Хильперика изъ династіи Меровинговъ. Извѣстна борьбой съ своею соперницей Брунегильдой.

Стр. 31. Статья „По поводу одной драмы“ была напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1843 г., № 8 (томъ XXIX, отдѣлъ II, стр. 96 и слѣд.) за подписью: *Ис—ръ*.

Стр. 39. Подъ „Робертомъ“ подразумѣвается опера Мейербера „Робертъ Дьяволъ“.

— Арнуи Фурнье (Arnoulet Fournier)—драматурги и романисты 40-хъ годовъ, работавшіе по большей части вдвоемъ.

Стр. 48. Беттина или Елизавета Арнимъ (1788—1859), нѣмецкая писательница, извѣстная своею дружбой съ Гёте и перенесенной съ нимъ.

Стр. 49. Пьеръ Врантомъ (1540—1614), французскій воинъ и авторъ знаменитыхъ мемуаровъ, названныхъ имъ „Vies des hommes illustres“.

Стр. 56. Хоревъ-Мира, чрезвычайный посланникъ, посланный Персіей въ Петербургъ, чтобы извиниться за убійство Грибѣдова.

Стр. 58. „Фиделіо“—опера Бетховена.

Стр. 65. Статья „Дилетантизмъ въ наукѣ“ была первоначально напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1841 г., №№ 1, 3 и 5 (томъ XXVI, стр. 31—42, томъ XXVII, стр. 27—40 и томъ XXVIII, стр.

1—16 отдѣла II-го) за подписью: *И—ръ*. Была затѣмъ перепечатана въ книгѣ „Раздумье“ (Спб., 1870).

Стр. 84. Луи-Жакъ Тенаръ (1774—1857), французскій химикъ, открывшій перекись водорода и извѣстный многими научными работами въ области химіи.

— Жанъ-Батистъ Сэй (1767—1832), французскій экономистъ буржуазной школы, написавшій „Полный курсъ политической экономіи“.

Стр. 89. Браманте (собственно Донато д'Анджело)—итальянскій художникъ и архитекторъ эпохи Возрожденія (1444—1514), выстроившій храмъ св. Петра въ Римѣ.

Стр. 111. Распайль, Франсуа-Венсанъ (1794—1878), французскій политическій дѣятель и естествоиспытатель, принимавшій живое участіе въ революціи 1848 г., когда онъ принадлежалъ къ крайней революціонной партіи вмѣстѣ съ Бланки, Барбесомъ и Собриэ. Написалъ много научныхъ сочиненій по медицинѣ, химіи и физиологіи.

Стр. 115. Статья „Буддизмъ въ наукѣ“ была первоначально напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1843 г., № 12 (томъ XXXI, отдѣлъ II, стр. 57—74) за подписью *И—ръ*, а впослѣдствіи была перепечатана въ книгѣ „Раздумье“ (Спб., 1870).

— Генрихъ-Юлій фонъ-Клапротъ (1783—1835), извѣстный въ свое время ориенталистъ; по порученію с.-петербургской академіи наукъ производилъ изслѣдованія о Кавказѣ и коренномъ населеніи Азіи, результатомъ чего явилась рядъ цѣнныхъ его трудовъ на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ объ Азіи, ея исторіи и восточныхъ языкахъ.

Стр. 126. Атлантида—мифическій материкъ, будто-бы существовавшій въ доисторическое время къ западу отъ Африки. Единственное указаніе на преданіе объ Атлантидѣ встрѣчается у Платона (въ „Тимей и Критій“).

Стр. 129. Настоящимъ изобрѣтателемъ оделола былъ Жанъ-Марія Фарина (1685—1766), но подъ его именемъ и именемъ его наслѣдниковъ еще съ XVIII вѣка стали распространяться многочисленныя поддѣлки, которыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе увеличивались и росли.

— Карлъ-Теодоръ Байергоферъ (1812—1888), философскій писатель, строго и буквально державшійся въ своихъ сочиненіяхъ Гегеля.

Стр. 136. Первая изъ напечатанныхъ

здѣсь двухъ статей Герцена о знаменитомъ публичномъ курсѣ Грановскаго была помѣщена въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 27 ноября 1843 г. № 142. Попечитель, графъ Строгоновъ, къ которому Герценъ возилъ свою статью, разрѣшилъ напечатать ее въ „Моск. Вѣд.“, но подъ условіемъ, чтобы имя Гегеля не было упомянуто въ ней; второй же статьи Строгоновъ не разрѣшилъ помѣстить въ „Моск. Вѣдом.“ и она явилась въ „Москвитянинѣ“, въ июльской книгѣ за 1844 г.

Стр. 139. Генрихъ-Эбергардъ-Готлобъ Паулусъ (1761 — 1851), глава рационализма въ нѣмецкой геологической литературѣ. Нѣкоторыя его сочиненія и до сихъ поръ пользуются извѣстностью въ Германіи.

Стр. 147. Статья „Москвитянинъ и вселенная“ была напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1845 г., № 3, отдѣлъ VIII (смѣсь), стр. 48—51 (томъ XXXIX).

Стр. 148. Сэръ-Робертъ Пиль (1788—1850), англ. министр, отгнѣвившій хлѣбные законы и введшій въ Англію подоходный налогъ (incometax).

— Помаре, королева острововъ Отаити (1822 — 1877), отказавшаяся въ 1852 г. отъ престола.

— Благодаря французскому морскому офицеру (впослѣдствіи адмиралу) Арману-Жозефу Брюа (1796—1855) королева Помаре признала протекторатъ Франціи надъ управляемыми ею островами Отаити. Англійскій уполномоченный Причардъ, несмотря на всѣ свои усилія, не могъ этому помѣшать.

— М. Лихонинъ — бездарный стихотворецъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, сотрудничавшій въ „Москвитянинѣ“.

Стр. 152. Григ. Карп. Котошихинъ (или Кошихинъ) (1630—1667), подъячій посольскаго приказа, путешествовавшій въ Польшѣ и Пруссіи, казненный въ Стокгольмѣ за убійство, совершенное въ нетрезвомъ видѣ. Его сочиненіе „Россія въ царств. Алексѣя Михайловича“ (издано въ 1840 г.) драгоценное описание русскихъ нравовъ XVI в.

— Ив. Аван. Желябужскій жилъ въ XVII вѣкѣ и оставилъ о немъ цѣнное для того времени описание быта и нравовъ.

— Р. Гейманъ и К. К. Зедергольмъ были профессорами московскаго университета въ 40-хъ и 50-хъ годахъ; первый химій, а второй — философіи.

— Стефенсъ (Генрихъ) — нѣмецкій философъ и писатель (1773—1845).

Стр. 153. Статья „Умъ хорошо, а два лучше“ была напечатана въ Россіи въ первый разъ въ „Русской Старинѣ“ 1871 г., № 4, стр. 524. Тамъ эта статья отнесена къ 1846 году.

Стр. 157. Статья „Путевыя записки Вѣдрина“ представляетъ ѣдкую пародію на „Путевыя записки“ М. П. Погодина, печатавшіяся въ „Москвитянинѣ“.

— Петръ Ив. Кешенъ (1793—1865), археологъ, статистикъ и этнографъ, написавшій болѣе 130 сочиненій.

Стр. 161. „Письма объ изученіи природы“ печатались въ „Отеч. Запискахъ“ 1845 г. (№№ 4, 7, 8 и 11, отдѣлъ II, томъ XXXIX, стр. 81—118, XLI, стр. 1—35 и 73—95 и XLIII, стр. 1—28) и 1846 г. (томъ XLV, №№ 3 и 4).

— Генри-Томасъ Кольбрукъ (1765—1835), былъ первымъ санскритологомъ своего времени, положившимъ въ Европѣ начало изученію индійской литературы.

Стр. 174. Французскій математикъ и физикъ Габриэль Ламе (1796—1870) руководилъ, между прочимъ, устройствомъ дорогъ въ Россіи.

Стр. 177. Левкиппъ — греческій философъ, жившій въ концѣ VI и началѣ V в. до Р. X. и первый выдвинувшій атомистическую теорію, болѣе полно развитую затѣмъ Демокритомъ (жившимъ приблизительно между 460—360 гг. до Р. X.).

Стр. 181. Петръ Камперъ (1722—1789), голлан. врачъ и натуралистъ.

Стр. 182. Фридрихъ-Генрихъ Якоби (1743—1819), нѣмецкій философъ-романтикъ, въ своихъ сочиненіяхъ указывавшій на несостоятельность философіи и на прирожденную намъ вѣру, какъ единственную основу удовлетворенія запросовъ чедовѣческаго духа.

Стр. 183. Яковъ Бемъ (Беме), нѣмецкій мистикъ (1575—1624), по ремеслу сапожникъ, написалъ много мистическихъ и теософскихъ сочиненій.

Стр. 196. „Смерть Авеля“, идиллически-героическая поэма извѣстнаго въ свое время швейцарскаго поэта-идиллика Соломона Геснера (1730—1788), была переведена на русскій языкъ Д. И. Фонвизиннымъ.

Стр. 197. Альбрехтъ Геслеръ былъ около 1300 года намѣстникомъ германскаго императора въ швейцарскомъ кантонѣ Ури и, по народному сказанію (опозитивированному Шиллеромъ въ извѣстной драмѣ), за свою жестокость

былъ убитъ Вильгельмомъ Теллемъ въ 1807 г.

Стр. 202. Протагоръ (480—410 до Р. Х.), ученикъ Демокрита, обвиненный въ атензмъ, принужденъ былъ убѣжать изъ Аѳинъ. Первый назвалъ себя софистомъ. Изъ его сочиненій, сожженныхъ аѳинскими властями, до насъ дошли только отрывки.

Стр. 210. Анаксимандръ (610—546 до Р. Х.)—греческій философъ іонійской школы, учившій, что начало всѣхъ вещей „бесконечное“.

Стр. 213. Парменидъ—греческій философъ, глава элеватской школы, жившій въ V в. до Р. Х.

Стр. 231. Ксенофанъ Колофонскій, основатель элейской школы, греческій философъ, жившій въ VI в. до Р. Х.

Стр. 258. Порфирій (232—305), ученикъ Платона, философъ-неоплатоникъ, комментировавшій сочиненія Аристотеля и Платона, враждебный къ христіанству и видѣвшій цѣль жизни въ спасеніи души и въ аскетическихъ подвигахъ. Большая часть его сочиненій погибла.

— Плотинъ (205—270), философъ неоплатонической школы. Его ученіе представляетъ примиреніе греческой школы съ восточною и проповѣдуетъ слияніе, въ порывѣ экстаза, съ божествомъ души человѣка, очищенной и подготовленной къ тому добродѣтельной жизнью и совершеніемъ.

Стр. 261. Маркъ-Анній Луканъ (39—65), племянникъ Сенеки, римскій поэтъ, казненный Нерономъ. Лучшее его произведеніе—поэма „Фарсалия“.

Стр. 264 Стратонъ—философъ-перипатетикъ, жившій въ III в. до Р. Х. (ум. въ 270 г.), подводившій всѣ равнообразныя явленія міра подъ дѣйствіе слѣпныхъ силъ природы, не допуская въ ней разума.

— Іоаннъ-Теофилъ Буле (1763—1821), на „Исторію философій“ котораго ссылается Герценъ, былъ замѣчательнымъ философомъ и историкомъ въ свое время; былъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ (1804—1809), написалъ рядъ цѣнныхъ ученыхъ трудовъ, издавалъ „Московскія Ученыя Вѣдомости“ (1805—1807).

Стр. 275. Луциліо Ванини (1585—1619), итальянскій философъ, сожженный за критическое отношеніе къ религіи.

— Петръ Ломбардскій, знаменитый схоластикъ XII в. (ум. въ 1164 г.),

ученикъ Абеяра. Съ 1159 г. былъ парижскимъ епископомъ. Главное его сочиненіе „Sententiarum libri IV“ множество разъ комментировалось и пользовалось авторитетомъ до самой реформации; въ немъ, въ первый разъ на Западѣ, догматика была собрана въ одно систематическое цѣлое.

Стр. 277. Пьетро Помпонаций—итальянскій философъ (1462—1525), преподававшій въ Падуѣ и Болоннѣ перипатетическую философію, которую онъ старался освободить изъ-подъ вліянія авторитета церкви. Главное его сочиненіе „O бессмертіи души“.

Стр. 286. Іоаннъ-Генрихъ Юнгъ, прозванный Штиллингомъ, извѣстный писатель-мистикъ (1740—1817), сочиненія котораго были очень распространены и переводились и на русскій языкъ.

Стр. 288. Арнольдъ Брешианскій—итальянскій проповѣдникъ XII в., ученикъ Абеяра, противникъ свѣтской власти духовенства. Съ 1146 г. 10 лѣтъ громилъ, поддерживаемый народомъ, папство, добиваясь восстановленія римской республики. Въ 1155 г. былъ повѣшенъ по приказанію папы Адриана IV.

Стр. 293. Іоаннъ-Эдгардъ Эррманъ (1805—1892), нѣмецкій ученый, написавшій рядъ основательныхъ трудовъ по исторіи древней и новой философіи.

Стр. 296. Генри Моръ (или, какъ онъ названъ у Герцена, Генрихъ Морусъ) былъ англ. философъ XVII в. (1614—1687), проф. богословія и философіи камбриджскаго университета. Держался въ философіи неоплатоновскаго мистицизма, а въ естествознаніи былъ послѣдователемъ Парацельса.

Стр. 303. Графъ Жозефъ де-Местръ (1754—1821), французскій писатель, проповѣдовавшій въ своихъ сочиненіяхъ рѣзкій церковный абсолютизмъ и возвращеніе къ средневѣковой власти папъ. Въ 1803—17 гг. былъ сардинскимъ посланникомъ въ Петербургѣ, а ватѣмъ министромъ въ Сардиніи.

Стр. 326. „Послѣдующія письма“, о которыхъ говорить Герценъ, не были имъ написаны.

Стр. 332. Антуанъ Барнавъ (1761—1793), франц. революционеръ, замѣчательный ораторъ національнаго собранія 1789 г. и защитникъ Лафайета. Влюбившись въ Марію-Антуанетту, при начавшемся террорѣ онъ сталъ защищать королевскую семью и былъ казненъ.

Стр. 337. Статья „Публичныя чтенія г-на профессора Рулье“ была напечатана въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, 1845 г., № 147 и 148.

Стр. 341. Зоологъ Карлъ Францовичъ Рулье (1814—1858), былъ профессоромъ московскаго университета, основалъ и редактировалъ (1854—57) журналъ „Вѣстникъ Естеств. Наукъ“.

Стр. 347. Т. П. Пассекъ рассказываетъ въ своихъ запискахъ, не указывая года, что эта реклама была написана Герценомъ по просьбѣ К. И. Зюльенберга, долгое время состоявшаго при немъ, а раньше—при Огаревѣ, чѣмъ-то въ родѣ дядьки (о немъ—подробно въ „Быломъ и Думахъ“); она же дважды напечатала эту шутку: сначала отдѣльно въ „Рус. Стар.“, 1874 г., т. IX, стр. 401—6, затѣмъ въ своихъ запискахъ „Изъ дальнихъ лѣтъ“, т. II, стр. 113—8. По ея словамъ, реклама впервые была напечатана въ „Сѣверной Пчелѣ“ и тотчасъ перепечатана въ прибавленіяхъ къ „Русскому Инвалиду“ (такъ сказано въ „Рус. Стар.“, въ запискахъ же она указываетъ обратный порядокъ сначала „Инвалидъ“, потомъ „Пчела“), но это, повидимому, невѣрно; по крайней мѣрѣ, мы не нашли рекламы ни въ „Инвалидѣ“, ни въ „Пчелѣ“: она напечатана, какъ указалъ уже М. А. Веневитиновъ („Рус. Стар.“ 1888 г., июнь, стр. 702) въ „Отеч. Запискахъ“ 1844 г., т. 37-й, кн. XI, смѣсь, стр. 64. Ей предпосланы здѣсь слѣдующія слова отъ редакціи: „Мы получили пресмѣшной пуфъ, и не англійскій, который передаемъ нашимъ читателямъ“. Между текстомъ, который даетъ Пассекъ, и текстомъ „Отеч. Зап.“, есть различія: у Пассека восстановлены нѣкоторыя мѣста, опущенныя въ „Отеч. Зап.“ очевидно ради цензурныхъ соображеній. Кое-гдѣ, напротивъ, текстъ „Отеч. Записокъ“ полнѣе. Мы перепечатываемъ рекламу изъ записокъ Пассека.

Стр. 351. Первая половина этой статьи (первая глава) была напечатана въ издаванномъ Н. А. Некрасовымъ „Петербургскомъ Сборникѣ“ (Спб., 1846), а вторая—„Новыя варіаціи на старыя темы“ (стр. 362 и слѣд.)—въ „Современникѣ“ 1848 г., № 2, томъ VII.

Стр. 375. Іоаннъ-Петръ Эккерманъ былъ близкимъ другомъ Гёте, издалъ свои съ нимъ „Разговоры“ (переведенныя на русскій языкъ Д. В. Аверкіевымъ, 2 т., Спб., 1891).

Стр. 376. „Станція Едрово“ пред-

ставляетъ собственно отрывокъ изъ выше напечатанной (стр. 53—59 этого же тома) статьи „Москва и Петербургъ“.

Стр. 377. „Мартинъ Чазальвиль“—одинъ изъ романовъ Диккенса.

Стр. 387. Жакъ Маржереть—франц. авантюристъ, служившій сперва Борису Годунову, затѣмъ Лжедмитрію, Тушинскому вору и полякамъ. Оставилъ интересное описаніе современныхъ ему русскихъ событій („Etat de l'Empire de Russie“).

— Антоніо Поссевинъ (р. 1534, ум. 1611), иезуитъ, имѣвшій отъ папы Григорія III порученія на сѣверѣ Европы. При его посредствѣ заключенъ былъ миръ между Иваномъ Грознымъ и Ватеріемъ. Написалъ описаніе Россіи („Moscowia“)—весьма цѣнный историческій памятникъ.

— Джилль Флетчеръ (ум. въ 1610 г.) былъ отправленъ королевой англійской Елизаветой съ дипломатическимъ порученіемъ въ Россію, которую и описалъ въ чрезвычайно любопытномъ и важномъ историческомъ сочиненіи „О русскомъ государствѣ“ („On the Russian Common Wealth“). Русскій переводъ этой книги, напечатанный въ 1848 г. въ „Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Росс.“, былъ сожженъ, а редакторъ „Чтеній“ О. М. Бодянский былъ уволенъ въ отставку изъ профессоровъ московскаго университета (впослѣдствіи снова получилъ кафедру).

Стр. 391. Статья „Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести“ была напечатана въ „Современникѣ“ 1848 г. (а не 1847, какъ сказано въ подзаголовкѣ), № 8 (томъ X).

Стр. 402. Жакерія (у Герцена: Жакри)—кровавыя востанія французскихъ крестьянъ противъ притѣсненій феодальнаго дворянства и рыцарства.

Стр. 417. „Оба лучше“ было напечатано въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ за 1856 г., № 206. Принадлежность этого очерка, подписаннаго буквами В. Б., Герцену подтверждается письмами Тургенева къ послѣднему (см. „Письма Кавелина и Тургенева къ Герцену“, изд. Драгоманова). 3 (15) дек. 1856 г. Тургеневъ пишетъ: „Милый Герцень, мнѣ непремѣнно хочется прочесть „Барнумъ и Горасъ“, и поэтому сдѣлай одолженіе—пришли его къ той дамѣ“, и т. д.; въ письмѣ отъ 9 (21) дек. онъ повторяетъ эту просьбу, а 8 янв. 1857 г. уже извѣщаетъ: „Барнума

и Ораса я на дняхъ прочелъ въ одномъ №-рѣ „С.-П.-бургскихъ Вѣдомостей“ и только пожалѣлъ, что коротко: очень умная и тонкая вещичка.—Очеркъ перепечатанъ въ упомянутомъ изданіи Драгоманова.

Стр. 417. Финеасъ-Тейлоръ Барнумъ (1810—1891), извѣстный американскій антрепренеръ-аферистъ, нажившій миллионы, показывая публикѣ равныя диковины: няньку Вашингтона, карлика Тома Пуса, выписавъ въ Америку знаменитую шведскую пльницу Джени Линдъ и проч. Онъ издалъ свою автобіографію, переведенную почти на всѣ европейскіе языки.

— Орасъ (Горасъ)—герой извѣстнаго романа Жоржъ-Занда „Горасъ“ (изданъ въ 1842, не разъ переведенъ и на русскій языкъ).

Стр. 421. Фоблазъ—герой скабрзнаго романа (перевед. на русскій языкъ въ 1903 г.) „Любовныя приключенія кавалера Фоблаза“, написаннаго Луве-де-Кувре (1760—1797). Фоблазъ превратился въ нарицательное имя типичскаго соблазнителя женщинъ.

Стр. 422. Графъ Анри Ларошжакленъ (1772—1794), франц. легитимистъ, ставшій во время революціи однимъ изъ вождей вандейцевъ. Онъ былъ убитъ въ сраженіи съ республиканскими войсками.

— Манонъ Леско—героиня знаменитаго романа аббата Прево, падшая женщина, достигающая реабилитаціи путемъ искренней любви.

— Сень-Лазаръ—женская тюрьма въ Парижѣ, куда заключались порочныя и падшія женщины во времена второй имперіи.

Стр. 423. „Изъ писемъ путешественника. Во внутренности Англіи“. Этотъ очеркъ былъ напечатанъ въ фельетонѣ „С.-П.-бургскихъ Вѣдомостей“ за 1856 г., № 91. Принадлежность его Герцену доказывается тѣмъ, что онъ подписанъ буквами В. В., т. е. такъ же, какъ статья „Оба лучше“, которая была помѣщена въ фельетонѣ той же газеты за тотъ же годъ, и принадлежность которой Герцену удостовѣрена письмами И. С. Тургенева къ послѣднему.

Стр. 430. Принадлежность очерка

„Изъ воспоминаній объ Англіи“ Герцену удостовѣрена устнымъ свидѣтельствомъ П. А. Ефремова, которому говоритъ объ этомъ самъ Курочкинъ, редакторъ „Искры“, гдѣ, подъ псевдонимомъ Н. Оурчиковъ, была помѣщена эта статья (№ 24 за 1861 г.); притомъ всякій, кто знакомъ съ литературной манерой Герцена, безъ труда узнаеть въ ней его стиль.

Стр. 432. Донъ-Рамонъ Кабрера—испанскій генералъ, одинъ изъ вождей карлистовъ, долго сражавшійся (въ 30-хъ и 40-хъ годахъ) противъ королевы Изабеллы.

— Томасъ Цумалакарегви (у Герцена: Цумалагерень), другой испанскій также карлистскій генералъ (1789—1835), искусный партизанъ, сражавшійся съ войсками королевы Христіны и Изабеллы въ началѣ 30-хъ годовъ.

— Графъ Монтемолинь (1818—1861), ранѣе у испанскихъ карлистовъ называвшійся королемъ Карломъ VI, принцъ астурийскій, старшій сынъ претендента Донъ-Карлоса (брата короля Фердинанда VII). Послѣ неудачной попытки возстанія въ Испаніи въ 1860 г. былъ взятъ въ плѣнъ и, отказавшись отъ своихъ притязаній на испанскій тронъ, принялъ имя графа Монтемолина.

Стр. 433. Пальмеръ—отравитель-докторъ, процессъ котораго надбалабл шуму въ Лондонѣ въ 1865 г.

Стр. 436. „Русская колонія въ Парижѣ“ небольшая статья, помѣщенная Герценомъ (на франц. яз.) въ путеводителѣ по Парижу, изданномъ по случаю всемірной выставки 1867 года: *Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de France. Deuxième partie: La Vie; Paris 1867; отдѣлъ: Les étrangers à Paris.* Переводъ этой статьи (безъ пропусковъ и очень точный) мы заимствуемъ изъ „Отеч. Записокъ“ 1867 года (сентябрь, „Критич. замѣтки“, стр. 30 и сл.)

Стр. 440. Статья „Опытъ бесѣды съ молодыми людьми“ была напечатана въ „Полярной Звѣздѣ“, книжка 4-я (1858 г.)

Стр. 452. „Разговоры съ дѣтми“ напечатаны были въ „Полярной Звѣздѣ“, книжка 5-я (1859 г.).

Прогрессъ, какъ эволюція жестокости. М. Энгельгардта. Ц. 75 к.
 Вырожденіе. Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. Макса Нордау. 585 стр. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
 Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Пер. съ нѣм. Эд. Зауэрр. 4-е изд. Ц. 1 р.
 Этика. Ученіе о нравственности. Сост. проф. Маккензи. Переводъ съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Прогрессивная нравственность. Фаулера. Съ англ. подъ ред. Вл. Соловьева. Ц. 40 к.
 Нравственный инстинктъ. Сутерганда. Съ англ. Ц. 1 р. 50 к.
 Счастье и трудъ. Мантегацца. 3 изд. Ц. 60 к.
 Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Д-ра Раппопорта. Ц. 75 к.
 Политическая исторія современной Европы. (1814 — 1896). Сеньюбоса. Переводъ подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 1 р. 50 к.
 Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Герои и героическое въ исторіи. Публичные бесѣды Томаса Карлейля. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Путь къ счастью. Сост. Ф. Кирхверъ. Ц. 60 к.
 Исторія книги на Руси. А. Бахтiarова. Со многими рисунками. Ц. 1 р. 50 к.
 Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политическая. Съ 16 портретами. Ц. 1 р.
 Иезуиты, ихъ исторія, организація и практическая дѣятельность. Ж. Губера. Съ нѣм. Ц. 1 р.
 Очерки самоуправленія (земскаго, городского, сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
 Роль общественнаго мнѣнія въ государств. жизни. Проф. Гольцендорфа. Ц. 75 к.

Популярно-научныя книги.

Нерѣшенные проблемы биологіи. Съ приложеніемъ статей о Р. Вирховѣ и Л. Бюхнерѣ. В. В. Лункевича. Съ 81 рис., 4 таблицами и 8 портретами. Ц. 2 р.
 Основы жизни. Популярная биологія. В. В. Лункевича. Съ 465 рис. и 7 хромолитографіями. 2-е изданіе. Ц. 4 р.
 Научныя и социальныя изслѣдованія. А. Р. Уоллеса. Томъ I-й. Съ 89 рис. и картой. Ц. 1 р. 75 к.
 Соціальныя этюды. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Соціальная жизнь животныхъ. Эспинаса. Пер. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Мужчина и женщина. Этюдъ о вторичныхъ полов. признакахъ у человѣка. Г. Эгліса. Ц. 1 р.
 Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. 2 изд. Ц. 30 к.
 Преступленія и проституція, какъ социальныя болѣзни. Гирша. Ц. 30 к.
 Очерки психологіи. Тиченера. Съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Психологія чувствъ. Рибо. Ц. 80 к.
 Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 30 к.

Психологія характера. Ф. Полана. Ц. 75 к.
 Психологія великихъ людей. Проф. Жоли. Переводъ съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 Эволюція общихъ идей. Т. Рибо. Переводъ М. Гольденитъ. Ц. 60 к.
 Физиологія страстей. Летурно. Ц. 1 р.
 Физиологическія бесѣды. А. Герцена. Проф. Лозанскаго университета. Ц. 1 р.
 Патологія души. Популярныя бесѣды. Д-ра М. Флэри. Ц. 1 р.
 Гениальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ рисунками. 3-е изд. Ц. 1 р.
 Чудесный вѣкъ. Естествен.-философскій обзоръ XIX ст. проф. Уоллеса. Ц. 1 р. 50 к.
 Душевыя движенія. Д-ра Ланге. Ц. 40 к.
 Привычка и инстинктъ. Л. Моргана. Съ англ. Ц. 1 р.
 Міръ грѣзъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. 1 р.
 Экстазы человѣка. П. Мантегацца. Переводъ съ 5-го итальян. изданія. Ц. 1 р. 50 к.
 Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 Характеръ и нравственное воспитаніе. Кейра. Съ франц. Ц. 40 к.
 Воспитаніе воли. Ж. Пэйю. 4-е изд. Ц. 60 к.
 Воспитаніе чувствъ. Тома. Съ франц. Ц. 60 к.
 Духовный прогрессъ и счастье. П. Лоскутова. Ц. 1 р.
 Пессимизмъ. Соч. Джамса Сѣлли. Обзоръ пессимист. ученій. Съ англ. Ц. 1. 50 к.
 Вѣрить или не вѣрить? Эскурсія въ области таинственнаго. Д-ра Битвера. Ц. 1 р. 50 к.
 Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Д-ра Маррена. Съ франц. Ц. 75 к.
 Исторія міра. Гюйара. Съ 101 рис. Съ фр. Ц. 1 р.
 Эволюціонная этика и психологія животныхъ. Э. П. Эванса. Пер. съ англ. Ц. 75 к.
 Положительная философія Огюста Конта въ популярномъ изложеніи д-ра Робиня. Ц. 50 к.
 Философія Герберта Спенсера въ сокр. изд. Коллинса. Перев. съ англ. 2-е изд. Ц. 2 р.
 Философія Шопенгауэра. Т. Рибо. Переводъ Э. К. Ватсона. Ц. 50 к.
 Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
 Исторія религіи. Проф. Мензиса. Ц. 1 р.
 О вѣрованіи. Ж. Пэйю. Перев. съ франц. Ц. 50 к.
 Безсмертіе съ точки зрѣнія эволюціоннаго натурализма. Лекція А. Сабатье. 2-е изд. Ц. 50 к.
 Живописная астрономія. К. Фламмаріона. Съ 382 рисунк. 2-е изд. Ц. 3 р.
 Основы политической экономіи. Шарля Жюда. Перев. съ 4 франц. изданія. Ц. 1 р. 25 к.
 Итоги XIX вѣка. Д. Нордена. Ц. 40 к.
 Жизнь и смерть. Пуб. лек. А. Сабатье. Ц. 75 к.
 Развѣтленіе народнаго хозяйства въ Западной Европѣ. М. Ковалевскаго. Ц. 75 к.
 Письма о земледѣліи. М. Энгельгардта. Ц. 50 к.
 Современная женщина.—Ея положеніе въ Европѣ и Америкѣ. Б. Ф. Брандта. Ц. 60 к.

А. И. Герценъ. Его жизнь и литературная дѣятельность (изъ серіи «Жизнь замѣчательныхъ людей»). Ц. 25 к.

Цѣна за 7 томовъ 12 рублей.

JAN 24 1951



